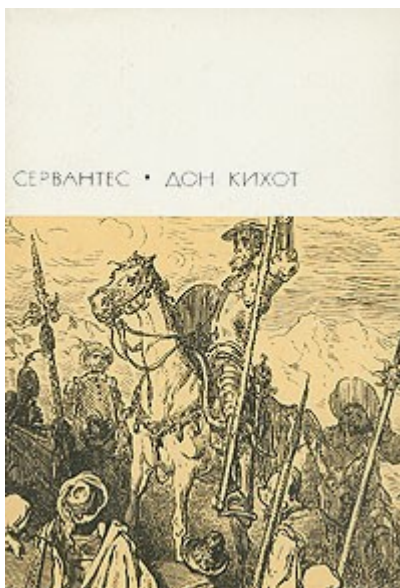


# Мигель де Сервантес Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский. Часть первая

## *Дон Кихот – 1*



## Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский» Часть первая

### Посвящение герцогу Бехарскому

*Маркизу Хибралеонскому, графу Беналькасарскому и Баньяресскому, виконту Алькосерскому, сеньору Капильясскому, Курьельскому и Бургильосскому*

Ввиду того, что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет Хитроумного идалго Дон Кихота Ламанчского под защитой достославного имени Вашей Светлости и ныне, с тою почтительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять его под милостивое свое покровительство, дабы, хотя и лишенный драгоценных украшений изящества и учености, обычно составляющих убранство произведений, выходящих из-под пера людей просвещенных, дерзнул он под сенью Вашей Светлости бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пределы собственного невежества, имеет обыкновение при разборе чужих трудов выносить не столько справедливый, сколько суровый приговор, – Вы же, Ваша Светлость, вперилив очи мудрости своей в мои благие намерения, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъявления низжайшей моей преданности.

*Мигель де Сервантес Сааведра*

### Пролог

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта

книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить в темнице<sup>1</sup> бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову, – словом, о таком, какого только и можно было породить в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков. Тихий уголок, покой, приветные долины, безоблачные небеса, журчащие ручьи, умиротворенный дух – вот что способно оплодотворить самую бесплодную музу и благодаря чему ее потомство, едва появившись на свет, преисполняет его восторгом и удивлением. Случается иной раз, что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный сын, однако же любовь спешит наложить повязку на глаза отца, и он не только не замечает его недостатков, но, напротив того, в самых этих недостатках находит нечто остроумное и привлекательное и в разговоре с друзьями выдает их за образец сметливости и грации. Я же только считаюсь отцом Дон Кихота, – на самом деле я его отчим, и я не собираюсь идти проторенной дорогой и, как это делают иные, почти со слезами на глазах умолять тебя, дражайший читатель, простить моему детищу его недостатки или же посмотреть на них сквозь пальцы: ведь ты ему не родня и не друг, в твоём теле есть душа, воля у тебя столь же свободна, как у всякого многоопытного мужа, у себя дома ты так же властен распоряжаться, как король властен установить любой налог, и тебе должна быть известна поговорка: «Дай накроюсь моим плащом – тогда я расправлюсь и с королем». Все это избавляет тебя от необходимости льстить моему герою и освобождает от каких бы то ни было обязательств, – следовательно, ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты станешь хулить ее, или же наградят, если похвалишь.

Единственно, чего бы я желал, это чтобы она предстала пред тобой ничем не запятнанная и нагая, не украшенная ни прологом, ни бесчисленным множеством неизменных сонетов, эпиграмм и похвальных стихов, коими обыкновенно открывается у нас книга. Должен сознаться, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, однако ж еще труднее было мне сочинить это самое предисловие, которое тебе предстоит прочесть. Много раз брался я за перо и много раз бросал, ибо не знал, о чем писать; но вот однажды, когда я, расстелив перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный стол и подперев щеку ладонью, пребывал в нерешительности, ко мне зашел невзначай мой приятель, человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, что я погружен в раздумье, осведомился о причине моей озабоченности, – я же, вовсе не намереваясь скрывать ее от моего друга, сказал, что обдумываю пролог к истории Дон Кихота, что у меня ничего не выходит и что из-за этого пролога у меня даже пропало желание выдать в свет книгу о подвигах столь благородного рыцаря.

– В самом деле, как же мне не бояться законодателя, издревле именуемого публикой, если после стольких лет, проведенных в тиши забвения<sup>2</sup>, я, с тяжким грузом лет за плечами, ныне выношу на его суд сочинение сухое, как жердь, не блещущее выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни игрою ума, не содержащее в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце, меж тем как другие авторы уснащают свои книги, хотя бы даже и светские, принадлежащие к повествовательному роду, изречениями Аристотеля, Платона и всего сонма философов, чем приводят в восторг читателей и благодаря чему эти самые авторы сходят за людей начитанных, образованных и красноречивых? Это еще что, – они вам и Священное писание процитируют! Право, можно подумать, что читаешь кого-нибудь вроде святого Фомы<sup>3</sup> или же другого учителя церкви. При этом они мастера по части соблюдения приличий: на одной

<sup>1</sup> ...породить в темнице... – намек на пребывание автора в тюрьме в Севилье дважды: в 1597 и 1602 гг.

<sup>2</sup> ...после стольких лет, проведенных в тиши забвения... – До выхода в свет первой части «Дон Кихота» Сервантесу удалось опубликовать только роман «Галатея» (1585).

<sup>3</sup> Святой Фома – Фома Аквинский (1225–1274), знаменитый богослов, автор трактата «Суммы богословия».

странице изобразят вам беспутного повесу, а на другой преподнесут куцую проповедь в христианском духе, до того трогательную, что читать ее или слушать – одно наслаждение и удовольствие. Все это отсутствует в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля и не к чему делать примечания; более того: не имея понятия, каким авторам я следовал в этой книге, я не могу предпослать ей по заведенному обычаю хотя бы список имен в алфавитном порядке – список, в котором непременно значились бы и Аристотель, и Ксенофонт, даже Зоил и Зевксид<sup>1</sup>, несмотря на то, что один из них был просто ругатель, а другой художник. Не найдете вы в начале моей книги и сонетов – по крайней мере, сонетов, принадлежащих перу герцогов, маркизов, графов, епископов, дам или же самых знаменитых поэтов. Впрочем, обратись я к двум-трем из моих чиновных друзей, они написали бы для меня сонеты, да еще такие, с которыми и рядом нельзя было бы поставить творения наиболее чтимых испанских поэтов.



– Словом, друг и государь мой, – продолжал я, – пусть уж сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанчских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему кого-нибудь такого, кто украсит его всем, чего ему недостает. Ибо исправить свою книгу я не в состоянии, во-первых, потому, что я не доволен для этого образован и даровит, а во-вторых, потому, что врожденная лень и склонность к безделью мешают мне устремиться на поиски авторов, которые, кстати сказать, не сообщат мне ничего такого, чего бы я не знал и без них. Вот откуда происходят мое недоумение и моя растерянность, – все, что я вам рассказал, служит достаточным к тому основанием.

Выслушав меня, приятель мой хлопнул себя по лбу и, разразившись хохотом, сказал:

– Ей-богу, дружище, только сейчас уразумел я, как я в вас ошибался: ведь за время нашего длительного знакомства все поступки ваши убеждали меня в том, что я имею дело с

---

<sup>1</sup> *Ксенофонт* – греческий историк (ок. 430–354 до н.э.). *Зоил* – греческий ритор и грамматик (жил в Александрии в середине III в. до н.э.). Имя его стало синонимом придирчивого критика. *Зевксид* – греческий живописец второй половины V века до н.э.

человеком рассудительным и благоразумным. Но теперь я вижу, что мое представление о вас так же далеко от истины, как небо от земли. В самом деле, как могло случиться, что столь незначительные и легко устранимые препятствия смутили и озадачили ваш зрелый ум, привыкший с честью выходить из более затруднительных положений? Ручаюсь, что дело тут не в неумении, а в избытке лени и в вялости мысли. Хотите, я вам докажу, что я прав? В таком случае слушайте меня внимательно, и вы увидите, как я в мгновение ока смету с вашего пути все преграды и восполню все пробелы, которые якобы смущают вас и повергают в такое уныние, что вы уже не решаетесь выпустить на свет божий повесть о славном вашем Дон Кихоте, светоче и зеркале всего странствующего рыцарства.

– Ну так объясните же, – выслушав его, вскричал я, – каким образом надеетесь вы извлечь меня из пучины страха и озарить хаос моего смятения?

На это он мне ответил так:

– Прежде всего у вас вышла заминка с сонетами, эпиграммами и похвальными стихами, которые вам хотелось бы поместить в начале книги и которые должны быть написаны особами важными и титулованными, – это уладить легко. Возьмите на себя труд и сочините их сами, а затем, окрестив, дайте им любые имена: пусть их усыновит – ну хоть пресвитер Иоанн Индийский<sup>1</sup> или же император Трапезундский<sup>2</sup>, о которых, сколько мне известно, сохранилось предание, что это были отменные стихотворцы. Если же дело обстоит иначе и если иные педанты и бакалавры станут шипеть и жалить вас исподтишка, то не принимайте этого близко к сердцу: ведь если даже вас и уличат во лжи, то руку, которою вы будете это писать, вам все-таки не отрубят.

Что касается ссылок на полях – ссылок на авторов и на те произведения, откуда вы позаимствуете для своей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь привести к месту такие сентенции и латинские поговорки, которые вы знаете наизусть, или, по крайней мере, такие, которые вам не составит труда отыскать, – так, например, заговорив о свободе и рабстве, вставьте:

Non bene pro toto libertas venditur auro<sup>3</sup>

и тут же на полях отметьте, что это написал, положим, Гораций или кто-нибудь еще. Зайдет ли речь о всеильной смерти, спешите опереться на другую цитату:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas  
Regumque turres.<sup>4</sup>

Зайдет ли речь о том, что господь заповедал хранить в сердце любовь и дружеское расположение к недругам нашим, – нимало не медля сошлитесь на Священное писание, что доступно всякому мало-мальски сведущему человеку, и произнесите слова, сказанные не кем-либо, а самим господом богом: *Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros.*<sup>5</sup> Если о дурных помыслах – снова обратитесь к Евангелию: *De corde exeunt cogitationes malae.*<sup>6</sup> Если о непостоянстве друзей – к вашим услугам Катон со своим двустишием:

Donee eris felix, multos numerabis amicos.

---

<sup>1</sup> *Иоанн Индийский* – легендарный владыка восточного христианского царства. Царство «пресвитера Иоанна» европейские летописцы помещали то в Средней Азии, то в Эфиопии, то в Индии и Китае.

<sup>2</sup> *Император Трапезундский* – Трапезунд – город на южном побережье Черного моря. В 1204 г. знатный византиец Алексей Комнин основал там Трапезундскую империю, которая просуществовала вплоть до 1461 г., и стал первым императором Трапезундским и родоначальником трапезундской династии Комнинов.

<sup>3</sup> Свободу не следует продавать ни за какие деньги (*лат.*)

<sup>4</sup> Бледная смерть стучится и в хижины бедняков, и в царские дворцы (*лат.*) (стихи из Горация, кн. I, ода 4).

<sup>5</sup> А я говорю вам: любите врагов ваших (*лат.*) (Евангелие от Матфея, гл. V).

<sup>6</sup> Из сердца исходят дурные помыслы (*лат.*) (Евангелие от Матфея, гл. XV).

И так благодаря латинщине и прочему тому подобному вы прослывете по меньшей мере грамматиком, а в наше время звание это приносит немалую известность и немалый доход.

Что касается примечаний в конце книги, то вы смело можете сделать так: если в вашей повести упоминается какой-нибудь великан, назовите его Голиафом, – вам это ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово обширное примечание в таком роде: *Великан Голиаф – филистимлянин, коего пастух Давид в Теревиндской долине поразил камнем из пращи, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то.*

Затем, если вы хотите сойти за человека, отлично разбирающегося в светских науках, а равно и за космографа, постарайтесь упомянуть в своей книге реку Тахо, – вот вам еще одно великолепное примечание, а именно: *Река Тахо названа так по имени одного из королей всех Испаний; берет начало там-то и, омывая стены славного города Лиссабона, впадает в Море-Океан<sup>2</sup>; существует предположение, что на дне ее имеется золотой песок, и так далее.* Зайдет ли речь о ворах – я расскажу вам историю Кака<sup>3</sup>, которую я знаю назубок; о падших ли женщинах – к вашим услугам епископ Мондоньедский<sup>4</sup>; он предоставит в ваше распоряжение Ламию, Лайду и Флору, ссылка же на него придаст вам немалый вес; о женщинах жестоких – Овидий преподнесет вам свою Медею<sup>5</sup>; о волшебницах ли и колдуньях – у Гомера имеется для вас Калипсо<sup>6</sup>, а у Вергилия – Цирцея<sup>7</sup>; о храбрых ли полководцах – Юлий Цезарь в своих *Записках*<sup>8</sup> предоставит в ваше распоряжение собственную свою персону, а Плутарх<sup>9</sup> наградит вас тьмой Александров. Если речь пойдет о любви – зная два-три слова по-тоscanски, вы без труда сговоритесь со Львом Иудеем<sup>10</sup>, а уж от него с пустыми руками вы не уйдете. Если же вам не захочется скитаться по чужим странам, то у себя дома вы найдете трактат Фонсеки<sup>11</sup> *О любви к богу*, который и вас, и даже более искушенных в этой области читателей удовлетворит вполне. Итак, вам остается лишь упомянуть все эти имена и сослаться на те произведения, которые я вам назвал, примечания же и выноски поручите мне: клянусь, что поля вашей повести будут испещрены выносками, а примечания в конце книги займут несколько листов.

Теперь перейдем к списку авторов, который во всех других книгах имеется и которого недостает вашей. Это беда поправимая: постарайтесь только отыскать книгу, к коей был бы приложен наиболее полный список, составленный, как вы говорите, в алфавитном порядке, и вот этот алфавитный указатель вставьте-ка в свою книгу. И если даже и выйдет наружу

---

7 Покуда ты будешь счастлив, тебя будут окружать многочисленные друзья, но, когда наступят смутные дни, ты будешь одинок (*лат.*) (стихи не Катона, а Овидия из сборника элегий «Скорби», кн. I, элегия VI).

2 *Море-Океан, или Океаническое море* – так именовался тогда Атлантический океан.

3 *Как (миф.)* – исполин, похитивший у Геркулеса порученных его охране коров, за что был убит им в жестоком бою. Имя нарицательное ловкого и изобретательного вора.

4 *Епископ Мондоньедский* – испанский писатель Антонио де Гевара (1480?–1545), епископ Гуадисский (1528) и Мондоньедский (1545), автор «Золотой книги Марка Аврелия», пользовавшейся широкой известностью.

5 *Медея (миф.)* – дочь царя Колхиды, оказавшая помощь Язону при овладении золотым руном и бежавшая с ним в Грецию. Когда Язон решил жениться на дочери коринфского царя Креусе, Медея убила свою соперницу, а также своих детей от Язона. Рассказ о ней помещен в седьмой книге «Метаморфоз» Овидия.

6 *Калипсо (миф.)* – дочь Атланта, нимфа с острова Огигея, в гостях у которой Одиссей пробыл семь лет.

7 *Цирцея (миф.)* – волшебница, которая обратила часть спутников Одиссея в свиней, но по его просьбе вновь вернула им человеческий облик.

8 *Юлий Цезарь в своих «Записках»...* – «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря (100–44 до н.э.), в которых он ставил целью оправдать свои действия в Галлии: нападение на галлов и подчинение их Риму.

9 *Плутарх* – греческий писатель (46–126 н.э.). Особенный интерес представляют его «Параллельные жизнеописания», в которых сопоставляются видные греческие и римские государственные деятели.

10 *Лев Иудей* – псевдоним Иуды Абрабанеля (1460? – после 1521), написавшего на итальянском языке трактат в диалогической форме «Беседы о любви».

11 *Трактат Фонсеки.* – Трактат августинского монарха Криволя де Фонсеки (1550?–1621) «О любви к богу» вышел в свет в 1592 г.

обман, ибо вряд ли вы в самом деле что-нибудь у этих авторов позаимствуете, то не придавайте этому значения: кто знает, может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что вы и точно прибегали к этим авторам в своей простой и бесхитростной книге. Следственно, в крайнем случае, этот длиннейший список будет вам хоть тем полезен, что совершенно для вас неожиданно придаст книге вашей известную внушительность. К тому же вряд ли кто станет проверять, следовали вы кому-либо из этих авторов или не следовали, ибо никому от этого ни тепло, ни холодно. Тем более что, сколько я понимаю, книга ваша не нуждается ни в одном из тех украшений, которых, как вам кажется, ей недостает, ибо вся она есть сплошное обличение рыцарских романов, а о них и не помышлял Аристотель, ничего не говорил Василий Великий и не имел ни малейшего представления Цицерон. Побасенки ее ничего общего не имеют ни с поисками непреложной истины, ни с наблюдениями астрологов, ей незачем прибегать ни к геометрическим измерениям, ни к способу опровержения доказательств, коим пользуется риторика; она ничего решительно не проповедует и не смешивает божеского с человеческим, какового смешения надлежит остерегаться всякому разумному христианину. Ваше дело подражать природе, ибо чем искуснее автор ей подражает, тем ближе к совершенству его писания. И коль скоро единственная цель вашего сочинения – свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простонародья, то и незачем вам выпрашивать у философов изречений, у Священного писания – поучений, у поэтов – сказок, у риторов – речей, у святых – чудес; лучше позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, затейливый и полновзвучный, с наивозможной и доступной вам простотою и живостью передавали то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. Позаботьтесь также о том, чтобы, читая вашу повесть, меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу. Одним словом, неустанно стремитесь к тому, чтобы разрушить шаткое сооружение рыцарских романов, ибо хотя у многих они вызывают отвращение, но сколько еще превозносят их! И если вы своего добьетесь, то знайте, что вами сделано немало.

С великим вниманием слушал я моего приятеля, и его слова так ярко запечатлелись в моей памяти, что, не вступая ни в какие пререкания, я тут же с ним согласился и из этих его рассуждений решил составить пролог, ты же, благосклонный читатель, можешь теперь судить об уме моего друга, поймешь, какая это была для меня удача – в трудную минуту найти такого советчика, и почувствуешь облегчение при мысли о том, что история славного Дон Кихота Ламанчского дойдет до тебя без всяких обиняков, во всей своей непосредственности, а ведь вся Монтельская округа<sup>1</sup> говорит в один голос, что это был целомудреннейший из любовников и храбрейший из рыцарей, какие когда-либо в том краю появлялись. Однако ж, знакомя тебя с таким благородным и таким достойным рыцарем, я не собираюсь преувеличивать ценность своей услуги; я хочу одного – чтобы ты был признателен мне за знакомство с его славным оруженосцем Санчо Пансою, ибо, по моему мнению, я воплотил в нем все лучшие качества оруженосца, тогда как в ворохе бессодержательных рыцарских романов мелькают лишь разрозненные его черты. Засим молю бога, чтобы он и тебе послал здоровья и меня не оставил. *Vale.*<sup>2</sup>

### **На книгу о Дон Кихоте Ламанчском Урганда Неуловимая**

Если к тем, кто мыслит здра-,  
Адресуешься ты, кни-,

---

<sup>1</sup> Монтельская округа – местность в Ламанче.

<sup>2</sup> Прощай, будь здоров (*лат.*)

Не грозят тебе упре-  
В том, что чепуху ты ме-;  
Если же неосторож-  
Дашься в руки дурале-,  
То от них немало вздо-  
О самой себе услы-,  
Хоть они из кожи ле-,  
Чтоб учеными казать-,

Опыт учит: чем пышне-  
Древо расцвело на солн-,  
Тем под ним в жару прохлад-,  
Вот ты в Бехар и отправь-:  
Там есть царственное дре-,  
На котором принцы зре-,  
И блистает между ни-  
Герцог, равный Александ-,  
В чьей тени ищи прию-.  
Смелого удача лю-!

Расскажи о приключень-  
Дворянина из Ламан-,  
У кого от книг неле-  
Ум совсем зашел за ра-.  
Дамы, рыцари, турни-  
Голову ему вскружи-,  
И с Неистовым Ролан-<sup>1</sup>  
Стал тягаться он: влюбил-  
И решил мечом добить-  
Дульсинеи из Тобо-.

Титульный свой лист не взду-  
Авторским гербом укра-  
В картах лишняя фигу-  
Нам очков не прибавля-.  
В предисловье будь смирен-,  
Пусть об авторе не ска-:  
«Он сравниться с Ганниба-<sup>2</sup>,  
Альваро де Луной хо-,  
Или с королем Францис-,  
Свой удел в плену клян-!»

Раз не столь умен твой ав-,  
Как Хуан Латино слав-,  
Негр, ученостью извест-,  
Щеголять не смей латынь-.  
Раз где тонко, там и рвет-,  
Древних все не цити-,

---

<sup>1</sup> *Неистовый Роланд или Орландо* – главный герой поэмы великого итальянского писателя Лодовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд»; повествование о рыцарских приключениях сказочного характера ведется Ариосто в шутовском тоне.

<sup>2</sup> *Ганнибал* – знаменитый карфагенский полководец (ок. 247–183 до н.э.), командовавший карфагенской армией во время второй Пунической войны.

А не то иной чита-  
Разберется, в чем тут де-,  
И подумает с улыб-:  
«Что же ты меня моро-?»

Бойся длинных описа-  
И не лезь героям в ду-,  
Ибо там всегда потем-,  
А в потемках нету ело-.  
Избегай играть слова-:  
Острякам дают по шап-,  
Но, усилий не жале-,  
Добивайся доброй ела-,  
Ибо сочинитель глу-  
Есть предмет насмешек веч-

Не забудь, что, квартиру-  
В доме со стеклянной кры-,  
Неразумно брать булыж-  
И швыряться им в сосе-;  
Что достойный литера-,  
Осмотрителен и сдер-,  
И что только тот, кто пор-  
Безответную бума-,  
Чтобы потешать куха-,  
Пишет через пень-коло-.

**Амадис Галльский**  
**Дон Кихоту Ламанчскому**  
*сонет*

Тебе, кому достался тот удел,  
Какой познал я сам, когда, влюбленный  
И с милою безвинно разлученный,  
Над Бедною Стремниною<sup>1</sup> скорбел;

Тебе, кто зной и холод претерпел,  
Кто жажду утолял слезой соленой,  
Кто, серебра и медяков лишенный,  
Дары земли с земли срывал и ел,

Вкушать бессмертье суждено, покуда  
Своих коней бичом стремится вперед  
В четвертом небе Феб золотокудрий.

---

<sup>1</sup> ...над Бедною Стремниною... – В романе «Амадис Галльский» рассказывается, что, после того как Амадис овладел одним островом и передал его законной владелице Бриолане, его возлюбленная Ориана, охваченная чувством ревности, запретила ему встречаться с Бриоланой. Амадис в отчаянии решил отказаться от рыцарских подвигов и удалился в обитель на скале Бедная Стремнина. В подражание Амадису Дон Кихот точно так же решил подвергнуть себя испытаниям, о чем рассказывается в гл. XXV и XXVI первой части «Дон Кихота».



Неустрасимым прослывешь ты всюду,  
Твоя страна все страны превзойдет,  
Всех авторов затмит твой автор мудрый.

**Дон Бельянис Греческий**  
**Дон Кихоту Ламанчскому**  
*сонет*

Я бил, колол, сражал, крушил, громил,  
Мстил тем, кто зло творит, живет обманом,  
И ловкостью, отвагой, пылом бранным  
Всех странствующих рыцарей затмил.

Хранил я верность той, кому был мил;  
Как с карликом, справлялся с великаном;  
С оружием прошел по многим странам  
И честь свою нигде не посрамил.

Служила мне удача, как рабыня,  
И случай я за чуб с собой волок,  
По тропам и путям судьбы плутая;

Но хоть меня возносит слава ныне  
Намного выше, чем луна свой рог,  
Я зависть, Дон Кихот, к тебе питаю.

**Сеньора Ориана**  
**Дульсинее Тобосской**  
*сонет*

О Дульсиней! Если б только мог  
В Тобосо Мирафлорес<sup>1</sup> очутиться  
И Лондон мой в твой хутор превратиться,  
Я день и ночь благословляла б рок!

О, как хотела б я, чтоб дал мне бог  
В твой дивный облик перевоплотиться  
И в честь мою на бой быстрее птицы  
Летел твой рыцарь, обнажив клинок!

О, если бы невинность соблюла я  
И, как тебе стыдливый Дон Кихот,  
Мой Амадис остался мне лишь другом,

На зависть всем, но зависти не зная,

---

<sup>1</sup> *Мирафлорес* – замок, в котором жила возлюбленная Амадиса Галльского Ориана.

Вкушала бы я счастье без забот  
И после не страдала б по заслугам!

**Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского,  
Санчо Пансе, оруженосцу Дон Кихота  
*сонет***

Привет, о муж, направленный судьбой  
На путь оруженосного служенья,  
Который по ее соизволенью  
Прошел ты, не вступив ни разу в бой!

Был люб тебе нехитрый заступ твой,  
Но странствованьям ратным предпочтенье  
Ты отдал и затмил в своем смиренье  
Немало тех, кто слишком горд собой.

Упитан твой осел, полны котомки,  
И, видя, как ты жизнью умудрен,  
Тебе, собрат, завидую я пылко.

Так славься ж, Санчо, чьи дела столь громки,  
Что дружески испанский наш Назон  
Почтил тебя ударом по затылку!

**Балагур, празднословный виршеплет,  
Санчо Пансе и Росинанту**

***Санчо Пансе***

Я – оруженосец Сан-,  
Что с ламанчцем Дон Кихо-,  
Возмечтав о легкой жиз-,  
В странствования пустил-,  
Ибо тягу дать, коль нуж-,  
Был весьма способен да-  
Вильядьего бессловес-,  
Как об этом говорит-  
в «Селестине»<sup>1</sup>, книге муд-,  
Хоть, пожалуй, слишком воль-

***Росинанту***

---

<sup>1</sup> «Селестина» – выдающееся произведение испанской литературы, вышедшее в свет в конце XV в. и вызвавшее множество подражаний. Ее автором считают Фернандо де Рохаса.

Я Бабьеки<sup>1</sup> правнук слав-,  
Нареченный Росинан-,  
Был, служа у Дон Кихо-,  
Хил и тощ, как мой хозя-,  
Но хоть не блистал проворст-,  
А умел овса спрово-,  
Столь же ловко, как когда-  
Через тонкую солому-  
Выдул все вино украд-  
Ласарильо<sup>2</sup> у слепо-.

**Неистовый Роланд**  
**Дон Кихоту Ламанчскому**  
*сонет*

Пусть ты не пэр, но между пэров нет  
Такого, о храбрец непревзойденный,  
Непобедимый и непобежденный,  
Кто бы затмил тебя числом побед.

Я – тот Роланд, который много лет,  
С ума красой Анджелики<sup>3</sup> сведенный,  
Дивил своей отвагой иступленной  
Запомнивший меня навеки свет.

Тебя я ниже, ибо вечной славой  
Из нас увенчан только ты, герой,  
Хотя безумьем мы с тобою схожи;

Ты ж равен мне, хотя и мавр лукавый,  
И дикий скиф укрощены тобой, –  
Ведь ты, как я, в любви несчастен тоже.

**Рыцарь Феба**  
**Дон Кихоту Ламанчскому**  
*сонет*

Учтивейший и лучший из людей!  
Твой добрый меч разил врагов так рьяно,  
Что, хоть с тобой мы одного чекана,  
Ты стал, испанский Феб, меня славней.

Сокровища и власть своих царей

---

<sup>1</sup> Бабьека – любимый конь Сиды.

<sup>2</sup> Ласарильо – намек на один из эпизодов плутовской повести «Жизнь Ласарильо с берегов Тормеса» (1554).

<sup>3</sup> Анджелика – героиня поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

Восточные мне предлагали страны,  
Но все отверг я ради Кларидьяны<sup>1</sup>,  
Чей дивный лик сиял зари светлей.

Когда я буйствовал в разлуке с нею,  
Передо мною даже ад дрожал,  
Страшась, чтоб там я всех не покалечил.

Ты ж, Дон Кихот, любовью к Дульсинее  
И сам себе бессмертие стяжал,  
И ту, кому служил, увековечил.

**Солидан**  
**Дон Кихоту Ламанчскому**  
*сонет*

Хоть с головой, сеньор мой Дон Кихот,  
У вас от чтенья вздорных книг неладно,  
Никто на свете дерзко и злорадно  
В поступке низком вас не упрекнет.

Деяньям славным вы забыли счет,  
С неправдою сражаясь беспощадно,  
За что порой вас колотил изрядно  
Различный подлый и трусливый сброд.

И если Дульсинея, ваша дама,  
За верность вас не наградила все ж  
И прогнала с поспешностью обидной,

Утештесь мыслью, что она упряма,  
Что Санчо Панса в сводники негож.  
А сами вы – любовник незавидный.

**Диалог Бабьеки и Росинанта**  
*сонет*

Б. Эй, Росинант, ты что так тощ и зол?  
Р. Умаялся, и скуден корм к тому же.  
Б. Как! Разве ты овса не видишь, друже?  
Р. Его мой господин и сам уплел.

Б. Кто на сеньора клеппет, тот осел.  
Попридержи-ка свой язык досужий!

---

<sup>1</sup> *Кларидьяна* – одна из героинь рыцарского романа «Рыцарь Феб», дочь императора Трапезунда и царицы амазонок.

Р. Владелец мой осла любого хуже:  
Влюбился и совсем с ума сошел.

Б. Любовь, выходит, вздор?  
Р. Притом – опасный  
Б. Ты мудр. Р. Еще бы! Я пошусь давно.  
Б. Пожалуйся на конюха и пищу.

Р. К кому пойду я с жалобой напрасной,  
Коль конюх и хозяин мой равно –  
Два жалкие одра, меня почище?

## Глава I,

*повествующая о нраве и образе жизни славного идадьго Дон Кихота Ламанчского*

В некоем селе Ламанчском<sup>1</sup>, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идадьго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Оля<sup>2</sup> чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по воскресеньям, – все это поглощало три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтаны, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, коей переваляло за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать, и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идадьго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада<sup>3</sup>, иные – Кесада. В сем случае авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения; важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идадьго в часы досуга, – а досуг длился у него чуть ли не весь год, – отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого Фельсьяно де Сильва<sup>4</sup>, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочесть: «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро<sup>5</sup> ломал себе голову и не спал ночей,

<sup>1</sup> В некоем селе Ламанчском... – строка из испанского народного романа.

<sup>2</sup> Оля – так называемая «оля подрида» – испанское национальное блюдо.

<sup>3</sup> Кихада, Кесада. – Кихада – челюсть; кесада – пирог с сыром.

<sup>4</sup> Фельсьяно де Сильва – автор многих рыцарских романов (XVI в.).

<sup>5</sup> Кавальеро – общее название лиц дворянского происхождения; в узком смысле слова – представитель среднего дворянства.

сильясь понять их и добраться до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис, ибо ему казалось, что, какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметилах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец; и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, – человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе<sup>1</sup>, – о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский<sup>2</sup> или же Амадис Галльский<sup>3</sup>. Однако маэсе Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба и что если кто и может с ним сравниться, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского ибо он всем взял; он не ломака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой, и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас<sup>4</sup> очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча<sup>5</sup>, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпью<sup>6</sup> оттого, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли – Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда<sup>7</sup>. С большой похвалой отзывался он о Моргате<sup>8</sup>, который хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменною учтивостью. Но никем он так не восхищался, как Ринальдом Монтальванским<sup>9</sup>, особенно когда тот, выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись за морем, похищал истукан Магомета – весь как есть золотой, по уверению автора. А за то, чтобы отколотить изменника Ганнелона<sup>10</sup>, наш идальго отдал бы свою ключницу да еще и племянницу в придачу.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная

---

1 *Сигуэнса* – небольшой городок в провинции Гуадалахара, в котором находился университет второстепенного значения.

2 *Пальмерин Английский* – герой рыцарского романа «Могучий рыцарь Пальмерин Английский».

3 *Амадис Галльский*, точнее Амадис Уэльский (родина Амадиса – Gaula – Уэльс, Валлис). – Подлинный текст «Смелого и доблестного рыцаря Амадиса, сына Перiona Галльского и королевы Элисены» (в четырех частях) написан на испанском языке. Первое известное нам издание появилось в Сарагосе в 1508 г.

4 *Сид* – Родриго (Руй) Диас де Бивар (1043? –1099), прозванный Сидом (Сид по-арабски «господин») – испанский национальный герой, один из вождей реконквисты – борьбы, которую с 711 по 1492 г. вел испанский народ против своих завоевателей – арабов (мавров). Подвиги Сиды воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» и многочисленных народных песнях (романсах).

5 *Рыцарь Пламенного Меча* – прозвище Амадиса Греческого, героя одноименного рыцарского романа.

6 *Бернардо дель Карпью* – легендарный испанский герой.

7 *Роланд* – главный герой «Песни о Роланде» и многих средневековых сказаний, главное действующее лицо поэм Ариосто, Боярдо и др.

8 *Моргант* – герой поэмы Пульчи «Моргант-великан», свирепый великан-язычник, которого Роланд обращает в христианство, после чего Моргант совершенно преобразуется, становится великодушным, учтивым, благородным.

9 *Ринальд Монтальванский* – персонаж поэмы Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим», «Влюбленного Роланда» Боярдо и «Неистового Роланда» Ариосто.

10 *Ганнелон* – один из персонажей «Песни о Роланде», враг Роланда, ради мщения которому он изменяет своему королю.

мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги, по малой мере, короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой недели; легкость асе, с какою забрало разлетелось на куски, особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что в конце концов остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом удивительно тонкой работы.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гонеллы<sup>1</sup>, которая *tantum pellis et ossa fuit*<sup>2</sup>, нашел, что ни Буцефал<sup>3</sup> Александра Македонского, ни Бабьека Сида не могли бы с нею тягаться. Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идальго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина; вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь; итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение, – отвергал, отметал, переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался составлять, – и в конце концов остановился на *Росинанте*,<sup>4</sup> имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняящем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался наконец *Дон Кихотом*, – отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отечества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название своей родины и стать *Дон Кихотом Ламанчским*, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей

---

1 *Гонелла* – шут одного из герцогов феррарских (XV в.); у него был необыкновенно худой конь, который служил предметом шуток.

2 Была только кожа да кости (*лат.*) (слова из комедии Плавта «Горшок», акт III, сц. VI).

3 *Буцефал* – по преданию, любимый конь Александра Македонского.

4 *Росинант* – составное слово: «росин» – кляча, «анте» – прежде и впереди, то есть то, что было клячей когда-то, а также кляча, идущая впереди всех остальных.

лошаденки и окрестив самого себя, он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви – это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души.

– Если в наказание за мои грехи или же на мое счастье, – говорил он себе, – встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с которыми странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрушу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я – великан Каракульямбр, правитель острова Малиндрнии, побежденный на поединке неочтенным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению?»

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее *Дульсинеей*<sup>1</sup> *Тобосскою* – ибо родом она была из Тобоссо<sup>2</sup>, – именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.

## Глава II,

*повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений*

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идалго решил тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари и что, следовательно, по законам рыцарства ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем; а если бы даже и был посвящен, то ему как новичку подобает носить белые доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его своею храбростью. Эти размышления поколебали его решимость; однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. Что же касается белых доспехов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои латы, чтобы они казались белее горноста, и, порешив на том, продолжал свой путь, – вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал:

– Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, и тот ученый

---

<sup>1</sup> *Дульсиней* – Имя Дульсиней происходит от слова «dulce» (сладкая, нежная).

<sup>2</sup> *Тобосо* – город в Ламанче, в ста километрах к юго-востоку от Толедо.



муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.

– Блаженны времена и блажен тот век, – продолжал он, – когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих приключений, молю: не позабудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам.

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:

– О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: жальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайшие терпит муки!

На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением считают случай, происшедший в Ущелье Лаписе<sup>1</sup>, другие – случай с ветряными мельницами, – то же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены, заметил он неподалеку от дороги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему звездой, которая должна привести его не к преддверию храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул поводья и подъехал к постоялому двору, как раз когда стало смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две незамужние женщины из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам; вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом – словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, – прошу меня извинить, но другого названия у этих животных нет, – затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться,

---

<sup>1</sup> Ущелье Лаписе – лесистое ущелье в Ламанче.

и тут Дон Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось, – а именно, что карлик возвестил о его прибытии, – не помня себя от радости, направился к дамам, но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил:

– Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо рыцарям того ордена, к которому я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам.

Бабенки воззрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, что он величает их девицами, каковое наименование отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

– Красоте приличествует степенность, – сказал он, – беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, не привычная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и больше смешили их, Дон Кихот же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не подоспел хозяин постоянного двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный, но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы, как-то: тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к развеселившимся девицам. Однако ж, уstraшенный этою грудой доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем любезнее и обратился к нему с такими словами:

– Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати, – кровати, правда, у меня нет ни одной, – зато все остальное имеется в изобилии.

Почтительный тон коменданта, – надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоянный двор за крепость, – умиротворил Дон Кихота.

– Я всем буду доволен, сеньор кастелян<sup>1</sup>, – сказал он, – ибо *мой наряд – мои доспехи, в лютой битве мой покой*<sup>2</sup> и так далее.

Хозяин подумал, что тот принял его за честного кастильца и потому назвал кастеляном, на самом же деле он был андалусец, да еще из Сан Лукара<sup>3</sup>, и в жульничестве не уступал самому Каку, а в плутовстве – школярам и слугам.

– Стало быть, – подхватил он, – *ложе вашей милости – твердый камень, бденье до зари – ваш сон*<sup>4</sup>. А коли так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов не то что одну ночь – весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешился, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к которому были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоящему следовало разрезать ленты, ибо развязать узлы

---

1 *Кастелян* – комендант крепости, замка.

2 *...мой наряд – мои доспехи, в лютой битве мой покой...* – слова из испанского народного романа.

3 *Сан Лукар* – Сан Лукар Баррамедский – морской порт в Севильской провинции, в устье Гуадалквивира, связывавший метрополию с ее заморскими владениями.

4 *...ложе вашей милости – твердый камень, бденье до зари – ваш сон...* – перефразированная строка того же романа.

девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в высшей степени странное и забавное; и пока девки снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи:

Был неслыханно радушен  
Тот прием, который встретил  
Дон Кихот у дам прекрасных,  
Из своих земель приехав.  
Фрейлины пеклись о нем,  
О коне его – принцессы,

то есть о Росинанте, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн применить старинный романс о Ланцелоте<sup>1</sup> к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведаст о моей готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли он покушать.

– Вкусить чего-либо я не прочь, – отвечал Дон Кихот, – и, сдается мне, это было бы весьма кстати.

Дело, как нарочно, происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалусии – бакалья, в иных местах – курадильо, в иных – форелькой. Дон Кихота спросили, не угодно ли его милости, за неимением другой рыбы, отведать *форелек*.

– Побольше бы этих самых *форелек*, тогда они заменят одну форель, – рассудил Дон Кихот, – ибо не все ли равно, дадут мне восемь реалов<sup>2</sup> мелочью или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что *форелька* настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок неяснее козла. Как бы то ни было, несите их скорей: ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоялый двор случилось зайти коновалу, собиравшемуся холостить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою свиристелку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в его честь играет музыка, что треска – форель, что хлеб – из белоснежной муки, что непотребные девки – дамы, что хозяин постоялого двора – владелец замка, и первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его – то, что он еще

---

<sup>1</sup> *Ланцелот* – прославленный рыцарь «Круглого Стола», влюбленный в Джиневру, жену короля Артура, в честь которой им было совершено множество подвигов. В тексте приводятся стихи из старинного романа о Ланцелоте.

<sup>2</sup> *Реал* – старинная испанская серебряная или медная монета. Один серебряный реал равнялся двум медным.

не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел права искать приключений.

### Глава III,

*в коей рассказывается о том, каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари*

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

– Доблестный рыцарь! Я не двинусь с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу, – исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувыдаемою славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустил перед ним на колени, и услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.

– Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего несказанного великодушия, – заметил Дон Кихот. – Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари; ночь я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи, как мы уже говорили, изрядною шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, – при этих же словах он совершенно в том уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем разумны, и, вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: бродил по разным странам и, в поисках приключений неукоснительно заглядывая в Перчелес под Малагой<sup>1</sup>, на Риаранские острова<sup>2</sup>, в севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийскую Оливеру, гранадскую Рондилью<sup>3</sup>, на набережную в Сан Лукаре, в кордовский Потро<sup>4</sup>, толедские игорные притоны и еще кое-куда, развивал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычайную шкодливость, не давал проходу вдовушкам, соблазнял девиц, совращал малолетних, так что слава его гремела по всем испанским судам и судилищам; под конец же удалился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим достоянием. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, бог даст, все приличествующие случаю церемонии будут совершены и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из

---

<sup>1</sup> *Перчелес под Малагой* – Перчелес – местность в окрестностях города Малаги.

<sup>2</sup> *Риаранские острова* – предместье Малаги. Отдельные группы домов носили название «островов».

<sup>3</sup> *Севильский Компас*, сеговийский Асогехо, валенсийская (Оливера, гранадская Рондилья – пригородные районы, пользовавшиеся дурной славой.

<sup>4</sup> *Кордовский Потро* – предместье в южной части Кордовы, в котором жил уголовный сброд.

странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, коей врачевали они свои раны: ведь не всегда же в полях и в пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако и направлял к нему по воздуху какую-нибудь девицу или же карлика с пузырьком воды столь целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько капель – и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены деньгами и прочими необходимыми вещами, как-то: корпией и лечебными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не было, – случай редкий, можно сказать, исключительный, – те сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, старались как можно лучше спрятать; впрочем, обычай возить с собою сумочки не принадлежал к числу наиболее распространенных среди странствующих рыцарей. В заключение хозяин посоветовал Дон Кихоту, – хотя, в сущности, он имел право приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был стать его крестником, – впредь без денег и упомянутых снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что в один прекрасный день они ему пригодятся.



Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копьё и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед; и

только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то опершись на копьё, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

– Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом! Помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью заплатишься ты за свою продерзость!

Погонщик и в ус себе не дул, – а между тем лучше было бы, если бы он дул: по крайности, его самого тогда бы не вздули, – он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсине, сказал:

– Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу – вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание – не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копьё и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, – ибо тот все еще лежал без чувств, – вздумал напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копьё и так хватил второго погонщика, что не копьё разлетелось на куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, воскликнул:

– О царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что, если б сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней, – тот по мере возможности закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка – за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, – малодушным и неучтивым кавальеро, да еще прибавил, что если б он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство.

– А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все что хотите, – сейчас вы заплатите за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал неборимый

страх; и, отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине, вот, мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успехом можно проделать; что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых – впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из шлюх препоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность: в самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах у присутствовавших.

– Да поможет бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! – препоясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестною своею дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, ныне проживающего в торговых рядах Санчо Бьенайи, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему прибавить к своей фамилии *донья*<sup>1</sup> и впредь именоваться *доньей* Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дожидаться минуты, когда можно будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключений, и, после того как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную, речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.

## Глава IV

---

<sup>1</sup> *Донья*. – Дон, донья – звание лица дворянского сословия.

*О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора*

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подсакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное – деньгами и сорочками; в оруженосцы же *себе* прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таких обязанностей как нельзя более подходившего. С этой целью он поворотил Росинанта в сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донесли тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва слышав их, он тотчас воскликнул:

– Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, – за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями.

– Смотри в оба, а язык держи за зубами, – приговаривал он.

А мальчуган причитал:

– Больше не буду, хозяин, Христом-богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!

Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:

– Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копьё, – надобно заметить, что у сельчанина тоже было копьё: он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла, – и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьём, подумал, что пришла его смерть.

– Сеньор кавальеро! – вкрадчивым голосом заговорил он. – Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и спасением; души, что он врет.

– Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? – воскликнул рыцарь. – Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьём проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свидетелем всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу; тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошелливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин ответил так: он, дескать, уже клялся, – хотя до сих пор об этом не было и речи, – и теперь говорит, как на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемог.

– Это все так, – возразил Дон Кихот, – однако вы ни за что ни про что отхлестали его ремнем, – пусть же это пойдет в уплату за обувь и кровопускания: ведь если он порвал кожу



на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

– Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой денег, – придется Андресу пойти со мной, и дома я заплачу ему все до последнего реала.

– Чтобы я с ним пошел? – воскликнул мальчуган. – Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

– Он этого не сделает, – возразил Дон Кихот, – я ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.

– Помилуйте, сеньор, что вы говорите! – воскликнул мальчуган. – Мой хозяин – вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит, – это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.

– Это ничего не значит, – возразил Дон Кихот, – и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более что каждого человека должно судить по его делам.

– Это верно, – согласился Андрес, – но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

– Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? – снова заговорил сельчанин. – Сделай милость, пойдем со мной, – клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что заплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью заплачу.

– Можно и без радости, – сказал Дон Кихот, – уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных, засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

– Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и заплачу тебе долг.

– Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость, – заметил Андрес. – В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет; он такой храбрый и такой справедливый, что, если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

– Я тоже в этом не сомневаюсь, – сказал сельчанин, – но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю; еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.

– Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится, – сказал сельчанин. – Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел, – у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:

– По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, – ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа: как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стремянах, сжал в руке копьё, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

– Все, сколько вас ни есть, – ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:

– Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.

– Если я вам ее покажу, – возразил Дон Кихот, – то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.

– Сеньор кавальеро! – снова заговорил купец. – От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, и вдобавок не унижить подобным свидетельством императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и убогаторим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочатся киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства.

– Ничего такого у нее не сочтется, подлая тварь! – пылая гневом, вскричал Дон Кихот. –

Ничего такого у нее не сочтется, говорю я, – это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

С этими словами он взял копьё наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать – и не мог: копьё, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаюсь подняться, он все еще кричал:

– Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копьё, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальера в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле, – рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив, – он полагал, что это обычное злключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать, – уж очень болели у него все кости.

## Глава V,

*в коей продолжается рассказ о злключении нашего рыцаря*

Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, а именно: припомнить какое-нибудь из происшествий, что описываются в романах, и тут расстроенному его воображению представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским<sup>1</sup> после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах, – представилась вся эта история, хорошо известная детям, памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые также склонны принимать ее на веру, и, однако ж, не более правдивая, чем рассказы о чудесах Магомета. Между этой самой историей и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее; и вот в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда произнесенные раненым Рыцарем Леса:

Где же ты, моя сеньора?  
Что не делишь скорбь со мной?

---

<sup>1</sup> ...что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским... – испанский вариант одного из сказаний «каролингского цикла», то есть цикла французских поэм XII в., связанных с императором Карлом Великим. Маркиз Мантуанский, отставший от своей свиты во время охоты, находит в лесу Балдуина, раненного насмерть сыном Карла Великого – Карлотто. Маркиз дает клятву перед распятием не расчесывать бороды, не появляться в городе и не расставаться с оружием ни днем, ни ночью до тех пор, пока он не отомстит убийце Балдуина.

Или ты о ней не знаешь,  
Или я тебе чужой?

И так, читая на память этот романс, дошел он наконец до стихов:

О властитель мантуанский,  
Государь и дядя мой!

В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно; и как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него болит и отчего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ о своем несчастье и о любви сына императора к своей мачехе, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял с него забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

– Сеньор Кихана! (Так звали Дон Кихота, пока он еще не лишился рассудка и из степенного идальго не превратился в странствующего рыцаря.) Кто же это вас так избил?

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же самого романа. Тогда добрый земледелец, чтобы удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, полагая, что осел более смирное животное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раздумье, пропуская мимо ушей то, что говорил Дон Кихот, зашагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в задумчивость; избитый до полусмерти, он едва мог держаться в седле и по временам выпускал достигавшие неба вздохи, так что земледелец в конце концов снова принужден был спросить, что у него болит, но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказки, применимые к его собственным похождениям, ибо в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как антекерский алькайд Родриго де Нарваэс<sup>1</sup> взял в плен мавра Абиндарраэса<sup>2</sup> и привел его в свой замок. И когда земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорхе де Монтемайора *Диана*, где описывается эта история, пленный Абенсерраг<sup>3</sup> обращается к Родриго де Нарваэсу. И так искусно сумел он применить историю с мавром к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз помянул черта; именно эта галиматья и навела земледельца на мысль, что односельчанин его спятил, и, чтобы поскорей отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, решил он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заключение:

– Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам сейчас рассказывал, это и есть очаровательная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет.

Земледелец ему на это сказал:

– Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, сеньор, что никакой я не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так же точно и ваша милость: никакой вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный

---

<sup>1</sup> *Родриго де Нарваэс* – первый алькайд (комендант) Антекеры после отвоевания этого города испанцами у мавров в 1410 г.

<sup>2</sup> *Абиндарраэс* – знатный мавр, персонаж небольшого рассказа «История Абиндарраэса и Харифы», опубликованного в сборнике поэта Антонио де Вильегас (1549? – ок. 1577). Этот рассказ получил большую популярность благодаря тому, что был включен в четвертую часть пасторального (пастушеского) романа Хорхе де Монтемайора (1520? – 1561) «Диана».

<sup>3</sup> *Абенсерраг* – один из знатных мавританских родов в Гранаде.

идальго, сеньор Кихана.

– Я сам знаю, кто я таков, – возразил Дон Кихот, – и еще я знаю, что имею право назваться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэрами Франции<sup>1</sup>, а также всеми Девятью Мужами Славы<sup>2</sup>, ибо подвиги, которые они совершили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они своего села; однако ж избитый идальго еле держался в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо дожидаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он направился прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смятение и откуда доносился громкий голос ключницы, разговаривавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священником и цирюльником.

– Что вы скажете, сеньор лиценциат<sup>3</sup> Перо Перес (так звали священника), о злключении моего господина? Вот уж три дня, как исчезли и он, и лошадь, и щит, и копье, и доспехи. Что я за несчастная! Одно могу сказать – и это так же верно, как то, что все мы сначала рождаемся, а потом умираем, – начитался он этих проклятых рыцарских книжек, вот они и свели его с ума. Теперь-то я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем и ради приключений начать скитаться по всему белому свету. Пускай Сатана и Варавва унесут эти книги, коли из-за них помрачился светлый его ум: ведь другого такого не сыщешь во всей Ламанче.

Племянница к ней присоединилась.

– Знаете, сеньор маэсе Николас, – заговорила она, обращаясь к цирюльнику, – дядюшке моему не раз случалось двое суток подряд читать скверные эти *романы злключений*. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. «Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них ростом с башню». Пот с него градом, а он говорит, что это кровь течет, – его, видите ли, ранили в бою. Ну, а потом выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успокоится: это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый – как бишь его? – не то Алкиф, не то Паф-пиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я во всем виновата: если б я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему дойти до такой крайности, вы сожгли бы все эти богомерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно пора, все равно как писания еретиков, бросить в костер.

– Я тоже так думаю, – заметил священник, – и даю вам слово, что завтра же мы устроим аутодафе и предадим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас добрый мой друг.

Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор, и тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг овладел его односельчанином, стал громко кричать:

– Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело раненному маркизу Мантуанскому и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого ведет в плен антекерский алькайд, доблестный Родриго де Нарваэс!

На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали своего друга, а женщины – дядю своего и господина, который все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бросились обнимать его. Он же сказал им:

– Погодите! Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если можно, позовите мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и залечила мои раны.

– Вот беда-то! – воскликнула ключница – Чуяло мое сердце, на какую ногу захромал

---

<sup>1</sup> *Двенадцать Пэров Франции* – упоминающиеся в средневековых рыцарских поэмах двенадцать паладинов Карла Великого, в числе которых значились и часто встречающиеся в «Дон Кихоте» Роланд, Ринальд Монтальванский и др.

<sup>2</sup> *Девять Мужей Славы* – Таковыми считались библейский вождь, преемник Моисея – Иисус Навин, библейский царь, герой, победивший великана Голиафа, и псалмопевец Давид, библейский герой, освободитель своего народа Иуда Маккавей, Александр Македонский, герой Троянской войны Гектор, Юлий Цезарь, король Артур, император Карл Великий и герой первого крестового похода герцог Готфрид Бульонский.

<sup>3</sup> *Лиценциат* – лицо, получившее диплом об окончании университета.

мой хозяин! Слезайте с богом, ваша милость, мы и без этой *Поганды* сумеем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские книжки, будь они трижды прокляты!

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, однако ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, каких еще не видывал свет, он вместе со своим конем Росинантом грянулся оземь.

– Те-те-те! – воскликнул священник. – Дело уже и до исполинов дошло? Накажи меня бог, если завтра же, еще до захода солнца, все они не будут сожжены.

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполнено, а затем священник начал подробно расспрашивать земледельца о том, как ему удалось найти Дон Кихота. Когда же земледелец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую, валяясь на земле и по дороге домой, молол наш рыцарь, лицензиат загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он действительно на другой день и осуществил, а именно: зашел за своим приятелем, цирюльником маэсе Николасом, и вместе с ним отправился к Дон Кихоту.

## Глава VI

*О тщательнейшем и забавном осмотре, который священник и цирюльник произвели в книгохранилище хитроумного нашего идадьго*

Тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключ от комнаты, где находились эти зловредные книги, и она с превеликою готовностью исполнила его просьбу; когда же все вошли туда, в том числе и ключница, то обнаружили более ста больших книг в весьма добротных переплетах, а также другие книги, менее внушительных размеров, и ключница, окинув их взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас же вернулась с чашкой святой воды и с кропилом.

– Пожалуйста, ваша милость, сеньор лицензиат, окропите комнату, – сказала она, – а то еще кто-нибудь из волшебников, которые прячутся в этих книгах, заколдует нас в отместку за то, что мы собираемся сжечь их всех со свету.

Посмеялся лицензиат простодушию ключницы и предложил цирюльнику такой порядок: цирюльник будет передавать ему эти книги по одной, а он-де займется их осмотром, – может статься, некоторые из них и не повинны смерти.

– Нет, – возразила племянница, – ни одна из них не заслуживает прощения, все они причинили нам зло. Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь. А еще лучше отнести на скотный двор и там сложить из них костер, тогда и дым не будет нас беспокоить.

Ключница к ней присоединилась, – обе они страстно желали гибели этих невинных страдальцев; однако ж священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы заглавия. И первое, что вручил ему маэсе Николас, это *Амадуса Галльского в четырех частях*.

– В этом есть нечто знаменательное, – сказал священник, – сколько мне известно, перед нами первый рыцарский роман, вышедший из печати в Испании, и от него берут начало и ведут свое происхождение все остальные, а потому, мне кажется, как основоположника сей богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления предать его огню.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – я слышал другое: говорят, что это лучшая из книг, кем-либо в этом роде сочиненных, а потому, в виде особого исключения, должно его помиловать.

– Ваша правда, – согласился священник, – примем это в соображение и временно даруем ему жизнь. Посмотрим теперь, кто там стоит рядом с ним.

– *Подвиги Эспландиана*<sup>1</sup>, законного, сына Амадуса Галльского, – возгласил цирюльник.

---

<sup>1</sup> «Подвиги Эспландиана» – роман «Подвиги весьма добродетельного рыцаря Эспландиана, сына Амадуса Галльского, вышел в свет в 1510 г.

– Справедливость требует заметить, что заслуги отца на сына не распространяются, – сказал священник. – Нате, сеньора домоправительница, откройте окно и выбросьте его, пусть он положит начало груде книг, из которых мы устроим костер.

Ключница с особым удовольствием привела это в исполнение: добрый Эспландиан полетел во двор и там весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни.

– Дальше, – сказал священник.

– За ним идет *Амадис Греческий*, – сказал цирюльник, – да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят.

– Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор, – сказал священник. – Только за то, чтобы иметь удовольствие сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами и всю эту хитросплетенную чертовщину, какую развел здесь автор, я и собственного родителя не постеснялся бы сжечь, если бы только он принял образ странствующего рыцаря.

– И я того же мнения, – сказал цирюльник.

– И я, – сказала племянница.

– А коли так, – сказала ключница, – давайте их сюда, я их прямо во двор.

Ей дали изрядное количество книг, и она, шадя, как видно, лестницу, побросала их в окно.

– А это еще что за толстяк? – спросил священник.

– Дон *Оливант Лаврский*<sup>1</sup>, – отвечал цирюльник.

– Эту книгу сочинил автор *Цветочного сада*, – сказал священник. – Откровенно говоря, я не сумел бы определить, какая из них более правдива или, вернее, менее лжива. Одно могу сказать: книга дерзкая и нелепая, а потому – в окно ее.

– Следующий – *Флорисмарт Гирканский*<sup>2</sup>, – объявил цирюльник.

– А, и сеньор Флорисмарт здесь? – воскликнул священник. – Бьюсь об заклад, что он тоже мгновенно очутится на дворе, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, при которых он произошел на свет, и на громкие его дела. Он написан таким тяжелым и сухим языком, что ничего иного и не заслуживает. Во двор его, сеньора домоправительница, и еще вот этого заодно.

– Охотно, государь мой, – молвила ключница, с великою радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

– Это *Рыцарь Платир*<sup>3</sup>, – объявил цирюльник.

– Старинный роман, – заметил священник, однако ж я не вижу причины, по которой он заслуживал бы снисхождения. Без всяких разговоров препроводите его туда же.

Как сказано, так и сделано. Раскрыли еще одну книгу, под заглавием *Рыцарь Креста*.<sup>4</sup>

– Ради такого душеспасительного заглавия можно было бы простить автору его невежество. С другой стороны, недаром же говорится: «За крестом стоит сам дьявол». В огонь его!

Цирюльник достал с полки еще один том и сказал:

– Это *Зерцало рыцарства*<sup>5</sup>.

– Знаю я сию почтенную книгу, – сказал священник. – В ней действуют сеньор Ринальд

---

1 «Дон Оливант Лаврский» – Полное название этого романа Антоньо де Торкемады – «Повествование о непобедимом рыцаре Оливанте Лаврском, принце Македонском, ставшем, благодаря чудесным своим подвигам, императором константинопольским» (1564).

2 «Флорисмарт Гирканский...» – Автором этого романа («Первая часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Флорисмарте Гирканском», 1556) является Мельчор Ортега. В романе «Дон Кихот» встречается и другое написание имени Флорисмарт: Фелисмарт.

3 «Рыцарь Платир» – «Летопись деяний весьма отважного и могучего рыцаря Платира, сына императора Прималеона» (1533).

4 «Рыцарь Креста...» – Роман состоит из двух частей: первая часть носит название: «Летопись деяний Леполемо, прозванного Рыцарем Креста, сына императора германского, написанная на арабском языке и переведенная на испанский» (1521).

5 «Зерцало рыцарства...» – Речь идет о романе под названием «Первая, вторая и третья части Влюбленного Роланда. Зерцало рыцарства, в коем повествуется о деяниях графа Роланда и могучего рыцаря Ринальда Монтальванского и многих других именитых рыцарей» (1586).

Монтальванский со своими друзьями-приятелями, жуликами почище самого Кака, и Двенадцать Пэров Франции вместе с их правдивым летописцем Турпином<sup>1</sup>. Впрочем, откровенно говоря, я отправил бы их на вечное поселение – и только, хотя бы потому, что они причастны к замыслу знаменитого Маттео Боярдо<sup>2</sup>, сочинение же Боярдо, в свою очередь, послужило канвой для Лодовико Ариосто, поэта, проникнутого истинно христианским чувством, и вот если мне попадется здесь Ариосто и если при этом обнаружится, что он говорит не на своем родном, а на чужом языке, то я не почувствую к нему никакого уважения, если же на своем, то я возложу его себе на голову.

– У меня он есть по-итальянски, – сказал цирюльник, – но я его не понимаю.

– И хорошо, что не понимаете, – заметил священник, – мы бы и сеньору военачальнику<sup>3</sup> это простили, лишь бы он не переносил Ариосто в Испанию и не делал из него кастильца: ведь через то он лишил его многих природных достоинств, как это случается со всеми, кто берется переводить поэтические произведения, ибо самому добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться на такую высоту, какой достигают они в первоначальном своем виде. Словом, я хочу сказать, что эту книгу вместе с прочими досужими вымыслами французских сочинителей следует бросить на дно высохшего колодца, и пусть они там и лежат, пока мы, по зрелом размышлении, не придумаем, как с ними поступить; я бы только не помиловал *Бернардо дель Карпьо*<sup>4</sup>, который, уж верно, где-нибудь тут притаился, и еще одну книгу, под названием *Ронсеваль*<sup>5</sup>: эти две книги, как скоро они попадутся мне в руки, тотчас перейдут в руки домоправительницы, домоправительница же без всякого снисхождения предаст их огню.

Цирюльник поддержал священника, – он почитал его за доброго христианина и верного друга истины, который ни за какие блага в мире не станет кривить душой, а потому суждения его показались цирюльнику справедливыми и весьма остроумными. Засим он раскрыл еще одну книгу: то был *Пальмерин Оливский*<sup>6</sup>, а рядом с ним стоял *Пальмерин Английский*. Прочитав заглавия, лицензиат сказал:

– *Оливку* эту растоптать и сжечь, а пепел развеять по ветру, но английскую *пальму* должно хранить и беречь, как зеницу ока, в особом ларце<sup>7</sup>, вроде того, который найден был Александром Македонским среди трофеев, оставшихся после Дария, и в котором он потом хранил творения Гомера. Эта книга, любезный друг, достойна уважения по двум причинам: во-первых, она отменно хороша сама по себе, а во-вторых, если верить преданию, ее написал один мудрый португальский король. Приключения в замке *Следи-и-бди* очаровательны – все они обличают в авторе великого искусника. Бдительный автор строго следит за тем, чтобы герои его рассуждали здраво и выражали свои мысли изысканно и ясно, в полном соответствии с положением, какое они занимают в обществе. Итак, сеньор маэсе Николас, буде на то *ваша* добрая воля, этот роман, а также *Амадис Галльский* избегнут огня, прочие же, без всякого дальнейшего осмотра и проверки, да погибнут.

– Погодите, любезный друг, – возразил цирюльник, – у меня в руках прославленный

---

<sup>1</sup> *Правдивый летописец Турпин* – согласно средневековым сказаниям, реймский архиепископ Турпин – один из уцелевших участников сражения в Ронсевальском ущелье. Ему приписывали авторство латинской «Хроники архиепископа Турпина», относящейся к XI в. и представляющей собою рассказ о легендарных деяниях Карла Великого и Роланда в Испании.

<sup>2</sup> *Маттео Боярдо* (1434–1494) – итальянский писатель, автор поэмы «Влюбленный Роланд». Сюжет «Влюбленного Роланда» был в дальнейшем разработан Лодовико Ариосто в поэме «Неистовый Роланд».

<sup>3</sup> ...*сеньору военачальнику*... – Имеется в виду Херонимо де Урреа, который перевел на испанский язык «Неистового Роланда» в 1549 г. Перевод считается малохудожественным.

<sup>4</sup> «*Бернардо дель Карпьо*» – поэма Аугустино Алонсо под названием «Повествование о подвигах и деяниях непобедимого рыцаря Бернардо дель Карпьо» (1585).

<sup>5</sup> «*Ронсеваль*» – написанная плохими октавами поэма Франсиско Гарридо Вильена «Правдивое описание славного сражения в Ронсевале, а также гибели Двенадцати Пэров Франции» (1555).

<sup>6</sup> «*Пальмерин Оливский*» – Первая часть этого романа вышла в свет в 1511 г. под названием «Книга о могучем рыцаре Дальмерине Оливском».

<sup>7</sup> ...*в особом ларце*... – Согласно рассказу Плутарха, Александр Македонский, найдя среди добычи, захваченной им после поражения Дария, богатый ларец, велел хранить в нем сочинения Гомера.



*Дон Бельянис.*

– Этому, – рассудил священник, – за вторую, третью и четвертую части не мешает дать ревеню, дабы освободить его от избытка желчи, а затем надлежит выбросить из него все, что касается Замка Славы, и еще худшие несуразности, для каковой цели давайте отложим судебное разбирательство на неопределенный срок, дабы потом, в зависимости от того, исправится он или нет, вынести мягкий или же суровый приговор. А пока что, любезный друг, возьмите его себе, но только никому не давайте читать.

– С удовольствием, – молвил цирюльник.

Не желая тратить силы на дальнейший осмотр рыцарских романов, он велел ключнице забрать все большие тома и выбросить во двор. Ключница же не заставляла себя долго ждать и упрашивать – напротив, складывать из книг костер представлялось ей куда более легким делом, нежели ткать огромный кусок тончайшего полотна, а потому, схватив в охапку штук восемь зараз, она выкинула их в окно. Ноша эта оказалась для нее, впрочем, непосильною, и одна из книг упала к ногам цирюльника, – тот, пожелав узнать, что это такое, прочел: *История славного рыцаря Тиранта Белого*<sup>1</sup>.

– С нами крестная сила! – возопил священник. – Как, и *Тирант Белый* здесь? Дайте-ка мне его, любезный друг, это же сокровищница наслаждений и залежи утех. В нем выведены доблестный рыцарь дон Кириэлейсон Монтальванский, брат его, Томас Монтальванский, и рыцарь Фонсека, в нем изображается битва отважного Тиранта с догом, в нем описываются хитрости девы Отрады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, сердечная склонность императрицы к ее конюшему Ипполиту. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью составляют завещания, и еще в ней много такого, что в других книгах этого сорта отсутствует. Со всем тем автор ее умышленно нагородил столько всякого вздора, что его следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возьмите ее с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней истинную правду.

– Так я и сделаю, – сказал цирюльник. – А как же быть с маленькими книжками?

– Это не рыцарские романы, это, как видно, стихи, – сказал священник.

Раскрыв наудачу одну из них и увидев, что это *Диана Хорхе де Монтемайора*<sup>2</sup>, он подумал, что и остальные должны быть в таком же роде.

– Эти жечь не следует, – сказал он, – они не причиняют и никогда не причинят такого зла, как рыцарские романы: это хорошие книги и совершенно безвредные.

– Ах, сеньор! – воскликнула племянница. – Давайте сожжем их вместе с прочими! Ведь если у моего дядюшки и пройдет помешательство на рыцарских романах, так он, чего доброго, примется за чтение стихов, и тут ему вспадет на ум сделаться пастушком: станет бродить по рощам и лугам, петь, играть на свирели или, еще того хуже, сам станет поэтом, а я слыхала, что болезнь эта прилипчива и неизлечима.

– Девица говорит дело, – заметил священник, – лучше устранить с пути нашего друга и этот камень преткновения. Что касается *Дианы Монтемайора*, то я предлагаю не сжигать эту книгу, а только выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисье и волшебной воде, а также почти все ее длинные строчки<sup>3</sup>, оставим ей в добрый час ее прозу и честь быть первой в ряду ей подобных.

– За нею следуют так называемая *Вторая Диана*, *Диана Саламантинца*<sup>4</sup>, – сказал

---

<sup>1</sup> *История славного рыцаря Тиранта Белого*. – Речь идет об испанском переводе (1511) каталонского рыцарского романа, вышедшего в 1490 г., «Могучий и непобедимый рыцарь Тирант Белый, в пяти частях». В отличие от обычного типа рыцарских романов в «Тиранте Белом» иногда проскальзывают намеки на реальную действительность и заметна попытка снизить условную героину, о чем свидетельствуют, в частности, приводимые священником гротескные названия отдельных персонажей романа: Кириэлейсон (начальные слова молитвы «Господи, помилуй!»), дева Отрада (в подлиннике: Отрада моей жизни), вдова Потрафира и др.

<sup>2</sup> «*Диана*» *Хорхе де Монтемайора*. – Этот роман оказал большое влияние на развитие так называемого пасторального жанра в Испании.

<sup>3</sup> *Длинные строчки* – стихотворные строки, состоящие из двенадцати слогов. «Диана», как характерно для пасторального романа вообще, – произведение, в котором проза чередуется со стихами.

<sup>4</sup> *Вторая «Диана»* ... *Саламантинца* – вышла в свет в 1564 г., подражание «Диане» Монтемайора, автором

цирюльник, – и еще одна книга под тем же названием, сочинение Хиля Поло<sup>1</sup>.

– Саламантинец отправится вслед за другими во двор и увеличит собою число приговоренных к сожжению, – рассудил священник, – но *Диану* Хиля Поло должно беречь так, как если бы ее написал сам Аполлон. Ну, давайте дальше, любезный друг, мешкать нечего, ведь уж поздно.

– Это *Счастье любви в десяти частях*<sup>2</sup>, – вытащив еще одну книгу, объявил цирюльник, – сочинение сардинского поэта Антоньо де Лофрасо.

– Клянусь моим саном, – сказал священник, – что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы – музами, а поэты – поэтами, никто еще не сочинял столь занятной и столь нелепой книги; это единственное в своем роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-либо появлявшихся на свет божий, и кто ее не читал, тот еще не читал ничего увлекательного. Дайте-ка ее сюда, любезный друг, – если б мне подарили сутану из флорентийского шелка, то я не так был бы ей рад, как этой находке.

Весьма довольный, он отложил книгу в сторону, цирюльник между тем продолжал:

– Далее следуют *Иберийский пастух, Энаресские нимфы и Исцеление ревности*.

– Предадим их, не колеблясь, в руки светской власти, сиречь ключницы, – сказал священник. – Резонов на то не спрашивайте, иначе мы никогда не кончим.

– За ними идет *Пастух Филиды*<sup>3</sup>.

– Он вовсе не пастух, – заметил священник, – а весьма просвещенный столичный житель. Будем беречь его как некую драгоценность.

– Эта толстая книга носит название *Сокровищницы разных стихотворений*<sup>4</sup>, – объявил цирюльник.

– Будь их поменьше, мы бы их больше ценили, – заметил священник. – Следует выполоть ее и очистить от всего низкого, попавшего в нее вместе с высоким. Поощрим ее, во-первых, потому, что автор ее – мой друг, а во-вторых, из уважения к другим его произведениям, более возвышенным и героичным.

– Вот *Сборник песен* Лопеса Мальдонадо<sup>5</sup>, – продолжал цирюльник.

– С этим автором мы тоже большие друзья, – сказал священник, – и в его собственном исполнении песни эти всех приводят в восторг, ибо голос у него поистине ангельский. Эклоги его растянуты, ну да ведь хорошим никогда сыт не будешь. Присоединим же его к избранникам. А что за книга стоит рядом с этой?

– *Галатя* Мигеля де Сервантеса, – отвечал цирюльник.

– С этим самым Сервантесом я с давних пор в большой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй части: может статься, он исправится и заслужит наконец снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне. А до тех пор держите его у себя в заточении.

– С удовольствием, любезный друг, – сказал цирюльник. – Вот еще три книжки: *Араукана* дона Алонсо де Эрсильи<sup>6</sup>, *Австриада* Хуана Руфо<sup>7</sup>, кордовского судьи, и

---

ее был саламанкский врач Алонсо Перес.

1 «*Диана*» Хиля Поло – другое подражание Монтемайору, автором ее был Гаспар Хиль Поло (ум. 1591 г.), опубликована в том же году, что и роман Алонсо Переса.

2 «*Счастье любви, в десяти частях*» – роман Антоньо де Лофрасо, вышел в свет в 1573 г.

3 «*Пастух Филиды*» – пасторальный роман Луиса Гальвеса де Монтальво (1549?–1591), вышедший в 1582 г.

4 «*Сокровищница разных стихотворений*» – сборник стихов Педро де Падилья (1587). Педро де Падилья – испанский поэт и священник, друг Сервантеса.

5 «*Сборник песен*» Лопеса Мальдонадо – вышел в свет в 1586г. Лопес Мальдонадо Габриэль – испанский поэт, автор романсов и эпиграмм.

6 «*Араукана*» дона Алонсо де Эрсильи. – Алонсо де Эрсилья – знаменитый испанский поэт. Поэма «Араукана» посвящена войне испанцев с араукадцами (чилийскими индейцами), поднявшими восстание за независимость. Участник этой войны, Эрсилья, воспевая славу испанского оружия, восхищается в то же время мужеством индейцев. Первая часть вышла в 1569 г.; полностью поэма была опубликована в 1589 г.

7 «*Австриада*» Хуана Руфо – опубликованная в 1584 г. поэма, в которой воспеты подвиги побочного брата Филиппа II дона Хуана Австрийского.

*Монсеррат*<sup>1</sup> валенсийского поэта Кривовалю де Вирюэса.

– Эти три книги, – сказал священник, – лучшее из всего, что было написано героическим стихом на испанском языке: они стоят наравне с самыми знаменитыми итальянскими поэмами. Берегите их, – это вершины испанской поэзии.

Наконец просмотр книг утомил священника, и он предложил сжечь остальные без разбора, но цирюльник как раз в это время раскрыл еще одну – под названием *Слезы Анджелики*<sup>2</sup>.

– Я бы тоже проливал слезы, когда бы мне пришлось сжечь такую книгу, – сказал священник, – ибо автор ее один из лучших поэтов не только в Испании, но и во всем мире, и он так чудесно перевел некоторые сказания Овидия!

## Глава VII

### *О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанчского*

В это время послышался голос Дон Кихота.

– Сюда, сюда, отважные рыцари! – кричал он. – Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные рыцари возьмут верх на турнире.

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на шум и грохот, – от того-то некоторые и утверждают, что *Карлиада*<sup>3</sup> и *Лев Испанский*<sup>4</sup>, а также *Деяния императора*<sup>5</sup> дона Луиса де Авила, вне всякого сомнения находившиеся среди неразобранных книг, без суда и следствия полетели в огонь, тогда как если бы священник видел их, то, может статься, они и не подверглись бы столь тяжкому наказанию.

Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его обнаружили, что он уже встал с постели; казалось, он и не думал спать, – так он был оживлен: по-прежнему шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили в постель, – тут он несколько успокоился и, обратившись к священнику, молвил:

– Какой позор, – не правда ли, сеньор архиепископ Турпин? – что так называемые Двенадцать Пэров ни с того ни с сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд пожинали плоды победы!

– Полно, ваша милость, полно, любезный друг, – заговорил священник. – Бог даст, все обойдется, – что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра, а теперь, ваша милость, подумайте о своем здоровье: сдастся мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены.

– Ранен-то я не ранен, – возразил Дон Кихот, – а что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения: ублюдок Роланд бросился на меня с дубиной – и все из зависти, ибо единственно, кто не уступит ему в храбрости, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский, если, встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на все его чары. А пока что принесите мне поесть, сейчас я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище, а уж постоять за себя я и сам сумею.

Желание Дон Кихота было исполнено: ему принесли поесть, а затем он снова заснул, прочие же еще раз подивились его сумасбродству.

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все книги: и те, что валялись

---

1 «Монсеррат» – поэма Кривовалю де Вирюэса (1550–1609), испанского поэта и драматурга. Вышла в 1587 г.

2 «Слезы Анджелики» – поэма Луиса Бараона де Сото (1586) на сюжет, заимствованный из «Неистового Роланда» Ариосто.

3 «Карлиада» – поэма Хоронимо Семпере о Карле V (1560).

4 «Лев Испанский» – поэма Педро де ла Весилья Кастельянос под названием «Первая и вторая части Леона Испанского» (1584), в которой воспеваются основание города Леона (по-испански leon – лев) и повествуется о мученической смерти уроженцев этого города.

5 «Деяния императора» – поэма Луиса Сапата «Достославный Карл» (1566) в сорок тысяч стихов, посвященная императору Карлу V, ошибочно приписана Сервантесом Луису де Авила.

на дворе, и те, что еще оставались в комнате; по всей вероятности, вместе с ними сгорели и такие, которые надобно было сдать на вечное хранение в архив, но этому помешали судьба и нерадение учинявшего осмотр, – недаром говорит пословица, что из-за грешников частенько страдают и праведники.

Священник с цирюльником решили, что первое средство от недуга, который овладел их приятелем, – это заложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не нашел его (если, мол, устранить причину, то следствия, может статься, отпадут сами собой), а затем объявить ему, что некий волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату; и все это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя Дон Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз подходил к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату; наконец после долгих поисков он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключницу же научили, как должно отвечать.

– О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша милость? – в свою очередь, спросила она. – Нет у нас теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол.

– Вовсе не дьявол, а волшебник, – возразила племянница. – После того как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только немного погодя, гляжу, вылетает через крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно только мы обе отлично помним: улетаая, этот злой старик громко крикнул, что по злобе, которую он втайне питает к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его мудрый Муньятон.

– Не Муньятон, а Фрестон, – поправил ее Дон Кихот.

– Не то Фрестон, не то Фритон, – вмешалась ключница, – помню только, что имя его оканчивается на тон.

– Так, так, – подхватил Дон Кихот, – это один мудрый волшебник, злейший мой враг: он меня ненавидит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого времени мне предстоит единоборство с рыцарем, коему он покровительствует, и что, несмотря на все его козни, я над тем рыцарем одержу победу, оттого-то он всеми силами и старается мне досадить. Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни обойти предустановленного небесами он не властен.

– Какие же тут могут быть сомнения! – воскликнула племянница. – Но только вот что, дядюшка: кто велит вашей милости лезть в драку? Не лучше ли спокойно сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью – гляди, как бы самого не обстригли?

– Ах, племянница! – воскликнул Дон Кихот. – Как мало ты во всем этом смыслишь! Прежде нежели меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороду всякому, кто посмеет дотронуться до кончика моего волоса.

Обе женщины, видя, что он гневается, решились более ему не перечить.

Как бы то ни было, целых две недели сидел он спокойно дома, ничем не обнаруживая желаний снова начать колобродить, и в течение этих двух недель у него не раз происходили в высшей степени забавные собеседования с двумя его приятелями, священником и цирюльником, которых он уверял, что в настоящее время мир ни в ком так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что странствующему рыцарству суждено воскреснуть в его лице. Священник, полагая, что его можно вразумить не иначе, как пустившись на хитрости, в иных случаях спорил с ним, в иных – соглашался.

Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с одним своим односельчанином: это был человек добропорядочный (если только подобное определение применимо к людям, которые не могут похвастаться порядочным количеством всякого добра), однако ж мозги у него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, такого наобещал и так сумел

его убедить, что в конце концов бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Кихот советовал ему особенно не мешкать, ибо вполне, дескать, может случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губернатором такого. Подобные обещания соблазнили Санчо Пансу – так звали нашего хлебопашца, – и он согласился покинуть жену и детей и стать оруженосцем своего односельчанина.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое-что продал, кое-что заложил с большим для себя убытком и в конце концов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и, починив, как мог, разбитый свой шлем, предупредил оруженосца Санчо о дне и часе выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а главное, не забыл взять с собой дорожную суму. Санчо дал слово, что не забудет, но, сославшись на то, что он не мастак ходить пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел и что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озадачило Дон Кихота: он перебирал в памяти, был ли у кого-нибудь из странствующих рыцарей такой оруженосец, который прибегал к ослиному способу передвижения, но так и не припомнил; однако в надежде, что ему не замедлит представиться случай отбить коня у первого же неучтливового рыцаря, который встретится ему на пути, и передать это куда более почтенное четвероногое во владение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе взять осла. По совету хозяина постоялого двора Дон Кихот запасся сорочками и всем, чем только мог. Когда же все было готово и приведено в надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни с племянницей, ни с ключницей, в сопровождении Санчо Пансы, который тоже не простился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью тайком выехал из села; и за ночь им удалось отъехать на весьма значительное расстояние, так что, когда рассвело, они почувствовали себя в полной безопасности: если б и снарядили за ними погоню, то все равно уже не настигли бы их.

Санчо Панса не забыл приторочить суму и бурдюк, и теперь он, горя желанием сделаться губернатором обещанного острова, как некий патриарх, восседал на осле. Между тем Дон Кихот избрал тот же самый путь и двинулся по той же дороге, по какой ехал он в прошлый раз, то есть по Монтельской равнине, только теперь он чувствовал себя несравненно бодрее, ибо время было еще раннее и косые лучи солнца не очень его беспокоили. Тут-то и обратился Санчо Панса к своему господину:

– Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте, что вы мне обещали насчет острова, а уж я с каким угодно островом управлюсь.

Дон Кихот ему на это сказал:

– Надобно тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в былые времена странствующие рыцари имели обыкновение назначать правителями завоеванных ими островов и королевств своих же собственных оруженосцев, а уж за мной дело не станет, ибо я положил восстановить похвальный этот обычай. Более того, я намерен пойти еще дальше: прежде рыцари иной раз, а пожалуй, даже и всякий раз, ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь по прошествии многих беспокойных дней и еще менее спокойных ночей, когда тем уже не под силу становилось служить, присваивали им титул графа или, в лучшем случае, маркиза и вводили их во владение землей или какой-нибудь захудалой провинцией. Если же мы с тобой будем живы и здоровы, то легко может случиться, что не пройдет и недели, как я уже завоюю королевство, коему подвластно еще несколько королевств, и какое из них тебе полюбитя, тем я тебя, короновав, и пожалую. И пусть это тебя не удивляет: с рыцарями творятся дела необыкновенные и происходят случаи непредвиденные, так что мне ничего не будет стоить наградить тебя еще чем-нибудь сверх того, что я обещал.

– Значит, выходит так, – заключил Санчо Панса, – что если я каким-нибудь чудом стану королем, то Хуана Гутьеррес, моя благоверная, станет, по меньшей мере, королевой, а детки мои – инфантами?

– Кто же в этом сомневается? – возразил Дон Кихот.

– Да я первый, – отвечал Санчо Панса. – Ведь если б даже господь устроил так, чтобы

королевские короны сыпались на землю дождем, и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Мари Гутьеррес. Уверяю вас, сеньор, что королевы из нее нипочем не выйдет. Графиня – это еще так-сяк, да и то бабушка надвое сказала.

– Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на бога, – сказал Дон Кихот, – и он наградит твою жену тем, что ей более всего подходит. Ты же не роняй своего достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись.

– Ни за что не помирюсь, государь мой, – сказал Санчо. – Такой важный господин, как вы, ваша милость, всегда сумеет выбрать для меня что-нибудь такое, что придется мне по плечу и по нраву.

## Глава VIII

*О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы не без приятности упомянем*

Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:

– Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, – я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основой нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли – значит верой и правдой послужить богу.

– Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса.

– Да вон они, с громадными руками, – отвечал его господин. – У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.

– Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо, – то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; то же, что вы принимаете за их руки, – это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.

– Сейчас видно неопытного искателя приключений, – заметил Дон Кихот, – это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал:

– Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:

– Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриарей<sup>1</sup>, и тогда пришлось бы вам поплатиться!

Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копьё в крыло ближайшей мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может, пошевелиться – так тяжело упал

<sup>1</sup> Бриарей (миф.) – сторукий великан.

он с Росинанта.

– Ах ты, господи! – воскликнул Санчо. – Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее, что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.

– Помолчи, друг Санчо, – сказал Дон Кихот. – Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы, – так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча.

– Это уж как бог даст, – заметил Санчо Панса.

Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее происшествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало; одно лишь огорчало его – то, что он лишился копья, и, поведав горе свое оруженосцу, он сказал:

– Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени Дьего Перес де Варгас<sup>1</sup>, утратив в бою свой меч, отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище Дубас, и с тех пор он и его потомки именуются *Варгас-Дубас*. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, все равно – обыкновенного или каменного, такой же величины, какой, я себе представляю, долженствовал быть у Варгаса, и при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными.

– Все в руках божиих, – заметил Санчо. – Я верю всему, что говорит ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете набок, – верно, оттого, что ушиблись, когда падали.

– Твоя правда, – сказал Дон Кихот, – и если я не стону от боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки.

– Коли так, то мне возразить нечего, – сказал Санчо, – но одному богу известно, как бы я был рад, если б вы, ваша милость, пожаловались, когда у вас что-нибудь заболит. А уж доведись до меня, так я начну стонать от самой пустячной боли, если только этот закон не распространяется и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, что пора закусить. Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и принялся закусывать; он плелся шагком за своим господином и время от времени с таким смаком потягивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малагские трактирщики, а ведь у них по части вина раздолье. И пока Санчо отхлебывал понемножку, у него вылетели из головы все обещания, какие ему надавал Дон Кихот, а поиски приключений, пусть даже опасных, казались ему уже не тяжелой повинностью, но сплошным праздником.

Эту ночь они провели под деревьями; от одного из них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник – таким образом у него получилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульсинее. Совсем по-иному

---

<sup>1</sup> *Дьего Перес де Варгас* – толедский рыцарь; служил в войсках Фернандо III; отличался необычайной храбростью и мужеством в боях с маврами.

провел ее Санчо Панса: наполнив себе брюхо отнюдь не цикорной водой<sup>1</sup>, он мертвым сном проспал до утра, и, не разбудив его Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовало наступивший день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня; это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не пожелал завтракать, – как уже было сказано, он питался одними сладкими мечтами. Оба выехали на дорогу, и около трех часов пополудни вдаль показалось Ущелье Лаписе.

– Здесь, брат Санчо, – завидев ущелье, сказал Дон Кихот, – мы, что называется, по локоть запустим руки в приключения. Но предупреждаю: какая бы опасность мне ни грозила, ты не должен браться за меч, разве только ты увидишь, что на меня нападают смерды, люди низкого звания: в сем случае ты волен оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не должен и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцари.

– Насчет этого можете быть уверены, сеньор: я из повиновения не выйду, – сказал Санчо. – Тем более нрав у меня тихий; лезть в драку, затевать перепалку – это не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, тут уж я, по правде сказать, на рыцарские законы не погляжу: ведь и божеские и человеческие законы никому не воспрещают обороняться.

– С этим я вполне согласен, – сказал Дон Кихот. – Тебе придется сдерживать естественные свои порывы только в том случае, если на меня нападут рыцари.

– Непременно сдержу, – сказал Санчо, – для меня это установление будет священо, как воскресный отдых.

Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах, именно на верблюдах, иначе не скажешь, – такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках<sup>2</sup> и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи, – ехала она в Севилью, к мужу, который собирался в Америку, где его ожидала весьма почетная должность, монахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему оруженосцу:

– Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те черные страшилища, что показались вдаль, – это, само собой разумеется, волшебники: они похитили принцессу и увозят ее в карете, мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой умысел.

– Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельницами, – заметил Санчо. – Полноте, сеньор, да ведь это братья бенедиктинцы, а в карете, уж верно, едут какие-нибудь путешественники. Право, ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый попутает.

– Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь в приключениях, – возразил Дон Кихот. – Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостоверись.

Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги и, когда монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно было быть слышно его, громким голосом заговорил:

– Бесноватые чудища! Сей же час освободите благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете! А не то готовьтесь принять скорую смерть как достойную кару за свои злодеяния!

Монахи натянули поводья и, уstraшенные видом Дон Кихота и речами его, ответили ему так:

– Сеньор кавальеро! Мы не бесноватые чудища, мы бенедиктинские иноки, едем по

---

<sup>1</sup> *Цикорная вода.* – Медицина того времени считала цикорный напиток средством, вызывающим легкий и спокойный сон.

<sup>2</sup> *Дорожные очки* – маски с вставленными в них стеклами для защиты глаз от пыли и солнечных лучей.



своим надобностям и, есть ли в карете похищенные принцессы или нет, – про то мы не ведаем.

– Сладкими речами вы меня не улестите. Знаю я вас, вероломных негодяев, – сказал Дон Кихот.

Не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и с копьём наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся на одного из монахов, так что если б тот загодя не слетел с мула, то он принудил бы его к этому силой да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может, и просто убил. Другой монах, видя, как обходятся с его спутником, вонзил пятки в бока доброго своего мула и помчался легче ветра.

Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, кинулся к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего представления о том, что такое сражение и трофеи; воспользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшибли его с ног и, не оставив в его бороде ни единого волоса, надавали ему таких пинков, что он, бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, а затем оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол.

Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой.

– Сеньора! – так начал он. – Ваше великолепие может теперь располагать собою, как ему заблагорассудится, ибо заносчивость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощной моей дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я – Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненно красавицей Дульсинеей Тобосскою. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного: поезжайте в Тобосо к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня и поведайте ей все, что я совершил, добываясь вашего освобождения.

Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, сопровождавших даму, родом бискаец, видя, что Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно и ехали в Тобосо, приблизился к нему и, схватившись за его копьё, на дурном кастильском и отвратительном бискайском наречиях сказал ему следующее:

– Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Клянусь создателем: не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я бискаец!

Дон Кихот прекрасно понял его.

– Если б ты был не жалкий смерд, а кавальеро, – невозмутимо заметил он, – я бы тебя наказал за твое безрассудство и наглость.

Бискаец же ему на это сказал:

– Я не кавальеро? Клянусь богом, ты врешь, как христианин. А ну, бросай копьё, хватай меч – будем смотреть, кого кто! Бискаец – он тебе и на суше, и на море, и черт его знает где идальго. Наоборот скажешь – враль будешь.

– Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес<sup>1</sup>, – молвил Дон Кихот.

Швырнув копьё наземь, он выхватил меч, заградился щитом и с твердым намерением уложить бискайца на месте бросился на него. Бискаец же, смекнув, что дело принимает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешествовал, скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч; по счастливой случайности он находился возле самой кареты; воспользовавшись этим, он вытащил

---

<sup>1</sup> Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес... – Это выражение, заключающее в себе угрозу, часто встречается в рыцарских романах, откуда и вошло в поговорку. Оно связано с именем Аграхеса, одного из персонажей романа «Амадис Галльский».

подушку и прикрылся ею, как щитом, а затем они оба ринулись в бой, как два заклятых врага. Те, кто при сем присутствовал, тщетно пытались их помирить, – бискаец кричал на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать за жестокой битвой, в пылу которой бискаец так хватил Дон Кихота по плечу, что, если б не щит, он рассек бы его до пояса. Восчувствовав силу этого страшного удара, Дон Кихот громко воскликнул:

– О Дульсинея, владычица моего сердца, цвет красоты! Придите на помощь вашему рыцарю, который в угоду несказанной доброте вашей столь суровому испытанию себя подвергает!

Произнести эти слова, схватить меч, как можно лучше заградиться щитом и устремиться на врага – все это было делом секунды для нашего рыцаря, задумавшего одним смелым ударом покончить с бискайцем.

Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бискаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда ни сюда не мог повернуть своего мула, который, по причине крайнего утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам, не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворотливого бискайца пополам, наступал на него; бискаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч; испуганные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому, меж тем как дама в карете вместе со своими служанками призывала на помощь силы небесные и давала богу обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри, только бы он отвел от бискайца и от них самих столь великую опасность. Но тут, к величайшему нашему сожалению, первый летописец Дон Кихота, сославшись на то, что о дальнейших его подвигах история умалчивает, прерывает описание поединка и ставит точку. Однако ж второй его биограф, откровенно говоря, не мог допустить, чтобы эти достойные внимания события были преданы забвению и чтобы ламанчские писатели оказались настолько нелюбопытными, что не сохранили у себя в архивах или же в письменных столах каких-либо рукописей, к славному нашему рыцарю относящихся; оттого-то, утешаясь этою мыслью, и не терял он надежды отыскать конец занятой этой истории, и точно: небу угодно было, чтобы он его нашел, а уж каким образом – об этом будет рассказано во второй части<sup>1</sup>.

## Глава IX,

*повествующая об исходе и конце необычайного поединка между неустрашимым бискайцем и отважным ламанчцем*

В первой части этой истории мы расстались с доблестным бискайцем и славным Дон Кихотом в то самое мгновение, когда они с мечами наголо готовились нанести друг другу такой сокрушительной силы удар, что если б это им удалось в полной мере, то они, во всяком случае, рассекли бы и разрубили один другого сверху донизу, подобно как разрезают на две половины гранат; расстались же мы с ними потому, что автор на самом интересном месте остановился и обрубил концы увлекательному своему повествованию, не указав даже, где можно узнать, что произошло дальше.

---

<sup>1</sup> ...об этом будет рассказано во второй части. – Первое издание первой книги «Дон Кихота» (1605) делилось на четыре части. Вторую книгу «Дон Кихота», вышедшую в 1615 г., Сервантес назвал второй, а не пятой частью, не желая подражать Авельянеде. Алонсо Фернандес де Авельянеда – псевдоним автора подложного «Дон Кихота» (изд. в 1614 г.). Личность автора не установлена. Роман Авельянеды носит пародийный характер и содержит резкие выпады против Сервантеса. Во второй части своего «Дон Кихота» Сервантес, в свою очередь, дает резкую отповедь Авельянеде.

Это обстоятельство крайне меня огорчило, и то удовольствие, какое мне доставили немногие эти страницы, сменилось неудовольствием при мысли о том, какой трудный путь надлежит мне пройти, прежде нежели я обрету многие страницы, которых, как я себе представлял, этой занятой повести недостает. А чтобы для столь славного рыцаря не нашлось ученого мужа, который взял бы на себя труд описать беспримерные его подвиги, это мне казалось невероятным и из ряда вон выходящим, ибо всем странствующим рыцарям, что *стяжали вечну славу поисками приключений*<sup>2</sup>, на летописцев везло: у каждого из них было по одному, а то и по два ученых мужа, и те не только описывали их деяния, но и поведали нам их мысли, даже самые пустые, и все их дурачества, включая и такие, которые они самым тщательным образом скрывали, – не могла же постигнуть доброго нашего рыцаря такая неудача, чтобы судьба отказала ему в том, что у Платира и ему подобных имелось в изобилии!

Итак, я не склонен был думать, чтобы столь забавная история осталась искалеченною и незавершенною, – я был уверен, что ее поглотило или сокрыло коварное время, которое все на свете истребляет и пожирает. Кроме того, я полагал, что если в хранилище у Дон Кихота были найдены *Энаресские нимфы и пастухи* и *Исцеление ревности* – книги, столь недавно вышедшие в свет, то и его история не может быть весьма древней, и пусть даже она и не записана, все равно она должна быть памятна его односельчанам и всей ламанчской округе. Догадка эта волновала меня и усиливала во мне желание добиться точных и достоверных сведений о жизни и чудесных приключениях славного нашего испанца Дон Кихота Ламанчского, светоча и зеркала ламанчского рыцарства, первого, кто в наш век, в наше злосчастное время, возложил на себя бремена и обязанности странствующего воина, долженствовавшего заступаться за обиженных, помогать вдовам и оказывать покровительство девицам, тем отягощенным собственным девством особам, что, зажав в руке хлыст, разъезжали на иноходцах по горам и долам; в старину, и правда, были такие девы, которые, прожив до восьмидесяти лет и ни одной ночи не проспав под кровлей, ухитрились, если только их не лишал невинности какой-нибудь недобрый человек, какой-нибудь разбойник с большой дороги или чудовищный великан, сходить в гроб такими же непорочными, как их родительницы. Словом, я утверждаю, что за это и многое другое неустрашимому нашему Дон Кихоту должно воздавать неустанную и громкую хвалу, а заодно следовало бы похвалить и меня – за труды и усилия, которые я потратил на то, чтобы отыскать конец занятой этой истории; впрочем, я вполне сознаю, что когда бы небо, случай и судьба мне не благоприятствовали, то род людской навеки был бы лишен развлечения и удовольствия, какое на протяжении почти двух часов может она доставить внимательному читателю. Конец же ее отысканья вот при каких обстоятельствах.

Однажды, идя в Толедо по улице Алькана, я обратил внимание на одного мальчугана, продававшего торговцу шелком тетради и старую бумагу, а как я большой охотник до чтения и читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице, то, побуждаемый врожденною этою склонностью, взял я у мальчика одну из тетрадей, которые он продавал, и по начертанию букв догадался, что это арабские буквы. Но догадаться-то я догадался, а прочесть не сумел, и вот стал я поглядывать, не идет ли мимо какой-нибудь мориск, который мог бы мне это прочесть, – кстати сказать, в Толедо такого рода переводчики попадаются на каждом шагу, так что если б даже мне понадобился переводчик с другого языка, повыше сортом и более древнего, то отыскать его не составило бы труда. В конце концов судьба свела меня с одним мориском, и как скоро я изложил ему свою просьбу, он взял в руки тетрадь, раскрыл ее на середине и, прочитав несколько строк, расхохотался. Я спросил, чему он смеется, и он мне ответил, что его насмешило примечание на полях. Я попросил его перевести.

– Здесь, на полях, написано вот что, – сказал он со смехом: – *Дульсинья Тобосская, которой имя столь часто на страницах предлагаемой истории упоминается, была,*

---

<sup>2</sup> ...*стяжали вечну славу поискам приключений*... – строка из «Триумфов» Петрарки в переводе Альваро Гомеса.

говорят, великою мастерицею солить свинину и в рассуждении сего не имела себе равных во всей Ламанче.

Имя Дульсиinei Тобосской повергло меня в крайнее изумление, ибо мне тотчас пришло на ум, что тетради эти заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясенный этою догадкою, я попросил мориска немедленно прочитать заглавие, и он тут же, с листа, перевел мне его с арабского на кастильский так, как оно было составлено автором: *История Дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом Ахмедом Бенинхали, историком арабским*. Тут мне пришла на помощь вся моя осмотрительность, и мне удалось скрыть радостное волнение, охватившее меня в тот миг, когда это заглавие достигло моего слуха. Бросившись к торговцу шелком, я вырвал у него из рук все тетради и бумаги и за полреала купил их у мальчика; будь он подгадливей и если б он знал, как жажду я приобрести их, то наверняка запросил бы с меня и взял шесть реалов, а может быть, и больше. Затем мы с мориском зашли на церковный двор, и тут я попросил его за любое вознаграждение перевести на кастильский язык, ничего не пропуская и не прибавляя от себя, все, что в этих тетрадях относится к Дон Кихоту. Мориск, удовольствовавшись двумя арробами<sup>1</sup> изюма и двумя фанегами<sup>2</sup> пшеницы, обещал перевести хорошо, точно и в кратчайший срок. Но чтобы ускорить дело и чтобы не выпускать из рук столь ценной находки, я поселил мориска у себя в доме, и он меньше чем за полтора месяца перевел мне всю эту историю так, как она изложена здесь.

В первой тетради я обнаружил картинку, на которой весьма натурально была изображена битва Дон Кихота с бискайцем: обоим, в полном согласии с историей, приданы воинственные позы, оба высоко подняли мечи; один заградился щитом, другой – подушкой, а мул бискайца – совсем как живой: на расстоянии арбалетного выстрела видно, что это не собственный, а наемный мул. Под фигурой бискайца было написано: *Дон Санчо де Аспейтья*, – очевидно, именно так его и звали, а под Росинантом – *Дон Кихот*. Росинант был нарисован великолепно: длинный, нескладный, изнуренный, худой, с выпирающим хребтом и впавшими боками, он вполне оправдывал меткое и удачное свое прозвище. Поодаль Санчо Панса держал под уздцы своего осла, под которым было написано: *Санчо Санкас*<sup>3</sup>; судя по картинке, у Санчо был толстый живот, короткое туловище и длинные ноги, – потому-то его, наверное, и прозвали *Панса* и *Санкас*: эти два прозвища неоднократно встречаются на страницах нашей истории. Следовало бы отметить еще кое-какие мелкие черты, но они не столь существенны и не делают эту историю более правдивой, чем она есть на самом деле, а всякая история только тогда и хороша, когда она правдива.

Единственно, что вызывает сомнение в правдивости именно этой истории, так это то, что автор ее араб; между тем лживость составляет отличительную черту этого племени; впрочем, арабы – злейшие наши враги<sup>4</sup>, а потому скорей можно предположить, что автор более склонен к преуменьшению, чем к преувеличению. И, по-моему, это так и есть, ибо там, где он мог бы и обязан был бы не покупиться на похвалы столь доброму рыцарю, он, кажется, намеренно обходит его заслуги молчанием; это очень дурно с его стороны, а еще хуже то, что он это делал умышленно; между тем историки должны и обязаны быть точными, правдивыми и до такой степени беспристрастными, чтобы ни корысть, ни страх, ни вражда, ни дружба не властны были свести их с пути истины, истина же есть родная дочь истории – соперницы времени, сокровищницы деяний, свидетельницы минувшего, поучительного примера для настоящего, предостережения для будущего. Я знаю, что в этой истории вы найдете все, что только от занимательного чтения можно требовать; в изъянах же

---

<sup>1</sup> *Арроба* – мера веса (11,5 кг).

<sup>2</sup> *Фанега* – мера емкости (55,5 л).

<sup>3</sup> *Панса* и *Санкас* – Панса – по-испански – брюхо, санкас – тонкие ноги.

<sup>4</sup> *...арабы – злейшие наши враги...* – Враждебное отношение испанцев к арабам имело свои корни в семивековой борьбе испанского народа с арабами, захватившими в начале VIII в. значительную часть Иберийского полуострова. После отвоевания захваченных территорий (в конце XV в.) католическая церковь, в целях поддержания и укрепления религиозного фанатизма, продолжала всеми средствами разжигать расовую ненависть к арабам.

ее, коль скоро таковые обнаружатся, повинен, на мой взгляд, собака-автор, но отнюдь не самый предмет. Итак, если верить переводу, вот с чего начинается вторая ее часть.

Когда наши храбрые и расвирепевшие бойцы взмахнули острыми своими мечами, то по их воинственному виду можно было заключить, что они грозят небу, земле и преисподней. Первым нанес удар вспылчивый бискаец, и при этом с такой силой и яростью, что, не повернись у него в руке меч, один этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем приключениям нашего рыцаря; но благая судьба, хранившая Дон Кихота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, однако ж особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули наземь, и в эту минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище.

Боже ты мой, есть ли на свете такой человек, который мог бы найти подходящие выражения, чтобы передать гнев, обуявший нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Нет, лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова привстал на стременах и, еще крепче сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил бискайца наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у бискайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора, кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, конечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось обхватить его за шею, но в это самое время ноги выскользнули у него из стремян, руки он растопырил, а мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбросил седока наземь.

Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на происходящее; когда же бискаец упал, он соскочил с коня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его глазам, велел сдаваться, пригрозив в противном случае отрубить ему голову. Бискаец был так ошарашен, что не мог выговорить ни слова; и ему, уж верно, не поздоровилось бы (ибо Дон Кихот не помнил себя от ярости), если б находившиеся в карете женщины, до тех пор в полной растерянности следившие за потасовкой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись неотступно молить его сделать им такую милость и одолжение – пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и важностью ответил:

– Прекрасные сеньоры! Разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой: рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульсинея, и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится.

Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта Дульсинея, обещали, что слуга в точности исполнит его приказание.

– Ну, хорошо, верю вам на слово, – сказал Дон Кихот. – Больше я не причиню ему зла, хотя он этого вполне заслуживает.

## Глава X

*Об остроумной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса*

Тем временем Санчо Панса, с которым не слишком любезно обошлись слуги монахов, стал на ноги и, внимательно следя за поединком, мысленно обратился к богу: он просил его даровать Дон Кихоту победу и помочь ему завоевать остров, коего губернатором согласно данному им обещанию должен был стать его оруженосец. Когда же стычка кончилась и Дон Кихот направился к Росинанту, Санчо бросился поддержать ему стремя, и не успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

– Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте меня губернатором острова, который достался вам в этом жестоком бою. Как бы ни был велик этот остров, все же я сумею на нем

губернаторствовать ничуть не хуже любого губернатора, какой только есть на свете.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Имей в виду, брат Санчо, что это приключение, равно как и все ему подобные, суть приключения дорожные, но не островные, и здесь ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе проломают череп или же отрубят ухо, но ни на что больше. Дай срок, будут у нас и такие приключения, которые дадут мне возможность сделать тебя не только губернатором острова, но и вознести еще выше.

Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота и, еще раз поцеловав ему руку и край кольчуги, посадил его на Росинанта, сам же вскочил на осла и двинулся следом за своим господином, а тот, ни слова больше не сказав путешественницам и даже не попрощавшись с ними, быстрым шагом въехал в ближнюю рощу. Санчо трусил во весь ослиный мах, но Росинант неожиданно обнаружил такую прыть, что оруженосцу за ним было не поспеть, и в конце концов он принужден был крикнуть своему господину, чтобы тот подождал его. Дон Кихот исполнил просьбу выбившегося из сил оруженосца и натянул поводья, тот же, нагнав его, молвил:

– Вот что я вам скажу, сеньор: не мешало бы нам укрыться в какой-нибудь церкви<sup>1</sup>. Ведь мы оставили человека, с которым вы сражались, в самом бедственном положении, так что, того и гляди, нагрянет Святое братство<sup>2</sup> и нас с вами схватят. А пока мы выйдем на свободу, у нас, честное слово, глаза на лоб вылезут.

– Помолчи, – сказал Дон Кихот. – Где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролития, сколько бы он их ни учинил?

– Насчет *провокаролития* я ничего не слыхал и отродясь ни на ком не пробовал, – отвечал Санчо. – Знаю только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, Святое братство по головке не гладит, остальное меня не касается.

– Не горюй, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я тебя вырву из рук халдеев, не то что из рук Братства. Но скажи мне по совести: встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, напал, мужественнее оборонялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?

– По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать, – признался Санчо. – Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость, – вот только дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храбрость в одном малоприятном месте. А теперь послушайте меня, ваша милость: вам непременно надобно полечиться, – кровь так и течет у вас из уха, а у меня в сумке имеется корпия и немножко белой мази.

– Во всем этом не было бы никакой необходимости, – заметил Дон Кихот, – если б я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фьерабраса<sup>3</sup>: одна капля этого бальзама сберегла бы нам время и снадобья.

– Что это за сосуд и что это за бальзам? – спросил Санчо Панса.

– Рецепт этого бальзама я знаю наизусть, – отвечал Дон Кихот, – с ним нечего бояться смерти и не страшны никакие раны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе, ты же, как увидишь, что меня в пылу битвы рассекли пополам, – а такие случаи со странствующими рыцарями бывают постоянно, – не долго думая, бережно подними ту половину, что упала на землю, и, пока еще не свернулась кровь, с величайшею осторожностью приставь к той, которая осталась в седле, – при этом надобно так ухитриться, чтобы они пришлись одна к

---

1 ...укрыться в какой-нибудь церкви. – Церковь в те времена предоставляла право убежища и обеспечивала неприкосновенность личности.

2 *Святое братство*. – В средние века, в эпоху борьбы королевской власти с феодалами, возник институт «Санта Эрмандад» (Святое братство), представлявший собой боевой союз городов в защиту городских вольностей. Впоследствии этим именем называлась также полиция инквизиции.

3 *Фьерабрас* – персонаж одноименной поэмы, относящейся к XII в.; сын египетского эмира, во владении которого, согласно легенде, находился чудодейственный бальзам. Один из двенадцати пэров, Оливье (по-испански Оливерос) одержал победу над фьерабрасом.

другой в самый раз. Затем дай мне только два глотка помянутого бальзама – и я вновь предстану пред тобой свежим и бодрим.

– Коли так, – сказал Панса, – то я раз навсегда отказываюсь от управления островом и в награду за мою усердную и верную службу прошу одного: дайте мне, ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. Ручаюсь, что за одну ее унцию где угодно дадут не меньше двух реалов, а уж на эти деньги я сумею прожить свой век честно и без горя. Прежде, однако ж, надобно узнать, дорого ли стоит его изготовление.

– Три асумбры<sup>1</sup> обойдутся меньше трех реалов, – сказал Дон Кихот.

– Беда мне с вами, ваша милость! – воскликнул Санчо. – Чего же вы ждете, отчего же вы сами его не изготавливаете и меня не научите?

– Молчи, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я тебе еще не такие тайны открою и не такими милостями осыплю. А теперь давай лечиться – у меня мочи нет, как болит ухо.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но тут Дон Кихот взглянул на разбитый свой шлем и чуть не лишился чувств; затем положил руку на рукоять меча и, возведя очи к небу, молвил:

– Клянусь творцом неба и земли и четырьмя святыми Евангелиями, как если бы они лежали предо мной, что отныне я буду вести такой же образ жизни, какой вел великий маркиз Мантуанский после того, как поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина, а именно: клянусь во время трапезы обходиться без скатерти, не резвиться с женой и еще чего-то не делать – точно не помню, но все это входит в мою клятву, – до тех пор, пока не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление.

Санчо же ему на это сказал:

– Примите в соображение, сеньор Дон Кихот, что если этот рыцарь исполнил ваше приказание и представился сеньоре Дульсинее Тобосской, стало быть, он исполнил свой долг и не заслуживает новой кары, разве только совершит новое преступление.

– Твои рассуждения и замечания вполне справедливы, – сказал Дон Кихот, – поэтому я отменяю клятву вновь отомстить моему недругу. Зато я вновь даю клятву и подтверждаю, что буду вести тот образ жизни, о котором я уже говорил, до тех пор, пока не отниму у кого-нибудь из рыцарей такого же славного шлема, как этот. И не думай, Санчо, что я бросаю слова на ветер: мне есть кому подражать, – ведь буквально то же самое случилось со шлемом Мамбрина<sup>2</sup>, который так дорого обошелся Сакрипанту<sup>3</sup>.

– Ах, государь мой, да пошлите вы к черту все эти клятвы! – воскликнул Санчо. – От них только вред здоровью и на душе грех. Подумайте сами: а ну как мы еще не скоро встретим человека в шлеме, что нам тогда делать? Неужто вы останетесь верны своей клятве, несмотря на все сопряженные с нею лишения и неудобства? Ведь вам придется спать одетым, ночевать под открытым небом и подвергать себя множеству других испытаний, о которых толкует этот выживший из ума старик, маркиз Мантуанский, чьи обязательства вы ныне задумали взять на себя. Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам ездят не вооруженные люди, а возчики да погонщики, которые не только не носят шлемов, а, пожалуй, и слова такого отродясь не слыхивали.

– Ты ошибаешься, – возразил Дон Кихот. – Не пройдет и двух часов, как где-нибудь на распутье нам встретится великое множество вооруженных людей, какого не насчитывало войско, двинувшееся на Альбраку<sup>4</sup> для того, чтобы захватить Анджелику Прекрасную.

– Ну ладно, пусть будет по-вашему, – сказал Санчо. – Дай бог, чтобы все обошлось благополучно и чтобы поскорей пришло время завоевать этот остров, который мне так дорого стоит, а там хоть бы и умереть.

– Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом не беспокоился: не будет острова,

---

<sup>1</sup> Асумбра – мера емкости (2,02 л).

<sup>2</sup> Шлем Мамбрина. – Мамбрин – один из персонажей поэм Боярдо и Ариосто, мавританский царь, обладатель чудодейственного золотого шлема, предохранявшего от ранений.

<sup>3</sup> Сакрипант – персонаж тех же поэм, синоним человека хвастливого и напыщенного.

<sup>4</sup> Альбрака – замок на скале, в котором, как повествуется во «Влюбленном Роланде», скрывалась Анджелика.

найдем какое-нибудь государство вроде Дании или Собрадисы<sup>5</sup> – к вящему твоему удовольствию, ибо это государства материковые, и там ты будешь чувствовать себя как у себя дома. А пока что оставим этот разговор, – посмотри лучше, нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть: мы закусим и сей же час отправимся на поиски замка, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил, – клянусь богом, у меня очень болит ухо.

– У меня есть луковица, немного сыру и несколько сухих корок, – объявил Санчо, – но столь доблестному рыцарю, как вы, ваша милость, такие яства вкушать не пристало.

– Как мало ты в этом смыслишь! – воскликнул Дон Кихот. – Да будет тебе известно, Санчо, что странствующие рыцари за особую для себя честь почитают целый месяц не принимать пищи или уж едят что придется. И если б ты прочел столько книг, сколько я, то для тебя это не явилось бы новостью, а я хоть и много их прочел, однако ж ни в одной из них не нашел указаний, чтобы странствующие рыцари что-нибудь ели, – разве случайно, во время роскошных пиршеств, которые устраивались для них, в остальное же время они питались чем бог пошлет. Само собой разумеется, не могли же они совсем ничего не есть и не отправлять всех прочих естественных потребностей, ибо, в сущности говоря, это были такие же люди, как мы, но, с другой стороны, они почти всю жизнь проводили в лесах и пустынях, а поваров у них не было, – следственно, с таким же успехом можно предположить, что обычною их пищей была пища грубая, вроде той, которую ты мне сейчас предлагаешь. А потому да не огорчает тебя, друг Санчо, то, что доставляет удовольствие мне, не заводи ты в чужом монастыре своего устава и не сбивай странствующего рыцаря с пути истинного.

– Прошу прощения, ваша милость, – сказал Санчо, – но ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни писать не умею, и правила рыцарского поведения – это для меня темный лес. Однако ж впредь, коль скоро вы рыцарь, я буду вас снабжать сушеными плодами, а себя самого, коль скоро я не рыцарь, – всякого рода живностью и вообще кое-чем посущественнее.

– Я вовсе не говорю, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что странствующие рыцари обязаны пробавляться одними сушеными плодами, я лишь хочу сказать, что плоды составляли обычное пропитание рыцарей да еще некоторые полевые травы, в коих они, как и я, знали толк.

– Знать толк в растениях – это великое дело, – заметил Санчо, – потому, думается мне, когда-нибудь ваши знания нам вот как пригодятся!

Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согласии принялись за еду. Но как и тому и другому не терпелось добраться до ночлега, то они мигом покончили со своею скудною и черствою трапезою. Затем снова сели верхами и, чтобы засветло прибыть в селение, быстрым шагом поехали дальше; однако вскоре солнечные лучи погасли, а вместе с ними погасла и надежда наших путешественников достигнуть желаемого, – погасли как раз когда они проезжали мимо шалашей козопасов, и потому они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно было Санчо Пансе, что они не добрались до села, настолько же отраднo было Дон Кихоту думать, что он проведет эту ночь под открытым небом: подобные случаи, казалось ему, являются лишним доказательством того, что он настоящий рыцарь.

## Глава XI

### *О чем говорил Дон Кихот с козопасами*

Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив со всеми удобствами Росинанта и своего осла, пошел было в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котле на огне: его тянуло тотчас удостовериться, не пора ли переложить ее из котла в желудок, но он не успел осуществить свое намерение, ибо в это самое время козопасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на скорую руку приготовили деревенскую свою трапезу, а затем с самым

---

<sup>5</sup> Собрадиса – фантастическое государство, упоминаемое в «Амадисе Галльском».



приветливым видом предложили обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторожившие этот загон, сели в кружок на овчины, предварительно с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту место на перевернутом вверх дном водопойном корыте. Дон Кихот сел, а Санчо стал позади своего господина, чтобы подносить ему сделанный из рога кубок. Видя, что он продолжает стоять, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

– Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно учреждение, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом с собою среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как равный с равным, – я, твой господин и природный сеньор, и ты, мой оруженосец – будем есть с одной тарелки и пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: оно все на свете уравнивает.

– Премного благодарен, – сказал Санчо, – однако ж осмелюсь доложить вашей милости, что если только у меня есть что поесть, то я с таким же и даже с большим удовольствием буду есть стоя и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом с императором. Уж если на то пошло, так я, конечно, предпочту у себя дома без всяких кривляний и церемоний уписывать хлеб с луком, нежели кушать индейку в гостях, где я должен медленно жевать, все время вытирать рот, пить с оглядкой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей еще что-нибудь сделать – такое, что вполне допускают свобода и уединение. А потому, государь мой, благоволите превратить те почести, которые вы намерены мне воздать, как я имею касательство к странствующему рыцарству и состою у него на службе и как я есть оруженосец вашей милости, в нечто более доходное и полезное. А за почести я вам очень признателен, но отказываюсь от них на веки вечные.

– Как бы то ни было, тебе придется сесть, ибо *кто себя унижает, того господь возвысит*.

Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом с собой.

Козопасы не имели понятия о том, что такое оруженосцы и странствующие рыцари, – все это было для них тарабарщиной, – они молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиною с кулак. После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева высыпали на овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, такого твердого, точно он был сделан из извести. Кубок между тем тоже не оставался праздным: то полный, то пустой, подобно ведру водолливной машины, он так часто обходил круг, что ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, выставленных козопасами. Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рассуждения:

– Блаженны времена и блажен тот век, который древние называли золотым, – и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: *твое* и *мое*. В те благословенные времена все было общее. Для того, чтоб добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселинах скал и в дуплах деревьев и безвозмездно потчевали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесанных столбах, – покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу праматери нашей, ибо плодоносное ее и просторное лоно всюду и добровольно наделяло детей, владевших ею в ту пору, всем, что только могло насытить их, напитать и порадовать. Тогда по холмам и

долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд, с обнаженной головою, в венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что вошли в моду за последнее время и коих отделку составляют тирский пурпур и шелк, подвергающиеся всякого рода пыткам, и в этом своем наряде они были, наверное, столь же величественны и изящны, как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность. Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси *лжи*, лицемерия и лукавства. Корусть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить. Девушки, как я уже сказал, всюду ходили об руку с невинностью, без всякого присмотра и надзора, не боясь, что чья-нибудь распущенность, сладострастием распалая, их оскорбит, а если они и теряли невинность, то по своей доброй воле и хотению. Ныне же, в наше подлое время, все они беззащитны, хотя бы даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь лабиринте наподобие критского, ибо любовная зараза носится в воздухе, с помощью этой проклятой светскости она проникает во все щели, и перед нею их неприступности не устоять. С течением времени мир все более и более полнился злом, и вот, дабы охранять их, и учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему рыцарю есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо, что вы, и не зная этой своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше радушие.

Рыцарь наш произнес эту длинную речь, которую он с таким же успехом мог бы и не произносить вовсе, единственно потому, что, взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с козопасами, а те слушали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он поедал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, который пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили к дубу.

Ужин давно кончился, а Дон Кихот все еще говорил без умолку; наконец один из козопасов обратился к нему с такими словами:

– Дабы вы, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, положи руку на сердце могли признать, что мы и правда оказали вам искренний и радушный прием, мы попросим одного пастуха, который с минуты на минуту должен быть здесь, позабавить вас и усладить ваш слух своим пением. Он малый смысленный, чувствительный, главное, умеет читать и писать, а на равели играет так, что лучше и нельзя.

Только успел козопас произнести эти слова, как вдруг до них донесли звуки равели, а немного погодя появился и тот, кто на нем играл: это был юноша лет двадцати двух, весьма приятной наружности. Товарищи спросили, ужинал ли он; юноша ответил, что ужинал, тогда тот пастух, который только что вел о нем речь, обратился к нему:

– В таком случае, Антоньо, доставь нам удовольствие, спой что-нибудь, пусть наш почтенный гость уверится, что и в лесах и в горах можно встретить людей, смыслящих в музыке. Мы уже рассказали ему о твоих способностях, – твое дело проявить их и доказать, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя: сядь и спой нам, пожалуйста, романс о твоих сердечных делах, тот, что сложил для тебя твой дядя, священник, и который пользуется таким успехом в нашем селе.

– Охотно, – молвил юноша.

Не заставив себя долго упрашивать, он сел на дубовый пенек и, как скоро настроил

равель<sup>1</sup>, с великою приятностью начал петь:

Ты меня, Олалья, любишь,  
Хоть об этом мне, конечно,  
Не сказала даже взором –  
Языком безгласным сердца.

Зная, что ты знаешь это,  
Я отбросил все сомненья:  
Мы любовь скрывать не в силах,  
Если нам о ней известно.

Пусть меня по временам  
Ты пытаешься уверить,  
Что душа твоя – как бронза,  
Как гранит холодный – перси.

Но из-под глухих покровов  
Твоего высокомерья  
Мне тайком надежда кажется  
Краешек своей одежды.

И гонюсь я за приманкой,  
Хоть и не могу доселе  
Ни торжествовать, что избран,  
Ни крушиться, что отвергнут.

Если правда, что учтивость  
Есть взаимности примета,  
Вправе я считать, что скоро  
Сбудутся мои надежды.

Если правда, что награда  
Полагается за верность,  
Кой-какие основанья  
Я просить о ней имею.

Не заметить не могла ты,  
Если только не ослепла,  
Что хожу я и по будням  
В том же, в чем по дням воскресным.

Где любовь, там и наряды,  
Потому-то попышнее  
Я одеться и стараюсь,  
Если жду с тобою встречи.

Уж не говорю о танцах  
И о пенье, коим тешил  
Я порой тебя с заката  
И до петухов рассветных.

---

<sup>1</sup> Равель – трехструнная скрипка.

Я красу твою повсюду  
Восхвалял так откровенно,  
Что себе врагов немало  
Нажил честностью своею.

Например, сказала так  
В Беррокале мне Тереса:  
«Можно ангела увидеть  
Даже в обезьяне мерзкой.

Долго ль самого Амура  
Одурачить при уменье  
Накладными волосами  
Иль любой другой подделкой?»

Я вспылит, девица – в слезы.  
Тут со мною в объясненья  
Брат двоюродный пустился...  
Знаешь ты, что с ним я сделал.

Домогаюсь я тебя  
Не из жажды наслаждений  
Незаконных и внебрачных.  
Нет, мои похвальны цели.

Так пускай в силок из шелка  
Нас с тобой уловит церковь.  
Ты лишь не сопротивляйся,  
Затянуть позволь мне петлю.

Если ж нет, клянусь, Олалья,  
Всем святым, что есть на свете:  
Разве только что в монахи  
Я уйду из этих дебрей.

На этом кончил свою песню пастух, тогда Дон Кихот попросил его еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, который более расположен был соснуть, нежели слушать пение, воспротивился.

– Давно пора вашей милости выбрать себе место для ночлега, – сказал он своему господину. – Они и так за день намаялись, куда им еще петь по ночам!

– Я тебя понимаю, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Ясно, что походы к бурдюку должны быть вознаграждаемы сном, но не музыкой.

– Боже милостивый, кому что! – воскликнул Санчо.

– Не отрицаю, – сказал Дон Кихот. – Итак, ты можешь устраиваться, где тебе угодно, мне же, принимая в рассуждение избранный мною род занятий, приличнее бодрствовать, нежели спать. Со всем тем не худо было бы тебе, Санчо, еще раз перевязать мне ухо, потому что оно болит нестерпимо.

Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо у него есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг было много розмарину, пастух сорвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, приложил к уху, а затем, умелой рукой перевязав его, объявил, что иного

средства и не потребуется, и так оно впоследствии и оказалось.

## Глава XII

*Что некий козопас рассказал тем, кто был с Дон Кихотом*

В это время явился один из тех, кому поручалось ходить в деревню за продовольствием, и сказал:

– Друзья! Знаете, что случилось в деревне?

– Откуда нам знать! – отозвался один из пастухов.

– Так вот знайте, – продолжал тот, – что сегодня утром скончался всем известный пастух-студент по имени Хризостом, и говорят, будто умер он от любви к этой чертовке Марселе, дочери богача Гильермо, той самой, что в одежде пастушки разгуливает по нашим дебрям.

– К Марселе, говоришь? – переспросил кто-то.

– Ну да, к Марселе, – подтвердил козопас. – Но всего удивительнее то, что он завещал похоронить себя, точно мавра, среди поля у подошвы скалы, где растет над источником дуб, ибо, по слухам, да и от него самого будто бы приходилось слышать, что там он увидел ее впервые. Он и еще кое-что завещал, но местное духовенство объявило, что воля покойного исполнена быть не может и что ее не подобает исполнять, – это, мол, пахнет язычеством. А закадычный друг покойного, студент Амбросьо, который вместе с ним переодевался пастухом, говорит, что завещание Хризостома должно быть исполнено в точности, как оно есть, и по сему случаю в деревне переполох. Однако ж, если верить молве, дело кончится тем, что Амбросьо и его друзья-пастухи поставят на своем и завтра с величайшею торжественностью понесут хоронить Хризостома в поле. И думается мне, что поглядеть на это стоит, – я, по крайней мере, пойду непременно, если только мне и завтра не придется идти за продовольствием.

– Да мы все пойдем на похороны, – подхватили пастухи, – только сначала бросим жребий, кому стеречь коз.

– Ты дело говоришь, Педро, – заметил один из пастухов. – Впрочем, незачем вам себя утруждать, – я за вас постерегу стадо. И не думайте, что я такой добряк или что я нелюбопытен, просто я на днях занозил себе ногу и мне больно ходить.

– Как бы то ни было, мы тебе очень признательны, – сказал Педро.

Дон Кихот спросил Педро, что собой представлял покойный и кто такая эта пастушка. Педро ответил, что, сколько ему известно, покойный был богатый идалго, уроженец одного из окрестных горных селений, что он много лет учился в Саламанке, а потом возвратился на родину и прослыл человеком весьма ученым и начитанным.

– Говорят, он лучше всего знал науку о звездах, знал, что там на небе делают солнце и луна: ведь он нам точно предсказывал солнечные и лунные смятения.

– Потемнение этих двух великих светил именуется *затмением*, а не смятением, друг мой, – поправил его Дон Кихот.

Но Педро, не обращая внимания на такой пустяк, продолжал свой рассказ:

– Еще он угадывал, какой будет год: недородный или дородный.

– Ты хочешь сказать – *урожайный* или *неурожайный*, друг мой, – заметил Дон Кихот.

– Дородный или урожайный – это что в лоб, что по лбу, – возразил Педро. – Так вот, благодаря его предсказаниям отец и друзья Хризостома сильно разбогатели, – они верили ему и слушались его во всем, а он им, бывало, скажет: «В этом году вместо пшеницы сейте ячмень. А в этом году сейте горох, а ячменя не сейте. В наступающем году оливкового масла будет хоть залейся, а потом три года подряд капельки не наберется».

– Эта наука называется астрологией, – вставил Дон Кихот.

– Уж не знаю, как она там называется, – сказал Педро, – знаю одно, что он понаторел и в этом, как и во многом другом. Коротко говоря, не прошло и нескольких месяцев с тех пор,

как он приехал из Саламанки, только в один прекрасный день сбросил он свое долгополое студенческое одеяние и предстал перед нами в одежде пастуха: в тулупе и с посохом в руке, а вместе с ним нарядился пастухом и закадычный его друг и товарищ по ученью Амбросьо. Я забыл вам сказать, что покойный Хризостом был великим мастером по стихотворной части: сочинял он и рождественские песни, и действия для праздника тела Христова, которые разыгрывала наша деревенская молодежь, – сочинял так, что народ ахал от восторга. Когда же эти два школяра столь неожиданно переоделись пастухами, вся деревня была ошеломлена, и никто не мог взять в толк, зачем понадобилось им такое странное превращение. На ту пору скончался отец нашего Хризостома, и в наследство ему досталось весьма ценное имущество, как движимое, так и недвижимое, изрядное количество крупного и мелкого скота и немало денег. Все это перешло в его безраздельное пользование, и, по правде сказать, он этого вполне заслуживал: Хризостом был юноша отзывчивый, отличный товарищ, друг людей достойных, а красив он был – не налюбуйешься. Вскоре стало известно, что переоделся бедняга Хризостом единственно потому, что, влюбившись в пастушку Марселу, о которой один из наших пастухов недавно здесь упоминал, задумал он вслед за ней удалиться в пустынные наши места. Теперь надобно вам знать, кто эта девчонка, и я вам про нее расскажу: может быть, – да не может быть, а наверное, – вы за всю свою жизнь ничего подобного не услышите, даже если сойдете в могилу древесным старцем.

– Не древесным, а *древним*, – поправил его Дон Кихот: он не мог слышать, как пастух коверкает слова.

– Я потому и сказал *древесный*, что иное дерево любого старика переживет, – пояснил Педро. – Но только если вы, сеньор, будете придирается к каждому моему слову, то я и через год не кончу.

– Прости, друг мой, – сказал Дон Кихот, – но я перебил тебя потому, что между *древним* и *древесным* есть весьма существенная разница. Впрочем, ты совершенно правильно заметил, что иное дерево переживет любого старика. Продолжай же свой рассказ, больше я не буду тебе мешать.

– Итак, милостивый государь мой, – снова заговорил козопас, – жил в нашей деревне крестьянин по имени Гильермо; был он еще богаче отца Хризостома, и, помимо огромного и несметного богатства, господь послал ему дочку, мать которой, самая почтенная женщина во всей нашей округе, умерла от родов. Я ее как сейчас вижу: очи у нее сияли, как звезды небесные. А самое главное, была она отличной хозяйкой и помогала бедным, так что, думается мне, душа ее ныне в селениях райских. Лишившись столь доброй супруги, муж ее, Гильермо, умер с горя, дочка же его, юная и богатая Марсела, перешла на воспитание к своему дяде, нашему деревенскому священнику. Красота этой девушки неволью заставляла вспомнить ее мать, и, хотя та была писаною красавицею, все же казалось, что Марсела ее затмит. А когда ей исполнилось лет четырнадцать – пятнадцать, все при взгляде на нее благословляли бога за то, что он создал ее такой прекрасной, многие же были без памяти в нее влюблены. Дядя держал ее под семью замками и в большой строгости, и все же не только в нашем селе, но и на сто миль в окружности славилась она своею красотой и несметным богатством, и самые завидные женихи докучали дяде, прося и добиваясь ее руки. Но дядя, как истинный христианин, хотя и не прочь был выдать Марселу замуж, коль скоро она уже вошла в возраст, решился, однако ж, повременить, – и вовсе не из-за барышей и доходов, которые сулила ему долговременная опека над имуществом девушки, а единственно из-за того, что она сама все еще не давала согласия. Клянусь честью, что так говорили о почтенном священнослужителе на всех посиделках и единодушно одобряли его, а надобно вам знать, сеньор странник, что в нашей глуши кому угодно перемоют косточки и кого угодно ославят, и смею вас уверить, что уж коли прихожане, особливо деревенские, отзываются о священнике с похвалой, стало быть, он и в самом деле хорош.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – но только я попросил бы тебя продолжать, ибо рассказ твой очень хорош, к тому же ты, добрый Педро, очень хороший рассказчик, рассказчик божьей милостью.

– Да пребудет же милость господня со мною вовек, – это самое главное. Ну, а дальше, к вашему сведению, произошло вот что. Сколько ни толковал с нею дядя о ее многочисленных женихах и ни описывал достоинства каждого из тех, кто за нее сватался, сколько ни уговаривал ее выбрать того, кто ей по сердцу, и выйти за него замуж, Марсела все отнекивалась: она, дескать, замуж не собирается, она еще молода и чувствует, что не в силах нести бремя супружеской жизни. Доводы эти показались ее дяде разумными, и он перестал докучать ей в надежде, что когда она станет постарше, то сама сумеет выбрать себе спутника жизни, ибо он рассудил, – и рассудил весьма здраво, – что негоже родителям ломать судьбу детей своих. Долго ли, коротко ли, в один прекрасный день разборчивая Марсела нежданно-негаданно переделалась пастушкой и, не обращая внимания на уговоры дяди и односельчан, вместе с другими пастушками вышла в поле и принялась пасти свое стадо. И едва она показалась на люди и красота ее стала доступной для лицезрения, тотчас видимо-невидимо богатых юнцов, идальго и простых хлебопашцев вырядилось, как Хризостом, и начали они за нею ухаживать, в том числе, как я уже говорил, покойный наш друг, о котором ходила молва, что он не просто любит ее, но боготворит. Не следует думать, однако ж, что, добившись свободы и совершенной самостоятельности, почти или, вернее, совсем не допускающей уединения, тем самым Марсела показала или дала понять, что не дорожит своей чистотою и честью, – напротив, она оказалась столь бдительным стражем своей невинности, что никто из тех, кто ей угождает и добивается ее расположения, еще не похвалился, да, наверно, никогда и не похвалится, что она подала ему хоть какую-нибудь надежду на взаимность. Правда, она не избегает общества пастухов, не уклоняется от бесед с ними, обхождение ее отличается учтивостью и дружелюбием, но только кто-нибудь из них поведает ей свое желание, хотя бы это было законное и благочестивое желание вступить с нею в брак, – и вот он уже летит от нее, подобно камню, выпущенному из катапульты. И этот ее образ действий приносит больше вреда, чем если бы наши края посетила чума, ибо ее красота и приветливый нрав привлекают сердца тех, кто любит ее и желает ей угождать, холодность же ее и надменность повергают их в отчаяние, и оттого они не дают ей иных названий, кроме жестокой, неблагодарной и тому подобных, живописующих душевные ее качества. И если бы вы, сеньор, остались здесь на денек, то непременно услышали бы, как отвергнутые поклонники, продолжая преследовать ее, оглашают горы и доли своими стенаниями. Неподалеку отсюда есть одно место, где растет более двадцати высоких буков, и на гладкой коре каждого из них вырезано и начертано имя Марселы, а на некоторых сверху вырезана еще и корона, словно красноречивыми этими знаками влюбленный хотел сказать, что Марсела достойна носить венец земной красоты. Один пастух вздыхает, другой сетует, здесь слышатся любовные песни, там – скорбные пени. Иной всю ночь напролет у подошвы скалы или под дубом не смыкает заплаканных очей своих, и там его, возносящегося на крыльях упоительной мечты, находит утренняя заря, а иного нестерпимый зной летнего полдня застает распростертым на раскаленном песке, беспрестанно и непрерывно вздыхающим и воссылающим свои жалобы сострадательным небесам. Но равнодушно проходит мимо тех и других свободная и беспечная красавица Марсела, и мы все, зная ее, невольно спрашиваем себя: когда же придет конец ее высокомерию и кто будет тот счастливец, коему удастся сломить строптивый ее нрав и насладиться необычайною ее красотою? Все, что я вам рассказал, – это истинная правда, а потому, думается мне, и толки о смерти Хризостома, которые передал наш пастух, также находятся в согласии с истиной. И я советую вам, сеньор, непременно пойти на погребение, каковое обещает быть зрелищем внушительным, ибо друзей у покойного много, а отсюда до того места, где он завещал себя похоронить, не будет и полмили.

– Да уж я-то непременно пойду, – сказал Дон Кихот. – А теперь позволь поблагодарить тебя за то удовольствие, которое ты мне доставил занимательным своим рассказом.

– О, мне известна лишь половина тех происшествий, которые случились с поклонниками Марселы! – возразил козопас. – Может статься, однако ж, что завтра мы встретим по дороге кого-нибудь из пастухов, и он нам расскажет все. А сейчас не худо бы

вам соснуть под кровлей: ночная прохлада может повредить вашей ране, – впрочем, мой пластырь таков, что каких-либо осложнений вам опасаться нечего.

Санчо Панса давно уже мысленно послал к черту словоохотливого козопаса, и теперь он также принялся упрасивать Дон Кихота соснуть в шалаше у Педро. Тот сдался на уговоры и, подражая поклонникам Марселе, провел остаток ночи в мечтах о госпоже своей Дульсинее. Санчо Панса расположился между Росинантом и ослом и заснул не как безнадежно влюбленный, а как человек, которому изрядно намяли бока.

### Глава XIII,

*содержащая конец повести о пастушке Марселе и повествующая о других происшествиях*

В окнах востока чуть только показался день, а пятеро из шести козопасов уже вскочили и, разбудив Дон Кихота, обратились к нему с вопросом, не изменил ли он своему намерению отправиться на торжественное погребение Хризостома, и вызвались ему сопутствовать. Дон Кихоту только того и нужно было; он встал и велел Санчо седлать коня и осла, что тот с великим проворством исполнил, и не менее проворно собрались в дорогу все остальные. Но не успели они продвинуться и на четверть мили, как вдруг увидели, что на ту же самую тропинку выходят шесть пастухов в черных овчинных тулупах и с венками из веток олеандра и кипариса на голове. Все они опирались на тяжелые остролистные посохи. Поодаль ехали верхами два дворянина в богатом дорожном одеянии, трое слуг шли за ними пешком. Поравнявшись, и те и другие учтиво раскланялись, осведомились, кто куда держит путь, и, узнав, что все спешат на погребение, продолжали путь вместе.

Один из всадников, обратившись к другому, сказал:

– Кажется, сеньор Вивальдо, мы не зря потратим время, если посмотрим на необычайные эти похороны: это и в самом деле должно быть нечто необычайное, судя по тем удивительным вещам, какие нам рассказывали наши спутники об умершем пастухе и о погубившей его пастушке.

– Мне тоже так кажется, – отозвался Вивальдо. – Я готов потратить не один, а несколько дней, только бы посмотреть на похороны.

Дон Кихот спросил, что слышали они о Марселе и Хризостоме. Путник сообщил, что на рассвете повстречали они пастухов и, обратив внимание на их печальный наряд, осведомились о причине, побудившей их облачиться в траур, тогда один из пастухов все им объяснил и рассказал о прекрасной и своенравной пастушке Марселе, о многочисленных ее поклонниках и, наконец, о смерти Хризостома, к месту похорон которого пастухи и направлялись. Словом, путник сообщил Дон Кихоту все, что тот уже слышал от Педро.

Но тут их разговор принял иное направление, ибо тот, кого звали Вивальдо, спросил Дон Кихота, что заставило его с оружием в руках разъезжать по столь мирной стране. На это ему Дон Кихот ответил так:

– Избранное мною поприще не позволяет и не разрешает ездить иначе. Удобства, роскошь и покой созданы для изнеженных столичных жителей, а тяготы, тревоги и ратные подвиги созданы и существуют для тех, кого обыкновенно называют странствующими рыцарями, из коих последним я, недостойный, почитаю себя.

Тут уже для всех стало очевидно, что он сумасшедший, но, дабы совершенно в том удостовериться и уяснить себе, на чем именно он помешался, Вивальдо снова обратился к нему и спросил, что такое странствующие рыцари.

– Разве ваши милости незнакомы с анналами английской истории, – в свою очередь, спросил Дон Кихот, – в коих повествуется о славных подвигах короля Артура<sup>1</sup>, которого мы

---

<sup>1</sup> *Король Артур* – легендарный британский король (VI в.), герой многочисленных средневековых сказаний и поэм, главным образом связанных с подвигами «рыцарей Круглого Стола» (приближенные короля Артура сидели во время пиров за круглым столом для того, чтобы не было ни лучших, ни худших мест и все рыцари



на своем кастильском наречии обыкновенно именуем Артусом и относительно которого существует весьма древнее предание, получившее распространение во всем Британском королевстве, а именно, что король тот не умер, что его силою волшебных чар превратили в ворона и что придет время, когда он снова станет королем и вновь обретет корону и скипетр, по каковой причине с той самой поры еще ни один англичанин не убил ворона? Ну так вот, при этом добром короле был учрежден славный рыцарский орден Рыцарей Круглого Стола, а Рыцарь Озера Ланцелот<sup>1</sup>, согласно тому же преданию, в это самое время воспылал любовью к королеве Джиневре, наперсницей же их и посредницей между ними была придворная дама, достопочтенная Кинтаньона, – отсюда и ведет свое происхождение известный романс, который донныне распевает вся Испания:

Был неслыханно радушен  
Тот прием, который встретил  
Дон Кихот у дам прекрасных,  
Из своих земель приехав, –

а дальше в самых нежных и мягких красках изображаются любовные его похождения и смелые подвиги. И вот с той поры этот рыцарский орден мало-помалу все ширился, ширился и наконец охватил многообразные страны, и в лоне этого ордена подвигами своими стяжали себе славу и почет отважный Амадис Галльский со всеми своими сыновьями и внуками даже до пятого колена, доблестный Фелисмарт Гирканский, неоцененный Тирант Белый и, наконец, доблестный и непобедимый рыцарь дон Бельянис Греческий, которого мы словно вчера еще видели, слышали, с которым мы словно еще так недавно общались. Вот что такое, сеньоры, странствующий рыцарь и вот каков этот рыцарский орден, к коему, как вы знаете, принадлежу и я, грешный, давший тот же обет, что и перечисленные мною рыцари. В поисках приключений и заехал я в пустынные эти и глухие места с твердым намерением мужественно и стойко выдержать опаснейшие из всех испытаний, какие пошлет мне судьбина, и защитить обездоленных и слабых.

Теперь у спутников Дон Кихота уже не оставалось сомнений в том, что у него помутился рассудок и какой именно вид умственного расстройства овладел им, и они не могли всему этому не подивиться, как, впрочем, и все, кто с ним впервые встречался. До места погребения Хризостома, по словам пастухов, оставалось немного, и, чтобы веселее провести остаток пути, великий насмешник и шутник Вивальдо вздумал еще пуще подзадорить нашего рыцаря. И для того он обратился к нему с такими словами:

– По моему разумению, сеньор странствующий рыцарь, вы дали самый суровый обет, какой только можно было дать, – даже обет картезианских монахов<sup>2</sup> представляется мне менее суровым.

– Очень может быть, что он и столь же суров, – возразил Дон Кихот, – но чтобы от него была людям такая же точно польза – вот за это я не ручаюсь. Уж если на то пошло, воин, исполняющий приказ военачальника, делает не менее важное дело, нежели отдающий приказы военачальник. Я хочу сказать, что иноки, в тишине и спокойствии проводя все дни свои, молятся небу о благоденствии земли, мы же, воины и рыцари, осуществляем то, о чем они молятся: мы защищаем землю доблестными нашими дланями и лезвиями наших мечей – и не под кровлей, а под открытым небом, летом подставляя грудь лучам палящего солнца и жгучим морозам – зимой. Итак, мы – слуги господина на земле, мы – орудия, посредством которых вершит он свой правый суд. Но исполнение воинских обязанностей и всего, что с ними сопряжено и имеет к ним касательство, достигается ценою тяжких усилий, в поте лица, следственно тот, кто таковые обязанности на себя принимает, затрачивает, разумеется,

---

чувствовали себя равными).

<sup>1</sup> *Рыцарь Озера Ланцелот* – Ланцелот прозван был Рыцарем Озера по той причине, что детство и юность он провел при дворе возлюбленной мага Мерлина, Вивианы, известной под именем Владычицы Озера.

<sup>2</sup> *Обет картезианских монахов* – то есть обет молчания.

больше усилий, нежели тот, кто в мирном, тихом и безмятежном своем житии молит бога о заступлении беспомощных. Я не хочу сказать и весьма далек от мысли, что подвиг странствующего рыцаря и подвиг затворника равно священы, но на основании собственного горького опыта я пришел к убеждению, что странствующий рыцарь, вечно алчущий и жаждущий, страждущий и изнуренный, бесприютный, полураздетый и усыпанный насекомыми, терпит, разумеется, больше лишений, нежели схимник, ибо не подлежит сомнению, что на долю странствующего рыцаря былых времен всечасно выпадали невзгоды. Если же кто-нибудь из них доблестною своею дланью и завоевал себе императорскую корону, то, смею вас уверить, ради этого ему должно было пролить немало пота и крови, и если б тем, кто удостоился столь высоких степеней, вовремя не пришли на помощь мудрецы и волшебники, то они скоро убедились бы в призрачности и обманчивости мечтаний своих и надежд.

– Я тоже так думаю, – заметил путник. – Но вот что мне особенно не нравится в странствующих рыцарях: когда их ожидает необычайное и опасное приключение, сопряженное с явною опасностью для жизни, то, вместо того чтобы, как подобает христианину, в минуту подобной опасности поручить себя богу, они поручают себя своим дамам, да еще с таким молитвенным жаром и благоговением, точно дамы эти – их божества. Право, все это припахивает чем-то языческим.

– Так тому и быть надлежит, сеньор, – возразил Дон Кихот, – иначе странствующий рыцарь покрыл бы себя позором: нравы и обычаи странствующего рыцарства таковы, что, перед тем как совершить ратный подвиг, странствующий рыцарь должен обратить к своей госпоже мысленный свой нежный и ласковый взор, как бы прося ее укрепить его и помочь ему выдержать ожидающее его суровое испытание. И даже если никто не слышит его, все равно он обязан, всецело отдавшись под ее покровительство, произнести эти несколько слов шепотом, – бесчисленные тому примеры вы можете найти в романах. Но отсюда не следует делать вывод, что рыцари не молятся богу: ведь для этого у них всегда найдется время и повод в ходе самого боя.

– И все же вы не рассеяли моего сомнения, – заметил путник. – Сколько раз мне приходилось читать: повздорят два странствующих рыцаря, слово за слово – и вот уже оба воспылали гневом, поворотили коней, разъехались в разные стороны, а затем, нимало не медля, с разгона бросаются друг на друга, и вот тут-то, летя на конях, они и поручают себя своим дамам. Сшибка же обыкновенно кончается тем, что один из них валится навзничь, пронзенный насквозь копьем противника, а другой – другой, разумеется, последовал бы его примеру и тоже грянулся оземь, если б ему не удалось схватиться за гриву коня. Так вот, мог ли убитый рыцарь в пылу скоропалительной битвы найти время для того, чтобы помолиться богу, – это остается неясным. И чем тратить слова на взывания к своей даме, лучше бы он потратил их на то, к чему обязывает и что нам велит долг христианина. К тому же я убежден, что не у всякого странствующего рыцаря есть дама, которой он мог бы себя поручить, – ведь не все же они влюблены.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот. – То есть я хочу сказать, что не может быть странствующего рыцаря без дамы, ибо влюбленный рыцарь – это столь же обычное и естественное явление, как звездное небо, и я не могу себе представить, чтобы в каком-нибудь романе был выведен странствующий рыцарь, которого сердце оставалось бы незанятым. А если бы даже и существовал такой рыцарь, то его сочли бы не законным, а приبلудным сыном рыцарства, проникшим в его твердыню не через врата, но перескочившим через ограду, как тать и разбойник.

– Со всем тем, если память мне не изменяет, – заметил путник, – я как будто читал, что у дона Галаора, брата Амадиса Галльского, не было такой дамы, которой он мог бы себя поручить, и, однако ж, никто его за это не порицал, и это нисколько не мешало ему быть весьма отважным и славным рыцарем.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Сеньор! Одна ласточка еще не делает весны. К тому же мне известно, что рыцарь этот

был тайно влюблен, и влюблен страстно, хотя и ухаживал за всеми дамами, которые ему нравились, но такова была его натура, и тут уж он ничего не мог с собой поделать. Не подлежит, однако ж, сомнению, что владычица души у него была и что ей одной поручал он себя всечасно, хотя и облакал это глубочайшею тайною, ибо то был рыцарь, славившийся своим искусством хранить тайны.

– Если уж странствующий рыцарь по самой своей сущности не может не быть влюблен, – заметил путник, – то и вы, ваша милость, очевидно, не составляете исключения, ибо к этому вас обязывает ваше призвание. И если только вы не задались целью быть таким же скрытным, как дон Галаор, то я от имени всех присутствующих и в том числе и от своего убедительно вас прошу сообщить нам имя, титул и место рождения вашей дамы и описать ее наружность. Она почтет себя счастливою, если все будут знать, что ей служит и что любит ее такой, по-видимому, доблестный рыцарь, как вы, ваша милость.

При этих словах Дон Кихот глубоко вздохнул.

– Не берусь утверждать, – сказал он, – угодно или не угодно кроткой моей врагине, чтобы все знали, что я ей служу. Однако ж, уступая просьбе, с которой вы столь почтительно ко мне обратились, могу вам сказать, что зовут ее Дульсинея. Родилась она в одном из селений Ламанчи, а именно в Тобосо. Она моя королева и госпожа, – следственно, по меньшей мере, принцесса. Обаяние ее сверхъестественно, ибо в ней воплощены все невероятные и воображаемые знаки красоты, коими наделяют поэты своих возлюбленных: ее волосы – золото, чело – Елисейские поля<sup>1</sup>, брови – радуги небесные, очи ее – два солнца, ланиты – розы, уста – кораллы, жемчуг – зубы ее, алебастр – ее шея, мрамор – перси, слоновая кость – ее руки, белизна ее кожи – снег, те же части тела, которые целомудрие скрывает от людских взоров, сколько я понимаю и представляю себе, таковы, что скромное воображение вправе лишь восхищаться ими, уподоблять же их чему-либо оно не властно.

– Нам хотелось бы знать ее происхождение, предков ее и ее родословную, – сказал Вивальдо.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Она происходит не от древних римлян, Курциев, Каев и Сципионов<sup>2</sup>, и не от здравствующих и поныне Колонна и Орсини, не от Монкада и Рекесенов Каталонских<sup>3</sup>, не от Ребелья и Вильянова Валенсийских, не от Палафоксов, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагонов, Корреа, Фосов и Гурреа Арагонских, не от Серда, Манрике, Мендоса и Гусманов Кастильских, не от Аленкастро, Палья и Менёсесов Португальских, – она из рода Тобосо Ламанчских, рода хотя и не древнего, однако ж могущего положить достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий. Если же кто-нибудь вздумает это оспаривать, то я предъявлю те же условия, какие Дзербин<sup>4</sup> начертал у подножья Роландовой груды трофеев:

Лишь тот достоин ими обладать,  
Кто и Роланду бой решится дать.

– Хотя я и происхожу из рода Выскочек Ларедских<sup>5</sup>, – заметил путник, – однако ж не дерзну поставить его рядом с Тобосо Ламанчскими, несмотря на то, что, откровенно говоря, слышу это имя впервые.

<sup>1</sup> *Елисейские поля* – у древних греков и римлян – часть подземного мира, куда после смерти отходят души героев и праведников.

<sup>2</sup> *Курци*, *Ка* и *Сципионы* – знатные роды в Древнем Риме. Колонна, Орсини, Монкада, Рекесены... – знатные роды современной Сервантесу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Португалии.

<sup>3</sup> *Курци*, *Ка* и *Сципионы* – знатные роды в Древнем Риме. Колонна, Орсини, Монкада, Рекесены... – знатные роды современной Сервантесу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Португалии.

<sup>4</sup> *Дзербин* – один из персонажей «Неистового Роланда» Ариосто, сын короля шотландского, получивший свободу благодаря Роланду. Найдя однажды доспехи своего спасителя, он сделал приведенную в тексте надпись, представляющую перевод стихов из поэмы Ариосто (песня XXIV).

<sup>5</sup> *Выскочки Ларедские* – Ларедо – небольшой портовый городок на севере Испании. Ларедскими выскочками называли людей, разбогатевших на торговых операциях с Америкой.

– Не может быть, чтобы впервые! – воскликнул Дон Кихот.

Все с чрезвычайным вниманием слушали эту беседу, и в конце концов даже козопасы – и те уверились, что наш Дон Кихот не в своем уме. Только Санчо Панса, который знал его чуть ли не с колыбели, продолжал верить, что все, что ни скажет его господин, есть истинная правда; единственно, в чем он слегка сомневался, это в существовании красоти Дульсины из Тобосо, ибо хотя он жил неподалеку от упомянутого городка, но о принцессе с таким именем отродясь ни от кого не слышал. Дон Кихот и Вивальдо все еще продолжали беседовать, когда в расселине между скал показался человек двадцать пастухов в тулупах из черной овчины и с венками на голове, причем, как выяснилось впоследствии, некоторые из этих венков были сплетены из тисовых ветвей, некоторые же из ветвей кипариса. Человек шесть несли носилки, убранные множеством самых разнообразных цветов и ветвей. Увидевши это, один из козопасов сказал:

– Вон несут тело Хризостома, а подошва этой горы и есть то место, где он завещал себя похоронить.

При этих словах путники прибавили шагу и подоспели как раз к тому времени, когда друзья покойного опустили носилки и четверо из них острыми заступами принялись рыть могилу у подножья суровой скалы.

Обменявшись с ними учтивым приветствием, Дон Кихот и его спутники приблизились к носилкам и устремили взор на Хризостома: он лежал весь в цветах, в пастушеском одеянии, и на вид ему можно было дать лет тридцать; мертвый, он все еще хранил следы красоты и изящества, какими, видимо, отличался при жизни. Несколько книг и множество рукописей, из коих иные в виде свитков, а иные в развернутом виде, были разложены вокруг него на носилках. Те, что смотрели на него, те, что копали могилу, и все, кто только здесь находился, хранили благоговейное молчание, пока наконец один из тех, кто нес покойного, не сказал другому:

– Посмотри хорошенько, Амбросьо, то ли это место, о котором говорил Хризостом, раз уж вы хотите в точности исполнить все, что он завещал.

– То самое, – отвечал Амбросьо. – Здесь бедный мой друг часто рассказывал мне историю своего злоключения. Здесь, по его словам, впервые увидел он Марселу, здесь впервые объяснился он этому заклятому врагу человеческого рода в своей столь же страстной, сколь и чистой любви, и здесь же в последний раз Марсела повергла его в отчаяние своим презрением, что и побудило его окончить трагедию безрадостной своей жизни. И вот в память о стольких горестях и пожелал он, чтобы в лоно вечного забвения погрузили его именно здесь.

Тут Амбросьо обратился к Дон Кихоту и его спутникам.

– Это тело, сеньоры, на которое вы с таким участием взираете, – продолжал он, – являло собоюместилище души, одаренной бесчисленным множеством небесных благ. Это тело Хризостома, непревзойденного по уму, не имевшего себе равных в своей учтивости, обходительного в высшей степени, феникса дружбы, в великодушии своем не знавшего границ, гордого, но не спесивого, благонаправленного в самой своей веселости, – словом, добродетельнейшего из всех добродетельных и не имевшего соперников в своем злосчастии. *Да, он любил, но им пренебрегали, он обожал – и заслужил презренье.* Он тщился растрогать зверя, смягчить бесчувственный мрамор. Он гнался за ветром, вопиял в пустыне, служил самой неблагодарности и в награду за все стал добычею смерти во цвете лет, увядших по вине пастушки, которую он желал обессмертить, дабы она вечно жила в памяти людей, доказательством чему могли бы служить вот эти рукописи, если бы только он не велел мне предать их огню после того, как будет предан земле его прах.

– Надеюсь, вы не проявите к ним еще большей суровости и жестокости, нежели их хозяин, – заметил Вивальдо, – ибо опрометчив и безрассуден тот, кто исполняет чье-либо приказание, идущее наперекор здравому смыслу. Мы и Цезаря Августа<sup>1</sup> не одобрили бы,

---

<sup>1</sup> Цезарь Октавиан Август – римский император (27 до н.э. – 14 н.э.), в царствование которого жили крупнейшие поэты (Вергилий, Овидий и пр.).

если б он позволил исполнить последнюю волю божественного мантуанца<sup>2</sup>. А потому, сеньор Амбросьо, предайте земле прах вашего друга, но не предавайте забвению его писаний: ведь он распорядился так оттого, что почитал себя обиженным, исполнять же его распоряжение было бы с вашей стороны неблагоразумно. Нет, вы должны сохранить им жизнь, и пусть вечно живет жестокость Марселлы, и да послужит она на будущее время назиданием для всех живущих, дабы они опасались и избегали подобных бездн. Я и мои спутники уже знаем историю вашего влюбленного и отчаявшегося друга, знаем, как вы были к нему привязаны, знаем причину его смерти и все, что он, умирая, вам завещал. Жалостная эта повесть дает понятие о том, сколь сильны были жестокость Марселлы и любовь Хризостома, сколь искренне было ваше дружеское к нему расположение и какая печальная участь ожидает тех, кто очертя голову мчится по тропе, которую безумная любовь открывает их взору. Вчера вечером нам сообщили о кончине Хризостома и о том, где он будет похоронен, и мы, движимые сочувствием и любопытством, отклонились от прямого своего пути и порешили воочию увидеть то, что, едва достигнув нашего слуха, вызвало у нас столь горькое чувство. И вот теперь мы взываем к тебе, благоразумный Амбросьо, – я, по крайней мере, прошу тебя: вознагради наше сочувствие и желание – сделать все от нас зависящее, чтобы помочь вашему горю, и, позволив не сжигать эти рукописи, позволь мне взять хотя бы некоторые из них.

Не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и взял те рукописи, которые лежали ближе к нему, тогда Амбросьо обратился к нему с такими словами:

– Дабы оказать вам любезность, сеньор, я изъявляю согласие на то, чтобы рукописи, которые вы уже взяли, остались у вас, однако тщетно было бы надеяться, что я не сожгу остальные.

Вивальдо, снедаемый желанием узнать, что представляют собой эти рукописи, тотчас одну из них развернул и прочитал заглавие:

– *Песнь отчаяния.*

– Это последняя поэма несчастного моего друга, – сказал Амбросьо, – и дабы вам стало ясно, сеньор, до чего довели Хризостома его злоключения, прочтите ее так, чтобы вас слышали все. Времени же у вас для этого довольно, ибо могилу выроют еще не скоро.

– Я это сделаю с превеликой охотой, – молвил Вивальдо.

Тут все присутствовавшие, влекомые одним желанием, обступили его, и он внятно начал читать.

## Глава XIV,

*в коей приводятся проникнутые отчаянием стихи покойного пастуха и описываются разные нечаянные происшествия*

### *Песнь Хризостома*

Жестокая! Коль для тебя отрада –  
Знать, что по свету разнеслась молва,  
Как ты надменна и бесчеловечна,  
Пусть грешники из тьмы кромешной ада  
Подскажут мне ужасные слова  
Для выраженья муки бесконечной.  
Чтоб выход дать тоске своей сердечной,  
Чтоб заклеить безжалостность твою,  
Я испуленье безответной страсти  
И боль души, разорванной на части,

---

<sup>2</sup> *Божественный мантуанец* – знаменитый римский поэт Вергилий (70–19 до н.э.) был родом из Мантуи. По преданию, он завещал уничтожить рукопись своей поэмы «Энеида», прославившей его имя.

В неслыханные звуки перелью.  
Так слушай же тревожно и смущенно,  
Как из груди, отчаяньем стесненной,  
Неудержимо рвется на простор  
Не песня, а нестройное стенанье –  
Мне в оправданье и тебе в укор.

Шипенье змея, вой волчицы злобной,  
Сраженного быка предсмертный рев,  
Вороний грай, что предвещает горе,  
Неведомых чудовищ вопль утробный,  
Могучее гудение ветров,  
Когда они, с волнами буйно споря,  
Пронесутся над синей бездной моря,  
Рычанье льва, нетопыринный писк,  
Печальный зов голубки овдовевшей,  
Глухое уханье совы взлетевшей,  
Бесовских полчищ сатанинский визг –  
Все это я смешаю воедино,  
И обретет язык моя кручина,  
Которую я до сих пор таил,  
Затем, что о твоём бесчеловечье  
Обычной речью рассказать нет сил.

Пускай внимают, трепеща от страха,  
Словам живым с умерших уст моих  
Не льющийся по отмелям песчаным  
Неторопливый многоводный Тахо,  
Не древний Бетис<sup>1</sup> меж олив густых,  
А взморья, где раздолье ураганам,  
Вершины гор, увитые туманом,  
Ущелье, где не тешит солнце взгляд,  
Лесная глушь, безлюдная доныне,  
И знойная ливийская пустыня<sup>2</sup>,  
Где гады ядовитые кишат.  
Пусть эхо о любви моей несчастной  
Поведаёт природе беспристрастной,  
Чтоб мир узнал, как я тобой казним,  
И даже в диких тварях пробуждалась  
Святая жалость к горестям моим.

Презренье сокрушает нас; разлука  
Пугает, как тягчайшая беда;  
Тревожат подозрения безмерно;  
Снедает ревность, вечная доука;  
Забвение же раз и навсегда  
Кладет конец надежде эфемерной.  
Все это вместе – смерти признак верный,  
И все ж – о чудо! – смерть щадит меня.  
Изведал я презренье, подозренье,

---

<sup>1</sup> *Бетис* – старинное название реки Гуадалквивира.

<sup>2</sup> *Ливийская пустыня* – то есть африканские плоскогорья.

Разлуку с милой, ревность и забвенье,  
Сгораю от любовного огня,  
Но, несмотря на муки, как и прежде,  
Себе не властен отказать в надежде,  
Хоть верить ей давно уже страшусь,  
И – чтоб терзать себя еще сильнее –  
Расстаться с нею через силу тщусь.

Разумно ли питать одновременно  
Страх и надежду? Можно ли теперь,  
Когда ясней, чем солнце в день погожий,  
Сквозь рану в сердце мне видна измена,  
Не отворить отчаянию дверь?  
И не постыдно ль, униженья множа,  
Все вновь и вновь баюкать разум ложью,  
Коль нет сомненья, что отвергнут я,  
Что страх владеет мной не беспричинно  
И что лишь затянувшейся кончиной  
Становится отныне жизнь моя?  
О ревность и презренье, два злодея,  
Чью тиранию свергнуть я не смею!  
Веревку иль кинжал молю мне дать,  
И пусть я больше не увижу света!  
Уж лучше это, чем опять страдать.

Мне тяжело умирать и жить постыло,  
Я понимаю, что гублю себя,  
Но гибели избегнуть не желаю.

Однако даже на краю могилы  
Я верю в то, что счастлив был, любя:  
Что только страсть, мучительница злая,  
Нам на земле дарит блаженство рая;  
Что девушки прекрасней нет нигде,  
Чем ты, о недруг мой непримиримый;  
Что прав Амур, судья непогрешимый,  
И сам я виноват в своей беде.  
С такою верой я свершу до срока  
Тот путь, которым к смерти недалекой  
Меня твое презрение ведет,  
И дух мой, благ земных не алча боле,  
Из сей юдоли навсегда уйдет.

Твоя несправедливость подтверждает,  
Насколько прав я был, неправый суд  
Верша над бытием своим напрасным;  
Но за нее тебя не осуждает  
Тот, чьи останки скоро здесь найдут:  
Счастливым он умрет, хоть жил несчастным.  
И я прошу, чтоб надо мной, безгласным,  
Из дивных глаз ты не струила слез,  
С притворным сожаленьем не рыдала –

Не нужно мне награды запоздалой  
За все, что в жертву я тебе принес.  
Нет, улыбнись и докажи наглядно,  
Сколь смерть моя душе твоей отрадна,  
Хоть этим ты не удивишь людей:  
Давно все знают, что тебе охота,  
Чтоб с жизнью счеты свел я поскорей.

Пусть Иксион<sup>1</sup>, на колесе распятый,  
Сизиф<sup>2</sup>, катящий тяжкий камень свой,  
Сонм Данаид, работой бесполезной  
Наказанный за грех, Тантал<sup>3</sup> проклятый,  
Томимый вечной жаждой над водой,  
И Титий<sup>4</sup>, в чью утробу клюв железный  
Вонзает коршун, – пусть из черной бездны  
Они восстанут с воплем на устах  
И (коль достоин грешник этой чести)  
К могиле провожать пойдут все вместе  
Мой даже в саван не одетый прах.  
И пусть подхватит скорбные их стоны  
Страж адских врат<sup>5</sup>, трехглавый пес Плутона,  
А с ним химер и чудищ легион.  
Не ждет себе иного славословья  
Тот, кто любовью в цвете лет сражен.

А ты, о песнь моя, когда умру я,  
Умолкни, не крушась и не горюя:  
Ведь женщине, чей лик навеять мне  
Тебя перед кончиной не преминул,  
Я тем, что сгинул, угодил вполне.

Слушателям песнь Хризостома очень понравилась, однако ж чтец заметил, что она противоречит тому, что он слышал о скромности и благонаравии Марселлы, ибо Хризостом ревнует ее, подозревает, сетует на разлуку и тем самым бросает тень на Марселлу и порочит ее доброе имя. На это Амбросьо, от которого покойный не скрывал сокровеннейших своих помыслов, ответил так:

– Дабы рассеять ваши сомнения, я должен сказать вам, сеньор, что страдалец наш сочинил эту песню, находясь в разлуке с Марселою, разлучился же он с ней по собственному желанию, в надежде, что разлука распространит и на него свой закон, но влюбленного в разлуке все тревожит и все донимает, вот почему Хризостома донимали воображаемая ревность и ложные подозрения, как если бы у него были к этому поводы. Таким образом, добродетели Марселлы, о которых трубит молва, остаются при ней, ибо, если не считать того, что она жестока, порою дерзка и крайне надменна, сама зависть при всем желании ни в чем не могла бы ее упрекнуть.

---

1 *Иксион (миф.)* – фессалийский царь, пожелавший овладеть Юноной; Юпитер подменил ее облаком, а Иксиона осудил вечно вращаться в подземном царстве на огненном колесе.

2 *Сизиф (миф.)* – основатель и царь Коринфа. За обманы и предательства он был осужден богами на тяжелый и бесцельный труд: вечно вкатывать на гору неизменно скатывающуюся обратно каменную глыбу.

3 *Тантал (миф.)* – царь Фригии, осужденный за разглашение божественной тайны томиться в подземном царстве вечным голодом и вечной жаждой.

4 *Титий (миф.)* – великан с острова Эвбея, который за покушение на честь матери Аполлона – Латоны был низвергнут в подземное царство, где коршуны терзали его печень.

5 *Страж адских врат* – Цербер, трехглавый пес, охранявший вход в подземное царство.



– Ваша правда, – согласился Вивальдо.

Прочитать еще одну рукопись, из тех, которые он спас от огня, ему помешало чудесное видение, внезапно представшее перед ним; по крайней мере, все сочли это видением, но то была пастушка Марсела: она появилась на вершине горы, у подошвы которой пастухи рыли могилу, и была она так прекрасна, что красота ее мгновенно затмила блеск своей собственной славы. Те, что видели ее впервые, молча вперили в нее восхищенные взоры, но и те, которым часто приходилось видеть ее, были поражены не меньше тех, кто никогда ее раньше не видел. Амбросье же, едва увидев ее и не в силах будучи сдержать свое негодование, молвил:

– Для чего ты сюда явилась, свирепый василиск окрестных гор? Для того ли, чтоб поглядеть, не хлынет ли при твоём приближении кровь из ран несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Для того ли, чтобы похвалиться плодами злонравия своего и, подобно жестокосердному Нерону<sup>1</sup>, взиравшему на пожар пылающего Рима, полюбоваться на них с высоты? Или же для того, чтобы, подобно неблагодарной дочери Тарквиния<sup>2</sup>, кощунственную стопую попать сей охладелый труп? Говори же скорей, зачем ты пришла и чего ты хочешь от нас. Помыслы покойного Хризостома, пока он был жив, устремлялись к тебе, после же его смерти легко могут быть поглощены тобою помыслы тех, что именуют себя его друзьями.

– Нет, Амбросье, не затем я пришла сюда! – отвечала Марсела. – Я пришла оправдаться и доказать, что не правы те, кто в смерти Хризостома и в своих собственных горестях обвиняет меня. А потому я прошу всех присутствующих выслушать меня со вниманием, – ведь для того, чтобы люди разумные познали истину, я не должна тратить много времени и терять много слов. Сами же вы утверждаете, что небо одарило меня красотой и красота моя вас обезоруживает и принуждает любить меня, но вы изъявляете желание и даже требуете, чтобы и я в благодарность за вашу любовь вас любила. Природный ум, которым наделил меня господь, говорит мне, что прекрасное не любить нельзя, но неужели же та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто ее любит, единственно потому, что она любима? А теперь вообразите, что влюбленный в красоту к довершению всего безобразен, а как все безобразное не может не внушать отвращения, то было бы очень странно, если бы он сказал: «Я полюбил тебя за красоту, – полюби же и ты меня, хотя я и безобразен». Положим даже, они равно прекрасны, но это не значит, что и желания у них сходны, ибо не всякая красота обладает способностью влюблять в себя, – иная тешит взор, но не покоряет сердца. Ведь если бы всякая красота влюбляла в себя и покоряла, то желания наши, смутные и неопределенные, вечно блуждали бы, не зная, на чем им остановиться, ибо если на свете есть бесчисленное множество прекрасных существ, то и желания наши должны быть бесчисленны. Я же слыхала, что *недробимо истинное чувство* и что *нельзя любить по принуждению*. Но когда так – а я убеждена, что это именно так и есть, – то можно ли от меня требовать, чтобы я насильно отдала свое сердце единственно потому, что вы клянетесь мне в любви? Ну, а если б небо, создавшее меня прекрасною, создало меня безобразной, скажите, имела ли бы я право упрекать вас в том, что вы меня не любите? Примите в рассуждение и то, что я свою красоту не выбирала: какова бы она ни была, она послана мне в дар небом, я же не домогалась ее и не выбирала. И если змею нельзя осуждать за то, что она ядовита, ибо ядом, которым она убивает, наделила ее сама природа, то и я не виновата в том, что родилась красивою, ибо красота честной женщины – это как бы далекое пламя или же острый меч: кто к ней не приближается, того она не ранит и не опалает. Честь и добродетели суть украшения души, без которых самое красивое тело теряет всю свою красоту. Ну, а если невинность – одна из тех добродетелей, что так украшают душу и тело и придают им особую прелесть, то неужели же девушка, которую любят за красоту, должна терять свою невинность, уступая

---

<sup>1</sup> *Жестокосердный Нерон* – римский император (54–68). Народная молва считала его виновником грандиозного пожара в Риме (64), длившегося девять дней.

<sup>2</sup> *Неблагодарная дочь Тарквиния* – Поступок этот, согласно преданию, совершила дочь Сервия Туллия, жена (а не дочь) Тарквиния Гордого, которая надругалась над трупом своего отца.

домогательствам человека, который ради собственного удовольствия пускается на всякие хитрости, добиваясь того, чтобы она ее утратила? Я родилась свободною, и, чтобы жить свободно, я избрала безлюдье долин: деревья, растущие на горах, – мои собеседники, прозрачные воды ручьев – мои зеркала. Деревьям и водам вверяю я свои думы и свою красу. Я – далекое пламя, я – меч, сверкающий вдали. Кого приворожил мой взгляд, тех разуверяют мои слова. Желания питает надежда, а как я ни Хризостому, ни кому-либо другому никаких надежд не подавала, то скорее можно предположить, что Хризостома свело в могилу его собственное упорство, но не моя жестокость. Могут возразить, что намерения у него были честные и что поэтому я должна была ответить ему взаимностью, – ну так я вам скажу, что, когда на этом самом месте, где ныне роют ему могилу, он поведал мне благие свои желания, я ответила ему, что моим уделом пребудет вечное уединение и что одна лишь земля насладится плодами моей непорочности и останками моей красоты. Если же он, несмотря на мои разуверения, продолжал безнадежно упорствовать и плыть против течения, то что же удивительного в том, что в конце концов его захлестнула волна безрассудства? Если б я удерживала его, я бы кривила душой. Если б я уступила ему, я изменила бы лучшему своему стремлению и побуждению. *Он не желал внимать разувереньям, крушился он, не будучи гонимым,* – судите же теперь, повинна ли я в его страданиях. Пусть ропщет обманутый, пусть сокрушается тот, кого завлекли надеждою, пусть уповаает тот, кого я призову, пусть гордится тот, кого я до себя допущу, но пусть не называет меня бесчеловечной убийцею тот, кого я не завлекала, не обманывала, не призывала и не допускала до себя. Небу доселе было не угодно, чтобы я волею судеб кого-нибудь полюбила, а чтобы я сделала выбор сама – этого вы от меня не дождетесь. Пусть же эти всеразуверяющие слова послужат на будущее время предостережением каждому, кто добивается моей благосклонности, и если кто-нибудь умрет из-за меня, то знайте, что умрет он не от ревности и не от унижения, ибо кто никого не любит, тот ни в ком не может возбудить ревность, разуверить же не значит унижить. Кто называет меня зверем и василиском – пусть отойдет от меня, как от существа вредного и злого, кто называет меня безжалостною – пусть мне не угождает, кто называет неблагодарною – пусть чуждается меня, кто называет жестокою – пусть не преследует меня, ибо сам этот зверь и василиск, эта безжалостная, жестокая и неблагодарная ни за кем не пойдет, никому не станет угождать, пребудет чуждою всем и никого не станет преследовать. Хризостома погубила его безумная страсть и пылкий нрав, при чем же тут скромное мое поведение и целомудрие? Я берегу свою честь в обществе дерев, – почему же те, кто хочет, чтобы я общалась с людьми, хотят у меня ее похитить? Вы знаете, что у меня есть свое богатство, – чужому я не завидую. Нрав у меня свободолобивый, и я не желаю никому подчиняться. Я никого не люблю и ни к кому не питаю ненависти. Я никого не обманываю и никого не прельщаю, ни над кем не насмехаюсь и ни с кем не любезничаю. Невинные речи деревенских девушек и заботы о козах – вот что любезно мне. Мои мечты не выходят за пределы окрестных гор, а если и выходят, то лишь для того, чтобы, следуя тому пути, по которому душа устремляется к своей отчизне, созерцать красоту небес.

И с этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, скрылась в чаще ближнего леса, повергнув в изумление присутствовавших как своею рассудительностью, так и своею красотою. Иные из тех, кого ранили острые стрелы лучистых ее и прекрасных глаз, не вняв голосу убеждения, который столь явственно здесь прозвучал, чуть было за нею не устремились. Но Дон Кихот, угадав их намерение, вообразил, что ему представляется случай исполнить свой рыцарский долг, повелевающий оказывать помощь преследуемым девицам, и, положив руку на рукоять меча, он громко и внятно заговорил:

– Ни один человек, какого бы звания он ни был и к какому бы состоянию ни принадлежал, не осмелится преследовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь на себя лютой мой гнев. Она ясно и убедительно доказала, что она почти или, вернее, совсем не повинна в смерти Хризостома и что она отнюдь не намерена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников, а потому все добрые люди, какие только есть на свете, должны не гоняться за нею, но почитать ее и уважать, ибо уже доказано, что на всем свете

вряд ли найдется другая девушка, у которой были бы такие, же честные намерения, как у нее.

То ли угрозы Дон Кихота возымели свое действие, а быть может, увещания Амбросьо, который напомнил, что им надлежит до конца исполнить свой долг по отношению к покойному другу, только никто из пастухов не двинулся с места и не удалился до тех пор, пока не вырыли могилу, не сожгли рукописей Хризостома, горько оплаканного всеми присутствовавшими, и не предали его тело земле. На могилу положили тяжелый камень, с тем чтобы после заменить его плитой, которую собирался заказать Амбросьо, причем на этой плите, по его словам, должна была быть высечена следующая эпитафия:

Здесь пастух вкушает сон.  
Страсть свела его в могилу,  
Потому что не любила  
Та, в кого он был влюблен.  
Насмерть в сердце поражен  
Бессердечьем он, несчастный,  
Ибо нами самовластно  
Управляет Купидон.

Пастухи засыпали могильный холм цветами и ветками, а затем, выразив соболезнование другу покойного – Амбросьо, простились с ним. Так же поступили Вивальдо и его приятель, и когда Дон Кихот, простившись сперва с козопасами, подошел попрощаться и к ним, они предложили ему отправиться вместе с ними в Севилью – место, по их словам, весьма подходящее для искателей приключений, ибо приключений там на каждой улице и на каждом перекрестке судьба пошлет ему больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот, поблагодарив их за совет и доброе расположение, сказал, что он не хочет и не может ехать в Севилью, ибо прежде ему надлежит очистить окрестные горы от разбойников и лиходеев, которые, как слышно, никому здесь не дают проходу. Видя, что он непреклонен, путники не почли за нужное настаивать и, еще раз с ним попрощавшись, продолжали свой путь, и во все продолжение этого пути история Марселы и Хризостома, а также безумие Дон Кихота служили им обильною пищею для разговоров. Дон Кихот между тем вздумал отправиться на поиски Марселы и предложить ей свои услуги; однако ж судьба распорядилась иначе, о чем вы в свое время и узнаете из этой правдивой истории, вторая часть которой на этом оканчивается.

## Глава XV,

*в коей рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами*

Мудрый Сид Ахмет Бен-Инхали рассказывает, что Дон Кихот, попрощавшись с козопасами и со всеми, кто на похоронах Хризостома присутствовал, вместе со своим оруженосцем тотчас же направился к лесу, где скрылась пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазняявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже вступившего к этому времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешили и, пустив осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Санчо и в голову не пришло стреножить Росинанта – до того он был в нем уверен, и точно: до сих пор это было такое смиренное и отнюдь не ветреное существо, что, казалось, все

кобылицы кордовских пастбищ не ввели бы его во искушение. Однако ж судьба совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуаские погонщики<sup>1</sup> с табуном галисийских кобыл, а как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за госпожами кобылицами; только зачуял он их – и, не спросясь хозяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил игривой рысцей, дабы удовлетворить свою потребность; но кобылицам, видимо, больше хотелось пастись, а потому они стали лягать его и кусать, да так, что малое время спустя разорвали на нем подпругу, и остался он нагишом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобылицами совершается столь явное насилие, примчались с дубинами и, что было уже совсем ему не по нутру, так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему.

– Сейчас видно, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – что это не рыцари, а подлая челядь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту.

– Какая тут к черту месть, – воскликнул Санчо Панса, – когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать – полтора!

– Я один стою сотни, – возразил Дон Кихот.



Не долго думая, выхватил он свой меч и ринулся на янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, так же точно поступил и Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхватив при этом

---

<sup>1</sup> *Янгуаские погонщики* – Ниже упоминаются также и богатые аревальские погонщики. Извозным промыслом занимались тогда целые селения.

изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натворили, янгуасцы с великим проворством навьючили своих кобыл и тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый; заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

– Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!

– Что ты, брат Санчо? – таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот.

– Будьте так добры, ваша милость, – продолжал Санчо Панса, – если есть у вас бальзам этого, как бишь его, *Безобраза*, дайте мне глоточка два: может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

– Увы мне, несчастному! – воскликнул Дон Кихот. – Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но, клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней, – если только судьба не распорядится иначе, – как я добуду его, или у меня отсохнут руки.

– А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги? – спросил Санчо Панса.

– Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно, – отвечал избитый рыцарь. – Но виноват во всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений<sup>1</sup> и допустил, думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот: коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч, – ты этого все равно не дождешься, а берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь, – в силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчанием.

– Сеньор! – возразил он. – Я человек тихий, смиренный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость, – сказ, а не указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни против смерда, и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем когда-либо меня обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-нибудь обидит: благородный человек или же худородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:

– У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во

---

<sup>1</sup> Бог сражений (миф.) – Марс.

владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделаться, раз что ты не рыцарь и не желаешь быть таковым, – не желаешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов, и далеко не все туземцы бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление.

– Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был бы обладать этим самым мужеством и умением, – подхватил Санчо. – Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от Росинанта: я думал, он такой же целомудренный и миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует сильнейший град палочных ударов, что посыпался на наши спины?

– Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напастям, – возразил Дон Кихот, – моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предполагал... да что я говорю: предполагал? – если б я не знал наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

– Сеньор! – снова заговорил оруженосец. – Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только господь бог, по бесконечному милосердию своему, нам не поможет.

– Знай, друг Санчо, – отвечал Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или же императорами. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим делам, хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку; пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И несдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобою доселе не подвергались: знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, которую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили, – всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг

и кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

– Они не дали мне разглядеть, – сказал Санчо. – Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит у меня не душа – при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину.

– Со всем тем надобно тебе знать, Панса, – заметил Дон Кихот, – что нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которой не прекратила бы смерть.

– Что же может быть хуже злключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти? – возразил Панса. – Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

– Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай духом, – сказал Дон Кихот. – Лучше посмотри, что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до единого?

– С кем бы ни стряслась беда – судьба непременно укажет выход, – заметил Дон Кихот. – Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довести меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Силен<sup>1</sup>, воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в стовратный город<sup>2</sup>, сидя верхом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом великолепно.

– То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили заметить, ваша милость, – возразил Санчо. – Одно дело – сидеть верхом, а другое – лежать поперек седла, точно мешок с трухой.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Раны, полученные в бою, скорее могут прославить, нежели обесславить. Поэтому, друг Санчо, не спорь со мной, соберись с силами и встань, о чем я уже тебя просил, а затем устрой меня на осле, как тебе заблагорассудится, – мы должны тронуться в путь прежде, чем настанет ночь и застигнет нас в этих пустынных местах.

– Вы же сами говорили, ваша милость, – возразил Панса, – что странствующие рыцари чуть ли не весь год ночуют обыкновенно в пустынных и безлюдных местах, да еще и за великую удачу это почитают.

– Это в тех случаях, когда им ничего иного не остается или же когда они влюблены, – сказал Дон Кихот. – В самом деле, был один такой рыцарь, который и в жару, и в холод, и в бурю целых два года стоял на скале, а госпожа его об этом и не подозревала. Тот же Амадис, назвавшись Мрачным Красавцем, не то на восемь лет, не то на восемь месяцев, точно не помню, удалился на Бедную Стремнину, – словом, он в чем-то провинился перед госпожой своей Орианой и наложил на себя епитимью. Но довольно об этом, Санчо, пора и в путь, а то, чего доброго, и с ослом случится несчастье, вроде как с Росинантом.

– Того и гляди! – отозвался Санчо.

Тридцать раз охнув, шестьдесят раз вздохнув, сто двадцать раз ругнув того, кому он обязан был своим злключением, и послав на его голову столько же проклятий, он встал, но на полпути его скрючило наподобие турецкого лука, так что он долго потом не мог выпрямиться. И вот с такими-то ужасными мучениями взнуздан он кое-как своего осла, тоже слегка огорошенного событиями этого слишком бурного дня, а затем поднял Росинанта,

---

<sup>1</sup> Силен (миф.) – воспитатель и постоянный спутник Вакха, вечно пьяный тучный старик.

<sup>2</sup> Стовратный город – стовратными назывались Фивы, столица Верхнего Египта на реке Нил; Фивы, куда въехал Силен, столица Беотии, назывались Семивратными.

который, если б только умел жаловаться, наверняка превзошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу и его господина. В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, Росинанта привязал сзади и, взяв осла под уздцы, двинулся примерно в том направлении, где, по его расчетам, должна была пролегать большая дорога. И не прошел он и одной мили, как судьба, которая все делала к лучшему для него, вывела его на эту дорогу, и он тут же заприметил постоялый двор, но Дон Кихот, вопреки мнению Санчо и на радость самому себе, решил, что это замок. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин – что это не постоялый двор, а замок; и так долго они пререкались, что, еще не кончив пререканий, успели за это время добраться до постоялого двора, куда Санчо, не подумав даже справиться, что же это в самом деле такое, и проследовал со всем своим караваном.

## Глава XVI

*О том, что случилось с хитроумным идадьго на постоялом дворе, который он принял за некий замок*

Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот лежит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу: это была натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях своего ближнего: она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком, на один глаз кривая, – впрочем, и другой глаз был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки; если бы смерить ее всю от головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость. Эта самая красotka стала помогать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту прескверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении многих лет заменявшем сеновал. Здесь же ночевал некий погонщик, причем ложе его находилось неподалеку от ложа Дон Кихота; и хотя, кроме седел и попон, подстелить ему было нечего, все же он находился в гораздо более выгодном положении, нежели Дон Кихот, которого ложе состояло из четырех далеко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфяка, такого тоненького, что он скорее напоминал стеганое одеяло, и такого жесткого, что если бы из его дыр вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно полагать, из той самой коней, что идет на изготовление щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со счета.

Дон Кихот возлег на это треклятое ложе, и тут хозяйка с дочкой принялись лечить его, так что в скором времени он с головы до ног был облеплен пластырями, а Мариторнес – так звали астурийку – им светила.

Занявшись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, от побоев, а не от ушибов.

– Нет, не от побоев, – возразил Санчо. – Беда в том, что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ оставил на теле по синяку. Смею вас уверить, сеньора, – прибавил он, – что если у вас найдется хоть немного этой пакли, то охотники на нее найдутся: у меня самого что-то ломит поясницу.

– Значит, вы тоже, наверно, упали? – спросила хозяйка.

– Нет, я не падал, – отвечал Санчо. – Но я был так напуган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело болит, словно меня отколотили палками.

– Это бывает, – сказала девушка. – Мне самой часто снится, будто я падаю с башни и все никак не могу долететь до земли, а когда проснусь, то чувствую себя такой разбитой и



такой измученной, точно я и правда упала.

– В том-то и дело, сеньора, – возразил Санчо, – что я отнюдь не во сне, но будучи еще свежее и бодрее, нежели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наставили почти столько же синяков, сколько моему господину Дон Кихоту.

– Как зовут этого кавальера? – спросила астурийка Мариторнес.

– Дон Кихот Ламанчский, – отвечал Санчо Панса. – Он странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет.

– Что такое странствующий рыцарь? – спросила служанка.

– Да вы что, только вчера родились? – воскликнул Санчо Панса. – Странствующий рыцарь – это, знаете ли, сестрица, такая штука! Только сейчас его избили – не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три королевские короны.

– Почему же вы у такого доброго господина, как видно, даже графства – и того не заслужили? – вмешалась хозяйка.

– Больно скоро захотели, – отвечал Санчо. – Мы всего только месяц ищем приключений, и пока что ни одного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Но если только мой господин, Дон Кихот, оправится от ран, то есть от ушибов, и я сам не останусь на всю жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знатного испанского вельможу не захочу смотреть.

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, а затем, сколько мог, приподнялся, взял хозяйку за руку и сказал:

– Поверьте, прелестная сеньора, вы должны быть счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как я, ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, что, как говорится, самовосхваление унижает, но мой оруженосец расскажет вам обо мне. Я же скажу лишь, что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И когда бы, по воле всемогущих небес, законы любви еще не приобрели надо мною такой неодолимой власти и очи жестокой красавицы, которой имя я произношу сейчас мысленно, меня еще не поработили, то свободою моею завладели бы очи этой прелестной девушки.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если бы он говорил по-гречески; одно лишь они уловили – что он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности, и все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они смотрели на него и дивились: они принимали его за человека совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем трактирном языке благодарность нашему рыцарю за его учтивые речи, хозяйка с дочерью удалились, астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который нуждался в этом не меньше, чем его господин.

Погонщик и Мариторнес заранее уговорились весело провести эту ночь, и она дала ему слово, что, когда постояльцы уйдут, а хозяева заснут, она придет сюда, дабы утолить его страсть и исполнить все, что только он от нее ни потребует. А про эту славную девицу говорили, что такого рода обещания она исполняла даже в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма кичилась дворянским своим происхождением<sup>1</sup>, каковое, по ее мнению, не могла унижить служба в трактире, раз что довели ее до этого превратности судьбы и выпавшие на ее долю несчастья.

У самого входа в это стойло, куда сквозь дырявую крышу заглядывали звезды, находилось жесткое, узкое, жалкое и ненадежное ложе Дон Кихота, а чуть подальше устроил себе ложе Санчо Панса, причем оно состояло лишь из тростниковой циновки и из одеяла, на которое, видимо, больше пошло свалявшейся пакли, нежели шерсти. За этими двумя ложами помещался погонщик, соорудивший себе ложе, как уже было сказано, из седел и прочего убранства двух лучших своих мулов, – всего же их у него было двенадцать, лоснящихся,

---

<sup>1</sup> *...кичилась дворянским своим происхождением...* – Мариторнес была родом из Астурии, области, не завоеванной маврами. Уроженцы Астурии, независимо от сословной принадлежности, считали себя потомками вестготов, а потому дворянами. Племя вестготов в V в. завоевало Испанию.

сытых и резвых, ибо он принадлежал к числу богатых аревальских погонщиков<sup>1</sup>, как указывает автор этой истории, который хорошо знал нашего погонщика, будто бы даже приходился ему родственником и оттого почел за нужное уделить ему особое внимание. Вообще говоря, Сид Ахмед Бен-Инхали – повествователь чрезвычайно любознательный и во всех отношениях добросовестный: это явствует из того, что все, о чем мы здесь сообщаем, даже низменное и ничтожное, не пожелал он обойти молчанием, и с него не худо бы взять пример историкам солидным, чей слишком беглый и чересчур сжатый рассказ о событиях течет у нас по усам, а в рот не попадает, и которые то ли по собственной небрежности, то ли из коварных побуждений, то ли по своему невежеству оставляют самую суть дела на дне чернильницы. Но да будут стократ прославлены автор *Табланта Рикамонтского* и автор книги о подвигах графа Томильяс<sup>2</sup>: до чего же обстоятельно они все описывают!

Итак, погонщик, наведив мулов и еще раз задав им корму, в ожидании весьма исправной Мариторнес вытянулся на своих седлах. Санчо, облепленный пластырями, также улегся, но из-за боли в боках долго не мог заснуть. Болели бока и у Дон Кихота и он, точно заяц, лежал с открытыми глазами. На постоялом дворе все затихло и погрузилось во мрак, только у входа горел фонарь.

Глубокая тишина и неотвязная мысль о тех событиях, что встречаются на каждой странице любой из книг, повинных в несчастье нашего рыцаря, навяли ему одну из самых странных и безумных грез, какие так, ни с того ни с сего, кому-либо могли пригрезиться; а именно ему пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок, – как известно, постоялые дворы, где ему приходилось останавливаться, он неизменно принимал за замки, – и что дочь хозяина, то бить владельца замка, которую он якобы сумел очаровать, влюбилась в него и обещала нынче ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-другой; но, приняв всю эту нелепицу, им же самим придуманную, за нечто непреложное и бесспорное, он тотчас приуныл и, представив себе, какому тяжкому испытанию должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал себе слово не изменить своей госпоже Дульсинее Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джиневра со своею придворною дамою Кинтаньоной.

Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем настал роковой для него час, – час, когда должна была прийти астурийка, и точно: босая, в одной сорочке и в сетке из грубой нитки на голове явилась она на свидание к погонщику и неслышной и легкой стопою вошла в помещение, где трое постояльцев расположились на ночлег; но как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, заслышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пластыри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и настороженная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и вдруг наткнулась на руки Дон Кихота, – тот схватил ее, онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил на кровать. Дотронувшись же до ее сорочки, сшитой из мешковины, он вообразил, что это дивный тончайший шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Волосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он уподобил нитям чистейшего арабского золота, коего блеск затмевает свет солнца. Пахло от нее, по всей вероятности, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исходит неясное благоухание. Словом, в его представлении образ астурийки слился с образом некоей принцессы, о которой он читал в романах, что, не в силах долее сдерживать свои чувства, она в вышеописанном наряде явилась на свидание к тяжело раненному рыцарю. И до того был слеп наш идалго, что ни его собственное осязание, ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тошноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуверить, – напротив, ему казалось, будто он держит в объятиях богиню красоты.

И не разжимая рук, он тихим и ласковым голосом заговорил:

– О, если б я был в силах отплатить вам, прелестная и благородная сеньора, за великую

---

<sup>1</sup> *Аревальские погонщики* – Аревало – селение в Кастилии.

<sup>2</sup> *Граф Томильяс* – один из второстепенных персонажей рыцарского романа «История Энрике, сына Оливы, царя иерусалимского и императора константинопольского» (1498).

милость, какую вы мне явили, дозволив созерцать дивную красоту вашу! Однако ж судьбе, неустанно преследующей добрых людей, угодно было, чтобы я, истерзанный и разбитый, возлег на это ложе и чтобы я при всем желании не мог исполнить ваше желание. Кроме этого препятствия существует и другое, совершенно непреодолимое, а именно моя клятва в верности несравненной Дульсинее Тобосской, единственной владычице сокровеннейших моих помыслов. Так вот, если бы между вами и мною не стояли эти преграды, то я, конечно, не ударил бы в грязь лицом и не упустил благоприятного случая, дарованного мне вашею безграничною добротой.

Мариторнес изнывала в объятиях нашего рыцаря и обливалась потом; не слушая и не понимая его речей, она молча пыталась высвободиться. Между тем бравоый погонщик, которому не давали спать нечистые желания и который учуял свою возлюбленную, как скоро она шагнула за порог, внимательно прислушивался к тому, что ей говорил Дон Кихот; наконец, мучимый ревнивою мыслью, что астурийка изменяет ему с другим, он приблизился к ложу Дон Кихота и, сиюсь понять, куда тот клонит, остановился послушать невразумительные его речи; но когда он увидел, что девица хочет вырваться, а Дон Кихот ее не пускает, то это ему не понравилось, – он размахнулся, что было мочи ударил влюбленного рыцаря по его узкой скуле и разбил ему рот в кровь; не удовольствовавшись этим, погонщик подмял его под себя, а затем даже не рысью, а галопом промчался по всем его ребрам. Вслед за тем ложе Дон Кихота, и без того не весьма прочное, воздвигнутое на довольно шатких основаниях, не вынеся добавочного груза, каковым явился для него погонщик, незамедлительно рухнуло, причем вызванный его падением отчаянный грохот разбудил хозяина, и тот сейчас же смекнул, что это проказы Мариторнес, ибо на его зов она не откликнулась. Желая удостовериться, насколько основательно его подозрение, он встал, зажег светильник и потел в ту сторону, где, по-видимому, происходило побоище. Служанка, растерявшись и струхнув не на шутку при виде рассвирепевшего хозяина, забралась на кровать к спящему Санчо Пансе и свернулась клубком. Хозяин ворвался с криком:

– Эй, девка, ты где? Бьюсь об заклад, что все это твои штучки.

В это время проснулся Санчо; почувствовав, что кто-то всей тяжестью на него навалился, и решив, что это дурной сон, он стал яростно работать кулаками, причем львиная доля щедро раздаваемых им колотушек досталась Мариторнес, – Мариторнес же, забыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи столько, что у него сразу прошел весь сон; и вот, чувствуя, что кто-то его тузит, а кто – неизвестно, он, сколько мог, приподнялся и сцепился с Мариторнес, и тут у них началась самая ожесточенная и самая уморительная схватка, какую только можно себе представить. Погонщик же, увидев при свете хозяйского фитилька, что его даме приходится туго, бросил Дон Кихота и поспешил к ней на подмогу. Его примеру последовал и хозяин, но с другой целью: будучи совершенно уверен, что единственною виновницею всего шума является Мариторнес, он вознамерился ее проучить. А дальше пошло совсем как в сказке: «кошка на мышку, мышка на кошку», – погонщик ринулся на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, и все при этом без устали молотили кулаками. К довершению всего у хозяина погас светильник, и, очутившись впотьмах, бойцы принялись колошматить друг друга наугад и уже без всякой пощады, так что где только прошелся чей-нибудь кулак – там не оставалось живого места.

На этом самом постоялом дворе случилось ночевать стражнику из старого толедского Святого братства. И тот, услышав необычайный шум битвы, схватил вещественные знаки своего достоинства, как-то: полужезл и жестяную коробку с бумагами, и, ощупью пробравшись в чулан, крикнул:

– Именем правосудия, остановитесь! Остановитесь, именем Святого братства!

Прежде всего стражник наткнулся на избитого и впавшего в беспамятство Дон Кихота, распростертого на своем рухнувшем ложе, и, нащупав его бороду и зажав ее в кулак, несколько раз крикнул: «На помощь правосудию!» Но, видя, что тот, кого он схватил, не двигается и не шевелится, подумал, что это убитый, а что все остальные – убийцы, и, как скоро мелькнуло у него это подозрение, он еще громче крикнул:

– Заприте ворота! Не выпускайте отсюда никого – здесь человека убили!

Крик этот перепугал дерущихся, и каждый невольно замер на том месте, где его застал голос стражника. Затем хозяин возвратился к себе, погонщик к своим седлам, служанка в свою каморку, – одни лишь горемычные Дон Кихот и Санчо не могли сдвинуться с места. Тут стражник разжал кулак и, выпустив бороду Дон Кихота, пошел искать огня, дабы изловить и задержать преступников; однако ж поиски его оказались тщетными, оттого что хозяин, проходя к себе в комнату, нарочно погасил фонарь, – тогда стражник направил свои стопы к очагу и, потратив немало времени и немало труда, зажег наконец второй светильник.

## Глава XVII,

*в коей описываются новые неисчислимыя бедствия, ожидавшие мужественного Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу на постоялом, дворе, который наш рыцарь, на свое несчастье, принял за некий замок*

Тем временем Дон Кихот очнулся и точно таким же голосом, каким он звал своего оруженосца, лежа в долине дубинок, стал взывать к нему и теперь:

– Друг Санчо, ты спишь? Ты спишь, друг Санчо?

– Как же, заснешь тут, прах меня возьми, – полный досады и печали, отвечал Санчо, – когда нынче ночью словно все черти на меня насели!

– У тебя есть все основания думать так, – заметил Дон Кихот, – потому что или я ничего не понимаю, или это очарованный замок. Надобно тебе знать... Нет, прежде ты должен поклясться, что и после моей смерти будешь хранить в тайне все, что я сейчас скажу.

– Клянусь, – сказал Санчо.

– Я потому требую от тебя клятвы, что мне дорога честь каждого человека, – пояснил Дон Кихот.

– Да ведь я уж поклялся в том, что буду молчать и после вашей кончины, – возразил Санчо, – но дай-то бог, чтобы я проговорился завтра же!

– Верно, я причинил тебе зло, если ты желаешь мне столь скорой смерти? – спросил Дон Кихот.

– Вы тут ни при чем, – возразил Санчо. – Просто-напросто не любитель я что бы то ни было долго хранить в себе: хранишь-хранишь, глядь, а оно уже и прогоркло – вот я чего боюсь.

– Как бы то ни было, порукой мне твоя преданность и твое благородство, – сказал Дон Кихот. – Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось одно из самых удивительных происшествий, какими я могу похвалиться. Коротко говоря, да будет тебе известно, что ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, такая очаровательная и такая изящная девушка, какой на всем свете не сыщешь. Кто возьмется описать ее наряд? Остроту ее ума? Ее скрытые прелести, которые я, будучи верен госпоже моей Дульсинее Тобосской, принужден оставить в покое и обойти молчанием? Одно могу сказать; то ли небо позавидовало блаженству, которое счастливый случай послал мне, а быть может, – даже наверное, – как я уже сказал, мы находимся в очарованном замке, только в то время, как мы в самых нежных выражениях изъяснялись друг другу в любви, невидимая и неизвестно откуда взявшаяся рука некоего чудовищного великана с такой силой ударила меня по челюсти, что у меня все еще полон рот крови, а затем так меня избила, что я сейчас чувствую себя хуже, чем вчера, после того как погонщики нанесли нам памятное тебе оскорбление из-за нескромности Росинантовой. Это наводит меня на мысль, что сокровище красоты этой девушки охраняет какой-нибудь заколдованный мавр и что предназначено оно не мне.

– И не мне, – подхватил Санчо, – меня четыреста с лишним мавров колотили, да так, что после этого дубины погонщиков показались мне пирожками и пряниками. Но скажите мне, сеньор, можно ли назвать этот случай счастливым и редким, коли мы оба не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой? Вашей милости еще повезло: у вас хоть была в руках

несравненная красавица, о чем вы мне только что рассказали. Ну, а я? Я получил столько тумаков, сколько, надеюсь, не получу теперь до самой смерти. Видно, уж я таким несчастным уродился: ведь я не странствующий рыцарь и, надеюсь, никогда им не буду, а почти все шишки валяются на меня!

– Значит, тебя тоже отколотили? – спросил Дон Кихот.

– А разве я вам про это не говорил, нелегкая побери всю мою родню? – в свою очередь, спросил Санчо.

– Не кручинься, друг мой, – молвил Дон Кихот. – Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с тобой выздоровеем в мгновение ока.

В это самое время стражник, коему удалось наконец зажечь светильник, явился взглянуть на мнимого мертвеца; шел он в одной сорочке, с платком на голове, держа в руках светильник, и при этом с такой злоющей рожей, что Санчо невольно спросил своего господина:

– Сеньор! А это часом не заколдованный мавр, – ну, как он собирается нас доконать?

– Не может быть, чтобы мавр, – отвечал Дон Кихот, – очарованных видеть нельзя.

– Видеть-то, может, и нельзя, а чувствовать можно, – возразил Санчо. – Об этом вам могут рассказать мои бока.

– Да и мои также, – признался Дон Кихот. – Однако это еще не дает повода думать, что человек, коего мы видим перед собой, – заколдованный мавр.

Стражник подошел ближе и, видя, что они мирно беседуют, замер от удивления. Должно заметить, что Дон Кихот все еще лежал на спине: избитый до полусмерти и облепленный пластырями, он не в силах был пошевелиться. Наконец стражник приблизился к нему и сказал:

– Ну как дела, горемыка?

– Нельзя ли повежливее? – заметил Дон Кихот. – Или, быть может, местные обычаи таковы, что всякий болван имеет право так разговаривать со странствующими рыцарями?

Эти столь непочтительные выражения, исходившие из уст человека, у которого был такой жалкий вид, привели стражника в бешенство: запустив в Дон Кихота светильником со всем его содержимым, он угодил ему прямо в голову и чуть не раскроил череп, а затем, воспользовавшись темнотой, поспешил удалиться.

– Сомнений нет, сеньор, – сказал Санчо Панса, – это заколдованный мавр, и сокровище свое, должно полагать, он бережет для других, а для нас с вами приберегает одни лишь тумаки, а то и светильником засветит.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот, – однако ж обращать внимание на всякие такие чародейства нам не следует, и не следует гневаться и выходить из себя: ведь это все призраки и невидимки, – следственно, мстить некому, как бы мы этого ни желали. Вставай-ка лучше, Санчо, если только это тебе нетрудно, да сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целебный бальзам: сказать по совести, он мне теперь совершенно необходим, ибо рана, которую нанес мне этот призрак, сильно кровоточит.

Санчо, превозмогая изрядную боль в костях, поднялся со своего ложа и стал ощупью пробираться к хозяину; наткнувшись на стражника, который в это время подслушивал и силился уяснить себе, куда клонит его недруг, он сказал:

– Кто бы вы ни были, сеньор, сделайте нам такую милость и одолжение, дайте немного розмарину, масла, соли и вина, – все это требуется для лечения одного из лучших странствующих рыцарей, какие только есть на свете, каковой рыцарь лежит сейчас на кровати, раненный заколдованным мавром, который пребывает на вашем постоялом дворе.

Послушав такие речи, стражник заключил, что у этого человека зашел ум за разум; но как начало уже светать, то он отворил дверь и, окликнув хозяина, передал ему просьбу этого чудака. Хозяин наделил Санчо всем, что только ему требовалось, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот же, обхватив руками голову, стонал от боли, хотя отделался он всего лишь двумя основательными шишками, и по лицу у него струился пот, а вовсе не кровь ибо

от пережитых тревог и волнений его и в самом деле прошибла испарина.

Все же он взял снадобья, смешал их, затем стал подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, когда ему показалось, что бальзам готов. Затем он попросил склянку, чтобы перелить в нее бальзам, но на всем постоялом дворе не нашлось ни одной склянки; тогда он решил употребить для этой цели жестянку из-под оливкового масла, каковую хозяин и предоставил ему в безвозмездное пользование, после чего Дон Кихот, при каждом слове творя крестное знамение и как бы благословляя жестянку, прочитал над нею более восьмидесяти раз «Pater noster» и приблизительно столько же раз «Ave Maria», «Salve» и «Credo», при каковой церемонии присутствовали Санчо, хозяин и стражник, – погонщик же как ни в чем не бывало возился в это время со своими мулами. По совершении обряда Дон Кихот, пожелав сей же час испытать на себе целебные свойства этого драгоценного бальзама, выпил почти все, что не вошло в жестянку и оставалось в чугунке, в котором это зелье варилось, то есть приблизительно с поласумбры, но стоило ему хлебнуть из чугунка – и его тут же начало рвать, да так, что в желудке у него буквально ничего не осталось; и от истомы и от натуги у него выступила обильная испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и оставить одного. Просьба его была исполнена, и он проспал более трех часов, а когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную легкость, да и боль в костях почти не давала себя знать, так что он почувствовал себя совершенно здоровым и проникся убеждением, что ему и в самом деле удалось приготовить бальзам Фьерабраса и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться любых, даже самых опасных, битв, столкновений и схваток.

Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруженосца, и он попросил позволения осушить чугунок, а там еще оставалось изрядное количество бальзама. Дон Кихот изъявил согласие, тогда Санчо, обеими руками придерживая чугунок, с горячей верой и превеликой охотой припал к нему и влил в себя немногим меньше своего господина. Но желудок у бедняги Санчо оказался не столь нежным, как у Дон Кихота: прежде чем его вырвало, приступы и позывы, испарина и головокружение довели его до такого состояния, что он уже нисколько не сомневался, что пришел его последний час; измученный и удрученный, он проклинал самый бальзам и того злодея, который попотчевал его этим бальзамом. Видя, как он страдает, Дон Кихот сказал:

– Я полагаю, Санчо, что тебе стало худо оттого, что ты не посвящен в рыцари, а я совершенно уверен, что эта жидкость не приносит пользы тем, кто не вступил в рыцарский орден.

– Если ваша милость про это знала, то почему же, будь неладен я сам и вся моя родня, вы позволили мне его попробовать?

Но тут напиток наконец подействовал, и бедный оруженосец столь стремительно стал опорожняться через оба отверстия, что тростниковая циновка, на которую он повалился, и даже одеяло из пакли, которым он укрывался, пришли в совершенную негодность. Его выворачивало наизнанку, он обливался потом, бился в судорогах, так что не только он сам, но и все здесь присутствовавшие решили, что он при смерти. Эта буря и эта невзгода длились около двух часов, по истечении которых нашему оруженосцу легче не стало, – в противоположность своему господину, он чувствовал себя таким разбитым и пришибленным, что не мог стоять на ногах; между тем Дон Кихот, как известно, поздоровел и приободрился, и теперь он горел желанием отправиться на поиски приключений, ибо ему казалось, что задержаться в пути – значит лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства; к тому же он твердо верил в чудотворную силу своего бальзама. Того ради, влекомый этим желанием, он собственноручно оседлал и навьючил обоих верховых животных, помог своему оруженосцу одеться и посадил его на осла. Затем сел на Росинанта и, отъехав в самый конец двора, прихватил стоявшее там копьцо, которое отныне долженствовало заменять ему копье.

Обитатели постоялого двора, человек двадцать, если не больше, – словом, все, сколько их ни было, смотрели на него, в том числе и хозяйская дочь; он тоже не сводил с нее глаз и

по временам так тяжело вздыхал, что казалось, будто вздохи эти вырываются из глубины его души, но все были уверены, что он стонет от боли в боках, – по крайней мере, те, что вчера вечером присутствовали при том, как ему ставили пластыри.

Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, Дон Кихот, обратясь к хозяину, спокойно и важно молвил:

– Благодеяния, которые вы, сеньор алькайд, в этом замке мне оказали, столь велики и многообразны, что я чувствую себя перед вами в долгу и век этого не забуду. В благодарность я желал бы отомстить за вас какому-нибудь гордецу, который вас чем-либо обидел, ибо знайте, что моя прямая обязанность в том именно и состоит, чтобы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных. Поройтесь в памяти, и если с вами что-нибудь подобное случилось, то вы смело можете обратиться ко мне: клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что вы будете удовлетворены и вознаграждены согласно вашему желанию.

Хозяин ответил ему столь же невозмутимо:

– Сеньор кавальеро! Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ваша милость мстила моим обидчикам, я и сам в случае чего сумею им отомстить. Я хочу одного – чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем постоялом дворе, то есть за солому и овес для скотины, а также за ужин и за две постели.

– Как, разве это постоянный двор? – спросил Дон Кихот.

– И притом весьма почтенный, – отвечал хозяин.

– Значит, я до сего времени заблуждался, – сказал Дон Кихот. – Откровенно говоря, я думал, что это замок, и к тому же не из последних, но если это не замок, а постоянный двор, то единственно, что я могу сделать, это обратиться к вам с просьбой не брать с меня ничего: ведь я не имею права нарушить устав странствующих рыцарей, а между тем я знаю наверное, – и в доказательство могу сослаться на какой хотите роман, – что на постоянных дворах они никогда не платили ни за ночлег, ни за что-либо еще, ибо все должны и обязаны оказывать им радушный прием за неслыханные муки, которые они терпят, ища приключений, ищут же они их денно и ночью, зимою и летом, в стужу и в зной, пешие и конные, алчущие и жаждущие, не защищенные от стихийных бедствий и изнывающие под бременем земных тягот.

– Это меня не касается, – возразил хозяин. – Платите денежки – вот вам мой сказ, а сказки про рыцарей расскажите кому-нибудь другому. Мое дело получить с вас за постой.

– Вы тупоумный и грубый трактирщик, – заметил Дон Кихот.

Пришпорив Росинанта и положив поперек седла копыце, он беспрепятственно покинул пределы постоялого двора, и даже когда отъехал на довольно значительное расстояние, то и тут не поглядел, следует ли за ним его оруженосец. Между тем, видя, что рыцарь уехал не расплатившись, хозяин вознамерился получить за постой с Санчо Пансы, но тот объявил, что если его господин не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, Санчо, является оруженосцем странствующего рыцаря и как таковой обязан придерживаться тех же правил и установлений, что и его господин, то есть ровно ничего не платить как в трактирах, так и на постоялых дворах. Хозяина это взорвало, и он пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он все равно свое возьмет, но только прибегнет к такому способу, что тот не обрадуется. Санчо ему на это ответил, что, следуя уставу рыцарского ордена, к коему принадлежит его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни, – он-де не намерен ломать славный и древний обычай странствующих рыцарей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роптали на него и упрекали в нарушении столь справедливого закона.



К умножению несчастий бедного Санчо, среди тех, кто в это время находился на постоялом дворе, оказались четыре сеговийских сукнодела, трое игольщиков из кордовского Потро и двое с севильской Ярмарки, – все, как на подбор, шутники, затейники, озорники и проказники; и вот эти-то самые люди, словно по уговору или по команде, подошли к Санчо, стащили его с осла, повалили на хозяйское одеяло, за которым не поленился сбежать один из них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слишком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти на скотный двор, коему кровлю заменял небосвод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его, как собаку во время карнавала.

Истощенные вопли злосчастного летуна донесли до его господина, – тот остановился, прислушался и сначала подумал, что это какое-нибудь новое приключение, а затем, явственно различив голос своего оруженосца, повернул обратно, грузным галопом подскочил к постоялому двору, но, обнаружив, что ворота заперты, с целью как-нибудь туда проникнуть решился объехать его кругом; однако ж не успел он приблизиться к забору, коим был обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высокому, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измываются. На его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и при этом с такой быстротой и легкостью, что если бы гнев, овладевший Дон Кихотом, в это самое мгновение утих, то он, уж верно, покатылся бы со смеху. Попытался было он перескочить с седла на забор, но он чувствовал себя таким слабым и разбитым, что не мог даже спешиться, а потому ограничился тем, что, не слезая с коня, принялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругательствами и оскорблениями, которые мы не осмеливаемся здесь привести; однако летун Санчо по-прежнему стонал, перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы продолжали гоготать и заниматься своим делом, ибо все это на них не действовало, – отпустили же они в конце концов Санчо только тогда, когда устали его подбрасывать. Затем они подвели осла, усадили Санчо и накинули на него пыльник, а сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, рассудила за благо сбежать на колодец и принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кувшин и уже поднес ко рту, как вдруг услышал громкие крики своего господина:



– Сын мой Санчо, не пей воды! Сын мой, не пей воды, – она тебя погубит. Смотри, вот животворный бальзам (тут он показал ему жестянку), прими две капли, и я ручаюсь, что ты поправишься.

Санчо покосился на него и в ответ еще громче крикнул:

– Да разве вы забыли, ваша милость, что я не рыцарь? Или вы хотите, чтобы я выблевал те внутренности, которые у меня еще остались после вчерашней ночи? Пусть им лечатся бесы, а меня увольте.

Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, уверившись после первого же глотка, что это просто вода, не стал больше пить и попросил Мариторнес принести ему вина, что та весьма охотно и исполнила, уплатив за вино из своего кармана, – видно, недаром про нее говорили, будто, несмотря на свое ремесло, какие-то христианские чувства она все же сумела в себе сохранить. Выпив вина, Санчо тотчас же пришпорил осла, настезь распахнул ворота и в восторге от того, что так ничего и не заплатил и все же вырвался отсюда, – хотя эта радость омрачалась тем, что за него расплатились обычные его поручители, то есть его же собственные бока, – выехал со двора. Впрочем, не только бока, – хозяин позаботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже не заметил этого. После того как он уехал, хозяин вознамерился запереть ворота на засов, однако ж мучители нашего оруженосца отговорили его: это были такие удалцы, что не посчитались бы не только с Дон Кихотом, но и с Рыцарем Круглого Стола.

## Глава XVIII,

*содержащем замечания, коими Санчо Панса поделился со своим господином Дон Кихотом, и повествующая о разных достойных упоминания событиях*

Санчо не мог даже подогнать осла, – в таком состоянии он находился, когда подъехал к своему господину. Видя, что он так слаб и пришиблен, Дон Кихот сказал ему:

– Теперь, добрый мой Санчо, я совершенно удостоверился, что этот замок, то есть постоянный двор, действительно очарован. В самом деле, те, что так жестоко над тобой насмеялись, – разве это не привидения и не выходцы с того света? Говорю я это на том основании, что когда я глядел через забор и наблюдал за ходом мрачной твоей трагедии, то не мог не только перескочить через ограду, но даже сойти с коня, оттого что, по всей вероятности, был заколдован. Клянусь честью, будь я в состоянии перескочить через забор или спешиться, я бы за тебя отомстил этим грубиянам и лиходеям, да так, что раз навсегда отбил бы у них охоту издеваться над людьми, хотя бы для этого мне пришлось нарушить законы рыцарства, которые, о чем я уже неоднократно ставил тебя в известность, позволяют рыцарю поднимать руку на того, кто таковым не является, лишь в случае крайней и острой необходимости, когда посягают на его, рыцаря, жизнь и особу.

– Если б я мог, я бы и сам за себя отомстил, хоть я и не посвящен в рыцари, да то-то и дело, что не мог. А все-таки я стою на том, что те, кто надо мной потешался, – это не бесплотные призраки и не заколдованные, как уверяет ваша милость, а такие же люди, как мы с вами. И у каждого из них есть имя, – они подбрасывали меня, а сами переговаривались, и тут я узнал, что одного зовут Педро Мартинесом, другого – Тенорьо Эрнандесом, а хозяин – Хуан Паломеке, по прозвищу Левша. Так что, государь мой, перескочить через забор и слезть с коня вам помешало не колдовство, а что-то другое. Все это ясно показывает, что приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким злоключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться домой: теперь самая пора жатвы, самое время заняться хозяйством, а мы с вами скитаемся как неприкаянные и, что называется, кидаемся из огня да в полымя.

– Как плохо ты разбираешься в том, что касается рыцарства, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Молчи и наберись терпения: придет день, когда ты воочию убедишься, сколь почетно на этом поприще подвизаться. Нет, правда, скажи мне: что может быть выше

счастья и что может сравниться с радостью выигрывать сражения и одолевать врага? Разумеется, ничто.

– Положим, что так, хотя я этого на себе не испытывал, – отвечал Санчо. – Я знаю одно: с тех пор, как мы стали странствующими рыцарями, или, вернее, вы, ваша милость, – ведь у меня-то нет никаких прав на столь высокий сан, – мы еще не выиграли ни одного сражения, если не считать сражения с бискайцем, да и то ваша милость потеряла в этом бою пол-уха и половину шлема. Так вот с той поры мы беспрерывно принимаем побои и получаем тумачи, а меня вдобавок еще и подбрасывали и, как назло, какие-то заколдованные личности: ведь я им даже отомстить не могу и так никогда и не узнаю, велико ли подлинно удовольствие от победы над врагом, как уверяет ваша милость.

– Именно это меня и огорчает, и тебя должно огорчать, Санчо, – заметил Дон Кихот, – однако ж в недалеком будущем я постараюсь добыть себе меч, столь искусно сделанный, что тому, кто им владеет, не страшны никакие чары. А может быть, даже судьба предоставит в мое распоряжение меч Амадиса, тот самый, который служил ему в те времена, когда он именовался Рыцарем Пламенного Меча, а это был один из лучших мечей, каким когда-либо владели рыцари, ибо, помимо указанного свойства, он резал, как бритва, и самая прочная или же заколдованная броня не могла перед ним устоять.

– Мне так везет в жизни, – сказал Санчо, – что если б это сбылось и ваша милость подыскала для себя такой меч, то оказалось бы, что он может сослужить службу и принести пользу только рыцарям, как это случилось с бальзамом, оруженосцам же, видно, на роду написано похмелье в чужом пиру.

– Не унывай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – скоро небо сжалится и над тобой.

Оба продолжали беседовать в том же духе, как вдруг Дон Кихот заметил, что навстречу им движется по дороге огромное и густое облако пыли; увидев это облако, Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

– Настал день, Санчо, когда обнаружится благодеяние, которое намерена оказать мне судьба. В этот день, говорю я, как никогда, проявится вся мощь моей длани и я совершу подвиги, которые будут вписаны в книгу славы на вечные времена. Видишь ли ты, Санчо, облако пыли? Так вот, эту пыль поднимает многочисленная и разноплеменная рать, что идет нам навстречу.

– Уж если на то пошло, так не одна, а целых две рати, – возразил Санчо, – потому с противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли.

Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду; он чрезвычайно обрадовался и проникся уверенностью, что войска предполагают встретиться и сразиться на этой широкой равнине. Должно заметить, что воображение его всечасно и неотступно преследовали битвы, чары, приключения, всякого рода нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок – все, о чем пишут в рыцарских романах, и этим определялись все его поступки, вокруг этого вращались все его помыслы, и на это он сводил все разговоры, тогда как на самом деле пыль, которую он заметил, поднимали два больших стада овец и баранов, двигавшиеся по дороге навстречу друг другу, но за пылью их не было видно до тех пор, пока они не подошли совсем близко. Дон Кихот, однако, с таким жаром доказывал, что это два войска, что Санчо в конце концов поверил ему и сказал:

– Что же нам делать, сеньор?

– Что делать? – переспросил Дон Кихот. – Оказывать помощь и покровительство слабым и беззащитным. Да будет тебе известно, Санчо, что войско, которое движется нам навстречу, ведет великий император Алифанфарон, правитель огромного острова Трапобаны<sup>1</sup>, а тот, что идет за нами, – это его враг, король гарамантов<sup>2</sup> Пентаполин *Засученный Рукав*, названный так потому, что перед боем он всегда обнажает правую руку.

– Почему же эти два сеньора так невзлюбили друг друга? – осведомился Санчо.

– А потому, – отвечал Дон Кихот, – что Алифанфарон, закоренелый язычник, влюбился

---

<sup>1</sup> *Трапобана* – вместо Трапробана (древнее название острова Цейлон).

<sup>2</sup> *Гараманты* – народ, живущий к югу от Нумидии.

в дочь Пентаполина, красивую, обворожительную девушку и к тому же христианку, а отец не желает отдавать ее за языческого короля до тех пор, пока тот не отречется от закона лжепророка Магомета и не примет христианства.

– Ей-богу, Пентаполин совершенно прав! – воскликнул Санчо. – Я, со своей стороны, готов сделать для него все, что могу.

– И ты поступишь как должно, Санчо, – сказал Дон Кихот, – для того чтобы вступить в подобного рода бой, можно и не иметь рыцарского звания.

– Это я отлично понимаю, – сказал Санчо, – но только куда бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, когда стычка кончится? Потому, думается мне, вряд ли кто вступал в бой, гарцуя на осле.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот. – Единственный выход – это бросить его на произвол судьбы, пропадет так пропадет: ведь если мы выйдем победителями, то у нас будет столько коней, что и Росинант не избежит опасности получить отставку. А теперь слушай меня внимательно и смотри сюда, – я хочу назвать тебе главных рыцарей, которые находятся в рядах этих войск. А дабы ты их получше рассмотрел и приметил, я предлагаю удалиться вон на тот бугорок, и оба войска, уж верно, откроются нашему взору.

Как сказано, так и сделано: Дон Кихот и Санчо въехали на холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь преобразил в войска, были бы хорошо видны, когда бы поднятая ими пыль не застилала зрение и не слепила глаза; однако ж Дон Кихот, воображению которого рисовалось то, чего он не видел и чего на самом деле не было, заговорил громким голосом:

– Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, распростертый у ног девы, – это доблестный Лауркальк, владелец Серебряного моста. Тот, чьи доспехи разукрашены золотыми цветами и на щите которого по синему полю нарисованы три серебряные короны, – это грозный Микоколемб, великий герцог Киросский. Справа от него, вон тот рыцарь исполинского телосложения, это неустрашимый Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий; одежды на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит дверь, – предание гласит, что это одна из дверей того храма, который разрушил Сампсон, когда он ценою собственной жизни отомстил врагам своим. А теперь оглянись и посмотри в другую сторону: впереди другого войска – всепобеждающий и никем не победимый Тимонель Каркахонский, повелитель Новой Бискайи, в доспехах с синими, зелеными, белыми и желтыми полосками, и на щите у него по желто-бурому полю нарисована золотая кошка, а под ней написано: *Мяу*, – это сокращенное имя его дамы, то есть, если верить слухам, несравненной Мяулины, дочери герцога Альфеньикена Алгарвского. Тот, под тяжестью которого сгибается его ретивый конь, тот, у которого белоснежные доспехи и белый щит без всякого девиза, – это недавно посвященный в рыцари француз по имени Пьер Папен, правитель баронств Утрехтских. Тот, в доспехах, покрытых голубою эмалью, вонзающий железные шпоры в бока полосатой и быстроногой зебры, – это всемогущий герцог Нербийский Эспартафилард дель Боске; на щите у него пучок спаржи и девиз, написанный по-кастильски: *Следи за моей судьбой*.

Так, увлекаемый собственным воображением, отмеченным печатью его доселе невиданного умопомешательства, он продолжал говорить без умолку и перечислять рыцарей обеих воображаемых ратей, тут же сочиняя девизы и прозвища и придумывая для каждого из них особый цвет и особую форму доспехов.

– Войско, которое идет нам навстречу, составляют и образуют многообразные племена. Здесь можно встретить тех, что пьют сладкие воды прославленного Ксанфа<sup>1</sup>; тех, что попирают массилилийские горные луга<sup>2</sup>; тех, что просеивают тончайшую золотую пыль счастливой Аравии; тех, что блаженствуют на чудесных прохладных берегах светлого Фермодонта<sup>3</sup>; тех, что разными способами достают золотой песок со дна Пактола<sup>4</sup>;

---

1 *Ксанф* – река Скамандр в Малой Азии.

2 *Массилийские горные луга* – местность в восточной Нумидии.

3 *Фермодонт* – река в Понте, впадающая в Черное море. На ее берегах, по преданию, жили амазонки.

4 *Пактол* – золотоносная река в Лидии (ныне Сарабат).

изменчивых нумидийцев; персов, славящихся своими луками и стрелами; парфян и мидян, сражающихся на бегу; арабов с их кочевыми шатрами; скифов, славящихся как своею жестокостью, так и белизною кожи; эфиопов с проколотыми губами, и еще я вижу и узнаю бесчисленное множество племен, но только не могу вспомнить их названия. В рядах другого войска находятся те, что утоляют жажду прозрачными струями Бетиса, окаймленного оливковыми рощами; те, что моют и освежают лицо влагою всегда полноводного и золотоносного Тахо; те, что упиваются животворящею водою дивного Хениля; те, что попирают тартесийские долины<sup>1</sup> с их тучными пажитями; те, что веселятся на Елисейских полях Хереса; богатые ламанцы в венках из золотых колосьев; те, что закованы в латы, – последние потомки древних готов; те, что купаются в водах Писуэрги, славящейся спокойным своим течением; те, что пасут стада на бескрайних лугах извиистой Гуадианы<sup>2</sup>, славящейся потаенным своим руслом; дрожащие от холода в лесах Пиренеев и осыпаемые снежными хлопьями на вершинах Апеннин, – словом, все племена, которые населяют и наполняют собою Европу.

Господи ты боже мой, какие только страны не назвал Дон Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лживых романах, и потрясенный этим до глубины души, какие только народы не перечислил, в мгновение ока наделив каждый из них особыми приметами! Санчо Панса слушал Дон Кихота разинув рот, сам же от себя не вставлял ни слова и только время от времени озирался – не видать ли рыцарей и великанов, которых перечислял Дон Кихот, но как он никого из них не обнаружил, то обратился к своему господину с такими словами:

– Сеньор! Верно, черт унес всех ваших великанов и рыцарей, я, по крайней мере, их не вижу: они тоже, поди, заколдованы не хуже вчерашних привидений.

– Как ты можешь так говорить! – воскликнул Дон Кихот. – Разве ты не слышишь ржання коней, трубного звука и барабанного боя?

– Я слышу только бляенье овец и баранов, – отвечал Санчо.

И точно, оба стада подошли уже совсем близко.

– Страх, овладевший тобою, Санчо, ослепляет и оглушает тебя, – заметил Дон Кихот, – в том-то и заключается действие страха, что он приводит в смятение наши чувства и заставляет нас принимать все предметы не за то, что они есть на самом деле. И вот если ты так напуган, то отъезжай в сторону и оставь меня одного, я и один сумею сделать так, чтобы победа осталась за теми, кому я окажу помощь.

Тут он прищпорил Росинанта и, взяв копые наперевес, с быстротою молнии спустился с холма.

Санчо кричал ему вслед:

– Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь богом, вы нападаете на овец и баранов. Воротитесь! Господи, и зачем только я на свет родился! В уме ли вы, сеньор? Оглянитесь, нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, доспехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных, ни цвета небесной лазури, ни черта тут нет. Да что же он делает? Вот грех тяжкий!

Но Дон Кихот и не думал возвращаться назад, – как раз в это время он громко воскликнул:

– Смелее, рыцари, – вы, что шествуете и сражаетесь под знаменами доблестного императора Пентаполина *Засученный Рукав*, – следуйте за мною, и вы увидите, какую скорую расправу учиню я над его врагом Алифанфароном Трапобанским!

---

<sup>1</sup> *Тартесийские долины* – Тартес – древний финикийский город в юго-западной Испании, в устье реки Гуадалквивир.

<sup>2</sup> *Гуадиана* – река в Испании, которая в своем течении несколько раз скрывается под землей, а затем вновь появляется на поверхности.



С этими словами он врезался в овечье стадо и столь отважно и столь яростно принялся наносить удары копьём, точно это и впрямь были его смертельные враги. Пастухи пытались остановить его; однако, уверившись, что это ни к чему не ведёт, они отвязали свои пращи и принялись услаждать его слух свистом летящих камней величиною с кулак. Но Дон Кихот, не обращая внимания на камни, носился взад и вперед по полю и кричал:

– Где ты, заносчивый Алифанфарон? Выходи на меня. Я – рыцарь, желающий один на один помериться с тобою силами и лишить тебя жизни в наказание за то, что ты чуть было не отнял жизнь у доблестного Пентаполина Гарамантского.

В это самое время голыш угодил ему в бок и вдавил два ребра. Невзвидев света от боли, Дон Кихот вообразил, что он убит или, по меньшей мере, тяжело ранен; но тут он вспомнил про бальзам, схватил жестянку, поднес ее ко рту и стал вливать в себя жидкость; однако ж не успел он принять необходимую, по его мнению, дозу, как другой снаряд, необычайно метко пущенный, угодил ему в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб ему не то три, не то четыре зуба, в том числе сколько-то коренных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И таков был первый удар и таков второй, что бедный наш рыцарь слетел с коня. К нему подбежали пастухи и, решив, что они убили его, с величайшей поспешностью собрали стадо, взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось не менее семи, и без дальних размышлений тронулись в путь.

Санчо все это время пребывал на холме и, следя за безумными выходками своего господина, рвал на себе волосы и проклинал тот день и час, когда судьба свела его с ним. Увидев же, что Дон Кихот грянулся оземь, а пастухи удалились, он спустился с холма, приблизился к нему и, удостоверившись, что его отделали здорово, хотя и не до бесчувствия, сказал:

– Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы не вступали в бой, а возвращались назад, потому это не войско, а стадо баранов?

– Вот на какие ухищрения и подделки способен этот гнусный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, как он, ничего не стоит ввести нас в обман, и вот этот преследующий

меня злодей, позавидовав славе, которую мне предстояло стяжать в бою, превратил вражескую рать в стадо овец. Если же ты все еще сомневаешься, Санчо, то, дабы ты разуверился и признал мою правоту, я очень прошу тебя сделать одну вещь садись на осла и не торопясь следуй за ними, – ты увидишь, что, отойдя на незначительное расстояние, они вновь примут первоначальный свой вид и из баранов снова превратятся в самых настоящих людей, в тех людей, о которых я тебе рассказывал. Но только ты погоди, – сейчас я нуждаюсь в твоей помощи и поддержке. Подойди поближе и посмотри, сколько мне выбили коренных и передних зубов, – по-моему, у меня ни одного не осталось.

Санчо так близко к нему наклонился, что чуть не влез с головою в рот; но в это самое время начал оказывать свое действие бальзам, и, как раз когда Санчо заглянул к Дон Кихоту в рот, рыцарь наш с быстротою мушкетного выстрела извергнул все, что было у него внутри, прямо на бороду сердобольного оруженосца.

– Пресвятая богородица! – воскликнул Санчо. – Что же это такое? Стало быть, бедняга смертельно ранен, коли его рвет кровью.

Однако, взглядевшись пристальнее, он по цвету, вкусу и запаху догадался, что это не кровь, а бальзам, который Дон Кихот на его глазах пил из жестянки; но тут Санчо почувствовал такое отвращение, что желудок у него вывернуло наизнанку, и он облевал своего собственного господина, так что вид у обоих был теперь хоть куда. Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из сумки что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и перевязать Дон Кихота, но, удостоверившись, что сумки нет, пришел в бешенство; он снова разразился проклятиями и мысленно дал себе слово бросить своего господина и возвратиться домой, хотя бы ему пришлось отказаться и от заработанного жалованья, и от мысли когда-нибудь сделаться правителем обещанного острова.

Дон Кихот между тем стал на ноги и, левою рукою придерживая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а другою взяв под уздцы Росинанта, который не отходил ни на шаг от своего господина (такой это был верный и благонравный конь), направился к оруженосцу; оруженосец же, поставив локоть на осла и подперев щеку ладонью, пребывал в задумчивости. Видя, что он пригорюнился, Дон Кихот сказал:

– Знай, Санчо, что только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других. Бури, которые нам пришлось пережить, – это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следовательно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка. Итак, да не огорчают тебя случившиеся со мною несчастья, тем более что тебя они не коснулись.

– Как так не коснулись? – воскликнул Санчо. – А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле, – кто же он, по-вашему, как не родной сын моего отца? А нынче у меня пропала сумка со всеми драгоценностями, – что же, она чужая, а не моя?

– Как, Санчо, разве у тебя пропала сумка? – спросил Дон Кихот.

– Ну да, пропала, – отвечал Санчо.

– Значит, нам придется сегодня поголодать, – заключил Дон Кихот.

– Пришлось бы, – возразил Санчо, – когда бы на этих лугах не росли травы, которые, как уверяет ваша милость, вам хорошо известны и которые в таких случаях вполне удовлетворяют столь незадачливых странствующих рыцарей, как вы, ваша милость.

– Однако, – заметил Дон Кихот, – я предпочел бы всем травам, которые описывает Диоскорид, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны<sup>1</sup>, ломоть хлеба, даже целый каравай, и две сардинки. Как бы то ни было, садись на своего осла, мой добрый Санчо, и следуй за мной, – господь, который всех на свете питает, не оставит и нас, тем более что мы так ревностно ему служим, а ведь он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, и червей, живущих под землею, и головастиков, плавающих в воде, и, по великому милосердию своему, повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

---

<sup>1</sup> Доктор Лагуна – испанский переводчик и комментатор трактата о лекарственных травах греческого врача Диоскорида (I в. н.э.).

– Вашей милости больше подходит быть проповедником, нежели странствующим рыцарем, – заметил Санчо.

– Странствующие рыцари, Санчо, все умели делать и обязаны были уметь, – возразил Дон Кихот. – В былые времена странствующий рыцарь произносил проповедь или речь где-нибудь в стане воинов не хуже любого доктора Парижского университета, отсюда можно вывести заключение, что никогда еще копые не притупляло пера, а перо – копыя.

– Ну ладно, пусть будет по-вашему, – сказал Санчо. – А теперь давайте тронемся в путь и поищем ночлега, только дай бог, чтобы там, где мы остановимся, не было ни одеял, ни мастеров по части подбрасывания на одеяле, ни привидений, ни очарованных мавров – словом, всей этой чертовщины, а иначе пропадай все пропадом.

– Помолись об этом богу, сын мой, и веди меня, куда хочешь, – сказал Дон Кихот. – На сей раз я предоставляю выбор ночлега на твое усмотрение. Но только прежде протяни руку и пощупай пальцем, скольких передних и коренных зубов недостает у меня с правой стороны, на верхней челюсти, а то мне тут больно.

Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спросил:

– Сколько бабок было у вашей милости с этой стороны?

– Четыре, – отвечал Дон Кихот, – и, не считая зуба мудрости, все до одного были целые и здоровые.

– Припомните хорошенько, сеньор, – сказал Санчо.

– Говорят тебе, четыре, а то и все пять, – подтвердил Дон Кихот. – За всю жизнь у меня ни разу не было воспаления надкостницы, никогда мне не вырывали ни передних, ни коренных зубов, и сами они не падали и не портились.

– Ну, а теперь у вас внизу с этой стороны всего две с половиной бабки, – объявил Санчо, – а наверху даже половинки – и той нет: вся верхняя челюсть гладкая, как ладонь.

– Вот беда! – узнав эту печальную новость, воскликнул Дон Кихот. – Лучше бы мне отрубили руку, только не ту, в которой я держу меч. Надобно тебе знать, Санчо, что рот без коренных зубов – это все равно что; мельница без жернова, а потому каждый зуб следует беречь пуще алмаза. Впрочем, кто дал суровый обет рыцарства, те должны все невзгоды терпеть безропотно. Итак, садись на осла, друг мой, и указывай путь, а я последую за тобой, куда тебе будет угодно.

Санчо так и сделал и, не сворачивая с большой дороги, которая в этом месте не загибалась ни вправо, ни влево, двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, можно было найти пристанище.

И вот в то время, как оба они еле тащились, оттого что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и мешала ему ехать быстрее, Санчо, дабы его господин рассеялся и развлекся, вздумал повести с ним речь о разных вещах и, между прочим, изрек нечто такое, о чем будет идти речь в следующей главе.

## Глава XIX

*О глубокомысленных замечаниях, коими Санчо поделился со своим господином, о приключении с мертвым телом, равно как и о других необычайных происшествиях*

Сдается мне, государь мой, что беды, которые сыплются на нас все эти дни, вернее всего посланы вам в наказание за ваши грехи, – за то, что ваша милость нарушила рыцарский устав и не исполнила клятву, а клялись вы обходиться без скатерти, не резвиться с королевой и еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже давала клятву, до тех пор пока вы не отнимете у кого-нибудь шлем этого... как его? Маландрина, – я уж позабыл, как зовут того мавра.

– Ты совершенно прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Откровенно говоря, клятва эта изгладилась из моей памяти. Более того, ты можешь быть уверен, что вся эта история с одеялом произошла единственно потому, что ты вовремя мне про это не напомнил. Но я

искуплю свой грех, ибо в уставе рыцарства сказано, как загладить любую вину.

– А разве я тоже в чем-нибудь клялся? – спросил Санчо.

– Это не важно, клялся ты или нет, – сказал Дон Кихот. – Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно заподозрить в сообщничестве. Так или иначе, нам следует исправить ошибку.

– Коли дело обстоит таким образом, – сказал Санчо, – смотрите, ваша милость, не забудьте ее исправить, как забыли вы свою клятву, а то ну как привидениям взбредет на ум еще раз потешиться надо мной, да и над вашей милостью, если они увидят, что вы такой упорный.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, по дороге их застигла ночь, прежде нежели они успели найти или хотя бы заприметить какое-нибудь пристанище; на беду, обоим мучил голод, ибо вместе с дорожной сумой исчезли их съестные припасы. И к довершению всего их ожидало на сей раз уже не воображаемое, а самое доподлинное приключение. Вот как было дело. Ночь выдалась довольно темная, но, несмотря на это, они продолжали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, что на больших дорогах постоялые дворы попадаются не реже чем через каждые две мили. Итак, ехали-ехали голодный оруженосец и его господин, который тоже хотел есть, и вдруг заметили, что к ним приближается бесчисленное множество огней, похожих на движущиеся звезды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Кихот не поверил собственным глазам; и тот и другой натянули поводья и стали зорко вглядываться, пытаясь уяснить себе, что бы это могло быть; наконец оба увидели, что огни идут прямо на них и по мере своего приближения все увеличиваются в размерах; тут Санчо задрожал как лист, а у Дон Кихота волосы встали дыбом; затем, слегка приободрившись, он сказал:

– Сомнений нет, Санчо: это одно из величайших и опаснейших приключений, и я должен буду напрячь все свои силы и выказать все свое мужество.

– Что я за несчастный! – воскликнул Санчо. – По всему видно, что это опять призраки, а коли так, то где же я возьму ребра, чтобы расплатиться и за это приключение?

– Пусть это даже из призраков призраки, все равно я не позволю им коснуться ворса на твоём платье. Прошлый раз они надругались над тобою единственно потому, что я не в силах был перескочить через забор, но теперь мы в открытом поле, и я могу предоставить моему мечу полную свободу действий.

– А если они его заколдуют и прикуют к месту, как прошлый раз, то какой нам будет прок от того, что мы в открытом поле? – спросил Санчо.

– Во всяком случае, не теряй самообладания, Санчо, прошу тебя, – сказал Дон Кихот, – а я не замедлю показать тебе пример.

– Бог даст, не потеряю, – отозвался Санчо.

Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, сиюсь понять, что собой представляют эти блуждающие огни, и немного погодя им удалось различить множество фигур в белых балахонах; это страшное зрелище так подействовало на Санчо Пансу, что он совершенно потерял самообладание: у него зуб на зуб не попадал, точно его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и как застучали у него зубы, когда оба они наконец явственно различили, что это такое! Ибо они увидели до двадцати всадников в балахонах, ехавших с зажженными факелами в руках впереди похоронных дрог, а за дрогами следовали еще шесть всадников в длинном траурном одеянии, ниспадавшем чуть ли не до копыт мулов, – судя по их медленному шагу, это были именно мулы, а не лошади. Балахоны словно переговаривались между собой голосами тихими и жалобными. Необычайное зрелище, явившееся взорам наших путешественников в столь поздний час и в таком пустынном месте, способно было навести страх не только на Санчо, но и на его господина. Дело было за Дон Кихотом, а у Санчо давно уже душа в пятки ушла, но, к сожалению, Дон Кихот испытывал противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему живо представилось одно из тех приключений, которые описываются в его любимых романах.

Он вообразил, что похоронные дроги – это траурная колесница, на которой везут



тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, не долго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги, по которой неминуемо должны были проехать балахоны, и, как скоро они приблизились, заговорил громким голосом:

– Рыцари вы или не рыцари, – все равно, остановитесь и доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь держите и кого везете вы на этой колеснице. По всем признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость.

– Мы торопимся, – отвечал один из балахонов, – а до постоянного двора далеко, и нам недосуг давать столь подробные объяснения.

С этими словами он хлестнул мула и хотел было проехать мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорбленный таким ответом, схватил мула за узду и сказал:

– Остановитесь, будьте пожеливее и отвечайте на мои вопросы, не то я всех вас вызову на бой.

Мул был пугливый, и, когда его схватили за узду, он до того испугался, что взвился на дыбы и сбросил седока наземь. Шедший пешком слуга, видя, что один из балахонов упал с коня, принялся осыпать Дон Кихота бранью; тогда Дон Кихот, и так уже раздраженный, без дальних размышлений взял копьё наперевес и, ринувшись на одного из облаченных в траур, тяжело ранил его и вышиб из седла; затем он бросился на его спутников, и нужно было видеть, как стремительно он на них нападал и обращал вспять! Казалось, у Росинанта выросли крылья – столь резвый и горделивый скок неожиданно появился у него. Люди в балахонах, народ боязливый и к тому же еще безоружный, мгновенно, не оказав ни малейшего сопротивления, покинули поле битвы и с горящими факелами в руках помчались в разные стороны, так что, глядя на них, можно было подумать, что это ряженые затеяли веселую игру в праздничную ночь. Что же касается облаченных в траур, то они, запутавшись в долгополом своем одеянии, не могли сдвинуться с места, вследствие чего Дон Кихот совершенно безнаказанно и отколотил их всех до единого, и они волей-неволей принуждены были отступить в полной уверенности, что это не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, дабы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дрогах.

Санчо смотрел на все это и, дивясь смелости своего господина, говорил себе: «Стало быть, мой господин и на деле так же храбр и силен, как на словах». Рядом с тем, которого сбросил мул, валялся пылающий факел, и, увидев его при свете этого факела, Дон Кихот подъехал к нему, приблизил острие копья к его лицу и велел сдаваться, пригрозив в противном случае умертвить его. Поверженный ему на это сказал:

– Куда ж мне еще больше сдаваться, коли я не могу сдвинуться с места: ведь у меня сломана нога! Умоляю вас, ваша милость: если только вы христианин, то не убивайте меня, ибо это будет величайшее святотатство, – ведь я лицензиат, меня рукоположили.

– Коль скоро вы духовная особа, то какой же черт вас сюда занес? – спросил Дон Кихот.

– Что меня сюда занесло, сеньор? – переспросил поверженный. – Мой горький жребий.

– Он станет еще горше, – возразил Дон Кихот, – если вы не дадите мне удовлетворительных объяснений, коих я у вас с самого начала потребовал.

– Сейчас я вам все объясню, – сказал лицензиат. – Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я сперва сказал, что я лицензиат, но на самом деле я всего только бакалавр, а зовут меня Алонсо Лопес; родом я из Алькобендаса; еду из города Баэсы, вместе с одиннадцатью священнослужителями – теми самыми, что бежали с факелами в руках; едем же мы в город Сеговию: мы сопровождаем мертвое тело, лежащее на этих дрогах, – тело некоего кавальеро, который умер в Баэсе и там же был похоронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим его останки в Сеговию, откуда он родом и где находится его фамильный склеп.

– А кто его умертвил? – спросил Дон Кихот.

– Господь бог при помощи гнилой горячки, которая его и доконала, – отвечал бакалавр.

– Значит, господь избавил меня от обязанности мстить за его смерть, – заключил Дон Кихот, – обязанности, которую я вынужден был бы принять на себя, в случае если б его убили. Но коли он умер именно так, как вы рассказываете, то мне остается лишь молча развести руками, ибо если бы мне самому была послана такая смерть, то я поступил бы точно так же. Надобно вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь Ламанчский, а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь за обиженных.

– Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду – это мне неизвестно, – возразил бакалавр, – а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней. Заступаясь же за обиженных, вы меня так избидели, что обиду эту я буду помнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приключений явилась для меня истинным злоключением.

– Раз на раз не приходится, – заметил Дон Кихот. – Вся беда в том, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, что вы ехали ночью, в траурном облачении, с зажженными факелами, и что-то бормотали, – ну прямо выходцы с того света, – невольно подумаешь, что тут дело нечисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего долга и напал на вас, и я напал бы на вас, даже если бы знал наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я и принимал вас до последней минуты.

– Видно, уж такая моя судьба, – рассудил бакалавр. – Но раз что вы, сеньор странствующий рыцарь, обошлись со мной отнюдь не по-рыцарски, то, по крайней мере, помогите мне, умоляю вас, выкарабкаться из-под мула: ведь у меня нога застряла между стременем и седлом.

– Вот тебе на! – воскликнул Дон Кихот. – Что же вы мне раньше не сказали?

Он сейчас же позвал Санчо Пансу, но тот и ухом не повел: его внимание было поглощено разгрузкой обозного мула, которого эти добрые люди основательно навьючили съестными припасами. Санчо сделал из своего пыльника мешок, напихал в него все, что только могло туда войти, навьючил своего осла и только после этого, явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору бакалавру выбраться из-под мула и сесть на него верхом, а затем вложил ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бакалавру отправиться вслед за его спутниками и попросил принести им от его имени извинения за то зло, которое он им сделал по не зависящим от него причинам, а Санчо к этому еще прибавил:

– В случае, если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков этот удалец, который нагнал на них такого страха, то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот Ламанчский, про прозвищу *Рыцарь Печального Образа*.

Когда же бакалавр удалился, Дон Кихот спросил Санчо, что ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, назвать его *Рыцарем Печального Образа*.

– Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Потому я вам дал это название, что когда я взглянул на вас при свете факела, который увез с собой этот горемыка, то у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это оттого, что вам выбили коренные и передние зубы.

– Не в этом дело, – возразил Дон Кихот. – По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари: один именовался *Рыцарем Пламенного Меча*, другой – *Рыцарем Единорога*, кто – *Рыцарем Дев*, кто – *Рыцарем Птицы Феникс*, кто – *Рыцарем Грифа*, кто – *Рыцарем Смерти*, и под этими именами и прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название: *Рыцарь Печального Образа*, и так я и буду именоваться впредь. А для того, чтобы это прозвище ко мне привилось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весьма печальное лицо.

– Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам рисовали какие-то лица, – возразил

Санчо. – Вам стоит лишь поднять забрало и выставить на поглядение собственное свое лицо, и тогда безо всяких разговоров и безо всяких изображений на щите каждый назовет вас *Рыцарем Печального Образа*. Поверьте, что я не ошибаюсь. Честное слово, сеньор, – не в обиду вам будь сказано, ваша милость, – от голода и отсутствия коренных зубов вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обойтись без грустного рисунка.

Шутка Санчо насмешила Дон Кихота; и все же он не отказался ни от прозвища, ни от придуманного им самим рисунка.

– По всей вероятности, Санчо, – снова заговорил он, – меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял руку на ее служителя, – *juxta illud, si quis suadente diabolo...*<sup>1</sup> и так далее, хотя, в сущности говоря, я поднял не руку, а вот это самое копьцо. К тому же я и не подозревал, что нападаю на священнослужителей и духовных особ, которых я, как ревностный христианин и католик, чту и уважаю, – мне казалось, что это какие-то чудовища, выходцы с того света. Но пусть даже меня и отлучили: сколько я помню, Сид Руй Диас сломал стул<sup>2</sup> королевского посланника в присутствии его святейшества папы, и тот отлучил его за это, и все же славный Родриго де Вивар поступил тогда, как подобает благородному и смелому рыцарю.

Бакалавр, как уже было сказано, молча удалился. Дон Кихот пожелал удостовериться, что именно лежит на дрогах: мертвое тело или же что-нибудь еще. Санчо, однако ж, воспротивился.

– Сеньор! – сказал он. – Это опасное приключение окончилось для вашей милости благополучнее, нежели все прочие, коих я был свидетелем, но может статься, что люди, которых вы победили и рассеяли, сообразят, что победили их вы один, и, раздосадованные и устыженные, спохватятся, снова пожалуют сюда и зададут нам жару. Осел навьючен как должно, гора неподалеку, голод не тетка, а потому давайте-ка бодрым шагом вперед – мертвому, как говорится, место в гробу, а живому подле каравая.

Взяв осла под уздцы, он предложил своему господину следовать за ним, и тот, признав его правоту, без всяких возражений за ним последовал. Некоторое время дорога шла между двумя холмами; вскоре, однако ж, увидев перед собой широкую и укромную долину, они остановились, и Санчо тут же разгрузил осла, а как у обоих текли слюнки от голода, то, растянувшись на зеленой траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин зараз и набили желудки изрядным количеством холодных закусок – тех самых закусок, что составляли ношу обозного мула господ священников, которые, как известно, редко когда не позаботятся о себе. Но тут их снова постигло несчастье, а именно: у них не оказалось ни вина, ни воды, так что им нечем было промочить горло; тогда изнывавший от жажды Санчо, заметив, что долина густо заросла мелкой зеленой травкой, обратился к Дон Кихоту со словами, которые будут приведены в следующей главе.

## Глава XX

*О доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский*

– Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, как на то, что где-нибудь поблизости протекает источник или же ручей, питающий ее своею влагой, а потому нам следовало бы пройти чуть подалее: уж верно, мы найдем, где утолить страшную жажду, а ведь жажда доставляет куда больше мучений, нежели голод.

---

<sup>1</sup> В соответствии с этим, если кто по наущению дьявола... (*лат.*) (слова из текста постановлений Тридентского собора).

<sup>2</sup> Сид Руй Диас сломал стул... – В одном из романсов о Сиде рассказывается о том, как он однажды зашел в собор св. Петра и заметил, что стул испанского короля стоит ниже стула французского короля, сидевшего рядом с папой. Недолго думая, Сид опрокинул ногой стул французского короля и на его место поставил стул своего короля. Рассерженный папа отлучил Сиду от церкви. Тогда Сид обратился к папе со следующими словами: «Отпусти мой грех, если же ты этого не сделаешь, то это тебе припомнится».

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы Росинанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно нагрузив его остатками ужина, и оба побрели наугад, ибо ночная тьма мешала им различать предметы; но не прошли они и двухсот шагов, как вдруг послышался сильный шум воды, как бы низвергавшейся с высоких и отвесных скал. Обрадовались они чрезвычайно; когда же они остановились, чтобы определить, с какой стороны этот шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные звуки, и звуки эти сразу расхолодили спутников, возмечтавших было о холодной воде, особливо Санчо, по природе своей боязливого и малодушного. И точно: слышались какие-то мерные удары и как будто бы лязг цепей и железа, сливавшийся с яростным шумом воды, однако все это могло навеять ужас на кого угодно, только не на Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась темная, а им в это время случилось проходить под деревьями, которых листья, легким ветерком колеблемые, зловеще и тихо шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум воды, шелест листьев – все невольно повергало в страх и трепет, тем более что удары не прекращались, ветер не утихал, а утро не наступало; к умножению же их несчастий оба не имели ни малейшего представления о том, где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди которого билось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, схватил щит и, положив копьё поперек седла, молвил:

– Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы, затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов и весь сонм славных странствующих рыцарей былых времен, ибо в том веке, в котором суждено жить мне, я совершу столь великие и необыкновенные подвиги, перед коими померкнет все самое блистательное что было совершено ими. Обрати внимание, верный и преданный мой оруженосец, как мрачна эта ночь, какая необычайная царит тишина, как глухо и невнятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, на поиски которой мы устремились, падает и низвергается точно с исполинских гор, как режут и терзают наш слух непрерывные эти удары. Все эти явления, и вместе и порознь, способны вселить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем паче в сердце того, кто не привык к подобным опасностям и приключениям. Ну, а я не таков: все, что я тебе живописал, лишь укрепляет и бодрит мой дух, – у меня даже сердце готово выпрыгнуть из груди, так страстно жажду я этого приключения, какие бы трудности оно ни представляло. Итак, подтяни подпругу на Росинанте, оставайся с богом и жди меня здесь не более трех дней, и если я за это время не возвращусь, то возвращайся в наше село, а затем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо и скажи несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совершить подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими слезами.

– Сеньор! – сказал он. – Я не могу взять в толк, зачем понадобилось вам это ужасное приключение. Сейчас ночь, никто нас здесь не видит, мы смело можем свернуть с дороги и таким образом избежим опасности, хотя бы для этого нам пришлось три дня подряд терпеть жажду. И коли никто нас не видит, то и некому, стало быть, упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько раз слышал, как наш священник, которого ваша милость великолепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, тот от лица ее и погибнет. Так вот, не должно испытывать долготерпенье господне столь нечестивыми делами; ведь от расплаты за них вас может избавить только чудо. Небо и так много для вас сделало: оно спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, коего не суждено было избежать мне, и оно же помогло вам одолеть стольких врагов, что сопровождали покойника выйти из боя свободным и невредимым. Если же все это не трогает и не смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно смягчится при мысли о том, что не успеет ваша милость удалиться отсюда, как я от страха отдам свою душу первому, кто пожелает ее взять. Я покинул родные края и ушел от жены и детей, чтобы служить вам, – я полагал, что останусь скорей в барышах, нежели внакладе.

Однако жадность, от которой, как известно, глаза разбегаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, когда во мне особенно сильна была надежда завладеть этим окаянным и злополучным островом, который ваша милость мне обещала, вы взамен и в счет долга решаетесь расстаться со мной в таком месте, где я живой души не встречу. Ради самого Христа, государь мой, не чините мне столь горькой обиды, а уж если вы во что бы то ни стало намерены совершить этот подвиг, то отложите его, по крайней мере, до утра, и вот почему: наука, которую я изучил в бытность мою пастухом, говорит мне, что до рассвета остается не больше трех часов, ибо пасть Малой Медведицы над самой нашей головой и линия ее левой лапы показывает, что сейчас полночь.

– Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть и затылок? – спросил Дон Кихот. – Ночь темна, на небе ни одна звездочка не проглянет.

– Так-то оно так, – отвечал Санчо, – да у страха глаза велики, и они видят все, что творится под землей, а уж про небо и говорить нечего. Впрочем, по зрелом размышлении, и без того нетрудно догадаться, что скоро утро.

– Скоро или не скоро, – заметил Дон Кихот, – а обо мне ни сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что слезами и просьбами меня можно удержать от того, к чему обязывают правила рыцарского поведения. А потому, Санчо, пожалуйста, помолчи, ибо господь, ныне исполнивший мое сердце жаждой этого невиданного и ужасного приключения, позаботится о моем здоровье и утешит тебя в твоём горе. Твое дело как можно лучше подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я скоро возвращусь живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, советы и мольбы на него не действуют, решил пуститься на хитрости и попытаться задержать его до утра; того ради, подтягивая подпругу, он ловко и незаметно спутал задние ноги Росинанта недоуздом своего осла, так что когда Дон Кихот пожелал тронуться в путь, то это ему не удалось, оттого что конь мог делать теперь только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, что его затея увенчалась полным успехом, сказал:

– Глядите, сеньор: небо, растроганное моими слезами и молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упорствовать же, вонзая ему шпоры в бока, и то и се, и пятое и десятое, значит навлекать на себя гнев судьбы и, как говорится, прошибать лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни прищипывал он коня, тот все не двигался; наконец, так и не догадавшись, что Росинант стреножен, он рассудил за благо примириться со своей участью и подождать, пока рассветет или пока у Росинанта вновь появится способность передвигаться, – разумеется, он был далек от мысли, что тут замешан Санчо, а потому повел с ним такую речь:

– Послушай, Санчо: если уж Росинант не может двигаться, то я согласен ждать, пока не улыбнется заря, хотя я и плачу, оттого что она медлит.

– Плакать не стоит, – возразил Санчо. – Уж я сумею развлечь вашу милость: буду хоть до утра рассказывать сказки, если только вам не угодно спешиться и по обычаю странствующих рыцарей немножко поспать на зеленой травке, а потом, когда настанет день и час ожидающего вашу милость бесподобного приключения, встать со свежими силами.

– Кого призываешь ты спешиться и соснуть? – воскликнул Дон Кихот. – Или я, по-твоему, принадлежу к числу рыцарей, которые в минуту опасности наслаждаются отдыхом? Спи сам, коли ты родился для того, чтобы спать, – словом, поступай как знаешь, а я поступлю сообразно с моими намерениями.

– Не сердитесь, государь мой, – сказал Санчо, – ведь это я так, спроста.

И тут он подошел к Дон Кихоту и, положив одну руку на переднюю луку седла, а другую – на заднюю, прижался к его левому бедру, с тем чтобы уже не отходить от него ни на шаг – так боялся он этих мерных ударов, которые все еще раздавались. Дон Кихот напомнил Санчо его обещание и попросил для препровождения времени рассказать какую-нибудь сказку, на что Санчо ответил, что он, конечно, рассказал бы, если бы его не пугали эти звуки.

– Впрочем, я попытаюсь рассказать вам одну историю, и если только мне удастся ее

досказать и никто меня с толку не собьет, то вы увидите, что это лучшая из всех историй на свете. Итак, слушайте меня со вниманием, ваша милость, а то я сейчас начинаю. Было так, как оно было, хорошего пожелаем всем, а худого – тому, кто сам его ищет... Заметьте, ваша милость, что древние начинали свои сказки не как им бог на душу положит, а неукоснительно с изречения этого, как бишь его, це... це... *цензаря* Катона римского, то есть: «А худое – для того, кто сам его ищет», и это он словно про нас с вами сказал, государь мой, дабы ваша милость сидела смиренно и не искала худа и дабы мы вернулись обратно другой дорогой: ведь никто нас не заставляет ехать по этой, где на нас отовсюду лезут всякие страхи.

– Рассказывай дальше, Санчо, – сказал Дон Кихот, – а уж выбирать Дорогу предоставь мне.

– Ну так вот, – продолжал Санчо, – в одном эстремадурском селении жил-был козий пастух, – то есть, я хочу сказать, тот, что пасет коз, – которого пастуха, или асе козопаса, звали, сказывают, Лопе Руис, и вот этот Лопе Руис полюбил пастушку по имени Торральба, которая пастушка по имени Торральба была дочь богатого скотовода, а этот богатый скотовод...

– Если ты и дальше будешь так рассказывать свою сказку, Санчо, – прервал его Дон Кихот, – и повторять по два раза каждое слово, то ты и через два дня не кончишь. Рассказывай по порядку, как подобает человеку здравомыслящему, а не то так молчи.

– В нашем краю все так рассказывают сказки, – возразил Санчо, – а иначе я не умею, и пусть ваша милость не требует, чтобы я вводил новые правила.

– Рассказывай как знаешь, – сказал Дон Кихот. – Коли судьбе не угодно было сделать так, чтобы я мог тебя не слушать, то продолжай.

– И вот, любезный мой господин, – продолжал Санчо, – этот самый пастух, изволите ли видеть, полюбил пастушку Торральбу, а была она девка здоровая, своевольная и слегка смахивала на мужчину, потому у нее росли усики, – я ее как сейчас вижу.

– Разве ты ее знал? – спросил Дон Кихот.

– Нет, не знал, – отвечал Санчо, – но тот, кто мне рассказывал эту историю, уверял, что все это истинная правда и что если мне доведется рассказывать ее кому-нибудь другому, то я могу клясться и божиться, что все видел собственными глазами. Так вот, долго ли, коротко ли, дьявол, который, как известно, не дремлет и всех и вся баламутит, устроил так, что любовь пастуха к пастушке сменилась неприязнью и злобой. А дело состояло в том, что, как говорили злые языки, она беспрестанно возбуждала в нем ревность, выходя при этом из границ и преступая пределы дозволенного. И вышло так, что пастух с той поры возненавидел ее и, дескать – с глаз долой, надумал покинуть родные края и уйти на чужбину, чтобы она больше не попадалась ему на глаза. Торральба же никогда его прежде не любила, а тут, стоило ей заметить, что Лопе ее презирает, возьми да и влюбись в него.

– Таковы все женщины, – заметил Дон Кихот. – Отличительное свойство их природы – презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто их презирает. Продолжай, Санчо.

– Случилось так, – снова заговорил Санчо, – что пастух привел замысел свой в исполнение и погнал коз по полям Эстремадуры в сторону королевства Португальского. Торральба, узнав про то, отправилась вслед за ним; не выпуская его из виду, она шла пешком, босая, с посохом в руке и с котомкой за плечами, а в котомку она будто бы положила вместе с осколком зеркала и обломком гребня баночку с мазью для лица, право, не знаю, с какой, да что бы она там ни положила – не стану же я теперь справляться! Одно я знаю наверное, что пастух со своим стадом подошел, сказывают, к реке Гуадиане, а в ту пору было половодье и вода почти что вышла из берегов, и на этой стороне не оказалось ни лодки, ни плота, ни людей, которые могли бы перевезти стадо и его самого на тот берег, и тут он впал в отчаяние: он видел, что Торральба уже совсем близко и вот сейчас начнет докучать ему своими слезами и просьбами. Между тем, оглядевшись по сторонам, заметил он рыбака подле лодки, такой маленькой, что поместиться в ней могли только один человек и одна коза. Все же он окликнул рыбака и уговорился, что тот переправит и его самого, и все

его триста коз. Сел рыбак в лодку и перевез одну козу, вернулся и перевез другую, потом опять вернулся и перевез третью – ведите счет, ваша милость, тем козам, которых переправляет рыбак, потому если только вы на одну ошибетесь, то и сказке моей конец, и мне уже нельзя будет прибавить к ней ни единого слова. Так вот, стало быть, тот берег был глинистый, скользкий, и из-за этого пастух тратил много времени на переправу. Как бы то ни было, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной, потом еще за одной.

– Считай, что он уже перевез всех, – сказал Дон Кихот, – и перестань снова по реке, иначе ты их и за год не перевезешь.

– Сколько он их до сего времени переправил? – спросил Санчо.

– А черт его знает! – отвечал Дон Кихот.

– Говорил я вам: хорошенько ведите счет. Вот и кончилась моя сказка, – рассказывать дальше нельзя, клянусь богом.

– Как же это? – воскликнул Дон Кихот. – Неужели так важно знать, сколько именно коз перевезено на тот берег, и если хоть раз сбиться со счета, то ты уже не сможешь рассказывать дальше свою историю?

– Нет, сеньор, никак не могу, – отвечал Санчо. – Потому, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня вылетело из головы все, что я должен был досказать, а ведь история моя, право, занятная и поучительная.

– Итак, – сказал Дон Кихот, – история твоя кончилась?

– Скончалась, как все равно моя покойная мать.

– Ну уж и рассказал ты мне то ли сказку, то ли повесть, то ли историю, – заметил Дон Кихот. – По правде говоря, это ровно ни на что не похоже, и никто никогда не слышал и не услышит впредь, чтобы так начинали и прерывали свой рассказ. Впрочем, ничего другого я и не мог ожидать от твоего светлого ума, и меня это не удивляет: видимо, рассудок твой помутился, оттого что все еще не прекращаются эти удары.

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Я знаю одно: к рассказу моему ничего нельзя прибавить, – он кончается там, где начинается ошибка при подсчете перевезенных коз.

– Ну и пусть себе кончается на здоровье, – сказал Дон Кихот. – А теперь давай посмотрим, способен ли Росинант сдвинуться с места.

Тут он снова пришпорил его, но Росинант снова заскакал на одном месте – так крепко у него были спутаны ноги.

Между тем то ли предзвездный холодок подействовал на Санчо, то ли за ужином попалось ему нечто послабляющее, а быть может, просто-напросто пришло ему время, – что, впрочем, всего вероятнее, – только у него явились охота и желание сделать нечто такое, чего никто другой за него сделать не мог. Однако ему было до того страшно, что он не решался хотя бы на четверть шага отойти от своего господина, а чтобы не удовлетворить своей потребности – об этом не могло быть и речи. Тогда он не нашел ничего лучшего, как отнять правую руку от задней луки седла и незаметно и бесшумно развязать шнурок, а на нем одном только и держались его штаны, и вот, едва он справился со шнурком, как штаны немедленно соскочили и, точно кандалы, сковали ему ноги; засим он с превеликою осторожностью поднял рубашку и выставил обе свои, довольно обширные, ягодицы. Когда же он все это проделал, – а ему казалось, что в его затруднительном и бедственном положении ничего иного и нельзя было сделать, – то очутился в положении, еще более затруднительном, а именно: он пришел к мысли, что без шума и треска ему не облегчиться, и вот с этою мыслью он стиснул зубы и втянул голову в плечи, всеми силами стараясь затаить дыхание; но ему явно не повезло, несмотря на все эти ухищрения, в конце концов он все же издал не слишком громкий звук, резко, однако же, отличавшийся от тех, что нагнали на него такого страха. Услышав это, Дон Кихот спросил:

– Что это за звук, Санчо?

– Не знаю, сеньор, – отвечал тот. – Уж верно, что-нибудь новое: эти приключения да злключения как пойдут одно за другим, так только держись.

Тут он снова попытал счастье – и на сей раз так удачно, что уже без всякого шума и треволений освободился наконец от тяжести, которая доставила ему столько хлопот. Однако обоняние у Дон Кихота было не менее острое, чем слух; притом же Санчо стоял совсем рядом, точно пришитый к своему господину, а потому Дон Кихот и не мог избежать того, чтобы испарения, почти по прямой линии поднимавшиеся вверх, хотя бы частично не достигли его ноздрей; и как скоро это случилось, он прибегнул к самозащите и зажал нос, а затем, слегка гнуся, сказал:

– Мне кажется, Санчо, ты очень напуган.

– Да, очень, – признался Санчо. – А почему ваша милость только сейчас это заметила?

– Потому что от тебя никогда так не пахло, как сейчас, и притом отнюдь не амброй, – отвечал Дон Кихот.

– Очень может быть, – сказал Санчо, – но виноват в этом не я, ваша милость: вольно же было вам таскать меня за собой в неурочное время, да еще по нехоженным тропам.

– Отойди-ка, дружок, шага на три, на четыре, – все еще зажимая нос, сказал Дон Кихот, – впредь следи за собой и относись к моей особе с должным уважением. Я с тобой на чересчур короткой ноге, вот ты и стал слишком много себе позволять.

– Бьюсь об заклад, – заметил Санчо, – что ваша милость думает, будто я сделал... нечто неподобающее.

– Лихо пусть себе лежит тихо, друг Санчо, – возразил Дон Кихот.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них ночь. Наконец, видя, что до утра осталось недолго, Санчо тихонько распутал Росинанта и завязал штаны. Росинант обыкновенно не отличался особой ретивостью, но тут, почуяв свободу, он приободрился, а как, не в обиду ему будь сказано, курбетов он делать не умел, то ограничился тем, что стал перебирать ногами. Дон Кихот же, глядя на Росинанта, подумал, что это добрый знак – знак того, что пора вступить в жестокий бой. Заря между тем занималась, и окрестные предметы стали явственно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что находится он под высокими деревьями, что это каштаны и что они отбрасывают густую тень. Еще он заметил, что удары не прекращаются, но не мог понять, в чем тут дело, а потому, нимало не медля, пришпорил Росинанта и, снова попрощавшись с Санчо, подтвердил свой приказ ждать его самое большее три дня; если же он, мол, к этому времени не вернется, значит, богу было угодно, чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем он еще раз повторил то, что Санчо надлежало передать и сказать от его имени сеньоре Дульсинеи; что же касается вознаграждения за услуги, то пусть, мол, Санчо не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, перед тем как выехать из села, составил завещание, предусматривающее выплату ему жалованья за все время, которое он у него прослужил; если же господь поможет ему выйти из опасного боя здоровым, целым и невредимым, то Санчо может считать, что обещанный остров у него в руках. Вновь услышав жалостные речи доброго своего господина, Санчо опять всплакнул и решился не покидать его до конца и исхода дела.

Слезы Санчо Пансы и его в высшей степени благородное намерение приводят автора этой истории к мысли, что он, видимо, человек не простой, – во всяком случае, чистокровный христианин. Сочувствие оруженосца растрогало его господина, однако же не до такой степени, чтобы он поддался слабости, – напротив, он и виду не показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся в том направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум воды и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению ведя в поводу верного своего спутника – осла, делившего с ним и горе и радость. Сначала путь их лежал под каштанами и другими тенистыми деревьями, а затем они очутились на лужайке, у подошвы высоких скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. У подошвы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на развалины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доносился этот все не прекращавшийся стук и грохот. Шум воды и удары напугали Росинанта, но Дон Кихот успокоил его и стал медленно приближаться к домам, всецело отдаваясь под покровительство госпожи своей Дульсинеи и прося ее подать ему силы для сего страшного похода и предприятия, а заодно моля господина бога, чтобы он не оставил его. Санчо шел



прямо за своим господином; он вытягивал шею и напрягал зрение, не покажется ли между ног Росинанта то, что приводило его в такое изумление и ужас. Затем они еще шагов на сто продвинулись, и вот тут-то, обогнув выступ скалы, они и обнаружили и улицезрели единственную причину того зловещего, ужасающего стука, который всю ночь пугал их и не давал им покоя. То были – только ты не гневайся и не огорчайся, читатель! – шесть сукновальных молотов, и они-то и производили этот грохот мерными своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на месте. Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы в смущении потупился. Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надулись, что его душит смех и что по всем признакам он вот-вот прыснет, и не такую уж необоримую власть приобрело над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо он сам мог удержаться от смеха. А Санчо, как увидел, что его господина тоже разбирает смех, разразился таким неудержимым хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упереться руками в бока. Несколько раз он успокаивался и снова, в столь же бурном порыве веселости, принимался хохотать, так что Дон Кихот начал уже поминать черта и наконец совсем рассвирепел, когда услышал, что Санчо словно бы передразнивает его:

– Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги...

И так повторил он всю или почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда слышали они страшные эти удары.

Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот поднял копьцо и, не помня себя от стыда и ярости, дважды столь сильно ударил его, что если б эти удары пришлись не по спине, а по голове, то жалованье оруженосца, возможно, получили бы за него наследники, только не сам оруженосец. Санчо смекнул, что шутки не доведут его до добра; боясь, как бы его господин не зашел слишком далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

– Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом, я пошутил.

– Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток, – возразил Дон Кихот. – Послушайте, господин весельчак, неужели вы думаете, что если б вместо сукновальных молотов меня ожидало какое-нибудь опасное приключение, то я не выказал бы твердости духа, потребной для того, чтобы начать и кончить дело? И разве я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и выросли. Вы бы лучше превратили эти шесть молотов в шесть исполинов, и пусть бы они по одному, а то и все сразу сунулись в драку! И вот если б они все, как один, не полетели у меня вверх тормашками, тогда бы вы и шутили надо мной, сколько влезет.

– Полно, государь мой, – сказал Санчо. – Я признаю, что чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда мы помирились, – и дай бог, чтобы вы из всех приключений выходили живым и здоровым, как вышли из этого, – скажите мне, ваша милость: то, что мы натерпелись такого страху, ведь, правда же, это смешно и тут есть о чем рассказать? Я, по крайней мере, натерпелся. Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы не знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

– Я не отрицаю, что тут есть чему посмеяться, – сказал Дон Кихот. – Однако ж рассказывать о том, что с нами произошло, не следует, ибо не все люди разумны и не все обладают правильным взглядом на вещи.

– У кого правильный взгляд на вещи, так это у вашего копьца, – сказал Санчо, – потому взгляд его был обращен прямо на мою голову, – правда, вы попали мне по спине, но этим я обязан господу богу и той ловкости, с какою я увернулся. Ну, ничего, перемелется – мука будет. Недаром говорится: «Кого люблю, того и бью». Тем более в обычаях знатных господ – сперва обругать слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот только я не знаю, что принято дарить после побоев, – наверно, странствующие рыцари, отколошматив оруженосца, тут же дарят ему остров или королевство где-нибудь на суше.

– Дело может принять столь благоприятный оборот, что все, о чем ты говоришь,

осуществится, – заметил Дон Кихот. – Забудь же то, что между нами произошло, – ведь ты неглуп, и ты должен знать, что в первых движениях чувства человек не волен, и пусть это послужит тебе уроком, дабы впредь ты не позволял себе так много болтать. Между тем я не помню, чтобы в рыцарских романах, которые мне довелось прочитать, им же несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много разговаривал со своим господином, как ты. По совести сказать, я видку тут упущение и с моей и с твоей стороны: твое упущение в том, что ты был недостаточно со мною почтителен, мое же в том, что я не требовал от тебя большей почтительности. Возьмем хотя бы Гандалина, оруженосца Амадиса Галльского: даром что он был графом острова Материкового, а ведь о нем сказано, что он разговаривал со своим господином не иначе, как сняв шапку, склонив голову набок и изогнувшись *more turquesco*<sup>1</sup>. А оруженосец дона Галлаона – Гасаваль? Он был до того несловоохотлив, что на всем протяжении этой столь же длинной, сколь и правдивой истории автор всего лишь раз упоминает о нем – только для того, чтобы отметить из ряду вон выходящую его молчаливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен вывести заключение, что не следует забывать разницу между господином и слугой, дворянином и холопом, рыцарем и оруженосцем. А потому отныне мы будем относиться друг к другу с ббльшим уважением и перестанем друг над другом шутики шутить, ибо в чем бы мой гнев ни выразился – все равно тебе придется несладко. Обещанные же мною милости и награды явятся в свое время, а если и не явятся, то жалованье, во всяком случае, от тебя не уйдет, о чем ты уже предуведомлен.

– Все это очень хорошо, – заметил Санчо, – однако ж мне бы хотелось знать, – на тот случай, если время милостей так никогда и не настанет и надобно будет подумать о жалованье, – сколько в прежнее время странствующий рыцарь платил своему оруженосцу и расплачивался ли он с ним помесечно или поденно, как все равно с каменщиками.

– Я полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на жалованье, а получали награды, – отвечал Дон Кихот. – Я же упомянул тебя в скрепленном печатью завещании, которое осталось у меня дома, просто так, на всякий случай: еще неизвестно, что в наше тяжелое время ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы из-за какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. Да будет тебе известно, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, нежели поиски приключений.

– И то правда, – сказал Санчо. – Довольно было стука молотов, чтобы смутить и встревожить дух столь доблестного странствующего искателя приключений, как вы, ваша милость. Но отныне вы можете быть уверены, что если я когда и раскрою рот, то не для того, чтобы смеяться над похождениями вашей милости, а единственно для того, чтобы почтить вас как своего господина и природного сеньора.

– И для тебя настанет спокойная жизнь, – подхватил Дон Кихот, – ибо господин – это второй отец, а потому его и надобно чтить наравне с отцом.

## Глава XXI,

*повествующая о великом приключении, ознаменовавшемся ценным приобретением в виде Мамбринова шлема, а равно к о других происшествиях, которые случились с нашим непобедимым рыцарем*

Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъявил желание войти в одну из сукновален, однако ж горькая эта насмешка судьбы внушила Дон Кихоту столь сильное к ним отвращение, что он не пожелал туда войти, а повернул направо и выбрался на дорогу, похожую на ту, по которой они ехали накануне. Немного погодя Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим, точно золото, и, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал:

– Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта, отца всех наук, особливо та, что гласит: «Одна дверь

---

<sup>1</sup> По турецкому обычаю (лат.)

затворилась, другая отворилась». Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, ибо нас ввел в обман грохот сукновален, а сегодня он настезь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению, и вот если я и в нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват и ссылки на ночной мрак и на недостаточно близкое знакомство с сукновальнями мне не помогут. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбрина на голове – тем самым шлемом, насчет которого, сколько тебе известно, я давал клятву.

– Вдумайтесь, ваша милость, в то, что вы говорите, а главное в то, что вы намерены предпринять, – заметил Санчо. – А вдруг это опять сукновальни, но только такие, которые примутся нас с вами валять и изобьют до бесчувствия?

– Пошел ты к черту! – сказал Дон Кихот. – Что общего между шлемом и сукновальнями?

– Не знаю, – отвечал Санчо. – Но только если б мне было позволено говорить, как прежде, то я, честное слово, привел бы вашей милости такие доводы, что вы, пожалуй, поняли бы вашу ошибку.

– Да в чем же моя ошибка, несносный малонер? – вскричал Дон Кихот. – Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем?

– Я ничего не вижу и не различаю, – отвечал Санчо, – кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит.

– Это и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон Кихот – Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я, даром времени не теряя, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой.

– Да уж я-то непременно удалюсь, – сказал Санчо. – А все-таки меня берет страх: ну как сукновальни – это цветочки, а ягодки, не дай бог, еще впереди?

– Я же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели валять дурака и морочить мне голову своими сукновальнями, – отрезал Дон Кихот. – Иначе, клянусь, я вас... одним словом, я из вас душу вытрясу.

Санчо умолк из боязни, что его господин исполнит сорвавшуюся у него с языка клятву, увесистую, словно бульжник.

А между тем вот что собой представляли шлем, конь и всадник, привидевшиеся Дон Кихоту: надобно заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения, при этом в одном из них и аптека и цирюльня были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было, по каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собою медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села; однако ж судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его шляпа, – по всей вероятности, новая, – он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, что блеск его виден был за полмили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, ибо все, что ни попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копыцем наперевес помчался во весь Росинантов мах; однако ж на всем скаку он успел крикнуть:

– Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне!

Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением, однако он быстро нашелся и, чтобы острое копыца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно и что в сем случае он, вероятно, подражал бобру, который, когда его

настигают охотники, перегрызает зубами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

– Ей-богу, хороший таз, такой должен стоять не меньше восьми реалов, это уж наверняка.

Он вручил шлем своему господину, Дон Кихот же тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но, так и не обнаружив забрала, сказал:

– У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно, была громадная голова. А хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины.

Услышав, что таз для бритвы именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако ж гнев господина был ему еще памятен, и оттого он живо осекся.

– Чего ты смеешься, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Мне стало смешно, – отвечал он, – когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема: ведь это, ни дать ни взять, таз для бритвы.

– Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, что этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрался в его назначении и не сумел оценить его по достоинству, и вот, видя, что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе таз для бритвы. Но это несущественно: кто-кто, а уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекою, и тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений<sup>1</sup>, но еще и превзойдет его. А пока что он мне и так пригодится, – все лучше, чем ничего. Тем более что от камней он вполне может меня защитить.

– Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из пращей, – возразил Санчо, – как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками и когда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестянку с тем благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро.

– Я не очень скорблю об этой утрате, – заметил Дон Кихот. – Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть.

– Я тоже, – сказал Санчо. – Но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, то мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился; я все свои пять чувств буду держать настороже, чтобы других не ранить и чтобы не ранили меня самого. Вот насчет подбрасывания на одеяле – это другой разговор: от подобных несчастий, пожалуй, не уберешься, и когда они случаются, то уж: тут ничего иного не остается, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, закрыть глаза и поручить себя попечению судьбы и одеяла.

– Ты дурной христианин, Санчо, – выслушав его, заключил Дон Кихот, – ты никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла, но да будет тебе известно, что сердца благородные и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Что, тебе перебили ногу, или сломали ребро, или проломили голову, что ты никак не можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, это была именно шутка, веселое времяпрепровождение, потому что если б я понял это иначе, то непременно возвратился бы и, отмщая за тебя, нанес более тяжкий урон, нежели греки, мстившие за похищение Елены<sup>2</sup>. Кстати, можно сказать с уверенностью, что, живи она в наше время, или же моя Дульсинея – во времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей красотой.

Тут он возвел очи горе и испустил глубокий вздох. А Санчо сказал:

– Ну пусть это будет шутка, коли мы не имеем возможности отомстить взаправду, хотя я-то отлично знаю, было это взаправду или в шутку, и еще я знаю, что все это навеки

---

<sup>1</sup> ...выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений... – то есть Вулканом для Марса. На самом же деле, согласно мифу, Вулкан выковал для Марса не оружие, а тонкую железную сеть.

<sup>2</sup> Елена (миф.) – жена греческого царя Менелая, отличавшаяся необыкновенной красотой; она была похищена сыном троянского царя Приама Парисом, из-за чего началась Троянская война.

запечатлелось в моей памяти, равно как и в моих костях. Но довольно об этом – скажите лучше, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегого осла и оставленным здесь без присмотра этим самым, как его, Мам... Мартином, которого ваша милость сбросила наземь. Судя по тому, как он улепетывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то, ей-ей, недурен!

– Я не привык грабить побежденных, – возразил Дон Кихот, – да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки: в сем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня, или осла, – называй как хочешь, – и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он за ним возвратится.

– Одному богу известно, как бы мне хотелось взять его себе или, по крайности, обменять на моего, – признался Санчо, – ведь он моему не чета. Поистине суровы законы рыцарства, коли они не позволяют обменивать одного осла на другого. А скажите на милость, упряжь-то обменять можно?

– В этом я не вполне уверен, – отвечал Дон Кихот. – Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз что я еще в этом не сведущ, то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду.

– Таковую крайнюю, – заметил Санчо, – что если б эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал.

Получив позволение, он тут же совершил *mutatio caparim*<sup>1</sup>, и на диво разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья, ни разу при этом не повернув головы в сторону ненавистных сукновален, которые внушили им такой необоримый страх.

Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели верхами, а как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, которой обыкновенно подчинялась не только воля хозяина, но и воля осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали наудачу, не имея в виду ничего определенного.

Словом, ехали они ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами:

– Сеньор! Может статься, вы мне позволите немного с вами потолковать? А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около пяти предметов для разговора, и мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры без времени скончался.

– Ну, говори, – сказал Дон Кихот, – но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет.

– Так вот, сеньор, – начал Санчо, – я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие – странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где, сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений ни вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает, так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам, – если только это вам по душе, – поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет, и вот на этом-то поприще ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности, а владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не преминет воздать каждому из нас по заслугам, и, уж верно, найдется там человек, который на вечные времена занесет в

---

<sup>1</sup> *Обмен мантий (лат.)*. Предусмотренный ватиканским церемониалом пасхальный обряд, при котором кардиналы и прелаты меняют свои плащи и мантии, подбитые мехом, на одежду из красного шелка.

летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено, – впрочем, смею вас уверить, что когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом.

– Отчасти ты прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет, так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот Рыцарь Солнца», или: «Вот Рыцарь Змеи», смотря по тому, под каким именем стал он известен великими своими подвигами. «Это он, – скажут они, – в беспримерном сражении одолел страшного великана Брокабуна, невиданного силача, это он расколдовал великого мамелюка персидского, пребывавшего заколдованным около девятисот лет». И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Гей вы, мои рыцари! Сколько вас ни есть при дворе, выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую». И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покои сеньоры королевы, и там его встретят она и ее дочь инфанта, само собой разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них почудится, будто перед ним не человек, но ангел, и, сами не отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо запутаются в хитросплетенной любовной сети, и сердце у них занеет, ибо они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи и облекут в роскошную алую мантию, и если он и вооруженный казался красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он без оружия. Вечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры а она с не меньшею опаскою будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья в сопровождении двух великанов, и дуэнья эта, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире.

Король сей же час велит всем присутствующим попробовать свои силы, но к вящей славе своей устоит до конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь-гость, чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливою и вознагражденною за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все: король или же князь, все равно – кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он, и рыцарь-гость по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у него дозволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руки. В ту же ночь он простится со своей госпожою инфантою через решетку сада, куда выходят окна ее опочивальни, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал с ведома и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно, служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко и их могут увидеть. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и оросит слезами. Они условятся между собою, как им уведомлять друг друга обо всем хорошем и дурном, что с ними случится, и принцесса станет умолять его возвратиться как можно скорее. Рыцарь торжественное дает обещание, снова целует ей руки и уходит от

нее в таком отчаянии, что кажется, будто он вот сейчас умрет. Он удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь разлуки гонит от него сон, и он встает чуть свет и идет проститься с королем, королевою и инфантою. Но вот он простился с королем и с королевою, и тут ему говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может его принять. Рыцарь догадывается, что причиной тому – боль от расставания с ним, и сердце у него разрывается на части, и ему стоит огромных усилий не выдать себя. Здесь же находится служанка-наперсница, – она все замечает и спешит доложить своей госпоже, и та встречает ее со слезами на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, кто ее рыцарь и королевского он рода или нет. Служанка уверяет ее, что учтивость, изящество и храбрость, какие выказал ее рыцарь, суть приметные свойства человека, принадлежащего к знатному, королевскому роду. Изнывавшая инфанта утешилась. Дабы не возбудить подозрений у родителей, она пересиливает себя и спустя два дня выходит на люди. Рыцарь между тем уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своею повелительницею в обычном месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако ж то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее в конце концов почитает это за великое счастье, ибо ему удастся установить, что рыцарь тот – сын доблестного короля какого-то там королевства, – думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта – наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему столь высокого достигнуть положения: он женит оруженосца на служанке инфанты, разумеется, на той самой, которая была посредницею в их сердечных делах, – при этом оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога.

– Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, – заговорил Санчо, – на это я и возлагаю надежды, потому оно как по-писаному и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, сиречь *Рыцарь Печального Образа*.

– Можешь не сомневаться, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ибо таким путем и по тем же самым ступеням странствующие рыцари и восходили на королевский и императорский престолы. Теперь нам остается только узнать, кто из христианских или языческих королей ведет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего недостает: положим даже, есть на свете такой воюющий король с красавицей дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселенной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведений, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные мои деяния заслуживали большего. И вот через этот изъян я рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я – помещик и землевладелец, за нанесенные мне обиды я имею право взыскивать пятьсот суэльдо<sup>1</sup>, и весьма возможно, что тот ученый муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Надобно тебе знать, Санчо, что родословные бывают двух видов: иные ведут свое происхождение от владетельных князей и монархов, однако род их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, подобно перевернутой вниз острием пирамиде, иные вышли из простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на ступень и наконец становятся знатными господами. Таким образом, разница между ними та, что одни были когда-то тем, чем они уже не являются ныне, а другие ныне являются тем, чем они не были прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть выяснится наконец, что предки у меня были великие и славные, и король, мой тесть, каковым ему

---

<sup>1</sup> ...за нанесенные мне обиды... пятьсот суэльдо... – К числу преимуществ дворянства относилось право требовать за обиду, причиненную лицом «низкого» сословия, денежный штраф.

надлежит стать, вне всякого сомнения этим удовольствуется, а если и не удовольствуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, что, наперекор родительской воле и хотя бы она знала наверное, что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то самый верный способ – похитить ее и увезти, куда мне заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и смерть.

– Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не проси честью того, что можно взять силой», – заметил Санчо. – Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка: «Лихой наскок лучше молитвы добрых людей». Говорю я это к тому, что если сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору инфанту, то придется, как говорит ваша милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: пока вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное царствование, бедный оруженосец в ожидании милостей будет, поди, щелкать зубами. Разве только служанка-наперсница, будущая его супруга, последует за инфантой, и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с ней горе пополам, – ведь его господину, думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же сочеталась с ним законным браком.

– Никаких препятствий к тому я не вижу, – заметил Дон Кихот.

– А коли так, – подхватил Санчо, – то нам остается лишь поручить себя воле божьей и положиться на судьбу, а уж она сама приведет нас к лучшему.

– Да исполнит господь мое желание, – молвил Дон Кихот, и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься, а ничтожество да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает.

– Дай-то бог, – сказал Санчо. – Ведь я чистокровный христианин, а для того, чтобы стать графом, этого достаточно.

– Более чем достаточно, – возразил Дон Кихот. – Даже если б ты и не был таковым, то это ничему бы не помешало: когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом – и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят что хотят; честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя *ваше сиятельство*.

– А уж я графского устроинства не посрамлю, можете быть уверены! – сказал Санчо.

– *Достоинство* должно говорить, а не *устроинство*, – поправил его Дон Кихот.

– Пусть будет так, – согласился Санчо Панса. – Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться: мне одно время, – ей-богу, не вру, – довелось прислуживать в одном братстве, и платье служителя мне очень даже шло, и все говорили, что с моей внушительной осанкой мне впору быть в том же самом братстве за главного. А если я накину себе не плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.

– Вид у тебя будет благопристойный, – сказал Дон Кихот. – Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле.

– Да на что проще – нанять брадобрея и держать его при себе на жалованье? – сказал Санчо. – В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюший за грандом.

– А почему ты знаешь, что конюшие ходят за грандами? – спросил Дон Кихот.

– Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице, и мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная, и куда бы он ни свернул – всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюший и что у грандов такой обычай – всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.

– Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил



брадобрей, – заметил Дон Кихот. – Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил брадобрей. К тому же бреющий бороду – лицо более доверенное, нежели седлающий коня.

– Что касается брадобрея, то это уж моя забота, – сказал Санчо, – а забота вашей милости – постараться стать королем и произвести меня в графы.

– Так оно и будет, – подтвердил Дон Кихот. Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет речь в следующей главе.

## Глава XXII

*О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти*

Сид Ахмет Бен-инхали, писатель арабский и ламанчский, в своей глубокомысленной, возвышенной, безыскусственной, усладительной и занятой истории рассказывает, что славный Дон Кихот Ламанчский, обменявшись со своим оруженосцем Санчо Пансой мнениями, которые приводятся в конце главы XXI, поднял глаза и увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать, нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотанную вокруг их шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопровождали двое верховых и двое пеших, верховые – с самопалами, пешие же – с копьями и мечами; и Санчо Панса, едва завидев их, молвил:



– Это каторжники, королевские невольники, их угоняют на галеры<sup>1</sup>.

– Как невольники? – переспросил Дон Кихот. – Разве король насилует чью-либо волю?

– Я не то хотел сказать, – заметил Санчо. – Я говорю, что эти люди приговорены за

---

<sup>1</sup> *Галера* – гребное судно. Здесь имеется в виду наказание, к которому приговаривались преступники: их приковывали к бортам галеры, и им приходилось грести до полного изнеможения.

свои преступления к принудительной службе королю на галерах.

– Словом, как бы то ни было, – возразил Дон Кихот, – эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле.

– Вот-вот, – подтвердил Санчо.

– В таком случае, – заключил его господин, – мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным.

– Примите в соображение, ваша милость, – сказал Санчо, – что правосудие, то есть сам король, не чинит над этими людьми насилия и не делает им зла, а лишь карает их за преступления.

В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот с отменной учтивостью попросил конвойных об одном одолжении, а именно – сказать и объяснить ему, что за причина или, вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся в распоряжении его величества, и что отправляются они на галеры, – это, дескать, все, что он может ему сообщить, а больше ему и знать не положено.

– Со всем тем, – возразил Дон Кихот, – я бы хотел знать, какая беда стряслась с каждым из них в отдельности?

Засим он наговорил конвойным столько любезностей и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить его просьбу, что второй всадник наконец сказал:

– Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Расспросите их сами, ваша милость, они вам расскажут, если пожелают, а они, уж верно, пожелают, ибо любимое занятие этих молодцов – плутовать и рассказывать о своих плутнях.

Получив позволение, – впрочем, не получи его Дон Кихот, так он бы сам себе это позволил, – рыцарь наш приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он таким образом потому, что был влюблен.

– Только поэтому? – воскликнул Дон Кихот. – Да если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно должен был бы взяться за весла.

– Ваша милость совсем про другую любовь толкует, – заметил каторжник. – Мое увлечение было особого рода: мне так приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал ее к груди, что не отними её у меня правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был пойман на месте преступления, пытка оказалась не нужна, и мне тут же вынесли приговор: спину мою разукрасили с помощью сотен розог, в придачу я получил ровнехонько *три галочки*, и крышка делу.

– Что значит *три галочки*? – осведомился Дон Кихот.

– Это значит три года галер, – пояснил каторжник.

Это был парень лет двадцати четырех, уроженец, по его словам, Пьедраиты. С тем же вопросом Дон Кихот обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный и унылый, ничего ему не ответил; однако ж за него ответил первый, – он сказал:

– Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарейкой, то есть за музыку и пение.

– Что такое? – продолжал допытываться Дон Кихот. – Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?

– Да, сеньор, – отвечал каторжник. – Хуже нет, когда кто запоет с горя.

– Я слышал, наоборот, – возразил наш рыцарь: – кто песни распевает, тот грусть-тоску разгоняет.

– Ну, а тут по-другому, – сказал каторжник: – кто хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.

– Ничего не понимаю, – сказал Дон Кихот.

Но тут к нему обратился один из конвойных:

– Сеньор кавальеро! *Петь с горя* на языке этих нечестивцев означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении, а именно в том, что

занимался конокрадством, сиречь крал коней, и как скоро он признался, то его приговорили к шести годам галер и сверх того к двум сотням розог, каковые его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и грустен оттого, что другие мошенники, как те, что остались в тюрьме, так и его спутники, обижают и презирают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, оттого что он во всем сознался и не имел духу отпереться. Ибо, рассуждают они, в слове *не* столько же букв, сколько в *да*, и преступник имеет то важное преимущество, что жизнь его и смерть зависят не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я асе, со своей стороны, полагаю, что они не далеки от истины.

– И мне так кажется, – сказал Дон Кихот.

Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему ответил:

– Я отправляюсь на пять лет к сеньорам *галочкам* за то, что у меня не оказалось десяти дукатов.

– Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы выручить вас из беды, – сказал Дон Кихот.

– Это все равно, – возразил каторжник, – как если бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и умирал с голоду, оттого что ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что если бы ваша милость вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчего и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в Толедо, по площади Сокодовер, а не по этой дороге, будто взятая на свору борзая. Ну да бог не без милости. Терпение, а там видно будет.

Дон Кихот приблизился к четвертому, – человеку с благородным лицом, с седой, до пояса, бородою, и спросил, за что его ведут на галеры, но тот заплакал и ничего ему не ответил; однако ж пятый осужденный принял на себя обязанности толмача и сказал:

– Этот почтенный человек на четыре года отправляется на галеры, а предварительно его, разряженного, торжественно прокатили верхом по многолюдным улицам.

– Стало быть, – сказал Санчо Панса, – сколько я понимаю, его выставили на позорище.

– Именно, – подтвердил каторжник, – и наказание свое он несет за то, что, помимо разного другого товара, поставлял и живой. То есть, я хочу сказать, что этого кавалiero ссылают, во-первых, за сводничество, а во-вторых, за то, что он грешил по части колдовства.

– Вся беда именно в этом грехе и состоит, – заметил Дон Кихот, – а само по себе сводничество дает ему право не грести на галерах, но предводительствовать и командовать ими. В сводники годятся далеко не все: это дело тонкое и в государстве благоустроенном совершенно необходимое, и заниматься им подобает людям весьма родовитым. А над ними, по образцу других ремесел, должно быть положенное и определенное число надзирателей и ревизоров, все равно как торговых посредников, и таким образом можно будет избежать множества злоупотреблений, которые имеют место единственно потому, что это ремесло и занятие взяли себе на откуп люди слабоумные и непросвещенные: всякие никудышные бабенки либо мальчишки на побегушках и шуты – всё молокососы да несмышлениши, так что в трудную минуту, когда надобно выказать расторопность, они неукоснительно попадают впросак и садятся в лужу. Я мог бы еще многое сказать по поводу того, какой строгий отбор надлежит производить при назначении людей на эту столь необходимую для государства должность, но место здесь для этого неподходящее, – как-нибудь я изложу свой взгляд тем, в чьей власти все это уладить и привести в порядок. А теперь скажу лишь, что от тяжелого чувства, какое я испытал при виде этого убеленного сединами человека с благородным лицом, попавшего в столь бедственное положение из-за того, что он занимался сводничеством, не осталось и следа, как скоро мне сообщили дополнительный пункт касательно колдовства. Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые могли бы поколебать или же сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейство над нею не властны. Простые бабы и отъявленные мошенники составляют обыкновенно разные смеси и яды, от которых у людей мутится рассудок, и при этом внушают им, что они обладают способностью привораживать,

но, повторяю, сломить человеческую волю – это вещь невозможная.

– Справедливо, – заметил маститый старец. – И даю вам слово, сеньор, что в колдовстве я не повинен. Вот насчет сводничества нечего греха таить. Но мне в голову не могло прийти, что я поступаю дурно. У меня была одна забота: чтобы все люди на свете веселились и жили тихо и мирно, не ведая ни вражды, ни кручины. Однако ж благие мои намерения не спасли меня от похода в такие места, откуда я не надеюсь возвратиться: ведь я уже на склоне лет, а боль в мочевом пузыре не дает мне ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, и Санчо проникся к старцу таким состраданием, что вынул из-за пазухи монету и подал ему милостыню.

Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем состоит его преступление, на что тот ответил тоном не менее, а еще гораздо более развязным, нежели предыдущий:

– Меня ссылают на галеры за то, что уж очень я баловался с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, но уже не с моими. И добаловался я с ними со всеми до того, что из этого баловства возникло крайне запутанное родство, так что теперь его сам черт не разберет. Меня приперли к стене, покровителей не нашлось, денег – ни гроша, и я уже был уверен, что по мне плачет веревка, но мне дали шесть лет галер, и я согласился: поделом! К тому же я еще молод, вся жизнь у меня впереди, а живой человек всего добьется. Если же ваша милость, сеньор кавальеро, может чем-нибудь помочь нам, горемычным, то господь воздаст вам за это на небе, а мы здесь, на земле, будем вечно бога молить о долгоденствии и добром здравии вашей милости, дабы нашими молитвами вы здравствовали много лет, чего такой добрый, судя по всему, человек, как вы, вполне заслуживает.

Этот был в студенческом одеянии, а один из конвойных отозвался о нем, как об изрядном краснобае и весьма недурном латинисте.

Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной наружности, если не считать того, что один его глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники: на ноге у него была цепь, столь длинная, что ее доставало на то, чтобы обвить все его тело, а шею облегал два кольца – одно припаянное к цепи, и другое, так называемое *стереги друга*, или же *дружеское объятие*, при помощи двух железных прутьев соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести ко рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели все остальные, вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, как бы он от нее не сбежал.

– Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры? – спросил Дон Кихот.

– Да, но к десяти годам, – возразил конвойный, – а это все равно, что гражданская казнь. Довольно сказать, что этот душа человек есть не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинесильо де Ограбильо.

– Сеньор комиссар! Прикусите язык, – вмешался каторжник, – не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя, – это было бы куда полезнее.

– Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбойник, – прикрикнул на него комиссар, – если не хотите, чтоб я силой заставил вас замолчать!

– Конечно, человек предполагает, а бог располагает, – заметил каторжник, – но все-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Ограбильо или нет.

– Да разве тебя не так зовут, мошенник? – вскричал конвойный.

– Зовут-зовут да и перестанут, – отвечал Хинес, – иначе я им всем повыщиплю волосы в местах неудобосказуемых. Сеньор кавальеро! Если вы намерены что-нибудь нам

пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с богом, – вы нам уже опостытели своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте и что я ее описал собственноручно.

– То правда, – подтвердил комиссар, – он и в самом деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.

– Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали двести дукатов, – объявил Хинес.

– До того она хороша? – осведомился Дон Кихот.

– Она до того хороша, – отвечал Хинес, – что по сравнению с ней *Ласарильо с берегов Тормеса* и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться.

– А как называется книга? – спросил Дон Кихот.

– *Жизнь Хинеса де Пасамонте*, – отвечал каторжник.

– И она закончена? – спросил Дон Кихот.

– Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? – возразил Хинес. – Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры.

– Значит, вы уже там разок побывали? – спросил Дон Кихот.

– Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре года и отведал и сухарей и плетей, – отвечал Хинес. – И я не очень жалею, что меня снова отправляют туда же, – там у меня будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит рассказать, а у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга более чем достаточно, хотя, впрочем, для моих писаний особо длительного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей памяти.

– Ловок же ты, как я посмотрю, – сказал Дон Кихот.

– И несчастен, – примолвил Хинес. – Людей даровитых несчастья преследуют неотступно.

– Несчастья преследуют мерзавцев, – поправил его комиссар.

– Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили язык, – снова заговорил Пасамонте. – Начальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе даю голову на отсечение... ну да ладно, может статься, в один прекрасный день отольются кошке мышкены слезки. А пока молчок, будем относиться друг к другу с почтением, выразаться еще почтительнее, и пора в путь: полно, в самом деле, дурачиться.

В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его на том основании, что не велика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык. И, обращаясь ко всей цепи, молвил:

– Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако ж предстоящее наказание вам не очень-то улыбается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И может статься, что малодушие, выказанное одним под пыткой, безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, наконец, неправильное решение судьи послужили причиной вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все это живо представляется мысленному моему взору и словно уговаривает, убеждает, более того: подстрекает меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости – не брать силой того, что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров караульных и комиссара об одном одолжении, а именно: расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, которые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах, – превращать же в рабов тех, кого господь и природа создали свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более, сеньоры конвойные, – продолжал Дон Кихот, – что эти несчастные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам даст

ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, дабы, если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то это копье и меч купно с сильною моею мышцею принудят вас к тому силой.

– Что за глупая шутка! – воскликнул комиссар. – До хорошеньких же вещей договорился этот забавник! Он, видите ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как будто мы вправе освобождать их, а он – отдавать надлежащие распоряжения! Час добрый, ваша милость, поправьте на голове таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену.

– Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! – вскричал Дон Кихот.

И, не долго думая, он столь решительно напал на комиссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем своего недруга, грянулся оземь; и то была необычайная для Дон Кихота удача, ибо только комиссар и был вооружен мушкетом. Других конвойных это неожиданное происшествие ошеломило и озадачило; однако, опамятавшись, верховые взялись за мечи, пешие за копья, и все вместе напали на Дон Кихота, – Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему бы, уж верно, несдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что им представляется случай обрести свободу, не предприняли попытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма: конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отбивались от наседавшего на них Дон Кихота – и все без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобождению Хинеса де Пасамонте, и тот, – первый, кто сбросил с себя оковы и вырвался на свободу, – подскочил к поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целиться в конвойных и делать выпады, но огня так и не открыл, ибо в то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного: все они дали тягу, уstraшенные мушкетом Пасамонте, равно как и градом камней, коими другие каторжники, тоже вырвавшиеся на свободу, их осыпали. Происшествие это повергло Санчо Пансу в немалое уныние, ибо он полагал, что бежавшие явятся с донесением в Святое братство, и оно сей же час ударит в набат и отправится на розыски преступников. Своими опасениями он поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда уехать и скрыться в ближних горах.

– Хорошо, хорошо, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, как мне надлежит поступить

Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили его, ожидая, что он им скажет, – он же повел с ними такую речь:

– Люди благовоспитанные почитают за должное отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее гневящий господа – это неблагодарность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собственном опыте воочию убедились, что я сослужил вам службу. И вот я бы хотел, – и такова моя воля, – чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от Рыцаря Печального Образа, и во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключении вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А засим вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.

Хинес де Пасамонте ответил за всех.

– Ваша милость, государь и спаситель наш, требует от нас невозможного, – сказал он, – ибо не гурьбою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и порознь, причем все мы будем рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило Святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило за нами погоню. Пусть лучше ваша милость – и это будет самое правильное – велит нам вместо хождения на поклон к сеньоре Дульсинее Тобосской, прочитать столько-то раз «Богородицу» и «Верую», и мы их прочтем с мыслью о вас, – вот это поручение можно исполнять и днем и ночью, и убегая и отдыхая, как в

состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем цепи, а потом зашагаем по дороге в Тобосо, – это все равно что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам с подобной просьбой – это все равно что на вязе искать груш.

– В таком случае я клянусь, – в сердцах воскликнул Дон Кихот, – что вы, дон Хинесильо де Натрабильо, или как вас там, мерзавец вы этакий, отправитесь туда один, с поджатым хвостом и влача на себе всю цепь!

Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освободил бы их; и вот, видя, что с ним так обходятся, он подмигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону, и тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга Росинант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородился им от градовой тучи камней, коей суждено было над ними обоими пролиться. Дон Кихот был не столь уже хорошо защищен: несколько булыжников стукнулось об него, да еще с такой силой, что он свалился с коня; и только он упал, как на него налетел студент, сорвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Кихота полукафтаны, которое он носил поверх доспехов, и хотели было снять и чулки, но этому помешали наколенники. С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его дочиста и поделив между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, разбрелись кто куда.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще преследовавший его слух, все не прекращается, время от времени прядал ушами; Росинант, сбитый с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяина; Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожидании Святого братства, Дон Кихот же был крайне удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, столь дурно с ним обошлись.

## Глава XXIII

*О том, что случилось с прославленным Дон Кихотом в Сьерре Морене, то есть об одном из самых редкостных приключений, о которых идет речь в правдивой этой истории*

Видя, что с ним так дурно обошлись, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Мне часто приходилось слышать, Санчо, что делать добро мужланам – это все равно что воду решетом черпать. Послушайся я твоего совета, я бы избежал этой напасти. Но дело сделано. Терпение, а впредь будем осмотрительнее.

– Скорей я превращусь в турка, нежели ваша милость станет осмотрительнее, – возразил Санчо. – Но вы говорите, что если б вы меня послушались, то избежали бы этой беды? Ну так послушайтесь меня теперь, и вы избежите еще горшей, – смею вас уверить, что Святое братство на ваше рыцарское обхождение не поглядит: ему на всех странствующих рыцарей наплевать, и знаете что: у меня как будто уже в ушах гудит от его стрел<sup>1</sup>.

– Ты трус по природе, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и никогда не следую твоим советам, на сей раз я намерен поступить так, как ты мне советуешь, и уйти от гнева, коего ты опасешься. Но только с одним условием: чтобы ты никогда, как при жизни, так и после смерти, никому не говорил, что я из страха скрылся и ушел от опасности, – я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты это скажешь, то ты солжешь, и я раз навсегда изобличаю тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как о том помыслишь или же кому-либо скажешь. И не прекословь мне, ибо при

---

<sup>1</sup> ...в ушах гудит от его стрел... – Казнь, которой Святое братство подвергало преступников, состояла в том, что их привязывали к столбу и стреляли в них из лука.

одной мысли, что я ушел и скрылся от опасности, да еще от такой, которая, наверное, единственно потому и возникла, что некоторым со страху что-то померещилось, я уже готов остаться здесь один и ждать не только упомянутое тобою и повергающее тебя в трепет Святое братство, но и братьев всех двенадцати колен Израилевых, семерых братьев Маккавеев, Кастора и Поллукса, а также всех братьев и все братства, какие только существуют на свете.

– Сеньор! – снова заговорил Санчо. – Скрыться не значит бежать, и неблагоприятно ждать, когда опасность превосходит все ожидания, мудрым же надлежит оставлять что-нибудь на завтра, а не растрчивать в один день все свои силы. И знайте, что хотя я человек неотесанный и темный, однако ж я имею некоторое понятие о том, что такое благородное поведение, а потому не раскаивайтесь вы, что воспользовались моим советом, – лучше садитесь на Росинанта, если только вам это по силам, а не то так я вас посажу, и следуйте за мной, ибо, пошевелив мозгами, я прихожу к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук.

Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня и, предводительствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился в той части Сьерры Морены, которая была ближе к ним, Санчо же намеревался, перевалив горный хребет, выехать к Висо или же к Альмодовару дель Кампо и на несколько дней укрыться вместе с Дон Кихотом где-нибудь в ущелье, чтобы не быть пойманными в случае, если Братство попытается их изловить. Желание это в нем усилилось, едва он обнаружил, что съестные припасы, которые он вез на осле, от стычки с каторжниками не пострадали, каковое обстоятельство он почел за чудо, приняв в соображение то, как искали поживы каторжники и сколько они унесли с собой.

Под вечер достигли они самого сердца Сьерры Морены, где Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколько суток, во всяком случае, пока у них не выйдет продовольствие, а потому они расположились на ночлег между скал, среди множества пробковых дубов. Однако ж неотвратимый рок, который, по мнению тех, кто не озарен светом истинной веры, всем руководит, все приготавливает и устрояет по своему произволению, распорядился так, что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, которого избавили от оков доброта и безумие Дон Кихота, влекомый страхом перед Святым братством, коего он имел все основания опасаться, решился скрыться в горах, судьба же и боязнь привели его туда, где находились Дон Кихот и Санчо Панса, в такую пору и в такой час, когда он еще мог узнать их, и в то самое мгновение, когда они, не встречая с его стороны препятствий, отходили ко сну. А как злодеи все до одного неблагодарны и нужда служит им достаточным предлогом, чтобы прибегать к средствам недозволенным, причем выход, который представляется в настоящую минуту, им дороже будущих благ, то Хинес, человек неблагодарный и недобросовестный, задумал похитить у Санчо Пансы осла, Росинант же, будучи совершенно непригодной добычей как для заклада, так и для продажи, не привлек его внимания. Санчо Панса спал; Хинес похитил осла и еще до рассвета успел отъехать так далеко, что его уже невозможно было настигнуть.

Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила Санчо Пансу, ибо он обнаружил исчезновение серого; и вот, уразумев, что серого с ним больше нет, он поднял донельзя скорбный и жалобный плач, так что вопли его разбудили Дон Кихота, и тот услышал, как он причитает:

– Ах ты, дитячко мое милое, у меня в дому рожденное, забава моих деток, утеха жены моей, зависть моих соседей, облегчение моей ноши и к тому же кормилец половины моей особы, ибо двадцать шесть мараведи, которые ты зарабатывал в день, составляли половинную долю того, что я тратил на ее прокорм!

Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Кихот, сколько мог, утешил Санчо, попросил его немного потерпеть и обещал выдать расписку, по которой в его собственность перейдут три осла из тех пяти, что были у Дон Кихота в имении.

Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил Дон Кихота за эту милость; Дон Кихот же, как скоро очутился в горах, взыграл духом, ибо места эти



показались ему подходящими для приключений, коих он искал. На память ему приходили необычайные происшествия, в таких диких ущельях со странствующими рыцарями случавшиеся, и, увлеченный и упоенный ими, он думал только о них, а все остальное вылетело у него из головы. У Санчо тоже была теперь одна забота, едва он почувствовал себя в безопасности: как бы утолить голод остатками снеди, которую они отбили у духовных особ; по сему обстоятельству, навьюченный всем, что надлежало везти его ослику, он, идя следом за своим господином, запускал руку в мешок и набивал себе брюхо; и подобного рода прогулку он не променял бы ни на какое другое приключение.

Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, остановив Росинанта, пытается концом копья поднять с земли какой-то тюк, и это зрелище заставило его подскочить к нему на тот случай, если понадобится его помощь, но подскочил он в ту самую минуту, когда Дон Кихот уже поднимал на острие копьеца подушку и привязанный к ней чемодан, наполовину или даже совсем сгнившие и развалившиеся; однако они были столь тяжеловесны, что Санчо пришлось спешиться, чтобы поднять их, после чего Дон Кихот велел ему посмотреть, что лежит в чемодане. Санчо выказал чрезвычайное проворство, и замок и цепочка не помешали ему разглядеть, что лежат в этом прогнившем и дырявом чемодане четыре сорочки тонкого голландского полотна и еще кое-что из белья, столь же чистое, сколь и дорогое, а в носовом платке он обнаружил изрядную кучку золотых монет и, увидев их, тотчас воскликнул:

– Хвала небесам за то, что они столь выгодное приключение нам уготовали!

Затем, продолжив поиски, он обнаружил записную книжку в роскошном переплете. Книжку Дон Кихот взял себе, а от денег отказался в пользу Санчо. Санчо облобызал ему руки за эту милость и, опустошив чемодан, набил бельем свой меток с провизией. Наблюдая за всем этим, Дон Кихот сказал:

– Я полагаю, Санчо, – да так оно, разумеется, и есть на самом деле, – что какой-нибудь путник, сбившийся с пути, по всей вероятности блуждал в горах, и на него напали лиходеи и, наверное, убили, а тело зарыли в этом глухом месте.

– Не может этого быть, – возразил Санчо, – разбойники унесли бы деньги.

– И то правда, – сказал Дон Кихот, – но в таком случае я не могу взять в толк и ума не приложу, что бы это значило. Впрочем, погоди: нет ли в этой книжке каких-либо записей, которые помогли бы нам напасть на след и постигнуть то, что мы так жаждем знать.

Он раскрыл записную книжку, и первое, что он там обнаружил, – это сонет, написанный как бы начерно, однако ж весьма разборчивым почерком, каковой сонет он ради Санчо от первого до последнего слова прочитал вслух:

Иль Купидон немислимо жесток,  
Иль вовсе он утратил разуменье,  
Иль худшее из зверств – ничто в сравненьи  
С той пыткой, что мне назначил рок.

Но Купидон, коль скоро он есть бог.  
И мудр, и милосерден, без сомненья.  
Так где ж начало моего мученья  
И вместе с тем всех радостей исток?

Я даже не скажу – в тебе, Филида:  
Не может благо приносить мне вред,  
Зло и добро вовеки несовместны.

Одно бесспорно: в гроб я скоро сиду,  
Затем что от недуга средства нет,  
Когда его причины неизвестны.

– В этой песне ничего понять нельзя, – заметил Санчо, – кроме того, что тут про какую-то гниду говорится.

– Про какую гниду? – спросил Дон Кихот.

– Мне показалось, будто ваша милость сказала: *гниду*.

– Да не *гниду*, а *сниду*, – поправил его Дон Кихот, – по-видимому, автор хочет сказать, что он скоро отправится на тот свет. Право, он поэт изрядный, или я ничего не понимаю в поэзии.

– Стало быть, ваша милость и в стихах смыслит? – спросил Санчо.

– Больше, чем ты думаешь, – отвечал Дон Кихот. – И ты в том уверишься, как скоро я вручу тебе послание, сплошь написанное стихами, для передачи госпоже моей Дульсинее Тобосской. Надобно тебе знать, Санчо, что все или почти все странствующие рыцари минувшего века были великими стихотворцами и великими музыкантами: ведь эти две способности или, лучше сказать, два дара присущи странствующим влюбленным. Хотя, по правде сказать, в стихах прежних рыцарей больше чувства, нежели умения.

– Читайте дальше, ваша милость, – сказал Санчо, – может, потом все объяснится.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:

– Это – проза и, по-видимому, письмо.

– Деловое письмо, сеньор? – спросил Санчо.

– Судя по началу, как будто бы любовное, – отвечал Дон Кихот.

– Ну так прочтите же его вслух, ваша милость, – сказал Санчо, – меня хлебом не корми – дай послушать любовную историйку.

– С удовольствием, – сказал Дон Кихот.

Исполняя просьбу Санчо, он прочитал вслух все, что это письмо в себе заключало:

«Твое лживое обещание и мое неоспоримое злополучие влекут меня туда, откуда до твоего слуха скорее долетит весть о моей кончине, нежели слова моих жалоб. Ты отринула меня, о неблагодарная! единственно потому, что другой богаче меня, а не потому, чтобы он был достойнее; но когда бы добродетель за сокровище почиталась, мне бы не пришлось ни завидовать чужому счастью, ни оплакивать собственное свое злосчастье. Что воздвигла твоя красота, то разрушили твои деяния: красота внушила мне мысль, что ты ангел, деяния же свидетельствуют о том, что ты женщина. Мир тебе, виновница моей тревоги, и пусть по воле небес измены твоего супруга вечно будут окутаны тайною, дабы ты не раскаялась в своем поступке, а я не был бы отомщен за то, что столь противно моему желанию».

Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:

– Уж если из стихов мало что можно было узнать, то из письма еще того меньше, разве что писал его отвергнутый любовник.

Перелистав почти всю книжку, он обнаружил еще несколько стихотворений и писем, причем одни ему удалось разобрать, а другие нет, но все они заключали в себе жалобы, пени, упреки, выражения удовольствия и неудовольствия, восторг обласканного и плач отвергнутого. В то время как Дон Кихот просматривал книжку, Санчо подверг осмотру чемодан, и во всем чемодане, равно как и в подушке, не осталось ни единого уголка, который он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого шва, который он не распорол бы, ни единого клочка шерсти, который он не растрепал бы, дабы ничего не пропустить по своему небрежению или оплошности – до того разлакомился он, найдя более ста золотых монет. И хотя сверх найденного ему больше ничего не удалось найти, однако он пришел к мысли, что и полеты на одеяле, и изверженный напиток, и дубинки, коими его вздули, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, и похищение пыльника, а также голод, жажда и утомление, которые он изведаль на службе у доброго своего господина, – все это было не зря, ибо нашему оруженосцу казалось, что его с лихвою вознаграждает милость, какую явил ему Дон Кихот, отказавшись в его пользу от этой находки.

Рыцарю Печального Образа не терпелось узнать, кто владелец чемодана. Сонет и письмо, золото и прекрасные сорочки указывали на то, что это какой-нибудь знатный влюбленный, которого жестокость и презрение его дамы должны толкнуть на некий отчаянный шаг. Но как в этом безлюдном и суровом краю расспросить было некого, то он, даром времени не теряя, поехал дальше – тою дорогою, которую избрал Росинант, а именно тою, где Росинант в состоянии был проехать, и его преисполняла уверенность, что в этих теснинах без какого-нибудь необычайного приключения дело не обойдется.

Занятый этою мыслью, внезапно увидел он, что прямо перед ним, на верху невысокой горы, какой-то человек с неимоверною легкостью перескакивает с гребня на гребень и прыгает через кусты. Еще он заметил, что человек этот полураздет, что у него густая черная борода, шапка всклокоченных волос, ноги босы и обнажены колени; бедра его прикрывали штаны, по-видимому из рыжего бархата, до того рваные, что во многих местах просвечивало голое тело; голова у него была непокрыта. И хотя, как уже было сказано, человек тот промчался стремглав, однако же все эти подробности Рыцарь Печального Образа разглядел и отметил; и хотя он сделал попытку его догнать, но это ему не удалось, ибо немощный Росинант не создан был для передвижения по этим кручам, особливо если принять в рассуждение короткий его шаг и врожденную неповоротливость. Дон Кихот тотчас догадался, что это и есть владелец подушки и чемодана, и дал себе слово разыскать его, хотя бы ему целый год пришлось странствовать в горах, прежде чем его найти; того ради велел он Санчо сойти с осла<sup>1</sup> и обогнуть один склон горы, он же, дескать, объедет противоположный, – может статься, что так они в конце концов встретятся с человеком, столь стремительно скрывшимся из виду.

– Это выше моих сил, – объявил Санчо, – потому стоит мне удалиться от вашей милости – и страх уже тут как тут, и на меня лезут всякие ужасы и привидения. Так что, не извольте гневаться, я вас упреждаю заранее: от вашей особы я до скончания века не отойду ни на шаг.

– Быть по сему, – сказал Рыцарь Печального Образа, – я чрезвычайно рад, что ты ищешь прибежища в твердости моего духа, и она с тобою не расстанется, хотя бы твоя душа рассталась с телом. Следуй же за мной по пятам или как сумеешь и смотри во все глаза. Мы объедем эту гору и, может статься, повстречаем человека, которого мы только что видели, – вне всякого сомнения, это не кто иной, как владелец найденных нами вещей.

На это Санчо ему сказал:

– Давайте лучше не искать: ведь если мы его встретим и вдруг окажется, что деньги его, то ясно, что я принужден буду их ему возвратить, а потому уж лучше я без лишних хлопот и не мудрствуя лукаво буду считать себя их хозяином, пока сам собою, без особых с нашей стороны проявлений усердия и любознательности, не объявится их законный владелец. И может статься, что деньги к тому времени будут истрачены, а на нет и суда нет.

– Ты не прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Коли мелькнула у нас догадка, что хозяин денег – тот, который промчался в двух шагах от нас, то мы обязаны его сыскать и возвратить деньги. Бude же мы не отправимся на розыски, от одной этой весьма правдоподобной догадки, что он таковым является, наша вина становится не меньше, чем если бы мы это знали наверное. Итак, друг Санчо, да не огорчают тебя эти розыски хотя бы потому, что я перестану огорчаться, как скоро сыщу его.

---

<sup>1</sup> ...велел... Санчо сойти с осла... – Несколько дальше сказано: «Санчо по милости Хинесильо де Пасамонте побрел за ним на своих двоих», – противоречие, которое Сервантес объясняет во второй части «Дон Кихота».



С этими словами он пришпорил Росинанта, а Санчо по милости Хинесильо де Пасамонте побрел за ним на своих на двоих и притом навьюченный; и вот когда уже часть горы осталась позади, на берегу ручья обнаружили они валявшегося на земле, дохлого и наполовину обглоданного собаками и ислекванного воронами мула, оседланного и взнузданного, каковое обстоятельство подтвердило их предположение, что беглец и есть хозяин мула и подушки.

Они все еще смотрели на мула, как вдруг послышался свист, похожий на свист пастуха, стерегущего стадо, слева неожиданно показалось изрядное количество коз, а затем на горе показался и стороживший их козопас, человек преклонного возраста. Дон Кихот окликнул его и попросил спуститься. Тот, возвысив голос, обратился к ним с вопросом: что занесло их в такие места, где редко, а может, и ни разу, не ступала нога человека и где бродят одни лишь козы, волки и другие дикие звери? Санчо, однако ж, попросил его спуститься, – тогда, мол, ему дадут полный отчет. Козопас спустился и, приблизившись к Дон Кихоту, молвил:

– Бьюсь об заклад, что глядите вы на мула, который пал в этом рву. Да ведь он, чтобы не соврать, вот уде полгода, как здесь валяется. А скажите на милость, не повстречался ли вам его хозяин?

– Нет, не повстречался, – отвечал Дон Кихот, – но неподалеку отсюда мы нашли подушку и чемодан.

– Да ведь они и мне попались, – сказал козопас, – но только я не то что поднять, а и подойти-то к ним не решился: боюсь, как бы не нажить беды, еще, не ровен час, за вора примут. Нечистый хитер, подставит ногу – вот ты и споткнулся и полетел, а там поди разбирайся, что, да как, да почему.

– Я тоже так думаю, – отозвался Санчо. – Вещи эти и мне было попались, но я на сто шагов не осмелился к ним подойти. Я их оставил в покое, и лежат они там, где лежали, а то еще, пожалуй, свяжешься – не обрадуешься.

– А скажите, добрый человек, – спросил Дон Кихот, – не знаете ли вы, кому принадлежит это имущество?

– Я знаю одно, – отвечал козопас: – Назад тому полгода или около того к одному пастушьему загону, мили за три отсюда, подъехал юноша, пригожий и статный, верхом на том самом муле, что валяется во рву, с подушкой и чемоданом, который вы нашли и, говорите, не тронули. Спросил он нас, с какой стороны этот горный хребет особенно дик и пустынен. Мы ему сказали, что там, где мы сейчас находимся, и так оно и есть на самом деле, потому если вы пройдете еще с полмили вглубь, то выбратесь, пожалуй что, и не выберетесь. Я диву даюсь, как вы и здесь-то оказались: ведь сюда ни одна дорога и ни одна тропа не ведет. Ну так вот: выслушал нас юноша, поворотил мула и поехал в ту сторону, куда мы ему указали, и мы все, как один, полюбовались его статностью и подивились его вопросу, а также той поспешности, с какою он снова направил путь в горы. И только мы его и видели, однако ж несколько дней спустя вышел он на дорогу как раз, когда по ней проходил один из наших пастухов, и, не говоря худого слова, надавал ему колотушек да пинков, а затем подскочил к его ослице и забрал весь хлеб и весь сыр, которым тот ее нагрузил. После этого он с невиданною быстротою снова скрылся в горах. Кое-кто из нас, пастухов, услышал об этом, и мы почти два дня разыскивали его в самой неприступной части гор и наконец нашли в дупле кряжистого и могучего дуба. Он встретил нас весьма миролюбиво, одежда на нем была уже изорвана, а лицо обезображено и обожжено солнцем, так что узнали мы его с трудом, и все-таки как раз по одежде, хотя и порванной, но нам хорошо знакомой, мы и догадались, что перед нами тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво приветствовал нас и в кратких и вполне разумных словах объявил нам, что мы не должны удивляться его образу жизни, ибо за великие свои грехи наложил он на себя некое покаяние. Мы просили его назвать себя, но он остался непреклонен. Еще мы ему сказали, что как скоро ему понадобится продовольствие, без коего он все равно не проживет, то пусть уведомит нас, где он находится, и мы с превеликою охотою и старанием все ему принесем, а коли и это ему неприятно, то, по крайности, пусть он, выходя на дорогу, просит у пастухов съестного, но не отнимает. Он поблагодарил нас, извинился за совершенное нападение и впредь обещал просить Христовым именем, никому ничем не досаждая. Касательно постоянного местожительства он объявил, что такового у него не имеется и что он довольствуется случайным, где его застигнет ночь. И закончил он свою речь столь жалобным плачем, что у нас были бы каменные сердца, когда бы мы, заслышав этот плач и мысленно сравнив, каким мы увидели юношу в первый раз и каким он стал теперь, тоже не прослезились. Повторяю, это был юноша очень красивый и статный, и его учтивые и рассудительные речи обличали в нем человека знатного и благовоспитанного, и хотя только деревенские и слушали его, но любезность его даже деревенщине невольно в глаза бросалась. И вот в пылу красноречия он вдруг остановился, умолк и уставил глаза в землю, мы же, остолбеневшие и ошеломленные, ждали, чем кончится это его длительное оцепенение, и с великим участием на него взирали, ибо по тому, как он то открывал глаза и, не мигая, долго и пристально глядел в землю, то снова закрывал их, стискивал зубы и хмурил брови, мы без труда могли догадаться, что с ним случился припадок умоисступления. И вскоре предположение наше подтвердилось, ибо он повалился на землю, но тут же в превеликом гневе вскочил и бросился на пастуха, стоявшего рядом, с такою запальчивостью и бешенством, что, если б мы его не отняли, он загрыз бы его или ударом кулака убил наповал. Бросился же он на него с криком: «А, вероломный Фернандо! Сей же час, сей же час заплатишь ты за то, что так вероломно со мной обошелся. Вот эти самые руки вырвут из твоей груди сердце, в коем обретаются и гнезятся все, какие только есть, пороки, преимущественно коварство и ложь!» К этим речам присовокупил он другие, но все они сводились к тому, чтобы осыпать Фернандо новыми проклятиями и заклеить его как предателя и обманщика. Итак, с немалым трудом освободили мы пастуха, а юноша, ни слова не говоря, от нас удалился и – бегом сквозь чащу кустарника, так что мы никакими силами не могли бы его догнать. Из всего этого мы заключили, что у него по временам мутится рассудок и что некто по имени Фернандо причинил ему зло, и, уж верно, немалое, судя по тому состоянию, в котором он теперь находится. Впоследствии догадки наши подтверждались всякий раз, как он выходил на

дорогу (а это с ним случалось не однажды) и иной раз просил пастухов поделиться с ним пищей, а иной раз отнимал силою, ибо когда он не в своем уме, то он отвергает доброхотные даяния пастухов и набрасывается на них с кулаками. Когда же он в здравом уме, то вежливо и учтиво просит Христовым именем и сердечно, даже со слезами, благодарит. И даю вам слово, сеньоры, – продолжал козопас, – что вчера я и четыре молодых парня – два подпаса и два моих приятеля – порешили искать его, пока не найдем, и, найдя, не добром, так силой препроводить в город Альмодовар, до которого отсюда восемь миль, и там мы его вылечим, если только эта болезнь излечима, или уж, по крайности, узнаем, кем он был до того, как свихнулся, и есть ли у него родственники, коих надлежит известить о постигшем его несчастье. Вот и все, сеньоры, что я могу вам поведать в ответ на ваш вопрос, и разумеете, что владелец найденных вами вещей и есть тот самый полураздетый человек, который с такою быстротою пробежал мимо вас. (Должно заметить, что Дон Кихот успел рассказать ему, как тот лазал по горам.)

Дон Кихот подивился всему, что услышал от козопаса, и теперь ему еще больше захотелось узнать, кто же этот несчастный безумец, так что он дал себе слово довести до конца задуманное предприятие, а именно: объездить всю гору и, заглядывая во все уголки и пещеры, во что бы то ни стало сыскать его. Судьба, однако ж, устроила лучше, чем он мог предполагать или ожидать, ибо в это мгновение прямо перед ними в расселине горы показался тот самый юноша, которого они искали: он шел, говоря сам с собою о чем-то таком, чего нельзя было бы понять и вблизи, а тем паче издали. На нем было вышеописанное одеяние; кроме того, Дон Кихот, подъехав вплотную, заметил, что разорванный его колет надушен амброй, каковое обстоятельство окончательно уверило нашего рыцаря, что особа, носящая подобное платье, не может быть из простонародья.

Подойдя к ним, юноша приветствовал их голосом сдавленным и хриплым, с отменною, впрочем, учтивостью Дон Кихот ответил на его поклон не менее любезно и, спешившись, с чрезвычайным дружелюбием и непринужденностью обнял его, и так долго сжимал он его в своих объятиях, словно они были век знакомы. Юноша, которого мы могли бы назвать *Оборванцем Жалкого Образа*, подобно как Дон Кихот есть *Рыцарь Печального Образа*, прежде дал себя обнять, а затем слегка отстранил Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, стал в него всматриваться с таким видом, будто желая уяснить себе, знаком он с ним или нет; по всей вероятности, облик, фигура и доспехи Дон Кихота повергли его в такое же точно изумление, в какое он сам поверг Дон Кихота. В конце концов после объятия первым заговорил оборванец и повел речь, о которой будет речь впереди.

## Глава XXIV,

*в коей продолжается рассказ о приключении в Сьерре Морене*

В истории сказано, что Дон Кихот с величайшим вниманием слушал вконец обносившегося *Рыцаря Гор*, а тот начал свою речь так:

– Разумеется, сеньор, кто бы вы ни были, – ибо я вас не знаю, – я почитаю своим долгом изъявить вам признательность за те знаки уважения, коих вы меня удостоили, и мне бы хотелось иметь возможность не одною только своею готовностью ответить на вашу готовность выказать радушие, с каковым вы и отнеслись ко мне, однако ж судьба пожелала устроить так, чтобы я был способен отблагодарить за доброе дело, которое мне кто-либо делает, одним лишь добрым намерением за него отплатить.

– Что до меня, то я твердо намерен быть вам полезным, – подхватил Дон Кихот, – я даже решился остаться в горах до тех пор, пока не встречу с вами и не узнаю, есть ли какое-нибудь средство от недуга, который, судя по вашему необычайному образу жизни, вас снедает, и, коли надобно искать это средство, искать его со всем возможным рвением. Когда же горесть ваша принадлежит к числу тех, что любым утешениям путь преграждает, то я вместе с вами стану крушиться и проливать слезы, ибо в несчастье обрести человека,

который вам сострадает, – это тоже своего рода утешение. Если же благие мои намерения заслуживают награды в виде какого-либо знака учтивости, то я заклинаю вас, сеньор, тою великою учтивостью, какою, я вижу, вы отличаетесь, и ради того, что вы больше всего на свете любили или же любите, молю вас: скажите мне, кто вы таков и почему вы приняли решение жить и умереть, подобно дикому зверю, в пустынных этих местах, где вы принуждены нарушить весь свой привычный уклад жизни, о котором свидетельствуют одежда ваша и облик? Я же, грешный и недостойный, – примолвил Дон Кихот, – клянусь тем рыцарским орденом, к которому я принадлежу, и саном странствующего рыцаря, что если вы, сеньор, уважите мою просьбу, то я буду служить вам с тою преданностью, к которой меня обязывает мое звание, и либо выручу вас из беды, если только она поправима, либо, как я вам уже обещал, вместе с вами буду лить слезы.

*Рыцарь Леса*, слушая речи *Рыцаря Печального Образа*, вглядывался в него, приглядывался к нему, снова оглядывал с ног до головы и, только когда вдосталь на него нагляделся, сказал:

– Если у вас найдется поест, то дайте ради Христа, и, поевши, я исполню все, что от меня требуется, в благодарность за ваше столь доброе ко мне расположение.

Санчо незамедлительно полез в мешок, козопас – в котомку, и оборванец, набросившись на еду как полоумный, стал утолять голод с поспешностью необычайной: он не успевал проглотить один кусок, как уже засовывал в рот другой; и пока он ел, ни он, ни окружающие не проронили ни слова. Когда же он поел, то сделал знак следовать за ним, что и было исполнено, и он повел их на зеленую лужайку, которая находилась неподалеку отсюда, за скалою. Придя, он опустился на траву, а за ним и его спутники; при этом среди них по-прежнему царило молчание – до тех пор, пока оборванец, устроившись поудобнее, не заговорил:

– Если вам угодно, сеньоры, чтобы я вкратце рассказал о неисчислимых моих бедствиях, то вы должны обещать мне, что ни одним вопросом и ни единым словом не прервете нить печального моего повествования, иначе, как скоро вы это сделаете, рассказ мой на этом самом месте и остановится.

Слова оборванца привели Дон Кихоту на память тот случай, когда он, слушая сказку своего оруженосца, все никак не мог сосчитать коз, которых переправляли через реку, вследствие чего конец этой истории остался неизвестен. Оборванец между тем продолжал:

– Я потому вас о том предупредомяю, что мне бы не хотелось долго задерживаться на моих мучениях, ибо вспоминать – значит умножать их, и чем меньше вопросов будете вы мне задавать, тем скорее я с этим покончу, хотя и не пропущу ничего существенного, дабы удовлетворить вас вполне.

Дон Кихот от лица всех присутствовавших обещал не прерывать его, и тот, взяв с него слово, начал так:

– Меня зовут Карденьо, моя отчизна – один из прекраснейших городов нашей Андалусии, я – славного рода, мои родители – люди состоятельные, но горе мое таково, что, сколько бы ни оплакивали меня отец и мать и как бы ни страдали за меня мои родичи, всего их богатства не достанет на то, чтобы его облегчить, ибо с несчастьями, которые посылает небо, благам жизни не совладать. В моей родной земле обитало само небо, получившее в дар от Амура такое великолепие, выше которого я ничего не мог себе представить, – до того прекрасна была Лусинда, девица столь же знатная и богатая, как я, но только более счастливая и отличавшаяся меньшим постоянством, нежели то, какого чистые мои помыслы заслуживали. Эту самую Лусинду я любил, обожал и боготворил измлада, и она любила меня искренне и беззаветно, как лишь в нежном возрасте любить умеют. Родители знали о наших намерениях, но это их не смущало, – они отлично понимали, что конечною нашею целью может быть только брак, каковой был уже почти предрешен благодаря тому, что по своему происхождению и достоянию мы друг к другу вполне подходили. Годы шли, а взаимная наша склонность все росла, и отец Лусинды нашел, что приличия ради должно отказать мне

от дома: в сем случае он как бы подражал родителям столь возвеличенной поэтами Тисбы<sup>1</sup>. Но от этого запрета еще пуще возгорелось пламя и воспылала страсть, ибо печатью молчания удалось заградить наши уста, но не перья, – перья же с большею непринужденностью, нежели уста, дают понять тому, кого мы любим, что таится у нас в душе, ибо в присутствии любимого существа весьма часто смущаются и немеют самое твердое намерение и самые смелые уста. О небо, сколько писем написал я ей! Сколько трогательных и невинных посланий получил в ответ! Сколько песен я сочинил и стихов о любви, в коих душа изъясняла и изливала свои чувства, выражала пламенные свои желания, тешила себя воспоминаниями и давала волю своему влечению! Наконец, истерзанный, с душою, изнемогшей от желания видеть ее, положил я осуществить и как можно скорее исполнить то, что представлялось мне необходимым для получения желанной и заслуженной награды, а именно: попросить у ее отца дозволения сочетаться с нею законным браком, и я это сделал. В ответ же услышал я следующее: он-де благодарит меня за оказанную ему честь и желал бы со своей стороны почтить меня и вручить мне свое сокровище, но коль скоро отец мой жив, то неотъемлемое право вступить в переговоры принадлежит ему. Что же касается Лусинды, то она не из таких, чтобы ее можно было тайно взять в жены или выдать замуж в случае, если этот брак будет ему отнюдь не по сердцу и не по нраву. Я изъявил свою признательность за поданную им благую мысль, ибо мне казалось, что он говорит дело и что отец мой даст согласие, как скоро я ему откроюсь. С этою целью я нимало не медля отправился к отцу сообщить о своем намерении, но, войдя в его покои, увидел, что в руках у него распечатанное письмо, каковое, прежде нежели я успел слово вымолвить, он протянул мне и сказал: «Из этого письма ты увидишь, Карденьо, что герцог Рикардо намерен оказать тебе милость». Вам должно быть известно, сеньоры, что герцог Рикардо – это испанский гранд, коего двор находится в одном из прекраснейших мест нашей Андалусии. Я взял и прочитал письмо, и оно показалось мне столь лестным, что я первый не одобрил бы моего отца, когда бы он не исполнил того, о чем герцог его просил, а именно: незамедлительно направить меня к нему, с тем чтобы отныне я находился при старшем сыне герцога в качестве его товарища, но не слуги, а уж он, герцог, позаботится-де о том, чтобы я достигнул степеней, соответствующих тому уважению, которое он питает ко мне. Я прочитал письмо и, прочитав, оцепенел, особенно когда отец сказал мне: «Во исполнение воли герцога ты, Карденьо, через два дня поедешь к нему, – возблагодари же господа бога за то, что он открыл пред тобою путь, на котором ты добьешься всего, что, по моему разумению, ты заслуживаешь». К этому он присовокупил несколько отеческих наставлений. Перед отъездом я увиделся вечером с Лусиндой, рассказал ей обо всем, что произошло, затем поговорил с ее отцом и попросил его повременить и не выдавать Лусинду замуж до тех пор, пока я не узнаю, какие виды имеет на меня Рикардо. Он обещал, а Лусинда скрепила это обещание бесчисленными клятвами и изъявлениями чувства. Наконец я прибыл во владения герцога Рикардо. Он так хорошо меня принял и так хорошо со мной обошелся, что с этой минуты уже начала делать свое дело зависть, которою преисполнились ко мне старые слуги герцога, ибо они рассудили, что знаки его благорасположения ко мне могут послужить им во вред. Но особенно обрадовался моему приезду младший сын герцога, по имени Фернандо, юноша статный, прелестный, щедрый и пылкий, и вот этот-то самый Фернандо малое время спустя так со мной подружился, что среди придворных только и разговору было, что о нашей дружбе. И хотя старший брат тоже меня любил и благоволил ко мне, однако ж он не доходил до таких пределов, коих достигали любовь и обхождение донна Фернандо. А как для дружбы тайн не существует (я же, перестав быть приближенным донна Фернандо, стал его другом), то он поверял мне теперь все свои думы, в частности думу любовную, причинявшую ему некоторое беспокойство. Он полюбил крестьянку, дочь богатых вассалов его отца, и была она так прекрасна, благонравна, рассудительна и скромна, что все, кто знал ее, затруднялись определить, какое из этих качеств в ней преобладает и какое из них выше. Редкие достоинства прелестной поселянки до того воспламенили страсть донна Фернандо, что он

---

<sup>1</sup> *Тисба* – героиня повести Овидия о Пираме и Тисбе («Метаморфозы»).



положил, дабы достигнуть цели и сломить ее упорство, дать слово девушке жениться на ней, ибо прибегать к какому-либо иному способу значило добиваться невозможного. Тогда я на правах дружбы, приведя наиболее веские доводы и наиболее яркие примеры, попытался воспрепятствовать этому и отговорить его. Видя, однако ж, что усилия мои тщетны, порешил я рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо, но дон Фернандо, будучи человеком проникательным и умным, проник в тайные мои помыслы и испугался, – он подумал, что я, как верный слуга, не почту себя вправе утаить от герцога, моего господина, то, что может бросить тень на его доброе имя. И вот, чтобы сбить меня с толку и провести, он сказал, что наилучшее средство забыть красавицу, которая так его поработила, это на несколько месяцев отсюда уехать, – он-де вместе со мной поедет к моему отцу, а герцогу скажет, что желает присмотреть и купить коней, ибо таких чудесных коней, как у нас в городе, на всем свете не сыщешь. Выслушав его, я, движимый своею любовью, способен был и не столь благоразумное решение почесть за одно из самых мудрых, какое только можно вообразить, единственно потому, что мне представлялись удобный случай и возможность свидеться с моею Лусиндою. Руководимый этою мыслью и желанием, я, приняв его предложение и поощрив его замысел, сказал, чтобы он как можно скорее осуществил его, ибо разлука, точно, сделает свое дело, невзирая на неотвязные мысли. Но когда Фернандо вел со мною этот разговор, он, как я узнал потом, уже обладал поселянкою под видом ее супруга и ждал лишь случая открыть свою тайну без риска для себя, – его пугала мысль, как поступит герцог, когда узнает о его проказах. Между тем любовь юношей по большей части есть не любовь, но похоть, конечная же цель похоти есть насыщение, и, достигнув ее, она сходит на нет, а то, что казалось любовью, принуждено возвратиться вспять, ибо оно не в силах перейти предел, положенный самою природою и которого истинная любовь не знает, – словом, как скоро дон Фернандо насладился поселянкою, страсть его охладела и пыл его угас. И если первоначально он притворялся, что хочет удалиться, дабы охладить его, то теперь он, точно, желал уехать, дабы не расточать его более. Герцог изъявил согласие и велел мне сопровождать дону Фернандо. Мы прибыли в мой родной город, отец принял его как должно, я тотчас же свиделся с Лусиндой, и моя страсть ожила (впрочем, она никогда не умирала и не ослабевала), о чем я, на свое несчастье, сообщил дону Фернандо, – сообщил, ибо мне казалось, что в силу того особого дружеского расположения, какое он ко мне выказывал, я ничего не должен от него скрывать. Я так расхвалил красоту, прелесть и рассудительность Лусинды, что хвалы мои вызвали в нем желание увидеть девушку, таковыми достоинствами отмеченную. По воле злого рока я исполнил его желание и однажды вечером при свете свечи показал ему ее в окне, через которое мы с нею обыкновенно переговаривались. Она была в ночном одеянии, и все красоты, виденные им прежде, пред нею померкли. Он замер на месте, он потерял голову, он пришел в восторг, он полюбил ее, а как горячо – это вы увидите дальше из рассказа о моем злоключении. И дабы усилить в нем чувство, которое он скрывал от меня и лишь наедине с самим собою поверял небу, судьба устроила так, что однажды на глаза ему попалось ее письмо, где она умоляла меня просить у отца ее руки и где она выказала такую рассудительность, скромность и нежность, что, прочитав его, он сказал мне, что в одной Лусинде заключены ум и красота, между всеми женщинами на свете обыкновенно распределяемые. Положа руку на сердце, могу вам теперь признаться, что хотя я и понимал, что у дону Фернандо есть все основания восхвалять Лусинду, однако же слышать эти похвалы из его уст мне было неприятно, и я стал бояться и остерегаться его, ибо он поминутно, при всяком удобном и неудобном случае, заговаривал со мной о Лусинде, каковое обстоятельство возбуждало во мне нечто похожее на ревность, однако ж вовсе не потому, чтобы я опасался неожиданного удара со стороны добродетельной и верной Лусинды; как бы то ни было, судьба заставляла меня бояться за то, что сама же она мне сулила. Дон Фернандо всякий раз изъявлял желание читать письма, которые я писал Лусинде и которые я получал от нее в ответ, под тем предлогом, что красоты нашего слога будто бы доставляют ему величайшее удовольствие. Случилось, однако ж, так, что Лусинда попросила у меня почитать один рыцарский роман, до которого

она была большая охотница, а именно *Амадиса Галльского*...

Стоило Дон Кихоту услышать название рыцарского романа, и он тотчас прервал юношу:

– Если б ваша милость с самого начала предуведомила меня, что ее милость сеньора Лусинда – охотница до рыцарских романов, то никаких других славословий не понадобилось бы для того, чтобы уверить меня в возвышенности ее ума, да ум у нее и не был бы столь тонким, как это вы, сеньор, утверждаете, когда бы она к столь занимательному чтению не имела пристрастия, а потому ради меня не должно тратить много слов на описание ее красоты, добродетели и ума, – довольно мне узнать ее вкус, и я сей же час признаю ее прекраснейшею и разумнейшею женщиною в мире. И мне бы хотелось, сеньор, чтобы вместе с *Амадисом Галльским* ваша милость послала ей *Дона Рухела Греческого*, – я уверен, что сеньоре Лусинде очень понравятся Дараида и Гарайя, остроумие пастушка Даринеля, а также чудесные стихи его буколик, которые он с величайшей приятностью, искусно и непринужденно пел и исполнял. Однако со временем замеченный мною пробел будет восполнен, и время его восполнения настанет, как скоро ваша милость соизволит отправиться вместе со мною в мою деревню, ибо там я предоставляю в ваше распоряжение более трехсот романов, каковые суть услада моей души и радость моей жизни. Впрочем, не остается сомнений, что у меня ни одного романа уже не осталось, – по милости злых волшебников, завистливых и коварных. Простите же меня, ваша милость, за то, что я нарушил обещание не прерывать вас, но когда при мне говорят о рыцарских делах и о странствующих рыцарях, то не поддерживать разговор зависит от меня в такой же мере, в какой от лучей солнца зависит не греть, а от лучей месяца – не увлажнять землю. Итак, прошу простить меня и продолжать, что было бы сейчас как нельзя более кстати.

Пока Дон Кихот вел с Карденьо вышеприведенную речь, тот, свесив голову на грудь, казалось, впал в глубокое раздумье. Дон Кихот дважды обращался к нему с просьбой продолжать свой рассказ, но он не поднимал головы и не отвечал ни слова; по истечении долгого времени он, однако же, вскинул голову и сказал:

– Я стою на том, – и не родился еще такой человек, который бы меня с этого сбил или же доказал обратное, да и дурак тот, кто думает или рассуждает иначе, – что эта архибестия лекарь Элисабат сожительствовал с королевой Мадасимой.

– Ах вы, такой-сякой! – в великом гневе вскричал Дон Кихот (по своему обыкновению, выразившийся сильнее). – Да это есть величайшее с вашей стороны вероломство или, лучше сказать, низость! Королева Мадасима – весьма почтенная сеньора, и нельзя себе представить, чтобы столь знатная особа сошлась с каким-то коновалом, а кто утверждает противное – тот лжет, как последний мерзавец. И я берусь ему это доказать пеший и конный, вооруженный и безоружный, и ночью и днем, словом, как ему будет угодно.

Карденьо смотрел на него весьма внимательно; он уже находился в состоянии умоисступления и не способен был продолжать рассказ, точно так же как Дон Кихот – слушать, ибо то, что он услышал о королеве Мадасиме, возмутило его. Странное дело: он вступился за нее так, как если бы она воистину была его истинною и природною сеньорой, и все из-за этих богомерзких романов! Карденьо, как известно, и без того был не в себе, когда же ему надавали всяких оскорбительных названий вроде лжеца, мерзавца и тому подобных, то он рассердился не на шутку и, запустив в Дон Кихота первым попавшимся булыжником, угодил ему в грудь, так что тот повалился навзничь. Санчо Панса, видя, как обходятся с его господином, бросился на умалишенного с кулаками, однако оборванец встретил его достойно; одним ударом сшиб его с ног, вслед за тем навалился на него и наломал ему бока в свое удовольствие. Козопаса, попытавшегося защитить Санчо, постигла та же участь. Расшвыряв же их всех и переколовив, оборванец как ни в чем не бывало скрылся в горах. Санчо встал и, в ярости от того, что столь незаслуженно получил взбучку, сорвал злобу на козопаса, объявив, что это он во всем виноват, ибо не предуведомил их, что на этого человека временами находят, и что если б они это знали, то были бы начеку и сумели за себя постоять. Козопас возразил, что он их упреждал, а что ежели Санчо не слышал, то он,

дескать, не виноват. Санчо Панса ему слово, козопас ему два, следствием же всех этих слов было то, что они вцепились друг другу в бороду и пустили в ход кулаки, так что если б Дон Кихот не усмирил их, то от обоих остались бы одни клочья. Схватившись с козопасом, Санчо кричал:

– Оставьте меня, ваша милость, сеньор Рыцарь Печального Образа! Ведь он такой же мужик, как я, а не посвященный в рыцари, стало быть, я имею полное право без всякого стеснения отплатить ему за обиду и как честный человек померяться с ним силами один на один.

– Так-то оно так, – заметил Дон Кихот, – но, сколько мне известно, он ничуть не виноват в том, что произошло.

Это его замечание утихомирило противников, и Дон Кихот снова спросил козопаса, можно ли сыскать Карденью, ибо ему страшно как хотелось дослушать его историю до конца. Козопас сказал ему то же, что говорил вначале, а именно – что местопребывание Карденьи в точности ему неизвестно, но что если Дон Кихот как можно дольше в этих краях постранствует, то непременно найдет его – может статься, в здравом уме, а может, и невменяемого.

## Глава XXV,

*повествующая о необычайных происшествиях, случившихся в Сьерре Морене с отважным рыцарем Ламанчским, и о покаянии, которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил*

Простившись с козопасом, Дон Кихот снова сел на Росинанта и велел Санчо следовать за ним, каковое приказание тот вкупе со своим ослом весьма неохотно исполнил. Наконец они достигли самых что ни на есть крутизны, и Санчо смертельно захотелось побеседовать со своим господином, но, боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. Однако, не выдержав столь продолжительного молчания, он начал так:

– Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром: я сей же час намерен возвратиться домой, к жене и детям, – с ними я, по крайности, душу отведу и наговорюсь всласть, а требовать, чтобы я день и ночь скитался вместе с вашей милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота поговорить, – это все равно что живьем закопать меня в землю. Ежели б судьбе угодно было, чтобы животные умели говорить, как говорили они во времена этого, как бишь его, Укропа или Езопа<sup>1</sup>, – это бы еще куда ни шло: я выкладываю моему ослику все, что только на ум взбредет, и мне и горя мало. А то ведь не так-то легко и не у всякого достанет терпения всю жизнь странствовать в поисках приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты, словно немой, не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце.

– Я тебя понимаю, Санчо, – сказал Дон Кихот. – тебе, мочи нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. Считай, что он уже снят, и говори все, что тебе вздумается, с условием, однако же, что снятие это будет действительно до тех пор, пока мы не проедем горы.

– Ну ладно, – согласился Санчо, – мне бы только теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот, понеже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь обратиться к вам с вопросом: что это вашей милости пришло в голову так горячо вступиться за королеву *Мордасиму* или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот самый, как его, *аббат* ее милым или нет? Ведь вы им не судья, и я уверен, что если б вы промолчали, то сумасшедший докончил бы свой рассказ и дело обошлось бы без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и без полдюжины затрещин.

– Право, Санчо, – снова заговорил Дон Кихот, – если б ты знал так же хорошо, как это

---

<sup>1</sup> *Езоп* – то есть Эзоп, знаменитый греческий баснописец (VI в. до н.э.).

знаю я, сколь почтенна и благородна была королева Мадасима, – я знаю, ты сказал бы, что я был еще слишком терпелив: другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь кощунственные срывались слова. В самом деле, величайшее кощунство – не только сказать, но даже помыслить, что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина же заключается в том, что доктора Элисабата, о котором толковал помешанный, человека весьма благоразумного и весьма мудрого советчика, королева держала при себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, будто она была его возлюбленной, – это нелепица, заслуживающая строгого наказания. И если ты примешь в рассуждение, что, когда Карденьо говорил это, он был уже не в своем уме, то, верно, согласишься, что он сам не знал, что говорил.

– Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, – заметил Санчо, – мало ли что он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь да направил булыжник прямехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы тогда были, а все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденьо еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный!

– Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разумных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны: они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А невежественной и злопыхательствующей черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, что лгут те, кто так думает и говорит.

– Да я ничего не говорю и не думаю, – сказал Санчо, – ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожительствоваали они или нет – за это они дадут ответ богу. Мое дело сторона, я знать ничего не знаю, не любитель я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствоваали – мне-то что? И ведь люди часто про других думают: у них дом – полная чаша, а поглядишь – хоть шаром покати. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа бога наговаривали.

– Господи Иисусе! – воскликнул Дон Кихот. – Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся наконец воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие.

– Сеньор! – возразил Санчо. – А это тоже мудрое рыцарское правило – плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довершить начатое, – я понимаю не рассказ, а голову вашей милости и мои бока, – и войну с нами он доведет до полной победы?

– Говорят тебе, Санчо, замолчи! – сказал Дон Кихот. – Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство.

– А что, этот подвиг очень опасен? – осведомился Санчо Панса.

– Нет, – отвечал Рыцарь Печального Образа. – Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.

– От моего рвения? – переспросил Санчо.

– Да, – сказал Дон Кихот, – ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен

тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился: не *одним* из, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнился, – это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпленные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездой, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотой избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков<sup>1</sup>, обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор.

– А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? – осведомился Санчо.

– Разве я тебе не говорил, – отвечал Дон Кихот, – что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я обезумел и впал в отчаяние и неистовство, дабы одновременно походить и на храброго Роланда, который, обнаружив возле источника следы Анджелики Прекрасной и догадавшись, что она творила блуд с Медором<sup>2</sup>, сошел с ума от горя, – с корнем вырывал деревья, мутил воду прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных на вечные времена быть занесенными на скрижали истории? Разумеется, я не собираюсь во всем подражать Роланду, или Орландо, или Ротоландо, – его называют и так и этак, – перенимать все его безумные выходки, речи и мысли, я лишь возможно точнее воспроизведу то, что представляется мне наиболее существенным. И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амадису, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе такую славу, какую никто еще себя не покрывал.

– Сдается мне, – сказал Санчо, – что вытворять все это рыцарей заставляла необходимость, что у них была причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума? Что, вас отвергла дама, что ли, или вы нашли следы и установили, что сеньора Дульсинея Тобосская резвилась с каким-нибудь мавром или христианином?

– В этом-то вся соль и есть, – отвечал Дон Кихот, – в этом-то и заключается

---

1 *Андриаки* – чудовища в виде полулюдей-полузверей, фигурирующие в романе «Амадис Галльский».

2 *Медор* – персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помещаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, когда меня до этого доведут! Притом у меня есть достаточное к тому основание, – я имею в виду долгую разлуку с навеки поработившею меня Дульсиной Тобосской, а ты слышал, что сказал пастух Амбросьо: в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсине. Отдаст она должное моей верности – тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь ты на моих глазах подобрал его, после того как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепкого он закала.

Санчо ему на это ответил так:

– Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Образа, с вашей милостью всякое терпение потерять можно, – такие вещи вы иной раз говорите, – ведь я начинаю догадываться, что все, что вы мне толковали про рыцарство, про завоевание королевств и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, что все это, видать, рассказы и враки, что все это анихея, или ахинея, – не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, что ваша милость таз для бритвы именуется шлемом Мамбрина и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это утверждает и отстаивает, верно, рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый, однако дома я его почию и приспособлю для бритвы, если только, господь даст, я когда-нибудь увижусь с женой и детьми.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – клянусь тебе тою же самою клятвою, которою только что клялся ты, что ни у кого из покойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников, – вот они-то и видоизменяют и подменивают их и возвращают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, намерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представляется тазом для бритвы, мне представляется шлемом Мамбрина, а другому – чем-нибудь еще. И это было необычайно предусмотрительно со стороны покровительствующего мне чародея – сделать так, чтобы самый настоящий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали за таз: ведь это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился бы, а как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются у меня его отнять, в чем мы могли убедиться на примере того человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не расстался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен, – напротив того, мне надлежит снять все доспехи и остаться в таком виде, в каком я появился на свет, если только я надумаю следовать в своем покаянии не столько Амадису, сколько Роланду.

Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве высокой горы, которая, почти как отвесная скала, одиноко стояла среди многих других, ее окружавших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший ее луг был до того зелен и травянист, что глаз невольно на нем отдыхал. Множество деревьев, растения и цветы сообщали этому уголку

особую прелесть. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего покаяния, – при виде ее он, точно помешанный, громким голосом заговорил:

– Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, чтобы выплакать посланное мне тобою несчастье. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от всечасных моих и глубоких вздохов не престанет колыхаться листва горного леса – в знак и свидетельство того, как истерзанное мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям несчастного любовника, которого долговременная разлука и ревнивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы, являющей собою верх и предел земной красоты! О напеи и дриады, имеющие обыкновение селиться в лесистых горах! Да не возмущают сладостный ваш покой быстроногие и похотливые сатиры, в вас – безнадежно, впрочем, – влюбленные, вы же восплачьте вместе со мною над горестным моим уделом или, по крайней мере, неустанно внимайте моему плачу. О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей! Да наградит тебя небо судьбою счастливою и да пошлет оно тебе все, что ты у него ни попросишь, ты же, молю, помысли о том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! О стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества! Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что присутствие мое вам не досаждают! О ты, мой оруженосец, милый мой спутник, делящий со мною удачи и невзгоды! Запомни все, что я сейчас совершу, запомни, дабы рассказать и доложить о том единственной виновнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив с Росинанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал:

– Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь, чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обойден ты судьбой! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоём написано, что ни Астольфову Гиппогрифу<sup>1</sup>, ни знаменитому Фронтину<sup>2</sup>, который так дорого обошелся Брадаманте<sup>3</sup>, в резвости с тобой не сравняться.

Тут его прервал Санчо:

– Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда расседлывать серого, а то бы я его тоже похлопал и, можете быть уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если б он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать, потому не для чего: повадки влюбленных и удрученных ему не указ, – ведь не они его хозяева, его хозяином когда-то, в незабвенные времена, был я. И сказать по совести, сеньор Рыцарь Печального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей милости – все это взаправду, не мешало бы снова оседлать Росинанта: он заменил бы серого, и это мне и туда и обратно сократило бы время, а то если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда прибуду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, собственно говоря, неважный.

– Вот что я тебе сказку, Санчо, – объявил Дон Кихот, – пусть будет по-твоему, мысль твоя представляется мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей.

– Да ведь я такого навиделся, что после этого что ж мне еще остается увидеть? – возразил Санчо.

– Подумаешь, какой бывалый! – заметил Дон Кихот. – Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее привести тебя в изумление.

– Ради самого Христа, – сказал Санчо, – смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта

---

<sup>1</sup> *Гиппогриф* – сказочное животное, наполовину конь, наполовину гриф.

<sup>2</sup> *Фронтин* – крылатый конь Руджера.

<sup>3</sup> *Астольф, Брадаманта* – персонажи поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»: Астольф – рыцарь, Брадаманта – сестра Ринальда и возлюбленная рыцаря Руджера.

возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовался, – благо все это одно притворство, шутка и подделка, – удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о воду или же обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бумаги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпоже, что вы бились головой о вершину скалы тверже алмаза.

– Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – однако ж надобно тебе знать, что все это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, иначе я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие ложь к ереси, а ведь делать одно вместо другого – значит лгать. Следственно, задуманное мной битье головою о скалы – это будет битье с подлинным верное, без всякой примеси чего-либо ложного или показного. И ты непременно оставь мне немного корпии для лечения, если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, который мы потеряли.

– Хуже всего, что мы потеряли осла, – отозвался Санчо, – потому вместе с ним пропала корпия и все остальное. Но только умоляю вас, ваша милость, забудьте вы про этот окаянный напиток, – при одном упоминании о нем у меня не то что вся душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас: представьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне для того, чтобы я нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я уже видел их, что все это, как говорится, решено и подписано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так вот пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне до смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вызволить вас из этого чистилища, в котором я вас оставляю.

– Ты называешь это чистилищем, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Правильнее было бы сравнить это с адом или же еще с чем-нибудь похуже, если только есть на свете что-нибудь хуже ада.

– Кто попал в ад, то уж *nulla es retencio*<sup>1</sup>, – заметил Санчо.

– Я не понимаю, что значит *retencio*, – сказал Дон Кихот.

– *Retencio* – это когда кто-нибудь никак не может вырваться из ада, – пояснил Санчо. – А с вашей милостью выйдет совсем даже наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, которые нужны мне будут для того, чтобы при помощи шпор воодушевлять Росинанта. Словом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дульсинее, и столько ей наговорю про то, как вы делали и продолжаете делать глупости и безумствуете, – а ведь это одно и то же, – что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого она была тверже дуба, и с ее неясным и медоточивым ответным посланием я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но таковым, однако же, не является, ибо есть надежда отсюда выбраться, каковой надежды выбраться, как я уже сказал, лишены те, которые в аду, с чем ваша милость вряд ли станет спорить.

– Твоя правда, – согласился Рыцарь Печального Образа. – Как бы это нам, однако ж, написать письмо?

– А приказ насчет ослят? – напомнил Санчо.

– Все будет сделано, – сказал Дон Кихот, – но раз что у нас нет бумаги, то не худо было бы по примеру древних написать письмо на листьях дерева или же на воощаных табличках, хотя, впрочем, найти здесь воощаную табличку так же трудно, как и бумагу. Ну да я уже придумал, на чем писать, и это будет более чем прилично: я имею в виду записную книжку, ранее принадлежавшую Карденьо, а ты уж позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое встретится на твоём пути, тебе переписал письмо на хорошей бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой там имеется, а не то так пономарь, только не давай писарям, – их росчерки да закорючки сам черт не разберет.

– А как же быть с подписью? – осведомился Санчо.

– Амадис никогда не ставил своей подписи, – отвечал Дон Кихот.

– Хорошо, – сказал Санчо, – но только скрепить приказ подписью необходимо, потому как если он будет переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без ослят.

---

<sup>1</sup> Искаженное «*nulla est retentio*» (лат.) – «никак не удержишься», которое Санчо употребляет вместо «*in inferno nulla est redemptio*» – «от ада нет избавления».



– Приказ будет в той же самой книжке за моей подписью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа*. А что кто-нибудь подпишет за меня, то это несущественно: сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего письма, ибо и мое и ее чувство всегда было платоническим и далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее больше, нежели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И притом весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не обратила, что я на нее смотрю, – столь добродетельною и стыдливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и мать, Альдонса Ногалес.

– Те-те-те! – воскликнул Санчо. – Стало быть, дочь Лоренсо Корчуэло, – иначе говоря, Альдонса Лоренсо, – и есть сеньора Дульсинея Тобосская?

– Она самая, – подтвердил Дон Кихот, – и она же достойна быть владычицею всей вселенной.

– Да я ее прекрасно знаю, – молвил Санчо, – и могу сказать, что барру<sup>1</sup> она мечет не хуже самого здоровенного парня из всего нашего села. Девка ой-ой-ой, с ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за каменной стеной. А уж глотка, мать честная, а уж голосина! Взобралась она как-то, извольте ли видеть, на колокольню нашей церкви и давай скликать отцовских батраков, и хотя они работали в поле, больше чем за полмили от села, а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой колокольной стояли. А главное, она совсем не кривляка – вот что дорого, готова к любым услугам, со всеми посмеется и из всего устроит веселье и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, что вы поступили как должно, хотя бы вас потом утащил к себе дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здорово изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей поры я находился в полном неведении, я искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибудь принцесса, вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, которые ваша милость ей посылала – то в виде, например, бискайца, то в виде каторжников, и еще много кой-чего вы ей, наверно, послали, потому, наверно, много побед ваша милость одерживала и одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, которых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен или же молотить на гумне, и вот тут-то при виде ее как бы им не смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще и обидится.

– Я тебе и прежде много раз говорил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты тупоумен, а все же вечно пытаешься острить, но дабы ты уразумел, сколь ты глуп и сколь я умен, я хочу тебе рассказать одну небольшую историйку. Надобно тебе знать, что одна прелестная, молодая, свободная, богатая и, самое главное, веселая вдовушка влюбилась в молодого послушника, крепыша и ражего детину. Дошло это до ее духовника, и он сделал доброй вдове нечто вроде отеческого внушения: «Меня крайне удивляет, сеньора, что такая знатная, такая прелестная и такая богатая особа, как вы, ваша милость, полюбила человека столь низкого происхождения, такого мужлана и такого

---

<sup>1</sup> *Барра* – игра, заключающаяся в том, чтобы возможно дальше бросить железный прут.

остолопа, как этот самый имярек, а между тем в нашей обители столько магистров и докторов богословия, и вы можете выбирать их по своему вкусу, точно груши, да еще и приговаривать: „Этого хочу, того не хочу“. На это она весьма игриво и непринужденно ответила: „Вы жестоко ошибаетесь, государь мой, и, как видно, ваша милость – человек уж чересчур старинных понятий, коли полагаете, что я сделала неудачный выбор, хотя имярек, по-вашему, и смахивает на дурачка, – ведь в том, что мне от него надобно, он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет“. Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульсинеи Тобосской, она не уступит благороднейшей принцессе в мире. Да ведь и не все дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по своему хотению, существуют в действительности. Неужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды<sup>1</sup>, коими полны романы, песни, цирюльни, театры, что все они и правда живые существа, возлюбленные тех, которые их славили и славят поныне? Разумеется, что нет, большинство из них выдумали поэты, чтобы было о ком писать стихи и чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до ее рода мне мало нужды, – ведь ей в орден не вступать, значит, и незачем о том справляться, словом, в моем представлении это благороднейшая принцесса в мире. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще не знаешь, что более, чем кто-либо, возбуждают любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе имя, а Дульсинея имеет право гордиться и тем и другим: в красоте она не имеет соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко говоря, я полагаю, что все сказанное мною сейчас – это сущая правда и что тут нельзя прибавить или убавить ни единого слова, и воображению моему она представляется так, как я того хочу: и в рассуждении красоты, и в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее не поднимется Лукреция<sup>2</sup> и никакая другая из славных женщин протекших столетий – равной ей не сыщешь ни у греков, ни у латинян, ни у варваров. А люди пусть говорят, что угодно, ибо если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня обелят.

– Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша милость, а я осел, – сказал Санчо. – Вот только я не знаю, зачем у меня с языка сорвалось слово «осел», – ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо оставаться, я отправляюсь в путь.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, углубился в составление письма, потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать письмо вслух, дабы он выучил его наизусть на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

– Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, здесь же, в книжке, и дайте мне, а я доставлю его в целостности и сохранности, но чтобы я затвердил его на память – это пустые бредни: у меня такая плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зовут. Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость, – смерть хочется послушать, – уж верно, из него, как все равно из песни, слова не выкинешь.

– Так вот о чем тут идет речь, – сказал Дон Кихот.

«Всемогущая и бесстрастная сеньора!

Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, желает тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего он сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, если твои добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усугубляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако сей муки мне уже не вынести, зане она мало того что сильна, а еще и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опишет тебе, о неблагодарная красавица,

---

<sup>1</sup> *Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды* – имена героинь популярных пасторальных романов.

<sup>2</sup> *Лукреция* – римлянка, происходившая из знатного рода Тарквиниев; прославилась своим мужеством и целомудрием.

возлюбленная врагиня моя, то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за благо прийти мне на помощь – я твой, если нет, поступай, как тебе заблагорассудится, – я же, покончив счеты с жизнью, тем самым уголю и твою жестокость, и свою страсть.

Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».

– Даю голову на отсечение, – послушав, сказал Санчо Панса, – что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не слышал. Ах ты, будь я неладен, и как это вы, ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как это все ловко подогнано к подписи *Рыцарь Печального Образа!* Ей-ей, ваша милость, вы дьявол, а не человек, – нет ничего такого, чего бы вы не знали.

– Все может пригодиться для того дела, коему я служу, – заметил Дон Кихот.

– Ну, а теперь, ваша милость, – сказал Санчо, – черкните на обороте записочку насчет ослят и подпишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку.

– С удовольствием, – молвил Дон Кихот.

Он написал записку, а затем прочитал вслух от слова до слова:

«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю сего первого ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначенных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех других, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки должны считаться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены двадцать второго августа сего года».

– Отлично, – сказал Санчо. – Подпишитесь, ваша милость.

– Подписываться не обязательно, – возразил Дон Кихот, – требуется только мой росчерк, – ведь это все равно что подпись, и этого не то что для трех, а для целых трехсот ослов будет довольно.

– Я вам верю, ваша милость, – сказал Санчо. – А теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в дорогу и на ваши дикие выходки глядеть не стану, – я их столько, скажу, видел, что уж больше не вмоготу.

– Во всяком случае, мне угодно, Санчо, – ибо так нужно, – мне угодно, говорю я, чтобы ты посмотрел, как я в голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать, – впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими глазами, ты можешь, положи руку на сердце, поклясться, что видел и другие мои выходки, какие тебе вздумается присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни описал, а все-таки у меня их будет больше.

– Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при мне, а то мне станет очень жаль вашу милость, и я непременно расплачусь. А вчера я так плакал по своему сером, что у меня и сейчас еще голова трещит, и я не расположен затевать новый плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и притом как попало. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже сказал, желательнее ускорить мое возвращение, каковое долженствует быть с вестями, коих ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего берегитесь, сеньора Дульсинея! Если она не ответит, как подобает, то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками и тумаками выколочу у нее из нутра благоприятный ответ. Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой славный странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, лишился рассудка неизвестно из-за чего, из-за какой-то... Пусть лучше эта сеньора не заставляет меня договаривать, иначе, вот как бог свят, я ее выведу на чистую воду, а там будь что будет. Я ведь на этот счет мастер! Плохо она еще меня знает! Коли бы знала, так, ей-же-ей, относилась бы ко мне с почтением.

– Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не намного здоровее, чем у меня, – заметил Дон Кихот.

– Я не такой безумный, – возразил Санчо, – я только более вспыльчивый. Но оставим этот разговор, – скажите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения? Уж не думаете ли вы по почину Карденьо выходить на дорогу и грабить пастухов?

– Об этом ты не беспокойся, – сказал Дон Кихот, – если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами и плодами, коими сии деревья и луг меня наделят, – необычность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие тому подобные лишения. Ну, с богом!

– А знаете, ваша милость, чего я опасуюсь? Что не попаду я опять на то же самое место, – уж больно здесь глухо.

– Запоминай окрестные предметы, – сказал Дон Кихот, – а я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь ли ты обратно. Кроме того (и это будет самое правильное), чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе нарезать дроку – его здесь гибель – и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока не выедешь на ровное место, и по этим вехам и приметам, словно по Тезеевой нити в лабиринте<sup>1</sup>, ты и отыщешь меня на возвратном пути.

– Так я и сделаю, – сказал Санчо Панса.

Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благословения, с ним попрощался, – при этом и тот и другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на Росинанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени по совету своего господина бросая ветки дрока. И как ни приставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел, по крайней мере, хоть на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, не отъехав и на сто шагов, он все же вернулся и объявил:

– Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваши безумства, не худо было бы поглядеть хоть на какое-нибудь из них, – впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное с вашей стороны безумие.

– А что я тебе говорил? – сказал Дон Кихот. – Погоди, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю.

Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, оставшись в одной сорочке, нимало не медля дважды перекувырнулся в воздухе – вниз головой и вверх пятами, выставив при этом напоказ такие вещи, что Санчо, дабы не улицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, дернул поводья. И тут мы с ним и расстанемся впредь до его возвращения, каковое последует весьма скоро.

## Глава XXVI,

*в коей речь идет о новых странных поступках, которые Дон Кихот в качестве влюбленного почел за нужное совершить в Сьерре Морене*

Обращаясь же к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, оставшись один, история гласит, что как скоро Дон Кихот, от пояса до пят нагой и от пояса до головы одетый, покончил с прыжками и кувырканиями, то, видя, что Санчо, не пожелав долее задерживаться ради его сумасбродств, уже отбыл, он тотчас взобрался на вершину высокой горы и стал думать о том, о чем думал много раз, хотя пока еще ни к какому твердому решению не пришел, а именно, что лучше и что целесообразнее: подражать буйному помешательству

---

<sup>1</sup> *Тезеева нить в лабиринте* – намек на миф о Тезее, который выбрался из запутанных ходов критского лабиринта, благодаря нити, полученной от Ариадны.

Роланда или же меланхолическому – Амадиса; и, сам с собой рассуждая, он говорил:

– Общее мнение таково, что Роланд был славным и храбрым рыцарем, но что же в том удивительного? Как-никак, он был очарован, и умертвить его можно было, лишь всадив ему в пятку булавку, а он постоянно носил сапоги с семью железными подметками. Впрочем, хитрости эти его не спасли – Бернардо дель Карпьо их разгадал и задушил его в своих объятиях в Ронсевале. Однако довольно об его храбрости, перейдем к тому, как он потерял рассудок, – а он, бесспорно, его потерял после того, как обнаружил следы возле источника, и после того, как пастух ему сообщил, что Анджелика раза два, если не больше, спала в часы полдневного зноя с Медором, курчавым мавритенком, пажом Аграманта<sup>1</sup>. И коль скоро он поверил этому сообщению, а именно тому, что возлюбленная покрыла его позором, то сойти с ума ему ничего не стоило, но как же я-то буду подражать его безумствам, когда у меня отсутствует подобного рода повод? Ведь я готов поклясться, что моей Дульсинее Тобосской ни разу не попадался на глаза живой мавр, в его настоящем виде, и что она и поныне остается такою же непорочною девою, как и ее родительница. И я нанес бы ей явное оскорбление, когда бы, заподозрив ее в обратном, избрал тот вид умственного расстройства, каким страдал неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и без всяких безумств, стяжал себе беспримерную славу одною лишь силою своего чувства: согласно истории, он ограничился тем, что, когда Ориана пренебрегла им и велела не показываться ей на глаза, пока не последует на то ее соизволение, удалился вместе с одним отшельником на Бедную Стремнину, и там он исходил слезами и горячо молился богу, пока наконец небо над ним не сжалилось – в то самое мгновение, когда он особенно сокрушался и горевал. А если так, то к чему мне ныне брать на себя труд раздеваться догола, докучать деревьям, которые мне ничего дурного не сделали, и возмущать прозрачную воду ручьев, которые в случае нужды меня напоят? Да живет память об Амадисе и да последует его примеру, в чем только может, Дон Кихот Ламанчский, о котором будут говорить то же, что было сказано о ком-то еще: *Он подвигов не совершил, но он погиб, идя на подвиг*. И пусть Дульсинея Тобоская не отринула меня и не пренебрегла мною – повторяю, довольно и того, что я с ней разлучен. Итак, за дело! Придите мне на память, деяния Амадиса, и научите меня, с чего надлежит начать подражание вам. Впрочем, я уже вспомнил, что усерднее всего прочего он молился и поручал себя богу. Да, но что же я буду делать без четок?

Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно: оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем одиннадцать узелков, из коих один – побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, которое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз прочитать «Ave Maria». Однако же он был весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому он проводил время так: гулял по лугу и без конца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а также воспевал Дульсинею. Но когда наконец Дон Кихота сыскали, то из всех его стихов, как показали дальнейшие поиски, оказались целыми и удобочитаемыми только лишь следующие:

О кусты, деревья, травы,  
Одеянье гор нагих,  
Ледяных вершин оправа!  
Пусть напеву с уст моих  
Вторит хор ваш величавый,  
Чтобы горестная весть –  
В мире нет ее грустнее! –  
Разнеслась повсюду днесь:  
Дон Кихот рыдает здесь

---

<sup>1</sup> *Аграмант* – мавританский царь, один из персонажей «Неистового Роланда».

От тоски по Дульсинею  
Из Тобосо.

Здесь, страдая беспримерно  
Без владычицы своей,  
Дни влачит любовник верный,  
Коего в край дикий сей  
Бог любви, мальчишка скверный,  
Хитростью сумел завести.  
И поэтому, худея,  
Как бурдюк, где дырка есть,  
Дон Кихот рыдает здесь  
От тоски по Дульсинею  
Из Тобосо.

Бранной славы многотрудной,  
На несчастье свое,  
Возжелал он, безрассудный,  
И дерзнул искать ее  
В этой местности безлюдной.  
Тут Амур его и хлесть  
По хребту, лопаткам, шее.  
И, плетей не в силах счесть,  
Дон Кихот рыдает здесь  
От тоски по Дульсинею  
Из Тобосо.

Этому добавлению к имени Дульсинея – *из Тобосо* – немало смеялись те, кто вышеприведенные стихи обнаружил; они высказали такое предположение: Дон Кихот, мол, вероятно, решил, что если к имени Дульсинея он не присовокупит – *из Тобосо*, то смысл строфы останется неясным; и они были правы, ибо он сам впоследствии в этом признался. Много еще написал он стихов, но, как уже было сказано, полностью сохранились и могли быть разобраны только эти три строфы. Так, в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и сильванам<sup>1</sup> окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому и слезами увлажненному Эхо – в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, и проходило у него время, а также в поисках трав, коими он намерен был пробавляться до возвращения Санчо; должно заметить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три недели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой образ, что его бы не узнала родная мать.

По пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расскажем, что случилось с Санчо Пансою за время его посольства, а случилось с ним вот что: выбравшись на большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому постоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на одеяле; и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, и ему не захотелось там останавливаться, нужды нет, что подъехал он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался всухомятку.

Необходимость заставила его приблизиться к постоялому двору, хотя он все еще колебался, останавливаться ему или не останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и тотчас узнали его. И один из них сказал другому:

– Послушайте, сеньор лицензиат! Вот этот всадник – не Санчо ли это Панса, тот самый, который, по рассказам ключницы нашего искателя приключений, отправился вместе

---

<sup>1</sup> Фавны, сильваны (миф.) – божества полей и лесов.

со своим господином в качестве его оруженосца?

– Так, это он, – отвечал лицензиат, – и едет он на коне нашего Дон Кихота.

Они потому сразу узнали его, что то были его односельчане – священник и цирюльник, те самые, которые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный приговор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, снедаемые желанием расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, назвав его по имени, молвил:

– Друг Санчо Панса! Где твой господин?

Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то место и то состояние, в котором его господин находился, а потому ответил, что господин его где-то занят чрезвычайно важным делом, а каким именно – этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть не может.

– Нет, нет, Санчо Панса, – возразил цирюльник, – если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем, – да уже и начинаем думать, – что ты убил его и ограбил, раз что едешь на его коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе задам.

– Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого-нибудь грабить и убивать, пусть их убивает судьба или же создатель. Мой господин в свое удовольствие кается сейчас в горах.

И тут Санчо единым духом все и выпалил и рассказал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихота, какие были у его господина приключения и как он, Санчо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Лоренсо Корчуэло, в которую его господин влюбился по уши. Подивились священник и цирюльник тому, что слышали из уст Санчо Пансы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Кихот свихнулся и каким именно видом умственного расстройства он страдал, однако это не мешало им всякий раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, которое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Тот сказал, что послание написано на одном из листков в памятной книжке и что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селении; священник, однако ж, попросил показать письмо – он, дескать, отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да если б он искал ее даже до сего дня, то все равно не нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота и тот забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить.

Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как смерть и, вновь принявшись весьма поспешно себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что книжки нет, и, мигом запустив обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него потекла кровь. Увидевши это, священник и цирюльник спросили, что с ним случилось и за что он так на себя напустился.

– Что со мной случилось? – воскликнул Санчо. – А то, что в одно, как это говорится, *мановение*, я ахнуть не успел, – у меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого замка.

– Как так? – спросил цирюльник.

– Я потерял записную книжку, – пояснил Санчо, – с письмом к Дульсинее Тобосской и с приказом за подписью моего господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении.

И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник принялся утешать его и сказал, что, когда он разыщет своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на большом листе бумаги, согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, написанный на листке из записной книжки, никто не примет и не оплатит.

Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более что он знает письмо почти наизусть и с его слов они могут записать его, когда и где им заблагорассудится.

– Говори же, Санчо, – сказал цирюльник, – а мы будем записывать.

Сияясь припомнить содержание письма, Санчо Панса почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце и, изрядное количество времени продержав в неведении священника и цирюльника, ожидавших, что он

скажет, наконец объявил:

– Ей-богу, сеньор лицензиат, видно, черти утащили все что осталось у меня в памяти от этого письма. Впрочем, начиналось оно так: «Всемогущая и безотказная сеньора».

– Да не *безотказная*, – поправил цирюльник, – а вернее всего: «бесстрастная» или же «всевластная сеньора».

– Вот-вот, – сказал Санчо. – А дальше, если только память мне не изменяет, было так... если только мне не изменяет память: «Язвительный, и бессонный, и раненый целует вашей милости руки, неблагодарная и никому не известная красавица», и что-то еще насчет здоровья и болезни, коих он ей желает, – одним словом, много всего было подпущено, а кончалось так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа».

Немало потешила обоих путников отличная память Санчо Пансы, и они выразили ему свое восхищение и попросили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза прочитал письмо и наговорил невесть сколько всякой чепухи. Засим он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако ж, о том, как его самого подбрасывали на этом постоялом дворе, куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он сказал, что его господин в предвидении благоприятного ответа от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на императорский или, по крайности, на королевский престол, что так-де между ними условлено и что это – дело нехитрое, ежели принять в рассуждение храбрость Дон Кихота и мощь его длани; и что как скоро это сбудется, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает ему наперсницу императрицы, наследницу огромного и богатого имения, но только на материке, без всяких этих островов и чертостровов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санчо проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая нос и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота, если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. Однако ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: на душе, мол, у него будет спокойнее, если он останется при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он городит чушь. А потому они сказали, чтобы он молился богу о здравии своего господина, ибо со временем стать, как он говорит, императором, или, по малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой-либо другой высокий сан – это вещь возможная и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это сказал:

– Сеньоры! А что, если судьба повернет дело так, что моему господину вспадет на ум стать не императором, а архиепископом? Так вот я бы хотел знать заранее: чем обыкновенно награждают своих оруженосцев странствующие архиепископы?

– Обычная награда, – отвечал священник, – это приход с отправлением обязанностей духовника или же без одного, или назначают их причетниками, а причетники получают хорошее жалованье, не считая столь же крупных побочных доходов.

– Но для этого необходимо, – возразил Санчо, – чтобы оруженосец не был женат и чтобы он, по крайности, умел прислуживать в церкви. А коли так, то все пропало, потому, перво-наперво, я женат, а во-вторых, не учен грамоте! И что только со мной будет, коли моему господину придет охота стать архиепископом, а не императором, как это принято и как это водится у странствующих рыцарей?

– Не беспокойся, друг Санчо, – заговорил цирюльник, – мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, скажем, что он поступит по совести, коли станет императором, а не архиепископом, да это ему и легче, оттого что он более храбр, нежели образован.

– Мне тоже так кажется, – заметил Санчо, – хотя должен вам сказать, что он на все руки мастер. Я же буду молить бога направить моего господина в такую сторону, где бы он и самому себе угодил, и меня осчастливил.

– Ты рассуждаешь, как человек здравомыслящий, – сказал священник, – и намерен поступить, как истинный христианин. Но сейчас надлежит обсудить, как нам избавить твоего господина от этого бессмысленного покаяния, о котором ты нам рассказал. И дабы обдумать, как это осуществить, и дабы подкрепиться, – ведь уже время, – не худо было бы зайти на



постоялый двор.

Санчо сказал, что пусть, мол, они зайдут, а он подождет здесь, – потом, дескать, он им объяснит, отчего он не зашел и отчего не след ему туда заходить, – но что он просит вынести ему чего-нибудь горячего, а Росинанту – овса. Они ушли, он остался, а немного погодя цирюльник вынес ему поесть. После этого священник с цирюльником долго еще размышляли, как им достигнуть желаемого, и наконец священник пришел к мысли совершенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавшей их намерениям, а именно – он сказал цирюльнику, что измыслил он вот что: он, дескать, переоденется странствующею девицею, а цирюльник приложит все старания, чтобы как можно лучше вырядиться ее слугою, и в таком виде они отправятся к Дон Кихоту, и он, священник, прикинувшись обиженною и беззащитною девицею, попросит его об одном одолжении, в котором тот, как подобает доблестному странствующему рыцарю, разумеется, ему не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон Кихот последовал за девицею и отметил за оскорбление, неким злым рыцарем ей нанесенное; кроме того, девица попросит у него дозволения не снимать маски, ниже отвечать ему, коль скоро он станет о чем-либо ее вопрошать, покуда он над тем злым рыцарем должной расправы не учинит. В заключение же священник выразил твердую уверенность, что Дон Кихот при таких условиях пойдет на все и что таким образом они вызволят его оттуда и доставят в село, а там уж они попытаются сыскать средство от столь необычайного помешательства.

## Глава XXVII

*О том, как священник и цирюльник справились со своею задачей, а равно и о других вещах, достойных упоминания на страницах великой этой истории*

Цирюльник не только не отверг замысел священника, но, напротив, вполне одобрил, и они тот же час привели его в исполнение. У хозяина постоялого двора они раздобыли женское платье и головной убор, а в залог оставили новенькую сутану священника. Цирюльник сделал себе длинную бороду из бычачьего хвоста, не то бурого, не то рыжего, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, зачем понадобились им эти вещи. Священник, вкратце рассказав ей о сумасшествии Дон Кихота и сообщив, что в настоящее время он находится в горах, пояснил, что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы вызволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, что сумасшедший – это их бывший постоялец, изобретатель бальзама, господин того самого оруженосца, который летал тут у них на одеяле, и рассказали священнику обо всем, что с ним произошло у них на постоялом дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Санчо. Наконец хозяйка нарядила священника так, что лучше и желать было нельзя: надела на него суконную юбку, на которой были нашиты полосы черного бархата шириною в ладонь, все до единой с прорезами, и отделанный белым атласом корсаж из зеленого бархата, – так же, как и юбка, времен короля Вамбы<sup>1</sup>. Однако вместо женского головного убора священник пожелал надеть свой полотняный стеганый ночной колпак, лоб он повязал лоскутом черной тафты, а из другого лоскута сделал маску, и она отличнейшим образом закрыла ему и лицо и бороду. Сверху он нахлобучил шляпу, такую огромную, что она могла бы заменить зонт, и, надев накидку, на дамский манер сел верхом на мула, меж тем как на другого мула сел цирюльник с длинною, до пояса, бородою, наполовину белою, наполовину рыжею, ибо сделана она была, как известно, из грязного бычачьего хвоста.

Они попрощались со всеми, в том числе и с доброю Мариторнес, которая им сказала, что хоть она и грешница, а все же дает обещание помолиться, чтобы господь послал им удачу в этом представляющем такие трудности и истинно христианском начинании. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как вдруг священнику вспало на ум, что он

---

<sup>1</sup> ...времен короля Вамбы... – то есть в незапамятные времена; соответствует русскому: во времена царя Гороха. Вамба – готский король (672–680).

поступил дурно, вырядившись таким образом, ибо неприлично священнослужителю так наряжаться, хотя бы и для благой цели; и, поделившись своими соображениями с цирюльником, он предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, дескать, будет, если цирюльник изобразит беззащитную девицу, а он – ее слугу: при этом условии он-де не так осквернит свой сан: буде же цирюльник на это не согласится, то он дальше не поедет, хотя бы Дон Кихота утащил к себе черт. В это время к ним приблизился Санчо и, поглядев на их наряд, не мог удержаться от смеха. Цирюльник между тем дал священнику полное согласие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, как он должен себя вести и что он должен сказать Дон Кихоту, чтобы побудить и заставить его последовать за ним и покинуть трущобу, которую тот избрал местом бесплодного своего покаяния. Цирюльник на это возразил, что он и без наставлений в лучшем виде обделает дело. Решившись не переодеваться, пока они не подъедут к тому ущелью, где Дон Кихот находился, он уложил свой наряд, а священник приладил бороду, и, предводительствуемые Санчо Пансою, они продолжали свой путь; Санчо рассказал про случай с помешанным, которого он и его господин повстречали в горах, однако ж про чемодан и его содержимое умолчал, ибо хоть и простоват был наш молодец, а на деньги падок.

На другой день увидели они ветки, которые разбросал Санчо, чтобы по этой примете определить место, где он оставил своего господина; узнав же местность, он объявил, что здесь начинаются ущелья и что пора им переодеваться, если только это и правда необходимо для спасения сеньора Дон Кихота; должно заметить, что они уже объяснили Санчо, сколь это важно – предстать пред Дон Кихотом в подобном наряде и что только так и можно принудить его сменить этот ужасный образ жизни на иной, и строго-настрога наказали не говорить ему, кто они такие и что он их знает; если же он спросит – а он-де непременно спросит, – вручил ли Санчо письмо Дульсинее, то сказать, что вручил, но как она грамоте не знает, то и ответила ему на словах и велела под страхом навлечь на себя ее гнев в ту же секунду по крайне важному делу явиться к ней; к этому они еще кое-что прибавят от себя и таким образом, без сомнения, выведут его туда, где его ждет лучшая доля, и с их помощью он немедленно двинется по пути если не к императорскому, то уж, во всяком случае, к королевскому престолу, – архиепископства же, дескать, бояться нечего. Санчо все это выслушал, хорошенько запомнил и поблагодарил их за намерение посоветовать его господину стать императором, а не архиепископом, ибо он был глубоко убежден, что император скорей может чем-либо пожаловать своего оруженосца, нежели странствующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, если он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его повелительницы, – может, этого окажется достаточно для того, чтобы извлечь его оттуда, и им незачем будет так себя утруждать. Мысль Санчо показалась им правильной, и они решились подождать, пока он возвратится с вестями о своем господине.

Санчо скрылся в одной из расселин, они же остались в другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и манящей тени скал и там и сям росших дерев. Знойный день, – надобно заметить, что дело происходило в августе, когда здесь стоят сильные жары, – час, – а именно три часа пополудни, – все это делало открывшийся их взору уголок еще более привлекательным и усиливало соблазн дожидаться здесь возвращения Санчо, и они на это склонились. И вот когда путники отдыхали в тени, их слуха достигнул голос, который, не будучи сопровождаем звуками какого-либо инструмента, приятно и сладко звучал, чему они немало подивились, ибо в их представлении это было совсем не такое место, где бы мог оказаться столь искусный певец. Хоть и принято думать, что в рощах и лугах обретаются пастухи-сладкопевцы, но ведь это скорее поэтический вымысел, нежели правда. Каково, однако же, было их удивление, когда они удостоверились, что поют стихи, да такие, что не простому пастуху под стать, но просвещенному столичному жителю! И они не ошиблись, ибо вот что это были за стихи:

Что питает в милой твердость?  
Гордость.

Что сулит мне повседневность?  
Ревность.  
Что лишит меня терпенья?  
Презрение.  
Значит, верить в исцеленье  
Мне расчета больше нету;  
Надломили веру эту  
Гордость, ревность и презрение.

Кто таит в себе опасность?  
Страстность.  
Кто виновен, что я мучусь?  
Участь.  
Кто судил, чтоб так и было?  
Светила.  
Значит, мне грозит могила  
И лекарства бесполезны:  
Ведь меня толкают в бездну  
Страстность, участь и светила.

Что лишь множит мук безмерность?  
Верность.  
Что презреть мне надо б разом?  
Разум.  
Что в себе клянусь все вновь я?  
Здоровье.  
Значит, доведен любовью  
Я до гибели телесной,  
Ибо с чувством несовместны  
Верность, разум и здоровье.

Время дня, время года, безлюдье, голос и искусство певца – все преисполняло обоих путников восторга и неги, и они не двигались, ожидая, что вот сейчас снова послышится пение; но безмолвие все еще длилось, а потому они положили отправиться на поиски человека, обладавшего таким прекрасным голосом. И только было начали они приводить замысел свой в исполнение, как тот же голос, приковав их к месту, раздался вновь и пропел вот этот сонет:

Святая дружба! Ты глазам людей  
На миг свой образ истинный открыла  
И вознеслась, светла и легкокрыла,  
К блаженным душам в горний эмпирей,

Откуда путь из тьмы юдоли сей  
В мир, где бы ложь над правдой не царила  
И зла добро невольно не творило,  
Указываешь нам рукой своей.

Сойди с небес иль воспрети обману  
Твой облик принимать и разжигать  
Раздоры на земле многострадальной.

Не то наступит день, когда неожиданно  
Она вернется к дикости опять  
И погрузится в хаос изначальный.

Пение завершилось глубоким вздохом, и оба путника вновь напрягли слух в надежде, что певец споет что-нибудь еще; но как мелодия перешла в рыдания и скорбные пени, то они положили узнать, кто этот страдалец, чей голос столь же чудесен, сколь жалобны его стоны; и едва лишь они обогнули скалу, как увидели человека, коего сложение и наружность были точь-в-точь такие, как описывал Санчо Панса, когда пересказывал рассказ Карденьо; появление же их обоих человека того не поразило, – как бы погруженный в раздумье, свесив голову на грудь, он продолжал стоять неподвижно и, однажды взглянув на них, когда они внезапно пред ним предстали, больше уже не поднимал глаз. Священник был осведомлен о его беде, ибо по некоторым признакам тотчас узнал его, и теперь, будучи человеком красноречивым, он приблизился к нему и в кратких, однако ж весьма разумных речах попытался доказать ему, что должно перестать влачить жалкое это существование, иначе земное его существование прекратится вовсе, а это уже величайшее из всех несчастий. Карденьо на ту пору находился в совершенном уме, припадки буйства, так часто выводившие его из себя, на время утратили над ним свою власть, а потому незнакомцы, одеянием своим резко отличавшиеся от тех, кого ему приходилось встречать в пустынных этих местах, привели его в изумление, каковое еще возросло, когда с ним заговорили о его делах, как о чем-то уже известном, что явствовало из слов священника; и повел он с ними такую речь:

– Кто бы вы ни были, сеньоры, я вижу, что само небо, неустанно пекущееся о добрых, равно как – весьма часто – и о злых, послало мне, недостойному, в столь уединенном и далеком от человеческого жилья краю встречу с людьми, которые наглядно, приводя многообразные и разумные доводы, доказывали мне, сколь неразумно с моей стороны вести такую жизнь, и тщились направить меня на менее тесный путь. Но вам неизвестно то, что знаю я, а именно, что новая, горшая беда в сем случае неминуемо заступит место прежней, вот почему вы, верно, принимаете меня за человека слабоумного, или еще того хуже, и вовсе помешанного. И в этом не было бы ничего удивительного, ибо я сам вижу, что воображение мое, живописующее происшедшие со мною несчастья, обладает такою мощною силою и столь стремительно влечет меня к гибели, что, не в силах будучи сопротивляться, я превращаюсь в камень, я ничего уже не чувствую и не сознаю. И только тогда я начинаю понимать, что со мной было, когда мне про это напомнят другие и покажут, что я успел натворить за то время, пока мною владел этот ужасный недуг, и тут мне остается лишь скорбеть напрасно, вотще проклинать свой жребий и в оправдание себе открывать всем, кто только пожелает выслушать меня, причину моих безумств, ибо люди рассудительные, узнав причину, перестанут дивиться следствиям, и если и не исцелят меня, то, по крайней мере, не осудят, и сострадание, вызванное моими горестями, заступит у них в душе место злобы на мою несдержанность. И если вы, сеньоры, явились ко мне с тою же целью, с какою ко мне являлись другие, то, прежде чем снова начать вести со мною столь разумные речи, соблаговолите выслушать отчет о бесчисленных моих злоключениях: может статься, тогда вы уже не возьмете на себя труд утешать меня в неутешном моем горе.

Обоим путникам только этого и нужно было – услышать из уст самого Карденьо, что послужило причиной его недуга, и они попросили про это им рассказать, обещав не пытаться врачевать его или же утешать, пока он сам того не пожелает, после чего печальный кавальеро начал излагать жалостную свою историю почти в тех же словах и выражениях, в каких назад тому несколько дней рассказывал он ее Дон Кихоту и козопасу, причем из-за доктора Элисабата и из-за неуклонного стремления Дон Кихота защищать честь рыцарства рассказ тогда так и остался незаконченным, как о том сообщает история. Однако теперь по счастливой случайности припадок буйства замедлил наступлением и дал возможность довести рассказ до конца; дойдя же до случая с запиской, которую дон Фернандо обнаружил

в книге об Амадисе Галльском, Карденьо объявил, что он знает ее наизусть и что заключает она в себе следующее:

Л у с и н д а – К а р д е н ь о

«Каждый день я открываю в Вас достоинства, которые обязывают и принуждают меня ценить Вас все более; а потому, если Вам угодно, чтобы я уплатила долг, не губя своей чести, то это всецело зависит от Вас. Мой отец знает Вас и горячо любит меня, и он не пойдет наперекор моему желанию, – напротив: он исполнит то желание, которое подобает испытывать и Вам. если только я Вам действительно дорога, в чем Вы мне, впрочем, сами признались и чему я не имею оснований не верить».

– Эта записка, как я уже говорил, побудила меня просить руки Лусинды, и она же привела дону Фернандо к мысли, что Лусинда – одна из самых умных и рассудительных женщин нашего времени. И эта же самая записка вызвала у него желание сокрушить меня прежде, нежели мое желание претворится в жизнь. Я сообщил дону Фернандо условие отца Лусинды; оно заключалось в том, чтобы ее руки просил для меня мой отец, а я, мол, не осмеливаюсь с ним об этом заговорить из боязни, что он на это не пойдет, – и не потому, чтобы знатность, доброта, строгие правила и красота Лусинды ставились им под сомнение: качества ее таковы, что они могли бы служить украшением любого испанского рода, – нет, он сам мне говорил, что хочет, чтобы я подождал с женитьбой, пока не выяснится, какие виды имеет на меня герцог Рикардо. Словом, я сознался дону Фернандо, что не решаюсь открыться отцу и что, помимо этого препятствия, я со страхом предвижу еще много других, хотя и не могу еще сказать, каких именно, но только у меня такое чувство, что мечте моей не сбыться вовек. На это мне дон Фернандо сказал, что переговоры с моим отцом он берет на себя и устроит так, чтобы тот переговорил с отцом Лусинды. О тщеславный Марий<sup>1</sup>, о жестокий Катилина<sup>2</sup>, о изверг Сулла<sup>3</sup>, о вероломный Геалон, о предатель Вельидо, о мстительный Хулиан<sup>4</sup>, о сребролюбивый Иуда! Предатель, изверг, мстительная и коварная душа! Чем не угодил тебе несчастный, который так простодушно поведал тебе свои тайны и радости своей души? Какое зло причинил он тебе? Дал ли он тебе хотя единый совет, сказал ли он тебе хотя единое слово, которое унизило бы твою честь и послужило тебе во вред? Но на что я, злосчастный, ропщу! Ведь это уже установлено, что когда напасти влечет за собою течение небесных светил и когда они яростно и стремительно рушатся на нас с высоты, то никакая сила на земле не властна их удержать, а изобретательность человеческая – предотвратить. Кто бы мог подумать, что дон Фернандо, знатный, рассудительный, многим обязанный мне кавалеро, который волен утолять свои любовные прихоти, кто бы ни был предметом его страсти, возжаждет отнять у меня, как говорится, одну-единственную овечку, которая к тому же еще не была моею! Но оставим эти ненужные и беспрокие размышления и вновь свяжем порванную нить слезного моего рассказа. Итак, мое присутствие мешало дону Фернандо привести в исполнение коварный и злой его умысел, а потому он решил отослать меня к своему старшему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы расплатиться за шесть коней, которых он нарочно, единственно с целью выпроводить меня (так удобнее было ему претворить в жизнь преступное свое намерение), купил в самый тот день, когда вызвался переговорить с моим отцом, и попросил меня съездить за деньгами. Мог ли я предотвратить измену? Мог ли я хоть что-нибудь заподозрить? Разумеется, что нет, – напротив того, в восторге от столь удачной покупки, я с крайним удовольствием изъявил готовность выехать немедленно. В тот же вечер я свиделся с Лусиндою, передал ей

<sup>1</sup> *Марий* – глава народной партии в Риме и главный противник Суллы, семь раз переизбирался консулом (106–86 до н.э.).

<sup>2</sup> *Катилина* – организатор заговора против сенатской олигархии, поддержанный демократическими слоями. Заговор был раскрыт Цицероном в 63 г. до н.э.

<sup>3</sup> *Сулла* – римский диктатор, боровшийся с демократической партией (138–78 до н.э.).

<sup>4</sup> *Хулиан* – по преданию, граф Хулиан, желая отомстить королю Родриго за насилие, учиненное последним над его дочерью (или женой) Кавой, призвал мавров и те покорили Испанию.

содержание нашего с доном Фернандо разговора и сказал, что она может не сомневаться, что наши честные и законные намерения увенчаются успехом. Лусинда, осведомленная о предательстве дон Фернандо не лучше, чем я, просила меня как можно скорей возвратиться, ибо она полагала, что решение нашей участи произойдет, как скоро мой отец решится вступить в переговоры с ее отцом. Не знаю, что тут с ней приключилось, только едва она произнесла эти слова, как очи ее увлажнились слезами, к горлу подкатился клубок, и она не могла выговорить ни слова, а между тем казалось, что ей так много надобно мне сказать. Странное это явление, никогда прежде за нею не замечавшееся, поразило меня, ибо время, которое нам уделяла счастливая случайность совместно с моими стараниями, мы неизменно проводили в радости и веселии, не примешивая к нашим беседам ни слез, ни вздыханий, ни ревности, ни подозрений, ни опасений. Я только и делал, что благодарил судьбу за такую возлюбленную, превозносил красоту Лусинды, восхищался душевными ее качествами и умом. Она платила мне тем же и восхваляла во мне то, что ей, как влюбленной, казалось достойным хвалы. Затем мы болтали о том о сем, о происшествиях, случившихся с нашими соседями и знакомыми, и смелость моя не простиралась дальше того, чтобы почти силою взять ее прекрасную белую руку и поднести к своим губам, хотя этому и мешали частые прутья низкой решетки, которая нас разделяла. Но накануне печального дня моего отъезда она плакала, рыдала, вздыхала и наконец удалилась, я же, устрешенный этими столь неожиданными и столь печальными знаками ее скорби и душевной муки, пребывал в смятении и тревоге. Однако ж, дабы не сокрушать моих надежд, я все приписал силе ее чувства ко мне, а также разлуке, которая любящим сердцам всегда причиняет боль. Как бы то ни было, уехал я грустный и озабоченный, полный домыслов и подозрений, и самая смутность домыслов этих и подозрений ясно указывала, что меня ожидают несчастье и горечь.



Я прибыл к месту моего назначения, вручил письмо брату дон Фернандо, был хорошо принят, но не вдруг отпущен восвояси, – к крайнему моему огорчению, мне было приказано

подождать с неделю и не показываться на глаза герцогу Рикардо, ибо дон Фернандо просил брата послать ему денег без ведома отца. И все это оказалось уловкою лживого дона Фернандо, ибо у его брата, конечно, нашлись бы деньги, чтобы отпустить меня тотчас же. Мне впору было не выполнить такое повеление и приказ, ибо мне казалось, что я но вынесу столь долговременной разлуки с Лусиндою, особливо после нашего слезного с ней расставания. Со всем тем я, как верный слуга, повиновался, хотя и предчувствовал, что за это мне придется поплатиться моим счастьем. И вот несколько дней спустя после моего приезда ко мне явился незнакомец и вручил письмо, – я же, только взглянув на адрес, тотчас догадался, что это от Лусинды: то был ее почерк. Распечатывал я его с волнением и трепетом, – я боялся, что произошло нечто весьма важное, иначе Лусинда не стала бы ко мне писать, пока я нахожусь в отлучке, ибо когда я и не отлучался, она редко ко мне писала. Прежде чем прочитать письмо, я спросил незнакомца, кто ему передал его и как долго он пробыл в пути. Он ответил, что однажды в полдень случилось ему проходить по улице нашего города, как вдруг некая прелестная сеньора окликнула его из окна и со слезами на глазах быстро проговорила:

«Добрый человек! Вы, верно, христианин? Если так, то ради всего святого, молю вас, сей же час доставьте мое письмо по указанному адресу, – имя же человека, которому я пишу, и место, где он находится, хорошо известны, – и господь наградит вас за это доброе дело, а чтобы вы не терпели никаких лишений, вот вам платочек». С последним словом она бросила мне в окно платочек, в котором было завязано сто реалов, вот это золотое кольцо, что я ношу на пальце, и то письмо, что я вам вручил. А затем, не дожидаясь ответа, отошла от окна. Все же она успела заметить, что я поднял письмо и платочек и знаками дал ей понять, что ее просьба будет исполнена. И вот, получив столь щедрое вознаграждение за труды по доставке письма и поняв по адресу, что меня посылают к вам, – а ведь я, сеньор, прекрасно вас знаю, – к тому же растроганный слезами очаровательной этой сеньоры, положил я, никому не доверяя письма, вручить вам его лично, и в течение шестнадцати часов, считая с той минуты, когда она передала мне письмо, проделал весь путь, всего же здесь будет, как вам должно быть известно, восемнадцать миль.

Жадно внимал я словам услужливого и необычного гонца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог стоять на ногах. Наконец я распечатал письмо, составленное, как я увидел, в следующих выражениях:

«Дон Фернандо дал Вам слово переговорить с Вашим отцом, чтобы тот переговорил с моим, и он его сдержал, но только это послужит скорее к его удовольствию, чем на пользу Вам. Знайте же, сеньор, что он сам просил моей руки, и отец мой, соблазнившись теми преимуществами, какие дон Фернандо, по его мнению, перед Вами имеет, с необычайною готовностью дал свое согласие, так что спустя два дня надлежит быть нашему обручению, каковое держится в строжайшей тайне и свидетелем какового будет лишь небо да кое-кто из домашних. Вообразите, в каком я сейчас состоянии; решайте, надобно ли Вам приехать; а люблю я Вас или нет – это Вам покажет развязка. Дай бог, чтобы это письмо попало в Ваши руки прежде, нежели моя принуждена будет оказаться в руке того, кто не держит своего слова».

Таково было в общих чертах содержание письма, из-за которого я, не дожидаясь ни ответа, ни денег, тот же час тронулся в путь, ибо тут мне стало совершенно ясно, что не о сделке насчет коней думал дон Фернандо, когда посылал меня к брату, но о сделке, которой он добивался из прихоти. Вспыхнувшая во мне злоба на дону Фернандо вместе с боязнью потерять сокровище, многолетнюю верностью и сердечною склонностью выслуженное, окрылила меня, и я на другой же день прилетел в наш город в тот час и мгновение, когда я обычно отправлялся на свидание с Лусиндою. Я прибыл тайно и оставил мула у того доброго человека, который привез мне письмо, судьбе же на сей раз угодно было споспешествовать мне, и я застал Лусинду у оконной решетки, свидетельницы нашей любви. Лусинда тотчас

узнала меня, а я узнал ее, да, видно, плохо еще она знала меня, а я ее. Впрочем, кто мог бы похвалиться, что постигнул и разгадал тайные мысли и изменчивый нрав женщины? Разумеется, что никто. Итак, едва завидев меня, Лусинда молвила:

«Карденьо! На мне подвенечное платье, в зале ждут меня коварный дон Фернандо, корыстолюбивый отец мой и свидетели, которые, однако, скорее окажутся свидетелями смерти моей, нежели обручения. Не тревожься же, друг мой, и постарайся присутствовать при моем бракосочетании, и если только его не расстроят мои слова, то кинжал, который я прячу у себя на груди и который сумел бы расстроить даже более грозные силы, этот кинжал, положив конец моей жизни, положит начало твоей уверенности в том, что я любила тебя и люблю».

Боясь, что не успею ответить ей, я, торопясь и волнуясь, проговорил:

«Да не разойдутся дела твои, сеньора, с твоими словами, и если ты носишь с собою кинжал, дабы доказать мне свою верность, то я ношу с собою шпагу, дабы тебя защитить или же убить себя, если судьба будет к нам немилостива».

Не думаю, чтобы она могла слышать мои слова, ибо в это самое время кто-то ей возвестил, что жених ее ожидает. И тут настала ночь печали моей, закатилось солнце моей радости, померкнул свет в очах моих, и мысли мои смешались. Я не в силах был войти в ее дом, я не мог сдвинуться с места. Но затем, поняв, что присутствие мое необходимо, ибо мало ли что там может случиться, я переломил себя и вошел. А как все ходы и выходы были мне хорошо известны, к тому же в доме тайная шла суматоха, то никто меня не заметил. И вот я, никем не замеченный, пробрался в залу и, улучив минуту, стал в амбразуре окна, завешенной краями двух ковров, и в отверстие между ними я, оставаясь невидимым, мог видеть все, что в этой зале происходило. Найдутся ли у меня теперь слова, чтобы описать, как билось у меня сердце, когда я стоял там, те мысли, какие одолевали меня, те впечатления, какие я от всего этого вынес? Ведь их было так много и такого они были свойства, что передать их нельзя, да и хорошо, что нельзя. Довольно сказать, что жених вошел в залу в обычном своем одеянии, шафером его был двоюродный брат Лусинды, и, кроме домочадцев, в зале никого посторонних не было. Немного спустя из гардеробной вышла Лусинда вместе с матерью и двумя своими служанками в приличествующем ее знатности и красоте великолепном уборе и наряде, как и подобало быть наряженной той, что являла собою верх изящества и благородного в самой роскоши вкуса. Изумление и гнев помешали мне во всех подробностях рассмотреть и запомнить ее наряд. Мне бросились в глаза лишь его цвета: алый и белый, и сверканье драгоценных камней, коими были унижены головной убор и одежда, но все это меркло в сравнении с необычайною красотой чудесных ее золотистых волос, которые, успешно состязаясь с драгоценными камнями и светом четырех факелов, горевших в зале, во всем своем блеске глазам представлялись. О память, лютая врагиня моего покоя! Зачем воссоздаешь ты ныне бесподобную красоту обожаемой моей врагини? Не лучше ли было бы, жестокая память, если б ты напонила и воссоздала ее поступок, дабы, подвигнутый столь явным злом, ею мне причиненным, я попытался если не отомстить ей, то, по крайней мере, покончить с собой? Не сетуйте, сеньоры, на эти отступления – горе мое таково, что о нем нельзя и не должно говорить сжато и вскользь, здесь все обстоятельства заслуживают, по моему разумению, пространных речей.

Священник ему на это сказал, что они не только не сетуют, но, напротив, слушают его весьма охотно, ибо все эти мелочи заслуживают не меньшего внимания, нежели самая суть дела, и умолчать-де о них невозможно.

– Итак, – продолжал Карденьо, – когда все собрались в зале и когда приходский священник, взяв жениха и невесту за руки, дабы совершить положенное по уставу, спросил: «Согласны ли вы, сеньора Лусинда, признать сеньора дона Фернандо, присутствующего здесь, законным своим супругом, как того требует святая церковь?» – я просунул меж ковров голову и, напрягши внимание, со смятенною душою приготовился выслушать ответ Лусинды, которой предстояло вынести мне смертный приговор или же даровать мне жизнь. Ах, если б я тогда осмелился выскочить и крикнуть ей: «О Лусинда, Лусинда! Помысли о



том, что ты делаешь, вспомни о своем обещании, помысли о том, что ты моя и не можешь принадлежать другому! Прими в рассуждение, что, как скоро ты скажешь „да“, в тот же миг меня не станет. О вероломный дон Фернандо, похититель моего блаженства, смерть моей жизни! Чего ты хочешь? На что притязает? Прими в рассуждение, что достигнуть предела своих мечтаний через христианский обряд ты не властен, ибо Лусинда – моя супруга, а я – ее муж». О я, безумец! Ныне, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от опасности, я говорю о том, что мне должно было сделать тогда и чего я, однако ж, не сделал! Ныне, не воспрепятствовав похищению бесценного моего сокровища, я проклиная похитителя, которому я мог бы отомстить, если б нашлись у меня в ту пору для этого силы, как нахожу я их сейчас для того, чтоб роптать! Ну что ж, коли был я тогда глупцом и трусом, значит, суждено мне скончать мои дни в стыде, безумии и покаянии.

Священник ждал, что скажет Лусинда, но она довольно долго не отвечала, и вот, когда я уже начал думать, что она достает кинжал, дабы доказать мне свою верность, или же собирается с духом, дабы выговорить правдивые и разуверяющие слова, которые придали бы делу благоприятный для меня оборот, она упавшим и слабым голосом проговорила: «Согласна», после чего дон Фернандо, произнеся то же самое слово, надел ей на палец кольцо. И в эту минуту нерасторжимые узы связали их. Новобрачный хотел было поцеловать свою супругу, но она схватилась за сердце и упала без чувств на руки своей матери. Теперь остается сказать вам, что испытывал я, когда Лусинда, ответив согласием, насмеялась над моими надеждами и преступила и нарушила клятвы и когда я уразумел, что мне уже не вернуть блага, которые я в это мгновение утратил. Мне стало невмочь, мне казалось, будто все небесные силы меня оставили, земля, носившая меня, стала моим врагом, воздух не дает мне дыхания для вздохов, а вода – влаги для моих очей. Один лишь огонь разгорался, и все во мне пылало злобой и ревностью. Когда Лусинда упала в обморок, все засуетились, мать же Лусинды, расстегнув ей платье, чтобы легче было дышать, обнаружила у нее на груди запечатанное письмо, и письмо это дон Фернандо тотчас схватил и при свете факела стал читать, а как скоро прочел, то вместо того, чтобы принять участие в уходе за супругой, которую все старались привести в чувство, опустил в кресло и, как бы в глубоком раздумье, подпер щеку ладонью.

Видя, что в доме переполох, я решился, заметят меня или нет, покинуть место моей засады и в случае, если меня заметят, пойти на столь отчаянный шаг, чтобы в наказании, коему я вознамерился подвергнуть не только лживого дон Фернандо, но и потерявшую сознание ветреную изменницу, явно для всех означился правый гнев, овладевший моею душой. Однако ж волею судеб, которые, по-видимому, хранили меня для горших бед (если только может быть что-нибудь горше того, что я уже перенес), я был тогда в полном разуме, – это уж он потом мне тут изменил. Вот почему, раздумав мстить лютейшим моим врагам (а отомстить мне им ничего не стоило – так далеки они были от мысли, что я здесь), надумал я отомстить самому себе и подвергнуть самого себя наказанию, коего заслуживали они, и, может быть, даже более суровому, чем то, какому я собирался подвергнуть их, – а я собирался их умертвить, – ибо внезапная смерть мгновенно прекращает страдания, тогда как медленная смерть под пыткой убивает всечасно, но жизни не лишает. Словом, покинул я этот дом и отправился туда, где оставил мула. Я велел седлать его, затем, даже не попрощавшись с хозяином, сел верхом и, подобно Лоту, покинул город, не дерзнув оглянуться назад. Но как скоро я очутился в поле, один на один с самим собою, и меня объяла ночная тьма, а ночная тишь побудила к ропоту, то, не смущаясь и не боясь, что меня могут услышать и узнать, я дал волю голосу моему и устам послать Лусинде и дону Фернандо столько проклятий, как если бы этим мог отомстить за зло, которое они мне причинили. Я называл ее жестокою, бесчеловечною, лживою и неблагодарною, чаще же всего корыстолюбивою, ибо не что иное, как богатство недруга моего, ослепило очи ее любви, дабы отнять ее у меня и вручить баловню и любимцу Фортуны. Но, бросая упреки и изрыгая проклятия, я в то же время оправдывал ее: нет ничего удивительного, рассуждал я, что девушка, находившаяся под присмотром родителей, привыкшая и всегда готовая им

повиноваться, решила исполнить их волю, тем более что в мужья они прочили ей столь знатного, богатого и любезного кавальера, и если б она его отвергла, то можно было бы подумать, что она не в своем уме или же что она к кому-нибудь другому питает склонность, каковое обстоятельство бросило бы тень на ее честь и доброе имя. Но я тут же возражал себе, что если б она назвала своим супругом меня, то родители признали бы, что она сделала неплохой выбор, и оправдали ее, – ведь до того, как дон Фернандо попросил ее руки, они сами, если только их желания сообразовались со здравым смыслом, вряд ли могли желать своей дочери лучшего мужа, чем я, так что она смело могла бы, прежде чем пойти на этот вынужденный и безрассудный шаг и отдать дону Фернандо свою руку, объявить, что она уже отдала ее мне, а я, со своей стороны, пришел бы ей на помощь и подтвердил все, что ей удалось бы в сем случае измыслить. В конце концов я пришел к заключению, что по причине своего непостоянства, взбалмошности, крайнего тщеславия и жажды почестей она позабыла те слова, коими она меня завлекала, коими она питала твердые мои надежды и укрепляла меня в честных моих намерениях.

Остаток ночи я провел в пути, все так же громко ропща и все так же терзаясь, а на рассвете подъехал к горам, и в горах я проплутал еще трое суток, без пути, без дороги, пока наконец где-то неподалеку отсюда глазам моим не открылись луга, и тут я спросил пастухов, с какой стороны особенно дик этот горный хребет. Они мне сказали, что с этой. Тогда я направился сюда с намерением кончить здесь свой век, и в одной из этих теснин пал от истощения мой обессилевший мул, а скорее всего он просто пожелал сбросить с себя столь ненужное бремя, за каковое он, верно, меня почитал. И остался я пеший, изнемогающий от усталости, мучимый голодом, один-одинешенек и даже не зная, где искать помощи. Не могу сказать, как долго я лежал на земле, затем встал, уже не чувствуя голода, и увидел перед собой козопасов, – без сомнения, это они и накормили меня. Они рассказали мне, в каком состоянии я находился, когда они меня увидели, и какие дикие и несуразные вещи я говорил, из чего они заключили, что я тронулся. Да я и сам впоследствии стал замечать, что не всегда я в здравом уме: порою мой ум повреждается и помрачается, и тогда я прихожу в неистовство, рву на себе одежды, оглашаю воплями безлюдные эти места, проклиная судьбу свою и вотще твержу дорогое мне имя – имя врагини моей, и одна у меня тогда мысль и одно желание – кончить дни мои, взывая к Лусинде. Опомнившись же, я чувствую себя таким усталым и таким разбитым, что с трудом могу двигаться.

Обыкновенно я располагаюсь на ночлег в дупле дуба, – там есть где укрыться жалкому моему телу. Пастухи, пасущие в горах коз и коров, по доброте своей кормят меня, – оставляют мне пищу на дорогах и скалах, где, как им кажется, я скорее всего могу, случайно проходя мимо, ее обнаружить. И даже когда я бываю не в себе, само естество мое наводит меня на пищу и заставляет алкать ее и принимать. Иной раз, когда я бываю в здравом уме, они мне сообщают, что я выхожу на дорогу и отнимаю пищу у пастухов, которые идут из селений к загонам, хотя они делятся ею со мной добровольно. Таковую жалкую и мучительную жизнь веду я в надежде, что по воле неба мне самому скоро придет конец или же моей памяти, и я позабуду о красоте и об измене Лусинды и о зле, причиненном мне доном Фернандо. И вот если небо устроит это, не лишая меня жизни, то мысли мои примут естественное свое направление. Если же нет, то мне останется лишь молиться о том, чтобы моя душа была взята на небо, ибо самому исторгнуть тело мое из той жалкой доли, на которую я добровольно его обрек, у меня нет ни сил, ни мужества.

Такова, сеньоры, горестная повесть о моем несчастье, – скажите же, можно ли сопровождать ее менее сильными движениями чувства, нежели те, коими я на ваших глазах ее сопровождал, и не трудитесь уговаривать меня и давать советы, которые, как подсказывает вам здравый смысл, могут помочь мне, ибо пользы мне от них ровно столько, сколько больному от лекарства, которое прописал знаменитый врач, но которое больной принимать не желает. Без Лусинды мне не надобно здоровья, и коль скоро она пожелала принадлежать другому, хотя принадлежала и должна была принадлежать мне, то я пожелал горевать, хотя мог бы радоваться. Своею изменчивостью она намередвалась погубить меня

навек, – я же вознамерился погибнуть, дабы исполнилось ее желание, и поздние потомки скажут обо мне, что у меня было отнято то, в чем никто из несчастных нужды не терпит: обыкновенно их утешает самая невозможность утешения, а мне это служит причиною еще больших страданий и мук, ибо я начинаю думать, что и смерть их не прекратит.

На этом кончил Карденьо длинную и грустную историю своей любви, и священник уже приготовился сказать несколько утешительных слов, но в это самое время слух его был поражен неким жалобным голосом, говорившим о том, о чем будет идти разговор в четвертой части настоящего повествования, ибо третью часть мудрый и благоразумный историк Сид Ахмед Бенинхали на этом оканчивает.

## Глава XXVIII,

*повествующая о новом занятом происшествии, случившемся со священником и цирюльником в тех же самых горах*

Блаженны и благословенны времена, когда начал странствовать по свету отважнейший рыцарь Дон Кихот Ламанчский, ибо благодаря великодушному его решению попытаться воскресить и вернуть миру уже распавшийся и почти исчезнувший орден странствующего рыцарства, ныне, в наш век, нуждающийся в веселых развлечениях, мы наслаждаемся не только прелестью правдивой его истории, но и вкрапленными в нее повестями и эпизодами, в большинстве своем не менее занятными, замысловатыми и правдоподобными, чем самая история, – история же эта, вновь принимаясь за свою чесаную, крученую и намотанную нить, гласит, что, как скоро священник приготовился утешать Карденьо, до слуха его долетел печальный голос, говоривший такие слова:

– О боже! Ужели я сыскала наконец место, могущее служить тайною гробницей для тяжкого бремени моего тела – бремени, которое я против воли своей влачу? Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор меня не обманывает. О я, несчастная! Насколько же благоприятнее для моего замысла общество этих утесов и дебрей, ибо они не помешают мне жаловаться небу на горькую мою судьбину, нежели присутствие человеческого существа, ибо нет на свете такого человека, который способен был бы рассеять сомнения, утолить печали и избавить от мук!

Священник и его спутники расслышали и уловили эти слова, и показалось им – да так оно и было на самом деле, – что говорят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на поиски произносившего эти слова человека, но не прошли они и двадцати шагов, как за утесом, под сенью ясеня, глазам их представился одетый по-деревенски юноша, которого лицо, по той причине, что он, наклонившись, мыл в ручье ноги, им сперва не удалось рассмотреть; подошли же они так тихо, что он их не слышал, да к тому же он был весь поглощен омовением ног, а ноги у него были точно два белых хрусталя, сверкающих среди других камней того же ключа. Белизна и красота его ног поразили путников, – казалось, эти ноги не созданы ступать по вспаханному полю или брести за плугом и волами, несмотря на то, что одежда юноши свидетельствовала о другом, и вот, удостоверившись, что он их не замечает, священник, шедший впереди, сделал знак обоим своим спутникам спрятаться и притаиться за обломками скал, и те так и сделали и стали внимательно следить за юношей. На нем было серое двубортное полукафтанье, перетянутое у пояса белой косынкой, панталоны, серого сукна гамаша и серый же суконный берет на голове; гамаша он засучил, и голени его смело можно было уподобить алебастру. Омыв прекрасные свои ноги, он тот же час, достав из-под берета головной платок, их вытер; но, доставая платок, он поднял голову, и тут глазам тех, кто на него взирал, на мгновение явилась такая несравненная красота, что Карденьо шепотом сказал священнику:

– Если это не Лусинда, то, значит, это не человек, но ангел.

Юноша снял берет, потрянул головой, и вслед за тем рассыпались и распустились по плечам его кудри, которым даже Фебовы кудри могли бы позавидовать. И тут все уразумели,

что это переодетая хлебопашцем женщина, и притом изящная, более того, – прекраснейшая из всех женщин, каких кто-либо из них видел, в том числе и Карденьо; впрочем, Карденьо знал и созерцал Лусинду, но он сам утверждал впоследствии, что только красота Лусинды могла бы поспорить с этой. Роскошные золотистые волосы, длинные и густые, закрывали не только плечи, – они вились вдоль всего ее стана, так что видны были одни лишь ноги. Гребень ей заменяли собственные ее руки, и если ее ноги в воде походили на хрусталь, то руки, подбиравшие волосы, напоминали плотно слежавшийся снег; и чем дальше смотрели на нее все трое, тем более восхищались, и желание узнать, кто она, усиливалось в них с каждым мгновением. Того ради положили они объявиться; когда же они сделали движение, чтобы встать, прелестная девушка подняла голову и, обеими руками откинув с лица волосы, поглядела в ту сторону, откуда донесся шорох; и, едва завидев их, она вскочила, быстрым движением подняла лежавший подле нее узел, как видно, с одеждой, и, босая, с распущенными волосами, в смятении и страхе бросилась бежать; однако нежные ее ноги не вынесли прикосновения острых камней, и, пробежав всего лишь несколько шагов, она упала. Тут все трое приблизились к девушке, и первым заговорил с ней священник:

– Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо единственное желание тех, кого вы видите перед собою, – это помочь вам. Напрасно вы опроретью бросились от нас бежать, – все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим.

Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее за руку, священник снова заговорил:

– Что скрыло от нас ваше, сеньора, одеяние, то выдали ваши волосы, наглядно доказывающие, что немаловажные должны были быть у вас причины облечь красоту вашу в столь недостойные одежды и завести ее в такую глушь, где, однако же, нам посчастливилось встретиться с вами, и если мы бессильны прекратить ваши муки, то, во всяком случае, мы можем дать вам совет, а ведь как бы ни было велико горе и как бы оно ни терзало, страждущий, пока он жив, должен, по крайней мере, выслушать того, кто из добрых побуждений желает дать ему совет. Итак, моя сеньора, или же сеньор, как вам будет угодно, преодолите страх, который мы вам внушили своим появлением, и поведайте нам счастье свое или же злосчастье, и во всех нас, вместе взятых, и в каждом в отдельности вы встретите сочувствие вашему горю.

Между тем переодетая девушка, будто зачарованная, глядела на всех, не шевеля губами и не произнося ни слова, точь-в-точь как деревенский парень, которому неожиданно показали что-нибудь диковинное, доселе невиданное. Но как священник клонил все к одному и тому же, то в конце концов она, глубоко вздохнув, прервала молчание и сказала:

– Коли эти пустынные горы бессильны меня укрыть, а распущенные и нечесанные мои волосы не позволили моим устам солгать, то тщетно стала бы я теперь притворяться, ибо если даже вы и сделали бы вид, что поверили мне, то скорее из вежливости, а не по какой-либо другой причине. После этого предисловия я могу вам сказать, сеньоры, что ваше предложение, за которое я вам так благодарна, обязывает меня удовлетворить вашу просьбу, хотя, впрочем, я опасюсь, что рассказ о моих невзгодах не только вызовет у вас сострадание, но и огорчит вас, ибо вы не найдете ни лекарства, которое прекратило бы мои муки, ни слов утешения, которые облегчили бы их. Но чтобы у вас, уже знающих, что я женщина, и встретивших меня, такую юную, одну, да еще в этом наряде, не создалось превратного представления о моих правилах, ибо подобные обстоятельства, вместе взятые и каждое из них в отдельности, способны очернить любую добрую славу, я принуждена поведать вам то, о чем хотела бы умолчать, если б только могла.

Все это красавица девушка проговорила, не переводя дыхания, и складные ее речи и ум, а равно и неясный ее голос привели путников в не меньший восторг, чем ее красота. Когда же они снова начали предлагать ей свои услуги и просить исполнить данное ею обещание, то она не заставила себя долго упрашивать, – строго соблюдая приличия, обулась, подобрала волосы, села на камень и, как скоро трое путников расположились вокруг нее, неторопливо и внятно, еле сдерживая выступавшие на глазах слезы, начала рассказывать

историю своей жизни:

– У нас в Андалусии есть такой город, от которого происходит титул некоего герцога, одного из так называемых испанских грандов. У него два сына: старший, наследник его титула, должно полагать, унаследовал и добрый его нрав, младший же вряд ли что-нибудь унаследовал, кроме коварства Вельидо и лживости Ганелона. Мои отец и мать – вассалы герцога. Роду они безвестного, но зато весьма богаты, так что если б их происхождение было не ниже их достатка, то им и желать было бы нечего, а мне нечего было бы опасаться беды, которая ныне со мною стряслась, – ведь все мое несчастье, быть может, и состоит в том, что родители мои не имели счастья родиться от людей родовитых. Правда, род их не столь уже низок, чтобы надобно было его стыдиться, но и не настолько высок, чтобы поколебать мою уверенность в том, что горе мое проистекает от его безвестности. Словом, они хлебопашцы, люди простые, ни с каким нечестивым племенем ничего общего не имеющие, самые настоящие, что называется – чистокровные христиане, но они очень богаты, ни в чем себе не отказывают и, в сущности, теперь уже мало чем отличаются не только от идалго, но даже и от кавальеро. Однако ж все свое богатство и всю именитость свою полагали они в том, что у них такая дочь, как я. А как других наследниц или наследников они не имели, родители же они были чадолюбивые, то я была одною из самых балованных дочек в мире. Я была опорой их старости, зеркалом, в которое они смотрелись, предметом, к коему они устремляли богоугодные свои желания, столь благие, что они не могли идти вразрез с моими. Будучи владычицею их душ, я была хозяйкою у них в доме: сама нанимала и отпускала работников, вела счет всему, что сеялось и убиралось, крупному и мелкому скоту и пчелиным ульям, наблюдала за маслобойками и давальнями. Словом, все, чем только мог владеть и владел такой богатый сельчанин, как мой отец, было у меня на учете, я была и домоправительницею и госпожою, и рачительности моей, а также того удовольствия, которое я этим доставляла моим родителям, я не в силах должным образом описать. Отдав надлежащие распоряжения надсмотрщикам, пастухам и поденщикам, я проводила время за работою, столь же приличною девушкам, сколь и необходимою, например, за иглою и пальцами, частенько – за прялкой. Когда же я, чтоб развлечься, эти занятия оставляла, то меня тянуло почитать душеспасительную книгу или же поиграть на арфе, ибо я знала по себе, что музыка успокаивает беспокойный дух и умеряет волнения праздной мысли. Вот какую жизнь вела я в родительском доме, и описываю я ее столь подробно не из тщеславия, не из желания похвалиться своим богатством, а единственно для того, чтобы показать, как хорошо жилось мне прежде и в каком плачевном состоянии я, ни в чем не повинная, нахожусь ныне.

Дело состоит в том, что, неустанно трудясь и живя в уединении, монастырскому затвору подобном, я полагала, что меня никто, кроме прислуги, не видит, ибо я и в церковь ходила ранним утром и непременно с матерью и служанками, закутанная и укрытая, так что очи мои не видели ничего, кроме того клочка земли, на который ступали мои ноги, и со всем тем очи любви, или, лучше сказать, очи праздности, с коими и рысьим глазам не сравниться, благодаря стараниям дон Фернандо – так зовут младшего сына герцога, о котором я уже упоминала, – меня заметили.

Стоило рассказчице произнести имя дон Фернандо, и с лица Карденьо мгновенно сбежала краска, а на лбу у него выступил пот, так что священник и цирюльник, заметив охватившее его необычайное волнение, со страхом подумали, не припадок ли это умоисступления, а они слышали, что такие припадки с ним время от времени случаются. Но Карденьо только обливался потом и, силясь понять, кто эта поселянка, смотрел на нее в упор, – поселянка же, не видя, что происходит с Карденьо, между тем продолжала:

– И не успели его очи увидеть меня, как он мною прельстился, о чем он сам мне потом поведал и непреложным чему доказательством служило дальнейшее его поведение. Однако, желая как можно скорее покончить с неисчислимым числом моих горестей, я умолчу о тех ухищрениях, к коим дон Фернандо прибегнул, чтобы изъясниться мне в любви. Он подкупил прислугу, подарил и осыпал милостями моих родителей, что ни день – на нашей улице игры и смехи, ночью никому не давала спать музыка, в мои руки бог весть какими путями

попадали записки, и в бесчисленных этих записках, полных уверений и слов любви, было больше обещаний и клятв, нежели букв. Все это, однако же, не только меня не трогало, но, напротив, ожесточало, точно это был лютейший мой враг и точно все его попытки меня пленить были предприняты с целью противоположною, – и не потому чтобы ухаживания донна Фернандо были мне неприятны, не потому чтобы его домогательства казались мне дерзостью, – нет, я испытывала какое-то непонятное мне самой удовлетворение при мысли о том, что меня любит и уважает столь знатный кавальеро, и мне отнюдь не претили лестные слова, рассыпанные в его посланиях: ведь любая, даже самая уродливая, женщина, уж верно, радуется, когда ее называют красавицей. Но против этого восставал мой девичий стыд и постоянные предостережения моих родителей, для коих сердечная склонность донна Фернандо отнюдь не являлась тайною, ибо он уже и не думал от кого бы то ни было ее скрывать. Родители внушали мне, что только в моей скромности и благонаравии поставляют и полагают они собственную свою честь и добрую славу и что если б я, мол, вспомнила о неравенстве между мною и доном Фернандо, то, что бы он ни говорил, мне стало бы ясно, что он думает не столько обо мне, сколько об удовлетворении собственной прихоти. И если, мол, я намерена каким-нибудь образом положить предел незаконным его притязаниям, то они выдадут меня тогда замуж за того, кто мне больше всех придется по сердцу, будь то самый знатный юноша в нашем селении или даже во всей округе, ибо, приняв в соображение их зажиточность и мое доброе имя, я на это вполне могу рассчитывать. Веские их доводы и неложные обещания укрепили мою стойкость, и я решилась не вымолвить ни единого слова, которое могло бы подать дону Фернандо отдаленную хотя бы надежду на достижение чаемого им.

Однако моя непреклонность, или, как ему, вероятно, казалось, пренебрежение, долженствовала распалить плотоядную его алчность, – да, именно плотоядную алчность, иначе нельзя назвать чувство, которое он ко мне питал, – ведь если б это была такая любовь, какою ей надлежало быть, то вы бы теперь ничего о ней не узнали, ибо у меня не было бы тогда повода вам о ней рассказать. Наконец дон Фернандо проведал, что родители мои собираются выдать меня замуж, чтобы отнять у него надежду на обладание мною или, во всяком случае, чтобы у меня прибавилось охраны, и эта весть или, вернее, это подозрение подвинуло его на то, о чем вы сейчас узнаете, а именно: однажды ночью, когда все двери были у нас уже на запоре, чтобы по небрежению честь моя не оказалась в опасности, когда все меры предосторожности были приняты и когда я пребывала в тиши затвора и уединения, в обществе одной-единственной служанки, в мою опочивальню, откуда ни возьмись, явился он, и при виде его очи мои перестали видеть и Онемели мои уста, так что я не могла даже крикнуть, – впрочем, он и не дал бы мне, наверное, крикнуть, потому что он сейчас же бросился ко мне и, заключив меня в объятия (у меня же, говорю я, не было сил сопротивляться: так я была потрясена), заговорил, – и вот я все еще не возьму в толк, может ли ложь быть настолько искусною и как она добивается того, чтобы слова, которые она подбирает, казались такими правдивыми. Изменник сумел слезами удостоверить истинность своих речей и вздохами – истинность своего намерения, а я, бедняжка, одна-одинешенька, не наученная моими домашними, как в подобных случаях должно себя вести, я, сама не знаю почему, вракам этим придала веру. И все же слезы его и воздыхания ничего, кроме простого сочувствия, во мне не вызвали, а потому, когда первое волнение улеглось, я кое-как собралась с силами и спокойнее, чем могла этого от себя ожидать, сказала:

«Если бы, сеньор, то были не ваши объятия, но когти свирепого льва, и я могла бы вырваться из них лишь ценою деяний и слов, которые погубили бы мою честь, то решиться на это мне было бы так же легко, как упразднить то, что уже совершилось. И подобно как вы сжимаете в объятиях мое тело, так же точно душа моя связана благими моими намерениями, и вы увидите, сколь отличны они от ваших, если только попытаетесь, применив насилие, слишком далеко зайти. Я ваша подданная, но не раба. Благородство крови вашей не властно и не должно иметь власти бесчестить и унижать мое худородство, – я, простолюдинка и поселянка, уважаю себя не меньше, чем вы, сеньор и кавальеро, себя уважаете. Силою вам

ничего со мной не поделывать, и не соблазнить вам меня своим богатством, и не обмануть вам меня своими словами, и не растрогать вам меня слезами и вздохами. Впрочем, если бы чем-либо из всего мною перечисленного захотел прельстить меня тот, кого родители мои выбрали бы мне в супруги, то их воле подчинилась бы моя и ни в чем из их воли не вышла, – в сем случае я поступила бы так, как велит мне честь, хотя и не так, как велит мое сердце, и сама отдала бы вам, сеньор, то, что вы ныне пытаетесь взять у меня силой. Все это я говорю для того, чтобы вы наконец выкинули из головы мысль, что кто-нибудь, кроме законного супруга, может от меня чего-либо добиться».

«Если дело только за этим, прелестная Доротея (так зовут меня, несчастную), – сказал вероломный кавалеро, – так вот тебе моя рука в знак того, что я твой, и да будут свидетелями нашей помолвки небеса, от коих ничто не скроется, и вот этот образ нашей владычицы».

Услышав, что ее зовут Доротея, Карденьо снова пришел в волнение и заключил, что первоначальные его догадки справедливы; однако, чтобы узнать, чем это кончилось, хотя он почти все уже знал, он положил не прерывать рассказа и только спросил:

– Так вас зовут Доротея, сеньора? Я слышал о другой девушке, которую зовут так же и чьи зловключения, пожалуй, сходны с вашими. Но продолжайте, – в свое время я сообщу вам нечто такое, что ужаснет вас и вместе опечалит.

Речи Карденьо, равно как и странная и убогая его одежда, привлекли к себе внимание Доротеи, и она обратилась к нему с просьбой: если он знает, что было потом, то пусть-де скажет ей, не таясь, ибо один-единственный дар, коим наделила ее Фортуна, состоит в том, что она стойко переносит любое несчастье, тем паче она-де совершенно уверена, что нет на свете такого несчастья, которое хотя бы на йоту могло бы усугубить уже случившееся с нею.

– Я не премину, сеньора, – сказал Карденьо, – поделиться с вами своими соображениями, если только догадка моя подтвердится, но время для этого еще не пришло, и соображения мои вам пока еще не нужны.

– Как вам будет угодно, – заметила Доротея. – Ну, а дальше дело было так: дон Фернандо взял образ, находившийся в моей опочивальне, и поставил его перед нами, как свидетеля нашего обручения. Он дал обещание жениться на мне, но я, прервав поток его страстных слов и необыкновенных клятв, сказала, чтобы он подумал о том, что делает, и о том, как разгневается его отец, когда узнает, что сын женится на крестьянке, на своей подданной, и пусть, мол, не ослепляет его моя красота – какая бы она ни была, она бессильна снять с него вину, и если он подлинно любит меня и желает мне добра, то пусть не препятствует мне связать судьбу с ровней, ибо счастье, коим первое время наслаждаются вступившие в неравный брак, непрочны и недолговечны. Долго я с ним тогда говорила, – многого я уж теперь и не помню, – однако слова мои не принудили дон Фернандо отказаться от своего намерения: так точно человек, заключающий сделку и не собирающийся платить, не помышляет об условиях. Тогда я призадумалась на секунду и сказала себе: «Ведь не я первая благодаря замужеству из низкого состояния перейду в высокое, да и дон Фернандо не первый, кого женская красота или же собственная безумная страсть (что вернее) принуждает избрать несоответствующую благородному его происхождению спутницу жизни. И раз что я обычаев света тем не нарушаю, то мне подбает принять оказываемую мне судьбою честь, ибо если даже любовь, в коей он ныне мне изъясняется, вместе с утолнением страсти пройдет, все равно перед богом я останусь его женою. Если же я презрением оттолкну его, то от дозволенного он, уж верно, перейдет к недозволенному, то есть применит силу и обесчестит меня, и я же выйду кругом виновата и ничего не смогу ответить на обвинения, которые мне волен предъявить всякий, кто не знает, что дошла я до этого безвинно. В самом деле, как я докажу моим родителям и кому бы то ни было, что этот кавалеро проник в мою опочивальню без моего согласия?» Все эти вопросы и ответы вихрем пронесли у меня в голове, но главное, что на меня подействовало и побудило сделать шаг, впоследствии оказавшийся для меня роковым, чего я тогда, разумеется, не подозревала, так это то, как страстно дон Фернандо клялся и плакал и кого призывал он в

свидетели, а также любезность его и привлекательность, каковые его качества вместе со всевозможными изъявлениями истинного чувства способны были покорить любое другое сердце, столь же свободное и столь же несмелое. Я позвала служанку, чтобы к свидетелям небесным присоединить земного. Дон Фернандо вновь начал клясться и божиться. Он призвал в свидетели всех святых, заранее обрек себя самым ужасным карам, в случае если не сдержит своего слова, вновь увлажнил слезами глаза и усилил вздохи, затем сжал меня в своих объятиях, из коих, впрочем, он не выпускал меня ни на секунду, и тут, едва лишь из опочивальни вышла моя девушка, я перестала быть таковою, а он стал в полном смысле слова обманщиком и предателем.

День, сменивший ночь моего несчастья, наступил все же не так скоро, как того желал, думается мне, дон Фернандо, ибо стоит лишь исполнить веление плоти, как является настойчивое желание покинуть то место, где страсть была утолена. Я потому так говорю, что дон Фернандо поспешил уйти от меня и благодаря хитрости служанки, той самой, которая его сюда привела, еще до рассвета выбрался на улицу. Прощаясь со мной (уже не с тем пылом и горячностью, с какими он меня приветствовал), он сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и что клятвы его правдивы и нерушимы, и для вящей убедительности снял с руки драгоценный перстень и надел мне его на палец. Итак, он ушел, а я осталась ни печальна, ни весела, вернее, я была смущена, озабочена и потрясена тем, что со мной случилось, и я не имела духу, а быть может, просто забыла побранить служанку за то, что она предательски заперла меня с доном Фернандо в моей опочивальне: ведь я сама тогда еще не решила, хорошо или дурно все то, что со мною произошло. При прощании я сказала дону Фернандо, что он может таким же точно образом приходить ко мне каждую ночь, ибо теперь уже я принадлежу ему, и так будет продолжаться до тех пор, пока он не объявит о нашей помолвке. Но он пришел только на следующую ночь, а затем уже не появлялся, и я больше месяца не видела его ни на улице, ни в церкви – нигде. Тщетно домогалась я свидания с ним, хотя знала отлично, что он никуда не уезжал и целыми днями охотится, – надобно заметить, что это любимое его занятие.

Эти дни и часы, как сейчас помню, были горестны и мучительны для меня, и, как сейчас помню, в эти дни и часы начала я сомневаться в доне Фернандо, – этого мало, я утратила веру в него. И еще помнится мне, тогда впервые моя служанка услышала от меня слова осуждения дерзкому ее поступку – слова, каких она не слышала от меня прежде. И, помню, пришлось мне тогда глотать слезы и притворяться веселою, чтобы родители мои не начали допытываться, отчего я такая хмурая, иначе я непременно должна была бы для отвода глаз что-нибудь придумать. Но все это потом в одно мгновение кончилось, и настало мгновение другое, когда соблюдение приличий рухнуло и пришел конец помышлениям о чести, когда истощилось терпение и обнаружилось сокровенные мои думы. А случилось так потому, что вскоре в нашем селении разнесся слух, что в соседнем городе дон Фернандо женился на необыкновенной красоты девушке, происходящей от родителей благородных, однако ж не с таким богатым приданым, чтобы ей можно было рассчитывать на столь знатного жениха. Говорили, что зовут ее Лусиндой и что их свадьба ознаменовалась достойными удивления происшестввами.

Услышал Карденьо имя Лусинды – и тотчас передернул плечами, закусил губу, нахмурил брови, и вслед за тем из глаз его хлынули потоки слез, однако ж Доротея не прервала своего рассказа:

– Печальная эта весть дошла до меня, и сердце мое, вместо того, чтобы оледенеть, загорелось злобой и яростью, так что я чуть было с криком не выбежала на улицу и не разгласила вероломство его и измену. Гнев мой, однако ж, утих при мысли о том, как я нынче же ночью приведу в исполнение то, что я, и точно, осуществила, а именно: поведала свое злоключение одному из тех, кого в деревне называют подпасками, слуге моего отца, надела на себя его платье и попросила проводить меня в город, где, по слухам, находился мой недруг. Подпасок сначала пожурил меня за безрассудство и не одобрил моего намерения, но затем, видя, что я непреклонна, изъявил готовность сопровождать меня, как он



выразился, хоть на край света. Я мигом уложила в полотняную наволочку одно из моих платьев, взяла с собой на всякий случай денег и кое-какие драгоценности и глухою ночью, ничего не сказав предательнице-служанке, сопутствуемая слугою и роем неотвязных мыслей, оставила отчий дом и пошла пешком в город, куда я так стремилась не с целью расстроить уже совершившееся, а единственно для того, чтобы спросить дона Фернандо, с какой совестью он мог так поступить. Спустя два с половиной дня я пришла, куда мне было надобно, и, войдя в город, спросила, где живут родители Лусинды, и первый, кому я задала этот вопрос, поведал мне больше, чем я желала услышать. Он указал мне их дом и сообщил обо всем, что произошло во время обручения их дочери, – должно заметить, что событие это получило в городе широкую огласку и люди собирались на улицах кучками, только чтобы посудачить. Вот что он мне сообщил: в тот вечер, когда дон Фернандо обручился с Лусиндой, после того, как она изъявила согласие быть его супругой, с ней приключился глубокий обморок, супруг же ее, расстегнув ей корсаж, чтобы легче было дышать, обнаружил у нее на груди написанную собственной ее рукой записку, в коей она уведомляла и объявляла, что не может быть женою дона Фернандо, ибо она жена Карденьо, некоего весьма знатного, по словам того, кто мне это рассказывал, кавальера, местного уроженца, и что она дала согласие дону Фернандо единственно потому, что не желала выходить из родительской воли. Из дальнейшего, по словам того же самого человека, явствовало, что она намеревалась тотчас после обручения наложить на себя руки, и в записке этой она объясняла, почему она решилась покончить с собой, – найденный же, как говорят, в ее платье кинжал всему этому служил подтверждением. Тогда дон Фернандо вообразил, что Лусинда насмехается и издевается над ним и не ставит его ни во что, и не успела она очнуться, как он уже бросился на нее с найденным при ней кинжалом и, уж верно, заколол бы ее, когда бы ее родители и все, кто только там ни находился, его не удержали. Еще говорили, будто дон Фернандо тот же час выехал из города, а Лусинда пришла в себя только на другой день и рассказала родителям своим, как она стала законной супругой помянутого мною Карденьо. Еще я узнала, что Карденьо, по слухам, присутствовал при обручении, и как скоро она обручилась, что было для него совершенно непостижимо, он в полном отчаянии бежал из города, оставив письмо, в коем объяснял, как его оскорбила Лусинда и что он удаляется от мира. Все это стало достоянием всего города, и все только об этом и говорили, и заговорили еще больше, когда узнали, что Лусинда бежала из родительского дома, – бежала, должно полагать, прочь из города, ибо ее нигде не могут найти, – что родители совсем потеряли голову и не знают, как быть. Вести эти оживили мои надежды, и я рассудила так: лучше, что я совсем не видела дона Фернандо, чем если бы увидела его женатым, ибо мне казалось, что дверь, ведущая к моему исцелению, еще не захлопнулась окончательно, и я убеждала себя, что, может статься, само небо наложило запрет на этот второй его брак для того, чтобы он сознал наконец свой долг по отношению к первому браку и вспомнил, что он христианин и что ему надлежит думать более о душе своей, нежели о том, что скажут люди. Такие мысли пронеслись у меня в голове, и, чтобы поддержать постылое свое существование, я, безутешная, себя утешала, ласкаясь слабыми и смутными надеждами.

Между тем я все еще находилась в городе и не знала, что делать, ибо дон Фернандо я нигде не могла найти, как вдруг слуха моего достигнул голос глашатая, который, суля большое вознаграждение тому, кто меня разыщет, сообщал мой возраст и описывал мою одежду. И еще я слышала, что похитил меня из родительского дома тот самый слуга, который вызвался меня проводить, и это меня сразило, ибо слух этот свидетельствовал о том, как низко я пала во мнении света: одного того, что я погубила свою честь, уйдя из дома, людям показалось мало, надобно было еще выдумать – с кем, и вот предметом моим сделали человека столь низкого звания, человека, недостойного моей любви. Услышав, что говорит глашатай, я тот же час покинула город вместе со слугою, который, как видно, уже начал раскаиваться, что присягнул мне на верность, и ночью мы, опасаясь погони, укрылись в этой теснине. Но беда, говорят, беду кличет, конец одной невзгоды – это начало другой, еще

более тяжелой: так же точно случилось и со мною, ибо верный мой слуга, дотоле преданный и надежный, как скоро мы с ним очутились в этой глуши, побуждаемый не столько моею красотою, сколько собственной низостью, положил воспользоваться случаем, который, как он склонен был думать, в этом безлюдном краю ему представлялся, и, утратив стыд и, тем паче, страх божий и всякое уважение ко мне, стал домогаться моей любви. Но, выслушав в ответ на бесстыдные свои предложения мои справедливые и гневные речи, он от молений, с помощью коих первоначально рассчитывал добиться успеха, перешел к насилию. Однако праведное небо, которое всегда или почти всегда споспешествует и покровительствует правому делу, оказало и мне покровительство, так что я слабыми своими руками без труда столкнула его с кручи, и жив он теперь или нет – того я не ведаю, а затем, превозмогая волнение и усталость, я бодро двинулась дальше с одною лишь мыслью и целью – скрыться в горах от отца и от тех, кого он снарядил за мною в погоню. Влекомая этим желанием, я и проникла, назад тому несколько месяцев, в эти ущелья, и здесь, в самом сердце гор, повстречался мне скотовод, – он взял меня к себе в услужение, и это время я была у него подпаском, и, чтобы скрыть свои волосы, из-за которых ныне столь неожиданно все открылось, я старалась целые дни проводить в поле. Однако ж все усилия мои и старания пропали даром, ибо хозяин мой догадался, что я не мужчина, и у него появились столь же грешные мысли, что и у моего слуги. А как судьба далеко не всегда вместе с недругом посылает и средство от него, то на сей раз поблизости не нашлось обрыва или же кручи, которая любовную его кручину рассеяла бы навек, – вот почему я решила, что лучше оставить его в покое и снова начать скрываться в этих теснинах, нежели мериться с ним силами и увещевать его. Итак, гнев я свой уняла и вновь предприняла поиски такого уголка, где бы я беспрепятственно, вздыхая и плача, молила небо сжалиться надо мною, молила помочь и подать мне силы избыть мою беду либо послать мне смерть в пустынных этих местах, чтобы и воспоминания не осталось о несчастной, которая невольно подала людям повод судачить о ней и злословить не только в ее родном, но и в чужих краях.

## Глава XXIX,

*повествующая о том, каким забавным и хитроумные, способом влюбленный наш рыцарь избавлен был от пружестокоего покаяния, которое он на себя наложил*

– Вот вам, сеньоры, правдивая повесть о моем злосчастье, – решайте и судите сами, довольно ли у меня причин, чтобы вздохи, которые вы слышали, слова, которым вы внимали, и слезы, которые лились из моих очей, были еще обильнее, и, помыслив о том, какого рода бедствие постигло меня, вы поймете, что утешать меня бесполезно, ибо горю моему помочь нельзя. Об одном молю вас (и это ваш долг, и вам легко будет исполнить его): скажите мне, есть ли здесь такой уголок, где бы меня покинули страх и отчаяние, овладевающие мною при мысли о том, что ищущие настигнут меня. Правда, мне ведома великая любовь моих родителей, и я убеждена, что они мне обрадуются, однако ж неизъяснимый стыд меня объемлет, как скоро я представлю себе, что мне предстоит пред ними предстать не такой, какою они себе меня представляют, – вот почему я предпочла бы скрыться с их глаз, нежели глядеть им в глаза и в это же самое мгновенье представлять себе, что в моих глазах они читают, что я обманула их доверие и чести своей не сберегла.

Вымолвив это, она умолкла и залилась румянцем, обличавшим в ней душу чувствительную и стыдливую. А в душе у тех, кто ее слушал, пробудилась великая к ней жалость, и в то же время все подивились ее злополучию; и священник совсем уж было собрался утешить ее и подать ей совет, но Карденьо опередил его и сказал:

– Так, значит, сеньора, вы и есть прелестная Доротея, единственная дочь богача Кленардо?

Подивилась Доротея, услышав имя своего отца из уст человека, имевшего столь жалкий вид (мы уже упоминали, что Карденьо ходил в рубище), и обратилась к нему с такими

словами:

– А вы, добрый человек, кто будете и откуда вам известно, как зовут моего отца? Ведь если память мне не изменяет, я, повествуя о моей доле, ни разу не упомянула его имени.

– Я тот злосчастный, – отвечал Карденьо, – которого, как вы, сеньора, сказали, нарекла своим супругом Лусинда. Я обездоленный Карденьо, который беспредельною душевною низостью того, кто и вас довел до предела отчаяния, доведен до такого состояния, в каком я ныне предстал перед вами, то есть оборванным, полураздетым, лишенным человеческого участия и, еще того хуже, лишенным рассудка, – ведь я нахожусь в здравом уме, лишь когда небу благоугодно бывает на краткий миг мне его возвращать. Я тот, Доротея, кто явился свидетелем преступления, совершенного доном Фернандо, и тот, кто слышал, как Лусинда изъявила согласие быть его супругой. Я тот, у кого не хватило духу дожидаться, пока она придет в себя и пока обнаружится, что именно заключает в себе найденная у нее на груди записка, ибо не вынесла душа стольких злоключений сразу. Итак, терпение оставило меня, и я оставил этот дом и у хозяина моего оставил письмо с просьбой передать его Лусинде и явился в пустынные эти места с намерением здесь и кончить свою жизнь, которую я с тех самых пор возненавидел, как лютого своего врага. Однако ж судьба, не восхотев лишить меня жизни, удовольствовалась тем, что лишила меня рассудка: может статься, она хранила меня для того, чтобы я по счастливой случайности встретился с вами, и вот, если все, что вы рассказывали, правда, а я в этом не сомневаюсь, то весьма возможно, что по воле небес наши с вами испытания кончатся лучше, чем мы предполагаем. Ведь если принять в соображение, что Лусинда не может выйти замуж за дону Фернандо, ибо она – моя, чего она сама отнюдь не отрицала, а дон Фернандо не может на ней жениться, ибо он – ваш, то мы вполне можем надеяться, что небо снова введет нас во владение тем, что принадлежит нам, ибо оно все еще наше и не было ни отчуждено, ни отторгнуто. И коли есть у нас такое утешение, не отдаленными надеждами порожденное и не на пустых бреднях основанное, то, умоляю вас, сеньора, перемените направление благородных своих мыслей и надейтесь на лучшую долю, а я постараюсь переменить направление своих мыслей. И клянусь честью кавальеро и честью христианина, я не покину вас до тех пор, пока дон Фернандо не вернется к вам, и коли мне не удастся словами убеждения пробудить в нем сознание долга, то, позабыв обиды, которые он нанес мне, и предоставив покарать его за них небу с тем, чтобы здесь, на земле, отомстить за нанесенные вам, я воспользуюсь тою свободой действий, какую предоставляет звание кавальеро, и с полным правом вызову его на поединок за ту неправду, которую он по отношению к вам учинил.

Слова Карденьо привели Доротею в полное изумление; не зная, как благодарить его за столь добрые побуждения, она кинулась к его ногам и чуть было не принялась обнимать их, Карденьо же сопротивлялся, но тут вмешался лицензиат: похвалив Карденьо за прекрасную речь, он стал просить, убеждать и уговаривать их отправиться вместе с ним в его деревню, где, по его словам, они запасутся всем необходимым, а потом-де решат, как им быть далее: искать ли дону Фернандо или же отвести Доротею к родителям, словом, поступят, как им заблагорассудится. Карденьо и Доротея изъявили ему свою признательность и порешили воспользоваться любезным его предложением. Цирюльник, молча всему удивлявшийся, тоже наконец сказал свое слово и с такою же готовностью, как и священник, предложил им свои услуги; затем он в кратких словах сообщил, почему он со священником здесь очутился, рассказал о необычайном помешательстве Дон Кихота и прибавил, что они поджидают его оруженосца, который отправился разыскивать своего господина. Тут Карденьо припомнилась его драка с Дон Кихотом, но так, будто это происходило во сне, и он рассказал о ней присутствовавшим: он только забыл, из-за чего они поссорились. В это время послышались крики, и священник с цирюльником догадались, что это кричит Санчо Панса, – не найдя их там, где оставил, он громко теперь к ним взывал. Они пошли ему навстречу, и на их вопрос о Дон Кихоте он ответил, что Дон Кихот в одной сорочке, исхудалый, бледный, голодный, вздыхает о госпоже своей Дульсинея и что хотя он, Санчо, ему сказал, что Дульсинея велит ему покинуть эти места и ехать в Тобосо, где она его

ожидает, но тот объявил, что не предстанет пред ее великолепием, пока не свершит подвигов, милости ее достойных. И если так будет продолжаться, – примолвил Санчо, – то Дон Кихот рискует остаться не только без империи, завоевать которую он обязался, но даже без архиепископства, впрочем, архиепископство – это только за неимением лучшего, а посему во что бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. Лиценциат сказал, что он может не беспокоиться: как Дон Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его отсюда. Затем он сообщил Карденьо и Доротею, что он и цирюльник затеяли для того, чтобы излечить Дон Кихота или уж, по крайности, препроводить домой; Доротея ему на это сказала, что она лучше цирюльника сыграет беззащитную девицу, – к тому же у нее есть соответствующий наряд, так что у нее это выйдет натуральнее, и пусть-де ей поручат изобразить все, что нужно для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо она прочла много рыцарских романов и отлично знает, как изъясняются обиженные девицы, когда просят помощи у странствующих рыцарей.

– В таком случае, – заметил священник, – нам остается только приняться за дело. Судьба, несомненно, нам благоприятствует: столь неожиданно отворив дверь, ведущую к вашему, сеньоры, спасению, она в то же время облегчила и нашу задачу.

Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье и прекрасной зеленой ткани мантилью, а из ларца ожерелье и прочие драгоценности и, надев их на себя, мгновенно превратилась в богатую и знатную сеньору. Все это, по ее словам, и еще кое-какие вещи она взяла с собою на всякий случай, но до сих пор такого случая не представлялось. Все пришли в восторг от превеликого ее изящества, прелести и очарования и объявили, что дон Фернандо, верно, ничего не понимает, коли пренебрег такую красавицей; однако ж всех более восхищен был Санчо Панса – ему казалось (да так оно и было на самом деле), что за всю свою жизнь не видел он столь обворожительного создания, а потому он в сильном волнении спросил священника, кто сия прелестная сеньора и кого она в этой глуши разыскивает.

– Эта прелестная сеньора, брат Санчо, – отвечал священник, – является, между прочим, прямою наследницею по мужской линии великого королевства Микомиконского, а разыскивает она твоего господина, дабы обратиться к нему с просьбою о заступлении и об отмщении за нанесенные ей неким злым великаном обиду и оскорбление, слава же о столь добром рыцаре, каков твой господин, идет по всей земле, и принцесса сия прибыла из Гвинеи, дабы его сыскать.

– Счастливые поиски и счастливая находка, – сказал на это Санчо Панса, – особенно ежели на долю моего господина выпадет такая удача, что он убьет эту гадину-великана, о котором ваша милость толкует, и тем самым отомстит за обиду и оскорбление, а уж он непременно его убьет, если только с ним встретится и если только это не привидение, потому супротив привидений моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор лиценциат, вот об чем я хочу попросить вашу милость: чтобы моему господину не припала охота стать архиепископом, чего именно я и опасаясь, посоветуйте ему, ваша милость, как можно скорее жениться на этой принцессе, тогда уж его в сан архиепископа не возведешь, и он без особого труда добьется императорской короны, а я – венца своих желаний. Ведь я долго над этим думал и пришел к заключению, что не с руки это мне – чтобы мой господин становился архиепископом, я для церкви человек бесполезный: я женат, а хлопотать мне теперь о разводе, чтобы иметь право получать какие-нибудь там церковные доходы, – потому как я, значит, имею жену и детей, – это дело безнадежное. Стало быть, сеньор, вся штука в том, чтобы мой господин поскорее женился на этой сеньоре, – я с ее милостью еще незнаком, а потому и не величаю по имени.

– Ее зовут принцесса Микомикона, – отвечал священник, – ибо если королевство ее называется Микомиконским, то ясно, что и ей надлежит называться так же.

– Разумеется, – согласился Санчо. – Мне часто приходилось встречать людей, которые производили свои имена и фамилии от той местности, где они родились, – например, Педро де Алькала, Хуан де Убеда, Дьего де Вальядолид, – наверно, и в Гвинее существует такой

обычай, чтобы королевы назывались по имени своих королевств.

– Наверно, – сказал священник, – а что касается женитьбы твоего господина, то я сделаю все, что от меня зависит.

Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь поразило священника его простодушие и то, как прочно засел у него в голове вздор, занимавший воображение его господина, – ведь тот, конечно, был уверен, что делается императором.



Тем временем Доротея села на священникова мула, а цирюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и они велели Санчо проводить их к Дон Кихоту, предварительно наказав ему не говорить, что это лицензиат и цирюльник, ибо вся, дескать, штука в том, чтобы Дон Кихот не узнал их, – от этого, мол, зависит, быть ему императором или нет. Священник и Карденьо порешили не сопровождать их: Карденьо – чтобы не напоминать Дон Кихоту о драке, священник же – просто потому, что присутствие его было теперь уже лишним, и вот те поехали вперед, а они не спеша двинулись за ними пешком. Священник не преминул сделать Доротее наставление, как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, что он может не беспокоиться: все, дескать, выйдет без сучка, без задоринки, так, как того требуют и как это изображают рыцарские романы. Всадники наши проехали три четверти мили, как вдруг среди нагромождения скал глазам их представился Дон Кихот, уже одетый, но еще не вооруженный, и как скоро Доротея увидела его и получила подтверждение от Санчо, что это и есть Дон Кихот, то хлестнула своего иноходца, а следом за нею поскакал брадатый брადобрей; когда же они приблизились к Дон Кихоту, то слуга соскочил с мула и хотел было подхватить Доротее, но та, с чрезвычайной легкостью спешившись, бросилась перед Дон Кихотом на колени; и хотя Дон Кихот силился поднять ее, она, не вставая, возговорила так:

– Я не встану с колен, о доблестный и могучий рыцарь, до тех пор, пока доброта и любезность ваши не явят мне милость, каковая вашей особе послужит к чести и украшению, а самой неутешной и самой обиженной девице во всем подлунном мире на пользу. И если доблесть мощной вашей длани равновелика гласу вашей бессмертной славы, то ваш долг

оказать покровительство несчастной, пришедшей из далеких стран на огонь славного вашего имени просить вас помочь ее горю.

– Я не отвергну уст своих, великолепная сеньора, – отвечал Дон Кихот, – и не приклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, пока вы не встанете.

– Я встану, сеньор, – возразила скорбящая девица, – не прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

– Я согласен вам ее оказать, – объявил Дон Кихот, – если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и свободы.

– Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой сеньор, – отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину и сказал ему на ухо:

– Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому убить какого-то там великанишку – это для вас пустяк, а просит об том благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомиконского в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – возразил Дон Кихот, – я поступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть, в полном соответствии с данным мною обетом.

И, обратясь к девице, молвил:

– Великая красота ваша да восстанет, – я согласен оказать просимую вами услугу.

– Я прошу о том, – сказала девица, – чтобы ваша самоотверженность последовала за мною немедленно, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

– Повторяю: я исполню вашу просьбу, – объявил Дон Кихот, – а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства – назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И – за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил, – напротив, он с отменной учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, молвил:

– Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, которой падение могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, другою рукой поддерживая свою госпожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко, – он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем Микомиконским. Одно лишь огорчало его – то, что королевство это находится в стране негров и что люди, коих определяют к нему в вассалы, будут чернокожие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры?»<sup>1</sup> Погрузить на корабли, привезти в Испанию, продать их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки

---

<sup>1</sup> Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры? – Торговля африканскими неграми, которых отправляли затем в Новый Свет, была широко распространена в Испании в XVI–XVII вв.

титул или должность – и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и смекалки обстригать это дельце и мигом продать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения.

Карденьо и священник наблюдали за всем этим из-за кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним присоединиться; наконец священник, будучи великим выдумщиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а именно: вынул из находившегося при нем футляра ножницы и в одну секунду отрезал Карденьо бороду, надел на него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался в одном камзоле и штанах; и Карденьо мгновенно стал совсем другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы себя не узнал. Пока они передевались, те уже проехали вперед, но им не составило труда первыми выйти на дорогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбрались из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнает его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

– Здравствуйте, зеркало рыцарства, добрый мой земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

– Позвольте, ваша милость, сеньор лицензиат! Мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком.

– Я этого ни в коем случае не допущу, – сказал священник, – вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп одного из этих мулов, принадлежащих этим сеньорам, что вместе с вашей милостью путешествуют, – если только они ничего не имеют против, – и я еще вообразу, что подо мною конь Пегас или же зебра, на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что и доныне покоится, заколдованный, в недрах великого холма Соломонова<sup>1</sup> близ великого Комплута.

– Этого я не предусмотрел, сеньор лицензиат, – заметил Дон Кихот, – но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

– По-моему, выдержит, – сказала принцесса, – я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня такой обходительный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

– Совершенная правда, – подтвердил цирюльник.

Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, то был наемный мул, а сказать «наемный» – это все равно, что сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон Кихот

---

<sup>1</sup> Холм Соломонов – холм Сулема, расположенный к юго-западу от Алькала де Энарес, отождествленного здесь с Комплутом (латинское название Алькала, упоминаемое у Птолема).

же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

– Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кричавшему накрик, а затем, не долго думая, положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здоров и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, и он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород, – ведь на месте вырванной бороды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды.

– Справедливо, – сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник и что он и еще двое будут меняться – и так до самого постоянного двора, до которого отсюда две мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть Карденьо, цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

– Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лицензиат:

– В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротeya была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, что должно отвечать утвердительно, и сказала Дон Кихоту:

– Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.

– А коли так, – подхватил священник, – то мы проедем через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Картахену, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского<sup>1</sup>, а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства.

– Вы ошибаетесь, государь мой, – возразила принцесса, – не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании, и подвинула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длани.

– Довольно! Не расточайте мне более похвал, – прервал ее Дон Кихот, – мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор лицензиат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг, – право, мне это странно.

– На это я отвечу вам кратко, – отвечал священник. – Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родственник, назад тому много лет переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо<sup>2</sup> – это вам не кот заплакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас

---

<sup>1</sup> *Озеро Меотийское* – старинное название Азовского моря.

<sup>2</sup> *Песо* – в Южной и Центральной Америке (XVI–XVII вв.) за недостатком денег употреблялись слитки



напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную, а вот этого юношу, – примолвил он, указав на Карденьо, – и вовсе пустили, можно сказать, голеньким. Но это еще не все: местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и встать мятежом на короля, природного своего господина, коли нарушил мудрые его распоряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок и душе его не миновать гибели, да и телу придется несладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

– Так вот кто нас ограбил, – заключил священник. – Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.

### Глава XXX,

*повествующая о находчивости прелестной Доротеи и, еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном*

Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:

– По чести, сеньор лицензиат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает, и что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявленных негодяев.

– Глупец! – сказал ему на это Дон Кихот. – В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути, – за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится, – разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы, – тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний смерд и негодяй. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал предо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами:

– Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно данному обещанию вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость:

---

драгоценных металлов определенного веса (песо по-испански означает вес). Песо равнялось унции серебра или восьми серебряным реалам.

ведь если бы сеньор лицензиат знал, что каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

– Клянусь, – подтвердил священник. – Я бы еще и ус себе вырвал.

– Я замолчу, госпожа моя, – сказал Дон Кихот, – и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную и беспощадную месть.

– Я охотно исполню вашу просьбу, – молвила Доротея, – если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

– Не наскучит, госпожа моя, – сказал Дон Кихот.

Доротея же на это сказала:

– Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания.

Только успела она это вымолвить, Карденьо и цирюльник, снедаемые желанием узнать, какую историю сочинит находчивая Доротея, приблизились к ней, а за ними Санчо, который, подобно своему господину, принимал ее не за то, что она представляла собою в действительности. Она же, устроившись поудобнее в седле, откашлявшись и прочее, с великою приятностью начала так:

– Прежде всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

– Не удивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство – отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

– То правда, – заметила девица, – и я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать и правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма искусен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же – круглою остаться сиротою. Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий: всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, точно косою, и делает он это умышленно, дабы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает, – ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана – ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно-де не совладать, и чтобы без дальних размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и

обрету наконец избавление от всех зол, как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

– Наверно, он сказал – Дон Кихот, сеньора, – поправил ее Санчо Панса, – или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

– Твоя правда, – молвила Доротея. – Еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосками вроде щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Санчо! Поди-ка сюда, сынок, помоги мне раздеться, – я желаю удостовериться, точно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.

– Зачем же вашей милости раздеваться? – спросила Доротея.

– Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил ваш отец, – отвечал Дон Кихот.

– Раздеваться не к чему, – заметил Санчо, – я знаю, что у вашей милости точно такая родинка посередине спины, и это признак силы.

– Этого довольно, – сказала Доротея. – Другьям не пристало обращать внимание на мелочи, и на плече родинка или же на спине – это не имеет значения, важно, что она есть, где бы она ни была: ведь тело везде одинаково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю.

– Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? – спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал:

– Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

– Я это и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Вот так будет понятно, – сказал священник, – продолжайте же, ваше величество.

– Продолжение будет состоять лишь в том, – сказала Доротея, – что счастье мне наконец улыбнулось, и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу, – поведу же я его прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандафиланд столь незаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами, – я их так и не разобрала, – что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою.

– Как тебе это нравится, друг Санчо? – обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу. – Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство и королева – хоть сейчас бери бразды правления и женись.

– Клянусь, что это похоже на правду, – воскликнул Санчо, – и какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину *Нискладуниладу* и не женится! А ведь королева-то, ей-ей, недурна! Такие блошки хоть бы и для моей постели.

С этими словами он вне себя от восторга дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну кого

бы, право, не насмешило безумие господина и простодушные слуги? Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

– Такова, сеньоры, моя история, – продолжала Доротея. – Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, что сказал в начале моей повести сеньор лицензиат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются.

– Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! – воскликнул Дон Кихот. – И я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого... к сожалению, не могу сказать – «этого доброго меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал:

– А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из-за той... далее умолкаю, – словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже на птице Феникс.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил:

– Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом. Да ну женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, иначе пускай все летит к черту!

Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили сеньору Дульсинею, а потому взмахнул копьём и, не говоря худого слова, два раза подряд так огрел Санчо, что тот полетел вверх тормашками, и если бы Доротея его не усостила, он, уж верно, вытряс бы из Санчо душу.

– Вы думаете, мерзкий грубиян, – немного спустя заговорил он, – что вы всегда так же нагло будете себя со мною держать и все на свете путать, а я буду вас миловать? Так нет же, окаянный мерзавец, ибо вы, точно, мерзавец, коли язык ваш коснулся несравненной Дульсины. Да знаете ли вы, пентюх, чурбан, лоботряс, что если б она не вливала силы в мою десницу, то я не убил бы и блохи? А ну говорите, насмешник с языком змеи: кто, по-вашему, завоевал это королевство, отсек голову великану и сделал вас маркизом (ведь я полагаю, что все это уже состоялось, что это, как говорится, решено и подписано), – кто, как не доблесть Дульсины, избравшей мою длань своим орудием? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием. О подлец, негодяй, как же вы неблагодарны! Вас вознесли из праха и сопричислили к титулованной знати, а вы благодетельнице своей платите злословием!

Санчо был избит отнюдь не до бесчувствия, а потому слышал все, что говорил его господин; довольно легко став на ноги, он спрятался за иноходца Доротеи и оттуда обратился к Дон Кихоту:

– Скажите мне, сеньор: положим, ваша милость порешила не жениться на этой знатной принцессе, но тогда, стало быть, вы не получите королевства, а коли так, то каких же мне ожидать от вас милостей? Вот я чего боюсь. Во что бы то ни стало женитесь на этой королеве, тем паче, она нам прямо с неба свалилась, а потом можно будет вернуться к сеньоре Дульсинее, – ведь, уж верно, были на свете такие короли, которые жили с полюбовницами. А что касается красоты, то уж тут мое дело сторона, – по чести, коли на то пошло, мне обе нравятся, хотя, впрочем, сеньору Дульсинею я отродясь не видел.

– Как так не видел, кощунствующий еретик? – вскричал Дон Кихот. – Да ведь ты только что привез мне от нее привет?

– Я хотел сказать, что мне не удалось во всех подробностях рассмотреть на свободе ее красоту и каждую из ее прелестей особо, – отвечал Санчо, – но ежели оценить ее на глазок, то она недурна собой.

– Вот теперь я тебя прощаю, – сказал Дон Кихот, – и ты также не помни зла, ибо в первых движениях чувства люди не вольны.

– Уж я вижу, – заметил Санчо. – А у меня первое движение – поговорить, и никак я не могу удержаться, чтобы хоть раз не высказать того, что вертится на языке.

– Все же, Санчо, – сказал Дон Кихот, – думай о том, что ты говоришь, а то ведь повадился кувшин по воду ходить... ты меня понимаешь.

– Ну что ж, – возразил Санчо, – на небе есть бог, никакие козни от него не укроются, и он рассудит, что хуже: дурно ли говорить, как я, или же дурно поступать, как ваша милость.

– Полно, полно, – вмешалась Доротея, – беги, Санчо, поцелуй своему господину руку, попроси у него прощения, впредь будь осторожнее в похвалах и порицаниях, не говори дурно о сеньоре Тобосе, которую я не имею чести знать, хотя и готова к ее услугам, и уповай на бога, а уж владения у тебя непременно будут, и заживешь ты по-княжески.

Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и попросил пожаловать руку, и тот величественно ее пожаловал; когда же Санчо поцеловал руку, Дон Кихот благословил его и велел следовать за ним, – ему надобно-де расспросить его и потолковать с ним о весьма важных вещах. Санчо так и сделал, и, проехав вперед, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

– С тех пор как ты возвратился, у меня не было времени и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, с коим ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежало привезти, но теперь, когда по милости судьбы у нас есть для этого и время и место, ты не вправе лишать меня счастья услышать добрые вести.

– Спрашивайте о чем угодно, ваша милость, – сказал Санчо, – я откликнусь на все так же точно, как мне тут аукнули. Но только я вас умоляю, государь мой: не будьте вы впредь столь мстительны.

– Что ты хочешь этим сказать, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Я хочу сказать, – отвечал Санчо, – что стукнули вы меня больше из-за того, что недавно черт нас дернул поссориться, чем за мои слова о сеньоре Дульсинее: ведь я ее люблю и чту, как святыню, – хотя, впрочем, насчет святости там слабовато, – единственно потому, что она – утеха вашей милости.

– Сделай одолжение, Санчо, не начинай ты опять сначала, – сказал Дон Кихот, – мне это надоело. Ведь я тебя только что простил, а ты сам знаешь, что говорят в таких случаях: «За новый грех – новое покаяние».

Но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле, и когда он подъехал ближе, им показалось, что это цыган; однако стоило Санчо Пансе, который при виде каждого осла становился сам не свой, взглянуть в этого человека, и он тотчас же догадался, что это Хинес де Пасамонте, и по одной этой цыганской шерстинке распознал овчинку собственного своего осла, и распознал безошибочно, ибо Пасамонте, точно, ехал верхом на его сером; должно заметить, что упомянутый Пасамонте, дабы не быть узанным и дабы продать осла, оделся так, как одеваются цыгане, на языке которых, а равно и на многих других языках, он изъяснялся не хуже, чем на своем родном. Санчо увидел его и

узнал, а увидев и узнав, тотчас же завопил истошным голосом:

– Эй, вор Хинесильо! Отдай мне мое добро, отпусти мою душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь моего осла, верни мне мою усладу! Пошел прочь, сука, сгинь, разбойник, не смей трогать чужого!

Собственно, в таком количестве поносных слов не было необходимости, ибо при первом же из них Хинес соскочил с осла и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно исчез и скрылся с глаз. Санчо подбежал к серому и, обняв его, молвил:

– Ну как ты без меня поживал, сокровище мое, красавец мой, дружочек мой серенький?

И при этом он целовал и ласкал его, как человека. Осел помалкивал, – он принимал поцелуи и ласки Санчо, но в ответ не произносил ни слова. Приблизились остальные и поздравили Санчо с возвращением серого, а Дон Кихот, который был особенно рад за своего оруженосца, объявил, что не отменяет приказа касательно трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как Дон Кихот и Санчо между собою беседовали, священник, обратившись к Доротее, отметил изрядное ее искусство, проявившееся как в самом рассказе, так и в его краткости и сходстве с теми, что встречаются в рыцарских романах. Доротея ему на это сказала, что она увлекалась рыцарскими романами, но что она не имеет понятия, где находятся разные провинции и морские гавани, и оттого сказала наобум, что высадилась в Осуне.

– Я так и понял, – сказал священник, – и поспешил вмешаться, после чего все уладилось. Но разве не странно, что незадачливый этот идалго так легко верит всяким басням и небылицам единственно потому, что их слог и лад напоминают вздорные его романы?

– Так, так, – сказал Карденьо, – это в самом деле нечто необычайное и неслыханное, и я не думаю, чтобы нашелся столь глубокий ум, который, задавшись целью придумать и сочинить что-нибудь вроде этого, добился бы успеха.

– Но ведь тут еще вот какое обстоятельство, – заметил священник. – Добрый этот идалго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за человека большого ума.

В то время как они вели этот разговор, Дон Кихот, продолжая разговор с Санчо, молвил:

– Итак, друг Панса, раздоры наши – побоку, и ты мне, не помня ни зла, ни обиды, скажи: где, как и когда видел ты Дульсинею? Чем она была занята? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? Какое у нее было лицо, когда она читала мое послание? Кто тебе его переписал? Словом, поведай мне все, что, по-твоему, заслуживает в сем случае упоминания, вопроса и ответа, – поведай, ничего не прибавляя и не присочиняя ради того, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не пропуская, иначе ты лишишь меня такового.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Сказать по совести, никто мне ничего не переписывал, потому никакого письма я с собою не брал.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – записную книжку я обнаружил у себя спустя два дня после твоего отъезда, и это меня весьма огорчило, ибо я не знал, что ты будешь делать, когда увидишь, что письма нет, и я все думал, что ты воротишься, как скоро заметишь свою оплошность.

– Так бы оно и было, – возразил Санчо, – если б я не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала, так что я пересказал его псаломщику, и тот здорово, слово в слово, мне его записал, да еще прибавил, что хоть и много приходилось ему читать посланий об отлучении, но такого прекрасного послания он за всю свою жизнь не видел и не читал.

– И ты все еще помнишь его, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Нет, сеньор, – отвечал Санчо, – я его пересказал, а потом вижу, что оно мне больше

не понадобится, – ну и стал забывать, я только и помню, что *безотказная*, то бишь *бесстрастная сеньора*, и потом в конце: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа*. А в середину я вставил штук триста всяких там «душ», «жизней» да «очей моих».

## Глава XXXI

*О любопытной беседе, которую вели между собою Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, равно как и о других происшествиях*

– Пока что я доволен, – сказал Дон Кихот, – продолжай. Вот ты пришел, – чем в это время была занята царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг или же золотыми нитками вышивала девиз для преданного ей рыцаря?

– Никак нет, – отвечал Санчо, – она просеивала зерно у себя во дворе.

– Так вот знай же, – сказал Дон Кихот, – что зерна, к коим прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты не обратил внимания, друг мой, какое это было зерно? Верно, самой лучшей пшеницы?

– Ан нет, самой что ни на есть дешевой, – отвечал Санчо.

– Ну так я тебя уверяю, – сказал Дон Кихот, – что из зерна, просеянного ее руками, вне всякого сомнения получается наичистейший белый хлеб. Но продолжай. Когда ты вручил ей мое послание, поцеловала ли она его? Возложила ли себе на голову? Совершила ли приличествующие моему письму церемонии, – словом, что она сделала?

– Когда я передавал ей письмо, – отвечал Санчо, – она с увлечением трясла решето, в коем было изрядное количество пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка, милый человек, письмо на мешок, – пока всего не просею, я его читать не стану».

– О мудрая сеньора! – воскликнул Дон Кихот. – Уж верно, это она для того, чтобы прочитать на досуге и получить полное удовольствие. Дальше, Санчо. А пока она занималась своим делом, какие вела она с тобою речи? Спрашивала ли обо мне? И что ты ей ответил? Да ну же, рассказывай все, как было, капли не оставляй на дне чернильницы!

– Она меня ни о чем не спрашивала, – отвечал Санчо, – но я ей все рассказал: так, мол, и так, мой господин, чтобы угодить вам, забрался в горы, ровно дикарь, и, голый до пояса, кается: спит на земле, во время трапезы обходится без скатерти, бороды не чешет, плачет и клянет судьбу.

– Насчет того, что я клянусь судьбу, это ты неудачно выразился, – заметил Дон Кихот. – Напротив, я ее благословляю и буду благословлять всю жизнь за то, что я оказался достойным полюбить столь высокую особу, какова Дульсинея Тобосская.

– Она высокая, – сказал Санчо, – вершка на три с лишком выше меня будет, клянусь честью.

– Как так, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Разве ты с ней мерился?

– Вот как я мерился, – отвечал Санчо, – я вызвался помочь ей взвалить на осла мешок с зерном и стал с нею рядом, – тут-то я и заметил, что она выше меня на добрую пядь.

– И кто посмеет утверждать против очевидности, – воскликнул Дон Кихот, – что высокому ее росту не соответствует и не украшает ее бездна душевных красот? Но ты, уж верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: когда ты подошел к ней вплотную, не почувствовал ли ты некий упоительный аромат, некое благоухание, нечто необычайно приятное, для чего я не могу подобрать подходящего выражения? Словом, что от нее пахнет, как в лучшей из модных лавок?

– На это я могу только сказать, что я вроде как мужской душок почувствовал, – отвечал Санчо, – должно полагать, она много двигалась, ну и вспотела, и от нее попахивало кислятиной.

– Полно врать, – возразил Дон Кихот, – у тебя, наверно, был насморк, или же ты почувствовал свой собственный запах. Я же знаю, как благоухает эта роза без шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.

– Все может быть, – согласился Санчо, – от меня часто исходит тот самый дух, который, как мне показалось, шел тогда от ее милости сеньоры Дульсинеи. И тут ничего удивительного нет: ведь мы с ней из одного теста.

– Итак, – продолжал Дон Кихот, – она уже просеяла зерно и отправила на мельницу. Что она сказала, когда прочитала послание?

– Послание она не прочла, – отвечал Санчо, – она сказала, что не умеет ни читать, ни писать. Она разорвала его в клочки и сказала, что боится, как бы кто в селе не прочел его и не узнал ее секретов, – с нее, мол, довольно и того, что я передал ей на словах насчет любви, которую ваша милость к ней питает, и того из ряду вон выходящего покаяния, которое вы ради нее на себя наложили. А затем она велела передать вашей милости, что она целует вам руки и что ей больше хочется с вами повидаться, нежели писать вам письма, а потому она, дескать, просит и требует, чтобы по получении настоящего распоряжения вы перестали дурачиться и, выбравшись из этих дебрей, если только что-нибудь более важное вас не задержит, нимало не медля направили путь в Тобосо, потому она страх как хочет повидаться с вашей милостью. Она от души смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя *Рыцарем Печального Образа*. Спросил я, заходил ли к ней достопамятный бискаец, – она сказала, что заходил и что он малый хороший. Еще я спросил ее про каторжников, но она сказала, что пока еще никто из них к ней не заходил.

– Пока все идет хорошо, – заметил Дон Кихот. – Но скажи мне, какую драгоценную вещь дала она тебе на прощанье за вести обо мне? Ведь у странствующих рыцарей и дам искони повелось жаловать оруженосцам, наперсникам и карликам, прибывающим с вестями о дамах к рыцарям или же о рыцарях к дамам, какую-нибудь драгоценную вещь в благодарность за исполненное поручение.

– Весьма возможно, и, по-моему, это обычай похвальный. Но только это, наверно, прежде так было, а нынче принято дарить кусок хлеба с сыром, потому только это и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с нею прощался, да и сыр-то вдобавок овечий.

– В высшей степени щедрая благодетель, – возразил Дон Кихот, – и Дульсинея не подарила тебе какой-нибудь золотой вещи, по всей вероятности, единственно потому, что у нее ничего не нашлось под рукой, однако подарки дороги не только на праздник, – я с нею свижусь, и все уладится. Но знаешь, что меня удивляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: на то, чтобы съездить в Тобосо и вернуться обратно, ты потратил три дня с лишком, а ведь отсюда до Тобосо более тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый кудесник, который обо мне печется и питает ко мне дружеские чувства, – а таковой у меня, конечно, есть, да и не может не быть, иначе я не был бы славным странствующим рыцарем, – что помянутый кудесник неприметно помогал тебе в пути: ведь иной из таких кудесников схватит странствующего рыцаря, когда тот спит у себя на кровати, и рыцарь сам не знает, как, что и почему, а только на второй день просыпается за тысячу миль от того места, где лег спать. А если б не кудесники, странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга из беды, как это они делают постоянно: бывает иной раз так, что кто-нибудь из рыцарей сражается в горах Армении с андриаком, со злым чудовищем или же с другим рыцарем, – вдруг, откуда ни возьмись, в самый страшный для него миг сражения, когда он уже на волосок от смерти, прилетает туда на облаке или же на огненной колеснице рыцарь, его друг, который только что перед тем находился в Англии, бросается на его защиту и спасает от смерти, а вечером этот рыцарь уже у себя дома и с большим аппетитом ужинает, а до его дома, может быть, две, а то и три тысячи миль. И всем этим рыцари обязаны искусству и мудрости мудрых волшебников, заботящихся о доблестных рыцарях. Вот почему, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты за такое короткое время успел обернуться, ибо, как я уже сказал, некий мудрый покровитель перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил.

– Уж верно, так оно и было, – сказал Санчо, – потому Росинант мчался, ей-ей, как



цыганский осел, у которого в ушах ртуть<sup>1</sup>.

– Какая там ртуть! – воскликнул Дон Кихот. – Не ртуть, а целый легион бесов, а уж это отродье и само носится и заставляет носиться без устали всякого, кто только ему попадется. Но довольно об этом. Как же мне, по-твоему, надлежит теперь поступить, коли моя госпожа велит мне явиться к ней? Я почитаю себя обязанным выполнить ее приказание и вместе с тем не могу сделать обещанной милости той принцессе, что едет с нами, да и по законам рыцарства я должен сначала исполнить свое обещание, а потом уже думать об удовольствиях. С одной стороны, меня преследует и томит желание свидеться с моею госпожою; с другой стороны, меня влекут и призывают данное обещание и та слава, которую это предприятие мне сулит. Но вот что я надумал: я поеду быстрее и постараюсь как можно скорей добраться до этого великана, приехав же, отсеку ему голову и благополучно введу принцессу во владение ее странюю, а затем, не теряя мгновенья, помчусь к светоносной владычице, озаряющей мою душу, и представлю ей столь уважительные причины, что она не осудит меня за опоздание, – она увидит, что все это служит лишь к вящей славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал, достигаю и еще когда-либо в этом мире достигну, проистекает от ее благосклонности и моей верности.

– Ах, ваша милость, до чего ж у вас голова не в порядке! – воскликнул Санчо. – Ну скажите мне, сеньор: неужели ваша милость собирается даром пропутешествовать, и упустить, и прозевать такую богатую и знатную невесту, в приданое за которой дают целое королевство, каковое, – честное слово, я сам слышал, – имеет свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, побольше Португалии и Кастилии, вместе взятых, и изобилует всем, что необходимо для того, чтобы поддержать человеческое существование? И не перечьте вы мне, ради создателя, – лучше постыдитесь своих слов, послушайтесь моего совета и, не во гнев вам будь сказано, обвенчайтесь в первом же селении, где только найдется священник, а не то к вашим услугам наш лицензиат, – он вас обвенчает в лучшем виде. И еще примите в рассуждение, что в моем возрасте можно давать советы, что этот совет как нельзя более уместен и что лучше синицу в руки, чем журавля в небе, – ведь кто ищет от добра добра, тому долго ль до беды, а за одну беду – как это говорится? – семь ответов бывает.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если ты советуешь мне жениться единственно потому, что, убив великана, я тотчас же сделаюсь королем и мне сподручнее будет осыпать тебя щедротами и пожаловать обещанное, то знай, что мне и неженатому не составит труда исполнить твое желание, ибо, прежде чем вступать в бой, я выговорю себе, что в случае моей победы, даже если я и не женюсь, мне отдадут часть королевства, дабы я мог подарить ее кому захочу. А когда она мне достанется, то кому же я ее подарю, как не тебе?

– Это-то ясно, – отвечал Санчо, – но только смотрите, ваша милость, выбирайте поближе к морю, чтобы в случае, если мне там не понравится, я мог погрузить моих черных вассалов на корабли, а затем сделать с ними то самое, что я уже вознамерился сделать. Так что, ваша милость, не вздумайте навещать госпожу мою Дульсинею теперь же, а поезжайте убивать великана, и мы с вами обделаем дельце, – клянусь богом, мне сдается, что оно будет для нас и весьма почетно и весьма выгодно.

– Говорят тебе, Санчо, что ты можешь быть совершенно спокоен, – сказал Дон Кихот, – я последую твоему совету и поеду сначала с принцессой, а потом уже навещу Дульсинею. Но имей в виду: о нашем с тобой решении и уговоре никому ни слова, даже нашим спутникам, ибо если Дульсинея столь сдержанна, что никому не желает поверять свои думы, то и мне, а равно и кому-либо другому, неприлично их разглашать.

– В таком случае, – заметил Санчо, – зачем же вы, ваша милость, отсылаете всех побежденных вашею дланью к госпоже моей Дульсинее? Стало быть, вы расписываетесь в том, что вы в нее влюблены и что она ваша возлюбленная? А если уж так необходимо, чтобы все, кто к ней отправляется, преклоняли пред нею колена и объявляли, что они посланы

---

<sup>1</sup> ...цыганский осел, у которого в ушах ртуть. – В те времена в народе было распространено убеждение, что цыгане при продаже лошадей вливают им в уши ртуть для того, чтобы они скакали быстрее.

вашею милостью и поступают в полное ее распоряжение, то могут ли после этого и ваши и ее думы оставаться в тайне?

– Экий ты дурачина, экий же ты простофиля! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели ты не понимаешь, Санчо, что все это способствует ее возвеличению? Да будет тебе известно, что, по нашим рыцарским понятиям, это великая для дамы честь, когда ей служит не один, а много странствующих рыцарей и когда они мечтают единственно о том, чтобы служить ей ради нее самой, не ожидая иной награды за все свои благие намерения, кроме ее соизволения принять их в число своих рыцарей.

– Подобного рода любовью должно любить господа бога, – такую я слышал проповедь, – сказал Санчо, – любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я-то предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

– Ах ты, черт тебя возьми! – воскликнул Дон Кихот. – Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием.

– По чести вам скажу, я даже читать и то не умею, – объявил Санчо.

Тут маэсе Николас крикнул им, чтобы они подождали, ибо все хотят сделать привал возле родника. Дон Кихот остановился, к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и все боялся, как бы Дон Кихот не поймал его на ошибке, ибо хоть он и знал, что Дульсинея – тобосская крестьянка, однако ж сроду не видел ее.

За это время Карденьо успел переодеться в платье, в котором трое наших путников впервые увидели Доротею, – платье, правда, неважное, но все же гораздо лучше того, которое он носил. Спешившись возле источника, все, – правда, слегка, – утолили мучивший их голод тем, что священник промыслил на постоялом дворе. В это самое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей степени внимательно оглядев тех, кто расположился возле источника, он со всех ног бросился к Дон Кихоту и, обняв его колени, нарочито жалобно заплакал и сказал:

– Ах, государь мой! Вы не узнаете меня, ваша милость? Посмотрите хорошенько, я тот самый мальчик Андрес, который был привязан к дубу и которого вы, ваша милость, освободили.

Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к присутствовавшим с такими словами:

– Дабы ваши милости уверились в том, как важно, чтобы жили на свете странствующие рыцари, которые мстят за обиды и утеснения, чинимые людьми бессовестными и злыми, да будет вашим милостям известно, что не так давно, проезжая по лесу, услышал я жалобные крики и стоны, – так стонать могло лишь существо униженное и беззащитное. Побуждаемый чувством долга, я поспешил туда, откуда, как мне казалось, слезные эти стоны долетали, и увидел привязанного к дубу мальчика, того самого, который ныне стоит перед вами, чему я от души рад, ибо он может подтвердить, что все это истинная правда. Итак, голый до пояса, он был привязан к дубу, и его стегал поводьями некий сельчанин, – как я узнал потом, его хозяин. Увидевши это, я тотчас спросил, что за причина столь нещадного бичевания. Грубиян ответил, что сечет он его потому, что это его слуга и что некоторые оплошности мальчугана проистекают не столько от его бестолковости, сколько от жуликоватости, на что отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за то, что я прошу у него свое жалованье». Хозяин стал оправдываться и разливаться соловьем, я же выслушать его выслушал, но оправданий не принял. Коротко говоря, я велел отвязать мальчика и взял с сельчанина клятву, что он пойдет с ним домой и уплатит ему все до последнего реала, да еще с благодарностью. Не так ли, милый Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном отдал я это приказание и с каким подобострастным видом обещал он исполнить то, что я повелел, предписал и потребовал? Отвечай, – не смущайся и не робей. Расскажи этим сеньорам все, как было, дабы они уразумели и признали, какое это великое благо, что на больших дорогах можно встретить странствующих рыцарей.

– Все это совершенная правда, ваша милость, – подтвердил мальчик, – вот только кончилось это дело не так, как ваша милость предполагает, а как раз наоборот.

– Почему наоборот? – спросил рыцарь. – Разве сельчанин тебе не уплатил?

– Не только не уплатил, – отвечал мальчуган, – а, едва успела ваша милость выехать из лесу и мы остались вдвоем, он снова привязал меня к тому же самому дубу и так мне всыпал, что у меня чуть кожа не лопнула, вроде как у святого Варфоломея. И лупил он меня с шуточками да прибауточками и все прохаживался на ваш счет, так что, если б не боль, я покатывался бы со смеху. В конце концов скверный мужик так немилосердно меня отстегал, что по его милости я до сего дня пролежал в больнице. А виноваты во всем этом вы, государь мой, – ехали бы вы своей дорогой, не лезли, куда вас не спрашивают, и не вмешивались в чужие дела, тогда мой хозяин от силы раз двадцать пять стегнул бы меня, затем отвязал и уплатил бы мне долг. Но как ваша милость ни с того ни с сего оскорбила его и наговорила грубостей, то он воспылал злобой, а как выместить ее на вас, государь мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча вылилась на меня, и останусь я, видно, теперь на всю жизнь калекой.

– Ошибка моя заключается в том, что я уехал, не подождав, пока он тебе заплатит, – сказал Дон Кихот, – мой большой опыт должен был бы мне подсказать, что смерд никогда не держит слова, коли это ему не выгодно. Но ведь ты помнишь, Андрес, я же клялся, что если он тебе не заплатит, то я стану искать его и найду, хотя бы он прятался во чреве китовом.

– Совершенная правда, – подтвердил Андрес, – да что толку!

– Вот ты увидишь, какой от этого толк, – молвил Дон Кихот.

С этими словами он вскочил и велел Санчо взнуздать Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротeya спросила, что он намерен предпринять. Он ответил, что намерен отправиться на розыски смерда, назло и наперекор всем смердам на свете наказать его за дурной поступок и заставить уплатить Андресу все до последнего мараведи; она же, напомнив Дон Кихоту, что, согласно данному им обещанию, он не вправе заниматься другими делами, пока не доведет до конца ее дело, примолвила, что все это ему должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он умерит свой пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.

– И то правда, – сказал Дон Кихот, – придется Андресу потерпеть, пока я, как вы изволили заметить, сеньора, отвоюю королевство. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю его уплатить.

– Не верю я вашим клятвам, – объявил Андрес. – Любой мести на свете я предпочел бы, чтобы у меня было сейчас с чем добратся до Севильи. Коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне с собой, и оставайтесь с богом вы, ваша милость, и все странствующие рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали, как они порыцарствовали со мной.

Санчо выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок сыру, отдал их мальчугану и сказал:

– На, братец Андрес, – нам всем выпала такая же горькая доля.

– Какая же доля выпала вам? – спросил Андрес.

– Вот эта самая доля хлеба и сыра, – отвечал Санчо. – Да еще, кто знает, может, у меня и хлеба-то с сыром не будет, потому, приятель, было бы тебе известно, что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится терпеть и муки голода, и удары судьбы, и разные другие вещи, весьма чувствительные, но почти непередаваемые.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше ничего не дает, понурил голову и, как говорится, пошел отмерять шаги. Впрочем, на прощанье он сказал Дон Кихоту следующее:

– Ради создателя, сеньор странствующий рыцарь, если вы еще когда-нибудь со мной встретитесь, то, хотя бы меня резали на куски, не защищайте и не выручайте меня и не избавляйте от беды, ибо ваша защита навлечет на меня еще горшую, будьте вы прокляты богом, а вместе с вашей милостью и все странствующие рыцари, какие когда-либо появлялись на свет.

Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустился, что

никто не дерзнул броситься за ним в погоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота в великое смущение, и присутствовавшим надлежало крепко держать себя в руках, чтобы не рассмеяться и не смутить его окончательно.

## Глава XXXII,

*повествующая о том, что произошло с Дон Кихотом, и со всей его свитой на постоялом дворе*

Покончив с роскошною трапезой, они тотчас же оседлали своих скакунов и на другой день без каких-либо достойных упоминания приключений добрались до постоялого двора – этой грозы нашего оруженосца; и сколько ни старался он улизнуть, а все же пришлось ему войти. Хозяин, хозяйка, их дочка и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом веселом расположении духа, и Дон Кихот, принявши важный и гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем в прошлый раз; хозяйка же ему на это сказала, что если он заплатит получше, чем в прошлый раз, то она приготовит ему царское ложе. Дон Кихот обещал, и ему соорудили пристойное ложе в том же самом чулане, и он тут же лег, ибо чувствовал во всем теле страшную слабость и плохо соображал.

Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к цирюльнику и, схватив его за бороду, начала кричать:

– Крест истинный, не сделать вам больше себе бороды из моего хвоста, и вы мне его сей же час отдадите: ведь мужнин-то причиндал валяется на полу, стыд и срам, – то есть, я хочу сказать, его гребешок, который я всегда втыкала в мой чудный хвост.

Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе; наконец лицензиат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо теперь уже, дескать, нет нужды в этом изобретении, напротив того, он волен объявиться и предстать в настоящем своем обличье, а Дон Кихоту можно будет объяснить, что, спасаясь бегством от каторжников, которые их ограбили, он укрылся на постоялом дворе; если же Дон Кихот спросит, где слуга принцессы, то ответить, что она послала его вперед известить подданных ее, что она возвращается в свое королевство, а с нею общий их избавитель. Проникшись доводами священника, цирюльник весьма охотно отдал хозяйке хвост, и вместе с хвостом они возвратили ей все принадлежности, коими она наделила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Обитатели постоялого двора подивились красоте Доротеи, а также миловидности юноши Карденьо. Священник велел подавать на стол все, что есть, и хозяин, в надежде на лучшее вознаграждение, мигом приготовил приличный обед; а Дон Кихот между тем все еще спал, но все решили, что будить его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее еды. За обедом проезжающие в присутствии хозяина и его жены, их дочери и Мариторнес заговорили о необыкновенном виде умственного расстройства, коим страдал Дон Кихот, и о том, как они его отыскивали. Хозяйка рассказала, что произошло между Дон Кихотом и погонщиком, а затем, поглядев, нет ли здесь Санчо, и удостоверившись, что нет, рассказала и о подбрасывании на одеяле, чем немало потешила слушателей. Когда же священник высказал мнение, что Дон Кихот спятил оттого, что начитался рыцарских романов, в разговор вмешался хозяин:

– Не понимаю, как это могло случиться. По мне, лучшего чтива на всем свете не сыщешь, честное слово, да у меня самого вместе с разными бумагами хранится несколько романов, так они мне поистине красят жизнь и не только мне, а и многим другим: ведь во время жатвы у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди них всегда найдется грамотей, и вот он-то и берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с великим удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. О себе, по крайности, могу сказать, что когда я слышу про эти бешеные и страшные удары, что направо и налево влепят рыцари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать про это я готов день и ночь.

– Да и я их не меньше твоего обожаю, – сказала хозяйка, – потому у меня в доме только

и бывает тишина, когда ты сидишь и слушаешь чтение: ты тогда просто балдеешь и даже забываешь со мной поругаться.

– Совершенная правда, – подтвердила Мариторнес, – и скажу по чести, я тоже страсть люблю послушать романы, уж больно они хороши, особенно когда пишут про какую-нибудь сеньору, как она под апельсиновым деревом обнимается со своим миленьким, а на страже стоит дуэнья, умирает от зависти и ужасно волнуется. Словом, для меня это просто мед.

– А вы что скажете, милая девушка? – спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери.

– Сама не знаю, клянусь спасением души, – отвечала она. – Я тоже слушаю чтение и, по правде говоря, хоть и не понимаю, а слушаю с удовольствием. Только нравятся мне не удары – удары нравятся моему отцу, а то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими дамами; право, иной раз даже заплачешь от жалости.

– А если бы рыцари плакали из-за вас, вы постарались бы их утешить, милая девушка? – спросила Доротея.

– Не знаю, что бы я сделала, – отвечала девушка, – знаю только, что некоторые дамы до того жестоки, что рыцари называют их тигрицами, львицами и всякой гадостью. Господи Иисусе! И что же это за бесчувственный и бессовестный народ: из-за того, что они нос дерут, честный человек должен умирать или же сходить с ума! Не понимаю, к чему это кривляние, – коли уж они такие порядочные, так пускай выходят за них замуж: те только того и ждут.

– Помолчи, дочка, – сказала хозяйка, – ты, я вижу, много в этих делах понимаешь, а девице не к лицу много знать и много болтать.

– Сеньор меня спросил, а я не могла не ответить, – возразила девушка.

– Вот что, хозяин, – сказал священник, – принесите-ка ваши книги, я их просмотрю.

– С удовольствием, – молвил хозяин.

Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со старым сундучком, застегнутым на цепочку, открыл его и достал три толстых тома, а также весьма красивым почерком исписанные бумаги. Первая книга была *Дон Сиронхил Фракийский*<sup>1</sup>, вторая – *Фелисмарт Гирканский*, а третья – *История великого полководца Гонсало Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания Дьего Гарсии де Паредес*. Как скоро священник прочитал первые два заглавия, то обратился к цирюльнику и сказал:

– Здесь нам недостает только ключницы нашего приятеля и его племянницы.

– Ничего, – возразил цирюльник, – я и сам сумею отнести их на скотный двор или же бросить в печку, – кстати, вон в ней сколько огня.

– Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои книги? – спросил хозяин.

– Только две, – отвечал священник: – *Дона Сиронхила* и *Фелисмарта*.

– Что ж, по-вашему, – продолжал допытываться хозяин, – они еретические или флегматические, коли вы хотите их сжечь?

– *Схизматические* должно говорить, друг мой, а не *флегматические*, – заметил цирюльник.

– Пусть будет так, – сказал хозяин, – только если вы непременно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж лучше *Великого полководца* и *Дьего Гарсию*, – я скорей позволю сжечь собственного сына, чем какую-нибудь еще.

– Друг мой! – возразил священник. – Эти две книги лживы, они полны всякого вздора и чепухи, а книга про великого полководца – это история правдивая, и описываются в ней деяния Гонсало Фернандеса Кордовского, которого за многочисленные и великие подвиги весь мир прозвал *великим полководцем*, и это славное и звучное прозвище только он один и заслужил. А Дьего Гарсия де Паредес – это знатный кавальеро родом из эстремадурского города Трухильо, отважнейший воин, которого природа наделила такой силой, что он одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу. А как-то раз стал он со шпагой в

---

<sup>1</sup> «Дон Сиронхил Фракийский» – рыцарский роман «Отважный рыцарь дон Сиронхил Фракийский, в четырех частях» (1545).

руке у входа на мост и один преградил путь неисчислимому воинству. И еще совершил он такие подвиги, что если б не он повествовал о них со скромностью, присущей кавальеро, который описывает собственную свою жизнь, а какой-нибудь ничем не связанный и беспристрастный летописец, то деяния Гекторов, Ахиллесов и Роландов были бы после этого преданы забвению.

– Подумаешь, какое дело! – воскликнул хозяин. – Этим вы нас не удивите: останавливает-де мельничное колесо! Ей-богу, ваша милость, почитайте-ка вы про Фелисмарта Гирканского: ведь он одним махом рассек пополам пять великанов, словно они были бобовые, вроде тех монашков, которых делают наши ребята. А другой раз схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, насчитывавшим миллион шестьсот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил их всех в бегство, точно стадо овец. А что вы скажете о славном доне Сиронхиле Фракийском, смельчаке и удалце, о котором написано в книжке, что когда он плыл по реке, то из воды вынырнул огненный змей, и, увидев змея, он тотчас же на него бросился, сел верхом на его чешуйчатую спину и обеими руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, чувствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за благо опуститься на дно и увлек за собой рыцаря, который так и не выпустил его из рук? Зато под водой рыцарь увидел перед собою дворцы и сады, красивые на удивление, и тут змей преобразился в древнего старца и рассказал ему такие вещи, что прямо заслушаешься. Не говорите, сеньор, если б вы только послушали, вы бы с ума сошли от восторга. Куда годятся после этого *ваши* великий полководец и Дьего Гарсия!

Послушав такие речи, Доротея шепнула на ухо Карденьо:

– Еще немного – и наш хозяин станет вторым Дон Кихотом.

– Мне тоже так кажется, – заметил Карденьо. – По всем признакам, он убежден, что все, о чем пишется в романах, точь-в-точь так на самом деле и происходило, и в этом его не разуверят даже босые братья<sup>1</sup>.

– Послушайте, сын мой, – снова заговорил священник, – да ведь не было на свете никакого Фелисмарта Гирканского, дона Сиронхила Фракийского и подобных им рыцарей, о которых повествуют рыцарские романы, – все это одна игра воображения, и сочиняют их праздные умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди забавлялись, вот как забавляются, слушая их, ваши жнецы. Но я вас клятвенно уверяю, что таких рыцарей на свете не было и столь нелепых подвигов никто в мире не совершал.

– Это вы кому-нибудь другому расскажите, – заметил хозяин. – Мы сами с усами, кажется, не первый год на свете живем. Полно вам, ваша милость, дурачка из меня строить, – ей-богу, не на такого напали. Ишь вы чего захотели, ваша милость, – уверить меня, будто все, о чем пишут в этих хороших книгах, – вздор и ерунда, да ведь отпечатано-то это с дозволения сеньоров из государственного совета, а они не такие люди, чтобы позволять печатать столько дребедени сразу – и про битвы, и про чародейства, от которых голова идет кругом!

– Я же вам сказал, друг мой, что все это делается, чтобы занять праздные наши умы, – возразил священник. – И как в государствах благоустроенных дозволяется играть в шахматы, в мяч и на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает, не должен или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выдавать в свет подобные книги, ибо предполагается, – да так оно и есть на самом деле, – что во всем мире нет такого невежды, который признал бы какую-либо из этих историй за правду. И если б мне было позволено и слушатели мои изъявили бы желание, я мог бы кое-что сказать по поводу того, каким должен быть хороший рыцарский роман, – может статься, это было бы полезно, а кое-кому даже и приятно. Но я надеюсь когда-нибудь поговорить с людьми, способными восполнить этот пробел, а пока что, господин хозяин, вы уж мне поверьте, и вот вам ваши книги, – решайте сами, что в них правда и что ложь, читайте их себе на здоровье, но не дай бог вам захромать на ту ногу, на какую захромал постоялец ваш Дон Кихот.

---

<sup>1</sup> *Босые братья* – монахи Францисканского ордена, которым запрещено было носить какую-либо обувь, кроме сандалий.

– Ну нет, – сказал хозяин, – я с ума не сходил и странствующим рыцарем быть не собираюсь. Я отлично понимаю, что теперь уж не те времена, когда странствовали по свету преславные эти рыцари.

Во время этого разговора подоспел Санчо и, услышав, что ныне странствующие рыцари не водятся и что все рыцарские романы – враки и небылицы, смутился и призадумался и тут же дал себе слово, в случае если путешествие его господина паче чаяния кончится плачевно, уйти от него и возвратиться к жене, к детям и к обычным своим занятиям.

Хозяин хотел было унести сундучок с книгами, но священник ему сказал:

– Погодите, мне хочется посмотреть, что здесь написано таким прекрасным почерком.

Хозяин вынул бумаги и передал священнику, и тут священник увидел, что это рукопись листов в восемь, которой заглавие было выведено вверху крупными буквами: *Повесть о Безрассудно-любопытном*. Пробежав несколько строк, священник сказал:

– Озаглавлена эта повесть, право, недурно, у меня есть желание прочитать ее.

Хозяин же ему на это сказал:

– Прочтите, прочтите, ваше преподобие! Надобно вам знать, что мои постояльцы, которые ее читали, остались очень довольны и всячески старались выпросить ее у меня. Но я так и не дал, – я намерен возвратить ее тому человеку, который забыл здесь сундучок с книгами и бумагами. Очень может быть, что владелец когда-нибудь ко мне заедет, и хоть и скучно мне будет без книг, а все-таки честью клянусь, я ему их отдам: как-никак я христианин, хотя и трактирщик.

– Вы совершенно правы, друг мой, – сказал священник. – Со всем тем, если повесть мне понравится, то вы мне, надеюсь, позволите переписать ее.

– С моим удовольствием, – сказал хозяин. Пока они разговаривали, Карденьо взял повесть и стал читать; и, сойдясь во мнении со священником, он попросил его прочитать ее вслух.

– Я бы почитал, – сказал священник, – да только полезнее было бы употребить это время на сон, нежели на чтение.

– Для меня лучшим отдыхом было бы послушать какую-нибудь историю, – сказала Доротея. – Смятение, в коем еще пребывает мой дух, все равно не даст мне уснуть, хотя сон был бы мне необходим.

– В таком случае, – сказал священник, – я прочту повесть, хотя бы из любопытства: может статься, в ней, и точно, есть что-нибудь любопытное.

Маэсе Николас поспешил обратиться с тою же просьбой, вслед за ним Санчо; тогда священник, видя, что он и другим доставит удовольствие и сам получит таковое, сказал:

– Ну, хорошо, слушайте же меня внимательно. Повесть начинается так:

## Глава XXXIII,

*в коей рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном*

Во Флоренции, богатом и славном городе Италии, в провинции, именуемой Тоскана, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых дворянина, столь дружных между собою, что все знакомые обыкновенно называли их не по имени, а просто *два друга*. Были они холосты, молоды, одних лет и одних правил; всего этого было достаточно для того, чтобы они подружились. Правда, Ансельмо выказывал особую склонность к любовным похождениям, меж тем как Лотарио предавался охоте; случалось, однако ж, что Ансельмо изменял обычным своим развлечениям и принимал участие в развлечениях Лотарио, а Лотарио изменял своим и спешил принять участие в развлечениях Ансельмо; и такое между ними царило согласие, что жили они просто, как говорится, душа в душу.

Ансельмо без памяти влюбился в одну знатную и красивую девушку, уроженку того же города, и была она из такой хорошей семьи и так хороша собою, что, узнавши мнение друга

своего Лотарио, без которого он никогда ничего не предпринимал, решился он просить у родителей ее руки и решение свое претворил в жизнь; и с посольством к ним отправился Лотарио и довел дело до конца, к большому удовольствию своего друга, так что в скором времени Ансельмо уже обладал тем, чего он так жаждал, а Камилла, блаженствуя с любимым своим супругом, неустанно благодарила небо и Лотарио, через посредство которого ей столько досталось счастья. Первые дни после свадьбы, как всегда протекавшие в веселье, Лотарио по-прежнему часто бывал у друга своего Ансельмо, оказывая ему всевозможные почести, забавляя и развлекая его; но вот уж свадебные торжества кончились, поток гостей и поздравителей наконец иссякнул, и Лотарио сделался умышленно неаккуратным его посетителем, – он держался того мнения (а иного мнения и не мог держаться человек рассудительный), что женатых друзей не следует посещать и навещать так же часто, как когда они были холосты, ибо хотя истинная и добрая дружба не может и не должна быть мнительною, со всем тем честь женатого человека столь чувствительна, что задеть ее может не только друг, но, кажется, и родной брат.

От Ансельмо не укрылась отчужденность Лотарио, и он стал горько его в том упрекать, говоря, что если б он знал, что из-за его женитьбы они станут реже видаться, то ни за что не женился бы, и раз в ту пору, когда он был еще холостым, все, видя, в сколь добрых они между собой отношениях, стали ласково называть их *два друга*, то и не желает он из-за одной только чрезмерной осторожности Лотарио лишаться общепринятого и столь милого прозвища; что он умоляет Лотарио, – если только пристало им говорить между собою на таком языке, – по-прежнему чувствовать себя у него как дома и приходить и уходить когда угодно; что у супруги его Камиллы такие же склонности и влечения, как у него, и что, зная, сколь искренне они друг друга любили, она не может не удивляться теперешней необщительности Лотарио.

На все эти и многие другие доводы, с помощью коих Ансельмо пытался убедить Лотарио бывать у него по-прежнему, Лотарио отвечал так обдуманно, веско и умно, что добрые его побуждения в конце концов тронули Ансельмо, и они уговорились, что Лотарио два раза в неделю и по праздникам будет приходить к нему обедать; однако ж, несмотря на этот уговор, Лотарио порешил вести себя так, чтобы ничуть не страдала честь его друга, коего доброе имя было ему дороже своего собственного. Он рассудил, и рассудил вполне здраво, что мужу, которому небо послало красивую жену, надлежит строго следить за тем, кого он сам вводит как друга в свой дом, а также с кем из подруг общается его жена, ибо на улице, в церкви, во время народных гуляний, на поклонении святым местам (куда у мужа часто нет оснований не пустить жену) не всегда удастся условиться о свидании, но зато его легко может устроить у себя дома подруга или же родственница, которая пользуется особым ее доверием. К этому Лотарио прибавил, что и мужу и жене необходимо иметь друга, который указывал бы им на все их оплошности, ибо нередко случается, что муж, влюбленный в свою жену, многого не замечает или же из боязни прогневать ее не заговаривает с нею о том, как ей следует поступать и как не следует, и что служит ей к чести, а что непохвально, а между тем, предуведомленный своим другом, он легко мог бы все исправить. Но где же найти мудрого, преданного и верного друга, которого имел в виду Лотарио? Право, не знаю; один лишь Лотарио мог быть таковым, ибо он с крайним тщанием и предусмотрительностью охранял честь своего друга и старался урезывать, ограничивать и сокращать число отведенных для него дней, дабы досужим сплетникам, дабы взору праздношатающего и завистливого люда не показались предосудительными приходы богатого, благородного, благовоспитанного и, как он сам о себе полагал, отличающегося многими достоинствами молодого человека к такой прелестной женщине, как супруга Ансельмо Камилла; правда, ее скромность и добропорядочность способны были обуздать любой, самый злоречивый язык, однако ж Лотарио не желал подвергать опасности ее честь и честь своего друга и того ради посвящал отведенные для него дни разным делам, не терпящим, как он уверял, отлагательства, вследствие чего у Ансельмо много времени уходило на сетования, у Лотарио же – на оправдания. Но вот как-то раз, когда они вдвоем



вышли погулять в поле, Ансельмо обратился к Лотарио с такими словами:

– Ты, верно, полагаешь, друг Лотарио, что я не знаю, как должным образом прославить творца за те милости, какие он мне явил, даровав мне таких родителей и щедрою рукою меня одарив так называемыми природными способностями, а равно и земными благами, и за то высшее благо, которое он мне даровал, послав такого друга, как ты, и такую супругу, как моя Камилла, – два сокровища, коими я дорожу если не так, как должно, то, по крайности, как умею. И все же, хотя я обладаю всем, что обыкновенно бывает нужно для того, чтобы человек чувствовал себя и был счастливым, я чувствую себя самым обойденным и одиноким человеком во всей вселенной, и меня уже столько времени мучает и томит столь странное и из ряда вон выходящее желание, что я сам себе дивлюсь, осуждаю себя, борюсь с собою и тщусь умолчать о нем и утаить его от своих же собственных мыслей, и мне так же трудно сохранить свою тайну, как и умышленно ее обнародовать. И коли рано или поздно она все равно выйдет наружу, то я предпочитаю вверить ее тайникам твоей молчаливости, ибо я убежден, что при твоей молчаливости и при твоём рвении, которое ты, как истинный друг, выкажешь, дабы помочь мне, я в скором времени рассею свою тоску, и радость моя благодаря твоим стараниям достигнет той же степени, какой из-за моей взбалмошности достигла моя тревога.

Слова Ансельмо привели Лотарио в недоумение, – он не мог взять в толк, к чему это столь длинное не то предисловие, не то введение; и сколько ни ломал он себе голову над тем, что может так терзать его друга, все же был он весьма далек от истины; и, дабы положить конец мучительному неведению, он сказал, что, прибегая к околичностям для выражения заветных дум своих, Ансельмо тяжкое наносит оскорбление пылкой их дружбе, тогда как Ансельмо вполне может рассчитывать, что он, Лотарио, или подаст благой совет хранить эти думы в тайне, или поможет претворить их в жизнь.

– То правда, – заметил Ансельмо, – так вот, проникшись этою уверенностью, я хочу поведать тебе, друг Лотарио, томящее меня желание знать, так ли добродетельна и безупречна супруга моя Камилла, как я о ней полагаю, – увериться же в справедливости моего мнения я могу, только лишь подвергнув ее испытанию, с тем чтобы это испытание определило пробу ее добродетели, подобно как золото испытывают огнем. Ведь я убежден, друг мой, что не могут почитаться добродетельными те женщины, чьей любви никто не домогался, и что лишь та из них стойка, которую не тронули ни уверения, ни подношения, ни слезы, ни упорство назойливых поклонников. В самом деле, – продолжал он, – велика ли заслуга жены в том, что она верна, если никто не соблазнял ее стать неверною? Что из того, что она застенчива и нелюдима, если у нее нет повода стать распущенною и если она знает, что у нее есть муж, который при малейшей с ее стороны нескромности лишит ее жизни? Следственно, к женщине, добродетельной страха ради или же оттого, что ей не представился случай, я не могу относиться с таким же уважением, как к той, которая в борьбе с домогавшимися и преследовавшими ее стяжала победный венок. Так вот, по этой-то самой причине, а равно и по многим другим, которые я мог бы привести, дабы подкрепить и обосновать свое мнение, я и хочу, чтобы Камилла, моя супруга, прошла через эти трудности, чтобы она очистилась и закалилась в огне просьб и домогательств человека, достойного избрать ее предметом своей страсти. И если из этого сражения она выйдет победительницею, в чем я не сомневаюсь, то я почту себя счастливейшим из смертных, я буду вправе тогда объявить, что сосуд моих желаний полон, я скажу, что судьба послала мне именно такую стойкую женщину, о которой говорит мудрец: *Кто найдет добродетельную жену?* Если же все произойдет вопреки ожиданиям, то отрадное сознание собственной проницательности поможет мне безболезненно перенести ту боль, которую причинит опыт, доставшийся столь дорогою ценой. И, объявляя заранее, что все твои возражения против моего замысла бессильны помешать мне привести его в исполнение, я прошу твоего согласия, друг Лотарио, стать орудием, которое возделало бы сад моего желания, – я же предоставляю тебе полную свободу действий, и у тебя не будет недостатка ни в чем из того, что я почту необходимым, чтобы добиться расположения женщины честной, всеми уважаемой, скромной и

бескорыстной. И, кроме всего прочего, меня побуждает доверить тебе столь сложное предприятие вот какое обстоятельство: если ты и покоришь Камиллу, все же это покорение не дойдет до последней черты, – свершится лишь то, что было задумано, – и таким образом честь мою ты заденешь лишь мысленно, и мой позор останется погребенным в целомудрии твоего молчания, которое в том, что касается меня, пребудет, я уверен, вечным, как молчание смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы мою жизнь можно было назвать жизнью, то сей же час начинай любовную битву – и не теплохладно и лениво, но с тем рвением и жаром, какого мой замысел требует, и с тою добросовестностью, за которую мне дружба наша ручается.

Так говорил Ансельмо, а Лотарио до того внимательно слушал, что, за исключением вышеприведенных слов, он, пока тот не кончил, не произнес больше ни слова, однако ж, видя, что Ансельмо молчит, и окинув его долгим взглядом, как если бы перед ним было нечто невиданное, приводящее в ужас и изумление, наконец заговорил:

– Я все еще не могу поверить, друг Ансельмо, что все, что ты мне говорил, не шутка, ибо, уразумев, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе докончить и, перестав слушать, тем самым прервал пространную твою речь. Право, мне начинает казаться, что или ты меня не знаешь, или я не знаю тебя. Да нет, я отлично знаю, что ты – Ансельмо, а ты знаешь, что я – Лотарио. Беда в том, что я начинаю думать, что ты не прежний Ансельмо, а ты, верно, думаешь, что я не тот Лотарио, каким ты знал меня прежде, – ведь то, что я от тебя услышал, не мог сказать друг мой Ансельмо, а то, что ты просишь, ты не стал бы просить у того Лотарио, которого ты знаешь, ибо близким друзьям, по слову поэта, надлежит испытывать друг друга и прибегать к взаимной помощи *usque ad aras*<sup>1</sup>: это значит, что нельзя пользоваться дружбой в делах, не угодных богу. Следственно, если так понимал дружбу язычник, то насколько же глубже должен понимать ее христианин, который знает, что из-за дружбы земной нельзя терять дружбу небесную? Если же человек впадает в такую крайность, что думает не о душе, а лишь о друге своем, то на это у него должны быть немаловажные, веские причины, то есть когда речь идет о чести или о жизни друга. Ну так что же, Ансельмо, значит, чести твоей или жизни грозит опасность, коли в угоду тебе я должен отважиться на столь постыдный шаг? Разумеется, что не грозит, – напротив, если я не ошибаюсь, ты сам добиваешься и хлопчешь, чтобы я отнял у тебя жизнь и честь, а заодно и у себя самого. Ибо ясно, что, лишив тебя чести, я лишаю тебя и жизни, оттого что лучше умереть, нежели утратить честь, и если ты избираешь меня орудием твоего бедствия, то как же это может не обесчестить и меня и, следственно, не лишить меня жизни? Выслушай меня, друг Ансельмо, наберись терпения и не прерывай меня, пока я не выскажу тебе все, что я о твоём замысле думаю: ведь у тебя будет еще время мне возразить, я же успею тебя выслушать.

– Пожалуй, – сказал Ансельмо, – говори без утайки.

И Лотарио продолжал:

– Я полагаю, Ансельмо, что у тебя сейчас такое же точно настроение ума, какое всегда бывает у мавров: ведь им невозможно втолковать, почему их вероучение ложно, ни с помощью ссылок на Священное писание, ни с помощью доводов, основанных на умозрительных построениях или же на догматах истинной веры, – они нуждаются в примерах осязательных, доступных, понятных, наглядных, не вызывающих сомнения, с математическими доказательствами, которые нельзя опровергнуть, вроде, например, такого: «Если мы от двух равных величин отыщем равные части, то остатки также будут равны». Если же объяснить им на словах не удастся, а именно так оно всегда и бывает, то приходится показывать руками, подносить к глазам, да и этого еще оказывается недостаточно для того, чтобы убедить их в истинности святой нашей веры. И вот теперь этот же самый способ и прием мне надлежит применить и к тебе, ибо явившееся у тебя желание в высшей степени сумасбродно, здравого смысла в нем вот настолько нет, так что объяснять тебе, в чем заключается твоя простота, чтобы не сказать больше, это значит даром терять время, и я,

---

<sup>1</sup> *Вплоть до алтарей (лат.)*. Место расположения алтарей считалось в римском доме священным и неприкосновенным.

собственно говоря, в наказание за твой дурной умысел не стал бы выводить тебя из заблуждения, но моя дружеская к тебе привязанность не позволяет мне столь сурово с тобой обойтись и не допускает, чтобы я покинул тебя, когда тебе грозит явная гибель. И, дабы тебе это стало ясно, скажи, Ансельмо, не говорил ли ты мне, что я должен обольщать скромную, преследовать честную, одарять бескорыстную, ухаживать за благой нравной? Да, говорил.

Но если ты знаешь, что твоя супруга скромна, честна, бескорыстна и благой нравна, то из чего же ты хлопочешь? И если ты полагаешь, что она отразит все мои атаки, – а, она, конечно, их отразит, – то сумеешь ли ты тогда придумать для нее названия лучше тех, которые у нее уже есть, и что она от этого выиграет? Или ты на самом деле держишься противоположного о ней мнения, или сам не знаешь, о чем просишь. Если ты противоположного о ней мнения, то зачем же тогда испытывать ее? Коли она дурна, то и поступай с ней, как тебе вздумается. Но если она так хороша, как ты ее считаешь, то было бы безрассудно производить опыты над самою истиной, ибо произведенный опыт не властен изменить первоначально вынесенное о ней суждение. Всем известно, что предпринимать шаги, от коих скорей вреда, нежели пользы ожидать должно, способны лишь неразумные и отчаянные, особливо когда никто их на это не толкает и не подбивает и если заранее можно сказать, что это явное безумие. Дела трудные совершаются для бога, для мира или же для обоих вместе: для бога трудятся святые, которые ведут жизнь ангелов во плоти, для мира трудятся те, что переплывают необозримые воды, путешествуют по разным странам, вступают в общение с чужеземцами – и все ради так называемых земных благ, а для бога и для мира одновременно трудятся доблестные воины: эти только заметят, что в неприятельском стане ядро проломило брешь, и вот они уже, отринув всякий страх, забыв и думать о грозящей им явной опасности, окрыленные мечтою постоять за веру, отчизну и короля, бестрепетно бросаются навстречу тысяче подстерегающих каждого из них смертей. Вот какие совершаются на свете дела, и, несмотря на сопряженные с ними лишения и опасности, они служат к чести, славе и благоденствию. Но тем, что, по твоим словам, намерен предпринять и осуществить ты, тебе не снискать милости божьей, не снискать земных благ, не снискать почта среди людей, ибо если даже все кончится, как ты того желаешь, то тебе от этого не будет ни особой радости, ни прибыли, ни славы. Если же все кончится по-иному, то ты окажешься в крайне бедственном положении, ибо мысль о том, что никто не знает о постигшем тебя несчастье, не принесет тебе тогда утешения, – ты сам будешь знать о нем, и этого будет довольно, чтобы истерзать тебя и сокрушить. В доказательство же моей правоты я хочу привести тебе строфы, коими закончил первую часть *Слез апостола Петра* знаменитый поэт Луиджи Тансилло<sup>1</sup>, – вот они:

Петра терзает совесть тем сильнее,  
Чем ярче занимается денница.  
Поблизости не видит он людей,  
Но, помня, что свершил, стыдом казнится:

Кто прям душой, тот в низости своей  
Себе и без свидетелей винится,  
Сгорая на костре душевных мук,  
Хоть только небо да земля вокруг.

Так же точно и тебя тайна от муки не убережет, напротив того, ты будешь плакать всечасно, – не слезами очей, так кровавыми слезами сердца, подобно тому простодушному врачу, который, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком<sup>2</sup>, испытанию, от

<sup>1</sup> Луиджи Тансилло – неаполитанский поэт (1510–1568), автор поэмы «Слезы апостола Петра».

<sup>2</sup> *Испытание кубком* – эпизод из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». В XLIII песне помещен рассказ одного рыцаря о кубке, обладавшем чудесным свойством: вино из него проливалось на грудь пьющего в том случае, если супруга этого человека была ему неверна. Рассказ о подобном чудесном кубке встречается и в XLI песне той же поэмы.

когое благоразумно уклонился мудрый Ринальд. И пусть это поэтический вымысел, но он содержит в себе скрытое нравоучение, которое должно запомнить, постигнуть и применить к жизни. Этого мало, я скажу тебе еще нечто такое, после чего ты окончательно уверишься в том, какую страшную намерен ты совершить ошибку. Вообрази, Ансельмо, что по воле неба или же благодаря счастливой случайности ты становишься обладателем и законным владельцем чудеснейшего алмаза, коего чистота и вес приводят в восторг всех ювелиров, которым ты его показываешь, и все они говорят в один голос и сходятся на том, что по своему весу, чистоте и доброкачественности он являет собою предел того, на что природа подобного камня способна, да ты и сам того же мнения и ничего не можешь им возразить, – так вот, разумно ли будет с твоей стороны взять ни с того ни с сего этот алмаз, положить его между молотом и наковальней, а затем изо всех сил начать по нему бить, чтобы испытать его прочность и доброкачественность? Но положим даже, ты это осуществил, более того, – камень выдержал столь нелепое испытание, но ведь от этого ничего не прибавилось бы ни к ценности его, ни к славе, а если бы он разбился, что весьма вероятно, то разве не был бы он потерян безвозвратно? Конечно, да, а владелец его прослыл бы во мнении света глупцом. Так знай же, друг Ансельмо, что великолепный алмаз – это Камилла, как в твоих глазах, так и в глазах всякого другого, и что бессмысленно подвергать его роковой случайности, ибо если он останется невредим, то ценность его от этого не увеличится, если же не выдержит и погибнет, то обдумай заранее, как ты будешь жить без него и сколь основательно станешь ты обвинять себя в его и в своей гибели. Пойми, что нет в целом мире большей драгоценности, нежели честная и верная жена, и что честь женщины – это добрая слава, которая про нее идет. И раз что слава о твоей супруге добрее доброго и ты это знаешь, то для чего же истину эту брать под сомнение? Пойми, друг мой, что женщина – существо низшее и что должно не воздвигать на ее пути препятствия, иначе она споткнется и упадет, а, напротив того, убирать их и расчищать ей путь, дабы она легко и без огорчений достигла совершенства, заключающегося в добродетели. Естествоиспытатели рассказывают, что у горностая белоснежная шерсть и что когда охотники за этим зверьком охотятся, то пускаются на такую хитрость: выследив, куда он имеет обыкновение ходить, они мажут эти места грязью, затем спугивают его и гонят прямо туда, а горностаю, как скоро заметит грязь, останавливается, ибо предпочитает сдаться и попасться в руки охотника, нежели, пройдя по грязи, запачкаться и потерять белизну, которая для него дороже свободы и самой жизни. Верная и честная жена – это горностаю, честь же ее чище и белее снега, и кто хочет, чтобы она не погубила ее, а, напротив того, сохранила и сберегла, тому не следует применять способ, к которому прибегают охотники на горностая, не должно подводить ее к грязи подарков и услуг навязчивых поклонников, – может статься, даже наверное, по природе своей она недостаточно добродетельна и стойка, чтобы без посторонней помощи брать и преодолевать препятствия, необходимо устранить их с ее пути и подвести ее к чистоте добродетели и той прелести, которую заключает в себе добрая слава. Еще добрую жену можно сравнить с зеркалом из сверкающего и чистого хрустала, – стоит дохнуть на нее, и она туманится и тускнеет. С порядочною женщиной должно обходиться как со святыней: чтить ее, но не прикасаться к ней. Верную жену должно охранять и лелеять так же точно, как охраняют и лелеют прекрасный сад, полный роз и других цветов, – сад, которого владелец никого туда не пускает и не позволяет трогать цветы, – можете издали, через решетку, наслаждаться благоуханием его и красотой. В заключение я хочу привести несколько стихов из одной современной комедии, которая пришла мне сейчас на память, – мне кажется, это будет как раз к месту. Один благоразумный старик советует другому, отцу молодой девушки, охранять ее, никуда не пускать и держать взаперти и, между прочим, говорит следующее:

Женщина – точь-в-точь стекло.  
Так не пробуй убедиться,  
Может ли она разбиться:  
Случай часто шутит зло.

Кто умен – остережется  
И не тронет никогда  
Вещь, что бьется без труда,  
Чинке же не поддается.

Это правило любой  
Должен помнить, твердо зная:  
Там, где сыщется Даная<sup>1</sup>,  
Дождь найдется золотой.

Все, что я до сих пор говорил, касалось тебя, Ансельмо, а теперь не мешает поговорить и о себе, и если это будет долго, то прости меня, – этого требует лабиринт, в который ты попал и откуда ты желаешь с моей помощью выбраться. Ты считаешь меня за своего друга – и хочешь отнять у меня честь, что несовместимо с дружбою. Этого мало: ты добиваешься, чтобы и я, в свою очередь, отнял у тебя честь. Что ты хочешь отнять у меня честь – это ясно, ибо когда я по твоей просьбе начну за Камиллой ухаживать, то она подумает, что, уж верно, я человек бесчестный и испорченный, коли замыслил и начал нечто решительно выходящее за пределы того, к чему обязывают меня мое звание и долг дружбы. Что ты хочешь, чтобы я, в свою очередь, отнял честь у тебя, также сомнению не подлежит, ибо Камилла, видя, что я за нею ухаживаю, подумает, что я усмотрел в ней нечто легкомысленное и что это придало мне смелости поведать ей дурной свой умысел, но ведь ты принадлежишь ей, и если Камилла почтет себя обесчещенною, то бесчестие это коснется и тебя. Отсюда и ведет свое происхождение распространенный этот обычай: мужа неверной жены, хотя бы он ничего и не знал и не давал повода к тому, чтобы его супруга вела себя неподобающим образом, и хотя бы он бессилён был отвратить несчастье, ибо случилось оно не по его беспечности или оплошности, непременно станут называть и именовать оскорбительными и позорными именами, и люди, осведомленные о распутстве его жены, в глубине души сознавая, что он не по своей вине, а по прихоти дурной своей подруги попал в беду, со всем тем станут смотреть на него не с жалостью, но с некоторым презрением. А теперь я должен растолковать тебе, почему каждый вправе почитать мужа неверной жены обесчещенным, хотя бы муж равным счетом ничего не знал, был бы невиновен, непричастен и не подавал повода к ее измене. Итак, слушай меня со вниманием, – все это для твоего же блага. В Священном писании говорится, что когда господь создал в земном раю нашего прародителя, то навел на него сон и, пока Адам спал, вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу прародительницу Еву, и как скоро Адам пробудился и увидел ее, то сказал: «Это плоть от плоти моей и кость от костей моих». И сказал господь: «Ради жены оставит человек отца своего и мать свою и будут одна плоть». Тогда-то и было основано священное таинство брака, коего узы одна лишь смерть вольна расторгнуть. И такой чудодейственной силой обладает оно, что два разных человека становятся единою плотью, – более того: у добрых супругов две души, но воля у них едина. Отсюда вытекает, что если муж и жена – одна плоть, то пятна и недостатки ее плоти оскверняют и плоть мужа, хотя бы он, как я уже сказал, был ни в чем не повинен. Подобно как боль в ноге или же в другом члене человеческого тела чувствует все тело, ибо все оно есть единая плоть, и боль в щиколотке отдается в голове, хотя и не она эту боль вызвала, так же точно муж разделяет бесчестие жены, ибо он и она – это одно целое. И коль скоро всякая земная честь и бесчестие сопряжены с плотью и кровью и ими порождаются, в частности бесчестие неверной жены, то доля его неизбежно падает на мужа, и хотя бы он ничего не знал, все же он обесчещен. Подумай же, Ансельмо, какой опасности ты себя подвергаешь, желая нарушить покой, в котором пребывает добрая твоя супруга. Подумай о

---

<sup>1</sup> *Даная (миф.)* – дочь аргосского царя Акрисия. Опасаясь осуществления предсказания, что он будет убит одним из своих внуков, царь велел заточить свою дочь в неприступную башню под охраной стражи и собак. Увлеченный ее красотой Юпитер проник в башню в виде золотого дождя.

том, что суетное и безрассудное твое любопытство может пробудить страсти, ныне дремлющие в душе целомудренной твоей супруги. Прими в соображение, что выигрыш твой будет невелик, а проиграть ты можешь столько, что я лучше обойду это молчанием, ибо у меня неостанет слов. Если же все, что я тебе сказал, не принудило тебя отказаться от дурного твоего намерения, то ищи себе тогда другое орудие позора своего и несчастья, я не намерен быть таковым, хотя бы через то я потеряю твою дружбу, а большей потери я и представить себе не могу.

Сказавши это, умолк добродетельный и благоразумный Лотарио, Ансельмо же, задумчивый и смущенный, долго не мог выговорить ни слова; наконец ответил ему так:

– Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием слушал я все, что ты пожелал мне сказать, и речи твои, примеры и сравнения свидетельствуют о великом твоём уме и об искренности необычайных твоих дружеских чувств, я же, со своей стороны, вижу и сознаю, что если я не прислушаюсь к твоему мнению и буду придерживаться своего, то убегу от добра и ринусь вослед злу. Все это так, но ты должен принять в рассуждение, что ныне во мне сидит недуг, какой бывает у некоторых женщин, когда им хочется есть землю, известь, уголь, а то и похуже вещи, – такие, что на них и глядеть-то противно, а не то что их есть. Того ради, дабы меня излечить, надлежит употребить хитрость, и хитрость небольшую: начни только, хотя бы слегка и притворно, ухаживать за Камиллой, а она вовсе не так слабосильна, чтобы при первом же натиске пасть. И одно это начало меня удовлетворит вполне, ты же не только возвратишь мне жизнь, но и уверишь меня, что честь моя вне опасности, и тем самым исполнишь долг дружбы. И ты обязан это сделать вот по какой причине: раз уж я задумал произвести это испытание, то ты не допустишь, чтобы я кому-нибудь другому сообщил о безрассудной своей затее и тем самым поставил на карту мою честь, о которой ты так печешься. Если же пока ты будешь ухаживать за Камиллой, твоя честь в ее глазах будет несколько запятнана, то не придавай этому никакого или почти никакого значения, ибо, уверившись в ее непреклонности, коей мы от нее ожидаем, ты тот же час сможешь рассказать всю правду о нашей хитрости, после чего снова возвысишься в ее мнении. И, уразумев, сколь малым ты рискуешь и сколь великое удовольствие можешь доставить мне, ты не преминь это сделать, несмотря ни на какие препоны, ибо, повторяю, ты только начни – и я почту дело законченным.

Видя, что решение Ансельмо бесповоротно, не зная, какие примеры еще привести и какие еще доказательства выставить, дабы он изменил его, видя, что он грозитя сообщить другому о дурном своем умысле, Лотарио во избежание большего зла порешил уважить его и удовлетворить его просьбу, однако ж с целью и с расчетом повести дело так, чтобы и Ансельмо остался доволен, и чтобы душа Камиллы была спокойна; и для того он велел Ансельмо никому ничего не говорить, ибо он, Лотарио, берет, мол, это дело на себя и начнет его, когда Ансельмо будет угодно. Ансельмо нежно и ласково обнял его и поблагодарил так, как если бы тот великую ему оказал услугу; и порешили они на том, что первый шаг будет сделан завтра же и что Ансельмо предоставит Лотарио место и время, дабы он мог видеться с Камиллою наедине, а также наделит его деньгами и драгоценными вещами для подарков и подношений. Посоветовал он Лотарио услаждать ее слух музыкой и писать в ее честь стихи; если же Лотарио от этого откажется, то он, дескать, сделает это за него. Лотарио схитрил: он-де, мол, на все согласен, Ансельмо же ему поверил, и, условившись между собою, они отправились к Ансельмо и застали Камиллу в тоске и тревоге, ибо в тот день муж ее возвратился позднее обыкновенного.

Лотарио пошел домой, между тем как Ансельмо остался у себя, столь же довольный, сколь озабочен был Лотарио, ибо не знал, как должно вести себя, чтобы нелепая эта затея окончилась благополучно. Однако в ту же ночь надумал он, как обмануть Ансельмо и не оскорбить Камиллу, и на другой день отправился к своему другу обедать, и Камилла оказала ему радушный прием, – впрочем, она всегда с величайшею благожелательностью принимала и угощала его, ибо ей было ведомо, сколь благорасположен к нему ее супруг. Но вот уж кончили обедать, убрали со стола, и Ансельмо сказал Лотарио, что ему надобно отлучиться

по одному срочному делу, что воротится он через полтора часа и что он просит его побыть это время с Камиллой. Камилла начала уговаривать его не ходить, Лотарио вызвался проводить его, но Ансельмо был непреклонен, – он настоял на том, чтобы Лотарио подождал его: ему, Ансельмо, надобно-де поговорить с ним об одном весьма важном деле. Камилле же он сказал, чтобы до его прихода она не оставляла Лотарио одного. Словом, он так ловко сумел притвориться, будто спешит по неотложному, а вернее, ложному делу, что никто не заподозрил бы его в притворстве. Ансельмо ушел, и в столовой остались лишь Камилла и Лотарио, ибо слуги ушли обедать. У Лотарио было такое чувство, будто он на арене, на той самой арене, о которой мечтал для него Ансельмо, и перед ним его враг, способный одною своею красотою победить целый отряд вооруженных рыцарей, – согласитесь, что Лотарио было чего бояться. И рассудил он за благо, поставив локоть на ручку кресла и подперев щеку ладонью, попросить у Камиллы прощения за неучтивость и сказать, что до прихода Ансельмо он немного соснет. Камилла заметила, что на эстрадо<sup>1</sup> ему будет удобнее, нежели в кресле, и предложила Лотарио прилечь там. Лотарио, однако же, отказался и проспал в кресле до прихода Ансельмо, а тот, застав Камиллу у нее в комнате, Лотарио же спящим, подумал, что возвратился он поздно и что они, уж верно, успели поговорить и даже вздремнуть, и теперь он не чаял, как дожидаться пробуждения Лотарио, чтобы уйти вместе с ним из дому и спросить, как его дела. И все так по его желанию и совершилось: Лотарио пробудился, они тут же вышли вдвоем из дому, он задал ему этот вопрос, и Лотарио ответил, что он почел неприличным с первого же раза открыться ей во всем, а потому пока только восхищался ее красотою и уверял, что в городе только и разговору, что о рассудительности ее и красоте, и ему, Лотарио, представляется-де, что основы заложены: он уже начал добиваться ее расположения и подготовил ее к дальнейшему, так что в следующий раз она будет слушать его с удовольствием, и для того он, мол, прибегнул к хитрости, к какой прибегает сам демон, когда хочет соблазнить человека, зорко следящего за собой, – будучи духом тьмы, он преображается в духа света, выступает под личиной добра и срывает ее не прежде, чем добьется своего, если только его обман не разоблачат в самом начале. Всем этим Ансельмо остался весьма доволен и сказал, что теперь он ежедневно, даже не выходя из дому, но якобы отвлеченный домашними делами, будет оставлять его наедине с Камиллой, а Камилле и в голову не придет, что это уловка.

И вот уже много дней Лотарио не говорил с Камиллой ни слова, а друга своего уверял, что он с нею беседует, но что за все время ни разу не сумел он склонить ее ни на что дурное, и ни разу не подала она ему никакой, даже слабой надежды; напротив того, грозитя все рассказать мужу, если только он не оставит дурных своих намерений.

– Отлично, – молвил Ансельмо. – Итак, Камилла устояла против слов, – посмотрим, как устоит она против дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи золотых, которые ты ей предложишь и подаришь, и еще две тысячи на покупку драгоценностей, дабы ими ее прельстить, – ведь женщины все, сколько их ни есть, даже самые из них целомудренные, любят хорошо одеваться и франтить, особливо красивые, и вот если она устоит и против этого соблазна, тогда я почту себя вполне удовлетворенным и не стану больше тебе докучать.

Лотарио заметил, что коли он начал дело, так доведет до конца, хотя знает заранее, что только выбьется из сил и все равно потерпит поражение. На другой день получил он четыре тысячи эскудо<sup>2</sup>, а с ними четыре тысячи затруднений, ибо не мог сообразить, как бы это ему еще солгать: однако в конце концов надумал сказать, что Камилла столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, как и к похвалам, и что не из чего столько хлопотать, ибо это значит попусту терять время. Судьба, однако ж, распорядилась иначе: Ансельмо, оставив, по обыкновению, Лотарио и Камиллу вдвоем, заперся в смежной комнате и через замочную скважину стал подсматривать и подслушивать, о чем они толкуют, и, обнаружив, что за

---

<sup>1</sup> *Эстрада* – небольшое возвышение на женской половине дома, устланное коврами и подушками. Эстрада называлась также и комната, в которой находилось это возвышение и которая служила для приема гостей.

<sup>2</sup> *Эскудо* – старинная испанская золотая монета.

полчаса с лишним Лотарио и двух слов не сказал с Камиллой, да и не скажет, если бы даже провел с нею целый век, пришел к заключению, что ответы Камиллы, о которых он слышал от своего друга, – сплошная выдумка и ложь. И, дабы совершенно в том удостовериться, он вышел к ним и, отозвав Лотарио в сторону, спросил, что нового и в каком расположении духа находится Камилла. Лотарио сказал, что больше он палец о палец не ударит, ибо ответы ее столь резки и суровы, что у него не хватает духу продолжать с ней разговор.

– Ах, Лотарио, Лотарио! – воскликнул Ансельмо. – Как плохо ты исполняешь свой долг и как плохо оправдываешь ты мое безграничное к тебе доверие! Я только что следил за тобой через скважину, в которую входит этот ключ, и убедился, что ты словом не перемолвился с Камиллой. Отсюда я делаю вывод, что ты ни о чем еще с нею не говорил. Если же это так, – а это, без сомнения, так, – то для чего ты меня обманываешь, для чего ты своею уловкою лишаешь меня возможности иным путем достигнуть цели?

Больше Ансельмо ничего не сказал, но и этого оказалось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и тот, восприняв предьявленное ему обвинение во лжи почти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что отныне он самым добросовестным образом возьмется за дело, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из любопытства за ним следить, – впрочем, в таком рачительном надзоре вряд ли появится-де нужда, ибо рачительность, какую он, Лотарио, намерен выказать, дабы убогатить Ансельмо, рассеет всякие подозрения. Ансельмо ему поверил и, дабы тот мог действовать более решительно и без стеснения, задумал съездить на неделю к одному своему приятелю, который проживал в деревне неподалеку от города и с которым он заранее уговорился, что тот, нарочно для Камиллы, будет настойчиво звать его к себе. О злосчастный и недалновидный Ансельмо! Что ты делаешь? Что приуговляешь? Куда приказываешь себя вести? Посмотри: ведь ты себе же делаешь зло, себе же приуговляешь бесчестье, себя же приказываешь вести к гибели. Твоя супруга Камилла добродетельна; спокойно и безмятежно обладаешь ты ею; никто не мешает тебе наслаждаться; помыслы ее не выходят за стены дома; ты, на земле, ее небо, ты предел ее мечтаний, исполнение желаний ее, мера, которою меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле небес. Если же все, какие только ты пожелаешь, богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном, как это еще лучше выразил поэт:

Я ищу в темнице волю,  
В четырех стенах простор,  
Счастье в несчастливой доле,  
В смерти жизнь, отраду в боли,  
Неподкупность в том, кто вор.  
И за это навсегда я  
Вами к казни присужден,  
Небо и судьбина злая:  
Невозможного желаю,  
А возможного лишен.

На другой день Ансельмо уехал в деревню, объявив Камилле, что во время его отсутствия Лотарио будет присматривать за домом, ходить к ней обедать и что ей надлежит ухаживать за ним так же, как она ухаживает за мужем. Камилла, будучи женщиною скромною и честною, опечалилась и заметила по поводу отданного ее мужем распоряжения, что нехорошо, если кто-нибудь в его отсутствие будет сидеть за его столом, а коли он-де не верит в хозяйственные ее способности, пусть на сей раз попробует – и он убедится на опыте, что она и с более трудными делами справится. Ансельмо возразил, что такова его воля и что



ей остается лишь склонить голову и подчиниться. Камилла сказала, что она повинуется, хотя и против своего желания. Ансельмо уехал, а на другой день пришел Лотарио, и Камилла была с ним приветлива, но сдержанна; вообще она старалась не оставаться с ним наедине и вечно была окружена слугами и служанками, чаще же всего при ней находилась горничная Леонелла, которую она особенно любила и с которой они вместе росли в доме родителей Камиллы, откуда, выйдя замуж за Ансельмо, Камилла взяла ее к себе. В течение первых трех дней Лотарио ничего ей не сказал, хотя время у него для этого было, а именно, когда слуги, убрав со стола, отправлялись по распоряжению Камиллы наскоро поесть; этого мало: она приказала Леонелле обедать раньше и не отходить от нее ни на шаг; однако ж Леонелла, у которой на уме были одни лишь утехи, пользовалась этим временем и возможностью для своих забав и не всегда исполняла приказание своей госпожи, – напротив того, оставляла ее наедине с Лотарио, точно именно это ей было приказано. Однако ж скромный вид Камиллы, строгое ее лицо и то, что она с большим достоинством себя держала, – все это накладывало печать на уста Лотарио.

Со всем тем польза от множества достоинств Камиллы, заграждавших уста Лотарио молчанием, послужила во вред им обоим, ибо если немотствовали уста, зато мысль не оставалась праздною: она имела возможность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мраморную статую, а не то что живое сердце. В те промежутки времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви; и дума эта стала постепенно вытеснять его преданность Ансельмо, и тысячу раз хотел он оставить город и уйти туда, где бы Ансельмо не видел его и где бы он сам не видел Камиллу, однако ж наслаждение, которое он испытывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он пересиливал себя и боролся с собой, дабы не ощущать более того блаженного чувства, которое влекло его любоваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе; наедине с самим собою он говорил, что это бред; он называл себя неверным другом и даже дурным христианином; он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все эти рассуждения сводились к тому, что всему виною – сумасбродство и самоуверенность Ансельмо, а не его, Лотарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то ему нечего было бы бояться наказания за свой грех.

В конце концов красота Камиллы и ее душевные качества, а также случай, который ему представился единственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли верность Лотарио; и тот, покорствуя лишь своей склонности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение которых он вел неустанную борьбу, силясь подавить свои желания, с таким волнением и в столь пламенных речах стал изливать Камилле свою страсть, что она, пораженная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда рождается одновременно с любовью, – напротив того: надежда на взаимность стала в нем еще крепче. А Камилла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, что делать; и, подумав, что небезопасно и неприлично давать ему повод и возможность снова начать сердечные излияния, решила послать – и в тот же вечер послала – к Ансельмо слугу с письмом вот какого содержания:

## Глава XXXIV,

*в коей следует продолжение повести о Безрассудно-любопытном*

«Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя, а крепость без коменданта, – я же скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если только какие-либо чрезвычайные обстоятельства того не требуют. Мне так тяжело без Вас и так несносна эта разлука, что если Вы скоро не возвратитесь, то я принуждена буду переехать в дом родителей моих и оставить Ваш дом без сторожа, ибо тот, кого Вы оставили сторожить меня, – если это только, точно,

сторож, – думает, кажется, больше о собственном удовольствии, нежели о том, что касается Вас. Вы же, с Вашим умом, и так меня поймете, да мне и не подобает к этому что-либо еще прибавлять».

Получив это письмо, Ансельмо пришел к заключению, что Лотарио уже начал действовать и что Камилла, по-видимому, держит себя с ним так, как этого ему, Ансельмо, хотелось; и, обрадовавшись таковым вестям чрезвычайно, велел он передать на словах Камилле, чтобы она ни в коем случае не оставляла своего дома, ибо он весьма скоро возвратится. Ответ Ансельмо удивил Камиллу, и она в еще пущее пришла замешательство, ибо не знала, как быть: остаться дома или же переехать к родителям, – остаться означало подвергнуть опасности свою честь, уехать – ослушаться мужа. В конце концов она выбрала более тяжкую для нее долю, а именно – осталась дома с твердым намерением не избегать общества Лотарио, дабы не давать челяди повода к пересудам, и теперь Камилле было уже досадно, что она написала супругу такое письмо: она боялась, как бы он не подумал, что Лотарио заметил с ее стороны некоторую вольность и что это его побудило нарушить приличия. Но, уверенная в своей чистоте, она уповала на бога и на свое собственное благоразумие, а благоразумие внушало ей ничего не отвечать Лотарио, с чем бы он к ней ни обращался, и ничего больше не сообщать мужу, дабы не волновать его этим и не вызывать на ссору, – более того: Камилла уже начала думать о том, как бы обелить Лотарио в глазах Ансельмо, когда тот спросит, что заставило ее написать это письмо. В сих мыслях, более великодушных, нежели спасительных и остроумных, слушала она на другой день Лотарио, а тот закусил удила, так что стойкость Камиллы пошатнулась, и скромности ее надлежало прихлынуть к глазам, дабы в них не отразилось чего-нибудь похожего на влюбленное сочувствие, которое в ее душе пробудили слезы и речи Лотарио. Все это Лотарио заметил, и все это его разжигало. В конце концов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный похвалами ее красоте, напал на ее честолюбие, оттого что бойницы тщеславия, гнездящегося в сердцах красавиц, быстрее всего разрушает и сравнивает с землей само же тщеславие, вложенное в льстивые уста. И точно: не поспеяв на боевые припасы, он столь проворно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что если б даже Камилла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, притворялся – с такими движениями сердца и по виду столь искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он одержал победу, на которую менее всего надеялся и которой более всего желал.

Камилла сдалась; сдалась Камилла; но что же в том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио не устояли? Вот пример, ясно показывающий, что с любовною страстью можно совладать, только лишь бежав от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы противостать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла знала о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыться неверные друзья и новонареченные любовники. Лотарио из боязни унизить в глазах Камиллы свое чувство и навести ее на мысль, что он случайно и непреднамеренно, а не по собственному хотению ее покорил, так ничего и не сообщил ей о затее Ансельмо и о том, что это он дал ему, Лотарио, возможность этого достигнуть.

Спустя несколько дней Ансельмо возвратился домой и не заметил, что в нем уже недостает того, что он менее всего берег и чем более всего дорожил. Тот же час отправился он к Лотарио и застал его дома; они обнялись, после чего Ансельмо спросил, что нового и должно ли ему жить или умереть.

– Новое заключается в том, друг Ансельмо, – отвечал Лотарио, – что жена твоя достойна быть примером и венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, я говорил на ветер, посулы мои она ни во что вменила, подношения были отвергнуты, над притворными моими слезами она от души посмеялась. Коротко говоря, Камилла – это воплощение красоты, это кладезь честности и средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возьми свои деньги, друг мой, вот они, в них не было нужды, ибо целомудрие Камиллы не склоняется перед

подарками и обещаниями, – это для нее слишком низменно. Удовольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не затевай. Ты, будто посуху, прошел море сомнений и подозрений, которые обыкновенно возбуждают и могут возбуждать жены, так не выходи же вновь в открытое море новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, посланного тебе небом для прохождения житейского моря, – нет, считай, что ты уже достигнул тихого пристанища, стань на якорь душевного спокойствия и стой до тех пор, пока к тебе не явятся за долгом, который лучшие из лучших не властны не уплатить.

Слова Лотарио доставили Ансельмо полное удовлетворение, и поверил он им, как если б то было прорицание оракула; со всем тем он попросил друга не оставлять этого предприятия, хотя бы из любопытства и для препровождения времени; впредь он волен-де и не выказывать столь неусыпного рвения, – единственно, чего он, Ансельмо, желает, это чтобы были написаны стихи, в которых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла, а он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну даму и под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти приличия, каковых скромность ее заслуживает; если же Лотарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам-де их сочинит.

– Нужды в этом нет, – возразил Лотарио, – ибо не так уж меня чуждаются музы, и хоть изредка, а посещают. Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас сказал о мнимом моем увлечении, стихи же я напишу, если и не столь исправные, как того заслуживает предмет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только способен.

На этом и уговорились друг безрассудный и друг-изменник; Ансельмо же, возвратившись домой, спросил Камиллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так долго не спрашивал, а именно, что за причина побудила ее написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, чем когда Ансельмо дома, но что потом она разуверилась и полагает, что все это одно воображение, ибо Лотарио уже избегает ее и не остается с нею наедине. Ансельмо ей на это сказал, что она смело может отрешиться от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюблен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Лотарио и в их взаимной наитеснейшей дружеской привязанности. И если б Лотарио не предупредил Камиллу, что увлечение его Хлорой есть увлечение мнимое и что он рассказал об этом Ансельмо, дабы иметь возможность проводить время в прославлении Камиллы, она, без сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности, однако ж, предупредоленная, она приняла это известие спокойно.

На другой день, после обеда, когда они сидели втроем, Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил в честь своей возлюбленной Хлоры, – Камилла-де все равно ее не знает, а потому он может говорить о ней все, что угодно.

– Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не утаил, – возразил Лотарио. – Когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или иначе, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблагодарной Хлоры:

Когда немая ночь на мир сойдет  
И дрема отуманит смертным взоры,  
Веду я для небес и милой Хлоры  
Своим несчетным мукам скорбный счет.

Когда заря, ликуя, распахнет  
Ворот востока розовые створы,  
Упорно рвутся вздохи и укоры  
Из уст моих все утро напролет.

Когда же землю с трона голубого  
Осыплет полдень стрелами огня,  
Я предаюсь рыданиям иступленным.

Но вот опять приходит ночь, и снова  
Я убеждаюсь, горестно стена,  
Что небеса и Хлора глухи к стонам.

Камилле сонет понравился, но еще больше – Ансельмо; он одобрил его и сказал, что дама эта, по-видимому, слишком жестока, если она на столь искреннее чувство не отвечает. Но тут Камилла задала вопрос:

– Разве все, что говорят влюбленные поэты, это правда?

– Как поэты, они говорят неправду, – отвечал Лотарио, – но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, сколь искренни.

– Это не подлежит сомнению, – подтвердил Ансельмо единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и прибавить его словам весу в глазах Камиллы, но Камилла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки Ансельмо.

А как все, принадлежавшее Лотарио, доставляло ей удовольствие, к тому же ей ведомо было, что все его помыслы и все его писания посвящены ей и что она и есть настоящая Хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или же каких-либо других стихов.

– Один сонет есть, – отвечал Лотарио, – но только я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, или, лучше сказать, не так плох. Впрочем, судите сами:

Меня своим презреньем губишь ты,  
И знаю я, что неизбежно сгину,  
Но знаю также, что приму кончину  
Рабом твоей небесной красоты.

Ведь и достигнув роковой меты,  
Где славу, страсть и жизнь, как прах, отрину,  
С собой в страну забвенья не премину  
Я унести любимые черты.

Нет, с этою святынею бесценной  
Меня в последний час не разлучат  
Ни равнодушие, ни отпор холодный.

О горе мне, пловцу в пучине пенной,  
Который, тщетно напрягая взгляд,  
Нигде звезды не видит путеводной!

Ансельмо одобрил второй сонет не меньше, чем первый, и так звено за звеном присоединял он к цепи, которою он опутывал и приковывал себя к своему бесчестию, ибо когда Лотарио особенно его бесчестил, то он ему говорил, что теперь-то он больше чем когда-либо спокоен за свою честь; и так же точно Камилла, ступень за ступенью, все ниже спускалась в бездну своего позора, а супругу ее казалось, будто она восходит на вершину чистоты и доброй славы. Как-то раз случилось, однако ж, Камилле остаться наедине со своею служанкой и Камилла обратилась к ней с такими словами:

– Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я низко себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу покорил мое сердце, вместо того чтобы завоевывать постепенно. Боюсь, что он станет меня презирать за уступчивость или же за ветреность, не приняв в соображение силы своей страсти, сломившей мое сопротивление.

– Пусть это вас не тревожит, госпожа моя, – сказала Леонелла, – это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если только подарок, точно, хорош и ценен сам по себе. Недаром говорится пословица: хочешь дать за двоих – давай сразу.

– Есть и другая пословица, – вставила Камилла, – дешево обходится – мало ценится.

– Эта поговорка к вам не относится, – возразила Леонелла, – ведь любовь, как я слышала, то на крыльях летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет, одних охлаждает, других испепеляет, одних ранит, других убивает, бег ее желаний в один и тот же миг начинается и прекращается, утром предпринимает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, которая могла бы ей сопротивляться. А коли так, то чего же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, как видно, случилось то же самое, ибо орудием своей победы над вами любовь избрала отъезд моего господина. И надлежало, чтобы именно в отсутствие Ансельмо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не возвратился, ибо его приезд испортил бы все дело: ведь у любви нет лучшего помощника по части исполнения ее желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех своих затей, особенно на первых порах. Все это я отлично знаю, и больше по собственному опыту, нежели понаслышке, и когда-нибудь я вам про себя расскажу, синьора, – ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет кровь. Притом, синьора Камилла, вы не так уже скоро доверились ему и сдались, сначала вы узнали душу Лотарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и подношениям, и его душевные качества вас убедили, что он вполне достоин любви. А коли так, то не слушайте голоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио уважает вас так же точно, как его уважаете вы: он рад и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опутывающие вас в его глазах еще большим уважением и почетом, и помните, что он может похвалиться не только четырьмя *C*, которые будто бы положено иметь каждому порядочному влюбленному, то есть тем, что он свободен, сметлив, стоек и скрытен, но и всею азбукой – вы только послушайте, я вам скажу ее сейчас на память. Сколько я понимаю и могу судить, он *b* огат, *v* еликодушен, *g* оряч, *d* обр, *ж* аlostлив, *z* натен, *и* зящен, *k* расив, *л* юбезен, *m* ужественен, *n* астойчив, *o* бходителен, *n* остоянен, *p* ыцарственен, потом эти четыре *C*, затем *t* ерпелив, *y* мен, *x* рабр, *ц* арственен, *ч* истосердечен (*ш* и *щ* сюда не подходят, больно некрасивые буквы), затем *ю* н и, наконец, *я* ростен в битве.

Азбука эта привела Камиллу в веселое расположение духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, вероятно, более опытна в любви, чем это можно понять из ее слов; и тут Леонелла в этом созналась и сказала Камилле, что завела амуры с одним молодым человеком из хорошей семьи, жителем того же города, каковое известие встревожило Камиллу, и она со страхом подумала, что чести ее именно с этой стороны может грозить опасность. Допросила она ее, как далеко они зашли. Та без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и случается: стоит допустить оплошность госпоже, как тотчас теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее оступилась, начинает хромать сама, нимало не смущаясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать в тайне собственные свои похождения, дабы про них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обещала, но исполнила свое обещание так, что предчувствие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, сбылось, ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и будучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовником, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в дом, – таково одно из пагубных последствий греха, совершаемого госпожами: они становятся рабынями собственных своих служанок и принуждены бывают покрывать их бесстыдство и низость, как это и случилось с Камиллой, которая не один, а много раз заставляла Леонеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все же не только не решалась ее пожурить, но еще и помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищрения, однажды Лотарио увидел, как

тот на рассвете выходил из дома Ансельмо; не зная, кто это, Лотарио подумал сперва, что это ему почудилось; когда же он увидел, что тот, завернувшись и закутавшись в плащ, пробирается с величайшею предосторожностью и опаскою, то, отказавшись от простодушного своего заключения, пришел к другому, которое могло бы погубить всех, если бы Камилла в конце концов не нашлась, как этому помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в столь неурочное время выходявший из дома Ансельмо, приходил к Леонелле; он вообразил, что Камилла и тут оказалась столь же доступною и податливою, как и по отношению к нему, – таковы последствия, которые влечет за собою злонравие неверной жены; она теряет уважение в глазах своего же любовника, который мольбами и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться другому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, изменил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую власть, ибо, ослепленный глодавшею его бешеною ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, хотя на самом деле она ни в чем перед ним не провинилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без дальних размышлений броситься к Ансельмо, когда тот еще лежал в постели, и обратился к нему с такими словами:

– Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. Знай, что крепость, именуемая Камиллой, сдалась и готова принять любые мои условия. И я не спешил открывать тебе всю правду единственно потому, что желал увериться, не есть ли это с ее стороны пустая женская прихоть и не намеревается ли она испытать меня и проверить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, начатых мною с твоего позволения. Равным образом я полагал, что если Камилла такова, какою ей надлежит быть и какою мы оба ее считали, то она сообщит тебе о моем ухаживании, но, видя, что она медлит, я понял, что обещание ее неложно, – обещала же мне она, что когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свидание в твоей гардеробной (и точно: в этой самой комнате они обыкновенно виделись). Однако ж я просил бы тебя удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех совершен ею пока только в мыслях, и может статься, что, прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут иное направление и место греха заступит раскаяние. Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас преподаю, и запомни его, дабы затем, во всем уверясь воочию, по зрелом размышлении поступить, как тебе заблагорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гардеробной, которая благодаря коврам и разным другим предметам представляет собой самое подходящее для этого место, и тут мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камилла, и если замысел ее порочен, что вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, предусмотрительным и разумным палачом, карающим за причиненное тебе зло.

Речи Лотарио удивили, изумили и поразили Ансельмо, ибо тот обратился с ними к нему, когда он меньше всего ожидал их услышать, – он уже считал, что его супруга отбила притворные атаки Лотарио, и праздновал победу. Долго хранил он молчание, уставясь неподвижным взглядом в пол, и наконец сказал:

– Ты поступил, как истинный друг, Лотарио. Я непременно послушаюсь твоего совета. Делай что хочешь, но только держи это в тайне, как того требует столь непредвиденный случай.

Лотарио обещал, но, выйдя от Ансельмо, он горько пожалел, что сказал ему все это, и понял, как глупо он поступил, ибо он сам мог отомстить Камилле и не таким жестоким и постыдным способом. Он проклинал себя за безрассудство, порицал за легкомыслие и не знал, на что решиться, дабы исправить ошибку и найти какой-нибудь разумный выход. В конце концов он решился повиниться во всем Камилле; сыскать для этого случай ему было нетрудно – в тот же день увиделся он с нею наедине, а она как скоро удостоверилась, что никто не слышит, то сказала:

– Знаешь, милый Лотарио, у меня так болит и ноет сердце, что кажется, будто вот-вот разорвется, и если оно и не разорвется, то, право, каким-нибудь чудом. Послушай: бесстыдство Леонеллы дошло до того, что она все ночи напролет просиживает в моем доме со своим возлюбленным, нанося ущерб моему доброму имени, ибо перед всяким, кто видит, как он в непоказанное время выходит из моего дома, открывается широкое поле для подозрений. И мне особенно тяжело, что я не могу ни наказать ее, ни побранить, ибо то обстоятельство, что она является поверенною в наших делах, скрепило мои уста печатью, дабы я молчала про ее дела, и я боюсь, как бы из этого не вышло беды.

Слушая Камиллу, Лотарио сначала решил, что это она придумала для отвода глаз – будто человек, которого он видел, приходил не к ней, а к Леонелле; однако ж, видя, что она сокрушается, плачет и просит у него совета, он ей поверил и, поверив, еще более устыдился и во всем раскаялся. Но со всем тем он сказал Камилле, чтобы она не огорчалась и что он-де надумает, как обуздать наглость Леонеллы. Под конец же Лотарио признался, что, подстрекаемый бешеною и дикою ревностью, он все рассказал Ансельмо и что тот по уговору спрячется в гардеробной, дабы воочию убедиться в ее неверности. Он молил ее простить ему это безрассудство и посоветовать, как исправить дело и как ему выйти из столь запутанного лабиринта, куда его завлекло собственное сумасбродство.

Признание Лотарио ужаснуло Камиллу, и она в превеликом гневе разразилась потоком справедливых укоризн и разбранила его за то, что он столь низкого о ней мнения, и за его нелепую и дурную затею; но как женский ум по природе своей отзывчивее, нежели мужской, и на доброе и на злое, хотя и уступает ему в умении здраво рассуждать, то Камилла мгновенно нашла выход из этого, казалось бы, безвыходного положения и велела Лотарио устроить так, чтобы Ансельмо на другой день, точно, спрятался в условленном месте, ибо она рассчитывала, что из этих прятков можно будет извлечь пользу и что в дальнейшем они уже без всяких помех будут наслаждаться друг другом; и, не раскрывая до конца своих намерений, она предупредила его, чтобы он, когда Ансельмо спрячется, явился по зову Леонеллы и на все вопросы отвечал так, как если бы он и не подозревал, что Ансельмо его слышит. Лотарио упрашивал ее поделиться с ним своим замыслом, дабы тем увереннее и осмотрительнее начал он действовать.

– Тебе не нужно действовать; повторяю: тебе надлежит лишь отвечать на мои вопросы, – вот все, что сказала ему Камилла, ибо из боязни, что он отвергнет ее затею, которая ей самой казалась столь удачною, и затеет и придумает что-нибудь еще, гораздо менее удачное, положила до времени не посвящать его в свои планы.

С тем и ушел Лотарио, а на другой день Ансельмо сделал вид, что уезжает в деревню к своему приятелю, а сам возвратился и спрятался, что ему было сделать легко, ибо Камилла и Леонелла предоставили ему эту возможность.

Итак, Ансельмо спрятался, и его охватило волнение, какое не может, вероятно, не испытывать тот, кто ожидает, что вот сейчас у него на глазах станут попираť его честь, что еще секунда – и у него похитят бесценный клад, за каковой он почитал возлюбленную свою Камиллу. Твердо уверенные в том, что Ансельмо спрятался, Камилла и Леонелла вошли в гардеробную; и, едва переступив порог, Камилла с глубоким вздохом молвила:

– Ах, добрая Леонелла! Я не приведу в исполнение замысел, о котором я не ставила тебя в известность, дабы ты не тщила меня удерживать, возьми лучше кинжал Ансельмо и пронзи бесчестную грудь мою! Но нет, постой, не должно мне страдать за чужую вину. Прежде всего я хочу знать, что такое усмотрели во мне бессовестные и дерзкие очи Лотарио, отчего он вдруг осмелел и поведал мне преступную свою страсть, тем самым обесчестив своего друга и опозорив меня. Подойди к окну, Леонелла, и позови его, – он, конечно, сейчас на улице: ждет, когда можно будет осуществить дурной свой умысел. Однако ж прежде осуществится мой – жестокий, но благородный.

– Ах, госпожа моя! – заговорила догадливая и обо всем осведомленная Леонелла. – Зачем вам кинжал? Неужели вы хотите убить себя или же убить Лотарио? Но и в том и в другом случае вы погубите и честь свою, и доброе имя. Лучше затаите обиду и не пускайте

этого скверного человека на порог, когда мы одни. Подумайте, синьора: ведь мы слабые женщины, а он мужчина, да еще такой, который идет напролом. И вот если он, потеряв голову от страсти, явится с дурным своим намерением сюда, то, пожалуй, прежде нежели вы приведете в исполнение свое, он учинит такое, что окажется для вас горше смерти. Уж этот мой господин Ансельмо, и зачем только он дал такую волю у себя в доме этому потаскуну? Положим даже, синьора, вы его убьете, – а мне сдается, что вы именно это замыслили, – что мы будем делать с мертвым телом?

– Что будем делать? – сказала Камилла. – Пусть его хоронит Ансельмо, – этот труд должен показаться ему отдыхом, ибо он предаст земле свой позор. Ну так зови же его, – медлить с отмщением за причиненное мне зло – это значит, по моему разумению, изменить обету супружеской верности.

Ансельмо слышал все, и каждое слово Камиллы разуверяло его; когда же ему стало ясно, что она решилась убить Лотарио, то он вознамерился выйти и объявиться, дабы не свершилось подобное дело, но его остановило желание посмотреть, к чему приведут эта неустрашимость и это благородное решение, с тем чтобы в последнюю минуту выйти и остановить Камиллу.

А Камилла между тем изобразила глубокий обморок, и как скоро она рухнула на кровать, Леонелла горько заплакала и запричитала:

– Ах ты, беда какая! И что я за несчастная, – ведь у меня на руках умирает цвет земной чистоты, венец добродетельных жен, образец целомудрия...

И еще много чего она наговорила, так что кто бы ее ни послушал, всякий почел бы ее за самую сердечную и верную служанку на свете, а ее госпожу – за новоявленную преследуемую Пенелопу. Камилла не замедлила прийти в себя и, очнувшись, молвила:

– Что же ты, Леонелла, не идешь звать самого верного друга во всем подсолнечном и подлунном мире? Торопись же, ступай, беги, лети, да не угасит твоя медлительность пыл моего гнева и да не расточится в угрозах и проклятиях предвкушаемая мною правая месть.

– Иду, иду, госпожа моя, – сказала Леонелла, – только отдайте мне сначала кинжал, а то как бы в мое отсутствие вы не натворили такого, из-за чего ваши близкие потом всю жизнь плакать будут.

– Будь спокойна, милая Леонелла, я ничего такого не сделаю, – возразила Камилла. – Хотя, по-твоему, безрассудно и неумно с моей стороны вступаться за свою честь, однако ж я не Лукреция, которая якобы наложила на себя руки, будучи ни в чем неповинна и не умертвив прежде виновника своего несчастья. Да, я умру, коли уж мне так положено, но сперва я должна отплатить и отомстить тому, из-за чьей дерзости, для которой я отнюдь не подавала повода, я сейчас проливаю слезы.

Леонелла заставила себя долго упрашивать, прежде чем пойти за Лотарио, но наконец пошла, и, пока ее не было, ее госпожа говорила сама с собою:

– Боже мой, боже мой! Не разумнее ли было бы прогнать Лотарио, как я это уже делала не раз, а не подавать ему повода, – к сожалению, у него теперь уже есть повод, – принять меня за женщину бесчестную и низкую, хотя он и не замедлит в том разувериться? Нет сомнения, так было бы лучше. Но я не была бы отомщена и честь супруга моего осталась бы опороченною, когда бы Лотарио цел и невредим и как ни в чем не бывало вышел оттуда, куда его завлекли преступные замыслы. Да поплатится жизнью предатель за нечистые свои желания! Пусть знает свет (если только он когда-либо про это узнает), что Камилла не только сохранила верность своему супругу, но и отомстила тому, кто дерзнул его оскорбить. Со всем тем, думается мне, лучше было бы уведомить Ансельмо. Но ведь я же намекала ему на это в письме, посланном в деревню, и, думается мне, если он не поспешил предотвратить опасность, о которой я его извещала, то, очевидно, потому, что его благородная и доверчивая душа не могла и не хотела допустить, чтобы его испытанный друг замыслил нечто такое, что задевало бы его честь. Да я и сама потом долго не придавала этому значения и так и не придала бы, если б не настойчивые уверения, роскошные дары и потоки слез, в коих безмерная его наглость себя обнаружила. Но к чему все эти речи? Ужели смелое решение



нуждается в совете? Разумеется, что нет. Так берегись же, измена, сюда, отмщение! Входи, предатель, подойди ближе, погибни, умри, а там будь что будет! Чистою отдала я себя под начало того, кто небом был мне дарован в супруги, чистою же должна я выйти из-под его начала, – более того: я выйду, омытая в собственной невинной крови и в грязной крови коварнейшего из друзей, каких когда-либо видела дружба на свете.

Все это она говорила, расхаживая по комнате с обнаженным кинжалом, сопровождая свою речь порывистыми и неестественными движениями и необычайно бурно выражая свои чувства, так что, глядя на нее, можно было подумать, будто она лишилась рассудка и будто это не мягкосердечная женщина, но злодей, решимости отчаяния преисполненный.

Ансельмо, стоя за ковром, все это видел и всему дивился, и ему уже начинало казаться, что виденное и слышанное могло бы и более основательные подозрения рассеять, и, боясь какого-либо неожиданного происшествия, он уже хотел, чтобы опыт с приходом Лотарио не состоялся. И он готов был объявиться и выйти, дабы обнять и успокоить свою супругу, но, увидев, что Леонелла ведет за руку Лотарио, невольно остановился, и как скоро Камилла увидела Лотарио, то провела перед собой кинжалом черту на полу и сказала:

– Лотарио! Слушай, что я тебе скажу: если ты осмелишься переступить вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, в то же мгновенье, едва лишь я замечу, что ты намереваешься это сделать, я вонжу себе в грудь вот этот самый кинжал. И прежде чем ты проронишь хоть слово в ответ, я хочу сама сказать тебе несколько слов, а потом уже ты ответишь, как тебе заблагорассудится. Во-первых, Лотарио, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты моего мужа Ансельмо и какого ты о нем мнения, а во-вторых, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты меня. Отвечай же, не смущайся и ответов своих не обдумывай, ибо вопросы мои нетрудны.

Лотарио был достаточно проникновенен для того, чтобы с самого начала, когда еще Камилла велела ему спрятать Ансельмо, догадаться, что она намерена предпринять; и потому, сразу попав ей в тон, он отвечал умно и находчиво, так что благодаря искусной игре их обоих нельзя было не принять эту ложь за совершенную правду; ответил же он Камилле вот что:

– Я не предполагал, прелестная Камилла, что ты позвала меня, дабы расспрашивать о вещах, столь далеких от цели моего прихода. Если ты вознамерилась отсрочить обещанную награду, то лучше бы уж с самого начала ничего мне не сулить, ибо тем сильнее томит желанное, чем больше надежды на обладание им. Но, дабы ты не подумала, что я не хочу отвечать на твои вопросы, я тебе отвечу на них: да, я знаю супруга твоего Ансельмо, с малых лет мы знаем друг друга, и я не стану говорить тебе о нашей дружбе, которая тебе хорошо известна, дабы самому не сделаться свидетелем зла, которое я ему сделал по наущению любви, неизменно оправдывающей величайшие заблуждения. Я и тебя знаю, и дорога ты мне так же, как и ему: ведь когда бы не твои достоинства, ни за что не изменил бы я долгу дворянина и не поступил бы вопреки священным законам истинной дружбы, ныне мною погранным и нарушенным по наущению любви, этого мощного недруга.

– Коли ты сознаешься в этом, существо, истинной любви недостойное, – сказала Камилла, – то с какими же глазами осмеливаешься ты предстать перед тою, кто, как тебе известно, являет собой зеркало, в которое смотрится тот, на кого не мешает почаще смотреть тебе, дабы увидеть, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но как же я несчастна! Ведь нетрудно сообразить, из-за чего не сообразовался ты с велениями долга: должно думать, это некая с моей стороны вольность, – я не могу сказать: нескромность, ибо заранее обдуманного намерения тут не было, а была какая-нибудь оплошность, которую женщины обыкновенно допускают по рассеянности, когда они знают, что опасаться им некого. В самом деле, скажи, изменник: ответила ли я на твои мольбы хотя единым словом или же знаком, который мог бы в тебе пробудить тень надежды на исполнение гнусных твоих желаний? Был ли когда-нибудь такой случай, чтобы я своими речами не уничтожила и со всею суровостью и строгостью не осудила любовных твоих речей? Поверила ли я хотя одному из щедро расточаемых тобою слов и приняла ли я хотя единый из еще более щедрых

твоих даров? И все же мне представляется, что нельзя в течение долгого времени находиться в плену у любовной мысли, если только ее не питает надежда, а потому ответ за твое безрассудство хочу держать я, ибо, уж верно, какая-нибудь с моей стороны невнимательность все это время питала твое особое внимание ко мне, – вот я и хочу себя наказать и пострадать за твою вину. И дабы ты уразумел, что коли я так бесчеловечна по отношению к самой себе, то и по отношению к тебе я не могу быть иною, я хочу, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я намереваюсь принести поруганной чести моего честнейшего супруга, которого ты постарался оскорбить, как только мог, и которого оскорбила и я недостаточною решительностью, с какою я избегала – и, по-видимому, так и не избежала – случая поддержать и поощрить дурные твои намерения. Повторяю: меня больше всего мучает подозрение, что моя неосторожность поселила в твоей душе нелепые эти мечты, и вот за нее-то я больше всего и хочу себя наказать своими собственными руками, ибо если кто-нибудь другой будет моим палачом, то вина моя, по всей вероятности, примет огласку. Но я хочу не только умереть самой, но и умертвить и увлечь за собою того, чья смерть утолит мою жажду мести, – мести, которую я лелею и ношу в себе, ибо в отмщении, как бы оно ни свершилось, я вижу кару беспристрастного правосудия, и ее не отвратить тому, кто довел меня до такого отчаяния.

И тут она, взмахнув кинжалом и приняв необычайно грозный вид, стремительно ринулась на Лотарио с явным намерением пронзить ему грудь, так что у него даже мелькнула мысль, все ли это у нее деланное, или же это искренне, ибо ему понадобились вся его ловкость и сила, дабы помешать Камилле нанести удар. Она же вела необыкновенную эту игру в высшей степени непринужденно и так увлеклась сама, что, дабы окрасить выдумку эту в цвет истины, решила, видимо, обогреть ее собственной своею кровью, ибо, уверившись, что не может заколоть Лотарио, или же сделав вид, что не может, она сказала:

– Судьбе не угодно, чтобы мое законное желание осуществилось до конца, но как она ни всемогуща, а все же она не воспрепятствует мне осуществить его хотя бы отчасти.

С последним словом она вырвала у Лотарио свою руку и, направив острие кинжала на самое себя, но так, чтобы рана была не глубокой, вонзила его себе в левый бок, чуть ниже плеча, и, как бы без чувств, упала на пол.

Глядя на Камиллу, распростертую на полу и залитую кровью, Леонелла и Лотарио недоумевали и давались диву: они все еще не могли понять, притворство это или нет. Лотарио, от испуга с трудом переводя дух, бросился к Камилле, но, увидев, что рана нимало не опасна, успокоился и снова подивился сметливости, находчивости и большому уму прелестной Камиллы; и, памятуя о том, как должно ему держать себя, начал он протяжный и унылый плач, как если б Камилла была покойница, и принялся осыпать проклятиями не только себя, но и того, кто довел его до беды. А как ему было ведомо, что его друг Ансельмо слышит все, то говорил он такие вещи, что всякий, кто бы его ни послушал, пожалел бы его еще больше, нежели Камиллу, хотя бы даже почитал ее за умершую. Леонелла взяла ее на руки и перенесла на кровать; она умоляла Лотарио найти врача, который согласился бы тайне от всех вылечить Камиллу, и просила посоветовать ей и надоумить ее, что сказать Ансельмо относительно раны ее госпожи в случае, если он возвратится до ее выздоровления. Лотарио сказал, чтобы она отвечала, как ей вздумается, – он-де сейчас не в состоянии дать хороший совет, он только просит ее поскорее унять кровь, потому что сам он удаляется прочь от людей, – и с сильным движением скорби и душевной муки вышел из комнаты. Когда же он очутился один и в таком месте, где никто его не мог видеть, он стал усердно креститься, дивясь хитрости Камиллы и той естественности, с какою держала себя Леонелла. Он был убежден, что Ансельмо теперь уподобляет свою супругу самой Порции<sup>1</sup>, и ему хотелось с ним повидаться, дабы вместе отпраздновать самую полную победу лжи над правдой, какую только можно себе представить.

---

<sup>1</sup> *Порция* – жена Марка Брута. Желая доказать Бруту, что она достаточно мужественна и отважна и поэтому достойна быть посвященной в заговор против Юлия Цезаря, Порция тяжело ранила себя в присутствии мужа. Позднее, узнав о его смерти на поле брани, она покончила с собой.

Итак, Леонелла остановила кровь своей госпоже, – крови между тем вытекло ровно столько, сколько надобно было для того, чтобы выдумка эта показалась правдоподобной, – а затем промыла рану вином и с крайним тщанием перевязала ее; при этом она говорила такие слова, что если б никаких других слов здесь раньше не было произнесено, то этого оказалось бы довольно, чтобы уверить Ансельмо, что супруга его – олицетворение добродетели. К речам Леонеллы присовокупила свои речи и Камилла, – она называла себя трусливой и малодушной, ибо твердость духа покинула ее, мол, в ту самую минуту, когда она в ней особенно нуждалась для того, чтобы покончить все счеты с постылою жизнью. Она спросила свою служанку, стоит ли рассказывать о случившемся любезному ее супругу; та отсоветовала ей, ибо он, дескать, почтет за должное отомстить Лотарио, что сопряжено с большим для него самого риском, доброй же супруге не пристало подбивать мужа на ссоры, – напротив, она должна по возможности удерживать его. Камилла сказала, что этот совет ей по сердцу, что она ему последует, но что все-таки надобно придумать, что сказать Ансельмо по поводу раны, которую он, уж верно, заметит; Леонелла же ей на это сказала, что она и в шутку не умеет лгать.

– А я разве умею, голубка? – воскликнула Камилла. – Да если б даже от этого зависела моя жизнь, и тогда не посмела бы я ни выдумывать, ни лжесвидетельствовать. И коли мы все равно не сумеем выпутаться, то уж лучше сказать всю правду, нежели быть уличенными во лжи.

– Не горюйте, синьора, – возразила Леонелла, – до завтрашнего утра я придумаю, что сказать, да и рана у вас в таком месте, что он ее и не заметит, и сострадательные небеса окажут содействие нашим законным и честным намерениям. Успокойтесь, госпожа моя, и постарайтесь унять волнение, дабы мой господин не застал вас в тревоге, а в остальном положитесь на меня и на бога, который вечно споспешествует благим желаниям.

С величайшим вниманием слушал и смотрел Ансельмо, как играют трагедию гибели его чести, лицедеи же играли ее с такою необыкновенною, подлинною страстью, что казалось, будто они перевоплотились в тех, кого изображали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти из дому, свидеться с добрым своим другом Лотарио и вместе порадоваться драгоценной жемчужине, которую он нашел, подвергнув испытанию целомудрие своей жены. Камилла и Леонелла позаботились о том, чтобы предоставить ему удобный случай и возможность выйти из дому, и он этой возможности не упустил и, выйдя, поспешил к Лотарио; встреча наконец состоялась, и язык человеческий не в силах изобразить, как он его обнимал, как изъявлял свою радость и как превозносил Камиллу. Лотарио слушал его без восторга, ибо воображению его представлялось, сколь низко обманут был его друг и сколь незаслуженно он причинил ему зло; но Ансельмо, хоть и видел, что Лотарио не радостен, объяснял это тем, что Лотарио бросил Камиллу раненую и что виновником несчастья он почитает себя; поэтому Ансельмо, между прочим, сказал Лотарио, чтобы он о Камилле не беспокоился, ибо рана, вне всякого сомнения, не опасна, коли ее намерены скрыть от него, – следственно, бояться нечего, а должно радоваться вместе с ним и веселиться, ибо хитрость его и посредничество возвели Ансельмо на самый верх блаженства, и теперь он, Ансельмо, ничем иным не желает заниматься, кроме как писанием стихов в честь Камиллы, дабы она жила в памяти поздних потомков. Лотарио одобрил благую его мысль и сказал, что и он примет участие в воздвижении столь великолепного памятника.

Так презабавнейшим образом был обманут Ансельмо; он сам, думая, что вводит к себе в дом орудие своей славы, ввел в него полную гибель своей чести. Камилла встречала Лотарио с недовольным лицом, но с душою ликующею. Обман этот длился несколько месяцев, а затем Фортуна повернула наконец свое колесо, вследствие чего низость, до тех пор столь искусно скрываемая, вышла наружу, и Ансельмо поплатился жизнью за безрассудное свое любопытство.

## Глава XXXV,

*в коей речь идет о жестокой и беспримерной битве Дон Кихота с бурдюками красного вина и оканчивается повесть о Безрассудно-любопытном*

До конца повести оставалось совсем немного, когда из чулана, где отдыхал Дон Кихот, с криком выбежал перепуганный Санчо Панса:

– Бегите, сеньоры, скорей и помогите моему господину, – он вступил в самый жестокий и яростный бой, какой когда-либо видели мои глаза. Как рубанет он великана, недруга сеньоры принцессы Микомиконы, так голова у того напрочь, словно репа, вот как бог свят!

– Что ты, братец мой, говоришь? – прерывая чтение, воскликнул священник. – Да ты в своем уме, Санчо? Как могла случиться вся эта чертовщина, когда великан находится за две тысячи миль отсюда?

В это время в чулане поднялся превеликий шум и послышались крики Дон Кихота:

– Ни с места, вор, разбойник, трус! Теперь ты в моих руках, и твой ятаган тебе не поможет.

При этом он, видимо, что было мочи ударил мечом по стене. Санчо же сказал:

– Нечего вам стоять и слушать, – либо разнимите дерущихся, либо поддержите моего господина. Впрочем, нужды в этом уже нет, потому великан, понятно, уже убит и теперь дает ответ богу за всю свою дурно прожитую жизнь. Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его отрубленная голова, здоровенная, что твой бурдюк с вином.

– Убейте меня, – вскричал тут хозяин постоялого двора, – если этот чертов Дон Кихот не пропорол один из бурдюков с красным вином, которые висят над его изголовьем, а этот простофиля, уж верно, принимает за кровь вытекшее вино!

С этими словами он вошел в чулан, а за ним все остальные, и глазам их явился Дон Кихот в самом удивительном наряде, какой только можно себе представить. Был он в одной сорочке, столь короткой, что она едва прикрывала ляжки, а сзади была еще на шесть пальцев короче; длинные его и худые волосатые ноги были далеко не первой чистоты; на голове у него был красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину; на левую руку он намотал одеяло, внушавшее Санчо отнюдь не безотчетную неприязнь, а в правой держал обнаженный меч, коим он тыкал во все стороны, произнося при этом такие слова, как если б он, точно, сражался с великаном. А лучше всего, что глаза у него были закрыты, ибо он спал, и это ему приснилось, что он бьется с великаном; воображению его так ясно представлялось ожидавшее его приключение, что ему померещилось, будто он уже прибыл в королевство Микомиконы и сражается с ее недругом; и, полагая, что он наносит удары мечом великану, он пропорол бурдюки, так что все помещение было залито вином. Тут хозяйина взяло такое зло, что он бросился на Дон Кихота с кулаками и так его стал тузить, что если б не Карденьо и священник, то войну с великаном Дон Кихоту пришлось бы прекратить навеки, а между тем бедный рыцарь все не просыпался; наконец цирюльник сходил на колодец, принес большой котел холодной воды и обдал его с головы до ног, после чего Дон Кихот пробудился, но спросонья не заметил, в каком он виде. Доротeya же, обратив внимание на его короткую и легкую одежду, не решилась присутствовать при сражении между ее другом и ее врагом.

Санчо по всему полу искал голову великана и, так и не обнаружив ее, сказал:

– Знаю я этот домик – не дом, а сплошное наваждение. Прошлый раз на этом самом месте неведомо кто надавал мне зуботычин и тумачков, – так я его до сих пор и не видел, – теперь пропала голова, а ведь я собственными глазами видел, как ее отсекли: кровь была фонтаном.

– Какая там кровь и какой фонтан, враг ты господень и всех святых? – вскричал хозяин. – Разве ты не видишь, мошенник, что бурдюки крови хлещут из проткнутых фонтанов, – то есть я хотел сказать наоборот, – и что все здесь плавает в красном вине, чтоб у того душа в аду плавала, кто умудрился их проткнуть!

– Ничего не понимаю, – отвечал Санчо, – знаю только, что разнесчастный я буду человек, коли не сыщу этой головы, потому графство мое тогда растает, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был еще хуже спящего Дон Кихота – так ему запали в душу обещания его господина. Хозяина бесило буйство Дон Кихота и спокойствие оруженосца, и он клялся, что теперь они так легко не отделаются, как в прошлый раз, когда они съехали со двора, не заплатив, – теперь особые права рыцарства им не помогут, они рассчитаются и за то и за это и, кроме всего прочего, возместят стоимость заплат для прорванных бурдюков.

Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, полагая, что приключение окончилось и что перед ним принцесса Микомикона, опустился перед священником на колени и сказал:

– Отныне, ваше величие, благородная и достославная сеньора, вы можете быть уверены, что это гнусное существо не причинит вам более зла. Я же отныне могу почитать себя свободным от данной мною клятвы, ибо милостью всемогущего бога и под покровом той, ради которой я живу и дышу, я как нельзя лучше ее сдержал.

– А что я вам говорил? – послушав такие речи, вскричал Санчо. – Ведь не пьян же я был, в самом деле. Солоно пришлось великану от моего господина, можете мне поверить! Одним словом, дело идет на лад, графство мое не за горами!

Кто бы не посмеялся бредням обоих – господина и слуги? Все и засмеялись, кроме хозяина, который сулил им черта. Наконец священнику, Карденьо и цирюльнику ценою немалых трудов удалось уложить изнемогавшего от усталости Дон Кихота в постель, и тот уснул. Предоставив ему возможность выспаться, они вышли на крыльцо утешить Санчо Пансу, так и не нашедшего голову великана. Впрочем, еще труднее было им умиловать хозяина, коему скоропостижная кончина его бурдюков причинила неизбывное горе. А хозяйка между тем вопила и причитала:

– Не в добрый час и не в пору явился в мой дом этот странствующий рыцарь, глаза бы мои его не видали – так дорого он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, так и не рассчитавшись за ночлег: ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес – для себя самого, для своего оруженосца, для лошади и для осла: он-де рыцарь, искатель приключений (чтоб с ним лихая беда приключилась, с ним и со всеми искателями приключений, какие только есть на свете), и потому платить-де не обязан, и так, мол, это записано в уложении о странствующем рыцарстве. А потом явился ко мне вот этот самый сеньор, – и все опять из-за него, – и унес мой хвост, а вернул мне его с преобладающим изъяном, весь как есть общипанный, так что теперь мой муж не может употреблять его для своих надобностей. И в довершение всего – продырявить мои бурдюки и выпустить из них вино, чтоб ему так всю кровь повыпустили! Но только уж как ему будет угодно: клянусь прахом отца и памятью матери, он заплатит мне все до последнего гроша, или меня не так зовут и я не дочь своих родителей!

Вот что в великом гневе говорила хозяйка постоялого двора, а добрая служанка Мариторнес ей вторила. Дочка помалкивала и только время от времени усмехалась. Священник все уладил, обещав полностью возместить убытки, понесенные как на бурдюках, так и на вине, особенно же на повреждении хвоста, коим здесь так дорожили. Доротея утешила Санчо Пансу тем, что как скоро будет доказано, что его господин, точно, обезглавил великана, то, едва лишь в ее королевстве водворится мир, она пожалует ему самое лучшее графство. Санчо этим утешился и стал уверять принцессу, что он без всякого сомнения видел голову великана и даже запомнил такую подробность, что борода у головы была по пояс, а исчезла она, дескать, единственно потому, что все в этом доме происходит колдовским манером, в чем он, Санчо прошлый раз имел случай удостовериться. Доротея сказала, что она тоже так думает и чтобы он не огорчался, ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу. Когда все успокоились, священник предложил дочитать повесть, ибо оставалось немного. Карденьо, Доротея и прочие попросили его дочитать. Тогда, желая доставить удовольствие всем присутствующим, а также ради собственного своего удовольствия, он снова принялся за чтение повести, прерванное вот на каком месте:

Итак, уверившись в благонравии Камиллы, Ансельмо был счастлив и беззаботен, а Камилла, чтобы он ничего не заподозрил, нарочно при виде Лотарио делала злое лицо;

Лотарио же для вящей убедительности попросил у Ансельмо позволения больше к нему не ходить, – ведь он, мол, явно неприятен Камилле; однако обманутый Ансельмо решительно воспротивился, – так, на тысячу ладов, прятал он пряжу своего бесчестия, полагая, что это пряжа его счастья. А Леонелла, будучи счастлива тем, что на ее любовные похождения смотрят сквозь пальцы, и уверена, что госпожа не выдаст ее, а в случае чего и предостережет, так что она может безбоязненно, уже ни на что не обращая внимания, предаваться своей страсти, кинулась очертя голову в омут греха. И вот как-то ночью Ансельмо слышал шаги в комнате Леонеллы, но когда он решился заглянуть, кто это ходит, то почувствовал, что дверь изнутри держат, каковое обстоятельство усилило в нем желание ее отворить; он приналег, дверь отворилась, и он вошел в комнату как раз в ту минуту, когда кто-то выпрыгнул из окна на улицу; Ансельмо бросился за ним, дабы схватить его или, по крайности, узнать, кто это, но ни того, ни другого намерения не исполнил, ибо Леонелла обхватила его руками.

– Успокойтесь, государь мой, – сказала она, – не волнуйтесь и не бегите за тем, кто выпрыгнул, – всему причиной я, так что, одним словом, это мой муж.

Ансельмо ей не поверил, – вне себя от ярости, он выхватил кинжал и, велел Леонелле говорить всю правду, иначе, мол, он убьет ее, занес его над нею. Она же в страхе, сама не зная, что говорит, сказала:

– Не убивайте меня, синьор, я сообщу вам более важные вещи, чем вы можете предполагать.

– Говори, – сказал Ансельмо, – или ты умрешь.

– Сейчас не могу, – сказала Леонелла, – я сама не своя. Подождите до утра, и я расскажу вам такое, что приведет вас в изумление. Только вы не беспокойтесь: выпрыгнул отсюда юноша из нашего города, он обещал на мне жениться.

Ансельмо этим удовольствовался и порешил ждать до утра, ибо ему и в голову не могло прийти, что он услышит что-нибудь нехорошее о Камилле, – столь твердо был он уверен в ее благонравии; и по сему обстоятельству он вышел из комнаты и, заперев Леонеллу на ключ, объявил, что она не выйдет отсюда, пока не скажет того, что ей надобно ему сказать.

Затем он пошел к Камилле рассказать обо всем, что произошло между ним и служанкой, в частности о том, что она дала ему слово сообщить какое-то чрезвычайно важное для него известие. Вряд ли стоит говорить, встревожилась Камилла или нет, – ужас, объявивший ее, едва она предположила (а ничего иного тут и нельзя было предположить), что Леонелла намерена рассказать Ансельмо об ее измене, был так велик, что, не имея сил ждать, оправдывается ее подозрение или нет, в ту же ночь, как скоро она удостоверилась, что Ансельмо уснул, взяла она самые дорогие свои вещи и немного денег и, никем не замеченная, вышла из дому, побежала к Лотарио, поведала ему о случившемся и стала умолять его спрятать ее или бежать вместе с нею туда, где Ансельмо не мог бы сыскать их. Все это привело Лотарио в великое смятение, и он не знал, что сказать и на что решиться. Наконец положил он отвезти Камиллу в монастырь, коего настоятельницею была его сестра. Камилла изъявила согласие, и с подобающею в сем случае поспешностью Лотарио отвез ее в монастырь, а затем и сам, никого решительно не предупредив, покинул город.

Поутру Ансельмо, даже не заметив, что Камиллы подле него нет, мучимый желанием узнать, что хочет сказать ему Леонелла, встал и пошел туда, где он ее запер. Он отворил дверь и вошел в комнату, но Леонеллы не обнаружил; обнаружил он лишь прикрепленные к окну простыни – явный знак и доказательство того, что по ним она спустилась и убежала. Пошел он, весьма огорченный, рассказать об этом Камилле и, не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, испугался. Стал спрашивать слуг, но никто ничего не знал. Однако ж, разыскивая Камиллу, случайно обнаружил он, что сундуки ее раскрыты и многих драгоценностей недостает, и тут он познал всю глубину своего несчастья и уразумел, что виновницею его была не Леонелла; и он как был, не придевшись, погруженный в мрачное раздумье, отправился к другу своему Лотарио поведать ему свое горе. Но и Лотарио не оказалось дома,

а слуги ответили, что он выехал ночью, взяв с собою все деньги, какие только у него были, и тут Ансельмо почувствовал, что мысли у него путаются. Когда же он возвратился к себе, то к умножению несчастий своих обнаружил, что никого из слуг и служанок не осталось и что дом его пуст и необитаем.

Он не знал, что думать, что делать, что говорить, – он чувствовал, что сходит с ума. Он видел и понимал, что разом лишился жены, друга, слуг, ему казалось, что его оставило само небо, а главное, что он обесчещен, ибо исчезновение Камиллы означало для него утрату чести. После долгого раздумья решился он наконец поехать в деревню к своему приятелю, у которого он гащивал прежде, меж тем как, пока он отсутствовал, плелась нить его злополучия. Он запер свой дом, вскочил на коня и с поникшею головою тронулся в путь; но, проехав с полдороги, неотступно преследуемый своими мыслями, спешился, привязал коня к дереву, а сам с жалобным и слезным стоном повалился на землю и пролежал дотемна, а когда стемнело, то увидел, что из города едет всадник, и, поздоровавшись с ним, спросил, что нового во Флоренции. Горожанин отвечал:

– Так много, как давно не было. Говорят открыто, что Лотарио, ближайший друг богача Ансельмо, который живет возле Сан-Джованни, нынче ночью увез его жену Камиллу, и сам Ансельмо тоже исчез. Обо всем этом рассказала служанка Камиллы, которую градоправитель застигнул ночью, когда она спускалась по простыне из окна дома Ансельмо. Я, собственно, толком не знаю, как было дело. Знаю лишь, что весь город потрясен этим обстоятельством, ибо ничего подобного нельзя было ожидать от их великой и тесной дружбы, – ведь, говорят, их все так и звали: *два друга*.

– Не знаете ли вы случайно, по какой дороге поехали Лотарио и Камилла? – спросил Ансельмо.

– Понятия не имею, – отвечал горожанин, – градоправитель все еще усиленно их разыскивает.

– Счастливого пути, синьор, – сказал Ансельмо.

– Счастливо оставаться, – отвечал горожанин и поехал дальше.

Эти мрачные вести довели Ансельмо до такой крайности, что он был теперь на волосок не только от безумия, но и от смерти. Он встал через силу и поехал к своему приятелю, – тот ничего еще не знал о его несчастье, но, видя, какой он бледный, осунувшийся, изможденный, догадался, что, верно, тяжкое горе так его подкосило. Ансельмо захотел лечь и попросил письменные принадлежности. Желание его было исполнено – его уложили, оставили одного и даже, по его просьбе, заперли дверь. И когда он остался один, мысль о случившейся с ним беде так его стала терзать, что он теперь уже ясно сознавал, что конец его близок; и по сему обстоятельству положил он оставить записку и объяснить причину необыкновенной своей смерти; и он начал было писать, но, прежде чем он успел высказать все, что желал, дыхание у него пресеклось, и дни его прекратило горе, которое было ему причинено его же собственным безрассудным любопытством. Хозяин дома, заметив, что уже поздно, а Ансельмо никого не зовет, и решившись войти и спросить, не хуже ли ему, увидел, что Ансельмо полусидит на кровати, уронив голову на письменный стол, на котором лежало раскрытое недописанное письмо, а в руке он все еще держал перо. Хозяин подошел и сначала окликнул его, но, не получив ответа, взял за руку и, ощутив холодное ее прикосновение, понял, что он мертв. Хозяин дома, потрясенный и крайне удрученный этим, созвал слуг, дабы они были свидетелями случившегося с Ансельмо несчастья, а затем прочитал письмо, написанное, как он тотчас признал, собственною рукою покойного и содержащее в себе такие строки:

«Нелепое и безрассудное желание лишило меня жизни. Если весть о моей кончине дойдет до Камиллы, то пусть она знает, что я ее прощаю, ибо она не властна была творить чудеса, а мне не должно было их от нее требовать, и коль скоро я сам созидал свое бесчестие, то и не для чего...»

На этом обрывается письмо Ансельмо; отсюда явствует, что в эту самую минуту он, не

докончив мысли, окончил дни свои. На другой день хозяин дома сообщил о смерти Ансельмо его родственникам, – те уже знали о его горе, а также о том, что Камилла в монастыре и что она едва не оказалась спутницей своего супруга в этом вынужденном его странствии, и причиной тому было не столько известие о смерти мужа, сколько известие об исчезновении друга. Говорят, что, и овдовев, она не пожелала ни уйти из монастыря, ни принять постриг, но не в долгом времени дошла до нее весть о гибели Лотарио в бою между де Лотреком и великим полководцем<sup>1</sup> Гонсало Фернандесом Кордовским, каковая битва имела место в королевстве Неаполитанском, где и сложил голову этот слишком поздно раскаявшийся друг; и вот когда Камилла про это узнала, то постриглась и вскоре, под бременем тоски и печали, окончила дни свои. Так неразумное начинание одного уготовало всем троим общий конец.

– Повесть мне нравится, – сказал священник, – только я не верю, что это правда, а если это придумано, то придумано неудачно, – в самом деле, трудно себе представить, чтобы существовал на свете такой глупый муж, как Ансельмо, который пожелал бы произвести столь дорого стоящее испытание. Между любовниками это еще туда-сюда, но чтобы между мужем и женой такое затеялось – нет, это что-то не то. А что касается манеры изложения, то она меня удовлетворяет.

## Глава XXXVI,

*в коей речь идет о других редкостных происшествиях, на постоялом дворе случившихся*

В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал:

– Вот едет приятная компания. Если только они здесь останутся, то это будет для нас торжество из торжеств.

– Что это за люди? – осведомился Карденьо.

– Четверо мужчин верхом, на коротких стременах, с копьями и круглыми щитами, все в черных масках, – отвечал хозяин, – с ними женщина в дамском седле, вся в белом и тоже в маске, и двое пеших слуг.

– Они уже близко? – спросил священник.

– Совсем близко, сейчас подъедут, – отвечал хозяин.

При этих словах Доротей закрыла себе лицо, а Карденьо ушел к Дон Кихоту; и только, можно сказать, успели они это сделать, как все те, о ком говорил хозяин, остановились на постоялом дворе, а затем четыре всадника, статные и хорошо сложенные, спешили сами и помогли спешиться женщине, один же из них подхватил ее на руки и усадил в кресло, стоявшее у двери в комнату, где спрятался Карденьо. За все это время ни мужчины, ни их спутница не проронили ни слова и никто не снял маски; только, садясь в кресло, женщина тяжело вздохнула и, точно больная, опустила руки. Слуги отвели коней в стойло.

Священнику между тем не терпелось узнать, что это за люди, почему они так одеты и так молчаливы, и он спросил одного из слуг о том, что его занимало; слуга ему ответил так:

– Право, не знаю, сеньор, что это за люди. Одно могу сказать, что, по видимости, это люди важные, особливо тот, что взял на руки эту самую сеньору, которую вы изволили видеть. Закрываю же я это из того, что все остальные оказывают ему почет и все делается по его приказу и распоряжению.

– А кто же эта сеньора? – любопытствовал священник.

– Тоже не сумею вам сказать, – отвечал слуга, – за всю дорогу я даже лица ее ни разу не

---

<sup>1</sup> ...в бою между де Лотреком и великим полководцем... – Французский маршал де Лотрек принял командование над французской армией в Италии в 1527 г., а Гонсало Фернандес Кордовский, прозванный «великим полководцем», умер в 1515 г. (анахронизм).



видел. Вздыхать она, правда, часто вздыхала, а стонала так, что казалось, будто вместе со стоном у нее отлетит душа. Да и не удивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что мы с моим товарищем сопровождаем их всего только два дня: мы их встретили по дороге, и они упросили и уговорили нас проводить их до Андалусии и обещали хорошо заплатить.

– А при вас они не называли друг друга по имени? – спросил священник.

– Какое там называли, – отвечал слуга, – всю дорогу молчали – прямо на удивление. Слышны были только стоны и рыдания бедной сеньоры, так что жалость брала. И мы не сомневаемся, что ее куда-то увозят насильно, а, судя по ее одежде, она монахиня или же собирается в монастырь, что, пожалуй, вернее, и, видно, не по своей воле постригается, оттого и грустит.

– Все может быть, – сказал священник.

Оставив слуг, он возвратился к Доротее, у Доротеи же вздохи дамы в маске вызвали естественное чувство сострадания, и она приблизилась к ней и спросила:

– Что за кручина у вас, госпожа моя? Подумайте, не такая ли это кручина, которую умеют и которую привыкли разгонять женщины. Я же, со своей стороны, изъявляю полную готовность быть вам полезной.

Ничего не ответила ей тоскующая сеньора; тогда Доротея обратилась к ней с более настойчивым предложением услуг, но та по-прежнему хранила молчание; наконец возвратился кавальеро в маске (тот самый, которому, по словам слуги, все повиновались) и сказал Доротее:

– Не трудитесь, сеньора, что бы то ни было предлагать этой женщине, – она положила за правило не благодарить ни за какие услуги, и не добивайтесь от нее ответа, если не хотите услышать из ее уст какую-либо ложь.

– Я в жизнь свою не лгала, – неожиданно заговорила та, что до сих пор хранила молчание, – напротив, именно потому, что я была так правдива и никогда не притворялась, мне и выпало на долю такое несчастье, и в свидетели я призываю именно вас, ибо глубокая моя правдивость превратила вас в лжеца и обманщика.

Слова эти великолепно слышал Карденьо, – он находился совсем рядом, в комнате Дон Кихота, его отделяла от произносившей их сеньоры только дверь, – и, услышав, он громко воскликнул:

– Боже мой! Что я слышу? Чей это голос достигнул моего слуха?

Охваченная волнением, сеньора повернула голову, но, не видя, кто это кричит, встала и хотела было пройти в ту комнату, однако ж кавальеро остановил ее и не дал ступить ни шагу. Потрясенная и встревоженная, она не заметила, как упала тафта, закрывавшая ее лицо, и тут взорам присутствовавших открылась несравненная ее красота – чудесное ее лицо, бледное, однако же, и явно испуганное, ибо она так стремительно пробежала глазами по находившимся в поле ее зрения предметам, что казалось, будто она не в себе, каковое непонятное явление внушило Доротее и всем, кто только на нее ни смотрел, великую жалость. Кавальеро крепко держал ее за плечи, и, всецело этим поглощенный, он не обращал внимания, что с лица у него падает маска, и она в конце концов, и точно, упала; и тут Доротея, которая в это время поддерживала сеньору, подняла глаза и увидела, что за плечи держит сеньору не кто иной, как ее, Доротеи, супруг, дон Фернандо; и едва лишь она узнала его, как из глубины ее души вырвался протяжный и горестный стон и она без чувств повалилась навзничь; и не подхвати ее на руки стоявший рядом цирюльник, она грянулась бы оземь. Тут к ней поспешил священник, откинул с ее лица покрывало и брызнул водой, и как скоро он открыл ей лицо, дон Фернандо, – ибо это он держал за плечи другую девушку, – тотчас узнал Доротею и замер на месте, однако ж не подумал отпустить Лусинду, ибо это Лусинда пыталась вырваться у него из рук; она по вздохам узнала Карденьо, а Карденьо узнал ее. Услышал также Карденьо стон, вырвавшийся у Доротеи, когда она упала замертво, и решив, что это его Лусинда, он в ужасе выбежал из другой комнаты, и первый, кого он увидел, был дон Фернандо, обнимавший Лусинду. Дон Фернандо также сразу узнал Карденьо, и все трое, Лусинда, Карденьо и Доротея, онемели от изумления, – они почти не

сознавали, что с ними происходит.

Все молчали и смотрели друг на друга: Доротея на дону Фернандо, дон Фернандо на Карденьо, Карденьо на Лусинду, Лусинда на Карденьо. Наконец Лусинда первая нарушила молчание и обратилась к дону Фернандо с такими словами:

– Пустите меня, сеньор дон Фернандо, – заклинаю вас вашею дворянскою честью, коли уж: ничто другое на вас не действует, – пустите меня к стене, для которой я – плющ, к той опоре, от которой меня не могли оторвать ваши домогательства, угрозы, уверения и подарки. Смотрите, какими необычными и неисповедимыми путями небо меня привело к истинному моему супругу, а вы должны знать по опыту, который так дорого вам обошелся, что одна лишь смерть вольна изгладить его из моей памяти. Пусть же это столь явное разуверение превратит (коли уж вы ни на что другое не способны) любовь вашу в ярость, приязнь в злобу и побудит вас отнять у меня жизнь, – лишившись ее на глазах у доброго моего супруга, я буду считать, что жила на свете даром: быть может, смерть моя его убедит, что я была ему верна до последней минуты жизни.

Тем временем Доротея пришла в себя и из слов Лусинды поняла, кто она, и, видя, что дон Фернандо все не отпускает Лусинду и ничего ей не отвечает, напрягла последние силы, встала, бросилась к его ногам и, проливая потоки дивных и горючих слез, повела с ним такую речь:

– Когда бы, государь мой, тот солнечный свет, который ты ныне держишь в своих объятиях, не ослепил очей твоих, ты давно бы уже заметил распростертую у твоих ног несчастную Доротею, чья невзгода будет длиться до тех пор, пока ты не прекратишь ее. Я – та смиренная поселянка, которую ты по доброте своей или же из прихоти пожелал удостоить высокой чести и назвать своею. Я – та, которая, не выходя за пределы скромности, наслаждалась жизнью, пока наконец на зов твоих домогательств и, казалось, искреннего чувства не отворила врат уединения своего и не вручила тебе ключей от своей свободы, за каковое мое чистосердечие ты отплатил мне черною неблагодарностью, наглядным доказательством чему служит то, где тебе довелось со мною свидеться и как ты предо мною предстал. Со всем тем я бы не хотела, чтобы ты вообразил, будто я шла сюда стопами моего бесчестия, – нет, меня сюда привели стопы печали и душевной муки, оттого что ты забыл меня. Ты пожелал, чтобы я была твоею, и пожелал так страстно, что уже не можешь, хотя ныне ты и желаешь иного, не быть моим. Подумай, мой повелитель, не в состоянии ли беспредельная моя любовь вознаградить тебя за красоту и знатность той, ради которой ты меня оставил. Ты не можешь принадлежать прелестной Лусинде, потому что ты – мой, а она не может быть твоею, потому что она принадлежит Карденьо. Вдумайся в это – и ты увидишь, что тебе легче будет заставить себя полюбить ту, которая тебя обожает, нежели внушить приязнь той, которая тобою гнушается. Ты пользовался моей беспечностью, ты искушал мое целомудрие, для тебя не являлось тайною, из какой я семьи, ты хорошо знаешь, как я покорилась твоей воле, – следственно, у тебя нет причин и оснований жаловаться на то, что тебя ввели в обман. Если же все это так и если ты столь же истинный христианин, сколь истинный кавальеро, то почто же всеми правдами и неправдами отдаляешь ты от меня счастье, которое было столь близко вначале? И если ты меня не любишь такою, какая я есть, а я – твоя настоящая и законная супруга, то полюби и прими меня, по крайней мере, как свою рабу, ибо, находясь у тебя в подчинении, я почту себя счастливою и взысканною судьбой. Не покидай и не бросай меня, иначе пойдут толки и пересуды о моем позоре, отврати от моих родителей горькую старость: ведь они, как добрые вассалы, не за страх, а за совесть служили твоим родителям и вправе ждать от тебя иного. Если же ты полагаешь, что, смешав свою кровь с моею, ты тем самым унизишь ее, то прими в рассуждение, что все или почти все славные роды через это прошли и что не кровь матери принимается в расчет, когда определяют знатность происхождения. Более того: истинное благородство заключается в добродетели, и если ты такой недобрый, что откажешь мне в том, на что я имею полное право, значит, я благороднее тебя. Итак, сеньор, в заключение я должна тебе сказать, что, хочешь ты или не хочешь, я твоя супруга, – свидетели же суть твои слова, которые не могут

и не должны быть лживыми, если только ты, точно, дорожишь тем, из-за чего ты не дорожишь мною, свидетель – твоя подпись, свидетель – небо, которое ты призывал в свидетели неложности своих обещаний. Если же всего этого мало, то среди твоих веселий неминуемо раздастся безмолвный глас твоей совести и, напомнив высказанную мною правду, спугнет приятнейшие утехы твои и забавы.

Долго еще говорила страждущая Доротея с таким чувством и слезами, что прослезились даже спутники дона Фернандо и все присутствовавшие. Дон Фернандо слушал, не прерывая ее ни единым словом, а она, исчерпав слова, начала так вздыхать и рыдать, что нужно было иметь каменное сердце, чтобы, глядя, как она терзается, не смягчиться. Лусинда вперила в нее взор, полный сочувствия ее горю и восхищения ясным ее умом и красотой; и ей хотелось приблизиться к ней и сказать что-нибудь в утешение, но дон Фернандо все еще сжимал ее в своих объятиях. Он смотрел на Доротею взглядом долгим и пристальным, наконец, смущенный и изумленный, разжал объятия и, отпустив Лусинду, сказал:

– Ты победила, прелестная Доротея, ты победила. Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои слова – сущая правда.

Лусинда близка была к обмороку, и когда дон Фернандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Карденьо, который, чтобы дон Фернандо его не узнал, стоял за его спиной, оттронул всякий страх, не задумываясь бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил:

– Если сострадательное небо вознамерилось и восхотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная госпожа моя, то, думается мне, нигде не будет он столь безмятежным, как в объятиях, в которые я ныне тебя заключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе угодно было, чтобы я называл тебя моею.

При этих словах Лусинда, узнавшая Карденьо сначала по голосу, устремила на него взор и, как скоро зрение подтвердило ей, что это он, вне себя от радости и забывши всякое приличие, обвила его шею руками и, прижавшись щекою к его щеке, молвила:

– Ты, государь мой, ты, а не кто другой, являешься законным господином этой твоей пленницы, сколько бы тому ни противился враждебный рок и что бы ни угрожало моей жизни, которая твоею жизнью живет.

Для дона Фернандо и всех присутствовавших это было зрелище необычайное, и все дивились небывалому этому происшествию. Доротея показалось, что краска сбегала с лица дона Фернандо и что он положил руку на рукоять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить Карденьо; и едва мелькнула у нее эта мысль, как она с поразительною быстротою обхватила руками его ноги и, покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заговорила:

– Что намереваешься ты совершить в столь нечаянный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею супругою, находится в объятиях своего мужа. Подумай, можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами любви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю: да не усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и таким образом ты проявишь благородство возвышенной своей и чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою больше власти, нежели вождение.

Между тем Карденьо, держа в объятиях Лусинду, не сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его враждебном действии дать ему отпор, а буде окажется возможным, то и самому напасть на всех, кто против него, хотя бы это стоило ему жизни; но в это время дон Фернандо обступили его друзья, а также священник и цирюльник, которые при сем присутствовали, и все, не исключая доброго Санчо Пансы, стали умолять его воззреть на слезы Доротеи и, если правда все, что она говорила, а они были совершенно в этом уверены, сделать так, чтобы она не обманулась в законных своих ожиданиях, и принять в

соображение, что не случайно, как это может показаться, но по особому велению свыше собрались они все в таком месте, где уж никак не чаяли встретиться; а священник еще примолвил, что одна лишь смерть вольна разлучить Лусинду с Карденьо, и если даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они почтут за великое счастье; и что это высшая мудрость – в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого себя, выказать благородство души и пожелать сделать так, чтобы два других существа наслаждались счастьем, которое им даровало небо; пусть-де он вперит очи в красу Доротеи – и он увидит, что редкая женщина с нею сравнится, а чтобы превзойти ее – это уж и говорить нечего; и пусть-де прибавит он к этой красоте ее смирение и безграничную ее любовь к нему, а главное, пусть помнит, что если он почитает себя за кавальера и христианина, то не может не исполнить своего долга, – исполнив же его, он исполнит свой долг перед богом и обрадует всех разумных людей, разумные же люди знают и понимают, что преимущество красоты заключается в том, что, даже будучи воплощена в существо низкого состояния, в сочетании с душевною чистотою она способна возвыситься и сравняться с любым величием, нимало не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет с собою; и нельзя-де осуждать человека, следующего непреложным законам влечения, если только в этом влечении нет ничего греховного.

Прочие прибавили к этому от себя столько, что доблестное сердце дона Фернандо (недаром в жилах его текла благородная кровь) наконец смягчилось и склонилось пред истиною, которую он при всем желании не мог бы отрицать; и в знак того, что он покорился и проникся разумными доводами, которые ему здесь приводились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил:

– Встань, госпоюса моя, – не подобает стоять предо мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если до сих пор я ничем этого не доказал, то, может статься, такова была воля небес: дабы оценить тебя по достоинству, я должен был прежде увериться в твоём постоянстве. Об одном молю тебя: не брани меня за мое дурное и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та же самая причина и та же самая сила, что побудила меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить старания к тому, чтобы перестать быть твоим. А что я говорю правду, в этом ты можешь удостовериться, как скоро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливой Лусинды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор всем моим преступлениям. И если она наконец нашла то, о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, то пусть она долгие и блаженные годы счастливо и спокойно живет со своим Карденьо, а я буду молить бога о том же для себя и для моей Доротеи.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял Доротее и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказательством его любви и раскаяния не явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и все присутствовавшие, оказались менее мужественными, ибо все они наиобильнейшие проливали слезы, кто – радуясь за себя, кто – за другого, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе. Даже Санчо Панса – и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что плакал оттого, что Доротея оказалась совсем не королевой Микомиконой, от которой он столько ожидал милостей. Оторопь и плач некоторое время еще продолжались, а затем Карденьо и Лусинда опустили перед доном Фернандо на колени и изъявили ему свою признательность в столь почтительных выражениях, что он не нашелся, что ответить, а только поднял их и обнял с несказанною любовью и отменною учтивостью.

Затем он спросил Доротее, как она очутилась в этих местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких и разумных словах рассказала все, о чем прежде рассказывала Карденьо, и так понравился ее рассказ дону Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать еще и еще – с такою приятностью повествовала Доротея о своих горестях. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил, что с ним произошло после того, как он нашел на груди у Лусинды письмо, в котором она объявляла, что она супруга Карденьо и не может принадлежать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если бы этому не помешали ее

родители; тогда, разгневанный и удрученный, он покинул их дом с намерением отомстить, как скоро представится случай, а на другой день узнал, что Лусинда бежала из родительского дома и что никто не знает, где она теперь; наконец спустя несколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в монастыре и намерена дожить там свой век, коли не суждено ей прожить его с Карденьо; и как скоро он это узнал, то подобрал себе трех кавальеро и двинулся к монастырю, однако же, боясь, как бы в монастыре не усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинде на глаза не показался; и вот, дождавшись такого времени, когда ворота были отворены, он двух кавальеро поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим пошел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала с монахиней на монастырском дворе; и, не дав ей опомниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где можно было заняться необходимыми для ее увоза приготовлениями; и все это обошлось для них вполне благополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле, вдали от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках у дон Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все только молча вздыхала и плакала; и так, сопутствуемые молчанием и слезами, попали они на этот постоялый двор или, как ему теперь кажется, на небо, где предаются забвению и прекращаются все земные страдания.

## Глава XXXVII,

*содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы и повествующая о других забавных приключениях*

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо надежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан – в дон Фернандо, а между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким сном. Доротея все еще не могла поверить, что ее счастье – не сон; Карденьо тоже мнилось, что его счастье – греза, да и Лусинда склонна была так же думать о своем счастье. Дон Фернандо благодарил провидение за то, что оно над ним сжалилось и вывело его из сложнейшего лабиринта, где он чуть было не погубил свою душу и доброе имя; словом, все, кто находился на постоялом дворе, были рады и счастливы, что это, казалось, безнадежно запутанное дело так благополучно окончилось. Священник всему этому давал весьма разумное истолкование и каждого поздравлял с радостью; но никто так не ликовал и не торжествовал, как хозяйка постоялого двора, ибо Карденьо и священник обещали с лихвою возместить ей убытки, понесенные из-за Дон Кихота. Только Санчо, как уже было сказано, сокрушался, горевал и тужил; с унылым видом явился он к своему господину, который как раз в это время проснулся, и сказал:

– Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королевство, – все уже сделано и все кончено.

– Я тоже так думаю, – сказал Дон Кихот, – у меня завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему раз – и голова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она струилась потоками по всему полу, будто вода.

– Скажите лучше – будто красное вино, ваша милость, – возразил Санчо. – Было бы вам известно, коли вы этого не знаете, что убитый великан – это продырявленный бурдюк, кровь – это шесть арроб красного вина, которое было у него в брюхе, а отрубленная голова... раздакая мамаша, и ну их всех к чертям!

– Что ты говоришь, безумец! – вскричал Дон Кихот. – В своем ли ты уме?

– Встаньте, ваша милость, – сказал Санчо, – и поглядите, что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкновенную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много такого, что если вы только в это вникнете, то, верно уж, дадитесь диву.

– Меня ничто не удивит, – возразил Дон Кихот. – Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит, это чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же самое.

– Я бы всему этому поверил, – объявил Санчо, – когда бы и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая незадача.

– Ну, ничего, бог даст, все уладится, – заметил Дон Кихот. – Подай мне одеться, – я пойду узнаю, что это за происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник рассказал дону Фернандо и всем присутствовавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую они пустились, чтобы выволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о которых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись и в конце концов пришли к мысли, к какой приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно – что ни один расстроенный ум не страдал таким необыкновенным видом помешательства. Еще священник сказал: коли счастливая развязка не даст, мол, сеньоре Доротее возможности продолжать игру, то необходимо подыскать кого-нибудь другого и попросить доставить Дон Кихота на родину. Карденьо сказал, что надобно довести дело до конца и что Лусинда заменит Доротеею и сыграет за нее.

– Нет, так не годится, – возразил дон Фернандо, – пусть лучше Доротея продолжает в том же духе. Если только имение доброго этого кавальеро отсюда недалеко, я с радостью буду содействовать его исцелению.

– Не больше двух дней пути.

– Да хотя бы и больше – ради такого доброго дела я с удовольствием туда съезжу.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и опираясь на жердеобразное свое копьё. Он поразил дону Фернандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих доспехов и важным своим видом, и все примолкли в ожидании, что он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устремив взор на прелестную Доротеею, молвил:

– Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы, как таковая, перестали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры превратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он круглый невежда и в рыцарских историях не разбирается. Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с более сложными задачами, а убить какого-то там великанишку, пусть даже предерзкого, тут еще ничего мудреного нет. Ведь я с ним встретился назад тому всего несколько часов – и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный день откроет и мою тайну.

– Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном, – вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

– В заключение я хочу вам сказать, благородная и развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, который обезглавил и повергнул

наземь вашего недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та, зная, что дон Фернандо намерен не прекращать обмана, пока не проведет Дон Кихота до дому, с великою важностью и приятностью заговорила:

– Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного рода перемена во мне, в самом деле, произошла благодаря некоторой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего родного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал такой легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться в путь завтра, – сегодня мы все равно много не проедем, что же касается успешного завершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

– Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, а что отрубленная мною голова великана – раздакая мать, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще никому не удавалось? Клянусь... – тут он возвел очи к небу и стиснул зубы, – что я готов искрошить тебя, дабы впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

– Успокойтесь, государь мой, – сказал Санчо. – Очень может быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь – это красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу – целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману – тогда поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как была, так и осталась, то я этому душевно рад, – стало быть, мое от меня не уйдет.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – прости меня, но ты дурак, и баста.

– Баста, – подхватил дон Фернандо, – не будем больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подвигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного им великого обета.

– Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, – возразил Дон Кихот. – Я чрезвычайно вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение обо мне, которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может стоить дороже.

Долго еще Дон Кихот и дон Фернандо обменивались любезностями и изъявлениями преданности; умолкнуть же их невольно заставил некий путешественник, который в это время вошел на постоялый двор и по одежде которого можно было догадаться, что это христианин, недавно прибывший из страны мавров, ибо на нем было коротенькое синего

сукна полукафтанье с рукавами до локтей и без воротника, синие полотняные штаны, такого же цвета берет, на ногах желтые полусапожки, через плечо перевязь, а на перевязи кривая мавританская сабля. Сзади ехала на осле женщина, одетая по-мавритански: лица ее не было видно под покрывалом, на голове у нее была парчовая шапочка, альмалафа<sup>1</sup> доходила ей до самых пят. Мужчина был статен и широкоплеч, лет около сорока, несколько смугловат, с длинными усами и красивою бородою; словом, наружность его говорила о том, что, будь он хорошо одет, его приняли бы за человека знатного и родовитого. Войдя, он спросил комнату; ему сказали, что свободной комнаты нет, и это его, видимо, огорчило; он подошел к женщине, которую по одежде можно было принять за мавританку, и подхватил ее на руки. Лусинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные диковинным и дотоле невиданным нарядом мавританки, обступили ее, и Доротея, заметив, что и мавританка и ее спутник приуныли, оттого что им негде остановиться, со свойственною ей приветливостью, учтивостью и рассудительностью сказала:

– Пусть не смущает вас, госпожа моя, отсутствие удобств: ведь на постоянных дворах везде так, однако ж если вам благоу годно будет остановиться у нас, – примолвила она, указывая на Лусинду, – то на всем протяжении вашего пути вряд ли вы найдете более радушный прием.

Женщина под покрывалом ничего ей на это не ответила, а только встала, скрестила на груди руки и в знак благодарности поклонилась в пояс. А как она при этом не проронила ни слова, то все заключили, что она, вне всякого сомнения, мавританка и что она не умеет говорить по-христиански. В это время подошел пленник, который до того был занят чем-то другим, и, видя, что женщины окружили его спутницу, а она на все их слова отвечает молчанием, сказал:

– Сеньоры мои! Эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей отчизны, – вот почему она, должно полагать, не отвечала и не отвечает на ваши вопросы.

– Мы не задавали ей никаких вопросов, – возразила Лусинда, – мы только предложили ей переночевать вместе с нами в той комнате, где мы остановились и где она найдет все удобства, какие только может предоставить ночевка на постоялом дворе, ибо это наш долг – оказывать гостеприимство всем нуждающимся в нем чужестранцам, в особенности женщинам.

– За себя и за нее я целую вам руки, госпожа моя, – сказал пленник, – и высоко ценю, ценю по достоинству, вашу услугу, ибо, приняв в соображение, при каких обстоятельствах и сколь знатными, судя по вашему виду, особами она оказана, ее нельзя не признать великой.

– Скажите, сеньор, эта сеньора – христианка или мавританка? – спросила Доротея. – Ее наряд и ее молчание заставляют нас думать о ней не то, что бы мы хотели.

– Она мавританка по одежде и по плоти, в душе же она ревностная христианка, ибо горит желанием сделаться таковою.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Лусинда.

– Мы не успели, – отвечал пленник. – С той поры, как она оставила Алжир, родную землю свою и страну, и до сего дня над ней ни разу не нависала угроза смерти, которая могла бы принудить ее креститься без предварительного ознакомления со всеми обрядами, соблюдать которые велит нам святая церковь. Но, даст бог, скоро она примет крещение, как подобает особе ее звания, ибо звание ее выше, чем можно предполагать, глядя на ее и мой наряд.

Слова эти вызвали у слушателей желание узнать, кто такие мавританка и пленник, но никто не решился об этом спросить, – всем было ясно, что прежде должно им дать отдохнуть, а потом уже их расспрашивать. Доротея взяла мавританку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, точно спрашивая, что ей говорят и как ей надлежит поступить. Он ей сказал по-арабски, что ее просят снять покрывало и чтобы она так и сделала; тогда она откинула покрывало, и взорам

---

<sup>1</sup> *Альмалафа* – арабское мужское и женское верхнее платье.



всех открылось столь прекрасное ее лицо, что Доротея она показалась красивее Лусинды, а Лусинде – красивее Доротеи, прочие же нашли, что если кто и выдержит сравнение с ними обеими, то только мавританка, а некоторые даже кое в чем отдавали ей предпочтение. А как красота наделена исключительной способностью и благодатною силою умиротворять дух и привлекать сердца, то всем захотелось обласкать прелестную мавританку и угодить ей.

Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, – тот сказал, что ее зовут Лела Зораида, а мавританка, услышав это, поняла, о чем на языке христиан спрашивают пленника, и весьма поспешно, с живостью и беспокойством проговорила:

– Нет, не Зораида, – Мария, Мария! – Этим она хотела сказать, что ее зовут Мария, а не Зораида.

Самые эти слова и то волнение, с каким мавританка их произносила, не одну слезу исторгли у присутствовавших, особливо у женщин, от природы неясных и добросердечных. Лусинда с чрезвычайною ласковостью обняла ее и сказала:

– Да, да, Мария, Мария.

А мавританка подтвердила:

– Да, да, Мария, – Зораида *макани!* (Что значит: нет.)

Меж тем наступил вечер, и по распоряжению спутников дон Фернандо хозяин приложил все свое усердие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время и все сели за длинный стол, вроде тех, что стоят в трапезных и в людских, ибо ни круглого, ни четырехугольного на постоялом дворе не оказалось, то на почетное, председательское место, хотя он и отнекивался, посадили Дон Кихота, Дон Кихот же изъявил желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал себя ее телохранителем. Рядом с ними сели Лусинда и Зораида, против них дон Фернандо и Карденьо, затем пленник и прочие кавалеры, а рядом с дамами священник и цирюльник, и все с великим удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие доставил им Дон Кихот, – вновь охваченный вдохновением, как во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

– Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно приходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену странствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и неслыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сеньора, сидящая рядом со мной, – всем нам известная великая королева, а я – тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что рыцарское искусство превосходит все искусства и занятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно уважения, что с наибольшими сопряжено опасностями. Пусть мне не толкуют, что ученость выше поприща военного, – кто бы ни были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. Довод, который они обыкновенно приводят и который им самим представляется наиболее веским, состоит в том, что умственный труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще упражняется одно только тело, – как будто воины – это обыкновенные поденщики, коим потребна только силища, как будто в то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско или поручена защита осажденного города, трудится меньше, нежели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения противника, его замыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разуме не меньше, нежели ученость, – посмотрим теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, а это будет видно из того, какова мета и какова цель каждого из них, ибо тот помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. Мета и цель наук, – я говорю не о богословских науках, назначение коих возносить и устремлять наши души к небу, ибо с такой бесконечной конечною целью никакая другая

сравниться не может, – я говорю о науках светских, и вот их цель состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, коего цель и предел стремлений – мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ. И оттого первую благою вестью, которую услышали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних богу; и на земле мир, в человеках благоволение». И лучший учитель земли и неба заповедал искренним своим и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать его, говоря: «Мир дому сему». И много раз говорил он им; «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину это драгоценность и сокровище, данные и оставленные *такою* рукой, – драгоценность, без которой ни на земле, ни на небе ничего хорошего быть не может. Так вот, мир и есть прямая цель войны, а коли войны, то, значит, и воинов. Признав же за истину, что цель войны есть мир и что поэтому она выше цели наук, перейдем к телесным тяготам ученого человека и ратника и посмотрим, чьи больше.

В таком духе и так красноречиво говорил Дон Кихот, и теперь никто из слушателей не принял бы его за сумасшедшего, – напротив того, большинство их составляли кавальеры, то есть люди, на бранном поле выросшие, и они слушали его с превеликою охотою, а он между тем продолжал:

– Итак, тяготы студента суть следующие: во-первых, бедность (разумеется, не все они бедны, я нарочно беру худший случай), сказав же, что студент бедствует, я, думаю мне, все сказал об его злополучии, ибо жизнь бедняка беспросветна. Он терпит всякого рода нужду: и голод, и холод, и наготу, а то и все сразу. Впрочем, он все-таки питается, хотя и несколько позже обыкновенного, хотя и крохами со стола богачей, что служит у студентов признаком полного обнищания и называется у них *супничать*, и у кого-нибудь да найдется для них место возле жаровни или же очага, где они если и не согреваются, то, во всяком случае, не мерзнут, и, наконец, спят они под кровом. Я не буду останавливаться на мелочах, как-то: на отсутствии сорочек и недостатке обуви, на изрядной потертости верхнего платья, довольно редко, впрочем, у них появляющегося, и на той жадности, с какою они набрасываются на угощение, которое счастливый случай им иной раз устраивает. И вот описанным мною путем, тернистым и тяжелым путем, то и дело спотыкаясь и падая, поднимаясь для того, чтобы снова упасть, они и доходят до вожделенной ученой степени. Наконец степень достигнута, песчаные мели Сциллы и Харибды<sup>1</sup> пройдены, как если бы благосклонная Фортуна перенесла их на крыльях, и вот уже многие из них, сидя в креслах, на наших глазах правят и повелевают миром, и, как достойная награда за их добронравие, голод обернулся для них сытостью, холод – прохладой, нагота – щегольством, спанье на циновке – отдыхом на голландском полотне и дамасском шелке. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами воина-ратоборца, и, как вы сейчас увидите, они останутся далеко позади.

## Глава XXXVIII,

*в коей приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености*

Далее Дон Кихот сказал следующее:

– Мы начали с разбора видов бедности студента, – посмотрим, богаче ли его солдат. И вот оказывается, что беднее солдата нет никого на свете, ибо существует он на нищенское свое жалованье, которое ему выплачивают с опозданием, а иногда и вовсе не выплачивают, или на то, что он сам сумеет награть – с явной опасностью для жизни и идя против

---

<sup>1</sup> *Сцилла и Харибда* – Сцилла – утес на итальянской стороне Сицилийского пролива, против водоворота Харибды – на сицилийской стороне. В мифологии – чудовища, угрожавшие проходившим судам; синоним большой опасности.

совести. С одеждой у него подчас бывает так плохо, что рваный колет служит ему одновременно и парадной формой, и сорочкой, и в зимнюю стужу, в открытом поле он согревается обыкновенно собственным своим дыханием, а я убежден, что, вопреки законам природы, дыхание, коль скоро оно исходит из пустого желудка, долженствует быть холодным. Но подождите: от непогоды он сможет укрыться с наступлением ночи, ибо его ожидает ложе, которое человек неприятельский никогда узким не назовет, – на голой земле он волен как угодно вытягивать ноги или же ворочаться с боку на бок, не боясь измять простыни. И вот наконец настает день и час получения степени, существующей у военных: настает день битвы, и тут ему надевают сшитую из корпии докторскую шапочку, в случае если пуля угодила ему в голову, если же не в голову, то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Но пусть даже этого не произойдет, и милосердное небо убередит его и сохранит, и он пребудет здоров и невредим, все равно вряд ли он разбогатеет, и надлежит быть еще не одной схватке и не одному сражению, и из всех сражений ему надлежит выйти победителем, чтобы несколько продвинуться по службе, но такие чудеса случаются редко. В самом деле, сеньоры, скажите: задумывались ли вы над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, чем погибших? Вы, конечно, скажете, что это несравнимо, что мертвым и счету нет, а число награжденных живых выражается в трехзначной цифре. А вот у судейских все обстоит по-другому: им-то уж непременно доставят пропитание, не с переднего, так с заднего крыльца, – следственно, труд солдата тяжелее, а награда меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить две тысячи судейских, нежели тридцать тысяч солдат, ибо первые награждаются должностями, которые по необходимости предоставляются людям соответствующего рода занятий, солдат же можно наградить единственно из средств того сеньора, которому они служат, но ведь это только подтверждает мою мысль. Однако оставим это, ибо из подобного лабиринта выбраться нелегко, и возвратимся к превосходству военного поприща над ученостью – вопросу, до сих пор не разрешенному, ибо каждая из сторон выискивает все новые и новые доводы в свою пользу. И, между прочим, ученые люди утверждают, что без них не могли бы существовать военные, ибо и у войны есть свои законы, коим она подчиняется, и составление таковых – это уж дело наук и людей ученых. Военные на это возражают, что без них не было бы и законов, ибо это они защищают государства, оберегают королевства, обороняют города, охраняют дороги, очищают моря от корсаров, – словом, если б их не было, в государствах, королевствах, монархиях, городах, на наземных и морских путях – всюду наблюдались бы ужасы и беспорядки, которые имеют место во время войны, когда ей дано особое право и власть. А ведь что дорого обходится, то ценится и долженствует цениться дороже, – это всем известно. Чтобы стать изрядным законником, потребно время, потребна усидчивость, нужно отказывать себе в одежде и пище, не считаясь с головокружениями, с несварением желудка, и еще кое-что в том же роде потребно для этого, отчасти мною уже указанное. Но чтобы стать, в свой черед, хорошим солдатом, для этого потребно все, что потребно и студенту, но только возведенное в такую степень, что сравнение тут уже невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует жизнью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и нищетою, охватывающий и преследующий студента, по сравнению с тем страхом, который овладевает солдатом, когда он в осажденной крепости стоит на часах, охраняя рavelин или же кавальер<sup>1</sup>, и чувствует, что неприятель ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать столь грозной опасности? Единственно, что он может сделать, это дать знать своему начальнику, и начальник постарается отвести угрозу контрминою, а его дело стоять смирно, с трепетом ожидая, что вот-вот он без помощи крыльев взлетит под облака или же, отнюдь не по своей доброй воле, низвергнется в пропасть. А если и это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее страшно, а, пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом море две галеры идут на абордажный приступ, сойдутся, сцепятся вплотную, а солдату приходится стоять на таране в два фута шириной. Да притом еще он видит пред собой столько же грозящих ему прислужников смерти, сколько с неприятельской стороны наведено на него огнестрельных

---

<sup>1</sup> *Кавальер* – высокое сооружение на главном валу крепости.

орудий, находящихся на расстоянии копья, сознает, что один неосторожный шаг – и он отправится обозревать Нептуновы подводные владения, и все же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь под пули и тщится по узенькой дощечке пробраться на вражеское судно. Но еще удивительнее вот что: стоит одному упасть туда, откуда он уже не выберется до скончания века, и на его место становится другой, а если и этот канет в морскую пучину, подстерегающую его, словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не заметишь, как они, столь же незаметно, сгинут, – да, подобной смелости и дерзновения ни в каком другом бою не увидишь. Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро, – он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и вдруг откуда ни возьмись шальная пуля (выпущенная человеком, который, может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время, ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня возможности стяжать доблестною моею дланью и острием моего меча почет и славу во всех известных нам странах. Но на все воля неба, и если только мне удастся совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, с какими странствующим рыцарям протекших столетий встречаться не доводилось.

Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон Кихот в то время, как другие ужинали, сам же он так и не притронулся к еде, хотя Санчо Панса неоднократно напоминал ему, что сейчас, мол, время ужинать, а поговорить он успеет потом. Слушатели снова пожалели, что человек, который, по-видимому, так здраво рассуждает и так хорошо во всем разбирается, чуть только речь пойдет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет рассудок. Священник заметил, что доводы, приведенные Дон Кихотом в пользу военного поприща, весьма убедительны и что хотя он, священник, человек ученый и к тому же еще имеющий степень, а все же сходится с ним во мнениях.

Но вот кончили ужинать, убрали со стола, и пока хозяйка, ее дочь и Мариторнес приводили в порядок чулан Дон Кихота Ламанчского, где на сей раз должны были ночевать одни только дамы, дон Фернандо обратился к пленнику с просьбой рассказать историю своей жизни, каковая-де не может не быть своеобразною и занимательною, судя по одному тому, что он вместе с Зораидою здесь появился. Пленник ему на это сказал, что он весьма охотно просьбу эту исполнит, хотя опасается, что рассказ может разочаровать их, но что, дабы они удостоверились, сколь он послушен их воле, он, однако же, рассказать соглашается. Священник и все остальные поблагодарили его и еще раз подтвердили свою просьбу, он же, видя, что все наперебой упрашивают его, сказал, что там, где довольно приказания, просьбы излишни.

– Так будьте же, ваши милости, внимательны, и вы услышите историю правдивую, по сравнению с которой вымышленные истории, отмеченные печатью глубоких раздумий и изощренного искусства, может статься, покажутся вам слабее.

При этих словах все сели на свои места, и водворилось глубокое молчание, он же, видя, что все затихли и приготowiлись слушать, негромким и приятным голосом начал так:

## **Глава XXXIX,**

*в коей пленник рассказывает о своей жизни и об ее превратностях*

– В одном из леонских горных селений берет начало мой род, по отношению к

которому природа выказала большую щедрость и благосклонность, нежели Фортуна, – впрочем, кругом была такая бедность, что отец мой сходил там за богача, да он и в самом деле был бы таковым, когда бы его тянуло копить, а не расточать. Наклонность к щедрости и расточительности появилась у него еще в молодые годы, когда он был солдатом, ибо солдатчина – это школа, в которой бережливый становится тороватым, а тороватый становится мотом, на скупого же солдата, если такой попадает, смотрят как на диво, ибо это редчайшее исключение. Щедрость отца моего граничила с мотовством, а человеку семейному, человеку, которому надлежит передать своим детям имя и звание, такое свойство ничего доброго не сулит. У моего отца было трое детей, всё сыновья, и все трое вошли в тот возраст, когда пора уже выбирать себе род занятий. Отец мой, видя, что ему, как он выражался, с собою не сладить, пожелал лишиться себя орудия и источника своей расточительности и страсти сорить деньгами, то есть лишиться себя достояния, а без достояния сам Александр Македонский показался бы скупцом. И вот однажды заперся он со всеми нами у себя в комнате и повел примерно такую речь:

«Дети мои! Дабы изъявить и выразить мою любовь к вам, довольно сказать, что вы мои дети, но дабы вы знали, что я люблю вас не так, как должно, довольно сказать, что я не мог себя принудить беречь ваше достояние. Так вот, дабы отныне вам было ясно, что я люблю вас как отец, а не желаю погубить, как желал бы отчим, я по зрелом размышлении, все давно взвесив и предусмотрев, решился предпринять нечто. Вы уже в том возрасте, когда надлежит занять положение или, по крайности, избрать род занятий, который впоследствии послужит вам к чести и принесет пользу. А надумал я разделить мое имение на четыре части: три части я отдам вам, никого ничем не обделив, а четвертую оставляю себе, чтобы было мне чем жить и поддерживать себя до конца положенных мне дней. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас, получив причитающуюся ему часть имения, избрал один из путей, которые я вам укажу. Есть у нас в Испании пословица, по моему разумению, весьма верная, как, впрочем, любая из пословиц, ибо все они суть краткие изречения, принадлежащие людям, многолетним опытом умудренным, та же, которую я имею в виду, гласит: „Либо церковь, либо моря, либо дворец короля“, – иными словами: кто желает выйти в люди и разбогатеть, тому надлежит или принять духовный сан, или пойти по торговой части и пуститься в плавание, или поступить на службу к королю, – ведь недаром говорится: „Лучше крохи с королевского стола, нежели милости сеньора“. Все это я говорю вот к чему: я бы хотел, – и такова моя воля, – чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой – торговле, а третий послужил королю в рядах его войска, ибо стать придворным – дело нелегкое, на военной же службе особенно не разбогатеешь, но зато можно добыть себе великую славу и великий почет. Через неделю каждый из вас получит от меня свою часть деньгами, все до последнего гроша, в чем вы убедитесь на деле. А теперь скажите, согласны ли вы со мной и намерены ли последовать моему совету».

Мне как старшему пришлось отвечать первому, и я стал просить отца не совершать раздела и тратить сколько его душе угодно, ибо мы, дескать, молоды и можем зарабатывать сами, а в заключение сказал, что я готов исполнить его хотение и что я хочу пойти в армию и на этом поприще послужить богу и королю. Средний брат сначала обратился к отцу с тою же просьбой, а затем объявил, что желает ехать в Америку и вложить свою часть в какое-либо предприятие. Меньшой брат, и, по моему мнению, самый разумный, сказал, что желает стать духовным лицом или же закончить начатое учение в Саламанке.

После того, как все мы по собственному желанию избрали себе род занятий, отец обнял нас. Замысел свой он осуществил в положенный срок, и, получивши каждый свою часть, то есть, сколько я помню, по три тысячи дукатов деньгами (надобно заметить, что все имение купил наш дядя, который, не желая, чтобы оно перешло в чужие руки, уплатил за него наличными), мы все трое простились с добрым нашим отцом, и в тот же самый день, подумав, что бесчеловечно оставлять отца на старости лет почти без средств, я уговорил его из моих трех тысяч дукатов две тысячи взять себе, ибо оставшихся денег мне хватит, мол, на то, чтобы обзавестись всем необходимым солдату. Братья последовали моему примеру и

дали отцу по тысяче дукатов каждый; таким образом, у отца моего оказалось четыре тысячи наличными деньгами, да сверх того еще три тысячи, в каковой сумме, должно полагать, исчислялось недвижимое его имущество, которое он не пожелал продавать и оставил за собой. Итак, мы простились с отцом и с дядей, о котором я уже упоминал; волнение, охватившее нас, было столь сильно, что никто не мог удержаться от слез, отец же умолял нас не упускать случая извещать его о наших удачах и неудачах. Мы обещали, он обнял нас и благословил, а затем один брат отправился в Саламанку, другой в Севилью, а я в Аликанте, и там я узнал, что одно генуэзское судно с грузом шерсти готовится к отплытию в Геную.

Тому уже двадцать два года, как оставил я отчий дом, и за все это время, хотя сам послал не одно письмо, не имел вестей ни об отце, ни о братьях, а обо всем, что за эти годы случилось со мной, я вам вкратце сейчас расскажу. Я сел на корабль в Аликанте, благополучно прибыл в Геную, оттуда проехал в Милан<sup>1</sup>, там приобрел воинские доспехи и одеяние и порешил вступить в ряды пьемонтского войска, но по дороге в Алессандрию делла Палла<sup>2</sup> прослышал, что великий герцог Альба отправляется во Фландрию<sup>3</sup>. Я передумал, присоединился к нему, проделал с ним весь поход, присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна<sup>4</sup>, был произведен в знаменщики славным военачальником из Гуадалахары по имени Дьего де Урбина<sup>5</sup>, а некоторое время спустя после моего прибытия во Фландрию распространился слух, что его святейшество, блаженной памяти папа Пий Пятый, заключил союз с Венецией и Испанией<sup>6</sup> против общего врага – против турок, коих флот в это самое время завоевал славный остров Кипр, дотоле подвластный Венеции, тем самым нанеся ей тяжелую и прискорбную потерю.

Стало известно, что командовать союзными войсками будет светлейший дон Хуан Австрийский, побочный брат доброго нашего короля дона Филиппа, говорили о каких-то необычайных приготовлениях к войне, – все это воспламеняло мой дух и вызывало желание принять участие в ожидаемом походе. И хотя меня обнадеживали и даже прямо обещали, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я решился бросить все и уехать, и я, точно, прибыл в Италию, – прибыл как раз, когда по счастливой случайности сеньор дон Хуан Австрийский намеревался из Генуи выехать в Неаполь, чтобы соединиться с венецианским флотом, каковое соединение впоследствии и произошло в Мессине. Словом, я участвовал в удачнейшем этом походе уже в чине капитана-от-инфантерии, каковым высоким чином я обязан не столько моим заслугам, сколько моей счастливой звезде. Но в столь радостный для христиан день, когда наконец рассеялось заблуждение, в коем пребывали весь мир и все народы, полагавшие, что турки на море непобедимы, в тот день, говорю я, когда оттоманские спесь и гордыня были развеяны в прах, из стольких счастливых (ибо христиане, сложившие голову в этом бою, еще счастливее тех, кто остался жив и вышел победителем) я один оказался несчастным; в самом деле, будь это во времена Древнего Рима, я мог бы ожидать морского победного венка, а вместо этого в ту самую ночь, что сменила столь славный день, я увидел на руках своих цепи, а на ногах кандалы. Вот как это

---

1 ...*проехал в Милан*... – Оружейные заводы в Милане пользовались в то время славой.

2 *Алессандрия делла Палла* – сильно укрепленная крепость на берегу реки Танаро, в Миланском герцогстве.

3 ...*герцог Альба отправляется во Фландрию*. – Кровавый усмиритель Нидерландов Фернандо Альварес Толедский, или герцог Альба, отбыл туда осенью 1567 г. во главе отборного войска из испанских отрядов, расквартированных в Италии.

4 *Графы Эгмонт и Горн* – вожди оппозиционной испанскому владычеству нидерландской знати, были казнены 5 июня 1568 г.

5 *Дьего де Урбина* – командир роты, в которой служил Сервантес.

6 *Союз с Венецией и Испанией* – лига, созданная по почину папы Пия V. После того как турки захватили в 1571 г. остров Кипр, принадлежавший тогда Венеции, и усилилась угроза средиземноморским владениям Венеции и Испании, лига организовала для борьбы с турками объединенный флот. Во главе этого флота был поставлен дон Хуан Австрийский (1547–1578), побочный сын Карла V. 7 октября 1571 г. произошла встреча турецкого и соединенного испано-венецианского флота в Лепантском заливе у берегов Греции, где турецкому флоту был нанесен сокрушительный удар. Доблестным участником Лепантского боя был Сервантес (см. пролог к т. 2).

случилось. Алжирский король Улудж-Али<sup>1</sup>, дерзкий и удачливый корсар, напал на флагманскую галеру Мальтийского ордена<sup>2</sup> и разгромил ее, так что остались живы на ней всего лишь три воина, да и те были тяжело ранены, но тут на помощь к ней устремилась флагманская галера Джованни Андреа<sup>3</sup>, на которой со своей ротой находился и я. И, как это в подобных случаях полагается, я прыгнул на неприятельскую галеру, но в эту самую минуту она отделилась от нашей, в силу чего мои солдаты не могли за мною последовать, и вышло так, что я очутился один среди врагов, коим я не мог оказать сопротивление по причине их многочисленности, – словом, весь израненный, я попал к ним в плен. Как вы, вероятно, знаете, сеньоры, Улудж-Али со всею своею эскадрою спасся, и вот я очутился у него в руках – один-единственный скорбящий из числа стольких ликующих, один-единственный пленник из числа стольких свободных, ибо в тот день пятнадцать тысяч христиан, гребцов на турецких судах, обрели наконец желанную свободу.

Меня привезли в Константинополь, и тут султан Селим назначил моего хозяина генерал-адмиралом за то, что он исполнил свой долг в этом бою и в доказательство своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. Спустя год, то есть в семьдесят втором году, я, будучи гребцом на адмиральском судне, оказался свидетелем Наваринской битвы. На моих глазах был упущен случай захватить в гавани турецкий флот, ибо вся турецкая морская и наземная пехота была уверена, что ее атакуют в самой гавани, и держала наготове платье и *башмаки* (так турки называют свою обувь) с тем, чтобы, не дожидаясь, когда ее разобьют, бежать сухопутьем: столь великий страх внушал ей наш флот. Случилось, однако ж, не так – и не по вине или по небрежению нашего адмирала<sup>4</sup>, но по грехам христиан и потому, что произволением и попусшением Божиим всегда находятся палачи, которые нас карают. И точно: Улудж-Али отступил к Модону, – такой есть близ Наварина остров, – и, высадив войско, укрепил вход в гавань и просидел там до тех пор, пока сеньор дон Хуан не возвратился вспять. Во время этого похода нашими войсками была захвачена галера «Добыча», коей командовал сын знаменитого корсара Рыжая Борода<sup>5</sup>. Захватила ее неаполитанская флагманская галера «Волчица», находившаяся под командою бога войны и родного отца своих солдат, удачливого и непобедимого военачальника дона Альваро де Басан, маркиза де Санта Крус. Не могу не рассказать о том, как удалось добыть «Добычу». Сын Рыжей Бороды был жесток и дурно обходился с пленниками, и вот как скоро гребцы увидели, что галера «Волчица» гонится за ними и уже настигает, то все разом побросали весла и, схватив капитана, который, находясь на галере, кричал, чтобы они дружнее гребли, стали перебрасывать его от одной скамьи к другой, от кормы до самого носа, и при этом так его искусаили, что вскоре после того, как он оказался у них в руках, душа его оказалась в преисподней, – столь жестоко, повторяю, он с ними обходился и такую вызвал к себе ненависть. Мы возвратились в Константинополь, а в следующем, семьдесят третьем, году там стало известно, что сеньор дон Хуан взял Тунис и, очистив его от турок, передал во владение мулею<sup>6</sup> Ахмету, тем самым отняв надежду вновь воцариться в Тунисе у мулея

1 *Улудж-Али* (1508 – ок. 1580) – родом калабриец, находился на службе у турок. За победу, одержанную им под Мальтой в 1665 г., защита которой от нападения турецкой флотилии была поручена Карлом V мальтийскому ордену, он получил царство Триполитанское. Принимал участие в сражении при Лепанто и руководил операциями турецкого флота при отвоевании Туниса в 1574 г.

2 *Мальтийский орден* – военно-религиозный орден иоаннитов, или госпитальеров; возник в эпоху крестовых походов. В 1530 г. испанский король Карл V передал во владение этого ордена остров Мальту. Орден вел постоянную борьбу с турецким флотом, стремившимся захватить остров как опорный стратегический пункт в Средиземном море. В 1565 г. остров подвергся осаде турецкого флота под начальством Драгута, а после его смерти – Мустафа-паши, но с честью выдержал осаду.

3 *Джованни Андреа* – генуэзский военачальник, руководивший в Лепантском сражении правым флангом соединенной эскадры.

4 *...и не по вине или по небрежению нашего адмирала...* – то есть Хуана Австрийского.

5 *Корсар Рыжая Борода* – турецкий пират, адмирал турецкого флота. Его сын Гасан-паша правил Алжиром. Тут идет речь не о Гасан-паше, а о внуке Рыжей Бороды, Магомет-бее, который и был капитаном судна, о чем рассказывает пленник. Магомет-бей отличался крайней жестокостью.

6 *Мулей* – арабское слово, означающее «мой господин», «мой наставник». Звание «мулей» присваивалось арабским халифам и лицам царского происхождения.

Хамида, самого жестокого и самого храброго мавра на свете. Султан, горько оплакивавший эту потерю, с присущим всему его роду коварством заключил мир с венецианцами, которые желали этого еще больше, чем он, а в следующем, семьдесят четвертом, году осадил Голету<sup>1</sup> и форт неподалеку от Туниса – форт, который сеньор дон Хуан не успел достроить. Во время всех этих военных действий я сидел за веслами и уже нисколько не надеялся на освобождение, – во всяком случае, я не рассчитывал на выкуп, ибо положил не писать о своем несчастье отцу.

Наконец пала Голета, пал форт, в осаде коих участвовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск да более четырехсот тысяч мавров и арабов со всей Африки, причем все это несметное войско было наделено изрядным количеством боевых припасов и военного снаряжения и располагало изрядным числом подкопщиков, так что довольно было каждому солдату бросить одну только горсть земли, чтобы и Голета и форт были засыпаны. Первою пала Голета, слышавшая дотоле неприступною, – пала не по вине защитников своих, которые сделали для ее защиты все, что могли и должны были сделать, а потому, что рыть окопы, как показал опыт, в песках пустыни легко: обыкновенно две пяди вглубь – и уже вода, турки же рыли на два локтя, а воды не встретили. И вот из множества мешков с песком они соорудили столь высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости, осажденные же были лишены возможности защищаться и препятствовать обстрелу с высоты.

Хотя мое мнение было таково, что наши, вместо того чтобы отсиживаться в Голете, должны были в открытом месте ожидать высадки неприятеля, но так рассуждать можно только со стороны, тем, кому в подобных делах не приходилось участвовать. В самом деле, в Голете и форте насчитывалось около семи тысяч солдат, – так вот, могло ли столь малочисленное войско, какою бы храбростью оно ни отличалось, в открытом месте сдерживать натиск во много раз превосходящих сил неприятеля? И какая крепость удержится, ниоткуда не получая помощи, когда ее осаждают многочисленный и ожесточенный враг, да еще сражающийся на своей земле? Напротив, многие, в том числе и я, полагали, что уничтожение этого бича, этой губки, этой моли, без толку пожирающей огромные средства, этого источника и средоточия зол, пригодного единственно для того, чтобы хранить память о том, как его завоевал блаженнейшей памяти непобедимейший Карл Пятый (точно память о нем, которая и без того есть и будет вечною, нуждается для своего упрочения в этих камнях!), уничтожение его, говорю я, – это знак особой милости неба к Испании, особого его благоволения. Пал также и форт, однако туркам пришлось отвоевывать его пядь за пядью, ибо его защитники бились до того яростно и храбро, что неприятель, предприняв двадцать два приступа, потерял более двадцати пяти тысяч убитыми. Из трехсот человек, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен целым и невредимым – явное и непреложное доказательство доблести их и мужества, доказательство того, как стойко они оборонялись, того, что никто из них не покинул своего поста. Сдался и еще один маленький форт или, вернее, воздвигнутая на берегу залива башня, которую защищал дон Хуан Саногера, валенсийский кавальеро и славный воин. Был взят в плен комендант Голеты дон Педро Пуэртокарреро, – он сделал все от него зависящее для защиты крепости и был так удручен ее падением, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда его угоняли в плен. Попал в плен также комендант форта Габриеле Червеллон<sup>2</sup>, миланский дворянин, искусный строитель и отважнейший воин. В этих двух крепостях погибло немало прекрасных людей, как, например, Пагано Дориа<sup>3</sup>, кавалер ордена Иоанна Крестителя, высокой души человек,

---

<sup>1</sup> *Голета* – форт, защищавший вход в Тунискую гавань. После захвата его испанцами в 1535 г. в нем оставлен был испанский гарнизон. Когда Венеция заключила в 1573 г. мир с Турцией, король Филипп II направил дону Хуана Австрийского в Голету для руководства фортификационными работами. Но предпринятые в 1574 г. атаки со стороны турецкого флота нарушили планы Филиппа II.

<sup>2</sup> *Габриеле Червеллон* – миланский дворянин, градоправитель Туниса, был взят турками в плен после захвата Голеты и Туниса. По освобождении из плена служил в испанских войсках в Голландии. Умер в 1580 г. в Милане.

<sup>3</sup> *Пагано Дориа* – брат Андреа Дориа, участвовал в сражении при Лепанто, погиб при защите Голеты. Его «необычайное добросердечие» по отношению к брату выразилось в том, что он отказался в пользу последнего



выказавший необычайное добросердечие по отношению к брату своему, славному Джованни Андреа Дориа. Смерть его тем более обидна, что пал он от руки арабов, коим он доверился, как скоро убедился, что форта не отстоять, и кои взялись доставить его, переодетого в мавританское платье, в Табарку<sup>1</sup> – небольшую гавань или, вернее, поселок, принадлежащий генуэзцам, заплывающим в эти воды на предмет добычи караллов, и вот эти самые арабы отрубили ему голову и отнесли ее командующему турецким флотом, но тот поступил с ними согласно нашей кастильской поговорке: «Измена пригодится, а с изменником – не водиться», – говорят, будто командующий велел повесить тех, кто принес ему этот подарок, за то, что они не доставили Дориа живым.

Среди взятых в плен христиан – защитников форта был некто по имени дон Педро де Агилар, родом откуда-то из Андалусии, – в форте он был знаменщиком, и все почитали его за изрядного воина и за человека редкого ума, а кроме того, у него были исключительные способности к стихотворству. Заговорил я о нем потому, что волею судеб он стал рабом моего хозяина, и мы с ним оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеро сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сонета, одну – посвященную Голете, а другую – форту. Откровенно говоря, мне бы хотелось вам их прочесть, ибо я знаю их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а скорее доставят удовольствие.

При имени дона Педро де Агилара дон Фернандо взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг другу. Пленник совсем уже было собрался прочесть сонеты, но один из спутников дона Фернандо прервал его:

– Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, ваша милость, что случилось с доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули?

– Вот что я о нем знаю, – отвечал пленник: – Два года он пробыл в Константинополе, а затем, переодевшись арнаутом, при посредстве греческого лазутчика бежал, но только не знаю наверное, на свободе ли он, хотя думаю, что на свободе, – год спустя я встретил грека в Константинополе, однако же мне не удалось его расспросить, чем кончился их побег.

– Он на свободе, – сказал кавальеро. – Ведь этот дон Педро – мой брат, и теперь он с женой и тремя детьми в добром здравии и в довольстве проживает в наших краях.

– Благодарю тебя, боже, за великую твою милость! – воскликнул пленник. – По мне, нет на свете большей радости, нежели радость вновь обретенной свободы.

– И вот еще что, – продолжал кавальеро, – я знаю сонеты моего брата.

– Так прочтите их вы, ваша милость, – сказал пленник, – уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня.

– Охотно, – сказал кавальеро. – Вот сонет, посвященный Голете:

## Глава XL,

*в коей следует продолжение истории пленника*

Вам, кто за веру отдал жизнь свою;  
Чьи души, сбросив свой покров телесный,  
Взнеслись на крыльях в высший круг небесный  
И днесь блаженство обрели в раю;  
Вам, кто в далеком и чужом краю  
Служил отчизне преданно и честно;

---

от своих огромных богатств.

<sup>1</sup> *Табарка* – приморское селение на северном побережье Африки. При осаде Туниса командующим турецким флотом был Улудж-Али. Описанный поступок Улудж-Али объясняется вернее всего его алчностью, а не благородством: он был раздосадован тем, что со смертью Дориа утратил возможность получить за него большой выкуп.

Кто море и пески страны окрестной  
Окрасил в кровь – и вражью, и свою;  
Вам не отвага – силы изменили,  
И ваше поражение в борьбе  
Победою считаем мы по праву.  
Здесь, меж руин, вы тлеете в могиле.  
Стяжав ценою гибели себе  
Бессмертье в мире том, а в этом славу.

- Да, это тот самый сонет, – заметил пленник.  
– А вот, если память мне не изменяет, о форте, – сказал кавальеро.

Здесь, на песке бесплодном, где во прах  
Низринул башни вихрь огня и стали,  
Три тысячи бойцов геройски пали,  
И души их теперь на небесах.

Не ведали они, что значит страх,  
И верх над ними взял бы враг едва ли,  
Когда б они рубиться не устали  
И не иссякла сила в их руках.

Немало бед, в горниле войн пылая,  
И встарь и ныне видел этот край,  
Который кровь обильно оросила,

Но никогда земля его скупая  
Столь смелых душ не воссылала в рай  
И тел столь закаленных не носила.

Все одобрили эти сонеты, и пленник, порадовавшись вестям о своем товарище, продолжал рассказ:

– Итак, Голета и форт пали, и турки отдали приказ сровнять Голету с землею (форт находился в таком состоянии, что там уже нечего было сносить), и, чтобы ускорить и облегчить работу, с трех сторон подвели под Голету подкоп, но что до сего времени казалось наименее прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно – старые крепостные стены, все же, что осталось от новых укреплений, воздвигнутых Фратино<sup>1</sup>, мгновенно рухнуло. Наконец эскадра с победой и славой возвратилась в Константинополь, а несколько месяцев спустя умер хозяин мой Улудж-Али, по прозванию *Улудж-Али-Фарташ*, что значит по-турецки *шелудивый вероотступник*, ибо таковым он был на самом деле, турки же имеют обыкновение давать прозвища по какому-либо недостатку или же достоинству – и это потому, что у них существует всего лишь четыре фамилии, ведущие свое происхождение от Дома Оттоманов, тогда как прочим, повторяю, имена и фамилии даются по их телесным недостаткам или же душевным качествам. Так вот этот самый *Шелудивый*, будучи рабом султана, целых четырнадцать лет просидел за веслами, а когда ему было уже года тридцать четыре, он, затаив злобу на одного турка, который как-то раз на галере ударил его по лицу, отрекся от своей веры, дабы иметь возможность отомстить обидчику. Достоинства же его были столь велики, что он, и не прибегая к окольным путям, которыми приближенные султана обыкновенно пользуются, стал королем алжирским, а затем генерал-адмиралом, то

---

<sup>1</sup> *Фратино* – то есть Монашек, прозвище итальянского инженера Джакомо Палеаццо, руководившего при Карле V и Филиппе II укреплениями на Гибралтаре. Он выступает также как один из персонажей в пьесе Сервантеса «Удалой испанец».

есть занял третью по степени важности должность во всей империи. Родом он был из Калабрии, сердце имел доброе и со своими рабами обходился по-человечески, а рабов у него было три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, их распределили между султаном, который почитается наследником любого из умерших своих подданных и получает равную с сыновьями покойного долю, и вероотступниками, состоявшими у Улудж-Али на службе. Я же достался одному вероотступнику родом из Венеции, – он был юнгой на корабле, когда его захватил в плен Улудж-Али, и вскоре он уже вошел к Улудж-Али в доверие, сделался одним из любимых его советников, а в конце концов превратился в самого жестокого вероотступника, которого когда-либо видел свет. Звали его Гасан Ага<sup>1</sup>, и стал он весьма богат, и стал он королем Алжира. С ним я и отбыл туда из Константинополя, отбыл не без удовольствия, ибо Алжир совсем близко от Испании, – впрочем, я никому не собирался писать о своей доле, я только надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее, нежели в Константинополе, где я тысячу раз пытался бежать – и все неудачно. Так вот, в Алжире я рассчитывал найти иные способы осуществления того, о чем я так мечтал, ибо надежда обрести свободу никогда не оставляла меня, и если то, что я замышлял, обдумывал и приводил в исполнение, успеха не имело, я не падал духом и тотчас цеплялся и хватался за какую-нибудь другую надежду, пусть слабую и непрочную. Это меня поддерживало в алжирском остроге, или, как его называют турки, *банья*, куда сажают пленных христиан – как рабов короля и некоторых частных лиц, так и рабов *алмахзана*, то есть рабов городского совета, которых посылают на работы по благоустройству города и на всякие другие работы и которым особенно трудно выйти на свободу, ибо они принадлежат общине, но не отдельным лицам, так что если б даже они и достали себе выкуп, то все равно им не с кем было бы начать переговоры. В этих тюрьмах, как я уже сказал, содержатся рабы и некоторых частных лиц из местных жителей, преимущественно такие, за которых надеются получить выкуп, ибо здесь их работать не приневоливают, а глядят за ними в оба до тех пор, пока не придет выкуп. Так же точно и рабов короля, за которых ждут выкуп, посылают на работы вместе со всеми, только если выкуп запаздывает; в сем случае для того, чтобы они более решительно добивались выкупа, их принуждают работать и посылают вместе с прочими рубить лес, а это труд нелегкий.

Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало известно, что я капитан, то, сколько я ни уверял, что средства мои весьма скромны и что имущества у меня никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкупных пленников. Меня заковали в цепи – не столько для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак того, что я выкупной, и так я жил в этом *банья* вместе с многими другими дворянами и знатными людьми, которые значились как выкупные и в качестве таковых здесь содержались. И хотя порою, а вернее, почти все время, нас мучили голод и холод, но еще больше нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши, – и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости и что он человеконенавистник по своей природе. Единственно, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Сааведра<sup>2</sup>, – тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова, а между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз этого опасался. И если б мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивления достойным, нежели моя история.

---

1 *Гасан Ага* – правитель Алжира. Принято считать, что Сервантес тут упоминает Гасана Ага вместо Гасана-паши, который правил в Алжире до 1580 г., то есть до освобождения Сервантеса из рабства.

2 *...неким Сааведра...* – Речь идет о самом Сервантесе, который пять лет пробыл в алжирском плену и неоднократно предпринимал попытки к бегству.

Ну так вот: во двор нашего острога выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, причем окна эти, как обыкновенно у мавров, скорее напоминали щелки, нежели окна, а в довершение всего на них висели отменно плотные, непроницаемые занавески. Случилось, однако ж, так, что, когда в один прекрасный день я и еще трое моих товарищей, оставшись одни, – ибо другие христиане ушли на работу, – от нечего делать пытались прыгать в кандалах на крыльце нашего острога, я невзначай поднял глаза и увидел, что в одном из этих завешенных окошек показалась тростинка, к коей был привязан платок, и тростинка эта двигалась и раскачивалась, точно это был знак, чтобы мы ее взяли. Посмотрели мы на нее, и наконец один из нас пошел поглядеть, бросят ли ему тростинку и что будет дальше, но как скоро он приблизился, тростинку подняли и махнули ею вправо и влево, словно отрицательно покачав головой. Возвратился христианин, и тростинка снова спустилась и стала раскачиваться, как прежде. Пошел второй мой товарищ, но и с ним случилось то же, что с первым. Наконец пошел третий, и с ним приключилось то же, что и с первыми двумя. Тогда и я решился попытать счастья, и только стал под окном, как кто-то выпустил тростинку из рук, и она упала на тюремный двор прямо к моим ногам. Я поспешил отвязать платок, и в узелке, который я на нем обнаружил, оказалось десять *сиани*, то есть десять золотых монет низкой пробы: монеты эти имеют хождение у мавров, и каждая из них равна десяти нашим реалам. Нечего и говорить, какое удовольствие доставила мне эта находка, как я был рад и как я терялся в догадках – кто мог оказать нам это благодеяние, то есть, собственно, мне, ибо тростинку никому не желали спускать, кроме меня, а это был явный знак, что подарок предназначается мне. Я спрятал монетки, сломал тростинку, снова поднялся на крыльцо, взглянул на окно и увидел, что чья-то белоснежная ручка отворила окно и сейчас же захлопнула. Тут мы наконец сообразили и догадались, что одарила нас женщина из этого дома, и, дабы выразить ей свою признательность, мы, по мавританскому обычаю, сделали ей *селям*, то есть опустили голову, склонили стан и сложили на груди руки. Не в долгом времени из окна спустили тростниковый крестик и тотчас подняли. Знак этот указывал как будто на то, что там живет пленница-христианка и что это она благодетельствовала нас, однако ж белизна ее руки и браслеты нас разуверили, и мы решили, что это, очевидно, христианка-вероотступница, а на вероотступницах мавры часто женятся, да еще и почитают это за счастье, ибо ставят их выше своих соплеменниц. Эти наши соображения были весьма далеки от истины, но с тех пор мы, точно корабледводители, чьи взоры прикованы к северу, только и делали, что смотрели на окно, в котором путеводною звездой нам блеснула тростинка, однако ж прошло две недели, а ни тростинки, ни руки, ни какого-либо другого знака не было видно. И хотя все это время мы всячески пытались разведать, кто живет в этом доме и нет ли там христианки-вероотступницы, однако ж толком никто нам ничего не мог сказать, кроме того, что там живет богатый и знатный мавр по имени Хаджи Мурат, бывший комендант Аль-Баты<sup>3</sup>, каковую должность мавры признают за одну из самых почетных. И вот, когда мы совершенно не рассчитывали, что на нас снова посыплется дождь сиани, нежданно-негаданно вновь показалась тростинка, а на ней опять платок с еще более толстым узлом, и случилось это, как и в прошлый раз, когда во всем банья никого, кроме нас, не было. Мы произвели все тот же опыт: прежде меня подошли трое моих товарищей, но тростинка никому из них в руки не далась – бросили ее только тогда, когда приблизился я. Я развязал узелок и обнаружил сорок испанских золотых и письмо, написанное по-арабски, с большим крестом в конце. Я поцеловал крест, спрятал золотые, возвратился на крыльцо, мы проделали наш *селям*, в окне снова показалась рука, я сделал знак, что прочитаю письмо, окно захлопнулось. Случай этот поразил и обрадовал нас, по-арабски же мы не разумели, и, как ни велико было наше желание узнать, что это письмо в себе заключает, однако ж найти кого-нибудь, кто бы нам его прочитал, было весьма затруднительно. В конце концов я решился открыться одному вероотступнику родом из Мурсии: он неукоснительно изъявлял мне свою преданность, а я был посвящен в такие его дела, что он, думалось мне, не осмелится выдать мою тайну. Надобно знать, что некоторые

---

3 *Аль-Бата* – крепость, расположенная в двух милях от Орана.

вероотступники, имеющие намерение возвратиться в христианские земли, обыкновенно запасаются письмами от знатных пленников, в которых пленники в той или иной форме удостоверяют, что такой-то вероотступник – человек порядочный, что с христианами он всегда обходился хорошо и собирался бежать при первой возможности. Иные достают эти свидетельства с хорошей целью, иные же – на всякий случай и не без задней мысли: в то время как они грабят христианские земли, им случается заблудиться и попасть в плен, и вот тут-то они и предъявляют свидетельства и говорят, что по этим бумагам видно, с какой целью они сюда прибыли, – их цель, дескать, остаться у христиан, и ради этого они-де и прибыли к нам на турецком корсарском судне. Это их спасает от расправы, и, нимало не пострадав, они мирятся с церковью, но при малейшей возможности возвращаются в Берберию и становятся тем же, чем были прежде. Есть среди них и такие, которые запасаются и пользуются этими письмами с добрыми намерениями и остаются у христиан. Одним из таких вероотступников был мой приятель: у него хранились письма от всех нас с самыми похвальными отзывами, так что если бы мавры нашли у него эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я знал, что он отлично умеет не только говорить, но и писать по-арабски. Однако ж, прежде чем поведать ему все, я сказал, что случайно обнаружил в щели моего барака письмо и прошу мне его прочитать. Он развернул его, а затем долго разглядывал и разбирал, что-то бормоча себе под нос. Я спросил, понимает ли он, что тут написано, – он ответил, что великолепно понимает и что если мне угодно, чтобы он перевел мне его слово в слово, то чтобы я принес ему перо и чернила: так-де ему удобнее. Мы принесли ему и то и другое, он засел за перевод и, кончив, объявил:

«Вот буквальный перевод на испанский язык того, что содержит в себе арабское это письмо, – предуведомляю вас, что *Лела Мариам* всюду означает *владычица наша Дева Мария*».

Письмо было следующего содержания:

«Когда я была маленькая, невольница моего отца научила меня на моем родном языке христианской *салаат* и много мне рассказывала о Леле Мариам. Христианка эта умерла, и я знаю, что душа ее попала не в огонь, но к аллаху, ибо она мне потом дважды являлась и велела мне ехать к христианам и повидать Лелу Мариам, которая очень меня любит, а я не знаю, как это сделать. Я видела из окна много христиан, но одного тебя я почитаю за настоящего дворянина. Я молода и красива и могу захватить с собой много денег, – подумай, не можешь ли ты поехать вместе со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если не захочешь, то и это не беда: Лела Мариам найдет мне жениха. Подумай, кому дать прочесть мое письмо, только не доверяйся маврам, ибо все они коварны. Это меня очень тревожит, и лучше бы ты не открывался никому, потому что, если мой отец про это узнает, он бросит меня в колодец и закидает камнями. Я прикреплю к тростинке нитку, а ты привяжи за нитку ответ. Если же у тебя нет никого, кто бы мог написать письмо по-арабски, то объяснись знаками, – Лела Мариам сделает так, что я тебя пойму. Да хранят тебя она, и аллах, и еще этот крест, который я целую много раз, как мне велела невольница».

Вы не должны удивляться, сеньоры, тому, как удивило и обрадовало нас это письмо. И так велики были наше восхищение и наша радость, что отступник догадался, что не случайно найдено было это письмо, а что оно в самом деле написано одному из нас, и стал умолять, если только, мол, догадки его справедливы, довериться ему и поведать все, а он-де пожертвует жизнью ради нашего освобождения. Тут он снял с себя металлический крест и, проливая обильные слезы, поклялся изображенным на этом кресте богом, в которого он, будучи-де грешником и злодеем, искренне и твердо, однако же, верит, не изменить нам и сохранить в тайне все, что нам благоугодно будет ему поведать, ибо он полагал, и почти был уверен, что с помощью той, которая написала это письмо, мы, а вместе с нами и он, обретем свободу, и сбудется наконец заветная его мечта – возвратиться в лоно святой нашей матери-церкви, от коей он, точно гниющий член, по неведению своему и грехам был удален

и отсечен. При этом он так горько плакал и так искренне, по-видимому, раскаивался, что мы все сошлись на том, что надобно сказать ему всю правду, и точно; мы ему поведали все без утайки. Мы показали ему окошко, откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и обещал приложить особые и чрезвычайные старания, чтобы выведать, кто там живет. Порешили мы также непременно ответить на письмо мавританки, и как теперь у нас было кому написать ей, то я немедленно продиктовал ему письмо, коего содержание я могу вам сейчас передать слово в слово, ибо ни одна из существенных подробностей этого происшествия не изгладилась из моей памяти и не изгладится до конца моих дней. Так вот какой ответ составлен был мавританке:

«Да хранит тебя, госпожа моя, правый аллах, а с ним и благословенная Мариам, истинная мать божья, из любви к тебе вложившая в твое сердце мысль отправиться в христианские земли. Молись ей, да внушит она тебе, как исполнить ее повеление, – милосердие ее велико, и она тебе внушит. От своего имени, а равно и от имени всех христиан, находящихся вместе со мною, обещаю сделать для тебя все, что возможно, и если нужно – умереть за тебя. Непременно напиши и сообщи мне, что ты намерена предпринять, а я не замедлю ответом, ибо великий аллах послал нам пленного христианина, который умеет говорить и писать на твоём языке, о чем ты можешь судить по этому письму. Итак, ты безбоязненно можешь уведомлять меня обо всем. Ты пишешь, что хотела бы, прибыв в христианскую страну, стать моею женою, я же, как добрый христианин, тебе это обещаю, а да будет тебе известно, что христиане держат свое слово лучше, чем мавры. Да хранят тебя, госпожа моя, аллах и мать его Мариам».

После того как письмо это было написано и запечатано, мне пришлось ждать целых два дня, – наконец банья снова опустел, и тогда я вышел на крыльцо, на свое обычное место, и стал поглядывать, не покажется ли тростинка, и тростинка не замедлила появиться. Как скоро я ее заметил, так сейчас же, хотя мне и не было видно, кто ее держит, показал письмо, давая этим понять, что прошу спустить нитку. Нитка, однако, была уже прикреплена к тростинке, и я привязал письмо, а немного погодя вновь показалась наша звезда с белым флагом мира в виде платка. Платок упал, я поднял его и обнаружил в узелке более пятидесяти эскудо в различной серебряной и золотой монете, каковые в пятьдесят раз увеличили нашу радость и укрепили нашу надежду на освобождение. В ту же ночь возвратился отступник и сказал нам, что, по его сведениям, в этом доме живет тот самый мавр, о котором мы были наслышаны, что зовут его Хаджи Мурат, что у этого сказочно богатого человека есть дочь, единственная наследница его достояния, которую весь город почитает первой красавицей во всей Берберии, и что многие вице-короли приезжали просить ее руки, но она так ни за кого и не вышла. И еще отступник узнал, что была у нее невольница-христианка и что она умерла. Все это вполне соответствовало тому, что нам было известно из письма.

Мы тут же стали держать совет с отступником, как нам похитить мавританку и как нам всем пробраться в христианские земли, и в конце концов уговорились подождать вторичного уведомления от Зораиды (так звали ту, что ныне желает зваться Марией), ибо мы отлично понимали, что без нее нам всех трудностей не преодолеть. Когда же мы на том порешили, отступник сказал, чтобы мы не беспокоились, – он-де сам погибнет, а уж нас освободит. В течение четырех дней в остроге было полно народу, вследствие чего в течение четырех дней тростинка не появлялась, а на пятый день, как скоро в остроге снова стало тихо, показалась вновь, да еще с весьма заметно округлившимся узелком, сулившим наисчастливые роды. При моем приближении тростинка с платком спустилась, и я обнаружил в нем письмо и сто эскудо только в золотой монете. Отступник находился тут же, мы отвели его в наш барак, и он перевел нам ее письмо:

«Я не знаю, господин мой, как нам пробраться в Испанию, и Лела Мариам ничего мне не сказала, хотя я ее и спрашивала; вот что, однако, можно сделать: я

тебе спущу из окна как можно больше золотых монет, ты же выкупишь на них себя и своих друзей, и тогда пусть кто-нибудь из вас отправится к христианам, купит фелюгу и вернется за остальными, а меня вы найдете в загородном доме моего отца, что у Бабассунских ворот, близко от моря, – там я с отцом и слугами буду проводить лето. Ночью вы меня беспрепятственно оттуда похитите и отведете к фелюге; только, смотри, женись на мне, а не то я пожалуюсь Мариам, и она тебя накажет. Если ты никому не можешь доверить покупку фелюги, то выкупи себя и поезжай один, – я уверена, что ты умеешь держать свое слово лучше, чем кто-либо другой: ведь ты дворянин и христианин. Постарайся отыскать наш загородный дом, а когда я увижу, что ты здесь гуляешь, я пойму, что в банья никого нет, и передам тебе много денег. Да хранит тебя аллах, господин мой».

Вот что заключало в себе и гласило это второе письмо, по прочтении коего мы все, как один, объявили о своем желании быть выкупленными, вызвались поехать за фелюгой и обещали в срок возвратиться, в том числе и я, чему отступник, однако же, воспротивился, сказав, что он ни в коем случае не допустит, чтобы кто-нибудь один вышел на свободу раньше других: он, дескать, знает по опыту, что освободившиеся плохо исполняют обещания, которые они дали в плену, ибо знатные пленники не раз прибегали к этому способу: выкупали кого-нибудь из товарищей и, наделив его деньгами, посылали в Валенсию или же на Майорку, чтобы тот снарядил фелюгу и вернулся за теми, кто его выкупил, но еще не было случая, чтобы кто-нибудь вернулся, – достигнутая свобода и боязнь вновь утратить ее заставляли их забывать обо всех обязательствах на свете. В виде примера он вкратце рассказал нам об одном происшествии, недавно случившемся с некими знатными христианами, самом необычайном из всех, что случались в этих краях, где каждую секунду творятся такие страшные дела, что только даешься диву. Коротко говоря, по его словам выходило так, что деньги, переданные нам для выкупа кого-нибудь из христиан, можно и должно отдать ему на приобретение тут же, в Алжире, фелюги якобы для того, чтобы вести и держать торг с Тетуаном и со всем побережьем, а, приобретя фелюгу, он-де мигом сообразит, как вывести нас из острога и посадить в фелюгу. Если же мавританка, как обещает, даст денег, чтобы выкупить всех, то тем лучше, потому что люди, выпущенные на свободу, и при свете дня могут сесть в фелюгу. Главная трудность состоит, мол, в том, что мавры не позволяют отступникам ни покупать, ни иметь никаких судов, за исключением больших кораблей, предназначенных для корсарства, ибо они опасаются, что приобретающий судно, особенно если это испанец, приобретает его не для чего-либо, а единственно для того, чтобы бежать к христианам. Но он-де выйдет из этого положения: купит фелюгу пополам с одним мавром-тагаринном, предоставив ему равную долю в барышах, и под видом этого завладеет судном, а за все остальное он, мол, ручается. И хотя мне и моим товарищам казалось более благоразумным по совету мавританки послать кого-нибудь за фелюгой на Майорку, однако ж мы не посмели ему перечить из боязни, что если мы его не послушаемся, то он всех нас выдаст, а если откроется наш уговор с Зораидой, за которую мы готовы отдать жизнь, то и жизни нашей придет конец. Того ради положили мы предаться в руки господина бога и в руки отступника, и в ту же секунду был составлен ответ Зораиде, гласивший, что мы неуклонно будем исполнять все ее советы, ибо она все так умно придумала, словно ей это внушила сама Лела Мариам, и что теперь от нее одной зависит, отложить это предприятие или же немедленно осуществить. При этом я еще раз дал слово на ней жениться. А на другой день банья на наше счастье снова опустел, и Зораида в несколько приемов с помощью тростинки и платка передала нам две тысячи золотых и письмо, в котором было сказано, что в ближайшую *джуму*, то есть в пятницу, она переезжает в загородный дом своего отца и до отъезда передаст нам еще денег и что если этого недостаточно, то наше дело об этом уведомить, а она передаст нам, сколько мы попросим: у ее отца столько денег, что он, мол, не обратит внимания, а все ключи у нее в руках. Мы тот же час вручили отступнику пятьсот эскудо на приобретение фелюги, а восемьсот эскудо я дал за себя одному валенсийскому купцу, который тогда находился в Алжире, – он выпросил меня у короля под честное слово,

обещав внести выкуп, как скоро прибудет корабль из Валенсии, а то если б он тут же внес за меня выкуп, это внушило бы королю подозрение, что выкупные деньги уже давно находятся в Алжире, а купец из выгоды об этом помалкивает. Словом сказать, хозяин мой был столь недоверчив, что я не отважился уплатить ему сразу. В пятницу прелестная Зораида должна была отправиться в загородный дом, а в четверг она передала нам еще тысячу эскудо, уведомила о завтрашнем переезде и попросила меня, в случае если меня отпустят, поскорее изучить местоположение загородного дома, под любым предлогом туда проникнуть и повидаться с нею. Я в кратких словах ответил ей, что так, мол, и сделаю и прошу ее поручить нас Леле Мариам и прочитать все те молитвы, коим пленница ее научила. Затем был внесен выкуп за трех моих товарищей, – сделано это было для того, чтобы облегчить им выход из острога и чтобы они, видя, что я выкуплен, а они нет, хотя деньги есть, не возмутились и чтобы дьявол не подстрекнул их в чем-либо навредить Зораиде. Правда, зная их, я мог этого не опасаться, и все же не хотелось мне подвергать риску наше предприятие, а потому я их выкупил тем же самым способом, что и себя, то есть дал денег купцу, чтобы тот совершенно спокойно и безбоязненно мог взять их на поруки, однако же нашего заговора и нашей тайны мы ему не открыли, ибо это нам представлялось опасным.

## Глава XLI,

*в коей пленник все еще продолжает свой рассказ*

Не прошло и двух недель, как вероотступник уже обзавелся отличной фелюгой, в которой могло поместиться свыше тридцати человек. А чтобы обезопасить свое предприятие и чтобы оно имело благовидный предлог, он вознамерился совершить и в конце концов совершил на ней путешествие в Сарджел, который находится в тридцати милях от Алжира в сторону Орана и где идет крупная торговля сушеными фидами. Несколько раз ездил он туда вместе с тагарином, о котором я уже упоминал. *Тагаринами* в Берберии называют мавров арагонских, а гранадских – *мудэхарами*, в Феццанском же королевстве мудэхаров называют *эльчами*, и войско феццанского короля состоит главным образом из них. Так вот, по пути отступник неизменно становился на якоре в маленькой бухте, на расстоянии менее двух арбалетных выстрелов от того дома, где нас ожидала Зораида. Остановившись он, разумеется, умышленно и иной раз вместе с гребцами-маврами творил здесь салаат, а бывало, в виде упражнения, как бы в шутку проделывал то, что в скором времени намеревался проделать взаправду, именно: заходил в дом Зораиды и просил фруктов, и отец Зораиды хотя и не знал его, а все же не отказывал. Вероотступник мне после говорил, что сколько ни старался он вступить с Зораидою в переговоры и объявить ей, что отвезти ее к христианам я поручил ему и что она может быть спокойна и довольна, это ему так и не удалось, ибо мавританки ни с маврами, ни с турками обыкновенно не видятся, разве им прикажет отец или муж, тогда как с христианскими пленниками они позволяют себе общаться и беседовать даже больше, чем следует. А мне было бы неприятно, если бы он с нею заговорил: может статься, она встревожилась бы, видя, что ее судьба в руках вероотступника. Как бы то ни было, господь не захотел, чтобы это благое желание отступника исполнилось, отступник же, удостоверившись, что он беспрепятственно может ездить в Сарджел и обратно и бросать якорь где, когда и как ему заблагорассудится, что его товарищ татарин находится в полном у него подчинении, а я уже выкуплен, и, следовательно, остается лишь подыскать среди христиан гребцов, сказал мне, чтобы я подумал, кого еще взять с собой помимо выкупленных, и условился с ними на ближайшую пятницу, ибо на этот день был назначен наш отъезд. Я подговорил двенадцать испанцев, именно тех, которые беспрепятственно могли покинуть город, и притом великолепных гребцов, а подыскать столько людей было не так-то легко, ибо двадцать корсарских судов уже вышли на промысел, забрав всех гребцов, так что я не нашел бы и этих, когда бы хозяин их не остался на лето в гавани, чтобы закончить постройку галиота, стоявшего на верфи. И вот этим



двенадцати я сказал только, чтобы в ближайшую пятницу, вечером, они тайком и поодиночке вышли из города и возле дома Хаджи Мурата меня подождали. Это наставление я дал каждому из них в отдельности и наказал ничего не говорить другим христианам, которых они могут встретить, кроме того, что я велел-де ждать меня здесь. Уладив это, я гораздо охотнее принялся за другое: мне надлежало дать знать Зораиде, как обстоят дела, чтобы она, получив эти сведения, была наготове и не испугалась, если мы на нее нападём неожиданно, раньше, чем, по ее предположениям, фелюга может возвратиться от христиан. Итак, я порешил идти к ней и попытаться с нею поговорить. И вот накануне моего отъезда я отправился туда будто бы для сбора трав, и первый, кого я там встретил, был ее отец: он заговорил со мной на языке, который принят во всей Берберии и даже в Константинополе у пленных и у мавров, на языке ни мавров, ни кастильцев, ни какого-либо другого племени, но представляющем собою смешение всех языков и всем нам понятном, – так вот на этого сорта наречии он и спросил меня, чего мне надобно в его саду и кто я таков. Я ответил, что я невольник арнаута Мами<sup>1</sup> (я знал наверное, что арнаут Мами его ближайший друг) и что ищу я всевозможных трав для салата. Далее он спросил меня, выкупной я или нет и сколько просит за меня мой хозяин. В то время как мы с ним разговаривали, прекрасная Зораида, давно уже меня заметившая, вышла из дому. А как мавританки, повторяю, не стесняются показываться на глаза христианам и не избегают их, то она почла вполне приличным направиться к нам. Более того: едва лишь отец увидел, что она медленно направляется к нам, так сейчас же окликнул ее и велел подойти.

Я не имею довольно слов, чтобы описать дивную красоту и стройность любезной моей Зораиды, а также изящество и пышность наряда, в каком она представилась моим глазам, – скажу лишь, что на прекраснейшей ее шее, в ушах и в волосах у нее жемчуга было больше, нежели волос на голове. На щиколотках ее ног, по обычаю той страны обнаженных, были надеты две чистейшего золота *каркаджи* (так называются по-мавритански ножные кольца или браслеты), усыпанные таким количеством бриллиантов, что отец Зораиды, как я узнал от нее впоследствии, оценивал эти *каркаджи* в десять тысяч дублонов, и столько же стоили ее запястья. На ней было много жемчуга, и притом великолепного, ибо мавританки почитают крупный и мелкий жемчуг предметом наивысшей роскоши и щегольства, вот почему ни у одного народа нет столько жемчуга, как у мавров, а про отца Зораиды говорили, что он обладатель не только большого количества лучшего в Алжире жемчуга, но и более двухсот тысяч испанских эскудо чистыми деньгами, и что распоряжается ими та, которая ныне распоряжается мною. Показалась ли она мне прекрасной в этом уборе или нет? Поглядев, какова она в обносках, оставшихся у нее после всех испытаний, вы можете судить, какова она была во времена благоденствия. Известно, что у красоты иных женщин есть свои дни и своя пора, и от какой-нибудь случайности они дурнеют или хорошеют, и вполне естественно, что душевные потрясения действуют на них таким образом, что они становятся более или, напротив, менее красивыми, чаще же всего уродуют их. Словом сказать, тогда она вышла ко мне вся разубранная и необыкновенно прекрасная, – по крайней мере, мне показалось, что такой красоты я никогда еще не видал. И, вспомнив в эту минуту, чем я ей обязан, я невольно подумал, что это божество, сошедшее с небес на землю ради моего счастья и ради моего спасения. Как скоро она приблизилась, отец сказал ей на их языке, что я невольник его друга арнаута Мами и что я пришел набрать трав для салата. Тогда она также приняла участие в разговоре и на том смешанном языке, о котором я уже упоминал, спросила меня, дворянин ли я и по какой причине я до сих пор себя не выкупил. Я ответил, что я уже выкуплен и что по цене можно судить, как дорожил мною хозяин: я принужден был уплатить ему за себя тысячу пятьсот султанов<sup>2</sup>. На это она мне сказала:

«Если б ты был невольником моего отца и ему давали за тебя вдвое больше – право, я уговорила бы его не соглашаться: вы, христиане, лжете на каждом шагу, вы прикидываетесь

---

<sup>1</sup> *Арнаут Мами* – начальник пиратов, захвативший галеру «Эль Соль» («Солнце»), на которой Сервантес и его брат Родриго возвращались в 1575 г. в Испанию. Арнаутом турки называли албанцев.

<sup>2</sup> *Султан* – название турецкой золотой монеты стоимостью 125 асперов (аспер – восьмая часть реала).

бедняками и обманываете мавров».

«Может, иной раз так и бывает, сеньора, – заметил я, – однако ж я с моим хозяином поступил по совести, и так я всегда поступал и буду поступать с кем бы то ни было».

«А когда ты уезжаешь?» – спросила Зораида.

«Думаю, завтра, – отвечал я, – завтра снимется с якоря французское судно, и я рассчитываю уехать на нем».

«А не лучше ли, – возразила Зораида, – подождать испанские суда и уехать с ними? Ведь французы вам не друзья».

«Нет, – отвечал я, – если бы вести об испанском судне оказались неложными, то я бы, конечно, его дождался, но вернее всего я уеду завтра, ибо так сильно во мне желание возвратиться на родину и увидеть милых моему сердцу людей, что я не стану откладывать свой отъезд до другого раза, хотя бы потом мне представился более удобный случай».

«Верно, ты оставил на родине жену, – заметила Зораида, – и теперь мечтаешь свидеться с нею?»

«Нет, я не женат, – отвечал я, – но я дал слово жениться, как скоро приеду на родину».

«И она красива – та, с которой ты связан словом?» – спросила Зораида.

«Чтобы воздать должное ее красоте, – отвечал я, – я могу сказать только, что она очень похожа на тебя».

Тут отец Зораиды засмеялся довольным смехом и сказал:

«Клянусь аллахом, христианин, уж верно, она очень красива, коли походит на мою дочь: ведь моя дочь – первая красавица во всем королевстве. Не веришь, так приглядишься к ней, и ты увидишь, что я говорю правду».

В течение почти всего этого разговора отец Зораиды, как наиболее в разных языках сведущий, служил нам переводчиком, ибо хотя она и говорила на том ублюдочном языке, который, как я уже сказал, в тех краях принят, а все же изъяснялась более знаками, нежели словами. Мы еще не кончили беседовать, как вдруг прибежал мавр и громко крикнул, что четыре турка перелезли через забор в сад и рвут еще неспелые плоды. Старик испугался, и Зораида также, и это был страх вполне естественный, обычный страх мавров, находящихся под пятою турок, ибо те, в особенности же турецкие солдаты, ведут себя нагло, помыкают ими и поступают с ними хуже, нежели с рабами. Итак, вот что сказал Зораиде отец:

«Дочь моя! Ступай домой и запрись, а я пойду поговорю с этими собаками, ты же, христианин, набери трав – и счастливого тебе пути, и да поможет тебе аллах благополучно возвратиться на родину».

Я поклонился ему, а он пошел к туркам, оставив меня вдвоем с Зораидой, Зораида же сделала вид, что идет домой, как приказал отец, но едва лишь он скрылся за деревьями, как она вернулась ко мне и со слезами на глазах молвила:

«*Тамши*, христианин, *тамши?*» (Что означает: «Ты уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?»)

Я же ответил ей:

«Да, сеньора, но без тебя – ни за что. Жди меня в ближайшую джуму<sup>1</sup> и не пугайся, когда нас увидишь. Мы непременно уедем к христианам».

Я все растолковал ей так, что ничего неясного во всей нашей беседе для нее не осталось, и, обвив мне шею рукой, она неверными шагами направилась к дому, и это чуть было не кончилось для нас дурно, когда бы небо не распорядилось иначе, а именно: идем мы с нею, как я уже сказал, обнявшись, а ее отец прогнал турок, возвращается, смотрит – мы тут с нею прогуливаемся, и мы тоже видим, что он на нас смотрит, однако же находчивая и сообразительная Зораида не отняла руки, – напротив того, она еще теснее прижалась ко мне, склонила голову ко мне на грудь и чуть согнула колени, ясно и определенно давая этим понять, что ей нехорошо, а я всем своим видом показываю, что, мол, вынужден ее поддерживать. Отец подбежал к нам и, видя, в каком состоянии дочь, спросил, что с нею, и, не получив ответа, сказал:

---

<sup>1</sup> *Джума* – день отдыха у арабов.

«Вне всякого сомнения, она испугалась набега этих собак, и ей стало дурно».

Тут он отторг ее от моей груди и прижал к своей, а она вздохнула и, приоткрыв еще влажные от слез глаза, молвила:

«*Амши*, христианин, амши!» («Уходи, христианин, уходи!»)

Отец же ей на это сказал:

«Христианину незачем уходить, дочка, он тебе ничего дурного не сделал, а турки ушли. Не бойся, – право же, тебе нечего бояться: ведь я тебе сказал, что турок я попросил подобру-поздорову убратся».

«Именно они ее и испугали, как вы сами изволили заметить, сеньор, – сказал я, – но коли она велит мне уйти, то я не стану ей докучать. Счастливо вам оставаться. Когда понадобится, я, если позволите, опять приду к вам в сад за травами для салата, – хозяин мой говорит, что таких хороших трав ни в одном саду нет».

«Можешь приходить, когда тебе вздумается, – сказал Хаджи Мурат, – моя дочь сказала так не потому, чтобы ей было неприятно видеть тебя или же еще кого-нибудь из христиан, – это она туркам хотела сказать: уходите, а сказала тебе, а быть может, она подразумевала, что тебе пора идти за травами».

Тут я с ними обоими простился. Зораида, у которой, должно думать, душа разрывалась, пошла с отцом, а я под видом сбора трав не спеша, как мне только хотелось, обошел весь сад: высмотрел все входы и выходы, проверил, сколь крепки засовы и что может способствовать успеху нашего предприятия. Затем я дал подробный отчет обо всем отступнику и моим товарищам и уже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет беспрепятственно упиваться тем счастьем, которое в лице прекрасной и чудной Зораиды судьба мне послала. Время шло, и наконец настал долгожданный день и час, и, следуя плану и замыслу, который был нами одобрен лишь по зрелом размышлении и после долгого и многократного обсуждения, мы достигли желанной цели: на другой день после моего разговора с Зораидой в саду, а именно в пятницу, вероотступник, чуть только смерклось, бросил якорь почти против самого дома прекраснейшей Зораиды.

Христиане, коим предстояло грести, уже предуведомленные, попрятались в разных местах неподалеку от дома. Они ждали меня с радостным нетерпением, их подмывало напасть на фелюгу, до которой от них было рукой подать: ведь они ничего не знали о нашем уговоре с отступником, – они полагали, что им придется своими руками завоевать себе свободу и перебить всех находящихся в фелюге мавров. И вот, как скоро я с моими товарищами здесь появился, они, завидев нас, выбежали навстречу. Городские ворота в это время уже закрывались, и на берегу не было ни души. Тут все мы стали думать, что лучше: идти прямо к Зораиде или же захватить врасплох мавров-мореходов, сидевших на веслах. И мы все еще раздумывали, когда к нам подошел отступник и спросил, отчего мы медлим: пора, мол, мавры в фелюге ничего не подозревают, а многие уже спят. Мы поделились с ним своими сомнениями, он же на это сказал, что самое важное – захватить сначала фелюгу, тем более что сделать это чрезвычайно легко и что тут нет никакого риска, а потом, дескать, пойдем к Зораиде. Мы с ним согласились и, не задерживаясь более, под его предводительством двинулись к фелюге, – он первый прыгнул в нее и, выхватив саблю, крикнул по-мавритански:

«Ни с места, иначе вам всем конец!»

В это время почти все христиане были уже на борту. Слова арраиса<sup>1</sup> напугали малодушных мавров, и, так и не взявшись за оружие, которого, впрочем, почти ни у кого из них не было, они молча дали христианам себя связать, христиане же, пригрозив маврам, что, только посмей они пикнуть, их тут же всех перережут, связали их с поспешностью чрезвычайною. После этого половина христиан осталась сторожить мавров, прочие под предводительством того же самого отступника направились к дому Хаджи Мурата и уже хотели было ломать ворота, как вдруг по счастливой случайности они отворились сами, да так легко, точно не были заперты. И вот, в полной тишине и молчании, оставшись

---

<sup>1</sup> *Арраис* (араб.) – начальник над гребцами.

незамеченными, приблизились мы к самому дому.

Прелестнейшая Зораида ждала нас у окна и, заслышав шаги, спросила вполголоса, не *низарани*<sup>1</sup> ли мы, то есть не христиане ли. Я отвечал утвердительно и попросил спуститься к нам. Узнав меня, она уже не колебалась, – ни слова не говоря, мгновенно спустилась вниз, отперла дверь и предстала пред нами столь прекрасною и в таком богатом уборе, что я не берусь ее описать. Увидев ее, я сейчас же схватил ее руку и стал целовать, за мною отступник и два моих товарища, да и остальные последовали нашему примеру, – правда, они не были посвящены в нашу тайну, но им было понятно одно – что мы ее благодарим и почитаем нашею избавительницею. Отступник спросил ее по-мавритански, дома ли ее отец. Она ответила, что дома и что он спит.

«Что ж, придется разбудить его и увезти с собою, – объявил отступник, – а также все ценное, что есть в этом великолепном доме».

«Нет, – сказала она, – моего отца никак нельзя трогать, а все ценное, что есть в нашем доме, я беру с собою, и этого вполне довольно, чтобы обогатить и удовлетворить вас всех: погодите, увидите сами».

И тут она, сказав, что сейчас вернется и чтобы мы не двигались и не шумели, вошла в дом. Я спросил отступника, о чем он с ней говорил, и он ответил на мой вопрос, тогда я ему сказал, что ни в чем не должно нарушать волю Зораиды, а Зораида между тем уже возвращалась с ларцом, полным золотых, коих было так много, что она еле его несла. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время проснулся отец Зораиды и услышал доносившийся из сада шум. И, высунувшись в окно, он тотчас узнал, что это христиане, и громко и дико закричал по-арабски: «Христиане, христиане! Воры, воры!» Крики эти повергли нас в превеликое смятение и трепет, однако же отступник, представив себе, какая грозит нам опасность, и решив, что необходимо с этим покончить, прежде нежели в доме начнется переполох, с величайшею поспешностью бросился к Хаджи Мурату, а за ним кое-кто из нас, я же не решился оставить Зораиду, которая почти за смертью упала в мои объятия. Словом сказать, те, что поднялись по лестнице, выказали такое проворство, что мгновение спустя они уже вели Хаджи Мурата со связанными за спиной руками и с платком во рту, чтобы он не мог выговорить ни слова, и они еще грозили ему, что одно, мол, слово – и прощайся с жизнью. Зораида закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на отца, отец же ее, не подозревавший, что она по своей доброй воле предалась в наши руки, пришел в ужас. Однако мы могли надеяться теперь только на свои ноги, а потому быстрым и торопливым шагом двинулись к фелюге, где нас с нетерпением ждали, ибо уже начинали бояться, не случилось ли с нами недоброе.

Еще не было двух часов ночи, а мы все уже собрались в фелюге, и тут мы развязали отцу Зораиды руки и вынули у него изо рта платок, однако отступник еще раз повторил, что если он скажет хоть слово, то его убьют. Он же, как скоро увидел здесь свою дочь, начал тяжело вздыхать, особливо когда заметил, что я сжимаю ее в объятиях, а она не противится, не ропщет и не уклоняется, – что она спокойна. И все же он молчал, боясь, что мы приведем страшную угрозу отступника в исполнение. Между тем Зораида, видя, что она уже в фелюге и что мы собираемся отчаливать, а ее отец и прочие мавры связаны, попросила отступника передать мне, чтобы я сделал ей милость: отпустил мавров и освободил ее отца, ибо легче-де ей броситься в море, нежели видеть пред собою отца, который так горячо ее любит и которого из-за нее везут в плен. Отступник мне это передал, и я ответил согласием, но он возразил, что это не дело, ибо если их отпустить, то они кликнут клич и поднимут на ноги весь город, и тогда в погоню за фелюгой снарядят корветы, и нам и на суше и на море все пути к спасению будут отрезаны, – единственно, что можно было, по его мнению, сделать, это выпустить их, как скоро мы очутимся на христианской земле. На том мы и порешили, и Зораида, которой объяснили, почему мы не можем сей же час исполнить ее просьбу, объяснениями этими удовольствовалась. И вот могучие наши гребцы в безмолвном восторге и с радостною живостью взялись за весла, и, всецело поручив себя воле божией, мы легли на

---

<sup>1</sup> *Низарани* – то есть Назарей, христианин (по Назарету – городу, где родился Иисус Христос).

курс Майоркских островов, ибо то была ближайшая к нам христианская земля. Но тут подул северный ветер, море стало беспокойным, и держать курс прямо на Майорку оказалось невозможным – пришлось идти в виду берега, держа курс на Оран, что было весьма огорчительно, ибо нас могли заметить из Сарджела, гавани, расположенной на том же побережье, что и Алжир, в шестидесяти милях от него. А еще боялись мы повстречать в этих водах один из тех галиотов, которые обыкновенно возвращаются с грузом товаров из Тетуана. Впрочем, каждый из нас и все мы, вместе взятые, склонны были думать, что коли повстречается нам галиот с товаром, если только это не корсарский галиот, то мы не только не погибнем, но завладеем судном и уже с меньшим для себя риском сможем окончить наше путешествие. Зораида как опустила голову мне на руки, так, дабы не видеть отца, во все время плавания и не поднимала ее, и я слышал, как она молила о помощи Лелу Мариам.

Мы прошли добрых тридцать миль, когда наконец занялась заря, при свете которой мы обнаружили, что находимся на расстоянии трех аркебузных выстрелов от берега, берег же в этот час был пустынен, никто не мог нас заметить, но со всем тем мы дружными усилиями вывели судно в море, которое к тому времени утихло, а пройдя в открытом море около двух миль, мы предложили грести посменно, чтобы гребцы имели возможность перекусить, в провианте же у нас недостатка не было; гребцы, однако ж, объявили, что сейчас не время отдыхать, – пусть, мол, покормят их те, кто не гребет, они же ни за что не выпустят весел из рук. Так мы и сделали, и в это самое время подул пассатный ветер, вследствие чего мы принуждены были, оставив весла, поднять паруса и взять курс на Оран, ибо идти куда-либо еще не было никакой возможности. Все это было совершено с поспешностью чрезвычайною, и под парусами мы стали делать более восьми миль в час, не опасаясь уже ничего, кроме встречи с корсарскими судами. Маврам-гребцам мы дали поесть, а отступник утешил их, сказав, что они не пленники – что их отпустят при первом случае. То же самое было объявлено отцу Зораиды, и он на это сказал:

«Чему угодно я готов, христиане, поверить, и чего угодно мог ожидать от вашей доброты и от вашего великодушия, но чтобы вы меня освободили, – нет, я не так прост, как вы полагаете. Вы не стали бы с такой для себя опасностью лишать меня свободы для того, чтобы теперь столь великодушно мне ее возвратить, особливо зная, кто я таков и сколь великий выкуп можете вы за меня получить. Если же вы соизволите назначить сумму выкупа, то я не колеблясь отдам вам все, что вы ни потребуете за меня самого и за несчастную дочь мою, или же за нее одну, ибо она есть большая и лучшая часть моей души».

Тут он горько заплакал, так что все мы прониклись к нему жалостью, а Зораида невольно на него взглянула и, уверившись, что он плачет, до того растрогалась, что вскочила с моих колен и бросилась его обнимать, и тут они оба, прижавшись друг к другу лицом, столь жалобный подняли плач, что многие из присутствовавших начали им вторить. Однако ж, увидев на ней праздничный наряд и множество драгоценных камней, отец сказал ей на их языке:

«Что это значит, дочь моя? Вечер, перед тем как случиться ужасному этому несчастью, на тебе было простое домашнее платье, – между тем у тебя не было времени переодеться, и ты не получила никакой радостной вести, ради которой следовало бы наряжаться и прихорашиваться, и вдруг сегодня я вижу, что на тебе лучшее из платьев, какое я только знаю и какое я только мог тебе подарить, когда судьба была еще к нам благосклонна. Отвечай же, ибо это приводит меня в еще большее изумление и недоумение, нежели свалившееся на меня несчастье».

Все, что мавр говорил своей дочери, нам переводил отступник, а она не отвечала ни слова. Когда же мавр увидел у борта ларец, в котором Зораида хранила свои драгоценности, – а он был уверен, что Зораида оставила его в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, – то удивление его возросло, и он спросил, каким образом ларец попал к нам в руки и что в нем спрятано. Отступник же, не дожидаясь ответа Зораиды, ответил за нее:

«Не трудитесь, сеньор, задавать дочери вашей Зораиде столько вопросов, – я отвечу

сразу на все. Итак, да будет вам известно, что она христианка и что это она распилила наши цепи и вывела нас на свободу. Она едет с нами по своей доброй воле, и я уверен, что она счастлива и что у нее теперь такое чувство, точно из мрака вознесли ее к свету, из смерти к жизни, из мук к блаженству».

«Он правду говорит, дочь моя?» – спросил мавр.

«Да», – отвечала Зораида.

«Так, значит, ты христианка, – продолжал старик, – так, значит, ты предала отца в руки врагов?»

На это ему Зораида ответила так:

«Да, я христианка, это правда, но я тебя не предавала, – все помыслы мои были устремлены не к тому, чтобы тебя покинуть или же причинить тебе зло, но единственно к собственному моему благу».

«Какое же это благо, дочь моя?»

«Об этом ты спроси Лелу Мариам, – отвечала Зораида, – она лучше меня сумеет тебе объяснить».

Стоило мавру это услышать, и он с невероятною быстротою бросился вниз головой в море и, без сомнения, утонул бы, если б из-за длинного и неудобного своего одеяния некоторое время не продержался на поверхности. Зораида стала кричать, чтобы мы его спасли, и мы поспешили ему на помощь и, ухватив за альмалафу, втащили его, полумертвого, лишившегося чувств, в фелюгу. Зораида же, отягченная печалью, начала по нем, как по покойнике, горько и жалобно плакать. Мы положили его на живот, изо рта у него полилась вода, и спустя два часа он пришел в себя, а тем временем ветер переменял направление, и нас понесло к берегу, так что, дабы нашу фелюгу не выбросило на сушу, пришлось налечь на весла. Однако ж по счастливой случайности нас пригнало в бухту, которая находится за небольшим мысом, или же косою, и которую мавры называют *Кава Румия*<sup>1</sup>, что на нашем языке означает *блудница-христианка*, ибо у них существует предание, что здесь погребена *Кава*, из-за которой погибла Испания, *кава* же на их языке означает *блудница*, а *румия* – *христианка*, и когда нужда заставляет их в этой бухте становиться на якорь, то они почитают это за дурное предзнаменование и без крайней нужды на якорь здесь не становятся; для нас же это был не вертеп блудницы, но тихое и спасительное пристанище, ибо море все еще волновалось. Мы выслали на берег дозор, а между тем сами ни на секунду не выпускали весел из рук; отступник накормил нас из своих запасов, а затем мы стали горячо молиться богу и царице небесной и просить их о том, чтобы они были помощниками нашими и покровителями и чтобы столб счастливо начатое дело увенчалось благополучным концом. Зораида снова стала умолять нас высадить на берег ее отца и всех связанных мавров, ибо у нее не было сил смотреть на связанного отца и плененных соотечественников, при виде коих нежная ее душа содрогалась. Мы обещали отпустить их перед самым отплытием, ибо высадить их в этом безлюдном месте не представляло для нас опасности. Молитвы наши были отнюдь не напрасны, и небо услышало нас: на наше счастье ветер упал, отчего море снова утихло, как бы призывая нас безбоязненно продолжать путешествие. По сему обстоятельству мы развязали мавров и, к вящему их удивлению, одного за другим высадили на берег. Когда же мы стали высаживать отца Зораиды, который был теперь уже в твердой памяти, он сказал:

«Как вы думаете, христиане, почему эта тварь радуется моему освобождению? Думаете, из жалости ко мне? Разумеется, что нет, – просто-напросто мое присутствие мешает ей привести в исполнение низкий ее замысел. Не думайте также, что она пожелала оставить свою веру, убедившись в преимуществе вашей, – просто-напросто она узнала, что развратникам у вас вольнее живется, нежели у нас».

И, обратясь к Зораиде, меж тем как я и еще один христианин держали его за руки, дабы он снова не решился на какой-либо отчаянный шаг, воскликнул:

«О беспутная девка, о дитя неразумное! Почто отдалась ты во власть этих псов,

---

<sup>1</sup> *Кава Румия* – мыс Альбатель.

исконных врагов наших! Да будет проклят тот час, когда я тебя породил, и да будут прокляты веселья и приятности, в коих я взрастил тебя!»

Видя, что он не собирается скоро умолкнуть, я поспешил высадить его на берег, но он и там продолжал громко сетовать и проклинать и просил Магомета умолить аллаха истребить нас, уничтожить и умертвить. Когда же мы снова пошли под парусами, до нас перестали долетать его слова, но зато мы видели его поступки, каковые заключались в том, что он хватал себя за бороду, рвал на себе волосы и катался по земле, однако ж ему потом удалось возвысить голос, и мы услышали, что он говорил:

«Воротись, возлюбленная дочь моя, воротись ко мне, я тебе все прощу! Отдай этим людям деньги, – все равно теперь это уже их достояние, – и приди утешить скорбящего твоего отца, который расстанется с жизнью на этом пустынном берегу, если ты расстанешься с ним».

Зораида все это слышала, она страдала и плакала и наконец ответила ему так:

«Я стала христианкой по милости Лелы Мариам, – да будет же угодно аллаху, отец мой, чтобы она утешила тебя в твоём горе. Аллах видит, я не могла поступить иначе, христиане не склоняли на то моей воли: ведь если бы даже я порешила остаться дома и не ехать с ними, то это было бы свыше моих сил, – так жаждала моя душа сделать то, что мне столь добрым представляется делом, вам же, возлюбленный отец мой, столь злым».

Когда она это говорила, отец уже не слышал ее, а мы не видели его, и тут я стал утешать Зораиду, и все мы были теперь поглощены мыслью о путешествии нашем, которое облегчал попутный ветер, так что мы уже были уверены, что на рассвете следующего дня увидим берега Испании. Однако же счастье так просто почти никогда не приходит и безоблачным не бывает, вместе с ним или же следом за ним непременно приходит несчастье, которое спугивает и омрачает его, и вот – то ли так угодно было судьбе, то ли подействовали проклятья, которые посылал своей дочери мавр: ведь каковы бы ни были отцовские проклятья, их всегда должно страшиться, – словом, часа в три ночи, когда, развернув паруса и сложив весла, ибо благодаря попутному ветру необходимость в гребле отпала, шли мы в открытом море, то при ярком свете луны мы увидели, что нам наперерез, держа руль к ветру, идет корабль с развернутыми четырехугольными парусами<sup>1</sup>. И шел он на таком близком от нас расстоянии, что, боясь наскочить на него, мы принуждены были убрать паруса, а там, чтобы пропустить нас, изо всех сил налегли на руль. С палубы встречного судна нас окликнули и спросили, кто мы такие и откуда и куда идем, но как вопросы свои они задавали на языке французском, то отступник сказал:

«Не отвечайте ни слова. Без сомнения, это французские корсары, от них пощады не жди».

После такого предостережения мы рассудили за благо молчать. Мы прошли немного вперед, и встречный корабль остался у нас с подветренной стороны, как вдруг раз за разом грянули два орудийных выстрела, и, должно полагать, то были цепные ядра<sup>2</sup>, ибо первое ядро срезало половину нашей мачты, и мачта вместе с парусом упала в воду, а ядро, выпущенное следом за ним из другого орудия, попало в середину нашей фелюги и пробило ее насквозь, никакого другого ущерба, однако ж, не причинив. Мы же, видя, что идем ко дну, начали громко взывать о помощи и просить вражеское судно спасти нас, ибо мы, дескать, тонем. Тогда они убрали паруса и спустили на воду шлюпку, и туда вошли человек двенадцать отлично вооруженных французов с аркебузами и зажженными фитилями и приблизились к нам. Видя, что нас немного и что фелюга идет ко дну, они нас подобрали, объявив при этом, что все это произошло потому, что мы были так невежливы и ничего им не ответили. Отступник схватил ларец с драгоценностями Зораиды и незаметно бросил его в море. Коротко говоря, все мы попали к французам, и те, расспросив нас обо всем, что им хотелось знать, как злейшие наши враги ограбили нас дочиста – у Зораиды они отняли даже

---

<sup>1</sup> *Четырехугольные паруса, или прямые паруса* – квадратные или прямоугольные полотнища, растягиваемые на поперечных бревнах, которые подвешивались к мачтам за середину.

<sup>2</sup> *Цепные ядра* – два ядра, скрепленные небольшой цепью.

каркаджи, которые были у нее на ногах. Но меня не столь огорчало то огорчение, какое они этим доставили Зораиде, сколь горько мне было думать, что, отняв у нее богатейшие и редкостнейшие сокровища, они отнимут у нее сокровище иное, коему нет цены и коим она сама особенно дорожила. Однако ж все помыслы этих людей вращаются вокруг наживы, алчность их ненасытима, и доходила она тогда до того, что они и невольничьи наши одежды отняли бы у нас, если б только это было им на что-нибудь нужно. И они уже склонялись к тому, чтобы завязать нас всех в парус и бросить в море, ибо они намеревались торговать в испанских гаванях, выдавая себя за бретонцев, и если б они оставили нас в живых, то грабеж был бы раскрыт и они подверглись бы наказанию, однако ж капитан, тот самый, который ограбил любезную мою Зораиду, сказал, что с него этой добычи довольно и что ни в какие испанские гавани он заходить не намерен, а хочет пройти Гибралтарский пролив ночью, или уж как там придется, и направиться в Ла Рошель, откуда они и вышли на разбой. Того ради порешили они дать нам со своего корабля шлюпку и наделить нас всем необходимым для остававшегося нам недолгого пути, что они на другой день и сделали – уже в виду берегов Испании, при виде коих мы позабыли все горести наши и бедствия, как будто бы с нами ничего не случилось – так велика радость обретения утраченной свободы.

Было, наверное, около полудня, когда нас посадили в шлюпку и дали нам два бочонка с водой и немного сухарей. Когда же в лодку спускалась прелестнейшая Зораида, капитан, внезапным состраданием движимый, вручил ей сорок золотых и не позволил морякам снять с нее те самые одежды, в коих вы ее сейчас видите. Мы сели в шлюпку и, стараясь показать французам, что мы не только на них не в обиде, но, напротив того, признательны им, поблагодарили их за ту милость, какую они нам сделали. Они удалились, держа курс на Гибралтарский пролив, а нашею путеводною звездой была земля, видневшаяся впереди, и мы столь усердно начали грести, что на закате были уже совсем близко от берега и, по нашим расчетам, вполне могли высадиться до наступления ночи. Но луна все не показывалась, небо было темное, местность же эта была нам незнакома, а потому мы почли небезопасным сей же час высаживаться на берег, хотя многие держались противоположного мнения и утверждали, что нам должно пристать к берегу, пусть даже к скалистому и безлюдному, и таким образом рассеять вполне естественный страх наш перед судами тетуанских корсаров, которые ночуют в Берберии, а зарю обыкновенно встречают уже у берегов Испании и, захватив добычу, возвращаются к себе домой. В конце концов восторжествовали те, что советовали не спеша подойти к берегу и, если море будет спокойно, высадиться где придется. Так мы и сделали и незадолго до полуночи приблизились к подошве громадной и крутой горы, возвышавшейся не на самом берегу, так что между нею и морем оставалось небольшое пространство, на котором вполне удобно было высаживаться. Шлюпка врезалась в песок, мы сошли на берег, облобызали землю и со слезами несказанной радости и счастья возблагодарили господа бога нашего за неизреченную его милость. Вытащив шлюпку на берег и забрав припасы, мы стали взбираться на гору, но и поднявшись на большую высоту, мы всё не могли унять волнение и не смели верить, что под нами земля христиан.

Мы не чаяли, как дожидаться рассвета. Наконец поднялись на вершину горы и стали смотреть, не видно ли отсюда какого-нибудь селения или пастушьей хижины, однако ж, куда ни обращали мы взор, ни людей, ни селений, ни троп, ни дорог не было видно. Со всем тем порешили мы идти дальше, ибо, думалось нам, не может быть, чтобы вскоре нам кто-нибудь не повстречался и не сказал, где мы находимся. Меня же особенно мучило то, что Зораида шла через эти дебри пешком, – надобно сказать, что я попробовал посадить ее к себе на плечи, но ее больше утомляло мое утомление, нежели мог ей дать отдохновения ее отдых, и потому она не захотела более меня обременять, – всю дорогу она, держа меня за руку, безропотно шла сама и даже казалась веселою. И вот, когда мы прошли около четверти мили, до слуха нашего долетел звон колокольчика – это был явный знак того, что поблизости пасется стадо. И, внимательно оглядевшись, не видать ли кого-нибудь, заприметили мы юного пастуха: безмятежный и беззаботный, он, сидя под дубом, вырезывал ножом палочку.



Мы окликнули его, – он вскинул голову, мигом вскочил, и, как мы узнали потом, первые, кто представился его глазам, были отступник и Зораида в мавританских одеждах, и тут он, вообразив, что все берберийские мавры идут на него, стремглав пустился в лес, крича во всю мочь:

«Мавры, мавры на нашей земле! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!»

Крики эти смутили нас, и мы не знали, как быть. Приняв, однако ж, в рассуждение, что крики пастуха поднимут на ноги местных жителей и что конная береговая охрана<sup>1</sup> мгновенно примчится узнать, в чем дело, мы уговорились, что отступник снимет с себя турецкое платье и наденет невольничий *йелек*, то есть куртку, которую один из нас, сам оставшись в одной сорочке, тут же ему и уступил. Итак, положившись на волю божию, пошли мы в ту сторону, куда побежал пастух, и все время ждали нападения береговой охраны. И предчувствие не обмануло нас, ибо не прошло и двух часов, едва успели мы выбраться из дебрей на равнину, как показалось около полусотни всадников, с необычайною быстротою летевших прямо на нас, и, увидев их, мы остановились в ожидании. Но когда они подскакали и вместо мавров, за которыми они гнались, увидели перед собою нищих христиан, то смутились, и один из них спросил, не мы ли явились причиной того, что некий пастух взывал к оружию.

«Да», – отвечал я и только было хотел рассказать, что со мною случилось, откуда мы и кто мы такие, как один из христиан, наших спутников, узнал всадника, который нас допрашивал, и, перебив меня, воскликнул:

«Прославим господа, сеньоры, за это великое счастье! Если я не ошибаюсь, мы ступаем по земле Велес Малаги, и если годы плена не ослабили мою память, то вы, сеньор, – вы, что спрашиваете, кто мы такие, – Педро де Бустаманте, мой дядя».

Только пленный христианин успел это вымолвить, как всадник спрыгнул с коня и, обняв юношу, воскликнул:

«Милый мой, любезный мой племянник, я тебя узнаю! Ведь я уже оплакивал твою кончину, и я, и моя сестра, твоя мать, и все твои сродники, которые еще остались в живых, – видно, богу было угодно продлить им жизнь, дабы они на тебя порадовались. Мы знали, что ты в Алжире, и по одежде твоей и спутников твоих я догадываюсь, что вы чудом вырвались из плена».

«То правда, – подтвердил юноша, – и у нас еще будет время рассказать вам обо всем».

Другие всадники, уразумев, что мы пленные христиане, немедленно спешили и предложили нам своих коней, чтобы доставить нас в город Велес Малагу, находившийся в полутора милях отсюда. Некоторые из них, узнав, что мы оставили шлюпку, вознамерились переправить ее в город, другие посадили нас на своих коней, а Зораиду посадил к себе дядя нашего спутника. Один из всадников нарочно поехал вперед, чтобы известить жителей о нашем возвращении из плена, и весь город высыпал нам навстречу. Но не пленники, вырвавшиеся на свободу, и не пленные мавры привели в изумление горожан, ибо для жителей прибрежных селений это привычное зрелище, – их изумила красота Зораиды, которая именно в эту минуту и в это мгновение была особенно хороша, чему способствовали как дорожная усталость, так и радость при одной мысли, что она находится у христиан, в полнейшей притом безопасности, и оттого на щеках ее заиграл столь яркий румянец, что я осмеливаюсь утверждать, если только любовь моя в тот миг меня не ослепляла, что более прекрасного создания нет в целом свете, – по крайней мере, я такого не видел.

Мы пошли прямо в церковь возблагодарить бога за ниспосланную нам милость, и Зораида, войдя в храм, сказала, что здесь есть лики, напоминающие Лелу Мариам. Мы сказали Зораиде, что это и есть ее изображение, а отступник постарался ей объяснить, что они обозначают и почему она должна чтить их, как если бы каждое из них представляло собою подлинный лик той самой Лелы Мариам, которая с нею беседовала. Зораида, будучи девушкою понятливою и одаренною умом живым и ясным, мгновенно постигла все, что ей

---

<sup>1</sup> *Конная береговая охрана* – специально организованная для охраны побережья Испании от нападения корсаров легкая кавалерия. Наблюдатели на особых вышках следили за появлявшимися у берегов судами и сигнализировали об опасности, зажигая костры.

об этих изображениях было сказано. Затем нас всех разместили по разным домам, отступника же, Зораиду и меня наш бывший товарищ по несчастью повел в дом к своим родителям, людям довольно зажиточным, и те приняли нас не менее радушно, чем собственного сына.

Шесть дней пробыли мы в Велесе, а затем отступник, наведя необходимые справки, поехал в город Гранаду, чтобы там при посредстве священной инквизиции возвратиться в лоно святой церкви<sup>1</sup>, другие освобожденные христиане отправились кто куда, остались лишь мы с Зораидой, и на те деньги, которые француз из любезности ей вручил, я купил осла, и на нем она сюда и приехала, я же до сей поры был для нее отцом и слугою, но не супругом, и едем мы с нею узнать, жив ли мой отец и кто из моих братьев оказался удачливее меня, хотя, впрочем, я полагаю, что, послав мне такую спутницу жизни, как Зораида, небо не могло уготовать мне лучшего жребия. Стойкость, с какою Зораида переносит лишения, которые влечет за собою нужда, а также страстное ее желание стать христианкою восхищают меня и побуждают служить ей до последнего моего издыхания. И все же радость, какую я испытываю при мысли о том, что я принадлежу ей, а она мне, омрачена и отравлена, ибо я не знаю, найдется ли на моей родине уголок, где бы можно было нам с ней поселиться, – может статься, время и смерть явились причиной таких перемен в делах и в самой жизни моего отца и братьев, что никто меня там и не узнает.

Вот, сеньоры, и вся моя история, – судить же о том, насколько она занимательна и необычна, предоставляется вашему просвещенному мнению. Я, со своей стороны, скажу лишь, что мне хотелось быть еще более кратким, хотя, впрочем, я и так уж из боязни наскучить вам опустил кое-какие подробности.

## Глава XLII,

*повествующая о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других достойных внимания вещах*

Пленник, сказавши это, умолк, и тогда дон Фернандо обратился к нему с такими словами:

– Поистине, сеньор капитан, форма, в которую вы облекли рассказ о необычайных своих приключениях, не уступает новизне и необычности самого предмета. Все здесь странно, своеобразно, полно неожиданностей, которые изумляют и потрясают слушателей. И такое удовольствие доставили вы нам своим рассказом, что хотя бы даже нас застала заря, мы охотно послушали бы еще раз.

И тут дон Фернандо и все присутствовавшие с такою благожелательностью и горячностью стали предлагать ему свои услуги, что эта их сердечность тронула капитана. Дон Фернандо, в частности, объявил, что если тот пожелает отправиться с ним, то он устроит так, что крестным отцом Зораиды будет его брат, маркиз, а он, со своей стороны, наделит капитана всем необходимым для того, чтобы тот мог возвратиться на родину с честью и со средствами, особе его подобающими. Пленник в наипочтительнейших выражениях изъявил свою признательность, но от всех этих любезных предложений отказался.

Между тем настала ночь, и уже в полной темноте к постоялому двору подъехала карета в сопровождении нескольких верховых. Они попросились на постой, но хозяйка объявила, что на всем постоялом дворе свободного угла нет.

– Для кого, для кого, а для сеньора аудитора<sup>2</sup> уголок найдется, – возразил один из подъехавших всадников.

---

<sup>1</sup> ...при посредстве священной инквизиции возвратиться в лоно святой церкви... – Процедура, установленная инквизицией для возвращавшихся в «лоно церкви» вероотступников, побывавших у турок, была весьма упрощенной. Инквизиция, жестоко расправлявшаяся со всякого рода «еретиками», меньше опасалась турецких шпионов, чем проникновения нежелательных идей с Запада.

<sup>2</sup> Аудитор – крупный судебский чиновник.

При этих словах хозяйка смешалась.

– Сеньор! – сказала она. – Беда в том, что у нас нет ни одной кровати. Вот если у сеньора аудитора постель своя, а у него, уж верно, есть своя постель, тогда милости просим, мы с мужем уступим ему нашу комнату.

– Так-то лучше, – заметил слуга.

В это время из кареты вышел человек, по одежде коего можно было тотчас определить чин его и звание, ибо длинная его мантия со сборчатыми рукавами свидетельствовала о том, что слуга не солгал и что это, и точно, судья. Он вел за руку девушку лет шестнадцати в дорожном одеянии, столь привлекательную, хорошенькую и изящную, что все ею залюбовались, так что, не окажись на постоялом дворе Доротеи, Лусинды и Зораиды, можно было бы подумать, что такой красивой девушки скоро не сыщешь. Находившийся тут же Дон Кихот, увидев аудитора с девушкой, молвил:

– Ваша милость безбоязненно может в этом замке располагаться. Правда, здесь тесно и неудобно, но нет на свете такой тесноты и таких неудобств, которые не расступились бы перед военным искусством и перед ученостью, особливо когда предводительницею и начальницею их является красота, предводительствующая вашею, сеньор, ученостью в лице этой прелестной девушки, пред которой не только воротам замка надлежит отворяться и распахиваться, дабы впустить ее, но и скалы должны распадаться, и раздвигаться, и рушиться горы. Входите же, ваша милость, в этот рай, где вы найдете и звезды, и солнца, способные быть спутниками того неба, которое милость ваша привезла с собою: тут найдете вы и военное искусство во всем его блеске, и красоту во всем ее великолепии.

Аудитор, пораженный его речами, стал внимательно его разглядывать, и наружность Дон Кихота поразила аудитора не меньше, чем его речи; и, не найдясь, что на них ответить, он снова поразился, как скоро увидел перед собою Лусинду, Доротею и Зораиду, которые, услышав новость, что прибыли новые гости, и узнав от хозяйки, что девушка – красотка, пошли поглядеть на нее и поздороваться с нею, но как раз в это время дон Фернандо, Карденьо и священник с чрезвычайным дружелюбием и отменною учтивостью стали предлагать аудитору свои услуги. Наконец сеньор аудитор, в полном недоумении от всего виденного и слышанного, вошел, и тут прелестные обитательницы постоялого двора обратились к прелестной девушке с приветствием. Как бы то ни было, аудитору не могло не броситься в глаза, что все это люди знатные, однако облик и наружность Дон Кихота, а также его манера держаться сбивали аудитора с толку. Обменявшись любезностями и осмотрев помещение, присутствовавшие порешили так, как уже было решено прежде, а именно – что женщины переночуют в уже упоминавшейся комнате для постояльцев, а мужчины, как бы для охраны, останутся в сенях. Словом, аудитор позволил своей дочери, – надобно заметить, что молодая девушка была его дочь, – ночевать в одной комнате с другими женщинами, чем доставил ей большое удовольствие, и, объединив часть узкого ложа, предоставленного хозяином, с половиной постельных принадлежностей аудитора, женщины устроились на ночь, лучше чем могли предполагать.

У пленника при виде судьи сильно забило сердце, ибо смутное предчувствие говорило ему, что это его брат, и он спросил одного из сопровождавших аудитора слуг, кто он таков и откуда родом. Слуга ответил, что это лицензиат Хуан Перес де Вьедма и что родился он, кажется, в горах Леона. Это известие в дополнение к тому, что он видел своими глазами, окончательно убедило пленника, что это его брат, тот самый, который по совету отца пошел по ученой части; и, охваченный радостным волнением, отозвал он дону Фернандо, Карденьо и священника в сторону и, сообщив им эту новость, уверил, что аудитор его родной брат. Слуга рассказал ему также, что его господин получил назначение в Америку, в мексиканскую судебную палату; еще пленник узнал, что девушка эта – дочь судьи, а что жена его умерла от родов, оставив ему дочь и богатейшее приданое. Пленник спросил, как ему быть: назвать себя сей же час или лучше выведать исподволь, устыдится его брат, когда увидит, что он так беден, или же примет его с распростертыми объятиями.

– Поручите это испытание мне, – сказал священник, – тем более что я не допускаю

мысли, сеньор капитан, чтобы он вас неласково встретил: весь облик вашего брата дышит таким благородством и умом, что его никак нельзя заподозрить ни в спесивости, ни в черствости, ни в нежелании принимать в соображение превратности судьбы.

– Со всем тем, – заметил капитан, – мне бы хотелось не вдруг, а как-нибудь обиняками дать ему знать, кто я таков.

– Повторяю, – объявил священник, – я устрою так, что все мы останемся довольны.

Тем временем подали ужинать, и все сели за стол, кроме пленника, а также дам, ужинавших отдельно в своей комнате. За ужином священник сказал:

– С такой же фамилией, как у вашей милости, сеньор аудитор, был у меня один приятель в Константинополе, где я несколько лет пробыл в плену. Приятеля этого почитали за одного из самых отважных солдат и военачальников во всей испанской пехоте, но он был столь же доблестен и смел, сколь и несчастен.

– А как звали этого военачальника, государь мой? – спросил судья.

– Его звали Руй Перес де Вьедма, и родился он в горах Леона, – отвечал священник. – Он рассказал мне про своего отца и братьев такое, что если б мне это рассказывал не столь правдивый человек, как он, то я подумал бы, что это одна из тех сказок, которые зимой у очага любят рассказывать старухи. Он мне сказал, что его отец разделил имение между тремя своими сыновьями и дал им советы более мудрые, нежели советы Катона. И вот, изолите ли видеть, сын, пожелавший пойти на войну, так отличился, что вскоре за выказанную им доблесть и бесстрашие ему дали чин капитана-от-инфантерии, чем он был обязан единственно своим заслугам, и не сегодня завтра его должны были произвести в полковники. Но как раз, когда он мог надеяться на особую милость Фортуны, она изменила ему, и вместе с ее покровительством он лишился свободы в тот наисчастливейший день, когда столькие обрели ее, то есть в день битвы при Лепанто. Я утратил свободу в Голете, и вот, после стольких приключений, мы встретились с ним в Константинополе и подружился. Оттуда он попал в Алжир, и там, сколько мне известно, с ним произошел один из самых необыкновенных случаев, какие когда-либо происходили на свете.

Далее священник в самых кратких чертах изложил то, что произошло между Зораидой и братом судьи, судья же так внимательно слушал, как не слушал никого даже во время судебного разбирательства. Священник, дойдя до того, как французы ограбили ехавших в фелюге христиан, описал бедность и нищету, в какую впали его приятель и красавица-мавританка, а что с ними случилось потом, пробрались ли они в Испанию или же французы увезли их с собой во Францию – этого он, дескать, не знает.

Стоявший поодаль капитан слушал, что говорит священник, и следил за малейшим движением своего брата, а тот, видя, что рассказ священника подходит к концу, тяжело вздохнул и со слезами на глазах воскликнул:

– Ах, сеньор! Если б вы знали, какие вести сообщили вы мне и как они меня взволновали! Несмотря на все мое благоразумие и умение владеть собой, слезы все же выдали мое волнение и навернулись мне на глаза. Отважный капитан, о котором вы рассказываете, это мой старший брат; будучи человеком более мужественным и более возвышенного образа мыслей, нежели я и другой мой брат, избрал он почетное и достойное поприще, то есть один из тех путей, которые предначертал нам отец, о чем вы уже знаете со слов вашего товарища, чье жизнеописание показалось вам похожим на сказку. Я избрал ученую часть и на этом пути с божьей помощью, а также благодаря собственному моему прилежанию достигнул известных вам степеней. Другой мой брат так разбогател в Перу, что теми деньгами, которые он посылал отцу и мне, он не только с лихвою возместил полученную им в свое время долю имения, но еще и предоставил возможность моему отцу выказывать присущую ему щедрость, а мне с честью и успешно окончить занятия и вступить в теперешнюю мою должность. Отец мой на краю могилы, жаждет вестей о старшем своем сыне и неустанно молит бога, чтобы смерть не сомкнула ему очей до тех пор, пока он еще при жизни не взглянет в очи своего сына, в котором меня лично удивляет одно: почему он, обыкновенно столь догадливый, не удосужился подать о себе весточку и уведомить отца как

о своих мытарствах и огорчениях, так и о своих успехах; ведь если бы отец или же братья что-нибудь о нем знали, то, чтобы добиться выкупа, ему не пришлось бы дожидаться чуда с тростинкой. А теперь я со страхом думаю, отпустили его французы или же, чтобы скрыть грабеж, умертвили. Одной этой мысли довольно, чтобы я продолжал свой путь не с радостью, как я начал его, но с превеликою грустью и печалью. О добрый мой брат! Если б кто-нибудь мне сказал, где ты теперь, я отыскал бы тебя и избавил от мук, хотя бы ценою собственных! О, если бы кто-нибудь принес старику-отцу весть о том, что ты жив, но томишься в самой глубокой из берберийских подземных темниц, – оттуда извлекло бы тебя наше богатство, богатство отца, брата и мое! О прекрасная и отзывчивая Зораида! Если б можно было вознаградить тебя за добро, которое ты сделала моему брату! О, если б нам довелось присутствовать при возрождении твоей души и на твоей свадьбе, которой мы были бы несказанно рады!

Так говорил аудитор, до глубины души взволнованный вестями о брате, и все слушали его с сильным движением чувства, вызванным его скорбью. Между тем священник, удостоверившись, что цель его достигнута и желание капитана исполнено, и решив, что пора положить конец общему унынию, встал из-за стола и, войдя в помещение, где находилась Зораида, взял ее за руку, а за нею последовали Лусинда, Доротея и дочь аудитора. Капитан ждал, что будет делать священник, а тот и его взял за руку и вместе с ними обоими приблизился к аудитору и прочим кавальеро.

– Сеньор аудитор! Вытрите слезы, – молвил он. – И да будет венцом желания вашего наивысшее благо, какого вы только могли бы желать, ибо перед вами добрый ваш брат и добрая ваша невестка. Вот это – капитан Въедма, а это – прекрасная мавританка, которая сделала ему так много хорошего. Французы, о которых я упоминал, ввергли их в нищету, дабы вы могли выказать щедрость доброго вашего сердца.

Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, чтобы лучше его рассмотреть, положил ему руки на плечи; когда же он окончательно уверился в том, кто перед ним, то сдавил его в своих объятиях и заплакал жаркими слезами радости, так что, глядя на него, многие из присутствовавших прослезилась. Речи обоих братьев, а равно и сердечное их волнение вряд ли, думается мне, можно себе представить, а не только что передать. И вот они уже вкратце рассказывали друг другу о себе; и вот уже оба брата уверились в неизменности дружеских своих чувств; и вот уже аудитор обнял Зораиду; и вот уже попросил он ее распорядиться его именем как своим собственным; и вот уже велел он своей дочке обнять Зораиду; и вот уже, глядя на прекрасную христианку и прекраснейшую мавританку, все прослезилась снова. И вот уже Дон Кихот, молча и с неослабным вниманием следивший за всеми этими необыкновенными событиями, истолковал их во вкусе небылиц о странствующем рыцарстве. И вот уже порешили, что капитан, Зораида и его брат поедут вместе в Севилью и известят отца, что сын его бежал из плена и нашелся, дабы тот, если только он может, выехал в Севилью, где ему надлежит присутствовать при крещении Зораиды и на свадьбе вместо аудитора, которому нельзя мешкать в пути, ибо он получил известие, что через месяц из Севильи в Новую Испанию отправляется флотилия, и упустить этот случай было бы ему весьма неудобно. Словом, все были счастливы и довольны, что у пленника все благополучно окончилось, а как почти две трети ночи уже прошло, то решено было долее не задерживаться и лечь спать. Дон Кихот вызвался охранять замок, дабы предотвратить нападение какого-нибудь великана или же какого-нибудь недоброго человека, который позарится на бесценные сокровища красоты, в этом замке хранящиеся. Все, кто знал Дон Кихота, поблагодарили его и рассказали о его странностях аудитору, чем немало его потешили. Один лишь Санчо Панса был в отчаянии, что почтенное собрание никак не угомонится, и лишь он один, прикорнув на упряжи своего осла, расположился со всеми удобствами, что ему отнюдь не дешево обойдется, но об этом речь еще впереди. Итак, дамы ушли к себе, мужчины постарались устроиться с возможно меньшими неудобствами, а Дон Кихот отправился за ворота, дабы, согласно данному обещанию, объезжать замок дозором.

Случилось, однако ж, так, что перед зарей до слуха дам долетел столь приятный и

сладкий голос, что все невольно заслушались, особенно Доротея, которая лежала рядом с доньей Кларой де Вьедма (так звали дочь аудитора) и не спала. Никто не мог догадаться, кто это так хорошо поет, и притом без сопровождения какого-либо инструмента. Порою казалось, что поют во дворе, порой – что в конюшне, и они, все еще находясь в полном недоумении, внимательно слушали, когда к дверям приблизился Карденьо и сказал:

– Если вы не спите, то послушайте: это поет погонщик мулов, и голос у него поистине дивный.

– Мы слушаем, сеньор, – отозвалась Доротея. Карденьо в ту же минуту удалился, а Доротея, вся – внимание, уловила слова вот этой самой песни:

### Глава XLIII,

*в коей рассказывается занятная история погонщика мулов и описываются другие необычайные происшествия, на постоялом дворе случившиеся*

В грозный океан любви,  
Беспредельный и бездонный,  
Как моряк, я уплываю,  
Хоть и не достигну порта.

Я ведом звездой столь яркой,  
Всюду столь приметной взору,  
Что таких не видел даже  
Палинур<sup>1</sup>, Энеев кормчий;

Но куда ведом – не знаю  
И скитаюсь в бурном море,  
День и ночь следя за нею  
Восхищенно и тревожно.

То чрезмерная стыдливость,  
То надменная холодность  
От меня ее скрывают,  
Словно толща туч грозových.

О светило, в чьем сиянье  
Просветляюсь я душою!  
Коль погаснешь для меня ты,  
Жизнь во мне погаснет тоже.

В этот миг Доротея подумала, что Кларе тоже не мешает послушать столь приятный голос, и для того начала тормозить ее и, разбудив, сказала:

– Прости, крошка, что я тебя бужу, но мне хочется, чтобы ты насладились звуками голоса, прекраснее которого ты, может статься, никогда больше не услышишь.

Клара пробудилась и спросонок не вдруг догадалась, чего от нее хотят; она переспросила Доротею и, только когда Доротея еще раз все повторила, стала прислушиваться; однако ж не успела она уловить следующие два стиха, как на нее напала странная дрожь, точно это был сильный приступ лихорадки, и, прижавшись всем телом к Доротее, она воскликнула:

---

<sup>1</sup> Палинур (миф.) – главный кормчий на судах, на которых Эней со своей дружиной отправился из Трои в Италию.

– Ах, дорогая, милая моя сеньора! Зачем вы меня разбудили? Самое лучшее, что могла бы для меня сейчас сделать судьба, – это закрыть мне глаза и уши, чтобы я не видела и не слышала несчастного этого певца.

– Что ты, моя крошка? Ведь говорят, что это погонщик мулов.

– Это владелец нескольких поместий, – возразила Клара, – а кроме того, он так прочно завладел моим сердцем, что теперь оно вечно будет принадлежать ему, если только он сам не захочет его покинуть.

Подивилась Доротея красноречию девушки, разумной, по ее мнению, не по летам, и сказала:

– Вы говорите так, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выражайтесь яснее и скажите, как надобно понимать ваши слова о сердце, о поместьях и об этом певце, чей голос столь сильно тревожит вас. Впрочем, не говорите мне сейчас ничего, а то мне придется вас успокаивать, я же не хочу лишать себя удовольствия послушать пение, тем более что это, по-моему, новая песня и новый напев.

– Ну что ж, пусть себе поет, – сказала Клара.

И, чтобы не слушать, она заткнула себе уши, снова приведя в изумление Доротею, а Доротея напрягла внимание и уловила такие слова:

Моя надежда! К цели  
Прокладывай себе тернистый путь,  
Которым шла доселе,  
И малодушно не мечтай свернуть  
С дороги этой длинной,  
Где каждый новый шаг грозит кончиной.

Тем, кто ленив и вял,  
Кто в этой жизни грудью встретить, беды  
Ни разу не дерзал,  
Не суждены триумфы и победы:  
Нет счастья для того,  
Кто не умеет с бою взять его.

Любовь, что и понятно,  
В ущерб себе не раздает наград  
Бессчетно и бесплатно.  
Она свои дары хранит, как клад.  
От века так ведется:  
В цене лишь то, что трудно достается.

Упорство – вот залог  
Того, что невозможное возможно,  
И хоть я изнемог,  
Взаимности взыскав безнадежно,  
А все ж упрямо жду,  
Что на земле небесный рай найду.

На этом песня кончилась, а Клара начала рыдать и тем возбудила любопытство Доротеи, коей любопытно было знать, что означают столь сладостное пение и столь жалобный плач; и того ради она еще раз спросила, что хочет сказать ей Клара. Тогда Клара, боясь, как бы не услышала Лусинда, прижалась к Доротее и, нагнувшись к самому ее уху, так что теперь она могла быть совершенно уверена в сохранении своей тайны, молвила:

– Тот, кто сейчас пел, госпожа моя, это родной сын одного арагонского кавальеро,

владельца двух поместий, обитающего в столице как раз напротив моего отца. И, хотя в доме моего отца зимой на окнах занавески, а летом решетчатые ставни, этот кавальеро, который учился в столице, каким-то образом увидел меня: то ли в церкви, то ли где-нибудь еще. Словом, он в меня влюбился и из окон своего дома стал мне изъясняться в любви с помощью знаков и обильных слез, так что в конце концов я не могла ему не поверить и полюбила сама, хотя еще не знала, за что. Один из тех знаков, которые он мне делал, состоял в том, что он складывал обе руки вместе, давая этим понять, что он на мне женится. Я бы очень этого хотела, но я одинока, матери у меня нет, посоветоваться не с кем, и оттого единственная радость, какую я могла ему доставить, заключалась в том, что, когда родителей наших не было дома, я приподнимала, чтобы ему лучше было меня видно, занавеску или же приотворяла ставню, а он с ума сходил от восторга. Между тем нам с отцом пришлось время уезжать, о чем кавальеро узнал, но не от меня, ибо я никак не могла его уведомить. Он заболел, – по всей вероятности, от горя, – и в день нашего отъезда я не могла даже бросить на него прощальный взгляд, но прошло два дня, и вот еду я по селу, до которого отсюда не более дня пути, и вижу, что у ворот постоялого двора стоит он, до того искусно переодетый погонщиком мулов, что когда бы образ его не был запечатлен в моей душе, я ни за что бы его не узнала. Я узнала его, подивилась и обрадовалась. Он взглянул на меня украдкой, так, чтобы не видел отец, и теперь он прячется от него всякий раз, когда мы встречаемся в пути или же на постоянных дворах. И вот, потому что мне известно, кто он таков, и понятно, что это он из любви ко мне идет пешком и терпит всяческие неудобства, я и болею за него душой, и взор мой сопутствует ему всюду. Не знаю, каковы его намерения и как удалось ему бежать от отца, который любит его превыше меры, ибо это его единственный сын, и к тому же достойный такой любви, в чем вы удостоверитесь, как скоро его увидите. И еще я должна сказать: все эти песни он сам сочинил, – мне говорили, что он оказывает большие успехи в учении и в стихотворстве. Да, еще: когда я вижу его или слышу, как он поет, я вся дрожу от страха и волнения, – боюсь, как бы не узнал его мой отец и не догадался о нашей сердечной склонности. За все время я с ним словом не перемолвилась, и, однако ж, я люблю его так, что не могу без него жить. Вот и все, что я могу вам сказать, госпожа моя, об этом певце, чей голос так пленил вас, что уж по одному этому вы могли бы догадаться, что это не погонщик мулов, как вы говорите, но, как я уже сказала, владелец поместий и сердец.

– Больше вы мне ничего не говорите, сеньора донья Клара, – сказала ей на это Доротея, осыпая ее поцелуями, – говорю вам, ничего мне больше не говорите и подождите до утра: бог даст, дело ваше увенчает счастливый конец, коего столь невинное начало заслуживает.

– Ах, сеньора! – воскликнула донья Клара. – Чего мне ждать, когда отец его столь знатен и богат, что, по его мнению, я, конечно, недостойна быть служанкою его сына, а не то что женою? А между тем украдкой от моего отца я ни за что на свете не выйду за него замуж. Я хочу одного: чтобы юноша оставил меня и возвратился домой, – может статься, разлука и огромное расстояние, которое нас разделит, уврачуют душевную мою рану. Впрочем, я знаю наверное, что придуманное мною средство большой пользы мне не принесет. Не могу понять, что это за дьявольское наваждение и как в мое сердце закралась любовь, – ведь я еще так молода, и он еще так молод, право, я думаю, мы с ним ровесники, а мне еще нет шестнадцати: отец говорит, что мне исполнится шестнадцать лет на Михаила-архангела.

Детские рассуждения доньи Клары насмешили Доротею, и она ей сказала:

– Давайте подремлем, сеньора, ведь скоро уже и утро, а утром, бог даст, наша возьмет, это уж вы мне поверьте!

Тут они уснули, и на всем постоялом дворе воцарилась мертвая тишина; не спали только хозяйская дочь и служанка Мариторнес: наслышанные о повадке Дон Кихота, а также о том, что он сейчас, вооруженный и верхом на коне, сторожит постоялый двор, они вознамерились над ним подшутить или, во всяком случае, позабавиться немного его болтовней.

Надобно знать, что ни одно окно постоялого двора не выходило в поле, за исключением



отверстия в сарае, – отверстия, в которое снаружи кидали солому. Полторы девицы подошли к нему и обнаружили, что Дон Кихот, восседая на коне и опершись на копьё, по временам так глубоко и тяжело вздыхает, точно при каждом вздохе душа его расстается с телом. И еще слышали они тихий его, нежный и страстный голос:

– О госпожа моя Дульсинея Тобосская, венец красоты, верх и предел мудрости, родник остроумия, обиталище добродетели и, наконец, воплощение всего благодетельного, непорочного и усладительного, что только есть на земле! О чем твоя милость в сей миг помышляет? Может статься, ты думаешь о преданном тебе рыцаре, который добровольно, единственно ради тебя, стольким опасностям себя подвергает? Поведай мне о ней хоть ты, о трехликое светило<sup>1</sup>! Может статься, ты на ее лик завистливым оком сейчас зришь, в то время как она изволит гулять по галерее роскошного своего дворца или же, грудью опершись на балюстраду, размышляет о том, как бы, блюдя свою честь и достоинства своего не роняя, утишить муку, которую бедное мое сердце из-за нее терпит, каким блаженством воздать мне за мои страдания, каким покоем – за мою заботу, какую жизнью – за мою смерть, как наградить меня за мою службу. И ты, златокудрий, уже спешащий запрячь коней<sup>2</sup>, дабы завтра помчаться навстречу моей госпоже, – как скоро ее ты увидишь, молю: передай ей привет от меня, но, созерцая ее и приветствуя, остерегись в то же время к лику ее прикоснуться устами, не то я приревную ее к тебе сильнее, нежели ты ревновал легконогую гордячку<sup>3</sup>, за которой ты до изнеможения гонялся то ли по равнинам Фессалии, то ли по берегам Пеней, – точно не помню, где именно ты, ревнивый и влюбленный, носился тогда.

Дон Кихот намерен был продолжать трогательную свою речь, но в это время его окликнула хозяйская дочь и сказала:

– Государь мой! Соболаговолите подъехать сюда.

На ее знаки и зов Дон Кихот повернул голову и при луне, особенно ярко в это время сиявшей, увидел, что кто-то подзывает его из сарая; при этом ему померещилось, что это окно, да еще с золоченою решеткою, именно такую, какая роскошному приличествует замку, за который он принимал постоянный двор; и тут расстроенному его воображению мгновенно представилось, что и сейчас, как и в прошлый раз, прелестная дева, дочь владелицы замка, не в силах долее сдерживать свою страсть, снова добивается от него взаимности; и в сих мыслях, дабы не признали его за человека неучтливового и неблагодарного, он тронул поводья, подъехал к отверстию и, увидев двух девушек, молвил:

– Я весьма сожалею, прелестная сеньора, что любовные ваши мечтания устремлены на предмет, который не в состоянии ответить вам так, как великие ваши достоинства и любезность заслуживают, в чем вам не должно винить сего злосчастного странствующего рыцаря, коему Амур воспрещает находиться в подчинении у кого бы то ни было, кроме той, которая в то самое мгновение, когда его взор упал на нее, стала самодержицею его души. Простите меня, досточтимая сеньора, удалитесь в свои покои и чувств своих мне не открывайте, ибо я не хочу лишний раз выказывать неблагодарность. Если же при всей вашей любви ко мне вы пожелаете, чтобы я услужил вам чем-либо, к любви отношения не имеющим, то попросите меня об этом, – клянусь именем отсутствующей кроткой моей врагини, я в ту же секунду достану любую вещь, хотя бы вам понадобилась прядь волос Медузы<sup>4</sup>, – а ведь это были не волосы, а змеи, – или даже солнечные лучи, в стеклянный сосуд уловленные.

– Моя госпожа ни в чем таком не нуждается, сеньор рыцарь, – сказала ему на это

---

1 *Трехликое светило* – то есть луна, появляющаяся в трех своих фазах. Гораций и Овидий называли ее «трехликим божеством», сочетающим в себе Луну на небе, Диану на земле и Гекату в преисподней.

2 *...златокудрий, уже спешащий запрячь коней... (миф.)* – Феб (солнце), запрягающий свою колесницу, на которой в течение дня он объезжает небосвод.

3 *Легконогая гордячка (миф.)* – нимфа Дафна, дочь речного бога Пеней, за которой тщетно гнался увлеченный ею Аполлон (Феб) и которая была превращена сжалившимся над нею отцом в лавр. Река Пеней находится в Фессалии.

4 *Медуза (миф.)* – одна из трех горгон (чудовищ в образе женщины), взгляд ее превращает человека в камень, вместо волос на голове у нее змеи.

Мариторнес.

– А в чем же госпожа ваша нуждается, мудрая дуэнья? – спросил Дон Кихот.

– Только в вашей прекрасной руке, – отвечала Мариторнес, – чтобы рука ваша укротила страсть, которая привела ее к этому окошку и из-за которой она рискует погубить свою честь: ведь если батюшка увидит ее, то все кости ей переломает.

– Ну, это еще положим! – воскликнул Дон Кихот. – Пусть будет осторожнее, если не хочет, чтобы его столь печальный постигнул конец, какой еще ни одного отца на свете не постигал, за то, что он дерзнул поднять руку на нежную дочь свою, пылающую любовью.

Мариторнес, уверившись, что Дон Кихот не преминет протянуть руку, и сообразив, как надобно действовать, мигом слетала в конюшню и, прихватив недоуздок Санчо-Пансова осла, вновь очутилась возле отверстия в ту самую минуту, когда Дон Кихот стал на седло, чтобы достать до зарешеченного окна, за которым, по его представлению, должна была находиться раненная любовью дева, и, протянув ей руку, молвил:

– Вот вам, сеньора, моя рука, или, лучше сказать, этот бич всех злодеев на свете. Вот вам моя рука, говорю я, к коей не прикасалась еще ни одна женщина, даже рука той, которая безраздельно владеет всем моим существом. Я вам ее протягиваю не для того, чтобы вы целовали ее, но для того, чтобы вы рассмотрели сплетение ее сухожилий, сцепление мускулов, протяжение и ширину ее жил, на основании чего вы можете судить о том, какая же сильная должна быть эта рука, если у нее такая кисть.

– Сейчас посмотрим, – сказала Мариторнес и, сделав на недоуздке петлю, накинула ее Дон Кихоту на запястье и затянула, а затем подбежала к воротам сарая и другой конец недоуздки крепко-накрепко привязала к засову. Ощувив жесткое прикосновение ремня, Дон Кихот сказал:

– У меня такое чувство, как будто ваша милость не гладит мою руку, а трет ее теркой. Не обходитесь с нею столь жестоко: ведь она неповинна в той жестокости, какую по отношению к вам выказало мое сердце; бессердечно вымещать весь свой гнев на столь малой части тела. Помните, что кто любит всем сердцем, тот столь жестоко не отомщает.

Но никто уже Дон Кихота не слушал, ибо только успела Мариторнес привязать его, и обе они, помирая со смеху, дали стрекача, Дон Кихот же был совершенно лишен возможности высвободиться.

Как известно, он стоял на Росинанте, просунув в отверстие руку, коей запястье было привязано к засову, и, с превеликим страхом и беспокойством думая о том, что ежели Росинант дернет, то он повиснет на руке, не смел пошевелиться, хотя от такого смиренного и долготерпеливого существа, как Росинант, вполне можно было ожидать, что оно целый век простоит неподвижно. Наконец, удостоверившись, что он привязан и что дамы ушли, Дон Кихот вообразил, что тут дело нечисто, – ведь и прошлый раз в этом же замке очарованный мавр в образе погонщика отколотил его; и мысленно он уже проклинал себя за недогадливость и неосмотрительность: чуть живым выбравшись из этого замка в первый раз, он рискнул посетить его вторично, хотя опыт показывал, что если какое-либо приключение кончается для странствующего рыцаря неудачей, то из этого следует, что оно предуготовано не для него, а для кого-нибудь еще, и ему нет никакого смысла искать его снова. Со всем тем он дергал руку, пытаясь высвободиться, но его так крепко привязали, что все усилия его были тщетны. Правда, дергал он руку с опаской, чтобы не сдвинулся с места Росинант; и как ни хотелось ему сесть в седло, однако он принужден был стоять на ногах или уж вырвать себе руку.

И пошли тут сожаления о том, что нет у него Амадисова меча, супротив коего всякое колдовство бессильно; и пошли тут проклятия судьбе; и пошли тут явные преувеличения того урона, какой потерпит мир, пока он будет заколдован, а что он точно заколдован, в этом он ни одной секунды не сомневался; и пошли тут опять воспоминания о дражайшей Дульсинее Тобосской; и пошли тут взывания к доброму оруженосцу Санчо Пансе, который в это время, прикорнув на седле своего осла, спал столь крепким сном, что забыл даже, как звали его родительницу; и пошли тут мольбы о помощи, обращенные к волшебникам

Лиргандею и Алкифу; и пошли тут заклинания, обращенные к искренней его приятельнице Урганде, с мольбою о заступлении, а когда наконец настало утро, то он, смятенный и охваченный безнадежным отчаянием, ревел, как бык, ибо уже не надеялся, что новый день положит конец его муке, которая, казалось ему, будет длиться вечно, оттого что он заколдован. И утверждался он в этой мысли, видя, что Росинант стоит как вкопанный; и мнилось ему, что вот так, не евши, не пивши, не спавши, он и его конь простоят до тех пор, пока не кончится дурное влияние небесных светил или же какой-нибудь более мудрый колдун его не расколдует.

Но он очень ошибся в расчетах, ибо только начало светать, как к постоялому двору подъехали четыре всадника, великолепно одетые и снаряженные, с мушкетами у седельных луков. Ворота постоялого двора были еще заперты, и они начали изо всех сил стучать; тогда Дон Кихот, который, несмотря ни на что, почитал за должное нести караул, громко и запальчиво крикнул:

– Рыцари или оруженосцы, кто бы вы ни были! Перестаньте стучать в ворота этого замка, ибо яснее ясного, что в столь раннюю пору обитатели его еще вкушают сон, да и врата всякой крепости отворяются не прежде, нежели солнце распространит по всему миру свои лучи. Итак, поворотите ваших коней и подождите, пока рассветет, а там мы посмотрим, стоит вам отворять или нет.

– Какой там еще замок или крепость, и какого черта вы заставляете нас разводить эти церемонии? – вскричал один из всадников. – Коли вы хозяин постоялого двора, так распорядитесь, чтобы нам отворили, – мы только покормим коней и поедем дальше: нам очень некогда.

– Неужели, рыцари, я похож на хозяина постоялого двора? – спросил Дон Кихот.

– Не знаю, на кого вы похожи, – отвечал другой всадник, – знаю только, что вы порете дичь, ибо постоялый двор именуется замком.

– Это замок, – подтвердил Дон Кихот, – да еще один из лучших во всей округе, у обитателей же его некогда был в руках скипетр, а на голове корона.

– Лучше бы наоборот, – заметил путешественник, – скипетр на голове, а на руках корона<sup>1</sup>. И сдается мне, что это, уж верно, лицедеи, потому короны и скипетры у них не переводятся, между тем постоялый двор этот слишком мал и отсюда не слышно ни малейшего шума, так что вряд ли здесь могли остановиться особы, достойные короны и скипетра.

– Плохо же вы знаете свет, – возразил Дон Кихот, – коли не имеете понятия о том, какие со странствующими рыцарями бывают случаи.

Спутникам всадника, который вступил в переговоры с Дон Кихотом, препирательства эти наскучили, и они неистово забарабанили в ворота, так что проснулись все, кто только на постоялом дворе находился, а хозяин пошел узнать, кто стучит. В это самое время одному из четырех коней, которые принадлежали новоприбывшим, вздумалось обнюхать Росинанта, а тот, печальный и унылый, опустив уши и не шевелясь, подпирал собою своего, висевшего между небом и землею, хозяина; но как он все же был живой конь, хотя и казался деревянным, то в долгу остаться не мог – и давай обнюхивать того, кто к нему ласкался; и вот, чуть только он шевельнулся, как ноги у Дон Кихота разъехались и соскользнули с седла, так что, не будь у него привязана рука, он грянулся бы оземь; при этом он почувствовал боль нестерпимую, точно ему резали кисть руки или же старались вывихнуть плечо, – он висел так низко, что пальцы его ног почти касались земли, но от этого ему было только хуже, ибо, чувствуя, что еще немного, и он всею ступнею упрется в землю, он из кожи вон лез, чтобы дотянуться до земли, точь-в-точь как преступники, для коих избирают орудие пытки с блоком и которые, будучи низко-низко подвешены, сами же увеличивают свои страдания: обманутые надеждою, что еще одно усилие – и можно будет достать до земли, они настойчиво пытаются вытянуться.

---

<sup>1</sup> ...скипетр на голове, а на руках корона. – Одним из наказаний, которым подвергались в то время преступники, было выжигание короны на их руках.

## Глава XLIV,

*в коей продолжается рассказ о неслыханных происшествиях на постоялом дворе*

Одним словом, Дон Кихот так кричал, что хозяин, поспешно отворив ворота, в ужасе выбежал узнать, кто это кричит, а за ним и новоприбывшие. Крики эти разбудили и Мариторнес, и, живо смекнув, что это может быть, она тайком забралась на сеновал и отвязала недоуздок, на котором висел наш рыцарь, и тот на глазах у хозяина и проезжающих грянулся оземь, проезжающие же приблизились к нему и спросили, что с ним такое и почему он так кричит. Дон Кихот молча сорвал с руки ремень, стал на ноги, взобрался на Росинанта, заградился щитом, взял копьцо наперевес, отъехал на довольно значительное расстояние, а затем с разгона перешел на полугалоп и на всем скаку возгласил:

– Всякого, кто скажет, что меня околдовали не напрасно, я с дозволения госпожи моей принцессы Микомиконы изобличу во лжи, призову к ответу и вызову на единоборство.

Новоприбывшие подивились речам Дон Кихота, но хозяин разрешил их недоумение, объяснив, кто таков Дон Кихот и что не стоит обращать на него внимание, ибо он поврежден в уме.

Тогда они спросили хозяина, не остановился ли у него часом юноша лет пятнадцати, одетый, как погонщик мулов, такой-то из себя, и описали наружность возлюбленного доньи Клары. Хозяин ответил, что на постоялом дворе народу тьма и он не припомнит, попадался ему тот, про кого они спрашивают, или нет. Но тут один из новоприбывших заметил карету аудитора и сказал:

– Конечно, он здесь, – вот и карета, за которой, как я слышал, он следует. Один из нас пусть станет у ворот, а другие в это время отправятся на поиски, а еще лучше, если кто-нибудь походит вокруг постоялого двора, чтобы он не махнул через забор.

– Так мы и сделаем, – сказал другой.

И тут двое отправились на постоялый двор, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг, хозяин же смотрел на них и не мог взять в толк, к чему все эти хлопоты, хотя он отлично понимал, что новоприбывшие разыскивают юношу, коего приметы они ему описали.

Между тем солнце уже взошло, и отчасти по этой причине, отчасти из-за шума, поднятого Дон Кихотом, все проснулись и встали, а раньше всех донья Клара и Доротей: одной не давала покоя мысль, что ее возлюбленный находится так близко, другой – желание видеть своего, словом, обеим было из-за чего не выспаться. Дон Кихот, видя, что ни один из четырех проезжающих не обращает на него ни малейшего внимания и вызова его не принимает, из себя выходил от досады и злости, и если бы правила рыцарского поведения позволяли странствующему рыцарю затевать и предпринимать новые предприятия, несмотря на то, что он дал честное слово ни за какое дело не браться, пока не исполнит обещанного, он не преминул бы на них напасть и волей-неволей заставил принять вызов, но, памятуя о том, что нельзя и не должно затевать новое предприятие, пока он не водворит Микомикону в ее королевстве, он успокоился и примолк в ожидании, к чему приведут хлопоты новоприбывших, один из которых между тем отыскал юношу, – тот спал рядом с настоящим погонщиком мулов, не подозревая, что кто-то его ищет, а тем более что он уже пойман. Новоприбывший схватил его за руку и сказал:

– Поистине, сеньор дон Луис, одежда ваша вполне соответствует вашему званию, а ваше ложе красноречиво свидетельствует о той роскоши, в коей ваша матушка вас воспитала.

Юноша протер слипавшиеся глаза и, пристально в него взглядевшись, узнал в нем наконец слугу своего отца, каковое обстоятельство так его ошеломило, что он долго не мог и не в силах был выговорить ни слова, а слуга между тем продолжал:

– Вам ничего иного не остается, сеньор дон Луис, как запастись терпением и

возвратиться домой, если только ваша милость не желает, чтобы ваш батюшка, а мой господин, отправился на тот свет, а ничего иного и ожидать нельзя – так огорчило его ваше отсутствие.

– Но как же отец узнал, что я поехал в эту сторону и в таком одеянии? – спросил дон Луис.

– Один школяр, коему вы замысел свой поведали, сжалился над вашим отцом, когда увидел, как он по вас убивается, и все ему рассказал, а тот снарядил четырех своих слуг за вами в погоню, и вот мы все четверо к вашим услугам, и радости нашей нет границ, потому что поездка наша вышла весьма удачной и вы явитесь наконец пред горячо любящие вас очи.

– Ну, это еще как я захочу и как распорядится небо, – возразил дон Луис.

– Да чего тут еще хотеть и чего тут распорядиться, когда надобно только согласиться ехать домой? Ничего другого и быть не может.

Погонщик мулов, находившийся рядом с доном Луисом, слышал весь этот разговор, – он вскочил с постели и побежал уведомить о случившемся дона Фернандо, Карденьо и всех прочих, которые уже успели одеться; и вот от него-то они и узнали, что человек тот величает юношу *доном*, и о чем они между собой говорили, и что человек тот хочет увезти юношу домой, а юноша не хочет. Рассказ погонщика, равно как и то, что им было прежде известно о юноше, а именно – что небо наделило его прекрасным голосом, вызвало у всех неодолимое желание узнать поподробнее, кто этот юноша, и даже прийти ему на помощь в случае, если над ним станут чинить насилие, и для того они направились туда, где у юноши со слугою все еще продолжались споры и раздоры. В это время из своей комнаты вышла Доротея, а за нею со встревоженным видом донья Клара, и тут Доротея, отозвав Карденьо в сторону, вкратце рассказала ему историю юного певца и доньи Клары, а Карденьо, в свою очередь, сообщил ей о прибытии слуг, посланных за юношею его отцом, причем говорил он не настолько тихо, чтобы его не могла слышать Клара, которая от всего этого пришла в такое волнение, что, не поддержки ее Доротея, она, уж верно, упала бы без чувств. Карденьо посоветовал Доротее увести ее в комнату, а он-де постарается все уладить, и Доротея так и сделала.

Между тем все четверо слуг собрались на постоялом дворе, обступили дон Луиса и принялись уговаривать его, не теряя ни минуты, поехать утешить отца. Дон Луис говорил, что ни в каком случае не поедет, пока не доведет до конца одно дело, в коем он полагал и жизнь свою, и честь, и душу. Слуги стояли на своем, – они-де ни за что без него не вернутся, и как-де ему будет угодно, а уж домой они его доставят.

– Вы доставите только мой труп, – возразил дон Луис. – Каким бы образом вы меня ни доставили, вы доставите меня бездыханного.

Тем временем на спор сбежалось большинство постояльцев, в том числе Карденьо, дон Фернандо, его спутники, аудитор, священник, цирюльник, а также Дон Кихот, который решил, что охранять замок больше незачем. Карденьо, уже знавший историю юноши, обратился к слугам с вопросом, что побуждает их насильно увозить этого молодого человека.

– Нас побуждает желание вернуть жизнь его отцу, коему грозит опасность ее лишиться по причине разлуки с этим кавальеро, – отвечал один из четырех.

Дон Луис же ему на это сказал:

– Здесь не место обсуждать личные мои дела. Я человек вольный: захочу – возвращусь, а нет – принудить меня никому из вас не удастся.

– Вашу милость принудит благоразумие, – возразил слуга, – а коли у вашей милости его неостанет, так его достанет у нас, чтобы довести до конца то, ради чего мы сюда явились и что велит нам долг.

– Следовало бы все разузнать досконально, – вмешался аудитор.

Тут слуга, узнавший в нем соседа своего господина, спросил:

– Неужто, ваша милость, сеньор аудитор, не узнает этого кавальеро? Ведь это же сын вашего соседа, – он бежал из родительского дома в неподобающей его званию одежде, в чем милость ваша может убедиться воочию.

При этих словах аудитор более внимательно посмотрел на юношу и узнал его; и, обняв его, молвил:

– Что это, сеньор дон Луис: чистое ребячество или же какие-либо важные причины вынудили вас путешествовать таким образом и в этой одежде, которая так роняет звание ваше?

На глазах у юноши выступили слезы, и он ничего не мог ответить аудитору, аудитор же сказал слугам, чтобы они успокоились и что все, мол, будет хорошо; и, взяв дону Луиса за руку, он отвел его в сторону и спросил, что все это значит. А в то время, как он подробно его расспрашивал, у ворот постоянного двора раздались громкие крики, и вот по какой причине: два ночевавших здесь постояльца, видя, что слуги дону Луиса сильно возбудили всеобщее любопытство, замыслили уехать, не заплатив; однако ж хозяин, коего больше занимали собственные дела, нежели чужие, поймал их у ворот, потребовал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, что те вместо ответа пустили в ход кулаки; и вот стали они его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось громко взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наименее занятым и наиболее подходящим на предмет оказания ему помощи признали Дон Кихота, а потому дочка обратилась к нему с такими словами:

– Помогите, сеньор рыцарь, коли вам такой дар послан от бога, бедному моему отцу, которого два злодея молотят, точно пшеницу!

Выслушав ее, Дон Кихот крайне медленно и весьма спокойно заговорил:

– Прелестная дева! В настоящее время ваша просьба долженствует остаться без последствий, ибо я поставлен в невозможность принимать участие в каком-либо другом приключении, пока не довершу того, к чему меня вынуждает данное мною слово. Вот, однако ж, какую службу я могу сослужить вам: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он как можно более стойко в этом бою держался и не сдавался ни в коем случае, а я тем временем испрошу дозволения у принцессы Микомиконы помочь ему в беде, и если она мне позволит, то можете быть уверены, что я его выручу.

– Вот грех тяжкий! – вскричала присутствовавшая при сем Мариторнес. – Пока ваша милость исхлопочет это самое дозволение, хозяин мой будет уже на том свете.

– Дайте мне исхлопотать дозволение, – возразил Дон Кихот, – а будет он тогда на том свете или нет – это несущественно, ибо я вызволю его оттуда, даже если бы весь тот свет этому воспротивился, или, по крайности, так отплачу тем, кто его туда отправит, что вы получите полное удовлетворение.

И, не долго думая, преклонил он колена перед Доротеей и на своем странствующе-рыцарском языке изложил ей просьбу о том, чтобы ее величие соизволило позволить ему поспешить на помощь владельцу этого замка, который в великую попал беду. Принцесса охотно дала свое согласие, и Дон Кихот, заградившись щитом и выхватив меч, бросился к воротам, где два постояльца все еще по-хозяйски разделялись с хозяином, но, приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защитил наконец хозяина их и супруга.

– Я медлю, – сказал Дон Кихот, – ибо я не вправе обнажать меч против служилых людей. Позовите сюда моего оруженосца Санчо, ибо подобного рода защита и отмщение – это его дело и его забота.

Разговор этот происходил у ворот постоянного двора, а в высшей степени меткие тумачи и зуботычины сыпались тут же своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяину и распалая гнев Мариторнес, хозяйки и ее дочери, коих приводило в отчаяние малодушие Дон Кихота, а также напасть, постигшая их хозяина, супруга и отца.

Но оставим до времени хозяина, ибо защитники у него, уж верно, найдутся, а не найдутся – пусть терпит да помалкивает, коли отважился на то, что ему не по силам, и отойдем на полсотни шагов назад, дабы послушать, что ответит дон Луис аудитору, с коим мы расстались, когда тот допытывался, почему юноша идет пешком и почему столь жалкое на нем одеяние, а юноша, сжимая его руки в своих, как бы в знак того, что сердце у него разрывается от горя, и обильные проливая слезы, начал так:

– Государь мой! Я могу сказать вам только одно: в ту минуту, когда небо пожелало, чтобы я увидел госпожу мою донью Клару, чему наше с вами соседство благоприятствовало, в тот миг ваша дочь, а моя госпожа, стала владычицею моего сердца, и если только ваше сердце, истинный повелитель и отец мой, этому не противится, то она сегодня же будет моею супругой. Ради нее я оставил отчий дом, и ради нее переоделся я в это платье, дабы следовать за нею куда бы то ни было, подобно стреле, пущенной в цель, подобно мореплавателю, которого ведет компас. Она знает о моем чувстве не более того, что могли ей сказать слезы на моих глазах, виденные ею несколько раз издали. Вам, сеньор, ведомы богатство и знатность моих родителей, коих я единственный наследник, и если вы полагаете, что этого довольно для того, чтобы вы решились удовлетворить меня вполне, то назовите меня своим сыном теперь же. Если же мой отец, руководствуясь своими особыми соображениями, не оценит сокровище, которое мне удалось сыскать, то ведь по части разрушений и перемен время сильнее человеческих желаний.

Сказавши это, влюбленный юноша умолк, аудитора же удивили красноречие и рассудительность, какие выказал дон Луис, говоря о своих чувствах, а еще он был смущен и озадачен тем, что не знал, как поступить, ибо все случилось внезапно и неожиданно; по сему обстоятельству он пока ничего не мог ему сказать и посоветовать, кроме как успокоиться и задержать слуг до завтра, чтобы было время подумать, как все устроить к общему благополучию. Дон Луис насильно поцеловал ему руки и оросил их слезами, отчего могло бы смягчиться каменное сердце, а не только сердце аудитора, который, будучи человеком разумным, отдавал себе отчет в том, какие блага сулит этот брак его дочери; ему только хотелось, чтобы поженились они, буде окажется возможным, с благословения отца дона Луиса, намеревавшегося, сколько ему было известно, приобрести для сына титул.

Тем временем постояльцы, на которых подействовали не столько угрозы, сколько слово убеждения и разумные доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили ему сполна, слуги же дона Луиса ждали, чем кончится разговор с аудитором и какое решение примет их господин, но в эту минуту по наущению вечно бодрствующего дьявола на постоялый двор зашел тот самый цирюльник, у коего Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса забрал упряжь в обмен на свою, каковой цирюльник, ставя своего осла в стойло, увидел, что Санчо Панса возится с вьючным седлом, и, тотчас узнав свое седло, набрался храбрости и кинулся на Санчо с криком:

– А, мошенник ты этакий, попался! Давай сюда мой таз для бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня стащил.

Подвергшись столь внезапному нападению и услышав, что его так честят, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой дал цирюльнику в зубы и разбил ему рот в кровь; но, несмотря на это, цирюльник не выпустил из рук добычи, каковою явилось для него седло, – напротив, он так возвысил голос, что шум и брань привлекли всех обитателей постоялого двора.

– Правосудие, сюда, именем короля! – кричал он. – Я свое имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник с большой дороги хочет меня убить.

– Врешь, – возразил Санчо, – я не разбойник с большой дороги, эта добыча досталась моему господину Дон Кихоту в честном бою.

Дон Кихот был уже тут как тут; с великим удовольствием глядя, как обороняется и нападает его оруженосец, он раз навсегда решил, что это человек стоящий, и дал себе слово при первом удобном случае посвятить его в рыцари, ибо ему казалось, что для рыцарского ордена Санчо будет ценным приобретением. Во время перебранки цирюльник, между прочим, объявил:

– Что седло мое, сеньоры, это так же верно, как то, что бог пошлет мне смерть, и знаю я свое седло так, словно сам его родил. Притом здесь же, в стойле, мой осел: он может это подтвердить, а не то так примерьте, и коли седло не придется ему в самый раз, то я подлец. Этого мало: в тот самый день, как у меня пропало седло, я обнаружил пропажу новенького медного таза, – я его еще не успел обновить, – а заплатил я за него, ни много, ни мало, один

эскудо.

Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и разняв их, положил седло на землю, так чтобы оно было у всех на виду до тех пор, пока не удастся установить истину, и сказал:

– Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец находится, не может не выступить перед вашими милостями с полной ясностью и очевидностью, ибо он именуется тазом для бритья то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина, каковой я захватил у него в честном бою и какового я стал законным и полноправным владельцем. Что же касается вьючного седла, то в это я не вмешиваюсь. Я знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадлежавшего побежденному этому трусу, и украсить ею своего. Я ему позволил, и он ее снял, а каким образом попона обратилась во вьючное седло, это объясняется весьма просто: перед нами одно из тех превращений, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и принеси сюда шлем, который этот добрый человек принимает за цирюльничий таз.

– Ей-ей, сеньор, – заметил Санчо, – если у нас нет других доказательств нашей невинности, кроме тех, которые ваша милость уже привела, то цирюльничий таз – такой же шлем этого, как бишь его, *Сукинсына*, как попона этого доброго человека – вьючное седло.

– Делай, что тебе говорят, – сказал Дон Кихот, – ведь не все же в этом замке заколдовано.

Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот увидел его, то взял в руки и сказал:

– Посудите, ваши милости, с каким лицом этот оруженосец осмеливается утверждать, что это таз для бритья, а не упомянутый мною шлем, я же клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что это тот самый шлем, который я у него отнял, и что я ничего не прибавил к нему и не убавил.

– Это не подлежит сомнению, – заметил Санчо, – с той поры, как мой господин его завоевал, он сражался в нем всего один раз, когда освобождал закованных в цепи горемык, и если б не этот *тазошлем*, то ему, уж верно, не поздоровилось бы, потому неприятель усердно метал в нас камни.

## Глава XLV,

*в коей окончательно разрешаются сомнения по поводу Мамбринова шлема и седла, а также со всею возможною правдивостью повествуется о других приключениях*

– Нет, как вам нравятся, сеньоры, эти молодцы? – вскричал цирюльник. – Они продолжают стоять на том, что это не таз для бритья, а шлем.

– А кто утверждает противное, – подхватил Дон Кихот, – то, коли он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, если ж оруженосец – то что он тысячу раз лжет.

Наш цирюльник, который при сем присутствовал и коему хорошо известен был нрав Дон Кихота, решил, дабы позабавить народ, устроить из этого потеху и поддакнуть ему и, обратясь к другому цирюльнику, заговорил:

– Сеньор, – если не ошибаюсь, – цирюльник! Было бы вам известно, что я ваш собрат по ремеслу, вот уже двадцать с лишним лет, как я получил диплом, и все принадлежности для бритья знаю как свои пять пальцев, в молодости же мне, с вашего дозволения, довелось быть солдатом, и я смекаю также, что такое шлем, что такое шишак, что такое забрало и прочие предметы, к военному делу относящиеся, иначе говоря, все виды оружия мне знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать, – а коли что не так, то вы меня поправите, – что предмет, который находится в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз для бритья и так же от него отличается, как белый цвет от черного, а правда от лжи. Полагаю, впрочем, нелишним заметить, что хотя это и шлем, однако ж не цельный.

– Разумеется, что нет, – сказал Дон Кихот, – ему недостает половины, а именно подбородника.



– Справедливо, – заметил священник, догадавшийся о намерении своего друга цирюльника.

Присоединились к цирюльнику и Карденьо и дон Фернандо со своими спутниками, даже аудитор, если б только он не погрузился в размышления, как быть с доном Луисом, и тот, уж верно, принял бы участие в шутке, но он так был занят серьезными делами, что на эти забавы не обращал почти никакого внимания.

– С нами крестная сила! – воскликнул одуроченный цирюльник. – Статочное ли это дело, чтобы столько почтенных людей уверяло, будто это не таз для бритья, а шлем? Да ведь тут целый университет при всей своей учености, пожалуй, ахнул бы от удивления. Что там толковать: коли этот таз – шлем, стало быть, и седло – попона, на чем настаивает этот сеньор.

– По-моему, это седло, – заметил Дон Кихот. – Впрочем, я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь.

– Седло или попона – это должен определить сеньор Дон Кихот, – объявил священник, – в знании рыцарского обихода и эти сеньоры и я – мы все ему уступаем.

– Клянусь богом, государи мои, – снова заговорил Дон Кихот, – что в этом замке, где я останавливался дважды, со мною случилось столько необыкновенных вещей, что я не решаюсь дать положительный ответ ни на один из вопросов, помянутого замка касающихся, ибо я догадываюсь, что все, что здесь творится, совершается через колдовство. В первый раз мне весьма досаждал живущий здесь заколдованный мавр, да и Санчо досталось от его присных, а нынче ночью я около двух часов провисел, подвешенный за руку, и так и не могу постигнуть, откуда на меня свалилось это несчастье. Вот почему высказывать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было бы с моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что это таз, а не шлем, я уже ответил, касательно же того, что это такое: седло или попона, я не решаюсь высказать что-либо определенное, а предоставляю это благоусмотрению ваших милостей: может статься, именно потому, что вы не посвящены в рыцари, как я, местные чародеи ничего не могут с вами поделаться, и разумение ваше, следственно, свободно, и в противоположность мне, судящему обо всем, что в этом замке происходит, в зависимости от того, как это мне представляется, вы можете высказать суждение верное и соответствующее действительности.

– Нет сомнения, – вмешался дон Фернандо, – сеньор Дон Кихот говорит чудесно: в самом деле, решить этот вопрос приличествует нам, а для большей основательности я тайно соберу мнения этих сеньоров и о том, что получится, дам полный и ясный отчет.

Кто знал о причудах Дон Кихота, те хохотали до упаду, прочим же все это представлялось несусветною чушью, в том числе четверем слугам дон Луиса и самому дону Луису, а также трем проезжающим, в это самое время прибывшим на постоялый двор и походившим на стражников, каковыми они, кстати сказать, и являлись. Но всех более возмущался цирюльник, у коего на глазах его собственный таз превратился в Мамбринов шлем, а вьючное седло, вне всякого сомнения, собиралось превратиться в роскошную попону, а между тем все покатывались со смеху, глядя, как дон Фернандо собирает мнения: к каждому подходит и шепотом просит сказать ему по секрету, что собой представляет эта драгоценность, за которую столь ожесточенная идет борьба: вьючное седло или попону; собрав же мнения всех, кто знал Дон Кихота, он во всеуслышание объявил:

– Вот что, любезный: я уже устал спрашивать мнения, – кого ни спросишь, все говорят, что вовсе это не ослиное седло, это, дескать, вздор, а попона с коня, да еще с коня породистого. Так что уж тут ничего не поделаешь, – как это вам и вашему ослу ни неприятно, это попона, а не вьючное седло, и все ваши доводы и доказательства признаны ошибочными.

– Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь я, а не ваши милости, – возопил бедняга цирюльник, – пусть душа моя не предстанет пред лицом Божиим, коли предо мною не вьючное седло, ну да *законы не для королевск...* ох, молчу, молчу! – персоны, и ведь я, честное слово, не пьян: в чем другом грешен, а завтракать еще не завтракал.

Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не меньше, чем бредни Дон Кихота, который как раз в это время заговорил:

– Теперь остается только каждому взять свое, – что господь бог посылает, то и апостол Петр благословляет.

Один из четырех слуг сказал:

– Если только это не шутка, то я не могу допустить, чтобы люди столь разумные, каковы суть или, по крайности, каковыми кажутся все здесь находящиеся, имели смелость говорить и утверждать, что это не таз и не седло. Но как они, однако ж, именно это утверждают и говорят, то я начинаю думать, что, стало быть, тут дело нечисто, коли люди спорят против того, что глаголет истина и показывает простой опыт, потому хоть бы вы тут все... – и он ввернул крепкое словцо, – а все-таки меня целый свет не заставит думать, будто это не таз для бритья, а это не седло осла.

– Очень может быть, что ослицы, – вставил священник.

– Разница не велика, – заметил слуга, – дело не в этом, а в том, седло это или не седло, как уверяют ваши милости.

Тут один из новоприбывших стражников, который присутствовал при этой ссоре и распре, в запальчивости и раздражении проговорил:

– Это такое же точно седло, как я – родной сын моего отца, а кто говорит или же скажет другое, тот, верно, хватил лишнее.

– Вы лжете, как последний мерзавец, – объявил Дон Кихот.

Тут он поднял копьцо, которое никогда не выпускал из рук, и с такой силой вознамерился опустить его на голову стражника, что если б тот не увернулся, то рухнул бы неминуемо. Копьцо, ударившись оземь, разлетелось на куски, прочие же стражники, видя, как дурно с их товарищем обходятся, стали громко звать на помощь Святому братству.

Хозяин, который тоже служил в Братстве, мигом слетал за жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям; слуги дон Луиса, боясь, как бы их господин не ускользнул в суматохе, обступили его; цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое сделал Санчо; Дон Кихот выхватил меч и ринулся на стражников; дон Луис кричал слугам, чтобы они оставили его и бежали на помощь Дон Кихоту, а равно и Карденьо и дону Фернандо, которые стали на сторону Дон Кихота; священник вопиял; хозяйка орала; ее дочь сокрушалась; Мариторнес выла; Доротeya пребывала в смятении; Лусинда была поражена, а донья Кларе сделалось дурно. Цирюльник дубасил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон Луис, коего один из слуг осмелился схватить за руку, дабы он не убежал, съездил его по зубам и разбил ему рот в кровь; аудитор бросился на его защиту; дон Фернандо сшиб с ног одного из стражников, после чего ноги дон Фернандо начали усердно потчевать его пинками; хозяин не своим голосом призывал на помощь слугам Святого братства, – словом, весь постоянный двор стонал, кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, терпел бедствия, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, охаживал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда эта смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, воображению Дон Кихота представилось, что он сдуру впутался в междуусобицу, возникшую в стане Аграманта, и по сему обстоятельству крикнул так, что у всех зазвенело в ушах:

– Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, коли вам дорога жизнь!

Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал:

– Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот заколдован и что в нем, уж верно, обитает легион бесов? И вот вам доказательство: междуусобная брань в стане Аграмантовом<sup>1</sup> на ваших глазах только что перекинулась сюда и вспыхнула между нами. Полнобуйтесь: один борется за меч, другой за коня, этот за орла, тот за шлем, – все мы бьемся и друг друга не разумеем. Итак, пожалуйста сюда, ваша милость, сеньор аудитор, и вы, ваша милость, сеньор

---

<sup>1</sup> ...*междуусобная брань в стане Аграмантовом*... – В XXVII песне «Неистового Роланда» рассказывается о том, что архангел Михаил наслал, по просьбе Карла Великого, распрю на стан царя Аграманта, осаждавшего Париж. Возникла междуусобица, которую Аграманту удалось прекратить благодаря мудрым советам царя Собрина.

священник, представьте себе, что один из вас царь Аграмант, а другой царь Собрин, и заключайте мир, ибо – клянусь всемогущим богом – это величайший позор, что мы, люди благородного происхождения, из-за сущей безделицы убиваем друг друга.

Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувствовавшие, что Карденьо, дон Фернандо и его спутники изрядно им всыпали, не унимались; цирюльник, напротив, унялся тотчас же, ибо в драке пострадали его борода и седло; Санчо, как верный слуга, повиновался по первому слову своего господина; четверо слуг дона Луиса также успокоились, рассудив, что волноваться им, в сущности, не из-за чего; один лишь хозяин стоял на том, чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и делает, что баламутит постоянный двор, была наказана. Наконец шум мало-помалу затих, в воображении же Дон Кихота вьючное седло так до второго пришествия и осталось попоной, таз – шлемом, а постоянный двор – замком.

Когда же все, сдавшись на уговоры аудитора и священника, успокоились и помирились, слуги дона Луиса опять начали настаивать, чтобы он сей же час ехал с ними. А пока он со своими слугами пререкался, аудитор обратился за советом к дону Фернандо, Карденьо и священнику, как в сем случае поступить должно, и рассказал им все, что знал со слов дона Луиса. В конце концов было решено, что коль скоро дон Луис предпочтет быть изрубленным на куски, чем теперь же показаться на глаза отцу, то дон Фернандо скажет слугам, кто он таков и что он желает увезти дона Луиса в Андалусию, где его брат, маркиз, окажет дону Луису подобающий прием. Когда же все четверо слуг узнали, какого дон Фернандо звания и что замыслил дон Луис, то порешили между собою так: трое возвратятся и доложат о случившемся его отцу, а четвертый останется для услуг с доном Луисом и не покинет его, пока те трое за ним не приедут или пока не последует какого-либо распоряжения от отца. Так, властью Аграманта и мудростью царя Собрина, было прекращено великое это междоусобие; однако же враг согласия и ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным и одураченным и видя, что все его усилия посеять смуту принесли довольно скудные плоды, решился еще раз попытать счастья и вызвать новые распри и тревожения.

А дело было так: чуть только до стражников дошло, что сражаются с ними люди не простые, как боевой их пыл тотчас же охладел и они покинули поле брани: они живо смекнули, что, чем бы все это ни кончилось, в ответе будут они, но один из них, тот самый, которого колотил и пинал дон Фернандо, вспомнил, что в числе указов о задержании преступников у него имеется указ, прямо касающийся Дон Кихота, коего Святое братство постановило задержать за то, что он освободил каторжников, какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, вспомнив об этом, стражник пожелал удостовериться, сходятся ли приметы Дон Кихота с теми, которые значились в указе, и для того вынул из-за пазухи грамоту и отыскал нужное место, а как он к числу изрядных грамотеев отнюдь не принадлежал, то стал читать по складам, при каждом слове взглядывая на Дон Кихота и сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его наружностью, и наконец нашел, что это, вне всякого сомнения, тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он удостоверился, то свернул указ и переложил его в левую руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот, так что у того пресекалось дыхание, и во всю мочь крикнул:

– На помощь Святому братству! А чтобы вы все убедились, что я призываю не зря, прочтите указ, предписывающий мне задержать этого разбойника с большой дороги.

Священник взял указ и удостоверился, что стражник говорит правду и что приметы Дон Кихота совпадают; Дон Кихот же, видя, что с ним так дурно обходится этот подлый мужик, расвирепел и, хотя у него самого трещали кости, обеими руками вцепился стражнику в горло, так что, не выручи стражника товарищи, он расстался бы с жизнью, прежде нежели Дон Кихот расстался бы со своею жертвою. Хозяин по долгу службы обязан был оказывать помощь своим братьям, а потому он тот же час бросился на помощь к стражнику, Хозяйка, увидев, что супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую песню, немедленно подхваченную ее дочерью и Мариторнес, которые призывали на помощь небо и все небесные силы. Санчо посмотрел, что тут творится, и сказал:

– Вот как бог свят, все, что мой господин говорит насчет колдовства в этом замке, – это истинная правда, потому здесь часу спокойно нельзя прожить!

Дон Фернандо рознял стражника и Дон Кихота, к обоюдному их удовольствию разжав пальцы первого, впившиеся в ворот второго, и пальцы второго, впившиеся в горло первого; со всем тем стражники продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его и передали в полное их распоряжение, к чему, дескать, обязывают установления короля и Святого братства, от имени коего они снова потребовали оказать им поддержку и содействие в поимке этого грабителя и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот, слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем прехладнокровно заговорил:

– Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы называете разбойником с большой дороги того, кто дарует свободу колодникам, выпускает узников, приходит на помощь несчастным, протягивает руку павшим, вознаграждает обойденных? О гнусный сброд! Низменный ваш и подлый ум недостойн с помощью неба познать величие, коего исполнено странствующее рыцарство, и отдать себе отчет в том, какие же вы невежды и грешники, если не знаете, что даже тень кого бы то ни было из странствующих рыцарей должна внушать вам уважение, а тем паче его присутствие! Сами вы стражники с большой дороги, промышляющие разбоем с благословения Святого братства, – так вот, подите сюда и скажите: кто этот невежда, который подписал указ о задержании такого рыцаря, каков я? Кто он, не ведающий, что странствующие рыцари ничьей юрисдикции не подлежат, что их закон – меч, их юрисдикция – отвага, их уложения – собственная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, который не подозревает, что ни одна дворянская грамота не дает столько льгот и преимуществ, сколько получает странствующий рыцарь в тот день, когда вступает в рыцарский орден и посвящает себя нелегкому делу рыцарства? Кто из странствующих рыцарей платит «алькавалу»<sup>1</sup>, «туфлю королевы»<sup>2</sup>, аренду<sup>3</sup>, ввозную, дорожную или речную пошлину? Разве портной берет с него за пошивку платья? Разве владелец замка принимает его у себя не бесплатно? Кто из королей не сажает его за свой стол? Какая девица не питала к нему склонности и всецело не подчинялась воле его и хотению? И, наконец, был ли, есть или будет такой странствующий рыцарь, у коего не хватило бы смелости собственными руками вlepить четыреста палочных ударов четырем сотням стражников, которые станут ему поперек дороги?

## Глава XLVI

*О достопримечательном приключении со стражниками и о великой свирепости доброго нашего рыцаря Дон Кихота*

В то время как Дон Кихот произносил эту речь, священник уговаривал стражников принять в соображение, что Дон Кихот поврежден в уме, о чем они могут судить по его словам и поступкам, и прекратить это дело, ибо если даже они его и задержат и уведут, то все равно им потом придется отпустить его, как умалишенного, на что стражник, у которого был указ, заметил, что входить в рассмотрение, сумасшедший Дон Кихот или нет, он не обязан, его дело выполнить приказание начальства и на сей раз непременно задержать Дон Кихота, а там пусть его хоть триста раз выпускают.

– Со всем тем, – сказал священник, – на сей раз вы его не задержите, да и он, думается мне, не даст себя задержать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Дон Кихот наделал столько

---

<sup>1</sup> «Алькавала» – налог в виде определенного процента от продажи любого предмета; он превышал во времена Сервантеса десять процентов и тяжким бременем ложился на товарооборот в стране.

<sup>2</sup> «Туфля королевы» – налог, взимаемый по случаю царского бракосочетания и шедший исключительно в пользу королевы, на удовлетворение ее личных нужд.

<sup>3</sup> Аренда – земельный налог, вносившийся в средние века каждые семь лет.

глупостей, что стражники оказались бы безумными вдвойне, когда бы не признали безумие Дон Кихота; итак, они рассудили за благо утихомириться и даже выступить посредниками между цирюльником и Санчо Пансою, которые все еще весьма злобно переругивались. Наконец они в качестве представителей правосудия вмещались в это дело и вынесли решение, которое если и не вполне обе стороны примирило, то все же отчасти удовлетворило их: тяжёбщики обменялись седлами, а подпруги и недоуздки остались при них; что же касается Мамбринова шлема, то священник тайком, так, чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за его таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в коей давал обещание не жаловаться на обман ни ныне, ни во веки веков, аминь. Итак, две ссоры, наиболее крупные и на более серьезные, были прекращены, оставалось лишь добиться того, чтобы трое слуг дона Луиса согласились возвратиться домой, а четвертый – всюду следовать за доном Фернандо; а как счастливый случай и счастливейшая судьба всех влюбленных и всех удалцов, на постоялом дворе собравшихся, уже начали расчищать им дорогу и устранять препятствия, то и пожелали они довести это дело до конца и благополучную придать ему развязку, и точно: слуги согласились исполнить просьбу дона Луиса, чему донья Клара так обрадовалась, что по выражению ее лица было видно, как ликует ее душа. Зораиде были не совсем понятны происходившие на ее глазах события, и, однако, смутная печаль сменялась в ее сердце столь же смутною радостью в зависимости от того, как менялись лица у окружающих, за которыми она все время следила и наблюдала, особенно за своим испанцем, к коему были прикованы ее взоры и в ком была вся ее душа. От хозяина не укрылось, что священник одарил и вознаградил цирюльника, и он, поклявшись, что не пустит со двора ни Росинанта, ни Санчова осла, пока ему не будут возмещены все протори и убытки, потребовал, чтобы Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за поврежденные бурдюки и за пролитое вино. Священник и это уладил: за все заплатил дон Фернандо, – впрочем, и аудитор, со своей стороны, изъявил полную готовность уплатить за Дон Кихота; и вот благодаря этому на постоялом дворе воцарились мир и тишина, так что теперь он уже отнюдь не походил на раздражаемый междоусобною бранью стан Аграманта, как выразился Дон Кихот, – теперь здесь царили тишина и спокойствие времен Октавиановых<sup>1</sup>, чем все единодушно почитали себя обязанными особой благожелательности и красноречивости священника, а также несравненной щедрости дона Фернандо.

А Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избавлен от распрей, возникавших то из-за его оруженосца, то из-за него самого, рассудил, что пора продолжать начатый путь и довершить великое предприятие, ради которого он был *зван и избран*, и потому с самым решительным видом опустился перед Доротеей на колени, но та не позволила ему вымолвить слово, пока он не встанет, – он же в угоду ей встал и сказал:

– Вошло в поговорку, прелестная сеньора, выражение: «Настойчивость – мать удачи», да и опыт показывает, что во многих и важных случаях жизни от усердия истца зависит благоприятный исход самой сомнительной тяжбы, но нигде эта истина не выступает так наглядно, как на войне, где быстрота и натиск путают все планы врага и победа достигается прежде, нежели противник изготовится к обороне. Все это, благородная и бесценная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше пребывание в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а в один прекрасный день может оказаться и весьма для нас пагубным, ибо – кто знает? – быть может, через тайных своих и рьяных соглядатаев ваш недруг-великан уже проведал, что я иду сокрушить его, и за это время укрепился в каком-либо неприступном замке или же крепости, коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой моей длани. А потому, как я уже сказал, госпожа моя, да опередит наше рвение его замыслы, едемте в добрый час, и час, столь для вашего высочества желанный, не замедлит настать, едва лишь я с недругом вашим встречусь лицом к лицу, Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавил и с превеликим спокойствием стал ждать ответа прелестной инфанты, она же с величественным видом, подражая слогу Дон Кихота, возговорила так:

– Благодарю вас, сеньор рыцарь, за высказанное вами желание помочь мне в великой

---

1 ...*спокойствие времен Октавиановых...* – Октавиан Август – римский император (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.).

моей беде, – желание, истинному свойственное рыцарю, коему сродно и коему положено оказывать покровительство сирым и беззащитным, и да исполнится милостью неба общее наше желание, дабы вы удостоверились, что есть еще на свете благодарные женщины. Что касается отъезда, то едемте сей же час, намерения наши совпадают, – располагайте же мною по своему благоусмотрению: та, которая однажды доверила вам защиту своей особы и поручила вам возвратить ей ее владения, не отважится пойти наперекор тому, что мудрость ваша повелевает.

– С богом! – сказал Дон Кихот. – Когда я вижу, что какая-либо сеньора на моих глазах терпит унижения, я не могу упустить случай возвысить ее и восстановить в правах престолонаследия. Итак, едемте сей же час, промедление, как говорится, опаснее всего, и при одной мысли об этом я сгораю от нетерпения возможно скорее пуститься в путь. И коль скоро небо еще не создало, а преисподняя не видела такого человека, который напугал бы меня и устрасил, то седлай Росинанта, Санчо, взнуздай своего осла и иноходца королевы, простимся с владельцем замка и этими сеньорами и – прямым путем к цели!

Санчо, при сем присутствовавший, покачал головой и сказал:

– Ах, сеньор! Да ведь в нашей-то деревеньке, не в обиду будь сказано прекрасному полу, больше дурного, нежели о том болтают!

– Пусть даже это дурное происходит не в одной какой-то деревне, а и во всех городах мира, почему же толки об этом могут меня позорить, невежа?

– Коли ваша милость гневается, то я замолчу, – заметил Санчо, – и не скажу того, что обязан был бы сказать как верный оруженосец и что всякий верный слуга должен говорить своему господину.

– Говори, что хочешь, – сказал Дон Кихот, – твои слова не нагонят на меня страху, – ты испытываешь его, потому что такого уж ты звания человек, а я не испытываю его, потому что я другой породы.

– Боже милосердный, да я совсем не про то! – воскликнул Санчо. – Мне доподлинно и точно известно, что эта сеньора, которая выдает себя за королеву великого королевства Микомиконского, такая же королева, как моя покойная мать, потому королева не стала бы поминутно и по всякому поводу лизаться с одним из нашей компании.

При этих словах Доротея вспыхнула, – по правде сказать, супруг ее дон Фернандо украдкой от постороннего взора не раз срывал с ее уст часть награды, коей заслуживало его чувство, а Санчо это подглядел и нашел, что подобная вольность скорее к лицу девице легкого поведения, нежели королеве столь великого королевства, и вот теперь ей нечего было возразить Санчо и не могла она прервать его болтовню, а он между тем продолжал:

– Говорю я это вот к чему, сеньор: изъездим мы с вами все дороги и тропы, и после стольких беспокойных ночей и еще менее спокойных дней вдруг окажется, что плоды трудов наших пожал тот самый, что милуется с нею здесь, на постоялом дворе, стало быть, нечего мне спешить седлать Росинанта, иноходца и осла, лучше сидеть на месте: шлюхам, как говорится, игрушки, а нам пирушки.

Господи боже, как же возмутили Дон Кихота нескромные речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захлебываясь и запинаясь от волнения и сверкая очами, воскликнул:

– О подлый смерд, нескромный, неучтивый, невежественный, косноязычный, сквернослов, наглец, наушник и клеветник! Какие слова осмелился ты произнести в моем присутствии, а также в присутствии именитых этих дам, и что за непристойные и дерзкие мысли осмелился ты вбить в глупую свою голову? Прочь с глаз моих, изверг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, подвал гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепостей, не испытывающий никакого почтения к особам королевского рода! Прочь, не показывайся мне на глаза под страхом навлечь на себя мой гнев!

Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в том, что он хмурил брови, надувал щеки, вращал глазами и наконец изо всех сил топнул правой ногой. А Санчо, наслушавшись подобных слов и наглядевшись на подобные движения гнева, так оробел и струсил, что если б в этот миг под его ногами разверзлась земля и поглотила его, то он был бы только этому

рад, и рассудил он за благо обратить тыл и скрыться от расходившегося своего сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, дабы умерить его гнев:

– Не сердитесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на доброго вашего оруженосца за то, что он говорил глупости: а вдруг он говорил их не без причины? Зная его здравый ум и истинно христианскую душу, трудно заподозрить, чтобы он мог кого-либо оклеветать, а потому, отринув всякие сомнения, должно полагать, что если в этом замке, по вашим же, сеньор рыцарь, словам, все происходит и совершается посредством волшебства, то, может статься, говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, видел и что так порочит мою честь, было лишь дьявольским наваждением.

– Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попало в самую точку! – воскликнул тут Дон Кихот. – Уж верно, какая-нибудь нечисть так подстроила, что этот греховодник Санчо увидел то, что можно увидеть только колдовским путем, честность же и прямоту этого несчастного мне хорошо известны, и оклеветать кого-либо он не способен.

– Что верно, то верно, – заметил дон Фернандо, – а потому, сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно своего благоволения, *sicut erat in principio*<sup>1</sup>, прежде нежели он не свихнется от подобных видений.

Дон Кихот объявил, что прощает его, тогда священник пошел за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, стал на колени и попросил у своего господина руку, и господин ему ее дал и, после того как оруженосец к ней приложился, благословил его и сказал:

– Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно удостовериться, что я был прав, когда столько раз тебе говорил, что все в этом замке совершается колдовским способом.

– Я тоже думаю, что все, – заметил Санчо, – кроме подбрасывания на одеяле, каковое подбрасывание совершилось обыкновенным способом и на самом деле.

– Напрасно ты так думаешь, – возразил Дон Кихот, – потому что если б это было так, то я бы за тебя отомстил или тогда же, или теперь, но я и теперь не могу найти, как не мог найти и тогда, кому следует отомстить за причиненную тебе обиду.

Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и тогда хозяин рассказал во всех подробностях о порхании Санчо Пансы, каковой рассказ не столько насмешил всех остальных, сколько совсем уж было устыдил Санчо, когда бы его господин снова не стал уверять его, что это было наваждение, хотя, впрочем, простодушие Санчо имело свои пределы, и он все же не мог не почитать за непреложную и неоспоримую истину без всякой примеси обмана, что он был подбрасываем живыми людьми, а не почудившимися ему и не представившимися его воображению привидениями, как полагал и как уверял его господин.

Уже два дня все это изысканное общество пребывало на постоялом дворе, и как скоро путники нашли, что пора собираться в дорогу, то решено было избавить Доротею и дону Фернандо от поездки с Дон Кихотом в его село, будто бы для освобождения земель королевы Микомиконы, на том основании, что священник и цирюльник сами могут его отвезти и там, на месте, приняться за его лечение. И для того сговорились они с одним человеком, коему случилось ехать мимо на волах, что он его отвезет, но отвезет вот как: они смастерили из палок, прибитых крест-накрест одна к другой, нечто вроде клетки, в которой Дон Кихот мог поместиться со всеми удобствами, после чего дон Фернандо со своими спутниками, слуги дон Луиса, стражники и, наконец, сам хозяин во исполнение приказа и замысла священника надели личины и нарядились кто как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. Затем все, совершенное храня молчание, вошли в помещение, где он почивал и отдыхал от минувших тревог.

---

<sup>1</sup> Как это было вначале (*лат.*)



В то время как он, и не помышляя о грядущем событии, спокойно спал, они приблизились к нему и, схватив его, крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что когда он в испуге проснулся, то не мог пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на диковинные эти образины; и, сообразуясь с тем, что неумолимому и расстроенному его воображению рисовалось, он вообразил, что все это призраки из заколдованного замка и что он сам, вне всякого сомнения, заколдован, ибо не в состоянии ни двигаться, ни обороняться, – словом, все вышло так, как рассчитывал затеявший эту канитель священник. Из всех присутствовавших один только Санчо был в своем уме и в своем обличье, и хотя он был весьма недалек от того, чтобы заболеть тою же болезнью, что и его господин, однако ж тотчас догадался, кто эти ряженые, но до времени помалкивал, ибо еще не мог постигнуть, чем кончится взятие и пленение его господина, господин же его тоже как воды в рот набрал в ожидании предела своего несчастья, каковой предел заключался в том, что в помещение внесли клетку, посадили его туда и так крепко приколотили палки, что их, и принатужившись, невозможно было бы отодрать.

Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое мгновение, когда они выносили ее из комнаты, послышался страшный голос, такой страшный, какой только мог оказаться у цирюльника, но не у владельца седла, а у другого:

– О Рыцарь Печального Образа! Не крушись, что полонили тебя, – так нужно для того, чтобы елико возможно скорее кончилось приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя храбрость. Кончится же оно, как скоро свирепый ламанчский лев и кроткая тобосская голубица станут жить вместе, и не прежде, чем гордые их выи покорно впрягутся в мягкий брачный хомут, от какового неслыханного союза произойдут на свет хищные детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестного своего родителя. И случится это еще до того, как преследователь убегающей нимфы<sup>1</sup> в своем стремительном и естественном течении дважды посетит сияющие знаки. А ты, о благороднейший и послушнейший из всех оруженосцев, у коих за поясом был меч, на подбородке растительность и обоняние в

<sup>1</sup> ...преследователь убегающей нимфы... (миф.) – Феб, преследующий нимфу Дафну.



ноздрях! Не тужи и не горюй, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства, – скоро, коли будет на то воля зиждителя мира, ты так высоко вознесешься и возвеличишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго твоего господина не останутся втуне. И от имени мудрой Навралии я клятвенно тебя уверяю, что жалованье будет тебе выплачено, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди по стопам сего доблестного и очарованного рыцаря, ибо тебе надлежит следовать за ним вплоть до того места, где оба вы остановитесь. А как мне не положено что-либо к этому прибавить, то и счастливый вам путь, а куда возвращусь я – это одному мне лишь известно.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно возвысил голос, а затем понизил его и пустил такую неясную трель, что даже бывшие с ним в заговоре едва всему этому не поверили.

Дон Кихот цирюльничковым предсказанием утешился, ибо он живо и вполне постиг его смысл и вывел из него, что ему суждено сочетаться законным браком со своею возлюбленною Дульсинеей Тобосской и что плоды блаженного ее чрева, его сыновья, на веки вечные прославят Ламанчу; и без малейших колебаний приняв это за правду, он глубоко вздохнул и, возвысив голос, заговорил:

– Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося обо мне, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой ныне меня увозят, пока не сбудутся принесенные тобою радостные и беспримерные вести, ибо если только они сбудутся, то муки узилища я почту за счастье, сковывающие меня цепи – за облегчение, а тюремный пол, на который меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, но мягкою постелью, счастливым брачным ложем. Что же касается слов, сказанных тобой в утешение оруженосцу моему Санчо Пансе, то я уверен, что при своей честности и добронравии он ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же ему или мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду подарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жалованье его, во всяком случае, не пропадет, ибо в уже составленном мною завещании я, сообразуясь не с многочисленными и важными его услугами, а единственно с моими средствами, указал, что именно ему следует.

Санчо Панса почтительнейше наклонился и облобызал ему обе руки, поцеловать же какую-нибудь одну он не мог при всем желании, ибо они были связаны вместе.

Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и перенесли ее на телегу, запряженную волами.

## Глава XLVII

*О том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, равно как и о других достопамятных событиях*

Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал:

– Много чудесных историй довелось мне читать о странствующих рыцарях, но никогда я не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей так увозили – с тою медлительностью, какой должно ожидать от этих ленивых и неповоротливых животных. Обыкновенно рыцарей с поразительной легкостью переносят по воздуху, закутанных в серое или же черное облако, на огненной колеснице, на гиппогрифе или же на каком-либо другом подобном звере, но увозить на волах – ей-богу, я ничего не понимаю! Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по какому они шли в старину. И еще может статься, что коли я – рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, воскресивший давно забытое поприще рыцарства, ищущего приключений, то появились и новые виды чародейства и новые способы похищения очарованных. Как ты на это смотришь, сын мой Санчо?

– Я сам не знаю, как я на это смотрю, – отвечал Санчо, – ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Со всем тем я готов поклясться, что привидения,

которые тут бродят, народ отнюдь не благочестивый.

– Благочестивый? Да бог с тобой! – вскричал Дон Кихот. – Какое там благочестивый, – это сущие демоны, облекшиеся в призрачную плоть, дабы совершить это и довести меня до такой крайности! Если ж ты желаешь в том удостовериться, то дотронься до них и ощурай, и ты уверишься, что тела у них из воздуха и что все это одна только видимость.

– Ей-богу, сеньор, я уж их трогал, – признался Санчо, – и вон тот дьявол, который все хлопочет, он – гладкий, и еще есть у него одно свойство, противоположное тому, коим обладают черти: ведь говорят, что черти воняют серой и всякой дрянью, а от него за полмили несет амброй.

Санчо имел в виду дона Фернандо, от которого, как от знатного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде этого.

– Тебя это не должно удивлять, друг Санчо, – возразил Дон Кихот. – Надобно тебе знать, что черти – великие искусники: они распространяют зловоние, но сами ничем не пахнут, ибо они – духи, а если и пахнут, то это не хороший запах, а мерзкий и отвратительный. Причиной же этому то, что ад неотступно с ними и неоткуда им ожидать облегчения своим мукам, а как приятный запах доставляет удовольствие и упоет, то они и не могут приятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, о котором ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманулся, или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его за черта.

Вот о чем беседовали между собою господин и слуга; дон Фернандо же и Карденьо, боясь, как бы Санчо окончательно не распознал их затею, к чему тот был уже весьма близок, порешили ускорить отъезд и, отозвав хозяина в сторону, велели седлать Росинанта и Санчова осла, что хозяин с великим проворством и исполнил. Тем временем священник уговорился со стражниками, что они проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчитываться поденно. Карденьо подвесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – таз для бритвы и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести в поводу Росинанта, а двум стражникам с мушкетами идти рядом с повозкой: одному – с правой стороны, другому – с левой. Но прежде чем повозка тронулась, хозяйка, ее дочь и Мариторнес с таким видом, будто они оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с ним проститься. Дон Кихот же сказал им:

– Не плачьте, добрые мои сеньоры, – все эти невзгоды неразлучны с теми, кто подвизается на поприще, на каком подвизаюсь я, и когда бы со мною подобных колдоватностей не случилось, я не почитал бы себя за славного странствующего рыцаря, ибо с рыцарями неизвестными и ничем не знаменитыми подобных происшествий никогда не бывает, – вот почему никто их и не помнит, с доблестными же – бывают, ибо многие государи и многие рыцари завидуют их добродетели и отваге и тщатся всякими коварными способами сжить их со свету. Однако ж добродетель сама по себе столь могущественна, что назло всей черной магии, какую только знал первый ее изобретатель Зороастр, она выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле, подобно солнцу в небе. Простите меня, прекрасные дамы, если я чем-либо вас оскорбил, – разумеется, невольно, ибо умышленно и преднамеренно я никого никогда не оскорблял, – и помолитесь богу, чтобы он вывел меня из темницы, куда некий злокозненный волшебник меня заточил. Если же я выйду на свободу, то из памяти моей вовек не изгладятся милости, какие в этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю и вознагражу и заслужу вам как должно.

Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, священник и цирюльник простились с доном Фернандо и его спутниками, с капитаном и его братом, а также со всеми довольными своей судьбой дамами, особливо с Лусиндой и Доротеей. Все обнялись и уговорились, что будут друг друга уведомлять о себе, дон Фернандо же сообщил священнику, куда надлежит писать ему о том, что станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему это весьма любопытно знать и что и он, дон Фернандо, постарается известить священника обо всем, что может быть ему любопытно: о своей свадьбе, о крещении Зораиды, о судьбе дона Луиса и о возвращении Лусинды в родительский дом. Священник

обещал в точности исполнить его просьбу. Все снова обнялись и снова надавали друг другу обещаний. Хозяин подошел к священнику и, вручив ему какие-то бумаги, сказал, что он обнаружил их за подкладкой сундучка, в коем оказалась *Повесть о Безрассудно-любопытном*, и раз что, мол, владелец больше сюда не заезжал, то священник волен взять их себе, ибо сам он читать не умеет и они ему, дескать, без надобности. Священник поблагодарил и, тотчас же развернув рукопись, прочитал заглавие: *Повесть о Ринконете и Кортадильо*<sup>1</sup>, из чего явствовало, что тут есть еще одна повесть; и, рассудив, что коли *Безрассудно-любопытный* хорош, то, может статься, и эта повесть недурна, ибо, как видно, она того же автора, он спрятал рукопись в чайнии прочитать ее, как скоро представится случай.

Затем он и его друг цирюльник сели верхами, оба в масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал их, и поехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком порядке: впереди ехала повозка, коей правил ее владелец; по бокам, как уже было сказано, шествовали стражники с мушкетами; позади, ведя в поводу Росинанта, ехал на осле Санчо, а сзади всех, скрываясь, как уже было сказано, под масками, с видом важным и невозмутимым, соразмеряя шаг могучих своих мулов с медлительною поступью волов, ехали священник и цирюльник. В клетке же, вытянув ноги и прислонившись к решетке, со связанными руками сидел Дон Кихот, столь покорный и тихий, точно это был не живой человек, но каменная статуя. Так, молча и не спеша, проехали они около двух миль и наконец приблизились к долине, каковая показалась вознице местом, подходящим для отдыха и для кормления волов, однако ж цирюльник, посоветовавшись со священником, предложил еще немного проехать, ибо ему было известно, что за холмом, видневшимся невдалеке, есть более травянистый луг, гораздо лучше того, где собирался остановиться хозяин волов. Мнение цирюльника возобладало, и путешественники поехали дальше.

Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут верхами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаряженные, и люди эти путников наших скоро нагнали, ибо ехали они не на волах, ко всему безучастных и неповоротливых, а на таких мулах, какие бывают у каноников<sup>2</sup>, и, должно полагать, стремились еще до полудня расположиться на постоялом дворе, который виднелся на расстоянии меньше одной мили отсюда. Поравнявшись, скороходы любезно раскланялись с ленивцами, а один из них, впоследствии оказавшийся толедским каноником и господином спутников своих, окинув взглядом повозку, стражников, Санчо, Росинанта, священника с цирюльником и наконец полоненного и посаженного в клетку Дон Кихота, всю эту двигавшуюся в определенном порядке процессию, не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким образом, хотя по знакам достоинства, которые он заметил у стражников, он понял, что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще какой-нибудь преступник, коего дело подсудно Святому братству. Один из стражников, к которому он обратился с этим вопросом, ответил так:

– Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему его так везут, а мы ничего не знаем.

Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:

– Может статься, ваши милости знают толк и разбираются в том, что такое странствующее рыцарство? Если да, то я поведаю вам свои невзгоды, если же нет, то мне не к чему утруждать себя повествованием о них.

В это время священник и цирюльник, видя, что путники вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе, с намерением в случае чего дать такие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразгаданной.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:

– По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю лучше, чем *Sumulas*<sup>3</sup> Вильяльпандо, а посему, если дело только за этим, вы смело можете поведать мне все, что

---

<sup>1</sup> «*Повесть о Ринконете и Кортадильо*» – вошла в состав сборника Сервантеса «Назидательные новеллы», опубликованного в 1613 г.

<sup>2</sup> *Каноник* – соборный священник.

<sup>3</sup> Краткий учебник элементарных основ диалектики (*исп.*)

угодно.

– Слава богу, – молвил Дон Кихот. – Когда так, то да будет вам известно, сеньор кавальеро, что меня околдовали и посадили в клетку, а виной тому зависть и коварство злых волшебников, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели любят праведники. Я – странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена Слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому суждено назло и наперекор самой зависти, а равно и всем магам Персии, браминам Индии<sup>1</sup> и гимнософистам Эфиопии<sup>2</sup> начертать свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и образцом далеким потомкам и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие пути ведут к наивысшему почету на ратном поприще.

– Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, – сказал на это священник. – Он, точно, едет заколдованный на этой телеге, и не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению тех, кому добродетель несносна, а доблесть постыла. Это, сеньор, *Рыцарь Печального Образа*, о котором вы, может статься, уже от кого-нибудь слышали и которого смелые подвиги и великие деяния будут вычеканены на прочной меди и несокрушимом мраморе, сколько бы зависть ни старалась их очернить, а лукавство – скрыть.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник и находящийся на свободе, то чуть не перекрестился от изумления, – он не мог понять, что это такое, и в не меньшее изумление привело это его спутников. Тут Санчо Панса, подъехав послушать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную ясность, сказал:

– Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами, – он совершенно в своем уме, ест, пьет и отправляет свои потребности не хуже всякого другого, так же как он это делал вчера, когда его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слышал, что заколдованные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать стряпчих.

И, обратясь к священнику, продолжал:

– Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто ваша милость думала, что я вас не узнал и что я не догадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? Ан нет, узнал, было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской, и раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы ни скрывали свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места для добродетели, а со скаредностью не уживается щедрость. Черт возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой господин когда бы уж был женат на инфанте Микомиконе, а я был бы по меньшей мере графом, – порукой тому доброта моего *Печального Образа*, равно как и важность оказанных мною услуг! Но я вижу, что недаром у нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее мельничного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во прахе. Жаль мне мою жену и детей: ведь у них были все основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором острова или же – как бить его? – *птицекоролем* какого-нибудь королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим господином, а то глядите, как бы на том свете бог не спросил с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного доброго дела и никому не помог.

– Экие он пули отливает! – сказал на это цирюльник. – Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли и тебя в клетку к нему за компанию и не побыть ли тебе вместе с ним на положении заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обещаниями и не в пору втемяшился тебе этот остров, о котором ты так мечтаешь.

---

<sup>1</sup> *Брамины Индии* – точнее, брахманы, жрецы, принадлежавшие к высшей из четырех каст, на которые делилось население древней Индии.

<sup>2</sup> *Гимнософисты Эфиопии* – древнейшая индусская религиозная секта, получившая широкое распространение в Египте и Эфиопии. Она призывала к полному отказу от жизненных благ, умерщвлению плоти, пренебрежению к богатству и почестям.

– Я не девушка, чтобы меня соблазнять, – возразил Санчо, – меня еще никто не соблазнял, ниже сам король, я хоть и бедняк, но христианин чистокровный и никому ничего не должен. И я мечтаю об острове, а другие мечтают кое о чем похуже, и ведь все от человека зависит, стало быть, коли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором острова, островов же этих самых мой господин может завоевать столько, что и раздавать их будет некому. Думайте, что вы говорите, ваша милость, сеньор цирюльник, это вам не бороду брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить. А что мой господин будто бы заколдован, то бог правду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать.

Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо откроется то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не стал отвечать ему; и по той же самой причине священник предложил канонику проехать с ним вперед, – он-де поведаст ему тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рассказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был посажен в клетку, и поделившись с каноником своим намерением отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая необычайную историю Дон Кихота, каноник и его люди снова давались диву; выслушав же ее, каноник сказал:

– Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что так называемые рыцарские романы приносят государству вред, и хотя, движимый праздным и ложным любопытством, я прочитал начала почти всех вышедших из печати романов, но так и не мог принудить себя дочитать ни одного из них до конца, ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой и в одном то же, что и в другом, а в другом то же, что и в третьем. И еще я склонен думать, что этот род писаний и сочинений приближается к так называемым милетским сказкам<sup>1</sup>, этим нелепым басням, которые стремятся к тому, чтобы услаждать, но не поучать – в противоположность апологам, которые не только услаждают, но и поучают. Если же основная цель подобных романов – услаждать, то вряд ли они ее достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. Между тем душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, предносящихся взору нашему или воображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может. А когда так, то какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, где великана ростом с башню шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, но коль скоро против них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одною лишь доблестью могучей своей длани? А что вы скажете об этих королевах или же будущих императрицах, которым ничего не стоит броситься в объятия незнакомого странствующего рыцаря? Кто, кроме умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает на земле пресвитера Иоанна Индийского, а то еще и на такой, которую ни Птолемей<sup>2</sup> не описывал, ни Марко Поло<sup>3</sup> не видывал? Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием, – я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного.

---

<sup>1</sup> *Милетские сказки* – Речь идет о сборнике любовных новелл, составленных Аристидом из Милета (вероятно, в конце II в. до н.э.). Название этого не дошедшего до нас сборника, «Милетские сказки», стало нарицательным для всего жанра.

<sup>2</sup> *Птолемей* – Клавдий Птолемей, математик, астроном и географ, живший в первой половине II в. н.э. в Александрии.

<sup>3</sup> *Марко Поло* – знаменитый венецианский путешественник XIII в., посетивший восточные страны, где он прожил двадцать шесть лет.

Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей, их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе, а в них-то и заключается совершенство произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середина соответствовала бы началу, а конец – началу и середине, – все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какое-то чудовище или же урод. Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, вежливость неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия нелепы – словом, с искусством разумным они ничего общего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христианского государства наравне с людьми бесполезными.

Священник выслушал его с великим вниманием и решил, что это человек здравомыслящий и что он совершенно прав, а потому объявил, что держится того же мнения и что из ненависти к рыцарским романам он, священник, сжег все книги Дон Кихота, каковых было многое множество. И тут он рассказал канонику, как он подвергал их осмотру и какие из них предал сожжению, а какие помиловал. Каноник немало смеялся, а затем высказал ту мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных им недостатках обладают одним положительным свойством: самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо они открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо может бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы; изображая доблестного полководца, обладающего всеми необходимыми для того, чтобы быть таковым, качествами: предусмотрительного, когда нужно разгадать хитрости врага, красноречивого, когда нужно убедить или же разубедить солдат, мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь же храбро обороняющегося, как и нападающего; описывая то печальные и трагические случаи, то события радостные и неожиданные, то прекраснейшую даму, добродетельную, благоразумную и осмотрительную, то рыцаря-христианина, отважного и учтивого, то бессовестного и грубого хвастуна, то любезного государя, доблестного и благовоспитанного, живописуя добропорядочность и верность вассалов, величие и добросердечие сеньоров. Сочинитель волен показать, что он знает астрологию, что он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных делах искушен, а коли пожелает, то всегда найдет повод показать, что он и в черной магии знает толк. Он волен изобразить хитроумие Одиссея, богобоязненность Энея, мужество Ахилла, бедствия Гектора, предательство Синона<sup>1</sup>, дружескую верность Эвриала<sup>2</sup>, щедрость Александра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и правдивость Траяна, постоянство Зопира<sup>3</sup>, мудрость Катона – словом, все те качества, которые делают славных мужей совершенными, наделить ими одного героя или же распределить их между несколькими. И если при этом еще чистота слога и живость воображения, старающегося держаться как можно ближе к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань, из разноцветных и прекрасных нитей сотканную, которая в законченном виде будет отмечена печатью совершенства и красоты, и таким образом он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как уже было сказано, поучать и услаждать одновременно. Должно заметить, что непринужденная форма рыцарского романа позволяет автору быть эпиком, лириком, трагиком и комиком и пользоваться всеми средствами, коими располагают две сладчайшие и пленительные науки: поэзия и риторика, – ведь произведения

---

1 *Предательство Синона* – Синон – грек, убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были спрятаны вооруженные греческие воины.

2 *Дружеская верность Эвриала* – Нис и Эвриал – спутники Энея, теснейшая дружба которых описана в «Энеиде» Вергилия.

3 *Постоянство Зопира* – Зопир – персидский воин, который во время восстания вавилонян против персидского царя Дария нанес себе увечье и, перейдя в стан вавилонян, убедил их в том, что его искалечил Дарий. Заручившись таким путем доверием вавилонян, он добился того, что они подчинились Дарию. Последний, однако, отказался воспользоваться победой, которая обошлась такой ценой.

эпические с таким же успехом можно писать в прозе, как и в стихах.

## Глава XLVIII,

*в коей каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах, равно как и о других предметах, достойных его ума*

– Вы совершенно правы, сеньор каноник, – сказал священник, – и потому-то авторы рыцарских романов и заслуживают особого порицания, ибо они не сообразуются со здравым смыслом и не подчиняются правилам искусства, руководствуясь коими, они могли бы прославиться в прозе, подобно как в стихах прославились два столпа поэзии – греческой и латинской<sup>1</sup>.

– Я, по крайней мере, поддался искушению написать рыцарский роман, соблюдая все перечисленные мною пункты, – объявил каноник, – и, признаться сказать, написал я более ста листов. А дабы удостовериться, правильно ли я оцениваю свой труд, я читал его любителям такого чтения, и не только людям образованным и умным, но и невеждам, для которых послушать какую-нибудь нелепицу – первое удовольствие, и все отзывались о нем с похвалой. Но со всем тем продолжать я не стал: во-первых, я полагал, что сан мой этого не позволяет, а во-вторых, я удостоверился, что дураков на свете больше, чем умных, и хотя похвала горсточки знатоков стоит дороже насмешек собрания глупцов, однако я не желаю зависеть от невразумительных суждений суетной черни, которая главным образом и читает подобные книги. Но окончательно охладел я к роману и отказался от намерения его продолжать после того, как меня навели на размышления комедии<sup>2</sup>, которые теперь играют. «Известно, – говорил я себе, – что все или, во всяком случае, большинство современных комедий, основанных на вымысле, равно как и на событиях исторических, – гиль и что в них нет ни складу ни ладу, а между тем чернь смотрит их с удовольствием, одобряет их и признает за хорошие, хотя они отнюдь не заслуживают подобной оценки; авторы, которые их сочиняют, и актеры, которые их представляют, говорят, что иными они и не должны быть, ибо чернь любит-де их такими, каковы они есть, а те, в которых есть связь и в которых действие развивается, как того требует искусство, удовлетворяют, мол, двух-трех знатоков, всем же остальным их мастерство – не в коня корм, и что авторам и актерам кусок хлеба, который им дает большинство, важнее мнения немногих, следовательно, то же самое получится и с моим романом: я буду ночи напролет корпеть, только чтобы соблюсти указанные правила, а в конце концов выйдет, что я вроде того портного, который со своим прикладом шьет и за работу денег не берет. И ведь я неоднократно пытался убедить актеров, что они неправильного придерживаются взгляда и что они привлекли бы больше зрителей и славы было бы у них больше, если бы они представляли комедии, написанные по всем правилам искусства, а не всякую дребедень, но они закоснели и уперлись на своем, так что никакие доводы и даже самая очевидность их не разуверят». Помнится, как-то раз я сказал одному из этих упрямец: «Скажите: вы помните, что назад тому несколько лет в Испании были играны три трагедии одного знаменитого нашего писателя, и они изумили, привели в восторг и потрясли всех зрителей без исключения, и необразованных и ученых, и избранных и чернь, так что три эти трагедии дали актерам больше сборов, нежели тридцать лучших комедий, игранных впоследствии?» – «Ваша милость, уж верно, понимает *Изабеллу, Филиду и Александру*»<sup>3</sup>, – сказал директор театра. «Именно, – подтвердил я. – И заметьте, что правила искусства в них тщательно соблюдены, но это, однако ж, не помешало им стать тем, чем они стали, и всем понравиться. Значит, виновата не публика, которая якобы требует

1 ...два столпа поэзии – греческой и латинской. – Гомер и Вергилий.

2 *Комедия* – Испанская драматургия XVII в. не знала делений на жанры (комедия, драма, трагедия). Безотносительно к содержанию любая трехактная пьеса называлась комедией.

3 «*Изабелла*», «*Филида*» и «*Александра*» – трагедии, автором которых был Луперсьо Леонардо де Архенсола (1562–1613). Трагедия «*Филида*» до нас не дошла, что же касается двух остальных трагедий, то они, вопреки мнению каноника, не представляют никакой художественной ценности.

вздора, а те, кто не умеет показать ей что-нибудь другое. Ведь не дребедень же *Наказанная неблагодарность*, *Нумансия*, *Влюбленный купец*, *Благородная соперница*<sup>1</sup> и некоторые другие комедии, принадлежащие перу поэтов просвещенных и принесшие славу и почет сочинителям и доход тем, кто в них участвовал». Долго еще я с ним говорил, и он, по-видимому, был слегка смущен, но не удовлетворен моими доводами и не разубежден и так и остался при ошибочном своем мнении.

– Сеньор каноник! Вы, ваша милость, затронули предмет, пробудивший во мне давнюю неприязнь к нынешним комедиям, не менее сильную, чем к рыцарским романам, – сказал на это священник, – ведь по словам Туллия<sup>2</sup>, комедия должна быть зеркалом жизни человеческой, образцом нравов и олицетворением истины, меж тем как нынешние комедии суть зеркала бессмыслицы, образцы глупости и олицетворения распутства. В самом деле, что в сем случае может быть несообразнее, когда в первой сцене первого акта перед нами дитя в пеленках, а во второй – это уже бородатый мужчина? Что может быть нелепее – изображать старика отважным, а юношу малодушным, слугу – ритором, пажа – советчиком, короля – чернорабочим, принцессу – судомойкой? А что можно сказать о соблюдении времени, в течение коего могут или же могли произойти изображаемые события? Я видел одну комедию, так там первое действие происходило в Европе, второе в Азии, третье в Африке, а будь в ней четыре действия, то четвертое, уж верно, происходило бы в Америке и таким образом ни одна из четырех частей света не была бы забыта<sup>3</sup>. Если подражание природе есть основа комедии, то какое же удовольствие может получить даже самый ограниченный ум, когда действие комедии происходит во времена королей Пипина<sup>4</sup> и Карла Великого<sup>5</sup>, а главный ее герой – император Ираклий<sup>6</sup>, который, подобно Готфриду Бульонскому, идет крестовым походом на Иерусалим и завоевывает гроб господень, хотя этих героев разделяет бесчисленное число лет? Если же комедия зиждется на вымысле, то зачем мешать с ним события исторические, да к тому же еще происходившие в разные времена и с разными лицами, и все это без единой правдоподобной черты, напротив – с явными ошибками, совершенно недопустимыми? А хуже всего, что находятся невежды, которые утверждают, будто это верх совершенства и будто желать чего-то другого – значит искать птичьего молока. Ну, а комедии божественные<sup>7</sup>? Сколько тут напридумано чудес, которых никогда и не было, сколько событий апокрифических, сколько тут всего напутано, вроде того, что чудеса одного святого приписываются другому! Да и в комедиях светских сочинители осмеливаются изображать чудеса только на том основании и из тех соображений, что чудеса и, как это у них называется, превращения сильно действуют на воображение невежественного люда и привлекают его в театр. И все это делается в ущерб истине, наперекор истории и бросает тень на умы Испании, ибо чужеземцы, строго соблюдающие законы комедии, видя наши нелепости и несуразности, почитают нас за варваров и невежд. Скажут, что основная цель, которую преследуют государства благоустроенные, позволяя публичные зрелища, это доставить обществу невинные увеселения и отвлечь его от дурных

---

1 *«Наказанная неблагодарность»*, *«Нумансия»*, *«Влюбленный купец»*, *«Благородная соперница»* – Первая принадлежит перу Лопе де Вега; третья – валенсийскому поэту и драматургу Гаспару де Агилар (1561–1623), пьеса весьма посредственная; четвертая – валенсийскому драматургу Франсиско Таррега (1554–1602), также в художественном отношении слабая. *«Нумансия»* Сервантеса, написанная, вероятно, в 80-е годы XVI в., не была им включена в сборник драматических произведений, опубликованный в 1615 г.; эта трагедия, равно как и драматические картины *«Алжирские нравы»*, была обнаружена только в XVIII в. и впервые вышла в 1784 г. Обе эти драмы относятся к раннему периоду творчества Сервантеса.

2 *...по словам Туллия...* – то есть Марка Туллия Цицерона, который писал, что комедия должна являться «подражанием жизни» (а не «зеркалом жизни»), «зеркалом нравов и олицетворением истины».

3 *...ни одна из четырех частей света не была бы забыта.* – В то время Австралия как континент еще не была известна.

4 *Пипин* – франкский король. Пипин III Короткий (751–768).

5 *Карл Великий* – король франков (800–814), крупный полководец и завоеватель, значительно расширивший границы своего государства.

6 *Император Ираклий* – византийский император (610–641).

7 *Комедии божественные* – пьесы на сюжеты из житий святых.



наклонностей, праздностью порождаемых, и если, мол, цели этой достигает любая комедия, как хорошая, так и дурная, то и незачем устанавливать правила и стеснять сочинителей и актеров определенными рамками, ибо, как уже было сказано, любая из них назначению своему соответствует, – и все же это не может служить им к оправданию. Я бы на это возразил, что указанная цель была бы гораздо скорее достигнута с помощью не плохих, а хороших комедий: посмотрев комедию замысловатую и отличающуюся искусством в расположении, зритель уйдет из театра, смеясь шуткам, проникшись нравоучениями, в восторге от происшествий, умудренный рассуждениями, предостереженный кознями, наученный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в добродетель, ибо хорошая комедия способна пробудить все эти страсти в любой душе, даже самой грубой и невосприимчивой, и, само собою разумеется, комедия, всеми этими качествами обладающая, должна гораздо больше увеселять и забавлять и доставлять гораздо больше удовольствия и наслаждения, нежели качеств этих лишённая, а таковы почти все современные комедии. И поэты, их сочиняющие, тут ни при чем, ибо некоторые прекрасно видят свои недостатки и отлично понимают, как должно писать, – беда в том, что комедия нынче превратилась в товар, и авторы говорят, и говорят сущую правду, что иного сорта комедию ни один театр у них не купит, и по сему обстоятельству поэт приноравливается к требованиям того театра, который его произведения покупает. В доказательство можно сослаться на бесчисленное множество комедий одного нашего счастливейшего писателя<sup>1</sup>, исполненных такого блеска и живости, столь изящным стихом написанных, содержащих в себе столь здравые рассуждения и столь глубокомысленные изречения, наконец самый слог которых до такой степени изыскан и высок, что слава о них идет по всему свету, и все же из-за того, что автор желает угодить вкусам актеров, далеко не все, а только некоторые из них являют собою перл создания. Прочие же до того небрежно пишут, что после представления актеры из боязни преследований должны бежать и скрываться, как это и бывало уже не раз, когда давалось что-нибудь оскорбительное для короля или же задевающее честь того или иного знатного рода. А ведь подобные безобразия, равно как и многие другие, о которых я говорить не стану, могли бы быть устранены, когда бы в столице кто-либо из людей просвещенных и разумных просматривал все комедии до их представления на сцене, и не только те, которые играны бывают в столице, но и любую комедию, какую только пожелают сыграть где-либо в Испании, и без его одобрения, подписи и печати местные власти не позволяли на сцену ни одной комедии, – таким образом, комедиантам пришлось бы сперва посылать комедии в столицу, зато потом они могли бы уже совершенно спокойно их представлять, а сочинители, боясь строгого суда знатока, стали бы с большею тщательностью и прилежанием над своими комедиями трудиться. И так у нас появились бы хорошие комедии, в полной мере отвечающие своему назначению, то есть они увеселяли бы народ, удовлетворяли лучшие умы Испании и обеспечивали доход и безопасность актеров, власти же были бы избавлены от труда преследовать их. И если бы тому же самому лицу или кому-нибудь другому поручить просмотр вновь выходящих рыцарских романов, то некоторые из них достигли бы того совершенства, о коем ваша милость мечтает: они обогатили бы наш язык пленительными и бесценными сокровищами красноречия, так что блеск старых романов померкнул бы при свете только что вышедших, и послужили бы невинным развлечением не для одних праздных, но даже для наиболее знатных людей, ибо как тетива лука не может быть постоянно натянута, так же точно и природа человеческая по слабости своей в дозволенном нуждается увеселении.

В этом месте беседу каноника со священником прервал цирюльник; нагнав их, он сказал священнику:

– Сеньор лицензиат! Вот то место, где и нам, как я уже говорил, не худо было бы поползничать, и волы найдут себе пастбище, обильное свежей травой.

---

<sup>1</sup> ...бесчисленное множество комедий одного нашего счастливейшего писателя... – намек на Лопе де Вега. В составленном Лопе де Вега списке пьес, написанных им с конца 80-х годов XVI в. до 1602 г., числится 219 драматических произведений.

– И я того же мнения, – заметил священник.

Он сообщил о своем намерении канонику; каноник, прельщенный видом на роскошную долину, который открывался его глазам, сказал, что он тоже здесь остановится. И вот, чтобы насладиться этим видом, а также беседою со священником, к которому он почувствовал расположение, а также чтобы узнать во всех подробностях о подвигах Дон Кихота, велел он нескольким своим слугам дойти до постоялого двора, находившегося неподалеку отсюда, и принести для всех чего-нибудь съестного, ибо полдничать он намерен-де тут; слуга же ему на это сказал, что обозный их мул, уж верно, теперь на постоялом дворе, снеси же на нем, дескать, довольно, так что на постоялом дворе придется купить только овса для мулов.

– Когда так, – сказал каноник, – отведите туда всех наших мулов, а сюда приведите обозного.

Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что священник с цирюльником, которые казались ему подозрительными, отлучились и что теперь ему самое время побеседовать с Дон Кихотом, приблизился к клетке, где сидел его господин, и сказал:

– Сеньор! Для очистки совести я должен с вами поговорить насчет вашей заколдованности. Дело состоит в том, что вон те, в масках, не кто иные, как священник из нашего села и цирюльник. И мне сдается, что это они из зависти надумали так увезти вас: потому славные ваши подвиги не дают им спать. Если же мое предположение справедливо, то выходит, что вас не заколдовали, а оплели и околпачили. В подтверждение сего я намерен спросить у вас одну вещь, и коли вы мне ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и поймете, что вы не заколдованы, а просто-напросто спятили.

– Спрашивай что угодно, сын мой Санчо, – сказал Дон Кихот, – я удовлетворю твое любопытство и отвечу на все вопросы. А что касается того, будто те двое, которые едут с нами, – священник и цирюльник, наши знакомые и соотчичи, то вполне может статься, что они тебе таковыми кажутся, но ты ни в коем случае не должен думать, что это взаправду и на самом деле так. Ты должен думать и должен понять, что если они, по-твоему, похожи на священника и цирюльника, значит, те, кто меня околдовал, приняли образ их и подобие, – ведь волшебникам ничего не стоит принять любой облик, – облик же наших друзей они приняли для того, чтобы заставить тебя думать так, как ты на самом деле и думаешь, и завести тебя в лабиринт мечтаний, из которого тебе не выбраться, хотя бы в руках у тебя была Тезеева нить. И еще для того они это сделали, чтобы рассудок мой помутился и я не мог догадаться, откуда на меня свалилось это несчастье, ибо если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник из нашего села, а с другой стороны, я вижу, что меня держат в клетке, и твердо знаю, что только силам сверхъестественным, но никак не человеческим дано посадить меня в клетку, то могу ли я что-нибудь еще сказать или подумать, кроме того, что способ, каким меня околдовали, превосходит все, что мне приходилось читать в книгах о том, как очаровывали странствующих рыцарей? И по сему обстоятельству ты смело можешь про это забыть и не думать, ибо они такие же священник и цирюльник, как я турок. А вот ты хотел о чем-то меня спросить – это пожалуйста, я тебе на все отвечу, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.

– Пресвятая богородица! – истошным голосом завопил Санчо. – Неужто вы, ваша милость, такая тупица и такой бестолковый, что не понимаете, насколько я прав и что в вашем пленении и злополучии повинно более коварство, нежели волшебство? Ну да ладно, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не заколдованы. Итак, ответьте мне, и да избавит вас творец от этой напасти, и хоть бы уж вы в один прекрасный день очутились наконец в объятиях сеньоры Дульсинеи!

– Полно тебе заклинать меня, – сказал Дон Кихот, – спрашивай, что тебе надобно, я же тебе сказал, что дам самый точный ответ.

– Об этом-то я и прошу, – заметил Санчо, – и хочу, чтобы вы мне сказали по чистой совести, ничего не прибавляя и не опуская, как, чаятельно, должны говорить и говорят все, кто подвизается на ратном поприще, как, например, вы, ваша милость, и носит звание

странствующего рыцаря...

– Говорят тебе, я не стану лгать, – сказал Дон Кихот. – Спрашивай же наконец, – честное слово, Санчо, ты мне надоел со своими мольбами, предисловиями и подходами.

– А я говорю, что честность и правдивость моего господина для меня несомненны. Так вот, коли уж к слову пришлось, хочу я у вас спросить, извините за выражение, не было ли у вашей милости охоты и желания, когда уже вас посадили в клетку и, по вашему разумению, заколдовали, сходить, как говорится, за большой или же за малой нуждой?

– Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся яснее, если желаешь, чтобы я дал тебе прямой ответ.

– Неужто ваша милость не понимает, что значит малая и большая нужда? Да ведь это грудному ребенку ясно. Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать нечто такое, чего нельзя избежать?

– А, понимаю, Санчо! Много раз, и сейчас вот хочется. Пожалуй, выручи меня из беды, а то у меня тут не все в порядке!

## Глава XLIX,

*в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансою и его господином Дон Кихотом*

– Ага! – воскликнул Санчо. – Вот я вас и поймал, это-то мне и хотелось узнать, смерть как хотелось. Послушайте, сеньор, неужто вы станете отрицать, что когда человеку нездоровится, то про него обыкновенно говорят так: «Не знаю, что с ним такое, не ест, не пьет, не спит, отвечает невпопад, точно кто его околдовал?» Стало быть, которые не едят, не пьют, не спят и не отправляют помянутых мною естественных потребностей, те и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, которому хочется того, чего хочется вашей милости, который пьет, когда ему дают, кушает, когда у него что-нибудь есть, и отвечает на любые вопросы.

– То правда, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Но я уже тебе говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, что с течением времени одни сменялись другими и что ныне применяется такой, при котором заколдованные делают все, что делаю я и чего не делали прежде. Так что против духа времени идти не стоит и не к чему делать отсюда какие-либо выводы. Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокойна, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что я не заколдован, а просто от лени и из трусости не выхожу из клетки и тем самым лишаю защиты многих обездоленных и утесненных, в моей помощи и заступлении в этот самый час крайнюю и насущную необходимость испытывающих.

– Как бы то ни было, – возразил Санчо, – для вящего благоденствия и спокойствия вашей милости хорошо, если бы вы постарались выйти из этой темницы, – а я, со своей стороны, обязуюсь сделать все от меня зависящее и даже собственноручно извлечь вас отсюда, – и попробовали снова сесть на доброго своего Росинанта, который тоже, как видно, заколдован: вон он какой грустный и унылый, а потом мы опять попытаем счастья и поищем приключений. Если же нам не повезет, то вернуться в клетку мы всегда успеем, и я обещаю вам, как подобает доброму и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе с вашей милостью в случае, если вы, ваша милость, окажетесь таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ничего не получится.

– Я не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат Санчо, – заметил Дон Кихот, – и чуть только ты найдешь возможным освободить меня, я окажу тебе полное и совершенное повиновение. И все же ты удостоверись, Санчо, в ошибочности своего представления о моем несчастье.

В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь и его оруженосец, за которым тоже водились странности, и наконец прибыли туда, где, уже спешившись, их поджидали

священник, каноник и цирюльник. Возница тотчас распряг волов и пустил их погулять на свободе в этом зеленом и приветном поле, коего прохлада манила насладиться ею не таких заколдованных личностей, как Дон Кихот, а таких рассудительных и благоразумных, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на минуточку из клетки: если его-де не выпустят, то в тюрьме будет не столь опрятно, как того требует присутствие такого рыцаря, каков его господин. Священник понял Санчо и сказал, что он весьма охотно исполнил бы эту просьбу, если бы не боялся, что Дон Кихот, очутившись на свободе, снова примется за свое – и только, мол, его и видели.

– Я ручаюсь, что он не убежит, – сказал Санчо.

– Я тоже, – сказал каноник, – в особенности, если он даст мне слово рыцаря без нашего позволения никуда отсюда не уходить.

– Даю, – молвил Дон Кихот, который слышал весь этот разговор. – Тем более что человек заколдованный, как, например, я, собою не располагает, – тот, кто его заколдовал, может сделать так, что он триста лет простоит на одном месте, а если и убежит, то его все равно вернут обратно по воздуху.

А коли так, то его, дескать, смело можно выпустить, – им же, дескать, будет лучше; если же они на это не согласны, то пусть отойдут в сторону, в противном случае он объявляет во всеобщее сведение, что принужден будет оскорбить их обоняние.

Каноник взял его руку, – руки же у Дон Кихота были связаны, – и под честное слово выпустил его из клетки, чему тот несказанно и чрезвычайно обрадовался; прежде всего он потянулся, а затем приблизился к Росинанту и, огладив его, сказал:

– Я все же надеюсь, что господь и пречистая его мать скоро исполнят наши с тобой желания, о цвет и зеркало коней, и ты снова будешь возить на себе своего господина, а я, верхом на тебе, снова примусь за дело, ради которого господь бог произвел меня на свет.

Сказавши это, Дон Кихот удалился вместе с Санчо в укромное местечко и вернулся облегченный, горя желанием осуществить замысел своего оруженосца.

Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность великого этого безумия поражала его, ибо все рассуждения и ответы Дон Кихота были исполнены здравого смысла; только если дело касалось рыцарства, он, как уже не раз было сказано, начинал нести околесную. И вот, когда в ожидании имевшихся у каноника съестных припасов все расположились на зеленой травке, он, проникшись к Дон Кихоту состраданием, заговорил с ним:

– Неужели, сеньор идальго, чтение тошнотворных и пустопорожних рыцарских романов так на вас подействовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь далека от истины? И как мог человеческий разум допустить, что была когда-то целая прорва всяких Амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти императоры Трапезундские, Фелисмарты Гирканские, иноходцы, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы-графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины – словом, всякий вздор, коим набиты рыцарские романы? О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое удовольствие, но как скоро я себе представляю, что это такое, то мне тогда ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и новые правила жизни<sup>1</sup>; ибо невежественная чернь верит всей этой ерунде и принимает ее за истину. И сочинители этих романов еще имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и везти на волах, подобно как возят с места

---

<sup>1</sup> *...они создают новые секты и новые правила жизни...* – Во второй половине XVII в. инквизиция обнаружила «еретические» элементы в «Амадисе Галльском».

на место тигров и львов и показывают их за деньги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лоно разума, обратите ко благу тот светлый ум, коим небо вас наделило, и употребите счастливейшие способности ваши на иного рода чтение, которое послужит вам к чести и на пользу вашей душе. Если же, несмотря ни на что, вследствие природной склонности, вас потянет к книгам о подвигах и о рыцарских поступках, то откройте Священное писание и прочтите *Книгу Судей*: здесь вы найдете великие и подлинные события и деяния столь же истинные, сколь и отважные. В Лузитании<sup>1</sup> был Вириат<sup>2</sup>, в Риме – Цезарь, в Карфагене – Ганнибал, в Греции – Александр, в Кастилии – граф Фернан Гонсалес<sup>3</sup>, в Валенсии – Сид<sup>4</sup>, в Андалусии – Гонсало Фернандес<sup>5</sup>, в Эстремадуре – Дьего Гарсия де Паредес, в Хересе – Гарсия Перес де Варгас, в Толедо – Гарсиласо, в Севилье – дон Мануэль де Леон, и повесть об их доблестных подвигах способна развлечь, обогатить познаниями, усладить и удивить самые высокие умы. Вот это чтение, и правда, достойно светлого ума вашей милости, сеньор Дон Кихот: благодаря такому чтению вы будете знать историю, полюбите добродетель, научитесь всему хорошему, станете лучше сами, будете смелым, но не безрассудно, решительным без тени малодушия, – и все во славу божию, себе самому на пользу и к чести Ламанчи, откуда, сколько мне известно, вы, ваша милость, родом.

С чрезвычайным вниманием слушал Дон Кихот рассуждения каноника, и когда тот кончил, он посмотрел на него долгим взглядом и сказал:

– Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша вела речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей никогда не было, будто все рыцарские романы – сплошная выдумка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны, и нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже, что верил им, и совсем худо, что подражал им, избрав тесный путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, ибо, по-вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галльского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творения эти полны.

– Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль, – сказал на это каноник.

А Дон Кихот продолжал:

– К этому ваша милость еще прибавила, что эти романы принесли мне большой вред, ибо из-за них я сошел с ума и попал в клетку, и что мне пора исправиться, переменить род чтения и приняться за другие книги, более правдивые, более усладительные и поучительные.

– Так, – подтвердил каноник.

– Я же, со своей стороны, полагаю, – возразил Дон Кихот, – что безумен и заколдован не я, а ваша милость, ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир признает и почитает за истину, кто же это отрицает, – а ваша милость это отрицала, – тот заслуживает такого же точно наказания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не понравились. Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, который сумеет кому-либо доказать, будто все об инфанте Флорипе и Ги Бургундском<sup>6</sup> и все, что во времена Карла Великого совершил на

---

<sup>1</sup> *Лузитания* – древнее название территории, на которой впоследствии образовалось португальское государство.

<sup>2</sup> *Вириат* – лузитанский пастух, предводитель восстания лузитанцев против римлян (151–140 до н.э.).

<sup>3</sup> *Граф Фернам Гонсалес* – легендарный деятель реконквисты, освободивший Кастилию от власти мавров. Ему посвящены «Поэма о Фернанде Гонсалесе» (XIII в.) и множество романсов.

<sup>4</sup> ...в *Валенсии* – *Сид* – Сид Руй Диас был родом из Бургоса. Прозвище «Сид» он получил после завоевания у мавров Валенсии.

<sup>5</sup> ...в *Андалусии* – *Гонсало Фернандес*. – Речь идет о так называемом «великом полководце» Гонсало Фернандесе Кодовском, который был родом из Монтильи, селения в Андалусии.

<sup>6</sup> *Флорипа и Ги Бургундский* – В одном из сказаний, связанных с Двенадцатью Пэрами Франции, рассказывается о том, что прекрасная Флорипа, дочь мавританского адмирала Балана, оказала у себя приют Двенадцати Пэрам, в том числе и Ги Бургундскому, которого она полюбила.

Мантибльском мосту<sup>1</sup> Фьерабрас, – будто все это неправда, тогда как я душу свою прозаложу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? А коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне, между тем как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, осмелятся также утверждать, что выдумки – история Гварина Жалкого<sup>2</sup> и поиски священного Грааля<sup>3</sup>, что недостоверна любовь Тристана и королевы Изольды<sup>4</sup>, равно как Джиневры и Ланцелота, а между тем еще живы люди, смутно помнящие придворную даму Кинтаньону, которая была лучшим виночерпием во всей Великобритании. Да, это сущая правда, я сам помню, что моя бабушка со стороны отца при встрече с какой-нибудь дуэньей в длинном вдовьем покрывале говорила мне: «Погляди-ка, внучек, как она похожа на придворную даму Кинтаньону». Из этого я заключаю, что она, наверное, знала ее лично или, во всяком случае, видела ее портрет. А кто станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магелоны<sup>5</sup>, когда в королевском арсенале доныне хранится колок, при помощи коего отважный Пьер правил деревянным конем, носившим его по воздуху, – колок чуть побольше дышла? А рядом с колком находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится Роландов рог величиною с громадную балку. Отсюда явствует, что существовали и Двенадцать Пэров, и Пьер, и Сид, и прочие им подобные рыцари, что *стяжали вечну славу поисками приключений*. И пусть мне скажут также, что не было странствующего рыцаря, отважного лузитанца Жоана ди Мерлу<sup>6</sup>, который ездил в Бургундию и сражался в городе Аррасе с достославным сеньором де Шарни, известным под именем мосена Пьера, а затем в городе Базеле с мосеном Анри де Реместаном, и из обеих схваток вышел победителем и неувядаемо покрыл себя славой, что в той же самой Бургундии не было приключений у отважных испанцев Педро Барбы и Гутьерре Кихады<sup>7</sup> (от коего я происхожу по мужской линии), которые бросили вызов сыновьям графа де Сен-Поля и одолели их. Пусть попробуют также отрицать, что дон Фернандо де Гевара<sup>8</sup> ездил искать приключений в Германию и переведался с мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Скажут еще, пожалуй, что всё враки: и турнир Суэро де Киньонеса, описанный в *Честном бою*<sup>9</sup>, и единоборство мосена Луиса де Фальсеса<sup>10</sup> с Гонсало де Гусманом, рыцарем кастильским, а равно и все многочисленные подвиги, совершенные рыцарями-христианами, как нашими, так и иноземными, подвиги действительные и несомненные, так что я еще раз повторяю: кто их отрицает, у того нет ни

---

1 *Мантибльский мост* – согласно тем же сказаниям, находился во владениях упомянутого Балана, его охранял свирепый великан Галафр.

2 *Гварин Жалкий* – герой итальянского рыцарского романа (XIII в.).

3 *Священный Грааль* – согласно средневековым сказаниям, чудодейственная чаша из цельного алмаза, в который якобы собрана была кровь распятого Христа. В многочисленных рыцарских сказаниях и романах рассказывается о подвигах и самопожертвовании рыцарей, отправлявшихся на поиски этой чаши.

4 *Тристан и королева Изольда* – герои средневековых рыцарских поэм и романов (XI–XII вв.), в которых описывается любовь Изольды, жены корнуэльского короля Марка и племянника короля Тристана.

5 *Пьер и прекрасная Магелона* – герои французского рыцарского романа «История прекрасной Магелоны, дочери короля неаполитанского, и Пьера, сына короля провансальского» (XIII в.).

6 *Жоан ди Мерлу* – португальский дворянин, который в 1433 г. отправился в другие страны помериться силами с чужестранными рыцарями.

7 *Педро Барба, Гутьерре Кихада* – испанские рыцари, предпринявшие в 1435 г. путешествие в другие страны с той же целью, что и ди Мерлу.

8 *Фернандо де Гевара* – испанский дворянин; сражался на поединке с австрийским рыцарем Георгом в Вене в 1436 г.

9 ...в *Честном бою* – точнее, в «Книге о честном бое Суэро де Киньонеса», написанной Перо Родригесом де Лена, очевидцем турнира, и спустя почти столетие переработанной и выпущенной в свет Хуаном де Пинеда (1588). Необыкновенный бой, о котором рассказывается в этой книге, возник по почину Суэро де Киньонеса, который дал обет носить на шее железное кольцо в знак того, что он пленен красотой своей возлюбленной. Чтобы освободиться от этого обета, он предложил биться вместе с девятью своими друзьями с любым рыцарем, соотечественником или чужестранцем, защищая проход через мост в шести милях от Леона. В этой дуэли участвовало множество рыцарей.

10 *Мосен Луис де Фальсе* – наваррский рыцарь, сражавшийся на поединке с кастильским рыцарем Гонсало де Гусманом в 1428 г.

разума, ни здравого смысла.

Каноника удивило то, как мешается у Дон Кихота правда с ложью и какую осведомленность обнаруживает он во всем, что касается деяний его любимого странствующего рыцарства и имеет к ним отношение, и обратился он к нему с такими словами:

– Не могу не признать, сеньор Дон Кихот, что в словах вашей милости есть доля истины, особливо в том, что вы говорили об испанских странствующих рыцарях. Равным образом я готов согласиться, что Двенадцать Пэров Франции существовали, однако ж я не могу поверить, что они совершили все, что о них пишет архиепископ Турпин; истина заключается лишь в том, что то были рыцари, коих избрали французские короли и назвали *пэрами*<sup>1</sup>, потому что все они были одинаково доблестны, родовиты и отважны, – во всяком случае, они должны были быть таковыми, – это было нечто вроде нынешнего ордена апостола Иакова или же ордена Калатравы; предполагается, что вступающие в них суть и должны быть доблестными, отважными и благородного происхождения. И как ныне говорят: *рыцарь ордена Иоанна Крестителя* или же *ордена Алькантары*<sup>2</sup>, так же точно говорили тогда: *рыцарь ордена Двенадцати Пэров*, ибо все двенадцать, для этого военного ордена избранные, были равны между собой. Разумеется, что самое существование Сида, а также Бернардо дель Карпью сомнению не подлежит, а вот рассказы об их подвигах вызывают у меня как раз большое сомнение. Что же касается колка, который, по словам вашей милости, принадлежал графу Пьеру и вместе с седлом Бабьеки хранится в королевском арсенале, то уж тут я свой грех признаю: не то по своему невежеству, не то по слабости зрения, седло-то я разглядел, а колка не заметил, даром что он, как говорит ваша милость, такой большущий.

– Да нет же, он там, без всякого сомнения, – возразил Дон Кихот. – И вот еще приметав говорят, что, дабы он не заржавел, его положили в телячьей кожи футляр.

– Все может быть, – заметил каноник, – однако же, клянусь моим саном, не помню я, чтоб он мне попался. Но положим даже, он там, – из этого не следует, что я обязан относиться с доверием к рассказам о всяких Амадисах и о тьме-тьмущей других рыцарей, о которых мы читаем в романах, а вам, ваша милость, человеку столь почтенному, таких превосходных качеств и столь светлого ума, не должно принимать за правду все те необычайные сумасбродства, о которых пишут в этих вздорных романах.

## Глава L

*Об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом и каноником, равно как и о других событиях*

– Вот так так! – воскликнул Дон Кихот. – Значит, книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и старыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, и плебейскими и дворянами, словом, людьми всякого чина и звания, – сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место рождения, возраст того или иного рыцаря, и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь и подвиги с неизменным указанием места, где они были совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам преподал, должен последовать всякий разумный человек, – лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие

---

<sup>1</sup> Пэр – по-французски равный.

<sup>2</sup> Орден: апостола Иакова (Сантьяго), Калатравы, Алькантары – духовно-рыцарские ордена, возникшие в Испании в начальный период Реконквисты; орден Иоанна – иоанниты.

другие страшные и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глубокой тоски: *«Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, тающиеся и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обретаются пучине»?*



Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что небо здесь прозрачнее, солнечный свет – первозданной яркости, глазам открывается уютная роща, где зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких птишек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, коего прохладные струи, текучему хрустально подобные, бегут по мелкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбросанные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики улиток попеременно с кусочками блестящего хрустала и поддельными изумрудами вместе составляют причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, коего стены – литого золота, зубцы – алмазы, ворота – из гиацинта, и хотя он сложен не из чего-нибудь, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка вящего удивления достойна. Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве девушек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то никогда бы не



кончил, и как самая из них, по-видимому, главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурлящее озеро, молча отведет его в дивный чертог или же замок, велит ему сбросить одежды, омоет его теплой водой, умастит его тело благовонными мазями, наденет на него легчайшей ткани сорочку, надушенную и благоухающую, а затем другая девушка накинёт ему на плечи плащ, который, самое меньшее, стоит столько, сколько целый город, а то и дороже? Еще что увидим мы? Разве то, как после этого, – рассказывают нам, – его поведут в другую палату, где так красиво накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему множество яств, столь вкусно приготовленных, что алкание не знает, к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со столов уберут, посмотреть еще разве, как рыцарь развалится в креслах и по привычке, чего доброго, начёт ковырять в зубах, а тут невзначай войдет девица краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет рассказывать, какой это замок, как ее здесь заколдовали и о многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а читателей этой истории в восторг? Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях способна доставить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении духа. О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в долгом времени стать королем, и тогда все увидят, сколь я отзывчив и щедр, ибо, по чести, сеньор, щедрость – это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя бы она была ему в высшей степени сродни, отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал, – вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал эти последние слова своего господина и сказал ему:

– Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять, – буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так я и сделаю: морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как хотят.

– Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо, – возразил каноник, – но суд чинить обязан сам владелец имения, и вот тут-то и необходимы смекалка и здравый смысл, а главное – искреннее желание решить дело по справедливости: ведь если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце выйдет путаница, ибо господь споспешествует благим желаниям простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

– Эта философия – не моего ума дело, – заметил Санчо Панса. – Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж управлять-то я им сумею – души у меня столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не хуже любого короля, став же королем в своем имени, я буду делать, что хочу, делая же, что хочу, я буду жить в свое

удовольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху блаженства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей графство, а там – слепой сказал: «Посмотрим».

– Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, однако ж со всем тем графство – это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:

– А что тут, собственно, такого темного? Я лично руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал своего оруженосца графом острова Материкового, – следовательно, я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей состояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключение Рыцаря Озера, и то впечатление, которое произвели на него хитросплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало каноника простодушие Санчо, который так страстно желал получить графство, обещанное ему его господином. Тем временем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на постоянный двор за обозным мулом и чтобы возница, как уже было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все расположились в тени деревьев и принялись за еду, причем обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот во время трапезы внезапно услышали они сильный шум и звон бубенчиков, доносившийся сквозь густые заросли, и вслед за тем из чащи выскочила хорошенькая беленькая козочка с черными и рыжими пятнами. За нею бежал пастух и, пытаясь удержать ее и вернуть обратно в стадо, кричал так, как обыкновенно в таких случаях кричат пастухи. Беглянка в страхе и ужасе бросилась к людям, как бы ища у них защиты, и подле них остановилась. Пастух настигнул ее, схватил за рога и заговорил с ней, как с существом мыслящим и разумным:

– Ах, дикарка, дикарка, Пеструшка, Пеструшка! Что это ты последние дни все балуешь? Что тебя, дочка, волки напугали, что ли? Да скажи же мне, красавица, что с тобой приключилось? А, да что с тобой могло приключиться, – просто-напросто ты женского пола и потому не можешь быть спокойна, чтобы черт побрал твой нрав и нрав всех женщин без исключения! Воротись, воротись, милуша! Коли загон тебе не по сердцу, так, по крайности, там безопаснее и притом с подругами. Ведь тебе надлежит блюсти их и указывать им дорогу, а уж коли ты сама мечешься, не разбирая дороги, то что же будет с ними?

Речь козопаса всем доставила удовольствие, особенно канонику, который обратился к нему с такими словами:

– Успокойся, ради бога, любезный, и не торопись загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выражаешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее удержать, она принуждена следовать природному своему влечению. Возьми-ка вот этот кусочек и выпей вина, – гнев твой утихнет, а козочка тем временем отдохнет.

Сказавши это, каноник тотчас протянул козопасу на кончике ножа кусок холодного кролика. Козопас взял и поблагодарил каноника; затем выпил вина, успокоился и сказал:

– Мне бы не хотелось, чтоб из-за того, что я с этой животиной вел такую разумную речь, ваши милости приняли меня за дурачка, – признаться, в моих словах есть скрытый смысл. Я хоть и деревенский житель, однако ж не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и животными.

– Охотно этому верю, – заметил священник, – я знаю по опыту, что горы вскармливают ученых, а в пастушеских хижинах скрываются философы.

– Во всяком случае, сеньор, они служат пристанищем людям, изведавшим свет, – сказал козопас. – И чтобы вы признали эту истину и могли осознать ее, – если только это вас, сеньоры, не затруднит и вы ничего не имеете против, хотя может показаться, что я, незванный, напрашиваюсь сам, – уделите мне, пожалуйста, минутку внимания, и я расскажу вам об одном истинном происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор, – тут он указал на священника, – и я.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Дабы удостовериться, что этот случай имеет нечто общее с рыцарскими приключениями, я буду слушать тебя, мой любезный, весьма охотно, как, впрочем, и все эти сеньоры, ибо они люди умные и любители занятных историй, повергающих в изумление, веселящих и тешащих душу, каков именно – я в этом не сомневаюсь – твой рассказ. Итак, начинай, друг мой, мы все тебя слушаем.

– Чур не я, – отозвался Санчо, – я с этим пирогом пойду к ручью и постараюсь наесться дня на три, потому со слов господина моего Дон Кихота я знаю, что оруженосец странствующего рыцаря, когда ему представится случай, должен наесться до отвала по той причине, что ему нередко случается попадать в дремучие леса, откуда и через неделю не выберешься, так что ежели человек не наестся и не набьет, как следует быть, суму, то может там и остаться, как это уже не раз бывало, и умереть с голоду.

– Твоя правда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – иди, куда хочешь, и ешь, сколько можешь, а я уже насытился, и теперь мне остается лишь напитать душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго человека.

– Мы все испытываем потребность напитать душу, – сказал каноник.

Затем он попросил пастуха начать обещанный рассказ. Пастух, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

– Ляг подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вернуться к стаду.

Козочка как будто поняла его, – когда хозяин сел, она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть ему прямо в лицо, словно желая показать, что она внимательно его слушает, а он начал свой рассказ так:

## Глава LI,

*в коей приводится все, что козопас рассказал сопровождавшим Дон Кихота*

– В трех милях от этой долины стоит село, хоть и небольшое, да зато одно из самых богатых во всей округе. Жил в этом селе один весьма почтенный крестьянин, столь почтенный, что, хотя обыкновенно людям оказывают почет за богатство, его почитали не столько за богатство, сколько за качества души. Однако ж, по собственному его признанию, наивысшее свое счастье он полагал в том, что у него есть дочь такой необычайной красоты, столь редкого ума, столь прелестная и столь добродетельная, что всякий, кто только знал ее и видел, дивился тем необыкновенным щедротам, какими небо совместно с природою ее осыпало. Она еще в детстве была красива, потом все хорошела и хорошела, и в шестнадцать лет она была уже просто красавицей. Слава об ее красоте шла по всем окрестным селениям, – да что я говорю: по окрестным! – отдаленных городов достигла она, проникла в королевские палаты и достигла слуха людей всякого звания, и они со всех сторон стали съезжаться, чтобы посмотреть на нее, ровно на какую диковину или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама себя оберегала, ибо никакие замки, сторожа и засовы так не уберегут девушку, как строгие ее правила.

Богатство отца и красота дочери побудили многих, и односельчан и приезжих, просить ее руки, но отец, коему надлежало распорядиться такой драгоценностью, пребывал в нерешительности и не знал, за кого из бесчисленного множества женихов предпочтительнее ее отдать. В числе тех, кто лелеял сладкую эту мечту, был и я, и я имел основание питать большие надежды на успех, ибо отец меня знал: знал, что я его односельчанин, что в жилах моих течет чистая кровь, что я в цветущей поре, дом мой – полная чаша и умом я горазд. Но за нее стал свататься и другой наш односельчанин, обладавший такими же точно достоинствами, и вот тут-то отец смутился и заколебался, ибо ему казалось, что дочь его и с тем и с другим может быть счастлива. И вот, полагая, что коли мы равны между собой, то пусть лучше любезная его дочь сама выберет, кто ей более по сердцу, порешил он, чтобы выйти из затруднительного этого положения, обо всем рассказать Леандре – так зовут ту богачку, которая довела меня до такого убожества, – и тем подал пример, коему должны

следовать все родители, намеревающиеся устраивать судьбу детей своих, – я не хочу этим сказать, чтобы они предоставляли им выбирать среди предметов низких и дурных, а чтобы они предлагали им на выбор хорошие, а те чтоб из хороших выбирали по собственному желанию. Не знаю, какое желание изъявила Леандра, только в беседе со мной и моим соперником отец отговорился молодостью дочери, а затем сказал несколько самых общих слов: его они ни к чему не обязывали, а между тем мы все же не могли считать себя свободными. Соперника моего зовут Ансельмо, а меня – Эухеньо, – итак, теперь вы знаете имена действующих лиц этой трагедии, коей развязка еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной.

На ту пору к нам прибыл некий Висенте де ла Рока, сын бедного земледельца, нашего односельчанина, – он возвратился из похода по Италии и другим странам. Его еще двенадцатилетним мальчиком увел из нашего селения один военачальник, коему со своим полком случилось здесь проходить, а возвратился он юношей двадцати четырех лет, в разноцветной военной форме, увешанный всякими стекляшками и тонкими стальными цепочками. Нынче на нем одна побрякушка, завтра, смотришь, другая, но все это такое тоненькое, пестрое, небольшого весу и еще меньших размеров. Сельчане и так-то лукавый народ, а уж на досуге они прямо само лукавство, – вот они подметили и сосчитали, сколько у него всяких нарядов и украшений, и оказалось, что у него всего только три платья разных цветов, с подвязками и чулками, но он столь изобретательно их перетасовывал, что если б их не сосчитали, то можно было бы поклясться, что у него более десяти платьев и не менее двадцати перьев для шляпы. Но только я вас прошу: не примите за назойливую болтливость то, что я так подробно рассказываю про его одеяние, – в моей истории оно играет роль немаловажную.

Садился он обыкновенно на скамье под большим тополем на нашей деревенской площади и рассказывал нам про свои подвиги, а мы слушали его, разинув рот и стараясь не проронить ни единого слова. Не было такой страны во всем подлунном мире, которой бы он не повидал, не было сражения, в котором бы он не участвовал. Мавров он перебил больше, чем можно их сыскать во всем Марокко и Тунисе, а поединков, по его словам, у него было больше, чем у Ганте, Луны, Дьего Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, которых он упоминал, и изо всех-то боев выходил он победителем, не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал рубцы, и хотя различить их было нельзя, однако ж он уверял, что это следы аркебузных пуль, которые в него попадали во время сражений и стычек. Держал он себя развязно, с невиданной наглостью, и хвастал, что его рука – вот его родная мать, его дела – вот его родословная и что когда он в солдатском мундире, то ему и король не король. Самоуверенность его питалась еще тем, что он был немного музыкантом и так умел брэнчать на гитаре, что, как уверяли некоторые, гитара у него прямо так и разговаривала. Но этого мало: он обладал еще даром стихотворца и по поводу всякой безделицы, случавшейся в нашем селе, сочинял романсы в полторы мили длиной.

И вот этого-то самого солдата, которого я вам описал, этого самого Висенте де ла Рока, этого удальца, этого франта, этого музыканта, этого стихотворца, не раз видела и созерцала Леандра из окна своего дома, выходящего на площадь. Мишура пышных его нарядов ослепила ее, его романсы, которые он переписывал и раздавал направо и налево, очаровали ее, молва об его подвигах, о которых он сам всем рассказывал, достигла ее слуха, – словом, уж верно, так устроил дьявол, но только она в него влюбилась прежде, нежели ему самому вспало на ум за нею ухаживать. А как сердечные дела быстрее всего идут к развязке, когда к ней стремится и женщина, то Леандра и Висенте столкнулись без труда, и прежде, нежели кто-либо из многочисленных ее поклонников проведал об ее намерении, она уже привела его в исполнение: оставила дом горячо любимого своего отца, – матери у нее нет, – и бежала из нашего села с солдатом, который в этом деле добился большего успеха, нежели во множестве тех, которые он себе приписывал. Происшествие это привело в изумление все наше село и всех, до кого дошла эта весть. Я был растерян, Ансельмо поражен, отец опечален, его родня оскорблена, блюстители порядка в хлопотах, стражники сбивались с ног.

Обрыскали все дороги, обшарили леса и все, что только возможно, и через три дня нашли своенравную Леандру в пещере, – она была в одной сорочке, крупной суммы денег и драгоценностей, которые она взяла с собой из дому, при ней не оказалось. Ее привели к несчастному отцу, стали спрашивать, как с ней случилась эта беда, и она добровольно созналась, что Висенте де ла Рока обманул ее и, давши слово жениться, сманил из отчего дома: он-де увезет ее в самый богатый и самый веселый город, какой только есть на белом свете, а именно в Неаполь, и она по неопытности далась в обман и поверила ему; и, обокрав отца, она ушла с Висенте в ту самую ночь, как исчезла из дому, он же привел ее на крутую гору и заточил в той самой пещере, где ее потом и нашли. Рассказала она еще, как солдат, не покусившись на ее честь, ограбил ее и бросил в этой пещере, а сам убежал, каковое обстоятельство снова привело всех в изумление. Трудно было поверить, сеньор, в воздержание этого молодца, но она так твердо на том стояла, что неутешный отец в конце концов утешился и, уверившись, что у дочери не отняли той драгоценности, которую, однажды утратив, восстанавливать уже безнадежно, забыл и думать о похищенных у него богатствах. В тот же день, когда Леандра предстала пред очи отца, он, скрыв ее от наших очей, в надежде, что время хоть отчасти поглотит дурную славу, которую она сама о себе создала, усладил ее в городской монастырь. Молодость Леандры служила ей оправданием, по крайней мере, в глазах тех, которым было безразлично – хороша она или плоха, но те, кому ведомы были ее рассудительность и светлый ум, объясняли ее проступок не неопытностью, но легкомыслием, а также отличительными особенностями женской натуры, то есть опрометчивостью и нескромностью.

Когда Леандру заточили в монастырь, очи Ансельмо ни на что уже более не глядели – во всяком случае, ничто уже не тешило его взора, – и для моих очей также настала ночь: свет в них померкнул и уже не озарял ничего отрадного. В разлуке с Леандрой росла наша тоска, истощалось наше терпение, мы проклинали франтовство солдата и презирали отца Леандры за то, что он был недостаточно бдителен. В конце концов мы с Ансельмо уговорились оставить село и отправиться в эти луга, и здесь он пасет изрядное количество собственных овец, я же – огромное стадо коз, моих собственных, и живем мы среди дерев, давая полную волю нашим чувствам: то вместе восславляем прелестную Леандру, то осуждаем ее или же в одиночку вздыхаем и, каждый наедине с самим собою, воссылаем жалобы к небу. По нашему примеру многие другие поклонники Леандры устремились в эти скалистые горы и занялись тем же, чем и мы. И столько их собралось, что местность эта точно превратилась в пастушескую Аркадию, ибо здесь полно пастухов и загонов, и нет такого уголка, где бы не было слышно имени прелестной Леандры. Этот проклинает ее и называет взбалмошной, ветреной и бесчестной, тот обвиняет ее в податливости и легкомыслии, один оправдывает и прощает ее, другой осуждает и порицает, кто восторгается ее красотой, кто хулит ее нрав – словом, все поносят ее и все боготворят, и до того доходит это безумие, что сетуют на то, что она их отвергла, даже те, которые с ней не сказали двух слов, а иные ропщут и испытывают дикие муки ревности, хотя она ни в ком не могла ее возбудить, ибо, как я уже сказал, прежде стал известен ее проступок, а потом уже ее страсть. Нет ни одной теснины, ни берега ручья, ни древесной сени, где бы кто-нибудь из пастухов не поверял ветру свои злключения, эхо повторяет имя Леандры всюду, где только оно раздастся, *Леандра* – рокочут горы, *Леандра* – лепечут ручьи, Леандра всех нас держит в состоянии неизвестности и замороженности, мы безнадежно надеемся и страшимся сами не знаем чего. Изо всех этих сумасбродов наименее и в то же время наиболее рассудительным представляется соперник мой Ансельмо, ибо, имея так много причин для жалоб, он жалуется лишь на то, что Леандра далеко, и под звуки равеля, на котором он чудесно играет, изливает свои жалобы в песнях, свидетельствующих о здравом его уме. Я иду другим путем, более легким и, как мне кажется, более разумным, а именно: обличаю легкомыслие женщин, их непостоянство, их двуличие, пустоту их обещаний, их вероломство, наконец, их неосмотрительность в выборе предмета мыслей своих и мечтаний. И теперь вам, сеньоры, должны быть понятны те слова и те речи, с которыми я обращался к моей козочке, когда подходил к вам: она – женского пола, и потому я ставлю

ее невысоко, хотя она и лучшая коза во всем моем стаде. Вот и все, что я обещал вам рассказать. Если я был слишком многословен, то и угощение мое также не будет скудным: загон мой близко, а там у меня и свежее молоко, и отменный сыр, и спелые плоды, приятные и на вид и на вкус.

## Глава LII

*О стычке Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с бичующимися, которое Дон Кихот, изрядно попотев, довел до победного конца*

Рассказ пастуха всем слушателям понравился; однако ж наибольшее удовольствие пастух доставил канонику, который особенно был поражен его манерой рассказывать, обличавшей в нем скорее просвещенного жителя столицы, нежели деревенского пастуха, а потому каноник сказал, что он вполне согласен со священником, что горы вскармливают ученых. Все стали предлагать Эухенью свои услуги; при этом наибольшее великодушие выказал Дон Кихот, ибо он молвил так:

– Даю тебе слово, брат пастух, что если б я имел возможность отправиться на поиски приключений, то я, не задумываясь, пустился бы в путь, дабы устроить так, чтобы с тобою ничего уже более не приключалось худого: я увез бы Леандру из монастыря (где ее, вне всякого сомнения, держат насильно), невзирая на настоятельницу и на всех, кто вздумал бы этому воспрепятствовать, и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с ней по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспрещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды. Впрочем, я уповаю на господа бога и верю, что власть зловердного волшебника не так сильна, как власть волшебника благонамеренного, и на будущее время я обещаю тебе мою помощь и покровительство, к чему меня обязывает данный мною обет, который как раз и состоит в том, чтобы заступаться за беспомощных и обездоленных.

Козопас поглядел на Дон Кихота и, подивившись убогому его наряду и подозрительному обличью, спросил сидевшего с ним рядом цирюльника:

– Сеньор! Кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит?

– Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ламанчский, – отвечал цирюльник, – искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле?

– Это мне напоминает то, о чем пишут в книгах о странствующих рыцарях, – заметил козопас, – они делали то же самое, что ваша милость рассказывает про этого человека, но только мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто.

– Ты изрядный негодяй, – сказал на это Дон Кихот, – и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет.

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос; пастух шутить не любил, к тому же он почувствовал, что за него самого взялись не в шутку, а по-настоящему, – не обращая внимания ни на ковер, ни на скатерть, ни на обедающих, он бросился на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и, уж верно, не остановился бы перед тем, чтобы задушить его, когда бы в это самое время не подоспел Санчо Панса, не схватил его за плечи и, давя блюда, сокрушая чаши и расплескивая и разбрызгивая их содержимое, вместе с ним не повалился на скатерть. Дон Кихот, обретя свободу, снова ринулся на пастуха, а у пастуха и так все лицо было в крови, да еще Санчо наградил его пинками, и теперь он ползал на четвереньках в поисках ножа для задуманной им кровавой мести, но этому помешали каноник и священник, однако ж цирюльник устроил так, что козопас подмял под себя Дон Кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался град колотушек, так что теперь по лицу у него текло не меньше крови,

чем у козопаса. Каноник и священник покатывались со смеху, стражники подпрыгивали от удовольствия и науськивали одного на другого, будто грызущихся собак; только Санчо Панса был в отчаянии, ибо никак не мог вырваться из рук слуги каноника, который не давал ему броситься на выручку его господину.

Словом, все радовались и веселились, а два бойца продолжали лупить друг друга, но тут послышался звук трубы, столь унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он долетал, однако ж всех более всполошился, заслышав его, Дон Кихот; отнюдь не по своей доброй воле лежа под козопасом и будучи весьма прилично потрепан, он все же сказал:

– Брат бес, – ибо ты, разумеется, бес, коли сила твоя и смелость возобладали над моими, – прошу тебя: давай заключим перемирие хотя бы на час, ибо томный звук трубы, достигший нашего слуха, по-видимому, призывает меня на новые приключения.

Козопасу надоело бить других и самому быть битым, и он немедля отпустил Дон Кихота, после чего тот вскочил, повернул голову, куда и все, и вдруг увидел, что с косогора спускается множество людей в белом, которые напоминали бичующихся.

Должно заметить, что в тот год облака не желали кропить землю, и по сему обстоятельству во всех окрестных селениях устраивались процессии, совершались молебствия и покаяния, дабы господь отверз двери милосердия своего и послал дождь; и того ради жители ближнего села совершали паломничество к одной чтимой ими часовне, стоявшей на горке. У Дон Кихота, как скоро он обратил внимание на необычные их одежды, вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть бичующихся, – напротив, он представил себе, что тут пахнет приключением, в котором ему, как странствующему рыцарю, надлежит принять самое деятельное участие; и еще более укрепился он в своем мнении, оттого что изваяние под траурным покровом, которое несли эти люди, он принял за некую знатную сеньору, похищаемую наглецами и чудовищными злодеями; и как скоро это ему взбрело на ум, он с чрезвычайною легкостью подбежал к Росинанту, который пасся невдалеке, снял с луки уздечку и щит, в ту же секунду взнуздal его, попросил у Санчо свой меч, затем вскочил на Росинанта и, обращаясь ко всем присутствовавшим, громким голосом произнес:

– Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь важно, чтобы на свете существовали кавальеры, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства. Сейчас, повторяю, явившись свидетелями освобождения почтенной этой сеньоры, которую ведут в плен, вы уразумеете, достойны ли уважения странствующие рыцари.

С этими словами он, за неимением шпор, всадил пятки в бока Росинанту, и тот во весь опор, но не рысью, ибо на всем протяжении этой правдивой истории ни разу не говорится, что Росинант ехал рысью, поскакал навстречу бичующимся, невзирая на то, что священник, каноник и цирюльник всячески старались его удержать, но, разумеется, тщетно, – на него не подействовали даже крики Санчо, который зывал к нему:

– Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и наущают идти против нашей католической веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ пренепорочной девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете, – на сей раз наверняка можно сказать, что вы сами того не знаете.

Санчо старался зря, – его господин был так поглощен мыслью скорей подъехать к балахонам и освободить облаченную в траур сеньору, что не слышал ни единого слова, а если б даже и слышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы это ему приказал сам король. Наконец он приблизился к процессии и остановил Росинанта, который уже льстил себя надеждою на отдых, и хриплым от волнения голосом произнес:

– Вы, скрывающие свои лица, по всей вероятности, потому, что у вас нечиста совесть! Слушайте внимательно то, что я вам сейчас сказку.

Несшие изваяние остановились первыми, а один из четырех псаломщиков, распевавших молитвы, коему бросились в глаза странный вид Дон Кихота, худоба Росинанта

и другие обнаруженные и подмеченные им смешные черты Дон Кихота, ответил так:

– Сеньор мой и брат! Если вы хотите нам что-то сказать, то говорите скорее – эти братья разрывают на себе кожу до мяса, и мы не можем, да и не к чему нам останавливаться и что-то слушать, разве что-нибудь очень короткое, такое, что можно сказать в двух словах.

– Да я вам это в одном слове сказку, – возразил Дон Кихот, – а именно: нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое ей нанесли оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодеяния, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы.

Послушав такие речи, все пришли к заключению, что это сумасшедший, и покатались со смеху, каковой смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева, – ни слова не говоря, он выхватил меч и ринулся к носилкам. Один из тех, кто нес изваяние, поменявшись с товарищем и держа над головой то ли вилы, то ли шест, коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих желает отдохнуть, вышел Дон Кихоту навстречу, и вот по этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар Дон-Кихотова меча, рассекший его надвое, однако ж носильщик оставшимся у него в руках обломком так огрел Дон Кихота по той руке, в которой он держал меч и которую щит не мог укрыть от грубой силы, что бедный Дон Кихот в весьма жалком состоянии полетел с коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за ним, видя, что он упал, крикнул его супостату, чтобы тот больше не наносил удара, – это-де очарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не причинил никакого зла. Однако сельчанина остановили не крики Санчо, а то, что Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой; по сему обстоятельству решив, что Дон Кихот убит, он подобрал полы своего балахона и с быстротою оленя бросился наутек.

Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон Кихота, участники же процессии, видя, что они летят прямо на них, а с ними стражники, вооруженные арбалетами, и смекнув, что дело плохо, сгрудились вокруг изваяния; и, надев капюшоны, крепко дерзка в руках бичи, а псаломщики – подсвечники, они стали ждать неприятеля с твердым намерением отразить его натиск, а буде окажется возможным, то и самим перейти в наступление, однако ж судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, вообразив, что господин его мертв, припал к его телу и прежалобно и преуморительно над ним запричитал. Нашего же священника узнал другой священник, шедший вместе с процессией, и это обстоятельство успокоило оба равно уstraшенных воинства. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмотреть, жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили бичующиеся и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах причитает:

– О цвет рыцарства, нить драгоценной жизни коего оборвал один лишь удар дубиной! О честь своего рода, краса и гордость всей Ламанчи и всего мира, каковой после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными! О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя прослужил, ты пожаловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных морем! О ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, – то есть я хотел сказать наоборот, – смотрящий опасности прямо в глаза, не унывающий в бедах, влюбленный ни в кого, подражатель добрым, бич дурных, гроза подлецов, – одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано!

Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихота, и первыми его словами были:

– Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, тот и не такие еще бедствия терпит: Помоги мне, друг Санчо, сесть на очарованную повозку, я не в состоянии держаться в Росинантовом седле по той причине, что плечо у меня раздроблено.

– С большим удовольствием, государь мой, – сказал Санчо, – и поедемте прямо в наше село вместе с этими сеньорами, которые вам желают добра, а там уж мы замыслим новый поход, такой, чтоб нам от него было побольше пользы и побольше славы.

– Ты дело говоришь, Санчо, – заметил Дон Кихот, – с нашей стороны будет в высшей



степени благоразумно, если мы подождем, пока пройдет ныне действующее зловерное влияние светил.

Каноник, священник и цирюльник объявили, что лучше этого он ничего не мог бы придумать, и, в совершенном восторге от простоты Санчо Пансы, посадили Дон Кихота на ту же самую повозку, на которой он ехал прежде; участники процессии снова двинулись стройными рядами. Козопас со всеми распрощался, стражники отказались ехать дальше, и священник уплатил им сполна, каноник попросил священника уведомить его в том, что станется с Дон Кихотом: придет ли он в разум или же будет куролесить и дальше, и засим поехал своей дорогой. Словом, все разъехались в разные стороны и кто куда, остались только священник и цирюльник, Дон Кихот, Панса и добрый Росинант, столь же безропотно сносивший все, что бы с ним ни стряслось, как и его хозяин.

Возница запряг волов, посадил Дон Кихота на охапку сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по той дороге, которую указал священник, и шесть дней спустя достигли они села Дон Кихота и въехали в него среди бела дня, а пришлось это как раз в воскресенье, и площадь, через которую проезжала повозка Дон Кихота, была полна народу. Все бросились смотреть, кто это едет, и как скоро узнали своего соотчича, то подивились, а какой-то мальчишка побежал сказать ключнице его и племяннице, что их дядю и господина, бледного и худого, везут на волах, подстилки же никакой, кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления смотреть на добрых этих женщин, вопивших, бивших себя по голове и посылавших новые проклятия окаянным рыцарским романам, и все это поднялось с новою силою, как скоро в дверях показался Дон Кихот.

Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, прибежала и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее последовал за ним в качестве оруженосца, и, едва увидев Санчо, она прежде всего осведомилась, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хозяина.

– Благодарю тебя, господи, за великую твою милость, – сказала она. – Ну, а теперь скажи-ка, дружок, много ли ты заработал на своей оруженоске? Обновку-то ты мне привез? А башмачки детишкам?

– Ничего такого я, женушка, не привез, – отвечал Санчо, – зато я привез кое-что поважнее и посущественнее.

– Вот этому я очень рада, – заметила жена, – покажи-ка мне, дружок, это важное и существенное, я хочу поглядеть, тогда душа моя будет довольна, а то, пока ты там скитался целую вечность, я вся истомилась и извелась.

– Дома покажу, жена, – объявил Панса, – а пока что утешься: если мы, господь даст, еще раз поедем искать приключений, то ты увидишь, что я скоро стану графом или же губернатором острова, да не какого-нибудь там захудалого, а самого что ни на есть лучшего.

– Дай-то бог, муженек, это нам вот как пригодится. А только скажи мне, что такое остров, я что-то не могу взять в толк.

– Осла медом не кормят, – отрезал Санчо, – придет время – узнаешь, да еще рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя *ваше сиятельство*.

– Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы? – воскликнула Хуана Панса (так звали жену Санчо, ибо хотя она и не была с ним в родстве, но в Ламанче принято, чтобы жены брали фамилию мужа).

– Не все сразу, Хуана, не торопись, довольно и того, что я сказал тебе правду, пока держи язык на привязи. Между прочим могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем какого-нибудь этакого странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, чаще всего попадают приключения не такие, каких бы тебе хотелось: в девяноста девяти случаях из ста все получается шиворот-навыворот. Это я на себе испытал, потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в иных лупили. Однако со всем тем до чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться на каких угодно постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег!

Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его жена Хуана Панса, а в это время ключница и племянница Дон Кихота ухаживали за ним, раздевали его и укладывали на старую его кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник, сообщив племяннице, чего стоило доставить его домой, сказал, чтобы она как можно лучше позаботилась о дяде и чтобы они обе были начеку, а то, мол, он опять убежит. Тут снова подняли они страшный крик, снова стали посылать проклятия рыцарским романам, снова стали молить бога, чтобы сочинители подобных врак и нелепостей провалились сквозь землю. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что, как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет, и чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всею любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время третьего своего выезда, так и не мог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, – по крайней мере, в летописях подлинных; только в изустных преданиях Ламанчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, которые в этом городе были устроены, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума. О смерти его и кончине также ничего не удалось узнать, и так бы автор ничего не знал и не ведал, когда бы счастливый случай не свел его с одним престарелым лекарем, обладателем свинцовой шкатулки, найденной, по его словам, среди развалин какой-то древней часовни, которую восстанавливали; и вот в этой-то самой шкатулке оказались пергаменты, на которых готическими буквами были написаны испанские стихи, в коих содержались сведения о многих подвигах Дон Кихота, о красоте Дульсинеи Тобосской, о наружности Росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребении самого Дон Кихота, а также несколько эпитафий и похвальных стихов нраву его и обычаю. И те из них, которые удалось прочесть и разобрать, правдолюбивый автор этой новой и доселе невиданной истории здесь приводит. При этом за огромный труд, который пришлось положить на розыски и копанье в архивах Ламанчи, дабы вытащить помянутую историю на свет божий, автор не требует от своих читателей никакой другой благодарности, кроме того, чтобы они отнеслись к ней с таким же доверием, с каким люди здравомыслящие относятся к рыцарским романам, которые пользуются ныне таким успехом: это вполне вознаградит и удовлетворит его и подвигнет на то, чтобы извлечь и разыскать другие, если и не столь правдивые, то, во всяком случае, не менее занятные и увлекательные.

Вот первые слова пергамента, обнаруженного в свинцовой шкатулке:

*Академики из Аргамасильи, местечка в Ламанче, на жизнь и на кончину доблестного  
Дон Кихота Ламанчского  
Hoc Scripserunt*<sup>1</sup>

**Черномаза, академика Аргамасильского,  
на гробницу дон Кихота  
эпитафия**

Скиталец, словно Грецию – Язон<sup>2</sup>,  
Прославивший ламанчские пределы;  
Чудак, чей ум, как флюгер заржавелый,  
И ветрен был, и столь же изощрен;

Певец, меж виршеплетов всех времен,

---

<sup>1</sup> Написали следующее (лат.)

<sup>2</sup> Язон (миф.) – предводитель аргонавтов, отправившихся на поиски золотого руна.

Быть может, самый тонкий и умелый;  
Боец, настолько яростный и смелый,  
Что до границ Катая<sup>1</sup> славен он;

Тот, кто, затмив собою Амадисов,  
Гигантов, словно карликов, сражал;  
Тот, кто был даме предан всей душою;

Тот, кто, вселяя зависть в Бельянисов,  
Верхом на Росинанте разъезжал,  
Почиет под холодной сей плитою.

**Крохобора, академика Аргамасильского,  
In Laudem Dulcineaе De Toboso<sup>2</sup>  
*сонет***

Ты, кто узрел сей толстогубый рот,  
Внушительную статью и лик курносый,  
Знай: это Дульсинея из Тобосо,  
Которую пленился Дон Кихот.

О ней мечтал он ночи напролет,  
Монтелья травянистые откосы  
И Сьерры Негры<sup>3</sup> голые утесы  
Исхаживая, пеший, взад-вперед,

В чем Росинант повинен... О светила!  
Зачем судили вы, чтоб в цвете лет  
С обоими произошло несчастье?

Ее красу от нас могила скрыла,  
А он, хотя узнал о нем весь свет,  
Погублен ложью, завистью и страстью.

**Сумасброда, остроумнейшего академика Аргамасильского,  
в похвалу Росинанту, коню дон Кихота Ламанчского  
*сонет***

На тот алмазный трон, где столько лет  
Марс восседал, от крови весь багровый,  
Взошел Ламанчец и рукой суровой  
Над миром поднял стяг своих побед.

В столь грозные доспехи он одет,

---

<sup>1</sup> *Катай* – так назывался в средние века Китай.

<sup>2</sup> В похвалу Дульсинеи Тобосской (*лат.*)

<sup>3</sup> *Сьерра Негра* то же, что *Сьерра Морена* – горная цепь, отделяющая Кастилию от Андалусии.

Столь остр его клинок, разить готовый,  
Что новый сей герой в манере новой  
Быть должен новой музою воспет.

Британию до звезд во время оно  
Отвага Амадиса вознесла,  
Его сынами греки знамениты;

Но днесь Кихот введен во храм Беллоны<sup>1</sup>,  
И гордая Ламанча превзошла  
Владенья грека и отчизну бритта.

Его дела не могут быть забыты:  
Ведь Росинант – и тот таких коней,  
Как Брильядор<sup>2</sup> с Баярдом<sup>3</sup>, стал славней.

**Зубоскала, академика Аргамасильского,  
Санчо Пансе  
*сонет***

Вот Санчо Панса. Хоть он ростом мал,  
Но доблестью велик, и мир покуда,  
В чем, если нужно, я порукой буду, –  
Верней оруженосца не видал.

Он возведенья в графы ожидал,  
Но не дождался, что отнюдь не чудо:  
С ним во вражде был свет, а свет – Иуда.  
Его осла – и то б живым сглодал.

И на скотине этой безответной  
За незлобивым Росинантом вновь  
Потрюхал сей воитель незлобивый.

О сладкие надежды, как вы тщетны!  
Вы нам на миг разгорячите кровь –  
И стали тенью, сном, химерой лживой.

**Чертолома, академика Аргамасильского  
на гробницу дон Кихота  
*эпитафия***

Дон Кихот, что здесь лежит,

---

<sup>1</sup> Беллона (миф.) – богиня войны у римлян, сестра Марса.

<sup>2</sup> Брильядор – конь Роланда.

<sup>3</sup> Баярд – конь рыцаря Ринальда.

Росинанта обладатель,  
Приключений был искатель,  
Был он также часто бит.  
Рядом с рыцарем зарыт  
Санчо Панса, малый нравный,  
Но оруженосец славный.  
Пусть господь его простит!

**Тикитака, академика Аргамасильского,  
на гробницу Дульсиныи Тобосской  
*эпитафия***

Мир навеки обрела  
В сей могиле Дульсиныя,  
Смерть расправилась и с нею,  
Хоть крепка она была.

Гордость своего села,  
Не знатна, но чистокровна,  
В Дон Кихоте пыл любовный  
Эта скотница зажгла.

Вот и все стихи, какие нам удалось разобрать; в остальных же буквы были попорчены червями, вследствие чего пришлось передать их одному академику, дабы он прочитал их предположительно. По имеющимся сведениям, он этого добился усидчивым и кропотливым трудом и, в надежде на третий выезд Дон Кихота, намеревается обнародовать их.

Forse altri cantera con miglior plettro<sup>1</sup>

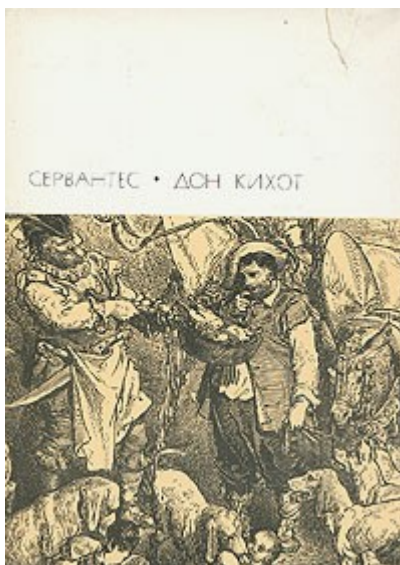
***Конец первой части***

---

<sup>1</sup> Стих из XXX песни «Неистового Роланда» Ариосто: «Другие, может статься, воспоют (это) с большим поэтическим блеском» (*ит.*).

# Мигель де Сервантес Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский. Часть вторая

## *Дон Кихот – 2*



## Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский» Часть вторая

### Посвящение графу Лемосскому<sup>1</sup>

Посылая на днях Вашему сиятельству мои комедии, вышедшие из печати до представления на сцене<sup>2</sup>, я, если не ошибаюсь, писал, что Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к Вашему сиятельству и облобызать Вам руки. А теперь я уже могу сказать, что он их надел и отправился в путь, и если он доедет, то, мне думается, я окажу этим Вашему сиятельству некоторую услугу, ибо меня со всех сторон торопят как можно скорее его прислать, дабы прошли тошнота и оскомина, вызванные другим Дон Кихотом<sup>3</sup>, который надел на себя личину второй части и пустился гулять по свету. Но кто особенно, по-видимому, ждет моего Дон Кихота, так это великий император китайский<sup>4</sup>, ибо он месяц тому назад прислал мне с нарочным на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать умоляет, прислать ему мою книгу: он-де намерен учредить коллегию<sup>5</sup> для изучения испанского языка и желает, чтобы оный язык изучался по истории Дон Кихота. Тут же он мне предлагает быть ректором помянутой коллегии. Я спросил посланца, не оказало ли мне

<sup>1</sup> *Граф Лемосский* (1576–1622) – крупный испанский сановник, в 1610–1615 гг. был вице-королем в Неаполе, затем – председателем Совета по итальянским делам.

<sup>2</sup> *...комедии, вышедшие из печати до представления на сцене...* – Свой сборник драматических произведений, вышедших в том же году, что и вторая часть «Дон Кихота», Сервантес назвал: «Восемь комедий и восемь интермедий, никогда еще не представлявшихся на сцене».

<sup>3</sup> *...другим Дон Кихотом...* – Речь идет о подложной второй части «Дон Кихота», вышедшей в свет в 1614 г. под названием: «Вторая часть хитроумного идалго Дон Кихота Ламанчского, содержащая рассказ о его третьем выезде и сочиненная лицензиатом Алонсо Фернандесом де Авельянеда из города Тордесильяса».

<sup>4</sup> *...император китайский...* – Вымысел о послании китайского императора с особой остротой подчеркивает нужду, которую терпел Сервантес в последние годы своей жизни. Этими строками писатель хотел сказать, что у себя на родине он не может рассчитывать на какую-либо помощь.

<sup>5</sup> *Коллегия* – учебное заведение, в котором главным предметом обучения было богословие или правоведение.

его величество какой-либо денежной помощи. Тот ответил, что у его величества и в мыслях этого не было.

«В таком случае, братец, – объявил я, – вы можете возвращаться к себе в Китай со скоростью десяти, а то и двадцати миль в день, словом, с любой скоростью, мне же не позволяет здоровье в столь длительное пускаться путешествие, и мало того, что я болен, но еще и сижу без гроша; однако же что мне императоры и монархи, когда в Неаполе есть у меня великий граф Лемосский, который без всяких этих затей с коллегией и ректорством поддерживает меня, покровительствует мне и оказывает столько милостей, что большего и желать невозможно».

На этом я с посланцем простился, и на этом я прощаюсь и с Вашим сиятельством, давая обещание преподнести Вам Странствия Персилеса и Сихизмунды<sup>1</sup>, книгу, которую я *Deo volente*<sup>2</sup> спустя несколько месяцев закончу, каковая книга, должно полагать, будет самой плохой или же, наоборот, самой лучшей из всех на нашем языке писанных (я разумею книги, писанные для развлечения); впрочем, я напрасно сказал: самой плохой, ибо, по мнению моих друзей, книге моей суждено наивозможного достигнуть совершенства. Возвращайтесь же, Ваше сиятельство, в желанном здравии, и к тому времени Переилес будет уже готов облобызать Вам руки, я же, слуга Вашего сиятельства, припаду к Вашим стопам. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

*Слуга Вашего сиятельства Мигель де Сервантес Сааведра*

## Пролог к читателю

Господи боже мой! С каким, должно полагать, нетерпением ожидаешь ты, знатный, а может статья, и худородный, читатель этого пролога, думая, что найдешь в нем угрозы, хулу и порицания автору второго *Дон Кихота*, который, как слышно, зачат был в Тордесильясе, а родился в Таррагоне!<sup>3</sup> Но, право же, я тебе этого удовольствия не доставлю, ибо хотя обиды и пробуждают гнев в самых смиренных сердцах, однако ж мое сердце составляет исключение из этого правила. Тебе бы хотелось, чтобы я обозвал автора ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу: он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет. Единственно, что не могло не задеть меня за живое, это что он назвал меня стариком и безруким, как будто в моей власти удержать время, чтобы оно нарочно Для меня остановилось, и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий<sup>4</sup>, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произойдут в век грядущий. Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то, во всяком случае, возвышают меня во мнении тех, кто знает, где я их получил, ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством, и я так в этом убежден, что, если бы мне теперь предложили воротить прошедшее, я все равно предпочел бы участвовать в славном этом походе, нежели остаться невредимым, но зато и не быть его участником. Шрамы на лице и на груди солдата – это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись на небо почета и похвал заслуженных; также объявляю во всеобщее сведение, что сочиняют не седины, а разум, который обыкновенно с годами мужает. Еще мне было неприятно, что автор называет меня завистником и, словно неучу, объясняет мне, что такое зависть; однако ж, положи руку на сердце, могу сказать, что из двух существующих видов зависти мне знакома лишь зависть святая, благородная и ко благу устремленная, а значит, и

---

1 «Странствия Персилеса и Сихизмунды» – Этот роман вышел в свет после смерти Сервантеса в 1617 г.

2 С божьей помощью (лат.)

3 ...зачат был в Тордесильясе, а родился в Таррагоне! – Упомянутая подложная вторая часть «Дон Кихота» вышла в свет в Таррагоне, автор же ее назвал себя уроженцем Тордесильяса.

4 ...во время величайшего из событий... – то есть в битве при Лепанто между объединенным испано-венецианским флотом и турками (7 октября 1571 г.), которая завершилась поражением турецкого флота. В этой битве Сервантес потерял руку.

не могу я преследовать духовную особу<sup>1</sup>, да еще такую, которая состоит при священном трибунале; и если автор в самом деле говорит о лице, которое имею в виду я, то он жестоко ошибается, ибо я преклоняюсь перед дарованием этого человека и восхищаюсь его творениями, равно как и той добродетельной жизнью, какую он ведет неукоснительно. Впрочем, я признателен господину автору за его суждение о моих новеллах: хотя они, мол, не столь назидательны, сколь сатиричны, однако же хороши, а ведь их нельзя было бы назвать хорошими, когда бы им чего-нибудь недоставало.

Пожалуй, ты скажешь, читатель, что я чересчур мягок и уж очень крепко держу себя в границах присущей мне скромности, но я знаю, что не должно огорчать и без того уже огорченного, огорчения же этого господина, без сомнения, велики, коли он не осмеливается появиться в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, как будто бы он был повинен в оскорблении величества. Если случайно, читатель, ты с ним знаком, то передай ему от моего имени, что я не почитаю себя оскорбленным: я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения и что одно из самых больших искушений – это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы; и мне бы хотелось, чтобы в доказательство ты, как только можешь весело и забавно, рассказал ему такую историйку.

Был в Севилье сумасшедший, который помешался на самой забавной чепухе и на самой навязчивой мысли, на какой только может помешаться человек, а именно: смастерив из остроконечной тростинки трубку, он ловил на улице или же где-нибудь еще собаку, наступал ей на одну заднюю лапу, другую лапу приподнимал кверху, а засим с крайним тщанием вставлял ей трубку в некоторую часть тела и дул до тех пор, пока собака не становилась круглой, как мяч; доведя же ее до такого состояния, он дважды хлопал ее по животу и, отпустив, обращался к зевакам, коих всегда при этом собиралось немало: «Что вы скажете, ваши милости: легкое это дело – надуть собаку?» – Что вы скажете, ваша милость: легкое это дело – написать книгу?

Если же, друг читатель, сия историйка не придется автору по сердцу, то расскажи ему другую, тоже про сумасшедшего и про собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, который имел обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или же просто не весьма легкий камень; высмотрев зазевавшуюся собаку, он к ней подкрадывался, а затем что было силы сбрасывал на нее свой груз, после чего разобиженная собака с воем и визгом убегала за три улицы. Но вот как-то раз случилось ему сбросить камень на собаку шапочника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову, ушибленная собака завывала, хозяин, увидев и услышав это, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и не оставил на нем живого места; и при каждом ударе он еще приговаривал: «Вор-собака! Это ты так мою гончую? Не видишь, подлец, что моя собака – гончая?» И, раз двадцать повторив слово *гончая* и сделав из сумасшедшего котлету, он наконец отпустил его. Получив хороший урок, сумасшедший скрылся и больше месяца на людных местах не показывался, но потом, однако ж, возвратился все с тою же выдумкою и с еще более тяжелым грузом. Он подходил к собаке, нацеливался, но, так и не решившись и не осмелившись сбросить на нее камень, говорил: «Это гончая, воздержимся!» И про всякую собаку, какая бы ему ни попадалась, будь то дог или же шавка, он говорил, что это гончая, и не сбрасывал на нее камня. Нечто вроде этого, должно полагать, случится и с нашим сочинителем, и он не отважится более сбрасывать на бумагу твердые, как камень, плоды своего гения, ибо кому охота стараться разгрызть плохую книгу!

Скажи ему еще, что его угроза лишить меня дохода изданием книги своей не стоит медного гроша, и, применяя к себе славную интермедию *Перенденга*, я могу ему ответить,

---

<sup>1</sup> ...не могу я преследовать духовную особу... – Многие комментаторы усматривают в этих словах намек на Лопе де Вега, крупнейшего испанского драматурга (1562–1635). Последний действительно с 1609 г. носил звание слугителя инквизиции, а в 1614 г. стал священником.



что, мол, бог не без милости, и да здравствует, мне на радость, сеньор мой Двадцать Четыре<sup>1</sup>. Да здравствует граф Лемосский, коего христианские чувства и хорошо известная щедрость ограждают меня от всех ударов злой судьбы, и да здравствует, на радость мне, добросердечнейший дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ Толедский, а там пусть хоть не останется на свете ни одной печатни, и пусть против меня печатают больше книг, нежели в строфах Минго Ревульго<sup>2</sup> содержится букв. Эти двое владык без малейшего с моей стороны искательства или же раболепства, единственно по доброте своей, взялись мне покровительствовать и оказывать милости, и поэтому я почитаю себя счастливее и богаче, чем если бы Фортуна вознесла меня путем обычным. Честь может быть и у бедняка, но только не у человека порочного: нищета может омрачить благородство, но не затемнить его совершенно, а как добродетель излучает свой свет даже сквозь щели горькой бедности, то ей удастся заслужить уважение умов возвышенных и благородных, а с тем вместе и их благорасположение. И больше, читатель, не говори автору ничего, а я ничего больше не скажу тебе, – прими только в соображение, что предлагаемая вторая часть *Дон Кихота* скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая, и в ней я довожу Дон Кихота до конца, до самой его кончины и погребения, дабы никто уже более не заводил о нем речи, ибо довольно и того, что уже сказано, довольно и того, что свидетельствует о разумных его безумствах человек честный, и нечего сызнова к ним возвращаться: ведь когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену, а когда чего-нибудь недостает, хотя бы даже плохого, то оно как-то все-таки ценится. Забыл тебе сказать, чтобы ты ожидал *Персилеса*, которого я теперь оканчиваю, а также вторую часть *Галатеи*.

## Глава I

*О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни*

Во второй части этой истории, повествующей о третьем выезде Дон Кихота, Сид Ахмет Бен-инхали рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц у него не бывали, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины объявили, что они так и делают и будут делать с крайним тщанием и готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали – привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству положили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке; и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные – осуждали, одни обычаи

---

1 ...сеньор мой Двадцать Четыре – то есть член городского совета, один из двадцати четырех членов городской администрации.

2 ...в строфах Минго Ревульго... – анонимные куплеты, в которых в форме беседы двух пастухов (Минго Ревульго и Хилия Арребато) подвергаются критике общественные порядки при короле Энрике IV (1454–1474).

исправляли, другие – упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом<sup>1</sup> или же новоиспеченным Солоном<sup>2</sup>; и так они все государство переиначили, что казалось, будто они его бросили в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот же обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих испытателей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море<sup>3</sup>, но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится – этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. Дон Кихот же на это сказал:

– Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Выслушав его, священник сказал себе: «Да хранит тебя господь, бедный Дон Кихот! Сдается мне, что ты низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия!» Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять: может статься, они-де относятся к разряду тех многочисленных нелепых предложений, какие обыкновенно делаются государям.

– Мое предложение, господин брадобрей, вовсе не нелепо, а очень даже лепо, – сказал Дон Кихот.

– Да я ничего и не говорю, – отозвался цирюльник, – но только ведь опыт показывает, что все или же большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля и для королевства.

– Ну, а мой проект не неосуществим и не бессмыслен, – возразил Дон Кихот, – напротив того: никакому изобретателю не изобрести столь удобоисполнимого, целесообразного, остроумного и краткого проекта.

– Так поделитесь же им, сеньор Дон Кихот, – молвил священник.

– Мне бы не хотелось излагать его сейчас, – признался Дон Кихот, – иначе он завтра же достигнет ушей господ советников, и благодарность и награду за труд получу не я, а кто-нибудь другой.

– Что до меня, – сказал цирюльник, – то вот вам крест, ваша милость, я никому не скажу: ни королю, ни ладье<sup>4</sup> и ни одному живому человеку, – эту клятву я взял из романса об одном священнике, который в начале мессы указал королю на вора, укравшего у того священника сто дублонов и быстрого мула.

– Историй этих я не знаю, – сказал Дон Кихот, – однако ж полагаю, что клятва верная, ибо сеньор цирюльник – человек честный.

---

1 *Ликург* – полубогатый спартанский законодательный мудрец, создатель спартанского государственного строя.

2 *Солон* – один из крупнейших политических деятелей Древней Греции (638–559 до н.э.), имя которого стало нарицательным для обозначения справедливого и неподкупного законодателя.

3 *...султан турецкий с огромным флотом вышел в море...* – Побережье Испании в то время находилось под угрозой нападения со стороны турецких корсаров, в особенности испанские владения в Средиземноморском бассейне: Неаполь, Сицилия и Мальта.

4 *...ни королю, ни ладье...* – термины шахматной игры. Фраза из не дошедшего до нас народного романса, означающая, что в разговоре не упоминают личностей и избегают упоминать даже о таких значительных фигурах, какими являются в шахматной игре король и ладья.

– Даже если б он и не был таковым, – вмешался священник, – я за него ручаюсь и даю гарантию, что в сем случае он будет нем, как могила, иначе с него будут взысканы пеня и неустойка.

– А за вашу милость, сеньор священник, кто поручится? – осведомился Дон Кихот.

– Мой сан, обязывающий меня хранить тайны, – отвечал священник.

– Ах ты, господи! – вскричал тут Дон Кихот. – Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один-единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло, или же если б они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном, – скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня разумеет, а я умолкаю.

– Ах! – воскликнула тут племянница. – Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом, – повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

– Будьте добры, ваши милости, дозвольте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье: она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

– В севильском сумасшедшем доме находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне<sup>1</sup>, но, получи он ее даже в Саламанке, это ему все равно бы не помогло, как уверяли многие. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо помилости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет лицензиат, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает, как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несурразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и,

---

<sup>1</sup> Осуна – в этом городе находился университет второстепенного значения, а в Саламанке – самый крупный испанский университет.

запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того, он такую выказал рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клеветает, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда – это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников – своекорыстными и бессовестными, а себя самого столь благоразумным, что капеллан в конце концов решил взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив лиценциату на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; смотритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо лиценциат, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако же, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увести лиценциата с собой; смотритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа<sup>1</sup>; на лиценциата надели его собственное платье, новое и приличное, и когда лиценциат увидел, что он одет, как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро лиценциат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель: не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухожу домой, – господу богу по бесконечному его милосердию и человеколюбию угодно было возвратить мне, недостойному, разум; теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господя: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, – только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастье, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи лиценциата слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Лиценциат ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, лиценциат, что вы говорите! Как бы над вами лукавый не подшутил, – сказал сумасшедший, – торопиться вам некуда, сидите-ка себе смирнехонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров, – настаивал лиценциат, – мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? – сказал сумасшедший. – Ну что ж, поживем – увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Или ты не знаешь, жалкий лиценциатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я –

---

<sup>1</sup> ...распоряжение исходило от архиепископа... – В то время в Испании больницы, сиротские дома, дома призрения и прочие находились в ведении церкви.

Юпитер-громовержец, который держит в руках всеопалюющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его? Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождит не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я неменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошлю дождь!»

Присутствовавшие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг лицензиат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он – Юпитер и он не станет кропить вас дождем, то я – Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; лицензиата раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

– Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? – спросил Дон Кихот. – Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудовольствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь, это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда ратоборствовало странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостойн наслаждаться тем великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевства, охрану девственниц, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство же рыцарей, подвигающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копьё и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и беспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успеваешь оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чуждадельную землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью и мудрствования над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее Тиранта Белого? Кто обходительнее Лизурта Греческого? Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто неустрашимее Периона Галльского, кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Гирканский, и кто прямотушнее Эспландиана? Кто удалее дона Сиронхила Фракийского? Кто смелее Родомонта<sup>1</sup>? Кто предусмотрительнее царя Собрина? Кто дерзновенней Ринальда? Кто непобедимей Роланда? И кто, наконец,

---

<sup>1</sup> *Родомонт* – один из персонажей поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», лихой вояка.

любезнее и учтивее Руджера, от коего, как указывает Турпин в своей *Космографии*, ведут свой род герцоги Феррарские? Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были, сеньор священник, рыцарями странствующими, красою и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду: они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, да еще избавили бы его от больших расходов, султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капеллан меня с собой не берет. Если же Юпитер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Таз-для-бритья знал, что я его понял.

– Право, сеньор Дон Кихот, у меня было совсем другое на уме, – возразил цирюльник, – намерения у меня были добрые, истинный бог, так что ваша милость напрасно сердится.

– Напрасно или не напрасно – это уж дело мое, – отрезал Дон Кихот.

Но тут вмешался священник:

– До сих пор я не сказал и двух слов, но мне все же хотелось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу, а возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот.

– За чем же дело стало? – молвил Дон Кихот. – Пожалуйста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением, – нехорошо, когда на душе что-то есть.

– Так вот, с вашего дозволения, – начал священник, – сомнение мое заключается в следующем: я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей, коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди, – напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают, пробудившись или, вернее сказать, в полусне.

– Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари, – возразил Дон Кихот, – я же многократно, в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах, старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесивши ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия непреложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами и что он был высок ростом, лицом бел, с красивою, хотя и черною бородою, с полуласковым, полусуровым взглядом, скуп на слова, гневался не вдруг и легко остывал. Итак же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается мне, изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире странствовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост.

– Сеньор Дон Кихот! А как высок был, по-вашему, великан Моргант? – спросил цирюльник.

– Касательно великанов существуют разные мнения, – отвечал Дон Кихот, – кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако ж в Священном писании, где все до последнего слова совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина Голиафа, который был семи с половиной локтей росту, то есть величины непомерной. Затем на острове Сицилии были найдены берцовые и плечевые кости, и по размерам их видно, что они принадлежали великанам ростом с высокую башню – геометрия доказывает это неопровержимо. Однако ж со всем тем я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок; пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, подвигам его посвященную, в коей особо подчеркивается то обстоятельство, что он часто ночевал под кровлею, а коли находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна.

– Вот оно что! – молвил священник.

Ему доставляла удовольствие великая эта нелепица, и для того он спросил, как представляет себе Дон Кихот наружность Ринальда Монтальванского, Роланда и прочих пэров Франции, ибо все они были странствующими рыцарями.

– Осмеливаюсь утверждать, – отвечал Дон Кихот, – что Ринальд был широколиц, румян, с бегающими глазами немного навывкате, самолюбив и вспыльчив донельзя, водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда, или Ротоландо, или Орландо, – в романах его называют и так и этак, – то я полагаю и утверждаю, что росту он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжебород, телом волосат, со взглядом грозным, скуп на слова, однако ж весьма учтив и благовоспитан.

– Если Роланд был столь неказист, как ваша милость его описывает, – заметил священник, – то не удивительно, что Анджелика Прекрасная его отвергла ради миловидности, изящества и прелести этого мавра с первым пухом на подбородке, каковому мавру она и отдалась. И это было с ее стороны вполне разумно – предпочесть неясность Медора колючести Роландовой.

– Эта Анджелика, сеньор священник, – возразил Дон Кихот, – была девица ветреная, непоседливая и слегка взбалмошная, и молва о ее сумасбродствах идет по свету не менее громкая, нежели слава о ее красоте. Она отвергла многое множество вельмож, многое множество отважных и умных людей и остановила свой выбор на смазливом молокососе-паже без роду без племени: у него не было другого прозвища, кроме «Преданный», которое он получил в награду за верность своему другу. Великий певец ее красоты, славный Ариосто, не дерзнув или не пожелав воспеть то, что с этою госпожою случилось после ее постыдного падения, – а случилось с нею, должно думать, нечно в высшей степени неблагопристойное, – при расставании с нею сказал следующее:

И как достался ей катайский трон,  
Пускай поет певец иных времен.

И разумеется, что это было как бы пророчеством: ведь недаром поэтов называют также *votes*, что значит прорицатели. Сбылось же оно в полной мере, о чем свидетельствует то обстоятельство, что впоследствии один славный андалусский поэт<sup>1</sup> оплакал и воспел ее слезы, а другой славный и несравненный кастильский поэт<sup>2</sup> воспел ее красоту.

– Скажите, сеньор Дон Кихот, – спросил тут цирюльник, – неужели среди стольких поэтов, восхвалявших эту самую госпожу Анджелику, не нашлось такого, кто бы написал на нее сатиру?

– Я совершенно уверен, – отвечал Дон Кихот, – что если бы Сакрипант<sup>3</sup> или Роланд были поэтами, то они бы эту девицу по головке не погладили, ибо поэтам, которыми пренебрегли и которых отвергли их дамы, как воображаемые, так равно и не воображаемые, словом, те, кого они избрали владычицами мечтаний своих, свойственно и присуще мстить за себя сатирами и пасквилями, – мечь, разумеется, недостойная сердец благородных, но пока что до меня не дошло ни одного стихотворения, позорящего госпожу Анджелику, а между тем она взбудоражила весь мир.

– Чудеса! – воскликнул священник.

Но тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.

## Глава II,

---

1 ...славный андалусский поэт... – Имеется в виду испанский поэт Луис Бараона де Сото (1548–1595), написавший поэму «Слезы Анджелики» (1586) в виде продолжения поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

2 ...несравненный кастильский поэт... – Подразумевается Лопе де Вега, написавший поэму «Красота Анджелики» (1602), в которой он развил сюжет поэмы Ариосто.

3 *Сакрипант* – персонаж рыцарских поэм, один из отвергнутых поклонников Анджелики.

*повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницей и ключницей Дон-Кихотовыми, равно как и о других забавных вещах*

В истории сказано, что Дон Кихот, священник и цирюльник услышали голоса ключницы и племянницы, кричавших на Санчо Пансу; Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон Кихоту, а они ему преграждали вход.

– Что этому бродяге здесь нужно? Проваливай-ка, братец, подобру-поздорову: ведь это ты, а не кто другой, совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям.

Санчо же на это ответил так:

– Чертова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина: это он потащил меня мыкаться по белу свету, – так что вы обе попали пальцем в небо, – это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь.

– Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо! – вмешалась племянница – и что это еще за острова? Что, ты их есть будешь, лакомка, обжора ты этакий?

– Да не есть, а ведать ими и править, – возразил Санчо, – и еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов<sup>1</sup>.

– А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства, сюда не войдешь, – объявила ключница. – Иди управляй своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертострова на свете.

Священника и цирюльника немало потешило это словопрение, однако ж Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попрощались с Дон Кихотом, на выздоровление коего они теперь утратили всякую надежду: так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так простодушно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику:

– Вот увидите, любезный друг, в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу.

– Не сомневаюсь, – отозвался цирюльник, – однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько простодушие оруженосца: он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы.

– Да поможет им бог, – сказал священник, – а мы будем на страже: посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца, – право, их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумства господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша.

– Ваша правда, – заметил цирюльник, – любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют.

– Я уверен, – сказал священник, – что племянница или же ключница нам потом расскажут: ведь у них такой обычай – все подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил:

– Меня весьма огорчает, Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко, но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте: отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали, и та же участь и та же судьба постигли нас обоих: если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили, вот и все мое перед тобой преимущество.

– Да ведь это в порядке вещей, – возразил Санчо, – сами же вы, ваша милость, говорите, что злоключения – это скорей по части странствующих рыцарей, нежели

---

<sup>1</sup> *Столичные алькальды* – Столичными алькальдами в эпоху Сервантеса назывались представители центральной власти в городах, назначавшиеся центральным правительством.



оруженосцев.

– Ты ошибаешься, – заметил Дон Кихот, – не зря говорится, что когда *caput dolet...* и так далее.

– Я понимаю только мой родной язык, – объявил Санчо.

– Я хочу сказать, – пояснил Дон Кихот, – что когда *болит голова*, то болит и все тело, а как я есмь твой господин и сеньор, то я – голова, ты же – часть моего тела, коль скоро ты мой слуга, потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя.

– Так-то оно так, – сказал Санчо, – однако ж когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пребывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головою, то и голова обязана болеть вместе с телом.

– Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно, когда тебя подбрасывали на одеяле? – спросил Дон Кихот. – Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. Однако ж оставим до времени этот разговор, потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? Какого мнения обо мне простонародье, идальго и кавальеро? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании – возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю, как есть, правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санчо, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает.

– Я это сделаю весьма охотно, государь мой, – сказал Санчо, – с условием, однако ж, что ваша милость на мои слова не разгневается, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облакая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня.

– И не подумаю даже гневаться, – сказал Дон Кихот. – Можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей.

– Ну так, во-первых, я вам скажу, – начал Санчо, – что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего, а я, мол, тоже с придурью. Идальго говорят, что звания идальго вашей милости показалось мало и вы приставили к своему имени *дон* и, хотя у вас всего две-три виноградные лозы, землицы – волю развернуться негде, а прикрыт только зад да перед, произвели себя в кавальеро. Кавальеро говорят, что они не любят, когда с ними тягаются идальго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком.

– Это ко мне не относится, – сказал Дон Кихот, – одет я всегда прилично, чиненого не ношу. Рваное – это другое дело, да и то это больше от доспехов, нежели от времени.

– Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинания вашей милости, – продолжал Санчо, – то на сей предмет существуют разные мнения. Одни говорят: «Сумасшедший, но забавный», другие: «Смельчак, но неудачник», третьи: «Учтивый, но блажной», и уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне все косточки перемоют.

– Прими вот что в соображение, Санчо, – заговорил Дон Кихот, – стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и в некоторой нечистоплотности, – как в смысле одежды, так и в смысле нравов.

Об Александре<sup>1</sup>, подвигами своими стяжавшем себе название «великого», говорят, будто бы он запивал. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою и распутником. Про дона Галаора, брата Амадиса Галльского, ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат – будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен о людях выдающихся сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаил.

– В том-то вся и загвоздка, не видать отцу моему царствия небесного! – воскликнул Санчо.

– Значит, это еще не все? – спросил Дон Кихот.

– Ягодки еще впереди, – отвечал Санчо, – а пока что это были всего только цветочки. Коли милости вашей угодно знать клеветы, про вас распространяемые, то я мигом приведу одного человека, и он вам их выложит все до единой, вот чего не упустит: ведь вчера вечером приехал сын Бартоломе Карраско, тот что учился в Саламанке и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*, и еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем – Санчо Пансы, и сеньору Дульсиенею Тобосскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я от ужаса начал креститься – откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю?

– Уверяю тебя, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что наш летописец – это, уж верно, какой-нибудь мудрый кудесник: от таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется.

– Какой там мудрый, да еще и кудесник, – воскликнул Санчо, – когда, по словам бакалавра Самсона Карраско (так зовут того, о ком я говорю), автор этой книги прозывается *Сид Ахмет Бен-нахали!*

– Это мавританское имя, – сказал Дон Кихот.

– Вернее всего, – подхватил Санчо, – мне от многих приходилось слышать, что мавры презрительные нахалы.

– По-видимому, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты перепутал прозвание этого *Сиды*, что, кстати сказать, по-арабски означает «господин».

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Так вот, коли вашей милости желательно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю.

– Я буду тебе очень признателен, друг мой, – сказал Дон Кихот. – Ты мне загадал загадку, – я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведу.

– Ну так я за ним схожу, – повторил Санчо. И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя презабавное началось собеседование.

### Глава III

*Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско*

Дон Кихот в ожидании бакалавра Карраско, от которого он надеялся услышать, что именно о нем говорится в книге, о коей ему толковал Санчо, погрузился в глубокую задумчивость; он никак не мог поверить, что такая книга существует в действительности: ведь на острие его меча еще не успела высохнуть кровь убитых им врагов, а тут говорят, будто история высоких его рыцарских подвигов уже вышла в свет. Со всем тем он решил, что какой-нибудь мудрец, не то друг, не то недруг, силою своего волшебства ее напечатал, – коли друг, то дабы возвеличить и вознести его подвиги над самыми славными деяниями странствующих рыцарей, а коли недруг, то дабы умалить их и поставить ниже самых гнусных поступков гнуснейшего из оруженосцев, какой когда-либо был описан в книге;

---

<sup>1</sup> *Александр* – Имеется в виду Александр Македонский.

впрочем, возражал он себе, дела оруженосцев никто никогда не описывал, если же такая книга подлинно существует, то, коль скоро это книга о странствующем рыцаре, она по необходимости долженствует быть красноречивою, возвышенною, изрядною, великолепною и правдивою. Соображения эти несколько его успокоили, однако он снова забеспокоился, когда вспомнил, что автор книги – мавр, о чем свидетельствовало слово *Сид*, от мавров же ожидать правды не следует, ибо все они обманщики, вдали и выдумщики. Он со страхом думал: а вдруг мавр описывает сердечные его обстоятельства без надлежащей благопристойности и тем самым порочит и пятнает честь сеньоры Дульсинеи Тобосской? Ему же хотелось, чтобы в книге было засвидетельствовано, как он был верен ей и как высоко всегда ее ставил, как отвергал королей, императриц и всякого звания дев и умерял естественные движения сердца; и он все еще думал, гадал, судил и рядил, когда вошли Санчо и Карраско, и Дон Кихот встретил бакалавра с отменною учтивостью.

Бакалавр хотя и звался Самсоном<sup>1</sup>, однако ж росту был небольшого, зато был преобладающий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он и выказал, едва увидевши Дон Кихота, ибо тот же час опустился перед ним на колени и сказал:

– Ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанский! Пожалуйте мне ваши руки, ибо, клянусь одеянием апостола Петра<sup>2</sup>, которое на мне (хотя я достигнул только первых четырех степеней), что ваша милость – один из наиславнейших странствующих рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности. Да будет благословен Сид Ахмет Бен-инхали за то, что он написал историю великих ваших деяний, и да преблагословен будет тот любознательный человек, который взял на себя труд перевести ее с арабского на наш обиходный кастильский язык для всеобщего увеселения.

Дон Кихот попросил его встать и сказал:

– Итак, моя история, и правда, написана, и составил ее некий мудрый мавр?

– Сущая правда, сеньор, – отвечал Самсон, – и я даже ручаюсь, что в настоящее время она отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг. Коли не верите, запросите Португалию, Барселону и Валенсию, где она печаталась, и еще ходят слухи, будто бы ее сейчас печатают в Антверпене, – мне сдается, что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке.

– Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения, – сказал на это Дон Кихот, – как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов. Я говорю: добрая молва, ибо если наоборот, то с этим никакая смерть не сравнится.

– Что касается доброй славы и доброго имени, – подхватил бакалавр, – то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо мавр на своем языке, а христианин на своем постарались в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях, и, наконец, чистоту и сдержанность платонического увлечения вашей милости сеньорю доньей Дульсинеей Тобосской.

– Я никогда не слыхал, чтобы сеньору Дульсинею звали *донья*, – вмешался тут Санчо, – ее зовут просто *сеньора Дульсинея Тобосская*, так что в этом сочинитель ошибается.

– Твое возражение несущественно, – заметил Карраско.

– Разумеется, что нет, – отозвался Дон Кихот, – однако ж скажите мне, сеньор бакалавр: какие из подвигов моих наипаче восславляются в этой истории?

– На сей предмет, – отвечал бакалавр, – существуют разные мнения, ибо разные у

---

1 ...звался Самсоном... – Самсон (Сампсон), по библейскому преданию, был человек огромного роста и могучего телосложения.

2 Одевание апостола Петра – одежда так называемого «белого» духовенства, которая ничем не отличалась от одежды студентов того времени.

людей вкусы: одни питают пристрастие к приключению с ветряными мельницами, которые ваша милость приняла за Бриареев и великанов, другие – к приключению с сукновальнями, кто – к описанию двух ратей, которые потом оказались стадами баранов, иной восторгается приключением с мертвым телом, которое везли хоронить в Сеговию, один говорит, что лучше нет приключения с освобождением каторжников, другой – что надо всем возвышаются приключения с двумя великанами-бенедиктинцами и схватка с доблестным бискайцем.

– А скажите, сеньор бакалавр, – снова вмешался Санчо, – вошло в книгу приключение с янгуасцами, когда добрый наш Росинант отправился искать на дне морском груш?

– Мудрец ничего не оставил на дне чернильницы, – отвечал Самсон, – он всего коснулся и обо всем рассказал, даже о том, как добрый Санчо кувыркался на одеяле.

– Ни на каком одеяле я не кувыркался, – возразил Санчо, – в воздухе, правда, кувыркался, и даже слишком, я бы сказал, долго.

– По моему разумению, – заговорил Дон Кихот, – во всякой светской истории должны быть свои коловратности, особливо в такой, в которой речь идет о рыцарских подвигах, – не может же она описывать одни только удачи.

– Как бы то ни было, – сказал бакалавр, – некоторые читатели говорят, что им больше понравилось бы, когда бы авторы сократили бесконечное количество ударов, которые во время разных стычек сыпались на сеньора Дон Кихота.

– История должна быть правдивой, – заметил Санчо.

– И все же они могли бы умолчать об этом из чувства справедливости, – возразил Дон Кихот, – не к чему описывать происшествия, которые хотя и не нарушают и не искажают правды исторической, однако ж могут унижить героя. Сказать по совести, Эней не был столь благочестивым, как его изобразил Вергилий, а Одиссей столь хитроумным, как его представил Гомер.

– Так, – согласился Самсон, – но одно дело – поэт, а другое – историк: поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действительности, а такими, какими они должны были быть, историку же надлежит описывать их не такими, какими они должны были быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не присочиняя.

– Коли уж сеньор мавр выложил всю правду, – заметил Санчо, – стало быть, среди ударов, которые получал мой господин, наверняка значатся и те, что получал я, потому не было еще такого случая, чтобы, снимая мерку со спины моего господина, не сняли заодно и со всего моего тела. Впрочем, тут нет ничего удивительного: мой господин сам же говорит, что головная боль отдается во всех членах.

– Ну и плут же вы, Санчо, – молвил Дон Кихот. – На что, на что, а на то, что вам выгодно, у вас, право, недурная память.

– Да если б я и хотел позабыть про дубинки, которые по мне прошли, – возразил Санчо, – так все равно не мог бы из-за синяков: ведь до ребер-то у меня до сих пор не дотронешься.

– Помолчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – не прерывай сеньора бакалавра, я же, со своей стороны, прошу его продолжать и рассказать все, что в упомянутой истории обо мне говорится.

– И обо мне, – ввернул Санчо, – ведь, говорят, я один из ее главных пресонажей.

– *Персонажей*, а не *пресонажей*, друг Санчо, – поправил Самсон.

– Еще один строгий учитель нашелся! – сказал Санчо. – Если мы будем за каждое слово цепляться, то ни в жизнь не кончим.

– Пусть моя жизнь будет несчастной, если ты, Санчо, не являешься в этой истории вторым лицом, – объявил бакалавр, – и находятся даже такие читатели, которым ты доставляешь больше удовольствия своими речами, нежели самое значительное лицо во всей этой истории, хотя, впрочем, кое-кто говорит, что ты обнаружил излишнюю доверчивость, поверив в возможность стать губернатором на острове, который был тебе обещан

присутствующим здесь сеньором Дон Кихотом.

– Время еще терпит, – заметил Дон Кихот, – и чем более будет Санчо входить в возраст, чем более с годами у него накопится опыта, тем более способным и искусным окажется он губернатором.

– Ей-богу, сеньор, – сказал Санчо, – не губернаторствовал я на острове в том возрасте, в коем нахожусь ныне, и не губернаторствовать мне там и в возрасте Мафусаиловом<sup>1</sup>. Не то беда, что у меня недостает сметки, чтобы управлять островом, а то, что самый этот остров неведомо куда запропастился.

– Положись на бога, Санчо, – молвил Дон Кихот, – и все будет хорошо, и, может быть, даже еще лучше, чем ты ожидаешь, ибо без воли божией и лист на дереве не шелохнется.

– Совершенная правда, – заметил Самсон, – если бог захочет, то к услугам Санчо будет не то что один, а целая тысяча островов.

– Навидался я этих самых губернаторов, – сказал Санчо, – по-моему, они мне в подметки не годятся, а все-таки их величают *ваши превосходительство* и кушают они на серебре.

– Это не губернаторы островов, – возразил Самсон, – у них другие области, попроще, – губернаторы островов должны знать, по крайности, грамматику и арифметику.

– С *орехами* – то я в ладах, – сказал Санчо, – а вот что такое *метика* – тут уж я ни в зуб толкнуть, не понимаю, что это может значить. Предадим, однако ж, судьбы островов в руки божии, и да пошлет меня господь бог туда, где я больше всего могу пригодиться, я же вам вот что скажу, сеньор бакалавр Самсон Карраско: я страх как доволен, что автор этой истории, рассказывая про мои похождения, не говорит обо мне никаких неприятных вещей, потому, честное слово оруженосца, расскажи он обо мне что-нибудь такое, что не пристало столь чистокровному христианину, каков я, то мой голос услышали бы и глухие.

– Это было бы чудо, – заметил Самсон.

– Чудо – не чудо, – отрезал Санчо, – а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет о *персонах*, а не ляпать без разбора все, что взбредет на ум.

– Одним из недостатков этой истории, – продолжал бакалавр, – считается то, что автор вставил в нее повесть под названием *Безрассудно-любопытный*, – и не потому, чтобы она была плоха сама по себе или же плохо написана, а потому, что она здесь неуместна и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота.

– Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, что у этого сукина сына получилась каша.

– В таком случае я скажу, – заговорил Дон Кихот, – что автор книги обо мне – не мудрец, а какой-нибудь невежественный болтун, и взялся он написать ее наудачу и как попало – что выйдет, то, мол, и выйдет, точь-в-точь как Орбанеха, живописец из Убеды, который, когда его спрашивали, что он пишет, отвечал: «Что выйдет». Нарисовал он однажды петуха, да так скверно и до того непохоже, что пришлось написать под ним крупными буквами: «Это петух». Так, очевидно, обстоит дело и с моей историей, и чтобы понять ее, понадобится комментарий.

– Ну нет, – возразил Самсон, – она совершенно ясна и никаких трудностей не представляет: детей от нее не оторвешь, юноши ее читают, взрослые понимают, а старики хвалят. Словом, люди всякого чина и звания зачитывают ее до дыр и знают наизусть, так что чуть только увидят какого-нибудь одра, сейчас же говорят: «Вот Росинант!» Но особенно увлекаются ею слуги – нет такой господской передней, где бы не нашлось *Дон Кихота*: стоит кому-нибудь выпустить его из рук, как другой уж подхватывает, одни за него дерутся, другие выпрашивают. Коротко говоря, чтение помянутой истории есть наименее вредное и самое приятное времяпрепровождение, какое я только знаю, ибо во всей этой книге нет ни одного мало-мальски неприличного выражения и ни одной не вполне католической мысли.

– Писать иначе – это значит писать не правду, а ложь, – заметил Дон Кихот, – историков же, которые не гнушаются ложью, должно сжигать наравне с

---

<sup>1</sup> *Мафусаил* – библейский патриарх, проживший 969 лет. Его имя стало нарицательным для обозначения долголетия.

фальшивомонетчиками. Вот только я не понимаю, зачем понадобилось автору прибегать к повестям и рассказам про других, когда он мог столько написать обо мне, – по-видимому, он руководствовался пословицей; «Хоть солому ешь, хоть жито, лишь бы брюхо было сыто». В самом деле, одних моих размышлений, вздохов, слез, добрых намерений и сражений могло бы хватить ему на еще более или уж, по крайности, на такой же толстый том, какой составляют сочинения Тостадо<sup>1</sup>. Откровенно говоря, сеньор бакалавр, я полагаю, что для того, чтобы писать истории или же вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения и зрелость мысли. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих: самое умное лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и бог, ибо бог и есть правда, и все же находятся люди, которые пекут книги, как олады.

– Нет такой дурной книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего, – вставил бакалавр.

– Без сомнения, – согласился Дон Кихот, – однако ж часто бывает так, что люди заслуженно достигают и добиваются своими рукописаниями великой славы, но коль скоро творения их выходят из печати, то слава им изменяет совершенно или, во всяком случае, несколько меркнет.

– Суть дела вот в чем, – сказал Карраско, – произведения напечатанные просматриваются исподволь, а потому и недостатки таковых легко обнаруживаются, и чем громче слава сочинителя, тем внимательнее творения его изучаются. Людям, прославившимся своими дарованиями, великим поэтам, знаменитым историкам всегда или же большею частью завидуют те, которые с особым удовольствием и увлечением вершат суд над произведениями чужими, хотя сами не выдали в свет ни единого.

– Удивляться этому не приходится, – заметил Дон Кихот, – сколько богословы сами не годятся в проповедники, но зато отличнейшим образом подметят, чего вот в такой-то проповеди недостает и что в ней лишнее.

– Все это так, сеньор Дон Кихот, – возразил Карраско, – однако ж я бы предпочел, чтобы подобного рода судьи были более снисходительны и менее придирчивы и чтобы они не считали пятен на ярком солнце того творения, которое они хулят, ибо если *aliquando bonus dormitat Homerus*<sup>2</sup>, то пусть они примут в рассуждение, сколько пришлось ему бодрствовать, дабы на светлое его творение падало как можно меньше тени, и притом, может статься, те пятна, которые им не понравились, – это пятна родимые, иной раз придающие человеческому лицу особую прелесть. Коротко говоря, кто отдает свое произведение в печать, тот величайшему подвергается риску, ибо совершенно невозможно сочинить такую книгу, которая удовлетворила бы всех.

– Книга, написанная обо мне, удовлетворит немногих, – вставил Дон Кихот.

– Как раз наоборот: ведь *stultorum infinitus est numerus*<sup>3</sup>, а посему ваша история пришлась по вкусу неисчислимому множеству читателей, однако ж некоторые полагают, что память у автора худая и слабая, ибо он забыл сообщить, кто украл у Санчо его серого: вор не назван, ясно только одно, что осла похитили, а немного погодя мы снова видим Санчо верхом на том же самом осле, который неизвестно откуда взялся. Еще говорят, будто автор забыл упомянуть, что сделал Санчо на ту сотню эскудо, которую он нашел в чемодане в Сьерре Морене: автор об этом умалчивает, а между тем многим хотелось бы знать, что Санчо на них сделал и как он ими распорядился, – вот этой существенной подробности в книге и недостает.

Санчо на это ответил так:

– Мне, сеньор Самсон, сейчас не до счетов и не до отчетов, – у меня такая слабость в

---

<sup>1</sup> *Тостадо* – прозвище авильского епископа Алонсо де Мадригаль, умершего в 1450 г. Собрание его сочинений состоит из ста двадцати четырех томов. Его имя стало синонимом плодovitого и скучного писателя.

<sup>2</sup> Неточная цитата из Горация: «Случается и Гомеру задремать», то есть и Гомер не свободен от промахов. (лат.)

<sup>3</sup> Число глупцов бесконечно (лат.) (Екклезиаст).

желудке, что ежели я не глотну для бодрости крепкого вина, то высохну, как щепка. Дома у меня есть вино, моя дражайшая половина меня поджидает, я только поем, а потом вернусь и удовлетворю вашу милость и всякого, кто только ни пожелает меня спросить касательно пропажи осла и на что я израсходовал сто эскудо.

И, не дожидаясь ответа и ни слова более не сказав, Санчо ушел домой.

Дон Кихот стал просить и уговаривать бакалавра остаться и закусить с ним чем бог послал. Бакалавр принял приглашение и остался; в виде добавочного блюда была подана пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско поддакивал хозяину; пиршество кончилось, все легли соснуть. Санчо возвратился, и прерванная беседа возобновилась.

## Глава IV,

*в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать*

Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал:

– Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, кто, как и когда похитил у меня серого, на каковой его запрос отвечаю нижеследующее. В ту же ночь, когда мы, спасаясь бегством от Святого братства, очутились в Сьерре Морене после злоключений, то бишь приключений, с каторжниками и с покойником, которого несли в Сеговию, мой господин и я спрятались в чаще леса, и тут мы оба, мой господин – опершись на копье, а я – верхом на своем сером, избитые и уставшие от перепалок, заснули как все равно на пуховиках. Особливо я заснул таким крепким сном, что кто-то ко мне подкрался, со всех четырех сторон подставил под седло по палке и не приметно вытащил из-под меня осла, я же так и остался в седле.



– Это дело пустячное, да и не новое, то же самое приключилось с Сакрипантом во время осады Альбраки: таким же хитроумным способом вытащил из-под него коня знаменитый разбойник Брунел<sup>1</sup>.

– Рассвело, – продолжал Санчо, – и чуть только я пошевелился, как палки полетели и я со всего размаху шлепнулся. Поглядел, где мой серый, ан серого-то и нет. Заплакал я в три ручья и таково жалобно запричитал, что ежели тот, кто написал про нас книгу, не вставил в нее моих причитаний, значит, можно сказать с уверенностью, что он ничего хорошего в нее не вставил. Сколько дней прошло с тех пор – не помню, только еду я с сеньорой принцессой Микомиконой, гляжу: осел-то мой вот он, а на нем одетый по-цыгански Хинес де Пасамонте, сей плут и преизрядный мерзавец, коего мой господин и я избавили от цепей.

– Ошибка не в этом, – заметил Самсон, – а в том, что, прежде нежели осел нашелся, автор обмолвился, что Санчо ехал верхом на том же самом сером.

– На это я не знаю, что вам ответить, – сказал Санчо, – видно, сочинитель ошибся, а может, это небрежность наборщика.

– По всей вероятности, так оно и есть, – сказал Самсон. – Ну, а что же случилось с сотней эскудо? Их не стало в живых?

Санчо ответил:

– Я истратил их на себя лично, на жену и на детей, и только благодаря им я не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути-дорожки, а то если б я через столько времени заявился домой без осла и с пустыми руками, меня бы ожидала незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, перед собственной его *пресоной*, да и никого не касается – привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мараведи за каждую, так не то что ста, а и двухсот эскудо не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называет черным, а черное – белым: ведь все мы таковы, какими нас господь бог сотворил, а бывает, что и того хуже.

– Я попрошу автора, – сказал Карраско, – чтобы он во втором издании своей книги не забыл вставить то, что сейчас сказал добрый Санчо, – это к вящему послужило бы ей украшению.

– А еще какие-нибудь исправления требуются в этой книге, сеньор бакалавр? – осведомился Дон Кихот.

– Вероятно, какие-нибудь требуются, – отвечал тот, – но уже не столь существенные.

– А не собирается ли, чего доброго, автор выдать в свет вторую часть? – спросил Дон Кихот.

– Как же, собирается, – ответил Самсон, – только он говорит, что еще не разыскал ее и не знает, у кого она хранится, так что это еще под сомнением, выйдет она или нет, да и потом некоторые говорят: «Вторая часть никогда не бывает удачной», а другие: «О Дон Кихоте написано уже довольно», вот и берет сомнение, будет ли вторая часть. Впрочем, люди не угрюмые, а жизнерадостные просят: «Давайте нам еще Дон-Кихотовых походов, пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно – мы всем будем довольны».

– К чему же склоняется автор?

– А вот к чему, – отвечал Самсон. – Он с крайним тщанием историю эту разыскивает, и коль скоро она найдется, он сей же час предаст ее тиснению: ведь он не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью.

На это Санчо ему сказал:

– Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно

---

<sup>1</sup> ...разбойник Брунел. – В XXVII песне «Неистового Роланда» рассказывается о том, как ловкий вор Брунел похитил у Сакрипанта коня тем же способом, каким Хинес де Пасамонте вытащил осла из-под Санчо Пансы.



портняжке перед самой Пасхой, – произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый сеньор мавр, или кто он там такой, постарается, а уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди, думает про нас: дескать, как сыр в масле катаются, а поглядел бы, как мы тут благоденствуем, – пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу: послушайся меня мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли бы кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей.

Не успел Санчо вымолвить это, как их слуха достигло ржание Росинанта, каковое ржание Дон Кихот почел за весьма добрый знак и положил дня через три, через четыре снова отправиться в поход; и, поделившись намерением своим с бакалавром, он спросил, куда тот посоветует ему путь держать; бакалавр отвечал, что, по его разумению, в королевство Арагонское, в город Сарагосу, где в ближайшее время, в Георгиев день, надлежит быть наиторжественнейшим состязаниям<sup>1</sup> и где Дон Кихот может превзойти всех рыцарей арагонских, а это все равно, что превзойти всех рыцарей на свете. Засим бакалавр похвалил Дон Кихота за его чрезвычайно благородное и смелое начинание, но предупредил, чтобы он не играл с опасностью по той причине, что его жизнь, мол, принадлежит не ему, а всем несчастным, которые в помощи его и покровительстве нуждаются.

– Насчет состязания, сеньор Самсон, я не согласен, – вмешался Санчо, – ведь мой господин набрасывается на сотню вооруженных людей, как все равно лакомка-мальчишка на полдюжину спелых дынь. Да, черт побери, сеньор бакалавр, всему свое время: когда напасть, а когда и отступить можно, а издавать то и знай воинственные кличи – это не дело. Притом я слышал, и как будто бы, если память мне не изменяет, от моего же собственного господина, что посредине между двумя крайностями, трусостью и безрассудством, находится храбрость, а коли так, то не должно удирать неизвестно из-за чего, а равно и нападать на превосходящие силы противника. Но главное вот насчет чего я хочу упредить моего господина: коли он намерен взять меня с собой, то я, со своей стороны, ставлю непременно условием, что драться будет он один, мне же только вменяется в обязанность следить за тем, чтобы он был чисто одет и накормлен, – тут уж я в лепешку расшибусь, – но чтобы я когда-нибудь поднял меч не то что на великана, а хотя бы на разбойника с большой дороги, это вещь невозможная. Я, сеньор Самсон, рассчитываю добыть себе славу не храбреца, а самого лучшего и самого верного оруженосца, какой когда-либо служил странствующему рыцарю. И если моему господину Дон Кихоту в награду за многочисленные мои и важные услуги благоугодно будет пожаловать мне один из тех многочисленных островов, которые, как я слышал от его милости, в здешних краях водятся, то он меня премного тем одолжит, а не пожалует, то для чего-то я все-таки родился на свет, а ведь всякому человеку должно уповать ни на кого другого, а только на бога, и притом может статься, что безгубернаторский кусок хлеба такой же вкусный, а то, глядишь, еще и повкуснее, нежели губернаторский, да и откуда я знаю: не ровен час, на этих самых островах черт собирается подставить мне ножку, чтобы я споткнулся, упал и вышиб себе зубы. Как был я Санчо, так Санчо и умру, однако ежели без особого с моей стороны риска и хлопот ни оттуда ни отсюда свалится мне с неба какой-нибудь остров или же еще что-нибудь в этом роде, то я не такой дурак, чтоб от него отказаться, не зря же говорит пословица: «Дали коровку – беги скорей за веревкой», а то еще: «Привалило добро – тащи прямо в дом».

– Ты, братец Санчо, – молвил Карраско, – говорил как настоящий профессор, однако ж со всем тем положишься на бога и на сеньора Дон Кихота, и сеньор Дон Кихот пожалует тебе не только что остров, а и целое королевство.

– Половинку бы – и то хорошо, – заметил Санчо, – только смею вас уверить, сеньор Карраско, что королевство, которое моему господину угодно будет мне пожаловать, со мной

---

<sup>1</sup> ...в Георгиев день надлежит быть наиторжественнейшим состязаниям... – Эти традиционные торжества происходили ежегодно в Сарагосе в память освобождения города от мавров в 1118 г.

не пропадет: я щупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы править королевствами и островами, – я уж сколько раз говорил моему господину.

– Смотри, Санчо, – сказал Самсон, – от должностей меняется нрав; может случиться, что, ставши губернатором, ты от родной матери отвернешься.

– Так можно сказать про басурмана, – возразил Санчо, – а у меня в жилах течет чистая-расчистая христианская кровь. Да нет, вы только присмотритесь ко мне: разве я способен отплатить кому-либо неблагодарностью?

– Дай-то бог, – молвил Дон Кихот, – посмотрим, что будет, когда ему вручат бразды правления, а мне сдастся, что час тот недалек.

Затем Дон Кихот попросил бакалавра, если только он поэт, сделать ему одолжение – сочинить на предстоящую разлуку с сеньорой Дульсинеей Тобосской такое стихотворение, где бы каждый стих начинался с одной из букв ее имени, так что в конце концов, если соединить начальные буквы, можно было бы прочитать: *Дульсинея из Тобосо*. Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, всего-навсего три с половиной, однако ж не преминет-де сочинить помянутые вирши, нужды нет, что сочинение таковых представляет для него трудность немалую по той причине, что заданное имя состоит из семнадцати букв, и вот если, мол, написать четыре четверостишия, то одна буква будет лишняя, если же четыре пятистишия, четыре так называемые *десимы*<sup>1</sup> или *редондилы*, то трех букв не хватит, однако ж со всем тем он, дескать, постарается как-нибудь проглотить одну букву и в четыре четверостишия втиснуть имя Дульсинеи из Тобосо.

– Добейтесь этого во что бы то ни стало, – сказал Дон Кихот, – ни одна женщина не поверит, что стихи посвящены ей, если имя ее не обозначено в них ясно и отчетливо.

– На том они порешили, а также на том, что Дон Кихот выедет через неделю. Дон Кихот взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности от священника и маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, чтобы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Карраско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах; и тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.

## Глава V

*Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем*

Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что глава эта, по его мнению, вымышленная, ибо в ней Санчо Панса изъясняется таким слогом, какого нельзя было бы ожидать от ограниченного его ума, и рассуждает о таких тонкостях, которые не могли быть ему известны; однако ж, дабы исполнить долг службы, переводчик положил перевести ее; итак, он продолжает.

Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена учуяла это веселье на расстоянии арбалетного выстрела и принуждена была спросить:

– Что с тобой, друг Санчо? Отчего ты такой веселый?

А Санчо ей на это ответил:

– Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.

– Я тебя не понимаю, муженек, – сказала жена, – не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался, – я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.

---

<sup>1</sup> *Десима* – десятистишие, *редондилья* – традиционная испанская стихотворная строфа – четверостишие, в котором первая строчка рифмуется с четвертой, а вторая с третьей.

– Слушай, Тереса, – сказал Санчо, – я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним – меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перекупьям, – а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть – веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.

– Послушай, Санчо, – сказала Тереса, – с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять.

– Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает, – возразил Санчо. – Ну, ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности – ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами, андриаками и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами и заколдованными маврами.

– Да уж я вижу, муженек, – сказала Тереса, – что хлеб странствующих оруженосцев – это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.

– Я тебе прямо говорю, жена, – сказал Санчо, – не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.

– Ну нет, муженечек, – возразила Тереса, – живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы – и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа – это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчику уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора, настоятель, который ему дядюшкой приходится, обещался направить его по духовной части. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча<sup>1</sup>, совсем даже не прочь выйти замуж, – мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве, да ведь и то сказать: для девушки лучше плохой муженек, нежели хороший дружок.

– Клянусь честью, – молвил Санчо, – коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе как *ваше сиятельство*.

– Ну нет, Санчо, – возразила Тереса, – выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевенького платышка – в шелковое, да с фижмами, и вместо *Марика, ты*, все станут называть ее *донья такая-то* и *ваше сиятельство*, так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.

– Молчи, дура, – сказал Санчо, – годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся – что за беда? Только

---

<sup>1</sup> *Марисанча* – И жену и дочь Санчо Пансы зовут Мари (см. Мари Гутьеррес, гл. VII первой части). Мари – широко распространенное в народе женское имя, которое стало нарицательным для женщины вообще. Таким образом, Мари Гутьеррес означает просто «Гутьеррес». Марисанча – просто «Санча». По установившемуся в Испании обычаю, жена могла сохранить фамилию своего отца (жена Санчо Пансы называет себя Тереса Каскахо), принять фамилию мужа (скажем Тереса Панса) или сделать своей фамилией имя мужа (Тереса Санча). Дети же могли иметь имена, в которых составной частью входило имя отца, а иногда его уменьшительная или женская форма (Марисанча, Санча, Санчика). Полное имя жены Санчо Пансы было: Хуанта-Тереса (имя) Гутьеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу).

бы ей стать *вашим сиятельством*, а все остальное вздор.

– Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием, – сказала Тереса, – не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятя». Подумаешь, какое счастье – выдать Марию за какого-нибудь графчонка или там дворяннишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, провози-ка скорей деньжат, а выдать ее замуж – это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась: вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятя и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец, там и люди ее не поймут и она никого не поймет.

– Ах ты дурища, Вараввина жена! – вскричал Санчо. – Ну какая тебе корысть – не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали *ваше сиятельство*? Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный – пускай же он нас и несет.

Подобные обороты речи, а также иные из тех выражений, которые Санчо употребит ниже, и вынудили переводчика этой истории объявить, что он признаёт эту главу за вымышленную.

– Говори, тварь неразумная, – продолжал Санчо, – чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и через то мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать *доньей Тересой Панса* и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров, – как ты себе хочешь, Санчика будет графиней.

– Ты соображаешь, что говоришь, муженек? – воскликнула Тереса. – Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай, как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда здорово живешь начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, шуток и финтифлюшек – всяких там *донов* да *распродонов*, отец мой – по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса (хотя, по правилам, меня бы следовало звать Тересой Каскахо, ну да одно дело – закон, а другое – король), и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой *доньи*, а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша, – ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче, ишь ты, – фижмы да застезки, и нос дерет, как будто она знать нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств, – одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, – я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я – клянусь памятью моей матери – никуда из нашего села не двинемся: женщине честной – за прялку место, а девушке скромной своя лачуга – хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится, а вот откуда у твоего господина появился *дон* – это мне, ей-ей, чудно, потому ни отцы его, ни деды *донами* не были.

– Нет, в тебя просто бес вселился, – объявил Санчо. – Господь с тобой, жена, чего ты

только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застежками, финтифлюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай, ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не сумеешь и не понимаешь своего счастья): если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету наподобие инфанты не то доньи Собаки, не то доньи Урраки<sup>1</sup>, – я уж позабыл, как ее звали, – вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришилую ей *донью* и *ваше сиятельство* и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?

– Знаешь, муженек, отчего я не согласна? – отвечала Тереса. – Оттого, что, как говорится, «платье тебя одеваает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами – и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе – куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.

– Постой, Тереса, – прервал ее Санчо, – слушай, что я тебе сейчас скажу, – такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то.

Вышеприведенные речи Санчо составляют вторую причину, по которой переводчик признаёт эту главу за вымышленную, ибо они превосходят понятие Санчо. А Санчо между тем продолжал:

– Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаем к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицеизрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением, – коли он уже в прошлом, – не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.

– Не понимаю я тебя, муженек, – сказала Тереса, – поступай, как знаешь, и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось...

– *Заблагорассудилось* должно говорить, жена, а не *забезрассудилось*, – поправил Санчо.

– Не спорь со мной, муженек, – возразила Тереса, – я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губернаторство, то возьми с собой своего сына Санчо и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать – ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.

– Когда я буду губернатором, – объявил Санчо, – я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он таков, а было видно, каким ему надлежит быть.

– Пришли только денег, – молвила Тереса, – а уж он у меня будет разодет в пух и прах.

– Ну, словом, – заключил Санчо, – мы с тобой уговорились, что дочка наша должна

---

<sup>1</sup> *Уррака* – дочь короля Фернандо Кастильского (ум. 1065 г.). Согласно преданию, узнав, что отец лишил ее наследства, она заявила ему, что будет торговать своим телом, а заработанные таким путем деньги отдаст на упокоение души отца.

быть графиней.

– В тот день, когда она станет графиней, – возразила Тереса, – я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля – во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.

И тут она залилась такими горькими слезами, точно Санчика и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.

## Глава VI

*О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницею и ключницею, и это одна из самых важных глав во всей истории*

Пока Санчо Панса и его супруга Тереса Каскахо вели между собой вышеприведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными: по многим признакам догадавшись, что дядя их и господин, томимый жаждой рыцарских, как они полагали, *заблуждений*, а не походов, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Со всем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим сказала ему:

– Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, *облегчений*, а я их называю *огорчениями*, то я пожалуюсь богу и королю и буду кричать на крик и не своим голосом, чтобы они вам не позволили.

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Ключница! Мне неизвестно, что господь бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит его величество, знаю только, что, будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений, ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на его величестве, самая тяжелая – это всех выслушивать и всем отвечать, вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами.

Ключница же на это сказала:

– А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари?

– Есть, – отвечал Дон Кихот, – и даже много, и на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и усугубляют величие королевского престола.

– Так почему бы и вам, ваша милость, не послужить королю, своему господину, сидя смиренно при дворе?

– Вот что, дорогая моя, – отвечал Дон Кихот, – не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни бывают нужны и те и другие. И хоть и все мы – рыцари, однако ж есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша, и они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные из конца в конец самолично обходим дозором землю, и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и со всякими пустяками, например: не короче ли у одного из противников копьё или шпага, и что у недруга спрятано на груди – реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет<sup>1</sup>, и прочими

---

<sup>1</sup> ...как поделить между собой солнечный свет... – то есть указать дуэлянтам такие места, чтобы солнечный свет не бил им в глаза.

тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. И еще тебе надобно знать вот что: добрый странствующий рыцарь при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними, и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза как мельничные жернова и горят, как стеклоплавильные печи, отнюдь не устрашается, – напротив того, приосанившись, с душою, полною отваги, он бросается на них, бьется с ними, а буде окажется возможным, то в мгновение ока одолевает и разбивает наголову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы – чешую, говорят, будто бы тверже алмаза, – а вместо шпага вооружены острыми дамаской стали саблями или железными палицами с наконечниками также из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. Все это, любезная моя ключница, я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости государи должны были бы больше ценить второй, вернее первый, разряд – разряд рыцарей странствующих, среди коих, гласит история, мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств.

– Ах, сеньор! – воскликнула тут племянница. – Да поймите же вы наконец, ваша милость: все, что рассказывают о странствующих рыцарях, это сплошные враки и побасенки, а книги про них следовало бы сжечь или уж, по крайности, накинуть на них санбенито<sup>1</sup>, а еще можно ставить на них особые знаки, чтоб всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики.

– Клянусь создателем, – воскликнул Дон Кихот, – что, не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет как должно обращаться, осмеливалась трепать языком и бранить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если б услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо, ибо не все рыцари равно учтивы и обходительны, есть среди них невежи и грубияны. Ведь не все именующие себя рыцарями являются таковыми в полной мере: иные сделаны из настоящего золота, иные – из поддельного. С виду все как будто бы рыцари, однако ж не все выдерживают испытание пробным камнем истины. Есть люди низкого звания, которые из кожи вон лезут, чтобы сойти за рыцарей, есть и родовитые рыцари, которые готовы наизнанку вывернуться, чтобы сойти за простолюдинов: первые стремятся вверх то ли из честолюбия, то ли из добрых побуждений, вторые стремятся вниз то ли по слабости, то ли по своей порочности, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий.

– Боже ты мой! – воскликнула племянница. – Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе – будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы – рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идалго и могут стать кавальеро, но ведь не бедные же!..

– В твоих словах, племянница, есть большая доля правды, – заметил Дон Кихот, – касательно же родословных я мог бы рассказать тебе такие вещи, что ты далась бы диву, но, дабы не мешать божеского с человеческим, я обойду их молчанием. Вот что, дорогие мои: все существующие в мире родословные можно свести (слушайте меня со вниманием) к четырем видам, а именно: есть роды, у которых начало было скромное, но мало-помалу они ширятся и распространяются и, наконец, достигают величия наивысшего; у других начало

---

<sup>1</sup> *Санбенито* – наплечная повязка или накидка желтого цвета с алым крестом, которую надевали на тех, кого инквизиция приговаривала к публичному покаянию.

было высокое, и они его блюли неукоснительно, и продолжают блюсти, и удерживаются и поныне на той высоте, с которой начали; у третьих начало было столь же высокое, однако же впоследствии они сузились наподобие пирамиды, – они постепенно оскудевали, впадали в ничтожество, а затем и вовсе сходили на нет, подобно вершине пирамиды, ибо по отношению к своему фундаменту, или же основанию, она есть ничто; и есть роды (таких, должно заметить, большинство), которые не могут похвалиться ни счастливым началом, ни приличной серединой, и конец их будет столь же бесславен, – это конец всех плебеев и людей обыкновенных. Примером первого вида, то есть скромного начала и неуклонного возвышения, служит Дом Оттоманов<sup>1</sup>: основание ему положил скромный, простой пастух, а ныне мы видим, какой высоты достигла эта династия. Примером второго вида, то есть высокого начала и сохранения его без приумножения, могут служить многие государи, к которым престол перешел по наследству и которые свято охраняют его, не расширяя, но и не уменьшая своих владений и по миролюбию своему оставаясь в раз навсегда установленных пределах. Примеры высокого начала и постепенного оскудевания суть многочисленны, ибо все фараоны и Птолеми египетские, цезари римские и вся прорва (если можно так выразиться) бесчисленных государей, монархов и владетельных князей мидийских, ассирийских, персидских, греческих и варварских, все эти царские и княжеские роды впали в ничтожество и сошли на нет – как сами эти роды, так и родоначальники, – потомков их ныне сыскать уже невозможно, а если кого и сыщешь, так тот, уж верно, пребывает в низком и жалком состоянии. О родах плебейских я могу сказать одно: единственное их назначение – увеличивать собою число живущих на свете, и многочисленность их не стоит ни славы, ни похвал. Из всего сказанного, дурочки вы мои, вам надлежит сделать тот вывод, что с этими родами путаницы не оберешься и что только те роды истинно велики и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю: добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель – это все равно что властительный злочестивец, а не щедрый богач – это все равно что нищий скупец: ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели, а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, не высокомерным, не заносчивым и не клеветником, главное же – ему надлежит быть сострадательным, ибо, с веселым сердцем подав бедному два мараведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола, и коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то, кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служит неизменно наградою добродетели, и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету: один из них – поприще ученое, другой – военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса, так что я уже как бы по необходимости следую этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился, и убеждать меня, чтобы я не желал того, чего возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности, с подвигом странствующего рыцарства сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые через него достаются; и еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка, а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различны, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели, тесный и утомительный, кончается жизнью, но не тою жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а тою, которой не будет конца; и еще я

---

<sup>1</sup> *Дом Оттоманов* – Отман (или Осман I) – основатель Турецкой (Оттоманской) империи и родоначальник династии Осмаили (1259–1326) прежде, по преданию, был атаманом разбойничьей шайки.



знаю, что, по выражению знаменитого нашего кастильского стихотворца<sup>1</sup>:

По этим скалам можешь ты взойти  
К обители бессмертия высокой,  
Куда иного не сыскать пути.

– Что же я за несчастная! – воскликнула племянница. – Мой дядя к довершению всего еще и поэт! Все-то вы знаете, все-то вы постигли, – ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смастерить клетку.

– Уверяю тебя, племянница, – сказал Дон Кихот, – что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку, как, например, клетки или зубочистки<sup>2</sup>.

В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он; и, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть, – так он был ей несносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница, сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями, потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.

## Глава VII

*О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях*

Ключница как увидела, что Дон Кихот заперся с Санчо Пансою, так в ту же секунду смекнула, о чем они могут вести переговоры; и, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, она схватила свою накидку и, полная печали и беспокойства, побежала к бакалавру Самсону Карраско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился сможет уговорить его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его, ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Карраско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил:

– Что с вами, сеньора ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается.

– Со мной-то ничего, голубчик мой, сеньор Самсон, а вот господин мой утекает собирается, непременно утечет!

– Откуда же у него течет? – спросил Самсон. – Что, он разбился, что ли?

– Он сам утечет через ворота своего сумасшествия, – отвечала ключница. – Я хочу сказать, милейший сеньор бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз, постранствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, *облегчений*, – не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на волах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала: бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен с лишком в него всадила, – беру во свидетели господа бога, весь наш околоток да еще моих кур: мои куры могут это подтвердить.

---

<sup>1</sup> *Знаменитый кастильский стихотворец* – Имеется в виду крупный испанский поэт Гарсиласо де ла Вега (1503–1536). Сервантес приводит строки из его элегии на смерть одного вельможи.

<sup>2</sup> *...клетки или зубочистки.* – Лицам дворянского происхождения возбранялось занятие ремеслами, за исключением нескольких, которые не считались «позорными». К их числу относилось, в частности, производство клеток и зубочисток.

– В этом я совершенно уверен, – заметил бакалавр, – они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорей лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора ключница, все дело и вся беда в том, что замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь?

– Именно этого, сеньор, – подтвердила ключница.

– В таком случае не беспокойтесь, – объявил бакалавр, – ступайте с богом домой и приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Аполлинарии, если вы ее знаете, я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится.

– Ах ты, какая досада! – вскричала ключница. – Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполлинарии прочесть? Да ведь это если б у моего господина зубы болели, а у него голова не работает.

– Я знаю, что говорю, сеньора ключница. Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать, – примолвил Карраско.

После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано.

Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину:

– Сеньор! Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

– *Просветил* должно говорить, Санчо, а не *засветил*, – заметил Дон Кихот.

– Раза два, если не ошибаюсь, – сказал Санчо, – я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли, если вам понятно, что я хочу сказать, а если не понимаете, скажите только: «Санчо, или там черт, дьявол, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте: ведь я человек поладистый...

– Я тебя не понимаю, Санчо, – прервал его тут Дон Кихот, – я не знаю, что значит: я человек *поладистый*.

– *Поладистый* – это значит: *какой уж я есть*, – пояснил Санчо.

– Сейчас я тебя еще меньше понимаю, – признался Дон Кихот.

– Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать, не знаю – и дело с концом, – отрезал Санчо.

– Стой, стой, я уже догадался, – молвил Дон Кихот, – ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый*, мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу.

– Бьюсь об заклад, – сказал Санчо, – что вы еще попервоначалу поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще невесть какой чуши напорол.

– Возможно, – сказал Дон Кихот. – Ну, так что же все-таки говорит Тереса?

– Тереса говорит, – отвечал Санчо, – чтобы я охулки на руку не клал, уговор, мол, дороже денег, а после, мол, снявши голову, по волосам не плачут, и лучше, дескать, синица в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.

– И я то же говорю, – согласился Дон Кихот. – Ну, друг Санчо, дальше: нынче у тебя что ни слово – то перл.

– Дело состоит вот в чем, – продолжал Санчо. – Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны, сегодня мы живы, а завтра померли, и так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый, и никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от бога, потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится, и не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою, – такая о ней, по крайности, молва и слава, и так нам говорят с амвона.

– Все это справедливо, – заметил Дон Кихот, – только я не понимаю, к чему ты клонишь.

– Клоню я к тому, – отвечал Санчо, – чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалованья, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалованье выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен, потому они или поздно приходят, или не в пору, или вовсе не приходят, а со своими кровными я кум королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю: курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает, а потом: немножко да еще немножко, ан, глядь, и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится (хоть я уже не верю и не надеюсь), что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребушие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать.

– Разумеется, друг Санчо, *придержать* для себя всегда выгоднее, чем *удержать* в пользу кого-нибудь другого, – заметил Дон Кихот.

– Ах да, – сказал Санчо, – конечно, мне надлежало сказать: *удержать*, а не *придержать*, ну, ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли.

– Понял, понял, – сказал Дон Кихот, – все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в чей огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо, я с удовольствием положил бы тебе жалованье, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который, как в щелочку, дал бы мне подглядеть и показал, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы и не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье, – я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом, или же чем-либо равноценным, или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовольствуетесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим, а чтобы я стал нарушать и ломать древний обычай странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении, и если и она и вы согласитесь служить мне за награды, то *bene quidem*<sup>1</sup>, если же нет, то мы расстанемся друзьями: было бы зерно на голубятне, а голуби-то найдутся. И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого имения и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам, что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с богом, но уж потом пеняйте на себя, я же сыщу себе оруженосца послушнее и усерднее вас и не такого нескладного и не такого болтливового, как вы.

Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах и крылья его храбрости опустились, ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире; и он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон Карраско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом:

– О цвет странствующего рыцарства! О лучезарное светило воинства! О честь и зеркало народа испанского! Молю всемогущего бога, как если б он стоял предо мною, чтобы тот или те, кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается.

Затем он обратился к ключнице:

– Сеньора ключница смело может не молиться более святой Аполлинарии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер, чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и бесподобные замыслы, и меня бы замучила совесть,

---

<sup>1</sup> Превосходно (лат.)

когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать наконец бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирым, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорой замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша и ваше величие отправится в путь не завтра, а сегодня же, и если вам чего-либо для этого недостает, то к вашим услугам я сам и мое достояние, и если ваше великолепие нуждается в оруженосце, то я, со своей стороны, почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

– Не говорил ли я тебе, Санчо, что в оруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги; не кто иной, как несравненный бакалавр Самсон Карраско, первый забавник и шалун среди саламанкских школяров, здоровый телом, быстрый в движениях, не болтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие от оруженосца странствующего рыцаря требуются. Однако ж небеса не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столп учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокоую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей своих, я же любым удовольствием оруженосцем, коли Санчо не соблаговолит меня сопровождать.

– Нет, соблаговолю, – растроганный, весь в слезах, объявил Санчо, а засим продолжал: – Обо мне никто не скажет, государь мой: «Поел-попил – и дружба врозь», в моем роду неблагодарных не было, все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были Панса, от коих я происхожу, да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я пустился в вычисления касательно жалованья, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится, то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однако ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине – женщиной, и коли по таким признакам, которых я не могу отрицать, я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома, как она там себе хочет, а потому вашей милости требуется только составить завещание с опиской, так чтобы его нельзя было оспорить, – и скорее в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние: ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость, – или как это говорится: подвигнет, что ли? – в третий раз постранствовать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой ничуть не хуже, а пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их ни есть теперь.

Подивился бакалавр выражениям и оборотам речи Санчо Пансы, ибо хотя он и прочел первую историю его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают; когда же Санчо вместо: *завещание с припиской* сказал: *завещание с опиской*, то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господин и слуга, еще не видывал свет. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и с благословения высокоумного Карраско, на которого они смотрели теперь, как на оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня, в течение каковых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его – он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но, напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятиям, коими ключница и племянница осыпали бакалавра, не было конца; обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица и, как заправские плакальщицы, оплакивали

отъезд Дон Кихота, словно то был не отъезд, но кончина. О цели же, которую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше, – так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого.

Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым; и после того как Санчо успокоил свою супругу, а Дон Кихот – племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком от всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо: Дон Кихот – на добром своем Росинанте, а Санчо – все на том же осле, причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился. Дон Кихот обещал; Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.

## Глава VIII,

*в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской*

«Благословен всемогущий аллах!» – восклицает Ахмет Бен-инхали в начале этой восьмой главы. «Благословен аллах!» – троекратно повторяет он; произносит же он эти благословения, мол, потому, что Дон Кихот и Санчо давно уже выехали за деревню и что читатели приятной этой истории могут считать, что с этого самого мгновения начинаются деяния Дон Кихота и прибаутки его оруженосца; он советует читателям забыть прежние рыцарские подвиги хитроумного идадьго и приковать внимание к будущим, каковы ныне, по дороге в Тобосо, начинаются, подобно как прежние начались в полях Монтелья, и не так, мол, уж велика просьба автора по сравнению с тем, что он сулит; итак, он продолжает.

Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон скрыться из виду, как Росинант начал ржать, а осел реветь, что было принято обоими, и рыцарем и оруженосцем, за добрый знак и счастливейшее предзнаменование, хотя, по правде сказать, стенания и крики осла взяли верх над ржанием клячи, из чего Санчо вывел заключение, что его счастливая доля превзойдет и оставит далеко позади счастливую долю его господина; должно думать, что Санчо в сем случае основывался на своих познаниях в области астрологии, хотя, впрочем, история об этом умалчивает; известно только, что когда он спотыкался или падал, то неукоснительно говорил себе, что лучше было бы сидеть дома, ибо от спотыкания и падения ничего иного, кроме порчи обуви и перелома ребер, произойти не может; и хотя оруженосец наш умом не отличался, однако ж в сем случае был довольно близок к истине; Дон Кихот же ему сказал:

– Друг Санчо! Ночь застигла нас в пути, и стало так темно, что мы, пожалуй, не успеем на рассвете попасть в город Тобосо, который я положил посетить до того, как отправлюсь на поиски других приключений, и где я получу благословение и милостивое соизволение несравненной Дульсинеи, а я полагаю и совершенно уверен, что с таким соизволением я доведу до победного конца любое опасное приключение, ибо ничто в этой жизни не придает странствующим рыцарям такой отваги, как благоволение их дам.

– Я тоже так думаю, – отозвался Санчо, – только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать или же свидеться в таком, к примеру сказать, месте, где бы вы могли получить от нее благословение, разве через изгородь скотного двора, через которую я с нею в прошлый раз и виделся, когда отвозил письмо с вестями о том, как ваша милость дурачится и безумствует в самом сердце Сьерры Морены.

– Так тебе, Санчо, на том месте, где, или, вернее, через которое ты виделся с этою прелестью и красотой, что выше всяких похвал, привиделась изгородь скотного двора? – молвил Дон Кихот. – Нет, то была, верно, галерея, балкон или, как это называется, портик

роскошного королевского дворца.

– Все может быть, – согласился Санчо, – однако ж мне это показалось изгородью, если только мне не изменяет память.

– Как бы то ни было, едем туда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – мне совершенно все равно, как мне доведется увидиться с нею: через изгородь ли скотного двора, через окно ли, через щель или же через садовую ограду, ибо всякий луч солнца ее красоты, достигнувший моих очей, озарит мой разум и укрепит мой дух, и тогда в целом свете не найдется равных мне по уму и отваге.

– Сказать по совести, сеньор, – возразил Санчо, – когда я видел это самое солнце, то бить сеньору Дульсинею Тобосскую, оно было не такое уж яркое и никаких лучей не посылало, верно, потому, что ее милость, как я вам уже докладывал, просеивала тогда зерно и густая пыль облаком стояла вокруг нее и застилала ее лицо.

– Так ты, Санчо, все еще продолжаешь утверждать, думать, верить и стоять на том, что сеньора Дульсинея просеивала зерно, – спросил Дон Кихот, – хотя эта работа и занятие нимало не соответствуют тому, что обыкновенно делают и должны делать особы знатные, созданные и предназначенные для иных занятий и развлечений, по которым их знатность угадывается на расстоянии арбалетного выстрела?.. Плохо же ты помнишь, Санчо, те стихи нашего поэта<sup>1</sup>, в коих он описывает, чем занимались там, в хрустальных своих чертогах, четыре нимфы: как они вышли из вод любимого Тахо и, усевшись на зеленой лужайке, принялись расшивать драгоценные ткани, которые, по словам хитроумного поэта, были сработаны и сотканы из золота, жемчуга и шелка. И тем же, должно думать, была занята и моя госпожа, когда ты ее увидел, если только какой-нибудь злой волшебник, завидующий моим подвигам, не подменил ее, и не преобразил, как и все, что мне доставляет отраду, в нечто совершенно иное, – я даже боюсь, как в истории моих деяний, будто бы вышедшей из печати, автор ее, в случае если это враждебный мне кудесник, не подтасовал событий, не примешал к правде уйму небылиц и не увлекся рассказом о других происшествиях, к продолжению этой правдивой истории не относящихся. О зависть, корень неисчислимых зол, червь, подтачивающий добродетель! Всякий порок, Санчо, таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы.

– Я тоже это всегда говорю, – подхватил Санчо, – и сдается мне, что в этой самой книжке или истории, которая, если верить бакалавру Карраско, будто бы про нас написана, чести моей, уж верно, достается, словно иному упрямому борову, который не хочет идти, а ему и справа и слева, как говорится, наподдают ногами, так что пыль столбом. А между тем, верное слово, я ни про одного волшебника ничего худого не говорил, да и добра у меня не так много, чтоб мне можно было завидовать. Правда, я немножко себе на уме и не прочь иной раз сплутовать, но хоть я и плутоват, да зато простоват, и простота моя – от природы, а вовсе не напоказ, и когда б у меня не было ничего за душой, кроме веры, а я всю свою жизнь искренне и твердо верю в бога и во все, чему учит и во что верует святая римско-католическая церковь, и являюсь заклятым врагом евреев, то из-за одного этого сочинителям следовало бы отнестись ко мне снисходительно и в своих писаниях выставить меня в выгодном свете. А впрочем, пусть себе говорят, что хотят, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, и что про меня пишут в книгах и теперь будут по всему свету трепать мое имя – на это мне наплевать: пусть говорят все, что им заблагорассудится.

– Это мне приводит на память, Санчо, случай с одним знаменитым поэтом нашего времени, – сказал Дон Кихот, – он сочинил колкую сатиру на всех куртизанок, но одну из них не упомянул и не назвал, так что закрадывалось сомнение, куртизанка она или нет; она же, обнаружив, что не попала в список, стала пенять стихотворцу и спросила, что-де он в ней такое нашел, из-за чего ее имени не оказалось в перечне, а затем потребовала, чтобы он дополнил сатиру и приписал что-нибудь о ней, иначе, мол, лучше бы ему на свет не родиться. Поэт так и сделал и уж расписал ее в лучшем виде, а она осталась довольна: хоть и

---

<sup>1</sup> ...стихи нашего поэта... – Имеется в виду Гарсиласо де ла Вега.

бесславная, а все-таки, мол, слава. И еще здесь уместно вспомнить рассказ о пастухе, который поджег и спалил знаменитый храм Дианы, почитавшийся за одно из семи чудес света, единственно для того, чтобы сохранить имя свое для потомков, и хотя было поведено не упоминать и не называть его имени ни устно, ни письменно, дабы цели своей он не достигнул, все же стало известно, что звали его Герострат. Еще сюда подходит то, что произошло между великим императором Карлом Пятым и одним римским дворянином. Император пожелал увидеть знаменитый храм Ротонду<sup>1</sup>, который в древние времена именовался храмом всех богов, а ныне с большим правом именуется храмом всех святых, и среди прочих зданий, воздвигнутых римскими язычниками, он особенно хорошо сохранился и особенно наглядно свидетельствует о том, что у его строителей был вкус ко всему пышному и величественному: по форме он напоминает половинку апельсина, велик он необычайно и весьма светел, хотя свет проникает в него через одно-единственное окно, или, вернее, через круглое отверстие на самом верху, и вот через него-то император и смотрел на здание, а рядом с ним стоял некий римский дворянин и пояснял красоты и тонкости громадного этого сооружения и достопримечательной его архитектуры. Когда же они от упомянутого отверстия отошли, дворянин сказал императору: «Ваше императорское величество! У меня тысячу раз являлось желание обнять ваше величество и броситься вместе с вами вниз, дабы оставить по себе в мире вечную память». – «Благодарю вас, – отвечал император, – за то, что вы столь дурное желание не исполнили, и впредь вам уже не представится случай испытывать вашу верность, ибо я повелеваю вам ни о чем со мною больше не говорить и не бывать там, где буду бывать я». И вслед за тем он щедро его наградил. Я хочу этим сказать, Санчо, что желание прославиться сильно в нас до невероятия. Что, по-твоему, принудило Горация<sup>2</sup> в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Что принудило Муция<sup>3</sup> сжечь себе руку? Что побудило Курция<sup>4</sup> кинуться в бездонную огненную пропасть, разверзшуюся посреди Рима? Что подвигнуло Юлия Цезаря наперекор всевозможным дурным предзнаменованиям перейти Рубикон? А если обратиться к примерам более современным, то что принудило доблестных испанцев, предводителем которых был обходительнейший Кортес<sup>5</sup>, затопить в Новом Свете свои корабли и остаться на пустынном берегу? Все эти и прочие великие и разнообразные подвиги были, есть и будут деяниями славы, слава же представляется смертным как своего рода бессмертие, и они чают ее как достойной награды за свои славные подвиги, хотя, впрочем, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, надлежит более радеть о славе будущего века там, в небесных эфирных пространствах, ибо это слава вечная, нежели о той суетной славе, которую возможно стяжать в земном и преходящем веке и которая, как бы долго она ни длилась, непременно окончится вместе с дольным миром, коего конец преуказан, – вот почему, Санчо, дела наши не должны выходить за пределы, положенные христианскою верою, которую мы исповедуем. Наш долг в лице великанов сокрушать гордыню, зависть побеждать великодушием и добросердечием, гнев – невозмутимостью и спокойствием

---

<sup>1</sup> *Ротонда* – Римский Пантеон, храм Юпитера, который служит ныне местом погребения знаменитых людей и королей Италии.

<sup>2</sup> *Гораций* – Имеется в виду Гораций Коклес, который с отрядом римлян защищал мост через Тибр во время войны Рима с Порсеной и оказался отрезанным от римского войска.

<sup>3</sup> *Муций* – В то время, когда Рим был осажден этрусским царем Порсеной, римский юноша Кай Муций отправился с разрешения сената во вражеский стан с целью убить Порсену, но по ошибке убил одного из военачальников. Взятый в плен, он упорно отказывался отвечать на вопросы. Порсена угрожал ему пыткой огнем, но отважный юноша, положив руку на жаровню, заявил, что пытки не страшны тому, кто любит славу.

<sup>4</sup> *Курций* – Согласно преданию, в 362 г. до н.э. под римским форумом внезапно разверзлась земля. Жрецы заявили, что пропасть сомкнется лишь в том случае, если Рим пожертвует лучшим, что у него есть. Юноша Марк Курций отважно бросился на коне, в полном снаряжении, в эту пропасть, и она сомкнулась над ним.

<sup>5</sup> *Кортес* – Знаменитый испанский конкистадор (завоеватель) Эрнандо Кортес (1485–1547), покоритель Мексики. Дон Кихот намекает на следующий эпизод: Кортес, высадившись на берег открытой им земли, наткнулся на отказ экипажа своих кораблей следовать за ним дальше. Тогда он приказал потопить корабли, чтобы отрезать своим спутникам путь к отступлению. «Обходительнейшим» Кортес назван, вероятно, потому что слово «кортес» по-испански означает: вежливый, учтивый, обходительный.

душевным, кревоугодие и сонливость – малоядением и многободрствованием, любострастие и похотливость – верностью, которую мы храним по отношению к тем, кого мы избрали владычицами наших помыслов, леность же – скитаниями по всем странам света в поисках случаев, благодаря которым мы можем стать и подлинно становимся не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы, Санчо, средства заслужить наивысшие похвалы, которые всегда несет с собой добрая слава.

– Все, что ваша милость мне сейчас растолковала, я очень даже хорошо понял, – объявил Санчо, – однако ж, со всем тем, я бы хотел, чтобы вы, ваша милость, посеяли во мне одно сомнение.

– Ты хочешь сказать *рассеял*, Санчо, – поправил его Дон Кихот. – Пожалуй, говори, я тебе отвечу, как сумею.

– Скажите мне, сеньор – продолжал Санчо, – все эти Июлии, – или как их там: Августы, что ли? – и все эти смельчаки рыцари, которых вы называли и которые уже давно померли, где они сейчас?

– Язычники, без сомнения, в аду, – отвечал Дон Кихот, – христиане же, если только они были добрыми христианами, или в чистилище, или в раю.

– Хорошо, – сказал Санчо, – а теперь мне вот что еще любопытно знать: горят ли перед гробницами, где покоятся останки этих распресеньоров, серебряные лампы и украшены ли стены их часовен костылями, саванами, прядями волос, восковыми ногами и глазами? А если нет, так чем же они украшены?

На это Дон Кихот ответил так:

– Усыпальницы язычников большею частью представляли собою великолепные храмы: прах Юлия Цезаря был замурован в невероятной величины каменной пирамиде, которую теперь называют в Риме *Иглою святого Петра*<sup>1</sup>; императору Адриану служит гробницею целый замок величиною с добрую деревню, – прежде он назывался *Moles Hadriani*<sup>2</sup>, а теперь это замок святого Ангела в Риме; царица Артемисия похоронила своего супруга Мавзола<sup>3</sup> в усыпальнице, почитавшейся за одно из семи чудес света, но ни одна из этих гробниц, равно как и все прочие, воздвигнутые язычниками, не была украшена ни саванами, ни какими-либо другими дарами и эмблемами, которые показывали бы, что здесь покоятся святые.

– Я к тому и вел, – молвил Санчо. – А теперь скажите, что доблестнее: воскресить мертвого или же убить великана?

– Ответ напрашивается сам собой, – отвечал Дон Кихот, – доблестнее воскресить мертвого.

– Вот я вас и поймал, – подхватил Санчо. – Стало быть, тот, кто воскрешает мертвых, возвращает зрение слепым, выпрямляет хромых и исцеляет недужных, тот, перед чьей гробницей горят лампы и у кого в часовне полно молящихся, которые поклоняются его мощам, тот, стало быть, заслужил и в этом и в будущем веке получше славу, нежели какую оставили и оставляют по себе все языческие императоры и странствующие рыцари, сколько их ни было на свете.

– Я с этим вполне согласен, – сказал Дон Кихот.

– Значит, такова слава, благодатная сила и, как это еще говорят, прерогатива тела и мощей святого, – продолжал Санчо, – что с дозволения и одобрения святой нашей матери-церкви в часовне у него и лампы, и свечи, и саваны, и костыли, и картины, и пряди волос, и глаза, и ноги, – и все это для усиления набожности и для упрочения христианской его славы. Короли на своих плечах переносят тело, то есть мощи, святого, лобызают кусочки его костей, украшают и обогащают ими свои молельни и наиболее чтимые алтари.

– Какой же вывод из всего тобою сказанного, Санчо? – спросил Дон Кихот.

---

<sup>1</sup> *Игла святого Петра* – обелиск, перевезенный из Египта в Рим по повелению императора Калигулы (37–41 н.э.) и установленный напротив собора св. Петра. Слова Дон Кихота о том, что в нем находится прах Юлия Цезаря, – легенда.

<sup>2</sup> Адрианова громада (*лат.*)

<sup>3</sup> *Мавзол* – царь Карий (IV в. до н.э.), в память которого его жена Артемисия воздвигла пышную гробницу – «Мавзолей».



– Вывод такой, – отвечал Санчо, – что нам с вами надобно сделаться святыми, тогда мы скорей достигнем доброй славы, к которой мы так стремимся. И знаете что, сеньор: вчера, не то третьего дня (одним словом, на днях) причислили к лику святых двух босых монашков, и вот теперь за великое почитается счастье приложиться или прикоснуться к железным цепям, коими они ради умерщвления плоти препоясывались, и нынче цепи эти, сколько мне известно, в большем почете, нежели Роландов меч, что хранится в арсенале короля, богохранимого нашего государя. Так что, сеньор, лучше быть смиренным монашком какого ни на есть ордена, нежели храбрым, да еще и странствующим рыцарем, и ежели раз двадцать хлестнуть себя бичом, то это лучше до бога доходит, нежели двадцать тысяч раз хватить копьем все равно кого: великана, чудовище или же андриака.

– Все это справедливо, – заметил Дон Кихот, – но не все же могут быть монахами, да и пути, по которым господь приводит верных в рай, суть многообразны. Рыцарство – тот же монашеский орден: среди рыцарей есть святые, вечного сподобившиеся блаженства.

– Так, – молвил Санчо, – но только я слышал, будто в раю больше монахов, нежели рыцарей.

– Это объясняется тем, что иноков вообще больше, нежели рыцарей, – сказал Дон Кихот.

– Странствующих тоже много, – возразил Санчо.

– Много, – подтвердил Дон Кихот, – однако ж немногие достойны именоваться рыцарями.

В таких и тому подобных разговорах прошли у них ночь и следующий день, без каких-либо внимания достойных происшествий, что весьма Дон Кихота опечалило. Наконец, на другой день к вечеру, их взорам открылся великий город Тобосо, при виде коего Дон Кихот взыграл духом, Санчо же духом пал, ибо он не имел понятия, где живет Дульсинея, и ни разу в жизни ее не видел, как не видел ее, впрочем, и его господин; таким образом, оба они пребывали в волнении: один – оттого, что стремился ее увидеть, а другой – оттого, что ни разу не видел ее, и никак не мог Санчо придумать, что ему предпринять, когда сеньор пошлет его в Тобосо. В конце концов Дон Кихот положил не вступать в город до наступления ночи, и временно они расположились в дубраве близ Тобосо, а когда положенный срок пришел, то вступили в город, и тут с ними случилось то, что непременно должно было случиться.

## Глава IX,

*в коей рассказывается о том, что из нее будет видно*

*В самую глухую полночь*<sup>1</sup>, а может быть, и не в самую, Дон Кихот и Санчо покинули рошу и вступили в Тобосо. Мирная тишина царила в городке, оттого что все жители отдыхали и, как говорится, спали без задних ног. Ночь выдалась довольно светлая, однако же Санчо предпочел бы, чтоб она была темная-претемная, ибо темнота могла послужить оправданием его тупоумия. Во всем городе слышался только собачий лай, несносный для ушей Дон Кихота и действовавший устрашающе на душу Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, и в ночной тишине все эти по-разному звучащие голоса казались еще громче, каковое обстоятельство влюбленный рыцарь почел за дурное предзнаменование; однако ж со всем тем он сказал Санчо:

– Сын мой Санчо! Указывай мне путь во дворец Дульсинеи, – может статься, она уже пробудилась.

– Кой черт во дворец, когда я виделся с ее величеством в маленьком домишке? – воскликнул Санчо.

– Должно полагать, – заметил Дон Кихот, – что на ту пору она вместе со своими придворными дамами удалилась в малые покои своего замка, как это принято и как это

---

<sup>1</sup> *В самую глухую полночь...* – строка из романа о графе Кларосе.

водится у всех знатных сеньор и принцесс.

– Сеньор! – сказал Санчо. – Уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим. Что мы, по-вашему, к девкам будем стучаться, словно ихние любовники, которые во всякое время заявляются, стучатся, и, как бы поздно ни было, их все-таки впускают?

– Лиха беда – отыскать замок, – возразил Дон Кихот, – а там я тебе скажу, Санчо, как нам надлежит поступить. Да ты смотри, Санчо: или я плохо вижу, или же вон та темная громада и есть дворец Дульсинеи.

– Ну так вы и поезжайте вперед, ваша милость, – подхватил Санчо, – может, это и так, но если даже я увижу этот дворец своими глазами и ощупаю собственными руками, все-таки я поверю в него не больше, чем тому, что сейчас белый день.

Дон Кихот двинулся первый и, проехав шагов двести, приблизился вплотную к темневшей громаде и увидел высокую башню, и тут только уразумел он, что это не замок, а собор. И тогда он сказал:

– Мы наткнулись на церковь, Санчо.

– Уж я вижу, – отозвался Санчо. – И дай-то бог, чтобы мы не наткнулись на нашу могилу, а то ведь это примета неважная – в такое время скитаться по кладбищам, да и потом, если память мне не изменяет, я вашей милости сказывал, что дом этой сеньоры находится в тупике.

– Побойся ты бога, глупец! – воскликнул Дон Кихот. – Где ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в тупиках?

– Сеньор! – возразил Санчо. – В каждой стране свой обычай: видно, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках, а потому будьте добры, ваша милость, пустите меня поехать по ближайшим улицам и переулкам, – может случиться, что в каком-нибудь закоулке я и наткнусь на этот дворец, чтоб его собаки съели, до того он нас закружил и загонял.

– Выражайся почтительнее, Санчо, обо всем, что касается моей госпожи, – сказал Дон Кихот, – не будем кипятиться и не будем терять последний разум.

– Постараюсь держать себя в руках, – объявил Санчо, – но только какое же надобно иметь терпение, коли ваша милость требует, чтобы я с одного раза на всю жизнь запомнил дом нашей хозяйки и отыскал его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его отыскать, а уж вы-то его, наверно, тысячу раз видели?

– Ты приводишь меня в отчаяние, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Послушай, еретик: не говорил ли я тебе много раз, что я никогда не видел несравненную Дульсинею и не переступал порога ее дворца и что я влюбился в нее только по слухам, ибо до меня дошла громкая слава о красоте ее и уме?

– Теперь я все понял, – молвил Санчо, – и должен признаться: коли ваша милость никогда ее не видала, то я и подавно.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот, – по крайней мере, ты сам мне говорил, что видел, как она просеивала зерно, и привез мне ответ на письмо, которое я посылал ей с тобой.

– На это вы особенно не напирайте, сеньор, – объявил Санчо, – потому надобно вам знать, что я видел ее и ответ привез тоже по слухам, и какая она из себя, сеньора Дульсинея, это мне так же легко сказать, как попасть пальцем в небо.

– Санчо, Санчо! – молвил Дон Кихот. – Иногда и пошутить можно, а иногда всякая шутка становится нехорошей и неуместной. И если я сказал, что никогда не виделся и не беседовал с владычицей моей души, то это не значит, что и ты должен говорить, будто никогда не беседовал с ней и не виделся, – ты же сам знаешь, что это не так.

В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек, и по скрежету плуга, тащившегося по земле, Дон Кихот и Санчо заключили, что это

хлебопашец, который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле. Хлебопашец шел и пел песню:

Худо вам пришлось, французы,  
На охоте в Ронсевале.<sup>1</sup>

– Пусть меня уложат на месте, – послушав его, сказал Дон Кихот, – если нынче же с нами не случится чего-нибудь доброго. Слышишь, что поет этот селянин?

– Слышать-то я слышу, – отвечал Санчо, – но только какое отношение имеет к нашим поискам ронсевальская охота? С таким же успехом он мог бы петь и про Калаиноса<sup>2</sup>, – от этого в нашем деле ничего доброго и ничего худого произойти не может.

Тем временем хлебопашец приблизился, и Дон Кихот окликнул его:

– Бог в помощь, любезный друг! Не можете ли вы мне сказать, где здесь дворец несравненной принцессы доньи Дульсинеи Тобосской?

– Сеньор! – отвечал парень. – Я нездешний, я тут всего несколько дней, нанялся на полевые работы к одному богатому землевладельцу, а вот в доме напротив живут священник и пономарь; кто-нибудь из них, а то и оба дадут вам справку насчет этой принцессы, потому у них записаны все жители Тобосо, хотя мне сдается, что во всем Тобосо ни одной принцессы не сыщешь. Барынь, правда, много, да еще и важных: ведь у себя дома все принцессы.

– Так вот, друг мой, – подхватил Дон Кихот, – среди них и должна быть та, про которую я спрашиваю.

– Все может быть, – молвил парень, – а затем прощайте, уже светает.

И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он погнал своих мулов. Санчо, видя, что его господин озадачен и весьма недоволен, сказал:

– Сеньор! Вот уж и день настает, – нехорошо, если солнце застигнет нас на улице, лучше было бы нам выехать из города: вы, ваша милость, укрылись бы в ближнем лесу, а я деньком возвращусь в город и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду не то дом, не то замок, не то дворец моей госпожи, и уж это особая будет неудача, коли я его не найду, а коли найду, так я поговорю с ее милостью и скажу, где и в каком расположении духа ваша милость дожидается повеления ее и указания, как бы это свидеться с нею, не повредив ее чести и доброму имени.

– Ты ухитрился, Санчо, замкнуть множество мыслей в круг небольшого количества слов, – заметил Дон Кихот. – Я с превеликою охотою принимаю твой совет и горю желанием последовать ему. Итак, сын мой, поедem в лес, и там я и побуду, ты же, как обещал, возвратишься в город, разыщешь мою госпожу, повидеаешься и побеседуешь с нею, а при ее уме и любезности нам сверхъестественных милостей от нее ожидать должно.

Санчо, дабы не всплыл обман с мнимым ответом Дульсинеи, который он якобы доставил в Сьерру Морену, жаждал увезти из Тобосо своего господина и потому постарался ускорить отъезд, каковой и в самом деле последовал весьма скоро, и вот в двух милях от городка сыскали они лес, или, вернее, рощу, где Дон Кихот и остался на то время, пока Санчо съездит в город поговорить с Дульсинеей, – с посланцем же нашим произошли дороною события, требующие особого внимания и особого доверия.

## Глава X,

*в коей рассказывается о том, как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею, а равно*

---

<sup>1</sup> *Худо вам пришлось, французы...* – начальные стихи одного из популярнейших испанских романсов на тему о битве в Ронсевальском ущелье. (На русский язык романс был переведен Карамзиным в 1789 г.).

<sup>2</sup> *...петь и про Калаиноса...* – В романсе о Калаиносе рассказывается, что мавр Калаинос отправился, по настоянию своей возлюбленной, во Францию, чтобы преподнести ей в приданое головы троих из Двенадцати Пэров Франции. Ему удалось победить Балдуина, но сам он погиб от руки Роланда.

*и о других событиях, столь же смешных, сколь и подлинных*

Автор великой этой истории, подойдя к рассказу о том, что в этой главе рассказывается, говорит, что, боясь потерять доверие читателей, он предпочел бы обойти это молчанием, ибо сумасбродства Дон-Кихоты достигают здесь пределов невероятных и даже на два арбалетных выстрела оказываются впереди величайших из всех сумасбродств на свете. В конце концов со страхом и трепетом он все же описал их так, как они имели место в действительности, ничего не прибавив от себя и ни единой крупички правды не убавив и не обращая внимания на то, что этак его могут обвинить во лжи; и в сем случае он прав, оттого что истина иной раз истончается, но никогда не рвется и всегда оказывается поверх лжи, как масло поверх воды. Итак, продолжая свою историю, он говорит, что как скоро Дон Кихот укрылся не то в роще, не то в дубраве, не то в лесу, близ великого Тобосо, то велел Санчо возвратиться в город и не показываться ему на глаза, пока тот не переговорит от его имени с его госпожою и не добьется милостивого ее согласия повидаться с преданным ей рыцарем и благословить его, дабы на будущее время он мог ожидать наисчастливейшего исхода всех своих битв и трудных начинаний. Санчо обещал исполнить все, что ему повелено, и привезти столь же благоприятный ответ, как и в прошлый раз.

– Поезжай же, сын мой, – молвил Дон Кихот, – и не смущайся, когда предстанешь пред светозарною красотою, к которой я посылаю тебя. О блаженнейший из всех оруженосцев на свете! Напряги свою память, и да не изгладится из нее, как моя госпожа тебя примет: изменится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу; встревожится ли и смутится, услышав мое имя; откинется ли на подушки в случае, если она сообразно с высоким своим положением будет восседать на богато убранном возвышении; если же примет тебя стоя, то понаблюдай, не будет ли переступать с ноги на ногу; не повторит ли свой ответ дважды или трижды; не превратится ли из ласковой в суровую или же, напротив того, из угрюмой в приветливую; поднимет ли руку, чтобы поправить волосы, хотя бы они и были у нее в полном порядке; одним словом, сын мой, наблюдай за всеми действиями ее и движениями, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие в глубине души питает она ко мне чувства; должно тебе знать, Санчо, если только ты этого еще не знаешь, что действия и внешние движения влюбленных, когда речь идет об их сердечных делах, являют собою самых верных гонцов, которые доставляют вести о том, что происходит в тайниках их души. Итак, друг мой, да будет звезда твоя счастливее моей, поезжай же и добейся больших успехов, нежели каких я в горестном моем одиночестве, снедаемый тревогою, могу ожидать.

– Ну, я поеду и скоро вернусь, – объявил Санчо, – а вы, государь мой, постарайтесь расширить ваше сердечко, а то оно сейчас, уж верно, не больше орешка, и вспомните, как это говорится: храброе сердце злую судьбу ломает, а бодливой корове бог рог не дает, и еще говорят: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говорю я это к тому, что ночью мы так и не нашли ни дворцов, ни замков моей госпожи, зато теперь, среди бела дня, я думаю, что как раз совсем невзначай я их и найду, и дайте мне только найти, а уж поговорю я с ней – лучше не надо.

– Право, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты всегда необыкновенно удачно вставляешь свои пословицы, дай бог и мне такую же удачу в моих предприятиях.

При этих словах Санчо поворотил и погнал своего серого, а Дон Кихот, верхом на коне, вдев ноги в стремя и опершись на копьё, предался грустным и неясным мечтаниям; и тут мы его и оставим и последуем за Санчо Пансою, который, покидая своего господина, также пребывал в смятении и задумчивости, – настолько, что как скоро он выехал из лесу, то, оглянувшись и удостоверившись, что Дон Кихота не видно, спрыгнул с осла, уселся под деревом и заговорил сам с собой:

– Скажите-ка, брат Санчо, куда это милость ваша изволит путь держать? Может статься, вы потеряли осла и теперь его ищете? – Разумеется, что нет. – Так куда ж вы едете? – Я еду не более не менее как к принцессе, а принцесса эта есть солнце красоты и все небо вместе взятое. – А где же, Санчо, все это, по-вашему, находится? – Где? В великом

городе Тобосо. – Добро! А кто вас туда послал? – Меня послал доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, тот самый, который выпрямляет кривду, кормит жаждущих и поит голодных. – Очень хорошо. А вы знаете, Санчо, где она живет? – Мой господин говорит, что она живет не то в королевском дворце, не то в пышном замке. – А вы ее когда-нибудь видели? – Нет, ни я, ни мой господин ни разу ее не видали. – А не кажется ли вам, что когда жители Тобосо прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс и беспокоить их дам, то с их стороны будет вполне благоразумно и справедливо, ежели они сбегутся, отлупят вас палками и не оставят живого места? – Признаться сказать, они будут совершенно правы, если только не примут в рассуждение, что я посланец, а коли так, то

Вы – посол, мой друг любезный<sup>1</sup>,  
Значит, нет на вас вины.

– Не полагайтесь на это, Санчо, – ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут, когда их затрагивают. Крест истинный: коли выведут они вас на чистую воду, то вам худо придется. – Отвяжись, сатана! Наше место свято! И что это меня понесла нелегкая, ради чужого удовольствия, за птичьим молоком? Искать Дульсинею в Тобосо – ведь это все равно, что в Равенне искать Марию или же бакалавра в Саламанке. Лукавый, лукавый впутал меня в это дело – не кто другой!

Вот как рассуждал сам с собой Санчо; вывод же он сделал из этого следующий:

– Ну ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти, – хочешь не хочешь, а в ярмо смерти всем нам в конце жизни предстоит впрячься. Мой господин по всем признакам самый настоящий сумасшедший, ну да и я ему тоже не уступлю, у меня, знать, этой самой придури еще побольше, чем у него, коли я за ним следую и служу ему, а ведь не зря говорится: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты», и еще есть другая пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». И вот как он есть сумасшедший, то и судит он о вещах большею частью вкривь и вкось и белое принимает за черное, а черное за белое, и так это с ним и бывало, когда он говорил, что ветряные мельницы – это великаны, мулы монахов – верблюды, стада баранов – вражьи полчища и прочее тому подобное, а стало быть, не велик труд внушить ему, что первая попавшаяся поселянка и есть сеньора Дульсинея, а коли он не поверит, я поклянусь, а коли и он поклянется, я опять поклянусь, а коли он упрется, то я еще пуще, а как у меня такое правило, лишь бы сказать последним, то еще неизвестно, чем это дело кончится. Может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями: увидит, что гонец из меня неважный, а может, подумает, – и, пожалуй, так оно и будет, – что один из этих злых волшебников, которые якобы его ненавидят, нарочно испортил личность его возлюбленной, чтобы досадить ему и причинить неприятность.

Мысль сия придала Санчо Пансе бодрости, и, решив, что он свое дело сделал, просидел он тут до вечера, чтобы у Дон Кихота были все основания полагать, будто у Санчо было время съездить в Тобосо и вернуться обратно; и Санчо так повезло, что не успел он встать и взобраться на серого, как увидел, что из Тобосо навстречу ему едут три крестьянки не то на ослах, не то на ослицах, – автор этого не разъясняет, однако ж, вернее всего, то были ослицы, обыкновенно заменяющие сельчанкам верховых лошадей, но как это не столь существенно, то и незачем нам на этом останавливаться и заниматься исследованием этого предмета. Итак, увидев крестьянок, Санчо быстрым шагом направился к господину своему Дон Кихоту, а тот в это время вздыхал и изливал душу в любовных жалобах. Увидев Санчо, он спросил:

– Ну что, друг Санчо? Каким камушком отметить мне этот день: белым или же черным?

– Лучше всего, ваша милость, красным, – отвечал Санчо, – каким пишут о профессорах<sup>2</sup>, чтобы надписи издали были видны.

---

<sup>1</sup> *Вы – посол, мой друг любезный...* – стихи из старинного испанского романа о Бернардо дель Карпю.

<sup>2</sup> *...красным... каким пишут о профессорах...* – Имеется в виду существовавший в испанских университетах

– Значит, ты с добрыми вестями, – заключил Дон Кихот.

– С такими добрыми, – подхватил Санчо, – что вашей милости остается только дать шпоры Росинанту и выехать навстречу сеньоре Дульсинее Тобосской, которая с двумя своими придворными дамами едет к вам на свидание.

– Господи помилуй! Что ты говоришь, друг Санчо? – вскричал Дон Кихот. – Смотри только, не обманывай меня и не пытайся мнимую радостью рассеять непритворную мою печаль.

– Какая мне корысть обманывать вашу милость, тем более что вам ничего не стоит удостовериться самому! – возразил Санчо. – Пришпорьте Росинанта, сеньор, и едемте, – сейчас вы увидите нашу принцессу, раздетую и разубранную, как ей, одним словом, положено. И она сама, и ее придворные дамы в золоте, как жар горят, унижены жемчугом, осыпаны алмазами да рубинами, все на них из парчи больше чем в десять нитей толщины, волосы – по плечам, ветерок с ними играет, все равно как с солнечными лучами, а самое главное, едут они на чубарых свиноходцах – таких, что просто загляденье.

– Ты хочешь сказать – *иноходцах*, Санчо.

– Что свиноходцы, что иноходцы – разница невелика, – возразил Санчо, – словом, на чем бы они ни ехали, а только едут самые нарядные дамы, каких только можно себе вообразить, особенно моя госпожа Дульсинея Тобосская – обомлеть впору.

– Едем, друг Санчо, – объявил Дон Кихот, – и в награду за столь же неожиданные, сколь и добрые вести я отдам тебе лучший трофей, какой мне удастся захватить при первом же приключении, а если ты этим не удовлетворишься, то я отдам тебе жеребят, которых нынешний год мне принесут три мои кобылы, – ты же знаешь, что они в нашем селе на общественном выгоне и скоро должны ожеребиться.

– Мне больше улыбается получить жеребят, – сказал Санчо, – потому я не вполне уверен, что трофеи первого приключения будут стоящие.

Тут они выехали из лесу и увидели вблизи трех сельчанок. Дон Кихот пробежал глазами по всей Тобосской дороге и, не обнаружив никого, кроме трех крестьянок, весьма смутился и спросил Санчо, точно ли Дульсинея и ее придворные дамы выехали из города.

– Как же не выехали? – воскликнул Санчо. – Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Разве вы не видите: ведь это же они и есть – те, что едут навстречу и сияют, ровно солнце в полдень?

– Я никого не вижу, Санчо, кроме трех поселянок на ослах, – молвил Дон Кихот.

– Аминь, рассыпся! – воскликнул Санчо. – Статочное ли это дело, чтобы трех иноходцев – или как их там, – белых, как снег, ваша милость принимала за ослов? Свят, свят, свят, да я готов бороду себе вырвать, коли это и правда ослы!

– Ну так я должен тебе сказать, друг Санчо, – объявил Дон Кихот, – что это подлинно ослы или ослицы и что это такая же правда, как то, что я – Дон Кихот, а ты – Санчо Панса, – по крайней мере, таковыми они мне представляются.

– Помолчите, сеньор, – сказал Санчо, – не говорите таких слов, а лучше протрите глаза и отправляйтесь свидетельствовать почтение владычице ваших помыслов – вон она уж как близко.

И, сказавши это, Санчо выехал навстречу крестьянкам, затем спешил, взял осла одной из них за недоуздок, пал на оба колена и молвил:

– Королева, и принцесса, и герцогиня красоты! Да соблаговолит ваше высокомерие и величие милостиво и благодушно встретить преданного вам рыцаря – вон он стоит, как столб, сам не свой: это он замер пред лицом великолепия вашего. Я – его оруженосец Санчо Панса, а он сам – блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, иначе – Рыцарь Печального Образа.

Тут и Дон Кихот опустил на колени рядом с Санчо и, широко раскрыв глаза, устремил смятенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогинею; и как Дон

---

обычай писать крупными красными буквами фамилии тех, кто выдержал испытания на соискание ученой степени.

Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглолицую и курносую, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова. Крестьянки также диву дались, видя, что два человека, нимало не похожие друг на друга, стоят на коленях перед одной из них и загораживают ей дорогу; однако попавшая в засаду в конце концов не выдержала и грубым и сердитым голосом крикнула:

– Прочь с дороги, такие-сякие, дайте-ка проехать, нам недосуг!

На это Санчо ответил так:

– О принцесса и всеобщая тобосская владычица! Ужели благородное сердце ваше не смягчится при виде сего столпа и утверждения странствующего рыцарства, преклонившего колена пред высокопоставленным вашим образом?

Послушав такие речи, другая сельчанка сказала:

– А да ну вас, чихать мы на вас хотели! Поглядите на этих господчиков: вздумали над крестьянками насмеяться, – шалишь, мы тоже за словом в карман не полезем. Поезжайте своей дорогой, а к нам не приставайте, и будьте здоровы.

– Встань, Санчо, – сказал тут Дон Кихот, – я вижу, что *вновь жаждет горестей моих судьбина*<sup>1</sup> и что она отрезала все пути, по которым какая-либо отрада могла бы проникнуть в наболевшую эту душу, в моем теле заключенную. А ты, высочайшая доблесть, о какой только можно мечтать, предел благородства человеческого, единственное утешение истерзанного моего сердца, тебя обожающего, внемли моему гласу: коварный волшебник, преследующий меня, затуманил и застлал мне очи, и лишь для меня одного померкнул твой несравненной красоты облик и превратился в облик бедной поселянки, но если только меня не преобразили в какое-нибудь чудище, дабы я стал несносен для очей твоих, то взгляни на меня нежно и ласково, и по этому моему смиренному коленопреклонению пред искаженной твоею красотой ты поймешь, сколь покорно душа моя тебя обожает.

– Вот еще наказанье! – отрезала крестьянка. – Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами заводить! Говорят вам по-хорошему: дайте дорогу, пропустите нас!

Санчо дал дорогу и пропустил ее, весьма довольный, что не ему пришлось расхлебывать кашу, которую он заварил. Сельчанка, принимаемая за Дульсинею, видя, что путь свободен, в ту же минуту кольнула своего *свиноходца* острым концом палки, которая была у нее в руках, и погнала его вперед. Однако ж укол этот был, должно полагать, чувствительнее обыкновенного, оттого что ослица стала вскидывать задние ноги и наконец сбросила сеньору Дульсинею наземь; увидевши это, Дон Кихот кинулся ее поднять, а Санчо – поправить и подтянуть седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда же седло было приведено в надлежащий порядок, Дон Кихот вознамерился поднять очарованную свою сеньору на руки и посадить на ослицу, однако сеньора избавила его от этого труда: она поднялась самостоятельно, отошла немного назад и, взявши недурной разбег, обеими руками уперлась в круп ослицы, а затем легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски; и тут Санчо сказал:

– Клянусь святым Роке, наша госпожа легче ястреба, она еще самого ловкого кордованца или же мексиканца может поучить верховой езде! Одним махом перелетела через заднюю луку седла, а теперь без шпор гонит своего иноходца, как все равно зебру. И придворные дамы от нее не отстают: мчатся вихрем.

И точно, увидев, что Дульсинея уже в седле, подруги ее погнали своих ослиц следом за ней, и они скакали с полмили, ни разу не оглянувшись. Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись из виду, то обратился к Санчо и сказал:

– Санчо! Что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходят их коварство и злоба: ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою Дульсинею и

---

1 ...*вновь жаждет горестей моих судьбина*... – строка из III эклоги Гарсиласо де ла Вега.

изменить ее облик, – нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность этой сельчанки и одновременно отняли у нее то, что столь свойственно знатным сеньорам, которые живут среди цветов и благовоний, а именно приятный запах. Между тем должен сознаться, Санчо, что когда я приблизился к Дульсине, дабы посадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя мне он представляется просто ослицей, то от нее так пахло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота и мне едва не сделалось дурно.

– Ах, мошенники! – вскричал тут Санчо. – Ах, волшебники вы несчастные, зловерные, поддеть бы вас всех, как сардинок, под жабры да нанизать на тростинку! Много вы знаете, много можете и много зла делаете. Довольно с вас, мерзавцы, что вы превратили жемчужные очи моей госпожи в чернильные орешки, волосы ее чистейшего золота – в рыжий бычачий хвост и, наконец, красивые черты лица ее – в уродливые, так хоть бы запаха-то не трогали: ведь по одному этому мы могли бы догадаться, что скрывается под этой грубой корой, хотя, признаться сказать, я никакой уродливости в ней не заметил, – я видел одну только красоту, и вышею точкой и пробой ее красоты служит родимое пятно, вроде уса, справа, над верхней губой, не то с семью, не то с восемью светлыми волосками больше пяди длиной – точь-в-точь золотые ниточки.

– Этому пятну, – заметил Дон Кихот, принимая в рассуждение соответствие, существующее между нашим лицом и телом, должно соответствовать у Дульсины другое пятно, на ляжке, с той же стороны, что и на лице, однако ж длина волосков, которую ты назвал, слишком велика для родимых пятен.

– Осмелюсь доложить, ваша милость, – возразил Санчо, – эти самые волоски ей очень даже к лицу.

– Я верю тебе, друг мой, – молвил Дон Кихот, – природа не наделила Дульсину ни одной чертой, которая не была бы законченной и совершенной, а потому, будь у Дульсины не одно, а сто пять таких пятен, это были бы не сто пять пятен, а сто пять лун и сияющих звезд. А скажи мне, Санчо: то самое, что я принял за вьючное седло и что ты прилаживал, – что это такое: простое седло или же дамское?

– Нет, нет, – отвечал Санчо, это седло с короткими стременами и с такой важной попоной, которая стоит никак не меньше полцарства.

– А я всего этого не видел, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Повторяю и еще тысячу раз буду повторять, что я самый несчастный человек на свете.

Хитрец Санчо, слушая, какие глупости болтает его господин, столь ловко обведенный им вокруг пальца, едва мог удержаться от смеха. Наконец, после долгих разговоров, оба воссели на своих четвероногих и поехали в Сарагосу, с тем чтобы попасть к началу пышных празднеств, которые в знаменитом этом городе устраиваются ежегодно. Однако ж, прежде чем они его достигли, с ними случилось столько великих и неслыханных событий, что об этом стоит написать и стоит прочитать, как то будет видно из дальнейшего.

## Глава XI

*О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти*

Дон Кихот, погруженный в глубокое раздумье, ехал дальше, вспоминая злую шутку, какую с ним сыграли волшебники, превратившие сеньору Дульсине в безобразную сельчанку, и все не мог придумать, как бы вернуть ей первоначальный облик; и до того он был этими мыслями занят, что не заметил, как бросил поводья, а Росинант, почуяв свободу, ежеминутно останавливался и щипал зеленую травку, коей окрестные поля были обильны. Из этого самозабвения вывел Дон Кихота Санчо Панса, который обратился к нему с такими словами:

– Сеньор! Печали созданы не для животных, а для людей, но только если люди чересчур печалются, то превращаются в животных. А ну-ка, ваша милость, совладайте с



собой, возьмите себя в руки, подберите Росинантовы поводья, приободритесь, встряхнитесь и будьте молодцом, как подобает странствующему рыцарю. Что это еще за чертовщина? Почто такое уныние? Где мы: во Франции или же у себя дома? Да черт их возьми, всех Дульсиной на свете, – здоровье одного странствующего рыцаря стоит дороже, чем все волшебства и превращения, какие только есть на земле.

– Замолчи, Санчо, – довольно твердо проговорил Дон Кихот, – замолчи, говорят тебе, и не произноси кощунственных слов о зачарованной нашей сеньоре: в ее несчастье и напасти повинен я, а не кто другой, ибо злоключения ее вызваны той завистью, которую питают ко мне злодеи.

– Я тоже так думаю, – молвил Санчо, у кого бы сердце не упало, кто видал, какой она была и какую стала?

– Ты можешь так говорить, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты созерцал ее красоту во всей ее целокупности, действие чар на тебя не распространилось: они не затуманили твоего взора и не сокрыли от тебя ее пригожества, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз. Однако ж со всем тем вот что я подозреваю, Санчо: верно, ты плохо описал мне ее красоту, – если не ошибаюсь, ты сказал, что очи у нее, как жемчуг, между тем глаза, напоминающие жемчужины, скорее бывают у рыб, чем у женщин, а у Дульсиной, сколько я себе представляю, должен быть красивый разрез глаз, самые же глаза – точно зеленые изумруды под радугами вместо бровей, – так что эти самые жемчужины ты у глаз отними и передай зубам, – по всей вероятности, ты перепутал, Санчо, и глаза принял за зубы.

– Все может быть, – согласился Санчо, потому меня так же поразила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Будемте же уповать на бога: ему одному известно все, что случится в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Одно, государь мой, меня беспокоит больше, чем что бы то ни было, а именно: что делать, если ваша милость одолеет какого-нибудь великана или же рыцаря и велит ему явиться пред светлые очи сеньоры Дульсиной? Где этот бедняга великан или же бедняга и горемыка побежденный рыцарь станут ее искать? Я их отсюда вижу: слоняются, как дураки, по всему Тобосо, и всё ищут сеньору Дульсинею, и если даже они ее прямо на улице встретят, все равно это будет для них – что Дульсинея, что мой родной папаша.

– Может статься, Санчо, – заметил Дон Кихот, – чародейство с неузнаванием Дульсиной не распространяется на побеждаемых мною и представляющихся Дульсиной великанов и рыцарей, а потому с одним или с двумя из тех, кого я в первую очередь покорю и отошлю к Дульсине, мы продедем опыт: увидят они ее или нет, и я прикажу им возвратиться и доложить мне, как у них с этим обстояло.

– Мне ваша мысль, скажу я вам, сеньор, нравится, – молвил Санчо. – Коли пуститься на такую хитрость, то все, что нам желательно знать, мы узнаем, и если окажется, что сеньора Дульсинея всем видна, кроме вас, то это уж беда не столько ее, сколько вашей милости. Лишь бы сеньора Дульсинея была жива-здоровая, а уж мы тут как-нибудь приспособимся и потерпим, будем себе искать приключений, а все остальное предоставим течению времени: время – лучший врач, оно более опасные болезни излечивает, а уж про эту и говорить не приходится.

Дон Кихот хотел было ответить Санчо Пансе, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера и погонял мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первою фигурою, представившеюся глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; рядом с ней ехал Ангел с большими раскрашенными крыльями; с другого боку стоял Император в короне, по виду золотой; у ног Смерти примостился божок, так называемый Купидон, без повязки на глазах, но зато с луком, колчаном и стрелами; тут же ехал Рыцарь, вооруженный с головы до ног, только вместо шишака или шлема на нем была с

разноцветными перьями шляпа, и еще тут ехало много всяких существ в разнообразном одеянии и разного обличья. Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устало Санчо, но Дон Кихот тотчас же возвеселился сердцем; он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этой мыслью, с душою, готовою к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил:

– Кто бы ты ни был: возница, кучер или сам дьявол! Сей же час доложи мне: кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладью Харона<sup>1</sup>, нежели на обыкновенную повозку?

Тут дьявол натянул вожжи и кротко ответил:

– Сеньор! Мы актеры из труппы Ангуло Дурного, нынче утром, на восьмой день после праздника Тела Христова, мы играли в селе, что вон за тем холмом, *Действо о Судилище Смерти*, а вечером нам предстоит играть вот в этом селе – его видно отсюда. Нам тут близко, и, чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем. Этот юноша изображает Смерть, тот – Ангела, эта женщина, жена хозяина, – Королеву, вон тот – Солдата, этот – Императора, а я – Дьявола, одно из главных действующих лиц: я в нашей труппе на первых ролях. Если же вашей милости нужны еще какие-либо о нас сведения, то обратитесь ко мне, и я дам вам самый точный ответ: я же Дьявол, я все могу.

– Клянусь честью странствующего рыцаря, – заговорил Дон Кихот, – когда я увидел вашу повозку, то подумал, что мне предстоит какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что стоит лишь коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается. Поезжайте с богом, добрые люди, Давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен: я весьма охотно и с полною готовностью сослужу вам службу, ибо лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра.

Во время этого разговора по прихоти судьбы выступил вперед один из комедиантов, одетый в шутовской наряд со множеством бубенчиков и державший в руках палку с тремя надутыми бычачьими пузырями на конце; этот самый шут, приблизившись к Дон Кихоту, начал размахивать палкой, хлопать по земле пузырями и, звеня бубенцами, высоко подпрыгивать, каковое ужасное зрелище так испугало Росинанта, что, сколько ни старался Дон Кихот удержать его, он закусил удила и помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Санчо, смекнув, что его господину грозит опасность быть низвергнутым, соскочил с осла и со всех ног бросился ему на помощь, но когда он примчался, тот лежал уже на земле, а рядом с ним растянулся Росинант: обычный конец и предел Росинантовой удали и своеволия.

Не успел Санчо оставить своего серого и подбежать к Дон Кихоту, как плясавший с пузырями Черт вскочил на осла и стал колотить его пузырями по спине, осел же, подгоняемый не столько болью, сколько страхом, который наводило на него это хлопанье, припустился в сторону села, где надлежало быть представлению. Санчо смотрел на удиравшего осла и на поверженного господина и не знал, какому горю пособить прежде; но как он был верный оруженосец и верный слуга, то любовь к своему господину возобладала в нем над привязанностью к серому, хотя всякий раз, как пузыри поднимались и опускались на круп осла, он испытывал смертный страх и смертную муку; он предпочел бы, чтоб его самого отхлопали так по глазам, чем дотронулись до кончиков волос на хвосте его серого. В состоянии мучительной растерянности приблизился Санчо к Дон Кихоту, являвшему собою более жалкое зрелище, чем он сам предполагал, и, подсаживая его на Росинанта, молвил:

– Сеньор! Черт угнал серого.

– Какой черт? – осведомился Дон Кихот.

– С пузырями, – отвечал Санчо.

– Ничего, я у него отобью, – молвил Дон Кихот, – хотя бы он укрылся с ним в самых

---

<sup>1</sup> *Ладья Харона (миф.)* – ладья, в которой Харон перевозил тени умерших через реву Стикс, или Ахерон, в ад.

глубоких и мрачных узилищах ада. Следуй за мной, Санчо, телега едет медленно, и утрату серого я возмещу тебе мулами.

– Вам не из чего хлопотать столько, сеньор, – возразил Санчо, – умерьте гнев, ваша милость: мне сдается, что Черт уже оставил серого и он идет обратно.

И точно: по примеру Дон Кихота и Росинанта Черт уже грянулся оземь и побрел в село пешком, а серый возвратился к своему хозяину.

– Со всем тем, – объявил Дон Кихот, – за наглость этого беса следовало бы проучить кого-либо из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

– Выкиньте это из головы, – возразил Санчо, – и послушайтесь моего совета: никогда не следует связываться с комедиантами, потому как они на особом положении. Знавал я одного такого: его было посадили в тюрьму за то, что он двоих уколошил, но тут же выпустили безо всякого даже денежного взыскания. Было бы вам известно, ваша милость, что как они весельчаки и забавники, то все им покровительствуют, все им помогают, все за них заступаются и все их ублажают, особливо тех, которые из королевских либо из княжеских труп, – этих всех или почти всех по одежде и по осанке можно принять за принцев.

– Что бы там ни было, – заключил Дон Кихот, – лицедейный Черт так легко от меня не отделается, хотя бы весь род людской ему покровительствовал.

И, сказавши это, он нагнал телегу, которая уже почти подъехала к селу, и крикнул:

– Стойте, погодите, сонмище весельчаков и затейников! Я хочу научить вас, как должно обходиться с ослами и прочими скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей.

Дон Кихот кричал так громко, что ехавшие в телеге расслышали и уловили его слова; и стоило им постигнуть их смысл, как тот же час с телеги спрыгнула Смерть, а за нею Император, возница Черт и Ангел, не усидели и Королева с божком Купидоном – все, как один, вооружились камнями, построились в одну шеренгу и изготовились встретить Дон Кихота пальбою булыжниками. Дон Кихот, видя, как они в полном боевом порядке подняли руки, с тем чтобы запустить в него камнями, натянул поводья и стал думать, как бы это повести наступление с наименьшим для себя риском. А пока он раздумывал, к нему присоединился Санчо и, видя, что он собирается напасть на этот выстроившийся по всем правилам военного искусства отряд, сказал:

– Нужно совсем с ума сойти, чтобы затевать такое дело. Примите в соображение, государь мой: против таких увесистых камушков нет иного оборонительного средства, кроме как пригнуться и накрыться медным колоколом. А потом вот еще что сообразить должно: нападать одному на целое войско, в котором находится сама Смерть, в котором собственной персоной сражаются императоры и которому помогают добрые и злые ангелы, – это не столь смело, сколь безрассудно. Если же эти соображения вас не останавливают, то пусть вас остановит одно достоверное сведение, а именно: кем только эти люди не представляются: и королями, и принцами, и императорами, а странствующего рыцаря среди них ни одного нет.

– Вот теперь, Санчо, ты попал в самую точку, – объявил Дон Кихот, и это может и должно заставить меня отказаться от твердого моего намерения. Как я уже не раз тебе говорил, я не могу и не должен обнажать меч супротив тех, кто не посвящен в рыцари. Это тебе, Санчо, если ты желаешь отомстить за обиду, причиненную твоему серому, надлежит с ними схватиться, я же буду издали помогать тебе словами ободрения и спасительными предостережениями.

– Мстить никому не следует, сеньор, – возразил Санчо, – доброму христианину не подобает мстить за обиды, тем более что я уговорю моего осла предать его обиду моей доброй воле, а моя добрая воля – мирно прожить дни, положенные мне всевышним.

– Ну, Санчо добрый, Санчо благоразумный, Санчо-христианин, Санчо простосердечный, – молвил Дон Кихот, – коли таково твое решение, то оставим в покое эти пугала и поищем лучших и более достойных приключений, множество каковых, и притом самых что ни на есть чудесных, судя по всему, именно здесь-то нас и ожидает.

С этими словами он поворотил коня, Санчо взобрался на своего серого, Смерть и весь ее летучий отряд снова разместились в повозке и поехали дальше, и таким образом страшное это приключение с колесницею Смерти окончилось благополучно только благодаря спасительному совету, преподанному Санчо Пансою своему господину, которому на другой день предстояло новое приключение с неким влюбленным странствующим рыцарем, не менее потрясающее, нежели предыдущее.

## Глава XII

### *О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал*

Ночь после встречи со Смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, где, сдавшись на уговоры Санчо, Дон Кихот прежде всего вкусил той снеди, которою был нагружен осел; и за ужином Санчо сказал своему господину:

– Сеньор! В каких бы я остался дураках, когда бы выбрал себе в награду трофеи первого приключения вашей милости, а не жеребят от трех ваших кобыл! Вот уж, что называется: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

– Однако, Санчо, – возразил Дон Кихот, – если б ты дал мне сразиться, как я хотел, то в виде трофея тебе достались бы, по малой мере, золотая корона Императрицы и раскрашенные крылья Купидона. Я задал бы этой компании порядочную трепку, и все их пожитки перешли бы к тебе.

– Скипетры и короны императоров лицедейных никогда не бывают из чистого золота, а либо из мишуры, либо из жести, – заметил Санчо Панса.

– Справедливо, – отозвался Дон Кихот, – театральным украшениям не подобает быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия, и все же мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию, а следственно и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они суть орудия, приносящие государству великую пользу: они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам различия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Нет, правда, скажи мне: разве ты не видел на сцене комедий, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой – плута, третий – купца, четвертый – солдата, пятый – сметливого простака, шестой – простодушного влюбленного, но, едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собою равны.

– Как же, видел, – отвечал Санчо.

– То же самое происходит и в комедии, которую представляет собою круговорот нашей жизни, – продолжал Дон Кихот, – и здесь одни играют роль императоров, другие – пап, словом, всех действующих лиц, какие только в комедии выводятся, а когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они друг от друга отличались, и в могиле все становятся между собою равны.

– Превосходное сравнение, – заметил Санчо, – только уже не новое, мне не однажды и по разным поводам приходилось слышать его, как и сравнение нашей жизни с игрою в шахматы: пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются, перетасовываются, сыпаются в кучу и попадают в один мешок, подобно как все живое сходит в могилу.



– С каждым днем, Санчо, ты становишься все менее простоватым и все более разумным, – заметил Дон Кихот.

– Да ведь что-нибудь да должно же пристать ко мне от вашей премудрости, – сказал Санчо, земля сама по себе может быть бесплодной и сухой, но если ее удобрить и обработать, она начинает давать хороший урожай. Я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем удобрением, которое пало на бесплодную почву сухого моего разума, а все то время, что я у вас служил и с вами общался, было для него обработкой, благодаря чему я надеюсь обильный принести урожай, и урожай этот не сойдет и не уклонится с тропинок благого воспитания, которые милость ваша проложила на высохшей ниве моего понятия.

Посмеялся Дон Кихот велеречию Санчо, однако ж не мог не признать, что тот в самом деле подает надежды, ибо своей манерой выражаться частенько приводил его теперь в изумление; впрочем, всякий или почти всякий раз, как Санчо начинал изъясняться на ученый или на столичный лад, речь его в конце концов низвергалась с высот простодушия в пучину невежества; особливая же изысканность его речи и изрядная память сказывались в том, как он, кстати и некстати, применял пословицы, что на протяжении всей нашей истории читатель, по всей вероятности, видел и замечал неоднократно.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи, и наконец Санчо припала охота отправиться на боковую, как он выражался, когда его клонило ко сну, и, расседлав серого, он дал ему полную волю наслаждаться обильным травоям пастбищем. С Росинанта же он не снял седла по особому распоряжению Дон Кихота, не велевшего расседлывать коня, пока они ведут походную жизнь и ночуют под открытым небом; старинный обычай, установленный и неуклонно соблюдавшийся странствующими рыцарями, позволял снимать уздечку и привязывать ее к седельной луке, но снимать седло – ни в коем случае! Санчо так и сделал и предоставил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, а между осликом и Росинантом существовала дружба тесная и беспримерная, так что из поколения в поколение шла молва, будто автор правдивой этой истории первоначально посвятил ей даже целые главы, но, дабы не выходить из границ приличия и

благопристойности, столь героической истории подобающей, таковые главы в нее не вставил, хотя, впрочем, в иных случаях он этого правила не придерживается и пишет, например, что едва лишь оба четвероногих сходились вместе, то начинали друг друга почесывать, а затем усталый и довольный Росинант клал свою шею на шею усталого и довольного серого (при этом с другой стороны она выступала более чем на пол-локтя), и оба, задумчиво глядя в землю, обыкновенно простаивали так дня по три, во всяком случае, все то время, каким они для этой цели располагали, а также когда голод не понуждал их искать пропитания. Говорят еще, будто в одном сочинении помянутого автора дружба эта сравнивается с дружбою Ниса и Эвриала<sup>1</sup>, Пилада и Ореста<sup>2</sup>, а когда так, то из этого, всем людям на удивление, явствует, сколь прочною, верно, была дружеская привязанность двух этих мирных животных, и не только на удивление, но и к стыду, ибо люди совершенно не умеют хранить дружеские чувства. Недаром говорится:

Трости копьями стальными<sup>3</sup>,  
А друзья врагами стали.

И еще:

Куму кум подставить ножку<sup>4</sup>  
Втихомолку норовит.

И пусть не думают, что автор несколько преувеличил, сравнив дружбу этих животных с дружбою человеческою, ибо от животных люди получили много уроков<sup>5</sup> и узнали много важных вещей: так, например, аисты научили нас пользоваться клистиром, собаки – блеванию и благодарности, журавли – бдительности, муравьи – предусмотрительности, слоны – стыдливости, а конь – верности.

Наконец Санчо уснул у подножия пробкового дуба, Дон Кихот же задремал под дубом обыкновенным, но могучим; однако малое время спустя его разбудил шум, послышавшийся у него за спиной, и, тут же вскочив, он начал вглядываться и вслушиваться, сиюсья определить, что это за шум, и увидел двух всадников, один из которых спрыгнул наземь и сказал своему спутнику:

– Слезай, приятель, и разнуздай коней, мне сдается, что травы здесь для них будет вдоволь, а для любовных моих дум – вдоволь тишины и уединения.

Произнеся эти слова, незнакомец в один миг растянулся на траве; когда же он повалился на землю, послышался звон доспехов, и для Дон Кихота то был явный знак, что пред ним странствующий рыцарь; по сему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо, потянул его за руку и, с немалым трудом добудившись, сказал ему на ухо:

– Брат Санчо! Приключение!

– Дай бог, чтоб удачное, – отозвался Санчо. – А где же оно, государь мой, это самое многоуважаемое приключение?

– Где приключение, Санчо? – переспросил Дон Кихот. – Поверни голову и погляди: вон там лежит странствующий рыцарь, и, сколько я понимаю, он не чрезмерно весел, – я видел,

---

<sup>1</sup> *Нис и Эвриал* – герои «Энеиды» Вергилия: спутники Энея, связанные между собой теснейшей дружбой.

<sup>2</sup> *Пилад и Орест (миф.)* – Орест – сын греческого царя Агамемнона и Клитемнестры. После того как отец Ореста был убит и ему самому угрожала такая же участь, он бежал с помощью своей сестры Электры в Колхиду, где у него завязалась такая тесная и крепкая дружба с сыном колхидского царя Пиладом, что каждый из них готов был пожертвовать жизнью ради другого. Дружба Пилада и Ореста вошла в поговорку.

<sup>3</sup> *Трости копьями стальными...* – стихи из романа испанского писателя Переса де Ита (1544?–1619?) «Гражданские войны в Гранаде». Трости, о которых здесь идет речь, в XVI в. применялись в потешных военных играх, состоявших в том, что всадники, вооруженные тростями, метали их друг в друга, защищаясь щитами.

<sup>4</sup> *Куму кум подставить ножку...* – рефрен народного романа.

<sup>5</sup> ...от животных люди получили много уроков... – Все приведенные примеры заимствованы Сервантесом из «Естественной истории» Плиния Старшего (23–79 н.э.).

как он соскочил с коня и, словно в отчаянии, повалился на землю, и в это время зазвенели его доспехи.

– Почему же ваша милость думает, что это приключение? – осведомился Санчо.

– Я не хочу сказать, что это уже и есть приключение, это только его начало, ибо приключения начинаются именно так, – отвечал Дон Кихот. – Но чу: кажется, он настраивает не то лютню, не то гитару, откашливается, прочищает горло – видно, собирается петь.

– Честное слово, так оно и есть, – сказал Санчо, – должно полагать, это влюбленный рыцарь.

– Странствующий рыцарь не может не быть влюблен, – заметил Дон Кихот. – Послушаем же его и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов, ибо *уста глаголют от полноты сердца*.

Санчо хотел было возразить своему господину, но ему помешал голос Рыцаря Леса, голос не слишком дурной, но и не весьма приятный, и, прислушавшись, Дон Кихот и Санчо уловили, что поет он вот этот самый сонет:

Сеньора! Я на все готов для вас.  
Извольте лишь отдать распоряженье,  
И ваш любой приказ без возраженья  
Я в точности исполню сей же час.

Угодно вам, чтоб молча я угас, –  
И с жизнью я прощусь в одно мгновенье;  
Узнать хотите про мои мученья –  
Самой любви велю сложить рассказ.

Противоречий странных сочетанье –  
Как воск, мягка и, как алмаз, тверда, –  
Моя душа по вас тоскует страстно.

Вдавите или врежьте по желанью  
В нее ваш дивный образ навсегда.  
Стереть его уже ничто не властно.

Тут Рыцарь Леса, вздохнув, казалось, из глубины души, кончил свою песню, а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным:

– О прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире! Ужели, светлейшая Касильдея Вандальская<sup>1</sup>, ты допустишь, чтобы преданный тебе рыцарь зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях? Ужели тебе не довольно того, что благодаря мне тебя признали первою красавицею в мире все рыцари Наварры, Леона, Тартесии<sup>2</sup>, Кастилии и, наконец, Ламанчи?

– Ну уж нет, – молвил тут Дон Кихот, – я сам рыцарь Ламанчский, но никогда ничего подобного не признавал, да и не мог и не должен был признавать ничего, столь унижающего красоту моей госпожи, – теперь ты видишь, Санчо, что рыцарь этот бредит. Впрочем, послушаем еще: уж верно, он выскажется полнее.

– Еще как выскажется, – подхватил Санчо, – он, по видимости, приготовился целый месяц выть без передышки.

Случилось, однако ж, не так: услышав, что кто-то поблизости разговаривает, Рыцарь Леса прекратил свои пени, стал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес:

---

<sup>1</sup> *Касильдея Вандальская* – то есть Андалусская, по имени германского племени вандалов, владевших южной частью Испании. Это имя придумано Сервантесом по аналогии с Дульсинеей Тобосской.

<sup>2</sup> *Тартесия* – от Тартеса, древнего финикийского торгового города в Юго-Западной Испании, в устье р. Гуадалкивир. Тартесия то же, что Андалусия.

– Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих?

– Скорбящих, – отозвался Дон Кихот.

– В таком случае приблизьтесь ко мне, – молвил Рыцарь Леса, – и знайте, что вы приближаетесь к воплощенной печали скорби.

Услышав столь трогательный и учтивый ответ, Дон Кихот приблизился к рыцарю, а за Дон Кихотом проследовал и Санчо.

Сетовавший рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал:

– Садитесь, сеньор рыцарь, – чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих, мне довольно было встретить вас в этом месте, где с вами делят досуг лишь уединение да вечерняя роса – обычный приют и естественное ложе странствующих рыцарей.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Я – рыцарь и как раз этого самого ордена, и хотя печали, бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо, однако ж от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим. Из песни вашей я сделал вывод, что ваши несчастья – любовного характера, то есть что они вызваны вашею любовною страстью к неблагодарной красавице, которой имя вы упоминали в жалобах ваших.

Так, в мире и согласии, вели они между собой беседу, сидя на голой земле, и кто бы мог подумать, что не успеет заняться день, как они уже займутся друг дружкой на поле сражения!

– Уж не влюблены ли, часом, и вы, сеньор рыцарь? – спросил Дон Кихота Рыцарь Леса.

– К несчастью, да, – отвечал Дон Кихот, – впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не за напасть.

– Ваша правда, – заметил Рыцарь Леса, – но только презрение наших повелительниц, от которого Мы теряем рассудок и здравый смысл, так велико, что скорее напоминает месть.

– Моя госпожа никогда меня не презирала, – возразил Дон Кихот.

– Разумеется, что нет, – подхватил находившийся поблизости Санчо, – моя госпожа кроткая, как овечка и мягкая, как масло.

– Это *ваш оруженосец!* – спросил Рыцарь Леса.

– Да, оруженосец, – отвечал Дон Кихот.

– В первый раз вижу, чтобы оруженосец смел перебивать своего господина, – заметил Рыцарь Леса, – по крайней мере, мой оруженосец, – вон он стоит, – хоть и будет ростом со своего собственного отца, однако ж, когда говорю я, он как воды в рот наберет.

– Ну, а я, коли на то пошло, – вмешался Санчо, – говорю и имею полное право говорить при таком... ладно уж, не стану трогать лихо.

Тут оруженосец Рыцаря Леса взял Санчо за руку и сказал:

– Отойдем-ка в сторонку и поговорим по душам, как оруженосец с оруженосцем, а наши господа пусть себе препираются и рассказывают друг другу о сердечных своих обстоятельствах, – ручаюсь головой, что они еще и дня прихватят, да и то, пожалуй, не кончат.

– Пусть себе на здоровье, – согласился Санчо, – а я расскажу вашей милости, кто я таков, и вы увидите, что меня нельзя ставить на одну доску с другими болтливыми оруженосцами.

Оба оруженосца удалились, и между ними началось собеседование столь же забавное, сколь важным было собеседование их сеньоров.

### Глава XIII,

*в коей продолжается приключение с Рыцарем Леса и приводится разумное, мирное и из ряда вон выходящее собеседование двух оруженосцев*



Как скоро оруженосцы отделились от рыцарей, то первые стали рассказывать друг другу о своей жизни, а вторые – о сердечных своих делах, однако ж в истории сначала приводится беседа слуг, а затем уже беседа господ; итак, в истории сказано, что, отойдя немного в сторону, слуга Рыцаря Леса обратился к Санчо с такими словами:

– Тяжело и несладко живется нам, то есть оруженосцам странствующих рыцарей, государь мой; вот уж истинно в поте лица нашего едим мы хлеб, а ведь это одно из проклятий, коим господь бог предал наших прародителей.

– С таким же успехом можно сказать, – подхватил Санчо, – что мы едим его в хладе нашего тела, ибо кто больше злосчастных оруженосцев странствующего рыцарства страдает от зноя и стужи? И не так было бы обидно, ежели б мы этот хлеб ели, потому с хлебом и горе не беда, а то ведь иной раз дня по два пробавляемся одним только перелетным ветром.

– Все это еще можно снести и перенести в ожидании награды, – заметил другой слуга, – ведь если только странствующий рыцарь, у которого служит оруженосец, не из самых незадачливых, то немного спустя он ему уж непременно пожалует губернаторство на каком-нибудь разлюбезном острове или же какое-нибудь хорошенькое графство.

– Я уже говорил моему господину, что с меня и губернаторства на острове довольно, – объявил Санчо, – и он был так благороден и так щедр, что неоднократно и по разным поводам давал обещание пожаловать меня островом.

– А я был бы доволен, если б за непорочную мою службу меня сделали каноником, – сказал другой слуга, – и мой господин мне уже обещал приход, да еще какой!

– Ваш господин, как видно, рыцарь по церковной части и имеет право оказывать подобного рода милости верным своим оруженосцам, – заметил Санчо, – ну, а мой – самый обыкновенный светский, хотя, впрочем, я припоминаю, что одни умные люди, коих я, правда, почитал за вероломцев, пытались уговорить его стать архиепископом, однако ж он, кроме императора, ни о чем слышать не хотел, а я тогда боялся: ну как ему припадет охота пойти по духовной части, ведь я управлять Церковным приходом не гожусь, – надобно вам знать, ваша милость, что хотя я и похож на человека, но только церкви что от меня, что от скота – один прок.

– Право, ваша милость, вы ошибаетесь, ведь не все острова ладно скроены, – возразил другой слуга. – Попадают среди них и кривые, и бедные, и унылые, и даже с самым из них ровным и стройным тот несчастный, которому он достанется, забот и неприятностей не оберется. На что бы лучше нам бросить эту проклятую службу и разойтись по домам, а уж дома мы бы занялись более приятными делами, скажем, охотой или рыбной ловлей, потому у какого самого что ни на есть бедного оруженосца нет своей лошаденки, пары борзых и удочки, чтоб было чем занять себя в деревне?

– У меня все это есть, – объявил Санчо, – лошадки, правда, нет, но зато есть осел – вдвое лучше, чем конь моего господина. Не встретить мне в радости Пасху, ближайшую, какая должна быть, если я когда-нибудь обменяю моего осла на этого коня, хотя бы в придачу мне дали не одну фанегу овса. Вы не поверите, ваша милость, какой у меня замечательный серый, – он у меня серый, осел-то. Ну, а за собаками дело не станет: собак у нас в деревне сколько хочешь, а ведь лучше всего охотиться на чужой счет.

– Признаться сказать, сеньор оруженосец, – молвил другой слуга, – я вознамерился и решил бросить всю эту рыцарскую чушь, возвратиться к себе в деревню и растить детишек: у меня их трое и все – будто перлы Востока.

– А у меня двое, – сказал Санчо, – да такие, что подноси их на блюде хоть самому римскому папе, особливо девчонка, я ее с божьей помощью прочу в графини, хотя и наперекор матери.

– А сколько же лет этой сеньоре, которая должна стать графиней? – любопытствовал другой слуга.

– Около пятнадцати, – отвечал Санчо, – но ростом она с копьё, свежа, как апрельское утро, а сильна, как все равно поденщик.

– С такими качествами ей впору быть не то что графиней, а и нимфой зеленой рощи, –

заметил другой слуга. – Ах ты, распотаскушка и распотаскушкина дочка, уж и здорова же, верно, чертовка!

На это Санчо с некоторою досадою ответил так:

– Ни она, ни ее мать никогда потаскушками не были и, бог даст, покуда я жив, никогда и не будут. А вашу милость я попрошу: нельзя ли повежливее, вы все время вращались среди странствующих рыцарей, а ведь они – сама учтивость, между тем слова, которые вы употребляете, что-то с этим не вяжутся.

– Плохо же вы, ваша милость, сеньор оруженосец, соображаете насчет похвал! – воскликнул другой слуга. – Разве вы не знаете, что когда какой-нибудь кавальеро копьем пронзает быка на арене или же когда кто-нибудь ловко делает свое дело, то народ обыкновенно кричит: «Ах ты, потаскун и потаскушкин сын, как здорово это у него вышло!»? Так вот то, что в этом выражении кажется ругательным, есть на самом деле особая похвала, а от сыновей или же дочерей, которые не совершили ничего такого, за что родителям их надлежит воздавать подобную честь, я бы на вашем месте, сеньор, отрезался.

– Я и отрекаюсь, – подхватил Санчо, – так что по сему обстоятельству вы, ваша милость, вольны потаскушить и меня, и моих детей, и мою жену, ибо все их поступки и слова в высшей степени достойны подобных похвал, и я молю бога, чтоб он привел меня свидеться с ними и избавил от смертного греха, то есть от опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично, оттого что меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, который я однажды нашел в самом сердце Сьерры Морены, а теперь черт то и дело машет у меня перед глазами мешком с дублонами, – то здесь, то там, ан, глядь, не там, а вон где, – и мне все чудится: вот я его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, сдаю ее в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом подумать, как мне уже кажутся легкими и выносимыми те муки, что мне приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я почитаю не столько за рыцаря, сколько за сумасброда.

– Вот потому-то и говорят, что от зависти глаза разбегаются, – заметил другой слуга. – Но коли уж речь зашла о сумасбродах, то большего сумасброда, чем мой господин, еще не видывал свет, – это про таких, как он, говорится: «Чужие заботы и осла погубят». Ведь для того, чтобы другой рыцарь образумился, он сам стал сумасшедшим и теперь разъезжает в поисках того, что при встрече может ему еще выйти боком.

– А он, часом, не влюблен?

– Влюблен, – отвечал другой слуга, – в какую-то Касильдею Вандальскую, такую крутую и непромешанную особу, каких свет не производил, но только крутым нравом его не проймешь, в животе у него бурчат еще почище каверзы, и в недалеком будущем это обнаружится.

– На самой ровной дороге попадаются бугорки да рытвины, – заметил Санчо, – у людей еще только варят бобы, а у меня их полны котлы, у сумасшествя, знать, больше спутников да прислужников, нежели у мудрости. Однако ж если недаром говорится, что легче на свете жить, когда у тебя есть товарищ по несчастью, значит, и мне ваша милость будет утешением: ведь ваш господин такой же глупец, как и мой.

– Глупец, да зато удалец, – возразил другой слуга, – и не так он глуп и удал, как хитер.

– А мой не таков, – объявил Санчо, – я хочу сказать, что у моего хитрости вот на столько нет, душа у него нараспашку, он никому не способен причинить зло, он делает только добро, коварства этого самого в нем ни на волос нет, всякий ребенок уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень, и вот за это простодушие я и люблю его больше жизни и, несмотря ни на какие его дурачества, при всем желании не могу от него уйти.

– Как бы то ни было, друг и государь мой, – сказал слуга Рыцаря Леса, – если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Лучше было бы нам – бодрым шагом в родные края, а то ведь приключения не всегда бывают приятные.

Санчо ежеминутно сплевывал слюну, на вид липкую и довольно густую, и, заметив это, сострадательный лесной оруженосец молвил:

– По-моему, мы так много говорили, что у нас в горле пересохло, ну да у меня привязано к луке седла такое хорошее промачивающее средство – просто прелесть!

Сказавши это, он встал и не в долгом времени возвратился с большим бурдюком вина и пирогом длиною в пол-локтя, и это не преувеличение, ибо то был пирог с кроликом такой величины, что Санчо, дотронувшись до него и решив, что это даже и не козленок, а целый козел, обратился к другому оруженосцу с вопросом:

– И вы эдакое возите с собой, сеньор?

– А вы что же думали? – отозвался тот. – Или, по-вашему, я уж такой захудалый оруженосишка? На крупе моего коня больше запасов довольствия, нежели у генерала, когда он отправляется в поход.

Не заставив себя долго упрашивать, Санчо принялся за еду и, второпях глотая куски величиною с мельничный жернов, сказал:

– Ваша милость – вот уж истинно верный и преданный оруженосец, всамделишный и взаправдашный, роскошный и богатый, как показывает этот пир, который вы задали чисто по волшебству, – не то что я, оруженосец жалкий и незадачливый, у которого в переметных сумках только и есть, что немного сыру, такого твердого, что им ничего не стоит размозжить голову великану, да сверх того полсотни сладких стручков, да столько же лесных и грецких орехов, а все потому, что мой господин беден, и еще потому, что он держится того мнения и следует тому правилу, будто странствующим рыцарям надлежит подкрепляться и пробавляться одними лишь сухими плодами да полевыми травами.

– По чести, братец, – объявил другой слуга, – мой желудок не способен переваривать чертополох, дикие груши и древесные корни. Ну их ко всем чертям, наших господ, со всеми их мнениями и рыцарскими законами, пусть себе едят, что хотят, – я везу с собой холодное мясо, а к луке седла у меня на всякий случай привязан вот этот бурдюк, и я его так люблю и боготворю – ну прямо минутки не могу пробыть, чтобы не обнять его и не прильнуть к нему устами.

Сказавши это, он сунул бурдюк в руки Санчо, и тот, накренив его и потягивая из горлышка, с четверть часа рассматривал звезды, а когда перестал пить, то склонил голову набок и с глубоким вздохом проговорил:

– Ах ты, распотаскушкино отродье, до чего ж ты, подлое, пользительно!

– Вот видите, – услышав, что и Санчо поминает *распотаскушкино отродье*, молвил другой слуга, – ведь вы тоже в похвалу моему вину назвали его *распотаскушкиным отродьем*?

– Признаюсь, теперь я понимаю, – отвечал Санчо, – что ничего обидного нет назвать кого-нибудь потаскушкиным сыном, если это говорят в виде похвалы. А скажите, сеньор, ради всего святого, это вино не из Сьюдад Реалья?

– Вот это знаток! – воскликнул другой слуга. – В самом деле, оно именно оттуда и притом уже не молодое.

– Еще бы не знаток! – воскликнул Санчо. – Вы думаете, это для меня такая трудная задача – распознать ваше вино? Так вот, было бы вам известно, сеньор оруженосец, у меня к распознаванию вин большие природные способности: дайте мне разок понюхать – и я вам угадаю, и откуда оно, и какого сорта, и букет, и крепость, и какие перемены могут с ним произойти, и все, что к вину относится. Впрочем, тут нет ничего удивительного: у меня в роду со стороны отца было два таких отменных знатока вин, какие не часто встречаются в Ламанче, а в доказательство я расскажу вам один случай. Дали им как-то попробовать из одной бочки и попросили произнести свое суждение касательно состояния и качества вина, достоинств его и недостатков. Один лизнул, другой только к носу поднес. Первый сказал, что вино отзывает железом, другой сказал, что скорее кожей. Владелец сказал, что бочка чистая и что негде было ему пропахнуть кожей. Однако два славных знатока стояли на своем. Прошло некоторое время, вино было продано, стали выливать из бочки, глядь – на самом дне маленький ключик на кожаном ремешке. После этого судите сами, ваша милость, может ли человек моего роду-племени насчет таких вещей сказать свое веское слово.

– Потому-то я и говорю, что нам надобно бросить поиски приключений, – сказал другой слуга, – от добра добра не ищут, разойдемся-ка лучше по своим лачугам, а коли господу будет угодно, то он нас и там не оставит.

– Пока мой господин не доедет до Сарагосы, я буду ему служить, а там видно будет.

Долго еще два славных оруженосца беседовали и выпивали, пока наконец сон не связал им языки и не умерил их жажду, утолить же ее было немислимо, так они и заснули, держась за почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками пирога во рту, и теперь мы их на время оставим, чтобы рассказать, о чем говорили между собою Рыцарь Леса и Рыцарь Печального Образа.

## Глава XIV,

*в коей продолжается приключение с Рыцарем Леса*

В истории сказано, что после долгой беседы с Дон Кихотом Рыцарь Дремучего Леса обратился к нему с такими словами:

– А теперь, сеньор рыцарь, да будет вам известно, что не столько по велению судьбы, сколько по своей доброй воле меня угораздило влюбиться в несравненную Касильдею Вандальскую. Я именую ее несравненной, оттого что никто не может с ней сравниться ни по величественности телосложения, ни по родовитости, ни по красоте. И вот эта Касильдея, о которой я держу речь, за все мои честные намерения и благородные чувства отплатила тем, что по примеру мачехи Геркулеса повелела мне многообразные выдержать испытания, и в конце каждого она давала мне слово, что в конце следующего наступит конец моим ожиданиям, а между тем мытарства мои нанизываются одно на другое, и нет им числа, а теперь уж я не знаю, какое из них будет последним и положит начало исполнению благих моих желаний. Однажды она приказала мне вызвать на поединок знаменитую севильскую великаншу Хиральду<sup>1</sup>, рыжую и здоровенную, точно отлитую из меди, и, хотя она всегда на одном месте, самую изменчивую и непостоянную женщину в мире. Я пришел, увидел, победил ее, велел стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера. Еще как-то приказала мне моя владычица взвесить древних каменных Быков Гисандо<sup>2</sup>, а ведь они такие тяжеленные, что это скорей подошло бы грузчикам, нежели рыцарям. Еще как-то приказала она мне низринуться и низвергнуться в пропасть Кабра<sup>3</sup>, – дело страшное и неслыханное, – а затем подробно доложить ей о том, что в мрачной той бездне таится. Я остановил вращение Хиральды, взвесил Быков Гисандо, бросился в пропасть и исследовал таимое на ее дне, а надежды мои как не сбывались, так и не сбываются, приказы же ее и пренебрежение – это все своим чередом. Ведь вот уж совсем недавно приказала она мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я – самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, по каковому распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить. Но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея Вандальская прекраснее его Дульсинеи, и полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил помянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил, то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу,

---

<sup>1</sup> *Севильская великанша Хиральда.* – Хиральда – башня Севильского собора, построенная маврами между 1184 и 1196 гг., замечательный памятник арабской архитектуры. В 1568 г. башня была увенчана четырехметровой женской статуей Веры с развернутым знаменем (флюгером) в руке.

<sup>2</sup> *Быки Гисандо* – четыре огромных бесформенных изваяния, находящиеся в окрестностях Гисандо (около г. Авилы).

<sup>3</sup> *Пропасть Кабра* – глубокая пропасть в окрестностях селения Кабра (в Кордовской провинции), которую суевренные люди принимали за один из входов в ад.

И чем славнее тот, кто был разбит,  
Тем больше победитель знаменит, –

так что неисчислимы подвиги названного мною Дон Кихота теперь уже приписываются мне и становятся моими.

С изумлением внимал Дон Кихот речам Рыцаря Леса и не раз готов был сказать ему, что он лжет; слово «ложь» так и вертелось у него на языке, однако ж он, сколько мог, сдерживал себя, чтобы тот окончательно запутался в собственной лжи, и потому хладнокровно заметил:

– Что ваша милость, сеньор рыцарь, победила чуть ли не всех странствующих рыцарей Испании и даже всего мира – тут я ничего не могу возразить, но что вы победили Дон Кихота Ламанчского – это я ставлю под сомнение. Может статься, то был кто-нибудь другой, на него похожий, хотя, впрочем, мало кто на него походит.

– Как так другой? – вскричал Рыцарь Леса. – Клянусь небом, раскинувшимся над нами, что я схватился с Дон Кихотом, одолел его и принудил сдаться, и это человек высокого роста, долговязый и сухопарый, лицом худощавый, волосы у него с проседью, нос орлиный, с чуть заметной горбинкой, усы большие, черные, книзу опущенные. Воюет он под именем Рыцаря Печального Образа, а в оруженосцах у него состоит некий хлебопашец Санчо Панса, ездит и гарцует он на славном коне, именуемом Росинантом, и вот еще что: повелительницею его является некая Дульсинея Тобосская, прежде именовавшаяся Альдонсою Лоренсо, подобно как мою владычицу зовут на самом деле Касильдою и родом она из Андалусии, а я ее на этом основании величаю Касильдеей Вандальскою. Если же всех этих примет не довольно, дабы вы уверились в моей правоте, то при мне мой меч, а он и само недоверие принудит уверовать.

– Успокойтесь, сеньор рыцарь, и выслушайте меня, – сказал Дон Кихот. – Надобно вам знать, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, – мой самый лучший друг, и у нас с ним такая тесная дружба, что мы как бы составляем одно целое, приметы же, которые вы мне сообщили, столь верны и бесспорны, что я не могу не признать, что вы победили именно его. С другой стороны, мое собственное зрение и осязание доказывают мне всю невозможность того, чтобы это был он, если только кто-нибудь из многочисленных враждебных ему волшебников (вернее всего, тот, кто постоянно его преследует) не принял его облика и не дал себя одолеть, дабы лишить его славы, которую он высокими своими рыцарскими подвигами во всех известных нам странах заслужил и стяжал. И для вящей убедительности я хочу еще довести до вашего сведения, что помянутые волшебники, его недоброжелатели, назад тому дня два преобразили и обратили прекрасную Дульсинею Тобосскую в простую и грубую сельчанку, и, должно полагать, так же они изменили наружность и самого Дон Кихота. Если же всего этого не довольно, дабы вы удостоверились в правоте слов моих, то перед вами сам Дон Кихот, который свою правоту будет отстаивать с оружием в руках, то ли на коне, то ли спешившись, то ли как вам заблагорассудится.

Сказавши это, он встал и в ожидании, что предпримет Рыцарь Леса, взялся за меч, а тот не менее спокойно обратился к нему с такими словами:

– Исправному плательщику залог не страшен. Кому однажды, сеньор Дон Кихот, удалось победить вас, превращенного, тот имеет основание надеяться одолеть вас и в вашем настоящем виде. Однако ж рыцарям не подобает совершать ратные подвиги впотьмах, мы не разбойники и не лиходеи, подождем до рассвета, и да будет солнце свидетелем наших деяний. Условием же нашего поединка я ставлю следующее: побежденный сдается на милость победителя, и тот волен поступить с ним как угодно, с тем, однако же, чтобы повеления его не были для побежденного унижительны.

– Подобное условие и соглашение меня совершенно удовлетворяют, – объявил Дон Кихот.

Засим оба рыцаря направились к своим оруженосцам и застали их похрапывающими в тех самых позах, в каких они были застигнуты сном. Рыцари их разбудили и велели

снаряжать коней, ибо на восходе солнца между ними-де должно состояться кровопролитное, бесподобное и беспримерное единоборство, при каковом известии Санчо обмер и оторопел, ибо от оруженосца Рыцаря Леса он много наслышался об удалстве рыцаря и теперь опасался за жизнь своего господина; как бы то ни было, оруженосцы, ни слова не говоря, направились к своему табуну – надобно заметить, что все три коня и осел успели обнюхать друг дружку и уже не расставались.

Дорогою оруженосец Рыцаря Леса сказал Санчо:

– Было бы вам известно, приятель, что у андалусских драчунов такой обычай: коли попал в свидетели, то не сиди сложа руки, покуда дерутся спорщики. Теперь, стало быть, вы предуведомлены, что коли хозяева наши дерутся, то и нам надлежит биться так, чтобы ключья летели.

– Пускай себе, сеньор оруженосец, держатся этого обычая и соблюдают его подстрекатели и драчуны, а чтобы оруженосцы странствующих рыцарей – это уж дудки, – возразил Санчо. – Я, по крайности, не слыхал от моего господина о подобном обычае, а он все установления странствующего рыцарства назубок знает. И пусть даже это правда и в самом деле существует такое правило, чтобы оруженосцы дрались, когда дерутся их господа, я все равно не стану его исполнять, а лучше уплачу пеню, налагаемую на таких смирных оруженосцев, каков я, – ручаюсь, что это, наверно, от силы два фунта воску<sup>1</sup>, и я предпочитаю отдать эти два фунта: это мне наверняка станет дешевле корпии на лечение головы, а ведь я уверен, что в драке мне ее непременно разрубят и рассекут пополам. И еще потому не могу я драться, что у меня нет меча, да я его и в руки-то отродясь не брал.

– Это уладить легко, – молвил другой оруженосец, – у меня с собой два одинаковых полотняных мешка, вы возьмете один, я – другой, и мы на равных условиях станем друг друга охаживать мешками.

– Это пожалуйста, – сказал Санчо, – такая драка ранить нас не ранит, а пыль повыбьет.

– Нет, так не годится, – возразил другой оруженосец. – Чтобы ветер не унес мешков, нужно положить в них по полдюжине хорошеньких гладеньких голышей, по весу одинаковых, вот мы и начнем мешковать друг дружку без особого вреда и ущерба для обоих.

– Ах ты, нелегкая его побери! – воскликнул Санчо. – Нечего сказать, хорошенькие собольи меха и волокна хлопка желает он наложить в мешки, чтоб не раскроить друг другу череп и чтоб из наших костей не получилось каши. Да хоть бы вы, государь мой, шелковичными коконами их набили, все равно, было бы вам известно, я не стану драться, пусть дерутся наши господа, ну их к богу, а мы будем жить-поживать да вино попить, время и так постарается нас уморить, а нам самим не стоит хлопотать, чтоб век наш кончился до поры и до срока: созреем, тогда и упадем.

– И все же нам хоть с полчаса, а придется подраться, – возразил другой оруженосец.

– Никак нет, – отрезал Санчо, – я не такой невежа и не такой неблагодарный, чтоб затевать хотя бы легкую ссору с человеком, с которым мы вместе ели и пили. Тем более он меня ничем не разгневал и не обозлил, так какого же черта я ни с того ни с сего сунусь в драку?

– Я и это берусь уладить, – сказал другой оруженосец, – и вот каким образом: перед началом стычки я преспокойно подойду к вашей милости и дам вам две-три затрешины, так что вы полетите с ног, и этим я пробужу в душе вашей гнев, даже если вы сонливее сурка.

– Против этого выпада у меня найдется другой, нисколько не хуже, – объявил Санчо. – Я схвачу дубину и, прежде нежели ваша милость начнет пробуждать мой гнев, так усыплю вас, что пробудится он разве на том свете, а на том свете, поди, известно, что наступать себе на ногу я никому не позволю. И всем нам нужно держать ухо востро, а главное не будить чужой гнев, пусть он себе спит, потому чужая душа – потемки: пойдешь за шерстью – ан, глядь, самого обстригли, да ведь и господь благословил мир, а свары проклял. И то сказать: затравленный, загнанный, прижатый к стене кот превращается в льва, ну, а я-то человек, так

---

<sup>1</sup> ...два фунта воску – на свечи; наказание, к которому присуждались члены религиозных братств за нарушение устава.

я бог знает в кого могу превратиться, а потому я вас, сеньор оруженосец, предуведомляю: за весь вред и ущерб от нашей драки в ответе вы, и никто другой.

– Добро, – молвил другой оруженосец. – Утро вечера мудренее.

Между тем на деревьях уже защебетали хоры птичек радужного оперения; в своих многоголосых и веселых песнях они величали и приветствовали прохладную зарю, чей прекрасный лик уже показался во воротах и окнах востока и которая уже начала отряхивать со своих волос бесчисленное множество влажных перлов, и омытые приятною этою влагою травы были словно покрыты и осыпаны тончайшим белым бисером; ивы источали сладостную манну, смеялись родники, журчали ручьи, ликовали дубравы, и в самый дорогой свой наряд убрались луга на заре. Когда же рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, то первым предметом, бросившимся в глаза Санчо Пансы, был нос оруженосца Рыцаря Леса, такой громадный, что казалось, будто он отбрасывает тень на все оруженосцево тело. В истории и в самом деле сказано, что нос был величины невероятной, с горбинкою посредине, усеянный бородавками, лиловый, как баклажан, и свисал ниже рта на целых два пальца, каковыя величина, цвет, бородавки и кривизна до того оруженосца безобразили, что Санчо при виде вышеописанного носа заболтал ногами и руками, как ребенок, с которым случился родимчик, и дал себе слово получить лучше две сотни оплеух, нежели пробуждать гнев такого страшилища, а потом с ним драться. Тем временем Дон Кихот устремил взор на своего противника, но тот уже надел шлем и опустил забрало, так что лицо его нельзя было разглядеть; Дон Кихот, однако же, заметил, что это человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был камзол, сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун, что придавало его наряду необычайную пышность и великолепие; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; его копье, прислоненное к дереву, было преогромное и толстое, с железным наконечником величиною в пядь.

Дон Кихот все это рассмотрел и заметил и из всего виденного и замеченного вывел заключение, что упомянутый рыцарь, верно, изрядный силач, однако это не привело его в ужас, как Санчо Пансу, – нет, он обратился к Рыцарю Зеркал с хладнокровною и смелою речью:

– Если боевой пыл не взял верх над вашею, сеньор рыцарь, учтивостью, то я взываю к ней и прошу вас поднять немного забрало, дыбы я уверился, что мужественность лица вашего соответствует мужественности вашего телосложения.

– Выйдете ли вы, сеньор рыцарь, из этого испытания победителем или же будете побеждены, – возразил рыцарь Зеркал, – у вас еще будет досуг и время меня разглядеть, а сейчас я не могу исполнить ваше желание единственно потому, что, думается мне, я нанесу явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, меж тем как мне надлежит вынудить у вас признание, коего, как вам известно, я от вас добиваюсь.

– Как бы то ни было, – возразил Дон Кихот, – пока мы будем садиться на коней, вы успеете мне сказать, подлинно ли я тот самый Дон Кихот, которого вы будто бы победили.

– На каковой ваш запрос отвечаем, – молвил Рыцарь Зеркал, – что вы, как две капли воды, похожи на побежденного мною рыцаря, но вы же сами говорите, что волшебники строят ему козни, а потому я не осмеливаюсь утверждать положительно, являетесь вы данным подследственным лицом или нет.

– Теперь для меня совершенно ясно, что вы заблуждаетесь, – заметил Дон Кихот, – однако ж, дабы вы разуверились совершенно, пусть подадут нам коней, с помощью господ бога, моей госпожи и собственной моей длани я увижу ваше лицо скорее, чем если бы вы стали поднимать забрало, вы же увидите, что я не тот побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

Тут, прервав разговор, сели они на коней, и Дон Кихот поворотил Росинанта, чтобы сначала разогнать его, а затем ринуться на своего неприятеля, и так же точно поступил Рыцарь Зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать и на двадцать шагов, как Рыцарь Зеркал,

также на полпути, остановился и крикнул ему:

– Помните же, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, еще раз повторяю, сдается на милость победителя.

– Я знаю, – отозвался Дон Кихот, – с тою, однако же, оговоркою, что побежденному не будет предъявлено требований и дано приказаний, находящихся в противоречии с рыцарским уставом.

– Само собою разумеется, – молвил Рыцарь Зеркал.

Тут Дон Кихот обратил внимание на из ряду вон выходящий нос оруженосца и не менее Санчо ему подивился, настолько, что даже почел этого оруженосца за некое чудище, за человека другой породы, доселе не встречавшейся на земле. Санчо, видя, что его господин намеревается взять разбег, не пожелал остаться наедине с носатым: он боялся, что если тот хоть раз щелкнет его своим носом по носу, то этим все их сражение и кончится, ибо от силы удара, а то и со страху, он непременно растянется, – поэтому-то, ухватившись за Росинантово стремя, он двинулся следом за своим господином; когда же, по его соображениям, настала пора поворотить обратно, он сказал:

– Будьте так добры, государь мой, пока вы еще с неприятелем не схватились, подсобите мне влезть на этот дуб, – там мне будет удобнее, нежели на земле, наблюдать за той жаркой схваткой, которая сейчас начнется между вашей милостью и вон тем рыцарем.

– По-моему, Санчо, – возразил Дон Кихот, – ты просто хочешь подняться и взобраться на подмости, чтобы смотреть на бой быков, находясь в полной безопасности.

– Сказать по правде, – признался Санчо, – меня ошеломил и устрасил громадный нос этого оруженосца, и я боюсь с ним оставаться.

– Нос у него в самом деле таков, что, будь я другим человеком, он бы и меня привел в трепет, – сказал Дон Кихот. – Ну что ж, полезай, я тебя подсажу.

Пока Дон Кихот возился, помогая Санчо взгромоздиться на дуб, Рыцарь Зеркал взял какой ему хотелось разбег и, полагая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, и не дожидаясь ни звука трубы, ни какого-либо другого знака, поворотил своего коня, столь же знатного и ретивого, как Росинант, и во всю его прыть, то есть мелкой рысцой, двинулся на сближение с неприятелем; видя, однако ж, что Дон Кихот замешкался с подсаживанием Санчо, Рыцарь Зеркал натянул поводья и на полпути остановился, за что конь был ему весьма признателен, ибо он уже выдохся. Дон Кихоту меж тем почудилось, будто неприятель уже на него налетает, – он с силою вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, так его этим расшевелив, что, по свидетельству автора, Росинант впервые перешел на крупную рысь (а то ведь обыкновенно он только трусил рысцой) и с невиданною быстротою помчал своего седока прямо на Рыцаря Зеркал. Рыцарь же в это время всаживал своему коню шпоры по самый каблук, но конь и на палец не сдвинулся с того места, где его бег был остановлен. При таких благоприятных обстоятельствах и до такой степени вовремя напал Дон Кихот на своего противника, возившегося с конем и то ли не сумевшего, то ли не успевшего взять копьё наперевес. Не обращая внимания на эти его затруднения, Дон Кихот без малейшего для себя риска и вполне безнаказанно так хватил Рыцаря Зеркал, что тому волей-неволей пришлось скатиться по крупу коня на землю, и до того лихо он при этом шлепнулся, что, словно мертвый, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Как увидел Санчо, что рыцарь сверзился, так сейчас же спустился с дуба и с великим проворством направился к своему господину, тот же, спешившись, поспешил к Рыцарю Зеркал и, развязав ему ленты от шлема, чтобы удостовериться, жив он или мертв, и чтобы ему легче было дышать в случае, если жив, увидел... Но как сказать, кого он увидел, не приведя при этом в изумление, не поразив и не ужаснув читателей? Он увидел, гласит история, лицо, облик, наружность, черты, образ и обличье бакалавра Самсона Карраско, и как скоро увидел, то возопил громким голосом:

– Сюда, Санчо! Сейчас ты увидишь то, чему ты не должен верить! Торопись же, сын мой, и удостоверься, на что способно волшебство, на что способны колдуны и чародеи!

Санчо приблизился и, увидев лицо бакалавра Карраско, начал усердно креститься и не



менее усердно призывать имя господне. Все это время потерпевший рыцарь не подавал признаков жизни, а потому Санчо сказал Дон Кихоту:

– По мне, государь мой, вашей милости на всякий случай следовало бы вогнать и всунуть меч в пасть вот этого, который прикинулся бакалавром Самсоном Карраско: может статься, вы таким образом прикончите одного из враждебных вам чародеев.

– Ты дело говоришь, – заметил Дон Кихот, – чем меньше врагов, тем лучше.

И он уж обнажил меч, чтобы последовать совету и наставлению Санчо, но тут к нему подскочил оруженосец Рыцаря Зеркал, уже без этого безобразного носа, и громко воскликнул:

– Подумайте, сеньор. Дон Кихот, что вы делаете! Ведь у ваших ног бакалавр Самсон Карраско, ваш приятель, а я его оруженосец.

Санчо, видя, что он не такой урод, как прежде, спросил:

– А где же нос?

На что тот ответил:

– Он у меня здесь, в кармане.

С этими словами он сунул руку в правый карман и вытащил поддельный, из лакированного картона, нос вышеописанного образца. Санчо долго к оруженосцу приглядывался и наконец громко и с изумлением воскликнул:

– Пресвятая богородица, спаси нас! Да ведь это ж Томе Сесьяль, сосед мой и кум!

– А то кто же! – подхватил обезносевший оруженосец. – Да, я – Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и я тебе потом расскажу про все пакости, плутни и каверзы, через которые я здесь очутился. А сейчас проси и умоляй своего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал Рыцаря Зеркал, что лежит у его ног, – вне всякого сомнения, это дерзкий и легкомысленный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Тем временем Рыцарь Зеркал пришел в себя; тогда Дон Кихот приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

– Смерть вам, рыцарь, если вы не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская выше по красоте вашей Касильдеи Вандальской, а кроме того, вы должны мне обещать (если только после этой сшибки и падения вы останетесь живы), что отправитесь в город Тобосо, явитесь к Дульсинеи и скажете, что вы от меня, а уж как она с вами поступит – на то ее полная воля; если же она полную волю предоставит вам, то вам все же придется меня разыскать (вожатаем послужит вам след от моих деяний, и он приведет вас к месту моего пребывания) и поведать, о чем с нею беседовали; таковы мои условия, и они находятся в согласии с нашим уговором пред битвою и не противоречат уставу странствующего рыцарства.

– Признаю, – сказал поверженный рыцарь, – что всклокоченные, хотя и чистые, волосы Касильдеи не стоят рваных и грязных башмаков сеньоры Дульсинеи Тобосской, и обещаю съездить к ней, вернуться от нее к вам и дать вам полный и подробный отчет, какого только вы от меня потребуете.

– Еще вам надлежит признать и поверить, – примолвил Дон Кихот, – что тот рыцарь, которого вы одолели, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанским, что это был кто-то другой, на него похожий, я же, со своей стороны, признаю и верю, что хотя вы и похожи на бакалавра Самсона Карраско, однако ж вы не он, а кто-то другой, на него похожий, и что недруги мои придали вам его обличье, дабы я сдержал и усмирил порыв ярости, меня охватившей, и дабы я с кротостью пожинал плоды победы.

– Все это я признаю, принимаю в рассуждение и сознаю, равно как и вы этому верите, принимаете это в рассуждение и сознаете, – отвечал вышибленный из седла рыцарь. – А теперь будьте любезны, позвольте мне встать, – впрочем, не знаю, смогу ли: я основательно расшибся, когда падал.

Дон Кихот и оруженосец Томе Сесьяль стали поднимать его, а Санчо глаз не сводил со своего земляка и забрасывал его вопросами, из ответов на которые явствовало, что это и точно Томе Сесьяль; однако же слова Дон Кихота о том, что волшебники заменили облик

Рыцаря Зеркал обликом бакалавра Карраско, запали в душу Санчо, и он не решался признать за истину то, в чем его убеждало его же собственное зрение. В конце концов господин и его слуга так и не разуверились, а Рыцарь Зеркал и его оруженосец, недовольные и понурые, расстались с Дон Кихотом и Санчо и отправились искать место, где бы можно было вправить и перевязать ребра потерпевшему рыцарю. Дон Кихот и Санчо снова двинулись по дороге к Сарагосе, и тут история их и оставляет, чтобы сообщить, кто такие Рыцарь Зеркал и носовитейший его оруженосец.

## Глава XV,

*в коей рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец*

Дон Кихот был чрезвычайно доволен, горд и упоен своею победою над столь отважным рыцарем, каким ему представлялся Рыцарь Зеркал, и, поверив его честному рыцарскому слову, он надеялся узнать от него в точности, все ли еще заморожена сеньора Дульсинея, ибо такой побежденный рыцарь, по мнению Дон Кихота, не мог не довести до его сведения, как он с нею встретится, иначе это не был бы рыцарь. Но так думал Дон Кихот, да не так думал Рыцарь Зеркал, – как уже было сказано, все помыслы его были теперь устремлены к тому, где бы полечиться. Далее из истории нашей выясняется, что бакалавр Самсон Карраско, прежде чем подвигнуть Дон Кихота возобновить прерванные его рыцарские похождения, совещался со священником и цирюльником по поводу того, какие надлежит принять меры, чтобы Дон Кихот тихо и спокойно сидел дома и чтобы злополучные поиски приключений более его не соблазняли; на этом совещании было единодушно решено, и, в частности, таково было мнение самого Карраско, что Дон Кихота должно отпустить, ибо удержать его все равно невозможно, а что Самсон под видом странствующего рыцаря его нагонит, завяжет с ним бой, повод для которого всегда найдется, и одержит над ним победу (каковая победа представлялась участникам совещания делом нетрудным); между бойцами же должны, мол, существовать предварительный уговор и соглашение, по которым побежденный обязан сдаться на милость победителя; и вот на этом основании переодетый рыцарем бакалавр велит побежденному Дон Кихоту возвратиться в родное село и в родной дом и никуда не выезжать в течение двух лет или же впредь до особого его распоряжения, причем все, кто держал совет, были совершенно уверены, что Дон Кихот не преминет это повеление исполнить, дабы не идти против законов рыцарства и не нарушать их, и может статься, что в заточении он, дескать, позабудет свои сумасбродства или же сыщется какое-либо подходящее средство от его безумия.

Карраско все это одобрил, а в оруженосцы к нему напросился Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Пансы, весельчак и пустельга. Выше было сказано, как снарядился Самсон, а Томе Сесьяль приладил к натуральному своему носу уже упоминавшийся искусственный и поддельный, чтобы куманек не узнал его при встрече, и поехали Карраско с Сесьялем по той же самой дороге, что и Дон Кихот, совсем было нагнали его во время приключения с колесницею Смерти и в конце концов столкнулись с ним в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательному читателю уже известно; и если бы не необычайное течение мыслей Дон Кихота, благодаря которому он себя уверил, что бакалавр – не бакалавр, то сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лиценциата: ведь пошел-то он за одним, а нашел совсем другое. Томе Сесьяль, видя, сколь неудачным оказалось их предприятие и сколь мрачен конец их пути, обратился к бакалавру с такими словами:

– Сказать по совести, сеньор Самсон Карраско, так нам и надо: нехитро что-нибудь затеять и исполнить, да чаще всего трудненько бывает ноги унести. Дон Кихот – сумасшедший, мы с вами здоровы, он себе целехонек, да еще и посмеивается, а вы – вон какой, ваша милость: избитый и унылый. Теперь давайте подумаем, кто более помешан: тот,

который другим и быть не может, либо безумец по собственному желанию.

На это ему Самсон ответил так:

– Разница между этими двумя сумасшедшими заключается в том, что безумец поневоле безумцем и останется, безумец же добровольный в любое время может превратиться в человека здорового.

– Коли так, – подхватил Томе Сесьяль, – то я добровольно свихнулся, когда пожелал пойти к вашей милости в оруженосцы, а теперь я так же добровольно желаю образумиться и вернуться домой.

– Это твое дело, – заметил Самсон, – а я, пока не отлуплю Дон Кихота, ни под каким видом домой не вернусь, и теперь я стану его преследовать не с целью привести в разум, но единственно в целях мести, ибо сильная боль в ребрах принуждает меня отказаться от более человеколюбивых намерений.

Продолжая такой разговор, достигли они одного селения, и тут им посчастливилось найти костоправа, который и оказал злосчастному Самсону помощь. Томе Сесьяль покинул его и возвратился домой, Самсон же, оставшись один, принялся обдумывать план мести, и в свое время история наша к нему еще вернется, а теперь ей хочется разделить с Дон Кихотом его радость.

## Глава XVI

*О том, что произошло между Дон Кихотом и одним рассудительным ламанчским дворянином*

Радостный, счастливый и гордый, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свой путь; ему представлялось, что одержанная победа возвела его на степень наиотважнейшего рыцаря своего времени; он считал все приключения, какие только могут ожидать его в будущем, уже завершёнными и до победного конца доведёнными; он уже презирал и колдунов, и самое колдовство; он уже позабыл и о бесчисленных побоях, которые за время рыцарских его походов довелось ему принять, и о камне, выбившем ему половину зубов, и о неблагодарности каторжников, и о той дерзости, с какою янгуасцы охаживали его дубинами; словом, он говорил себе, что придумай он только уловку, прием или способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, и он уже не стал бы завидовать величайшей удаче, какая когда-либо выпадала на долю наиудачливейшего странствующего рыцаря времен протекших. Он все еще был занят этими мыслями, когда Санчо сказал ему:

– Как вам это нравится, сеньор? У меня так и стоит перед глазами здоровенный, непомерный нос моего кума Томе Сесьяля.

– Неужели ты и правда думаешь, Санчо, что Рыцарь Зеркал – это бакалавр Карраско, а его оруженосец – твой кум Томе Сесьяль?

– Не знаю, что вам на это ответить, – молвил Санчо, – знаю только, что никто, кроме этого оруженосца, не мог бы сообщить мне такие верные приметы моего дома, жены и детей, лицо же у него, без поддельного носа, совсем как у Томе Сесьяля, а с Томе Сесьялем я, когда жил в деревне, виделся часто, да и дома наши бок о бок, опять же и говорит он точь-в-точь как Томе Сесьяль.

– Давай рассудим хорошенько, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Послушай: ну с какой стати бакалавру Самсону Карраско переодеваться странствующим рыцарем, брать с собой оружие и доспехи и вызывать меня на бой? Разве я его враг? Разве я чем-либо навлек на себя его гнев? Разве я его соперник, разве он вступил на военное попрание и завидует той славе, которую я на этом попрание стяжал?

– А что вы скажете, сеньор, о разительном сходстве этого рыцаря, кто бы он ни был, с бакалавром Карраско, а его оруженосца – с моим кумом Томе Сесьялем? – возразил Санчо. – И если это, по-вашему, волшебство, то почему же волшебники захотели быть похожими именно на эту парочку?

– Все это происки и уловки преследующих меня коварных чародеев, – отвечал Дон Кихот. – В предвидении того, что мне суждено одержать в этой схватке победу, они подстроили так, что побежденный рыцарь сделался похож на моего друга бакалавра, дабы дружеская моя привязанность к нему, встав между острием моего меча и неумолимостью длани моей, умерила правый гнев моего сердца, – им надобно было спасти жизнь тому, кто хитростью и обманом пытался отнять жизнь у меня. И ты, Санчо, в доказательствах не нуждаешься, – ты сам знаешь по опыту, а опыт никогда не лжет и не обманывает, что волшебникам ничего не стоит заменить один облик другим, прекрасный – уродливым, а уродливый – прекрасным: назад тому два дня ты своими глазами созерцал красоту и статность несравненной Дульсины во всей их целостности и в полном соответствии истинному ее облику, я же видел пред собой уродливую, грубую, простую сельчанку с тусклыми гляделками и с дурным запахом изо рта, и если порочный волшебник на столь гнусное отважился превращение, то не удивительно, что он же превратил рыцаря в Самсона Карраско, а его оруженосца – в твоего кума, дабы лишить меня чести победителя. Но, как бы то ни было, я утешен, оттого что, несмотря на его обличье, победа все же осталась за мной.

– Один бог знает, где тут правда, – заметил Санчо. А как Санчо было ведомо, что превращение Дульсины состоялось благодаря его собственным плутням и проделкам, то и не мог он быть удовлетворен домыслами своего господина, однако ж возражать не стал, чтобы не проболтаться и самому не раскрыть свой обман.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, их нагнал человек, ехавший следом за ними и по той же самой дороге на очень красивой, серой в яблоках, лошади; на нем был добротного зеленого сукна плащ, отделанный светло-коричневым бархатом, и бархатный берет; легкая сбруя на его кобыле и седло с короткими стремянами были темно-лилового и зеленого цвета; на широкой, зеленой с золотом, перевязи висела кривая мавританская сабля, и так же, как перевязь, были у него отделаны полусапожки; шпоры, не позолоченные, а покрытые зеленым лаком, были так начищены и отполированы и так всему его одеянию соответствовали что казались лучше золотых. Поравнявшись, путник вежливо поздоровался и, дав кобыле шпоры, хотел было проехать мимо, но Дон Кихот окликнул его:

– Любезный сеньор! Коли вы держите путь туда же, куда и мы, и не слишком торопитесь, то, сделайте милость, поедemте вместе.

– По правде сказать, – отозвался всадник, – я так быстро проехал из боязни, что общество моей кобылы может взволновать вашего коня.

– Вы, сеньор, – сказал ему на это Санчо, – смело можете натянуть поводья, потому наш конь – самое скромное и благовоспитанное четвероногое на свете. Никогда еще он в подобных обстоятельствах никакого непотребства не учинял, только один-единственный раз повел он себя неприлично, и мы с моим господином заплатили за то сторицей. Повторяю, коли вашей милости угодно, то вы смело можете не спешить: обмажьте вашу кобылу медом – даю голову на отсечение, наш конь на нее даже не покосится.

Путник, натянув поводья, стал с изумлением рассматривать лицо и фигуру Дон Кихота, ехавшего без шлема, потому что шлем вместе с другими пожитками Санчо привязал к передней луке своего седла; но если всадник в зеленом весьма внимательно рассматривал Дон Кихота, то еще более внимательно рассматривал всадника в зеленом Дон Кихот, ибо тот казался ему человеком незаурядным. На вид всаднику в зеленом можно было дать лет пятьдесят; волосы его были чуть тронуты сединой, нос орлиный, выражение лица веселое и вместе важное, словом, как одежда, так и осанка обличали в нем человека честных правил. Всадник же в зеленом, глядя на Дон Кихота Ламанчского, вывел заключение, что никогда еще не приходилось ему видеть человека подобной наружности и с подобною манерою держаться; он подивился и длинной его шее, и тому, что он такой долговязый, и худобе и бледности его лица, и его доспехам, и его телодвижениям и осанке, всему его облику и наружности, с давних пор в этих краях не виданным. От Дон Кихота не укрылось то, как пристально смотрел на него путник, коего недоумение само уже достаточно красноречиво свидетельствовало об охватившем его любопытстве. Дон Кихот же был человек отменно

учтивый и весьма предупредительный, а потому, не дожидаясь каких бы то ни было со стороны путника вопросов, он первый пошел навстречу его желанию и сказал:

– Я бы не удивился, если б вашу милость удивила моя наружность тою необычайностью и своеобразием, какими она отличается, однако же ваша милость перестанет удивляться, как скоро я вам скажу, что я из числа тех рыцарей, что *стяжали вечную славу поисками приключений*. Я покинул родные места, заложил имение, презрел утеху и положился на судьбу, дабы она вела меня, куда ей будет угодно. Я замыслил воскресить из мертвых странствующее рыцарство, и уже много дней, как я, спотыкаясь и падая, то срываясь, то вновь подымаясь, помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю покровительство замужним, сирым и малолетним, то есть занимаюсь тем, чем свойственно и сродно заниматься странствующему рыцарю, и замысел свой я уже более чем наполовину претворил в жизнь. И вот, благодаря многочисленным моим доблестным и христианским подвигам, я удостоился того, что обо мне написана книга и переведена на все или почти на все языки мира. Разошлась моя история в количестве тридцати тысяч книг, и если небо не воспрепятствует, то дело идет к тому, что будет их отпечатано в тысячу раз больше. А чтобы не задерживать долее ваше внимание выразить все в нескольких словах, а то даже и в одном слове, я вам скажу, что я – Дон Кихот Ламанчский, иначе говоря – Рыцарь Печального Образа, и хотя самовосхваление унижает, мне, однако ж, приходится себя хвалить, разумеется, тогда, когда некому это сделать за меня. Итак, сеньор дворянин, впредь вас не должны удивлять ни этот конь, ни копьё, ни щит, ни оруженосец, ни все мои доспехи, ни бледность моего лица, ни необыкновенная моя худоба, ибо теперь вы знаете, кто я и каков мой род занятий.

Сказавши это, Дон Кихот умолк, всадник же в зеленом долго не отвечал, – казалось, он не находил слов; наконец много спустя он заговорил:

– Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоуменному моему виду догадаться о моем желании, однако же я все еще не могу прийти в себя от изумления, в какое повергла меня встреча с вами, и хотя вы и говорите, сеньор, что я перестану изумляться, узнав, кто вы, но это не так, напротив того: именно теперь, когда мне это известно, я особенно изумляюсь и недоумеваю. Неужели ныне подлинно существуют странствующие рыцари и печатаются истории неложных рыцарских подвигов? Я не могу поверить, чтобы в наши дни кто-либо покровительствовал вдовам, охранял девиц, оказывал почет замужним, помогал сиротам, и так никогда бы и не поверил, если бы собственными глазами не видел вашу милость. Теперь, слава богу, с выходом в свет истории высоких ваших и истинных подвигов, которая, как вы говорите, уже отпечатана, позабудутся бесчисленные вымышленные истории странствующих рыцарей, – их всюду полным-полно, и они способствуют лишь порче нравов, вредят сочинениям полезным и подрывают доверие к ним.

– Вымышлены истории странствующих рыцарей или же не вымышлены – это еще большой вопрос, – заметил Дон Кихот.

– А кто же может сомневаться, что все эти истории лживы? – спросил путник в зеленом.

– Я первый, – отвечал Дон Кихот, – однако пока что оставим этот разговор, ибо если мы будем ехать вместе и дальше, то я надеюсь с божьей помощью доказать вам, что вы напрасно разделяете ходячее мнение, будто истории странствующих рыцарей нимало не правдивы.

Последние слова Дон Кихота внушили путнику подозрение, что у Дон Кихота не все дома, и он ждал, что дальнейший разговор укрепит его в этой мысли, однако ж, прежде чем снова пуститься в рассуждения, Дон Кихот задал путнику вопрос, кто он таков, ибо о себе, дескать, он уже сообщил, какого он звания и каков его образ жизни. На это всадник в зеленом плаще ответил так:

– Я, сеньор Рыцарь Печального Образа, идальго, уроженец того самого селения, где мы с вами, бог даст, нынче же отобедаем. Я человек более чем среднего достатка, а зовут меня дон Дьего де Миранда. Жизнь свою я провожу в обществе жены, детей и друзей моих.

Любимые мои занятия – охота и рыбная ловля, однако ж я не держу ни соколов, ни борзых, но зато у меня есть ручные куропатки и свирепые хорьки. Библиотека моя состоит из нескольких десятков книг, испанских и латинских, есть у меня и романы, есть и про божественное, но рыцарские романы я на порог не пускаю. Я чаще почитаю светские книги, нежели душеполезные, но только такие, которые отличаются благопристойностью, радуют чистотою слога, поражают и приводят в изумление своим вымыслом, – впрочем, в Испании таких немного. Изредка я обедаю у моих соседей и друзей и часто приглашаю их к себе: мои званые обеды бывают чисто и красиво поданы и нимало не скудны; я сам не люблю злословить и не позволяю другим злословить в моем присутствии; не любопытствую, как живут другие, и не вмешиваюсь в чужие дела; в церковь хожу ежедневно; делюсь достоянием моим с бедняками, но добрых своих дел напоказ не выставляю, дабы в сердце мое не проникли лицемерие и тщеславие, эти наши враги, которые исподволь завладевают сердцами самыми скромными; стараюсь мирить поссорившихся, поклоняюсь владычице нашей богородице и уповаю всечасно на бесконечное милосердие господя бога нашего.

С великим вниманием выслушал Санчо рассказ идадьго об его жизни и времяпрепровождении и, решив, что это жизнь добродетельная и святая и что человек, который такую жизнь ведет, уж верно, чудотворец, соскочил с осла, мгновенно ухватился за правое стремя всадника и благоговейно и почти со слезами несколько раз поцеловал ему ноги, при виде чего идадьго воскликнул:

– Что ты делаешь, любезный? К чему эти поцелуи?

– Не мешайте мне целовать, – отвечал Санчо, – потому, ваша милость, я первый раз в жизни вижу святого, да еще верхом на коне.

– Я не святой, – возразил идадьго, – я великий грешник, а вот ты, братец, видно, человек хороший, что доказывает твое простодушие.

Санчо опять сел в седло, поступок же его исторгнул смех из глубин печали его господина и снова привел в изумление доня Дьего. Дон Кихот спросил своего спутника, много ли у него детей, и тут же заметил, что древние философы, истинного бога не знавшие, за величайшее благо почитали дары природы, дары Фортуны, а также когда у человека много друзей и много славных детей.

– У меня, сеньор Дон Кихот, один сын, – отвечал идадьго, – однако ж если б у меня его не было, пожалуй, я был бы счастливее, и не потому, чтобы он был дурен, а потому, что он не так хорош, как мне бы хотелось. Лет ему от роду восемнадцать, шесть лет он пробыл в Саламанке, изучал языки, латинский и греческий. Когда же я нашел, что ему пора заниматься другими науками, то оказалось, что он всецело поглощен наукой поэзии (если только это можно назвать наукой) и отнюдь не склонен посвятить себя ни правоведению, о чем я особенно мечтал, ни царике всех наук – теологии. Я мечтал о том, что он будет украшением нашего рода, ибо в наш век государи щедро награждают ученость добродетельную и общепользную, ученость же, лишенная добродетели, это все равно что жемчужина в навозной куче. Между тем сын мой целыми днями доискивается, хорош или же дурен такой-то стих Гомеровою *Илиады*, пристойна или же непристойна такая-то эпиграмма Марциала, так или этак должно понимать такие-то и такие-то стихи Вергилия. Словом сказать, ни с кем он не беседует, кроме творений названных мною поэтов, а также Горация, Персия, Ювенала и Тибулла, современных же испанских поэтов он не слишком жалует, но, как ни мало он увлекается поэзией испанской, однако ж в настоящее время мысли его заняты составлением глоссы<sup>1</sup> на четверостишие, которое ему прислали из Саламанки, – должно полагать, для литературного состязания.

На все это Дон Кихот ответил так:

– Дети, сеньор, суть частицы утробы родительской, вот почему, хороши они или же дурны, должно любить их, как любят душу, которая дает жизнь нашему телу. Долг родителей – с малолетства наставить их на путь добродетели, благовоспитанности и доброй

---

<sup>1</sup> *Глосса* – стихотворение, состоящее из нескольких строф; заключительные строки этих строф составляют отдельную строфу, выражающую главную мысль стихотворения и нередко помещаемую перед ним.

христианской жизни, с тем чтобы, придя в возраст, они явились опорой старости родителей своих и гордостью своего потомства. Принуждать же их заниматься той или другой наукой я не почитаю благоразумным, – здесь можно действовать только убеждением, и если школяру не приходится заботиться о хлебе насущном, ибо он такой счастливый, что кусок хлеба обеспечен ему родителями, то мне думается, что родителям надлежит предоставить ему заниматься той наукой, к которой он особую выказывает склонность, и хотя наука поэзии не столь полезна, сколь приятна, однако ж в ее изучении ничего зазорного нет. По мне, сеньор идальго, поэзия подобна нежной и юной девице, изумительной красавице, которую стараются одарить, украсить и нарядить многие другие девицы, то есть все остальные науки, и ей надлежит пользоваться их услугами, им же – преисполняться ее величия. Но только дева эта не любит, чтобы с нею вольно обходились, таскали ее по улицам, кричали о ней на площадях или же в закоулках дворцов. Она из такого металла, что человек, который умеет с ней обходиться, может превратить ее в чистейшее золото, коему нет цены. Ему надлежит держать ее в строгости и не позволять ей растекаться в грубых сатирах и гнусных сонетах; ее ни в коем случае не должно продавать, за исключением разве героических поэм, жалостных трагедий или же веселых и замысловатых комедий. Ей не должно знаться с шутами и с невежественною чернью, неспособною понять и оценить сокровища, в ней заключенные. Пожалуйста, не думайте, сеньор, что под чернью я разумею только людей простых, людей низкого звания, – всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни, имея же того, кто обходится с поэзией и обладает ею на указанных мною основаниях, будет окружено славою и почетом у всех просвещенных народов мира. Что же касается того, сеньор, что ваш сын – небольшой охотник до поэзии испанской, то мне кажется, что тут он не совсем прав, и вот почему: великий Гомер не писал по-латыни, ибо был греком, Вергилий же не писал по-гречески, ибо был римлянином. Коротко говоря, все древние поэты писали на том языке, который они воссали с молоком матери, и для выражения высоких своих мыслей к иностранным не прибегали, а посему следовало бы распространить этот обычай на все народы, дабы поэт немецкий не почитал для себя унизительным писать на своем языке, а кастильский и даже бискайский – на своем. Впрочем, сеньор, мне сдается, что ваш сын не столько против самой поэзии испанской, сколько против тех поэтов, которые, за исключением испанского, никаких других языков и наук не знают, а другие, мол, языки и науки украшали бы и вдохновляли природный их дар и способствовали его развитию. Но и это мнение вашего сына, по-видимому, ошибочно, ибо справедливо было замечено, что поэтами рождаются, – это значит, что поэт по призванию выходит поэтом из чрева матери, и с одною только этою склонностью, коею его наделило небо, без всякого образования и без всякого навыка, он создает такие произведения, которые подтверждают правильность слов: *est Deus in nobis*<sup>1</sup> и так далее. Затем я должен сказать, что прирожденный поэт, вдобавок овладевший мастерством, окажется лучше и превзойдет стихотворца, который единственно с помощью мастерства намеревается стать поэтом, и это оттого, что искусство не властно превзойти природу – оно может лишь усовершенствовать ее, меж тем как от сочетания природы с искусством и искусства с природою рождается поэт совершеннейший. Вывод же из всего мною сказанного, сеньор идальго, тот, что вашей милости не следует препятствовать своему сыну идти, куда его ведет его звезда, ибо если он, должно полагать, школяр добрый и уже благополучно взошел на первую ступень наук, а именно ступень языков, то теперь, обладая таковыми знаниями, он самостоятельно взойдет и на вершину светских наук, которые так же к лицу истинному дворянину, дворянину, что называется, в плаще и при шпаге, так же возвышают его и служат ему к чести и украшению, как митры украшают епископов, а мантии – опытных судейских. Пожурите, ваша милость, своего сына, если он станет писать сатиры, которые задевают чью-либо честь, накажите его, разорвите его писания, но если это будут нравоучения в духе Горация, в коих он с Горациевым изяществом станет клеймить пороки вообще, то похвалите его, ибо поэтам положено писать против зависти и обличать в своих стихах завистников, а равно и против других пороков, не касаясь,

---

<sup>1</sup> Бог внутри нас (*лат.*) (начало стиха из поэмы Овидия «Фасты», кн. VI, 5).

однако же, личностей, хотя, впрочем, есть такие поэты, которые ради удовольствия сказать что-нибудь злое готовы отправиться в ссылку на острова Понта<sup>1</sup>. Если поэт целомудрен в жизни, то он пребудет таковым и в своих стихах. Перо есть язык души: какие замыслы лелеет поэт в душе, таковы и его писания, и если короли и вельможи видят, что чудесная наука поэзии в руках людей благоразумных, добродетельных и степенных, то к таким поэтам они проникаются уважением, чтут и награждают их и даже венчают листьями дерева, в которое никогда не ударяет молния, – в знак того, что никто не имеет права обидеть стихотворцев, коих чело подобным венком почтено и украшено.

Речи Дон Кихота удивили всадника в зеленом плаще настолько, что теперь он был уже иного мнения об умственных его способностях. Санчо во время этого разговора, который был не очень ему любопытен, свернул с дороги попросить молока у пастухов, доивших неподалеку овец, а между тем идалго, в восторге от Дон-Кихотовой рассудительности и здравомыслия, только хотел было возобновить разговор, как вдруг Дон Кихот поднял голову и увидел, что навстречу им по дороге едет повозка, расцвеченная королевскими флагами, и, решив, что это, уж верно, какое-нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Вышеупомянутый Санчо, услышав, что его зовут, бросил пастухов, подстегнул серого и примчался к своему господину, с господином же его случилось ужасное и ни с чем не сообразное приключение.

## Глава XVII,

*из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить*

В истории сказано, что, в то время как Дон Кихот кричал Санчо, чтобы он подал ему шлем, Санчо покупал у пастухов творог; настойчивый зов господина сбил его с толку, и он не знал, что с этим творогом делать и в чем его везти; расстаться с ним было жалко, ибо деньги за него были уже уплачены, и по сему обстоятельству порешил он сунуть его в шлем своего господина; с этими-то славными дарами направился он к Дон Кихоту, дабы узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил:

– Друг мой! Подай мне шлем, – или я мало смыслю в приключениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое приключение, которое долженствует принудить меня и уже принуждает взяться за оружие.

При этих словах всадник в зеленом плаще стал смотреть по сторонам, но так ничего и не увидел, кроме ехавшей навстречу повозки с несколькими флажками; упомянутые флажки навели его на мысль, что это, наверное, везут казну его величества, и он так и сказал Дон Кихоту; Дон Кихот, однако ж, ему не поверил, ибо он твердо верил и держался того мнения, что все, что бы с ним ни случилось, представляет собою приключения и только приключения, а потому так ответил этому идалго:

– Кто к бою готов, тот уже почти одолел врагов. Я ничего не потеряю, коли изготовлюсь: я знаю по опыту, что у меня есть враги видимые и невидимые, но мне не дано знать, когда, где, в какое время и в каком обличье они на меня нападут.

И, обратившись к Санчо, он потребовал шлем, но тот не успел вынуть творог и оттого принужден был подать шлем как есть. Дон Кихот взял шлем и, не посмотрев, есть ли что внутри, с великим проворством надел его на голову; а как творог слежался и отжался, то по всему лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка, каковое обстоятельство привело Дон Кихота в ужас, и он сказал:

– Что бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг,

---

<sup>1</sup> Ссылка на острова Понта – намек на римского поэта Овидия Назона (43 до н.э. – 17 н.э.), сосланного императором Августом на побережье Черного моря, которое носило тогда название Понта Эвксинского (Гостеприимного моря).



не то я весь возмокнул от пота. Но если я и впрямь вспотел, то уж, конечно, не от страха, хотя и не сомневаюсь, что приключение, ожидающее меня, ужасно. Дай мне чем-нибудь отереться, – пот настолько обилён, что я ничего не вижу.

Санчо подал ему платок, мысленно воздавая богу хвалу за то, что его господин не понял, в чем дело. Дон Кихот вытерся и снял шлем, чтобы посмотреть, отчего это стало холодно голове, а как скоро увидел внутри шлема белую кашицу, то поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

– Клянусь жизнью сеньоры Дульсинеи Тобосской, ты, предатель, мошенник и неучтивый оруженосец, положил мне сюда творог.

На это Санчо, напустив на себя совершенное равнодушие, ответил так:

– Коли это творог, так дайте его мне, ваша милость, я его съем... Да нет, пускай его черт съест, – ведь это он, зная, сунул его в шлем. Да разве я осмелюсь запачкать шлем вашей милости? Нашли какого смельчака! По чести вам скажу, сеньор: я своим худым умишком, какой мне от бога дан, смекаю так, что у меня тоже, видно есть эти самые волшебники, и они меня преследуют, потому как я есть ваше произведение и плоть от вашей плоти, и сунули они туда эту пакость, чтобы вывести вас из терпения и заставить пересчитать мне, как это за вами водится, ребра. Однако ж на сей раз они, честное слово, промахнулись: я полагаюсь на здравый смысл моего господина, – мой господин возьмет в толк, что нет у меня ни творогу, ни молока, ничего похожего, а если б у меня что-нибудь такое и было, то я скорее нашел бы ему место в своем собственном желудке, чем в вашем шлеме.

– И то правда, – заметил Дон Кихот. Идальго все это наблюдал и всему этому дивился, особенно когда Дон Кихот, вытерев голову, лицо и бороду, вытерев шлем и надев его, вытянулся на стременах и, осмотрев меч и взяв в руки копьё, молвил:

– А теперь будь что будет, – у меня достанет мужества схватиться с самим сатаню.

Тем временем повозка с флажками подъехала ближе, и тут оказалось, что, кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровождал. Дон Кихот выехал вперед и молвил:

– Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за стяги?

Погонщик же ему на это ответил так:

– Повозка моя, а везу я клетку с двумя свирепыми львами, которых губернатор Оранский отсылает ко двору в подарок его величеству, флаги же – государя нашего короля в знак того, что везем мы его достояние.

– А как велики эти львы? – осведомился Дон Кихот.

– Столь велики, – отвечал человек, сидевший на передке, – что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки в Испанию не привозили. Я – львиный сторож, много львов перевез на своем веку, но таких, как эти, еще не приходилось. Это лев и львица – лев в передней клетке, а львица в задней, и сейчас они голодные, потому с утра еще ничего не ели, так что, ваша милость, уж вы нас пропустите, нам надобно поскорее добраться до какого-нибудь селения и покормить их.

Дон Кихот же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал:

– Львят – против меня? Теперь против меня – львят? Ну так эти сеньоры, пославшие их сюда, вот как перед богом говорю, сейчас увидят, такой ли я человек чтобы устрашиться львов! Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой клетки и выпусти зверей, – назло и наперекор тем волшебникам, которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

«Те-те-те! – подумал тут идальго. – Наконец-то добрый наш рыцарь себя показал: верно, от творога у него размягчился череп, а мозг прокис».

В это время к нему приблизился Санчо и сказал:

– Сеньор! Ради создателя, устройте так, чтобы мой господин Дон Кихот не связывался со львами, а то, если только он свяжется, они всех нас разорвут в клочки.

– Неужели твой господин настолько безумен, что ты можешь думать и опасаться, как бы он не связался с такими хищными зверями? – спросил идадьго.

– Он не безумен, – отвечал Санчо, – он дерзновенен.

– Я устрою так, что его дерзновение останется при нем, – пообещал идадьго.

С последним словом он приблизился к Дон Кихоту, который в это время приставал к сторожу, чтобы тот открыл клетки, и сказал:

– Сеньор кавальеро! Странствующим рыцарям подобает искать только таких приключений, которые подают надежду на благополучный исход, а не таких, которые решительно никакой надежды не подают, ибо смелость, граничащая с безрассудством, заключает в себе более безумия, нежели стойкости. А кроме всего прочего, львы и не помышляют о том, чтобы на вашу милость совершить нападение: их посылают в подарок его величеству, и не должно задерживать их и преграждать им дорогу.

– Это вы, сеньор идадьго, подите расскажите своей ручной куропатке и свирепому хорьку, а в чужие дела не вмешивайтесь, – заметил Дон Кихот. – Это мое дело, я сам знаю, натравили на меня этих сеньоров львов или нет.

И, обратясь к сторожу, крикнул:

– Эй ты, такой-сякой, мерзавец из мерзавцев! Если ты сей же час не откроешь клеток, я вот этим самым копьём пришиблю тебя к повозке!

Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено решимости, молвил:

– Государь мой! Будьте настолько любезны, сжальтесь вы надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу мулов и отведу их в безопасное место, а то если львы их растерзают, то мне тогда всю жизнь придется терзаться: ведь мулы и повозка – это все мое достояние.

– О малOVER! – вскричал Дон Кихот. – Слезай, распрягай мулов, словом, поступай, как знаешь, – сейчас ты увидишь, что напрасно хлопочешь и что все старания твои ни к чему.

Возница спешился и, нимало не медля, распряг мулов, а сторож между тем заговорил громким голосом:

– Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю львов и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалованье и то, что я имею сверх жалованья. Вы, сеньоры, спасайтесь бегством, прежде нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не тронут.

Идадьго опять стал отговаривать Дон Кихота от подобного сумасбродства: затевать такое дурачество – это значит, мол, испытывать господне долготерпение. Дон Кихот же ему на это ответил, что он сам знает, как ему поступить. Идадьго посоветовал Дон Кихоту хорошенько подумать, ибо, по его, дескать, крайнему разумению, Дон Кихот ошибается.

– Вот что, сеньор, – объявил Дон Кихот, – если ваша милость не желает быть зрителем этой, на ваш взгляд, трагедии, то дайте шпоры вашей кобыле и спасайтесь.

Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы он отказался от этого предприятия, в сравнении с коим приключение с ветряными мельницами и ужасающее приключение с сукновальнями, а равно и все подвиги, которые он на своем веку совершил, это, дескать, только цветочки.

– Поймите, сеньор, – говорил Санчо, – тут нет колдовства, ничего похожего тут нет, сквозь решетку я разглядел коготь всамделишного льва и заключил, что ежели у этого льва такой коготь, то сам лев, уж верно, больше горы.

– Со страху он тебе и с полмира мог показаться, – возразил Дон Кихот. – Удались, Санчо, и оставь меня. Если же я погибну, то ведь тебе известен прежний наш уговор: поспеши к Дульсинее, все прочее делается само собой.

К этому дон Кихот прибавил много такого, что отняло у окружающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи. Всадник в зеленом плаще охотно бы ему противостоял, но он видел, что Дон Кихот вооружен лучше, и оттого почел безрассудным связываться с сумасшедшим, а что перед ним сумасшедший – в этом он был теперь совершенно уверен;

коротко говоря, в то время как Дон Кихот снова приступил к сторожу с угрозами, идальго пришпорил свою кобылу, Санчо – своего серого, возница – своих мулов, и все они старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего господина, ибо на сей раз нимало не сомневался, что быть ему в когтях львиных; он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему вспало на ум снова поступить на службу к Дон Кихоту; впрочем, жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился, что беглецы далеко, он опять начал молить и заклинать Дон Кихота так же точно, как молил и заклинал, прежде, но Дон Кихот ему сказал, что он это уже слышал и что пусть, дескать, сторож более себя не утруждает просьбами и заклинаниями, ибо все это напрасно, а пусть лучше, мол, поторопится. Пока сторож возился с первой клеткой, Дон Кихот обдумывал, как благоразумнее вести сражение – пешком или же на коне, и, поразмыслив, решил, что – пешком, ибо львы могли испугать Росинанта. Того ради он соскочил с коня, бросил копье, схватил щит, обнажил меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важную поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала богу, а потом госпоже своей Дульсинее. Надобно заметить, что, дойдя до этого места, автор правдивой этой истории восклицает: «О могучий и выше всяких похвал отважный Дон Кихот Ламанчский, зеркало, в которое могут глядеться все удальцы на свете, новый, второй дон Мануэль Львиный<sup>1</sup>, краса и гордость рыцарей испанских! Где мне взять слова для описания столь страшного подвига, какие я должен подобрать выражения, дабы поздние потомки мне поверили? Есть ли такие похвалы, которые бы тебе не подобали и не подходили, будь они гиперболические любых гипербол? Пеший, одинокий, бесстрашный, великодушный, с одним лишь мечом, да и то не слишком острым, без «собачки»<sup>2</sup>, и со щитом, да и то не из весьма блестящей и сверкающей стали, ты ожидаешь и высматриваешь двух самых хищных львов, каких когда-либо выращивали дебри африканские. Нет, пусть собственные деяния прославляют тебя, доблестный ламанчец, я же предоставляю им говорить самим за себя, ибо не имею довольно слов, дабы превознести их».

На этом кончается вышеприведенное восклицание автора, и, связав прерванную было нить повествования, он продолжает: едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове и что, из боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальера, ему не миновать выпустить льва, он настежь распахнул дверцу первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказалось, непомерной, – чудовищный и страховидный лев. Прежде всего лев повернулся к своей клетке, выставил лапы и потянулся всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду; после этого он высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все стороны; при этом вид его и движения могли бы, кажется, навести страх на самую смелость. Дон Кихот, однако, смотрел на него в упор, – он с нетерпением ждал, когда же наконец лев спрыгнет с повозки и вступит с ним в рукопашную, а он изрубит льва на куски.

Вот до какой крайности дошло его доселе невиданное безумие. Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый, оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам и не обращая внимания на Дон-Кихотово ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова вытянулся в клетке; тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его, чтобы разозлить и выгнать из клетки.

– Этого я делать не стану, – возразил сторож, – ведь коли я его раздражаю, так он первым делом разорвет в клочки меня. Пусть ваша милость, сеньор кавальеро, удовольствуется уже сделанным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно, испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца открыта: он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей поры не вышел, стало быть, и до вечера не

---

<sup>1</sup> *Дон Мануэль Львиный* – рыцарь из романа Переса де Ита «Гражданские войны в Гранаде», бесстрашно вошедший в клетку со львами, куда его возлюбленная по неосторожности уронила перчатку. На этот сюжет написана баллада Шиллера «Перчатка».

<sup>2</sup> «Собачка» – фабричное клеймо знаменитого толедского оружейника XVI в. Хульяна дель Рей.

выйдет. Твердость духа вашей милости уже доказана, – от самого храброго бойца, сколько я понимаю, требуется лишь вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный веночек достается ожидавшему.

– И то правда, – молвил Дон Кихот, – закрой, приятель, дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй все, что здесь на твоих глазах произошло, а именно: как ты открыл льву, как я его ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не вышел и снова улегся. Мой долг исполнен, прочь колдовские чары, и да поможет господь разуму, истине и истинному рыцарству, ты же закрой, повторяю, клетку, а я тем временем знаками подзову бежавших и отсутствовавших, дабы они услышали из твоих уст о моем подвиге.

Сторож так и сделал, а Дон Кихот, нацепив на острие копья платок, коим он вытирал лицо после творожного дождя, стал звать беглецов, которые все еще, предводительствуемые идальго, мчались и поминутно оборачивались; как же скоро Санчо увидел, что Дон Кихот машет белым платком, то сказал:

– Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, ведь он нас кличет.

Все остановились и уверились, что делает знаки не кто иной, как сам Дон Кихот; это их несколько ободрило, они осторожно двинулись обратно, и вскоре до них уже явственно донеслись крики Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице:

– Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь, а ты, Санчо, выдай ему два золотых, один – для него, другой – для сторожа, за то, что я у них отнял время.

– Выдать-то я им с великим удовольствием выдам, – сказал Санчо, – но, однако же, что случилось со львами? Живы они или мертвы?

Тут сторож обстоятельно и с расстановкою принялся рассказывать об исходе схватки, преувеличивая, как мог и умел, доблесть Дон Кихота, при одном виде которого лев якобы струхнул и не пожелал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оставалась открытою; и только после того как он, сторож, сказал этому кавальеро, что дразнить льва и силком гнать из клетки значит испытывать долготерпение божие, а кавальеро, дескать, именно добивался, чтобы льва раздражили, он неохотно и скрепя сердце позволил запереть клетку.

– Что ты на это скажешь, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обречь меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны.

Санчо выдал деньги, возница запряг мулов, а сторож поцеловал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и обещал рассказать о славном этом подвиге самому королю, когда приедет в столицу.

– Буде же его величество спросит, кто этот подвиг совершил, скажите – что *Рыцарь Львов*, ибо я хочу, чтобы прежнее мое прозвание, *Рыцарь Печального Образа*, изменили, переменили, заменили и сменили на это, и тут я следую старинному обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или же когда это напрашивалось само собой.

Повозка двинулась своею дорогою, а Дон Кихот, Санчо и всадник в зеленом плаще – своею.

За все это время дон Дьего де Миранда не проронил ни звука, он лишь со вниманием слушал и замечал, как поступает и что говорит Дон Кихот, и казалось ему, что это – здравомыслие сумасшедшего или же сумасшествие, переходящее в здравомыслие. До него еще не дошла первая часть истории Дон Кихота; прочитав ее, он перестал бы удивляться Дон-Кихотовым словам и поступкам, – тогда ему было бы известно, какой именно вид умственного расстройства овладел Дон Кихотом, но он этого не знал и по сему обстоятельству принимал его то за здорового, то за сумасшедшего, ибо говорил Дон Кихот свяжно, красиво и вразумительно, меж тем как действовал нелепо, безрассудно и неумно. И идальго сам с собой рассуждал: «Это ли не верх безумия – надеть на голову шлем с творогом и вообразить, что волшебники размягчили тебе мозг? И что может быть безрассуднее и

нелепее, чем возыметь охоту во что бы то ни стало сразиться со львами?» Дон Кихот же, прервав его размышления и беседу с самим собою, сказал:

– Уж верно, ваша милость, сеньор дон Дьего де Миранда, почитает меня за человека вздорного и помешанного? Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного, ибо поступки мои дают к тому довольно оснований. Но со всем тем я бы хотел, чтобы ваша милость признала, что я не такой помешанный и полоумный, каким, должно думать, кажусь. Любо глядеть, как на широкой арене в присутствии самого короля смелый рыцарь наносит разъяренному быку смертельный удар; любо глядеть, как рыцарь, в блестящие доспехи облаченный, перед взорами дам следует к месту веселого состязания; любо глядеть на всех рыцарей, которые военными и прочими тому подобными упражнениями развлекают и потешают двор своего государя и служат, так сказать, к его чести, но выше всех рыцарь странствующий, который в пустынях, в дебрях, на распутьях, в лесах и на горах – всюду ищет опасных приключений в надежде на их счастливый и благополучный исход, единственно ради того, чтобы стяжать славу громкую и непреходящую. Повторяю: странствующий рыцарь, в каком-нибудь безлюдном месте подающий руку помощи вдовице, выше придворного рыцаря, ухаживающего за девою городскою. У каждого рыцаря свои обязанности: пусть рыцарь придворный служит дамам, своим нарядом придает двору своего короля еще больше блеску, рыцарей бедных потчует роскошными яствами, затевает состязания, поощряет турниры, обнаруживает великодушие и щедрость, показывается во всем своем великолепии, а самое главное – пусть он будет добрым христианином, и тогда он исполнит неперемный свой долг; рыцарь же странствующий пусть проникает в самые глухие уголки мира, блуждает в непроходимых дебрях, показывает чудеса храбрости, в пустынных местах, в разгар лета, терпит жгучие лучи солнца, зимою – бешеный ветер и жестокий мороз; да не пугают его львы, да не устрашают чудища, да не ужасают андриаки, ибо главная и прямая его обязанность в том именно и состоит, что за первыми он должен охотиться, на вторых нападать и одолевая всех без изъятия. А как и мне тоже выпало на долю вступить в ряды рыцарства странствующего, то и не могу я не совершать всего того, что, по разумению моему, входит в круг моих обязанностей, и вот почему нападение на львов, на которых я ныне напал, я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее безрассудство, ибо мне хорошо известно, что такое храбрость, а именно: это такая добродетель, которая находится между двумя порочными крайностями, каковы суть трусость и безрассудство. Однако ж наименьшим злом будет, если храбрец поднимется и досягнет до безрассудства, чем если он унижится и досягнет до трусости, и насколько легче расточительно стать щедрым, нежели скупцу, настолько же легче безрассудному превратиться в истинного храбреца, нежели трусу возвыситься до истинной храбрости. И вы мне поверьте, сеньор дон Дьего: коли дело идет о приключениях, то уж тут лучше пересолить, чем недосолить, ибо гораздо лучше звучит: «Такой-то рыцарь безрассуден и дерзновенен», нежели: «Такой-то рыцарь малодушен и труслив».

– Должен признаться, сеньор Дон Кихот, – заговорил дон Дьего, – что все слова и поступки вашей милости взвешены на весах самого разума, и мне думается, что если бы установления и законы странствующего рыцарства были утрачены, то их можно было бы сыскать в сердце вашей милости, будто в нарочно для этого созданном хранилище и архиве. Ну, а теперь прибавим шагу, ведь уж поздно, и поедемте прямо ко мне в имение, и в моем доме вы, ваша милость, отдохнете после затраты если не телесных, то душевых сил, затрата же таковых сил подчас влечет за собою усталость телесную.

– Предложение ваше, сеньор дон Дьего, я почитаю за великую для себя милость и честь, – отвечал Дон Кихот.

Тут они пришпорили коней своих и к двум часам пополудни прибыли в имение дон Дьего, которого Дон Кихот, заметим кстати, прозвал *Рыцарем Зеленого Плаща*.

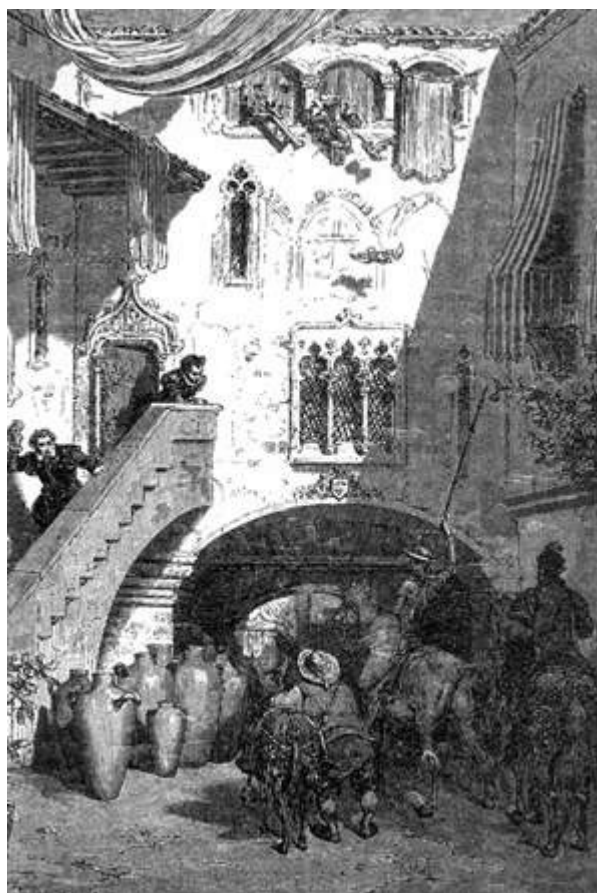
## Глава XVIII

*О том, что случилось с Дон Кихотом в замке, то есть в доме Рыцаря Зеленого Плаща, равно как и о других необыкновенных событиях*

Дом дона Дьего де Миранда, куда заехал Дон Кихот, был по-деревенски невелик; однако хотя и из грубого камня, а все же над воротами был высечен герб, во дворе виднелся амбар, у самого входа винный погреб, а вокруг него множество бочек, которые, будучи родом из Тобосо, напомнили Дон Кихоту заколдованную и подмененную Дульсинею, и, не думая, что и где говорит, он произнес со вздохом:

О сладкий клад<sup>1</sup>, что я обрел на горе!  
Как ты отраден мне когда-то был!

– О тобосские бочки! Вы воскресили в моей памяти сладкий клад великой моей горечи!



Слова эти услышал студент-поэт, сын дона Дьего, – он вместе с матерью вышел приветствовать Дон Кихота, – и необыкновенный вид гостя поразил их обоих; Дон Кихот же, сойдя с Росинанта, с отменною учтивостью направился поцеловать хозяйке руку, а дон Дьего сказал:

– Окажите, сеньора, присущее вам гостеприимство находящемуся перед вами Дон Кихоту Ламанчскому; это странствующий рыцарь, самый отважный и самый просвещенный, какой только есть на свете.

Сеньора, которую звали доньей Кристиной, встретила Дон Кихота крайне радушно и крайне любезно, Дон Кихот же ответил ей весьма остроумно и в самых изысканных выражениях. Почти такими же учтивостями обменялся он и со студентом, который, послушав Дон Кихота, нашел в нем человека рассудительного и остроумного.

Здесь автор подробно описывает дом дона Дьего, описывает все, чем обыкновенно

---

<sup>1</sup> *О сладкий клад...* – стихи из X сонета Гарсиласо де ла Вега.

бывает полон дом богатого дворянина-землевладельца, однако ж переводчик этой истории почел за нужное опустить эти и прочие мелочи, ибо к главному предмету они никакого отношения не имеют, между тем вся сила истории в ее правдивости, а не в сухих перечислениях.

Дон Кихота провели в особый покой, Санчо снял с него доспехи, и остался Дон Кихот в шароварах и камзоле из верблюжьей шерсти, усеянном грязными пятнами от доспехов; брыжи у него были, как у студента: ненакрахмаленные и без кружевной отделки; поверх желтых полусапожек он надел провощенные башмаки. Препоясался он добрым своим мечом, висевшим на перевязи из тюленьей кожи (по слухам, Дон Кихот много лет страдал почками)<sup>1</sup>, и накинул на себя доброго серого сукна накидку; прежде всего, однако, он вылил себе на голову и на лицо не то пять, не то шесть котлов воды (по части количества котлов показания расходятся), но даже и последняя вода приобрела цвет сывотки, а все из-за того, что лакомка Санчо купил этот чертов творог, который придал голове его господина ангельскую белоснежность. И вот в вышеописанном уборе, с видом независимым и молодецкатым вошел Дон Кихот в другую комнату, где его поджидал студент, дабы занять разговором, пока накроют на стол; надобно знать, что сеньора донья Кристина намеревалась показать такому благородному гостю, что потчевать она умеет не хуже других.

Меж тем как с Дон Кихота снимали доспехи, дон Лоренсо (так звали сына дона Дьего) улучил минутку и спросил отца:

– Так кто же, скажите, пожалуйста, этот кавальеро, которого ваша милость к нам пригласила? Нас с матушкой все в нем поражает: и его имя, и обличье, и то, что он себя называет странствующим рыцарем.

– Не знаю, что тебе на это ответить, сын мой, – молвил дон Дьего, – одно могу сказать: действия, которые он совершал на моих глазах, под стать величайшему безумцу на свете, речи же его столь разумны, что они уничтожают и зачеркивают его деяния. Поговори с ним, проверь его познания, а как ты человек разумный, то и реши сам по справедливости, в уме он или свихнулся, я же, откровенно говоря, почитаю его скорее за сумасшедшего, нежели за здравомыслящего.

Тут дон Лоренсо отправился, как уже было сказано, занимать Дон Кихота, и во время их беседы Дон Кихот, между прочим, сказал дону Лоренсо:

– Я слышал от вашего батюшки, сеньора дона Дьего де Миранда, о редкостных ваших способностях и разнообразных ваших дарованиях, главное же о том, что вы изрядный поэт.

– Поэт – весьма возможно, – отвечал дон Лоренсо, – но чтобы изрядный – ничего подобного. Правда, я имею некоторое пристрастие к поэзии и люблю читать хороших поэтов, однако ж всего этого еще недостаточно, чтобы признать меня за изрядного поэта, как отозвался обо мне мой отец.

– Мне нравится ваша скромность, – заметил Дон Кихот, – обыкновенно поэты спесивы и думают, что лучше их нет никого на свете.

– Нет правила без исключения, – заметил дон Лоренсо, – есть подлинно хорошие поэты, которые, однако ж, этого не думают.

– Таких мало, – возразил Дон Кихот. – А скажите, ваша милость, что за стихи сочиняете вы ныне? Ваш батюшка говорил мне, что вы этим обеспокоены и озабочены. Если – глоссу, то по этой части я кое-что смыслю и охотно бы вас послушал, и если вы готовитесь к литературному состязанию, то постарайтесь, ваша милость, получить вторую премию, ибо первая премия неизменно присуждается особам влиятельным или высокопоставленным, вторая же присуждается исключительно по справедливости, – таким образом, третья премия становится второю, а вторая, по тем же соображениям, первую, точь-в-точь как ученые степени в университете. Однако ж со всем тем получить право называться *первым* – это великое дело.

«Пока что он мне не кажется сумасшедшим, посмотрим, что будет дальше», – подумал

---

<sup>1</sup> ...на перевязи из тюленьей кожи (по слухам, Дон Кихот ...страдал почками)... – В эпоху Сервантеса считалось, что перевязь из тюленьей кожи предохраняет от почечных заболеваний.

дон Лоренсо.

А вслух сказал:

– Я полагаю, вы, ваша милость, посещали высшее учебное заведение. Какую же науку вы изучали?

– Науку странствующего рыцарства, – отвечал Дон Кихот. – Она так же хороша, как и наука поэзии, даже немножко лучше.

– Не знаю, что это за наука, – сказал дон Лоренсо, – до сей поры мне не приходилось о ней слышать.

– Это такая наука, – сказал Дон Кихот, – которая включает в себя все или почти все науки на свете; тому, кто ею занимается, надобно быть законоведом и знать основы права дистрибутивного и права коммутативного<sup>1</sup>, дабы каждый получал то, что следует ему и полагается; ему надобно быть богословом, дабы в случае, если его попросят, он сумел понятно и толково объяснить, в чем сущность христианской веры, которую он исповедует; ему надобно быть врачом, в особенности же понимать толк в растениях, дабы в пустынных и безлюдных местах распознавать такие травы, которые обладают способностью залечивать раны, ибо не может же странствующий рыцарь поминутно разыскивать лекаря; ему надобно быть астрологом, дабы уметь определять по звездам, какой теперь час ночи и в какой части света и стране он находится; ему надобно быть математиком, ибо необходимость в математике может возникнуть в любую минуту. Не говоря уже о том, что ему надлежит быть украшенным всеми добродетелями богословскими и кардинальными<sup>2</sup>, и, переходя к мелочам, я должен сказать, что ему надобно уметь плавать, как плавал, говорят, Николас, или, иначе, Николао-рыба<sup>3</sup>, надобно уметь подковать коня, починить седло и уздечку. А теперь возвратимся к предметам высоким. Ему надлежит твердо верить в бога и быть верным своей даме, ему надобно быть чистым в помыслах, благопристойным в речах, великодушным в поступках, смелым в подвигах, выносливым в трудах, сострадательным к обездоленным и, наконец, быть поборником истины, хотя бы это стоило ему жизни. Вот из таких-то больших и малых черт и складывается добрый странствующий рыцарь; теперь вы сами видите, сеньор дон Лоренсо, такая ли уж пустая вещь та наука, которую изучает и которою занимается рыцарь, и можно ли поставить ее рядом с самыми сложными, какие только в средних и высших учебных заведениях преподаются.

– Если это так, – сказал дон Лоренсо, – то я утверждаю, что эта наука выше всех прочих.

– Что значит: «Если это так»? – спросил Дон Кихот.

– Я хочу сказать, – отвечал дон Лоренсо, – что я все же сомневаюсь, чтобы теперь или когда-либо существовали странствующие рыцари, украшенные столькими добродетелями.

– Сейчас я вам скажу то, что мне уже не раз приходилось говорить, – объявил Дон Кихот, – а именно: большинство людей держится того мнения, что не было на свете странствующих рыцарей, я же склонен думать так: пока небо каким-либо чудом не откроет, что таковые воистину существовали и существуют, всякие попытки их разуверить будут бесплодны, в чем я неоднократно убеждался на деле, а потому я не намерен сейчас тратить время на то, чтобы рассеять заблуждение, в которое ваша милость впала вместе с многими другими людьми. Единственно, что я намерен сделать, это умолить небо, чтобы оно вывело вас из этого заблуждения и внушило вам, сколь благодетельны и сколь необходимы были миру странствующие рыцари времен протекших и сколь полезны были бы они ныне, если бы они еще действовали, однако ж ныне в наказание за грехи людей торжествуют леность,

---

<sup>1</sup> *Право дистрибутивное и право коммутативное* – термины средневекового права. Дистрибутивное (распределительное) означает распределение благ и наказаний, причитающихся данному лицу сообразно его поступкам; коммутативное (замещающее) означает замену одного наказания другим, обычно в сторону его смягчения.

<sup>2</sup> *Добродетели богословские и кардинальные* – богословские термины. Под богословскими подразумевались такие добродетели, как вера, надежда и милосердие, кардинальными считались основные добродетели, из которых вытекают все остальные, а именно: благоразумие, сила, воздержание и справедливость.

<sup>3</sup> *Николао-рыба* – легендарный итальянский пловец, получеловек-полурыба.



праздность, изнеженность и чревоугодие.

«Вот когда наш гость себя выдал, – подумал тут дон Лоренсо, – однако ж со всем тем это безумие благородное, и с моей стороны глупее глупого было бы рассуждать иначе».

На этом кончился их разговор, оттого что их позвали обедать. Дон Дьего спросил сына, удалось ли ему что-нибудь выяснить касательно умственных способностей гостя. Сын же ему на это ответил так:

– Нашего гостя не извлечь из путаницы его безумия всем лекарям и грамотеям, сколько их ни есть на свете: это безумие, перемежающееся с временными просветлениями.

Все сели обедать, и обед вышел именно такой, каким дон Дьего имел обыкновение потчевать своих гостей, о чем он рассказывал дорогою, а именно: сытный, вкусный и хорошо поданный; но особенно понравилось Дон Кихоту, что во всем доме, точно в картезианской обители, царил необычайная тишина<sup>1</sup>. Когда же все встали из-за стола, вымыли руки и помолились богу, Дон Кихот обратился к дону Лоренсо с настойчивой просьбой прочитать стихи для литературного состязания, на что тот ответил:

– Чтобы не походить на тех поэтов, которые, когда их умоляют прочитать стихи, отнекиваются, а когда никто не просит, готовы вас зачитать ими, я прочту вам мою глоссу, – премию за нее я получить не надеюсь, я написал ее только ради упражнения.

– Один мой приятель, человек просвещенный, полагает, – сказал Дон Кихот, – что сочинять глоссы не стоит труда, по той причине, говорит он, что глосса обыкновенно не выдерживает сравнения с текстом, а в подавляющем большинстве случаев не отвечает смыслу и цели той строфы, которая предлагается для толкования. К тому же правила составления глосс слишком строги: они не допускают ни вопросов, ни *он сказал*, ни *я скажу*, ни образования отглагольных существительных, ни изменения смысла, – все это, равно как и другие путы и ограничения, сковывает сочинителей глосс, что ваша милость, верно, знает сама.

– По правде говоря, сеньор Дон Кихот, – сказал Дон Лоренсо, – я все хочу поймать вас на какой-нибудь ошибке и не могу: ваша милость выskalъзывает у меня из рук, как угорь.

– Я не понимаю, что означает выражение: «выskalъзывает из рук» и что ваша милость хочет этим сказать, – объявил Дон Кихот.

– После я вам объясню, – молвил дон Лоренсо, – а теперь послушайте, ваша милость, заданные стихи и самую глоссу. Вот каковы они:

Если б жить я прошлым мог  
И грядущего не ждать  
Иль заране угадать  
То, что сбудется в свой срок.

*Глосса*

Время мчится без оглядки,  
И Фортуна отняла  
То, что мне на миг столь краткий  
От щедрот своих дала  
Не в избытке, но в достатке,  
И тебя молю я, рок,  
У твоих простершись ног:  
Мне верни былые годы,  
Минули б мои невзгоды,  
Если б жить я прошлым мог.

Славы мне уже не надо,

---

<sup>1</sup> ...точно в картезианской обители царил необычайная тишина. – Монахи картезианского ордена соблюдали обет молчания.

Не желаю я побед.  
А хочу одной награды –  
Возвращения прежних лет  
Мира, счастья и отрады.  
Перестал бы я сгорать  
От тоски, когда б опять  
Было мне дано судьбою  
В прошлое уйти мечтою  
И грядущего не ждать.

Но бесплодно и напрасно  
Снисхождения просить  
Тщусь я у судьбы бесстрастной:  
То, что было, воскресить  
И она сама не властна.  
Не воротишь время вспять,  
Как нельзя и обогнать  
Ход событий непреложный:  
Отвратить их невозможно  
Иль заране угадать.

То надежде, то унынию  
Предаваться каждый час  
И не знать конца кручине –  
Горше смерти во сто раз.  
Я безвременной кончине  
Уж давно б себя обрек  
И давно б в могилу лег,  
Если б смел с судьбой поспорить  
И насильственно ускорить  
*То, что сбудется в свой срок.*

Когда дон Лоренсо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот вскочил и, схватив его за правую руку, поднимающимся почти до крика голосом произнес:

– Хвала всемогущему богу! Благородный юноша! Вы – лучший поэт во всей вселенной, вы достойны быть увенчанным лаврами, и не на Кипре или же в Гаэте, как сказал один поэт<sup>1</sup>, да простит ему господь, а в академии афинской, если бы таковая еще существовала, и в ныне существующих академиях парижской, болонской и саламанкской! Если судьи лишат вас первой премии, то да будет угодно небу, чтобы Феб пронзил их своими стрелами, а Музы никогда не переступали их порога! Будьте любезны, сеньор, прочтите мне какие-нибудь пятистопные стихи, – я хочу, чтобы предо мной развернулся весь ваш чудесный дар.

Не достойно ли удивления то обстоятельство, что дон Лоренсо, как говорят, был рад похвалам Дон Кихота, хотя и почитал его за сумасшедшего? О сила похвал! Как далеко ты простираешься и сколь растяжимы границы упоительного твоего владычества! Справедливость этого была доказана на деле доном Лоренсо, ибо он уступил просьбе и желанию Дон Кихота и прочитал сонет, предметом своим имеющий предание или повесть о Пираме и Тисбе:

Ломает стену та, из-за кого  
Пришлось потом Пираму заколоться,

---

<sup>1</sup> ...как сказал один поэт... – Подразумевается Хуан Баугиста де Вивар, известный в эпоху Сервантеса импровизатор.

И вот взглянуть, как щель, зияя, вьется,  
Амур примчался с Кипра своего.

Пролом молчит: он узок до того,  
Что по нему и звук не проберется,  
Но для Амура путь везде найдется:  
Ничто не в силах задержать его.

Пускай чета, о коей здесь мы тужим,  
Непослушаньем прогневив судьбу,  
Жестокому подверглась наказанью, –

Она умерщвлена одним оружием,  
Она погребена в одном гробу,  
Она воскрешена в одном преданье.

– Слава богу! – воскликнул Дон Кихот, выслушав сонет дона Лоренсо. – Среди множества нынешних истощенных поэтов я наконец-то вижу поэта изощренного, и этот поэт – вы, государь мой. В этом меня убеждает мастерство, с каким написан ваш сонет.

Несколько дней Дон Кихот наслаждался жизнью в доме дона Дьего, а затем попросил позволения отбыть; он поблагодарил хозяев за их радушие и за тот сердечный прием, который был ему в этом доме оказан, но объявил, что странствующим рыцарям не подобает проводить много времени в неге и праздности, а потому он-де намерен возвратиться к исполнению своего долга и отправиться на поиски приключений, коими эти края, как слышно, изобилуют, и в краях этих он намерен-де пробыть до турнира в Сарагосе, куда он, собственно, и держит путь; однако ж прежде ему надобно проникнуть в пещеру Монтесиноса, о которой столько чудес рассказывают местные жители, а также изучить и исследовать место зарождения и подлинные истоки семи лагун, так называемых лагун Руидеры. Дон Дьего и его сын одобрили благородное решение Дон Кихота и сказали, чтобы он взял из их дома и из их имущества все, что только ему полюбит, а они, мол, рады ему услужить из уважения к его достоинствам, а равно и к благородному его занятию.

Наконец настал день отъезда, столь же радостный для Дон Кихота, сколь печальный и прискорбный для Санчо Пансы, который чувствовал себя превосходно среди домашнего изобилия у дона Дьего и не стремился возвратиться к голодной жизни в лесах и пустынях и к небогатому содержимому своей обыкновенно не весьма туго набитой сумы. Все же он наполнил ее до отказа самым необходимым, а Дон Кихот сказал на прощанье дону Лоренсо:

– Не знаю, говорил ли я вашей милости, а коли говорил, так повторю еще раз: буде ваша милость захочет сократить дорогу и труды при восхождении на недосыгаемую вершину Храма Славы, то вам надобно будет только свернуть со стези Поэзии, стези довольно тесной, и вступить на теснейшую стезю странствующего рыцарства, и вы оглянуться не успеете, как она уже приведет вас к престолу императорскому.

Этими словами Дон Кихот окончательно доказал свою невменяемость, а еще больше тем, что он к ним прибавил, прибавил же он вот что:

– Одному богу известно, сеньор дон Лоренсо, горячее мое желание увезти вас с собой и научить, как должно миловать послушных и покорять и подавлять заносчивых, то есть выказывать добродетели, неразрывно связанные с тем поприщем, которое я для себя избрал, но коль скоро этому препятствуют молодые ваши лета и удерживают вас от этого почтенные ваши занятия, то я удовольствуюсь тем, что преподам вашей милости совет: вы прославитесь как стихотворец, если будете прислушиваться более к чужому мнению, нежели к собственному, ибо нет таких родителей, коим их чадо казалось бы некрасивым, в чадах же разума нашего мы обманываемся еще чаще.

Отец с сыном снова подивились сумбурным речам Дон Кихота, разумным и вздорным

попеременно, а также тому, с каким упорством и настойчивостью, несмотря ни на что, стремился он к злоключениям своих приключений, составлявших венец и предел его желаний. После новых изъявлений преданности и взаимных учтивостей, с милостивого дозволения владельницы замка, Дон Кихот на Росинанте, а Санчо на осле тронулись в путь.

## Глава XIX,

*в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом, равно как и о других поистине забавных происшествиях*

Дон Кихот не так еще далеко отъехал от имения дона Дьего, когда ему повстречались двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов<sup>1</sup>, а с ними два поселянина: все четверо ехали верхами на животных ослиной породы. Один из студентов вез, как можно было заметить, что-то белое, суконное, завернутое вместе с двумя парами шерстяных чулок в зеленое полотно, заменявшее ему дорожный мешок; другой студент не вез ничего, кроме двух новеньких учебных рапир с кожаными наконечниками. Поселяне же везли с собой другие предметы, которые ясно показывали и давали понять, что их обладатели едут из какого-нибудь большого села: там они все это купили, а теперь возвращаются к себе домой. И вот эти самые студенты, а равно и поселяне, подивились Дон Кихоту так же точно, как дивились все, кто впервые с ним сталкивался, и всем им страх как захотелось узнать, что это за человек, столь не похожий на людей обыкновенных. Дон Кихот с ними раскланялся и, узнав, что едут они туда же, куда и он, предложил ехать вместе и попросил придержать ослиц, ибо конь его не мог за ними поспеть; при этом он из любезности объяснил им в кратких словах, кто он таков, каково его призвание и род занятий – что он, дескать, странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Еще он им сказал, что настоящее его имя – Дон Кихот Ламанчский, по прозвищу же он – *Рыцарь Львов*. Для поселян это было все равно, как если бы с ними говорили на языке греческом или же тарабарском, но не для студентов, ибо они живо смекнули, что у Дон Кихота зашел ум за разум; однако ж со всем тем они смотрели на него с почтительным удивлением, и один из них ему сказал:

– Если ваша милость, сеньор рыцарь, по обычаю искателей приключений не имеет определенного места назначения, то едемте, ваша милость, с нами: вы увидите такую веселую и такую пышную свадьбу, какой ни в Ламанче, ни во всей округе нашей никогда еще не справляли.

Дон Кихот осведомился, не свадьба ли это какого-нибудь владетельного князя, коль скоро студент так ее превозносит.

– Нет, не князя, – отвечал студент, – а поселянина и поселянки, первого богача во всем нашем околотке и красавицы, доселе невиданной. Приготовления к свадьбе делаются необычайные и беспримерные; дело состоит в том, что свадьбу хотят играть на лугу возле невестиного села, – невесту, кстати сказать, величают Китерией Прекрасной, а жениха – Камачо Богатым. Ей восемнадцать лет, ему – двадцать два. Пара они отличная, хотя, впрочем, всезнайки, которые любую родословную знают назубок, уверяют, что прекрасная Китерия происходит из лучшей семьи, чем Камачо, но это неважно: богатство любой изъян прикроет. И точно, Камачо тороват: ему пришлось на ум завесить всю лужайку шатром из ветвей так, чтобы солнцу нелегко было добратся до муравы. Еще у него приготовлены танцы со шпагами, а также с бубенчиками; среди его односельчан есть лихие танцоры, которые великолепно умеют звенеть и потрясать ими, а таких, которые похлопывают себя по подметкам, и говорить нечего, – их у него, как слышно, набрана несметная сила. Однако ж останется в памяти эта свадьба не из-за того, о чем я вам рассказал, и не из-за многого

---

<sup>1</sup> ...двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов... – Одевание студентов и священников было тогда одинаковым.

другого, о чем я не упомянул, а, по моему разумению, из-за того, как будет себя вести убитый горем Басильо. Басильо – это пастух из того же села, что и Китерия, его дом стенка в стенку с домом ее родителей, каковым обстоятельством воспользовалась любовь, чтобы воскресить давно забытую любовную страсть Пирама и Тисбы; надобно знать, что Басильо с малых лет, с самого нежного возраста, испытывал к Китерии сердечное влечение, она же дарила его целомудренною благосклонностью, так что во всем селе только и разговору было, что о детской любви Басильо и Китерии. Как скоро оба вошли в возраст, отец Китерии порешил не пускать Басильо к себе в дом, а чтобы раз навсегда покончить со всякими подозрениями и опасениями, вознамерился он выдать свою дочь за богача Камачо, выдать же ее за Басильо не заблагорассудил, ибо тот более щедро наделен дарами природы, нежели дарами Фортуны. Однако ж, если говорить положила руку на сердце, без малейшей примеси зависти, то Басильо – самый ловкий парень, какого я только знаю, здорово мечет барру, изрядный борец, в мяч играет великолепно, бегаёт, как олень, прыгает, как серна, кегли сбивает точно какой волшебник, поёт, как жаворонок, гитара у него прямо так и разговаривает, а главное шпагой он владеет – лучше нельзя.

– По одному этому, – молвил Дон Кихот, – названный вами юноша достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но и, наперекор Ланцелоту и всем, кто вздумал бы тому воспрепятствовать, на самой королеве Джиневре.

– Подите скажите об этом моей жене! – вмешался до сих пор молча слушавший Санчо Панса. – Она стоит на том, что каждый должен жениться на ровне, по пословице: два сапога – пара. А мне бы хотелось, чтобы добрый этот Басильо, который мне уже пришелся по душе, женился на сеньоре Китерии, а кто мешает влюбленным жениться, тем, когда помрут, дай бог царство небесное, место покойное (Санчо хотел сказать нечто противоположное).

– Если бы все влюбленные вступали в брак, – возразил Дон Кихот, – то родители были бы лишены права выбора и права женить своих детей, когда они это почтут приличным. И если бы дочери сами выбирали себе мужей, то одна выскочила бы за слугу своих родителей, а другая – за первого встречного повесу и драчуна, который пленил бы ее своею самоуверенностью и молодечеством. Ведь любовь и увлечение без труда накладывают повязку на очи разума, столь необходимые, когда дело идет о каком-нибудь рискованном шаге, в выборе же спутника жизни весьма легко ошибиться: чтобы брак вышел удачным, нужна большая осмотрительность и особая милость божия. Положим, кто-нибудь желает предпринять далекое путешествие; если он человек благоразумный, то, прежде чем отправиться в дорогу, он подыщет себе надежного и приятного спутника – зачем же не последовать его примеру тем, кому положено вместе идти всю жизнь, до сени смертной, тем паче что спутница ваша делит с вами и ложе, и трапезу, и все остальное, а таковою спутницею и является для мужа его супруга? Жена не есть товар, который можно купить, а после возвратит обратно, сменять или же заменить другим, она есть спутник неразлучный, который не уйдет от вас до тех пор, пока от вас не уйдет жизнь. Это – петля: стоит накинуть ее себе на шею, как она превращается в гордиев узел, и узел сей не развязать, пока его не перережет своею косою смерть. Можно было бы еще долго рассуждать по этому поводу, но меня томит желание знать, что еще сеньору лиценциату осталось досказать про Басильо.

На это бакалавр, которого Дон Кихот величал лиценциатом, ответил так:

– Мне остается досказать лишь вот что: с той поры, как Басильо узнал, что прекрасная Китерия выходит за Камачо Богатого, он уже более не смеется и разумного слова не вымолвит; теперь он вечно уныл и задумчив, говорит сам с собой (явный и непреложный знак того, что он тронулся), ест мало и спит мало, а коли и ест, то одни лишь плоды, спит же он, если только это можно назвать сном, не иначе как в поле, на голой земле, словно дикий зверь, по временам поднимает глаза к небу, по временам уставляет их в землю и застывает на месте, так что, глядя на него, можно подумать, будто перед вами одетая статуя, чье платье треплет ветер. Коротко говоря, по всем признакам, он пылает любовью, и мы, его знакомые, все, как один, убеждены что если завтра прекрасная Китерия скажет Камачо «да», то для Басильо это будет смертным приговором.

– Храни его господь, – молвил Санчо. – Господь посылает рану, господь же ее и уврачует, никто не знает, что впереди, до завтра еще далеко, а ведь довольно одного часа, даже одной минуты, чтобы целый дом рухнул, я видел собственными глазами: дождь идет, и тут же тебе светит солнце, ложишься спать здоровехонек, проснулся – ни охнуть, ни вздохнуть. И кто, скажите на милость, может похвастаться, что вколотил гвоздь в колесо Фортуны? Разумеется, что никто, и между женским «да» и женским «нет» я бы и кончика булавки не стал совать: все равно не поместится. Дайте мне только увериться, что Китерия любит Басилью всей душой и от чистого сердца, и я ему головой поручусь за успех, потому любовь, как я слышал, носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность – богатством, а гной – жемчугом.

– Да замолчишь ли ты наконец, Санчо, окаянная сила? – возопил Дон Кихот. – Ты как начнешь сыпать своими поговорками да присказками, так тебя сам черт не остановит. Скот ты этакий! Ну что ты смыслишь в колесах Фортуны и во всем прочем?

– Э, да вы меня не понимаете, – отвечал Санчо, – а потому и нет ничего удивительного, что изречения мои кажутся вам чушью. Но это не важно: я сам себя понимаю и знаю, что когда я говорил, то никаких особых глупостей не наговорил, а вот вы, государь мой, – вечный сыскал моих речей и даже моих поступков.

– Ты выразиться-то правильно не умеешь, – прервал его Дон Кихот, – побойся ты бога: не *сыскал* должно говорить, а *фискал*.

– Не вступайте вы, ваша милость, со мной в пререкания, – объявил Санчо, – ведь вы же знаете, что воспитывался я не в столице, учился не в Саламанке, откуда ж мне знать, прибавил я букву или пропустил? Ей-богу, честное слово, не к чему заставлять сайягезца говорить по-толедски<sup>1</sup>, да ведь и толедцы не все мастаки насчет правильной речи.

– И то правда, – подхватил лицензиат, – те, которые вечно толкуются в Дубильнях<sup>2</sup> или же на Сокодове<sup>3</sup>, не могут так же хорошо говорить, как те, что целыми днями разгуливают по соборному двору<sup>4</sup>, а ведь все они толедцы. Чистым, правильным, красивым и вразумительным языком говорят просвещенные столичные жители, хотя бы они и родились в Махалаонде<sup>5</sup>. Я нарочно говорю: *просвещенные*, потому что многих столичных жителей просвещенными назвать нельзя, просвещение же, вошедшее в обиход, это и есть азбука правильной речи. Я, сеньоры, с вашего позволения, изучал каноническое право в Саламанке и могу похвалиться, что выражаю свои мысли ясно, просто и понятно.

– Если б вы и впрямь могли похвалиться, что владеете речью лучше, нежели рапирою, то вышли бы в университете на первое место, а не плелись бы в хвосте, – заметил другой студент.

– Полноте, бакалавр, – возразил лицензиат, – вы держитесь крайне ошибочного мнения, полагая, что ловкость в фехтовании – это пустое дело.

– Это не мое только мнение, а неоспоримая истина, – возразил Корчуэло, – и если вам угодно, чтобы я доказал это на деле, то давайте не откладывать: шпага при вас, у меня в руках сила еще не иссякла, и вместе с немалою моею храбростью она вынудит вас признать, что я не заблуждаюсь. Слезайте с осла и покажите свое искусство: выступку, круги, углы и все такое прочее, я же ласкаюсь надеждою, что вы невзвидите света благодаря моим новым и грубым приемам, в которые я, однако же, верю, как в господя бога, и еще верю, что не родился такой человек, который бы заставил меня показать пятки и которого бы я не заставил подержаться за землю.

– Покажете вы пятки или нет – судить не берусь, – молвил фехтовальщик, – но может статься, что куда вы поставите ногу, там и выроют вам могилу; я хочу сказать, что за свое презрение к фехтованию вы будете уложены на месте.

---

1 ...не к чему заставлять сайягезца говорить по-толедски... – Язык сайягезцев, то есть уроженцев области Сайяго, считался языком неправильным, язык жителей Толедо, напротив, считался образцом правильной речи.

2 Дубильни – окраина Толедо.

3 Сокодове – площадь в том же городе, место, где собирался уголовный сброд.

4 Соборный двор – в Толедо служил местом для прогулки «верхов» толедского общества.

5 Махалаонда – небольшое селение близ Мадрида, синоним захолустья.

– Посмотрим, – молвил Корчуэло.

Тут он с великим проворством соскочил с осла и – мгновенно выхватил одну из рапир, которые лицензиат вез с собой.

– Нет, так не годится, – вмешался Дон Кихот, – в этом до сих пор еще не разрешенном споре я желаю исполнять обязанности учителя фехтования и судьи.

Тут он сошел с Росинанта и с копьём в руках стал посреди дороги, а тем временем лицензиат шагом бодрым и с видом молодцеватым двинулся навстречу Корчуэло, Корчуэло же, сверкая, как говорится, глазами, направился к нему. Два сопровождавших их поселянина, верхом на ослицах, являлись безмолвными зрителями мрачной этой трагедии. Корчуэло колот и рубил прямо, наискось, обеими руками, – непрерывно наносимые им удары, докучные, как шмелиный рой, сыпались градом. Он нападал, как разъяренный лев, но то и дело натыкался на кожаный наконечник рапиры лиценциатовой, всякий раз охлаждавшей его боевой пыл, и прикладывался к ней, точно к святыне, хотя и не с таким благоговением, с каким к святыням должны и имеют обыкновение прикладываться. Коротко говоря, лицензиат пересчитал острием своей рапиры все пуговицы на короткой сутане бакалавра и в ключья разодрал ему полы; он дважды сбивал с него шляпу и в конце концов довел до того, что расвирепевший бакалавр с досады и со злости схватил свою рапиру за рукоять и швырнул с такой силой, что один из при сем присутствовавших поселян, по роду своих занятий писарь, впоследствии засвидетельствовал, что упомянутая рапира отлетела почти на три четверти мили, каковое свидетельство подтверждало и подтверждает всю очевидность и несомненность того положения, что ловкость побеждает силу.

Корчуэло в изнеможении опустил на землю, Санчо же приблизился к нему и сказал:

– Право, ваша милость, сеньор бакалавр, послушайте вы моего совета и вперед никогда не вызывайте драться на рапирах, а вызывайте лучше на борьбу или же метать барру: это вам и по возрасту, и по силам, а про этих, как их называют, *фертовальщиков* я слышал, что они острие шпаги продевают в игольное ушко.

– Я доволен, что с меня сбили спесь и доказали на деле, как далек я был от истины, – объявил Корчуэло.

С этими словами он встал и обнял лиценциата, и подружались они еще больше, чем прежде, и даже не пожелали дожидаться писаря, который потел за рапирой: они боялись, что это их очень задержит, и по сему обстоятельству порешили двигаться дальше, чтобы пораньше приехать в селение Китерии, откуда они все были родом.

Во все продолжение пути лицензиат рассуждал о преимуществах фехтования и приводил столько веских доводов, наглядных примеров и математически точных доказательств, что все удостоверились, какое это большое искусство, упорство же Корчуэло было сломлено.

Уже стемнело; однако ж, когда они подъезжали к селу, им всем почудилось, будто небо над ним усеяно мириадами ярких звезд. В то же время до них донеслись неясные, тихие звуки различных музыкальных инструментов, как-то: рожков, тамбуринов, гуслей, свирелей, бубнов и погремушек, а когда они подъехали ближе, то увидели, что устроенный у въезда в село древесный шатер весь в фонариках, и ветер не задувал их, ибо от ласкового его дуновения даже листья дерев не шевелились. Музыканты увеселяли явившихся на свадьбу гостей, которые там и сям толпились на приветном этом лугу: одни танцевали, другие пели, третьи играли на упомянутых разнообразных инструментах. Казалось, будто на этой лужайке носится сама Радость и скачет само Веселье. Множество людей строило подмости, чтобы завтра гостям удобнее было смотреть на представление и танцы, коим надлежало быть в этом месте, предуготовленном для свадебного торжества богача Камачо и для погребения Басильо. Дон Кихот не пожелал въехать в селение, как ни уговаривали его крестьянин и бакалавр: более чем достаточным к тому основанием служило, на его взгляд, то обстоятельство, что у странствующих рыцарей было принято ночевать в полях и рощах, но не в селениях, хотя бы и под золоченою кровлею; и того ради свернул он с дороги, к вящему неудовольствию Санчо, в памяти которого был еще жив радушный прием, оказанный ему в

замке, то есть в доме у дона Дьего.

## Глава XX,

*в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого и о происшествии с Басильо Бедным*

Светлая Аврора только еще изъясляла согласие, чтобы блистающий Феб жаром горячих лучей своих осушил влажный бисер в золотистых ее кудрях, когда Дон Кихот, расправив члены, вскочил и окликнул оруженосца своего Санчо, который все еще похрапывал; видя, что Санчо спит, Дон Кихот, прежде чем будить его, молвил:

– О ты, счастливейший из всех в подлунном мире живущих, счастливейший, ибо ты спишь со спокойною душою, не испытывая зависти и ни в ком ее не возбуждая, не преследуемый колдунами и не волнуемый ворожбою! Так спи же, говорю я и готов повторить сто раз, ибо тебя не принуждают вечно бодрствовать муки ревности при мысли о возлюбленной, и от тебя не отгоняют сна думы о том, чем ты будешь платить долги и чем ты будешь завтра питаться сам и кормить свою маленькую горемычную семью. Честолюбие тебя не тревожит, тщета мирская тебя не утомляет, ибо желания твои не выходят за пределы забот о твоём осле, заботу же о твоей особе ты возложил на мои плечи: это уж сама природа совместно с обычаем постарались для равновесия возложить бремя сие на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и думает о том, как прокормить слугу, как облегчить его участь, чем его вознаградить. Скорбь при виде того, что небо сделалось каменным и не кропит землю целебною росю, стесняет сердце не слуги, а господина, ибо того, кто служил у него в год плодородный и урожайный, он должен прокормить и в год неурожайный и голодный.



Санчо ничего на это не отвечал, потому что спал, и он бы так скоро и не пробудился, когда бы Дон Кихот кончиком копья не развеял его сон. Наконец он пробудился, сонным и



безучастным взглядом обнял окрестные предметы и сказал:

– Если я не ошибаюсь, со стороны этого шатра идет дух и запах не столько нарциссов и тмина, сколько жареного сала. Коли свадьба начинается с таких благоуханий, то, вот вам крест, все здесь будет на широкую ногу и всего будет в изобилии.

– Замолчи, обжора, – сказал Дон Кихот, – поедем-ка лучше на свадьбу, посмотрим, что будет делать отвергнутый Басильо.

– Что хочет, то пускай и делает, – заметил Санчо, – не был бы бедняком, так и женился бы на Китерии. А то ишь ты: у самого хоть шаром покати, а дерево рубит не по плечу. По чести, сеньор, мое мнение такое: что бедняку доступно, тем и будь доволен, нечего на дне морском искать груш. Я руку даю на отсечение, что Камачо может засыпать деньгами Басильо, а коли так, то глупа же была бы Китерия, когда бы променяла наряды и драгоценности, которыми ее, конечно, уже оделил и еще оделит Камачо, на ловкость, с какою Басильо мечет барру и дерется на рапирах. За удачный бросок или же за славный выпад и полквартины вина не дадут в таверне. Коли способности и дарования не приносят дохода, то черт ли в них? А вот ежели судьба надумает послать талант человеку, у которого мошна тугая, так тут уж и впрямь завидки возьмут. На хорошем фундаменте и здание бывает хорошее, а лучший фундамент и котлован – это деньги.

– Ради создателя, Санчо, – взмолился Дон Кихот, – кончай ты свою речь. Я уверен, что если не прерывать рассуждений, в которые ты ежеминутно пускаешься, то у тебя не останется времени ни на еду, ни на сон: все твое время уйдет на болтовню.

– Будь у вашей милости хорошая память, – возразил Санчо, – вы должны были бы помнить все пункты соглашения, которое мы с вами заключили перед последним нашим выездом. Один из его пунктов гласит, что мне дозволяется говорить все, что угодно, если только это не порочит ближнего моего и не оскорбляет вашей милости, и, по-моему, до сих пор я помянутого пункта ни разу не нарушил.

– Я не помню такого пункта, Санчо, – сказал Дон Кихот, – но если даже это и так, то все же я хочу, чтобы ты умолкнул и двинулся следом за мной: ведь музыка, которую мы вчера вечером слышали, снова увеселяет долины, и разумеется, что свадьба будет отпразднована прохладным утром, а не в знойный полдень.

Санчо исполнил повеление своего господина, и как скоро он оседлал Росинанта и серого, то оба сели верхами и неспешным шагом въехали под навес. Первое, что явилось взору Санчо, это целый бычок, насаженный на вертел из цельного вяза и жарившийся на огне, в коем пылала добрая поленица дров, шесть же котлов, стоявших вокруг костра, формою своею не напоминали обыкновенные котлы, скорее это были бочки, способные вместить груды мяса: они столь неприметно вбирали в себя и поглощали бараньи туши, точно это были не бараньи туши, а голуби; освежеванным зайцам и ошипанным курам, висевшим на деревьях и ожидавшим своего погребения в котлах, не было числа; видимо-невидимо битой птицы и всевозможной дичи было развешено на деревьях, чтобы проявить ее. Санчо насчитал свыше шестидесяти бурдюков вместимостью более двух арроб каждый и, как оказалось впоследствии, с вином лучших сортов; белоснежный хлеб был свален в кучи, как обыкновенно сваливают зерно на гумне; сыры, сложенные, как кирпичи, образовывали целую стену; два чана с маслом поболее красивых служили для жаренья изделий из теста; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший тут же чан с медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они, как на подбор, казались опрятными, расторопными и довольными. В просторном брюхе бычка было зашито двенадцать маленьких молоденьких поросят, отчего мясо его должно было стать еще вкуснее и нежнее. В большом ящике находились пряности всех сортов: видно было, что их покупали не фунтами, а целыми арробами. Словом, свадебное угощение было чисто деревенское, но зато столь обильное, что его хватило бы на целое войско.

Санчо Панса все это разглядывал, все это созерцал и всем этим любовался. Первоначально его манили и соблазняли котлы, из коих он с превеликою охотою налил бы себе чугонок, засим бурдюки пленили его сердце и, наконец, изделия из теста,

поджаривавшиеся сверх обыкновения не на сковородках, а в пузатых чанах. Терпеть долее и поступить иначе было свыше его сил, а потому он приблизился к одному из ретивых поваров и на языке голодного, хотя и вполне учтвого человека попросил позволения обмакнуть в один из котлов ломоть хлеба. Повар же ему на это сказал:

– На сегодня, братец, благодаря богачу Камачо голод получил отставку. Слезай с осла, поищи половник, вылови курочку-другую, да и кушай себе на здоровье.

– Я нигде не вижу половника, – объявил Санчо.

– Погоди, – сказал повар. – Горе мне с тобой, экий ты знать, ломака и нескладеха!

С последним словом он схватил кастрюлю, окунул ее в бочку, выловил трех кур и двух гусей и сказал Санчо:

– Кушай, приятель, подзаправься пока до обеда этими пеночками.

– Мне некуда их положить, – возразил Санчо.

– Так возьми с собой и кастрюльку, – сказал повар, – богатство и счастье Камачо покроют любые издержки.

Пока Санчо вел этот разговор, Дон Кихот наблюдал за тем, как под шатер въезжали двенадцать поселян, все, как один, в ярких праздничных нарядах, верхом на чудесных кобылицах, радовавших глаз роскошною своею сбруей со множеством бубенцов на нагрудниках; стройный этот отряд несколько раз с веселым шумом и гамом прогарцевал по лужайке.

– Да здравствуют Камачо и Китерия! – восклицали поселяне. – Он столь же богат, сколь она прекрасна, а она прекраснее всех на свете.

Послушав их, Дон Кихот подумал:

«Можно сказать с уверенностью, что они никогда не видали моей Дульсины Тобосской, потому что если б они ее видели, то сбавили бы тон в похвалах этой самой Китерии».

Малое время спустя с разных сторон стали собираться под шатер участники многообразных танцев и, между прочим, двадцать четыре исполнителя танца мечей, все молодец к молодцу, в одежде из тонкого белоснежного полотна, в головных уборах из добротного разноцветного шелка; один из всадников спросил предводителя танцоров, разбитного парня, не поранился ли кто-нибудь из них.

– Слава богу, до сих пор никто не поранился, все мы живы-здоровы.

И тут, увлекая за собой своих товарищей и выделявая всевозможные колена, он стал до того ловко кружиться, что хотя Дон Кихоту не раз приходилось видеть подобные танцы, однако ж этот понравился ему всех более.

Понравился ему и танец отменно красивых девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать, самое меньшее, четырнадцать лет, а самое большее – восемнадцать; нарядились они в платья зеленого сукна; волосы, в венках из жасмина, роз, амаранта и жимолости, столь золотистые, что могли соперничать с солнечными лучами, у одних были заплетены в косы, у других распущены. Предводителями их были маститый старец и почтенная матрона, не по годам, однако же, гибкие и подвижные. Танцевали они под саморскую волынку как лучшие в мире танцовщицы, и ноги их были столь же быстры, сколь скромно было выражение их лиц.

За этим последовал другой замысловатый танец, принадлежащий к числу так называемых «разговорных»<sup>1</sup>. Исполняли его восемь нимф, разбившихся на две группы: одною группою руководил бог Купидон, другою – бог Расчета; Купидон был снабжен крыльями, луком, колчаном и стрелами, бог Расчета облачен в роскошную разноцветную одежду, сотканную из золота и шелка. На спине у нимф, следовавших за Амуром, на белом пергаменте крупными буквами были начертаны их имена. *Поэзия* – гласила первая надпись. *Мудрость* – вторая, *Знатность* – третья и, наконец, *Доблесть* – четвертая. Таким же образом были означены и те, что следовали за богом Расчета: *Щедрость* – гласила первая надпись, *Подарок* – вторая, *Сокровище* – третья, четвертая же – *Мирное обладание*.

---

<sup>1</sup> «Разговорный» танец – пантомима, сопровождаемая танцами и пением.

Впереди всех двигался деревянный замок, который тащили четыре дикаря, увитые плющом, в полотняной одежде, выкрашенной в зеленый цвет, и все это было столь натурально, что Санчо слегка струхнул. На фронтоне замка и на всех четырех его стенах было написано: *Замок благодравия*. Тут же шли четыре музыканта, превосходно игравшие на рожках и тамбуринах. Танец открыл Купидон, затем, проделав две фигуры, он остановил взор на девушке, показавшейся между зубцов замка, прицелился в нее из лука и обратился к ней с такими стихами:

Я – могучий бог, царящий  
В небесах и на земле,  
Над пучиной вод кипящей  
И в бездонной адской мгле,  
Сердце страхом леденящей.  
Для меня, чью волю тут,  
Как и всюду, свято чтут,  
Невозможное возможно,  
И от века непреложны  
Мой закон, приказ и суд.

Проговорив эти стихи, он пустил стрелу вверх замка и отошел на свое место. После этого вышел вперед бог Расчета и исполнил две фигуры танца; как же скоро тамбурины смолкли, он заговорил стихами:

Купидона я сильнее,  
Хоть ему всегда готов  
Помогать в любой затее.  
Я рождением знатнее  
И превыше всех богов.  
Я – Расчет. Мне труд смешон.  
Без меня ж бесплоден он;  
Но невеста так собою  
Хороша, что стать слугою  
Даже я ей принужден.

Тут бог Расчета удалился, и вместо него появилась Поэзия; проделав по примеру предшественников свои две фигуры, она вперила взор в девушку из замка и сказала:

От Поэзии приветы,  
Госпожа, изволь принять.  
Я во славу свадьбы этой  
Не устану сочинять  
Сладкозвучные сонеты  
И, коль ты убеждена,  
Что гостям я не скучна,  
Твой завидный девам жребий  
Выше вознесу, чем в небе  
Вознесла свой серп луна.

С этими словами Поэзия возвратилась на свое место, а от группы бога Расчета отделилась Щедрость и, исполнив свои фигуры, заговорила:

Щедростью зовут уменье

Так вести себя во всем,  
Чтоб сберечь свое именье  
И притом не слыть скупцом,  
Вызывающим презренье.  
Но, дабы тебя почтить,  
Я сегодня рада быть  
Расточительной безмерно:  
Эта слабость – способ верный  
Тех, кто любит, отличить.

Так же точно выходили и удалялись и все прочие участницы обеих групп: каждая проделывала свои фигуры и читала стихи, из коих некоторые были грациозны, а некоторые уморительны, в памяти же Дон Кихота (памяти изрядной) остались только вышеприведенные; затем все смешались и начали сплетаться и расплетаться с отменным изяществом и непринужденностью; Амур же всякий раз, когда проходил возле замка, пускал поверху стрелу, а бог Расчета разбивал о стены замка позолоченные копилки. Танцевали довольно долго, наконец бог Расчета достал кошель, сделанный из шкурки большого разношерстного кота и как будто бы набитый деньгами, и швырнул его в замок, отчего стены замка распались и рухнули, а девица осталась без всякого прикрытия и защиты. Тогда к ней со всею своею свитою ринулся бог Расчета и, набросив ей на шею длинную золотую цепь, сделал вид, что намерен схватить ее, поработить и увести в плен, но тут Амур и его присные как будто бы вознамерились ее отбить, и движения эти проделывались под звуки тамбуринов, все танцевали и исполняли фигуры в такт музыке. Наконец дикари помирили враждующие стороны, с великим проворством собрали и поставили стенки замка, девица снова заперлась в нем, и на этом танец окончился, и зрители остались им очень довольны.

Дон Кихот спросил одну из нимф, кто сочинил я разучил с ними этот танец. Нимфа ответила, что это одно духовное лицо из их села, – у него, мол, большой талант на такого рода выдумки.

– Бьюсь об заклад, – сказал Дон Кихот, – что этот бакалавр или же священнослужитель, верно, держит сторону Камачо, а не Басильо, и что у него больше способностей к сочинению сатир, нежели к церковной службе. Впрочем, он так удачно ввел в свой танец даровитость Басильо и богатство Камачо!

Санчо Панса, который слышал весь этот разговор, сказал:

– Кто как, а я за Камачо.

– Одним словом, – заметил Дон Кихот, – сейчас видно, Санчо, что ты мужик, да еще из тех, которые заискивают перед сильными.

– Не знаю, перед кем это я заискиваю, – возразил Санчо, – знаю только, что с котлов Басильо никогда мне не снять таких распрекрасных пенек, какие я снял с котлов Камачо.

Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами, вытащил одну курицу и, с великим наслаждением и охотою начав уплетать ее, молвил:

– А ну его ко всем чертям, этого Басильо, и со всеми его способностями! Сколько имеешь, столько и стоишь, и столько стоишь, сколько имеешь. Моя покойная бабушка говаривала, что все люди делятся на имущих и неимущих, и она сама предпочитала имущих, а в наше время, государь мой Дон Кихот, богатеям куда привольнее живется, нежели грамотеям, осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Вот почему я еще раз повторяю, что стою за Камачо: с его котлов можно снять немало пенек, то есть гусей, кур, зайцев и кроликов, а в котлах Басильо дно видать, а на дне если что и есть, так разве одна жижа.

– Ты кончил свою речь, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Должен буду кончить, – отвечал Санчо, – потому вашей милости, как видно, она не по душе, а если б не это, я бы еще дня три соловьем разливался.

– Дай бог, Санчо, чтоб ты онемел, пока я еще жив, – сказал Дон Кихот.

– Дела наши таковы, – заметил Санчо, – что я еще при жизни вашей милости достанусь червям на корм, и тогда, верно уж, совсем онемею и не пророню ни единого слова до самого конца света или, по малой мере, до Страшного суда.

– Если бы даже это так и произошло, – возразил Дон Кихот, – все равно твое молчание, Санчо, не сравнялось бы с тем, что ты уже наговорил, говоришь теперь и еще наговоришь в своей жизни. Притом гораздо естественнее предположить, что я умру раньше тебя, вот почему я не могу рассчитывать, что ты при мне онемеешь хотя бы на то время, когда ты пьешь или спишь, а о большем я уж и не мечтаю.

– По чистой совести скажу вам, сеньор, – объявил Санчо, – на курносую полагаться не приходится, то есть, разумею, на смерть; для нее что птенец желторотый, что старец седобородый – все едино, а от нашего священника я слышал, что она так же часто заглядывает в высокие башни королей, как и в убогие хижины бедняков. Эта госпожа больше любит выказывать свое могущество, нежели стеснительность. Она нимало не привередлива: все ест, ничем не брезгует и набивает суму людьми всех возрастов и званий. Она не из тех жниц, которые любят вздремнуть в полдень: она всякий час жнет и притом любую траву – и зеленую и сухую, и, поди, не разжевывает, а прямо так жрет и глотает что ни попало, потому она голодная, как собака, и никогда не наедается досыта, и хоть у нее брюха нет, а все-таки можно подумать, что у нее водянка, потому она с такой жадностью выцеживает жизнь изо всех живущих на свете, словно это ковш холодной воды.

– Остановись, Санчо, – прервал его тут Дон Кихот. – Держись на этой высоте и не падай, – признаться, то, что ты так по-деревенски просто сказал о смерти, мог бы сказать лучший проповедник. Говорю тебе, Санчо: если б к добрым твоим наклонностям присовокупить остроту ума, то тебе оставалось бы только взять кафедру под мышку и пойти пленять свет проповедническим своим искусством.

– Живи по правде – вот самая лучшая проповедь, а другого богословия я не знаю, – объявил Санчо.

– Никакого другого богословия тебе и не нужно, – заметил Дон Кихот, – но только вот чего я не могу уразуметь и постигнуть: коли *начало мудрости – страх господень*, то откуда же у тебя такие познания, если ты любой ящерицы боишься больше, чем господа бога?

– Судите, сеньор, о делах вашего рыцарства и не беритесь судить о чужой пугливости и чужой храбрости, – отрезал Санчо, – по части страха божия я кого хотите за пояс заткну. Засим позвольте мне, ваша милость, полакомиться этими самыми пеночками, а все остальное есть празднословие, за которое с нас на том свете спросят.

И, сказавши это, он с такою беззаветною отвагою ринулся на приступ кастрюли, что, глядя на него, загорелся отвагой и Дон Кихот и, без сомнения, оказал бы ему поддержку, но этому помешали некоторые обстоятельства, о коих придется рассказать дальше.

## Глава XXI,

*в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие занятные события*

В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор, приведенный в главе предыдущей, слышались громкие голоса и великий шум; подняли же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах; теперь они во весь дух мчались навстречу новобрачным, которые с толпою музыкантов и затейников приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей окружных селений, и на всех участниках этого шествия были праздничные наряды. Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул:

– Истинный бог, одета она не по-деревенски, а как столичная модница! Верное слово, на ней не патены<sup>1</sup>, а, если только глаза меня не обманывают, дорогие кораллы, и не куэнское зеленое сукнишко, а самолучший бархат! А белая оторочка, думаете, из простого полотна? Ан

---

<sup>1</sup> *Патены* – четырехугольные или круглые металлические пластинки с изображением святого, служившие украшением крестьянок.

нет – ей-ей, из атласа! А перстни, скажете, гагатовые? Черта с два, пропади я пропадом, коли это не золотые колечки, да еще какие золотые-то, с жемчужинами, белыми, ровно простокваша; каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то, мать честная! Если только они не накладные, то я таких длинных и таких золотистых отродясь не видывал. А ну-ка попробуйте найдите изъян в стройном ее стане! Да ведь это же ни дать ни взять пальма, у которой ветки осыпаны финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на шее. Клянусь спасением души, это девка бедовая, – такая нигде не пропадет.

Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако ж и он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсинеи Тобосской, он никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо прекрасной Китерии – должно полагать, оттого, что она, как все невесты, убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному неподалеку, на этой же самой лужайке, и украшенному ветками и крытому коврами помосту, где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и танцы; и только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос, произнесший такие слова:

– Остановитесь, люди торопкие и опрометчивые!

При звуках этого голоса и при этих словах все повернули голову и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми, по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него (как это вскоре заметили) был траурный венок из ветвей кипариса, опираясь он на длинный посох. Едва он приблизился, все узнали в нем молодца Басильо и, почуяв, что его появление в такую минуту предвещает недоброе, замерли в ожидании, не постигая, к чему ведут эти выкрики и слова.

Наконец, выбившийся из сил и запыхавшийся, он остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох с наконечником из стали, побледнел, обратил, взор на Китерию и заговорил хриплым и прерывающимся голосом:

– Тебе хорошо известно, жестокосердная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти замуж не властна. Вместе с тем для тебя не составляет тайны, что в ожидании той поры, когда время и собственные мои усилия упрочат наконец мое благосостояние, я продолжал соблюдать приличия, чести твоей подобающие, ты же, нарушив свой долг по отношению к доброму моему намерению, желаешь отдать себя в распоряжение другого, хотя должна принадлежать мне, – в распоряжение человека, который настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага, может себе купить. И вот, дабы счастье его было полным (хотя я и не думаю, чтобы он его заслуживал, но, видно, так уж угодно небу), я своими собственными руками устраню препоны и затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги. Много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственной Китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству!

С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю посох, после чего нижняя его часть осталась в земле, и тут оказалось, что это – ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага; воткнув же в землю один конец шпаги, представлявший собой ее рукоять, Басильо с безумною стремительностью и непреклонною решимостью бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле.

Злая доля Басильо и происшедший с ним прискорбный случай тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь; Дон Кихот, оставив Росинанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился, что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при сем присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым:

– Если б ты пожелала, бессердечная Китерия, в смертный мой час отдать мне свою руку

в знак согласия стать моею женою, я умер бы с мыслью о том, что безрассудство мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я достигнул блаженства быть твоим.

На это священник сказал Басильо, что ему должно помышлять о спасении души, а не о плотских прихотях, и горячо молить бога простить ему его грехи и отчаянный его шаг. Басильо объявил, что ни за что не станет исповедоваться, куда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что просьба его вполне законна и разумна и к тому же легко исполнима и что если сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией как со вдовою доблестного Басильо, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из рук отца:

– Сейчас требуется лишь сказать «да», и выговорить это слово невесту ни к чему не обязывает, оттого что для жениха брачною постелью явится могила.

Камачо все это слышал, и все это приводило его в такое недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать; однако ж друзья Басильо столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала умирающему руку, а иначе, мол, Басильо, безутешным отойдя в мир иной, погубит свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее, принудили его объявить, что если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний будет отдалено лишь на мгновенье.

Тут все подбежали к Китерии и кто мольбами, кто слезами, кто вескими доводами попытались убедить ее отдать руку бедному Басильо, она же казалась бесчувственнее самого мрамора и недвижимее статуи и, по-видимому, не знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ, и так бы и не ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец. Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, смятенная, по виду печальная и томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и по всем признакам собирался умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему, опустила на колени и без слов, знаками попросила его протянуть ей руку. Басильо открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил:

– О Китерия! Ты пришла доказать, сколь ты сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом, пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет мысль, что я твой избранник, как не в силах я прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном я молю тебя, о роковая звезда моя: если ты просишь у меня руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это будет не из милости и не для того, чтобы снова ввести меня в обман, – нет, признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее как законному своему супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо мной, меж тем как я всегда был с тобой правдив до конца.

Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и окружающие опасались, что еще один такой обморок – и он отдаст богу душу. Китерия, вся воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в руку Басильо и сказала:

– Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю. Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законною твоею супругою и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь по собственному желанию и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствием, которое ты терпишь через поспешное свое решение.

– Я отдаю тебе свою руку, – отвечал Басильо, – не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме, которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаю и вверяю тебе как твой супруг.

– А я – как твоя супруга, – подхватила Китерия, – все равно, проживешь ли ты много лет, или же тебя из моих объятий перенесут в могилу.

– Для тяжелораненого этот парень слишком много разговаривает, – заметил тут Санчо Панса, – скажите ему, чтоб он прекратил объяснения в любви, пусть лучше о душе подумает:

мне сдается, что она у него не желает расставаться с телом, а все вертится на языке.

Итак, Басильо и Китерия взяли друг друга за руки, а священник, растроганный до слез, благословил их и стал молиться о упокоении души новобрачного, новобрачный же, как скоро получил благословение, с неожиданною легкостью вскочил и с необычайною быстротою извлек шпагу, для которой ножнами являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием, стали громко кричать:

– Чудо! Чудо!

Однако ж Басильо объявил:

– Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость!

Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и, пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть и ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась, оттого что была особым образом изготовлена. В конце концов священник, Камачо и почти все присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нос. Невесту шутка эта, по-видимому, не огорчила, – напротив, услышав разговоры, что брак ее совершился обманном путем и потому не может считаться действительным, она объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкой в заговоре; Камачо же и его свидетели рассвирепели и, решившись применить оружие, дабы отомстить сопернику, обнажили множество шпаг и ринулись на Басильо, однако в то же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпаг, и сам Дон Кихот верхом на коне, с копьём в руках и как можно лучше заградившись щитом, проложил себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил:

– Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война – это одно и то же, и подобно как на войне прибегать к хитростям и ловушкам, дабы одолеть врага, признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать к плутням и подвохам для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо – Китерии: таково было правое и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, *одна-единственная овечка*, и никто не властен отнять ее у него, как бы ни был он могуществен, ибо *что бог сочел, того человек да не разлучает*, а кто пытается это сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья.

И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим копьем, что навел страх на всех, кто его не знал; и так глубоко запало в душу Камачо пренебрежение, выказанное к нему Китерией, что он мгновенно выкинул ее из сердца, и потому увещания священника, человека рассудительного и добропорядочного, возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в неясны, и теперь они уже не столько порицали Басильо за его хитроумие, сколько Китерию за ее нестойкость; Камачо же рассудил, что если Китерия еще в девушках любила Басильо, то она и выйдя замуж продолжала бы его любить и что ему, Камачо, должно благодарить бога за то, что он лишился Китерии, но ни в коем случае не роптать.

Как же скоро Камачо и вся его дружина утешились и смирились, то успокоилась и дружина Басильо, а богач Камачо, чтобы показать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье, как если б это в самом деле была его свадьба, однако ж Басильо, его невеста и все их приверженцы не пожелали на этих празднествах присутствовать и отправились в селение, где жил Басильо, ибо и у бедняков,



если только они люди добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают, почитают и защищают, подобно как у богачей всегда находятся льстецы и прихвостни.

Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла, что это человек достойный и отнюдь не робкого десятка. Один лишь Санчо пал духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном пиру у Камачо, каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь; по сему случаю, удрученный и унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Басильо, покидая котлы египетские<sup>1</sup>, коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле, пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли для него все великолепие и изобилие утраченных благ; и так, задумчивый и хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он вослед за Росинантом.

## Глава XXII,

*в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом*

Великие и многочисленные почести оказывали Дон Кихоту обрученные в благодарность за то, что он принял их сторону, и, в одинаковой мере восхищаясь как его храбростью, так и его мудростью, признавали его за второго Сида в смысле доблести и за второго Цицерона по части красноречия. Добрый Санчо трое суток барствовал за счет молодых, которые, между прочим, объявили, что о притворном ранении прекрасная Китерия предуведомлена не была, что эта затея пришла в голову одному Басильо и он надеялся, что все выйдет именно так, как оно и случилось на самом деле; впрочем, он оговаривался, что кое-кому из друзей он все же замысел свой поведал, с тем чтобы в нужную минуту они поддержали его предприятие и обман его не разоблачили.

– Нельзя и не должно называть обманом то, что имеет благую цель, – сказал Дон Кихот.

Далее он заметил, что брак двух влюбленных существ есть цель превосходная и что злейшими врагами любви являются голод и вечная нужда, ибо любовь есть непрерывное веселье, восторг и блаженство, особливо в том случае, когда любовник обладает предметом своей любви, и вот тут-то на него и ополчаются ярые его враги, нужда и бедность; и все это он, Дон Кихот, говорит, мол, к тому, чтобы сеньор Басильо перестал упражняться в тех родах искусства, к коим он питает пристрастие, ибо подобные упражнения приносят ему славу, но не приносят денег, и чтобы он постарался нажить себе состояние путями законными и хитроумными, а человек смышленный и работающий всегда такие пути отыщет. Почтенный бедняк (хотя, впрочем, бедняку редко когда оказывают почет) в лице красавицы жены истинным обладает сокровищем, и похитить ее у него – это значит похитить и погубить его честь. Красивую и честную женщину, вышедшую замуж за бедняка, должно венчать лаврами и пальмовыми ветвями, венками победы и торжества. Красота сама по себе покоряет сердца тех, кто ее видит и знает, – словно лакомая приманка, влечет она к себе царственных орлов и других птиц высокого полета, но если с красотой соединяются скудость и нужда, то на нее налетают вороны, коршуны и прочие хищные птицы, и та, что все эти испытания выдержит, по праву может именоваться *венцом для мужа своего*.

– Послушайте, благоразумный Басильо, – продолжал Дон Кихот, – какой-то мудрец утверждал, что на свете есть только одна достойная женщина, и советовал, чтобы каждый думал и считал, что эта единственная достойная женщина и есть его жена, и тогда он будет

---

<sup>1</sup> *Котлы египетские* – Согласно библейскому преданию, евреи, находившиеся в Египте в рабстве и получавшие скудную пищу в «котлах египетских», очутившись в пустыне, пожалели о том, что покинули Египет, где им все же не угрожала голодная смерть.

чувствовать себя спокойно. Я не женат, и до сей поры мысль о женитьбе мне и в голову не приходила, и со всем тем я осмелился бы преподать совет, если б кто-нибудь у меня спросил, как найти себе достойную жену. Прежде всего я посоветовал бы думать более о добром ее имени, нежели о ее достоянии, ибо о женщине добродетельной идет добрая слава не только потому, что она, и правда, добродетельна, но и потому, что она представляется таковою: ведь чести женщины более вредят вольности и явная распущенность, нежели недостатки тайные. Если ты введешь к себе в дом хорошую жену, то уберечь ее и даже развить ее качество особого труда не составит, а вот если введешь дурную, то исправить ее будет не так-то легко, ибо перейти от одной крайности к другой дело совсем не такое простое. Я не говорю, что это невозможно, но полагаю, что это сопряжено с трудностями.

Санчо все это выслушал и сказал себе: «Когда я говорю что-нибудь умное и дельное, мой господин обыкновенно замечает, что мне остается взять кафедру под мышку, начать расхаживать по всему свету и пленять народ проповедническим искусством, я же про него скажу, что как примется он нанизывать изречения и давать советы, так ему впору не то что одну кафедру взять под мышку, а надеть по две на каждый палец и начать направо и налево проповедовать. Черт его побери, этого странствующего рыцаря, чего он только не знает! Я сначала думал, что он смыслит только в делах рыцарства, – не тут-то было: все его касается, и всюду он сует свой нос».

Так бормотал Санчо, а Дон Кихот услышал его и спросил:

– Что ты бормочешь, Санчо?

– Я ничего не говорю и не бормочу, – отвечал Санчо, – я только подумал, как было бы хорошо, если б я послушал вашу милость до моей женитьбы, – может, я бы теперь говорил: «Развязанному бычку легче облизываться».

– Разве твоя Тереса так уж плоха, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Не очень плоха, но и не очень хороша, – отвечал Санчо, – во всяком случае, не так хороша, как бы мне хотелось.

– Нехорошо, Санчо, дурно отзываться о своей жене, – заметил Дон Кихот, – ведь она мать твоих детей.

– Мы с ней квиты, возразил Санчо, – она тоже, когда ей припадет охота, дурно обо мне отзывается, особенно когда ревнует, – тут уж хоть святых выноси.

Итак, три дня пробыли они у молодых, и те чествовали их и ублажали, как царей. Дон Кихот попросил лиценциата-фехтовальщика дать им проводника, который довел бы их до пещеры Монтесиноса, ибо он был снедаем желанием проникнуть туда и убедиться на деле, правду ли рассказывают во всем околотке об ее чудесах. Лиценциат сказал, что он пошлет с ними своего двоюродного брата, отличного студента и большого любителя рыцарских романов, и этот студент, мол, весьма охотно доведет их до самого спуска в пещеру, а затем покажет им лагуны Руидеры, славящиеся не только в Ламанче, но и во всей Испании; и еще лиценциат сказал, что Дон Кихот не без приятности может со студентом побеседовать, ибо студент, дескать, сочиняет книги, достойные быть изданными и посвященными вельможам. Вскоре и точно появился студент верхом на жеребой ослице, которой седло было покрыто не то пестрым ковром, не то пестро раскрашенной дерюгой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил серого, набил свою суму, к которой теперь еще присоединилась сума студента, также изрядно набитая, и, помолившись богу и распрощавшись с хозяевами, путники двинулись по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

Дорогою Дон Кихот спросил студента, какого рода и свойства его упражнения, занятия и труды, студент же на это ответил, что занимается он науками светскими, а что упражнения и труды его состоят в сочинении книг, весьма полезных для государства и весьма увлекательных; что одна из его книг называется *О костюмах*, и в ней описываются семьсот три костюма, их цвета, девизы и эмблемы, так что во время празднеств и увеселений придворные, вместо того чтобы выпрашивать у других или же, как говорится, ломать себе голову над костюмами, отвечающими их надобностям и желаниям, могут в его книге сыскать и выбрать себе любой образец, какой им только понравится.

– У меня есть подходящие костюмы и для ревнивого, и для отвергнутого, и для забытого, и для пребывающего в разлуке, и они будут им очень даже к лицу. Еще у меня есть книга, которую я хочу озаглавить *Метаморфозы, или Испанский Овидий*<sup>1</sup>, отличающаяся новизною и своеобразием вымысла: в ней я перелицовываю Овидия на шутовской лад и рассказываю, что такое Хиральда Севильская и Ангел Магдалины<sup>2</sup>, что такое кордовский Каньо де Весингерра<sup>3</sup>, что такое Быки Гисандо, Сьерра Морена, мадридские фонтаны Леганитос и Лавапьес<sup>4</sup>, а также Пьохо, Каньо Дорадо и Приора, и при этом я не скуплюсь на аллегории, метафоры и риторические фигуры, так что книга моя в одно и то же время увеселяет, изумляет и поучает. Еще есть у меня книга, которую я называю *Дополнением к Вергилию Полидору*<sup>5</sup>; в ней речь идет об изобретении разных вещей, и она потребовала от меня больших знаний и большой усидчивости, ибо ряд чрезвычайно важных вещей, о которых умолчал Вергилий, пришлось устанавливать мне, и в своей книге я изящным слогом о том повествую. Вергилий позабыл, например, сообщить нам, кто первый на свете схватил насморк и кто первый прибегнул к втираниям как к средству от французской болезни, а я даю о том найточнейшие сведения и ссылаюсь более чем на двадцать пять авторов – судите же сами, ваша милость, сколько я положил на эту книгу труда и какую пользу принесет она всем людям.

Санчо, весьма внимательно слушавший рассказ студента, молвил:

– Дай вам бог, сеньор, все ваши книжки отпечатать, а не сумеете ли вы мне сказать, – да, впрочем, как же не сумеешь, вы ведь все знаете, – кто первый почесал у себя в голове? Я стою на том, что это был наш прародитель Адам.

– Возможно, – согласился студент. – У Адама были и голова и волосы – это никакому сомнению не подлежит, а когда так, то он, уж верно, иногда почесывался, а ведь он был первый человек на земле.

– Я тоже так думаю, – сказал Санчо, – а теперь скажите на милость, кто был первым на свете акробатом?

– По правде говоря, приятель, – сказал студент, – сейчас я не могу тебе ответить на этот вопрос, он требует особого изучения. Я займусь им у себя дома, – там у меня все книги под рукой, – а когда мы опять увидимся, я сумею дать тебе удовлетворительные объяснения; надеюсь, это не последняя наша встреча.

– Послушайте, сеньор, не трудитесь, – сказал Санчо – я сам уже догадался. К вашему сведению, первым акробатом на свете был Люцифер: когда его низвергли и сбросили с неба, он кувыркался до самой преисподней.

– Твоя правда, приятель, подтвердил студент.

Дон Кихот же сказал:

– Этот вопрос и ответ ты не сам придумал, Санчо, где-нибудь ты их слышал.

– Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо, – я уж как начну спрашивать да отвечать, так, ей-же-ей, до завтра не кончу. Для того чтобы спрашивать о чепухе и отвечать вздор, право, нет надобности просить подмоги у соседей.

– Ты сам не понимаешь, Санчо, какую ты умную вещь сказал, – заметил Дон Кихот, – иные тратят много труда, чтобы узнать и выяснить нечто, а когда наконец выяснят и узнают, то оказывается, что это ни для разума нашего, ни для памяти не представляет решительно никакой ценности.

В таких и тому подобных приятных разговорах прошел у них весь день, а на ночь они остановились в небольшой деревне, и тут студент сказал Дон Кихоту, что отсюда до пещеры

---

1 *«Метаморфозы, или Испанский Овидий»* – Сервантес придумал это название в подражание «Метаморфозам» римского поэта Овидия.

2 *Ангел Магдалины* – бронзовый флюгер на церкви св. Магдалины в Саламанке.

3 *Каньо де Весингерра* – канал, в который стекали нечистоты с улицы Потро в Кордове.

4 *Фонтаны Леганитос и Лавапьес* – фонтаны питьевой воды; Пьохо, Каньо Дорадо, Приора – фонтаны на Прадо, широкой аллее в Мадриде, служившей местом прогулок.

5 *«Дополнение к Вергилию Полидору»* – Вергилий Полидор (ок. 1470 – ок. 1555), итальянский историк, автор трактата «Об изобретателях».

Монтесиноса не более двух миль и что если он не изменил своему решению в нее проникнуть, то надобно запастись веревками, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься вниз. Дон Кихот объявил, что, хотя бы то была не пещера, но пропасть, он должен добраться до самого ее дна; и для того купили они около ста брасов<sup>1</sup> веревки и на другой день, в два часа пополудни, достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики. Приблизившись к пещере, студент, Санчо и Дон Кихот спешили, после чего первые двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками; и в то время как его опоясывали и стягивали, Санчо обратился к нему с такими словами:

– Подумайте только, государь мой, что вы делаете, не хороните вы себя заживо и не уподобляйтесь бутыли которую спускают в колодец, чтобы остудить. Право, ваша милость, не ваше это дело и не ваша забота исследовать пещеру, которая, наверно, хуже всякого подземелья.

– Вяжи меня и помалкивай, – сказал Дон Кихот, – этот подвиг, друг Санчо, уготован только мне.

Тут вмешался проводник:

– Пожалуйста, сеньор Дон Кихот, будьте начеку и впивайтесь глазами во все, что там, в глубине, вам попадется, – может статься, кое-что я помещу в свою книгу о *Превращениях*.

– Ученого учить – только портить, – заметил Санчо Панса.

После того как Дон Кихота обвязали (и не по верх доспехов, а по верх камзола), он сказал:

– Мы обнаружили неосмотрительность: не взяли с собой колокольчика, – привязать бы его к веревке, и я бы звонил и давал вам знать, что я еще жив и продолжаю спускаться, но коль скоро это невозможно, то я всецело полагаюсь на бога и предаю ему путь мой.

Тут он опустил на колени, вполголоса прочитал молитву, испросил у бога помощи, помолился о благополучном исходе этого, по-видимому опасного и необычайного, приключения, а затем заговорил громко:

– О владычица всех деяний моих и побуждений, светлейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если это возможно, чтобы просьбы и мольбы счастливого твоего обожателя достигли слуха твоего, то невиданною твоею красотой заклинаю – выслушай меня: ведь я ни о чем другом не прошу, кроме как о помощи твоей и покровительстве, в коих я ныне более чем когда-либо нуждаюсь. Я намерен низринуться, низвергнуться и броситься в бездну, которая здесь предо мною разверзлась, броситься единственно для того, чтобы весь мир узнал, что если ты мне покровительствуешь, то нет такого превышающего человеческие возможности подвига, которого я не взял бы на себя и не совершил.

С этими словами он направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и давай крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какового шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо больших ворон и галок, – летели они тучами, с невероятной быстротой, и в конце концов сшибли Дон Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места.

Наконец он встал и, видя, что из пещеры больше не вылетают ни вороны, ни всякие ночные птицы, как-то: летучие мыши, которые вместе с воронами вылетали оттуда, велел студенту и Санчо ослабить веревку, а сам стал спускаться на дно страшной пещеры; перед тем же как ему начать спускаться, Санчо благословил его, тысячу раз перекрестил и сказал:

– Храни тебя господь, божья мать Скала Франции<sup>2</sup> и Гаэльская троица, цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей! Вперед, первый удалец в мире, стальное сердце, медная

---

<sup>1</sup> Брас – испанская мера длины (1,57 метра).

<sup>2</sup> Божья мать Скала Франции – Имеется в виду доминиканский монастырь, расположенный между городами Родриго и Саламанка. Гаэльская троица – название храма и монастыря в городе Гаэта, к северу от Неаполя.

длань! Да хранит тебя господь, говорю я, и да выведет он тебя свободным, здоровым и невредимым на свет нашей жизни, который ныне ты покидаешь ради этого мрака, куда тебя так и тянет погрузиться.

Почти такие же молитвы и заклинания творил и студент.

Дон Кихот все кричал, чтобы отпускали веревку, и Санчо со студентом мало-помалу ее отпускали; когда же крики, из глубины пещеры исходившие, перестали до них доноситься, то они обнаружили, что все сто брасов веревки уже размотаны, и решились начать втаскивать Дон Кихота наверх, потому что веревка у них кончилась. Однако с полчаса они еще помедлили, по прошествии же указанного срока принялись тянуть веревку, что оказалось для них так легко, словно на ней не было груза, и они пришли к заключению, что Дон Кихот остался в пещере. Санчо при одной этой мысли заплакал горькими слезами и, чтобы разувериться, с удвоенной силой принялся тянуть веревку; и вот, когда они, по их расчетам, выбрали уже около восьмидесяти брасов, то вдруг почувствовали тяжесть, и это их несказанно обрадовало. Наконец, когда оставалось всего только десять брасов, они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо крикнул ему:

– С благополучным возвращением, государь мой! Мы уж думали, что вас там оставили на развод.

Дон Кихот, однако, не отвечал ни слова; как же скоро они его окончательно извлекли, то увидели, что глаза у него закрыты, словно у спящего. Они положили его на землю, развязали, но он все не просыпался; тогда они начали переворачивать его с боку на бок, шевелить и трясти, и спустя довольно долгое время он все же пришел в себя и стал потягиваться, будто пробуждался от глубокого и крепкого сна, а затем, как бы в ужасе оглядевшись по сторонам, молвил:

– Да простит вас бог, друзья мои, что вы лишили меня самой упоительной жизни и самого пленительного зрелища, какую когда-либо жил и какое когда-либо созерцал кто-либо из смертных. В самом деле, ныне я совершенно удостоверился, что все радости мира сего проходят, как тень и как сон, и вянут, как цвет полей. О несчастный Монтесинос! О тяжко раненный Дурандарт!<sup>1</sup> О злополучная Белерма! О слезоисточающая Гуадиана, и вы, злосчастные дочери Руидеры<sup>2</sup>, чьи воды представляют собою слезы, текшие из прелестных ваших очей!

С великим вниманием слушали студент и Санчо слова Дон Кихота, которые, по-видимому, с лютейшею мукою вырывались из глубины его души. Наконец они обратились к нему с просьбой растолковать им смысл речей его и рассказать, что ему в этом аду довелось видеть.

– Вы называете эту пещеру адом? – спросил Дон Кихот. – Не называйте ее так, она подобного наименования не заслуживает, и вы в том уверитесь незамедлительно.

Дон Кихота мучил голод, и он попросил дать ему чего-нибудь поесть. Спутники его расстелили на зеленой травке студентову дерюжку, достали из сумки снедь, уселись втроем и в мире и согласии пообедали и поужинали одновременно. Когда дерюжка была убрана, Дон Кихот Ламанчский объявил:

– Не вставайте, дети мои, и слушайте меня со вниманием.

## Глава XXIII

*Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса, настолько невероятных и потрясающих, что подлинность приключения сего находится под сомнением*

---

<sup>1</sup> Монтесинос и Дурандарт – герои старинных испанских романсов, Дурандарт сражался в Ронсевальском ущелье и умер на руках у Монтесиноса. Белерма – его возлюбленная.

<sup>2</sup> ...слезоисточающая Гуадиана... дочери Руидеры... – С рекой Гуадианой и ее притоками, так называемыми лагунами Рундеры, связана народная легенда, которую Сервантес положил в основу рассказа Дон Кихота о пещере Монтесиноса.

Около четырех часов пополудни солнце спряталось за облака, свет его стал менее ярким, а лучи менее жгучими, и это позволило Дон Кихоту, не изнывая от жары, поведать достопочтенным слушателям, что он в пещере Монтесиноса видел; и начал он так:

– В этом подземелье, справа, на глубине то ли двенадцати, то ли четырнадцати саженьей, находится такая впадина, где могла бы поместиться большая повозка с мулами. Слабый свет проникает туда через щели или же трещины, которые уходят далеко, до самой земной поверхности. Углубление это и пространство я заметил, как раз когда, подвешенный и висящий на веревке, я стал уже выбиваться из сил и меня начал раздражать спуск в это царство мрака, спуск наугад, без дороги, а потому я решил проникнуть в это углубление и немного отдохнуть. Я крикнул вам, чтобы вы перестали спускать веревку, пока я не скажу, но вы, верно, меня не слышали. Подобрал веревку, которую вы продолжали спускать, и сделав из нее круг, иначе говоря бунт, я на нем уселся и, крайне озабоченный, принялся обдумывать, как мне спуститься на дно, коль скоро никто меня теперь не держит; и вот, когда я пребывал в задумчивости и смятении, на меня внезапно и помимо моей воли напал глубочайший сон, а потом я нежданно-негаданно, сам не зная как, что и почему, проснулся на таком прелестном, приветном и восхитительном лугу, краше которого не может создать природа, а самое живое воображение человеческое – вообразить. Я встряхнулся, протер глаза и уверился, что не сплю и что все это наяву со мной происходит. Все же я пощупал себе голову и грудь, дабы удостовериться, я ли это нахожусь на лугу или же оборотень, пустая греза, однако и осязание, и чувства, и связность мыслей, приходивших мне в голову, – все доказывало, что там и тогда я был совершенно такой же, каков я здесь перед вами. Затем глазам моим открылся то ли пышный королевский дворец, то ли замок, коего стены, казалось, были сделаны из чистого и прозрачного хрусталя. Распахнулись громадные ворота, и оттуда вышел и направился ко мне некий почтенный старец в длинном плаще из темно-лиловой байки, волочившемся по земле; сверху плечи и грудь ему прикрывала зеленого атласа лента, какие обыкновенно бывают у наставников коллегий, на голове он носил миланскую черную шапочку; белоснежная борода была ему по пояс; в руках он держал не какое-либо оружие, а всего-навсего четки, коих бусинки были больше, чем средней величины орехи, а каждая десятая бусинка – с небольшое страусовое яйцо; осанка старца, его поступь, важность и необыкновенная величавость его – все это вместе взятое удивило и поразило меня. Он приблизился ко мне и прежде всего заключил меня в свои объятия, а затем уже молвил:

«Много лет, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы ожидаем тебя в заколдованном этом безлюдье, дабы ты поведал миру, что содержит и скрывает в себе глубокая пещера, именуемая пещерою Монтесиноса, куда ты проник, совершив таким образом уготованный тебе подвиг, на который только ты с неодолимою твоею отвагою и изумительною стойкостью и мог решиться. Следуй же за мною, досточтимый сеньор, я хочу показать тебе диковины, таящиеся в прозрачном этом замке, коего я – алькайд и постоянный главный хранитель, ибо я и есть Монтесинос, по имени которого названа эта пещера».

Как скоро он мне сказал, что он Монтесинос, я спросил его, правду ли молвят о нем у нас наверху, будто он маленьким кинжалом вырезал сердце из груди близкого своего друга Дурандарт и – как завещал, умирая, сам Дурандарт – отнес его сердце сеньоре Белерме. Старец ответил, что все это правда, за исключением кинжала, ибо то был не маленький кинжал, а трехгранный стилет, острее шила.

– Верно, это был стилет работы севильца Рамона де Осес, – вмещался тут Санчо Панса.

– Не знаю, – отвечал Дон Кихот, – думаю, что нет: ведь Рамон де Осес жил недавно, а Ронсевальская битва, когда и случилось это несчастье, происходила назад тому много лет, и вообще изыскания эти излишни, они не изменяют и не нарушают истинного хода событий.

– Справедливо, – согласился студент, – продолжайте же, сеньор Дон Кихот, я слушаю вас с величайшим удовольствием.

– А я с не меньшим рассказываю, – подхватил Дон Кихот. – Итак, почтенный

Монтесинос повел меня в хрустальный дворец, и там, внизу, в прохладной до чрезвычайности зале, сплошь отделанной алебастром, я увидел гробницу, в высшей степени искусно высеченную из мрамора, на которой, вытянувшись во весь рост, лежал рыцарь, но не из меди, не из мрамора и не из яшмы, как обыкновенно бывают на гробницах, а из самых настоящих костей и плоти; правая его рука (как мне показалось, довольно волосатая и мускулистая, что является признаком недюжинной силы) лежала на сердце. Прежде нежели я успел о чем-либо спросить Монтесиноса, тот, заметив, что я с удивлением рассматриваю лежащего на гробнице, молвил:

«Это и есть мой друг Дурандарт, цвет и зеркало всех влюбленных и отважных рыцарей своего времени. Его, как и многих других рыцарей и дам, околдовал Мерлин, французский волшебник, а о Мерлине говорят, будто он сын дьявола, мне же сдается, что сын-то он, может, и не сын, но что он самого дьявола, как говорится, за пояс заткнет. Как и для чего он нас околдовал – ничего не известно, однако ж со временем это узнается, и время это, мне думается, недалеко. Одно меня удивляет: я знаю так же твердо, как то, что сейчас не ночь, а день, что Дурандарт свои дни скончал у меня на руках и что после его смерти я собственными руками вырезал его сердце, и весом оно было, право, фунта в два, – ведь, по мнению естествоиспытателей, у кого сердце большое тот отличается большею храбростью, нежели человек с маленьким сердцем. А коли все это так и рыцарь этот подлинно умер, то как же он может время от времени стенать и вздыхать, словно живой?»

Тут несчастный Дурандарт с тяжким стоном заговорил:

Монтесинос, брат мой милый!  
Я просил тебя пред смертью,  
Чтобы у меня, как только  
Испущу я вздох последний,  
Сердце из груди извлек  
Ты кинжалом иль стилетом  
И отнес его в подарок  
Столь любимой мной Белерме.

Выслушав это, почтенный Монтесинос опустился перед страждущим рыцарем на колени и со слезами на глазах молвил:

«О сеньор Дурандарт, дражайший брат мой! Я уже исполнил то, что ты мне повелел в злосчастный день нашего поражения: с величайшею осторожностью вырезал я твое сердце, так что ни одной частицы его не осталось у тебя в груди, вытер его кружевным платочком, предал твое тело земле, а затем, пролив столько слез, что они омочили мои руки и смыли кровь, обогрившую их, когда я погружал их тебе в грудь, стремглав пустился с твоим сердцем во Францию. И вот тебе еще одно доказательство, милый моему сердцу брат: в первом же селении, встретившемся мне на пути после того, как я выбрался из Ронсеваля, я слегка посыпал твое сердце солью, чтобы не пошел от него тлетворный дух и чтобы я мог поднести его сеньору Белерме если не в свежем, то, по крайности, в засоленном виде, но сеньору Белерму вместе с тобою, со мною, с оруженосцем твоим Гуадианою, с дуэньей Руидерой и семью ее дочерьми и двумя племянницами и вместе с многими другими твоими друзьями и знакомыми долгие годы держит здесь, в заколдованном царстве, мудрый Мерлин, и хотя более пятисот лет протекло уже с того времени, однако никто из нас доселе не умер, – только нет с нами Руидеры, ее дочерей и племянниц: они так неутешно плакали, что Мерлин, как видно из жалости, превратил их в лагуны, и теперь в мире живых, в частности в провинции Ламанчской, их называют лагунами Руидеры. Семь дочерей принадлежат королю Испании, а две племянницы – рыцарям святейшего ордена, именуемого орденом Иоанна Крестителя. Оруженосец твой Гуадиана, вместе со всеми нами оплакивавший горестный твой удел, был превращен в реку, названную его именем, но как скоро эта река достигла земной поверхности и увидела солнце мира горного, то ее столь

глубокая охватила скорбь от разлуки с тобою, что она снова ушла в недра земли, однако ж река не может не следовать естественному своему течению, а потому время от времени она выходит наружу и показывает себя солнцу и людям. Помянутые лагуны питают ее своими водами, и, вобрав их в себя вместе с многими другими, в нее впадающими, она величаво и пышно катит волны свои в Португалию. Однако ж всюду на своем пути выказывает она грусть и тоску, и нет у нее желанья разводиться в своих водах вкусных и дорогих рыб, – в отличие от золотого Тахо она разводит лишь колючих и несъедобных. Все же, что я тебе сейчас говорю, о мой брат, я рассказывал тебе неоднократно, а как ты мне не отвечаешь, то я полагаю, что ты мне не веришь или же не слышишь меня, и одному богу известно, как я от этого страдаю. Сегодня я принес тебе вести, которые если и не утишат сердечную твою муку, то, во всяком случае, не усугубят ее. Да будет тебе известно, что пред тобою – тебе стоит лишь открыть очи, и ты это узришь – тот самый великий рыцарь, о котором столько пророчествовал мудрый Мерлин, тот самый Дон Кихот Ламанчский, который вновь и с большею пользою, нежели в века протекшие, возродил в наш век давно забытое странствующее рыцарство, и может статься, что с его помощью и под его покровительством мы будем расколдованы, ибо великие дела великим людям и суждены».

«А коли этого не случится, – слабым и глухим голосом произнес страждущий Дурандарт, – коли этого не случится, то я, о брат мой, скажу тебе так: „Что ж, проиграли так проиграли – валяй сдавай опять“».

И, повернувшись на бок, он снова погрузился в обычное свое молчание и ни слова более не примолвил. Тут послышались громкие вопли и причитания вместе с глубокими стонами и горестными рыданиями. Я обернулся и сквозь хрустальные стены увидел, что в другой зале в два ряда шествуют красавицы девушки, все в траурном одеянии и, по турецкому обычаю, в белых тюрбанах. Шествие замыкала некая сеньора (о том, что это именно сеньора, свидетельствовала горделивая ее осанка), также в траурном одеянии, в длинном, ниспадающем до полу белом покрывале. Тюрбан ее был вдвое выше самого большого тюрбана у любой другой девушки; брови у нее были сросшиеся, нос слегка курносый, рот большой, но губы яркие; когда она время от времени приоткрывала рот, то видно было, что зубы у нее редкие и не весьма ровные, хотя и белые, как очищенный миндаль; в руках она держала тонкое полотенце, а в нем, сколько я мог разглядеть, было безжизненное и ссохшееся, как мумия, сердце. Монтесинос мне пояснил, что участницы шествия – это служанки Дурандarta и Белермы, которых здесь держат заколдованными вместе с их господами, а та, что шествует позади и держит в руках сердце, завернутое в полотенце, – это, мол, и есть сеньора Белерма: она и ее служанки несколько раз в неделю устраивают подобные шествия и поют или, вернее, поднимают плач над телом и над измученным сердцем Дурандarta. Если же, мол, она показалась мне слегка уродливою или, во всяком случае, не такою прекрасною, как о ней трубят молва, то причину тому тягостные ночи и еще более тягостные дни, которые проводит она в этом заколдованном замке, о чем свидетельствуют большие круги у нее под глазами и мертвенный цвет лица.

«И бледность и синяки под глазами, – продолжал Монтесинос, – это у нее вовсе не от месячных недомоганий, обычных у женщин, потому что вот уже сколько месяцев, и даже лет, у нее на подобные недомогания и намек не было, – нет, это от боли, которую испытывает ее сердце при виде другого, вечно пребывающего у нее в руках и воскрешающего и вызывающего в ее памяти беду злосчастного ее возлюбленного, а не будь этого, вряд ли могла бы с нею соперничать по красоте, прелести и изяществу сама великая Дульсинея Тобосская, которая столь широкою пользуется известностью во всей нашей округе, да и во всем мире».

«Ну, уж это вы оставьте, сеньор дон Монтесинос, – прервал я его, – пожалуйста, рассказывайте свою историю, как должно. Известно, что всякое сравнение всегда неприятно, следственно, незачем кого бы то ни было с кем-либо сравнивать. Несравненная Дульсинея Тобосская – сама по себе, а сеньора донья Белерма – также сама по себе была и самую по себе останется, и довольно об этом».



На это он мне сказал:

«Сеньор Дон Кихот! Извините меня, ваша милость. Признаюсь, я дал маху и неудачно выразился насчет того, что сеньора Дульсинея вряд ли могла бы соперничать с сеньорою Белермою, ибо по некоторым признакам я смекнул, что вы – ее рыцарь, так что мне надлежало прикусить язык, а уж коли сравнивать ее, так разве с самим небом».

После того как я выслушал извинения великого Монтесиноса, в груди моей утихло волнение, которое я ощутил, когда мою госпожу стали при мне сравнивать с Белермой.

– А все же я диву даюсь, – заговорил Санчо, – как это вы, ваша милость, не насели на того старикашку, не переломали ему все кости и не выщипали бороду до последнего волоска.

– Нет, друг Санчо, – возразил Дон Кихот, – мне не к лицу было это делать, ибо все мы обязаны уважать старцев, наипаче же старцев-рыцарей, и притом заколдованных. Могу ручаться, что в течение всей дальнейшей нашей беседы мы друг друга ничем не задели.

Тут вмешался студент:

– Я не могу взять в толк, сеньор Дон Кихот, как это вы, ваша милость, за такой короткий срок успели столько увидеть в подземелье, о стольких вещах переговорить и разведать.

– Как долго я там пробыл? – осведомился Дон Кихот.

– Немногим более часа, – отвечал Санчо.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот, – там при мне свечерело, а потом я встречал рассвет, и так до трех раз ночь сменялась днем, следственно, по моим расчетам, я целых три дня провел в этих отдаленных и укрытых от нашего взора местах.

– Мой господин, как видно, молвит правду, – объявил Санчо, – коли все это происходило с ним по волшебству, значит, может быть и так: по-нашему это час, а там, внизу, это считается за трое суток.

– Вполне возможно, – согласился Дон Кихот.

– А что вы за это время кушали, государь мой? – спросил студент.

– Маковой росинки во рту не было, – отвечал Дон Кихот, – но я и не почувствовал голода.

– А заколдованные едят? – допытывался студент.

– Нет, не едят и не испражняются, – отвечал Дон Кихот, – хотя, впрочем, существует мнение, что у них продолжают расти ногти, борода и волосы.

– Ну, а спать-то заколдованные спят, сеньор? – спросил Санчо.

– Разумеется, что нет, – отвечал Дон Кихот, – по крайней мере, за те трое суток, которые я провел с ними, никто из них ни на мгновение не сомкнул очей, и я равным образом.

– Здесь как раз к месту будет пословица, – заметил Санчо: – «Скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты». Вы, ваша милость, подружились с заколдованными постниками и полуночниками, стало быть, нечего и удивляться, что вы тоже не ели и не спали, пока с ними водились. Но только вы уж меня простите, ваша милость: господь меня возьми (чуть было не брякнул: черт меня возьми), если я всему, что вы нам тут нарасказали, хоть на волос верю.

– Как так? – воскликнул студент. – Неужто сеньор Дон Кихот станет лгать? Да он при всем желании не успел бы сочинить и придумать такую тьму небывальщин.

– Я не думаю, чтобы мой господин лгал, – возразил Санчо.

– Так что же ты думаешь? – спросил Дон Кихот.

– Я думаю, – отвечал Санчо, – что Мерлин или же другие волшебники, заколдовавшие всю эту ораву, которую вы, ваша милость, будто бы видели и с которою вы там, внизу, проводили время, забили и заморочили вам голову всей этой канителью, о которой вы уже рассказали, и всем тем, что вам осталось еще досказать.

– Все это могло бы быть, Санчо, – возразил Дон Кихот, – однако ж этого не было, – все, о чем я рассказывал, я видел собственными глазами и осязал своими руками. Нет, правда,

что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что среди прочих бесчисленных достопримечательностей и диковин, которые мне показал Монтесинос и о которых со временем, в продолжение нашего путешествия, я тебе обстоятельно расскажу, ибо не все они будут сейчас к месту, я увидел трех поселянок? Они прыгали и резвились, словно козочки, и едва я на них взглянул, как сей же час узнал в одной из них несравненную Дульсинею Тобосскую, а в двух других – тех самых поселянок, что ехали вместе с нею и коих мы встретили близ Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знает ли он их, он ответил, что нет, но что, по его разумению, это какие-то заколдованные знатные сеньоры, которые совсем недавно на этом лугу появились, и что это, мол, не должно меня удивлять, ибо в этих краях пребывают многие другие сеньоры как времен протекших, так и времен нынешних, и сеньорам этим чародеи придали самые разнообразные и необыкновенные облики, среди каковых женщин он, Монтесинос, узнал королеву Джиневру и придворную ее даму Кинтаньону, ту самую, чье вино пил Ланцелот,

Из Британии приехав.

Санчо слушал этот рассказ, и ему казалось, что он сейчас спятит или лопнет от смеха; кто-кто, а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсинеи, сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка, и обратился к нему Санчо с такими словами:

– При неблагоприятных обстоятельствах и вовсе уж не в пору и в злосчастный день спустились вы, дорогой мой хозяин, в подземное царство, и не в добрый час повстречались вы с сеньором Монтесиносом, который так вас обморочил. Сидели бы вы, ваша милость, тут, наверху, не теряли разума, какой вам дарован от бога, всех поучали бы и ежеминутно давали советы, а теперь вот и порите чушь несусветную.

– Я тебя хорошо знаю, – Санчо, – сказал Дон Кихот, – а потому не обращаю внимания на твои слова.

– А я – на слова вашей милости, – отрезал Санчо, – хотя бы вы меня изувечили, хотя бы вы меня прикончили за те слова, которые я вам уже сказал и которые намереваюсь сказать, если только из ваших слов не будет явствовать, что вы исправились и взялись за ум. Но пока еще мы с вами не поссорились, скажите пожалуйста, ваша милость: как, по каким приметам узнали вы нашу хозяйку? Был ли у вас с ней разговор, и о чем вы ее спрашивали, и что она вам отвечала?

– Узнал я ее вот по какой примете, – отвечал Дон Кихот. – На ней было то же самое платье, как и в тот день, когда ты мне ее показал. Я было заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и так припустилась, что ее и стрела бы не догнала. Я хотел броситься за нею и, разумеется, бросился бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя, – это, мол, все равно бесполезно, да и потом мне пора уже было вылезать из пещеры. Еще Монтесинос сказал, что по прошествии некоторого времени он меня уведомит, что мне надобно предпринять, дабы расколдовать его самого, Белерму, Дурандарта и всех остальных. Но из того, что мне пришлось там видеть и наблюдать, особенно меня огорчило следующее: когда Монтесинос вел со мной этот разговор, ко мне неприметно приблизилась одна из двух спутниц злосчастной Дульсинеи и с полными слез глазами, тихим и прерывающимся от волнения голосом молвила:

«Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует вашей милости руки и настоятельно просит ей сообщить, все ли вы в добром здоровье; а как она крайнюю нужду терпит, то и обращается к вашей милости еще с одною покорнейшею просьбою: не соблаговолите ли вы ссудить ей под залог этой еще совсем новенькой юбки, что у меня в руках, шесть или же сколько можно реалов, – она дает честное слово, что весьма скоро вам их возвратит».

Просьба эта удивила меня и озадачила, и, обратясь к сеньору Монтесиносу, я у него спросил:

«Сеньор Монтесинос! Разве заколдованные знатные особы терпят нужду?»

Он же мне на это ответил:

«Поверьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанчский: то, что мы зовем нуждою, встречается всюду, на все решительно распространяется, всех затрагивает и не щадит даже заколдованных, и если сеньора Дульсинея Тобосская просит у вас займы шесть реалов и предлагает, сколько я понимаю, недурной залог, то у вас нет оснований ей отказать; без сомнения, она находится в крайне стесненных обстоятельствах».

«Залога я не возьму, – сказал я, – но и требуемой суммы дать не могу, оттого что у меня у самого всего только четыре реала».

Я протянул эти деньги подруге Дульсинеи (те самые деньги, которые ты, Санчо, на днях мне выдал для раздачи нищим, если таковые встретятся нам по дороге) и сказал:

«Передайте, моя милая, госпоже вашей, что ее затруднения терзают мне душу и что я хотел бы стать Фуггером<sup>1</sup>, дабы из таковых затруднений ее вывести. Уведомьте ее также, что из-за того, что я лишен возможности любоваться очаровательной ее наружностью и наслаждаться остроумными ее речами, я не могу и не должен быть в добром здоровье и что я покорнейше прошу ее милость, не соизволит ли она повидаться и побеседовать с преданным своим слугою и удрученным рыцарем. И еще скажите ей, что в один прекрасный день до нее дойдет весть, что я дал обет и клятву по примеру маркиза Мантуанского, который, найдя в горах племянника своего Балдуина при последнем издыхании, поклялся отомстить за него, а пока-де не отомстит, обходиться во время трапезы без скатерти, и еще много разных мелочей он к этому присовокупил. Так же точно и я поклянусь никогда не отдыхать и еще добросовестнее, чем инфант дон Педро Португальский<sup>2</sup>, объезжать все семь частей света до тех пор, пока я сеньору Дульсинею Тобосскую не расколдую».

«Вы еще и не то обязаны сделать для моей госпожи», – сказала мне на это девица.

Тут она схватила четыре реала и вместо поклона подпрыгнула на два локтя от земли.

– Боже милосердный! – громогласно возопил тут Санчо. – Статочное ли это дело, чтобы чародеи и волшебные чары вошли на белом свете в такую силу? И как это им удалось превратить ясный ум моего господина в ни с чем не сообразное помешательство? Ах, сеньор, сеньор! Ради создателя, придите вы, ваша милость, в себя, поберегите свою честь и не давайте веры всем этим пустякам, от которых у вас помутился и повредился разум!

– Ты так рассуждаешь, Санчо, оттого что желаешь мне добра, – сказал Дон Кихот, – но как ты в житейских делах еще не искушен, то все, что тебе мало-мальски трудно постигнуть, ты считаешь невероятным. Повторяю, однако ж, что со временем я расскажу тебе еще кое о чем из того, что мне довелось под землю увидеть, и тогда ты поверить нынешнему моему рассказу, коего правдивость бесспорна и несомненна.

## Глава XXIV,

*в коей речь идет о всяких безделицах, столь же несуразных, сколь и необходимых для правильного понимания великой этой истории*

Переводчик великой этой истории объявляет, что, дойдя до главы о приключении в пещере Монтесиноса, он обнаружил на полях подлинника следующие собственноручные примечания первого автора этой истории Сиды Ахмета Бен-инхали:

«Я не могу взять в толк и заставить себя поверить, что с доблестным Дон Кихотом все именно так и происходило, как о том в предыдущей главе повествуется, и вот почему: все приключения, случившиеся с ним до сих пор, были вероятны и правдоподобны, но

---

<sup>1</sup> *Фуггеры* – крупнейшие немецкие банкиры, финансировавшие испанских королей под залог серебряных рудников в Орначуэлозе, ртутных копей в Альмадене и т.п., которые они эксплуатировали в течение долгого времени.

<sup>2</sup> *Инфант дон Педро Португальский* – сын португальского короля Жуана I и брат короля Генриха Мореплавателя (1394–1460), неутомимый собиратель географических карт.

приключение в пещере в высшей степени несообразно, и у меня нет никаких оснований признать его истинность. И все же я далек от мысли, чтобы Дон Кихот, правдивейший идалго и благороднейший рыцарь своего времени, мог солгать; он не солгал бы, даже если б весь был изранен стрелами. Повествовал же и рассказывал Дон Кихот об этом приключении со всеми вышеприведенными подробностями, и я полагаю, что за такой короткий срок он не мог сочинить всю эту кучу нелепостей; словом, если это приключение покажется вымышленным, то я тут ни при чем, и я его описываю, не утверждая, что оно выдуманно, но и не высказываясь за его достоверность. Ты, читатель, понеже ты человек разумный, сам суди обо всем, как тебе будет угодно, мне же нельзя и не должно что-либо к этому прибавлять; впрочем, передают за верное, будто перед самой своей кончиной и смертью Дон Кихот от этого приключения отрекся и объявил, что он сам его выдумал, ибо ему казалось, что оно вполне соответствует тем приключениям, о коих он читал в романах, и вполне согласуется с ними». А дальше Сид Ахмет Бен-инхали говорит следующее.

Студент подивился как дерзости Санчо Пансы, так и долготерпению его господина, и рассудил, что мягкость, которую выказал в сем случае Дон Кихот, объясняется радостью свидания с сеньорою Дульсиной Тобоскою, хотя бы и заколдованною, потому что, вообще говоря, за такие слова и рассуждения Санчо Пансу следовало бы вздуть, – студенту и правда показалось, что Санчо вел себя со своим господином несколько нахально; обратился же студент к Дон Кихоту с такими словами:

– Признаюсь, сеньор Дон Кихот Ламанчский, я совершил с вашей милостью в высшей степени удачное путешествие, потому что я из него извлек четыре вещи. Во-первых, я познакомился с вашей милостью, что почитаю за великое для себя счастье. Во-вторых, я узнал, что находится в пещере Монтесиноса и откуда произошли Гуадиана и лагуны Руидеры, а это мне нужно для моего *Испанского Овидия*, над которым я теперь тружусь. В-третьих, я удостоверился в древнем происхождении игральных карт – во всяком случае, при Карле Великом они уже были в ходу, что явствует из слов вашей милости, ибо вы сказали, что после длинной речи Монтесиноса Дурандарт, пробудившись, молвил: «Проиграли так проиграли – валяй сдавай опять». А ведь заколдованный не мог бы знать подобные выражения и обороты речи, если бы они еще до того, как его околдовали, не употреблялись во Франции при вышеупомянутом императоре Карле Великом. Справка же эта мне пригодится для другой книги, которую я составляю, а именно: *Дополнение к Вергилию Полидору касательно изобретений во времена древние*, – я склонен думать, что в своем сочинении Вергилий Полидор забыл сказать о картах, а я о них скажу, и это будет иметь большое значение, особливо если я сошлюсь на столь почтенный и достоверный источник, как сеньор Дурандарт. В-четвертых, я получил точные сведения о происхождении реки Гуадианы, а ведь до сих пор оно было неизвестно.

– Вы совершенно правы, ваша милость, – молвил Дон Кихот, – однако ж мне бы хотелось знать, кому вы намерены посвятить свои книги, если только, господь даст, вам позволят их напечатать, в чем я, однако же, сомневаюсь.

– В Испании всегда найдутся сеньоры и гранды, которым их можно было бы посвятить, – отвечал студент.

– Их не так много, – возразил Дон Кихот, – и дело состоит не в том, что они таких посвящений не заслуживают, а в том, что они их не принимают, дабы не почитать себя обязанными вознаграждать как должно авторов за их труд и любезность. Впрочем, я знаю одно высокопоставленное лицо<sup>1</sup>, которое может заменить всех, кто отказывается от посвящений, и если б я принялся подробно его превосходство описывать, то, пожалуй, не в одном благородном сердце зашевелилась бы зависть, но мы отложим этот разговор до более подходящего времени, а теперь давайте поразмыслим, где бы нам переночевать.

– Неподалеку отсюда находится пустынь, где живет некий пустынный, – сообщил студент. – Говорят, прежде он был солдатом, о нем идет молва, что он добрый христианин,

---

<sup>1</sup> ...одно высокопоставленное лицо... – по-видимому, намек на графа Лемосского, которому Сервантес посвятил вторую часть своего «Дон Кихота».

человек мудрый и весьма отзывчивый. Недалеко от пустыни стоит маленький домик, он сам его и построил, и хотя помещение невелико, однако ж постояльцам есть где расположиться.

– А нет ли случайно у этого пустытника кур? – осведомился Санчо.

– Немногие отшельники обходятся ныне без кур, – отвечал Дон Кихот, – нынешние отшельники нимало не похожи на тех, которые спасались в пустыне египетской и прикрывались пальмовыми листьями, а питались кореньями. Однако ж не поймите меня так, что, отзываясь с похвалою о прежних пустытниках, я не хвалю нынешних, – я лишь хочу сказать, что ныне пустынножительство не сопряжено с такими строгостями и лишениями, как прежде, но из этого не следует, что нынешние пустытники дурны; напротив того, по мне, они все хороши, и, если даже взять худший случай, все равно лицемер, притворяющийся добродетельным, меньше зла творит, нежели откровенный грешник.

Продолжая такой разговор, они увидели, что навстречу им кто-то быстро шагает и гонит мула, навьюченного копыями и алебардами. Поравнявшись с ними, путник поклонился и пошел дальше. Дон Кихот же окликнул его:

– Остановитесь, добрый человек! Вы идете, должно полагать, быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

– Я не могу останавливаться, сеньор, – возразил незнакомец, – оружие, которое, как видите, я везу, понадобится завтра же, и я не имею права останавливаться, а засим прощайте. Если же вам угодно знать, зачем я его везу, то, было бы вам известно, я собираюсь ночевать на постоялом дворе близ пустыни, так что если вы едете туда же, то мы встретимся и я вам расскажу чудеса. А пока еще раз будьте здоровы.

И незнакомец так погнал мула, что Дон Кихот не успел даже спросить, что за чудеса собирается он рассказать. А как Дон Кихот был человек любопытный и жадный до новостей, то и велел он немедленно трогаться и, не заезжая в пустынь, куда его звал студент, ехать ночевать на постоялый двор.

Как сказано, так и сделано: все трое сели верхами, поехали напрямик к постоялому двору и прибыли туда еще засветло. Студент все же предложил Дон Кихоту заехать к пустытнику и промочить горло. Стоило Санчо Пансе это услышать, как он уже поворотил своего серого, и его примеру последовали Дон Кихот и студент, но, видно, злая судьба нарочно для Санчо устроила так, что пустытника на ту пору не оказалось дома, о чем им сообщила послушница, которую они застали в пустыни. Они спросили у нее вина подороже; она ответила, что ее хозяин вина не держит, а вот если им угодно простой воды по дешевой цене, то она с превеликой охотой, дескать, их напоит.

– Если б мне хотелось воды, то по дороге я бы напился из любого колодца, – заметил Санчо. – Ах, свадьба Камачо и дом – полная чаша у дона Дьего! Как часто я буду вас вспоминать!

С тем они и покинули пустынь и поехали на постоялый двор, а немного погодя увидели юношу: он шел впереди, однако ж не весьма быстро, и они нагнали его. Он нес на плече шпагу, а на шпаге – то ли узел, то ли сверток, по-видимому с одеждой: должно полагать, там были шаровары, накидка и несколько сорочек, ибо на нем была лишь куртка из бархата, отдаленно напоминавшего атлас, выпущенная из-под нее рубашка, шелковые чулки и с тупыми носками башмаки, какие носят в столице; на вид он казался лет восемнадцати-девятнадцати, лицо у него было веселое, движения ловкие. Чтобы нескучно было идти, он распевал сегидильи<sup>1</sup>. Когда те трое его нагнали, он допевал одну из своих сегидильи, и студент запомнил ее наизусть:

Нужда тебя придавит, вот драться и пойдешь.

Не стал бы я солдатом, будь в кошельке хоть грош.

---

<sup>1</sup> *Сегидилья* – народно-песенная форма, стихотворение из четырех или семи строк, в которых первая и третья – одиннадцатисложные и не рифмуются, а остальные – пятисложные, заканчивающиеся неполной рифмой (ассонансом), в семистрочной сегидилье пятая и седьмая строки также одиннадцатисложные и не рифмуются. Особый жанр представляют «ламанчские сегидильи» с музыкальным сопровождением и танцами.

Первым заговорил с ним Дон Кихот; он сказал:

– Вы путешествуете совсем налегке, красавец мой. Куда же это вы? Если вам нетрудно, ответьте, пожалуйста.

Юноша ему на это сказал:

– Путешествую я так налегке, во-первых, из-за жары, во-вторых, по бедности, а иду я на войну.

– Жара – это другое дело, но при чем тут бедность? – спросил Дон Кихот.

– Сеньор! – отвечал юнец. – В узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные с этой курткой. Если я изношу их в пути, то мне не в чем будет щеголять в городе, а купить новые не на что. Потому-то, а также чтоб было попрохладнее, я и путешествую в таком виде, а направляюсь я в расположение пехотных частей, миль за двенадцать отсюда, там меня припишут к какой-нибудь части, а уж оттуда нас на чем-нибудь да переправят в гавань: говорят, вернее всего, погрузка на корабли будет в Картагене. И я предпочитаю пойти на войну и чтобы моим хозяином и господином был сам король, чем служить у какого-нибудь столичного голодранца.

– По всей вероятности, прежняя служба дала вашей милости какие-нибудь льготы? – осведомился студент.

– Если б я состоял на службе у испанского гранда или же у другой знатной особы, я бы, конечно, их получил, – отвечал молодой человек. – Кто служит у хороших господ, те и правда получают льготы; их прямо из людской производят в знаменщики, а то и в капитаны, либо они получают хорошие награды, а вот я-то на свое несчастье вечно попадал к любителям обивать чужие пороги да ко всяким выскочкам без роду без племени и состоял у них на прескверных харчах и на таком ничтожном жалованье, что половина его уходила на крахмал для воротничков, и это было бы просто чудо, если б такой слуга – искатель счастья, как я, в конце концов доискался до чего-нибудь путного.

– А скажите на милость, друг мой, – сказал Дон Кихот, – неужели вы так и не выслужили себе ливрею?

– У меня их было две, – отвечал слуга, – но когда послушник, не принявши пострига, уходит из монастыря, с него снимают рясу и возвращают ему прежнее его одеяние, так же точно и мои господа возвращали мне мое платье; покончат, бывало, с делами в столице, соберутся домой и сей же час возьмут у меня ливрею, – ведь давали-то они мне ее, только чтобы пыль в глаза пустить.

– Вот уж, подлинно, *spilorcena*<sup>1</sup>, как говорят итальянцы, – сказал Дон Кихот. – Однако ж со всем тем это великое счастье, что вы покинули столицу с такою доброю целью, ибо нет на свете ничего более почетного и полезного, чем послужить прежде всего богу, а затем своему королю и природному господину, особливо на поприще военном, на котором скорей, нежели на поприще учености, можно если не разбогатеть, то, во всяком случае, прославиться, на что мне уже неоднократно приходилось указывать, и пусть благодаря учености основано больше майоратов<sup>2</sup>, нежели благодаря искусству военному, а все же военные в чем-то, бог их знает – в чем именно, выше ученых, и черт их знает, сколько в них этого самого блеску, которым они и отличаются от всех прочих. Я советую вам хорошенько запомнить то, что я сейчас скажу, ибо это вам будет весьма полезно и послужит утешением в невзгодах, а именно: гоните от себя всякую мысль о могущих вас постигнуть несчастьях, ибо худшее из всех несчастий – смерть, а коль скоро смерть на поле брани – славная смерть, значит, для вас наилучшее из всех несчастий – это умереть. Доблестного римского императора Юлия Цезаря однажды спросили, какая из всех смертей лучше, – он ответил, что всего лучше смерть внезапная, мгновенная и непредвиденная, и хотя он ответил, как язычник, истинного бога не знающий, все же он хорошо сказал, ибо этим он дал понять, что

---

1 Скарденность (*ит.*)

2 *Основать майорат* – то есть положить начало богатству рода. Майоратом называется основная часть наследства, которая вместе с титулом переходила из поколения в поколение к старшему сыну.

свободен от слабостей человеческих. Пусть даже во время первой же битвы и схватки грянет орудийный залп или взорвется мина и вы погибнете, – что ж такого? Все равно умирать, ничего не поделаешь. По мнению же Теренция<sup>1</sup>, воин, павший в бою, благороднее спасшегося бегством, и только тот воин прославится, который оказывает полное повиновение всем своим начальникам. И еще примите в соображение, сын мой, что солдату приличнее пахнуть порохом, нежели мускусом, и что если старость застигнет вас на этом благородном поприще, то хотя бы вы были изранены, изувечены и хромы, все равно это будет почтенная старость, и даже бедность вас не унижит, тем более что теперь уже принимаются меры, чтобы старые и увечные воины получали помощь и содержание, ибо нехорошо поступать с ними, как обыкновенно поступают с неграми: когда негры состарятся и не могут более служить, господа дают им вольную и отпускают и, под видом вольноотпущенников выгоняя их из дому, на самом деле отдают в рабство голоду, от которого никто, кроме смерти, освободить их не властен. Вот и все, что я хотел вам сказать, а теперь садитесь на круп моего коня: я доведу вас до постоянного двора, и там вы с нами отужинаете, а завтра поедете дальше, и пошли вам бог счастливый путь, коего заслуживают ваши благие намерения.

Юнец отказался воссесть на круп, но отужинать вместе на постоялом дворе согласился, а Санчо между тем рассуждал сам с собой: «Боже, спаси моего господина! Как же это так выходит: только что человек рассказывал про пещеру Монтесиноса невероятный вздор, а зато сейчас наговорил столько умных вещей? Ну да ладно, там видно будет».

Уже стемнело, когда они добрались до постоянного двора, и, к радости Санчо, Дон Кихот принял его не как обыкновенно – за некий замок, а за самый настоящий постоянный двор. Едва лишь они переступили порог, Дон Кихот спросил хозяина, здесь ли тот человек, который вез алебарды и копья; хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает мула. Студент и Санчо поставили туда же своих ослов, а Росинанту были отведены лучшая кормушка и лучшее место в стойле.

## Глава XXV,

*в коей завязывается приключение с ослиным ревом и забавное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы*

Дон Кихот, как говорится, спал и видел, нельзя ли поскорей послушать и разузнать про чудеса, о которых ему обещал рассказать человек, везший оружие. Он пошел в направлении, указанном ему хозяином, и в самом деле там его отыскал и попросил не откладывать, а непременно сию же минуту поведать то, о чем он его спрашивал дорогою. Человек же ему на это сказал:

– Рассказывать о таких чудесах должно сидя и на досуге. Дайте мне, ваша милость, господин хороший, задать корм моей животине, а потом я вам расскажу такие вещи, что вы диву дадитесь.

– Коли дело только за этим, то я вам сейчас помогу, – молвил Дон Кихот.

И он тут же начал просеивать овес и чистить кормушку, человек же, тронутый подобным смирением, изъявил полную готовность рассказать то, о чем его просили, и, усевшись на скамье у ворот, рядом с Дон Кихотом, и обращаясь к почтенному собранию в лице студента, юного слуги, Санчо Пансы и хозяина постоянного двора, начал свой рассказ так:

– Было бы вам известно, ваши милости, что в четырех с половиной милях отсюда в одном селении случилось так, что у рехидора<sup>2</sup> пропал осел, а всему виной – плутни хитрой девчонки, его служанки, но об этом долго рассказывать, и сколько ни старался рехидор

---

<sup>1</sup> Теренций – римский комедиограф (ок. 195–159 до н.э.), оказавший большое влияние на развитие западноевропейской драмы.

<sup>2</sup> Рехидор – член городского или сельского управления.

найти осла, все было напрасно. Прошло около двух недель с тех пор, как пропал осел, – так, по крайности, говорят и рассказывают в селении, – и вот однажды стоит потерпевший рехидор на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор, его односельчанин, и говорит: «Готовь мне, любезный друг, подарок за радостную весть: твой осел отыскался». – «Подарок за мной, любезный друг, и при этом хороший, – молвил тот, – только прежде скажи, где же он отыскался». – «Я его видел нынче утром в лесу, без седла и без всякой упряжи, – сказал другой рехидор, – и до того он отошал, что жалость берет на него глядеть. Хотел было я пригнать его к тебе, да он так одичал и такой стал пугливый, что только я к нему подошел, а уж он наутек и прямо в самую чащу. Ежели хочешь, пойдем поищем вдвоем, только сперва дай мне отвести домой мою ослицу – я сей же час возвращусь». – «Ты меня этим весьма одолжишь, – сказал хозяин осла, – я постараюсь отплатить тебе тою же монетою». Так же точно и с такими же подробностями рассказывают про этот случай все, кому он известен доподлинно. Коротко говоря, два рехидора рука с рукою отправились пешком в лес, однако ж в той части леса и на том месте, где они рассчитывали найти осла, его не оказалось, и хотя они все кругом обыскали, но он так и не объявился. Наконец, обнаружив, что осла нигде нет, рехидор, который видел его утром, сказал потерпевшему: «Послушай, любезный друг: я придумал одну вещь, теперь мы, вне всякого сомнения, найдем эту тварь, хотя бы она запряталась в глубь земли, а не то что в глубь леса: ведь я чудесно умею реветь ослом, и если только и ты немножко умеешь, то наше дело в шляпе». – «Ты говоришь: немножко, любезный друг? – воскликнул первый рехидор. – Да меня по части рева, истинный бог, никто не перещеголяет, даже сами ослы». – «Сейчас мы это увидим, – молвил второй рехидор. – Я вот как надумал: ты пойдешь по лесу в одну сторону, а я – в другую, и так мы его обойдем кругом и время от времени будем реветь, то ты, то я, а твой осел, если только он в лесу, уж верно, услышит нас и отзовется». На это хозяин осла ему сказал: «Признаюсь, любезный друг, прекрасная эта мысль делает честь твоему великому уму». Тут они по уговору разошлись в разные стороны, и нужно же было случиться так, что заревели они почти одновременно; полагая же, что осел сыскался, ибо каждый из них был обманут ревом другого, они бросились друг другу навстречу, и, увидев второго рехидора, рехидор, потерявший осла, воскликнул: «Неужто, любезный друг, это не осел ревел?» – «Нет, это я ревел», – отвечал тот. «В таком случае, любезный друг, – продолжал хозяин осла, – между тобою и ослом по части рева нет решительно никакой разницы, – я, по крайней мере, никогда не слыхал, чтобы так искусно подражали». – «Эти похвалы и превозношения более подобают и приличествуют тебе, любезный друг, нежели мне, – отозвался тот, кто все это затеял. – Клянусь создателем, ты дашь два очка вперед наилучшему и самому опытному реву на свете: звук у тебя высокий, ты выдержишь темп и не сбиваешься с такта, реवेशь на разные лады и часто их меняешь. Одним словом, я признаю себя побежденным и за то, что ты высоко держал знамя изумительного своего искусства, отдаю тебе пальму первенства». – «Ну так я тебе на это скажу, – молвил хозяин осла, – что отныне я буду себя больше ценить и уважать, буду думать, что и я на что-нибудь гожусь, коли у меня такой дар. Правда, я и сам знал, что реву недурно, однако ж до сих пор мне ни от кого не приходилось слышать, что мой рев – это верх совершенства». – «А я тебе на это вот что скажу, – подхватил второй рехидор, – много редких способностей гибнет на свете и не находит должного себе применения, оттого что люди не умеют пользоваться ими». – «Но ведь наши способности, – возразил потерпевший, – могут сослужить нам службу разве вот в таких случаях, как сегодня да и то дай бог, чтоб они нам помогли». Тут они опять разошлись в разные стороны и принялись реветь; при этом они то и дело ошибались и бежали друг другу навстречу и наконец порешили в качестве условного знака чтобы не было сомнений, что это они ревут, а не осел, реветь два раза подряд. Так, поминутно издавая двукратный рев, облазили они весь лес, а пропавший осел все не откликался. Да и как ему, бедному и горемычному, было откликнуться, коли в конце концов рехидоры нашли его в самой чащобе съеденного волками? И, увидев его, хозяин сказал: «А я-то удивлялся, что он не отзывается, – живой, он бы отозвался, чуть только нас слышал: на то он и осел. Полагаю, однако же, любезный



друг, что труды мои по розыску осла, хотя я его и не застал в живых, не пропали даром, ибо зато я слышал преискусный твой рев». – «Коли так, то слава богу, – молвил второй рехидор. – Впрочем, мы с тобой один другого стоим». Так, несолоно хлебавши и только охрипнув, возвратились они к себе в селение и рассказали друзьям своим, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, причем каждый расхваливал искусный рев другого, так что слух о том прошел и распространился по всем окрестным селениям, а дьявол, который никогда не дремлет, потому он любитель всюду сеять и разжигать раздоры и смуту, распускать сплетни и делать из мухи слона, распорядился и устроил так, что чуть только кто из другого села завидит наших, сейчас давай реветь ослом: это они над рехидорами нашими насмеваются. И мальчишки туда же, – словом сказать, попали мы в лапы и в пасть ко всем чертям ада: ослиный рев перекатывается из села в село, и жителей нашего, ревучего, села все распознают так же легко, как распознают негров и отличают их от белых. И так далеко зашла злополучная эта шутка, что осмеянные уже не раз в полном боевом порядке и с оружием в руках ополчались на насмешников, и тогда им все нипочем. Мне думается, мои односельчане, из ревучего то есть села, завтра-послезавтра выступят в поход против другого села, которое в двух милях от нас и которое особенно над нами издевается, и, чтобы нам было с чем выступить, я закупил алебарды и копья. Вот про эти-то чудеса я и обещал вам рассказать, а коли это, по-вашему, не чудеса, то не взыщите: других я не знаю.

На этом добрый крестьянин кончил свой рассказ, и тут во двор вошел человек, на котором все – и чулки, и шаровары, и куртка – было из верблюжьей шерсти, и громко спросил:

– Почтенный хозяин! Можно у вас остановиться? Со мной обезьянка-прорицательница и раек, представляющий освобождение Мелисендры<sup>1</sup>.

– Фу, черт, да ведь это сеньор маэсе Педро! – воскликнул хозяин. – Стало быть, мы нынче вечером повеселимся.

Мы забыли сказать, что у вышеназванного маэсе Педро левый глаз и почти половина щеки были заклеены пластырем из зеленой тафты, и это наводило на мысль, что вся левая сторона его лица поражена какой-то болезнью. А хозяин между тем продолжал:

– Милости просим, сеньор маэсе Педро! Где же ваша обезьянка и раек? Что-то я их не вижу.

– Они тут, близко, – отвечала верблюжья шерсть, – я потел вперед узнать, можно ли остановиться.

– Да я бы самому герцогу Альбе отказал, а уж сеньора маэсе Педро пустил, – молвил хозяин. – Везите скорей и обезьянку и раек, нынче у меня такие постояльцы, которые посмотрят и раек и фокусы обезьянки и с удовольствием вам заплатят.

– Вот и отлично, а цену я сбавлю, – подхватил пластырь, – пусть только оплатят расходы, я и тем буду доволен. Сейчас пойду схожу за тележкой с куклами и за обезьянкой.

С этими словами он вышел за ворота.

Дон Кихот немедленно обратился к хозяину с вопросом, кто таков маэсе Педро и что это за раек и обезьянка. Хозяин же ему ответил так:

– Это знаменитый раешник, который уже давно разъезжает по арагонской Ламанче и дает представление, как славный дон Гайферос освободил Мелисендру, – должно заметить, что наши края не запомнят столь любопытной и столь ловко разыгранной историйки. Возит он с собой и обезьянку, да такую искусницу, каких редко можно встретить не только среди обезьян, но даже среди людей. Когда ее о чем-нибудь спрашивают, она со вниманием слушает, затем вскакивает на плечо к своему хозяину и, нагнувшись к самому его уху, шепчет ответ, а маэсе Педро сейчас же оглашает его. Кстати сказать, прошлое она знает

---

<sup>1</sup> *Освобождение Мелисендры* – Мелисендра и Гайферос – герои старинных испанских романсов, в основе которых лежит старофранцузская хроника, приписываемая архиепископу Турпину. Согласно романсам, Мелисендра – дочь императора Карла Великого и невеста его племянника Гайфероса. Накануне свадьбы ее похитили мавры, у которых она находилась в течение многих лет, пока Гайферос не нашел ее и не освободил из плена.

лучше, нежели будущее, и хоть она и не всегда угадывает, а все-таки промахи у нее редки, так что мы все уверены, что в ней сидит черт. Если обезьянка вам ответит, то есть, я хочу сказать, если хозяин ответит за нее после того, как она пошепчет ему на ухо, то за свой вопрос вы должны уплатить два реала, – оттого-то считается, что у маэсе Педро денег куры не клюют. Он человек *galante*<sup>1</sup>, как выражаются в Италии, и *bon compagno*<sup>2</sup>, живет в свое удовольствие, говорит за шестерых, пьет за двенадцать – и все за счет своего языка, обезьянки и балаганчика.

Тем временем возвратился маэсе Педро и прикатил тележку, в которой помещался раек и большая бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем довольно милостивая; и, едва увидев ее, Дон Кихот обратился к ней с вопросом:



– Ну-с, госпоюса прорицательница, так как же? Что с нами сбудется? Сейчас вы получите два реала.

Засим он велел Санчо выдать два реала маэсе Педро, но маэсе Педро так за нее ответил и сказал:

– Сеньор! Это животное не дает ответов и ничего не сообщает касательно будущего, вот о прошлом ей кое-что известно и немного – о настоящем.

– Ей-же-ей, – воскликнул Санчо, – я ломаного гроша не дам за то, чтоб мне угадали мое прошлое! Потому кто же знает его лучше, чем я? И платить за то, чтобы мне сказали, что я и сам знаю, это глупее глупого. Но если уж тут знают и настоящее, то вот, пожалуйста, мои два реала, а теперь скажите, ваше высокообезьянство, что подельывает сейчас моя жена Тереса Панса и чем она занимается?

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

– Я не желаю получать вознаграждение вперед: прежде должно его заработать.

Тут он дважды хлопнул себя правой рукой по левому плечу, вслед за тем обезьянка

---

1 Благородный (*ит.*)

2 Правильно: *buon compagno* – добрый малый (*ит.*)

одним прыжком взобралась к нему, нагнулась к его уху и начала быстро-быстро щелкать зубами, а немного погодя другим таким же прыжком очутилась на земле, и тогда маэсе Педро с чрезвычайною поспешностью опустился перед Дон Кихотом на колени и, обнимая его ноги, заговорил:

– Я обнимаю ноги ваши так же точно, как обнял бы Геркулесовы столпы<sup>1</sup>, о бесподобный восстановитель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чьи заслуги выше всяких похвал, ободрение слабых, опора падающих, рука помощи павшим, оплот и утешение всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо пришел в изумление, студент был растерян, юный слуга поражен, крестьянин из ревущего села опешил, хозяин недоумевал – словом, речи раешника ошеломили всех, а он между тем продолжал:

– А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего рыцаря в мире, возрадуйся, ибо добрая жена твоя Тереса в добром здравии, и в настоящее время она чешет лен, а чтобы у тебя не оставалось сомнений, я еще прибавлю, что слева от нее стоит кувшин с отбитым горлышком, и, чтоб веселей было работать, вина в нем отнюдь не на доньшке.

– Этому я охотно верю, – сказал Санчо. – Тереса у меня суший клад, и, не будь она такой ревнивой, я не променял бы ее даже на великаншу Андадону<sup>2</sup>, а уж на что она была, как говорит мой господин, молодчина и на все руки. И потом еще моя Тереса из тех, у которых нынче густо, а завтра пусто.

– Вот теперь я могу сказать: кто много читает и много странствует, тот много видит и много знает, – вмещался тут Дон Кихот. – Говорю я это вот к чему: какие уверения были бы достаточны, чтобы меня уверить, что есть на свете обезьяны, которые прорицают так, как я только что слышал своими собственными ушами? Ведь я тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорила эта славная тварь, только она меня несколько перехвалила, однако ж, каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно создало меня с душою мягкой и сострадательною, склонною всем делать добро и никому не делать зла.

– Будь я при деньгах, – сказал юный слуга, – я спросил бы госпожу обезьяну, что со мной случится за время будущих моих странствий.

На это маэсе Педро, уже вставший к этому времени с колен, ответил так:

– Я уже вам сказал, что этот зверек не предсказывает будущего, а если бы предсказывал, то вам и деньги не понадобились бы, – я бы от любого барыша отказался, только чтоб угодить присутствующему здесь сеньору Дон Кихоту. А теперь, из уважения к нему и чтоб доставить ему удовольствие, я пойду приготовлю раек и безвозмездно позабавлю всех, на постоялом дворе находящихся.

При этих словах хозяин обрадовался чрезвычайно и указал, где лучше всего расставить раек, что в ту же секунду и было сделано.

Дон Кихот был не весьма доволен прорицаниями обезьянки, ибо держался того мнения, что обезьяне не подобает угадывать ни будущее, ни прошедшее, а потому, в то время как маэсе Педро расставлял раек, он отвел Санчо в угол конюшни, чтобы никто не мог слышать его, и сказал:

– Послушай, Санчо: я со вниманием изучал необычайное искусство этой обезьяны и пришел к убеждению, что у маэсе Педро, ее хозяина, конечно, имеется секретный союз с дьяволом, давно обеими сторонами апробированный и вступивший в силу де-факто.

– Ну, ежели колпак-то давно не стиранный, да еще и дьявольский, то, наверно, он очень грязный, – заключил Санчо, – но только какая прибыль маэсе Педро от таких колпаков?

– Ты меня не понял, Санчо: я хотел сказать, что он, вероятно, вступил в соглашение с дьяволом, благодаря чему обезьяна получает эту способность, хозяин же зарабатывает себе на жизнь, а затем, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту душу, ибо врагу рода человеческого только этого и надобно. И навело меня на эту мысль то обстоятельство, что

---

<sup>1</sup> *Геркулесовы столпы* – горы на обоих берегах Гибралтара, с которыми, по преданию, связан один из двенадцати подвигов Геркулеса.

<sup>2</sup> *Великанша Андадона* – персонаж «Амадиса Галльского», безобразная женщина огромного роста.

обезьяна угадывает лишь прошедшее и настоящее, а дьявольская премудрость ни на что другое и не распространяется: насчет будущего у дьявола бывают только догадки, да и то не всегда, – одному богу дано знать времена и сроки, и для него не существует ни прошлого, ни будущего, для него все – настоящее. А когда так, то ясно, что устами обезьяны говорит сам дьявол, и я поражаюсь, как это на нее до сих пор не донесли священной инквизиции, не сняли с нее допроса и не допытались, по чьему внушению она прорицает: ведь я уверен, что она не астролог и что ни она, ни ее хозяин не чертят и не умеют чертить так называемые астрологические фигуры, ныне получившие в Испании столь широкое распространение, что всякие никудышные бабенки, мальчишки на побегушках и самые дешевые сапожники воображают, будто составить гороскоп легче легкого, и своим враньем и невежеством подрывают доверие к этой поразительно точной науке. Мне известно, что некая дама спросила одного такого гороскопщика, будут ли у комнатной ее собачки щенки, и если да, то сколько и какой масти. Сеньор астролог, составив гороскоп, ответил ей, что у собачки родятся три щенка: один зеленый, другой красный, а третий разномастный, при условии, однако ж, если означенная сучка понесет между одиннадцатью и двенадцатью часами дня или же ночи, и притом в понедельник или же в субботу, но случилось так, что спустя два дня сучка околела от расстройства желудка, а сеньор прорицатель был признан в этом городке за искуснейшего вещуна, – так величают всех или почти всех прорицателей.

– Со всем тем, – молвил Санчо, – мне бы хотелось, чтоб ваша милость велела маэсе Педро спросить обезьяну, правда ли то, что с вашей милостью происходило в пещере Монтесиноса, – ведь я стою на том, не в обиду вашей милости будь сказано, что все это было наваждение и обман, в лучшем случае – сновидение.

– Весьма возможно, – сказал Дон Кихот, – и я последую твоему совету, хотя и не без некоторых угрызений совести.

В это время за Дон Кихотом зашел маэсе Педро и сказал, что раек в надлежащем порядке и что он просит его милость пойти посмотреть, – раек, мол, стоит того. Дон Кихот поведал ему свое желание и попросил сей же час обратиться к обезьяне с вопросом: во сне случались с ним разные происшествия в пещере Монтесиноса или наяву, ему же, дескать, кажется, что тут было всякое. Маэсе Педро, ни слова не говоря, сходил за обезьяной, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал:

– Послушайте, госпожа обезьяна: этот рыцарь желает знать, правда или нет то, что с ним происходило в так называемой пещере Монтесиноса.

Тут он подал свой обычный знак, обезьяна вскочила к нему на левое плечо и как будто что-то пошептала ему на ухо, а затем маэсе Педро объявил:

– Обезьяна говорит, что часть того, чему ваша милость явилась свидетелем и что с вами в указанной пещере произошло, – недостоверна, часть же правдоподобна, и к вышесказанному она ничего больше прибавить не может. Буде же ваша милость желает знать подробнее, то в ближайшую пятницу она вам ответит на все вопросы, а сейчас ее способность угадывать кончилась и раньше пятницы, как она сказала, к ней не вернется.

– А что я вам говорил? – воскликнул Санчо. – У меня в голове не укладывалось, чтобы все, или хотя бы половина того, что вы, государь мой, рассказали о событиях в пещере, оказалось правдой.

– Будущее покажет, Санчо, – возразил Дон Кихот, – всеразоблачающее время ничего не оставляет под спудом – все вытаскивает на солнышко, даже из недр земли. А теперь довольно об этом, пойдем посмотрим раек доброго маэсе Педро: мне сдается, что он готовит какую-нибудь новинку.

– Какую-нибудь? – воскликнул маэсе Педро. – В моем райке шестьдесят тысяч новинок. Смеею вас уверить, сеньор Дон Кихот, что мой раек – одна из самых любопытных вещей на свете, а *когда не верите мне, верьте делам моим*. Итак, мы начинаем, час поздний, а нам немало предстоит еще сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо повиновались и пошли смотреть раек, а раек уже был установлен, открыт, и вокруг него горели восковые свечи, от коих он весь сверкал ярким блеском. Маэсе

Педро спрятался за сценой, ибо ему надлежало передвигать куклы, а впереди расположился мальчуган, помощник маэсе Педро, в обязанности коего входило истолковывать и разъяснять тайны сего зрелища и показывать палочкой на куклы.

И вот когда иные обитатели постоянного двора уселись, иные остались стоять прямо против райка, а Дон Кихот, Санчо, юный слуга и студент заняли лучшие места, помощник начал объяснять, а что именно – это услышит или узнает тот, кто послушает мальчугана или же прочтет следующую главу.

## Глава XXVI,

*в коей продолжается забавное приключение с раешником и повествуется о других поистине превосходных вещах*

*Умолкли все: тирийцы, и троянцы*<sup>1</sup>, – я хочу сказать, что зрители, все до одного, так и смотрели в рот истолкователю балаганных чудес, и вдруг за сценой послышались звуки множества труб и литавр, загрохотали пушки, однако ж вскоре шум прекратился, и тогда мальчик возвысил голос и начал так:

– Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, целиком взята из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст в уста, так что даже малые ребята знают их на память. В ней рассказывается о том, как сеньор дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру, которая находилась в плену у маров в Испании, в городе Сансуэнье, – так в те времена называлась Сарагоса. Посмотрите, ваши милости: вот и сам дон Гайферос играет в шашки, как о том поется в романсе:

Игрою в шашки тешится Гайферос<sup>2</sup>,  
О Мелисендре и не вспоминает.

Но тут появляется другое действующее лицо с короной на голове и скипетром в руке: это император Карл Великий, мнимый отец Мелисендры; осердившись на зятя за бездействие и беспечность, он начинает его отчитывать. Обратите внимание, как он горячится и возмущается: можно подумать, что вот сейчас он стукнет его скипетром по голове, а иные сочинители утверждают, что он и правда ему всыпал, и очень даже лихо. Он долго ему внушал, что если тот не сделает попытки освободить свою супругу, то опозорит себя, а затем будто бы примолвил:

Я сказал, а вам решать.<sup>3</sup>

Теперь вы видите, ваши милости, что император поворачивается к дону Гайферосу спиной и уходит, а теперь смотрите, как дон Гайферос в запальчивости и с Досады швыряет и доску и шашки, велит немедленно подать ему оружие и обращается к своему двоюродному брату Роланду с просьбой дать ему на время меч Дюрандаль<sup>4</sup>, но Роланд не соглашается, а вместо этого изъявляет желание разделить с доном Гайферосом тяжесть этого предприятия, однако ж смельчак с негодованием отказывается от его услуг: он, мол, один сумеет вызволить свою супругу, даже если б она находилась глубоко под землю, и тут он вооружается и сей же час пускается в путь. Теперь, ваши милости, обратите свои взоры вон на ту башню; предполагается, что это одна из башен Сарагосского замка, ныне известного

---

<sup>1</sup> *Умолкли все: тирийцы и троянцы...* – начальная строка второй песни «Энеиды» Вергилия в испанском переводе Грегорью Фернандеса де Веласко.

<sup>2</sup> *Игрою в шашки тешится Гайферос...* – первые строки старинного испанского романса о Гайферосе и Мелисендре.

<sup>3</sup> *Я сказал, а вам решать...* – строка из другого старинного романса на ту же тему.

<sup>4</sup> *Меч Дюрандаль* – меч Роланда, которому во французских хрониках и средневековых поэмах приписывались чудодейственные свойства.

под названием Альхафери, а дама в мавританском одеянии, которая стоит на балконе, – это и есть несравненная Мелисендра; она часто смотрит отсюда на дорогу, ведущую во Францию, вспоминает Париж, своего супруга и тем утешается в своем заточении. А теперь перед вами новое дело, пожалуй что и неслыханное. Вы видите этого мавра? Вот он, крадучись, втихомолку, приложив палец к губам, приближается сзади к Мелисендре. Ну, а теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы и как она сейчас же начинает отплевываться, вытирает губы рукавом белой своей сорочки, сетует и с горя рвет на себе прекрасные свои волосы, как будто это они повинны в злодеянии. Теперь поглядите вон на того важного мавра, что стоит на галерее: это король Сансуэньи Марсилиий; он был свидетелем дерзости мавра, и хотя мавр – его родственник и приближенный, он сей же час велит его схватить, дать ему двести палок и провести по многолюдным улицам города<sup>1</sup>

С приставами впереди<sup>2</sup>  
И со стражниками сзади.

Смотрите: вот уже идут приводить приговор в исполнение, а между тем преступление было совершено только что. Это объясняется тем, что мавры в отличие от нас не знают ни содержания под стражей впредь до окончания следствия, ни вручения копии обвинительного акта.

– Малыш, малыш! – вскричал тут Дон Кихот. – Веди свою историю по прямой линии и оставь кривые и поперечные. Для того чтобы вывести истину на свет божий, существует множество следствий и расследствий.

А из-за сцены послышался голос маэсе Педро:

– Мальчик! Не суйся, куда тебя не спрашивают, и слушайся этого сеньора, – так-то будет дело лучше. Знай свою мелодию, а контрапунктом не увлекайся, помни: где тонко, там и рвется.

– Ладно, – сказал мальчуган и продолжал: – Вон тот всадник в гасконском плаще – это и есть дон Гайферос, а вон его супруга; отомщенная за дерзость влюбленного в нее мавра, она с прояснившимся и более спокойным выражением лица выходит на балкон, переговаривается оттуда со своим супругом, полагая, что это некий странник, и обращается к нему с теми самыми словами и речами, которые приводятся в известном романсе, например:

Будете в стране французской,  
Про Гайфероса узнайте,

и которые я не собираюсь приводить полностью, ибо многословие обыкновенно вызывает скуку. Достаточно видеть, как Гайферос распахивает плащ, и по тому, какие радостные движения делает Мелисендра, мы сейчас догадываемся, что она его узнала, еще мгновение – и она спускается с балкона, чтобы сесть на коня и умчаться с милым своим супругом. Но – о ужас! – подол ее юбки зацепился за железный выступ балкона, и Мелисендра повисла в воздухе. Но смотрите, как милосердное небо выручает нас в самых опасных положениях: дон Гайферос бросается к ней и, не обращая внимания на то, что ее роскошная юбка может порваться, схватывает ее, одним махом опускает на землю, затем, не медля ни секунды, сажает верхом, по-мужски, на коня и велит ей держаться крепче и, чтобы не упасть, обеими руками обхватить его стан, а то ведь сеньора Мелисендра к такому роду верховой езды не привыкла. Но чу! Это конь заржал от радости, что у него такая благородная и прекрасная ноша: его господин и его госпожа. Вот они поворачивают, выезжают из города и, счастливые и ликующие, направляют путь в Париж. В добрый час, о истинно любящая

<sup>1</sup> ...провести по многолюдным улицам города... – Приговоренных инквизицией к публичному бичеванию возили к месту казни по городским улицам верхом на осле обнаженными по пояс; впереди шли глашатаи, сообщавшие о характере преступления и о мере наказания, позади – отряд полицейских.

<sup>2</sup> С приставами впереди... – стихи из сатирического «Письма Эскаррамана к Мендес» (1613), принадлежащего перу выдающегося испанского сатирика Франсиско Кеведо (1580–1645).

чета – не чета всем влюбленным на свете! Возвращайтесь благополучно в желанную вашу отчизну и да не преградит Фортуна счастливого вашего пути! В мире и тишине проводите, на радость друзьям и родственникам, положенные вам дни, и пусть этих дней будет у вас столько же, сколько у Нестора<sup>1</sup>!

Тут снова подал голос маэсе Педро:

– Проще, малыш, не пари так высоко, напыщенность всегда неприятна.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

– От взора любопытных, которые обыкновенно все замечают, не укрылось, как Мелисендра спускалась с балкона и садилась на коня, о чем они и донесли королю Марсилию, и король велел сей же час бить тревогу. Смотрите, как все это у них быстро: вот уже на всех мечетях ударили в колокола, и город дрожит от звона.

– Ну, уж это положим! – вмешался тут Дон Кихот. – Насчет колоколов маэсе Педро оплошал: у мавров не бывает колоколов, а есть литавры и нечто вроде наших гобоев, а чтобы в Сансуэнье звонили колокола – это явный и невообразимый вздор.

После таких слов маэсе Педро перестал звонить и сказал:

– Не придирайтесь, сеньор Дон Кихот, к мелочам и не требуйте совершенства, – все равно вы его нигде не найдете. Разве у нас сплошь да рядом не играют комедий, где все – сплошная нелепость и бессмыслица? И, однако ж, успехом они пользуются чрезвычайным, и зрители в совершенном восторге им рукоплещут. Продолжай, мальчик, и никого не слушай, пусть в этом моем представлении окажется столько же несообразностей, сколько песчинок на дне морском, – у меня одна забота: набить кошелек.

– Ваша правда, – согласился Дон Кихот.

А мальчуган продолжал:

– Смотрите, сколько блестящей конницы выступает из города и устремляется в погоню за христианскою четою, а трубы трубят, а литавры гремят, а барабаны бьют. Я боюсь, что мавры настигнут беглецов, привяжут к хвосту коня и приведут обратно, – ужасное зрелище!

А Дон Кихот, увидев перед собой всю эту мавританщину и услышав этот грохот, рассудил за благо помочь беглецам; и, вскочив с места, он заговорил громким голосом:

– Пока я жив, я не допущу, чтобы в моем присутствии столь коварно обходились с таким славным рыцарем и неустрашимым любовником, каков дон Гайферос. Стойте, низкие твари! Не смейте за ним гнаться, не то я вызову вас на бой!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил меч, одним прыжком очутился возле балагана и с невиданною быстротою и яростью стал осыпать ударами кукольных мавров: одних сбрасывал наземь, другим отсекал головы, этих калечил, тех рубил на куски и в самый разгар сражения так хватил наотмашь, что когда бы маэсе Педро не пригнулся, не съезжился и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такою же легкостью, как если б она у него была из марципана. Маэсе Педро кричал:

– Остановитесь, сеньор Дон Кихот! Примите в рассуждение, что вы опрокидываете, рубите и убиваете не настоящих мавров, а картонные фигурки! Вот грех тяжкий! Ведь из-за него все мое имущество погибнет и пойдет прахом.

А Дон Кихот по-прежнему щедро расточал удары и наносил их то обеими руками, то плашмя, то наискось. Коротко говоря, он в два счета опрокинул раек и искромсал и искрошил все куклы и все приспособления, король Марсилиус был тяжело ранен, а у императора Карла Великого и корона и голова рассечены надвое. Почтеннейшая публика всполошилась, обезьянка удрала на крышу, студент перепугался, юный слуга струхнул, даже Санчо Пансу объял превеликий страх, ибо, – как он сам уверял, когда буря уже утихла, – он еще ни разу не видел, чтобы его господин так буйствовал. Разбив весь раек наголову, Дон Кихот несколько успокоился и сказал:

– Хотел бы я сейчас посмотреть на тех, которые не верят и не желают верить, что странствующие рыцари приносят людям громадную пользу, – подумайте, что было бы с

---

<sup>1</sup> *Нестор* – один из греческих царей, принимавших участие в осаде Трои и, по преданию, умерший в возрасте 300 лет.

добрым доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если б меня здесь не оказалось: можно ручаться, что эти собаки теперь уже настигли бы их и причинили им зло. Итак, да здравствует странствующее рыцарство, и да вознесется оно превыше всего, ныне здравствующего на земле!

– Пусть себе здравствует, – дрожащим голосом отозвался тут маэсе Педро, – а мне пора умирать, – я так несчастен, что мог бы сказать вместе с королем Родриго:

Я вчера был властелином<sup>1</sup>  
Всей Испании, а ныне  
Не владею даже башней.

Еще полчаса, еще полминуты назад я почитал себя владыкою королей и императоров, в моих конюшнях, сундуках и мешках было видимо-невидимо коней и нарядов, а теперь я разорен и унижен, нищ и убог, а главное, у меня больше нет обезьянки, и пока я ее поймаю, у меня, честное слово, глаза на лоб вылезут. И все это из-за безрассудной ярости сеньора рыцаря, а ведь про него говорят, что он ограждает сирот, выпрямляет кривду и творит всякие другие добрые дела, – только на меня одного не распространилось его великодушие, да будет благословен и препрославлен господь бог, сидящий на престоле славы своей. Знать уж, Рыцарю Печального Образа на роду было написано обезобразить моих кукол и опечалить меня самого.

Слова маэсе Педро тронули Санчо Пансу, и он сказал:

– Не плачь, маэсе Педро, и не сокрушайся, а то у меня сердце надрывается. Было бы тебе известно, что мой господин Дон Кихот – христианин ревностный и добросовестный, и если только он поймет, что нанес тебе урон, то непременно пожелает и сумеет уплатить тебе и возместить убытки с лихвою.

– Если б сеньор Дон Кихот уплатил хотя бы за часть перебитых им кукол, то и я остался бы доволен и совесть его милости была бы чиста, ибо не спасти свою душу тому, кто забрал себе чужое достояние против желания владельца и не вознаградил его.

– То правда, – согласился Дон Кихот, – но мне все же неясно, маэсе Педро, что из вашего достояния я забрал себе.

– Как же не забрали? – воскликнул маэсе Педро. – А эти останки, валяющиеся на этой голой и бесплодной земле, – кто их разбросал и сокрушил, как не грозная сила могучей вашей длани? Чьи же эти тела, как не мои? Чем же я еще кормился, как не ими?

– Теперь я совершенно удостоверился в том, в чем мне уже не раз приходилось удостоверяться, – заговорил Дон Кихот, – а именно, что преследующие меня чародеи первоначально показывают мне чей-нибудь облик, как он есть на самом деле, а затем подменяют его и превращают во что им заблагорассудится. Послушайте, сеньоры: говорю вам по чистой совести, мне показалось, будто все, что здесь происходит, происходит воистину, что Мелисендра – это Мелисендра, Гайферос – Гайферос, Марсилиий – Марсилиий, Карл Великий – Карл Великий, вот почему во мне пробудился гнев, и, дабы исполнить долг странствующего рыцаря, я решил выручить и защитить беглецов и, движимый этим благим намерением, совершил все то, чему вы явились свидетелями. Если же вышло не так, как я хотел, то виноват не я, а преследующие меня злодеи, и хотя я допустил оплошность эту неумышленно, однако ж я сам себя присуждаю к возмещению убытков. Скажите, маэсе Педро, сколько вы хотите за сломанные куклы? Я готов сей же час уплатить вам доброю и имеющею хождение кастильскою монетою.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

– Меньшего я и не ожидал от неслыханной христианской доброты доблестного Дон Кихота Ламанчского, истинного заступника и помощника всех неимущих и обездоленных

---

<sup>1</sup> *Я вчера был властелином...* – стихи из старинного романа о последнем готском короле Родриго, при котором на Пиренейский полуостров вторглись арабские племена. На сюжет этого романа Пушкин написал стихотворение «На Испанию родную».



странных людей, а сеньор хозяин и достоименный Санчо примут на себя обязанности оценщиков и посредников между вашей милостью и мною и установят, сколько стоят или, вернее, сколько могли стоить поломанные куклы.

Хозяин и Санчо согласились, и маэсе Педро тотчас поднял с земли обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал:

– Всякий подтвердит, что короля уже не воскресить, а посему, с вашего дозволения, я хотел бы получить за его смерть, кончину и успение четыре с половиною реала.

– Дальше, – сказал Дон Кихот.

– Вот за эдакую зарубку сверху донизу, – продолжал маэсе Педро, взявши в руки рассеченного императора Карла Великого, – не много взять пять с четвертью реалов.

– И не мало, – ввернул Санчо.

– Нет, не много, – возразил хозяин. – Я, как посредник, предлагаю: для ровного счета пять.

– Дайте ему все пять с четвертью, – сказал Дон Кихот, – на четверть реала больше или меньше – итог нынешнего достопамятного бедствия от этого не изменится. Только кончайте скорее, маэсе Педро, пора ужинать, мне уже хочется есть.

– За эту безносую и одноглазую куклу, которая прежде была прекрасною Мелисендрою, я прошу по совести два реала двенадцать мараведи, – объявил маэсе Педро.

– Черт меня возьми, – сказал Дон Кихот, – если Мелисендра со своим супругом теперь уже, во всяком случае, не миновала границу Франции: их конь, казалось, не бежал, а летел по воздуху. Так что нечего мне всучивать kota за зайца и показывать какую-то безносую Мелисендру, меж тем как настоящая, если все благополучно, напропалую веселится теперь со своим супругом во Франции. Господь каждому воздаст от щедрот своих, сеньор маэсе Педро, нам же надлежит ходить дорогой прямою и не кривить душою. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, видя, что на Дон Кихота опять накатило и он взялся за прежнее, и боясь, как бы он не ускользнул от него, повел такую речь:

– Уж верно, это не Мелисендра, а одна из ее служанок. Дайте мне за нее шестьдесят мараведи, и я почту себя удовлетворенным и щедро вознагражденным.

Так он назначал цену и всем прочим поломанным куклам, каковая цена была потом снижена третьейскими судьями, и истец и ответчик помирились в конце концов на сорока реалах и трех четвертях; Санчо тут же их выложил, однако маэсе Педро запросил сверх того еще два реала на прожитие, пока он не разыщет обезьяну.

– Дай ему, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если не на прожитие, так на пропитие, а еще двести реалов я дал бы в награду тому, кто мог бы сказать наверное, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос уже во Франции, в родной семье.

– Никто не мог бы дать вам более точных сведений, чем моя обезьяна, – сказал маэсе Педро, – но теперь ее сам черт не поймает. Впрочем, мне думается, что привязанность к хозяину и голод возьмут свое, и ночью она станет меня искать, а утром мы с нею, бог даст, увидимся.

Словом, бой с куклами кончился, и все в мире и согласии поужинали на счет Дон Кихота, коего щедрость была беспредельна.

Еще до рассвета уехал крестьянин с копьями и алебардами, а уже когда совсем рассвело, к Дон Кихоту пришли проститься студент и юный слуга: первый возвращался восвояси, второй намерен был продолжать свой путь, и Дон Кихот дал ему на дорогу двенадцать реалов. Маэсе Педро не вступил с ним в дальнейшие препирательства – он слишком хорошо его знал; он поднялся ни свет ни заря и, подобрав останки своего райка и подхватив обезьянку, также отправился искать приключений. Хозяин прежде не был знаком с Дон Кихотом и оттого не мог надивиться как его дурачествам, так и его щедрости. Санчо по распоряжению своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, простившись наконец с хозяином, рыцарь и его оруженосец покинули постоянный двор и тронулись в путь, и до времени мы их оставим, ибо тут уместно будет дать читателю

некоторые сведения, необходимые для правильного понимания знаменитой этой истории.

## Глава XXVII,

*в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал*

Сид Ахмет, автор великой этой истории, начинает настоящую главу такими словами: «Клянусь как христианин-католик...», по каковому поводу переводчик замечает, что если Сид Ахмет, будучи мавром (в чем нет оснований сомневаться), клянется как христианин-католик, то это может значить лишь вот что: подобно христианину-католику, который, давая клятву, клянется и должен клясться искренне и говорить только правду, так же точно и он, как если бы он клялся как христианин-католик, будет говорить только правду во всем, что касается Дон Кихота и, в частности, что касается того, кто такие были маэсе Педро и обезьяна-прорицательница, которая своими прорицаниями приводила в изумление все окрестные села. Итак, он говорит, что все, кто читал первую часть этой истории, должны хорошо помнить Хинеса де Пасамонте, которого Дон Кихот в числе других каторжников освободил в Сьерре Морене, за какое доброе дело эти зловредные и злонравные люди так дурно его отблагодарили и еще хуже ему отплатили. Этот самый Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот назвал Хинесильо де Награбильо, и похитил у Санчо Пансы осла, но в первой части по вине наборщиков выпало объяснение того, каким образом и когда именно он его похитил, отчего многие читатели приходили в недоумение и типографскую ошибку склонны были приписать забывчивости автора. Однако ж на самом деле Хинес выкрал осла из-под спящего Санчо Пансы, применив тот же способ и прием, что и Брунел, который в то время, когда Сакрипант осаждал Альбраку, вытащил у него из-под ног коня, впоследствии же, как о том было сказано, Санчо отобрал осла у Хинеса. Так вот этот самый Хинес, боясь очутиться в руках властей, которые разыскивали его, чтобы наказать за бесконечные мошенничества и преступления, коих числилось за ним столько и коих состав был таков, что он сам написал о них большущий том, – этот самый Хинес положил перебраться в королевство Арагонское, заклеить себе левый глаз и заняться ремеслом раешника, а по этой части, равно как и насчет ловкости рук, был он, великий искусник.

У неких христиан, возвращавшихся из берберийского плена<sup>1</sup>, купил он по случаю обезьяну и научил ее по определенному знаку вскакивать к нему на плечо и делать вид, что шепчет ему о чем-то на ухо. И теперь, прежде чем расположиться с обезьяною и балаганчиком в каком-нибудь селе, он в соседнем селе или же вообще у людей осведомленных выпрашивал, что там особенного произошло и с кем именно; все это хорошенько запомнив, он обыкновенно начинал с представления: иной раз покажет одну историйку, в другой раз – другую, но все они были у него потешные, занимательные и пользовавшиеся известностью. После представления он показывал искусство своей обезьяны, предуведомляя, однако же, зрителей, что она угадывает прошедшее и настоящее, а что насчет будущего она, мол, не мастак. За каждый ответ он взимал два реала, а с некоторых еще дешевле, в зависимости от того, кто задавал вопрос; когда же он заходил к людям, о которых знал всю подноготную, то хотя бы они, не желая платить, ни о чем его не спрашивали, он все равно делал обезьянке знак, а затем объявлял, что она ему сказала то-то и то-то, и попадал как раз в точку. Этим он стяжал себе славу необыкновенную, и все за ним ходили толпой. В иных случаях, будучи человеком находчивым, он придумывал ответы из головы, и ответы весьма подходящие, а как никто к нему не приставал и не придирался, что это, мол, за такая чудесная обезьяна – без промаха и изъяна, то он всем втирал очки и знай себе набивал кошель. Прибыв же на постоялый двор, он тотчас признал Дон Кихота и Санчо

---

<sup>1</sup> ...из берберийского плена... – то есть из плена у мавров. Берберией в то время называлась Северная Африка.

Пансу, и благодаря прежнему знакомству с ними для него не составило труда привести в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех прочих обитателей постоянного двора; но это обошлось бы ему недешево, когда бы Дон Кихот, отсекая голову королю Марсилию и уничтожая конницу, как о том было сказано в главе предыдущей, взмахнул мечом чуть ниже.

Вот и все, что требовалось сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Обращаясь же к Дон Кихоту Ламанчскому, должно заметить, что, выехав с постоянного двора, он положил сначала посетить берега реки Эбро и ее окрестности, а затем уже направить путь в город Сарагосу, потому что до турнира оставалось еще много времени. С этой целью он тронулся в путь, и в продолжение двух дней с ним не произошло ничего достойного быть занесенным в летописи, на третий же день, поднимаясь на холм, он услышал трубный звук, барабанный бой и аркебузные выстрелы. Прежде всего он подумал, что это идут солдаты, и, чтобы посмотреть на них, прищипорил Росинанта и поднялся на верх холма; очутившись же на вершине, он увидел, что у подошвы холма теснится, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных чем попало, как-то: копьями, самострелами, секирами, пиками и алебардами, кое у кого были аркебузы, у многих – круглые щиты. Дон Кихот спустился с холма и подъехал к отряду так близко, что ему хорошо видны были стяги, и он различил их цвета и разобрал украшавшие их эмблемы, из коих одна, обратившая на себя особое его внимание, нарисованная на штандарте или, вернее, на лоскуте белого атласа, весьма натурально изображала маленького ослика с поднятою головою, раскрытою пастью и высунутым языком, – словом, принявшего такое положение и имевшего такой вид, как будто бы он ревет, а вокруг большими буквами было написано следующее двустишие:

Ревели, зная, не без причины  
Алькальды на манер ослиный.

Сей отличительный признак навел Дон Кихота на мысль, что собравшийся здесь народ – из села ревущего, и он сказал об этом Санчо и объяснил ему, что написано на штандарте. Дон Кихот еще прибавил, что тот, кто рассказывал ему об этом происшествии, по-видимому, ошибся, утверждая, что ревели ослами два рехидора, а между тем стихи на штандарте гласят, что то были алькальды. Санчо Панса же ему на это сказал:

– Сеньор! Этому не следует придавать особое значение. Очень может быть, что рехидоры, которые тогда ревели по-ослиному, со временем стали алькальдами, а значит, их можно называть и так и этак, тем более что достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел: алькальды или же рехидоры, – важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а заревет ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего.

Словом, им стало ясно и понятно, что село осмеянное вышло на бой с другим селом, высмеивавшим его, не зная меры и не по-добрососедски.

Дон Кихот двинулся прямо к сельчанам, что для Санчо было весьма огорчительно, ибо не любитель он был такого рода походов. Отряд, полагая, что это его сторонник, расступился перед Дон Кихотом. Дон Кихот поднял забрало и с видом решительным и независимым вплотную подъехал к знамени с изображением осла, и тут его окружили военачальники, у коих он вызвал такое же точно удивление, какое вызывал у всех, кто видел его впервые, и удивленно на него уставились. Заметив, что они со вниманием его рассматривают, не заговаривая с ним и ни о чем его не спрашивая, Дон Кихот решил молчанием этим воспользоваться и, нарушив свое собственное, громким голосом заговорил:

– Милостивые государи! Убедительнейше вас прошу не прерывать ту речь, с какою я намерен к вам обратиться, доколе она вам не приестся и не наскучит. Если же наскучит, то мне довольно будет самомалейшего с вашей стороны знака, чтобы наложить печать на уста и придержать язык.

Все объявили, что он волен держать речь и что они охотно его выслушают. Получив дозволение, Дон Кихот продолжал:

– Я, государи мои, странствующий рыцарь, мое поприще есть поприще ратное, мой

долг – заступаться за тех, кто в заступлении нуждается, и выручать утесненных. Назад тому несколько дней я узнал о вашем злоключении и о том, что заставляет вас ежеминутно братья за оружие, дабы отметить врагам вашим. И вот, вникнув как должно в суть вашего дела, я пришел к заключению, что согласно правилам о поединке у вас нет оснований почитать себя оскорбленными, ибо частное лицо не может оскорбить целое общество, если только всему этому обществу не брошено обвинение в измене, когда в точности неизвестно, кто именно в измене повинен. Примером тому служит дон Дьего Ордоньес де Лара, который бросил вызов всему населению Саморры, ибо не имел понятия, что в вероломном убийстве короля повинен один лишь Вельидо Дольфос, и потому бросил обвинение всем, и, таким образом, всем надлежало принять на себя ответственность и отплатить за оскорбление. Впрочем, разумеется, сеньор дон Дьего хватил через край и в своем вызове перешел всякие границы, ибо не для чего было вызывать на поединок мертвецов, воду, хлеб, младенцев во чреве матери и всякую мелочь, которая в его вызове значится, ну да уж ничего не поделаешь: расходилась мамаша – ни жив ни мертв папаша, и дядюшке с тетушкой ее не унять. Так вот, стало быть, коль скоро одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство, а тем паче село, то ясно, что незачем мстить за оскорбление, будто бы вам нанесенное, ибо оскорбления-то никакого и нет. Хорошее было бы дело, если бы жители села Ла Релоха поминутно дрались с теми, кто их дразнит часовщиками, а равно и «кастрюльниками», «баклажанниками», «китоловы», «мыловары» и прочие поселяне, коих клички и прозвища на устах у каждого мальчишки и у всякой мелюзги! Нечего сказать, хорошее было бы дело, если б все эти почтенные граждане обижались на прозвища и мстили, а их шпаги из-за всякого пустяка так и ходили взад-вперед в ножнах, словно выдвигное колено в тромбоне! Нет, нет, сохрани, господи, и помилуй! Мужья благоразумные и государства благоустроенные берутся за оружие, обнажают шпаги и рискуют собою, свою жизнь и достоянием своим только в четырех случаях: во-первых, для защиты нашей католической веры, во-вторых, для защиты собственной жизни, ибо так велит закон божеский и таково наше естественное право, в-третьих, для защиты чести своей, семьи и имущества, в-четвертых, служа королю на бранном поле, когда он ведет войну справедливую, и, если угодно, назовем еще и пятый случай, – его, впрочем, можно считать вторым, – а именно: защита родины своей. К этим пяти основным поводам мы вправе присоединить несколько других, столь же справедливых и разумных поводов, чтобы взяться за оружие, но о тех, кто прибегает к нему из-за какой-то чепухи, которая скорей может служить поводом для смеха и веселого времяпрепровождения, нежели для обиды, можно подумать, что они совершенно лишены здравого смысла. К тому же месть несправедливая (а справедливой мести вообще не существует) противоречит нашей религии, религия же велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас, каковая заповедь представляется трудноисполнимою лишь тем, кто помышляет более о мирском, нежели о божественном, и для кого плоть важнее духа, ибо Иисус Христос, истинный богочеловек, который никогда не лгал и не мог и не может лгать, сказал, давая нам свой закон, что иго его благо и бремя его легко, а значит, он не мог заповедать нам ничего непосильного. Итак, государи мои, по всем законам божеским и человеческим выходит, что вы должны утихомириться.

«Пусть меня черти унесут, – сказал тут про себя Санчо, – если мой господин не богослов, во всяком случае он похож на богослова как две капли воды».

Дон Кихот немного передохнул и, видя, что толпа хранит молчание и намерена слушать его и дальше, хотел было продолжать свою речь, каковую он бы, уж верно, продолжил, когда бы со свойственною ему живостью ума не вмешался Санчо и, видя, что его господин переводит дух, не взял слова вместо него.

– Мой господин Дон Кихот Ламанчский, который одно время называл себя Рыцарем Печального Образа, а ныне именуется Рыцарем Львов, – весьма образованный идалго, – сказал Санчо, – по части латыни и испанского он любому бакалавру не уступит, во всем, что он говорит и советует, сейчас видно славного воина, и все, как называется, правила-законы поединка он знает назубок, так что вам остается только послушаться его, ручаюсь, что не

прогадаете. Тем более вы сами слышали: из-за одного только ослиного рева обижаться глупо. Помнится, мальчонкой я ревел по-ослиному, когда и сколько мне хотелось, и притом по собственному почину, да так искусно и так похоже, что на мой рев отзывались все ослы, какие только были у нас в селе, и все-таки меня почитали не за выродка, а за достойного сына своих родителей, людей почтеннейших. Правда, искусству моему завидовали многие деревенские франты, ну да я на них чихал. А коли вам угодно удостовериться, что я не вру, то подождите и послушайте. Ведь это искусство – все равно что плаванье: раз научишься – век не забудешь.

С этими словами он приставил руку к носу и взревел так, что во всех окрестных долинах отозвалось эхо. Но тут один из стоявших подле него поселян, вообразив, что он над ними насмехается, взмахнул дубиной и так его огрел, что не устоял Санчо Панса на ногах и грянулся оземь. Дон Кихот, видя, что с Санчо так дурно обходятся, взял копье наперевес и ринулся на драчуна, но столькие в тот же миг заградили его, что отомстить не представлялось возможным; более того: видя, что градом сыплются камни и что ему грозит великое множество нацеленных на него самострелов и столько же аркебуз, Дон Кихот поворотил Росинанта и во весь его мах помчался прочь от толпы, из глубины души взывая к богу, чтобы он избавил его от опасности, ибо Дон Кихот каждую секунду ждал, что его ранят навывлет, и то и дело затаивал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли пуля мимо. Воители, однако ж, удовольствовались зрелищем его бегства и так и не открыли стрельбы. Бедного же Санчо, едва он опамятовался, они положили поперек осла и позволили ему следовать за своим господином, но Санчо был не в состоянии править, и серый сам затрусил вослед за Росинантом, без которого он не мог прожить ни одного мгновения. Дон Кихот между тем отъехал на довольно значительное расстояние, а потом обернулся и, увидев, что Санчо едет за ним, и удостоверившись, что погони нет, решил подождать его.

Воители пробыли там до ночи, а как супостаты их на битву не вышли, то они, радостные и ликующие, возвратились восвояси, и если бы они знали обычаи древних греков, то на этом самом месте непременно сложили бы трофей<sup>1</sup>.

## Глава XXVIII

*О событиях, которые, как говорит Бен-инхали, станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием*

Когда храбрец бежит, значит, он разгадал военную хитрость противника, а мужам благоразумным должно беречь себя для более важных случаев. Справедливость этого положения подтвердилась на примере Дон Кихота. Давши сельчанам полную волю яриться, а рассвирепевшему их отряду – осуществлять недобрые свои намерения, он бросился наутек и, не думая о Санчо и о грозившей ему опасности, скакал до тех пор, пока не почувствовал, что бояться нечего. Санчо, как было сказано, следовал за ним поперек осла. Нагнал он его, будучи уже в полном сознании, и, весь избитый, поколоченный и унылый, свалился с серого к ногам Росинанта. Дон Кихот спешил, чтобы осмотреть его раны, но, оглядев его с ног до головы и удостоверившись, что тот цел и невредим, довольно сердито заговорил:

– Выбрали же вы время, Санчо, реветь ослом! Откуда вы взяли, что в доме повешенного следует говорить о веревке? И разве дубины – не самый подходящий аккомпанемент для ваших ослиных трелей? Благодарите бога, Санчо, что они перекрестили вас только палкой, а не сотворили *per signum cruces*<sup>2</sup> саблей.

– Я не в состоянии отвечать, – сказал Санчо, – потому у меня такое чувство, будто говорит не язык, а спина. Сядемте верхами, поедемте своей дорогой, и реветь ослом я уж больше не стану, но зато не стану и молчать о том, что странствующие рыцари бегут и

---

<sup>1</sup> ...сложили бы трофей. – Трофей – памятник победы, у греков воздвигался на месте победы и украшался захваченными доспехами.

<sup>2</sup> Крестное знамение (лат.)

оставляют добрых своих оруженосцев на расправу врагам, а те молотят их, словно зерно.

– Отступление не есть бегство, – заметил Дон Кихот. – Надобно тебе знать, Санчо, что смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством, подвиги же безрассудного скорее должны быть приписаны простой удаче, нежели его храбрости. Итак, я признаю, что отступил, но я не бежал, образцом же мне служили многие смельчаки, которые берегли себя для лучших времен, и романы этим полны, но пересказывать их я не стану, ибо и тебе это пользы не принесет, и мне удовольствия не доставит.

Между тем Санчо с помощью Дон Кихота уселся верхом, Дон Кихот сел на Росинанта, и они не спеша двинулись к роще, видневшейся на расстоянии четверти мили. Санчо по временам глубоко вздыхал и тяжело стонал; когда же Дон Кихот осведомился о причине столь мрачного расположения духа, он ответил, что у него отчаянно болит спина от самого кончика позвоночника до затылка – прямо до дурноты.

– Боль эта вызвана, без сомнения, тем, – сказал Дон Кихот, – что дубина, которою тебя ударили, была длинная и прямая, и она охватила все эти участки спины, которые у тебя болят, а если б она пошире взяла, тебе было бы еще больней.

– Клянусь богом, ваша милость разрешила глубокое мое сомнение, да еще в каких прекрасных выражениях все растолковала! – воскликнул Санчо. – Ах ты, будь я неладен, да неужто это такая загадка: отчего у меня болит спина, и требуется еще объяснять, что у меня болят все как есть места, до которых достала дубина? Если б у меня заболела лодыжка, я бы еще, может, призадумался, отчего это она у меня болит, а что у меня болит там, где меня огрели, тут думать да гадать не приходится. Поистине, досточтимый сеньор мой, чужую беду руками разведу, и с каждым днем мне все яснее и яснее становится, что от вашего общества прок невелик: сегодня вы дали меня избить, а потом, опять двадцать пять, начнется подбрасывание на одеяле и прочие детские забавы, нынче я спиной расплатился, а завтра как бы не пришлось расплачиваться глазами. Куда лучше было бы мне, – вот только я сущий варвар, и ничего хорошего от меня не жди, – куда лучше было бы мне, говорю я, вернуться домой, к жене и к деткам, растить их и чем бог пошлет питать, а не плутать следом за вашей милостью по непутевым путям и бездорожным дорогам, мало пивши и совсем ничего не евши. А уж насчет сна и говорить нечего! Отмерьте себе, любезный оруженосец, семь пядей земли, а коли хотите, так еще столько же, тут вы сами себе господин, и располагайтесь со всеми удобствами. Чтоб ему сгореть на костре, чтоб его пепел развеялся по ветру, – я разумею первого человека, который начал городить огород странствующего рыцарства, или уж, по крайности, первого, кто рый пожелал поступить в оруженосцы к таким олухам, какими, наверно, были прежние странствующие рыцари. О теперешних я ничего не говорю: коли ваша милость из их числа, стало быть, я должен относиться к ним с уважением, ибо по части ума и красноречия ваша милость самому черту нос утрет.

– Я охотно побился бы с вами об заклад, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что вот сейчас, когда вы болтаете не переставая, у вас нигде ничего не болит. Говорите, сударь, все, что вам придет в голову и что вертится у вас на языке, – лишь бы у вас ничего не болело, я же безропотно снесу ваши дерзости. Вам не терпится возвратиться домой к жене и детям – сохрани бог, чтобы я этому препятствовал, деньги мои у вас, высчитайте, сколько дней прошло с того времени, как мы в третий раз выехали из села, прикиньте, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и выдайте себе сами.

– Когда я служил у Томе Карраско, отца бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает, – сказал Санчо, – я зарабатывал два дуката в месяц, не считая харчей, а сколько мне взять с вашей милости – это уж я не знаю, знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у деревенского батрака; ведь и правда: когда мы в батраках, то как бы мы днем ни работали, как бы нам ни приходилось подчас туго, а все-таки вечером мы едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор, как я поступил на службу к вашей милости, я про постель и думать забыл. Если не считать нескольких дней, проведенных у дона Дьего де Миранда, того пиршества, которое я себе устроил из пенек с котлов Камачо, и всего, сколько я наел, напил и наспал в доме Басильо, все остальное время

я спал на голой земле, под открытым небом, подвергался всевозможным, как их называют, стихийным бедствиям, питался крохами сыра и корками хлеба и пил воду из ручьев и источников, которые нам попадались в дебрях.

– Признаю, Санчо, что вы говорите истинную правду, – молвил Дон Кихот. – Насколько же, по-вашему, больше, чем Томе Карраско, я должен вам заплатить?

– Я так полагаю, – отвечал Санчо, – что коли ваша милость надбавит по два реала в месяц, то это будет по-божески. Но это – только мое жалованье, а за то что вы дали слово и обещали ввести меня во владение островом, нужно бы накинуть еще по шести реалов, так что всего-навсего тридцать реалов.

– Отлично, – сказал Дон Кихот, – выехали мы из дому назад тому двадцать пять дней, так вот, Санчо, исходя из той суммы, которую вы себе положили, извольте подвести общий итог, подсчитайте, сколько я вам должен, и, как я уже сказал, уплатите себе собственноручно.

– Э, нет, ишь вы какой! – воскликнул Санчо. – Ваша милость очень даже ошибается в своих расчетах, потому за обещанный остров должно считать с того дня, как ваша милость мне его обещала, и по сегодняшней день включительно.

– Сколько же прошло, Санчо, с того времени, как я вам его обещал? – спросил Дон Кихот.

– Если память мне не изменяет, – отвечал Санчо, – уж верно, лет двадцать с хвостиком.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, весело рассмеялся и сказал:

– Да ведь я пробыл в Сьерре Морене и вообще провел в походах около двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров назад тому двадцать лет! Ну так вот что я на это скажу: ты желаешь, чтобы все деньги, которые я сдал тебе на хранение, пошли в счет твоего жалованья, – что ж, если ты этого так хочешь, я тебе их отдам сей же час, бери на здоровье, я предпочитаю остаться нищим, без единого гроша, лишь бы избавиться от такого скверного оруженосца. Но скажи мне, нарушитель установлений, касающихся оруженосцев странствующего рыцарства: где ты видел или же читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря приставал к своему господину: «Сколько вы мне будете платить в месяц?» Погрузись, погрузись, разбойник, негодяй, чудовище, ибо ты именно таков, погрузись, говорю я, в *mare magnum*<sup>1</sup> рыцарских романов, и если тебе попадется, что кто-нибудь из оруженосцев сказал или даже подумал то, что сейчас сказал ты, так можешь вырезать мне эти слова на лбу и вдобавок вклеить штук пять хороших щелчков. Итак, подбери поводья и поезжай домой – со мною вместе ты не сделаешь более ни шагу. Вот она, благодарность за мой хлеб! Вот кого я собирался наградить! Вот в ком более скотского, нежели человеческого! Как? В то самое время, когда я намеревался так тебя вознести, что все наперекор твоей жене величали тебя *ваше сиятельство*, ты со мной расстаешься? Как? Ты уезжаешь в то самое время, когда я возымел твердое и бесповоротное решение назначить тебя губернатором лучшего острова в мире? Словом, ты сам когда-то сказал, что некоторых животных медом не кормят. Осел ты есть, ослом ты и будешь, и быть тебе ослом до последнего твоего издыхания, ибо я уверен, что нить твоей жизни прервется прежде, нежели ты догадаешься и поймешь, что ты скот.

Пока Дон Кихот распекал Санчо, тот не сводил с него глаз и наконец почувствовал такие угрызения совести, что его прошибла слеза, и он упавшим и жалобным голосом заговорил:

– Государь мой! Я сознаю, что мне недостает только хвоста, иначе был бы я полным ослом. Коли вашей милости угодно мне его привесить, то я буду считать, что он висит на месте, и в качестве осла буду служить вам до конца моих дней. Простите меня, ваша милость, и сжальтесь надо мной, – ведь я сущий младенец и худо во всем разбираюсь, и болтаю я много неумышленно: такая уж у меня слабость, а кто грешит да кается, тому грехи отпускаются.

– Я бы удивился, Санчо, если б ты не вставил в свою речь какого-нибудь этакого

---

<sup>1</sup> Великое (безбрежное) море (лат.)

присловьица. Что ж, коли ты раскаиваешься, то я тебя прощаю, с условием, однако, чтобы впредь ты заботился не только о собственной выгоде, – будь отзывчивее и с бодрюю и смелою душою ожидай исполнения моих обещаний, каковое, правда, запаздывает, но коего возможность отнюдь не исключена.

Санчо отвечал, что так оно и будет и что он непременно возьмет себя в руки.

Тут они въехали в рошу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо у подножия бука, – известно, что у этих, равно как и у всех других дерев, ноги всегда бывают, а рук никогда. Санчо провел мучительную ночь, ибо от ночной росы у него еще сильнее разболелись отхоленные дубиной места, а Дон Кихот по обыкновению предался своим мечтаниям, однако в конце концов сон смежил вежды обоим, а на заре они двинулись к берегам славного Эбро, и там с ними случилось то, о чем будет рассказано в следующей главе.

## Глава XXIX

### *О славном приключении с заколдованною ладьею*

Выехав из роши, Дон Кихот и Санчо спустя два дня мерным и весьма умеренным шагом добрались до реки Эбро, коей созерцание доставило Дон Кихоту великое удовольствие: он любовался приветными ее берегами, светлыми ее струями, мирным течением полных ее и зеркальных вод, и это увеселяющее взоры зрелище навеяло Дон Кихоту множество отрадных воспоминаний. Особенно живо вспомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса, и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что только часть всех этих происшествий правда, а остальное, мол, обман, он все же склонен был признать их не за обман, а за истину, в противоположность Санчо, который полагал, что все это пустое мечтание. Ехали они, ехали и вдруг заметили лодочку без весел и каких-либо снастей, привязанную к стволу прибрежного дерева. Дон Кихот огляделся по сторонам, но не обнаружил ни одной души; тогда он, не долго думая, соскочил с Росинанта и велел Санчо спрыгнуть с осла и покрепче привязать обоих животных к стволу то ли прибрежного тополя, то ли прибрежной ивы. Санчо осведомился о причине столь скоропалительного спешивания и привязывания. Дон Кихот же ему ответил так:

– Да будет тебе известно, Санчо, что вот эта ладья явно и бесспорно призывает меня и понуждает войти в нее и отправиться на помощь какому-нибудь рыцарю или же другой страждущей знатной особе, которую великое постигло несчастье, ибо это совершенно в духе рыцарских романов и в духе тех волшебников, что в этих романах и рассуждают и действуют: когда кто-нибудь из рыцарей в беде и выручить его может только какой-нибудь другой рыцарь, но их разделяет расстояние в две-три тысячи миль, а то и больше, волшебники сажают этого второго рыцаря на облако или же предоставляют в его распоряжение ладью и мгновенно переправляют по воздуху или же морем туда, где требуется его помощь. Так вот, Санчо, эта ладья причалена здесь с тою же самой целью, и все это такая же правда, как то что сейчас день, и пока еще не свечерело, привяжи серого и Росинанта – и с богом; я сяду в лодку, даже если меня от этого начнут отговаривать босые братья.

– Коли так, – заговорил Санчо, – и коли ваша милость намерена на каждом шагу делать, можно сказать, глупости, то мне остается только повиниться и склонить голову – по пословице: «Не пойдешь своему господину наперекор – будет тебе от него на прокорм». Однако для очистки совести осмелюсь доложить, что, по моему разумению, хозяева этой лодки не какие-нибудь там заколдованные, а просто местные рыбаки: ведь в этой реке водится наилучшая бешенка.

Санчо рассуждал, а сам в это время привязывал четвероногих, к великому своему душевному прискорбию оставляя их под защитой и покровительством волшебников. Дон Кихот ему сказал, чтоб он не огорчался из-за того, что животные остаются якобы на



произвол судьбы, ибо тот, кто переправит их самих в столь лонгинквальские области, позаботится и об их животных.

– Я не понимаю, что значит *логикальные*, – сказал Санчо, – отродясь такого слова не слыхивал.

– *Лонгинквальские* – это значит *отдаленные*, – пояснил Дон Кихот, – и не удивительно, что ты этого слова не понял: ты не обязан знать латынь, а ведь есть такие, которые уверяют, что знают ее, на самом же деле понятия о ней не имеют.

– Ну, ладно, привязал, – объявил Санчо. – А теперь что мы будем делать?

– Что будем делать? – сказал Дон Кихот. – Перекрестимся и отдадим якорь, то есть сядем в лодку и перережем причал, коим она прикреплена к берегу.

С этими словами он прыгнул в лодку, Санчо следом за ним, затем была перерезана бечевка, и лодка начала медленно удаляться; и вот когда Санчо увидел, что он уже на расстоянии примерно двух локтей от берега, то в предчувствии неотвратимой гибели задрожал всем телом, но особенно он закручинился, услышав рев осла и увидев, что Росинант из сил выбивается, чтобы сорваться с привязи, и тут он сказал своему господину:

– Осел заревел с тоски по нас, а Росинант старается вырваться на свободу, чтобы потом броситься за нами вдогонку. Будьте спокойны, милые друзья! Я чаю, мы скоро пойдем, что покидать вас было чистое сумасбродство образуемся и вернемся к вам!

И при этом он так горько заплакал, что Дон Кихот в запальчивости и раздражении ему сказал:

– Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из коровьего масла? Разве тебя кто-нибудь преследует, кто-нибудь за тобою гонится, крысиная ты душа, чего тебе недостает, тебе, покоящемуся на лоне изобилия? Может статься, ты шагаешь пешком и босый по Рифейским горам<sup>1</sup>, а не сидишь на скамеечке, будто эрцгерцог, и тебя не уносит спокойное течение прелестной этой реки, откуда мы в скором времени выйдем в открытое море? Э, да мы, кажется, уже вышли в море и проплыли, по крайней мере, семьсот, а то и все восемьсот миль, – будь со мной астролябия<sup>2</sup>, я бы измерил высоту полюса и сказал бы тебе точно, сколько мы с тобой проехали миль. Впрочем, может статься, я в этом ровно ничего не смыслю, но мне кажется, что мы уже проехали или вот-вот проедем линию равноденствия, которая на равном расстоянии от противоположных полюсов пересекает и надвое делит землю.

– А когда мы достигнем этой, как вы ее называете, линии равнодушия, то сколько же мы тогда проедем? – спросил Санчо.

– Много, – отвечал Дон Кихот, – согласно вычислениям Птолемея, величайшего из всех известных нам космографов, поверхность воды и суши на нашей планете равна тремстам шестидесяти градусам, мы же с тобою, достигнув этой линии, проедем как раз половину.

– Вот уж, ей-богу, ваша милость, – молвил Санчо, – нашли кого приводить во свидетели и с кем дружбу водить: с какими-то не то Нибе-ни-меем, не то Пустомелей, – сами же вы честите его косоглазым, да еще, если я вас правильно понял, жулябией.

Посмеялся Дон Кихот подобному толкованию имени и рода занятий космографа Птолемея, а также прибора астролябии, и сказал:

– Послушай, Санчо: у тех, которые садятся на корабли в Кадисе и отправляются в Ост-Индию, существует примета, по которой они узнают, что уже миновали упомянутую мною линию равноденствия: у них разом подымают вши, сколько бы их ни было, так что потом их на всем корабле ни за какие деньги не сыщешь. А потому, Санчо, поищи-ка у себя на ляжке; коли найдешь какое-нибудь живое существо, то сомнения наши отпадут сами собой, а если не найдешь, значит, мы эту линию уже миновали.

– Нипочем я этому не поверю, – объявил Санчо. – Конечно, я исполню приказание вашей милости, но все-таки не могу взять в толк, зачем нужны такие опыты, коли я

---

<sup>1</sup> *Рифейские горы* – различные авторы древности по-разному представляли себе, где находятся эти горы. Большинство считало, что они расположены на далеком севере.

<sup>2</sup> *Астролябия* – угломерный прибор, употреблявшийся для определения положения небесных светил.

собственными глазами вижу, что мы не больше чем на пять локтей отъехали от берега и на два локтя не уклонились в сторону от той точки, где находится наша скотина, потому вон они, Росинант и серый, все на том же месте, и если прикинуть на глазок, как я сейчас делаю, то, ей-ей, мы движемся и продвигаемся вперед муравьиным шагом.

– Ты, Санчо, произведи лучше тот опыт, о котором я тебе говорил, а об остальном не заботься: ведь ты не знаешь, что такое большие круги, линии, параллели, зодиаки, эклиптики, полюсы, солнцестояние, равноденствие, планеты, знаки, точки пересечения и расположения светил в небесной и земной сферах. Вот если б ты все это знал или хотя бы даже часть, ты бы отдавал себе полный отчет в том, сколько параллелей мы уже пересекли, сколько знаков видели, сколько созвездий осталось у нас позади и сколько еще остается. И я тебе еще раз говорю: поищи у себя и полови – я убежден, что сейчас ты чище, чем лист белой и гладкой бумаги.

Санчо стал у себя искать и, тихохонько проведя рукой по левой ноге и пощупав под коленкой, поднял голову, взглянул на своего господина и сказал:

– Или этот опыт здесь ни при чем, или мы еще очень далеко от того места, о котором вы говорите.

– Как так? – спросил Дон Кихот. – Разве ты нашел хоть одну?

– Да не одну, а *одних!* – вскричал Санчо. Тут он стряхнул нечто с пальца и сполоснул руку в воде, между тем лодка медленно скользила по реке, и влекла ее вовсе не какая-нибудь таинственная сила или незримый волшебник, а просто-напросто тихое в ту пору и спокойное течение.

В это самое время глазам их явились большие мельницы, стоящие посреди реки, и, едва увидев их, Дон Кихот громким голосом сказал Санчо:

– Смотри, смотри! Вон там, друг мой, виднеется то ли город, то ли замок, то ли крепость, в которой, уж верно находится заключенный рыцарь, а может стать, некая униженная королева, инфанта или принцесса, и вот ради того, чтобы оказать им помощь, я сюда и доставлен.

– О каком, черт побери, городе, о какой крепости и о каком замке вы, государь мой, толкуете? – возопил Санчо. – Разве вы не видите, что это водяные мельницы, на которых мелют зерно?

– Молчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле, – нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсинеи, о ней же все упование мое.

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала продвигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:

– Черти вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размолотило в пыль?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – молвил тут Дон Кихот, – что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько страшилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти Уроды. Ну, погодите же вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить мукомолам:

– Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице, все равно – какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. – Я – Дон Кихот Ламанчский, иначе

Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

Сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали неразумные его речи, но так и не поняли их и все пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в воронку, в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустил на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепы, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков, Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких уверток освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

– О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? – воскликнул один из мукомолов. – Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! – сказал себе Дон Кихот. – Стараться просьбами склонить эту сволочь на доброе дело – это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир – клубок козней и противоречивых устремлений. Я же ничего не могу в сем случае поделаться».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельницам, молвил:

– Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в это узилище, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столкнулся с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал весьма неохотно, заметив при этом:

– Еще одно такое катание в лодочке – и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и все не могли взять в толк, куда ведут речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.

## Глава XXX

*О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей*

В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились они к своим четвероногим, особенно Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался, а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега

славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо – в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улететь и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же – серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одеяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники – ее свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

– Беги, дружок Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо, не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

– Нашли какого уснастителя! – возразил Санчо. – Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

– За исключением того случая, когда я посылаю тебя к сеньоре Дульсинее, – заметил Дон Кихот, – я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере находясь на службе у меня.

– Ваша правда, – молвил Санчо, – а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

– Я в этом уверен, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнался серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

– Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, – это мой господин, а я – его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансою. Так вот этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблагволили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высокополетному соколичеству и великолепию, и вот, если такое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

– Поистине, добрый оруженосец, – молвила в ответ сеньора, – ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, – оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много слышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но всего более он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя – узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

– Скажи, любезный оруженосец: не о твоём ли господине написана книга под

заглавием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский* и не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

– Это он и есть, сеньора, – отвечал Санчо, – а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

– Все это меня весьма радует, – объявила герцогиня. – Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала об его посольстве. А как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее об его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним как со странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было подержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями злосчастного Санчо, которого нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те подняли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился – он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

– Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

– Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным, – возразил Дон Кихот. – Даже если б я низринулся на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

– Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! – молвил герцог. – Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

– Нельзя отрицать, напротив, должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слышал: то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора и герцогиня, право, не хуже моей хозяйки,

сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

– Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагуриющего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

– Если добрый Санчо – шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп, – людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо – шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

– И за болтуна, – примолвил Дон Кихот.

– Тем лучше, – подхватил герцог, – великое остроумие с немногословием не уживается. Ну, а сейчас, без лишних слов, милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

– *Рыцарь Львов*, должно говорить, ваша светлость, – ввернул Санчо, – кончились все эти образы да безобразы, – теперь только львы.

– Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок, – продолжал герцог, – он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогиней имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту тройцу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.

## Глава XXXI,

*повествующая о многих великих событиях*

Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в имении дона Дьего и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай наслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

Далее в истории говорится, что еще до того, как все приблизились к летнему дворцу, иначе говоря к замку, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, и когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

– Сблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

– Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они или почти все опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И тут уж он окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Санчо, бросивши серого, увязался было за герцогиней и прошмыгнул в замок, но его начала мучить совесть, что он оставил осла одного, и он приблизился к некоей почтенной дуэнье<sup>1</sup>, также вышедшей встречать герцогиню, и шепнул ей:

– Сеньора Гонсалес, или как вас там величают...

– Меня зовут доньей Родригес де Грихальба, – отвечала дуэнья. – Что тебе надобно, любезный?

Санчо же ей на это ответил так:

– Я бы хотел, чтоб ваша милость сделала мне такое одолжение; вышла за ворота замка, – там стоит мой серый ослик, так вот, будьте любезны, ваша милость, велите поставить его в стойло, а не то так сами поставьте: он у меня, бедняжка, слегка пуглив и ни в коем разе один не останется.

– Если и господин так же учтив, как его слуга, то нас можно поздравить! – заметила дуэнья. – Пошел отсюда, братец, чтоб тебе пусто было, – тебе и тому, с кем ты к нам явился, – и ухаживай сам за своим ослом, а дуэньи в этом замке такими делами не занимаются.

– Да ведь я, честное слово, слышал, – возразил Санчо, – как мой господин, а уж он по части разных историй собаку съел, рассказывал о Ланцелоте,

Из Британии прибывшем,

что, мол,

Фрейлины пеклись о нем,  
О коне его – принцессы,

а уж мой-то осел – не чета лошаденке сеньора Ланцелота.

– Вот что, братец, – молвила дуэнья, – если ты – шут, то побереги свои шуточки для тех, кому они придутся по вкусу и кто тебе за них заплатит, а от меня ты фигу получишь.

– Вот и отлично, – подхватил Санчо, по крайности, фигу будет очень даже зрелая: ведь по годам-то она, я думаю, как раз ваша ровесница!

– Дрянь паршивая! – вспыхнув гневом, вскричала дуэнья. – Стара я или молода – в этом я дам отчет богу, а не тебе, мошенник, грязный мужик!

Произнесла она эти слова столь громко, что герцогиня ее услышала, оглянулась и, увидев, что у дуэньи глаза налились кровью от злости, спросила, что это значит.

– А то, что этот молодчик, – отвечала дуэнья, – пристал ко мне, чтоб я отвела в конюшню его осла, которого он бросил у ворот, и привел в пример каких-то фрейлин, неизвестно где служивших какому-то Ланцелоту, между тем как дуэньи будто бы ухаживали за его скакуном, и в довершение всего ни за что ни про что обозвал меня старухой.

– Я лично почла бы это за самое тяжкое оскорбление, – заметила герцогиня.

И, обратясь к Санчо, примолвила:

– Прими в рассуждение, любезный Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и покрывало носит она не по причине преклонных лет, а для вящего почета и по обычаю.

– Не видать мне счастья, если я хотел сказать ей что-нибудь обидное, – заговорил Санчо, – я ей сказал это единственно потому, что уж очень я обожаю моего ослика, и мне показалось, что его можно вверить попечениям только такой сердобольной особы, какова

---

<sup>1</sup> Дуэнья – обычно пожилая женщина, чаще всего вдова из обедневшей дворянской семьи, поступавшая в услужение к богатой и родовитой женщине.

сеньора донья Родригес.

Дон Кихот все это слышал.

– Санчо! Это ли место для подобных разговоров? – сказал он наконец.

– Сеньор! – отвечал Санчо. – Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей нужде: я на этом самом месте вспомнил об осле и на этом самом месте о нем заговорил, а вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил.

Герцог же на это сказал:

– Санчо весьма здраво рассуждает, и не виноват он ни в чем. Ослик будет накормлен досыта, так что Санчо может не беспокоиться: за его любимцем будут ухаживать, как за ним самим.

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихота, ему предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценною парчою и златоткаными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи, – все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилие, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатались со смеху.

Затем прислужницы попросили Дон Кихота раздеться донага, чтобы они могли переменить на нем сорочку, но он этому решительно воспротивился, объявив, что благопристойность так же подобает странствующим рыцарям, как и храбрость. Со всем тем он попросил передать чистую сорочку Санчо и, запершись с ним в другом покое, где находилось роскошно убранное ложе, разделся и переменял сорочку; оставшись же наедине с Санчо, он обратился к нему с такими словами:

– Отвечай, новорожденный шут и исконный дурачина: как ты смел бесчестить и оскорблять почтенную и достойную всяческого уважения дуэнью? Разве ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером, и неужели ты думаешь, что сеньоры, которые оказали нам столь пышный прием, не позаботились бы о наших животных? Ради бога, Санчо, совладай ты с собою и не выставляй на погляденье своей пряжи, а то все догадаются, что ты сработан из грубой деревенской ткани. Помни, греховодник, что господа пользуются тем большим уважением, чем добропорядочнее и благовоспитаннее их слуги, и что одно из главных достоинств, коими принц отличается от остальных людей, состоит в том, что слуги его так же хороши, как и он сам. Горе мне с тобой, никудышный ты человек, неужели ты не понимаешь, что если все признают тебя за грубого мужика и придурковатого шута, то подумают, что я жулик и обманщик? Нет, нет, друг Санчо, остерегайся подобных неприятностей. Кто не знает меры в болтовне и острологии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество. Обуздай свой язык. Обдумывай и взвешивай каждое слово, прежде нежели оно изойдет у тебя из уст, прими в соображение, что мы попали наконец в такое место, где с помощью господ бога и моей доблести мы приумножим нашу славу и достояние.

Санчо твердо обещал во исполнение господской воли зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хотя одно неуместное и необдуманное слово; можно, дескать, не беспокоиться: никто по его поведению не поймет, что они за люди.

Дон Кихот переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей, и с ними дворецкий, дабы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно



и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерилось их собственным духовным убожеством; из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов, – вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четвою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня – справа и слева от него.

При сем присутствовавший Санчо был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину; и когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал:

– Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.

При этих словах Дон Кихот вздрогнул, – по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, все понял и сказал:

– Не бойтесь, государь мой, что я отклонюсь от моего предмета или же брякну что-нибудь совсем неподходящее, – я еще не позабыл давешних советов вашей милости насчет того, как должно говорить, много или мало, хорошо или худо.

– Я этого не помню, Санчо, – сказал Дон Кихот, – говори что хочешь, но только покороче.

– Так вот, – продолжал Санчо, – я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, все равно не даст мне соврать.

– По мне, – отозвался Дон Кихот, – ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать.

– Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.

– Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, – сказал Дон Кихот, – а то он бог знает чего наговорит.

– Клянусь жизнью моего мужа, – сказала герцогиня, – что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.

– Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил, – объявил Санчо. – А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо, и женатый на донье Менсии де Киньонес, дочке дон Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена святого Иакова, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого назад тому несколько лет в нашем селе началась ссора, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро. Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что – правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.

– До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, – вмешался духовник, – впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.

– Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты этак не кончишь и через два дня.

– Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, – возразила герцогиня, – напротив, пусть рассказывает, как умеет, хотя бы не кончил и за шесть дней, если же ему, и в самом деле, столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей

жизни.

– Итак, государи мои, – продолжал Санчо, – этого самого идадьго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома – рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина.

– Поскорей, братец, – прервал его тут священник – если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.

– Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать, – отрезал Санчо. – Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идадьго, царство ему небесное, – ведь он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...

– Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеке и обойдись без погребения идадьго, а то пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.

– Ну так вот, – продолжал Санчо, – собираются они оба садиться за стол, – я их как сейчас вижу...

Великое удовольствие доставляло герцогской чете то приметное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.

– Так вот, – продолжал Санчо, – пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идадьго, а идадьго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет, однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он – ни за что; наконец идадьго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.

У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяйева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:

– Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?

– Не знаю, – вмешался Санчо Панса, – мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуска. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.

– А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? – спросил герцог.

– Еще бы не видел! – отвечал Санчо. – А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!

Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:

– Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким ваша светлость себе его представляет, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.

Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:

– Послушайте, вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и помните мое слово: возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче – душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?

Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...

Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.

## Глава XXXII

*О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных и забавных*

Итак, Дон Кихот вскочил, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:

– То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и уважение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашей милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душеспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время, – во всяком случае, порицая меня во всеулышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать – тридцать миль в окружности, чтобы так, с налету, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение – странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмыслимое для себя бесчестие, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я – рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи – дорогою лукавого лицемерия, четвертые – стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездой, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь – платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того,

кто так думает, так поступает и так говорит.

– Ей-богу, здорово сказано! – воскликнул Санчо. – И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправдание, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?

– А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? – спросил духовник.

– Я самый, – отвечал Санчо, – и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь, сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне – губернатором.

– Разумеется, друг Санчо, – прервал его тут герцог, – из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.

– На колени, Санчо! – сказал Дон Кихот. – Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:

– Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.

И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:

– Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, великолепно за себя постояла, и теперь вам уже нет смысла требовать удовлетворения за слова, только кажущиеся обидными, но на самом деле таковыми отнюдь не являющиеся, ибо ваша милость лучше меня знает, что как женщины, так и духовные лица никого обидеть не могут.

– Ваша правда, – заметил Дон Кихот, – и это потому, что тот, кого нельзя обидеть, не может обидеть другого, а как женщины, дети и духовные лица не могут обороняться, если кто-нибудь на них нападет, то и не должны они почитать себя оскорбленными. Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением: оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует, меж тем как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного. Вот вам пример: идет по улице некто, ровно ничего не подозревая, как вдруг на него нападают десять злоумышленников и избивают его палками, он выхватывает шпагу, дабы исполнить свой долг, но численный перевес на стороне противников, и он принужден отказаться от своего намерения, то есть от мести, – такого человека можно назвать обиженным, но не оскорбленным. Поясню ту же самую мысль на другом примере: идет человек, вдруг кто-то сзади к нему подходит, бьет его палкой и, не мешкая ни секунды, убегает, тот бросается за ним, но догнать не может, – так вот, о потерпевшем можно сказать, что его обидели, но не оскорбили, ибо в нанесении оскорбления должно упорствовать. Вот если бы тот, кто, пусть даже сначала из-за угла, накинулся на прохожего с палкой, выхватил, не сходя с места, шпагу и встретился с ним лицом к лицу, то в сем случае пострадавшего можно назвать и обиженным и оскорбленным одновременно. Обиженным, потому что на него напали вероломно, оскорбленным, потому что нанесший оскорбление упорствовал в содеянном и не обращался в бегство, а стоял на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитать себя обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, а следовательно, им незачем ни убегать, ни останавливаться, и так же точно обстоит со священнослужителями, ибо и у тех, и у других, и у третьих нет ни оружия, ни

доспехов, – обороняться они, естественно, обязаны, но не обязаны на кого бы то ни было нападать. Я только что сказал, что могу почитать себя обиженным, но теперь признаю, что вовсе нет, ибо кого нельзя оскорбить, тот не может нанести оскорбление другому, по каковой причине я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, – я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.

– Это уж наверняка, – подхватил Санчо, – рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что, если б Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человечки, – крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ним схватиться, сам был бы не рад.

Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки, одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя белоснежными и роскошными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в белых своих руках (а руки у нее и точно были белые) круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Дон-Кихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай – мыть не руки, а бороду; того ради он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взметая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится необыкновенное это омовение. Между тем девушка-брадомойка, густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.

Присутствовавшие, а их было немало, все, как один, воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на пол-аршина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие – посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великим бережением сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:

– А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.

Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово в случае, если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость, но они искупили вину свою тем, что благо разумно согласились вымыть с мылом и герцога.

Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:

– Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма

существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.

– Что ты там бормочешь, Санчо? – спросила герцогиня.

– Я вот что говорю, сеньора, – отвечал он, – мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи – век учись, впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете – больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться – это не горе, а одно удовольствие.

– Не кручинься, друг Санчо, – молвила герцогиня, – я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и выстирали.

– Я бы и за одну только бороду спасибо сказал, – возразил Санчо, – пока что этого довольно, а там как господь даст.

– Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? – сказала герцогиня. – Вам надлежит в точности исполнить его желание.

Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.

Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской, – если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожести, то должно думать, что это – прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:

– Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи? Подобная задача мне не по плечу, это было бы делом, достойным кисти Паррасия<sup>1</sup>, Тиманта<sup>2</sup> и Апеллеса<sup>3</sup> или резца Лисиппова<sup>4</sup> – изобразить ее на полотне или же изваять из мрамора и меди, а дабы восславить ее, потребно красноречие Цицероново и Демосфенское.

– Что значит Демосфенское, сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Я никогда такого слова не слыхала.

– *Демосфенское* красноречие – это все равно что красноречие Демосфена, – отвечал Дон Кихот, – слово же *Цицероново* красноречие происходит от Цицерона, – это два величайших оратора в мире.

– Справедливо, – заметил герцог. – Задав этот вопрос, вы, герцогиня, обнаружили свою неосведомленность. Однако ж со всем тем, сеньор Дон Кихот, вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.

– Я бы, разумеется, сделал такой набросок, – молвил Дон Кихот, – когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что назад тому несколько дней я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы в уродину, из ангела в черта, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из степенной в попрыгунью, из светозарной в исчадь тьмы, одним словом, из Дульсинеи Тобосской в поселянку

---

1 *Паррасий* – греческий живописец (вторая половина V в. до н.э.).

2 *Тимант* – греческий живописец (IV в. до н.э.).

3 *Апеллес* – выдающийся греческий живописец (вторая половина IV в. до н.э.).

4 *Лисипп* – греческий скульптор и литейщик (вторая половина IV в. до н.э.).

откуда-нибудь из Сайяго.

– Боже мой! – вскричал тут герцог. – Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей красоту, которой они так восхищались, веселость, которая их развлекала, и благопристойность, которая возвышала их в собственных глазах?

– Кто? – переспросил Дон Кихот. – Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму – это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы – это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.

– Все это бесспорно, – заметила герцогиня, – но если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она – существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.

– По этому поводу много можно было бы сказать, – возразил Дон Кихот. – Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена, – в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а именно: она – безупречная красавица, величавая, но не надменная, в любви пылкая, но целомудренная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности и, наконец, бесподобная в силу своей родовитости, ибо на благородной крови расцветает и произрастает красота, достигающая более высоких степеней совершенства, нежели у низкого происхождения красавиц.

– Ваша правда, – заметил герцог, – однако ж позвольте мне, сеньор Дон Кихот, высказать ту мысль, на которую меня навела история ваших подвигов: допустим, что Дульсинея действительно существует и живет в Тобосо или же где-нибудь в другом месте и что она так прекрасна, как вы ее изображаете, однако в смысле знатности она не выдерживает сравнения с Орианой, Аластрахареей, Мадасимой и прочими им подобными дамами, о которых мы читаем на каждой странице хорошо известных вам романов.

– На это я вам скажу, – снова заговорил Дон Кихот, – что Дульсинею должно судить по ее делам, что кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает хуродный праведник, нежели знатный грешник. Между тем Дульсинея обладает таким гербом, благодаря которому она может стать полновластною королевою: достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить чудеса необыкновенные и если не явно, то, по крайней мере, в скрытом состоянии заключают в себе наивысшее благополучие.

– Я вижу, сеньор Дон Кихот, – заметила герцогиня, – что каждое ваше слово есть плод размышлений долгих, вы, как говорится, смотрите в глубь вещей, и теперь я вполне верю и заставлю поверить всех домашних моих и даже, в случае надобности, самого герцога, моего повелителя, что есть в Тобосо такая Дульсинея, что она здравствует и поныне, что она прекрасна и родовита и что она вполне достойна, чтобы такой рыцарь, каков сеньор Дон Кихот, ей служил, а в моих устах это наивысшая похвала. Одно только обстоятельство все же меня смущает и вызывает несколько недоброжелательное чувство по отношению к Санчо Пансе. Смущает же меня вот что: в упомянутой книге говорится, что Санчо Панса, явившись к сеньоре Дульсинею с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна, и в довершение всего говорится, что зерно было низкого сорта, и это как раз и вызывает у меня

сомнение в знатности ее рода.

На это ей Дон Кихот ответил так:

– Государыня моя! Да будет известно вашему величию, что со мной всегда или почти всегда творятся вещи, совершенно непохожие на то, что со странствующими рыцарями обыкновенно случается, кто бы эти события ни направлял: неисповедимая воля рока или же коварство завистливого волшебника. Ведь уже установлено, что все или почти все славные странствующие рыцари обладали какой-либо счастливой особенностью: одного невозможно было заколдовать, других в силу непроницаемости их кожи нельзя было ранить, как, например, славного Роланда, одного из Двенадцати Пэров Франции, – о нем существует предание, что его нельзя было никуда поразить, кроме пятки левой ноги, и никаким другим оружием, кроме острия толстой булавы, так что когда Бернардо дель Карпью одолел его в Ронсевале, то, удостоверившись, что булат над ним не властен, и вспомнив, как Геркулес умертвил Антея, свирепого великана и якобы сына Земли, он поднял Роланда на руки и задушил. Из этого я делаю вывод, что, может статься, я тоже обладаю какой-нибудь такой особенностью, но только, во всяком случае, не неуязвимостью, – я многократно убеждался на опыте, что кожа у меня нежная и весьма уязвимая, – и не неподвластностью волшебным чарам, ибо однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила, кроме волшебства, не могла бы меня заточить, но коль скоро я все же вышел на свободу, то хочется думать, что никакие новые чары мне уже не повредят, и по сему обстоятельству волшебники, видя, что их козни на меня не действуют, вымещают свою злобу на той, что мне дороже всего: они глумятся над Дульсинеей, ради которой я только и живу на свете, и таким образом пытаются свести меня в могилу, и это дает мне основание полагать, что когда мой оруженосец явился к ней от меня с поручением, то они превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна. Впрочем, как я уже имел случай заметить, то были не зерна, но перлы Востока, и в доказательство того, что это истинная правда, я хочу вам сказать, ваши высочества, что недавно я был в Тобосо, но так и не нашел дворца Дульсинеи, а на другой день она явилась оруженосцу моему Санчо в подлинном своем облике, то есть в облике первой красавицы во всем подлунном мире, а предо мной она предстала в виде невоспитанной, безобразной и не весьма рассудительной сельчанки, хотя на самом деле она вмещает в себе всю мудрость мира. И коль скоро я не заколдован и, если вдуматься, не могу быть заколдован, то, следовательно, заколдованною, оскорбленною, превращенною, искаженною и подмененною является она, и на ней выместили злобу мои недруги, вот почему я буду всечасно ее оплакивать до той поры, пока она не явится предо мною в первоначальном своем состоянии. Все это я говорю для того, чтобы рассказ Санчо о Дульсинее, просеивающей и провеивающей зерно, никого не смущал: ведь если она предстала подмененною предо мной, то не удивительно, что искаженною явилась она и пред ним. Дульсинея – знатного и благородного происхождения, удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Тобосо, ибо только благодаря несравненной Дульсинее град сей и станет знаменит и прославится в веках, подобно как Трою прославила Елена, а Испанию – Кава, только слава Дульсинеи будет еще громче и доброкачественнее. Еще надобно вам сказать, ваши светлости, что Санчо Панса – самый уморительный из всех оруженосцев, когда-либо странствующим рыцарям служивших. Простоватость его бывает подчас весьма остроумною, и угадывать, простоват он или же себе на уме, немалое доставляет удовольствие. Некоторые его хитрости обличают в нем плута, иные оплошности заставляют думать, что он глупец. Он во всем сомневается и всему верит. Иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга, – одним словом, я не променял бы его ни на какого другого оруженосца, хотя бы в придачу мне предлагали целый город. И все же я сомневаюсь, стоит ли посылать его управлять островом, который ваше величие ему пожаловало, хотя и вижу в нем известные способности к управлению, – ему бы только хорошенько прочистить мозги, и тогда он управится с любым губернаторством не хуже, чем король с податями. Тем более мы знаем по долгому опыту: для того, чтобы быть



губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености, – сколько таких губернаторов, которые и читают-то по складам, а насчет управления сущие орлы! Важно, чтобы они были преисполнены благих намерений и чтобы они добросовестно относились к делу, советники же и наставники у них всегда найдутся: ведь неученые губернаторы из дворян вершат суд непременно с помощью заседателя. Я бы, со своей стороны, посоветовал Санчо взятку не брать, но и податей не упускать, и еще кое-что я берегу про запас, и в свое время все это будет мною изложено – на пользу Санчо и на благо острова, коим он призван управлять.

Такую беседу вели между собой герцог, герцогиня и Дон Кихот, как вдруг за дверью послышались громкие крики и шум, и вслед за тем в залу ворвался перепуганный насмерть Санчо, у которого вместо салфетки подвязан был мешок со щелочью и который подвергался преследованию множества челядинцев, точнее сказать – поварят и прочих людишек, причем один из них тащил лохань с водой, в которой, судя по ее цвету и не весьма чистому виду, вероятно, мыли посуду; поваренок этот гнался за Санчо по пятам и изо всех сил старался подставить ему лохань под самый подбородок, а другой был одержим стремлением вымыть ему бороду.

– Что это значит, друзья мои? – спросила герцогиня. – Что это значит? Что вы пристали к этому доброму человеку? Вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадомой ответил ей так:

– Этот сеньор не желает мыться, а ведь у нас таков обычай, – сам герцог и его же собственный господин только что мылись.

– Нет, желаю, – в сильном гневе вымолвил Санчо, – но только мне бы хотелось, чтоб полотенца были почище, вода попрозрачнее и чтоб руки у них были не такие грязные: ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтоб его омывали святой водицей, а меня окатывали чертовыми этими помоями. Обычаи разных стран и княжеских палат тогда только и хороши, когда они не причиняют неприятностей, ну, а этот обряд омовения, который здесь установлен, хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и в подобном освежении я не нуждаюсь, а кто посмеет меня мыть или же коснуться волоса на моей голове, то есть бороде, тому я, извините за выражение, башку сворочу на сторону, потому все эти антимонии, то бишь церемонии, с намыливанием больше смахивают на издевательство, чем на уход за гостями.

Видя гнев Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху, однако ж Дон Кихот не пришел в восторг от того, что на Санчо вместо полотенца красовалась грязная тряпка и что кухонная челядь над ним насмеялась, а посему, отвесив их светлостям глубокий поклон в знак того, что желает держать речь, он голосом, исполненным решимости, заговорил, обращаясь ко всей этой шушере:

– Эй вы, милостивые государи! Оставьте парня в покое, ступайте, откуда пришли или же куда вам вздумается! Оруженосец мой не грязнее всякого другого, и эта лоханка – совершенно неподходящий и унижительный для него сосуд. Послушайтесь моего совета – оставьте его, ибо ни он, ни я подобных шуток не любим.

Санчо подхватил и развил его мысль:

– Так только с бездомными бродягами можно шутить. Не будь я Санчо Панса, коли я это стерплю! Принесите гребенку или что-нибудь вроде этого и поскребите мне бороду, и если найдете в ней что-либо оскорбляющее вашу чистоплотность, то пусть меня тогда «лесенкой» остригут.

Тут, все еще смеясь, заговорила герцогиня:

– Санчо Панса прав во всем; что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он – чистый и, по его словам, в мытье не нуждается, и коль скоро обычай наш ему не по душе, то вольному воля. Вы же, блюстители чистоты, поступили необдуманно и опрометчиво, чтобы не сказать – дерзко, предложив такой особе, да еще с такой бородой, вместо таза и кувшина из чистого золота и полотенца немецкой работы какие-то лоханки, деревянные корыта и полотенца для вытирания посуды. Впрочем, вы людишки дрянные и дурно воспитанные и настолько подлы,

что не можете скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонных дел мастера, но и сам дворецкий подумал, что герцогиня не шутит, а потому они сняли с Санчо тряпку и, смущенные, отчасти даже пристыженные, оставили его в покое и удалились, Санчо же, видя, что эта довольно грозная, в его представлении, опасность миновала, опустился перед герцогиней на колени и сказал:

– От великих сеньор великие и милости, вы же, ваша светлость, изволили оказать мне такую, что я могу отплатить за нее не иначе, как изъявив готовность быть посвященным в странствующие рыцари, чтобы потом до конца дней моих служить столь высокой сеньоре. Я – крестьянин, зовут меня Санчо Пансою, я женат, у меня есть дети, служу я оруженосцем, и если хоть что-нибудь из этого может вашему величию пригодиться, то вам стоит только приказать – и я к услугам вашей светлости.

– Сейчас видно, Санчо, что ты учился быть вежливым в школе самой учтивости, – заметила герцогиня, – сейчас видно, хочу я сказать, что тебя взлелеял на своей груди сеньор Дон Кихот, а он, разумеется, верх учтивости и образец церемоний или же, как ты выражаешься, антимоний. Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один – путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой – светоч для всех верных оруженосцев. Встань, друг Санчо, за свои учтивости ты будешь вознагражден: я попрошу герцога, моего повелителя, чтобы он как можно скорее пожаловал тебе обещанное губернаторство.

На этом разговор кончился, и Дон Кихот пошел отдохнуть после обеда, а герцогиня обратилась к Санчо с просьбой, если только, мол, ему не очень хочется спать, побыть с нею и с ее горничными девушками в весьма прохладной зале. Санчо ответил, что хотя летом он, сказать по совести, привык спать после обеда часиков пять кряду, однако ж, дабы отблагодарить герцогиню за ее доброту, приложит все усилия, чтобы исполнить ее повеление и не спать сегодня вовсе, и с этими словами удалился. Герцог же снова наказал слугам своим обходиться с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и твердо придерживаться того чина, который будто бы соблюдали странствующие рыцари стародавних времен.

## Глава XXXIII

*О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо, достойной быть прочитанною и отмеченною*

Итак, в истории сказано, что Санчо после обеда не отдыхал, что он сдержал свое слово и, пообедав, явился к герцогине, герцогиня же, предвкушая удовольствие послушать его, предложила ему сесть подле нее на низенький табурет, однако же Санчо, как человек в полном смысле слова благовоспитанный, от этой чести отказался, но герцогиня объявила, что он волен сидеть, как губернатор, а говорить, как оруженосец, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сида Руй Диаса Воителя<sup>1</sup>. Санчо пожал плечами и покорно сел, все же дуэньи и горничные девушки герцогини окружили его и, совершенное храня молчание, со вниманием приготовились слушать, однако ж герцогиня заговорила первая и начала так:

– Сейчас мы одни, никто нас не слышит, и мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, явившиеся у меня при чтении недавно вышедшей в свет истории великого Дон Кихота. Одно из этих сомнений заключается в следующем: коль скоро добрый Санчо ни разу Дульсинею не видел, то есть, виновата: сеньору Дульсинею Тобосскую, и письма от сеньора Дон Кихота ей не передавал, потому что оно осталось в записной книжке в Сьерре Морене, то как же он позволил себе сочинить за нее ответ и выдумать,

---

<sup>1</sup> ...кресло... Сида Руй Диаса Воителя – мраморное кресло, которое, согласно преданию, Руй Диас (см. примеч. к гл. XIX первой части «Дон Кихота») захватил в числе других трофеев при отвоевании Валенсии у мавров.

будто он застал ее за просеиванием зерна? Ведь все это ложь и обман и только порочит добрую славу несравненной Дульсинеи, а также роняет достоинство доброго оруженосца и не вяжется с долгом верности.

При этих словах Санчо Панса молча поднялся с табурета, согнулся в три погибели, приставил палец к губам и, заглядывая за все занавески, тихими шагами обошел залу; после этого он снова уселся и объявил:

– Вот теперь, государыня моя, когда я уверился, что никто, кроме присутствующих, нас украдкой не слушает, я безо всякого страха и волнения отвечу на ваш вопрос, а равно и на все, о чем бы вы меня ни спросили. Прежде всего я вам скажу: на мой взгляд, господин мой Дон Кихот – неизлечимо помешанный, хотя иной раз случается ему говорить такие правильные вещи и так вразумительно, что, по моему мнению, да и по мнению всех, кто бы его ни слушал, сам сатана лучше не скажет. Однако ж, если говорить по чистой совести и положить руку на сердце, то я совершенно уверен, что у него не все дома. А уж раз я это забрал себе в голову, то и осмеливаюсь внушать ему такое, что, право, на ногах не стоит, вроде ответа на письмо. А потом это самое, что было неделю назад, – оттого это и в книгу не попало, – насчет заколдованности сеньоры доньи Дульсинеи: ведь я уверил моего господина, что она заколдована, а это же чужья несусветная, сапоги всмятку.

Герцогиня попросила рассказать ей об этой проделке с колдовством, и Санчо рассказал все, как было, чем немало потешил слушателей, герцогиня же, продолжая начатый разговор, молвила:

– После того как я выслушала рассказ доброго Санчо, на душу мне пало новое сомнение, и некий голос мне шепчет: «Коль скоро Дон Кихот Ламанчский – сумасшедший, невменяемый и слабоумный, а его оруженосец Санчо Панса про то знает и, однако, продолжает состоять у него на службе, всюду сопровождает его и все еще верит неисполнимым его обещаниям, то, по всей вероятности, он еще безумнее и глупее своего господина. А когда так, то смотри, сеньора герцогиня, как бы ты не просчиталась, доверивши Санчо Пансе управление островом: ведь если он сам с собой не может управиться, то как же он будет управлять другими?»

– Ей-богу, сеньора, – отвечал Санчо, – сомнение это явилось у вас не зря, только скажите вашему голосу, чтоб он говорил погромче, а впрочем, как ему заблагорассудится, – я-то знаю, что говорит он дело: будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, и все тут: мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может. А ежели ваше высоколетство не соизволит пожаловать мне обещанный остров, стало быть, уж это господь бог сотворил меня таким незадачливым, а может, для души моей оно еще выйдет на пользу: я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица: «На беду у муравья крылья выросли», и пожалуй, что Санчо-оруженосец скорее попадет в рай, нежели Санчо-губернатор. Свет не клином сошелся на губернаторстве, да и потом: ночью все кошки серы, и разнесчастный тот человек, у кого до двух часов пополудни маковой росинки во рту не бывает, и так на свете не водится, чтоб у одного брюхо было на целую пядь шире, чем у другого, а набить-то его можно чем хочешь, как говорится: хоть соломою, хоть житом, а вот птичек небесных сам господь кормит и питает, и четыре аршина толстого куэнкского сукна лучше греют, чем четыре аршина тоненького сеговийского, а когда мы приказываем долго жить и нас закапывают в землю, то и принц и чернорабочий бредут по одинаково узкой тропе и тело римского папы занимает столько же места в могиле, сколько и пономаря, хотя тот гораздо выше этого: когда нас опускают в яму, все мы скорчиваемся и скрючиваемся, или, вернее, нас, хочешь не хочешь, скорчивают, скрючивают – и спокойной ночи! И я еще раз говорю: если ваша светлость не захочет пожаловать мне остров, потому как я глуп, то я и не охну и сойду за умника, и ведь я слышал, что за крестом стоит сам дьявол и не все то золото, что блестит, а ведь вот крестьянина Вамбу оторвали от волов<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> ...крестьянина Вамбу оторвали от волов. – Имеется в виду один из последних готских королей Вамба

плугов, ярма и сделали королем испанским, а Родриго оторвали от парчи, от богатств и утех и швырнули на съедение змеям, если только не врут старинные песни.

– Как так врут? – воскликнула дуэнья донья Родригес, находившаяся в числе слушательниц. – В одном романсе говорится, что короля Родриго живехонького опустили в яму, где кишели жабы, змеи и ящерицы, а через два дня из ямы донесся глухой его и жалобный голос:

Ох, грызут, грызут нещадно  
Грешную мою утробу! –

а коли так, если уж королей пожирают всякие гады, то этот сеньор вполне прав, что предпочитает остаться крестьянином.

Герцогиню насмешили простодушные речи дуэньи, рассуждения же и пословицы Санчо привели ее в изумление, и она сказала ему:

– Добрый Санчо, уж верно, знает, что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить даже ценою собственной жизни. Герцог, мой муж и повелитель, хотя и не из странствующих, а все же рыцарь, и того ради сдержит свое слово касательно обещанного острова наперекор зависти и злобе всего мира. Итак, Санчо, воспрянь духом: в один прекрасный день ты будешь возведен на престол своего острова и государства, примешь бразды правления и станешь жить, поживать да добра наживать. Единственно, что я вмению тебе в обязанность, это как можно лучше управлять своими вассалами: предуведомляю тебя, что все они – люди честные и благородные.

– Насчет того, чтобы управлять по-хорошему, меня просить не нужно, – объявил Санчо, – душа у меня добрая, и бедняков я жалею, а кто сами месяц да пекут, у тех краюхи не крадут, и, бог свидетель, при мне никто карты не передернет, я – старый воробей: меня на мякине не проведешь, я знаю, когда нужно ухо остро держать, и в грязь лицом не ударю, потому я знаю, где собака зарыта, и говорю я все это к тому, что для добрых людей я в лепешку расшибусь, а для дурных – вот бог, а вот порог. И сдается мне, что в управлении страной лиха беда – начало, и, может статься, неделки через две я так наловчусь губернаторствовать, что буду понимать в этом толк побольше, нежели в хлебопашестве, хоть я и хлебопашец от молодых ногтей.

– Твоя правда, Санчо, – заметила герцогиня, – ученым никто не родится, даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к тому, о чем мы только что говорили, а именно к заколдованности сеньоры Дульсинеи: мне представляется несомненным и более чем достоверным, что вся эта затея Санчо, вознамерившегося подшутить над своим господином и внушить ему, будто сельчанка – Дульсинея, а если, мол, он ее не узнаёт, так это потому, что она заколдована, – все это происки кого-нибудь из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота. Ведь мне из верных источников доподлинно и точно известно, что сельчанка, вспрыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская и что добрый Санчо, рассчитывая обмануть другого, сам дался в обман. И это так же не подлежит сомнению, как все то, что нам не дано видеть. К сведению сеньора Санчо Пансы, у нас тут тоже есть свои волшебники, которые нас любят и которые откровенно и правдиво, без уверток и обиняков, докладывают нам, что творится на белом свете. И пусть он мне поверит, что сельчанка-попрыгунья была и есть Дульсинея Тобосская и что она так же заколдована, как мы с вами, и в один прекрасный день она предстанет пред нами в подлинном своем обличье, и тогда Санчо поймет, как он заблуждался.

– Очень может быть, – снова заговорил Санчо, – и теперь уж я готов поверить всему, что мой господин рассказывал про пещеру Монтесиноса: будто бы он там видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом одеянии и наряде, в котором будто бы видел Дульсинею я, когда на меня вдруг нашла блажь ее заколдовать, нашла-то нашла, а обернулось все

---

(672–680), которому народное предание приписывало крестьянское происхождение, хотя он был из высшей знати.

по-другому, – уж верно, так, как вы, государыня моя, говорите, потому от моего темного умишка нельзя и не должно ожидать, чтоб он в один миг измыслил такую ловкую штуку, да и не настолько, думается, мой господин невменяем, чтобы мои шаткие и слабые доводы могли уверить его в том, что просто из ряду вон. Но все-таки, сеньора, пусть ваше добродушие не думает, что я человек зловредный: ведь такой чурбан, как я, не обязан видеть насквозь тайные мысли и каверзы распроклятых волшебников, – я все это придумал, чтоб избежать попреков сеньора Дон Кихота, а не затем, чтоб ему повредить, а коли вышло наоборот, то ведь бог там, на небе, *знает сердца наши*.

– И то правда, – заметила герцогиня. – А теперь скажи мне, Санчо, что это ты толковал про пещеру Монтесиноса? Мне весьма любопытно это знать.

Тут Санчо Панса во всех подробностях рассказал о приключении, описанном выше. Герцогиня же, выслушав его, сказала:

– Из этого происшествия можно сделать вот какой вывод: если досточтимый Дон Кихот утверждает, что видел там ту самую сельчанку, которую Санчо видел близ Тобосо, то, разумеется, это и есть Дульсинея, и, следственно, волшебники – народ в высшей степени шустрый и приткий.

– Вот и я то же говорю, – подхватил Санчо Панса, – коли сеньора Дульсинея Тобосская заколдована, то тем хуже для нее, а я не намерен связываться с недругами моего господина: их, поди, гибель, и все, как на подбор, злющие. Говоря по чистой совести, я видел крестьянку, и за крестьянку ее принял, и за крестьянку ее почитаю, а если это была Дульсинея, то я тут ни сном ни духом, и мне до этого никакого дела нет, иначе я рассержусь. Что это, в самом деле, так и ходят за мной по пятам, и все: «Шу-шу-шу, шу-шу-шу, Санчо сказал то-то, Санчо сделал то-то, Санчо пошел, Санчо пришел», как будто Санчо – это невесть кто, а не тот самый Санчо Панса, про которого весь свет узнал из книжек, – так, по крайности, мне говорил Самсон Карраско, а ведь он в Сала-манке всем бакалаврам бакалавр, а такие обыкновенно не врут, разве только им страх как захочется или уж очень понадобится. Так что пусть от меня отстанут, а коли слава обо мне добрая, – притом же я слышал от моего господина, что доброе имя дороже всякого богатства, – то приспособьте мне губернаторство, и вы увидите каких я чудес натворю, и то сказать: хороший оруженосец не может быть плохим губернатором.

– Все, что сейчас сказал добрый Санчо, – заметила герцогиня, – это изречения Катона или, по малой мере, отрывки из самого Микаэле Веррино, *florentibus occidit annis*<sup>1</sup>. В конце концов, выражаясь его же языком, можно сказать, что плохим плащом частенько укрывается хороший пьяница.

– Верное слово, сеньора, – сказал Санчо, – в жизнь свою не пил я из дурных побуждений, – от жажды, правда, случалось, потому ханжества этого самого во мне вот на столько нет: я пью, когда есть охота, а также когда ее нет и когда угощают, чтобы не прослыть ломакой или невежей. Ведь если твой приятель поднимает за тебя стакан, то разве не каменное сердце нужно иметь, чтобы не выпить за него? Но все-таки у меня душа меру знает, тем паче оруженосцы странствующих рыцарей большей частью пьют водичку, потому они все время таскаются по рощам, лесам, лугам, горам и утесам, а в таких местах, хоть тресни, глоточка вина нигде не добудешь.

– Я думаю! – молвила герцогиня. – Ну, а теперь, Санчо, ступай отдохни, потом мы еще более подробно обо всем поговорим и примем меры, чтобы тебе поскорее приспособили, как ты выражаешься, губернаторство.

Санчо опять поцеловал герцогине руки и попросил в виде особого одолжения позаботиться об его сером, ибо это, мол, свет его очей.

– О каком таком сером? – осведомилась герцогиня.

– О моем осле, – отвечал Санчо. – Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно говорю: «серый». Как скоро я вошел к вам в замок, я попросил вот эту самую сеньору

---

<sup>1</sup> Умершего во цвете лет (*лат.*) (цитата из стихотворения итальянского поэта Анджелло Полипиано на безвременную кончину другого итальянского поэта, Микаэле Веррино).

дуэнью за ним приглядеть, а она так на меня напустилась, словно я сказал, что она уродина или же старуха, а между тем дуэньям более свойственно и сродно ухаживать за скотиной, нежели красоваться в хоробах. Господи, до чего ж ненавидел этих особ один идальго, мой односельчанин!

– Верно, какой-нибудь мужлан, – ввернула донья Родригес, – будь он благовоспитанным идальго, он бы таких, как я, на руках носил.

– Ну, полно, перестаньте, – вмешалась герцогиня, – помолчите, донья Родригес, и ты, сеньор Панса, успокойся, – заботы о сером я беру на себя: уж если для Санчо это такая драгоценность, я буду беречь его как зеницу ока.

– Довольно, если вы будете беречь его просто, как осла, – возразил Санчо, – мы с моим ослом – люди простые, и мы лучше согласимся, чтоб нас кинжалом пырнули, нежели быть вам в тягость. Правда, мой господин говорит, что в изъяснении учтивости лучше пересолить, чем недосолить, а все-таки, когда речь идет об их ослейшествах, то здесь должно соблюдать меру и держаться середины.

– Возьми-ка ты осла с собой, Санчо, когда отправишься управлять, – сказала герцогиня, – там он у тебя будет в холе, и работать ему не придется.

– А что вы думаете, сеньора герцогиня? – сказал Санчо. – Я сам не раз видел, как посылали ослов управлять, так что если я возьму с собой своего, то никого этим не удивлю.

Слова Санчо снова рассмешили и позабавили герцогиню, и, послав его отдохнуть, она пошла к герцогу, чтобы передать ему весь этот разговор; и между ними двумя было решено и условлено, что они сыграют с Дон Кихотом отличную шутку, и притом совершенно в духе рыцарства; и они, правда, сыграли с ним не одну, а много подобных шуток, весьма уместных и острых, представляющих собою лучшие из приключений, какие только великая эта история в себе содержит.

## Глава XXXIV,

*в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге*

Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансою; и, утвердившись в намерении сыграть с ними шутку, которая отзывала бы и пахла приключением, порешили они, дабы устроить им приключение воистину славное, ухватиться за нить Дон-Кихотова повествования о пещере Монтесиноса (впрочем, герцогиню всего более восхищало простодушие Санчо, которое доходило до того, что он признал за непреложную истину, будто Дульсинея Тобосская заколдована, хотя сам же он выступал в качестве колдуна и сам же все это подстроил); и вот, через шесть дней по прибытии Дон Кихота в замок, герцог и герцогиня, отдавши слугам надлежащие распоряжения, повезли его на псовую охоту, в коей принимало участие столько загонщиков и выжлятников, сколько может быть разве на королевской охоте. Дон Кихоту предложили охотничий наряд, а равно и Санчо – зеленый, превосходного сукна, однако ж Дон Кихот от наряда отказался, объявив, что скоро ему предстоит возвратиться к суровой походной жизни и что он не имеет возможности возить с собой гардероб и всякие прочие пожитки. Санчо же взял платье в расчете продать его при первом случае.

Итак, в назначенный день Дон Кихот облачился в свои доспехи, а Санчо переоделся и верхом на сером, с которым он не пожелал расстаться, несмотря на то, что ему предлагали знатного коня, присоединился к загонщикам; затем вышла разряженная герцогиня, и Дон Кихот, как учтивый и любезный кавалер, не позволил герцогу ей помочь и тотчас же взял ее иноходца под уздцы. Наконец приблизились они к лесу, росшему между двух высоких гор, и, после того, как все лазы, стоянки и охотничьи домики были распределены и люди разошлись по разным местам, началась охота и поднялись невообразимый шум, гам и улюлюканье, так

что из-за лая собак и звука рогов люди не слышали друг друга.

Герцогиня сошла с коня и, держа в руках острый дротик, стала там, где, сколько ей было известно, имели обыкновение пробегать кабаны. Герцог и Дон Кихот также спешили и стали по правую и по левую ее руку; Санчо же выбрал себе место сзади нее, – он так и не слез с осла, коего не решался оставить из боязни, как бы с ним не вышло чего-нибудь худого; и едва лишь герцог, герцогиня и Дон Кихот со многочисленною прислугою спешили и выстроились в ряд, как вдруг прямо на них, весь в пене, щелкая зубами и клыками, вымахнул преогромный кабан, коего травили собаки и гнали выжлятники. При виде его Дон Кихот заградился щитом, выхватил меч и двинулся ему навстречу, герцог с дротиком в руках – за ним, а герцогиня, не удержав ее вовремя герцог, непременно опередила бы их обоих. Один лишь Санчо при виде большущего зверя соскочил с серого, сломя голову пустился бежать и попытался вскарабкаться на высокий дуб, но это ему не удалось; добравшись до середины дерева, он ухватился было за ветку, дабы затем достигнуть вершины, однако ж ему не повезло и не повезло, ибо ветка обломилась, и он полетел вниз, но, зацепившись за сук и не будучи в состоянии достать ногами до земли, повис в воздухе. Очувшись в таком положении, видя, что зеленое его полукафтанье трещит по всем швам, и вообразив, что если страшный зверь побежит в эту сторону, то непременно его достанет, он начал так громко кричать и так настойчиво звать на помощь, что все те, кто слышал его, но не видел, были уверены, что он в пасти у дикого зверя. Наконец клыкастый кабан, пронзенный множеством дротиков, рухнул; тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики, и увидел, что Санчо вверх ногами висит на дубу, а подле него стоит серый, не захотевший покинуть его в беде; и тут Сид Ахмет Бен-инхали замечает, что вообще редко можно было видеть Санчо Пансу без серого, а серого без Санчо – так велики были их взаимная преданность и дружеская привязанность.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, и как скоро Санчо почувствовал, что он свободен и что под ним твердая почва, то взглянул на порванное свое охотничье полукафтанье, и сердце у него сжалось, ибо он полагал, что такой наряд стоит целого состояния. Тем временем громадную кабанью тушу взвалили на мула, прикрыли ветками розмарина и мирта и, как победный трофей, доставили в обширную палатку, разбитую на лесной поляне; там уже были расставлены столы и приготовлена такая обильная и роскошная трапеза, что по ней одной можно было судить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине дыры на порванном своем платье и сказал:

– Если б мы охотились на зайцев или же на пташек, то я ручаюсь, что мое полукафтанье не имело бы такого вида. Не понимаю, что за удовольствие ожидать зверя, который коли пырнет клыком, так из вас душа вон. Помнится, в одной старинной песне есть такие слова:

Пусть медведями растерзан  
Будешь, как Фавила славный.

– Это романс о готском короле, – пояснил Дон Кихот, – его на охоте загрыз медведь.

– Я это и хотел сказать, – продолжал Санчо, – не люблю я, когда вельможи и короли подвергают себя таким опасностям будто бы ради удовольствия, да и удовольствия-то я никакого не нахожу в убийстве ни в чем не повинного животного.

– Нет, Санчо, ты ошибаешься, – возразил герцог, – нет занятия более подходящего и более необходимого для королей и вельмож, нежели псовая охота. Охота – это прообраз войны: на охоте также есть свои военные хитрости, засады и ловушки, дабы можно было без риска для себя одолеть противника. На охоте мы терпим и дикий холод, и палящий зной, презираем и сон и негу, укрепляем свои силы, упражняем наше тело, чтобы оно сделалось более гибким, – одним словом, это занятие вреда никому не причиняет, а удовольствие доставляет многим, наиболее же ценное свойство псовой охоты заключается в том, что она – не для всех, и это ее отличает от других видов охоты, за исключением, впрочем, соколиной,

которая также предназначена только для королей и знатных особ. Итак, Санчо, измени свое мнение, и когда будешь губернаторствовать, то выезжай на охоту, и ты сам увидишь, что это пойдет тебе на пользу.

– Ну уж нет, – возразил Санчо, – губернатор честный – сиди дома, и ни с места. Хорош бы он был: к нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу! Да этак у него все государство развалится! По правде вам скажу, сеньор: охота и всякие иные потехи – это скорей по части бездельников, нежели губернаторов. Я же для препровождения времени по большим праздникам буду играть в свои козыри, а по воскресеньям и в небольшие праздники – в кегли, а все эти охоты да чертохобты – не в моем духе, да и совесть мне этого не позволит.

– Дай бог, Санчо, чтобы так оно и было. На словах-то мы все, как на гусях.

– Что вы там ни говорите, – возразил Санчо, – а исправному плательщику залог не страшен, и не у того дело спорится, кто до свету встать не ленится, а кому от бога подмога, и ведь не ноги над брюхом начальники, а брюхо над ногами. Я хочу сказать, что если господь мне поможет и я честно буду исполнять свой долг, то, без сомнения, из меня выйдет орел, а не губернатор, мне палец в рот не клади!

– А, чтоб ты пропал, нечистая сила! – воскликнул Дон Кихот. – Когда же ты, Санчо, заговоришь без пословиц, плавно и связно, как я тебя столько раз учил? А вы, государи мои, лучше не трогайте этого болвана, он вам душу вымотает своими пословицами: у него их не две и не три, а невесть сколько, и приводит он их, дай бог ему здоровья, а заодно и мне, если только я соглашусь его слушать, всегда так вовремя и так кстати, что просто сил никаких нет.

– У Санчо Пансы еще больше пословиц, чем у Командора Греческого<sup>1</sup>, – заметила герцогиня, – и они обладают одним достоинством, которое ставит их ничуть не ниже Командоровых, а именно – краткостью. Мне лично пословицы Санчо даже больше нравятся, несмотря на то, что Командоровы удачнее применены и более подходят к случаю.

Беседуя о таких и им подобных занятных вещах, оставили они палатку и отправились в лес, и в осмотре охотничьих домиков и стоянок прошел у них весь день, и неприметно спустилась ночь, однако ж не та ясная и тихая ночь, какие обыкновенно стоят в эту пору, то есть в середине лета; между тем окутавшая предметы полумгла весьма благоприятствовала затее герцога и герцогини, и вот, когда сумерки сгустились, внезапно как бы со всех концов запылал лес, и вслед за тем справа и слева, там и сям послышались звуки множества рожков и других военных инструментов, словно по лесу двигалась неисчислимая конная рать. Сверкание огней и звуки военной музыки ослепили и оглушили всех присутствовавших, даже самих участников заговора. Затем со всех сторон стало доноситься: «Алла ил алла!», как обыкновенно кричат мавры, когда бросаются в бой, зазвучали трубы и кларнеты, забили барабаны, запели флейты, все почти в одно время, неумолчно и громко, так что только бесчувственный человек мог бы не впасть в бесчувствие при нестройных звуках стольких инструментов. Герцог оцепенел, герцогиня была поражена, Дон Кихот пришел в изумление, Санчо Панса затрясся, даже участники заговора – и те испугались. От страха никто не мог вымолвить слова, и тут перед ними предстал гонец: одет он был чертом, а вместо корнета у него был невероятных размеров, с огромным отверстием рог, издававший хриплые и зловещие звуки.

– Гей, любезный гонец! – окликнул его герцог. – Кто ты таков, куда путь держишь и что это за войско словно бы движется по лесу?

На это гонец громовым и ужасным голосом ответил так:

– Я – дьявол, я ищу Дон Кихота Ламанчского, а по лесу едут шесть отрядов волшебников и везут на триумфальной колеснице несравненную Дульсиною Тобосскую. Она едет сюда заколдованная, вместе с храбрым французом Монтесином, дабы уведомить Дон

---

<sup>1</sup> *Командор Греческий* – Имеется в виду командор ордена Сантьяго Фернан Нуньес де Гусман, составитель сборника пословиц, преподаватель греческого языка в университетах, прозванный за это Греческим командором.



Кихота, каким образом можно ее расколдовать.

– Когда б ты был дьявол, как ты уверяешь и как это можно заключить по твоей образине, ты бы уж давно догадался, что рыцарь Дон Кихот Ламанчский – вот он, перед тобой.

– Клянусь богом и своею совестью, я его не заметил, – молвил дьявол, – у меня так забита голова, что главное-то я и упустил из виду.

– Стало быть, этот черт – человек почтенный и добрый христианин, – заметил Санчо, – иначе он не стал бы клясться богом и своею совестью. Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей.

Тут дьявол, не сходя с коня, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал:

– К тебе, Рыцарь Львов (чтоб ты попал к ним в когти!), послал меня злосчастный, но отважный рыцарь Монтесинос и велел передать, чтобы ты дожидался его на том самом месте, где я с тобою встречу: он везет с собою так называемую Дульсинею Тобосскую и должен тебе поведать, что должно предпринять, дабы расколдовать ее. А как не о чем мне больше с тобой разговаривать, то и незачем мне тут оставаться. Итак, значит, черти – с тобой, такие же точно, как я, а с вами, сеньоры, – добрые ангелы.

Произнеся эти слова, он затрубил в свой чудовищный рог и, не дожидаясь ответа, поворотил коня и исчез.

Все снова пришли в изумление, особенно Санчо и Дон Кихот: Санчо – оттого, что все наперекор истине в один голос твердили, что Дульсинея заколдована, Дон Кихот же – оттого, что он сам не был уверен, точно ли происходили с ним разные события в пещере Монтесиноса. И он все еще занят был этими мыслями, когда герцог спросил его:

– Вы намерены дожидаться, сеньор Дон Кихот?

– А как же иначе? – отвечал Дон Кихот. – Если даже на меня весь ад ополчится, я все равно буду ждать – бесстрашно и неколебимо.

– Ну, а если мне доведется увидеть еще одного черта и услышать другой такой рог, – объявил Санчо, – то я уж буду дожидаться где-нибудь во Фландрии.

Тем временем стало совсем темно, и в лесу замелькали огоньки, подобно как в небе мелькают сухие испарения земли, которые нашему взору представляются падающими звездами. Вслед за тем послышался страшный шум, как бы закрипели колеса телег, запряженных волами; говорят, будто бы это немолчное и пронзительное скрипение пугает даже волков и медведей. К этому бедствию присоединилось новое, горше прежнего, а именно: присутствующим показалось, будто на всех четырех концах леса одновременно происходят стычки и сражения, ибо вон в той стороне раздавался тяжкий и устрашающий грохот орудий, там шла частая стрельба из мушкетов, где-то совсем близко слышались клики бойцов, издали долетали непрекращавшиеся вопли мавров: «Алла ил алла!» Одним словом, корнеты, охотничьи рога, рожки, кларнеты, трубы, барабаны, пушки, аркебузы, а главное, ужасный скрип телег – все сливалось в такой нестройный и потрясающий гул, что Дон Кихоту, дабы не дрогнуть, пришлось собрать все свое мужество, меж тем как Санчо оплошал и без чувств рухнул прямо на юбки герцогини, – та прикрыла его и велела как можно скорее брызнуть ему в лицо водой. Его сбрызнули, и очнулся он как раз в ту минуту, когда показалась одна из повозок на скрипучих колесах.

Повозка тащилась четверкою ленивых волов покрытых черными попонами; к рогам каждого из них был привязан большой горящий факел из воска, а на самой колеснице было устроено высокое сиденье, на котором расположился маститый старец с длинною, ниже пояса, бородою белее снега, одетый в широкую хламиду из черного холста; колесница была ярко освещена, а потому различить и заметить все, что на ней было, не составляло труда. Обязанности возницы исполняли два безобразных демона, облаченные в такие же холщовые балахоны, и рожи у них были до того мерзкие, что Санчо, едва взглянув, тотчас зажмурился, чтобы больше их не видеть. Как же скоро колесница поравнялась со стоянкой, маститый старец поднялся со своего высокого сиденья и, вытянувшись во весь рост, громогласно возопил:

– Я – мудрец Лиргандей<sup>1</sup>!

Больше он ничего не сказал, и колесница покатила дальше. Затем показалась другая такая же колесница со старцем на троне; старец подал знак, колесница остановилась, и тогда он не менее торжественно, чем первый, возгласил:

– Я – мудрец Алкиф, искренний приятель Урганды Неуловимой!

И поехал дальше.

Вслед за тем таким же образом подъехала третья колесница, однако же на сей раз на троне восседал не старец, а ражий детина с разбойничьей физиономией; подъехав, он поднялся с места, как и те двое, и еще более хриплым и злобным голосом произнес:

– Я – волшебник Аркалай, заклятый враг Амадиса Галльского и всех сродников его!

И поехал дальше. Отъехав немного в сторону, все три колесницы остановились, докучный скрип колес прекратился, в лесу воцарилась совершенная тишина, и тогда послышались звуки музыки, нежные и согласные, отчего Санчо возликовал, ибо почел это за доброе предзнаменование; и по сему обстоятельству он обратился к герцогине, от которой все это время не отходил ни на один шаг и ни на одно мгновение, с такими словами:

– Сеньора! Где играет музыка, там не может быть ничего худого.

– Так же точно и там, где вспыхивают огоньки и где светло, – отозвалась герцогиня.

Санчо же ей возразил:

– Вспышки – это от пальбы, а свет бывает от костров, вот как сейчас вокруг нас, и они еще отлично могут нас поджарить, а уж где музыка – там, наверно, празднуют и веселятся.

– Это еще неизвестно, – сказал Дон Кихот, слышавший весь этот разговор.

И он оказался прав, как то будет видно из следующей главы.

## Глава XXXV,

*в коей продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, а равно и о других удивительных происшествиях*

Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркою гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три больше прежних; на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяло судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогиней и Дон Кихотом, и в то же мгновение на ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула длинную свою одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся, Санчо струхнул и даже герцогу с герцогиней стало не по себе. Поднявшись и вытянувшись во весь рост, эта живая Смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так:

Я – тот Мерлин, которому отцом  
Был дьявол, как преданья утверждают.

---

<sup>1</sup> *Лиргандей* – наставник Рыцаря Феба и летописец его деяний, персонаж из рыцарского романа «Зерцало князей и рыцарей».

(Освящена веками эта ложь!)  
Князь магии, верховный жрец и кладезь  
Старинной Зороастровой науки,  
Я с временем веду борьбу, стараясь,  
Чтоб, вопреки ему, вы не забыли  
О странствующих рыцарях, которых  
За доблесть я глубоко чтил и чту.  
Хоть принято считать, что чародеев,  
Волшебников и магов отличает  
Завистливый, коварный, злобный нрав,  
Я кроток, ласков, к людям благосклонен  
И всячески стремлюсь творить добро.

Я пребывал в пещерах Дита<sup>1</sup> мрачных,  
Вычерчивая там круги, и ромбы,  
И прочие таинственные знаки.  
Как вдруг туда проник печальный голос  
Прекрасной Дульсинеи из Тобосо.  
Поняв, что превратило колдовство  
Ее из знатной дамы в поселянку,  
Я жалостью проникся, заключил  
Свой дух в пустую оболочку этой  
На вид ужасной, изможденной плоти,  
Перелистал сто тысяч фолиантов,  
В которых тайны ведовства сокрыты,  
И поспешил сюда, чтоб положить  
Конец беде, столь тяжелой и неожиданной.

О ты, краса и гордость тех, кто ходит  
В стальных и алмазных доспехах;  
Ты, свет, маяк, пример, учитель, вождь  
Тех, кто предпочитает косной лени  
И праздной неге пуховых перин  
Кровавый и тяжелый ратный труд!  
Узнай, о муж, прославленный навеки  
Геройскими деяньями, узнай,  
Испании звезда, Ламанчи солнце,  
Разумный и учтивый Дон Кихот,  
Что обрести первоначальный облик  
Сладчайшей Дульсинее из Тобосо  
Удастся, к сожалению, не раньше,  
Чем Санчо, твой оруженосец верный,  
По доброй воле под открытым небом  
Три тысячи и триста раз огреет  
Себя по голым ягодицам плетью  
Так, чтоб зудел, горел и саднил зад.  
Решенье это, с коим согласились  
Все, кто в ее несчастье виновен,  
Я и пришел, сеньоры, объявить.

– Да ну тебя! – вскричал тут Санчо. – Какое там три тысячи, – для меня и три удара

---

<sup>1</sup> *Дит* (миф.) – то же, что Плутон – бог подземного царства.

плеткой все равно что три удара кинжалом. Пошел ты к черту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, какое отношение имеют мои ягодицы к волшебным чарам! Ей-богу, если только сеньор Мерлин не найдет другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, то пусть она и в гроб сойдет заколдованная!

– А вот я сейчас схвачу вас, дрянь паршивая, – заговорил Дон Кихот, – в чем мать родила привяжу к дереву, и не то что три тысячи триста плетей, а и все шесть тысяч шестьсот влеплю, да так, что, дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз, они все равно не отлепят. И не смейте возражать, иначе я из вас душу вытрясу.

Но тут вмешался Мерлин:

– Нет, так не годится, на эту порку добрый Санчо должен пойти добровольно, а не по принуждению, и притом, когда он сам пожелает, ибо никакого определенного срока не установлено. Кроме того, бичевание будет сокращено вдвое, если только он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы и увесистая.

– Ни чужая, ни собственная, ни увесистая, ни развесистая, – объявил Санчо, – никакая рука не должна меня трогать. Я, что ли, родил сеньору Дульсинею Тобосскую? Так почему же мне своими ягодицами приходится расплачиваться за ее грешные очи? Вот мой господин уж подлинно составляет часть ее самой, потому он беспрестанно называет ее своей *жизнью, душою, опорой и поддержкой*, и он может и должен отстегать себя ради нее и сделать все, лишь бы только она была расколдована, но чтобы я себя стал хлестать?.. *Abernuntio* .<sup>1</sup>

Только успел Санчо это вымолвить, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина, вскочила, откинула тонкое покрывало, под которым оказалось необыкновенной красоты лицо, и, обращаясь непосредственно к Санчо Пансе, с чисто мужской развязностью и не весьма нежным голосом заговорила:

– О незадачливый оруженосец, баранья твоя голова, дубовое сердце, бульжные и кремневые внутренности! Если б тебе приказали, наглая рожа, броситься с высокой башни на землю, если б тебя попросили, враг человеческого рода, сожрать дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, если б тебя уговаривали зверски зарезать жену и детей кривою и острою саблею, то твое ломанье и отлынивание никого бы и не удивили, но придавать значение трем тысячам тремстам плетям, в то время как самый скверный мальчишка из сиротского дома ежемесячно получает столько же, – вот что изумляет, поражает, ужасает все добрые души, которые внимают здесь твоим словам, и ужаснет еще всех тех, которые со временем об этом узнают. Уставь, гнусное, бесчувственное животное, уставь, говорят тебе, свои буркалы, как у испуганного филина, на мои очи, подобные сияющим звездам, и ты увидишь, как поток за потоком и ручей за ручьем струятся из них слезы, образуя промоины, канавки и дорожки на прекрасных равнинах моих ланит. Сжался, прощельга и зловредное чудовище, над цветущими моими летами, до сих пор еще не перевалившими за второй десяток: ведь мне всего только девятнадцать, а двадцати еще нет, и вот я чахну и увядаю под грубой мужицкой оболочкой, и если я сейчас не кажусь мужичкою, то это благодаря здесь присутствующему сеньору Мерлину, который сделал мне особое одолжение единственно для того, чтобы моя красота тебя тронула, ибо слезы скорбящей красавицы обращают утесы в хлопок, а тигров в овечек. Хлещи же, хлещи себя по мясам, скот немислимый, пробуди свою удаль, которая направлена у тебя на обжорство и только на обжорство, и возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица. Если же ради меня ты не пожелаешь смягчиться и прийти к разумному решению, то решишь хотя бы ради несчастного этого рыцаря, что стоит подле тебя, то есть ради твоего господина, которого душа мне сейчас видна: она застряла у него в горле на расстоянии десяти пальцев от губ и намерена, смотря по тому, каков будет твой ответ – суров ли, благоприятен ли, вылететь из его уст или же возвратиться к нему в утробу.

При этих словах Дон Кихот пощупал себе горло и, обратясь к герцогу, молвил:

– Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа и впрямь застряла у меня в горле, будто арбалетное ядрышко.

---

<sup>1</sup> Правильно: *abrenuntio* – отрекаюсь: здесь – ни за что (*лат.*)

– Что ты на это скажешь, Санчо? – спросила герцогиня.

– Скажу, сеньора, – отвечал Санчо, – то же, что и прежде: насчет плетей – *abernuntio*.

– *Abrenuntio* должно говорить, Санчо, ты не так выговариваешь, – поправил его герцог.

– Оставьте меня, ваше величие, – сказал Санчо, – мне сейчас не до таких тонкостей, прибавил я одну букву или же убавил, – я до того расстроен тем, что кто-то будет меня пороть или же я сам себя должен выпороть, что за свои слова и поступки не отвечаю. Хотел бы я знать, однако ж, где это моя госпожа сеньора донья Дульсинея Гобосская слышала, чтобы так просили: сама же добивается от меня, чтобы я согласился себе шкуру спустить, и обзывает меня при этом бараньей головой, скотом невысшимым и ругает на чем свет стоит, так что сам черт вышел бы из терпения. Да что, в самом деле, тело-то у меня каменное, или же меня хоть сколько-нибудь касается, заколдована она или нет? Другая, чтоб задобрить, корзину белья с собой привезла бы, сорочек, платков и полусапожек, хоть я их не ношу, а эта то и знай бранится, – видно, забыла, как у нас говорят: навьючъ осла золотом – он тебе и в гору бегом побежит, а подарки скалу прошибают, а у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и синица в руках лучше, чем журавль в небе. А тут еще мой господин, вместо того чтобы меня умаслить и по шерстке погладить, – он, мол, тогда станет мягкий, как воск, лепи из него что хочешь, – объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную порцию розог. И пусть все эти прискорбные сеньоры возьмут в толк, что они добиваются порки не какого-нибудь там оруженосца, а губернатора, – поднимай, как говорится, выше. Нет, прах их побери, пусть сначала научатся просить, научатся уговаривать и станут повежливее, а то день на день не похож, и не всегда человек в духе бывает. Я сейчас готов лопнуть с досады, что мое зеленое полукафтанье в клочьях, а тут еще меня просят, чтоб я дал себя высечь по собственному хотению, а мне этого так же хочется, как все равно превратиться в касика<sup>1</sup>.

– Скажу тебе по чести, друг Санчо, – молвил герцог, – что если ты не сделаешься мягче спелой фиги, то не получишь острова. Разве у меня хватит совести послать к моим островитянам жестокосердного губернатора, чье каменное сердце не тронут ни слезы страждущих девиц, ни мольбы благоразумных, могущественных и древних волшебников и мудрецов? Одним словом, Санчо, или ты сам себя высечешь, или тебя высекут, или не бывать тебе губернатором.

– Сеньор! – сказал Санчо. – Нельзя ли дать мне два дня сроку, чтобы я подумал, как лучше поступить?

– Ни в коем случае, – возразил Мерлин. – Это дело должно быть решено тут же и сию минуту: либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесиноса и снова примет облик крестьянки, либо в том виде, какой она имеет сейчас, ее восхитят в Елисейские поля, и там она будет ждать, доколе положенное число розог не будет отсчитано полностью.

– Ну же, добрый Санчо, – сказала герцогиня, – наберись храбрости и отплати добром за хлеб, который ты ел у своего господина Дон Кихота, – все мы обязаны оказывать ему услуги и ублажать его за добрый нрав и высокие рыцарские деяния. Дай же, дружок, свое согласие на порку и не празднуй труса: ведь ты сам хорошо знаешь, что храброе сердце злую судьбу ломает.

Вместо ответа Санчо повел с Мерлином такую глупую речь:

– Сделайте милость, сеньор Мерлин, растолкуйте мне: сюда под видом гонца являлся черт и от имени сеньора Монтесиноса сказал моему господину, чтобы тот ждал его здесь, потому он сам, дескать, сюда прибудет и научит, как расколдовать сеньору донью Дульсинею Гобосскую, но до сих пор мы никакого Монтесиноса в глаза не видали.

Мерлин же ему на это ответил так:

– Друг Санчо! Этот черт – невежда и презрительный мерзавец: я посылаю его к твоему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от себя самого, Монтесинос же сидит в своей пещере и, можно сказать, ждет не дождется, чтобы его расколдовали, так что он и рад бы в рай, да грехи не пускают. Если же он у тебя в долгу, либо если у тебя есть к нему дело,

---

<sup>1</sup> *Касик* – старшина, вождь у индейцев, в данном случае индеец вообще.

то я живо тебе его доставлю и отведу, куда скажешь. А пока что соглашайся скорей на порку, – уверяю тебя, что это будет тебе очень полезно как для души, так и для тела: для души – потому что ты тем самым оказываешь благодеяние, а для тела – потому что, сколько мне известно, ты человек полнокровный, и легкое кровопускание не сможет тебе повредить.

– Больно много лекарей развелось на свете: волшебники – и те лекарями заделались, – заметил Санчо. – Ну, коли все меня уговаривают, хотя сам-то я смотрю на это дело по-другому, так и быть, я согласен нанести себе три тысячи триста ударов плетью с условием, однако ж, что я буду себя пороть, когда мне это заблагорассудится, и что никто мне не будет указывать день и час, я же, со своей стороны, постараюсь разделаться с этим возможно скорее, чтобы все могли полюбоваться красотой сеньоры доньи Дульсинеи Тобосской, а ведь она сверх ожидания, видно, и впрямь красавица. Еще я ставлю условием, что я не обязан сечь себя до крови и что если иные удары только мух спугнут, все-таки они будут мне зачтены. Равным образом, ежели я собою со счета, то пусть сеньор Мерлин, который все на свете произошел, потрудится подсчитать и уведомить меня, сколько недостает или же сколько лишку.

– О лишке уведомлять не придется, – возразил Мерлин, – чуть только положенное число ударов будет отпущено, сеньора Дульсинея внезапно расколдуется и из чувства признательности явится поблагодарить доброго Санчо и даже наградить его за доброе дело. Так что ни о лишке, ни о недостатке ты не беспокойся, да и небо не позволит мне хотя на волос тебя обмануть.

– Ну так господи благослови! – воскликнул Санчо. – Я покоряюсь горькой моей судьбине, то есть принимаю на указанных условиях эту епитимью.

Только Санчо успел это вымолвить, как снова затрубили трубы, снова затрещали бесчисленные аркебузные выстрелы, а Дон Кихот бросился к Санчо на шею и стал целовать его в лоб и щеки. Герцогиня, герцог и все прочие выразили свой восторг, и колесница тронулась с места; и при отъезде Дульсинея отвесила поклон герцогу с герцогиней и особенно глубокий – Санчо.

А между тем на небе все ярче разгоралась заря, радостная и смеющаяся, полевые цветы поднимали головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань ожидавшим их рекам. Ликующая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет – все это, и вместе и порознь, возвещало, что день, стремившийся вослед Авроре, обещает быть тихим и ясным. Герцог же и герцогиня, довольные охотой, а равно и тем, сколь остроумно и счастливо достигли они своей цели, возвратились к себе в замок с намерением затеять что-нибудь новое, выдумывать же всякие проказы доставляло им величайшее удовольствие.

## Глава XXXVI,

*в коей рассказывается о необычайном и невообразимом приключении с дуэньей Гореваной, иначе называемой графиней Трифальди, и приводится письмо, которое Санчо Панса написал жене своей Тересе Панса*

У герцога был домоправитель, великий шутник и весельчак: это он исполнял роль Мерлина, он же руководил всем этим приключением, сочинил стихи и подучил одного из пажей изобразить Дульсинею. Немного погодя с помощью своих господ он составил план нового приключения, свидетельствовавший о необыкновенно хитроумной и на редкость богатой его выдумке.

На другой день герцогиня спросила Санчо, начал ли он принятое им на себя покаяние, необходимое для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Санчо ответил, что начал и прошедшей ночью уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем именно он их нанес. Санчо ответил, что рукою.

– Это шлепки, а не бичевание, – заметила герцогиня. – Я убеждена, что подобная

мягкость обхождения с самим собой не понравится мудрому Мерлину. Нет уж, добрый Санчо, избери-ка ты для себя плетъ с шипами или же с узлами, – так будет чувствительнее; ведь недаром говорит пословица, что и для ученья полезно сечение, а свободу столь знатной особы, какова Дульсинея, так дешево, такой ничтожной ценой приобрести нельзя. И еще прими в рассуждение, Санчо, что добрые дела, которые делаются вяло и нерадиво, не зачитываются и ровно ничего не стоят.

На это Санчо ответил так:

– А вы дайте мне, ваша светлость, плетку или же веревку, какую получше, и я буду себя стегать, только не очень больно, потому было бы вам известно, ваша милость, что хоть я и простой мужик, а тело у меня не из ряднины, а скорей из хлопчатой бумаги, и калечить себя ради чужой пользы – это не дело.

– В добрый час, – молвила герцогиня, – завтра я выберу плеточку как раз по тебе, и нежной твоей коже она полюбится как родная сестра.

Затем Санчо сказал герцогине:

– К сведению вашей светлости, дорогая моя сеньора, я написал письмо моей жене Тересе Панса и уведомил ее обо всем, что со мной произошло с тех пор, как мы с ней расстались; письмо у меня тут, за пазухой, остается только надписать адрес, и мне бы хотелось, чтобы ваше благоразумие его прочитало, потому мне сдается, что оно написано по-губернаторски, то есть так, как должны писать губернаторы.

– А кто же его сочинил? – осведомилась герцогиня.

– Кто же, как не я, грешный? – сказал Санчо.

– И сам же и написал? – продолжала допытываться герцогиня.

– Какое там, – отвечал Санчо, – я не умею ни читать, ни писать, я могу только поставить свою подпись.

– Ну что ж, посмотрим, – молвила герцогиня, – я уверена, что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности.

Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее:

«Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился; хоть и будет у меня славный остров, но за это не миновать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь, милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно, Тереса, твердое мое решение: тебе надлежит ездить в карете, иначе тебе не подобает, потому ездить как-нибудь по-другому – это для тебя теперь все равно что ползать на карачках.

Ты жена губернатора, смотри же: у тебя все должно быть так, чтобы комар носа не подточил! При сем прилагаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня, – прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот – помешанный разумник и забавный сумасброд и что я ему отличная пара. Побывали мы в пещере Монтесиноса, а мудрый Мерлин на предмет расколдования Дульсинеи Тобосской, которую, впрочем, все ее земляки зовут Альдонсой Лоренсо, выбрал меня: мне надлежит нанести себе три тысячи триста ударов за вычетом тех пяти, что я уже нанес, и тогда она будет совсем расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не говори, а то вынесешь сор из дому – и пойдут кривотолки. Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с величайшим желанием зашибить деньгу, – мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием. Я там огляжусь и тогда отпишу, стоит тебе приезжать или нет. Серый здоровехонек и низко тебе кланяется, а я его ни за что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сеньора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей поцелуй две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выражения – это самая дешевая и ни к чему не обязывающая вещь на свете. Богу было неугодно послать мне еще один чемоданчик с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не

огорчайся, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит: говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь, и вот коли так оно и будет, то губернаторство недешево мне обойдется. Впрочем, калекам и убогим подают столько милостыни, что они живут как каноники. Вот и выходит, что не так, так этак, а ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе бог счастья, а меня да хранит он ради тебя.

Писано в этом замке 1614 года июля 20 дня. Твой супруг, губернатор *Санчо Панса*».

Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо:

– В двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплеховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть, а между тем вы сами хорошо знаете и не станете отрицать, что когда мой муж герцог обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное корыстолюбие, но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются, и алчный правитель творит неправый суд.

– Я совсем не то хотел сказать, сеньора, – заметил Санчо, – и если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно, то мы его в момент разорвем и напишем новое, но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку.

– Нет, нет, – возразила герцогиня, – это хорошее письмо, я хочу показать его герцогу.

Затем они пошли в сад, куда в этот день должен был быть подан обед. Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он пришел от него в совершенный восторг. Обед кончился, убрали со стола, и долго еще после этого герцог и герцогиня наслаждались занятными речами Санчо, как вдруг послышались унылые звуки флейты и глухой, прерывистый стук барабана. Все, казалось, были потрясены этою непонятною, воинственною и печальною музыкою, особливо же Дон Кихот, – от волнения он не мог усидеть на месте; про Санчо и говорить нечего: от страха он устремился к обычному своему убежищу, то есть под крылышко к герцогине, ибо доносившиеся звуки музыки были воистину и вправду тоскливы и унылы. Среди присутствовавших все еще царило смятение, как вдруг они увидели, что по саду идут два человека в траурном одеянии, столь длинном и долгополом, что оно волочилось по земле; оба незнакомца били в большие барабаны, также обтянутые черною тканью. Рядом с ними шагал флейтист, такой же черный и страшный, как и они. Следом за этою троицею шел человек исполинского телосложения, одетый, вернее сказать закутанный, в черную-пречерную хламиду с невероятной длины шлейфом. Поверх хламиды его опоясывала и перекрещивала широкая, также черная, перевязь, а на ней висел громадной величины ятаган с черным эфесом и в черных ножнах. Лицо у него было закрыто прозрачною черною вуалью, сквозь которую видна была длиннейшая белоснежная борода. Выступал он в такт барабанам, величественно и чинно. Словом, громадный его рост, важная поступь, черные одежды, а также его свита могли бы привести, да и привели в смущение всех, не имевших понятия, кто он таков.

Итак, с вышеописанною медлительностью и особою торжественностью приблизился он к герцогу, который вместе со всеми прочими ожидал его стоя; приблизившись же, он опустился перед герцогом на колени, но тот наотрез отказался с ним разговаривать, пока он не поднимется. Чудище послушалось и, ставши на ноги, откинуло с лица вуаль, а под нею оказалась преужасная борода, такая длинная, белая и густая, какой доселе не видывал человеческий взор, после чего из объемистой и широкой груди бородача вырвались и полились звуки низкого и сильного голоса, и, уставившись на герцога, бородач произнес такие слова:

– Светлейший и всемогущий сеньор! Меня зовут Трифальдин Белая Борода, я служитель графини Трифальди, иначе дуэньи Гореваны, от которой я и прибыл к вашему величию с посольством, а именно: не соизволит ли ваше высокопревосходительство



дозволить и разрешить ей явиться к вам и поведать свою печаль, одну из самых необыкновенных и удивительных, какие только самое мрачное воображение во всем подлунном мире может себе вообразить? Но прежде всего она желает знать, нет ли в вашем замке доблестного и непобедимого рыцаря Дон Кихота Ламанчского, ибо она ради него пришла в ваше государство из королевства Кандайи пешком и натошак, то есть совершила деяние, которое можно и должно почитать за чудо или же за волшебство. Она дожидается у ворот вашей крепости, то бишь летнего замка, и предстанет пред вами, как скоро вы дадите свое согласие. Я кончил.

Тут он кашлянул, обеими руками погладил бороду и с большим достоинством стал ждать ответа. А герцог ответил так:

– Уже давно, любезный Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о несчастье, постигшем ее сиятельство графиню Трифальди, которую волшебники принуждают именовать себя дуэньей Гореваной, а посему, редкостный служитель, попроси ее войти и передай ей, что отважный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чей нрав столь благороден, что от него смело можно ожидать всяческой помощи и защиты, находится здесь. И передай ей еще от моего имени, что если она нуждается и в моем покровительстве, то за этим дело не станет, ибо к тому меня обязывает звание рыцаря, рыцарям же надлежит и подобает покровительствовать всем женщинам, особливо вдовствующим дуэньям, утесняемым и страждущим, а ее сиятельство, должно думать, именно такова и есть.

При этих словах Трифальдин преклонил перед герцогом колена, а затем, подав барабанщикам и флейтисту знак, под ту же самую музыку, под которую он входил в сад, и тою же самою поступью направился к выходу, а присутствовавшие между тем снова подивились наружности его и осанке. Герцог же, обратясь к Дон Кихоту, сказал:

– Итак, славный рыцарь, сумрак невежества и коварства не в силах затмить и помрачить свет доблести и благородства. Говорю я это к тому, что ваше великодушие еще и недели не прожило в моем замке, а из чужедальних краев к вам уже притекают люди – и не в каретах, и не на верблюдах, а пешком и натошак; притекают скорбящие, притекают униженные, верящие, что в могущественнейшей вашей длани они найдут избавление от всех своих горестей и мытарств, и этим вы обязаны великим своим деяниям, молва о которых обежала и облетела все известные нам страны.

– Я бы ничего не имел против, сеньор герцог, – заговорил Дон Кихот, – если бы здесь была сейчас та почтенная духовная особа, которая недавно за столом выказала такое нерасположение и такую ненависть к странствующим рыцарям – пусть бы она теперь воочию удостоверилась, нужны или не нужны упомянутые рыцари людям. По крайней мере, она убедилась бы на деле, что люди, безмерно униженные и доведенные до отчаяния, в важных случаях жизни, когда их постигают бедствия ужасные, идут за помощью не в дома судейских, не в дома сельских псаломщиков, не к дворянину, который ни разу не выезжал из своего имения, и не к столичным тунеядцам, которые любят только выведывать новости, а затем выкладывать и рассказывать их другим, но отнюдь не стремятся сами совершать такие деяния и подвиги, о которых рассказывали бы и писали другие. Выручать в бедах, помогать в нужде, охранять девиц и утешать вдов лучше странствующих рыцарей никто не умеет, и я бесконечно благодарю бога за то, что я рыцарь, и благословляю любые несчастья и испытания, какие на почетном этом поприще мне могут быть посланы. Пусть явится эта дуэнья и попросит у меня, чего только ей угодно: порукой за избавление ее от напастей служат мощь моей длани и непреклонная решимость вечно бодрствующего моего духа.

## Глава XXXVII,

*в коей продолжается славное приключение с дуэньей Гореваной*

Герцог и герцогиня были в восторге, что Дон Кихот принял всю эту их затею за чистую монету, но тут заговорил Санчо:

– Боюсь, как бы сеньора дуэнья не подложила мне свинью по части моего губернаторства. Я слышал от одного толедского аптекаря, – больно речистый был человек, – что куда только сунут свой нос дуэньи, там уж добра не жди. Бог ты мой, до чего же их ненавидел этот самый аптекарь! Из этого я заключаю, что коли все дуэньи – назойливые и наглые, какого бы звания и состояния они ни были, то что же должна собой представлять дуэнья Горевана, как называют эту графиню, настоящая фамилия которой то ли Три Фалды, то ли Три Хвоста? Ведь у нас в деревне фалды хвостами зовут.

– Помолчи, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – эта сеньора дуэнья прибыла ради меня из далеких стран, и потому я не допускаю мысли, чтобы она принадлежала к числу тех дуэний, о которых толковал твой аптекарь, тем более что она – графиня, графини же если и бывают дуэньями, то только при королевах и при императрицах, а у себя дома они – высшая знать, и им прислуживают другие дуэньи.

Тут вмещалась в разговор при сем присутствовавшая донья Родригес.

– В услужении у нашей сеньоры герцогини находятся такие дуэньи, – заметила она, – которые при благоприятном стечении обстоятельств также могли бы быть графинями, но только ведь человек предполагает, а бог располагает. Как бы то ни было, говорить дурно о дуэнях я никому не позволю, особенно о старых девах, – хоть я и не из их числа, а все-таки преимущество дуэньи-девицы перед дуэньей-вдовой для меня ясно и очевидно, и кому вздумается нас, дуэний, стричь, у того ножницы к рукам пристанут.

– Ну положим, – возразил Санчо, – мой знакомый цирюльник говорит: у дуэний столько есть чего остричь, что уж лучше эту кашу не мешать, хоть она и крутенька.

– Прислужники испокон веков во вражде с нами, – возразила донья Родригес, – они днюют и ночуют в передних, мы у них всегда перед глазами, и оставляют они нас в покое, только когда богу молятся, а все остальное время сплетничают, перемывают нам косточки и чернят наше доброе имя. Нет уж, как они себе хотят, эти чурбаны, а мы назло им будем себе жить да поживать, да еще у важных господ, хотя, впрочем, мы там и голодаем и прикрываем нежное свое тело, – а у кого оно, может, и не такое уж нежное, – черными хламидами, вроде того как на время праздничной процессии прикрывают и застилают коврами навозные кучи. Честное слово, если бы мне только позволили и вышел подходящий случай, я бы не то что здесь присутствующим, а и всему миру доказала, что дуэнья есть вместилище всех добродетелей.

– Я полагаю, – молвила герцогиня, – что добрая моя дуэнья донья Родригес права, и права вполне, но только сейчас не время вступаться за себя и за других дуэний и оспаривать мнение негодного этого аптекаря, укоренившееся в душе почтенного Санчо Пансы.

На это Санчо сказал:

– С тех пор как мне ударило в голову губернаторство, я уже не страдаю слабостями, присущими слуге, и на всех дуэний на свете мне теперь в высшей степени наплевать.

Спор о дуэнях, вероятно, еще продолжался бы, но в это время снова послышались флейта и барабаны, что возвещало вступление дуэньи Гореваны в сад. Герцогиня спросила герцога, не следует ли выйти ей навстречу, потому что она как-никак графиня и знатная особа.

– Раз она графиня, – отвечал за герцога Санчо, – то я положительно утверждаю, что вашим величиям надлежит выйти ей навстречу, но раз она вместе с тем дуэнья, то я полагаю, что вам ни на один шаг не следует сдвигаться с места.

– Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Кто просит? – повторил Санчо. – Я вмешиваюсь потому, что имею право вмешиваться, как оруженосец, обучавшийся правилам вежливости в школе вашей милости, а ведь вы – наиучтивейший и наиболее воспитанный рыцарь, вы всем учтивцам учтивец, и вы же сами говорите, ваша милость: по этой части что пересолить, что недосолить – прок один, и довольно, – кажется, я достаточно ясно выразился.

– Санчо совершенно прав, – заметил герцог, – прежде посмотрим, какова графиня с виду, а затем установим, какие почести ей подобают.

В это время, так же точно, как и в первый раз, вошли барабаны и флейта.

И на этом автор заканчивает краткую сию главу и начинает новую, в которой будет продолжаться то же самое приключение, а оно является одним из наиболее достойных внимания во всей нашей повести.

## Глава XXXVIII,

*в коей приводится рассказ дуэньи Гореваны о ее доле*

Следом за унылыми музыкантами по саду шли двумя рядами двенадцать дуэний в широких хламидах, по-видимому из весьма плотного сукна, и в белых канекеновых покрывалах, столь длинных, что из-под них видна была лишь каемка хламиды. За ними, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода, шествовала сама графиня Трифальди; на ней было платье из отличной черной байки с таким длинным ворсом, что, если б его завить, каждая ворсинка походила бы на добрую мартосскую горошину<sup>1</sup>. Три конца ее шлейфа, иначе говоря – хвоста (можно назвать его и так и этак), несли, тоже одетые в траур, три пажа, являя собою красивую геометрическую фигуру, образованную тремя острыми углами, под которыми расходились три конца ее шлейфа, и всякий, кто глядел на остроконечный этот шлейф, тотчас догадывался, что потому-то ее и зовут *графиней Трифальди*, то есть графиней *Трех Фалд*; и Бен-инхали подтверждает, что это так и есть, а что настоящая ее фамилия – *графиня Волчуна*, ибо в ее графстве водилось много волков, если же, дескать, в том графстве водились бы во множестве не волки, а лисицы, то она звалась бы *графиней Лисианою*, ибо местный обычай таков, что владетельные князья производят свои фамилии от того предмета или же предметов, какими их владения изобилуют; однако наша графиня, дабы подчеркнуть необычайность своего шлейфа, переименовала фамилию *Волчуна* на *Трифальди*.

Графиня шла величавою поступью, равно как и все двенадцать ее дуэний, коих лица были закрыты черною вуалью, и не прозрачною, как у Трифальдина, но до того густою, что сквозь нее ничего нельзя было разглядеть. Как скоро отряд дуэний показался в саду, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали, а за ними и все, кто созерцал медлительное это шествие. Наконец двенадцать дуэний остановились, образовав проход, и между ними, по-прежнему опираясь на руку Трифальдина, прошла Горевана, герцог же, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу. Графиня опустила на колени и заговорила голосом отнюдь не тонким и не нежным, а скорее грубым и хриплым:

– Благovolите, ваши величия, не воздавать таких почестей вашему покорному слуге, то бишь служанке: ведь я пребываю в горе и из-за этого не могу ответить вам тем же, ибо необыкновенное мое и доселе невиданное несчастье отшибло у меня разум и унесло невесть куда, и, должно полагать, весьма далеко, потому что сколько я ни ищу мой разум, а сыскать так-таки и не могу.

– Все неразумным, сеньора графиня, мы почли бы того, – молвил герцог, – кто с первого взгляда не распознал бы ваших совершенств, которые бесспорно заслуживают наивысших учтивостей и наиторжественнейших церемоний.

Тут он предложил ей руку и усадил ее в кресло рядом с герцогиней, герцогиня же оказала ей не менее любезный прием. Дон Кихот молчал, а Санчо Пансе страх как хотелось увидеть лицо самой Трифальди или же какой-нибудь из многочисленных ее дуэний, но это могло быть только в том случае, если б они по своей доброй воле и хотению сняли вуаль.

Никто не шевелился, все хранили молчание, ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил, и первая нарушила его дуэнья Горевана, поведя такую речь:

– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и все просвещеннейшее общество, что злейшее мое злключение встретит в доблестнейших сердцах ваших столько же снисхождения, сколь и великодушия и сострадания, ибо

---

<sup>1</sup> *Мартосская горошина* – Город Мартос (в Андалусии) славился в то время бобовыми культурами.

злоключение мое таково, что оно способно растрогать мрамор, смягчить алмазы и расплющить булат самых жестоких сердец на свете. Однако, прежде нежели оно достигнет области вашего слуха (слово *уши* мне кажется слишком грубым), я бы хотела знать, находится ли в вашем обществе, кругу и компании безупречнейший рыцарь – Ламанчнейший Дон Кихот и оруженоснейший его Панса.

– Панса здесь, и Кихотейший Дон также, – прежде чем кто-либо успел ответить, объявил Санчо, – так что вы, горемычнейшая и дуэньейшая, можете говорить все, что только придет в головейшую вашу голову, мы же всегдайше готовы к услужливейшим вашим услугам.

В это время поднялся Дон Кихот и, обращая свою речь к горюющей дуэнье, молвил:

– Если ваши невзгоды, скорбящая сеньора, оставляют вам хотя бы отдаленную надежду, что сила и доблесть странствующего рыцаря могут вам помочь, то я готов все свои силы, пусть малые и слабые, отдать на служение вам. Я – Дон Кихот Ламанчский, коего назначение – защищать всех обездоленных, следственно, вам нет нужды, сеньора, стараться расположить нас к себе и начинать с предисловий, – говорите напрямик, без околичностей, о своих огорчениях: к вашей повести приклонили слух такие люди, которые сумеют если не выручить вас из беды, то, по крайней мере, разделить вашу скорбь.

При этих словах дуэнья Горевана сделала такое движение, словно желала броситься к ногам Дон Кихота, и она в самом деле бросилась и, пытаясь обнять их, заговорила:

– Я припадаю к вашим стопам и ногам, о непобедимый рыцарь, ибо они суть основание и опора странствующего рыцарства! Я желаю облобызать сии стопы, от чьих шагов теснейшим образом зависит избавление от всех моих бед, о доблестный странствующий рыцарь, коего истинные подвиги затмевают и оставляют позади баснословные подвиги Амадисов, Эспландианов и Бельянисов!

Затем она обратилась к Санчо Пансе и, схватив его за руки, молвила:

– О ты, вернейший из всех оруженосцев, находившихся на службе у странствующих рыцарей в веке нынешнем, а равно и в веках минувших, оруженосец, чьи достоинства безмернее бороды спутника моего Трифальдина, здесь присутствующего! Ты вправе гордиться тем, что служишь великому Дон Кихоту, ибо в его лице ты служишь всей уйме рыцарей, которые когда-либо брались за оружие. Заклинаю тебя неизменными твоими добродетелями: будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он не замедлил вступить за эту смиреннейшую и незадачливейшую графиню.

Санчо же ей на это сказал:

– Что мои достоинства, сеньора, велики и огромны, как борода вашего оруженосца, – это меня весьма мало трогает. Лишь бы только душа моя перешла в мир иной с бородою и с усами, – вот что мне важно, а до здешних бород мне мало, а вернее сказать, и совсем нет никакого дела. Но только я и без такого умасливанья и клянчанья попрошу моего господина (а я знаю, что он меня любит, особливо теперь, когда я ему нужен для одного дела), чтобы он, в чем может, оказал вам помощь и покровительство. Выкладывайте нам, ваша милость, свою беду, рассказывайте все по порядку и не беспокойтесь: уж как-нибудь мы с вами столкнемся.

Герцогу и герцогине была известна подоплека этого приключения, и теперь они умирали со смеху и мысленно восторгались сообразительностью графини Трифальди и ее уменьем притворяться, а графиня между тем снова села в кресло и начала свой рассказ:

– В славном королевстве Кандайе<sup>1</sup>, которое находится между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморина, властвовала королева Майнция, вдова короля Архипелага, от какового супруга и повелителя у нее родилась и появилась на свет наследница престола инфанта Метонимия. Упомянутая мною инфанта Метонимия росла и воспитывалась под моим присмотром и надзором, ибо я была старейшею и наиболее знатною дуэньей ее матери. Долго ли, коротко ли, маленькой Метонимии исполнилось четырнадцать лет, и была она так прекрасна, что казалось, будто природа ничего более совершенного

---

<sup>1</sup> *Кандайя* – Индокитай; мыс Коморин – мыс южной оконечности Индостана.

создать не могла. И не подумайте, что она не вышла умом! Нет она была такая же умница, как и красавица, а красавица она была первая в мире, была и есть, если только завистливый рок и неумолимые парки не пресекли нить ее жизни. Но нет, не может этого быть: небо не допустит чтобы на земле учинилось подобное злодеяние и чтобы кисть лучшей в мире виноградной лозы была сорвана незрелой. Красота ее, которую не в силах должным образом восславить неповоротливый мой язык, пленила бесчисленное множество владетельных князей, как туземных, так и иностранных, и среди прочих отважился вознести свои помыслы к небу несказанной ее красоты некий простой кавальеро, столичный житель; он полагался на свою молодость и молодечество, на многосторонние свои способности и дарования, на быстроту и тонкость мыслей, ибо надобно вам знать, ваши величия, если только мой рассказ вам еще не наскучил, что гитара у него в руках прямо так и разговаривала, да к тому же он был стихотворец, изрядный танцор и умел мастерить клетки для птиц, так что в случае крайней нужды одними этими клетками мог бы заработать себе на кусок хлеба, – словом, все эти достоинства и дарования могли бы сдвинуть гору, а не то что прельстить нежную деву. Однако все пригожество его и очаровательная приятность, равно как и все дарования его и способности мало что или даже совсем ничего не могли бы поделаться с крепостью, которую представляла собой моя воспитанница, если бы этот разбойник и нахал не почел за нужное покорить сначала меня. Этот лиходей и бесстыжий прощельга задумал прежде всего подкупить меня и задобрить, чтобы я, недостойный комендант, отдала ему ключи от охраняемой мною крепости. Коротко говоря, он затуманил лестью мой разум и покори́л мое сердце разными вещичками и безделушками. Но уж никак не могла я устоять и сдалась окончательно, когда однажды ночью, сидя у окна, выходявшего в переулок, услышала я его пение, а пел он, сколько я помню, вот какую песню:

Ранен в сердце я прекрасной<sup>1</sup>  
Ненавистницей моей  
И – что вдвое тяжелей –  
Должен боль терпеть безгласно.

Песня эта показалась мне перлом создания, а голос его – сладким, как мед, и только потом, когда я увидела, как меня подвели эти и им подобные вирши, я пришла к мысли, что поэтов должно изгонять из государств благоустроенных, как это и советовал Платон, – по крайности, поэтов сладострастных, потому что их стихи не имеют ничего общего со стихами о маркизе Мантуанском, которые приводят в восторг и заставляют проливать слезы и детей и женщин, остроумие же сладострастных поэтов пронзает вам душу, подобно неясным шипам, и опаляет ее, как молния, не прожигая покровов. А затем вот что он еще пел:

Смерть! Конец приуготовь<sup>2</sup>  
Мне с такою быстротою,  
Чтобы, насладясь тобою,  
Благом жизнь не счел я вновь.

И еще в этом вкусе пел он песенки и куплеты, которые чаруют, когда их поют, и приводят в изумление, когда их читают. А что бывает, когда стихотворцы снисходят до того рода поэзии, который в Кандайе был тогда широко распространен и именовался *сегидильей*! Тут уж душа гуляет, тело пускается в пляс, тебя разбирает смех, и чувства приходят в волнение. Вот потому-то я и говорю, государи мои, что подобных стихотворцев с полным правом должно бы ссылать на острова Ящериц<sup>3</sup>. Впрочем, виноваты не они, а те простаки,

<sup>1</sup> *Ранен в сердце я прекрасной...* – стихи итальянского поэта-импровизатора XV в. Серафино Аквилано (1466–1500), пользовавшегося в свое время большой популярностью.

<sup>2</sup> *Смерть! Конец приуготовь...* – стихи испанского поэта Эскриба (конец XV – начало XVI в.).

<sup>3</sup> *Остров Ящериц* – народное название необитаемых островов. «Ссылать на острова Ящериц» аналогично русскому выражению: куда Макар телят на гонял.

которые их восхваляют, и те дурынды, которые им верят, и если б я была тою добродетельною дуэньей, какой мне быть надлежало, меня бы не тронули все эти полунощные сочинения, и я бы усомнилась в искренности подобных выражений: «Я живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне, надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь» – и прочих несуразностей в этом же роде, коими полны такие писания. В самом деле, разве рифмачи не сулят своим возлюбленным феникса Аравии, венца Ариадны<sup>1</sup>, коней Солнца<sup>2</sup>, перлов Юга, золота Червонии<sup>3</sup> и бальзама Панкайи<sup>4</sup>? Тут они дают полную волю своим перьям, – ведь им ничего не стоит обещать то, чего они не собираются, да и не могут исполнить. Но зачем же я уклонилась от моего предмета? Увы мне, несчастной! Что за безумие и что за сумасбродство перечислять чужие недостатки, меж тем как мне еще столько остается сказать о моих собственных! Еще раз: увy мне, злосчастной! Ведь меня сгубили не стихи, а собственное мое простодушие; меня сбила с толку не музыка, а мое же собственное легкомыслие; великая моя неопытность и малая осмотрительность проложили дорогу и расчистили путь дону Треньбренью – так звали помянутого кавальеро. И вот при моем посредстве он не раз и не два проникал в покой к Метонимии, обольщенной не им, а мною самой, проникал на правах законного супруга, ибо хоть я и великая грешница, а все же нипочем, – то есть, виновата, не нипочем, а ни за что не допустила бы, чтобы кто-нибудь, кроме супруга, коснулся ранта на подошве ее башмачков. Нет, нет, ни в коем случае. За какие бы дела я ни взялась, брак всегда будет у меня стоять на первом месте! В этом же деле вся беда заключается в неравенстве положений: дон Треньбренью – простой дворянин, а инфанта Метонимия, как я уже сказала, – наследница королевского престола. Некоторое время эта интрижка укрывалась и таилась в благоразумии моей осторожности, но затем я поняла, что она не может не открыться, ибо животик у Метонимии по неведомой причине все вздувался и вздувался, и, в ужасе от этого вздутия Метонимиева живота, мы все трое собрались на совещание и порешили, что, прежде нежели злое это дело обнаружится, дон Треньбренью в присутствии викария попросит руки Метонимии на основании письма, в коем инфанта давала обещание быть его женою и которое я же ей и продиктовала: моя выдумка помогала мне составить его в столь сильных выражениях, что их не разрушила бы и сила Сампсонова. Были приняты надлежащие меры, означенный викарий прочитал письмо и допросил инфанту, инфанта во всем созналась, и тогда он велел ей укрыться в доме некоего почтенного столичного алыгуасила.

Тут вмешался Санчо:

– Раз в Кандайе тоже есть алыгуасилы, поэты и сегидильи, то я могу поклясться, что все на свете устроено одинаково. Только вы поторопитесь, ваша милость, сеньора Трифальди: ведь уж поздно, а мне смерть как хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.

– Сейчас, сейчас, – объявила графиня.

## Глава XXXIX,

*в коей Трифальди продолжает удивительную свою и приснопамятную историю*

Каждое слово Санчо Пансы восхищало герцогиню и приводило в отчаяние Дон Кихота; и как скоро Дон Кихот велел ему замолчать, то Горевана продолжала:

– Наконец, после множества вопросов и ответов, удостоверившись, что инфанта твердо

---

<sup>1</sup> *Венец Ариадны (миф.)* – золотой венец, украшенный драгоценными камнями, преподнесенный Дионисом Ариадне. Согласно мифу, Тезей, после того как Ариадна помогла ему выбраться из критского лабиринта при помощи нити, которую она ему дала, изменнически покинул Ариадну на острове Наксосе, где ее нашел Дионис и сделал своей бессмертной супругой.

<sup>2</sup> *Кони Солнца (миф.)* – кони, которые были запряжены в колесницу Феба (Солнца).

<sup>3</sup> *Червония* – В подлиннике – Тибар, что по-арабски означает «золото». Так называли во времена Сервантеса Золотой Берег в Африке.

<sup>4</sup> *Бальзам Панкаями* – Панкайя – несуществующая страна в Африке, славившаяся ароматными растениями; согласно легенде – родина феникса.

стоит на своем, не отступая от первоначального своего решения и не меняя его, викарий решил дело в пользу дон Треньбреньо и отдал ему Метонимию в законные супруги, чем королева Майнция, мать инфанты Метонимии, была так раздосадована, что спустя три дня мы ее уже схоронили.

– Стало быть, она, наверно, умерла, – заключил Санчо.

– А как же иначе! – воскликнул Трифальдин. – В Кандайе живых не хоронят, а только покойников.

– Бывали случаи, сеньор служитель, – возразил Санчо, – когда человека в обморочном состоянии закапывали в могилу единственно потому, что принимали его за мертвого, и мне сдается, что королеве Майнции надлежало впасть в беспамятство, а вовсе не умирать: ведь пока ты жив, многое можно еще исправить, да и не столь большую глупость сделала инфанта, чтобы так из-за нее убиваться. Выйди она замуж за своего пажа или за какого-нибудь челядинца, – а я слыхал, что с сеньорами вроде нее такое не раз случалось, – вот это уж была бы беда непоправимая, но выйти замуж за дворянина, такого благородного и такого способного, каким его нам здесь изобразили, – ей-богу, честное слово, если это и сумасбродство, то не такое большое, как кажется, потому мой господин, который здесь присутствует и в случае чего меня поправит, всегда говорит, что подобно как из людей ученых могут выйти епископы, так и из рыцарей, особливо ежели они странствующие, могут выйти короли и императоры.

– Твоя правда, Санчо, – подтвердил Дон Кихот, – у странствующего рыцаря, если ему хоть немножко повезет в жизни, есть полная возможность в кратчайший срок стать властелином мира. Но продолжайте, сеньора графиня: по моему разумению, горестный конец этой доселе сладостной истории еще впереди.

– Еще какой горестный! – подхватила графиня. – Столь горестный, что по сравнению с ним редька покажется нам сладкой, а гнилой плод отменно приятным на вкус. Итак, королева скончалась, а вовсе не впадала в обморочное состояние, и мы ее схоронили. И только успели мы засыпать ее землей и сказать ей последнее прости, как вдруг (*quis talia fando temperet a lacrymis?*)<sup>1</sup> на могиле королевы верхом на деревянном коне появился великан Злосмрад, двоюродный брат Майнции, лиходея и притом волшебник, и вот, чтобы отомстить за смерть двоюродной сестры, чтобы наказать дон Треньбреньо за дерзость и с досады на распущенность Метонимии, он при помощи волшебных чар заколдовал их всех прямо на могиле: инфанту превратил в медную мартышку, дон Треньбреньо – в страшного крокодила из какого-то неведомого металла, между ними поставил столб, тоже металлический, а на нем начертал сирийские письма, которые в переводе сначала на кандайский, а затем на испанский язык заключают в себе вот какой смысл: «Дерзновенные эти любовники не обретут первоначального своего облика, доколе со мною в единоборство не вступит доблестный ламанчец, ибо только его великой доблести уготовал рок невиданное сие приключение». Затем он вынул из ножен широкий и огромный ятаган и, схватив меня за волосы, совсем уж было собрался перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я оторопела, язык мой прилип к гортани, я ужасно как волновалась, но все же, сколько могла, пересилила себя и дрожащим и жалобным голосом наговорила ему столько всяких вещей, что в конце концов он отменил суровый свой приговор. Вместо этого он велел привести к нему из дворца всех дуэний, которые в настоящее время находятся здесь, и начал говорить о нашей вине, всячески ее преувеличивая, обличать нравы дуэний, дурные наши повадки и еще более дурные умыслы, переложил мою вину на всех нас, а затем объявил, что намерен заменить для нас смертную казнь казнью длительною, которая будет представлять собою постыдное и непрерывное умирание. И едва успел он договорить, как в ту же самую минуту и мгновенье мы все почувствовали, что на лицах у нас открываются поры и в них вонзаются словно бы острия иголок. Мы поднесли руки к лицу и обнаружили то, что вы сейчас увидите.

При этих словах Горевана и прочие дуэньи откинули с лица вуали, и тут оказалось, что у них у всех растет борода, у кого белокурая, у кого черная, у кого седая, у кого с проседью,

---

<sup>1</sup> Кто, повествуя об этом, мог бы сдерживать слезы? (*лат.*) (Стих из «Энеиды» Вергилия.)

какое зрелище, видимо, поразило герцога и герцогиню, ошеломило Дон Кихота и Санчо и огорошило всех остальных. А Трифальди продолжала:

– Вот каким образом наказал нас прохвост и негодяй Злосмрад: жестокою щетиною покрыл он мягкую и нежную кожу наших лиц. О, когда бы небу угодно было, чтобы он громадным своим ятаганом отсек нам головы вместо того, чтобы затмевать сияние наших ликов тою шерстью, что нас теперь покрывает! Ведь, если поразмыслить хорошенько, государи мои (о, как бы я хотела, чтобы при этих словах очи мои превратились в два ручья, но неотвязная дума о нашем злосчастье купно с морями слез, которые они до сей поры проливали, их обезводили и сделали сухими, как солома, а потому мне уж как-нибудь без слез обойтись придется), – так вот я и спрашиваю: ну куда денется бородатая дуэнья? Какой отец и какая мать над нею сжалятся? Кто придет ей на помощь? Ведь даже и тогда, когда кожа у дуэньи гладкая и она применяет всевозможные притирания и мази для лица, и то редко кому она приглянется, а что говорить, когда на лице у нее целый лес? О подруги мои, дуэньи! Не в пору родились мы с вами на свет, и не в счастливый миг зачали нас наши родители!

И, сказавши это, она как бы лишилась чувств.

## Глава XL

*О вещах, имеющих отношение и касательство к этому приключению и к приснопамятной этой истории*

Все охотники до таких историй, как эта, должны быть воистину и вправду благодарны Сиду Ахмету, первому ее автору, который по своей любознательности выведальничал наизусть все подробности и ярко их осветил, не пропустив даже самых незначительных частности. Он воссоздает мысли, раскрывает мечтания, отвечает на тайные вопросы, разрешает сомнения, заранее предвидит возражения, одним словом, угадывает малейшие прихоти природы самой любознательной. О достохвальнейший автор! О блаженный Дон Кихот! О славная Дульсинея! О забавный Санчо Панса! Много лет здравствовать вам всем и каждому из вас в отдельности – на радость и утешение живущим!

Далее в истории говорится, что как скоро Санчо взглянул на лишившуюся чувств Горевану, то сказал:

– Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех покойных Панса, что я сроду ничего подобного не видывал и не слыхивал и мой господин никогда мне не говорил о таком приключении, да ему и в голову это прийти не могло. Сейчас мне не хочется ругаться, и я только скажу: ну тебя ко всем чертям, волшебник ты этакий и великан Злосмрад! Неужто ты не нашел для этих греховодниц иного наказания, кроме как обородатить их? Не лучше ль было бы и не больше ли бы это им шло, ежели б ты оттяпал у них верхнюю половину носа, – пусть бы себе гнусавили, чем отращивать им бороды? Бьюсь об заклад, что им нечем даже заплатить цирюльнику.

– То правда, сеньор, – подтвердила одна из двенадцати дуэний, – у нас нет денег, чтобы заплатить за бритье, а потому некоторые из нас прибегают к такому дешевому средству: мы берем липкий пластырь или же какую-нибудь наклейку, прикладываем к лицу, а затем изо всех сил дергаем, и щеки у нас делаются чистые и гладкие, как донышко каменной ступки. Правда, в Кандайе есть такие женщины, которые ходят по домам и удаляют волосы, подравнивают брови, составляют разные притирания, в коих нуждаются дамы, но мы, дуэньи нашей госпожи, никогда к ним не обращаемся: ведь они нам вовсе не родные сестры и даже не сводные, – они просто-напросто сводни, так что если сеньор Дон Кихот за нас не вступится, то мы и в гроб сойдем боролатыми.

– Я скорее позволю, чтобы мне мою собственную бороду вырвали мавры, нежели вашим бородам позволю расти, – объявил Дон Кихот.

При этих словах Трифальди очнулась и произнесла:



– Во время моего обморока до меня долетел отзвук вашего обещания, доблестный рыцарь, и это он пробудил меня и привел в чувство. Итак, я снова умоляю вас, славнейший из странствующих рыцарей и неукротимейший из сеньоров: претворите в жизнь милостивое ваше обещание.

– За мной дело не станет, – молвил Дон Кихот, – вы только скажите, сеньора, что мне надлежит делать, а мужество мое всегда к вашим услугам.

– Дело состоит вот в чем, – объявила Горевана. – Если идти сушей, то отсюда до королевства Кандайи будет пять тысяч миль или же около того, но если лететь по воздуху и напрямиком, то будет всего только три тысячи двести двадцать семь. И вот что еще должно знать: Злосмрад мне сказал, что когда судьба пошлет мне рыцаря-избавителя, то он, Злосмрад, предоставит в его распоряжение верхового коня изрядных статей, без таких изъянов, какие бывают у лошадей наемных, ибо это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прелестную Магелону и которым правят с помощью колка, продетого в его лоб и заменяющего удила, и летит этот конь по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто несут его черти. Согласно древнему преданию, коня того смастерил мудрый Мерлин и отдал на время другу своему Пьеру, и тот совершил на нем долгое путешествие и, как я уже сказала, похитил прелестную Магелону, посадив ее на круп и взвившись с нею на воздух, а кто в это время стоял и смотрел на них снизу вверх, те так и обалдели. Мерлин, однако ж, давал своего коня только тем, кого он любил, или же тем, с кого он за это что-либо получал, и мы ведь не знаем, ездил ли на этом коне еще кто-нибудь после достославного Пьера. Злосмрад раздобыл его силою своих волшебных чар, и теперь он им владеет и разъезжает на нем по всему белому свету: нынче он здесь, завтра во Франции, послезавтра в Потоси<sup>1</sup>. Но самое главное: упомянутый конь не ест, не спит, не изнашивает подков и без крыльев летает по воздуху такую иноходью, что седок может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни единой капли – столь ровный и плавный у того коня ход. Вот почему прелестная Магелона с таким удовольствием на нем путешествовала.

Тут вмешался Санчо:

– Что касается ровного и плавного хода, то мой серый по воздуху, правда, не летает, ну, а на земле он с любым иноходцем потягается.

Все засмеялись, а Горевана продолжала:

– И вот этот самый конь (если только Злосмрад захочет положить конец нашей невзгоде) меньше чем через полчаса после наступления темноты явится сюда, ибо Злосмрад меня предупредил, что он без малейшего промедления пошлет мне коня: это и будет примета, по которой я догадаюсь, что нашла наконец искомого рыцаря.

– А много народу может поместиться на вашем коне? – осведомился Санчо.

Горевана ответила:

– Двое. Один в седле, другой на крупе, и обыкновенно это – рыцарь и оруженосец, если только нет какой-либо похищенной девицы.

– Любопытно мне знать, сеньора Горевана, как зовут того коня? – спросил Санчо.

– Его зовут, – отвечала Горевана, – не так, как коня Беллерофонта<sup>2</sup>, коему имя было Пегас, не так, как коня Александра Великого, именовавшегося Буцефалом, не так, как коня неистового Роланда, которого звали Брильядором, и не зовут его ни Баярдом, как звали коня Ринальда Монтальванского, ни Фронтинном, как звали коня Руджера, ни Боотосом и Перифоем<sup>3</sup>, как звали, кажется, коней Солнца, равно как не зовут его и Орельей, по имени коня, на котором несчастный Родриго, последний король готов, вступил в бой, стоивший ему и жизни и королевства.

---

<sup>1</sup> Потоси – город в Боливии.

<sup>2</sup> Беллерофонт (миф.) – сын коринфского царя Главка, победивший трехголовое огнедышащее чудовище Химеру с помощью крылатого коня Пегаса. Когда Беллерофонт захотел подняться на Пегасе на небо, Пегас сбросил его и взлетел один, после чего был превращен в созвездие.

<sup>3</sup> Боотос, Перифой (миф.) – Боотос – греческое название созвездия Волопас. Перифой – друг Тезея, спустившийся вместе с ним в подземное царство, чтобы похитить Прозерпину. Здесь Боотос и Перифой названы по ошибке вместо Пирея. и Эо, двух из четырех коней Солнца.

– Бьюсь об заклад, – молвил Санчо, – что коли этому коню не было дано ни одного из славных имен столь знаменитых коней, то не носит он также имени коня моего господина – Росинант, которое своею меткостью превосходит все перечисленные вами прозвища.

– То правда, – подтвердила бородатая графиня, – но и ему дано имя весьма подходящее: его зовут Клавиленьо Быстроногий, – *леньо*, то есть кусок дерева, показывает из чего он сделан, *клави* – это от слова *клавиша*, то есть колокол, и намекает это на колокол, который у него во лбу, определение же удостоверяет быстроту его бега, так что по части клички он смело мог бы поспорить со знаменитым Росинантом.

– Кличка мне, пожалуй, нравится, – заметил Санчо, – ну, а как же им правят-то: есть у него уздечка или недоуздок?

– Я же сказала, что при помощи колка, – отвечала Трифальди. – Рыцарь, сидящий на нем, поворачивает колокол то в одну сторону, то в другую, и конь едет, куда надобно всаднику: то взметнется под облака, то едва не касается копытами земли, а то как раз посередине, каковой средине и должно искать и придерживаться во всех благоразумных предприятиях.

– Я ничего бы не имел против взглянуть на того коня, – молвил Санчо, – но ждать, что я на него сяду, в седло ли, на круп ли, куда бы то ни было, это все равно что на вязе искать груш. Скажите спасибо, что я на сером-то кое-как держусь, и при этом седло у меня мягче шелка, а вы хотите, чтобы я сидел на деревянном крупе безо всякой подушки и подстилки! Черт побери! Не желаю я трястись на таком коне ради того, чтобы кто-то там избавился от бороды: пусть каждый освобождается от нее как ему заблагорассудится, а я не намерен пускаться с моим господином в столь длительное путешествие. Тем паче для удаления означенных бород я, верно уж, не так нужен, как для расколдования сеньоры Дульсинеи.

– Еще как нужен, друг мой, – возразила Трифальди, – думаю, что без твоего участия у нас ничего не выйдет.

– Караул! – воскликнул Санчо. – Какое дело оруженосцам до приключений, которые затевают господа? Вся слава от них господам, а нам одни хлопоты. Нет, черта с два! И если бы еще авторы историй писали: «Такой-то рыцарь вышел победителем из такого-то и такого-то приключения, и помощь ему в том оказал оруженосец имярек, без чьего участия победа была бы невозможна...» А то ведь они просто-напросто пишут: «Дон Паралипоменон, Рыцарь Трех Звезд, вышел победителем из приключения с шестью чудовищами», про оруженосца же, который принимал во всем этом участие, ни слова, как будто его и на свете не было! Итак, сеньоры, повторяю: мой хозяин пусть себе едет, желаю ему успеха, а я останусь здесь, в обществе сеньоры герцогини, и может статься, что к его приезду дело сеньоры Дульсинеи сдвинется с мертвой точки, потому я намерен в часы досуга и безделья всыпать себе такую порцию плетей, что потом нельзя будет ни лечь, ни сесть.

– Как бы то ни было, милый Санчо, тебе в случае нужды придется сопровождать своего господина, все добрые люди будут тебя об этом просить: нельзя же, чтоб из-за напрасного твоего страха лица этих сеньор остались такими заросшими, – ведь это же просто непристойно.

– Еще раз говорю: караул! – воскликнул Санчо. – Если б надобно было помочь каким-нибудь молодым монастыркам или же девочкам из сиротской школы, то ради этого еще стоило бы претерпеть мытарства, но мучиться из-за того, чтоб избавить от бороды дуэний? Как бы не так! Пусть все до одной разгуливают с бородами, от самой старшей до самой младшей, от первой кривляки и до последней ломаки.

– Ты не любишь дуэний, друг Санчо, – заметила герцогиня, – сейчас видно, что ты ярый сторонник толедского аптекаря. Но, скажу по чести, ты не прав, ибо в моем доме есть примерные дуэнии: вот перед тобой донья Родригес, – один вид ее говорит сам за себя.

– Даже больше, чем угодно сказать вашей светлости, – подхватила Родригес, – ну да бог правду видит, и какие бы мы, дуэнии, ни были, хорошие или же дурные, бородатые или же безбородые, наши матери произвели нас на свет так же точно, как производят на свет всех других женщин, и коли господь даровал нам жизнь, стало быть, он знает, зачем, и я уповаю

на его милосердие, а не на чью бы то ни было бороду.

– Довольно об этом, сеньора Родригес, – заметил Дон Кихот, – я надеюсь, сеньора Трифальди и вы все, составляющие ее свиту, что небо очами сострадания взглянет на ваше горе, и Санчо исполнит все, что я ему ни прикажу. Скорей бы только являлся Клавиленьо, и я тотчас же вызову на бой Злосмрада; не сомневаюсь, что ни одна бритва не побреет ваши милости с такой быстротой, с какою лезвие моего меча сбреет с плеч голову Злосмрада, – господь терпит злодеев, но до поры до времени.

– Ах! – воскликнула тут Горевана. – Пусть приветными очами взглянут на ваше величие, доблестный рыцарь, все звезды горнего мира, да пошлют они вам всяческое благополучие и исполнят дух ваш отвагою, дабы вы соделались щитом и ограждением всего посрамленного и угесненного рода дуэний, презираемого аптекарями, поносимого слугами, обманываемого пажами, и чтоб ей пусто было, той мерзавке, которая во цвете лет, вместо того чтобы пойти в монашки, первая пошла в дуэньи! Несчастные мы, дуэньи! Если бы даже мы со стороны отца вели свое происхождение от самого Гектора троянского, все равно наши сеньоры обращались бы к нам, точно к горничным: «Послушайте, моя милая», как будто от этого они сами становятся королевами! О великан Злосмрад! Хоть ты и волшебник, но все же ты тверд в своих обещаниях, так пошли нам бесподобного Клавиленьо, дабы кончилась наша невзгода, ибо если настанет жара, а щеки наши все еще будут покрыты брадою, то горе нам тогда, горе злосчастливым!

Трифальди произнесла это с таким чувством, что на глазах у всех присутствовавших навернулись слезы, даже Санчо – и того прошибла слеза, и мысленно он дал себе слово сопровождать своего господина хотя бы на край света, если от этого будет зависеть удаление шерсти с сих благородных лиц.

## Глава XLl

*О том, как появился Клавиленьо, и о том, чем кончилось затянувшееся это приключение*

Между тем смерклось, то есть настал условленный час, когда надлежало появиться знаменитому коню Клавиленьо, коего опоздание уже начало тревожить Дон Кихота, – ему казалось, что Злосмрад медлит с посылкой коня или потому, что это приключение назначено в удел другому рыцарю, или же что сам Злосмрад не осмеливается вступить с ним в единоборство. Но в это время неожиданно вошли в сад четыре дикаря, увитые зелеными стеблями плюща, а на плечах у них высился громадный деревянный конь. Они поставили его на землю, и тут один из дикарей сказал:

– Пусть воссядет на сие сооружение тот рыцарь, у которого достанет для этого храбрости.

– Только не я, – прервал его Санчо, – во-первых, у меня не достанет для этого храбрости, а во-вторых, я не рыцарь.

А дикарь продолжал:

– Если же у рыцаря есть оруженосец, то пусть он сядет на круп, и пусть оба вверят себя доблестному Злосмраду, ибо за исключением меча Злосмрадова никакой другой меч и ничье коварство не властны причинить им зло. Стоит только повернуть колок, вделанный в шею этого коня, и он перенесет по воздуху и рыцаря и оруженосца туда, где их дожидается Злосмрад, но чтобы от высоты полета у обоих не закружилась голова, им надлежит завязать себе глаза и не снимать повязки, покуда конь не заржет, каковое ржание явится знаком, что путешествие окончилось.

Засим дикари оставили Клавиленьо и чинно направились туда, откуда пришли. Горевана, как скоро увидела коня, почти со слезами обратилась к Дон Кихоту:

– Доблестный рыцарь! Злосмрад исполнил свое обещание: конь – вот он, между тем бороды наши все растут и растут, и каждая из нас каждым волоском бороды своей тебя

заклинает остричь ее и сбрить, и того ради тебе надлежит лишь сесть на коня вместе с твоим оруженосцем и положить удачное начало необычайному вашему путешествию.

– Я так и сделаю, сеньора графиня Трифальди, вполне добровольно и по собственному моему хотению, и, чтобы не задерживаться, я даже не возьму подушки для сиденья и не надену шпор, – так сильно во мне желание увидеть вас, сеньора, и всех прочих дуэний с гладкими, лишенными растительности лицами.

– Ну, а я так не сделаю, – объявил Санчо, – ни добровольно, ни принудительно, никак не сделаю. Если же это бритье может быть произведено только после того, как я сяду на круп коня, то мой господин может тогда искать себе в спутники другого оруженосца, а сеньоры дуэнии – другой способ лощить себе лица, а я не колдун, чтобы находить удовольствие в летании по воздуху. Да и что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатора ветер носит? А потом еще вот что: отсюда до Кандайи три тыщачи с чем-то миль, и если конь притомится или же великан рассердится, то на возвратный путь мы потратим лет этак шесть, а тогда, стало быть, всякие там острова да разострова мне улыбнутся. И ведь не зря говорится, что промедление опаснее всего, а еще: дали тебе коровку – беги скорей за веревкой, и, да простят мне бороды этих сеньор, хорошо апостолу Петру в Риме, – я хочу сказать, что мне и здесь хорошо: меня в этом доме держат в холе, а от хозяина я ожидаю великой милости, то есть назначения губернатором.

На это герцог ему сказал:

– Друг Санчо! Остров, который я тебе обещал, не принадлежит к числу движущихся или плавучих, корни его столь глубоки, что доходят до самых недр земли, и его в три приема не выкорчевать и с места не сдвинуть. Кроме того, ты знаешь не хуже меня, что добиться назначения на любой высокий пост можно только за большую или меньшую мзду, я же в уплату за губернаторство хочу, чтобы ты отправился вместе со своим господином Дон Кихотом и достопамятное это приключение завершил и довел до конца. Но возвратишься ли ты верхом на Клавиленьо с той быстротою, какой должно ожидать от его резвости, или же, при неблагоприятном стечении обстоятельств, пробираясь от одной харчевни до другой и от одного постоянного двора до другого, приплетешься и прибредешь пешком, словом, когда и как бы ты ни возвратился, ты найдешь остров на прежнем месте, твои островитяне с прежним нетерпением будут ждать, когда ты начнешь управлять ими, я, со своей стороны, также не изменю своего решения, и ты, Санчо, во всем этом не сомневайся, иначе я почту себя оскорбленным в лучших чувствах, какие я к тебе питаю.

– Довольно, сеньор! – сказал Санчо. – Я бедный оруженосец, и подобные учтивости мне не по чину. Пусть мой господин сядет на коня, потом завяжите мне глаза, помолитесь за меня богу и скажите: когда мы будем летать там, в вышине, могу ли я поручить себя господу богу и призвать на помощь ангелов?

Трифальди же ему на это ответила так:

– Ты, Санчо, имеешь полное право поручать себя богу и кому угодно: Злосмрад хотя и волшебник, а все-таки христианин, и ворожит он с великою осмотрительностью и великою осторожностью, стараясь ни с кем не связываться.

– Ну, тогда ничего, – молвил Санчо. – Да хранит меня господь и Гаэтская пресвятая троица!

– Со времени достопамятного приключения с сукновальнями, – заметил Дон Кихот, – никогда я еще не видел Санчо в таком страхе, как сейчас, и, будь я столь же суеверен, как другие, его малодушие могло бы сломить мое мужество. Ну-ка, поди сюда, Санчо! С дозволения этих сеньоров я хочу сказать тебе два слова наедине.

И, уведя Санчо под деревья, он схватил его за обе руки и сказал:

– Ты видишь, брат Санчо, что нам предстоит длительное путешествие, бог знает, когда мы возвратимся и будет ли у нас досуг и удобный случай, вот почему мне бы хотелось, чтобы ты сейчас пошел к себе в комнату, будто бы тебе что-то нужно захватить в дорогу, и в мгновение ока влепил себе для начала, в счет трех тысяч трехсот плетей, с тебя причитающихся, хотя бы пятьсот, – что-то, по крайней мере, было бы уже сделано, – а

начать какое-нибудь дело – значит уже наполовину его кончить.

– Ей-богу, у вашей милости не все дома! – воскликнул Санчо. – Это мне напоминает поговорку: «Я ребенка донашиваю, а ты с меня девичества спрашиваешь». Мне на голой доске сидеть придется, а ваша милость требует, чтобы я себе задницу отлупцевал? Ей-ей, ваша милость, это вы не подумавши. Давайте-ка лучше брить дуэний, а потом, когда мы вернемся, – вот вам честное слово оруженосца, – я так быстро покончу с моим обязательством, что ваша милость будет ублажена, и кончен разговор.

На это ему Дон Кихот сказал:

– Ну что ж, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду надеяться, что ты его исполнишь – по правде говоря, хоть ты и простоват, а все же ты человек солидный.

– Вовсе я не страховидный, а очень даже благовидный, – возразил Санчо, – впрочем, каков бы я ни был, а слово свое сдержу.

Тут они направились к Клавиленьо, и Дон Кихот, собираясь садиться верхом, сказал:

– Завяжи себе глаза, Санчо, и садись: ведь если за нами посылают из таких далеких стран, то, разумеется, не станут нас обманывать, ибо обманывать тех, кто тебе верит, – это занятие не из весьма доблестных, но хотя бы даже все обернулось по-другому, никакое коварство не сможет помрачить ту славу, которою мы себя покрываем, решаясь на этот подвиг.

– Едемте, сеньор, – молвил Санчо, – бороды и слезы этих сеньор надрыдают мне душу, и я куска в рот не возьму, пока не увижу своими глазами, что лица их обрели первоначальную гладкость. Садитесь прежде вы, ваша милость, и завязывайте себе глаза: ведь я поеду на крупе, стало быть, ясно, что, кому ехать в седле, тот должен садиться первым.

– Твоя правда, – согласился Дон Кихот.

Засим он достал из кармана платок и попросил Горевану как можно лучше завязать ему глаза; когда же она это сделала, он вдруг скинул повязку и сказал:

– Если память мне не изменяет, я читал у Вергилия о троянском Палладиуме<sup>1</sup>: то был деревянный конь, которого греки поднесли богине Палладе и внутри которого находились вооруженные воины, впоследствии не оставившие от Трои камня на камне, а потому не худо было бы прежде узнать, что у Клавиленьо в брюхе.

– Узнавать незачем, – возразила Горевана. – Я за него ручаюсь и твердо знаю, что Злосмрад – не какой-нибудь вероломный предатель. Можете, сеньор Дон Кихот, без всяких опасений садиться на коня, – даю голову на отсечение, что ничего с вами не случится.

Дон Кихот подумал, что забота о собственной безопасности может разрушить сложившееся о нем мнение, как о смельчаке, а потому он без дальних слов сел верхом на Клавиленьо и попробовал колок: оказалось, что колок поворачивается совершенно свободно; а как стремян не было, то ноги у Дон Кихота висели в воздухе, и в эту минуту он живо напоминал фигуру, нарисованную или, вернее вытканную на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф. Санчо влезал на коня медленно и неохотно, наконец расположился на крупе поудобнее, но все же нашел, что круп коня совсем не мягкий, а очень даже твердый и потому обратился к герцогу с просьбой, нельзя ли выдать ему какую ни на есть подушку – ну хотя бы из диванной комнаты сеньоры герцогини или же с кровати кого-нибудь из ее слуг, ибо круп этого коня скорее, дескать, можно назвать мраморным, нежели деревянным. На это Трифальди сказала, что Клавиленьо никакой упряжи и никакого убранства на своей спине не потерпит, – единственный, дескать, выход – это сесть на дамский манер, тогда ему будет мягче. Санчо так и сделал и, попросившись со всеми, позволил завязать себе глаза, но потом снова их развязал и, бросив умоляющий взгляд на всех, кто находился в саду, начал со слезами просить их не оставить его в этом испытании своими молитвами и прочесть несколько раз «Pater noster» и несколько раз «Ave Maria», а за это, мол, когда и на их долю выпадет подобное испытание, господь пошлет им человека,

---

<sup>1</sup> *Троянский Палладиум (миф.)* – изображение богини Паллады, упавшее на Трою и считавшееся залогом неприкосновенности этого города.

который помолится за них. Но тут вмешался Дон Кихот:

– Разве тебя на виселицу ведут, мерзавец, разве тебе пришел конец, что ты вздумал обращаться с подобными просьбами? Разве ты, бессовестное и жалкое создание, не сидишь на том самом месте, на котором восседала прелестная Магелона и с которого она, если верить летописцам, сошла отнюдь не в могилу, а на французский престол? И разве я, сидящий рядом с тобою, уступаю в чем-либо доблестному Пьеру, занимавшему то самое место, которое ныне занимаю я? Ну же, завязывай себе глаза, малодушная тварь, и не показывай виду, что ты боишься – по крайней мере, в моем присутствии.

– Добро, завязывайте мне глаза, – молвил Санчо. – Не хотят, чтобы я молился богу, не хотят, чтобы другие за меня помолились, – чего же после этого удивляться, что я боюсь, как бы нам не повстречался легион бесов и не потащил нас в Перальвилью<sup>1</sup>?

Оба завязали себе глаза, затем Дон Кихот, удостоверившись, что все в надлежащем порядке, тронул колок, и едва он прикоснулся к нему пальцами, как все дуэньи и все, кто только при сем присутствовал, начали кричать:

– Храни тебя господь, доблестный рыцарь!

– Господь с тобой, бесстрашный оруженосец!

– Вот, вот вы уже взлетели на воздух и теперь разрезаете его быстрее стрелы!

– Вот уже все, кто глядит на вас снизу, дивятся и приходят в изумление!

– Сиди прямо, доблестный Санчо, не качайся! Смотри не упади, а не то твое падение будет горше падения того дерзновенного юноши<sup>2</sup>, который вздумал править колесницею своего отца, то есть Солнца!

Услышав эти выкрики, Санчо прижался к своему господину и, обхватив его руками, молвил:

– Сеньор! Как же это они говорят, что мы уже высоко-высоко, а между тем до нас доносятся их голоса, и при этом до того явственно, что кажется, будто они разговаривают вот здесь, рядом с нами?

– Не обращай внимания, Санчо: все эти происшествия и полеты идут вразрез с обыкновенным течением вещей, вот почему ты все, что угодно, увидишь и услышишь даже за тысячу миль. И не наваливайся, – этак ты меня столкнешь. Право, я не возьму в толк, чего ты беспокоишься и чего ты боишься, – я готов поклясться, что ни разу в жизни не приходилось мне ездить на коне, у которого был бы такой плавный ход: кажется, будто мы не двигаемся с места. Рассей, дружище, страх: поверь мне, все обстоит, как должно, и ветер дует попутный.

– Ваша правда, – подтвердил Санчо, – с этой стороны на меня дует такой сильный ветер, что кажется, будто это не ветер, а невесть сколько мехов.

И так оно и было на самом деле: поднимали ветер несколько больших мехов; герцог и герцогиня совместно с домоправителем всесторонне обдумали это приключение, и всякая мелочь была ими возведена на возможную степень совершенства.

Ощувив дуновение, Дон Кихот сказал:

– Я не сомневаюсь, Санчо, что мы уже достигли второй области воздуха<sup>3</sup>, где зарождаются град и снег, а в третьей области зарождаются гром, молния и солнечные лучи, и если мы и дальше будем так быстро ехать, то скоро попадем в область огня, вот только я не знаю, в какую сторону должно повернуть колок, чтобы не взлететь туда, где мы можем сгореть.

Как раз в это время Дон Кихоту и Санчо стало жарко от намотанных на камышовые

---

<sup>1</sup> *Перальвилью* – место близ города Сьюдад Реаль в Ламанче, где Святое братство казнило преступников.

<sup>2</sup> *Дерзновенный юноша (миф.)*. – Имеется в виду Фаэтон, дерзнувший править колесницей отца своего Феба и поплатившийся за это жизнью.

<sup>3</sup> *...мы уже достигли второй области воздуха...* – В своих рассуждениях Дон Кихот исходит из системы мира Птолемея. Согласно этой системе, все тяжелые элементы стремятся к центру мира и скопляются вокруг него, образуя шарообразную массу Земли. Более легкие элементы, как вода, воздух, огонь, последовательными слоями располагаются друг над другом. Кроме четырех элементов, составляющих мир видимый (земля, вода, воздух, огонь), имеется пятый элемент – совершенный эфир, из которого состоят небесные светила.

стебли горящих волокон пакли, а пакля, как известно, легко воспламеняется и легко может быть погашена на расстоянии. Почувствовав жар, Санчо сказал:

– Убейте меня, если мы уже не попали в полосу огня или не приблизились к ней: у меня полбороды обгорело, так что я, сеньор, хочу снять повязку и поглядеть, где мы.

– Не делай этого, – возразил Дон Кихот, – припомни правдивую историю лиценциата Торральбы, которого черти верхом на тростинке, с завязанными глазами подняли на воздух: через двенадцать часов он прибыл в Рим, спустился на землю на Тор ди Нона, – так называется улица, – явился свидетелем знаменитого разгрома и приступа<sup>1</sup>, а также гибели герцога Бурбонского, а на другое утро уже очутился в Мадриде и рассказал обо всем, что видел. Между прочим, он сообщил, что, когда он летел по воздуху, дьявол велел ему открыть глаза, а когда он открыл их, то ему показалось, будто он так близко от луны, что может схватить ее рукой, на землю же он из боязни головокружения так и не решился, взглянуть. Поэтому, Санчо, нам не должно снимать повязки. Кто нам ручался, тот за нас и ответит, и вполне возможно, что мы поднялись и кружим теперь на такой высоте для того, чтобы потом мгновенно низринуться в королевство Кандайское, подобно как сокол или же кречет падают на цаплю с огромной высоты, и хотя нам кажется, что с тех пор, как мы вылетели из сада, не прошло и получаса, однако уверяю тебя, что мы проехали весьма значительное расстояние.

– Ума не приложу, в чем тут дело, – признался Санчо Панса, – одно могу сказать: если сеньоре Наглеоне – или как бить ее: Магелона? – доставляло удовольствие сидеть на крупе этого коня, значит, вряд ли у нее была уж: очень неясная седалищная часть.

Герцог, герцогиня, а равно и все, находившиеся в саду, от слова до слова слышали беседу двух храбрецов и были от нее в совершенном восторге; затем, вознамерившись положить конец этому необычайному и умело разыгранному приключению, они велели поднести к хвосту Клавильеньо горящую паклю, Клавильеньо же был набит трескучими ракетами, и потому он тотчас же с невероятным грохотом взлетел на воздух, а Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, грянулись оземь.

Тем временем бородатый отряд дуэний во главе с Трифальди исчез из сада, все же остальные, как будто бы в обмороке, лежали ниц на земле. Дон Кихот и Санчо сильно ушиблись при падении; когда же они стали на ноги, то огляделись по сторонам и так и обомлели: перед ними был все тот же сад, откуда они выехали, а на земле вповалку лежали люди; но каково же было их изумление, когда в одном углу сада они обнаружили воткнутое в землю длинное копьё, к коему были привязаны два зеленых шелковых шнура, на шнурах висел белый гладкий пергамент, а на нем крупными золотыми буквами было написано следующее:

«Достославный рыцарь Дон Кихот Ламанчский завершил и довел до конца приключение с графиней Трифальди, именуемую также дуэньей Гореваной, и со всею ее компанией одним тем, что на приключение это отважился. Злосмрад не имеет к нему более никаких претензий, подбородки дуэний стали гладкими и растительности лишенными, королевская же чета: дон Треньбреньо и Метонимия возвратились в первоначальное свое состояние. Когда же будет завершено оруженосцево бичевание, то белая голубка вырвется из когтей зловонных коршунов, ныне ее терзающих, и очутится в объятиях своего воркующего возлюбленного, ибо так судил мудрый Мерлин, всем волшебникам волшебник».

Прочитав надпись на пергаменте, Дон Кихот ясно понял, что речь идет о расколдовании Дульсинеи, и, возблагодарив небо за то, что ему удалось с таким малым

<sup>1</sup> ...историю лиценциата Торральбы... явился свидетелем знаменитого разгрома и приступа... – Речь идет о разграблении Рима в мае 1527 г. ландскнехтами Карла V. Солдаты осаждали дома, под звуки флейт убивали всех, кто в них скрывался. Герцог Бурбонский, один из полководцев Карла V, был убит во время этой осады. Солдаты Карла V разъезжали по городу верхом на папских мулах с епископскими митрами на головах и мантиями на плечах, собирались в Ватикане на шутовские конклавы, на одном из которых был низложен папа Климентий VII. Доктор Эухеньо Торральба, узнав об этих бесчинствах, стал о них рассказывать и попал за это в лапы инквизиции, которая, предъявив ему обвинение в колдовстве, приговорила его к сожжению.

риском совершить столь великое деяние и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэний, которые, впрочем, больше не показывались, приблизился к герцогу и герцогине, но те все еще лежали в забытии, – тогда Дон Кихот взял герцога за руку и сказал:

– Полно, добрый сеньор, смелей, смелей, все хорошо! Приключение окончилось вполне благополучно, как это ясно показывает надпись на мемориальной колонне.

Герцог, как бы медленно пробуждаясь от глубокого сна, наконец очнулся, герцогиня же и все остальные, лежавшие в саду на земле, последовали его примеру, до того правдоподобно изображая ужас и изумление, что можно было подумать, будто вышеописанные события происходили на самом деле, а не были преискусно разыграны шутки ради. Герцог полуоткрытыми глазами прочитал грамоту, а затем с распростертыми объятиями направился к Дон Кихоту, обнял его и сказал, что такого, как он, славного рыцаря не было от сотворения мира. Санчо между тем искал глазами Горевану: ему хотелось посмотреть, какой вид имеет она без бороды и соответствует ли красота ее лика стройности ее стана, но ему сказали, что как скоро Клавиленьо, объятый пламенем, рухнул наземь, весь отряд дуэний во главе с Трифальди скрылся, однако перьев на их лицах уже не осталось, – все дуэньи были тщательно выбриты. Герцогиня осведомилась, как себя чувствовал Санчо во время длительного путешествия. Санчо же ей на это ответил так:

– Сеньора! Когда мы пролетали, как объяснил мне мой господин, по области огня, мне захотелось чуть-чуть приоткрыть глаза. Я попросил позволения у моего господина снять повязку, но он не позволил, ну да ведь я уж какой любопытный, только скажи, что это вот запретное и недозволенное, и мне уже не терпится знать. Тихохонько и неприметно приподнял я у самой переносицы платок, который закрывал мне глаза, самую малость приподнял – и глянул вниз, и показалось мне, будто вся земля не больше горчичного зерна, а люди по ней ходят величиной с орешек: стало быть, уж очень мы тогда высоко забрались.

Герцогиня же ему сказала:

– Друг Санчо! Подумай, что ты говоришь, – выходит, что ты видел не землю, а людей, которые по ней ходили; ведь если земля показалась тебе с горчичное зерно, а каждый человек с орешек, то ясно, что один человек должен закрыть собою всю землю.

– Ваша правда, – согласился Санчо, – а все-таки с одного боку она виднелась, и я ее разглядел всю.

– Помилуй, Санчо, – возразила герцогиня, – с одного боку невозможно разглядеть весь предмет, на который ты смотришь.

– Да что там миловать или не миловать, – заметил Санчо, – я одно могу сказать: пора бы вашему величию смекнуть, что летели мы силою волшебства, а значит, и я по волшебству мог увидеть всю землю и всех людей, откуда бы я на них ни смотрел, и если ваша милость этому не верит, то не поверит она и другому, а именно: сдвинул я повязку на брови, гляжу – небо-то вот оно, пяди полторы до него, не больше, и какое же оно, не сойти мне с этого места, государыня моя, огромное! И случилось нам пролетать мимо семи козочек<sup>1</sup>, а ведь я в детстве был у нас в селе козопасом, и вот, клянусь богом и спасением души, увидел я их – и до чего же мне тут захотелось хоть чуточку с ними повозиться!.. Кажется, не доберусь я до них, так сей же час лопну с досады. Ну что ты будешь делать? Вот я, никому ни слова не сказав, особенно моему господину, потихоньку да полегоньку соскочил с Клавиленьо – и провозился с козочками почти три четверти часа, а уж козочки-то – ну прямо цветочки, гвоздики, да и только, и за все это время Клавиленьо не сдвинулся с места и не сделал ни шагу вперед.

– А пока добрый Санчо возился с козочками, чем же был занят сеньор Дон Кихот? – спросил герцог.

Дон Кихот же ему на это ответил так:

– Все эти события и происшествия не подчиняются естественному порядку вещей, а потому рассказ Санчо не должен нас удивлять. О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязку и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Правда, я тотчас почувствовал, что

---

<sup>1</sup> ...мимо семи козочек... – Подразумевается семь звезд в созвездии Тельца.



мы пролетаем область воздуха, а затем, что мы приближаемся к области огня, но чтобы мы поднялись еще выше, этого я не думаю, ибо область огня находится между лунным небом и последней областью воздуха, стало быть, не обгоревши, мы не могли достигнуть той небесной сферы, где находится семь козочек, о которых толковал Санчо, а коль скоро мы не опалены, значит, Санчо или лжет, или грезит.

– Я не лгу и не грежу, – возразил Санчо. – Коли на то пошло, спросите у меня приметы этих козочек, и тогда увидите, правду я говорю или нет.

– Ну так какие же это приметы, Санчо? – спросила герцогиня.

– Две из этих козочек зеленые, – отвечал Санчо, – две красные, две голубые и одна пестрая.

– Это какая-то новая порода, – заметил герцог, – в нашей, земной области таких цветов не бывает, то есть коз таких цветов.

– Это понятно, – рассудил Санчо, – должна же быть разница между козами небесными и земными.

– А скажи, Санчо, – спросил герцог, – не было ли среди тех коз рогатого козла?

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – но я слышал другое: будто до рогов месяца не достать рогами ни одному рогоносцу на свете.

Больше вопросов по поводу путешествия не последовало; видно было, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит.

Таков был конец приключения с дуэньей Гореваной, над которым герцог и герцогиня от души смеялись не только тогда, но и во все продолжение своей жизни, и о котором Санчо Пансе хватило бы разговоров на несколько столетий, если бы он столько прожил; Дон Кихот же, приблизившись к Санчо, сказал ему на ухо:

– Санчо! Если вы желаете, чтобы люди поверили вашим рассказам о том, что вы видели на небе, то извольте и вы поверить моим рассказам о том, что я видел в пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел сказать.

## Глава XLII

*О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах*

Герцог и герцогиня, довольные тем, что приключение с Гореваной так благополучно окончилось, и видя, что шутки их без малейших колебаний принимаются за правду, вознамерились шутить и дальше; того ради герцог указал и отдал распоряжения слугам своим и вассалам, как должно вести себя с Санчо, когда он начнет управлять обещанным островом, а на другой день после полета Клавиленьо объявил Санчо, чтобы он привел себя в надлежащий порядок и был готов занять пост губернатора, ибо островитяне ждут его, дескать, как майского дождика. Санчо низко ему поклонился и сказал:

– С тех пор как я спустился с неба и с тех пор как я с поднебесной высоты окинул взглядом землю и увидел, какая она маленькая, мое огромное желание стать губернатором слегка ослабело: в самом деле, что ж тут такого величественного – владеть горчичным зерном, что ж это за высокая должность и что ж это за владычество – управлять полдюжиною людей с орешек ростом? А ведь мне тогда показалось, что на всей земле больше никого и нет. Вот если б вы, ваша светлость, соизволили пожаловать мне малую толику неба, хотя бы этак с полмили, я бы ей обрадовался больше, нежели величайшему острову в мире.

– Послушай, друг Санчо, – заговорил герцог, – я не властен кого бы то ни было наделять ни единым кусочком неба, будь он даже величиною с ноготь, – подобные милости и щедроты могут исходить только от господ бога. Я даю тебе, что могу, а именно самый настоящий остров, круглый и аккуратный, в высшей степени плодородный и обильный, так

что если тебе удастся прибрать его к рукам, то при наличии стольких земных благ ты приобретешь и блага небесные.

– Ин ладно, – молвил Санчо, – остров так остров, я постараюсь быть таким губернатором, чтобы назло всем мошенникам душа моя попала на небо. И это я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы, – просто мне хочется попробовать, какое оно, это губернаторство.

– Раз попробуешь, Санчо, язык проглотишь, – заметил герцог, – нет ничего слаще повелевать и видеть, что тебе повинуются. Могу ручаться, что когда твой господин сделается императором, – а судя по тому, как идут его дела, он будет таковым непременно, – то этого сана никакими силами у него уже не отнимешь, и в глубине души он будет сожалеть и досадовать, что так поздно стал императором.

– Сеньор! – объявил Санчо. – Я нахожу, что повелевать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

– У нас с тобой, Санчо, вкусы сходятся, и во всем-то ты разбираешься, – заметил герцог, – я надеюсь, что и управлять ты будешь столь же мудро, сколь мудры твои речи. Ну, вот пока и все, помни только, что ты отправишься управлять островом самое позднее завтра, а сегодня вечером тебе выдадут приличное новому твоему званию платье и снарядят в дорогу.

– Пусть одевают как хотят, – сказал Санчо, – я в любом наряде останусь Санчо Пансою.

– И то правда, – согласился герцог, – но все-таки одежда должна соответствовать роду занятий и занимаемой должности: так, например, законоведу неудобно одеваться, как солдат, а солдату – как священник. Ты же, Санчо, будешь одет наполовину как судейский, а наполовину как военачальник, ибо на том острове, который я тебе жалую, в военных такая же нужда, как и в ученых, а в ученых – такая же, как и в военных.

– Вот по ученой-то части я как раз слабоват, – признался Санчо, – я даже азбуки – и той не знаю. Впрочем, хороший губернатор должен уметь вместо подписи крестик поставить – и ладно. Если же мне выдадут оружие, то с божьей помощью я не выпущу его из рук, доколе не упаду.

– Всегда руководствуйся высокими этими соображениями, Санчо, и ты избежишь ошибок, – заметил герцог.

В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет речь и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и с дозволения герцога увел к себе, дабы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:

– Я возношу бесконечные благодарения богу, друг Санчо, за то, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, на тебя свалилась и на твою долю выпала такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу, и вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени и вопреки здравому смыслу уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают спозаранку, выпрашивают, упорно добиваются – и цели своей, однако ж, не достигают, а другой, неизвестно как и почему, сразу получает должность и службу, коей столь многие домогались, и тут кстати и к месту будет привести пословицу, что как, мол, ни старайся, а на все – судьба. По мне, ты – чурбан, и ничего более, ты спозаранку не вставал, допоздна не засиживался, ты палец о палец не ударил, но тебя коснулся дух странствующего рыцарства – и вот ты уже, здорово живешь, губернатор острова. Все это, Санчо, я говорю к тому, чтобы ты не приписывал собственным своим заслугам оказанной тебе милости, – нет, прежде возблагодари всевышнего, который отеческою рукою все направляет ко благу, а затем возблагодари орден странствующего рыцарства, наивысшего благородства исполненный. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего Катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожатаем и путеводною звездою, которая направила бы и вывела тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти, ибо должности и высокие назначения

суть не что иное, как бездонная пучина смут.

Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться бога, ибо в страхе господнем заключается мудрость, будучи же мудрым, ты избежишь ошибок.

Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя познать, познание же это есть наитруднейшее из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом, если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней.

– Справедливо, – согласился Санчо, – но в ту пору я мальчонкой был, а когда подросток маленько, то уж гусей пас, а не свиней. Но только думается мне, это к делу не идет: ведь не все правители королевского рода.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот, – и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковые в сочетании с благоразумною осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься.

О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признавайся, не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься; вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным праведником, а не надменным грешником. Бесчисленное множество людей, в низкой доле рожденных, достигали наивысших степеней и были возводимы в сан первосвященнический или же императорский, чему я мог бы привести столько примеров, что ты устал бы меня слушать.

Помни, Санчо: если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет.

А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоём острове, то не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай, – этим ты угодишь богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы.

Если привезешь с собою жену (ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей на долгий срок, пребывают в разлуке с супругами), то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить глупая его и неотесанная жена.

Если ты овдоеешь (что всегда может случиться) и благодаря своему положению составишь себе более блестящую партию, то смотри, как бы новая твоя жена не превратилась в удочку с крючком и не начала приговаривать: «Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая», – истинно говорю тебе, что за все взятки, которые вымогает жена судьи, в день Страшного суда ответит ее муж, и после смерти он в четырехкратном размере заплатит за те побочные статьи дохода, на которые он при жизни не обращал внимания.

Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола: этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников.

Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача.

Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил бедняк.

В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания.

Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда.

Да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие, иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить, а если и возможно, то в ущерб доброму твоему имени и даже твоему достоянию.

Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя – в ее вздохах.

Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности.

Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека, достойного жалости, подверженного слабостям испорченной нашей природы, и по возможности, не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако же в наших глазах свойство всеблагости прекраснее и великолепнее, нежели свойство всеправедности.

Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблюдешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неизреченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети твои и внуки будут иметь почетное звание, уделом твоим будет мир и всеобщее благорасположение, а затем, в пору тихой твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится смерть, и нежные, мягкие ручки правнуков твоих закроют тебе очи. Все эти назидания должны послужить к украшению твоей души, а теперь послушай назидания, имеющие своею целью украшение тела.

## Глава XLIII

### *О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе*

Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал бы его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений? Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, он начинал нести околесную, только когда речь заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, он выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, а суждения с поступками; что же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное и в рассудительности своей и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы: видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот между тем продолжал:

– Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отрачивать их, как это делают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук, меж тем как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной птицы: это чудовищное безобразие и нечистоплотность.

Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным: беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа, если только это не нарочитая небрежность и распушенность, в чем, например, подозревали Юлия Цезаря.

Установи с наивозможною точностью, сколь важен твой пост, и если занимаемое тобою положение позволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько яркие и пышны, сколько приличны и прочны, и распредели их между своими лакеями и нищими, то есть, вместо того чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трех слуг и трех нищих, и тогда у тебя будут слуги и на земле и на небе: этот новый способ распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных.

Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков.

Ходи медленно, говори отдельно, но не до такой степени, чтобы можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая напыщенность противна.

За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний.

Не вздумай, Санчо, жевать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было.

– Я не понимаю, что значит *эрутировать*, – объявил Санчо.

Дон Кихот же ему пояснил:

– *Эрутировать*, Санчо, значит рыгать, но это одно из самых грубых слов во всем испанском языке, хотя оно и весьма выразительно, по сему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни и слово «рыгать» заменили словом *эрутировать*, слово же «рыгание» – словом *эрутация*, а что не все пока еще понимают вновь образованные слова, то этого бояться нечего, со временем слова эти войдут в наш обиход и станут всем понятны: язык находится под властью обычая и под властью темного народа, а таким путем он обогащается.

– Честное слово, сеньор, – молвил Санчо, – из всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это, насчет того, чтобы не рыгать, потому со мной это частенько случается.

– Не «рыгать» должно говорить, Санчо, а *эрутировать*, – поправил его Дон Кихот.

– С сегодняшнего дня стану говорить *эрутировать*, – сказал Санчо, – будьте спокойны, что не забуду.

– Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц, ибо хотя пословицы суть краткие изречения, однако ж ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы, вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями.

– От этого един господь властен меня избавить, – возразил Санчо, – потому в голове у меня больше пословиц, нежели в книжке, и когда я говорю, они вертятся у меня на языке все сразу, толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других, однако ж язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем некстати. Ну, а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства, потому где богато живут, там мигом и на стол подают, кому сдавать, тому уже не тасовать, и кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет, и кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

– Правильно, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Вплетай, нанизывай, накручивай пословицы – никто тебя за язык не держит! Мать с кнутом, а я себе все с волчком! Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну секунду насыпал их целый воз, хотя они и подходят к предмету нашего разговора, как корове седло. Пойми, Санчо: я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту, но если ты громоздишь и нанизываешь их как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой.

Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла, не вытягивай и не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху, и не сиди раскорякой, будто бы едешь на своем сером, ибо по тому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он, – знатный верхоконный или же простой конюх.

Спи умеренно: кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радостей дня; прими в соображение, Санчо, что расторопность есть мать удачи, врагиня же ее, леность, всегда препятствует достижению благой цели.

Последний мой совет, который я тебе сейчас преподаю, не относится к украшению тела, и все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в своей памяти, ибо полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущие: итак, никогда не оспаривай знатности

чьего-либо рода, во всяком случае не сравнивай один род с другим, оттого, что при сравнении один род невольно окажется более знатным, и тот, кого ты унижил, возненавидит тебя, тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит.

Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, долгополого камзола и еще более длинного плаща; о шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобою, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новые наставления, ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел.

– Сеньор! – заговорил Санчо. – Я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым и полезным, но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если представится случай, – это уж я себе втемяшил, но все прочие хитросплетения, вавилоны и закорючки мне не запомнились, и буду я о них помнить, как о прошлогодних тучах, а потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне: правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику, – пусть он по мере надобности твердит и напоминает мне об этом.

– Беда мне с тобой! – воскликнул Дон Кихот. – Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать! Надобно тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоте или же если кто левша, то это означает одно из двух: либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи, либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействие ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток; мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, научился подписывать свою фамилию.

– Поставить-то свою подпись я умею, – сказал Санчо. – Когда я был старшиной в нашем селе, я научился выводить буквы наподобие тех, которые ставят на тюках с грузом, и мне говорили, что у меня получалась моя фамилия. А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука, и велю кому-нибудь подписываться за меня: все на свете поправимо, кроме одной смерти, а как я буду там царь и бог, то, стало быть, мое слово – закон. Недаром говорится: у кого папаша алькальд, тот и на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там алькальд, а целый губернатор, – со мной шутки плохи. Ну-ка, попробуй тронь меня: идешь за шерстью – гляди, как бы самого не обстригли, а кого господь возлюбит, того он на дне моря разыщет, и потом: глупые речи богача сходят за мудрые изречения, а ведь я буду богат, коли буду губернатором, и к тому же я намерен быть губернатором щедрым, а значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме, «сколько имеешь, столько и стоишь», – говаривала моя бабушка, с человеком великого достатка ссориться несладко.

– А, чтоб ты пропал, Санчо! – воскликнул тут Дон Кихот. – Шесть тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами! Целый час ты ими сыплешь, а для меня это, как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя низложат твои вассалы, они не потерпят их и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь и как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомнить хотя бы одну пословицу и к месту ее привести – это каторжный труд.

– Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт подери! Вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием? А ведь у меня только и достояния и имущества, что пословицы да пословицы. Вот и сейчас вертится у меня на языке сразу несколько, и до того подходят они к нашему разговору – прямо как все равно по мерке сделаны, но только я вам их не скажу: «За благое молчание все тебя будут звать Санчо»<sup>1</sup>.

Дон Кихот же ему на это возразил:

– Ты – Санчо, да не тот: ты не только не благой молчальник, ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на

---

<sup>1</sup> «За благое молчание все тебя будут звать Санчо» – намек на испанскую поговорку: «Кто умеет молчать, того зовут Санчо» (по созвучию слов: «санто» – святой и Санчо).

память и будто бы кстати: я порылся в своей памяти, а ведь она у меня недурная, но так и не мог припомнить ничего подходящего.

– Да что может быть лучше этих пословиц, – сказал Санчо: – «Гляди-поглядывай, под зуб мудрости пальца не подкладывай», и еще: «Скажут тебе: а ну, подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова, – ты рот на замок и молчок», и еще: «Плетью обуха не перешибешь», – ну разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальником, не то взвоешь, все равно как если подложить палец под зуб мудрости, – впрочем, мудрость не обязательна, все дело в коренном зубе. Затем, что бы губернатор ни сказал, перечить ему нельзя, все равно как если тебе скажут: «А ну, подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» А насчет плети и обуха – это и слепому ясно. Вот оно как, а кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить бревно в своем собственном, чтобы про тебя не сказали: «Испугалась покойница убитой», притом же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом.

– Ну уж нет, Санчо, – возразил Дон Кихот, – глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекает по той причине, что на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольно об этом, Санчо; будешь плохо управлять – в ответе ты, а позор на мне. Впрочем, я утешаю себя тем, что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и возможно более благоразумными: я исполнил свой долг и свое обещание. Да поможет тебе бог, Санчо, да управляет он тобою в твоём правлении, и да утишит он мою тревогу, а тревожусь я о том, как бы ты однажды не полетел вместе со всем своим островом вверх пятами, между тем я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты не что иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложу с себя это звание, потому малюсенькая частица моей души, величиною с черный кончик ногтя, мне дороже всего моего тела: останусь-ка я просто-напросто Санчо, и на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора со всеми его куропатками да каплунами, и то сказать: когда мы спим, мы все равны – и начальники и подначальные, и бедные и богатые. И если вы, ваша милость, над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы и толкнули меня на губернаторство, а я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине, и если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю как простой Санчо отправиться в рай, нежели губернатором – в ад.

– Ей-богу, Санчо, – сказал Дон Кихот, – я считаю, что за эти последние слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце, а ведь без этого никакая наука впрок не пойдет. Поручи себя господу богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения: я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель – добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желаниям. Теперь пойдем обедать, – полагаю, что хозяйева нас уже ждут.

## Глава XLIV

*О том, как Санчо Панса принял бразды правления и об одном необычайном приключении Дон Кихота в герцогском замке*

Говорят, будто из подлинника этой истории явствует, что переводчик перевел эту главу не так, как Сид Ахмет ее написал, написал же ее мавр в виде жалобы на самого себя, что ему вспало, дескать, на ум взяться за такой неблагодарный и узкий предмет, как история Дон Кихота, ибо он поставлен в необходимость все время говорить только о Дон Кихоте и Санчо и лишен возможности прибегать к отступлениям и вводить разные другие эпизоды, более значительные и более занимательные; и еще мавр замечает, что все время следить за тем,

чтобы мысль, рука и перо были направлены на описание одного-единственного предмета, и говорить устами ограниченного числа действующих лиц – это труд непосильный, коего плоды не вознаграждают усилий автора, и что, дабы избежать этого ограничения, он в первой части прибегнул к приему вкрапления нескольких повестей, как, например, *Повести о Безрассудно-любопытном* и *Повести о пленном капитане*, которые находятся как бы в стороне от самой истории, между тем другие входящие в нее повести представляют собою случаи, происшедшие с Дон Кихотом и в силу этого должны были быть описанными. Далее мавр говорит, что, по его разумению, большинство читателей, коих внимание будет поглощено подвигами Дон Кихота, не захотят его уделить первого рода повестям: они пробегут их второпях, даже с раздражением, и не заметят, сколь изящно и искусно повести эти написаны, каковы их качества означатся со всею резкостью, когда повести будут изданы особо, вне всякой связи с безумными выходками Дон Кихота и глупыми речами Санчо, – вот почему он, автор, порешил-де вместо повестей как отъединенных, так и пристроенных<sup>1</sup>, ввести во вторую часть лишь несколько эпизодов, которые, как ему представляется, вытекают из естественного хода событий, да и те он почитает за нужное изложить сжато, в самых кратких словах; и вот, поелику он, дескать, вводит себя и замыкается в тесные рамки повествования, несмотря на то что у него достало бы уменья, способностей и ума, чтобы описать всю вселенную, он просит не презирать его труд и воздавать ему хвалу не за то, о чем он пишет, а за то, что он о многом не стал писать.



Тут автор снова обращается к своему предмету и говорит, что Дон Кихот в тот самый день, когда он давал Санчо советы, занялся после обеда изложением таковых в письменном виде для того, чтобы потом кто-нибудь мог прочитать их Санчо; не успел он, однако ж, вручить ему эту бумагу, как Санчо ее потерял, и она попала в руки герцога, а герцог

---

<sup>1</sup> *Повести отъединенные и пристроенные* – то есть повести, вкрапленные в роман, но не имеющие непосредственного отношения к его повествовательной ткани, как, например, «Повесть о безрассудно любопытном», и повести, связанные с нею, как, например, о Хризостомо и Марселе и т.п.



прочитал ее герцогине, и оба вновь подивились помешательству и уму Дон Кихота; далее, продолжая свои затеи, они в тот же вечер отправили Санчо со многочисленною свитою в городок, которому надлежало сойти за остров. Проводником же Санчо до места его назначения оказался домоправитель герцога, человек весьма остроумный и большой забавник (впрочем, неостроумных забав не бывает), тот самый, который с вышеописанною приятностью изображал графиню Трифальди; и вот, обладая таковыми свойствами, да еще будучи научен хозяевами, как должно обходиться с Санчо, он блестяще справился со своею задачею. Случилось, однако ж, так, что при первом взгляде на домоправителя Санчо заметил, что он напоминает лицом Трифальди, и, обратясь к своему господину, сказал:

– Сеньор! Я мигом провалюсь в преисподнюю, если ваша милость не признает, что лицо у герцогского домоправителя, вот у этого самого, точь-в-точь как у Гореваны.

Дон Кихот впился глазами в домоправителя и, взглядевшись в него, молвил:

– Тебе незачем проваливаться в преисподнюю, Санчо, ни мигом, ни еще как-либо (я не понимаю, к чему ты это говорить): лицом домоправитель, точно, похож на Горевану, но из этого не следует, что домоправитель и есть Горевана, ибо отсюда возникло бы величайшее противоречие, а сейчас не время для подобного рода исследований, иначе это заведет нас в безвыходный лабиринт. Поверь, друг мой, что нам надлежит обратиться с жаркою молитвою к богу о том, чтобы он избавил нас от злых колдунов и злых волшебников.

– Но это не шутка, сеньор, – возразил Санчо, – я слышал давеча, как он разговаривал, и мне прямо послышался голос Трифальди. Ну да ладно, я больше говорить про это не стану, но только буду теперь глядеть в оба, не открою ли еще какой приметы, и, может, эта примета усилит мои подозрения, а может, наоборот, рассеет.

– Так и сделай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и уведомяй меня обо всем, что бы ты в рассуждении сего ни обнаружил, а равно и обо всем, что касается твоего губернаторства.

Наконец Санчо выехал; его окружала многочисленная свита; на нем был костюм, какой носят важные судейские; верхняя одежда, весьма широкая, была сшита из рыжеватого с разводами камлота, а на голове у него красовалась такой же материи шапочка; восседал он на муле, а за мулом, по особому распоряжению герцога, шел серый в новенькой шелковой сбруе и соответствующих ослиному его званию украшениях. Время от времени Санчо оглядывался на осла, коего общество доставляло ему такое большое удовольствие, что он не поменялся бы местами с самим императором германским. Прощаясь с герцогом и герцогинею, он поцеловал им руки, а затем попросил своего господина благословить его, и тот благословил его со слезами, Санчо же принял его благословение, вот-вот готовый расплакаться.

Отпусти же доброго Санчо с миром, любезный читатель, и пожелай ему счастливого пути, – ты еще вдоволь посмеешься, когда узнаешь, как он вел себя в новой должности, а пока узнай, что произошло в эту ночь с его хозяином, и если ты не покатишься со смеху, то, по крайности, как мартышка, оскалишь зубы, ибо приключения Дон Кихота таковы, что их можно почтить только удивлением или же смехом. Словом, в истории далее говорится, что не успел Санчо выехать, как Дон Кихот почувствовал одиночество, и если бы это зависело от него, он, уж верно, отменил бы назначение Санчо и лишил его губернаторства. Герцогиня заметила, что он грустит, и спросила, что тому причиною; если же мол, это от разлуки с Санчо, то в ее замке есть много служителей, дуэний, горничных девушек, и они исполнят любое его желание.

– Ваша правда, сеньора, – отвечал Дон Кихот, – я чувствую отсутствие Санчо, но не в этом главная причина моей грусти; многочисленные же милости, которые ваша светлость мне оказывает, я принимаю и ценю только как знак вашего ко мне расположения, а что касается всего прочего, то я прошу вашего дозволения и согласия, чтобы в моем покое я пользовался своими собственными услугами.

– Право, не стоит, сеньор Дон Кихот, – заметила герцогиня, – вам будут прислуживать четыре девушки, мои горничные, прекрасные, как цветы.

– Мне они покажутся не цветами, но шипами, ранящими душу, – возразил Дон Кихот. –

Ни они, ни кто-либо другой в этом роде ни за что на свете в мой покой не проникнут. Если же вашему величию благоугодно продолжать осыпать меня милостями, коих я, однако же, недостоин, то дозвоьте мне самому ухаживать за собою и прислуживать себе при закрытых дверях, дозвоьте мне воздвигнуть стену между желаниями моими и моим целомудрием, – я бы не хотел из-за той любезности, какую выказывает ко мне ваша светлость, изменять своим привычкам. Одним словом, скорее я лягу спать одетым, нежели соглашусь, чтобы кто-нибудь меня раздевал.

– Что вы, что вы, сеньор Дон Кихот! – возразила герцогиня. – Клянусь вам, я распоряжусь, чтобы муха не смела проникнуть в ваш покой, а не то что девушка: я не так воспитана, чтобы оскорблять скромность сеньора Дон Кихота, – сколько я понимаю, из многочисленных добродетелей, присущих вам, особенно вас украшает целомудрие. Ваша милость вольна раздеваться и одеваться в полном одиночестве и по своему хотению, как и когда вам вздумается, – никто вам мешать не будет: вы у себя в комнате найдете сосуды, которые могут понадобиться тому, кто спит с запертой дверью и не желает, чтобы какая-либо естественная потребность принудила его отпереть ее. Да живет тысячу веков великая Дульсинея Тобосская, и да прославится имя ее в целом свете, ибо она удостоилась того, что ее полюбил такой бесстрашный и такой целомудренный рыцарь, и да подвигнут благодетельные небеса нашего губернатора Санчо Пансу как можно скорее покончить с бичеванием, дабы весь мир мог снова наслаждаться красотой бесподобной этой сеньоры!

Дон Кихот ей на это сказал:

– По речам вашей высокочтимости сейчас видно, кто их произносит, ибо из уст доброй сеньоры худое слово изойти не может, и похвальное слово вашего величия принесет Дульсинею больше счастья и больше славы, нежели все хвалы, какие только могут воздать ей лучшие витии мира.

– Отлично, сеньор Дон Кихот, – сказала герцогиня, – а теперь пора ужинать: герцог, должно думать, нас уже ждет. Пойдемте отужинаем, ваша милость, и вы можете пораньше лечь спать: вчерашнее ваше путешествие в Кандаю было довольно продолжительным и, вероятно, вас слегка утомило.

– Я не чувствую усталости, сеньора, – возразил Дон Кихот. – Смею уверить ваше высокопревосходительство, что никогда в жизни не приходилось мне ездить на четвероногом более смиренного нрава и у которого был бы такой ровный шаг, как у Клавиленьо, – я не могу взять в толк, что понудило Злосрада расстаться с таким легконогим и благородным верховым животным и ни за что ни про что сжечь его.

– Можно предположить, – заметила герцогиня, – что Злосрад раскаялся в том, что причинил горе Трифальди, ее подругам и всем прочим, а равно и во всех тех злодеяниях, которые он, должно полагать, учинил, будучи колдуном и чародеем, и, решившись покончить с орудиями своего ремесла, прежде всего, как главное орудие, сжег Клавиленьо, который не давал ему ни минуты покоя и мчал его из страны в страну, пепел же Клавиленьо и грамота Злосрада, являющая собою трофей, пребудут вечными памятниками доблести великого Дон Кихота Ламанчского.

Дон Кихот снова поблагодарил герцогиню, затем отужинал и удалился один в свой покой, попросив, чтобы никто не являлся к нему для услуг, – так его пугала мысль, что какая-нибудь случайность побудит и заставит его нарушить обет целомудрия, который он дал владычице своей Дульсинею, ибо добродетель Амадиса, цвета и зеркала странствующих рыцарей, навеки пленила его воображение. Он запер за собою дверь и при свете двух восковых свечей разделся, а когда стал разуваться (о незаслуженное злополучие!), то не он испустил вздох или же еще что-либо, могущее бросить тень на безупречную его благовоспитанность, а у него на чулке спустилось до двух дюжин петель вдруг, так что чулок сделался похож на оконную решетку. Добрый наш сеньор весьма этим огорчился: он с радостью отдал бы сейчас целую унцию серебра за ниточку зеленого шелка, говорю – зеленого, потому что у него были зеленые чулки.

Тут у Бен-инхали вырывается следующее восклицание:

«О бедность, бедность! Не понимаю, что побудило великого кордовского поэта<sup>1</sup> сказать о тебе:

Священный, но неоцененный дар.

Я хоть и мавр, однако же соприкасался с христианами и отлично знаю, что святость заключается в милосердии, смирении, вере, послушании и бедности, но со всем тем я утверждаю, что человек, который в бедности находит удовлетворение, должен быть во многих отношениях богоподобен, если только это не та бедность, о которой говорится у одного из величайших святых: «Пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся», то есть так называемая нищета духа. Но ты, второй вид бедности (я о тебе сейчас говорю)! Зачем ты преимущественно избираешь своими жертвами идальго и прочих людей благородного происхождения? Зачем принуждаешь их чистить обувь сажей и носить одежду с разнородными пуговицами: шелковыми, волосяными и стеклянными? Зачем их воротники по большей части бывают только разглажены, а не гофрированы?»

Отсюда явствует, что употребление крахмала и гофрированные воротники восходят к глубокой древности.

Бен-инхали продолжает: «Жалок тот дворянин, который дома ест впроголодь, а на улице напускает на себя важность и лицемерно ковыряет во рту зубочисткой, меж тем как он не ел ничего такого, после чего ему требовалось бы поковырять в зубах! Жалок тот, говорю я, у кого честь стыдлива и которому кажется, будто всем издали видно, что башмаки у него в заплатах, шляпа лоснится от пота, накидка обтрепана, а в животе пусто!»

На такие мысли навели Дон Кихота спустившиеся петли, однако ж он утешился, заметив, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, и решил, что завтра наденет их. Наконец он лег, озабоченный и расстроенный, во-первых, тем, что с ним не было Санчо, а во-вторых, непоправимую беду с чулками, которые он готов был заштопать даже другого цвета шелком, хотя это одна из последних степеней падения, до которой может дойти оскудевший идальго. Он потушил свечи; было жарко, и ему не спалось; он встал с постели и приотворил зарешеченное окно, выходящее в чудесный сад; как же скоро он отворил его, то ему показалось и послышалось, что в саду гуляют и разговаривают. Он насторожился. В саду заговорили громче, и он различил такие речи:

– Не проси у меня песен, Эмеренся! Ты же знаешь, что с того самого мгновенья, когда сей путник прибыл к нам в замок и очи мои его узрели, я уже не пою, а только плачу. Кроме того, сон моей госпожи скорее легок, чем крепок, а я за все сокровища в мире не согласилась бы, чтобы нас здесь застали. И хотя бы даже она продолжала спать и не пробудилась, все равно мне не к чему петь, если будет спать и не проснется, чтобы послушать мое пение, сей новорожденный Эней<sup>2</sup>, который прибыл в наши края, видно, для того, чтобы надо мной насмеяться.

– Не бойся, милая Альтисидора, – отвечали ей, – герцогиня и все, кто только есть в замке, разумеется, спят, – не спит лишь властелин твоего сердца и пробудитель твоей души: мне сейчас послышалось, что зарешеченное окно в его покое отворилось, значит, он, верно, не спит. Пой же, бедняжка, под звуки арфы голосом тихим и нежным, а если герцогиня услышит нас, мы скажем, что в комнате душно.

– Не этого я опасаясь, Эмеренся, – отвечала Альтисидора, – я бы не хотела, чтобы пение выдало сердечную мою склонность и чтобы люди, не испытавшие на себе всемогущей силы любви, признали меня за девицу взбалмошную и распутную. Впрочем, будь что будет: лучше краска стыда на лице, чем заноза в сердце.

И тут послышались нежнейшие звуки арфы. При этих звуках Дон Кихот остолбенел, ибо в сей миг ему припомнились бесчисленные приключения в этом же роде: с окнами,

---

<sup>1</sup> Великий кордовский поэт – испанский поэт Хуан де Мена (1411–1456).

<sup>2</sup> ...сей новорожденный Эней... – намек на главного героя «Энеиды» Вергилия, который внезапно покинул влюбленную в него Дидону.

решетками и садами, с музыкой, объяснениями в любви и обмороками, словом, со всем тем, о чем Дон Кихот читал в рыцарских романах, способных обморочить кого угодно. Он тотчас вообразил, что одна из горничных девушек герцогини в него влюбилась и что только девичий стыд не позволяет ей признаться в сердечном своем влечении, и, испугавшись, как бы она его не пленила, мысленно дал себе слово держаться твердо; всей душой и всем помышлением отдавшись под покровительство сеньоре Дульсинея Тобосской, он решился, однако ж, послушать пение и, дабы объявить о своем присутствии, притворно чихнул, что чрезвычайно обрадовало девиц: ведь им только того и нужно было, чтобы Дон Кихот их слышал. Итак, настроивши арфу и взявши несколько аккордов, Альтисидора запела вот этот романс:

Ты, что меж простынь голландских  
Возлежишь на мягком ложе  
Предаваясь дреме сладкой  
От заката до восхода;

Ты, храбрый сын Ламанчи,  
Рыцарства краса и гордость,  
Всех сокровищ аравийских  
И прекрасней и дороже!

Внемли пеням девы ражей,  
Но обиженной судьбою.  
Ибо душу иссушили  
Ей твои глаза – два солнца.

Опьяненный жаждой славы,  
Ты лишь скорбь другим приносишь:  
Ранишь их, а сам лекарство  
Им от ран подать не хочешь.

Смелый юноша! Ответь,  
Уж не в Ливии ли знойной  
Или на бесплодной Хаке<sup>1</sup>  
Ты родился, мне на горе?

Уж не змеями ли был ты  
Вспоен сызмала и вскормлен,  
Иль тебя взрастили дебри  
И угрюмые утесы?

Да, по праву Дульсинея,  
Дева, налитая соком,  
Хвастается, что смирила  
Тигра лютого такого.

Пусть Арланса, Писуэрга,  
Мансанарес, Тахо вольный.  
И Энарес, и Харама<sup>2</sup>  
Вечно славят этот подвиг!

---

<sup>1</sup> Хака – горная цепь в Испании.

<sup>2</sup> Арланса, Писуэрга, Мансанарес, Тахо, Энарес и Харама – реки в Испании.

Чтоб уделом поменяться  
Со счастливицей подобной,  
Я б отдать не пожалела  
Юбку с золотой каймою.

Ах, лежать в твоих объятьях  
Иль хотя б с тобой бок о бок  
И в твоих кудрях копаться,  
Истребляя насекомых!

Но, не стоя этой чести,  
Буду я вполне довольна,  
Если ты себе хотя бы  
Ноги растереть позволишь.

Сколько от меня в подарок  
Получал бы ты сорочек,  
Гребешков, штанов атласных  
И чулок с ажурной строчкой!

Сколько редкостных жемчужин,  
Драгоценных и отборных,  
Коих за красу и крупность  
Именуют «одиночки»!

Долго ли, Нерон Ламанчский,  
На пожар, тобой зажженный,  
Со своей Тарпейской кручи<sup>1</sup>  
Будешь ты взирать спокойно?

Бог моим словам порукой:  
Я еще дитя, подросток,  
И пятнадцать лет мне минет  
Больше чем через полгода.

Всем взяла, всем хороша я:  
Не хрома, не кривонога;  
Вслед за мной, пышнее лилий,  
По земле влачатся косы.

Хоть широк мой рот не в меру,  
Да и малость я курноса,  
Два ряда зубов-топазов  
Придают мне облик райский.

Голос у меня приятный,  
Как и сам ты слышать можешь;  
Росту ж я, чтоб не соврать,  
Ниже среднего немного.

---

<sup>1</sup> *Со своей Тарпейской кручи...* – С Тарпейской скалы в Древнем Риме сбрасывались приговоренные к смерти преступники. По преданию, Нерон с этой скалы любовался пожаром Рима.

Я, чью красоту ты насмерть  
Ранил взором, как стрелой,  
Состою при этом замке  
И зовусь Альтисидорой.

На этом пение раненной любовью Альтисидоры окончилось, а для предмета ее страсти, Дон Кихота, настали мгновенья ужасные; тяжело вздохнув, он сказал себе: «Неужели же я такой несчастный странствующий рыцарь, что ни одна девушка при виде меня не может не влюбиться?.. Неужели же так печальна судьба несравненной Дульсиныи Тобосской, что ей не удастся насладиться вполне моею бесподобною верностью?.. Чего вы хотите от нее, королевы? Зачем вы преследуете ее, императрицы? Зачем вы терзаете ее, девушки от четырнадцати до пятнадцати лет? Оставьте ее, бедную, пусть она ликует, пусть она наслаждается и гордится тем счастьем, которое даровал ей Амур, отдав ей во владение мое сердце и вручив ей мою душу. Послушайте, сонм влюбленных в меня: для одной лишь Дульсиныи я – мягкое тесто и миндальное пирожное, а для всех остальных я – камень; для нее я – мед, а для вас алоэ; для меня одна лишь Дульсиныя прекрасна, разумна, целомудренна, изящна и благородна, все же остальные безобразны, глупы, развратны и худородны, и меня произвела на свет природа для того, чтобы я принадлежал ей, а не какой-либо другой женщине. Пусть Альтисидора плачет или поет, пусть горюет дама, из-за которой меня избили в замке очарованного мавра, – так или иначе я должен принадлежать Дульсиные, и я пребуду непорочным, добродетельным и целомудренным наперекор всем колдовским чарам на свете».

И тут он с силой захлопнул окно и, опечаленный и удрученный, как если бы на него свалилось большое несчастье, лег в постель, где мы его пока и оставим, ибо нас призывает к себе премудрый Санчо Панса, намеревающийся положить славное начало своему губернаторству.

## Глава XLV

*О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять*

О, извечный обозреватель антиподов, всемирный факел, небесное око, сладостный вращатель кувшинов, здесь – Тимбрий, там – Феб, стрелок для одних, врач для других<sup>1</sup>, отец поэзии, изобретатель музыки, ты, вечно восходящее и, вопреки тому, что нам представляется, не заходящее вовек светило! К тебе взываю я, о солнце, с чьей помощью человек рождает человека! К тебе взываю я, да окажешь ты мне свое покровительство и просветишь темноту моего разума, дабы я проследил шаг за шагом историю правления премудрого Санчо Пансы, ибо без твоей поддержки я чувствую себя вялым, бессильным и смущенным.

Итак, Санчо со всею своею свитою прибыл в городок, насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших владений герцога. Санчо Пансе сообщили, что остров называется Баратария<sup>2</sup>: быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Пансе

---

<sup>1</sup> ...обозреватель антиподов... сладостный вращатель кувшинов... Тимбрий... Феб, стрелок для одних, врач для других... – прозвища Феба (Аполлона), бога света, прорицания, медицины и поэзии. Обозреватель антиподов – это прозвище Феба объясняется тогдашними представлениями о неподвижности Земли, вследствие чего считалось, что Солнце, вращаясь вокруг Земли, освещает также и тех, кто живет «внизу», под ногами у людей, находившихся наверху. Вращателем кувшинов Феб назван потому, что солнечное тепло, вызывая жажду у людей, заставляет их прибегать к прохладительным напиткам, которые изготавливаются в медных кувшинах, охлаждаемых путем вращения их в каком-нибудь сосуде, наполненном снегом.

<sup>2</sup> Баратария – от испанского слова *barato*, то есть дешевый.

дешево. Как скоро губернатор со свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие, а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Одевание, борода, брюшко и низкорослость нового губернатора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел, в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведомленных обо всем, а таких было множество. Наконец из собора Санчо Пансу провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал:

– На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай: кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные, он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию или же, напротив, приунывают.

Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене прямо против кресла; а как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так:

– Сеньор! Там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит сия надпись следующее: «Сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, многие ему лета».

– А кого это зовут *дон Санчо Панса*? – спросил Санчо.

– Вас, ваше превосходительство, – отвечал домоправитель, – на наш остров не прибыло никакого другого Пансы, кроме того, который сейчас восседает в этом кресле.

– Ну так запомни, братец, – объявил Санчо, – что я не *дон*, и никто в моем роду не был *доном*: меня зовут просто Санчо Пансою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были Панса, безо всяких этих *донов* да *распродонов*. Мне сдается, что на вашем острове *донов* куда больше, чем камней, ну да ладно, господь меня разумеет, и если только мне удастся погубернаторствовать хотя несколько дней, я всех этих *донов* повыведу: коли их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы, я отвечу на них, как могу, а горожане хотят – унывают, хотят – не унывают: это их дело.

В это время в судебную палату вошли два человека: один из них был одет крестьянином, другой был одет портным и держал в руках ножницы; он-то и повел речь:

– Сеньор губернатор! Мы с этим сельчанином явились к вашей милости вот из-за чего. Вчера этот молодец пришел ко мне в мастерскую (я, извините за выражение, портной и, слава тебе господи, мастер своего дела), сует мне в руки кусок сукна и спрашивает: «Сеньор! Выйдет мне колпак из этого куска?» Я прикинул, говорю: «Выйдет». Тут, думается мне, он, наверно, подумал, и подумал неспроста, что я, конечно, хочу толику малую сукна у него украсть, – либо это он судил по себе, либо уж такая дурная слава идет про портных, и вот он мне и говорит: погляди, мол, не выйдет ли двух колпаков. Я смекнул, что он обо мне подумал. «Выйдет», – говорю. Он же, утвердившись в первоначальной своей и оскорбительной для меня мысли, стал все прибавлять да прибавлять колпаки, а я все: «Выйдет» да «Выйдет», и, наконец, дошли мы до пяти. Нынче он за ними явился, я ему их выдал, а он отказывается платить за работу да еще требует, чтобы я ему заплатил или же вернул сукно.

– Так ли все это было, братец? – спросил Санчо.

– Да, сеньор, – подтвердил крестьянин, – но только велите ему, ваша милость, показать все пять колпаков, которые он мне сшил.

– С моим удовольствием, – молвил портной.

Нимало не медля, он высвободил из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, и сказал:

– Вот все пять колпачков, которые мне заказал этот человек, и больше у меня, клянусь богом и совестью, ни клочка сукна не осталось, я готов представить мою работу на рассмотрение цеховых старшин.

Количество колпачков и необычность самой тяжбы насмешили всех присутствовавших, Санчо же, немного подумав, сказал:

– Я полагаю, что нам с этим делом долго задерживаться не приходится: решим его сей же час, как нам подсказывает здравый смысл. Вот каков будет мой приговор: портному за работу не платить ничего, крестьянину сукна не возвращать, колпачки пожертвовать заключенным, и дело с концом.

Если нижеследующий приговор по делу о кошельке скотовода вызвал у окружающих удивление, то этот приговор заставил их рассмеяться, однако же все было сделано так, как распорядился губернатор. Засим к губернатору явились два старика; одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь:

– Сеньор! Я дал займы этому человеку десять золотых – я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец вижу, что он и не собирается платить долг, ну и стал ему напоминать, а он мало того что не возвращает, но еще и отпирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо займы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге, и вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прошу немедленно, вот здесь, перед лицом господа бога.

– Что ты на это скажешь, старикан с посохом? – спросил Санчо.

Старик же ему ответил так:

– Сеньор! Я признаю, что он дал мне займы эту сумму, – опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг.





Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла<sup>1</sup> и объявил, что ему, точно, ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал заимодавцу из рук в руки, заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запомнил, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется к выходу, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь, и, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели, Санчо же, увидев его, сказал:

– Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.

– С великим удовольствием, – сказал старик, – нате, сеньор.

И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:

– Ступай с богом, тебе заплачено.

– Как так, сеньор? – спросил старик. – Разве эта палка стоит десять золотых?

– Стоит, – отвечал губернатор, – а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять целым королевством или не гожусь.

И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось десять золотых; все пришли в изумление и признали губернатора за

---

<sup>1</sup> *Крест губернаторского жезла* – Верхняя часть жезла имела форму креста, который на суде служил для присяги.

новоявленного Соломона. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто как бог; притом о подобном случае он, Санчо, слышал от своего священника, память же у него изрядная, и если б только он не имел привычки забывать как раз то, о чем ему подчас нужно бывает вспомнить, то другой такой памяти нельзя было бы сыскать на всем острове. Наконец старик устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия и движения Санчо, все еще не мог решить: признавать и почитать Санчо за дурака или же за умника.

Тотчас по окончании этой тяжбы в судебную палату вошла женщина, крепко держа за руку мужчину, коего по одежде можно было бы принять за богатого скотовода; она кричала истошным голосом:

– Правосудия, сеньор губернатор, правосудия! Если я не найду его на земле, то пойду искать на небе! Дорогой сеньор губернатор! Этот негодяй напал на меня среди поля и обошелся с моим телом, как с какой-нибудь грязной ветошкой. И что же я за несчастная! Он похитил у меня сокровище, которое я хранила более двадцати трех лет, которое я берегла и от мавров и от христиан, от своих и от заезжих, я всегда была непоколебима, как дуб, всегда была целенькая, как саламандра в огне или же как платье, что зацепилось за куст, и вот теперь этот молодчик всю меня истискал!

– Вот мы этого голубчика сейчас самого к стене притиснем, – сказал Санчо.

Обратясь к мужчине, он спросил, что может тот сказать и возразить на жалобу этой женщины. Мужчина, весьма смущенный, ответил так:

– Сеньоры! Я бедный свиновод. Нынче утром, продавши нескольких, извините за выражение, свиней, я ехал из вашего города, и продал-то я их в убыток: почти все, что выручил, ушло на пошлины да на взятки. Возвращаюсь к себе в деревню, встречаю по дороге вот эту приятную даму, и тут дьявол, который во все вмешивается и всех будоражит, устроил так, что мы с ней побаловались. Я уплатил ей сколько полагается, а ей показалось мало: как вцепится в меня, так до самого этого дома все и тащила. Она говорит, что я ее изнасиловал, но, клянусь вам и еще готов поклясться, она врет. Я выложил всю как есть правду, – вот чего не утаил.

Тогда губернатор спросил скотовода, нет ли у него при себе серебряных монет; тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около двадцати дукатов. Губернатор приказал ему достать кошелек и, ничего с ним не делая, передать просительнице; скотовод, весь дрожа, исполнил повеление; женщина взяла кошелек, вцепилась в него обеими руками и, кланяясь на все стороны и моля бога о здравии и долгоденствии сеньора губернатора, который так заботится о сырых и беззащитных девицах, вышла из судебной палаты; впрочем, первым ее движением было удостовериться, точно ли в кошельке лежит серебро. Как скоро она удалась, Санчо обратился к скотоводу (а у того уже слезы лились из глаз и вся душа его и взоры стремились вослед кошельку):

– Добрый человек! Догони эту женщину, не добром, так силой возьми у нее кошелек и приведи опять сюда.

Скотовод не заставил себя долго ждать и упрашивать; он вихрем полетел в указанном направлении. Присутствовавшие в недоумении ожидали, чем кончится эта тяжба, и вот немного погодя мужчина и женщина возвратились, сцепившись и держа друг дружку еще крепче, чем в прошлый раз; у женщины завернулся подол, и было видно, что кошелек она прижимает к самому животу, а мужчина пытался его вырвать, но это было свыше его сил – столь яростно защищалась женщина и при этом еще орала:

– Взываю к правосудию небесному и земному! Поглядите, сеньор губернатор, ни стыда, ни совести нет у этого разбойника: вздумал в городе, на улице, отнять у меня

кошелек, который ваша милость приказала отдать мне.

– Что же, отнял он у тебя кошелек? – спросил губернатор.

– Как бы не так! – воскликнула женщина. – Да я скорей с жизнью расстанусь, нежели с кошельком! Нашли какую малолеточку! Подавайте мне кого другого, а не этого грязнулю несчастного. Никакие клещи и гвоздодеры, никакие отвертки и стамески, никакие львиные когти не вырвут у меня из рук кошелек: легче мою душу из тела вытрясти!

– Она права, – сказал мужчина, – я сдаюсь, признаю себя побежденным, объявляю, что не в силах отнять кошелек, и пусть он остается у нее.

Тогда губернатор сказал женщине:

– Дай-ка сюда кошелек, почтенная и отважная дама.

Она тотчас протянула губернатору кошелек, губернатор же, вернув его мужчине, обратился к весьма сильной, но вовсе не изнасилованной женщине:

– Вот что, милая моя: выкажи ты при защите своего тела хотя бы половину того воинственного духа и бесстрашия, какие ты выказала при защите кошелька, то и Геркулес со всею своею силою не мог бы учинить над тобой насилие. Ступай себе с богом, нет, лучше: ступай ко всем чертям, чтобы ни на самом острове, ни на расстоянии шести миль от него тобой и не пахло, не то получишь двести плетей. Да ну же, убирайся вон, бесстыжая врунья и мошенница!

Женщина перепугалась и с унылым и недовольным видом ушла, а губернатор сказал скотоводу:

– Держи крепче свои деньги, добрый человек, и иди с богом к себе в деревню, но вперед смотри: хочешь, чтоб они у тебя были целы, – с бабами лучше не балуйся.

Скотовод пролепетал слова благодарности и удалился, присутствовавшие же снова подивились решениям и приговорам нового своего губернатора. Все это было занесено в летопись, каковую ее составитель незамедлительно отослал к герцогу, ожидавшему ее с великим нетерпением.

Но тут мы оставим доброго Санчо и поспешим к его господину, смущенному пением Альтисидоры.

## Глава XLVI

*Об ужасающей кутерьме с колокольчиками и котами, прервавшей объяснения Дон Кихота с влюбленною Альтисидорою*

Мы оставили Дон Кихота погруженным в раздумье, коего причиною было пение влюбленной девицы Альтисидоры. С этими мыслями он лег спать, и от них, точно от блох, ему не было ни отдыха, ни сна, а к ним еще примешивалась мысль о спустившихся на чулке петлях; но как время быстролетно и нет на свете такого обрыва, который преградил бы ему путь, то, оседлав ночные часы, оно с великим проворством достигло часа утреннего. Тут Дон Кихот покинул мягкую перину, облачился нимало не медля в свое одеяние из верблюжьей шерсти и, чтобы скрыть прискорбный изъян на чулке, натянул походные сапоги; сверху он накинул на себя алую мантию, на голову надел зеленого бархата шапочку с серебряными позументами, через плечо перекинул перевязь со своим добрым булатным мечом, взял в руки длинные четки, которые были при нем постоянно, и весьма величественно и торжественно проследовал в гостиную, где герцог и герцогиня, уже вполне одетые, по-видимому, ожидали его. В галерее же, через которую ему надлежало пройти, его дожидалась Альтисидора со своей подругой; и, едва увидев Дон Кихота, Альтисидора притворилась, будто ей дурно, а подруга подхватила ее на руки и с чрезвычайною поспешностью начала расшнуровывать ей корсаж. Дон Кихот все это заметил; приблизившись к девушкам, он сказал:

– Мне ясно, чем вызываются подобного рода обмороки.

– А мне неясно, – сказала подруга. – Альтисидора – самая здоровая девушка в замке, за время нашего знакомства я ни оха, ни вздоха от нее не слыхала. Будь прокляты все

странствующие рыцари, какие только есть на свете, если все они столь бесчувственны! Проходите, сеньор Дон Кихот: пока ваша милость будет здесь стоять, до тех пор бедная девочка не придет в себя.

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Распорядитесь, сеньора, чтобы вечером в мой покой принесли лютню: я, сколько могу, утешу страждущую эту девицу, ибо скорое разочарование, наступающее в первоначальную пору любви, – это самое верное средство.

Засим он поспешил удалиться, дабы никто его здесь не застал. Стоило ему скрыться из виду, как лишившаяся чувств Альтисидора очнулась и сказала подруге:

– Непременно нужно отнести ему лютню: по всей вероятности, Дон Кихот намерен усладить наш слух музыкой, и у него это может получиться недурно.

Они тотчас отправились к герцогине, рассказали о своей встрече с Дон Кихотом и о том, что он просит лютню, герцогиня, чрезвычайно обрадовавшись, немедленно сговорила с герцогом и девушками сыграть с Дон Кихотом веселую, но не злую шутку, и все, предвкушая удовольствие, стали ждать вечера, между тем вечер наступил так же быстро, как быстро наступил этот день, который, кстати сказать, их светлости провели в приятной беседе с Дон Кихотом. И в этот же день герцогиня воистину и вправду послала своего слугу (того самого, что изображал в саду заколдованную Дульсинею) к Тересе Панса с письмом от ее мужа Санчо Пансы и с узлом с одеждой, которую тот оставил для Тересы, и велела этому слуге дать ей потом подробный отчет о своей поездке. Слуга отбыл, а в одиннадцать часов вечера Дон Кихот нашел у себя в комнате виолу<sup>1</sup>; он подтянул струны, затем отворил решетчатый ставень и услышал, что в саду кто-то гуляет; тогда он быстро перебрал лады, с крайним тщанием настроил виолу, прочистил себе гортань, откашлялся, а затем сипловатым, но отнюдь не фальшивым голосом запел романс, который он сам же предварительно сочинил:

С петель разума срывать  
Душу страсть умеет ловко,  
Расслабляющую праздность  
Применяя вместо лома.

Но работа, и шитье,  
И домашние заботы –  
Верное противоядь  
От тревог и мук любовных,

Честной девушке, о браке  
Помышляющей законном,  
Скромность служит и приданым,  
И завидной похвалою.

Ведь и странствующий рыцарь,  
И столичный франт-придворный  
Бойким только строят куры,  
А берут в супруги скромниц.

Грех считать любовью чувство,  
Что живет лишь миг короткий,  
Что при встрече возникает,  
А при расставанье блекнет.

---

<sup>1</sup> *Виола* – музыкальный инструмент вроде скрипки, но с более толстыми струнами и более низким звучанием.

Это лишь каприз минутный,  
Что назавтра же проходит,  
И не может он оставить  
В нашем сердце след глубокий.

Кто по старой краске пишет,  
Тот маляр, а не художник;  
Там, где страсть жива бывая,  
Места нет для страсти новой.

Так мне в душу врезан образ  
Дульсинеи из Тобосо,  
Что никто ее оттуда  
Вытеснить уже не может.

В человеке постоянство –  
Драгоценнейшее свойство:  
С помощью его влюбленных  
До себя Амур возносит.

Только успел Дон Кихот, которого слушали герцог, герцогиня, Альтисидора и почти все обитатели замка, дойти до этого места, как вдруг с галереи, находившейся прямо над его окном, спустилась веревка с бесчисленным множеством колокольчиков, а вслед за тем кто-то вытряхнул полный мешок котов, к хвостам которых также были привязаны маленькие колокольчики. Звон колокольчиков и мяуканье котов были до того оглушительны, что оторопели даже герцог с герцогиней, которые все это и затеяли, а Дон Кихот в испуге замер на месте; и нужно же было случиться так, чтобы некоторые из этих котов пробрались через решетку в Дон-Кихотов покой и заметались туда-сюда, так что казалось, будто в комнату ворвался легион бесов. Коты опрокинули свечи, горевшие в комнате, и все носились и носились в поисках выхода; между тем веревка с большими колокольцами непрерывно опускалась и поднималась. Большинство обитателей замка, не имевших понятия, в чем суть дела, были изумлены и озадачены, Дон Кихот же вскочил, выхватил меч и стал наносить удары через решетку, громко восклицая:

– Прочь, коварные чародеи! Прочь, колдовская орава! Я Дон Кихот Ламанчский, и, что бы вы ни злоумышляли, вам со мною не справиться и ничего не поделывать.

Тут он накинудся с мечом на котов, метавшихся по комнате, и начал осыпать их ударами; коты устремились к решетке и выпрыгнули через нее в сад, но один кот, доведенный до бешенства ударами Дон Кихота, бросился ему прямо на лицо и когтями и зубами впился в нос, Дон Кихот же от боли закричал не своим голосом. Услышав крик и тотчас сообразив, в чем дело, герцог и герцогиня поспешили на место происшествия и, общим ключом отомкнув дверь в покой Дон Кихота, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил старается оторвать кота от своего лица. Сбежались люди с огнями и осветили неравный бой; герцог хотел было разнять бойцов, но Дон Кихот закричал:

– Не гоните его отсюда! Дайте мне схватиться врукопашную с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником. Я ему покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

Но кот, не обращая внимания на угрозы, визжал и еще глубже запускал когти; наконец герцог отцепил его и выкинул в окно.

У Дон Кихота все лицо было в царапинах, досталось и его носу, однако ж он весьма досадовал, что ему не дали окончить ожесточенную битву с этим злодеем-волшебником. Принесли апарисиево масло<sup>1</sup>, и сама Альтисидора белоснежными своими ручками

---

<sup>1</sup> *Апарисиево масло* – оливковое масло с примесью различных лекарств. Лекарство это было настолько

перевязала ему раны; и, накладывая повязки, она шептала:

– Все эти беды посылаются тебе, твердокаменный рыцарь, в наказание за суровость и непреклонность твою. Дай бог, чтобы оруженосец твой Санчо позабыл, что ему надлежит бичевать себя, дай бог, чтобы столь горячо любимая тобою Дульсинея так и не вышла из-под власти волшебных чар и чтобы ты ею не насладился и не взошел с нею на брачное ложе – во всяком случае, пока жива я, тебя обожающая.

Ничего не ответил ей Дон Кихот, а лишь из глубины души вздохнул; затем он лег на свою кровать и поблагодарил герцогскую чету за оказанную услугу, которая дорога ему, дескать, не потому, чтобы эта орава котов и чародеев с колокольчиками в самом деле нагнала на него страху, а лишь как изъявление доброго намерения их светлостей ему помочь. Герцог и герцогиня пожелали ему спокойной ночи и удалились; неудачный конец шутки огорчил их, но они не могли предполагать, что приключение это так дорого обойдется Дон Кихоту и причинит ему такую неприятность, Дон Кихоту же оно и в самом деле стоило пятидневного лежания в постели, и за это время с ним случилось новое приключение, еще забавнее предыдущего, однако жизнеописатель Дон Кихота не намерен сейчас об этом рассказывать и спешит к Санчо Пансе, который между тем чрезвычайно усердно и весьма потешно занимался государственными делами.

## Глава XLVII,

*в коей продолжается рассказ о том, как Санчо Панса вел себя в должности губернатора*

В истории сказано, что из залы суда Санчо провели в пышный дворец, в одной из громадных палат коего был накрыт роскошный по-королевски стол; и только Санчо появился в этой палате, как заиграла музыка, и навстречу ему вышли четыре лакея, держа все необходимое для омовения рук, каковой обряд Санчо совершил с большим достоинством. Музыка смолкла, и Санчо сел на председательское место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, как не было на скатерти никакого другого прибора. Подле Санчо стал какой-то человек с палочкой из китового уса в руке, – как выяснилось впоследствии, доктор. Со стола сняли богатейшую белую скатерть, накрывавшую фрукты и многое множество блюд со всевозможными яствами. Еще один незнакомец, по виду – духовного звания, благословил трапезу, слуга повязал Санчо кружевную салфетку, а другой слуга, исполнявший обязанности дворецкого, на первое подал ему блюдо с фруктами, однако ж не успел Санчо за него взяться, как к блюду прикоснулась палочка из китового уса, и его тут же с молниеносной быстротой убрали со стола; тогда дворецкий подставил ему другое блюдо. Санчо хотел было его отведать, однако ж прежде чем он к нему потянулся и распробовал, его уже коснулась палочка, и лакей унес его с таким же точно проворством, как и первое. Санчо пришел в недоумение и, оглядев присутствовавших, спросил, что это значит: хотят ли накормить его обедом или выказать ловкость рук. На это человек с палочкой ответил следующее:

– Сеньор губернатор! Так принято и так полагается обедать на всех островах, где только есть губернаторы. Я, сеньор, – доктор, я состою при губернаторах этого острова и получаю за это жалованье, и уж забочусь я о здоровье губернатора пуще, нежели о своем собственном: я наблюдаю за губернатором денно и ночью, изучаю его сложение, дабы суметь излечить его, когда он заболит, главная же моя обязанность заключается в том, что я присутствую при его обедах и ужинах, позволяю ему есть только то, что найду возможным, и отвергаю то, что, по моему разумению, может причинить ему вред и испортить желудок. Так, я велел убрать со стола блюдо с фруктами, ибо во фруктах содержится слишком много влаги, и еще одно блюдо я также велел убрать, оттого что оно чересчур горячительно и приправлено всякого рода пряностями, возбуждающими жажду, между тем кто много пьет,

---

дорогостоящим, что вошло в поговорку: «Дорого, как апарисиево масло».

тот уничтожает в себе и истощает запас первоосновной влаги, а от нее-то и зависит наша жизнеспособность.

– Стало быть, вон то блюдо с жареными куропатками, на вид отменно вкусное, уж верно, не причинит мне никакого вреда.

Но доктор на это сказал:

– Пока я жив, сеньор губернатор к нему не притронется.

– Это почему же? – спросил Санчо.

Доктор ему ответил:

– Потому что учитель наш Гиппократ, светоч и путеводная звезда всей медицины, в одном из своих афоризмов говорит: *Omnis saturatio mala perdicis autem pessima*. Это значит: «Вское объядение вредно, объядение же куропатками паче других»<sup>1</sup>.

– Ну, коли так, – рассудил Санчо, – выберите мне, сеньор доктор, изо всех кушаний, какие есть на столе, самое полезное и наименее вредное, не колотите по нему палочкой и дайте мне его спокойно съесть, потому, клянусь жизнью губернатора, дай бог мне пожить подольше, я умираю с голоду, и что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и хотите вы этого или не хотите, но, отнимая у меня пищу, вы не только не продлите, а скорей укоротите мой век.

– Ваша правда, сеньор губернатор, – заметил доктор, – а потому я полагаю, что вам не должно кушать вон того рагу из кроликов, ибо оно плохо переваривается. Вот этой телятины, если б только это была не жареная телятина и притом без подливки, вам еще можно было бы отведать, но в таком виде – не советую.

Санчо же сказал:

– А вот там, подальше, стоит большое блюдо, и от него пар валит, – мне сдается, что это оляя подряда, а в олюю подриду кладут много разных вещей, и я, верно уж, найду себе там что-нибудь вкусное и полезное.

– *Absit!*<sup>2</sup> – воскликнул доктор. – Гоните прочь от себя столь опасные мысли: нет на свете более вредной пищи, чем оляя подрида. Пусть ее подают у каноников, у ректоров учебных заведений или же на деревенской свадьбе, но ей не место на обеденном столе губернатора, где все должно быть верхом совершенства и изысканности, не место потому, что простым снадобьям всюду и везде отдают предпочтение перед составными: в простом снадобье ошибиться нельзя, а в составном можно, ибо ничего не стоит перепутать количество веществ, входящих в его состав. Возвращаясь же к тому, что может сейчас кушать сеньор губернатор, если желает сохранить и укрепить свое здоровье, я скажу: сотню вафель и несколько тоненьких ломтиков айвы, – это укрепляет желудок и способствует пищеварению.

Послушав такие речи, Санчо откинулся на спинку кресла, посмотрел на доктора в упор и строгим тоном спросил, как его зовут и где он обучался. Доктор же ему на это ответил так:

– Меня, сеньор губернатор, зовут доктор Педро Нестерпимо де Наука, я уроженец местечка Тиртеафуэра<sup>3</sup>, что между Каракуэлем и Альмодоваром дель Кампо, только чуть поправей, получил же я степень доктора в университете Осунском.

Тут Санчо, пылая гневом, вскричал:

– Ну вот что, сеньор доктор Педро Нестерпимо де Докука, уроженец местечка Тиртеафуэра или же Учертанарогера, которое останется вправо, если ехать из Каракуэля в Альмодовар дель Кампо, и получивший степень в Осуне: убирайтесь отсюда вон, а не то, ручаюсь головой, я возьму дубину и, начавши с вас, выгоню с острова всех лекарей, какие только здесь есть, по крайней мере всех тех, которых я признаю за неучей, докторов же умных, толковых и просвещенных я буду беречь, как зеницу ока, и чтить, как святыню. Ещё раз повторяю: прочь с глаз моих, Педро Нестерпимо, а не то я схвачу вот это самое кресло,

---

<sup>1</sup> В афоризме Гиппократа на самом деле речь идет не о куропатках, а о хлебе.

<sup>2</sup> Убрать! (*лат.*)

<sup>3</sup> *Тиртеафуэра* – селение в Толедской провинции. Само слово «Тиртеафуэра» (точнее: *tiratefuera*) – буквально означает: «пошел вон».

на котором сию, сломаю его об вашу голову и буду оправдан по суду: я скажу, что убить плохого лекаря, врага моего государства, – это дело богоугодное. А теперь накормите меня или же отберите губернаторство, потому должность, которая не может прокормить того, кто ее занимает, не стоит и двух бобов.

Видя, что губернатор так расхотелся, доктор оторопел и порешил бежать хотя бы и к *черту на рога*, но в эту минуту на улице загудел почтовый рожок, дворецкий выглянул в окно, а затем, приблизившись к Санчо, объявил:

– Прибыл гонец от сеньора герцога и, как видно, с важной депешей.

Вошел гонец, потный, встревоженный, и, достав из-за пазухи пакет, вручил его губернатору, Санчо, в свою очередь, тотчас передал его герцогскому домоправителю и велел прочитать адрес; адрес же был таков: «Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, в собственные руки или же в руки его секретаря». Тут Санчо спросил:

– А кто будет мой секретарь?

На это ему один из присутствовавших ответил:

– Я, сеньор: я умею читать и писать, и притом я бискаец.

– Добавление существенное, – заметил Санчо, – коли так, то вы можете быть секретарем у самого императора. Распечатайте пакет и поглядите, что там написано.

Новоиспеченный секретарь повиновался и, прочитав послание, объявил, что это дело секретное. Санчо велел очистить залу, попросив остаться лишь герцогского домоправителя и дворецкого, прочие же, в том числе доктор, удалились, и тогда секретарь огласил письмо следующего содержания:

«Мне стало известно, сеньор дон Санчо Панса, что враги мои и Ваши намерены подвергнуть Ваш остров стремительной ночной атаке, когда именно – не знаю, Вам же надлежит бодрствовать и быть на страже, дабы Вас не застали врасплох. Еще я узнал через моих надежных лазутчиков, что четыре злоумышленника, переодевшись, пробрались на Ваш остров с намерением лишить Вас жизни, ибо мудрость Ваша их пугает. Будьте начеку, подвергайте осмотру посетителей Ваших и отказывайтесь от всех кушаний, которые Вам будут предложены если Вы будете находиться в опасности, я окажу Вам поддержку, Вы же действуйте, как Вам подскажет Ваше благоразумие. Писано в нашем замке, августа шестнадцатого дня, в четыре часа утра.

Ваш друг *герцог* ».

Письмо огорошило Санчо, окружающие также, казалось, были изумлены; обратясь же к домоправителю, Санчо сказал:

– Прежде всего нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в тюрьму доктора Нестерпимо, потому если кто и собирается меня убить, так это он, и к тому же смертью медленной и наихудшей, сиречь голодной смертью.

– Полагаю, однако ж, – заметил дворецкий, – что вашей милости не должно притрагиваться ни к одному из кушаний, которые стоят на столе: их готовили монахини, а ведь недаром говорится, что за крестом стоит сам дьявол.

– Согласен, – молвил Санчо, – но все-таки дайте мне пока что краюху хлеба и несколько фунтов винограду: в этом отравы быть не может. В самом деле, не могу же я ничего не есть, тем более мы должны быть готовы к предстоящим боям – значит, нам надобно подкрепиться: ведь желудок питает отвагу, а не отвага желудок. Вы же, секретарь, ответьте сеньору герцогу и напишите, что все, что он приказал, будет исполнено именно так, как он приказал, без малейшего упущения. Передайте также сеньоре герцогине, что я целую ей ручки и прошу не забыть послать нарочного к моей жене Тересе Панса с письмом и узелком от меня: этим она окажет мне большую услугу, а уж я ее потом отблагодарю, чем только смогу. Заодно, чтобы мой господин Дон Кихот Ламанчский не подумал, что я человек неблагодарный, можете вставить, что я целую ему руки, а к этому вы, как добрый секретарь и добрый бискаец, можете прибавить от себя все, что вам вздумается и заблагорассудится.



Ну, а теперь пусть уберут со стола и принесут мне чего-нибудь другого, а уж я справлюсь со всеми лазутчиками, убийцами и волшебниками, какие только нападут на меня и на мой остров.

В это время появился слуга и сказал:

– Тут пришел к вам один проситель, из крестьян, и хочет поговорить с вашей милостью по очень важному будто бы делу.

– Удивительный народ эти просители, – сказал Санчо. – Неужели они так глупы и не понимают, что в это время никто по делу не приходит? Или они воображают, что мы, правители и судьи, не живые люди и что у нас нет определенных часов для удовлетворения естественных наших потребностей, и желают, чтоб мы были каменные? Клянусь богом и честью своей, что если я и впредь буду губернатором (в чем я, однако ж, начинаю сомневаться), то непременно подтяну моих просителей. А уж на сей раз впусти этого человека, только прежде удостоверься, что это не лазутчик и не убийца.

– Нет, сеньор, – возразил слуга, – по-моему, у него душа нараспашку; сколько я понимаю, он суший теленок.

– Бояться нечего, – заметил домоправитель, – нас здесь много.

– А нельзя ли мне, дворецкий, – спросил Санчо, – раз доктора Педро Нестерпимо здесь нет, съесть чего-нибудь поплотнее и посущественнее, скажем, кусок хлеба с луком?

– Вечером, за ужином, вы наверстаете упущенное за обедом, и ваше превосходительство почтет себя вознагражденным и удовлетворенным, – отвечал дворецкий.

– Дай бог, – сказал Санчо.

– В это время вошел весьма благообразный крестьянин: за тысячу миль было видно, что это добрый малый и добрая душа. Прежде всего он осведомился:

– Кто здесь сеньор губернатор?

– Кто же еще, как не тот, кто восседает в кресле? – сказал секретарь.

– Я припадаю к его стопам, – объявил крестьянин.

Опустившись на колени, он попросил губернатора пожаловать ему ручку. Санчо руки не дал, а велел встать и сказать, чего ему надобно. Крестьянин повиновался и начал так:

– Сеньор! Я крестьянин, уроженец Мигельтурры: это в двух милях от Сьюдад Реаля.

– Ну, еще один Учертанарогера! – воскликнул Санчо. – Говори, братец, я только хотел сказать, что Мигельтурру я очень хорошо знаю: ведь это не так далеко от моего села.

– Дело состоит вот в чем, сеньор, – продолжал крестьянин. – По милости божией, я с благословения и соизволения святой римской католической церкви состою в браке. У меня два сына-студента: меньшой учится на бакалавра, а старший – на лиценциата. Я вдовец, потому как жена моя умерла, а вернее, ее уморил негодный лекарь: когда она была беременна, он дал ей слабительного, а если бы господу было угодно, чтобы она разрешилась от бремени благополучно и родила еще одного сына, то я стал бы учить его на доктора, чтоб он не завидовал братьям бакалавру и лиценциату.

– Выходит так, – заметил Санчо, – что если б твоя жена не умерла, то есть если б ее не уморили, ты не был бы теперь вдовцом.

– Нет, сеньор, ни в коем разе, – подтвердил крестьянин.

– Уже хорошо! – воскликнул Санчо. – Дальше, братец: ведь сейчас время спать, а не делами заниматься.

– Ну так вот, – продолжал крестьянин, – мой сын, который учится на бакалавра, полюбил одну девицу из нашего села по имени Клара Перлалитико, дочку богатея Андреса Перлалитико, и это не фамилия их, не наследственное наименование, а прозвище, потому все в их роду были паралитики, а чтоб им не так обидно было, их стали звать не Паралитико, а Перлалитико, да, по правде сказать, девушка-то эта и впрямь суший перл, и ежели поглядеть на нее с правого боку – полевой цветок, да и только. Вот слева она не так хороша собой, потому у нее одного глаза нет: вытек, когда она оспой болела, и хоть рытвин у нее на лице много, и притом глубоких, однако ж вздыхатели ее уверяют, что это не рытвины, а могилы, в которых погребены души ее поклонников. Она такая чистюля, что носик ее из боязни

запачкать подбородок прямо, как говорится, на небо смотрит, словно хочет убежать от ротика, и все-таки она очень даже миловидна, потому ротик у нее преогромный, и если б не отсутствие не то десяти, не то двадцати передних и коренных зубов, то она была бы из красавиц красавица. О губках я уж и не говорю: они у нее такие тонкие и такие изящные, что если попробовать растянуть их, то получится целый моток, но только цвета они не такого как у всех людей: они у нее иссиня-зеленовато-лиловые, – просто чудеса. Вы уж простите меня, сеньор губернатор, что я так подробно живописую наружность девушки, коей рано или поздно суждено стать моей невесткой: я ее люблю, и она мне нравится.

– Живописуй, сколько душе угодно, – сказал Санчо, – я сам охотник до живописи, и если б только я сейчас пообедал, то портрет девушки, который ты нарисовал, был бы для меня наилучшим сладким блюдом.

– Это еще что, – подхватил крестьянин, – самое сладенькое-то у меня к концу припасено. Так вот, сеньор, если б я мог изобразить статность ее и стройность, вы дались бы диву, но это невозможно, оттого что она вся сгорблена и согнута, а колени ее упираются в подбородок, и, однако же, всякий, глядя на нее, скажет, что если б только она могла выпрямиться, то достала бы головою до потолка. И она рада бы отдать руку моему сыну-бакалавру, да не может, потому она сухорукая. Зато ногти у нее длинные и желобчатые, а такие ногти бывают у людей добродушных и ладно скроенных.

– Добро, – молвил Санчо, – но только прими в соображение, братец, что ты ее уже описал с ног до головы. Чего тебе еще надобно? Приступай прямо к делу, без обиняков и околичностей, без недомолвок и прикрас.

– Я прошу вашу милость вот о каком одолжении, – объявил крестьянин, – напишите, пожалуйста, письмо моему будущему свату и упросите его дать согласие на этот брак, – ведь мы и по части даров Фортуны, и по части даров природы ему не уступим: по правде сказать, сеньор губернатор, сын-то ведь у меня бесноватый, не проходит дня, чтобы злые духи раза три-четыре его не терзали, да еще угораздило его как-то свалиться в огонь, и с той поры все лицо у него сморщилось, как пергамент, а глаза маленько слезятся и гноятся. Впрочем, нрав у него ангельский, и не имей он привычки бить себя и лупить кулаками, он был бы просто святой.

– Больше тебе ничего не надобно, человече? – спросил Санчо.

– Надо бы, – ответил крестьянин, – только боюсь сказать, ну да ладно, была не была, скажу, чтобы ничего не оставалось на сердце. Вот что, сеньор: я хочу попросить вашу милость пожаловать моему сыну-бакалавру триста, а еще лучше – шестьсот дукатов на приданое, то есть, я хотел сказать, на обзаведение собственным хозяйством: ведь молодоженам лучше жить своим домком и от родительской прихоти не зависеть.

– Гляди, не надобно ли тебе еще чего, – сказал Санчо, – не стесняйся и не стыдись.

– Право, я все сказал, – объявил крестьянин.

Только успел он это вымолвить, как губернатор вскочил, схватил кресло, на котором сидел, и возопил:

– Ах ты, такой-сякой, нахал, невежа, деревенщина! Прочь с глаз моих, чтоб духу твоего здесь не было, не то я проломлю и размозжу тебе голову вот этим самым креслом. Ах, сукин сын, негодяй, чертов живописец, нашел время просить у меня шестьсот дукатов! Да где я их тебе возьму, грязный мужик? И почему это я обязан тебе их дарить, даже если б они у меня и были, олух ты этакий, хоть и пролаза? И что мне за дело до Мигельтурры и до всего рода Перлалитико? Убирайся вон, говорят тебе, иначе, клянусь жизнью сеньора герцога, я приведу угрозу в исполнение! Да и непохоже, чтоб ты был из Мигельтурры, ты просто какой-нибудь прощельга, которого подослали ко мне черти, дабы ввести во грех. Сам посуди, разбойник: ведь я всего только полтора суток, как губернатор, а ты хочешь, чтоб у меня было шестьсот дукатов?

Дворецкий подал знак крестьянину удалиться, и тот, понутив голову и с видом испуганным, как если бы он точно боялся гнева губернатора, вышел из залы: плут отлично справился со своею ролью.

Но оставим разгневанного Санчо, пожелаем, чтобы на его острове была тишь, гладь да божья благодать, и обратимся к Дон Кихоту, с коим мы расстались в ту самую минуту, когда ему перевязывали на лице раны, нанесенные котами, от каковых ран он оправился лишь спустя неделю, а на неделе с ним случилось приключение, о котором Сид Ахмет обещает рассказать с тою обстоятельностью и правдивостью, с какою он рассказывает обо всех, даже самых незначительных, происшествиях, имеющих касательство к этой истории.

## Глава XLVIII

*О том, что произошло между Дон Кихотом и дуэньей герцогини доньей Родригес, равно как и о других событиях, достойных записи и увековечения*

В глубоком унынии и печали влачил свои дни тяжело раненный Дон Кихот: лицо у него было перевязано и отмечено, но не рукою бога, а когтями кота, – словом, его постигло одно из тех несчастий, коими полна жизнь странствующего рыцаря. Шесть дней не выходил он на люди, и вот однажды ночью, когда он бодрствовал и лежал с закрытыми глазами, помышляя о своих злоключениях и о навязчивости Альтисидоры, ему послышалось, что кто-то отмыкает ключом дверь в его покой, и он тотчас же вообразил, что это влюбленная девица явилась его искушать, дабы он в конце концов нарушил верность своей госпоже Дульсинее Тобосской.

– Нет! – поверив своей выдумке, сказал он себе, однако ж так громко, что его могли слышать. – Не родилась еще на свет такая красавица, ради которой я перестал бы обожать ту, чей образ запечатлен и начертан во глубине моего сердца и в тайниках души моей, хотя бы ты, моя владычица, оказалась превращенною в сельчанку, пропахшую луком, или же в нимфу золотистого Тахо, расшивающую ткани из золотых и шелковых нитей, и куда бы тебя ни заточили Мерлин или же Монтесинос, ты повсюду моя, а я повсюду был и буду твоим.

Не успел он окончить свои речи, как дверь отворилась. Он завернулся с головой в желтое атласное одеяло и стал во весь рост на кровати; на голове у него была скуфейка, на лице и усах повязки: на лице – из-за царапин, а на усах – для того, чтобы они не опускались и не отвисали; и в этом своем наряде он походил на самое странное привидение, какое только можно себе представить. Он впился глазами в дверь, но вместо изнывающей и уже не властной над собой Альтисидоры к нему вошла почтеннейшая дуэнья в белом подрубленном вдовьем покрывале, столь длинном, что оно охватывало и окутывало ее с головы до ног. В левой руке она держала зажженный огарок свечи, а правую защищала от света глаза, скрывавшиеся за огромными очками. Шла она медленно и ступала легко.

Дон Кихот глянул на нее сверху вниз и, рассмотрев ее убранство и уверившись в ее молчаливости, подумал, что это ведьма или же колдунья явилась к нему в таком одеянии, дабы учинить над ним какое-либо злое дело, и начал часто-часто креститься. Призрак между тем приближался; достигнув же середины комнаты, он поднял глаза и увидел, что Дон Кихот торопливо крестится, и если Дон Кихот оробел при виде этой фигуры, то еще больше напугалась незнакомка при виде Дон Кихота; едва ее взоры обратились на него, такого длинного и такого изжелта-бледного, в одеяле и в повязках, явно его уродовавших, как она тотчас же воскликнула:

– Боже мой! Что это?

Выронив от волнения свечу и оставшись впотьмах, она направилась к выходу, но со страху запуталась в собственных юбках и шлепнулась на пол. Тут Дон Кихот, объятый ужасом, обратился к ней:

– Заклинаю тебя, призрак, или кто бы ты ни был: скажи мне, кто ты, и скажи, чего ты от меня хочешь. Если ты неприкаянная душа, то не таись от меня, и я сделаю для тебя все, что могу, ибо я правоверный христианин и склонен всем и каждому делать добро: ведь для этого-то я и вступил в орден странствующего рыцарства, коего цель – всем благотворить – распространяется и на души, томящиеся в чистилище.

Ошеломленная дуэнья, услышав, что ее заклиняют, смекнула, что Дон Кихот напуган не меньше ее, и заговорила голосом тихим и унылым:

– Сеньор Дон Кихот (если только вы и есть Дон Кихот)! Я не призрак, не видение и не душа из чистилища, как ваша милость, верно, полагает, я дуэнья донья Родригес, приближенная сеньоры герцогини, и пришла я к вашей милости по такому важному делу, в котором только вы, ваша милость, и можете мне помочь.

– Скажите, сеньора донья Родригес, – снова заговорил Дон Кихот, – уж не явились ли вы сюда как сводня? В таком случае знайте, что вы уйдете ни с чем, а причиной тому – несравненная красота моей владычицы Дульсины Тобосской. Одним словом, сеньора донья Родригес, если вы обещаете избавить и уволить меня от каких бы то ни было сердечных дел, то можете зажечь свечу и подойти ближе, и мы с вами побеседуем, о чем вам надобно и о чем вам угодно, но только, повторяю, без всяких прельстительных жеманств.

– Чтобы я стала вмешиваться в чьи-то сердечные дела, государь мой? – воскликнула дуэнья. – Плохо же вы меня знаете, ваша милость. Я еще не в столь преклонных летах, чтобы такими пустяками заниматься: слава богу, душа моя и не думает расставаться с телом, и все коренные и передние зубы у меня целехоньки, за исключением двух-трех, которые я застудила, – ведь у нас тут в Арагоне простудиться ничего не стоит. Обождите немного, ваша милость: я только зажгу свечу, мигом возвращусь и расскажу вам о своих огорчениях, – уж вы-то всякому горю сумеете помочь.

Не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, Дон Кихот же, успокоенный и задумчивый, остался ждать ее, однако у него тотчас замелькало множество догадок по поводу этого нового приключения; самая мысль – подвергнуть испытанию верность, в которой он клялся своей госпоже, казалась ему кощунственной, и он стал рассуждать сам с собой:

«А что, если хитрый на выдумки дьявол, отчаявшись ввести меня во искушение с помощью императриц, королев, герцогинь, маркиз и графинь, ныне задумал меня совратить с помощью этой дуэньи? Я слышал много раз и от многих умных людей, что дьявол, где только может, вместо красоты подсовывает дурнушку. А что, если благоприятный случай, уединение и тишина пробудят спящие желания, и я, уже на закате дней, упаду на том самом месте, где до сих пор ни разу не спотыкался? В подобных обстоятельствах лучше бежать, чем ожидать боя. Но нет, видно, я не в своем уме, коли думаю и говорю о таком вздоре: очкастой дуэнье в длинном покрывале не породить и не пробудить нечистого желания в сердце величайшего развратника, какой только есть в мире. Да разве бывают на свете соблазнительные дуэньи? Да разве во всей вселенной есть хоть одна не назойливая, не брюзгливая и не жеманная дуэнья? Ну так прочь же от меня, племя дуэний, никому никакой радости не доставляющее! О, как права была та сеньора, о которой рассказывают, что она в углу своей диванной комнаты посадила двух изваянных дуэний в очках и с пальцами, как если бы они занимались рукоделием, и это сообщало всей комнате вид не менее чинный, нежели присутствие настоящих дуэний!»

Сказавши это, Дон Кихот спрыгнул с кровати и хотел было замкнуть дверь и не впустить сеньору Родригес, но, когда он приблизился к двери, сеньора Родригес уже входила, держа в руке зажженную свечу из белого воска, и, увидев, на сей раз уже прямо перед собой, Дона Кихота, перевязанного, закутанного в одеяло, в какой-то не то скуфейке, не то ермолке на голове, она опять испугалась и, отступив шага на два, спросила:

– Я могу считать себя в безопасности, сеньор рыцарь? По-моему, с вашей стороны не очень прилично, что вы встали с постели.

– Об этом же самом мне вас надлежит спросить, сеньора, – объявил Дон Кихот. – Так вот я и спрашиваю: огражден ли я от нападения и насилия?

– Кто же и от кого должен вас ограждать, сеньор рыцарь? – спросила дуэнья.

– Оградить меня должны вы и от вас же самой, – отвечал Дон Кихот. – Ведь и я не из мрамора и вы не из меди, и сейчас не десять часов утра, а полночь, даже, может быть, еще позднее, находимся же мы в более уединенном и укромном месте, нежели та пещера, где

вероломный и дерзновенный Эней овладел прекрасною и мягкосердечною Дидоной. Впрочем, дайте мне вашу руку, сеньора, – наилучшим ограждением послужат нам мои целомудрие и скромность, равно как и ваше почтеннейшее вдовье покрывало.

Сказавши это, он поцеловал себе правую руку<sup>1</sup>, а затем взял руку доньи Родригес, которую та протянула ему с такими же точно церемониями.

В этом месте Сид Ахмет делает отступление и клянется Магометом, что с удовольствием отдал бы лучшую из двух своих альмалаф за то, чтобы посмотреть, как эта парочка, взявшись и держась за руки, направлялась от двери к кровати.

Наконец Дон Кихот улегся в постель, а донья Родригес, не снимая очков и по-прежнему держа в руке свечу, села в кресло на некотором расстоянии от кровати. Дон Кихот свернулся клубком и натянул одеяло до подбородка; когда же оба они устроились поудобнее, первым нарушил молчание Дон Кихот.

– Теперь, сеньора донья Родригес, – сказал он, – вы можете излить и выговорить все, что накопилось в истерзанном вашем сердце и наболевшей груди: я буду слушать вас ушами целомудрия и окажу вам помощь делами милосердия.

– Я так и знала, – молвила дуэнья, – от благородного и приветливого вашего облика невозможно было ожидать менее христианского ответа. Так вот в чем состоит дело, сеньор Дон Кихот. Хотя сейчас я сижу перед вашей милостью в этом кресле и нахожусь в королевстве Арагонском, и на мне одеяние всеми презираемой и унижаемой дуэньи, однако ж родом я из Астурии Овьедской и притом происхожу из такой семьи, которая состоит в родстве с лучшими домами той провинции, но горестный мой удел и беспечность родителей моих, совершенно неожиданно, неизвестно как и почему обедневших, привели меня в столицу, в Мадрид, и там мои родители с моего согласия и во избежание горших бед отдали меня в швеи к одной знатной сеньоре, и надобно вам знать, ваша милость, что по части ажурной строчки и белошвейной работы никто меня еще не превзошел. Итак, родители отдали меня в услужение и вернулись обратно, а через несколько лет скончались и, уж верно, теперь на небе, потому что это были добрые и правоверные христиане. Осталась я сиротою, все мое достояние заключалось в скудном жалованье да в тех ничтожных подачках, которые в богатых домах обыкновенно получают служанки, и в это самое время, без всякого с моей стороны повода, меня полюбил наш выездной лакей, мужчина уже в летах, представительный, с густой бородою, а уж какой воспитанный – ну прямо король: это потому, что он горец<sup>2</sup>. Сколько ни старались мы утаить наши встречи, однако госпожа моя о том проведала и во избежание сплетен и пересудов нас поженила с благословения и соизволения святой нашей матери римско-католической церкви, от какого брака родилась у нас дочь, и вот из-за нее-то я и лишилась самого дорогого, что было у меня в жизни, и не потому, чтобы я умерла от родов, – нет, роды у меня были правильные и наступили вовремя, а потому, что вскоре после этого умер от испуга мой муж; если б я не торопилась, я бы вам и про это рассказала, и вы, уж верно, дались бы диву.

Тут она горько заплакала и сказала:

– Простите, сеньор Дон Кихот, что я с собой не совладала: всякий раз, как я вспоминаю о незадачливом моем муженьке, я не могу удержаться от слез. Боже ты мой, с каким, бывало, важным видом возил он госпожу на крупе могучего мула, черного как уголь! Тогда ведь не было ни карет, ни носилок, как нынче, – дамы ездили верхом на мулах: впереди выездной лакей, а сзади госпожа. Нет, я непременно должна вам про это рассказать, дабы вы удостоверились в благовоспитанности и ретивости милого моего мужа. Как-то раз стал он сворачивать на улицу святого Иакова в Мадриде, довольно-таки узкую улицу, а навстречу ему алькальд с двумя альгуасилами впереди, и как скоро добрый мой супруг его увидел, то, вознамерившись проводить его, поворотил мула. Госпожа, сидевшая на крупе, вполголоса

---

1 ...поцеловал себе правую руку... – в знак верности данному слову.

2 ...потому, что он горец. – Жители северных горных районов Испании гордились тем, что они первые положили начало реконкисте (отвоеванию территорий, захваченных у них арабами в VIII в.), и считали себя поэтому знатными людьми.

его спрашивает: «Что ты делаешь, бестолковый? Разве ты не знаешь, что мне не туда?» Алькальд из учтивости натянул поводья и сказал: «Поезжай, братец, своей дорогой, это мне приличествует сопровождать сеньору донью Касильду» (так звали нашу госпожу). Однако супруг мой с обнаженной головою продолжал настаивать на том, чтобы проводить алькальда, тогда госпожа в запальчивости и раздражении вынула из футлярчика толстую булавку, прямо, можно сказать, настоящее шило, и всадила ее в спину моему мужу; тот вскрикнул, сразу весь скорчился и, увлекая за собой госпожу, грянулся оземь. Два лакея бросились поднимать ее, а также алькальд и альгюасилы. Гуадалахарские ворота переполошились, то есть, разумею, не самые ворота, а всякий праздношатающийся люд, который там толчется. Госпожа пошла домой пешком, а мой муж побежал к цирюльнику и сказал, что ему проткнули насквозь все внутренности. Слава об учтивости моего супруга так быстро распространилась, что на улицах за ним стали бегать мальчишки, и вот поэтому, а еще потому, что он был чуть-чуть близорук, госпожа его и рассчитала, и я убеждена, что умер он с горя. Осталась я беспомощною вдовою с дочкой на руках, а краса моей дочери все прибывала, будто морская пена. В конце концов, как обо мне шла молва, что я великая рукодельница, то сеньора герцогиня, которая тогда только что вышла замуж за сеньора герцога, порешила взять меня с собой в королевство Арагонское, а также и мою дочь, и вот здесь-то, долго ли, коротко ли, дочка моя и подросла, и что же это, я вам скажу, за прелесть: поет, как жаворонок, в танце – огонь, пляшет до упаду, читает и пишет, как школьный учитель, а считает, как купец. О чистоплотности ее я уж и не говорю: проточная вода – и та не чище ее. И будет ей сейчас, если память мне не изменяет, шестнадцать лет пять месяцев и три дня, – может, я только днем ошиблась. Коротко говоря, девочку мою полюбил сын богатого крестьянина, который живет не так далеко отсюда, в одной из деревень, принадлежащих сеньору герцогу. Уж и не знаю, как это у них началось, только стали они миловаться, и он сказал моей дочке, что он на ней женится, а сам обманул ее и не думает исполнять свое обещание. И сеньор герцог об этом знает, потому что я сколько раз ему жаловалась и просила его приказать этому сельчанину жениться на моей дочери, но герцог в одно ухо впускает, в другое выпускает. А все дело в том, что отец обманщика очень богат, дает герцогу денег взаймы, помогает ему кое-когда обделывать делишки, и герцог боится расстроить его и рассердить. Вот я и прошу вас, государь мой, возьмите на себя труд, восстановите справедливость – то ли уговорами, то ли силой оружия: ведь все про вас знают, что вы родились на свет, дабы искоренять неправду, выпрямлять кривду и защищать обойденных. И примите в рассуждение, ваша милость, сиротство моей дочери; ее прелесть и юность, а равно и все ее совершенства, которые я вам только что описала, – клянусь богом и совестью, ни одна из горничных девушек моей госпожи в подметки ей не годится, даже та, которую зовут Альтисидорой: ее все здесь почитают за самую разбитную и пригожую, но и ей мою дочку не перещеголять. Да будет вам известно, государь мой, что не все то золото, что блестит: ведь эта самая Альтисидора берет не столько красотой, сколько самоуверенностью, и развязности в ней куда больше, чем скромности, и притом она не совсем здорова: у нее так плохо пахнет изо рта, что с ней рядом стоять нельзя. Да взять хоть самое сеньору герцогиню... Нет уж, я лучше помолчу, а то ведь и у стен бывают уши.

– А что такое у сеньоры герцогини, скажите ради бога, сеньора донья Родригес? – спросил Дон Кихот.

– Вы так убедительно меня просите, что я не могу не ответить вам с полной откровенностью, – молвила дуэнья. – Вы знаете, сеньор Дон Кихот, как красива сеньора герцогиня: кожа у нее напоминает отполированный, гладкий клинок, щеки – кровь с молоком, очи как звезды небесные, и ходит-то она – не ходит, а словно летает; можно подумать, что она так и пышет здоровьем, на самом же деле, ваша милость, этим она обязана прежде всего господу богу, а затем двум фонтанелям<sup>1</sup>, которые устроены у нее на ногах, и через которые вытекают все те дурные соки, коими, как уверяют лекари, сеньора герцогиня

---

<sup>1</sup> *Фонтанели* – искусственные раны на ногах, с помощью которых во времена Сервантеса врачевали больных, чтобы дать выход «дурным сокам» из тела.

полна.

– Пресвятая дева! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели у сеньоры герцогини существуют подобные сточные желоба? Я бы не поверил даже, если б мне это сказали босые братья, но коль скоро это утверждает сеньора донья Родригес, значит, так оно и есть. Впрочем, фонтанели на таких ножках, уж верно, источают не дурные соки, но текучую амбру. Право, я прихожу к мысли, что фонтанели – вещь чрезвычайно полезная для здоровья.

Только успел Дон Кихот это вымолвить, как вдруг дверь в комнату с великим шумом распахнулась, донья Родригес от неожиданности выронила свечу, и в комнате стало темно, как говорится – хоть глаз выколи. Вслед за тем несчастная дуэнья почувствовала, как чьи-то руки схватили ее за горло, да с такой силой, что она не успела проронить ни звука, а кто-то другой с великим проворством, не говоря худого слова, поднял ей юбки и чем-то, по-видимому, туфлей, так ее отшлепал, что вчуже брала жалость; испытывал к ней жалость и Дон Кихот, однако он даже не пошевелился: он не мог понять, что это такое, и лежал тихо и смиренно, боясь, как бы и ему не получить свою порцию. И опасения его были не напрасны, ибо безмолвные палачи, задавши трепку дуэнье (а дуэнья пикнуть не смела), направились к Дон Кихоту и, сдернув с него простыню и одеяло, принялись щипать его, да так часто и так больно, что ему пришлось пустить в ход кулаки, и все это происходило в совершенной тишине. Битва длилась около получаса; засим привидения скрылись, донья Родригес оправила юбки и, оплакивая свое злоключение, вышла из комнаты, не сказав Дон Кихоту ни слова, Дон Кихот же, измученный и исщипанный, растерзанный и озадаченный, остался один, и тут мы его покинем, как он ни жаждет узнать, кто же этот злой чародей, который так его отделал. Об этом будет сказано в свое время, а теперь обратимся к Санчо Пансе, как того требует порядок истории.

## Глава XLIX

*О том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров*

Мы оставили великого губернатора в ту самую минуту, когда он сердился и досадовал на крестьянина, живописца и плута, подученного домоправителем, которого, в свою очередь, подучил герцог, и насмежавшегося над Санчо; однако Санчо хоть и был простоват, неотесан и толст, а все же спуску не давал никому, и как скоро тайное совещание по поводу письма герцога окончилось и доктор Педро Нестерпимо возвратился в залу, Санчо объявил всем присутствовавшим:

– Теперь я вполне уразумел, что судьи и губернаторы должны быть сделаны из меди, иначе назойливые посетители прямо доймут; они требуют, чтобы их выслушивали и разбирали их тяжбы в любой час и во всякое время, они только о своих делах и думают, а там хоть трава не расти, и если несчастный судья не выслушает их и не разберет их тяжбы, потому ли, что не в состоянии это сделать, потому ли, что они явились в неприступные часы, они прямо так, с маху, начинают его ругать, сплетничают про него, перемывают ему все косточки и родню-то его в покое не оставят. Глупый проситель, бестолковый проситель! Не торопись, дождись удобного времени и благоприятного случая, тогда и выкладывай, что у тебя за дело, не приходи ни в час обеда, ни в часы сна. Ведь судьи – живые люди и должны отдавать естеству естественный долг, – ко мне, впрочем, это не относится, я своего естества не питаю по милости здесь присутствующего сеньора доктора Педро Нестерпимо Учертанарогеры: он морит меня голодом и уверяет, что смерть и есть жизнь, дай бог ему самому такой жизни, равно как и всей его братии, – я говорю о дурных лекарях, а хорошие заслуживают пальм и лавров.

Все, кто знал Санчо Пансу, дивились его изысканной манере выражаться, не могли понять, откуда это у него, и находили единственное объяснение в том, что высокие посты и должности либо оттачивают ум человеческий, либо притупляют его. В конце концов доктор

Педро Нестерпимо из селения Тиртеафуэра, или же Учертанарогера, сказал, что вечером он непременно позволит губернатору поужинать, хотя бы и в нарушение всех предписаний Гиппократовых. Губернатор этим удовлетворился и с великим нетерпением стал ждать, когда наступит вечер и час ужина, и хотя у него было такое чувство, словно время остановилось и с места не двигается, однако долгожданный миг все же настал, и ему подали на ужин тушеную говядину с луком и вареные ножки теленка уже не первой молодости. Санчо отдал всему этому более обильную дань, чем если бы его потчевали миланскими тетерками, римскими фазанами, соррентской телятиной, моронскими куропатками или же лавахосскими гусями, и за ужином он обратился к доктору с такими словами:

– Послушайте, сеньор доктор! Впредь не должно стараться угощать меня тонкими блюдами и изысканными кушаньями, – это только расстроит мой желудок: ведь он привык к козлятине, к говядине, к свинине, к ветчине, к репе и к луку, и ежели вы станете пичкать его всякими придворными блюдами, то они ему не понравятся, а от иных его тошнить будет. Принес бы мне лучше дворецкий так называемой ольи подриды, то есть упрелых овощей, и чем больше в ней этой самой прели, тем приятней от нее запах, и дворецкий может напихать туда и намешать чего угодно, лишь бы только это было съедобное, а я его за это поблагодарю и когда-нибудь награжу, а вот издеваться над собой я никому не позволю, иначе у нас дело на лад не пойдет. Давайте-ка все жить и кушать в мире и согласии. Чего мы с вами не поделили? Я так буду управлять этим островом, чтобы податей не прощать, но и взятки не вымогать, а вы у меня будьте тише воды, ниже травы, потому, должно вам знать, мы за себя постоим и в случае чего натворим чудес. Глядишь, на зверя-то как раз и ловец прибежит.

– Разумеется, сеньор губернатор, – сказал дворецкий, – ваша милость совершенно права, и я от имени всех жителей нашего острова даю обещание, что мы будем служить вам со всем возможным усердием, любовью и добросовестностью, ибо тот мягкий способ правления, коего ваша милость стала придерживаться с самого начала, не дает нам оснований не только сотворить, но даже замыслить что-либо вашей милости неугодное.

– Надеюсь, – заметил Санчо, – дураки бы вы были, если б что-либо подобное сотворили или же замыслили. Стало быть, я еще раз повторяю, не забудьте насчет пропитания для меня и для моего серого, изо всех дел это самое важное и неотложное, а в установленный час мы пойдем с вами в обход: я хочу очистить остров от всякой дряни – от побродяг, лодырей и шалопаев. Надобно вам знать, друзья мои, что праздношатающийся люд в государстве – это все равно что трутни в улье, которые пожирают мед, собранный пчелами-работницами. Я намерен оказывать покровительство крестьянам, охранять особые права идальго, награждать людей добродетельных, а самое главное – относиться с уважением к религии и оказывать почет духовенству. Ну как, друзья? Правильно я говорю или же сбрендил?

– Вы так говорите, сеньор губернатор, – отвечал домоправитель герцога, – что я, право, удивляюсь: такой неграмотный человек, как вы, ваша милость, – сколько мне известно, вы ведь грамоте совсем не знаете, – и вдруг говорит столько назидательных и поучительных вещей, – ни те, кто нас сюда послал, ни мы сами никак не могли от вас ожидать такой рассудительности. Каждый день приносит нам что-нибудь новое: начинается дело с шутки – кончается всерьез, хотел кого-то одурачить – глядь, сам в дураках остался.

Итак, наступил вечер, и с дозволения сеньора доктора Нестерпимо губернатор отужинал. Затем был наряжен дозор; вместе с губернатором отправились в обход домоправитель, секретарь, дворецкий, летописец, коему было поручено заносить деяния Санчо на скрижали истории, и целый отряд альгуасилов и судейских; Санчо с жезлом в руке преважно шествовал посредине. И вот когда они уже прошли несколько улиц, послышался лязг скрецающихся сабель; все бросились в ту сторону и увидели, что дерутся всего лишь два человека, каковые, завидев властей, прекратили драку, а один из них воскликнул:

– Именем бога и короля! Что же это за безобразие творится в нашем городе: нападают прямо посреди улицы и грабят при всем честном народе!

– Успокойся, добрый человек, – молвил Санчо, – и расскажи мне, из-за чего вы



повздорили. Я – губернатор.

Тут вмешалась противная сторона:

– Сеньор губернатор! Я вам все расскажу возможно короче. К сведению вашей милости, этот господин только что выиграл в игорном доме, вон в том, что напротив, более тысячи реалов, и одному богу известно, каким образом. Я при сем присутствовал и в ряде сомнительных случаев, хотя и против совести, присуждал в его пользу. Он огреб свой выигрыш, и я надеялся, что получу от него магарыч хотя бы размере одного эскудо: это уж так принято и так заведено – вознаграждать столь важных лиц, каков я, следящих за правильностью ходов, содействующих беззакониям и предотвращающих ссоры, а он спрятал деньги и ушел. Я разозлился, догнал его и в самых нежных и учтивых выражениях попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, а ведь он знает, что я человек честный и что я должности никакой не занимаю и доходов ниоткуда не получаю, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили, но этот мошенник, который в жульничестве самому Каку сто очков вперед даст, а в шулерстве самому Андрадилье<sup>1</sup>, не пожелал мне дать более четырех реалов. Подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая наглость! Честное слово, ваша милость, если б вы не подоспели, я бы у него выигрыш из горла вырвал, я бы его привел в разум!

– А ты что на это скажешь? – спросил Санчо.

Тот ответил, что противная сторона говорит правду и что он, точно, не хотел давать более четырех реалов, потому что это, мол, уже не в первый раз; далее он заметил, что людям, ожидающим магарыча, надлежит быть вежливыми и с веселым видом брать, что дают, торговаться же с теми, кто остался в выигрыше, им не подобает, если только они не вполне уверены, что это шулеры и что их выигрыш – выигрыш нечестный; а что он, игрок, не пожелал одарить вымогателя, это, мол, и есть лучшее доказательство, что он человек порядочный, а не жулик, как уверяет тот, ибо шулеры – вечные данники таких вот соглядатаев, которые знают, что они передергивают карту.

– То правда, – подтвердил домоправитель. – Сеньор губернатор! Мы ждем ваших указаний, что нам делать с этими людьми.

– С этими людьми надобно сделать вот что, – объявил Санчо. – Ты, который выиграл, – все равно, честно, нечестно или не так, не эдак, – ты сей же час выдашь этому драчуну сто реалов, а еще тридцать реалов пожертвуешь на заключенных. Ты же, что должности не занимаешь и доходов не получаешь, а только небо коптишь, бери скорей сто реалов и, самое позднее, завтра утром отправляйся с нашего острова в изгнание на десять лет, а нарушишь мою волю – будешь отбывать свой срок на том свете, потому я собственноручно повешу тебя на столбе, в крайнем же случае это сделает палач по моему повелению. И ни тот, ни другой не смейте мне перечить, а то я вас!

Первый противник вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой пошел домой, а губернатор сказал:

– Во что бы то ни стало закрою все эти игорные дома: я так полагаю, что от них вред немалый.

– Вот этот дом, – возразил один из судейских, – вашей милости, во всяком случае, не удастся закрыть: его содержит одно значительное лицо, которое, кстати сказать, в течение года неизмеримо больше проигрывает в карты, нежели получает барыша со своего заведения. Зато на других, низкопробных, притонах ваша милость может показать свою власть: от них и вреда больше, и всякое жулье там так и кишит. Между тем в дома, которые содержат знатные кавальеры и сеньоры, заправские шулеры плутовать ни за что не пойдут, а коль скоро порочная склонность к картежничеству за последнее время получила всеобщее распространение, то пусть уж лучше игра идет в домах у знати, а не у мастеровых, где обычай таков: заманят в полуночную пору какого-нибудь горемыку и оберут донитки.

– Вот что, стряпчий, – заметил Санчо, – предмет сей таков, что об нем можно говорить долго, это я и сам знаю.

---

<sup>1</sup> Андрадилья – Полагают, что это имя знаменитого в то время шулера.

В это время к ним приблизился полицейский, тащивший за руку какого-то парня, и сказал:

– Сеньор губернатор!! Этот молодчик шел нам навстречу, но, завидев полицию, круто повернулся и бросился наутек – так поступают одни преступники. Я побежал за ним, однако ж, если б он не споткнулся и не полетел, нипочем бы мне его не догнать.

– Ты чего, молодец, бежал? – спросил Санчо.

Парень же ему на это ответил так:

– Сеньор! Полиция имеет обыкновение долго расспрашивать, а мне не хотелось отвечать.

– Чем ты занимаешься?

– Я ткач.

– Что же ты ткешь?

– С дозволения вашей милости, наконечники для копий.

– Ба, да ты шутник! Зубоскальством, стало быть, промышляешь? Добро! А куда это ты направлялся?

– Проветриться, сеньор.

– А где же у вас тут, на острове, проветриваются?

– А где ветер дует.

– Хорошо! Ты за словом в карман не лезешь. Сейчас видно умного малого, но только представь себе, что ветер – это я, и дую я тебе прямо в спину и подгоняю прямо к самой тюрьме. А ну, возьмите его и отведите! Пусть-ка он эту ночку поспит в тюрьме и на сей раз обойдется без проветриванья.

– Ей-богу, ваша милость, вам легче сделать меня королем, нежели заставить спать в тюрьме! – возразил парень.

– Это почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? – спросил Санчо. – Не властен я, что ли, в любую минуту схватить тебя или же отпустить?

– Как ни велика власть вашей милости, – возразил парень, – а все-таки вы меня не заставите спать в тюрьме.

– Как так нет? – вскричал Санчо. – Отведите его в тюрьму – там он живо поймет, что заблуждался, буде же начальник тюрьмы в корыстных целях окажет ему снисхождение и дозволит хотя на шаг от тюрьмы отойти, я на того начальника наложу пеню в две тысячи дукатов.

– Шутить изволите, – заметил парень. – Не родился еще на свет такой человек, который заставил бы меня спать в тюрьме.

– Говори же, черт ты этакий! – вскричал Санчо. – Да кто тебя, ангел, что ли, выведет из тюрьмы и разобьет кандалы, которые я велю на тебя надеть?

– Вот что, сеньор губернатор, давайте вникнем в суть дела, – с очаровательной приятностью заговорил юноша. – Положим, ваша милость велит препроводить меня в тюрьму, там на меня наденут кандалы и цепи – и под замок, а начальник тюрьмы во избежание суровой кары исполнит ваш приказ и не выпустит меня, – все равно, если я не пожелаю спать и всю ночь не сомкну глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей своей властью принудить меня заснуть, коль скоро я не желаю?

– Разумеется, что нет, – вмешался секретарь, – малый ловко вывернулся.

– Значит, – спросил Санчо, – ты не стал бы спать потому, что тебе просто не хочется, а не для того, чтобы мне противодействовать?

– У меня и в мыслях того не было, сеньор, – отвечал парень.

– Ну, тогда иди с богом, – рассудил Санчо, – иди домой спать, пошли тебе господь приятных снов, я же лишать тебя сна не намерен, но только вперед советую с властями не шутить, а то нарвешься на кого-нибудь, так тебя за такие шуточки по головке не поглядят.

Парень удалился, а губернатор продолжал обход, и немного погодя к нему приблизились двое полицейских, которые вели за руки какого-то мужчину, и сказали:

– Сеньор губернатор! Этот человек – только на вид мужчина, а на самом деле это

переодетая в мужское платье женщина, и притом недурная собой.

Они поднесли к лицу задержанного не то два, не то три фонаря, и фонари осветили лицо девушки лет шестнадцати с небольшим, у которой волосы были собраны под сеткой из золотистых и зеленых шелковых нитей: то была писаная красавица, чистый перл. Ее окинули взглядом с головы до ног и обнаружили, что на ней красные шелковые чулки, подвязки из белой тафты с бисерной и золотой бахромой, шаровары из зеленой с золотом парчи, кафтанчик из той же материи, под ним камзол из великолепной белой, шитой золотом ткани, а на ногах белые мужские башмаки; вместо шпаги за поясом у нее был драгоценный кинжал; пальцы унизаны чудными кольцами. Одним словом, девушка всем понравилась, но никто не знал ее; местные жители объявили, что не имеют понятия, кто она такая, в особенности же были удивлены те, коим было велено дурачить Санчо, ибо это происшествие и эта встреча не были ими подстроены, и они в замешательстве ожидали, чем все это кончится. Санчо опешил при виде такой красавицы и спросил ее, кто она, откуда и что принудило ее надеть на себя это платье. Девушка стыдливо потупила очи и с наискромнейшим видом молвила:

– Сеньор! Я не могу говорить при всех о том, что мне надлежит содержать в глубочайшей тайне. Я только хочу, чтобы вы знали, что я не воровка, не преступница, а просто несчастная девушка, которую ревность вынудила пренебречь приличиями.

При этих словах домоправитель обратился к Санчо:

– Сеньор губернатор! Велите этим людям отойти в сторону, дабы сеньора могла без стеснения говорить все, что ей угодно.

Губернатор отдал приказ; все отошли в сторону, за исключением домоправителя, дворецкого и секретаря.

Удостоверившись, что все прочие находятся на почтительном расстоянии, девушка начала так:

– Сеньоры! Я дочь Педро Переса Масорки: он держит на откупе шерсть в нашем городе и часто бывает у моего отца.

– Это что-то не так, сеньора, – заметил домоправитель, – я хорошо знаком с Педро Пересом, и мне известно, что детей у него нет, ни сыновей, ни дочерей, а кроме того, вы говорите, что это ваш отец, и тут же прибавляете, что он постоянно бывает у вашего отца.

– Я тоже обратил на это внимание, – вставил Санчо.

– Видите ли, сеньоры, от волнения я сама не знаю, что говорю, – призналась девушка. – Сказать вам откровенно, я дочь Дьего де ла Льяна, которого ваши милости, верно, хорошо знают.

– Вот это другое дело, – заметил домоправитель. – Я знаю Дьего де ла Льяна – это знатный и богатый идальго, у него сын и дочь, и с тех пор, как он овдовел, никто во всем городе не может сказать, что когда-нибудь видел в лицо его дочь: он держит ее под семью замками и даже солнцу не дает на нее смотреть, но совсем тем молва трубит о необычайной ее красоте.

– То правда, – молвила девушка, – и эта дочь – я. Вы, сеньоры, видели меня и можете увериться сами, лжива или не лжива молва о моей красоте.

Тут девушка горько заплакала, а секретарь приблизился к дворецкому и шепнул ему:

– Вне всякого сомнения, с бедной девушкой что-нибудь важное приключилось, коли она, дочь столь благородных родителей, в этом одеянии и в такую пору бродит по улицам.

– Сомневаться не приходится, – согласился дворецкий, – тем более что слезы ее подтверждают наше предположение.

Санчо употребил все свое красноречие, чтобы утешить ее, и сказал, что она смело может поведать им свои злоключения: они, мол, постараются не на словах, а на деле оказать ей всяческую помощь.

– Вот в чем состоит весь случай, – заговорила она. – Мой отец держал меня взаперти целых десять лет, а как раз столько и прошло с того дня, когда мою матушку опустили в сырую землю. Даже слушать мессу я хожу в нашу домашнюю богато убранную молельню, так что до сих пор я не видела ничего, кроме дневных и ночных небесных светил, не имела

представления ни об улицах, ни о площадях, ни о храмах и не видела других мужчин, кроме моего отца, брата и откупщика Педро Переса; откупщик бывает у нас постоянно, и, чтобы не открывать вам, кто мой настоящий отец, мне и пришло в голову выдать себя за дочь откупщика. Это заточение, эта невозможность выйти из дому, хотя бы только для того, чтобы пойти в церковь, уже давно повергают меня в отчаяние: я хочу видеть свет, мне хочется посмотреть, по крайней мере, на мой родной город, и я полагаю, что это желание не противоречит тем приличиям, которые девушкам из хороших семей подобает соблюдать. Когда до меня доходили слухи, что в городе устраиваются бои быков, бранные потехи или что дают какую-нибудь комедию, я забрасывала вопросами моего брата, годом моложе меня, и еще о многом, о многом из того, что мне также не довелось видеть, я его расспрашивала, он же старался как можно лучше мне все объяснить, но его рассказы только усиливали во мне желание видеть все это своими глазами. Однако ж история моей гибели выходит слишком длинной, – словом, я упростила и умолила моего брата... но ах! лучше бы мне не упрашивать и не умолять его...

И тут она снова залилась слезами. Домоправитель же ей сказал:

– Продолжайте, сеньора, и поведайте нам наконец, что такое с вами случилось: ваши речи и ваши слезы приводят нас в недоумение.

– Речи мои теперь будут кратки, зато слезы – обильны, – молвила девушка, – а иных последствий и не могут иметь неразумные желания.

Красота девушки поразила воображение дворецкого, и, чтобы еще раз взглянуть на нее, он снова поднес к ее лицу фонарь и невольно подумал, что по ее щекам катятся не слезы, но бисеринки или же роса лугов и что это даже слишком слабое сравнение: что слезы ее не менее прекрасны, чем перлы Востока, и хотелось дворецкому, чтобы горе ее было не столь велико, как о том свидетельствовали слезы ее и вздохи. Губернатор между тем досадовал на девушку за то, что уж очень она затягивает свой рассказ; наконец он не вытерпел и попросил не держать их долее в неведении: час, дескать, поздний, а он только начал обход. Тогда она, прерывая свою речь рыданиями и всхлипываниями, заговорила снова:

– Все мое несчастье, все мое злополучие состоит в том, что я упростила брата, чтоб он позволил мне переодеться мужчиной и дал мне свое платье, и чтоб он ночью, когда батюшка заснет, показал мне город. Наскучив моими мольбами, он в конце концов уступил, я надела на себя вот этот самый костюм, он надел мое платье, которое, кстати сказать, очень ему подошло, потому что у него нет еще и признаков бороды и лицом он напоминает прелестную девушку, и вот нынче ночью, вероятно с час тому назад, мы ушли из дому и, влекомые легкомыслием молодости, обежали весь город и уже собирались домой, как вдруг увидели, что навстречу нам целая гурьба, и тут мой брат мне сказал: «Сестрица! Как видно, это ночной обход: беги со всех ног, что есть силы, за мной, чтобы нас не узнали, а иначе дело плохо». С последним словом он повернул обратно и пустился бежать без оглядки. Я же через несколько шагов со страху упала, и тут ко мне приблизился блюститель порядка и привел меня к вам, и мне сейчас очень стыдно: столько народу на меня смотрит и, верно, думает, что я скверная, взбалмошная девчонка.

– Это и есть, сеньора, все ваше злосчастье? – спросил Санчо. – А как же вы сперва сказали, что уйти из дому вас принудила ревность?

– Больше со мной ничего не приключилось, и оставила я дом не из ревности, а потому, что мне хотелось видеть свет, – впрочем, желание мое не выходило за пределы улиц нашего города.

Что девушка говорила правду истинную, это выяснилось окончательно, когда полицейские привели ее брата, коего один из них настиг в то время, как он убегал от сестры. На нем была только пышная юбка и голубой камки мантилья с золотыми позументами, а головной убор заменяли его же собственные волосы, вившиеся белокурыми локонами и походившие на золотые колечки. Губернатор, домоправитель и дворецкий отвели его в сторону, чтобы их не слышала девушка, и спросили, почему на нем это одеяние, – тогда он, смущенный и растерянный не меньше, чем его сестра, рассказал то же, что и она, и этим

чрезвычайно обрадовал влюбленного дворецкого. Губернатор, однако ж, заметил:

– Разумеется, сеньора, это было с вашей стороны чистейшее ребячество, а чтобы рассказать о дерзкой этой выходке, вовсе не требовалось столько слов, слез и вздыханий. Сказали бы только: «Мы, такой-то и такая-то, удрали из родительского дома, чтобы прогуляться, и затеяли мы это единственно из любопытства, а никакого другого намерения у нас не было», – и вся недолга, и нечего было нюнить да рюмить, и то, и се, и пятое, и десятое.

– Ваша правда, – молвила девушка, – однако ж надобно вам знать, ваши милости, что я ужасно как волновалась и не могла держаться в определенных рамках.

– Ну ладно, бог с ними, с этими рамками, – заключил Санчо. – Сейчас мы вас обоих проводим домой, – может статься, отец еще ничего не заметил. Но только вперед не будьте такими ребячливыми и не стремитесь поскорей увидеть свет: девушке честной – за прялкой место, женщина что курочка: много будет бегать – себя погубит, дурочка, – ведь коли женщина желает людей посмотреть, стало быть, есть у нее желание и себя показать. Больше я ничего не скажу.

Юноша поблагодарил губернатора за его любезное намерение проводить их, и все двинулись к их дому, находившемуся невдалеке. Как скоро они к нему приблизились, юнец бросил камешек в решетку окна, в ту же минуту спустилась служанка, которая дожидалась возвращения его сестры и его самого, отворила дверь, и они вошли, прочие же не переставали дивиться их привлекательности и красоте, а равно и обуявшему их желанию во что бы то ни стало видеть свет, хотя бы глухою ночью и не выходя из городишка; впрочем, они все это объясняли их молодостью. У дворецкого сердце было пронзено, и он вознамерился на другой же день пойти к отцу девушки и просить ее руки; он был уверен, что ему, как слуге герцога, отказать не решатся. Даже Санчо – и тот стал подумывать, не выдать ли ему за этого юношу свою дочку Санчику, и, умозаклучив, что от губернаторской дочки ни один жених не откажется, дал себе слово со временем привести замысел свой в исполнение.

В эту ночь обход острова на сем и кончился, по прошествии же двух дней кончилось и самое губернаторство, а с ним вместе рухнули и разлетелись все планы Санчо, как то будет видно из дальнейшего.

## Глава L,

*в коей выясняется, кто были сии волшебники и палачи, которые высекли дуэнью и исщипали и поцарапали Дон Кихота, и повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы*

Сид Ахмет, добросовестнейший исследователь мельчайших подробностей правдивой этой истории, сообщает, что дуэнья, спавшая с доньей Родригес в одной комнате, слышала, как та, отправляясь к Дон Кихоту, вышла из спальни, и, будучи, подобно всем решительно дуэньям, любительницею все выведать, разузнать и разнохоть, она пошла следом за доньей Родригес, до того осторожно при этом ступая, что добрая Родригес ее не заметила; а как она разделяла общую для всех дуэний страсть к сплетням, то, увидев, что донья Родригес проникла в покой Дон Кихота, мигом очутилась у герцогини и все там разблаговестила. Герцогиня довела все это до сведения герцога и попросила позволения пойти вместе с Альтисидорой узнать, что надобно донье Родригес от Дон Кихота; герцог позволил, и обе женщины с великим бережением и опаскою подкрались на цыпочках к двери Дон-Кихотовой спальни и стали так близко, что им слышен был весь разговор; когда же герцогиня услышала, что Родригес выдала тайну насчет аранхуэских ее фонтанов<sup>1</sup>, то не выдержала и, обуреваемая гневом и жаждой мщенья, вместе с Альтисидорой, испытывавшей те же самые

---

<sup>1</sup> ...аранхуэских ее фонтанов. – Аранхуэс – город в Испании, в 49 километрах от Мадрида, на левом берегу Тахо; был известен своими фонтанами. В тексте игра слов «фонтанель» и «фонтан».

чувства, ворвалась в спальню, и тут они соединенными усилиями расцарапали Дон Кихоту лицо и отшлепали дуэнью уже известным читателю способом; должно заметить, что все оскорбляющее женскую красоту и задевающее самолюбие женщин приводит их в ярость неопишущую и особенно сильно возбуждает их мстительность. Герцогиня рассказала об этом происшествии герцогу, чем немалое доставила ему удовольствие, и, вознамерившись шутить и потешаться над Дон Кихотом и дальше, отправила того самого паж, который изображал Дульсинею и требовал, чтобы его расколдовали (о чем Санчо Панса за всякими государственными делами успел начисто позабыть), к жене Санчо, Тересе Панса, с письмом от ее мужа, с письмом от себя и с большой ниткой великолепных кораллов в виде подарка.

Далее в истории говорится, что паж, юноша толковый, сообразительный и услужливый, поехал туда с превеликой охотой; подъехав к селу, он окликнул женщин, собравшихся во множестве у ручья и полоскавших белье, и спросил, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, который именует себя Дон Кихотом Ламанчским; услышав этот вопрос, одна из девчонок, полоскавших белье, подняла голову и ответила:

– Тереса Панса – это моя мать, помянутый вами Санчо – это мой батюшка, помянутый же вами рыцарь – это наш господин.

– В таком случае, девушка, – молвил паж, – проводи меня к своей матушке: я везу ей письмо и подарок от вышеупомянутого твоего батюшки.

– С превеликим удовольствием, государь мой, – объявила девица, коей на вид можно было дать лет четырнадцать.

Белье она оставила на подругу и, не обувшись и не подобравши волос, как была, босая и растрепанная, подскочила к пажу и сказала:

– Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом – крайний, матушка сейчас дома, и уж очень она убивается, что от батюшки давно нет никаких вестей.

– Зато я привез такие добрые вести, – подхватил паж, – что твоей матушке надобно благодарить бога.

Девчонка вприпрыжку и вприскокку пустилась домой и еще с порога крикнула:

– Матушка! Иди сюда, скорей, скорей! К нам едет какой-то сеньор и везет письма и разные вещицы от моего батюшки.

На крик вышла ее мать, Тереса Панса, в серой юбке, с мотком пряжи в руке. Юбка на Тересе была до того коротка, что казалось, будто ей укоротили ее до неприличного места; еще на ней был лифчик, также серого цвета, и сорочка. Она не производила впечатления старухи, хотя сейчас было видно, что ей пошло на пятый десяток; впрочем, это была крепкая, до сих пор еще статная, здоровая и загорелая женщина; увидев свою дочь и паж на коне, она спросила:

– Что такое, дочка? Кто этот сеньор?

– Покорный слуга сеньоры доньи Тересы Панса, – отвечал гонец.

– Он мигом соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

– Пожалуйте ваши ручки, сеньора донья Тереса – продолжал паж, – дабы я облобызал их вам, как законной собственной супруге сеньора донна Санчо Пансы, верховного губернатора острова Баратарии.

– Ах, государь мой, полно, оставьте! – заговорила Тереса. – Ведь я не придворная дама, я – бедная крестьянка, дочь простого хлебопашца и жена странствующего оруженосца, а вовсе не какого-то там губернатора.

– Ваша милость, – возразил паж, – является достойнейшею супругою наидостойнейшего губернатора, и в доказательство вот вам, ваша милость, письма и подарок.

Тут он достал из кармана нитку кораллов с золотыми застежками и, надев ее на шею Тересе, продолжал:

– Это письмо – от сеньора губернатора, а другое вместе с кораллами просила вам

передать сеньора герцогиня, которая и послала меня к вашей милости.

Тереса обомлела, дочка ее также; наконец девочка сказала:

– Убейте меня, если во всем этом не замешан наш господин сеньор Дон Кихот: уж верно, это он пожаловал отцу то ли губернаторство, то ли графство – ведь он ему столько раз его обещал.

– Так оно и есть, – подтвердил паж, – благодаря заслугам сеньора Дон Кихота сеньор Санчо в настоящее время назначен губернатором острова Баратарии, как то будет видно из письма.

– Прочтите мне письмо, ваша честь, – попросила Тереса, – пряхь-то я мастерица, а вот насчет чтения – ни в зуб толкнуть.

– Я тоже, – сказала Санчика. – Погодите, я сейчас позову какого-нибудь грамотея: либо самого священника, либо бакалавра Самсона Карраско, – они с радостью придут, им, уж верно, захочется узнать про батюшку.

– Не к чему их звать, – возразил паж. – Я, правда, не умею пряхь, зато читать умею и прочту вам письмо.

И он его, точно, прочел от начала до конца, но как оно было уже приведено, то здесь мы его не помещаем, а затем он извлек из кармана письмо от герцогини вот какого содержания:

«Друг мой Тереса! Отличные свойства души и ума супруга Вашего Санчо подвинули меня и принудили попросить мужа моего герцога, чтобы он назначил его губернатором одного из бесчисленных своих островов. До меня дошли сведения, что это сущий орел, а не губернатор, чему я и, само собой разумеется, мой муж герцог весьма рады. Я горячо благодарю бога, что не ошиблась в выборе губернатора, ибо да будет Вам известно, сеньора Тереса, что хорошие правители редко встречаются на свете, Санчо же так хорошо управляет, что дай бог мне самой быть такой же хорошей.

Посылаю Вам, моя милая, нитку кораллов с золотыми застежками; я бы с большим удовольствием подарила Вам перлы Востока, ну да чем богаты, тем и рады. Со временем мы с Вами познакомимся и подружимся; впрочем, все в воле божией. Кланяйтесь от меня Вашей дочке Санчике и скажите, чтобы она была готова: в один прекрасный день я ее выдам за а какого-нибудь знатного человека.

Я слышала, что края Ваши обильны крупными желудями: пришлите мне десятка два, мне они будут особенно дороги тем, что их собирали Вы; напишите мне подробно, как Вы себя чувствуете и как поживаете; если же в чем-либо терпите нужду, то Вам стоит лишь слово сказать, и все будет по слову Вашему. Засим да хранит Вас господь.

Писано в моем замке. Любящий Вас друг *герцогиня*»

– Ах, – вскричала Тереса после того, как письмо было оглашено, – какая же это добрая, простая и скромная сеньора! С такими сеньорами можно жить душа в душу, это не то что наши дворянки, которые воображают, что коли они дворянки, так уж на них чтоб и пылинки не садились, а когда в церковь идут, до того спесивятся – право, подумаешь, королевы; взглянуть на крестьянку – и то уж, кажется, для них позор, а тут смотрите, какая милая сеньора: сама – герцогиня, а меня называет своим другом и пишет ко мне, как к ровне, и за это дай бог ей сравняться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. А желудей, государь мой, я пошлю ее светлости цельную меру, и уж каких крупных: всем на погляденье и на удивленье. А пока что, Санчика, поухаживай за сеньором, пригляди за его конем, принеси из сарая яичек да сала нарежь побольше – уж попотчует его по-княжески, он это заслужил: больно хорошие вести нам привез, да и собой хорош, а я той порой сбегая к соседкам, поделюсь с ними своей радостью, а потом к нашему священнику и к цирюльнику маэсе Николасу – они всегда были друзьями твоему отцу, друзьями и остались.

– Слушаю, матушка, – сказала Санчика, – но только, чур, половину ожерелья мне, – сеньора герцогиня, уж верно, не такая дура, чтобы все ожерелье послать тебе одной.

– Оно все твое будет, дочка, – сказала Тереса, – дай мне только несколько дней его поносить, – у меня, честное слово, сердце прыгает от радости, когда я на него гляжу.

– Вы обе не меньше обрадуетесь, – подхватил паж, – когда заглянете вот в этот дорожный мешок: там лежит отличного сукна кафтан, губернатор только раз надевал его на охоту, а теперь посылает сеньоре Санчике.

– Дай бог, чтобы он служил мне тысячу лет, – молвила Санчика, – а тому, кто его привез, желаю прожить столько же, а коли будет охота, так не одну, а две тысячи лет.

Засим Тереса с ожерельем на шее выскочила из дому и побежала, постукивая пальцами по письмам, словно это был бубен; случайно встретились ей священник и Самсон Карраско, и тут она начала приплясывать и приговаривать:

– Нынче и на нашей улице праздник! Мы теперь губернаторы! Не верите, приведите сюда самую что ни на есть важную птицу из дворянок – я и ей утру нос!

– Что это значит, Тереса Панса? Что это за дурачества и что это за бумаги у тебя в руках?

– Никакие это не дурачества, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, на шее отменные кораллы для чтения «Богородицы», литого золота бусинки – для «Отче наш»<sup>1</sup>, и сама я – губернаторша.

– Бог знает что ты говоришь, Тереса, мы отказываемся тебя понимать.

– А ну, поглядите, – сказала Тереса.

И с этими словами она протянула им письма. Священник прочел их вслух Самсону Карраско, затем они в изумлении переглянулись, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им пойти к ней и посмотреть на гонца: это, мол, не парень, а золото, и привез, дескать, он ей еще один подарок, коему цены нет. Священник снял с ее шеи ожерелье, рассмотрел его со всех сторон и, удостоверившись, что это настоящие кораллы, снова пришел в изумление и сказал:

– Клянусь моим саном, я не знаю, что сказать и что подумать об этих письмах и об этих подарках: я вижу и осязаю настоящие кораллы и вместе с тем читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей два десятка желудей.

– Вот тут и разберись! – заметил со своей стороны Карраско. – Ну что ж, пойдемте познакомимся с посланцем: может статься, он выведет нас из затруднения.

На том они и порешили, и Тереса повела их к себе домой. Когда они вошли, паж просеивал овес для своего коня, а Санчика резала сало для яичницы, чтобы покормить гостя, коего наружность и убранство произвели благоприятное впечатление на священника и бакалавра; они учтиво поклонились ему, он – им, и тогда Самсон спросил, что слышно о Дон Кихоте и о Санчо Пансе; они, дескать, прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и не могут постигнуть, какое такое у Санчо губернаторство, да еще на острове, меж тем как все или почти все острова на Средиземном море принадлежат его величеству. Паж ему на это ответил так:

– Что сеньор Санчо Панса – губернатор, это никакому сомнению не подлежит. Где именно он губернаторствует: на острове или же еще где – в это я не вникал. Довольно сказать, что в его ведении находится город, насчитывающий более тысячи жителей. Что касается желудей, то сеньора герцогиня – такая простая и до того не гордая...

Одним словом, попросить у крестьянки желудей – это она, дескать, ни во что не считает, ей даже случалось посылать в ближнее село с просьбой дать ей на время гребень.

– Надобно вам знать, ваши милости, что даже самые знатные дамы у нас в Арагоне совсем не так чванливы и надменны, как в Кастилии: с людьми они обходятся – проще нельзя.

Во время этого разговора вбежала Санчика и принесла полный подол яиц.

– Скажите, сеньор, – спросила она, – с тех пор как мой батюшка стал губернатором, он,

---

<sup>1</sup> ...кораллы для чтения «Богородицы», литого золота бусинки – для «Отче наш»... – Подарок герцогини представлял собою четки, которые можно было носить и как ожерелье.



поди, длинные штаны<sup>1</sup> носит?

– Не обратил внимания, – ответил паж. – Должно полагать, длинные.

– Ах, боже мой! – воскликнула Санчика. – Как бы мне хотелось посмотреть на моего батюшку в обтяжных штанах! Вы не поверите: я сызмала сплю и вижу, что у моего батюшки длинные штаны!

– Живы будете, ваша милость, – увидите, – сказал паж. – Клянусь богом, все идет к тому, что если губернаторство вашего батюшки продлится хотя бы два месяца, мы увидим его еще и в дорожной маске<sup>2</sup>.

От священника и бакалавра не могло укрыться, что слуга потешается, однако с его шутками никак не вязались подлинность кораллов и охотничий наряд, который Тереса уже успела им показать, мечта же Санчики их насмешила, а еще пуще нижеследующие речи Тересы:

– Сеньор священник! Сделайте милость, узнайте, не едет ли кто отсюда в Мадрид или же в Толедо: я хочу попросить купить мне круглые, всамделишные фижмы, и чтоб самые лучшие и по последней моде. Право же, я должна по силе-возможности блюсти честь своего мужа губернатора. А то в один прекрасный день разозлюсь и сама поеду в столицу, да еще карету заведу, чтоб все было как у людей. У кого муж – губернатор, те – пожалуйста: покупай и держи карету.

– Еще бы, матушка! – воскликнула Санчика. – И дай тебе бог поскорей ее завести, а там пусть про меня говорят, когда я буду разъезжать вместе с моей матушкой, госпожой губернаторшей: «Ишь ты, такая-сякая грязная мужичка, расселась, развалилась в карете, словно папесса!» Ничего, пусть себе шлепают по грязи, а я – ноги повыше и буду себе раскатывать в карете. Наплевать мне на все злые языки, сколько их ни есть: мне бы в тепло да в уют, а люди пусть что хотят, то плетут. Верно я говорю, матушка?

– Уж как верно-то, дочка! – сказала Тереса. – И все эти наши радости, и даже кое-что еще почище, добрый мой Санчо мне предсказывал, вот увидишь, дочка: я еще и графиней буду, удачи – они уж так одна за другой и идут. Я много раз слыхала от доброго твоего отца, а ведь его можно также назвать отцом всех поговорок: дали тебе коровку – беги скорей за веревкой, дают губернаторство – бери, дают графство – хватай, говорят: «На, на!» – и протягивают славную вещицу – клади в карман. А коли не хочешь – спи и не откликайся, когда счастье и благополучие стучатся в ворота твоего дома!

– И какое мне будет дело до того, что обо мне говорят, когда уж я заважничая и зазнаюсь? – вставила Санчика. – Дайте псу в штаны нарядиться, он с собаками не станет водиться.

Послушав такие речи, священник сказал:

– По-видимому, в семье Панса все так и рождаются с мешком пословиц: я не знаю ни одного из них, кто бы не сыпал присловьями в любое время и при каждом случае.

– Справедливо, – заметил паж. – Сеньор губернатор Санчо также все время говорит пословицами, и хотя не все приходится к месту, однако же удовольствие доставляют неизменно, и герцог с герцогиней весьма их одобряют.

– Итак, государь мой, – заговорил бакалавр, – вы продолжаете утверждать, что Санчо, и точно, губернатор и что есть на свете такая герцогиня, которая пишет письма его жене и шлет ей подарки? Между тем, хотя мы и ощупывали эти подарки и читали письма, нам, однако ж, не верится, и мы полагаем, что все это выдумки нашего земляка Дон Кихота: ведь он убежден, что с ним все происходит по волшебству. Так вот мне бы, собственно говоря, хотелось ощупать и потрогать вас, чтобы удостовериться, кто вы таков: призрачный посол или человек с кровью в жилах.

– На это я могу вам только сказать, сеньоры, – отвечал паж, – что я – посол настоящий,

---

<sup>1</sup> *Длинные штаны* – намек на то, что длинные штаны вместо коротких шаровар могли носить только состоятельные люди.

<sup>2</sup> *Дорожная маска* – суконная маска с отверстиями для глаз, служившая для защиты от холода и пыли во время путешествия.

что сеньор Санчо Панса подлинно губернатор, что мои господа, герцог и герцогиня, имели возможность пожаловать и в самом деле пожаловали ему губернаторство и что как я слышал, помянутый Санчо Панса управляет им на славу, а уж есть ли тут что-либо сверхъестественное или нет – судите, ваши милости, сами, я же ничего больше не знаю и клянусь в том не чем иным, как жизнью моих родителей, а они у меня еще живы, и я их люблю и почитаю.

– Может, это и так, – сказал бакалавр, – а все же *dubitat Augustinus*.<sup>1</sup>

– Сомневайтесь, если хотите, – заметил паж, – а только все, что я сказал, – правда, и правда всегда всплывет над ложью, как масло над водой, *а когда не верите мне, верьте делам моим*. Пусть кто-нибудь из вас поедет со мной, и глаза его увидят то, чему не верят его уши.

– Нет, уж лучше я поеду, – объявила Санчика. – Посадите меня, сеньор, на круп вашего коня: мне, мочи нет, хочется повидаться с батюшкой.

– Губернаторским дочкам не подобает ездить одним, без великого множества слуг, без карет, без носилок.

– Ей-богу, мне все равно, что верхом на ослице, что в карете, – возразила Санчика. – Вот уж я нисколько не разборчивая!

– Молчи, дочка, – сказала Тереса, – ты сама не знаешь, что говоришь, сеньор молвил справедливо. Времена меняются: когда отец твой – просто Санчо, так и ты – Санча, а когда он – губернатор, так ты – сеньора. Кажется, я верно рассудила.

– Сеньора Тереса рассуждает даже вернее, чем это ей кажется, – заметил паж. – Дайте же мне поесть и, отпустите, я намерен возвратиться еще дотемна.

Тут священник ему сказал:

– Прошу покорно вашу милость со мной откушать, а то сеньора Тереса при всем желании вряд ли сможет как следует попотчевать такого дорогого гостя.

Паж сначала отказался, но в конце концов рассудил, что так будет лучше, и священник повел его к себе, радуясь возможности расспросить гонца на досуге о Дон Кихоте и его деяниях.

Бакалавр предложил Тересе написать за нее ответные письма, однако же ей не хотелось, чтобы бакалавр совался в ее дела, ибо она знала его за насмешника, а посему она отнесла хлебец и пару яичек грамотному церковному служке, и тот написал ей два письма: одно – к мужу, другое – к герцогине, на каковых письмах лежит печать Тересиного благоразумия, и из тех, которые в великой сей истории приводятся, они отнюдь не самые худшие, что будет видно из дальнейшего.

## Глава LI

*О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях*

День сменил ту ночь, в которую губернатор обходил свой остров и которую дворецкий провел без сна, ибо воображение его занимали красота и стройность переодетой девушки, домоправитель же употребил остаток ночи на составление письма к своим господам и довел до их сведения обо всех поступках и словах Санчо Пансы, ибо речения и деяния губернатора одинаково поражали его той смесью ума и глупости, какую они собой представляли. Наконец сеньор губернатор изволил встать, и по распоряжению доктора Педро Нестерпимо ему было предложено на завтрак немного варенья и несколько глотков холодной воды, каковой завтрак Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; видя, однако ж, что выбор блюд не от него зависит, он, к великому прискорбию своей души и мучению для своего желудка, покорился и проникся доводами Педро Нестерпимо, утверждавшего, что пища умеренная и легкая способствует оживлению умственной

---

<sup>1</sup> Буквально: Августин сомневается (*лат.*). Смысл: это еще подлежит сомнению.

деятельности, в чем особенно нуждаются лица, стоящие у кормила власти и занимающие важные посты, которые требуют не столько сил телесных, сколько духовных.

Несмотря на подобную софистику, Санчо испытывал голод, и при этом столь мучительный, что в глубине души проклинал и губернаторство, и даже того, кто ему такое пожаловал; отведав варенья и не утолив голода, он, однако, снова начал творить суд, и первым явился к нему некий приезжий и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее:

– Сеньор! Некое поместье делится на две половины многоводною рекою. (Прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное.) Так вот через эту реку переброшен мост, и тут же с краю стоит виселица и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья, каковой закон составлен таким образом: «Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет, и кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверились, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал: он-де клянется, что пришел затем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу, и ни за чем другим. Клятва сия привела судей в недоумение, и они сказали: «Если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти; если же мы его повесим, то ведь он клялся, что пришел только затем, чтобы его вздернули на эту виселицу, следовательно, клятва его выходит не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его». И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком, – они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о возвышенном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела.

Санчо ему на это ответил так:

– Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне, потому я человек скорее тупой, нежели острый, однако ж со всем тем изложи мне еще раз это дело, чтобы я схватил его суть: глядишь, и попаду в цель.

Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение:

– Я, думается мне, решил бы это дело в два счета, а именно: помянутый человек клянется, что пришел затем, чтобы его повесили, если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна и по закону его надлежит пропустить на тот берег, а коли не повесить, то выходит, что он соврал, и по тому же самому закону его должно повесить.

– Сеньор губернатор рассудил весьма толково, – заметил посланный, – лучше понять и полнее охватить это дело просто невысказано, в этом нет никакого сомнения.

– Так вот я и говорю, – продолжал Санчо, – ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме.

– В таком случае, сеньор губернатор, – возразил посланный, – придется разрезать этого человека на две части: на правдивую и на лживую; если же его разрезать, то он непременно умрет, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены, между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте.

– Послушай, милейший, – сказал Санчо, – может, я остолоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтоб умереть, сколько и для того, чтоб остаться в живых и перейти через мост: ведь если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает его на смерть, а коли так, то вот мое мнение, которое я и прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне: коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его, и для того, чтобы оправдать, как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят,

потому делать добро всегда правильное, нежели зло. И под этим решением я не задумался бы поставить свою подпись, если б только умел подписываться. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал, мне пришел на память один из тех многочисленных советов, которые я услышал из уст моего господина Дон Кихота накануне отъезда на остров, то есть: в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия, и вот, слава богу, я сейчас об этом совете вспомнил, а он как раз подходит к нашему делу.

– Так, – молвил домоправитель, – я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не вынес бы более мудрого решения, нежели великий Панса. На этом мы закончим утреннее наше заседание, и я немедленно распорядюсь, чтобы сеньору губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает.

– Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести, – объявил Санчо. – Дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела – я их живо разрешу.

Домоправитель слово свое сдержал: ему не позволяла совесть морить голодом столь рассудительного губернатора, тем более что по замыслу его господина ему оставалось сыграть с Санчо последнюю шутку, и на этом он намеревался покончить. И вот случилось так, что когда Санчо, наевшись вопреки всем правилам и наставлениям доктора Учертанарогеры, вставал из-за стола, явился гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его прежде про себя, и если в письме не окажется ничего секретного, то огласить его. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

– Это письмо можно прочесть вслух, ибо все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, достойно быть начертанным и записанным золотыми буквами. Вот о чем тут идет речь:

«Я ожидал услышать о твоих оплошностях и упущениях, друг Санчо, а вместо этого услышал о твоём остроумии, за что и вознес особые благодарения господу богу, который из праха поднимает бедного, а глупца превращает в разумного. Меня уведомляют, что ты правишь, как настоящий человек, но что, будучи человеком, ты смирением своим напоминаешь тварь бессловесную; и, однако ж, надобно тебе знать, Санчо, что во многих случаях приличествует и даже необходимо ради упрочения своей власти поступать наперекор смирению своего сердца, потому что особе, занимающей видную должность, надлежит поставить себя сообразно высокому своему положению и не слушаться того, что ей подсказывает ее худородность. Одевайся хорошо, потому что и дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. Из этого не следует, что тебе подобает увешиваться побрякушками и франтить и что, будучи судьёю, ты обязан наряжаться как военный, – тебе надлежит одеваться, как того требует занимаемое тобою положение, а именно: чисто и опрятно.

Чтобы снискать любовь народа, коим ты управляешь, тебе, между прочим, надобно помнить о двух вещах: во-первых, тебе надлежит быть со всеми приветливым (впрочем, об этом я уже с тобой говорил), а во-вторых, тебе следует заботиться об изобилии съестных припасов, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как голод и дороговизна.

Не издавай слишком много указов, а уж если задумаешь издать, то старайся, чтобы они были дельными, главное – следи за тем, чтобы их соблюдали и исполняли, ибо когда указы не исполняются, то это равносильно тому, как если бы они не были изданы вовсе; более того: такое положение наводит на мысль, что у правителя достало ума и сознания своей власти, чтобы издать указы, но недостало смелости, чтобы принудить соблюдать их, закон же, внушающий страх, но не претворяющийся в жизнь, подобен чурбану, царю лягушек<sup>1</sup>: вначале он наводил на них страх, но потом они стали презирать его и помыкать им.

Будь отцом родным для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь ни

---

<sup>1</sup> ...подобен чурбану, царю лягушек... – намек на басню римского баснописца Федра «Лягушки, просящие царя», в которой Юпитер в ответ на просьбу лягушек дать им царя бросил им чурбан, но, так как они отнеслись с пренебрежением к такому царю, он послал им дракона, который их всех пожрал.

постоянно суров, ни постоянно мягок – выбирай середину между этими двумя крайностями, в среднем пути и заключается высшая мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки; посещение губернатором таковых мест – вещь чрезвычайно важная: губернатор утешает узников, надеющихся на скорое окончание своих дел, он – пугалище мясников, которые в его присутствии перестают обвешивать, и, по той же причине, он – гроза всех торговков. В случае если ты корыстолюбец, волокита и лакомка (чего я, впрочем, не думаю), то не показывай этого, ибо когда народ и твои приближенные узнают о резко означенной в тебе склонности, то начнут тебя за это допекать и в конце концов свергнут. Просматривай и пересматривай, продумывай и передумывай те советы и правила, которые я дал тебе в письменном виде накануне твоего отъезда на остров, и коли будешь их соблюдать, то увидишь, какую бесценную помощь окажут они тебе в преодолении тех препятствий и затруднений, которые на каждом шагу перед правителями возникают. Напиши герцогу и герцогине и изъяви им свою признательность, ибо неблагодарность – дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете; между тем от человека, питающего благодарность к своим благодетелям, можно ожидать, что он выкажет благодарность и господу богу, который столько посылал ему и посылает милостей.

Сеньора герцогиня отравила к твоей жене Тересе Панса нарочного с платьем и с подарком от нее самой; ответа ожидаем с минуты на минуту. Я чувствовал себя неважно из-за одного кошачьего переполоха, вследствие коего у меня весьма некстати оказался поцарапанным нос, однако ж в конце концов все обошлось благополучно, ибо если одни волшебники наносят мне повреждения, зато другие за меня вступаются.

Извести меня, имеет ли состоящий при тебе домоправитель что-либо общее с Трифальди, как ты подозревал прежде; вообще уведомляй меня обо всем, что бы с тобой ни случилось: ведь мы живем так близко друг от друга; к тому же я намерен в непродолжительном времени положить конец этой праздной жизни, ибо рожден я не для нее.

Тут у меня вышло одно обстоятельство, из-за которого я, пожалуй, попаду в немилость к их светлостям, и мне это неприятно, но ничего не поделаешь, ибо в конце-то концов мне надлежит считаться не столько с их удовольствием или же неудовольствием, сколько со своим собственным призванием согласно известному изречению: *amicus Plato magis amica veritas*<sup>1</sup>. Пищу тебе прямо по-латыни, в надежде на то, что за время своего губернаторства ты уже изучил этот язык. Господь с тобой, и да будет ему угодно сделать так, чтобы тебе никогда не пришлось в ком-либо возбуждать сострадание.

Твой друг *Дон Кихот Ламанчский* ».

Санчо слушал с особым вниманием, все присутствовавшие похвалили письмо и нашли, что оно очень умно написано, затем Санчо встал и, позвав секретаря, заперся с ним в своем покое, а как порешил он сей же час, не откладывая, ответить сеньору Дон Кихоту, то и велел секретарю записывать слово в слово все, что он, Санчо, будет ему говорить. Секретарь повиновался, и ответное письмо было составлено следующим образом:

«Я так занят делами, что у меня нет времени ни почесать в голове, ни даже обрезать ногти, и оттого они у меня такие длинные, что хоть кричи караул. Это я Вам пишу, драгоценнейший мой сеньор, чтобы милость Ваша не беспокоилась, что я до сих пор не уведомил Вас, как мне живется на острове; так вот, голодаю я на этом самом острове больше, чем когда мы с Вами вдвоем плутали по лесам и пустыням.

На днях сеньор герцог писал мне и извещал, что к нам на остров пробрались какие-то лазутчики и хотят меня убить, но до сих пор мне удалось обнаружить только одного, некоего лекаря, которому здесь платят жалованье, чтобы он всех

---

<sup>1</sup> *Я дружен с Платоном, но еще более я дружен с истиной* (Сервантес дает латинский перевод из «Этики» Аристотеля).

вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. Зовут его доктор Педро Нестерпимо, а родом он не то из Тиртеафуэры, не то из Учертанарогеры: одно имя чего стоит, Ваша милость, поневоле будешь бояться, как бы он тебя не уморил! Он сам про себя говорит, что не лечит болезни, а только предупреждает, лекарство же у него одно: диета да диета, пока больной до того исхудает – в чем только душа держится, как будто истощение не вредней горячки! Словом сказать, он морит меня голодом, а я умираю с досады: ведь я думал, когда собирался губернаторствовать, что буду есть горячее, пить прохладительное, нежить свою плоть на голландских простынях да на пуховиках, а приехал – и стал вести такую строгую жизнь: ну ни дать ни взять отшельник, а как это не по моей доброй воле, то и боюсь я, что в один прекрасный день отправлюсь ко всем чертям.

До сих пор мне еще ни податей не приносили, ни подношений не подносили, и я не могу взять в толк, что бы это значило, потому я здесь кое от кого слышал, что обыкновенно, когда назначается новый губернатор, то еще до его прибытия на остров жители дарят ему или же ссужают много денег, и что обычай этот существует у всех решительно правителей, а не только у здешних.

Нынче ночью, когда я обходил остров, мне попались прехорошенькая девушка в мужском платье и ее брат в женском одеянии. В девчонку влюбился мой дворецкий и, как он говорит, мысленно уже выбрал ее себе в жены, а парня я и сам не прочь взять себе в зятя; сегодня мы оба пойдем потолкуем насчет этого с их отцом, Дьего де ла Льяна: он идалго и чистокровный христианин, да такой, что лучше нельзя.

Рынки я посещаю, как Ваша милость мне советовала, и вчера при мне одна женщина торговала орехами, будто бы свежими, а я доказал, что свежие орехи она мешает со старыми, пустыми и гнилыми; я велел отдать все эти орехи в сиротскую школу – там разберутся, торговке же воспретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил как должно; к сведению Вашей милости, о торговках в нашем городе идет такая слава, что хуже их никого на свете нет, потому они народ бессовестный, бессердечный и нахальный, и я тоже так думаю: ведь я на них нагляделся в других местах.

Я премного доволен, что сеньора герцогиня написала письмо моей жене Тересе Панса и, как Вы сообщаете, послала ей подарок, и со временем постараюсь отблагодарить ее; поцелуйте ей за меня ручки, Ваша милость, и передайте, что я у нее в долгу не останусь, – в этом она убедится на деле.

Мне бы не хотелось, чтобы у Вас вышли неприятности с герцогом и герцогиней, потому если Ваша милость с ними рассорится, то, конечно, и я на этом пострадаю, и неладно будет, если Вы, уча благодарности меня, сами не выкажете ее по отношению к людям, которые сделали нам столько хорошего и с такой честью приняли нас у себя в замке.

Насчет кощачьей истории я ничего не понял; полагаю, впрочем, что это, уж верно, одна из тех мерзостей, какие обыкновенно чинят Вам злые волшебники. Вы мне все расскажете при свидании.

Хотелось бы мне чего-нибудь послать Вашей милости, да вот не знаю, чего бы, разве клистирных трубок, которые у нас тут, на острове, весьма ловко прикрепляют к пузырям, ну да если мое губернаторство продлится, то я найду, чего Вам послать: своя рука – владыка.

Если придет письмо от моей жены Тересы Панса, то уплатите, Ваша милость, за доставку<sup>1</sup> и перешлите сюда: мне, мочи нет, хочется узнать, что у меня делается дома, как жена и дети. Засим да хранит Вас господь от зловредных волшебников, а мне да поможет уйти отсюда добром и с миром, в чем я, однако же, сомневаюсь: по всей видимости, придется мне на этом самом острове сложить свои кости – так хорошо меня пользует доктор Педро Нестерпимо.

Слуга Вашей милости губернатор *Санчо Панса*».

Секретарь запечатал письмо и немедленно отправил гонца в обратный путь,

---

<sup>1</sup> ...уплатите... за доставку... – В те времена за доставку письма платил получатель.

заговорщики же, дурачившие Санчо, собрались и стали между собой совещаться, как бы это им отправить отсюда самого губернатора, а губернатор провел этот день в принятии мер ко улучшению государственного устройства во вверенной ему области, которую он принимал за остров; так, например, он воспретил розничную перепродажу съестных припасов во всем государстве и разрешил ввоз вина откуда бы то ни было, с тою, однако же, оговоркою, что должно быть указываемо место его изготовления и что цена на него должна быть устанавливаема сообразно с его действительной стоимостью, качеством и маркою, тем же продавцам, которые будут уличены в разбавлении вина водою, а равно и в подделке ярлычков, губернатор положил смертную казнь; он снизил цены на обувь, главным образом на башмаки, стоившие, по его мнению, невероятно дорого; определил размеры жалованья слугам, которые в своем корыстолюбии не знали удержу; установил строгие взыскания для тех, кто все равно: днем или же ночью, вздумал бы распевать непристойные и озорные песни; воспретил слепцам петь о чудесах, если только у них нет непреложных доказательств, что чудеса эти подлинно происходили, ибо он держался того мнения, что большинство чудес, о которых поют слепцы, суть чудеса мнимые и только подрывают веру в истинные, и, наконец, придумал и учредил новую должность – должность альгюасила по делам бедняков, не с тем, однако ж, чтобы преследовать их, а с тем, чтобы проверять, подлинно ли они бедны, а то ведь бывает иной раз и так, что калекою прикидывается вор, у коего обе руки целехоньки, и выставляет напоказ мнимые язвы здоровенный пьяница. Одним словом, он ввел столько улучшений, что они до сего времени не утратили в том краю своей силы и донныне именуются «Законоположениями великого губернатора Санчо Пансы».

## Глава LII,

*в коей рассказывается о приключении с другой дуэньей, тоже Гореваною, или, иначе, Прискорбней, другими словами – с доньей Родригес*

Сид Ахмет рассказывает, что, залечив царапины, Дон Кихот пришел к мысли, что его жизнь в этом замке идет вразрез со всем строем рыцарства, и того ради положил испросить у герцогской четы дозволение покинуть сей кров и направить путь в Сарагосу, где не в долгом времени надлежало быть празднествам, а на этих празднествах он надеялся завоевать себе доспехи, каковые в подобных случаях обыкновенно даются в награду. И нужно же было случиться так, что в тот самый день, когда он, сидя за столом вместе с их светлостями, хотел было привести намерение свое в исполнение и попросить дозволения отбыть, двери в большую залу внезапно отворились, и вошли две, как потом выяснилось, женщины, с головы до ног одетые в траур, и тут одна из них, приблизившись к Дон Кихоту, растянулась на полу во весь рост, припала к Дон-Кихотовым стопам и начала испускать до того жалобные, глубокие, душераздирающие стоны, что привела этим в смятение всех, кто видел и слышал ее; и хотя герцог с герцогинею предполагали, что это кто-нибудь из их прислуги затеял сыграть с Дон Кихотом шутку, однако ж и они, видя, как страстно вздыхает, стонет и плачет эта женщина, находились в недоумении и замешательстве, пока Дон Кихот, сжалившись, не поднял ее и не попросил откинуть с заплаканного лица покрывало. Женщина уступила его просьбе, и тогда обнаружилось нечто совершенно неожиданное: под покрывалом оказалось лицо доньи Родригес, герцогской дуэньи, а другая женщина в трауре была ее дочь, та самая, которую обольстил сын богатого сельчанина. Все, кто знал ее, были поражены, а всех больше герцог и герцогиня: хоть и считали они ее за дурочку и простушку, однако ж никак не могли предполагать, что она способна на такие сумасбродства. Наконец донья Родригес, обратившись к своим господам, молвила:

– Ваши светлости! Соболаговолите разрешить мне поговорить с этим рыцарем, иначе мне не выйти из того затруднительного положения, в котором я очутилась из-за наглости одного бесчестного мужлана.

Герцог объявил, что он согласен и что донья Родригес вольна беседовать с сеньором

Дон Кихотом сколько ей угодно. Тогда она, обративши речь свою и взор к Дон Кихоту, заговорила так:

– Назад тому несколько дней, доблестный рыцарь, я рассказывала вам о том, сколь коварно и вероломно обошелся некий злонравный сельчанин с моею дорогою и возлюбленною дочерью, – это она, бедняжка, стоит сейчас перед вами, – вы же обещали мне вступить за нее и кривду сию выпрямить, и вдруг я слышу, что вы намерены покинуть наш замок ради удачных приключений, каковых я вам от бога желаю. И вот мне бы хотелось, чтобы, перед тем как отсюда удалиться, ваша милость вызвала на поединок распутного деревенщину и принудила его жениться на моей дочери, ибо прежде и раньше, чем он ею натешился, он дал слово вступить с нею в брак, надеяться же на правый суд сеньора герцога – это все равно что на вязе искать груш, а почему оно так – об этом я вашей милости по секрету уже сказала. Засим да хранит господь вашу милость, и да не оставит он и нас.

На эти ее слова Дон Кихот с великою важностью и торжественностью ответил так:

– Добрая дуэнья! Сдержите ваши слезы или, вернее, осушите их и не вздыхайте понапрасну: я берусь помочь вашей дочери, хотя, замечу кстати, было бы лучше, если б она не придавала особой веры обещаниям влюбленных, ибо влюбленные по большей части легки на обещания и весьма тяжелы на исполнение. Итак, если позволит сеньор герцог, я сей же час поеду искать бесчестного этого юношу, разыщу его, вызову на поединок и в случае, если он откажется от своего слова, убью, ибо главная цель моей жизни – прощать смиренных и карать гордецов, другими словами: выручать несчастных и сокрушать жестокосердных.

– Вашей милости не для чего утруждать себя розысками сельчанина, на которого добрая эта дуэнья приносит жалобу, – заметил герцог, – равно как не для чего просить у меня позволения вызвать его на поединок: я считаю, что вы его уже вызвали, и беру на себя передать ему ваш вызов, заставить принять его и явиться в мой замок дать вам удовлетворение, и тут я предоставлю вам обоим удобное место для поединка и позабочусь о том, чтобы все условия, какие в подобных обстоятельствах обыкновенно соблюдаются и должны соблюдаться, были соблюдены, а за собой сохранию право быть вашим судьей, каковое право надлежит сохранять за собой всем владетельным князьям, которые отводят место для поединка в своем имении.

– Коль скоро вы, ваше величие, дадите мне такое ручательство, – снова заговорил Дон Кихот, – я с вашего позволения намерен тут же объявить, что на сей раз пренебрегаю теми преимуществами, какие мне предоставляет дворянское мое звание, снисхожу и унижаюсь до низкого звания, в коем рожден обидчик, и, давая ему возможность со мною сразиться, тем самым становлюсь с ним на равную ногу. Итак, хотя его здесь и нет, я все же вызываю его на поединок и обвиняю в том, что он поступил дурно, обманув эту несчастную, которая прежде была девицею, а ныне по его вине перестала быть таковою, вследствие чего ему надлежит исполнить свое обещание стать законным ее супругом или пасть от руки мстителя.

И тут он сорвал со своей руки перчатку и бросил на середину залы, герцог же, подняв ее, объявил, что, как, мол, было уже сказано, он от имени своего вассала вызов этот принимает, что поединку быть спустя шесть дней, местом дуэли он-де назначает площадь перед замком, а что касается рода оружия, то пусть это будут обыкновенные рыцарские доспехи: копье, щит, кольчуга и прочее тому подобное, причем все снаряжение долженствует быть проверено и осмотрено судьями, так что обман, хитрость и колдовство исключаются.

– Однако ж прежде всего надобно, чтобы достойная эта дуэнья и недостойная эта девица доверили сеньору Дон Кихоту защиту их прав, иначе ничего решительно не получится и самый вызов не приведет ни к чему.

– Я доверяю, – произнесла дуэнья.

– Я также, – в крайнем замешательстве и расстройстве чувств с плачем вымолвила девица.

Итак, герцог отдал надлежащие распоряжения, а затем придумал, как все это устроить, между тем дамы, облаченные в траур, удалились, герцогиня же велела обходиться с ними



впредь не как с прислужницами, а как со знатными путешественницами, прибывшими к ней в замок искать защиты; того ради им отвели особые покои и стали за ними ухаживать, как за некими чужестранками, отчего прочие прислужницы приходили в смущение, ибо не могли уразуметь, к чему приведет глупая выходка доньи Родригес и злополучной ее дочери. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время, как бы для пущего веселья и ради увенчания трапезы хорошим концом, в залу вошел паж, отвозивший письмо и подарки супруге губернатора Санчо Пансы, Тересе Панса; их светлости обрадовались его приезду несказанно, ибо им любопытно было знать, каково-то он съездил; когда же они его о том спросили, он заметил, что в кратких словах, да еще при посторонних этого не расскажешь, и попросил позволения отложить рассказ до того времени, когда он останется с их светлостями наедине, а пока, мол, пусть они позабавятся письмами. И тут он достал два письма и вручил герцогине. На одном из них было написано: «Письмо к сеньоре герцогине – не знаю, как ее звать», а на другом: «Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, дай бог ему прожить дольше, чем мне самой». Герцогине, как говорится, не сиделось на месте – столь сильное любопытство возбуждало в ней письмо Тересы; вскрыв же его и пробежав глазами, она нашла, что его вполне можно прочесть вслух при герцоге и при всех присутствующих, и потому огласила его:

«Большую радость доставило мне, государыня моя, долгожданное письмо Вашей светлости. Нитка кораллов отменно хороша, да и охотничий кафтан моего благоверного ничем не хуже. А что Ваша светлость назначила супруга моего Санчо губернатором, то все наше село очень даже этому радо, хотя все в этом сомневаются, особливо священник, цирюльник маэсе Николас и бакалавр Самсон Карраско, ну, а меня это нимало не трогает: лишь бы так оно все и было, а там пусть себе говорят, что хотят; впрочем, коли уж на то пошло, не будь кораллов и кафтана, я бы и сама не поверила, потому у нас все почитают моего мужа за дуралея, а как он до сей поры ничем, кроме стада коз, не управлял, то и не могут взять в толк, годен ли он управлять еще чем-либо. Помогите ему бог, пусть потрудится на пользу деткам.

А я, любезная моя сеньора, порешила с дозволения Вашей милости, пока счастье само плывет в руки, отправиться в столицу и покататься в карете, чтоб у завистников моих, а завистников у меня теперь множество, лопнули глаза; вот я и прошу Вашу светлость: скажите моему мужу, чтоб он прислал мне сколько-нибудь денег, да особенно не скупился, потому в столице расходы велики: один хлебец стоит реал, а фунт мяса – тридцать мараведи, – ведь это просто ужас. А коли он не хочет, чтобы я ехала, то пусть поскорее отпишет, потому меня так и подмывает пуститься в дорогу: подружки и соседки меня уверяют, что коли мы с дочкой, разряженные в пух и прах, важные – не подступись, прикатим в столицу, то скорее я прослаблю моего мужа, нежели он меня, потому ведь уж непременно многие станут допытываться: «Что это за сеньоры едут в карете?» А мой слуга в ответ: «Это жена и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратарии»; так и Санчо моему будет слава, и мне почет, и всем хорошо.

Мочи нет, как мне досадно, что желуды нынешний год у нас не родились, но все-таки посылаю Вашей светлости с полмеры; сама по одному желуду собирала в лесу и своими руками отбирала, да вот беда: покрупней не нашлось, а мне бы хотелось, чтобы они были со страусово яйцо.

Не забудьте, Ваша высокаторжественность, мне отписать, а уж я не премину Вам ответить и отпишу про свое здоровье и про все наши деревенские новости, а пока что молю бога, чтоб он хранил Ваше величие и меня не оставил. Дочка моя Санча и сынок мой целуют Вашей милости ручки.

Слуга Ваша *Тереса Панса*,

которой больше хочется повидать Вашу милость, нежели писать Вам».

Большое удовольствие доставило всем письмо Тересы Панса, особливо их светлостям, герцогиня же обратилась к Дон Кихоту с вопросом, почитает ли он приличным вскрыть

письмо на имя губернатора, которое, казалось ей, обещает быть прелестным. Дон Кихот сказал, что, дабы угодить присутствующим, он сам готов вскрыть письмо и он так и сделал и прочитал следующее:

«Письмо твое, дорогой мой Санчо, я получила и, как истинная христианка, клятвенно тебя уверяю, что чуть с ума не рехнулась от счастья. Право, миленький, как услышала я, что ты – губернатор, ну, думаю: вот сейчас упаду замертво от одной только радости, а ведь ты знаешь, как это говорится: нежданная радость убивает как все равно большое горе. А дочка твоя Санчика от восторга даже обмочилась. Наряд, который ты мне прислал, лежал передо мной, кораллы, которые мне прислала сеньора герцогиня, висели у меня на шее, в руках я держала письма, гонец был тут же, а мне, однако, чудилось и мерещилось, будто все, что я вижу и до чего дотрагиваюсь, это сон, и ничего больше. И то сказать: кто бы мог подумать, что козопас вдруг станет губернатором острова? Помнишь, дружок, что говорила моя мать: „Кто много проживет, тот много и увидит“? Это я к тому, что надеюсь увидеть еще больше, если только суждено мне еще пожить. Нет, правда, я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя арендатором либо откупщиком, а кто на таком месте, тот хоть и может угодить к чертям в пекло, коли будет чинить злоупотребления, а без денег все-таки никогда не сидит. Сеньора герцогиня тебе передаст, что мне припала охота съездить в столицу: подумай и отпиши мне, согласен ли ты, а уж я буду там разъезжать в карете и постараюсь тебя не обесславить.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник никак не могут поверить, что ты – губернатор, и говорят, что это наваждение или же колдовство, как и все, что касается твоего господина Дон Кихота, а Самсон говорит, что он тебя разыщет и выбьет у тебя из головы губернаторство, из Дон Кихота же повыколотит его сумасбродство, а я на это только посмеиваюсь и знай поглядываю на нитку кораллов да прикидываю, какое платье выйдет из твоего кафтана для нашей дочки.

Послала я сеньоре герцогине немного желудей – уж как бы мне хотелось, чтоб они были золотые. Если у вас на острове носят жемчужные ожерелья, то несколько таких ожерелий пришли мне.

Новости у нас в селе такие: Беруэка выдала свою дочь за какого-то захудалого маляра, который приехал к нам в село малевать что придется; совет наш заказал ему нарисовать королевский герб над воротами аюнтамьенто<sup>1</sup>, он запросил два дуката, ему дали их вперед, он с неделю провозился, но так ничего и не нарисовал: мне, говорит, столько разных разностей нарисовать не под силу. Деньги вернул, а жениться все-таки женился: успел пыль пустить в глаза, что он хороший мастер; на самом же деле кисти он теперь забросил, взялся за лопату и ходит себе по полю, словно помещик. А у сына Педро де Лобо – тонзурка, все степени он уж получил и хочет идти в священники, а Мингилья, внучка Минго Сильвато, про это узнала и подала на него жалобу, что он, дескать, обещал на ней жениться; злые языки даже поговаривают, будто она от него забеременела, но он клянется и божится, что ничего подобного.

Нынешний год оливки у нас не родились, да и уксусу во всем селе не сыщешь ни капли. Через наше село проходил полк солдат и увел с собой трех девок. Я тебе их не назову, может, они еще вернуться, и замуж их все-таки возьмут, несмотря что они с грешком.

Санчика вяжет кружева, зарабатывает восемь мараведи в день чистоганом и прячет в копилку – собирает на приданое, ну, а как теперь она губернаторская дочка, то и не к чему ей ради этого трудиться: уж ты дашь ей приданое. Фонтан у нас на площади высох; в позорный столб ударила молния, – дай бог, чтоб и всем этим столбам был такой же конец.

Жду ответа на это письмо и решения касательно моей поездки в столицу. Засим пошли тебе господь больше лет жизни, чем мне, или, лучше, столько же, а то не хотелось бы мне оставлять тебя одного на белом свете.

---

<sup>1</sup> *Аюнтамьенто* – городской или сельский совет; в данном случае – здание совета.

Твоя жена *Тереса Панса* ».

Письма эти вызвали восторг, смех, похвалы и удивление, а тут еще в довершение всего явился гонец, тот самый, с которым Санчо послал письмо к Дон Кихоту, и письмо это также было прочитано вслух, после чего глупость губернатора была поставлена под сомнение. Герцогиня увела к себе гонца, чтобы расспросить, как его принимали в деревне Санчо, и тот, ничего не упустив, подробно изложил все обстоятельства; затем он передал герцогине желуди и сыр, который также ей послала Тереса, полагавшая, что сыр тот – чудо как хорош, еще лучше трончонского. Герцогиня приняла сыр с величайшим удовольствием, и тут мы ее и оставим, дабы рассказать, чем кончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зеркала островных губернаторов.

### Глава LIII,

*О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы*

«Кто думает, что все на земле пребывает в одном и том же состоянии, тот впадает в ошибку; напротив того, нам представляется, что все в мире свершает свой круг, вернее сказать, круговорот: за весною идет лето, за летом осень, за осенью зима, за зимою весна, – вот так и движется время, подобно вращающемуся непрестанно колесу, и только жизнь человеческая легче ветра стремится к концу, надеясь возродиться лишь в иной жизни, никакими пределами не стесненной». Так говорит Сид Ахмет, философ магометанский, и это не удивительно, ибо многие, лишенные светоча веры и ведомые лишь светом природы, возвышались до понимания скоротечности и непостоянства жизни земной и бесконечности чаемой нами жизни вечной; впрочем, в сем случае автор наш рассуждает об этом применительно к той быстроте, с какою окончилось, рухнуло, распалось, рассеялось, словно тень или дым, губернаторство Санчо.

Упомянутый Санчо в седьмую ночь своего губернаторства, пресыщенный не хлебом и вином, но судебным разбирательством, вынесением приговоров, составлением уложений и изданием чрезвычайных законов, находился в постели, и сон назло и наперекор голоду уже начинал смыкать его вежды, как вдруг послышались столь шумные крики и столь оглушительный звон колоколов, что можно было подумать, будто остров проваливается сквозь землю. Санчо сел на кровати и весь превратился в слух, пытаясь угадать, какова причина столь великого смятения; однако ж он так и не догадался, напротив того: вскоре к шуму голосов и колокольному звону примешались трубный звук и барабанный бой, и тут Санчо окончательно смешался и преисполнился страха и ужаса; он вскочил, надел туфли, ибо пол в спальне был холодный, и, не успев даже накинуть халат или что-нибудь в этом роде, приблизился к двери и увидел, что по коридору бегут более двадцати человек с горящими факелами и обнаженными шпагами; при этом все они громко кричали:

– К оружию, к оружию, сеньор губернатор! К оружию, несметная сила врагов вторглась на наш остров! Мы погибли, если только ваша находчивость и стойкость нас не спасут.

С этими криками, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, пораженного и ошеломленного всем, что он видел и слышал, и, добежав, один из толпы сказал:

– Вооружайтесь, ваше превосходительство, если не хотите погибнуть сами и погубить весь наш остров!

– Да зачем мне вооружаться? – воскликнул Санчо. – Разве я что-нибудь смыслю в вооружении и в обороне? Это дело лучше всего возложить на моего господина Дон Кихота – он бы в один миг с этим покончил и отразил нападение, а я, грешный человек, в такой кутерьме теряю голову.

– Ах, сеньор губернатор! – воскликнул другой. – Уместна ли подобная беспечность? Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие и доспехи, выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, ибо вам, нашему губернатору, эта честь принадлежит

по праву.

– Ладно, вооружайте меня, – молвил Санчо.

В ту же минуту были принесены два щита, на сей предмет заранее припасенные, и приставлены к груди и к спине Санчо прямо поверх сорочки, надеть же еще что-либо ему не позволили; руки ему просунули в нарочно для этого проделанные отверстия, а засим накрепко стянули его веревками, так что он был стиснут и зажат и, не имея возможности согнуть ноги в коленях или же ступить шагу, держался прямо, как палка. В руки ему вложили копьё, и, чтобы устоять на ногах, он на него оперся. Когда же он был таким образом облачен в доспехи, ему сказали, чтоб он шел вперед, вел за собой других и поднимал дух войска и что если, дескать, он согласится быть их путеводною звездой, фитилем и светочем, то все окончится благополучно.

– Да как же я, несчастный, пойду, – возразил Санчо, – когда я не могу даже пошевелить коленными чашечками, потому как меня не пускают вот эти доски, которые прямо прилипли к моей коже? Единственно, что вам остается, это взять меня на руки и вставить стоймя или же наискось в какую-нибудь калитку, и я буду ее защищать копьём или же собственным телом.

– Идите, сеньор губернатор, – сказал кто-то из толпы, – вас не пускают не столько доспехи, сколько страх. Совладайте с собой и поторопитесь, а то будет поздно: враг все прибывает, крики усиливаются, опасность возрастает.

В конце концов уговоры и порицания подействовали: бедный губернатор сделал было попытку сдвинуться с места, но тут же со всего размаху грянулся об пол, так что у него искры из глаз посыпались. Он остался лежать на полу, словно черепаха, заточенная и замурованная между верхним и нижним щитом, или словно окорок между двумя противнями, или, наконец, словно лодка, врезавшаяся носом в песок, между тем у насмешников падение его не вызвало ни малейшей жалости, напротив: они потушили факелы и еще громче стали кричать, с еще большим жаром принялись взывать к оружию и, перепрыгивая через бедного Санчо, с такою яростью начали бить мечами по его щитам, что когда бы горемычный губернатор не подобрал ноги и не втянул голову под щиты, то ему бы несдобровать; стесненный и сжатый донельзя, Санчо обливался потом и горячо молился богу, чтоб он избавил его от этой напасти. Одни на него натыкались, другие падали, а кто-то даже взобрался на него и, точно со сторожевой вышки, начал командовать войсками и кричать во всю мочь:

– Эй, наши, сюда! Неприятель больше всего теснит нас с этой стороны! Охраняйте этот вход! Заприте ворота! Загородите лестницы! Тащите сюда зажигательные снаряды, лейте вар и смолу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он старательно перечислял всякую военную утварь, всевозможные орудия и боевые припасы, необходимые для того, чтобы отстоять город, меж тем как сильно потрепанный Санчо все это слушал, терпел и говорил себе: «О господи! Сделай так, чтобы остров как можно скорее был взят, а меня или умертви, или избавь от этой лютой невзгоды!» Небо услышало его мольбы, ибо нежданно-негаданно раздались крики:

– Победа, победа! Неприятель разбит! Сеньор губернатор, а сеньор губернатор! Вставайте, ваша милость! Спешите пожать плоды победы и распределить трофеи, захваченные у неприятеля благодаря твердости и неустранимости вашего духа!

– Поднимите меня, – слабым голосом молвил измученный Санчо.

Ему помогли встать, и, поднявшись с полу, он сказал:

– Плюньте мне в глаза, если я и впрямь кого-то победил. Не желаю я распределять трофеи, я прошу и молю об одном: кто-нибудь из вас, будьте другом, дайте мне глоточек вина, а то у меня все в горле пересохло, и вытрите меня, а то я весь взмокнул от пота.

Когда же Санчо обтерли, принесли ему вина и сняли с него щиты, он сел на кровать и тут же от страха, волнения и усталости лишился чувств. Наших забавников уже начинала мучить совесть, что забава их оказалась столь для Санчо мучительной, однако Санчо скоро очнулся, и это их утешило. Санчо осведомился, который час; ему ответили, что уже светает.

Он ни о чем более не стал спрашивать и, без всяких разговоров, совершенное храня молчание, стал одеваться, присутствовавшие же смотрели на него и не могли взять в толк, какова цель этого столь поспешного одевания. Наконец он оделся и, еле передвигая ноги, ибо он был сильно потрепан и двигался с трудом, направился к конюшне, а за ним последовали все прочие, он же приблизился к серому, обнял его, в знак приветствия поцеловал в лоб и, прослезившись, заговорил:

– Приди ко мне, мой товарищ и друг, деливший со мною труды и горести! В ту пору, когда я с тобой водился и не имел других забот, кроме починки твоей упряжи и поддержания живота твоего, часы мои, дни и ночи текли счастливо, но стоило мне покинуть тебя и взойти на башни тщеславия и гордыни, как меня стали осаждать тысяча напастей, тысяча мытарств и несколько тысяч треволнений.

Произнося такие речи, Санчо одновременно седлал осла, из окружающих же никто его не прерывал. Как скоро он оседлал серого, то с немалым трудом и с немалыми мучениями на него взобрался и, обратись со словом и речью к домоправителю, секретарю, дворецкому, доктору Педро Нестерпимо и ко многим другим, здесь присутствовавшим, начал так:

– Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне вернуться к прежней моей свободе, дозвольте мне вернуться к прежней моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего моего гроба. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и отсаживать виноград, нежели издавать законы и оборонять провинции и королевства. Апостолу Петру хорошо в Риме, – я хочу сказать, что каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора. Лучше мне досыта наесться похлебкой, чем зависеть от скаредности нахального лекаря, который морит меня голодом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, а в зимнюю пору накрыться шкурой двухгодовалого барана, но только знать, что ты сам себе господин, нежели под ярмом губернаторства спать на голландского полотна простынях и носить собольи меха. Оставайтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился: я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша с нее уйду – в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы. А теперь раздайтесь и пропустите меня: я еду лечиться пластырями, а то у меня, поди, ни одного здорового ребра не осталось по милости врагов, которые нынче ночью по мне прошлись.

– Напрасно, сеньор губернатор, – возразил доктор Нестерпимо, – я дам вашей милости питье от ушибов и переломов, и вы сей же час окрепнете и выздоровеете. Что же до пищи, то я обещаю вашей милости исправиться и буду позволять вам отдавать обильную дань чему угодно.

– Нужно было раньше думать! – отрезал Санчо. – Я скорее превращусь в турка, чем отменю свой отъезд. Хорошенького понемножку. Клянусь богом, я и здесь у вас не останусь губернатором и никакого другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, и это так же верно, как то, что на небо без крыльев не полетишь. Я из рода Панса, а Панса, все до одного, упрямы, и если кто из нас сказал: «нечет», хотя бы на самом деле был чет, так, всему свету назло, и поставит на своем: нечет, да и только. Пускай вот здесь, в конюшне, остаются те самые муравьиные крылышки<sup>1</sup>, которые на беду вознесли меня ввысь для того, чтобы меня заклевали стрижи и прочие птицы, а мы лучше спустимся на землю и будем по ней ходить попросту – ногами: правда, на ногах у нас вы не увидите кордовских расшитых сапожек, зато в грубых веревочных туфлях у нас недостатка не будет. Всякая ярочка знай свою парочку, дальше постели ног не вытягивай, а теперь дайте мне дорогу: час-то ведь поздний.

На это домоправитель ему сказал:

– Сеньор губернатор! Мы вполне согласны отпустить вашу милость, хотя ваш отъезд весьма для нас огорчителен, ибо рассудительность ваша и христианские поступки таковы,

---

<sup>1</sup> *Муравьиные крылышки* – намек на пословицу: «На беду у муравья крылья выросли».

что мы не можем о вас не сожалеть, однако вам должно быть известно, что всякий губернатор, прежде чем выехать из вверенной ему области, обязан представить отчет. Так вот, ваша милость, прежде представьте отчет за десять дней вашего губернаторства, а тогда поезжайте с богом.

– Никто не вправе требовать с меня отчета, – возразил Санчо, – за исключением лица, имеющего на то полномочия от самого сеньора герцога, а я как раз к герцогу и еду и представлю ему отчет по всем правилам. Тем более уезжаю я отсюда голяком, а это самое лучшее доказательство, что управлял я, как ангел.

– Ей-богу, почтенный Санчо прав, – молвил доктор Нестерпимо, – я стою за то, чтобы его отпустить, герцог же будет весьма рад его видеть.

Все к нему присоединились и отпустили Санчо, предложив ему предварительно охрану, а также все потребное для услаждения его особы и для удобств в пути. Санчо сказал, что он ничего не имеет против получить немного овса для серого, а для себя – полголовы сыра и полкаравая хлеба: путь, дескать, недалний, а посему лучших и более обильных запасов довольствия не требуется. Все стали его обнимать, он со слезами на глазах обнял каждого и наконец пустился в дорогу, они же долго еще дивились как его речам, так и непреклонному и столь разумному его решению.

## Глава LIV,

*в коей речь идет о вещах, касающихся именно этой истории, и никакой другой*

У герцога с герцогиней было решено, что вызову, который Дон Кихот бросил их вассалу по вышеуказанной причине, надлежит дать ход, однако парень этот находился на ту пору во Фландрии, куда он бежал, дабы не иметь своею тещею донью Родригес, а потому их светлости положили заменить его одним из своих лакеев, гасконцем по имени Тосилос, предварительно объяснив ему хорошенько, в чем состоят его обязанности. Два дня спустя герцог объявил Дон Кихоту, что противник его придет через четыре дня, явится на место дуэли в полном рыцарском вооружении и будет утверждать, что девушка плетет небылицу в половину своей бороды, а то и с целую бороду, коли уверяет, что он обещал на ней жениться. Дон Кихот пришел в восторг от таких вестей, дал себе слово выказать на этом поединке чудеса храбрости и почел за великую удачу то, что ему представляется возможность показать их светлостям, до чего доходит доблесть могущественной его длани; того ради, довольный и ликующий, ждал он, когда наконец пройдут эти четыре дня, и такое охватило его нетерпение, что превратились они для него в четыреста веков.

Но не будем препятствовать этим четырем дням проходить (как не препятствуем мы и многому другому) и отправимся вслед за Санчо, который верхом на сером поехал к своему господину, коего общество улыбалось ему более, нежели управление всеми островами на свете, и было у него на сердце и легко и грустно. Случилось, однако ж, что он еще не так далеко отъехал от острова, недавно находившегося у него в подчинении (кстати сказать, он так и не удосужился выяснить, чем именно он управлял: островом, городом, местечком или же селением), как вдруг увидел, что навстречу ему идут по дороге шесть странников с посохами, из числа тех чужеземцев, которые пенем добывают себе милостыню; поравнявшись с ним, они стали в ряд и, все вдруг возвысивши голос, затанули на своем языке что-то такое, чего Санчо не мог понять, за исключением одного только слова, отчетливо ими произносимого, то есть *милостыня*, каковое слово навело Санчо на мысль, что они просят милостыню; а как Санчо, по словам Сида Ахмета, был человек весьма сердобольный, то и вынул он из сумы весь свой запас: полкаравая хлеба и полголовы сыру и отдал им, знаками пояснив, что больше у него ничего нет. Они приняли его подаяние с великою охотою и сказали:

– *Гельте, гельте!*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Гельте* – искаженное немецкое слово *das Geld* – деньги.

– Не возьму в толк, чего вам от меня надобно, добрые люди, – молвил Санчо.

Тогда один из паломников достал из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, из чего тот заключил, что они просят у него денег; и, приставив большой палец себе к горлу и растопырив остальные, Санчо дал им понять, что у него ни черта нет, засим подстегнул серого и поехал дальше; когда же он проезжал мимо паломников, один из них, смотревший на него с великим вниманием, бросился к нему, обхватил его руками и громко на чистом испанском языке заговорил:

– Боже мой! Кого я вижу! Неужто я держу в объятиях дорогого моего друга, милого моего соседа Санчо Пансу? Так, это он, – ведь не сплю же я и не под хмельком.

Санчо Пансу удивило, что его называют по имени, что какой-то чужестранец его обнимает, и как ни всматривался он в чужестранца, молча и с великим вниманием, а все узнать не мог; паломник же, видя его недоумение, молвил:

– Как, друг мой Санчо Панса, неужто ты не узнаешь своего соседа, Рикоте-мориска, сельского лавочника?

При этих словах Санчо посмотрел на него еще внимательнее, стал припоминать, наконец понял, кто перед ним, и, не слезая с осла, обнял Рикоте за шею и сказал:

– Да какой же черт узнал бы тебя, Рикоте, когда ты эдаким чучелом вырядился? Скажи, пожалуйста, кто это тебя так обасурманил и как у тебя достало смелости возвратиться в Испанию? Ведь тебя могут схватить, узнать, и тогда тебе не поздоровится.

– Коли ты меня не выдашь, Санчо, то я уверен, что в этом одеянии никто меня не узнает, – возразил паломник. – Давай-ка, брат, свернем вон к той тополевой роще, – мои спутники желают там перекусить и отдохнуть, и ты поешь с нами; это все народ смиренный, а я тем временем расскажу тебе, что со мной случилось после того, как я по указу его величества ушел из нашего села: ты, верно, слышал, сколь грозен был этот указ для несчастных моих соплеменников.

Санчо принял предложение Рикоте, тот поговорил с другими паломниками, после чего, сильно уклонившись в сторону от большой дороги, все общество двинулось к тополевой роще. Здесь чужеземцы побросали посохи, поснимали свои не то плащи, не то пелерины и остались в одном платье; все это были люди еще молодые и весьма стройные, за исключением Рикоте, человека уже в годах. У всех у них были котомки, и все эти котомки были, по-видимому, туго набиты, – набиты главным образом всякими острыми закусками, на расстоянии двух миль возбуждающими жажду. Паломники разлеглись на земле и прямо на травке, заменившей им скатерть, разложили хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыру и обглоданные кости от окорока: продолжать глодать их было уже бесполезно, но обсасывать никому не возбранялось. Еще выставили они одно черного цвета кушанье, будто бы именуемое *кавьаль*<sup>1</sup>, приготовляемое из рыбьих яиц и столь острое, что его необходимо чем-либо запивать. Также не было здесь недостатка в оливках, впрочем, сухих, без всякой приправы, и все же вкусных и соблазнительных. Однако наилучшими растениями пиршественного сего поля оказались шесть фляг с вином, которые были извлечены из всех котомок; даже добрый Рикоте, из мориска превратившийся в немца, и тот достал свою флягу, которая по величине равнялась остальным пяти.

Приступили они к трапезе с великим наслаждением и ели весьма медленно, смакуя каждый кусочек; от каждого блюда подцепляли на кончик ножа самую малость, а мгновение спустя все вдруг поднимали руки и фляги; промачивая себе горло из горлышка фляг, они, не отрываясь, глядели на небо, словно брали его на прицел, а потом, пока содержимое сосудов переливалось в желудки, долго еще покачивали из стороны в сторону головами в знак получаемого наслаждения. Санчо на все это взирал и *нимало не крушился*<sup>2</sup>; напротив того, следуя хорошо известной ему пословице: «Будешь жить в Риме – тянись за другими», он попросил у Рикоте флягу и по примеру прочих с не меньшим удовольствием взял небо на

1 ...черного цвета кушанье, будто бы именуемое *кавьаль*... – Имеется в виду черная икра.

2 ...*нимало не крушился*... – иронически переосмысленная цитата из романса о Нероне, спокойно взиравшем на пожар Рима.

прицел.

Четыре раза давали себя поднимать фляги, но пятого раза состояться не могло, ибо фляги были выщежены на славу и стали суше, чем дрок, что несколько омрачило всеобщее веселье. Время от времени кто-нибудь из сотрапезников пожимал Санчо руку и говорил: «Шнапес и немес – все отню: топрий тофариш», а Санчо отвечал: «Топрий тофариш, клясться богом!» – и на целый час заливался хохотом, и в это время у него вылетало из головы все, что с ним случилось, пока он был губернатором, ибо на те мгновения и промежутки времени, когда люди едят и пьют, власть забот не распространяется. Далее то обстоятельство, что вино кончилось, послужило началом сна, одолевшего всех чужеземцев, и они улеглись на тех же самых столах и скатертях, за которыми пировали; одни лишь Рикоте и Санчо бодрствовали, оттого что ели всех больше и всех меньше пили; Рикоте отозвал Санчо в сторону, и, оставив чужестранцев погруженными в сладкий сон, они расположились под сенью бука, и тут Рикоте, ни разу не сбившись на свое мавританское наречие, на чистом кастильском языке рассказал о себе следующее:

– Тебе хорошо известно, сосед и друг мой Санчо Панса, как устроил и ужаснул всех соплеменников моих тот указ<sup>1</sup>, который его величество повелел издать против нас и обнародовать, – я, по крайней мере, вот до какой степени был напуган: еще не вышел срок, который нам предоставил король для того, чтобы выехать из Испании, а мне казалось, будто я сам и мои дети уже подверглись суровой каре. Я рассудил, и, по моему мнению, совершенно правильно (как рассуждает всякий человек, который знает, что по истечении определенного срока его выгонят из дома, где он живет, и потому начинает заблаговременно подыскивать себе новое помещение), рассудил, говорю я, что мне надобно одному, без семьи, уйти из села и выбрать место, куда бы можно было со всеми удобствами и не так поспешно, как другие, перевезти родных: ведь я отлично понимал, да и все наши старики понимали, что королевский указ – это не пустые угрозы, как уверяли иные, а настоящий закон, который спустя положенное время вступит в силу. И я не мог не верить королевскому указу, ибо знал, какие преступные и безрассудные замыслы были у наших, столь коварные, что только божьим произволением можно объяснить то, что король успел претворить в жизнь мудрое свое решение, – разумеется, я не хочу этим сказать, что мы все были к этому заговору причастны, среди нас были стойкие и подлинные христиане, но таких было слишком мало, и они не могли противиться нехристям; как бы то ни было, опасно пригревать змею на груди и иметь врагов в своем собственном доме. Коротко говоря, мы наше изгнание заслужили, но хотя со стороны эта кара представлялась мягкою и милосердною, нам она показалась более чем ужасной. Всюду, куда бы ни забросила нас судьба, мы плачем по Испании: мы же здесь родились, это же настоящая наша отчизна, и нигде не встречаем мы такого приема, какого постигшее нас несчастье заслуживает, но особенно нас утесняют и обижают в Берберии и повсюду в Африке, а ведь мы надеялись, что там-то нас, уж верно, примут с честью и обласкают. Не хранили мы того, что имели, а теперь вот, потерявши, и плачем, и почти всем нам до того хочется возвратиться в Испанию, что большинство из тех, кто, как, например, я, знает испанский язык, – а таких много, – возвращается обратно, бросив на произвол судьбы жен и детей: так мы любим Испанию. И теперь я знаю по себе, что недаром говорится: «Нет ничего слаще любви к отечеству». Ну так вот, покинул я наше село и перебрался во Францию, и хотя нас встретили там радушно, у меня, однако ж, явилось

---

<sup>1</sup> ...устроил и ужаснул... тот указ... – Первый указ об изгнании из Испании морисков (насильственно обращенных в христианство мавров) был опубликован в 1609 г. Он касался морисков, проживавших в Гранаде, Мурсии и Андалусии. Второй указ, от 10 июля 1610 г., затронул морисков Кастилии, Эстремадуры и Ламанчи. Морискама, проживавшим в долине Рикоте (откуда и был родом друг Санчо Пансы), связанным браками с местным христианским населением, разрешено было остаться, но указом от 19 октября 1613 г. были подвергнуты изгнанию также и они. В течение трех дней мориски под страхом смертной казни должны были сесть на суда и отправиться в Африку, имея при себе только то, что могли унести в руках. Имущество их было конфисковано; не разрешалось брать с собою ни драгоценностей, ни денег. Главным зачинщиком изгнания являлась церковь, которая была заинтересована в том, чтобы усилить в массах религиозный фанатизм и тем самым отвлечь их внимание от преступного правления Филиппа III и его фаворитов.



желание посмотреть и другие края. Сначала я побывал в Италии, а потом очутился в Германии, и вот там мне показалось привольнее, оттого что местные жители на разные мелочи не обращают внимания: каждый живет как хочет, ибо почти во всей стране существует свобода совести. Я снял дом в одном местечке близ Аугсбурга, а затем пристал к этим паломникам, которые ежегодно толпами отправляются на поклонение святым местам в Испанию, оттого что Испания – это для них вторая Америка, источник вернейшей наживы и вполне определенного заработка. Они имеют обыкновение обходить всю страну вдоль и поперек, и нет такого местечка, откуда бы они ушли, как говорится, не солоно хлебавши и заработав меньше одного реала деньгами, так что к концу путешествия у них образуется более ста эскудо чистой прибыли, каковые они выменивают потом на золото, а золото вделяют в посохи, либо зашивают в подкладку пелерины, вообще пускаются на какую-нибудь хитрость и, несмотря на заставы и таможи, проносят его через границу. И вот, Санчо, я собираюсь теперь выкопать клад, который я в свое время зарыл в землю, а закопал я его за селом – значит, нет для меня тут никакого риска; потом из Валенсии напишу жене и детям, может статься, и сам съезжу за ними (я знаю, что они в Алжире) и постараюсь переправить их сначала в какую-либо французскую гавань, оттуда в Германию, а уж там как господь даст, – рассудил же я так потому, Санчо, что знаю наверное: дочка моя Рикота и жена моя Франсиска Рикоте – христианки и католички, а я хоть и не католик, все же во мне более христианского, нежели мавританского, и я вечно молю бога, чтобы он открыл мне очи разума и научил, как должно ему служить. Одно меня удивляет: не понимаю, почему мои жена и дочь предпочли выехать в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить по-христиански.

На это Санчо ему сказал:

– Послушай, Рикоте: ведь это не от них зависело, их увез с собой твой шурин Хуан Тьопьею, а он – умный мавр, и уж он их отвез, должно полагать, в надежное место. И еще я хочу тебе сказать одну вещь: сдается мне, что зря ты будешь искать свой клад, потому у нас прошел слух, будто у шурина твоего и жены при таможенном досмотре отобрали много жемчуга и золотых монет.

– Все это вполне вероятно, – заметил Рикоте, – но только я убежден, Санчо, что клада мои родные не трогали: ведь я, боясь, как бы из того не вышло беды, не открыл им, где он зарыл, и вот если ты, Санчо, согласишься пойти со мной и помочь мне выкопать его и спрятать, я дам тебе двести эскудо, – они тебе пригодятся на твои нужды, а мне известно, что ты очень даже нуждаешься.

– Я бы тебе помог, – ответил Санчо, – но я нимало не корыстолюбив, иначе я нынче утром не выпустил бы из рук одной должности, – останься же я на ней, так у меня стены в доме были бы золотые, а через полгода ел бы я на серебре. Да и потом помогать врагам его величества – это, по моему разумению, измена, и оттого не только что за двести эскудо, которые ты мне обещаешь, но если б ты даже чистоганом выложил сейчас передо мной все четыреста, и то бы я с тобой не пошел.

– А от какой должности ты отказался, Санчо? – спросил Рикоте.

– Я отказался от губернаторства на острове, – объявил Санчо, – да еще на таком острове, какого, сказать по чести, днем с огнем не сыщешь.

– А где же этот остров? – осведомился Рикоте.

– Где? – переспросил Санчо. – В двух милях отсюда, и зовется он островом Баратарией.

– Помилуй, Санчо, – возразил Рикоте, – острова бывают среди моря, а на суше никаких островов нет.

– Как так нет? – воскликнул Санчо. – Говорят тебе, друг Рикоте, что нынче утром я оттуда выехал, а еще вчера управлял им, как хотел, будто стрелок – своим луком, однако ж со всем тем я его бросил, потому должность губернатора показалась мне опасной.

– Сколько же ты на губернаторстве заработал? – спросил Рикоте.

– Заработал я вот что, – отвечал Санчо: – Я уразумел, что гожусь управлять разве только стадами и что за богатство, которое можно нажить на губернаторстве, человек платит

покоем и сном, и не только сном, но и пищей, потому на островах губернаторы едят мало, особенно ежели при них состоят лекари, которые следят за их здоровьем.

– Я тебя не понимаю, Санчо, – признался Рикоте, – но только кажется мне, что ты порешь дичь: ну кто тебе мог доверить управление островом? Неужто не нашлось на свете людей, более для этого подходящих? Что ты, Санчо, опомнись! Лучше, повторяю, подумай, не пойти ли тебе все-таки со мной и не помочь ли отрыть клад, а ведь это и в самом деле клад: так много я там припрятал, и опять повторяю: я дам тебе столько, что ты станешь жить безбедно.

– Я тебе уже сказал, Рикоте, что не желаю, – объявил Санчо. – Скажи спасибо, что я тебя не выдам, а теперь – час добрый, ступай своей дорогой, а я поеду своей: я хорошо знаю, что и с праведно нажитым иногда расстаешься, а с неправедно нажитым беды не оберешься.

– Не хочешь – как хочешь, Санчо, – молвил Рикоте. – Ты мне вот что скажи: когда моя жена, дочь и шурина уезжали, ты был в это время дома?

– Как же, был, – отвечал Санчо, – и я могу тебе сказать, что, сколько ни было в селе народу, все выбежали поглядеть на твою дочь – до того она пригожа, и все говорили, что такой красавицы на всем свете не сыщешь. А она плакала, обнимала подруг своих, приятельниц и всех, кто подходил к ней проститься, и просила помолиться за нее богу и царице небесной, и таково жалостно это у нее выходило, что даже я – и то всплакнул, а ведь я не сказать, чтоб уж очень был плаксивый, и даю тебе слово, что многим хотелось спрятать ее и похитить по дороге, да только боялись нарушить королевский указ<sup>1</sup>. Всех более, однако ж, волновался дон Педро Грегорьо, – ты его знаешь: молодой парень, богатый наследник, – говорят, он твою дочь любил, и с тех пор, как она уехала, он больше к нам в село не показывался, и мы все думаем, что он поехал следом за ней, с тем чтобы выкрасть ее, однако ж пока о них ни слуху ни духу.

– Я давно уже чуял недоброе, – признался Рикоте, – чуял, что этот дворянин без ума от моей дочери, но я был так уверен в строгих правилах Рикоты, что его любовь нимало меня не тревожила: ты, верно, слышал, Санчо, что мавританки редко, а вернее сказать, никогда, не связывают себя узами любви с чистокровными христианами, у моей же дочери на уме не столько любовь, сколько божественное, и она, думается мне, не обратит внимания на домогательства богатого этого наследника.

– Дай бог, – заметил Санчо, – а то им обоим пришлось бы худо. Ну, а теперь, друг Рикоте, отпусти меня: я хочу засветло приехать к моему господину Дон Кихоту.

– Поезжай с богом, брат Санчо, спутники мои уже шевелятся, и нам также время трогаться в путь.

Тут они обнялись, Санчо взобрался на своего серого, Рикоте оперся на свой посох, и они расстались.

## Глава LV

*О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах*

Санчо из-за встречи с земляком своим Рикоте замешкался в дороге и не успел в тот же день добраться до герцогского замка: он уже был от него в полумиле, когда настала ночь, темная и непроглядная, а как дело происходило летом, то он не чрезмерно этим огорчился и, порешив ждать до утра, свернул с дороги, но такова уж была его горькая и злосчастная доля, что, ища, где бы поудобнее расположиться, он и его серый провалились в глубокое и наимрачнейшее подземелье, находившееся среди неких весьма древних развалин, и во время падения Санчо начал горячо молиться богу, полагая, что лететь ему теперь до самой преисподней. Однако вышло не так, ибо на расстоянии немногим более трех сажень от

---

<sup>1</sup> ...боялись нарушить королевский указ. – Указ 1609 г. Грозил конфискацией имущества испанцам за оказание помощи и предоставление убежища морискам по истечении срока, назначенного для их высылки из пределов Испании.

земной поверхности серый ощутил под собою твердую почву, Санчо же удержался на его спине, не получив не только увечья, но даже и повреждения. Он, затаив дыхание, ощупывал себя, чтобы удостовериться, невредим ли он и нет ли где какой царапины, когда же убедился, что жив и здоров, то долго-долго потом благодарил творца за оказанную милость: ведь до того он был совершенно уверен, что от него останется мокрое место. Засим он ощупал руками стены подземелья, чтобы удостовериться, нельзя ли без посторонней помощи отсюда выкарабкаться; стены, однако ж, оказались гладкие, без малейшего выступа, каковому обстоятельству Санчо весьма опечалился, особливо когда услышал, что серый тихо и жалобно стонет, и стонал он не попусту, не от дурной привычки, а потому, что и в самом деле упал не весьма удачно.

– Ах! – воскликнул тут Санчо Панса. – Сколько неожиданных происшествий на каждом шагу случается с теми, что живут на этом злополучном свете! Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал прислужниками своими и вассалами, нынче будет погребен в яме, и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь? Видно, погибать нам здесь с голодухи, и мне, и моему ослу, если только мы раньше еще не помрем, он – от своих ушибов и увечий, а я – с тоски.

Нет уж, мне не будет такой удачи, как моему господину Дон Кихоту Ламанчскому: в пещере этого самого заколдованного Монтесиноса, куда он сошел и спустился, его приняли лучше, нежели в собственном доме, – его, можно сказать, ждали накрытый стол и постеленная постель. Взору его явились в этой пещере прекрасные и умиротворяющие видения, а я здесь увижу, должно полагать, одних только жаб да змей. Несчастный я человек, вот до чего меня довели вздорные мои затеи! Отсюда уж, – если бог захочет, чтобы меня нашли – извлекут только мои косточки, гладкие, белые и обглоданные, вместе с костями доброго моего серого, и вот по ним-то, может статься, и догадаются, кто мы такие, – по крайности, догадаются те, которые знают, что Санчо Панса никогда не расставался со своим ослом, а осел – с Санчо Пансою. Опять скажу: горемычные мы с моим ослом! Видно, уж: такая наша несчастная доля: не суждено нам умереть на родине, среди своих близких, – ведь если бы там с нами и стряслась беда непоправимая, то все-таки сыскались бы люди, которые нас пожалели бы и в смертный наш час закрыли бы нам глаза. Ах, товарищ и друг мой! Как дурно я тебя отблагодарил за верную твою службу! Прости меня и, как только можешь, умоляй судьбу, чтобы она избавила нас обоих от несносной этой напасти: за это я обещаю возложить тебе на голову лавровый венок, так что ты будешь похож на увенчанного лаврами поэта, и стану выдавать тебе удвоенную порцию овса.

Так сетовал Санчо Панса, осел же слушал его, не говоря ни слова, – в столь затруднительном и бедственном положении находилось несчастное четвероногое. Вся ночь прошла у них в тяжких столах и слезных жалобах, и наконец настал день, при блеске и сиянии коего Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи совершенно невозможно, и он снова начал стонать и кричать, полагая, что кто-нибудь да услышит его, но глас его был гласом вопиющего в пустыне, ибо во всей округе некому было его услышать, и тогда Санчо утратил всякую надежду на спасение. Серый по-прежнему лежал навзничь – Санчо Панса еле-еле поднял его, ибо серый с трудом мог держаться на ногах; затем Санчо вынул из дорожной сумы, разделившей его судьбу и совершившей падение вместе с ним, кус хлеба и протянул его ослу, осел же от такового даяния не отказался, а Санчо ему при этом молвил, словно тот в состоянии был его понять:

– С хлебушком нипочем и горюшко.

В это самое время он заприметил в стене подземелья отверстие, в которое, пригнувшись и скорчившись, мог пролезть человек. Санчо Панса бросился к этой стене и, съежившись, проник в отверстие, а проникнув, увидел, что оно длинное и, чем далее, тем становится шире; рассмотреть же отверстие ему удалось благодаря солнечному лучу, который, пробиваясь как бы сквозь крышу, все внутри освещал. Еще он увидел, что далее отверстие все расширяется и переходит во вторую просторную пещеру; увидев же все это, он

возвратился к своему ослу, а затем начал камнем прочищать отверстие, и оно так увеличилось, что немного погодя через него легко можно было провести осла; Санчо только этого и нужно было: он взял осла за недоуздок и двинулся подземным ходом вперед в расчете на то, что с другой стороны окажется выход. Порою он шел в полумраке, порою – в, полнейшей тьме, и все время – в страхе.

«Боже всемогущий, помоги мне! – говорил он про себя. – Для меня это сущее злключение, а для господина моего Дон Кихота это, должно полагать, было бы изрядным приключением. Он бы, уж верно, принял эти пропасти и подземелья за цветущие сады и дворцы Гальяны<sup>1</sup> и питал надежду, что за этими мрачными теснинами пред ним откроется цветущий луг, а я, злосчастный, скудоумный и малодушный, я каждую секунду ожидаю, что под ногами у меня внезапно разверзнется новая бездна, еще поглубже этой, и меня поглотит. Беда, когда приходит одна, это еще не беда».

Таким-то образом и в подобных мыслях Санчо прошел, как ему показалось, немногим более полумили и наконец различил слабый свет, похожий на дневной: неведомо откуда пробиваясь, он указывал на то, что путь сей, представлявшийся Санчо путем на тот свет, на самом деле свободен.

Здесь Сид Ахмет Бен-инхали его оставляет и обращается к Дон Кихоту, а Дон Кихот тем временем в радостном волнении ожидал поединка с соблазнителем дочери доньи Родригес, за честь которой, столь вероломно поруганную и опороченную, он намеревался вступить. Но вот как-то утром Дон Кихот, выехав из замка, чтобы поучиться и поупражняться перед предстоящим сражением, погнав Росинанта карьером или, точнее, коротким галопом, Росинатовы же копыта очутились возле самого подземелья, и не натяни Дон Кихот изо всех своих сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе он удержал Росинанта и не свалился; подъехав чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать яму, и в то время, как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики; тут он насторожился и в конце концов уловил и разобрал, что именно из глубины кричали:

– Эй вы, там, наверху! Неужто не найдется среди вас христианина, который меня бы услышал, или сострадательного рыцаря, который смилостивился бы над заживо погребенным грешником, над злополучным губернатором без губернаторства?

Дон Кихоту показалось, что это голос Санчо Пансы, и это его поразило и озадачило; и, сколько мог возвысив голос, он спросил:

– Кто там внизу? Кто это плачется?

– Кому же тут быть и кому еще плакаться, – послышалось в ответ, – как не бедняге Санчо Пансе, за свои грехи и на свое несчастье назначенному губернатором острова Баратарии, а прежде состоявшему в оруженосцах у славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

При этих словах Дон Кихот пришел в совершенное изумление и остолбенел; он вообразил, что Санчо Панса умер и что в этом подземелье томится его душа; и, волнуемый этою мыслью, он заговорил:

– Заклинаю тебя всем, чем только может заклинать правоверный христианин: скажи мне, кто ты таков, и если ты неприкаянная душа, скажи, что я могу для тебя сделать, ибо хотя призвание мое состоит в том, чтобы покровительствовать и помогать несчастным, живущим в этом мире, однако ж я готов распространить его и на то, чтобы вызволять и выручать обездоленных, отошедших в мир иной, если только они сами не властны себе помочь.

– Узнаю по речам моего господина Дон Кихота Ламанчского, – послышалось в ответ, – да и голос, без сомнения, его.

– Да, я тот самый Дон Кихот, коего призвание – вызволять и выручать из бед живого и мертвого, – подтвердил Дон Кихот. – А посему скажи мне, кто ты таков, – ты, приведший

---

<sup>1</sup> *Дворцы Гальяны* – так назывались развалины древнего здания в Толедо, с которым связано множество легенд. Предание приписывает постройку этого дворца отцу мавританской принцессы Гальяны, впоследствии якобы вышедшей замуж за Карла Великого.

меня в недоумение, ибо если ты мой оруженосец, Санчо Панса, и ты умер, и тебя не утащили бесы, и по милости божией ты находишься в чистилище, то святая наша мать римско-католическая церковь знает такие заупокойные молитвы, которые избавят тебя от мук, претерпеваемых тобою ныне, и я, со своей стороны, буду о том хлопотать и готов пожертвовать ради этого своим достоянием. Итак, назови же себя и скажи, кто ты таков.

– Ей-ей, – послышалось в ответ, – клянусь рождением того, кого только милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанчский, назвать захочет, что я оруженосец ваш Санчо Панса и что я за всю мою жизнь ни разу еще не умирал, – мне только пришлось оставить губернаторство по причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, а нынче ночью я свалился в это подземелье вместе с моим серым, – он может это подтвердить: ведь он здесь, налицо.

И что бы вы думали: осел, будто поняв, о чем говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что эхо отозвалось во всей пещере.

– Превосходный свидетель! – воскликнул Дон Кихот. – Я узнаю его рев, как если б он был моим родным сыном, да и твой голос, милый Санчо, мне также знаком. погоди, я сейчас поеду в герцогский замок, – он отсюда недалеко, и приведу с собой людей: они тебя вытащат из этого подземелья, куда ты попал, должно полагать, за грехи.

– Поезжайте, ваша милость, – молвил Санчо, – и, ради господа бога, возвращайтесь скорее: я не могу перенести этой мысли, что я заживо погребен, и умираю от страха.

Дон Кихот с ним расстался и, приехав в замок, рассказал их светлостям о случае с Санчо Пансою, чем привел их в немалое изумление; они тотчас же догадались, что Санчо провалился в одно из отверстий, ведущих в подземный ход, который еще в незапамятные времена был в тех местах проложен, но они не могли взять в толк, как это Санчо расстался с губернаторством, не уведомив их о своем приезде. Были пущены в дело, как говорится, *веревки и канаты*, и ценою великих усилий множества людей в конце концов удалось извлечь и серого и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Некий студент посмотрел на Санчо и сказал:

– Вот так следовало бы удалять с должностей всех дурных правителей – точь-в-точь как этого греховодника, вылезшего из глубокой пропасти: он голоден, бледен и, сколько я понимаю, без единого гроша в кармане.

Санчо, послушав такие речи, молвил:

– Назад тому дней восемь или десять я, господин клеветник, вступил в управление островом, который был мне пожалован, и за все это время я даже хлеба – и того вволю не видел. За это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости. Я и взятка не брал, и податей не взимал, а когда так, то, думается мне, я заслужил, чтобы со мной расстались по-другому, ну да человек предполагает, а бог располагает; господь знает, что для нас лучше и что каждому из нас положено, дают – бери, а бьют – беги, а грех да беда на кого не живет, потому сейчас у тебя дом – полная чаша, ан глядь – хоть шаром покати. И довольно об этом: бог правду видит, а я лучше помолчу, хотя мог бы еще кое-что сказать.

– Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, а там пусть себе говорят, что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам – это все равно что загородить поле воротами. Если правитель уходит со своего поста богатым, говорят, что он вор, а коли бедняком, то говорят, что он простофиля и глупец.

– Могу ручаться, – заметил Санчо, – что кого-кого, а меня-то, уж верно, признают за дурака, а не за вора.

Сопровождаемые мальчишками и всяким иным людом, Дон Кихот и Санчо, все еще ведя этот разговор, приблизились к замку, где их уже поджидали в галерее герцог и герцогиня, однако, прежде чем подняться к герцогу, Санчо самолично устроил серого в стойле, ибо, по его словам, серый ночевал в гостинице и ему там было очень плохо, и только после этого поднялся на галерею к герцогской чете и, преклонив пред нею колена, заговорил:

– Сеньоры! Не за какие-либо мои заслуги, а единственно потому, что такова была воля

ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом Баратарией, и как голяком я туда явился, так голяком и удалился. Хорошо ли, плохо ли я управлял – на то есть свидетели: что им бог на душу положит, то они вам и расскажут. Я разрешал спорные вопросы, выносил приговоры и вечно был голоден, оттого что на этом настаивал доктор Педро Нестерпимо, родом из Учертанарогеры, лекарь островной и губернаторский. Ночью на нас напали враги, опасность была велика, но в конце концов островитяне, пошли им господь столько здоровья, сколько в их словах правды, объявили, что благодаря твердости моего духа они своей свободы не отдали и одержали полную победу. Коротко говоря, за это время я взвесил все тяготы и обязанности, с должностью губернатора сопряженные, и пришел к заключению, что плечи мои их не выдержат: эта ноша не для моего хребта и стрелы эти не для моего колчана, вот почему я надумал, прежде чем меня сбросят, самому бросить губернаторство, и вчера утром я покинул остров таким, каким увидел его впервые – с теми же самыми улицами, домами и кровлями, какие были, когда я туда вступил. Ни у кого я не брал займы и ни в каких прибылях не участвовал, и хоть я и думал было издать несколько полезных законов, но так и не издал: все равно, мол, никто соблюдать их не будет, значит, издавай не издавай – толк один. Как я уже сказал, покинул я остров безо всякой свиты, – вся моя свита состояла из одного только серого, – дорогой свалился в подземелье, начал оттуда выбираться и наконец нынче утром при свете солнца отыскал выход, но только не слишком удобный, так что, не пошли мне господь сеньора Дон Кихота, я бы там оставался до скончания века. Ну так вот, ваши светлости, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который из тех десяти дней, что он прогубернаторствовал, извлек только одну прибыль, а именно: он узнал, что управление не то что одним островом, а и всем миром не стоит медного гроша. Приобретя же таковые познания, я лобызаю стопы ваших милостей, а засим, как в детской игре, когда говорят: «Ты – прыг, а я сюда – скок», прыг с моего губернаторства и перехожу на службу к моему господину Дон Кихоту, потому на этой службе мне хоть и страшновато бывает, да зато хлеб-то я, по крайности, ем досыта, а мне – хоть морковками, хоть куропатками – только быть бы сытым.

На сем окончил пространную свою речь Санчо, Дон Кихот же все время боялся, как бы он не наговорил невесть сколько всякой ерунды, но когда Дон Кихот убедился, что Санчо уже кончил, а ерунды наговорил совсем мало, то мысленно возблагодарил бога; герцог между тем обнял Санчо и сказал, что он весьма сожалеет, что Санчо так скоро ушел с должности губернатора, но что он, со своей стороны, примет меры, чтобы в его владениях для Санчо подыскали какую-нибудь другую должность, менее тягостную и более выгодную. Герцогиня также обняла Санчо и велела его накормить, ибо у него был вид человека не весьма бодрого и еще менее упитанного.

## Глава LVI

*О беспримерном и доселе невиданном поединке между Дон Кихотом Ламанчским, вступившимся за честь дочери дуэньи доньи Родригес, и лакеем Тосилосом*

Их светлости с самого начала не раскаивались, что сыграли шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать; когда же к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельнейшим образом доложил почти обо всех словах и поступках, за эти дни губернатором сказанных и совершенных, а в заключение живописал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то они получили от всего этого немалое удовольствие. Засим, согласно истории, настал день поединка, и герцог, несколько раз предупредив лакея своего Тосилоса, как должно обходиться с Дон Кихотом, дабы одолеть его, не убив и не ранив, приказал снять с копий железные наконечники; Дон Кихоту же он пояснил, что по законам христианской веры, которые он-де свято соблюдает, нельзя допустить, чтобы эта битва была сопряжена с таким риском и опасностью для жизни, – хорошо еще, что он, герцог, не чинит препятствий к тому, чтобы сражение состоялось на его земле, и это, мол,

уже много: ведь тем самым он нарушает постановление святейшего собора, подобные единоборства воспрещающее, однако чрезмерно жестоких условий боя, и без того уже, дескать, лютого, он не допустит. В ответ Дон Кихот объявил, что его светлость вольна распорядиться устройством поединка, как ей будет угодно, он же, дескать, согласен на любые условия. Наконец ужасный день настал; по распоряжению герцога на площади перед замком был сооружен обширный помост для судей поединка, а также для обеих истиц, матери и дочери, и со всех окрестных сел и деревень сбежалась огромная толпа поглядеть на необыкновенный бой, в здешних краях ни в былое, ни в теперешнее время невиданный и неслыханный.

Первым появился на арене и поле битвы церемониймейстер; он обошел и осмотрел все место поединка, чтобы удостовериться, нет ли какого подвоха, чего-либо глазу не видного, обо что можно споткнуться и упасть. Затем появились и заняли свои места обе женщины в покрывалах, закрывавших им все лицо; прибытие Дон Кихота на место боя вызвало у них сильное волнение. Не в долгом времени при звуках труб на краю арены показался достопамятный лакей Тосилос с опущенным забралом, весь закованный в броню, облаченный в непроницаемые и сверкающие доспехи, верхом на могучем коне, под которым дрожала земля; конь его, серый в яблоках, мохноногий, с крутыми боками, был, по-видимому, фризской породы<sup>1</sup>. Доблестный сей боец получил от своего господина герцога точные указания, как ему надлежит вести себя с доблестным Дон Кихотом Ламанчским, и был предуведомлен, что убивать Дон Кихота ни в коем случае не должно, – напротив того, Тосилосу внушено было, чтобы он постарался уклониться от первой же сшибки: тем самым он-де предотвратит смертельный исход, какового, мол, не избежать, коль скоро они на полном скаку налетят друг на друга. Тосилос объехал арену и, приблизившись к помосту, где восседали обе женщины, некоторое время смотрел, не отрываясь, на ту, что требовала его себе в мужья. Распорядитель, стоявший рядом с Тосилосом, позвал Дон Кихота, уже въехавшего на арену, и спросил женщин, согласны ли они, чтобы Дон Кихот выступил на их защиту. Они ответили, что согласны и что, как бы Дон Кихот в сем случае ни поступил, все встретит с их стороны одобрение безусловное и безоговорочное. Тем временем герцог с герцогинею заняли места в галерее, выходившей на арену, которую плотным кольцом окружил народ, жаждавший поглядеть на доселе невиданный жестокий бой. По условию поединка в случае победы Дон Кихота его противник должен был жениться на дочери доньи Родригес, в случае же его поражения ответчик почитал себя свободным от данного слова, и никакого другого удовлетворения от него уже не требовалось.

Церемониймейстер поделил между ними солнечный свет и указал каждому его место. Забили барабаны, воздух наполнился звуком труб, от гула застонала земля; зрители испытывали разнообразные чувства: иным становилось страшно, другие не без любопытства ожидали, какова будет развязка – счастливая или же, напротив, неблагоприятная. Дон Кихот всецело отдался под покровительство господина бога и сеньоры Дульсинеи Тобосской, и теперь он ждал лишь условного знака, чтобы начать бой, меж тем как лакей наш думал совсем о другом, и сейчас я скажу, о чем именно.

Когда он взглянул на свою врагиню, то, по всей вероятности, она показалась ему прекраснейшею из женщин, каких он когда-либо видел, а тот слепенький мальчик, коего принято у нас называть Амуром, положил не упускать представившегося ему случая овладеть душою лакея и занести ее в список своих жертв; того ради, оставшись незамеченным, он тихохонько подкрался, всадил бедному лакею в левый бок предлинную стрелу, и стрела насквозь пронзила ему сердце; и он мог совершить это беспрепятственно, ибо Амур – невидимка: он входит и выходит куда и откуда хочет, никому не отдавая отчета в своих поступках. И вот знак к началу боя был подан, а лакей наш все еще находился в состоянии восторга, помышляя о красоте той, которая уже успела его пленить, и потому не слышал звука трубы. Дон Кихот же, напротив, едва услышав этот звук, тотчас бросился вперед и во всю Росинантову прыть помчался на врага; и тогда верный его оруженосец

---

<sup>1</sup> ...конь ...фризской породы. – Имеется в виду порода коней из Фрисланда (Голландия).

Санчо, видя, что он бросается в бой, громогласно возопил:

– Помоги тебе бог, краса и гордость странствующих рыцарей! Пошли тебе господь победу, ибо правда на твоей стороне!

А Тосилос, хотя и видел, что Дон Кихот мчится прямо на него, однако же ни на шаг не сдвинулся с места – он только громким голосом стал звать распорядителя, и, как скоро распорядитель к нему приблизился, дабы узнать, в чем состоит дело, Тосилос сказал ему:

– Сеньор! Не для того ли устроен поединок, чтобы решить, должен я или не должен жениться на этой девушке?

– Для этого самого, – ответили ему.

– В таком случае, – объявил лакей, – я боюсь угрызений совести, ибо я возьму на душу великий грех, коли буду продолжать биться. Одним словом, я признаю себя побежденным и объявляю, что хочу как можно скорее жениться на этой девушке.

Распорядитель, один из участников этой затеи, подивившись речам Тосилоса, не нашелся, что ему ответить. Дон Кихот, видя, что его противник не двигается ему навстречу, остановился на полпути. Герцог не мог взять в толк, отчего битва не начинается; когда же распорядитель передал ему слова Тосилоса, то это его крайне удивило и возмутило. Тосилос между тем подъехал к помосту и, обратясь к донье Родригес, заговорил громким голосом:

– Сеньора! Я готов жениться на вашей дочери и не намерен добиваться тяжбами и схватками того, чего можно достигнуть миром, не подвергая себя смертельной опасности.

Услышав это, доблестный Дон Кихот объявил:

– Когда так, то я могу считать, что я свободен и не связан более обещанием. Пусть они себе женятся в добрый час, а что господь бог посылает, то и апостол Петр благословляет.

Герцог спустился с галереи и, приблизившись к Тосилосу, молвил:

– Правда ли, рыцарь, что вы признаете себя побежденным и, боясь угрызений совести, вознамерились жениться на этой девушке?

– Так, сеньор, – подтвердил Тосилос.

– Правильно делает, – заметил тут Санчо, – поменьше дерись да почаще мирись.

Тосилос, развязывавший в это время шлем, позвал на помощь, оттого, что ему, так долго пребывавшему в столь тесном помещении, нечем становилось дышать. В ту же минуту с него сняли шлем, и взорам присутствовавших открылось и представилось лицо лакея. Тут донья Родригес и ее дочь завопили истошными голосами:

– Чистый обман это! Это чистый обман! Вместо настоящего моего жениха нам подсунили Тосилоса, лакея сеньора герцога! Прошу защиты у бога и короля от такого коварства, чтобы не сказать – подлости!

– Успокойтесь, сеньора, – молвил Дон Кихот, – здесь нет ни коварства, ни подлости, а если и есть, то повинен в том не герцог, а злые волшебники, меня преследующие: позавидовав славе, которую я стяжал себе этою победою, они устроили так, что жених ваш стал похож лицом на человека, коего вы называете лакеем герцога. Послушайтесь моего совета и, невзирая на коварство недругов моих, выходите за него замуж, ибо не подлежит сомнению, что это тот самый, которого вы бы хотели иметь своим мужем.

Герцог, слушая такие речи, чувствовал, что вот сейчас его досада выльется в громкий смех.

– С сеньором Дон Кихотом творятся такие необыкновенные вещи, – сказал он, – что я готов поверить, что это не один из моих лакеев, а кто-то еще. Впрочем, давайте прибегнем вот к какой хитрости и уловке: отложим свадьбу, с вашего позволения, на две недели, а этого молодчика, который кажется нам подозрительным, будем держать под замком: быть может, за это время к нему вернется прежний его облик, ибо ненависть волшебников к Дон Кихоту вряд ли будет долго продолжаться, тем более что от всех этих козней и превращений они немного выигрывают.

– Ах, сеньор! – воскликнул Санчо. – У этих разбойников такова привычка и таков обычай: подменять все, что имеет касательство к моему господину. Одного рыцаря, которого он не так давно одолел и которого зовут Рыцарем Зеркал, они преобразили в бакалавра



Самсона Карраско, нашего односельчанина и большого нашего друга, а сеньору Дульсинею они же обратили в простую мужичку, – вот почему я полагаю, что лакей этот так лакеем и помрет.

Тут заговорила дочка Родригес:

– Кто б ни был тот, кто просит моей руки, я все же ему за это признательна: лучше быть законной женой лакея, чем обманутой любовницей дворянина, – впрочем, тот, кто обманул меня, вовсе не дворянин.

Все эти разговоры и происшествия кончились, однако ж, тем, что Тосилоса лишили свободы, чтобы поглядеть, чем кончится его превращение; все единогласно признали Дон Кихота победителем, хотя многие были огорчены и опечалены тем, что противники в долгожданном этом бою не разрубили себя на части, – так же точно бывают огорчены мальчишки, когда не появляется приговоренный к повешению, оттого что его простил истец или же помиловал суд. Толпа разошлась, герцог и Дон Кихот направились в замок, Тосилоса заключили под стражу, донья же Родригес с дочкой были в совершенном восторге, что, так или иначе, дело кончится свадьбой, а равно и Тосилосу только этого и было нужно.

## Глава LVII,

*повествующая о том, как Дон Кихот расстался с герцогом, а также о том, что произошло между ним и бойкой и бедовой Альтисидорой, горничной девушкой герцогини*

Дон Кихот уже начинал тяготиться тою праздною жизнью, какую он вел в замке; он полагал, что с его стороны это большой грех – предаваясь лени и бездействию, проводить дни в бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для странствующего рыцаря, устраивались хозяевами, и склонен был думать, что за бездействие и праздность господь с него строго взыщет, – вот почему в один прекрасный день он попросил у их светлостей позволения уехать. Их светлости позволили, не преминув, однако ж, выразить глубокое свое сожаление по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо Пансе письмо его жены, и тот, обливая его слезами, сказал себе:

– Кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе моей жены Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? А все-таки я доволен, что моя Тереса в грязь лицом не ударила и послала герцогине желудей, потому как если б она их не послала, а тут еще я вернулся не в духе, то вышло бы невежливо. Радует меня и то, что подарок этот нельзя назвать взяткой: когда она его посылала, я уже был губернатором, и тут ничего такого нет, если за доброе дело чем-нибудь отблагодарить, хотя бы и пустячком. Да ведь и впрямь: голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушел, и могу сказать по чистой совести, а чистая совесть – это великое дело: «Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился».

Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда, Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями, рано утром, облаченный в доспехи, появился на площади перед замком. С галереи на него глазели все обитатели замка; герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные припасы, и был он рад-радехонек, оттого что герцогский домоправитель, тот самый, который изображал Трифальди, вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые издержки, Дон Кихот же про это еще не знал. И вот, в ту самую минуту, когда все взоры, как уже было сказано, обратились на Дон Кихота, из толпы дуэний и горничных девушек герцогини, на него глядевших, внезапно послышался голос бойкой и бедовой Альтисидоры, которая поразила слух присутствовавших жалобной песней:

О жестокосердый рыцарь!  
Отпусти поводья малость,

Не спеши коня лихого  
Острой шпорой в бок ужалить.

Не от алчного дракона  
Ты, неверный, убегаешь,  
Но от агницы, которой  
И овцой-то зваться рано.

Изверг! Ты обидел деву,  
Краше коей не видали  
Ни в лесах своих Венера,  
Ни в горах своих Диана,

Беглец Эней, Бирено беспощадный<sup>1</sup>,  
Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой!

Ты в когтях своих кровавых,  
Зверь бесчувственный, увозишь  
Сердце той, что так смиренно  
Быть твоей рабыней жаждет.

Ты увозишь – о злодейство!  
Три косынки и подвязки,  
Черно-белые в полоску,  
С ножек гладких, словно мрамор.

И еще сто тысяч вздохов,  
Чье неистовое племя,  
Будь сто тысяч Трой на свете,  
Все их разом бы пожрало.

Беглец Эней, Бирено беспощадный,  
Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой!

Пусть безжалостен пребудет  
Твой оруженосец Санчо,  
Чтоб вовеки Дульсинея  
Не сняла с себя заклятья.

Пусть за твой поступок низкий  
Взыщется с нее, несчастной,  
Ибо часто в этом мире  
Праведник за грешных платит.

Пусть тебе всегда приносят  
Жажда славы неудачу,  
Радость – горькое похмелье,  
Верность – разочарованье.

---

<sup>1</sup> *Беглец Эней, Бирено беспощадный...* – намек на то, что Эней, герой «Энеиды» Вергилия, покинул влюбленную в него Дидону, а Бирено, герой «Неистового Роланда» Ариосто, покинул свою возлюбленную Олимпию.

Беглец Эней, Бирено беспощадный,  
Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой!

Пусть от Лондона до Темзы,  
От Гранады до Атарфе,  
От Севильи до Марчены<sup>1</sup>  
Все зовут тебя коварным.

Если в «сотню», в «королевство»  
Иль в «кто первый» дуться сядешь,  
Пусть нейдут к тебе тузы,  
Короли не попадают.

Если стричь пойдешь мозоли,  
Пусть тебе их режут с мясом;  
Если вырвать зуб решиться,  
Корень пусть в десне оставят.

Беглец Эней, Бирено беспощадный,  
Сгинь, пропади, гори в аду с Вараввой!

В то время как горящая Альтисидора вышеописанным образом сетовала, Дон Кихот молча на нее взирал, а затем, обратившись к Санчо, спросил:

– Заклинаю тебя памятью твоих предков, милый Санчо, не скрывай от меня правды. Скажи, не захватил ли ты случайно три косынки и подвязки, о которых толкует влюбленная эта девушка?

Санчо же ему на это ответил:

– Косынки я и правда захватил, а насчет подвязок – ни сном, ни духом.

Герцогиня не могла надивиться дерзости Альтисидоры; впрочем, она и прежде знала ее за девицу бедовую, проказливую и разбитную, но все же не представляла себе, что развязность ее дойдет до такой степени, и тем сильнее было удивление герцогини, что об этой шутке Альтисидора ее не предупредила. Герцог, желая подлить масла в огонь, сказал:

– Сеньор рыцарь! Меня возмущает, что, воспользовавшись гостеприимством, здесь, у меня, вам оказанным, вы решились похитить у моей служанки во всяком случае три косынки, а может быть, даже и подвязки: это свидетельствует о том, что у вас дурные наклонности, и противоречит общему мнению, которое о вас сложилось. Возвратите же ей подвязки, иначе я вызову вас на смертный бой, не страшась, что лихие волшебники изменят или же исказят черты моего лица, как это они сделали с моим лакеем Тосилосом, вступившим с вами в единоборство.

---

<sup>1</sup> *Атарфе, Марчена* – города в Испании. «Сотня», «королевство», «кто первый» – названия карточных игр.



– Господь не попустит, – возразил Дон Кихот, – чтобы я поднял меч на светлейшую вашу особу, которой я столькими обязан милостями. Косынки я возвращу, коль скоро они у Санчо, но насчет подвязок – это немислимое дело, потому что ни я, ни он их не брали, если ваша служанка хорошенько у себя посмотрит, то верно уж найдет. Я, сеньор герцог, никогда не был вором и, если господь не попустит, не буду таковым до конца моих дней. Девушка эта говорит как влюбленная, и она прямо в том признается, я же тут ни при чем, так что мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости, вас же я попрошу изменить свое мнение обо мне и вновь мне позволить продолжать свой путь.

– Счастливого вам пути, сеньор Дон Кихот, – подхватила герцогиня, – дай бог, чтобы до нас доходили одни только добрые вести о ваших подвигах. Поезжайте же с богом, а то чем дольше, вы задерживаетесь, тем сильнее разгорается пламень в сердцах дев, что взирают на вас, мою же горничную девушку я накажу так, чтобы впредь она не допускала нескромности ни во взоре, ни в словах своих.

– Дай мне одно только слово сказать тебе, доблестный Дон Кихот! – воскликнула тут Альтисидора. – Прости меня за то, что я обвинила тебя в краже подвязок: клянусь богом и спасением души, они на мне, – это я по рассеянности, вроде того человека, который искал своего осла, сидя на нем верхом.

– А что я вам говорил? – вмешался Санчо. – Нашли какого укрывателя краденого! Ведь при желании я столько мог натащить, пока ходил в губернаторах: там у меня насчет этого было раздолье.

Дон Кихот учтиво поклонился герцогу с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим, засим поворотил Росинанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка и направил путь в Сарагосу.

## Глава LVIII,

*в коей речь идет о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что они*

*не давали ему передышки*

Как скоро Дон Кихот, освободившись и избавившись от заигрываний Альтисидоры, выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства, и тут он повернулся лицом к Санчо и сказал:

– Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, и то сказать: обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!

– А все-таки, – отозвался Санчо, – Что бы вы ни говорили, нехорошо это будет с нашей стороны, если мы не почувствуем благодарности за кошелек с двумя сотнями золотых, который мне преподнес герцогский домоправитель: я его, вроде как успокоительный пластырь, ношу возле самого сердца, – мало ли что может быть; ведь не всегда же нам попадаются замки, где за нами ухаживают, случается заезжать и на постоянные дворы, где нас колотят.

В таких и тому подобных разговорах проехали странствующий рыцарь и странствующий оруженосец немногим более мили, как вдруг увидели, что на зеленом лужке, разостлав на земле плащи, закусывают человек десять, одетые по-деревенски. Поодаль виднелось нечто вроде белых простынь, накрывавших предметы, что стояли и возвышались на некотором расстоянии один от другого. Дон Кихот приблизился к закусывавшим и, учтиво поздоровавшись с ними, спросил, что находится под полотном. На это ему один из крестьян ответил так:

– Сеньор! Под полотном находятся лепные и резные изображения святых, коими мы собираемся украсить сельский наш храм. Мы накрыли их полотном, чтобы они не попортились, а несем на плечах, чтобы они не поломались.

– Будьте добры, позвольте мне посмотреть, – сказал Дон Кихот, – уж верно, изображения эти хороши, коли вы несете их с такими предосторожностями.

– Еще бы не хороши! – подхватил другой крестьянин. – Да ведь и стоят они, сказать по чести, немало: каждое из них обошлось нам не меньше, чем в полсотни дукатов. Обождите, ваша милость, сейчас вы сами увидите, что это сущая правда.

С этими словами он, не докончив трапезы, встал и направился к ближайшему изображению, чтобы снять с него покрывало: то была статуя Георгия Победоносца, изображенного так, как его обыкновенно изображают, – верхом на коне, он с грозным видом вонзает копьё в пасть дракона, извивающегося у его ног. Вся работа была выполнена, как говорится, на удивление. Дон Кихот же, увидев статую, молвил:

– Сей рыцарь был одним из лучших странствующих рыцарей во всей небесной рати. Звали его святой Георгий Победоносец, и притом он был покровителем дев. Теперь посмотрим другое изображение.

Крестьянин открыл вторую статую: то был святой Мартин верхом на коне, деливший свой хитон с бедняком; и как скоро Дон Кихот увидел его, то сказал:

– Сей рыцарь был также из числа христианских странников, и мне думается, что доброта его была еще выше его доблести; это видно из того, Санчо, что он разрывает свой хитон, дабы половину отдать бедняку. И, уж верно, тогда стояла зима, иначе он отдал бы

весь хитон – так он был милосерд.

– Вряд ли, – заметил Санчо. – Должно полагать, он знал пословицу: кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

Дон Кихот рассмеялся и попросил снять еще одно покрывало, под покрывалом же оказалось изображение покровителя Испании: верхом на коне, с окровавленным мечом, он разил и попирал мавров; и, взглянув на него, Дон Кихот сказал:

– Воистину сей есть рыцарь Христова воинства, а зовут его святой Дьего Мавроббрец. Это один из наидоблестнейших святых рыцарей, когда-либо живших на свете, ныне же пребывающих на небе.

Затем сняли еще одно полотнище, и тогда взорам открылось падение апостола Павла с коня, изображенное со всеми теми подробностями, с какими обыкновенно изображается его обращение. Все тут было до того натурально, что казалось, будто это сам Христос вопрошает, а Павел ему отвечает.

– Прежде то был самый лютейший из всех гонителей Христовой церкви, каких знало его время, а потом он стал самым ярким из всех защитников, какие когда-либо у церкви будут, – сказал Дон Кихот. – Это странствующий рыцарь при жизни своей и это святой, вошедший в обитель вечного покоя после своей смерти, это неутомимый труженик на винограднике Христовом, это просветитель народов, которому школою служили небеса, наставником же и учителем сам Иисус Христос.

Больше изображений не было, а потому Дон Кихот попросил закрыть статуи полотнищами и обратился к носильщикам с такою речью:

– За счастливое предзнаменование почитаю я, братья, то, что мне довелось увидеть эти изображения, ибо святые эти рыцари подвизались на том же самом поприще, что и я, то есть на поприще ратном, и все различие между ними и мною заключается в том, что они были святые и преследовали цели божественные, я же, грешный, преследую цели земные. Они завоевали себе небо благодаря своей мощи, ибо *царство небесное силою берется*, я же еще не знаю, что я завоевываю, возлагая на себя тяготы, – впрочем, если только Дульсинея Тобосская избавится от своих тягот, то мой жребий тотчас улучшится, разум мой возмужает, и, может статься, я перейду на иную стезю, лучшую, нежели та, которою я шел до сих пор.

– В добрый час сказать, в худой помолчать, – присовокупил Санчо.

Подивились носильщики как наружности, так и речам Дон Кихота; не поняли же они и половины того, что он хотел в них выразить. Покончив с едой, они взвалили на плечи статуи, попрощались с Дон Кихотом и пошли дальше.

Санчо снова точно в первый раз видел своего господина, подивился его учености: он был уверен, что нет на свете таких преданий и таких событий, которых Дон Кихот не знал бы как свои пять пальцев и не держал бы в памяти; обратился же он к Дон Кихоту с такими словами.

– Положа руку на сердце скажу вам, досточтимый мой хозяин: если то, что с нами сегодня произошло, можно назвать приключением, то это одно из самых приятных и отрадных приключений, какие за все время наших странствований выпадали на нашу долю, – на сей раз дело обошлось без побоев и безо всяких треволнений, нам не пришлось ни обнажать меча, ни молотить землю своими телами, ни голодать. Благодарю тебя, господи, за то, что ты дал мне своими глазами увидеть такое приключение!

– Ты молвил справедливо, Санчо, – заметил Дон Кихот, – прими, однако ж, в рассуждение, что день на день не похож и что счастье изменчиво. То же, что простой народ называет приметами и что не имеет под собой разумных оснований, человеку просвещенному надлежит почитать и признавать всего лишь за благоприятные явления. Иной суевер встанет спозаранку, выйдет из дому, и по дороге встретится ему монах ордена блаженного Франциска, так он, точно увидел грифа<sup>1</sup>, мигом покажет ему тыл – и скорей назад. Какой-нибудь Мендоса рассыплет на столе соль, и по сердцу у него сей же час

---

<sup>1</sup> Гриф (миф.) – чудовище с головой орла и туловищем льва.

рассыплется тоска<sup>1</sup>, словно природа обязана предуведомлять о грядущих невзгодах именно такими ничтожными знаками. Между тем просвещенный христианин не станет посредством таких пустяков выведывать волю небес. Сципион<sup>2</sup> прибыл в Африку и, ступив на сушу, споткнулся и упал, и это воинами его было принято за дурное предзнаменование, а он, обнявши землю руками, воскликнул: «Ты не уйдешь от меня, Африка, ибо я держу тебя в своих объятиях!» Так, вот, Санчо, встреча с этими изображениями явилась для меня радостнейшим событием.

– Я тоже так думаю, – согласился Санчо, – мне бы только хотелось знать, ваша милость, отчего это испанцы, когда идут в бой, всегда так призывают на помощь святого Дьего Мавроборца: «Святой Яго, запри Испанию!»<sup>3</sup> Разве Испания была отперта и ее надлежало запереть? В чем тут все дело?

– Экий ты бестолковый, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Пойми, что великому этому рыцарю багряного креста господь повелел быть покровителем и заступником Испании, особливо в годину тех ожесточенных боев, какие вели испанцы с маврами, вот почему, когда испанцам предстоит сражение, они обращаются к этому святому как к своему защитнику и призывают его имя, и многие сами видели его в бою, видели, как он сокрушал, попирал, уничтожал и истреблял полчища агарян<sup>4</sup>, – в доказательство я мог бы привести немало примеров, почерпнутых из правдивых испанских хроник.

Тут Санчо, переменяя разговор, сказал своему господину:

– Дивлюсь я, сеньор, до чего ж бесстыжая девка эта Альтисидора, герцогинина служанка. Видно, здорово ранил и прострелил ее этот, как его, Амур, – говорят про него, что он мальчонка слепенький; но хоть и гноятся у него глаза, а пожалуй, что и совсем не видят, все-таки стоит ему нацелиться кому-нибудь в сердце, пусть даже в малюсенькое, и он уж непременно попадет и пронзит его насквозь. Еще я слыхал, будто любовные его стрелы притупляются и ломаются о девичью стыдливость и скромность, ну, а с этой Альтисидорой они скорее заострились, нежели притупились.

– Прими в соображение, Санчо, – заметил Дон Кихот, – что любовь ни с кем не считается, ни в чем меры не знает, и у нее тот же нрав и обычай, что и у смерти: она столь же властно вторгается в пышные королевские чертоги, как и в убогие хижинки пастухов, и когда она всецело овладевает душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость: вот почему, утратив стыд, Альтисидора и призналась в своих чувствах, в моей же душе они возбудили не столько жалость, сколько смятение.

– Чудовищная жестокость! Неслыханная бесчеловечность! – воскликнул Санчо. – Доведись до меня, я бы размяк и растаял от первого же ее ласкового словечка. Черт возьми! Что за каменное у вас сердце, что за медная грудь, что за известковая душа! Но только я никак не пойму, что такое в вас-то нашла эта девушка, отчего она размякла и растаяла: какой такой блеск, какую такую молодцеватость, какую такую особую прелесть и что такое у вас есть в лице, что могло бы прельстить ее, и наконец все ли это вместе взятое или же какая-нибудь отдельная ваша черта? По правде сказать, мне частенько приходилось окидывать вашу милость взглядом от самых пяток до кончиков волос на голове, и всякий раз я находил в вашей милости больше такого, что может скорее отпугнуть, нежели прельстить. Притом же я слыхал, что любят прежде всего и главным образом за красоту, а как ваша милость совсем даже некрасива, то я уж и не понимаю, во что же бедняжка влюбилась.

– Прими в рассуждение, Санчо, – заметил Дон Кихот, – что есть два рода красоты:

---

<sup>1</sup> *Какой-нибудь Мендоса рассылет на столе соль, и по сердцу у него сей же час рассыплется тоска...* – поговорка, высмеивающая распространенное в некоторых испанских семьях суеверие.

<sup>2</sup> *Сципион* – римский полководец Публий Корнелий Сципион (185–129 до н.э.), воевавший против Карфагена и разрушивший его (146 до н.э.).

<sup>3</sup> *«Святой апостол Иаков, запри Испанию!»* – неправильно истолкованный Санчо старинный боевой клич испанцев в сражениях с маврами: «Santiago, u siegta Espana!» («Святой Иаков с нами – рази, Испания!»). Апостол Иаков считается покровителем Испании. Санчо путает два значения «seigar»: разить, сокрушать и запирать, замыкать.

<sup>4</sup> *Агаряне* – бытовавшее в то время общее наименование африканских народов.

красота духовная и красота телесная. Духовная красота сказывается и проявляется в ясности ума, в целомудрии, в честном поведении, в доброте и в благовоспитанности, и все эти свойства могут совмещаться и сосуществовать в человеке некрасивом, и если внимание приковывается к этой именно красоте, а не к телесной, то здесь-то и возникает любовь пылкая и наиболее сильная. Я, Санчо, и сам вижу, что некрасив, но я знаю также, что я и не урод, а чтобы хорошего человека можно было полюбить, ему достаточно быть только что не чудовищем, но зато он должен обладать теми свойствами души, которые я тебе сейчас перечислил.

Разговаривая и беседуя таким образом, ехали они не по дороге, а по лесу, и вдруг, совершенно для себя неожиданно, Дон Кихот запутался в зеленых нитях, протянутых меж деревьев и образывавших нечто вроде сетей; не в силах понять, что это такое, он наконец обратился к Санчо:

– Мне думается, Санчо, что случай с этими сетями представляет собой одно из самых необычайных приключений, какие только можно себе вообразить. Убей меня на этом самом месте, если мои преследователи-волшебники не задумали оплести меня сетями и преградить мне путь, по-видимому в отместку за мою суровость с Альтисидорой. Однако ж да будет им известно, что, хотя бы даже их сети были сделаны не из таких вот зеленых нитей, а из твердейших алмазов, и были крепче тех, коими ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса<sup>1</sup>, все равно я порвал бы их так же легко, как если бы они были из морского тростника или из волокон хлопка.

И он уже хотел двинуться вперед и порвать сети, но в это время перед ним внезапно предстали, выйдя из-за деревьев, две прелестнейшие пастушки: во всяком случае, одеты они были, как пастушки, с тою, однако ж, разницей, что тулупчики и юбочки были на них из чудесной парчи – впрочем, нет: юбки были из весьма дорогой, шитой золотом тафты. Их локоны, рассыпавшиеся по плечам, золотым своим блеском могли бы поспорить не с чем иным, как с лучами солнца; на голове у каждой красовался венок из зеленого лавра и красного амаранта. По виду им можно было дать, самое меньшее, лет пятнадцать, а самое большее – восемнадцать.

Санчо, глядя на них, изумился, Дон Кихот пришел в недоумение, даже солнце – и то на мгновение прекратило свой бег, чтобы на них поглядеть, и все четверо совершенное хранили молчание. Наконец первую заговорила одна из пастушек и обратилась к Дон Кихоту с такими словами:

– Остановитесь, сеньор кавальеро, и не рвите сетей, – мы их здесь протянули не с целью причинить вам зло, но единственно для развлечения, а как я предвижу ваш вопрос: что же это за развлечение и кто мы такие, то я вам сейчас вкратце об этом скажу. В одном селении, расположенном в двух милях отсюда, проживает много знати, идалго и богатых людей, и вот мы с многочисленными друзьями и родственниками уговорились целой компанией, с женами, сыновьями и дочерьми, приятно провести здесь время, – а ведь это одно из самых очаровательных мест во всей округе, – и составить новую пастушескую Аркадию, для чего девушки решили одеться пастушками, а юноши – пастухами. Мы разучили две эклоги<sup>2</sup>: одну – знаменитого поэта Гарсиласо<sup>3</sup>, а другую – несравненного Камознса<sup>4</sup>, на португальском языке, но еще не успели их разыграть. Мы приехали сюда только вчера, затем, среди зелени, на берегу полноводного ручья, орошающего окрестные луга, разбили палатки, так называемые походные, и вечером же натянули меж деревьев сети, чтобы ловить глупых пташек: мы их нарочно пугаем, они от нас улетают – и попадают в сети. Если же вам угодно, сеньор, быть нашим гостем, то мы примем вас учтиво и радушно, – теперь у нас здесь не должно быть места ни печали, ни скуке.

На этом она окончила свою речь; Дон Кихот же ей ответил так:

---

1 ...ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса (миф.). – Согласно мифу, Вулкан, бог кузнечного мастерства, опутал сетью, сделанной из алмазов, свою жену Венеру и Марса, с которым она изменяла ему.

2 Эклога – в эпоху Сервантеса общее определение для различных видов пасторального жанра.

3 Гарсиласо – испанский поэт Гарсиласо де ла Вега.

4 Камознс – крупнейший португальский поэт (1524–1580).



– Поистине, прекраснейшая сеньора, самого Актеона не так удивил и поразил вид купающейся Дианы<sup>5</sup>, которую он внезапно узрел, как был ошеломлен я при виде красоты вашей. Я в восторге от ваших увеселений, благодарю вас за приглашение, и если я могу чем-либо быть вам полезен, то стоит вам только сказать – и я весь к вашим услугам, ибо мой долг именно в том заключается, чтобы на деле доказывать свою признательность и творить добро всем людям без изъятия, особливо же людям благородного сословия, представительницами коего являетесь вы, и, если бы даже эти сети, столь малое пространство занимающие, опутали всю земную поверхность, я и тогда постарался бы отыскать какой-нибудь новый свет, где я мог бы передвигаться, не разрывая их, а чтобы вы не думали, что это – преувеличение, то да будет вам известно, что перед вами не кто иной, как Дон Кихот Ламанчский, если только это имя вам что-нибудь говорит.

– Ах, милая подруга! – воскликнула тут вторая пастушка. – Какие же мы с тобой счастливые! Ты знаешь, кто этот сеньор? Так вот знай же, что это храбрейший из всех храбрецов, самый пылкий из всех влюбленных и самый любезный из людей, если только не лжет и не обманывает нас вышедшая в свет история его подвигов, которую я читала. Я могу ручаться, что спутник его – это некий Санчо Панса, его оруженосец, с шутками которого ничьи другие не могут идти в сравнение.

– Ваша правда, – подтвердил Санчо, – я и есть тот самый оруженосец и тот самый шутник, как ваша милость изволила обо мне выразиться, а этот сеньор – мой господин, тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорится и рассказывается в книжке.

– Дорогая подружка! – воскликнула первая девушка. – Давай уговорим сеньора побыть с нами, – родители и наши братья будут ему бесконечно рады. Об его доблести и об его душевных качествах я слышала то же самое, а кроме того, говорят, что он на удивление стойкий и верный поклонник и что дама его некая Дульсинея Тобосская, которую вся Испания признает первой красавицей.

– Это было бы справедливо, – заметил Дон Кихот, – когда бы ваша несравненная прелесть не принуждала в том усомниться. Не трудитесь, однако, сеньоры, удерживать меня, ибо неотложные дела, сопряженные с прямым моим долгом, не позволяют мне отдыхать где бы то ни было.

В это время к ним приблизился брат одной из девушек, так же точно, как и она, в пастушеском наряде, отличавшемся таким же точно богатством и пышностью; девушки ему сказали, что он видит перед собою доблестного Дон Кихота Ламанчского, а что тот, другой, – его оруженосец Санчо, имена же эти брату девушки были известны оттого, что он читал историю Дон Кихота. Изящный пастушок представился Дон Кихоту и пригласил его в палатку; Дон Кихоту ничего не оставалось делать, как уступить. Тем временем началась охота, и сети наполнились разными пташками; обманутые цветом сетей, они попадали в ту самую ловушку, от которой спасались. Более тридцати человек собралось здесь; и мужчины и женщины – все были в нарядном пастушеском одеянии, и в одну минуту всем стало известно, что два незнакомца – это те самые Дон Кихот и его оруженосец, которых они знали по книге, каковое известие всех весьма обрадовало. Все общество двинулось к палаткам, где уже были накрыты столы, ломившиеся от дорогих и чисто поданных блюд; Дон Кихота усадили на почетное место; все смотрели на него с изумлением. По окончании трапезы Дон Кихот возвысил голос и торжественно заговорил:

– Хотя иные утверждают, что величайший из всех человеческих грехов есть гордыня, я же лично считаю таковым неблагодарность, ибо придерживаюсь общепринятого мнения, что неблагодарными полон ад. Греха этого я, сколько мог, старался избегать, как скоро достигнул разумного возраста; и если я не в силах за благодеяния, мне оказанные, отплатить тем же, то, по крайней мере, изъявляю желание отплатить благодетелю, а когда мне это представляется недостаточным, я всем об его услуге рассказываю, ибо если человек всем сообщает и рассказывает о милости, ему сделанной, значит, он бы в долгу не остался, будь у

---

<sup>5</sup> Актеон, Диана (миф). – Актеон в наказание за то, что он увидел Диану во время купания, был превращен ею в оленя, после чего его загрызли его же собаки.

него хоть какая-нибудь для этого возможность, а ведь известно, что в большинстве случаев дающие по своему положению выше приемлющих: потому-то и господь бог – над всеми, что он есть верховный податель всякого блага, и с дарами божьими не могут сравняться дары человеческие, – их разделяет расстояние бесконечное, скудость же наших средств и ограниченность наших возможностей отчасти восполняются благодарностью. Вот почему и я, проникшись чувством благодарности, но будучи не в состоянии воздать полною мерою за оказанное мне здесь радушие, вынужден держаться в тесных пределах моих возможностей и предложить лишь то, что в моих силах и что мне по плечу, а именно – я обещаю, что, ставши посреди дороги, ведущей в Сарагосу, я два дня подряд буду утверждать, что присутствующие здесь сеньоры, переодетые пастушками, суть прелестнейшие и любезнейшие девушки в мире, за исключением, не в обиду будь сказано всем дамам и кавалерам, меня здесь окружающим, только лишь несравненной Дульсинеи Тобосской, единственной владычицы моих помыслов.

Тут Санчо, с великим вниманием слушавший Дон Кихота, громко воскликнул:

– Найдется ли после этого в целом свете такой человек, который осмелится объявить и поклясться, что мой господин – сумасшедший? Правда, как, по-вашему, сеньоры пастухи: хоть один из сельских священников, самых что ни на есть ученых и умных, мог бы сказать такую проповедь, как мой господин, и хоть один из странствующих рыцарей, особенно славящихся своею отвагою, мог бы пообещать то, что сейчас обещал мой господин?

Дон Кихот повернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал:

– Найдется ли после этого, Санчо, во всем подлунном мире такой человек, который сказал бы, что ты не набитый дурак, да еще с прослойками ехидства и зловредности? Ну кто тебя просит соваться в мои дела и рассуждать, в своем я уме или помешался? Молчи и не смей мне возражать – лучше поди оседлай Росинанта, если он расседлан: мы сей же час отправимся исполнять мое обещание, а как правда – на моей стороне, то ты заранее можешь считать побежденными всех, кто станет мне прекословить.

И тут он в превеликом гневе и с видимой досадой встал из-за стола, присутствовавшие же в совершенном изумлении не знали, за кого должно принимать его: за сумасшедшего или за здравомыслящего. Сколько ни уговаривали они его не затевать подобного спора, ибо присущее ему чувство благодарности всем хорошо известно и нет ни малейшей надобности в новых доказательствах доблести его духа, – довольно, мол, и тех, какие приводятся в истории его деяний, – однако ж Дон Кихот остался непреклонен: воссев на Росинанта, он заградился щитом, взял в руки копьё и выехал на середину большой дороги, проложенной неподалеку от луга. Санчо, верхом на сером, двинулся туда же, а за ним всей гурьбой пастухи и пастушки, жаждавшие поглядеть, чем кончится эта дерзостная и доселе неслыханная затея.

Дон Кихот, выехав, как мы сказали, на середину дороги, огласил окрестности такую речью:

– О вы, путники и странники, рыцари и оруженосцы, пешие и конные, все, кто уже сейчас едет по этой дороге или еще проедет в течение двух ближайших дней! Знайте, что я, Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, остановился здесь, чтобы пред всеми защищать свое мнение: не считая владычицы моей души Дульсинеи Тобосской, нимфы – обитательницы этих рощ и лугов – превосходят всех в красоте и любезности. По сему обстоятельству, кто держится противоположного мнения, тот пусть поспешит, – я буду ждать его здесь.

Дважды повторил он эти слова, и оба раза ни один искатель приключений на них не откликнулся, однако ж судьба, которая все делала к лучшему для него, устроила так, что в скором времени на дороге показалось множество всадников; у большинства из них были в руках копьё, и ехали они, сгрудившись и скучившись, с поспешностью чрезвычайной. Только успели бывшие с Дон Кихотом их приметить, как тот же час повернули обратно и отошли на весьма почтительное расстояние от дороги: они вполне отдавали себе отчет, что если б они стали ждать, то им бы не миновать беды; один лишь Дон Кихот с душою,

исполненною бесстрашия, остался на месте, Санчо же спрятался за Росинанта. Между тем отряд конных копейщиков приблизился, и один из них, ехавший впереди, громко крикнул Дон Кихоту:

– Посторонись, чертов сын, а то тебя быки растопчут!

– О негодяй! – вскричал Дон Кихот. – Да мне не страшны никакие быки, хотя бы даже самые дикие из тех, что растит на своих берегах река Харама!<sup>1</sup> Признайте, разбойники, все, сколько вас ни есть, что я говорил сейчас сушную правду, иначе я вызову вас на бой.

Погонщик ничего не успел на это ответить, Дон Кихот же не успел бы посторониться, даже если б хотел, оттого что стадо диких быков, которых вместе с прирученными и мирными множество погонщиков и других людей гнало в одно селение, где завтра должен был состояться бой быков, – это самое стадо ринулось на Дон Кихота и Санчо, на Росинанта и серого, всех их опрокинуло и отбросило в сторону. Санчо был сильно ушиблен, Дон Кихот ошеломлен, серый помят, да и Росинанту досталось; впрочем, в конце концов все поднялись на ноги, Дон Кихот же, спотыкаясь и падая, бросился бежать за стадом.

– Погодите, остановитесь, шайка разбойников! – кричал он. – Вас дожидается только один рыцарь, обычай же и образ мыслей этого рыцаря не таков, чтобы, как говорится, для бегущего врага наводить серебряный мост!

Но крики эти не остановили торопких беглецов: они обращали на угрозы Дон Кихота столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи, – остановились вовсе не они, а сам Дон Кихот, оттого что выбился из сил, и, не отомстив за себя, а только еще пуще разгневавшись, он в ожидании Санчо, Росинанта и осла присел на обочине дороги. Немного погодя господин и его слуга снова сели верхами. И, не вернувшись проститься с мнимой и поддельной Аркадией, они, испытывая не столько чувство удовлетворения, сколько чувство стыда, поехали дальше.

## Глава LIX,

*в коей рассказывается об из ряду вон выходящем происшествии, случившемся с Дон Кихотом и могущем сойти за приключение*

От запыленности и утомления, явившихся следствием неучтивости быков, избавил Дон Кихота и Санчо чистый и прозрачный родник, протекавший в прохладной тени дерев, на берегу коего они и расположились, оба сильно потрепанные, предварительно снявши с серого и с Росинанта недоуздок и узду и пустив их пастись. Санчо прибегнул к своей кладовой, то есть к дорожной суме, и достал то, чем, как он выражался, можно было заморить червячка; засим он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымыл лицо, каковое освежение укрепило их ослабевшие силы. Однако ж Дон Кихот был все еще до того раздосадован, что не мог есть, Санчо же не притрагивался к еде только из вежливости и ждал, когда приступит его господин, но, видя, что тот занят своими мыслями и не думает об удовлетворении своей потребности, подумал о том, как бы удовлетворить свою, и, в нарушение всех правил благого воспитания, начал запихивать в рот куски хлеба с сыром.

---

<sup>1</sup> ...мне не страшны никакие быки, хотя бы... самые дикие из тех, что растит на своих берегах река Харама! – Пастбища на берегах реки Харамы якобы обладали, согласно господствовавшим тогда представлениям, свойствами, придававшими особую силу пасшимся на них быкам.



– Кушай, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – поддерживай свои силы, тебе жизнь дороже, чем мне, а мне предоставь рухнуть под бременем моих дум и под гнетом моих злоключений. Моя жизнь, Санчо, – это всечасное умирание, а ты, и умирая, все будешь питать свою утробу. А дабы удостовериться, что я прав, обрати внимание на то, каким я изображен в книге, а изображен я доблестным в битвах, учтивым в поступках, пользующимся уважением у вельмож, имеющим успех у девушек. И вот в конце концов, когда я ожидал пальм, триумфов и венков, которые я заработал и заслужил доблестными моими подвигами, по мне нынче утром прошлись, меня истоптали, избили ногами грязные эти и гнусные твари. От этой мысли у меня тупеют резцы, слабеют коренные зубы, немеют руки и совершенно пропадает желание есть, так что я даже намерен уморить себя голодом, то есть умереть самой жестокою из смертей.

– Стало быть, – рассудил Санчо, не переставая быстро-быстро жевать, – ваша милость не одобряет пословицы: «Кто поел всласть, тому и смерть не напасть». Я, по крайности, не собираюсь сам себя убивать, – лучше уж я поступлю, как сапожник, который натягивает кожу зубами до тех пор, пока она не дойдет, куда ему надобно. Так и я: буду себя подпитывать и растяну свою жизнь до установленного ей богом предела, и знайте, сеньор, что нет большего сумасбродства, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость, послушайтесь вы меня: сначала поешьте, а потом немного сосните на этом зеленом травянистом тюфячке – вот увидите, что когда проснетесь, то вам станет чуточку легче.

Дон Кихот нашел, что речи Санчо нимало не глупы, а скорее даже мудры, и потому порешил так именно и поступить, к Санчо же он обратился с такими словами:

– Ах, Санчо! Если б ты согласился совершить для меня то, о чем я тебя сейчас попрошу, мне бы, без сомнения, стало легче, и досада моя не была бы столь несносной! Вот в чем состоит дело: пока я, следуя твоему совету, буду отдыхать, ты отойди немного в сторону и, оголившись, хлестни себя Росинантовыми поводьями раз триста – четыреста в счет трех с лишним тысяч ударов, которые ты обязался себе нанести для того, чтобы

расколдовать Дульсинею: ведь, право же, сердце надрывается, что бедная эта сеньора по небрежению твоему и нерадению все еще пребывает под властью волшебных чар.

– Насчет этого нужно еще подумать, – возразил Санчо. – Давайте прежде оба поспим, а там как господь даст. Было бы известно вашей милости, что стегать себя так, безо всякой подготовки, – это дело тяжкое, особливо ежели удары падают на тело плохо упитанное и совсем даже не жирное. Пусть же сеньора Дульсинея потерпит, в один прекрасный день я себя исполосую на совесть: ведь пока смерти нет, ты все еще живешь, – я хочу сказать, что я еще жив, а стало быть, непременно исполню обещанное.

Изъявив ему свою признательность, Дон Кихот слегка закусил, Санчо же закусил как следует, после чего оба легли спать, предоставив двум неразлучным спутникам и друзьям, Росинанту и серому, свободно и беспрепятственно пастись на густой траве, которую этот луг был обилен. Проснулись они довольно поздно, нимало не медля сели верхами и поехали дальше, ибо торопились добраться до постоянного двора, который виднелся да расстоянии примерно одной мили. Я говорю – постоянного двора, оттого что так назвал его сам Дон Кихот, изменивший своему обыкновению называть все постоянные дворы замками.

Итак, они приблизились к постоянному двору и спросили, можно ли остановиться. Им ответили, что можно и что им будут предоставлены такие удобства и обеспечен такой уход, каких они не найдут и в Сарагосе. Они спешили, после чего Санчо отнес свои припасы в кладовую, от коей хозяин выдал ему ключ; засим он отвел животных в стойло, задал им корму и, воссылая особые благодарения небу за то, что постоянный двор не показался Дон Кихоту замком, отправился к своему господину, за дальнейшими приказаниями, Дон Кихот же сидел на скамье у ворот. Между тем пора было ужинать, и, прежде чем пройти вместе с Дон Кихотом в отведенное им помещение, Санчо спросил хозяина, что он может предложить им на ужин. На это хозяин ответил ему в таком роде: все, что, мол, их душе угодно, что хотят, то пусть, мол, и спрашивают, ибо сей постоянный двор снабжен и птичками небесными, и птицею домашнею, и рыбами морскими.

– Так много нам не требуется, – заметил Санчо, – нас вполне удовлетворит пара жареных цыплят, потому у господина моего натура деликатная и кушает он мало, да и я не какой-нибудь там обжора.

Хозяин сказал, что цыплят он предложить не может, оттого что их у него задрали коршуны.

– Ну так прикажите, сеньор хозяин, зажарить курочку, какую пожирнее, – сказал Санчо.

– Курочку? Ах ты, господи! – вскричал хозяин. – Даю вам слово, я вчера отослал на продажу в город более полсотни кур, а кроме кур, требуйте, ваша милость, чего хотите.

– В таком разе у вас, уж верно, найдется телятина или козлятина, – продолжал Санчо.

– В настоящее время и то и другое кончилось: во всем доме не найдете, – отвечал хозяин, – зато на следующей неделе будет сколько угодно.

– Хорошенькое дело! – заметил Санчо. – Впрочем, я побьюсь об заклад, что коли всего этого у вас нехватка, зато сала и яиц предостаточно.

– Клянусь богом, сеньор проезжающий отличается завидной настойчивостью! – воскликнул хозяин. – Я же вам только что сказал, что у меня нет ни цыплят, ни кур, так откуда же возьмутся яйца? Переведите разговор, если вам угодно, на другие лакомства, но давайте забудем о птичьем молоке.

– К делу, черт побери! – объявил Санчо. – Скажите наконец, сеньор хозяин, что у вас есть, и давайте совсем прекратим этот разговор.

Хозяин на это сказал:

– Что я воистину и вправду могу предложить вам, так это пару коровьих копыт, смахивающих на телячьи ножки, или, вернее, пару телячьих ножек, смахивающих на коровьи копыта; они уже сварены с горохом, приправлены луком и салом, и вид у них такой, словно они хотят сказать: «Скушайте нас! Скушайте нас!»

– Я беру их себе, – объявил Санчо, – и пусть никто к ним не притрагивается; заплачу я

за них лучше всякого другого, потому это самое любимое мое блюдо, а будут ли то копыта или ножки – это мне безразлично.

– Никто к ним не притронется, – сказал хозяин, – прочие мои постояльцы всё люди знатные, у них свои повара, экономы и свои припасы.

– Ну; по части знатности никто моего господина не перещеголяет, – возразил Санчо, – вот только служба его не позволяет ему возить с собой погребцы да припасы: мы располагаемся с ним прямо на лужайке и подкрепляемся желудями или кизилем.

Такую беседу вели между собой Санчо и хозяин постоялого двора; Санчо, однако ж, не захотел ее продолжать и не ответил на вопрос о том, чем занимается и где подвизается его господин. Итак, наступил час ужина, Дон Кихот проследовал в свою комнату, хозяин принес туда заказанное блюдо, и Дон Кихот с весьма решительным видом тотчас к нему приступил. Но в это самое время из соседней комнаты, которая была отделена от этой всего лишь тонкой перегородкой, до слуха Дон Кихота донеслись такие слова:

– Пожалуйста, сеньор дон Хербнимо, пока нам не подали ужин, давайте прочтем еще одну главу из второй части *Дон Кихота Ламанчского*.

Услыхав свое имя, Дон Кихот тотчас вскочил, напряг все свое внимание, и слуха его достигнул ответ вышеназванного дона Херонимо:

– Ну к чему нам, сеньор дон Хуан, читать такие нелепости? Ведь у всякого, кто читал первую часть истории *Дон Кихота Ламанчского*, должна пропасть охота читать вторую.

– Со всем тем, – возразил дон Хуан, – прочитать ее не мешает, оттого что нет такой плохой книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего. Мне лично больше всего не нравится, что во второй части Дон Кихот разлюбил Дульсинею Тобосскую<sup>1</sup>.

Услышав это, Дон Кихот преисполнился гнева и негодования и, возвысив голос, сказал:

– Всякому, кто осмелится утверждать, что Дон Кихот Ламанчский забыл или же способен забыть Дульсинею Тобосскую, я докажу в единоборстве, на условиях равного оружия, сколь далек он от истины, ибо несравненная Дульсинея Тобосская не может быть забыта, равно как и Дон Кихот Ламанчский не может впасть в забывчивость: его девиз – постоянство, а его призвание – выказывать свое постоянство без назойливости и не насилуя себя.

– Кто это нам отвечает? – спросили из другой комнаты.

– Кто же еще, как не сам Дон Кихот Ламанчский? – крикнул Санчо. – И он вам сумеет доказать, что он прав во всем, что сказал сейчас, и во всем, что еще когда-нибудь скажет, потому исправному плательщику залог не страшен.

Только успел Санчо вымолвить это, как дверь открылась и вошли два человека, по виду – кавалеро, из коих один, заключив Дон Кихота в объятия, молвил:

– Ваша наружность удостоверяет ваше имя, имя же ваше не вступает в противоречие с вашей наружностью: вне всякого сомнения, вы, сеньор, и есть подлинный Дон Кихот Ламанчский, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, существующий вопреки и наперекор тому, кто вознамерился похитить ваше имя и развенчать ваши подвиги, а именно автору вот этой самой книги.

Тут он взял у своего приятеля книгу и передал Дон Кихоту; Дон Кихот молча стал ее перелистывать и, весьма скоро возвратив, молвил:

– Я просмотрел немного, однако уже успел заметить три вещи, достойные порицания: это, во-первых, некоторые выражения в прологе, во-вторых, то, что книга написана на арагонском наречии, с пропуском некоторых частей речи, в-третьих, – и это особенно явно выдает невежество автора, – он путается и сбивается с толку в одном весьма важном пункте: он объявляет, что жену моего оруженосца Санчо Пансы зовут Мари Гутьеррес, на самом же деле ее зовут совсем не так: ее зовут Тересой Панса, а кто путает такие важные вещи, от того можно ожидать, что он перепутает и все остальное.

---

<sup>1</sup> *Дон Кихот разлюбил Дульсинею Тобосскую.* – У Авельянеды, автора подложной второй части «Дон Кихота», герой, утратив всякую надежду на расколдование Дульсинеи, отрекается от нее и присваивает себе прозвище «Рыцаря без любви».

Тут вмещался Санчо:

– Нечего сказать, правдивый повествователь! Хорошо же, значит, осведомлен он о наших делах, коли жену мою Тересу Панса величает Мари Гутьеррес! Возьмите-ка, сеньор, еще разок эту книжку и поглядите, не действую ли в ней и я и не переверано ли там и мое имя.

– Судя по твоим словам, друг мой, ты, верно уж, Санчо Панса, оруженосец сеньора Дон Кихота? – спросил дон Херонимо.

– Да, это я, – подтвердил Санчо, – и горжусь этим.

– Можешь мне поверить, – сказал кавальеро, – что этот новый автор изображает тебя вовсе не таким приятным, каким ты нам кажешься: он выдает тебя за обжору, простака, и притом отнюдь не забавного – словом, нимало не похожего на того Санчо, который описан в первой части истории твоего господина.

– Бог ему судья, – заметил Санчо. – Лучше бы оставил он меня в покое и позабыл обо мне: было бы корыто – свиньи-то найдутся, а мое дело сторона.

Оба кавальеро пригласили Дон Кихота к себе в комнату вместе отужинать: им-де хорошо известно, что на постоялом дворе нельзя найти кушаний, достойных его особы. Дон Кихот по свойственной ему учтивости принял их предложение и отужинал с ними; Санчо благодаря этому получил телячьи ножки в полное свое распоряжение; он сел на почетное место, а к нему присоединился хозяин, который был не меньшим, чем Санчо, охотником до ножек и до копыт.

За ужином дон Хуан спросил Дон Кихота, что слышно о сеньоре Дульсинее Тобосской: не вышла ли она замуж, не родила ли, не забеременела ли, а если осталась непорочной, то хранит ли в своей скромной и целомудренной памяти любовные мечтания сеньора Дон Кихота. Дон Кихот же ему на это ответил так:



– Дульсинея осталась непорочной, мечтания мои – упорнее, чем когда бы то ни было, отношения наши по-прежнему отличаются сдержанностью, прекрасная же ее наружность

превращена в наружность грубой сельчанки.

И тут он им рассказал во всех подробностях о том, как сеньора Дульсинея была заколдована, о том, что с ним произошло в пещере Монтесиноса, а равно и о том, что мудрый Мерлин велел сделать, дабы расколдовать Дульсинею, то есть о порке, коей должен был себя подвергнуть Санчо. Изрядно было то удовольствие, какое получили оба кавальеро, слушая рассказ Дон Кихота о необычайных его похождениях, и их приводили в равное изумление как самые его бредни, так и его изящная манера изложения. Они уже совсем готовы были признать его за человека здравомыслящего, как вдруг у него снова начал заходить ум за разум, и они всё не могли определить, к какому разряду скорее можно его отнести: к разряду людей здравомыслящих или помешанных.

Между тем Санчо тотчас после ужина покинул хозяина, находившегося в состоянии сильного подпития, и, проследовав в соседнюю комнату, объявил:

– Убейте меня, сеньоры, если автор этой книги, которую ваши милости привезли с собой, не желает со мной рассориться. Ну пусть он назвал меня объедалой, так хоть бы уж пьянчугой-то не называл.

– Как же, он и это говорит о тебе, – сказал дон Херонимо, – не помню, правда, в каких именно выражениях, – одно могу сказать, что говорит он о тебе вещи предосудительные, да к тому же еще и неверные, сколько я могу судить по физиономии того доброго Санчо, который находится сейчас передо мной.

– Поверьте, ваши милости, – сказал Санчо, – что в этой истории Санчо и Дон Кихот, должно полагать, изображены совсем не такими, какими нас представил в книге своего сочинения Сид Ахмет Бен-инхали и каковы мы и есть в жизни: мой господин выведен у Сид а Ахмета человеком отважным, мудрым и, кроме того, пылким влюбленным, я же – простодушным и забавным, а вовсе не пьяницей и не обжорой.

– Я с тобой согласен, – объявил дон Хуан. – Если б только это было возможно, следовало бы воспретить писать что-либо о великом Дон Кихоте всем, кроме первого его жизнеописателя, Сиды Ахмета, подобно как Александр Македонский воспретил изображать себя всем художникам за исключением Апеллеса.

– Пусть меня изображает, кто хочет, – заметил Дон Кихот, – но только пусть не искажает, потому что когда тебя оскорбляют на каждом шагу, так тут невольно потеряешь всякое терпение.

– Нет такого оскорбления, – возразил дон Хуан, – за которое сеньор Дон Кихот не сумел бы отомстить, если только оно не разобьется о щит его терпения, щит же этот, сколько я понимаю, велик и крепок.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи, и сколько ни старался дон Хуан, чтоб Дон Кихот еще разок заглянул в книгу и на сей предмет поразглагольствовал, однако ж упорство Дон Кихота нельзя было сломить: он отговаривался тем, что, в сущности, уже читал ее, что книжка дурацкая и он опасается, как бы автор, случайно узнав, что он, Дон Кихот, держал ее в руках, не обрадовался и не подумал, что он ее читал, от вещей же непристойных и безобразных должно отвращать помыслы, а тем паче взоры. Его спросили, куда именно он направляет путь. Он ответил, что в Сарагосу, для участия в турнире с призами, который в том городе устраивается ежегодно. Дон Хуан заметил, что в этой новой книге рассказывается, как Дон Кихот, или, вернее, кто-то другой под его именем, участвовал на таком турнире в скачках с кольцами – турнире, скудно обставленном, с жалкими девизами и с еще более жалкими нарядами, но зато изобиловавшем всякими глупостями.

– В таком случае, – объявил Дон Кихот, – ноги моей не будет в Сарагосе, – тем самым я выведу на свежую воду этого новоявленного лживого повествователя, и тогда все увидят, что Дон Кихот, которого изобразил он, это не я.

– Отлично сделаете, – заметил дон Херонимо, – тем более что будет еще один турнир, в Барселоне: там сеньор Дон Кихот с не меньшим успехом может выказать свою доблесть.

– Так я и сделаю, – объявил Дон Кихот. – А теперь попрошу у ваших милостей



позволения удалиться: мне пора на покой. Еще я прошу вас записать и занести меня в число ваших самых преданных друзей и слуг.

– И меня также, – присовокупил Санчо. – Может, и я на что-нибудь пригожусь.

На этом они расстались: Дон Кихот и Санчо ушли к себе, дон Хуан же и дон Херонимо долго еще дивились этому смешению здравомыслия и безумия, и у них не оставалось сомнений, что они видели настоящих Дон Кихота и Санчо, а не тех, кого описывал арагонский сочинитель.

Наутро Дон Кихот встал пораньше и, постучав в перегородку соседней комнаты, попрощался с кавальеро, у которых он вчера вечером был в гостях. Санчо весьма щедро расплатился с хозяином и посоветовал ему, чтобы он поменьше расхваливал припасы своего заведения или уж получше его таковыми снабжал.

## Глава LX

*О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону*

Утро выдалось прохладное, и день обещал быть точно таким же, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, предварительно осведомившись, какая дорога ведет прямо в Барселону, минуя Сарагосу, – так хотелось ему уличить во лжи нового повествователя, который, как ему говорили, его оболгал. И за целых шесть дней с ним не произошло ничего такого, что заслуживало бы описания, по истечении же таковых его застигла ночь в стороне от большой дороги, в чаще дубового леса, а какие то были дубы, простые или же пробковые, по сему поводу Сид Ахмет против обыкновения не дает точных указаний.

Господин и слуга спешили и расположились под деревьями, после чего Санчо, успевший в тот день хорошенько подзакусить, мгновенно юркнул в ворота сна, зато Дон Кихот, коему не столько голод не давал спать, сколько его думы, никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился в места самые разнообразные. То ему представлялось, будто он находится в пещере Монтесиноса, то чудилось ему, будто превращенная в сельчанку Дульсинея подпрыгивает и вскакивает на ослицу, то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, излагавшего условия и способы расколдования Дульсинеи. Его приводили в отчаяние нерадение и бессердечие оруженосца Санчо, который, сколько Дон Кихоту было известно, нанес себе всего лишь пять ударов, то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бесчисленным числом ударов, которые ему еще оставалось себе нанести. И мысль эта привела Дон Кихота в такое беспокойство и раздражение, что он начал сам с собой рассуждать:

«Александр Великий разрубил гордиев узел со словами: „Что разрубить, что развязать – все едино“, и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей Азии, следовательно, не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием Дульсинеи, если я, вопреки желанию самого Санчо, его отхлещу. Единственное условие этого предприятия заключается в том, чтобы Санчо получил три тысячи с лишним ударов, а коли так, то не все ли мне равно, кто их ему нанесет: он сам или же кто-то другой? Важно, чтоб он их получил, а как это произойдет – меня не касается».

С этою целью, захвативши Росинантову узду и сложивши ее таким образом, чтобы можно было ею хлестать, он приблизился к Санчо и начал расстегивать ему помочи, вернее одну переднюю пуговицу, на которой только и держались его шаровары. Но едва лишь Дон Кихот дотронулся до Санчо, как с того мгновенно соскочил сон.

– Что это? – спросил Санчо. – Кто меня трогает и раздевает?

– Это я, – отвечал Дон Кихот, – я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку: я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе хотя бы частично выполнить твоё обязательство. Дульсинея гибнет, ты никаких мер не принимаешь, я умираю от любви к ней, так вот изволь по собственному желанию снять штаны, ибо мое желание состоит в том, чтобы отсчитать тебе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов.

– Ну уж нет, – отозвался Санчо, – успокойтесь, ваша милость, а не то, истинный бог, я за себя не ручаюсь. Удары, которые я обязался себе отсчитать, должны быть добровольными, а не насильственными, а сейчас мне совсем не хочется себя хлестать. Я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя, когда мне придет охота, и будет с вас.

– Нельзя полагаться на твою любезность, Санчо, – возразил Дон Кихот, – оттого что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и деревенщина, нежное.

И по сему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны; в конце концов Санчо вскочил, бросился на своего господина, сцепился с ним и, давши ему подножку, повалил наземь; засим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так, что Дон Кихот не мог ни повернуться, ни вздохнуть.

– Как, предатель? – кричал Дон Кихот. – Ты восстаешь на своего господина и природного сеньора? Ты посягаешь на того, кто тебя кормит?

– Я не свергаю и не возвожу на престол королей<sup>1</sup>, – отвечал Санчо, – я спасаю себя, потому я сам себе сеньор. Обещайте, ваша милость, вести себя смиренно и не приставать ко мне с поркой, тогда я вас освобожу и отпущу, а коли нет, то –

Здесь ты и умрешь, изменни,<sup>2</sup>  
Доньи Санчи враг заклятый.

Дон Кихот дал обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив бичевание доброй воле его и хотению. Санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние; когда же он вознамерился прикорннуть под другим деревом, то почувствовал, что кто-то словно коснулся его головы; он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха; он бросился еще к одному дереву, но и тут с ним произошло то же самое. Он позвал на помощь Дон Кихота. Дон Кихот явился, и на вопрос, что случилось и чего он так испугался, Санчо ответил, что здесь все деревья увешаны человеческими ногами. Дон Кихот ощупал деревья и, тотчас догадавшись, что это такое, сказал Санчо:

– Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты осязаешь, хотя и не видишь, принадлежат, разумеется, злодеям и разбойникам, на этих деревьях повешенным: власти, когда изловят их, обыкновенно вешают именно здесь, по двадцать, по тридцать человек сразу. Из этого я заключаю, что мы недалеко от Барселоны<sup>3</sup>.

И точно, предположение Дон Кихота оказалось справедливым.

Когда на небе загорелась заря, путники обратили взоры свои вверх и увидели, что на деревьях гроздьями висят тела разбойников. Между тем становилось все светлее и светлее, и если сначала их ужаснули мертвецы, то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников, которые внезапно их окружили и на каталонском языке приказали им стоять смиренно и не двигаться с места до тех пор, пока не прибудет атаман. Дон

---

<sup>1</sup> *Я не свергаю и не возвожу на престол королей...* – поговорка, обязанная своим происхождением старинному романсу, в котором рассказывается о том, как испанский король Педро Жестокий (1350–1369) вступил в поединок со своим братом Энрике и был повержен им наземь. Энрике призвал на помощь Бертрана Клакена (Дюгеклена), французского военачальника, в палатке которого все это происходило и который при этом воскликнул: «Я не низлагаю и не возвожу на престол короля, я только помогаю моему господину как верный слуга.

<sup>2</sup> *Здесь ты и умрешь, изменник...* – строки из старинного романса.

<sup>3</sup> *...мы недалеко от Барселоны.* – В те времена Барселона и ее окрестности постоянно подвергались нападениям разбойничьих шаек. Несмотря на ликвидацию феодальных отношений, крупные каталонские землевладельцы, не мирясь с новым положением, продолжали требовать от крестьян выполнения феодальных повинностей. Для борьбы с крестьянами, противившимися феодальной эксплуатации, по указу каталонского вице-короля в 1602 г. была создана милиция под названием «Союз», основной задачей которой была борьба с упомянутыми разбойничьими шайками. Это привело к настоящей гражданской войне, так как милиция, набиравшаяся из народа, нередко обращала свое оружие против сеньоров. Во время развернувшейся гражданской войны одни назывались «ниеррами», а другие – «каделлями». Вожаком одного из таких отрядов был упоминаемый здесь Роке Гинарт, сын крестьянина.

Кихот был пеш, конь его был разнуздан, копьё прислонено к дереву – словом, он был беззащитен, а потому рассудил за благо, приберегая силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельств, сложить руки и склонить голову.

Разбойники поспешили обыскать осла и забрать все, что находилось в переметной суме, а равно и в чемодане, но, к счастью для Санчо, деньги, которые ему подарил герцог, вместе с теми, которые он взял с собой, отправляясь из родного села в поход, были спрятаны у него в поясе. И все же эти люди не преминули бы ощупать его с головы до ног, чтобы удостовериться, нет ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, когда бы в это самое время не подоспел атаман; ему можно было дать года тридцать четыре, росту он был выше среднего, широк в плечах, с виду сумрачен, лицом смугл. Под ним был могучий конь, одет он был в стальную кольчугу, по бокам у него висели четыре пистолета (такие пистолеты в тех краях носят название кремневики). Увидев, что его *оруженосцы*, как обыкновенно называют людей, избравших себе таковой род занятий, намереваются грабить Санчо Пансу, он велел не трогать его, и они тотчас повиновались; так был спасен пояс с деньгами. Атаман пришел в изумление при виде копья, которое было прислонено к дереву, щита, лежавшего на земле, и облаченного в доспехи самого Дон Кихота, о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица, точно он был олицетворенная печаль. Приблизившись к нему, атаман заговорил:

– Не печальтесь, добрый человек: вы попали не к какому-нибудь свирепому Озирису<sup>1</sup>, а к Роке Гинарту, который не столько жесток, сколько милосерд.

– Печаль моя, – отвечал Дон Кихот, – вызвана не тем, что я оказался в твоей власти, доблестный Роке Гинарт, коего слава в этом мире не знает предела, но тем, что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоим воинам, меж тем как по уставу странствующего рыцарства, к ордену которого я принадлежу, мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги, быть всечасным стражем самого себя. Да будет ведомо тебе, великий Роке, что если бы воины твои напали на меня, когда подо мною был конь и при мне находились копьё и щит, им не так-то легко было бы со мною справиться, ибо я – Дон Кихот Ламанчский, славою о подвигах коего полнится вся земля.

Тут Роке Гинарт догадался, что Дон Кихот прежде всего безумец, а потом уже храбрец, и хотя ему приходилось о нем слышать, однако ж деяниям его он не верил и не допускал мысли, чтобы такая блажь способна была овладеть человеческим сердцем; и он был чрезвычайно рад этой встрече, ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то, о чем до него издали доносили слухи; обратился же он к Дон Кихоту с такими словами:

– Доблестный рыцарь! Не гневайтесь и участь свою не почитайте злою: может статься, что в этих-то ухабах извилистый жребий ваш как раз и выпрямится, ибо провидение поднимает падших и обогащает бедных путями необыкновенными, невиданными и неисповедимыми.

Не успел Дон Кихот поблагодарить его, как сзади послышался такой громкий топот, точно скакал табун лошадей, между тем это был только один конь, на котором бешено мчался юноша лет двадцати, в зеленом шелковом камзоле с золотыми позументами, в шароварах и кафтанчике, в шляпе, на валлонский манер, с перьями, в узких проволоченных сапогах, с золоченою шпагою, кинжалом и шпорами, с маленьким мушкетом в руке и с парюю пистолетов у пояса. Роке оглянулся на шум и увидел прекрасного этого всадника, всадник же, приблизившись к нему, заговорил:

– Я приехала к тебе, доблестный Роке, не за тем, чтобы ты избавил меня от моей недоли, но затем, чтобы ты облегчил мою участь. А чтобы разрешить твое недоумение, – я вижу, ты меня не узнаешь, – я тебе сейчас скажу, кто я такая: я Клаудия Хербнима, дочь Симона Форте, находящегося в тесной дружбе с тобой и в непримиримой вражде с Клаукелем Торрельясом, который является также и твоим врагом, потому что принадлежит к враждебному тебе лагерю. Ты, конечно, знаешь, что у этого Торрельяса есть сын, дон

---

<sup>1</sup> *Озирис (миф.)* – египетский бог, которого Роке Гинарт смешивает с Бузирисом, легендарным сицилийским тираном.

Висенте Торрельяс, – так, по крайней мере, он звался еще два часа назад. Чтобы сократить повесть о моем горе, я в немногих словах расскажу тебе, какое именно горе причинил мне этот человек. Мы с ним встретились, он изъяснился мне в любви, я ему поверила и, втайне от моего отца, полюбила его: должно заметить, что нет на свете такой женщины, хотя бы она была самых строгих правил и самого скромного поведения, у которой, однако ж, с избытком недостало бы времени, чтобы осуществить и исполнить пламенные свои желания. В конце концов он обещал на мне жениться, я также поклялась быть его супругой, но дальше слов мы, однако, не пошли. И вот вчера я узнала, что, позабыв о своем долге предо мною, он женится на другой и что сегодня утром надлежит быть их свадьбе, от какового известия кровь бросилась мне в голову и я перестала владеть собой, а как отец мой находится в отъезде, то я смогла надеть на себя вот это самое платье, пустила коня во весь опор, нагнала дону Висенте на расстоянии одной мили отсюда и, не тратя времени на жалобы и не слушая его оправданий, выстрелила из мушкета, а затем еще из обоих этих пистолетов, и, всадив в него, как мне кажется, не менее двух пуль, отворила врата, чрез которые, омытая его кровью, возвратилась ко мне моя честь. С ним остались его слуги, – они не посмели и не смогли защитить его. А я – я поехала к тебе затем, чтобы ты помог мне переправиться во Францию, где у меня есть родные, у которых я найду себе пристанище, и еще я прошу тебя взять под свое покровительство моего отца, чтобы многочисленная родня дона Висенте не осмелилась жестоко мстить ему.

Дивясь статности, пышности наряда, пригожеству, а равно и самому приключению прелестной Клаудии, Роке сказал:

– Послушай, сеньора: прежде надобно удостовериться, подлинно ль умер твой недруг, а потом уж решим, как быть с тобой.

Дон Кихот, со вниманием выслушав рассказ Клаудии и ответ Роке Гинарта, молвил:

– Пусть никто не трудится защищать сеньору, – я беру это на себя. Дайте мне моего коня, оружие и ждите меня здесь: я поеду к этому рыцарю и, живого или мертвого, заставлю его исполнить обещание, данное этой красавице.

– Можете не сомневаться, что так оно и будет, – заметил Санчо, – у моего господина прелегкая рука по части сватовства: на днях он склонил на брак другого такого голубчика, который тоже отрекся от своего слова и изменил своей невесте, и если б только волшебники, преследующие моего господина, не превратили лицо этого человека в лицо лакея, то теперь бы уж эта девушка была замужней женщиной.

Роке Гинарта более занимали мысли о происшествии с прелестной Клаудией, нежели речи господина и слуги, а потому он и не слушал их; велев своим *оруженосцам* отдать Санчо все, что они сняли с серого, и перейти на то место, где они провели минувшую ночь, он вместе с Клаудией поспешил на поиски то ли раненого, то ли убитого дона Висенте. Они прибыли туда, где Клаудия его встретила, и не нашли ничего, кроме следов недавно пролитой крови; однако, оглядевшись по сторонам и заметив, что по склону холма движутся люди, они предположили (какое их предположение соответствовало истине), что это слуги дона Висенте несут своего господина, то ли мертвого, то ли живого, чтобы вылечить его, а может статься, чтобы похоронить; путники наши тотчас припустили коней за ними вдогонку, а как слуги дона Висенте шли медленно, то им без труда удалось их настигнуть. Слуги несли дону Висенте на руках, и он слабым, прерывающимся голосом молил их оставить его умереть здесь, оттого что боль от ран не позволяла ему двигаться дальше.

Клаудия и Роке, соскочив с коней, приблизились к нему; появление Роке напугало слуг, Клаудия же была потрясена видом дона Висенте; с участливым и вместе суровым выражением лица склонилась она над ним и, взяв его за руку, молвила:

– Если б ты отдал мне свою руку, как было между нами условлено, твой жребий был бы иной.

Раненый кавальеро открыл свои почти уже закрывшиеся очи и, узнав Клаудию, заговорил:

– Я знаю, прекрасная и обманутая сеньора, что это ты умертвила меня, хотя эта кара

мною не заслужена и не вызвана ни намерениями моими, ни моими поступками, ибо я ничем тебя не оскорбил, да и не хотел оскорбить.

– А разве у тебя не было намерения обвенчаться нынче утром с Леонорой, дочерью богача Бальвастро? – спросила Клаудия.

– Разумеется, что не было, – отвечал дон Висенте. – Видно, такая уж моя злая доля, что слуха твоего достигла ложная эта весть и ты из ревности лишила меня жизни, – впрочем, расставаясь с жизнью на твоих руках и в твоих объятиях, я почитаю удел мой счастливым. А чтобы тебе в том увериться, пожми мою руку и, если хочешь, будь моею супругой, – большего удовлетворения за обиду, которую я будто бы тебе причинил, я дать не могу.

Клаудия сжала ему руку, и при этом у нее самой так сжалось сердце, что она без чувств упала на окровавленную грудь дона Висенте, а у дона Висенте уже началась агония. Роке находился в смятении и не знал, что предпринять. Слуги бросились за водой и сбрызнули дона Висенте и Клаудию. Клаудия очнулась, но дон Висенте уже не пришел в себя, ибо жизнь от него отлетела. Тогда Клаудия, уразумев, что любезного супруга ее уже нет в живых, огласила воздух стенаниями, потрясла небо своими жалобами, распустила волосы и стала их рвать, стала царапать себе лицо, и вся она была полна такой бесконечной скорби и муки, ничего сильнее которой не могла бы испытать ни одна страждущая душа в мире.

– О жестокая и безрассудная женщина! – восклицала Клаудия. – С какою легкостью привела ты преступный свой замысел в исполнение! О бешеная сила ревности! К какому губительному пределу влечешь ты всех, кто дал тебе приют в своем сердце! О мой супруг! Ты был моим сокровищем, но завистливый рок уготовал тебе вместо брачного ложа могилу!

Столь продолжительны и столь печальны были сетования Клаудии, что слезы навернулись даже на глазах у Роке, который ни при каких обстоятельствах обыкновенно не проливал их. Слуги плакали, Клаудия беспрестанно теряла сознание, и вся эта местность словно превратилась в юдоль плача и обитель горести. Наконец Роке Гинарт велел слугам дона Висенте отнести покойника в деревню его отца, находившуюся неподалеку, и там похоронить. Клаудия сказала Роке, что ее тетка – настоятельница одного из женских монастырей и что она, Клаудия, желает поступить в этот монастырь и там окончить дни свои, ожидая иного жениха, прекраснейшего и бессмертного. Роке одобрил ее намерение, предложил проводить, куда ей надобно, и обещал в случае чего защитить ее отца от родни дона Висенте, а равно и от всех, кто только попытается причинить ему зло. Клаудия наотрез отказалась от проводов и, в самых учтивых выражениях поблагодарив Роке за его готовность помочь ей, вся в слезах с ним простилась. Слуги дона Висенте унесли его тело, а Роке возвратился к своим молодцам. Таков был конец любви Клаудии Херонимы, но что же в том удивительного, коль скоро ткань печальной ее истории была соткана неодолимою и жестокою рукою ревности?

Роке Гинарт встретился со своими *оруженосцами* в условленном месте, с ними был и Дон Кихот: сидя верхом на Росинанте, он держал к ним речь и уговаривал бросить ту жизнь, какую они вели, равно опасную как для души, так и для тела; однако же большинство этой шайки составляли гасконцы, народ грубый и распущенный, а потому речь Дон Кихота оказала на них слабое действие. По приезде своем Роке осведомился у Санчо Пансы, возвращены ли и отданы ли ему все те сокровища и драгоценности, которые были сняты его, Роке Гинарта, людьми с серого. Санчо ответил утвердительно, – не хватает, мол, только трех козынок, таких дорогих, что на них можно выменять три города.

– Что ты, чудак человек, болтаешь? – вмешался один из разбойников. – Косынки у меня, и красная им цена – три реала.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – однако мой оруженосец весьма дорожит ими из уважения к особе, которая мне их подарила.

Роке Гинарт распорядился немедленно возвратить их Санчо, а затем, выстроив людей своих в ряд, велел им выложить одежду, драгоценности, деньги – словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи; он быстро произвел оценку и, переведя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто

состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно, ни на йоту не уклонившись от дистрибутивного права и ни в чем против него не погрешив. После того как все были удовлетворены, убогадворены и вознаграждены, Роке, обратись к Дон Кихоту, пояснил:

– Если не проявлять такой точности, с ними невозможно было бы ужиться.

На это Санчо заметил:

– Судя по тому, что я сейчас видел, справедливость – такая хорошая вещь, что ее и с ворами соблюдать должно.

Один из *оруженосцев* это услышал и замахнулся на Санчо прикладом своей аркебузы, каковым он, без сомнения, проломил бы ему голову, когда бы Роке Гинарт не остановил его окриком. Санчо обомлел и дал себе слово не раскрывать рта, пока будет находиться в обществе этих людей.

В это самое время прибежал то ли один, то ли сразу несколько *оруженосцев*, которых ставят, как часовых, на дорогах, чтобы они следили за прохожим и проезжим людом и обо всем докладывали своему главарю, и кто-то из них сказал:

– Сеньор! Невдалеке, на Барселонской дороге, показалось много народу.

Роке его спросил:

– А ты не разглядел, какие это люди: из числа тех, что охотятся за нами, или же из числа тех, за кем охотимся мы?

– Из числа тех, за кем охотимся мы, – отвечал *оруженосец*.

– В таком случае выступайте все, – приказал Роке, – и как можно скорей приведите их сюда, да глядите, чтобы никто из них не ускользнул.

Разбойники ушли, а Дон Кихот, Санчо и Роке стали ждать, кого они приведут, и Роке обратился к Дон Кихоту с такими словами:

– Необычайными должны были показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, наши похождения, наши приключения, – необычайными и опасными, и это меня не удивляет, я и сам сознаю, что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями, нежели наш. Меня на это толкнула неутолимая жажда мести, а ведь эта жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные: от природы я человек отзывчивый и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей, что я вопреки и наперекор рассудку закоренел в этой своей страсти, а как одна бездна влечет за собой другую и один грех влечет за собою другой, то мстительные мои деяния до того переплелись, что ныне я мщу уже не только за свои, но и за чужие грехи. Однако, по милости божией, я хоть и запутался в лабиринте моего смятения, а все не теряю надежды из него выбраться и достигнуть тихого пристанища.

С удивлением слушал Дон Кихот благие и разумные слова Роке, – прежде он был уверен, что среди тех, кто занимается грабежом, убийством и разбоем, нельзя найти человека, способного здраво рассуждать, и повел он с атаманом такую речь:

– Сеньор Роке! Знание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом, – это уже начало выздоровления: вы, ваша милость, больны, знаете свой недуг, и небо, или, лучше сказать, господь бог, который является нашим врачом, назначит вам лекарства, от коих вы поправитесь, – лекарства, исцеляющие постепенно, но не вдруг и не чудом. К тому же грешники разумные ближе к исправлению, чем неразумные, а как ваша милость выказала в своих речах мудрость, то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей. Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною: я научу вас быть странствующим рыцарем, – странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и злоключений, что, являясь для него покаянием, они приводят его прямо в рай.

Выслушав совет Дон Кихота, Роке усмехнулся и, переменив разговор, рассказал трагическую историю Клаудии Херонимы, чем крайне расстроил Санчо, на которого произвели сильное впечатление красота, смелость и решительность девушки.

Тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух

всадников верхом на мулах, двух пеших паломников, карету, в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг, пеших и конных, и, наконец, двух погонщиков, которых взяли себе в услужение всадники. Разбойники оцепили их всех, при этом и побежденные и победители хранили совершенное молчание, ожидая, что скажет, сам Роке Гинарт, атаман же спросил всадников, что они за люди, куда путь держат и сколько у них с собой денег. На это ему один из всадников ответил так:

– Сеньор! Мы оба – офицеры испанской пехоты, части наши стоят в Неаполе, мы же направляемся в Барселону, откуда, сколько нам известно, должны отойти галеры в Сицилию. Денег у нас не то двести, не то триста эскудо, и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой: ведь солдаты обыкновенно настолько бедны, что о больших сокровищах и мечтать не смеют.

С теми же самыми вопросами обратился Роке к паломникам, – они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих, пожалуй, наберется реалов шестьдесят. Затем Роке осведомился, кто едет в карете, куда именно и сколько везут с собой денег, на что один из конных слуг ответил так:

– В карете едет моя госпожа донья Гьомар де Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею малолетняя ее дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

– Таким образом, – рассудил Роке Гинарт, – у нас здесь всего девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, людей же у меня около шестидесяти. Проверим, сколько придется на брата, а то ведь я счетчик неважный.

Тут грабители дружно воскликнули:

– Много лет здравствовать Роке Гинарту на горе всем негодьям, что ищут его погибели!

Офицеры были, по-видимому, удручены, жена верховного судьи опечалилась, да и паломники отнюдь не возвеселились, узнав, что денежные средства будут у них отобраны. С минуту Роке держал их всех в состоянии мучительной неизвестности, затем, решившись не томить их долее, – а томление было написано на их лицах, – обратился к офицерам и снова заговорил:

– Господа офицеры! Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, шестьдесят эскудо, а у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, так мои люди будут удовлетворены, – ведь вы сами знаете: поп тем и живет, что молитвы поет, – а засим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь: я вам выдам охранную грамоту, чтобы в случае, если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов, разбросанных по всей округе, он вас не трогал, ибо чинить обиды воинам, а равно и женщинам, тем паче – женщинам благородным, не входит в мои намерения.

Офицеры без конца и в самых изысканных выражениях благодарили Роке за то, что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги. Сеньора донья Гьомар де Киньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руки и ноги, но он этому решительно воспротивился, более того: он попросил у нее прощения за ту неприятность, которую он вынужден был причинить ей, ибо того требовало несчастное его ремесло. Супруга верховного судьи велела одному из слуг своих немедленно выдать причитавшиеся с нее восемьдесят эскудо, офицеры же отсчитали шестьдесят. Паломники также готовы были расстаться с жалкими своими грошами, но Роке сказал, чтобы они не беспокоились, а затем, обратясь к своим людям, распорядился:

– Каждый из вас получит из этих денег по два эскудо, остается двадцать: десять из них мы отдадим паломникам, а остальные десять – славному спутнику этого рыцаря, чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение.

Когда Роке подали письменные принадлежности, которые он всюду возил с собой, он составил охранную грамоту на имя главарей всех своих отрядов, а затем, попросившись с пленниками, отпустил их с миром, они же не могли надивиться его благородству, величественной наружности и необычности поведения, что делало его похожим скорее на

Александра Великого, нежели на знаменитого разбойника. Один из *оруженосцев* заметил на своем гасконско-каталонском наречии:

– Нашему атаману монахом быть, а не разбойником. Если он и дальше будет проявлять такую же щедрость, то пусть делает это за свой, а не за наш счет.

Несчастный произнес эти слова не настолько тихо, чтобы Роке не мог его услышать, – выхватив меч, атаман рассек ему голову надвое и сказал:

– Вот как я наказываю наглецов, которые распускают язык.

Все замерли, и ни один разбойник не посмел проронить ни слова: так боялись они своего атамана.

Роке отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю, в коем уведомлял его о том, что сейчас у него находится достославный Дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько существует рассказов, доводил до его сведения, что это самый занятный и самый здравомыслящий человек на свете и что через несколько дней, а именно в день святого Иоанна Крестителя, он, Роке, доставит его в полном вооружении, верхом на Росинанте, на барселонскую набережную, а вместе с ним и его оруженосца Санчо Пансу верхом на осле, и просил дать знать об этом своим друзьям Ньярам, чтобы они повеселились; далее Роке признавался, что хотел бы лишиться этого удовольствия своих врагов Каделлей, но это-де невозможно, оттого что сумасбродство и благоразумие Дон Кихота, равно как и остроты его оруженосца Санчо Пансы, не могут не послужить развлечением всему свету. Роке отдал это письмо одному из своих *оруженосцев* и тот, сменив разбойничье платье на крестьянское, пробрался в Барселону и вручил письмо по назначению.

## Глава LXI

*О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости*

Три дня и три ночи провел Дон Кихот в обществе Роке, но, проживи он с ним и триста лет, все равно не уставал бы он с удивлением наблюдать, как живут разбойники: пробуждались они в одном месте, обедали в другом; то вдруг бежали, сами не зная от кого, то неведомо чего ожидали. Спали они на ходу, поминутно прерывая сон и беспрестанно кочуя. Все время они высылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили аркебуз, – впрочем, аркебуз у них было немного, почти все разбойники были вооружены кремневыми пистолетами. На ночь Роке уединялся в укромные места, никому из его людей не известные, ибо многочисленные указы барселонского вице-короля, в коих была оценена голова атамана, держали его в состоянии вечной тревоги и страха; он никому не доверял, он боялся, что его убьют или выдадут властям свои же: воистину жалкая и тягостная жизнь.

Наконец давно не езженными дорогами, глухими и потаенными тропами Роке, Дон Кихот и Санчо вместе с шестью *оруженосцами* добрались до Барселоны. На набережную они прибыли в ночь накануне Иоанна Крестителя, и тут Роке, обняв сперва Дон Кихота, а затем Санчо и только теперь вручив ему обещанные десять эскудо, после долгих взаимных учтивостей удалился.

Роке исчез, а Дон Кихот, как был, верхом на коне, остался ждать рассвета, и точно: не в долгом времени в окнах востока показался ясный лик Авроры, если и не ласкавший слуха человеческого<sup>1</sup>, то, во всяком случае, доставлявший радость цветам и травам; впрочем, в ту же самую минуту слух Дон Кихота и Санчо был приятно поражен доносившимися,

---

<sup>1</sup> ...ясный лик Авроры, если и не ласкавший слуха человеческого... – образное выражение. В основе его лежит миф о Мемноне, сыне Авроры, убитом Ахиллесом в Троянской войне. Миф о Мемноне был в дальнейшем связан с колоссальной статуей близ Фив, разрушенной землетрясением. Обломки этой статуи при первых лучах восходящего солнца издавали звук, похожий на звук лопающейся струны, на основании чего и возникла легенда, будто Мемнон отвечает на приветствие своей матери.



по-видимому, со стороны города звуками множества труб и барабанов, звоном бубенчиков и быстро приближавшимися криками людей: «Раздайся! Раздайся!» Место Авроры заступило солнце, и лик его, поболее щита, начал медленно подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и в первый раз в жизни увидели море: оно показалось им огромным и бесконечным, гораздо больше лагун Руидеры, которые они видели в Ламанче. У пристани стояли галеры; тенты на них были спущены, и глаз различал множество вымпелов и флагов, трепетавших на ветру и словно касавшихся воды; с галер неслись звуки рожков, труб и гобоев, и воздух, как вблизи, так и вдали, наполнился то нежными, то воинственными мелодиями. Но вот по тихим водам заскользили суда: началось потешное морское сражение, а в это самое время на берегу несметная сила разряженных всадников, прибывших из города на прекрасных конях, затеяла подобного же рода потеху. На галерах немолчная раздавалась пальба, одновременно палили с городских стен и из фортов: крепостная артиллерия ужасным своим грохотом сотрясала воздух, артиллерия морская ей вторила. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь по временам заволакиваемый дымом из орудий, все это вызывало и порождало в сердцах людей бурный восторг. Санчо же отказывался понимать, откуда у этих движущихся по воде громадин берется столько ног.

Тем временем всадники с шумными и радостными криками подскакали вплотную к пораженному и ошеломленному Дон Кихоту, и один из них, тот самый, которому писал Роке, обратился к Дон Кихоту и громко воскликнул:

– Милости просим в наш город, зеркало, маяк, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, в каковых ваших качествах нас совершенно убеждают все рыцарские истории! Милости просим, доблестный Дон Кихот Ламанчский, не тот мнимый, поддельный и вымышленный, который действует в иных новейших лживых повестях, но истинный, подлинный и сомнению не подлежащий, такой, каким вас описывает Сид Ахмет Бен-инхали, всем повествователям повествователь!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да всадники и не стали дожидаться ответа: они гарцевали и выкидывали вольты вместе с другими; Дон Кихот же, вокруг которого происходили самые настоящие скачки, обратился к Санчо и сказал:

– Эти люди, по всей вероятности, нас узнали. Бьюсь об заклад, что они прочли не только правдивую повесть о нас, но и ту, которую недавно выдал в свет арагонец<sup>1</sup>.

Всадник, приветствовавший Дон Кихота, снова приблизился к нему и сказал:

– Сеньор Дон Кихот! Поедемте, ваша милость, с нами: мы покорные ваши слуги и закадычные друзья Роке Гинарта.

Дон Кихот же ему на это ответил так:

– Если верно, что одна учтивость рождает другую, то ваша учтивость, сеньор кавальеро, – это родная сестра, во всяком случае весьма близкая родственница учтивости самого Роке. Ведите же меня, куда вам заблагорассудится: моя воля есть ваша воля, особливо когда речь идет о том, чтобы вам угодить.

Тот ответил ему не менее любезно, а затем всадники, окружив Дон Кихота со всех сторон, под звуки труб и барабанов вместе с ним направились в город; когда же они в город въезжали, то по наущению злого духа, который только и делает, что сеет зло, двое озорных и дерзких мальчишек, – а мальчишки бывают иной раз лукавее самого лукавого, – пробрались сквозь толпу и, задрвав хвосты ослику и Росинанту, сунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почуввав этот новый вид шпор, бедные животные поджали было хвосты, но от этого неприятное ощущение лишь усилилось: они начали отчаянно брыкаться и в конце концов сбросили своих седоков наземь. Дон Кихот, в смущении и замешательстве, поспешил извлечь сей плюмаж из-под хвоста своей клячи, Санчо же пришел на помощь серому. Сопровождавшие Дон Кихота хотели было наказать мальчишек за их продерзость, но это им не удалось, оттого что сорванцы втиснулись в толпу других мальчишек, бежавших следом за

---

<sup>1</sup> ...ту, которую недавно выдал в свет арагонец. – Автор подложной второй части «Дон Кихота» Авельянеда выдавал себя за уроженца Тордесильяса, расположенного в Арагоне.

ними.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхами и под звуки все той же музыки и все так же торжественно подъехали к дому своего вожатого, большому и великолепному, – одним словом, такому, какими бывают дома богатых кавальеро, и тут мы Дон Кихота и Санчо на время оставим, ибо так хочет Сид Ахмет.

## Глава LXII,

*повествующая о приключении с волшебной головою, равно как и о прочих безделицах, о коих невозможно не рассказать*

Дон Антоньо Морено – так звали хозяина Дон Кихота – был кавальеро богатый и остроумный, любитель благопристойных и приятных увеселений; заманив Дон Кихота к себе в дом, он стал искать способов обнаружить перед всеми его сумасбродство, но только так, чтобы самому Дон Кихоту никакого вреда от того не получилось, ибо шутка, от которой становится больно, это уже не шутка, и никуда не годится то развлечение, от которого бывает ущерб другому. Первым делом он велел снять с Дон Кихота доспехи, а затем, как скоро тот остался в своем узком верблюжьем камзоле, не раз уже нами упомянутом и описанном, вывел его на балкон, выходящий на одну из самых людных улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, словно на обезьяну. Перед взором Дон Кихота снова загарцевали всадники, и, глядя на них, можно было подумать, что вырядились они так для него одного, а не по случаю праздника. Санчо между тем ликовал: ему представлялось, что он бог весть какими судьбами снова попал то ли на свадьбу к Камачо, то ли в усадьбу к дону Дъего де Миранда, то ли в герцогский замок.

В этот день у дона Антоньо обедали его друзья, и все они обходились с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и воздавали ему особые почести, Дон Кихот же, приняв гордый и величественный вид, не помнил себя от восторга. Остроты Санчо были таковы, что все челядинцы, а равно и все его слушатели без исключения, так и смотрели ему в рот. За столом дон Антоньо обратился к Санчо с такими словами:

– Любезный Санчо! До нашего сведения дошло, будто ты великий любитель курника, а также фрикаделек, и будто, когда ты уже сыт по горло, ты прячешь их себе за пазуху про черный день.

– Нет, сеньор, это неправда, – возразил Санчо, – я человек чистоплотный и совсем не такой обжора, – мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, может подтвердить, что бывали времена, когда мы оба по целым неделям пробавлялись пригоршней желудей или орехов. Правда, иной раз, когда мне сулят коровку, я скорей бегу за веревкой: я хочу сказать, что пользуюсь случаем и ем, что дают. Если же вы от кого услышите, что я обжора и неряха, то считайте, что этот человек не угадал, – я бы иначе выразился, да боюсь оскорбить слух столь почтенного общества.

– Не подлежит сомнению, – объявил Дон Кихот, – что умеренность и опрятность Санчо в еде достойны быть отмеченными и запечатленными на меди, дабы сии достоинства его вечно жили в памяти поколений грядущих. Правда, когда он голоден, он бывает слегка прожорлив: в таких случаях он проворно работает челюстями и уплетает за обе щеки, зато по части опрятности он безупречен, более того, в бытность свою губернатором он научился есть на особый манер, – он ел вилкой даже виноград и гранатовые зернышки.

– Как? – воскликнул дон Антоньо. – Санчо был губернатором?

– Да, – отвечал Санчо, – губернатором острова Баратарии. Десять дней я управлял им по своему усмотрению, и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать все правления, какие только есть на свете. Я бежал оттуда, по дороге свалился в подземелье, думал – конец мне, но все-таки чудом спасся.

Дон Кихот во всех подробностях рассказал историю Санчова губернаторства, чем доставил слушателям немалое удовольствие.

После обеда дон Антонио взял Дон Кихота за руку и провел в дальний покой; единственное украшение этого покоя составлял столик, по виду из яшмы, на ножке из того же камня, а на столике стояла голова, как будто бы бронзовая, напоминавшая бюсты римских императоров. Дон Антонио несколько раз прошелся с Дон Кихотом вокруг столика и наконец заговорил:

– Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я уверен, что нас никто не слушает и не слышит и дверь сюда заперта, я хочу рассказать вашей милости об одном из самых необычайных приключений, вернее сказать, о таком редком случае, какой только можно себе представить, с условием, однако ж, что все, что я милости вашей поведаю, вы в глубочайшей сохраните тайне.

– Клянусь, – подтвердил Дон Кихот, – и для большей верности готов прикрыть сию тайну каменной плитой, ибо знайте, сеньор дон Антонио (Дон Кихоту было уже известно его имя), что вы говорите с человеком, у которого уши слушают, но язык не выдает тайн, а потому вы смело можете открыть мне все, что у вас на душе: уверяю вас, что все это будет погребено в бездне молчания.

– Итак, заручившись вашим обещанием, – продолжал дон Антонио, – я намерен поразить вашу милость тем, что вам предстоит увидеть и услышать, – это несколько облегчит те муки, которые я терплю из-за того, что ни с кем не делюсь моею тайною, ибо далеко не всякому можно ее доверить.

Дон Кихот не мог постигнуть, что означают все эти подходы. Наконец дон Антонио взял Дон Кихота за руку, провел его по бронзовой голове, по всему столику и по яшмовой его ножке, а затем сказал:

– Голова эта, сеньор Дон Кихот, была сделана и сработана одним из величайших волшебников и чародеев на свете, если не ошибаюсь, поляком по рождению, учеником того самого знаменитого Эскотильо<sup>1</sup>, о котором рассказывают столько чудес. Помянутый чародей, живя у меня в доме, за тысячу эскудо сделал мне эту голову, обладающую особым свойством и способностью отвечать на все вопросы, какие только задают ей на ухо. Предварительно волшебник чертил фигуры, писал магические знаки, наблюдал звезды, определял точки расположения светил, и в конце концов у него получился перл создания, в чем вы сможете удостовериться не раньше завтрашнего дня, оттого что по пятницам голова молчит, а нынче как раз пятница, так что нам придется подождать до завтра. За это время ваша милость может обдумать свои к ней вопросы, мне же известно по опыту, что в ответах она не лжет.

Дон Кихот подивился такой способности и особенности головы, и ему трудно было поверить словам дон Антонио, но как до испытания оставалось немного времени, то он предпочел в это не углубляться и лишь выразить дону Антонио свою признательность за величайшее доверие, какое тот ему оказал. Они вышли из комнаты, дон Антонио запер дверь на ключ, и они возвратились в залу, где находились прочие кавальеры. В течение этого времени Санчо успел им рассказать множество приключений и происшествий, случившихся с его господином.

В тот же вечер Дон Кихота соблазнили прокатиться по городу, но только упросили его снять доспехи и отправиться в выходном платье и в светло-коричневого сукна плаще, под которым в то время года вспотел бы даже лед. Чтобы Санчо остался дома, слугам велено было занимать его. Дон Кихот восседал не на Росинанте, а на могучем, богато убранном муле, у коего шаг был ровный. К плащу Дон Кихота незаметно для него прицепили сзади пергамент, на котором крупными буквами было написано: *Дон Кихот Ламанчский*. Во все время прогулки надпись эта неизменно привлекала к себе внимание прохожих, – они читали вслух: «Дон Кихот Ламанчский», а Дон Кихот не уставал дивиться: кто, мол, на него ни глянет, всякий узнаёт его и называет по имени, и, обратясь к дону Антонио, ехавшему с ним рядом, он наконец сказал:

– Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство: всем, кто на этом

---

<sup>1</sup> Эскотильо – астролог-шарлатан.

поприще подвизается, оно приносит всемирную известность и славу. В самом деле, сеньор дон Антоньо, подумайте: в этом городе даже мальчишки – и те меня знают, хотя никогда прежде не видели.

– То правда, сеньор Дон Кихот, – подтвердил дон Антоньо, – подобно как пламя нельзя спрятать или утаить, так точно доблесть не может пребывать в неизвестности, та же доблесть, которую выказывают на ратном поле, затмевает все иные доблести и берет верх над ними.

Случилось, однако ж, так, что, когда Дон Кихот с вышеописанною торжественностью ехал по городу, некий кастилец, прочтя на его спине надпись, крикнул:

– Черт бы тебя взял, Дон Кихот Ламанчский! И как это ты сюда добрался, не околев по дороге от бесчисленных ударов, которые на тебя так и сыпались? Ты – безумец, и если б ты безумствовал один на один с самим собой, замкнувшись в своем безумии, это бы еще куда ни шло, но ты обладаешь способностью сводить с ума и сбивать с толку всех, кто только с тобою общается и беседует, – достаточно поглядеть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают. Поезжай, полоумный, домой, займись хозяйством, заботься о жене и детях и оставь свои бредни, которые только истощают мозг и мутят рассудок.

– Идите-ка, братец, своей дорогой, – сказал дон Антоньо, – и не давайте советов, когда у вас их не просят. Сеньор Дон Кихот Ламанчский – человек вполне благоразумный, да и мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть всегда должно чтить, где бы она ни встретилась. Убирайтесь ко всем чертям и не в свое дело не лезьте.

– А ведь вы, ей-богу, правы, – заметил кастилец, – советовать что-нибудь этому молодцу – все равно что воду в ступе толочь, однако ж со всем тем меня берет досада, что такой ясный ум, который, как я слышал, во всем остальном выказывает этот помешанный, растрчивает себя на странствующее рыцарство. Но только скорей я сам и все мои потомки уберемся ко всем чертям, как изволила выразиться ваша милость, нежели впредь, – проживи я даже больше, чем Мафусаил, – я кому-нибудь преподам совет, хотя бы у меня его и просили.

Советчик пошел дальше; прогулка возобновилась; однако мальчишки и всякий иной люд столь усердно читали надпись, что дон Антоньо в конце концов рассудил за благо снять ее, сделав, впрочем, вид, будто снимает что-то другое.

Наступил вечер; все возвратились домой; дома между тем был затеян бал; надобно заметить, что жена дона Антоньо, сеньора знатная, веселая, красивая и неглупая, пригласила своих приятельниц, дабы они почтили своим присутствием ее гостя и позабавились его доселе невиданными безумными выходками. Приятельницы явились, был подан отменный ужин, а затем, около десяти часов вечера, начались танцы. Среди дам оказались две проказницы и шалуньи: ничем не нарушая правил приличия, они, однако ж, позволяли себе некоторые вольности в придумывании безобидных, но забавных шуток. И вот эти самые шутницы всеми силами старались заставить Дон Кихота танцевать и этим истерзали ему не только тело, но и душу. Нужно было видеть Дон Кихота, высокого, долговязого, тощего, бледного, в узком платье, неловкого и отнюдь не отличавшегося легкостью в движениях! Дамы, как бы украдкой, за ним ухаживали, а он, также украдкой, ухаживания их отвергал; видя, однако ж, что они упорствуют, Дон Кихот громко воскликнул:

– *Fugite, partes adversae!*<sup>1</sup> Оставьте меня в покое, дурные помыслы! С подобными желаниями, сеньоры, идите к другим, ибо королева моих желаний, несравненная Дульсинея Тобосская, требует, чтобы, кроме ее желаний, ничье другое не имело надо мной ни власти, ни силы.

И, сказавши это, еле живой после танцевальных своих упражнений, он опустился среди зала на пол. Дон Антоньо велел отнести его на кровать, и первый, кто бросился Дон Кихоту на помощь, был Санчо.

– Ах ты, шут возьми, до чего ж вы, хозяин, скверно плясали! – воскликнул он. – Неужто вы думаете, что все удалцы непременно должны быть танцорами и все странствующие рыцари – плясунами? Если вы и в самом деле так думаете, то вы ошибаетесь:

---

<sup>1</sup> Сгинь, нечистая сила! (*лат.*)

есть люди, которые скорее убьют великана, нежели исполнят какую-нибудь фигуру танца. Вот если б затеяли пляску, где нужно уметь похлопывать себя по подметкам, тут бы я вас заменил, потому я насчет этого орел, ну, а разные городские танцы – это уж не по моей части.

Таковыми и им подобными речами Санчо насмешил всех участников бала; он уложил своего господина в постель и укутал его, чтобы танцевальная простуда вышла из него потом.

На другой день дон Антоньо рассудил за благо произвести опыт с волшебною головою и вместе с Дон Кихотом, Санчо, двумя своими приятелями и двумя дамами, теми, которые измучили Дон Кихота на балу и затем остались ночевать у жены дона Антоньо, заперся в помещении, где находилась голова. Он рассказал им о ее особенностях и, взявши с них слово хранить сие в тайне, заметил, что сегодня он впервые намерен испытать способность волшебной головы. За исключением двух приятелей дона Антоньо, никто не знал, в чем здесь загвоздка, а если бы дон Антоньо заранее их в это не посвятил, то и они бы пришли в не меньшее, чем все прочие, изумление, да иначе и быть не могло: с таким тщанием и искусством была сделана эта голова.

Первым нагнулся к уху головы сам дон Антоньо; он спросил ее тихо, но так, однако же, что все его услышали:

– Заклинаю тебя, голова, волшебною силою, в тебе заключенную: скажи мне, какие у меня сейчас мысли?

И голова, не разжимая губ, ясно и отчетливо, так, что все ее расслышали, ответила ему:

– Мыслей я не читаю.

При этих словах все обмерли, особливо когда удостоверились, что во всей комнате, а равно и возле самого столика с волшебною головою, нет живой души, которая могла бы за нее ответить.

– Сколько нас здесь? – снова задал вопрос дон Антоньо.

И было ему на это отвечено так же внятно и так же тихо:

– Здесь находишься ты, твоя жена, двое твоих друзей, две ее приятельницы, а также славный рыцарь, именуемый Дон Кихотом Ламанчским, и его оруженосец, которого зовут Санчо Пансою.

В самом деле, тут было чему вновь подивиться! У всех невольно волосы встали дыбом от страха. А дон Антоньо, попятившись, молвил:

– Этого мне довольно, дабы удостовериться, что человек, который мне продал тебя, о мудрая голова, говорящая голова, отвечающая голова, чудесная голова, меня не обманул! Пусть подходят другие и спрашивают, что им угодно.

Женщины обыкновенно бывают нетерпеливы и любопытны, а потому первую приблизилась к голове одна из двух приятельниц жены дона Антоньо и обратилась к ней с таким вопросом:

– Скажи, голова, что я должна делать для того, чтобы стать красавицей?

Ответ был таков:

– Будь высокодобродетельной.

– Больше у меня вопросов нет, – сказала вопрошавшая.

Затем приблизилась ее подруга и сказала:

– Мне бы хотелось знать, голова, подлинно ли мой муж меня любит.

Ей было отвечено:

– Последи за тем, как он с тобою обходится, и тогда ты все поймешь.

Замужняя дама отошла от головы и сказала:

– Чтобы получить такой ответ, не стоило спрашивать. Это и так ясно, что в обхождении человека выражаются его чувства.

Затем приблизился один из двух друзей дона Антоньо и спросил:

– Кто я таков?

Отвечено ему было:

– Ты это знаешь сам.

– Я тебя не про то спрашиваю, – сказал кавальеро. – Скажи мне, знаешь ли меня ты.

– Да, знаю, – отвечали ему, – ты дон Педро Норис.

– Больше мне ничего и не нужно, этого довольно, чтобы уверить меня, что ты, голова, знаешь все.

Как скоро он отошел, приблизился другой приятель дона Антоньо и задал вопрос:

– Скажи, голова, какие желания у моего старшего сына, наследующего все мое имущество?

– Я уже говорила, – отвечали ему, – что я не отгадчица желаний, однако ж со всем тем могу сказать, что сын твой желает тебя похоронить.

– Точно так, – подтвердил кавальеро, – ты прямо как в воду смотрела.

Больше он ни о чем не стал спрашивать. Приблизилась жена дона Антоньо и молвила:

– Не знаю, голова, о чем тебя и спросить. Одно только я хотела бы знать: долго ли, на радость мне, проживет милый супруг мой.

Ей ответили:

– Долго, потому что крепкое его здоровье и умеренный образ жизни сулят ему долгий век, каковой многие обыкновенно сами себе сокращают своею невоздержностью.

Затем приблизился Дон Кихот и спросил:

– Скажи мне ты, на все отвечающая: явью то было или же сном – все, что, как я рассказывал, со мною случилось в пещере Монтесиноса? Верная ли это вещь – самобичевание Санчо? Произойдет ли на самом деле расколдование Дульсинеи?

– Что касается пещеры, – отвечали ему, – то это не так-то просто: тут всякое было; самобичевание Санчо будет подвигаться вперед исподволь; расколдование Дульсинеи совершится должным порядком.

– Больше мне ничего и не надобно, – заметил Дон Кихот, – как скоро я уверюсь, что Дульсинея расколдована, я сочту, что все удачи, о которых я мог только мечтать, разом выпали на мою долю.

Последним приблизился Санчо, и спросил он вот что:

– Скажи на милость, голова, суждено ли мне еще губернаторствовать? Долго ли я буду вести скучную жизнь оруженосца? Увижу ли я жену и детей?

На это ему ответили так:

– Губernаторствовать ты будешь у себя дома; если возвратишься домой, то увидишь жену и детей, а когда уйдешь со своей службы, то уже не будешь оруженосцем.

– Ну и ответ! – воскликнул Санчо Панса. – Это и я мог бы так ответить. Бездна премудрости, да и только!

– Дубина! – сказал Дон Кихот. – Каких тебе еще ответов нужно? Тебе не довольно, что голова отвечает прямо на поставленный вопрос?

– Довольно-то довольно, – отвечал Санчо, – но все-таки мне бы хотелось, чтобы она яснее выражалась и побольше говорила.

На этом вопросы и ответы окончились, но не прошло то изумление, в которое были приведены все присутствовавшие, за исключением двух друзей дона Антоньо, обо всем решительно осведомленных. Между тем осведомить читателей Сид Ахмет Бен-инхали почел за нужное здесь же, ибо не пожелал держать их долее в неведении и заставлял думать, будто в голове этой заключено нечто колдовское и чрезвычайно таинственное, а потому он объявляет, что дон Антоньо Морено по образцу головы, виденной им в Мадриде, работы некоего резчика, сделал такую же у себя дома, дабы развлекаться самому и поражать людей несведущих; устройство же ее состояло вот в чем. Доска столика сама по себе была деревянная, но расписанная и раскрашенная под яшму, равно как и его ножка, от которой для большей устойчивости расходились четыре орлиные лапы. Голова, выкрашенная под бронзу и напоминавшая бюст римского императора, была внутри полая, так же точно как и доска столика, в которую голова была до того плотно вделана, что можно было подумать, будто она составляет с доской одно целое. Ножка столика, так же точно полая, представляла собой продолжение горла и груди волшебной головы, и все это сообщалось с другой комнатой,

находившейся под той, где была голова. Через все это полое пространство в ножке и доске стола, в груди и горле самого бюста была чрезвычайно ловко проведена жестяная трубка, так что никто не мог бы ее заметить. В нижнем помещении, находившемся непосредственно под этим, сидел человек и, приставив трубку ко рту, отвечал на вопросы, причем голос его, словно по рупору, шел и вниз и вверх, и каждое слово было отчетливо слышно, – таким образом, разгадать эту хитрость было немислимо. Ответы давал студент, племянник дона Антоньо, юноша сообразительный и находчивый, а как дядя его предупредил, кого именно он приведет в комнату, где находилась голова, то дать скорые и правильные ответы на первые вопросы для него не составляло труда, а дальше он уже отвечал наугад, однако человек он был догадливый, оттого и попадал в точку. К сему Сид Ахмет прибавляет, что чудодейственное это сооружение просуществовало еще дней десять – двенадцать, а затем по городу распространился слух, что в доме у дона Антоньо имеется волшебная голова, которая отвечает на любые вопросы, и тогда дон Антоньо из боязни, как бы это не дошло до вечно бодрствующих ревнителей благочестия, сам сообщил обо всем сеньорам инквизиторам, они же велели ему забавы сии прекратить, а голову сломать, дабы она не являла соблазна для невежественной черни; однако ж во мнении Дон Кихота и Санчо Пансы голова так и осталась волшебницею, мастерицею по части ответов, каковые, впрочем, более удовлетворили Дон Кихота, нежели Санчо.

Местные кавалеро, желая доставить удовольствие дону Антоньо, а также для того, чтобы угодить Дон Кихоту и предоставить ему возможность начать свои дурачества, порешили устроить через шесть дней скачки с кольцами<sup>1</sup>, однако ж скачки так и не состоялись, о чем будет упомянуто ниже. Дон Кихоту хотелось прогуляться по городу пешком и без всякой торжественности: он боялся, что если поедет верхом, то за ним опять погонятся мальчишки; итак, Дон Кихот и Санчо в сопровождении двух слуг, которых Дон Кихоту дал его хозяин, вышли погулять. Случилось, однако ж, что, проходя по какой-то улице, Дон Кихот поднял глаза и над дверью одного дома увидел вывеску, на которой огромными буквами было написано: *Здесь печатают книги*; это несказанно его обрадовало, потому что до той поры ему еще не приходилось видеть книгопечатню, и у него явилось желание узнать, как в ней все устроено. Он вошел внутрь со всею своею свитою и увидел, что в одном месте здесь тискали, в другом правили, кто набирал, кто перебирал, – одним словом, пред ним открылась картина внутреннего устройства большой книгопечатни. Подойдя к одной из наборных касс, он спросил, для чего она служит; рабочие ему объяснили; он подивился и прошел дальше. Затем он подошел еще к одному рабочему и спросил, чем он занят. Рабочий ему ответил так:

– Сеньор! Вот этот кавалеро, – он указал на человека весьма приятного вида и наружности, в котором было даже что-то величавое, – перевел одну итальянскую книгу на наш язык, а я набираю ее для печати.

– Как называется эта книга? – осведомился Дон Кихот.

Переводчик же ему ответил:

– Сеньор! Итальянское заглавие этой книги – *Le Bagatelle*.

– А чему соответствует на испанском языке слово *le bagatelle*? – спросил Дон Кихот.

– *Le bagatelle*, – пояснил переводчик, – в переводе на испанский язык значит *безделки*, но, несмотря на скромное свое заглавие, книга эта содержит и заключает в себе полезные и важные вещи.

– Я немного знаю по-итальянски, – сказал Дон Кихот, – и горжусь тем, что могу спеть несколько стансов Ариосто. Скажите, однако ж, государь мой (я задаю этот вопрос не для того, чтобы проверять ваши познания, но из чистой любознательности), попадалось ли вам в этом сочинении слово *pignatta*?

– Попадалось, и не раз, – отвечал переводчик.

– Как же ваша милость переводит его на испанский язык? – спросил Дон Кихот.

---

<sup>1</sup> Скачки с кольцами – состояли в том, что всадник на всем скаку старался продеть копьё в кольцо, висевшее на ленте.

– А разве есть у него другое значение, кроме *печного горшка*? – молвил переводчик.

– Черт побери! – воскликнул Дон Кихот. – Да вы, однако ж, понаторели в итальянском языке! Готов биться о любой заклад, что там, где по-итальянски стоит слово *piace*, ваша милость переводит *угодно*, слово *piu* вы переводите *больше*, *su* – *вверху*, а *giu* – *внизу*.

– Разумеется, именно так и перевожу, – подтвердил переводчик, – потому что таковы их прямые соответствия на нашем языке.

– Могу ручаться, – сказал Дон Кихот, – что ваша милость не пользуется известностью в свете, ибо свет не умеет награждать изрядные дарования и почтенные труды. Сколько через то погибло способностей! Сколько дарований прозябает в безвестности! Сколько достоинств не обратило на себя должного внимания! Однако ж со всем тем я держусь того мнения, что перевод с одного языка на другой, если только это не перевод с языка греческого или же с латинского, каковые суть цари всех языков, – это все равно что фламандский ковер с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, и нет той гладкости, и нет тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне, да и потом, чтобы переводить с языков легких, не надобно ни выдумки, ни красот слога, как не нужны они ни переписчику, ни копиисту. Я не хочу этим сказать, что заниматься переводами непохвально; есть занятия куда ниже этого, и, однако ж, мы ими не гнушаемся, хоть и приносят они нам гораздо меньше пользы. Исключение я делаю для двух славных переводчиков: для доктора Кристобала де Фигероа с его *верным пастухом*<sup>1</sup> и для дона Хуана де Хаурегги с его *Аминтой*<sup>2</sup> – столь счастливо исполненными трудами, что невольно задаешься вопросом, где же тут перевод и где подлинник? Скажите, однако ж, ваша милость: вы намерены издать эту книгу на свой счет или же вы запродали ее какому-нибудь книготорговцу?

– Я издаю ее на свой счет, – отвечал переводчик, – и рассчитываю заработать не менее тысячи дукатов на одном только первом ее издании, а выйдет оно в количестве двух тысяч книг и будет распродано в мгновение ока по цене шесть реалов за книгу.

– Нечего сказать, точный расчет! – воскликнул Дон Кихот. – Сейчас видно, что ваша милость понятия не имеет о лазейках и увертках книгоиздателей и о том, как они между собою сплочены. Я вам предрекаю, что когда вы взвалите себе на плечи эти две тысячи книг, то у вас ужасно как станет ломить все тело, особливо если книга ваша по содержанию своему несколько запутана и нимало не занимательна.

– Ну так что же? – возразил переводчик. – Вы хотите, ваша милость, чтобы я отдал ее книгоиздателю, который за право печатания даст мне три мараведи, да еще будет воображать, что облагодетельствовал меня? Я издаю свои книги не для славы, – я и без того известен своими произведениями, – я ищу барыша, потому что слава без барыша не стоит ни кватрина<sup>3</sup>.

– Дай вам бог удачи, – молвил Дон Кихот. Затем он прошел дальше и, обратив внимание на правку одного из листов книги, озаглавленной *Светоч души*<sup>4</sup>, заметил:

– Подобные книги, хотя их не так уж мало издано, необходимо издавать и впредь, ибо грешников на земле много, и великое множество светочей требуется для стольких неозаренных.

Он прошел дальше и увидел, что правят листы еще одной книги; когда же он спросил, как она называется, ему ответили, что это вторая часть *Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского*, сочинение некоего автора, проживающего в Тордесильясе.

– Слышал я об этой книге, – заметил Дон Кихот. – Признаться сказать, я полагал, что ее уже успели сжечь за ее вздорность, а пепел развеяли по ветру, ну да, впрочем, дождется

---

1 «*Верный пастух*» – пасторальная стихотворная трагикомедия итальянского поэта Гварини (1537–1612), переведенная на испанский язык Кристобалем Суаресом де Фигероа в 1602 г.

2 «*Аминта*» – пастораль итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595), переведенная на испанский язык в 1607 г. Хуаном Мартинесом де Хаурегги, поэтом и художником, другом Сервантеса.

3 *Кватрин* – старинная итальянская мелкая монета.

4 «*Светоч души*» – богословский трактат доминиканского монаха Фелипе де Менесес «Светоч души христианской против слепого неведения». Первое издание вышло в 1556 г.



свинья Мартинова дня<sup>5</sup>. Истории вымышленные только тогда хороши и увлекательны, когда они приближаются к правде или правдоподобны, истории же, имеющие своим предметом происшествия истинные, тогда только и хороши, когда они правдивы.

И, сказавши это, Дон Кихот с некоторою досадою покинул книгопечатню.

В тот же день дон Антоньо вознамерился показать Дон Кихоту галеры, стоявшие у пристани, отчего Санчо пришел в восторг, ибо он никогда еще на них не бывал. Дон Антоньо уведомил командора, что вечером он прибудет на галеры со своим гостем, славным Дон Кихотом Ламанчским, командор же, как и все жители города, был о нем уже наслышан, а что с Дон Кихотом на галерах случилось, об этом будет рассказано в следующей главе.

## Глава LXIII,

*повествующая о несчастьи, постигшем Санчо Пансу во время осмотра галер, и о необычайном приключении с прекрасною мавританкою*

Долго размышлял Дон Кихот об ответе волшебной головы, но от мысли, что это обман, был он, однако ж, далек: все его мысли вертелись вокруг твердого, как ему казалось, обещания головы, что Дульсинея будет расколдована. Он беспрестанно к этому возвращался, и ему отраднее было надеяться, что исполнение обещания сего не за горами; Санчо же, несмотря на то, что губернаторство было, как мы знаем, ему ненавистно, мечтал снова начать повелевать и приводить других к повиновению, – такая злая доля выпадает всякому человеку, который хоть когда-нибудь властвовал, пусть даже в шутку.

Итак, в тот вечер хозяин дома дон Антоньо Морено и два его приятеля вместе с Дон Кихотом и Санчо отправились на галеры. Едва лишь две такие знаменитости, как Дон Кихот и Санчо, показались на берегу, тот же час по знаку командора, предведомленного о счастливом этом событии, на всех галерах были убраны тенты и загремели трубы; затем на воду спустили шлюпку, устланную пышными коврами и обложенную красными бархатными подушками, и только успел Дон Кихот шагнуть с берега, как на командорской галере выстрелило палубное орудие, последовали выстрелы и с других галер, а когда Дон Кихот поднялся по трапу штирборта, вся команда приветствовала его, как обыкновенно приветствуют моряки важных особ, прибывающих на галеры, а именно: троекратным «У-у-у». Начальник (так назовем мы командора, происходившего из семьи родовитых валенсийских дворян) протянул Дон Кихоту руку и обнял его.

– Этот день, – сказал он, – я отмечу белым камнем, ибо он представляется мне одним из счастливейших в моей жизни: сегодня я увидел сеньора Дон Кихота Ламанчского, заключающего и вмещающего в себе всю доблесть странствующего рыцарства.

На это приветствие Дон Кихот, чрезвычайно обрадованный, что ему оказывают столь великие почести, ответил в не менее изысканных выражениях. Все перешли на богато убранную корму и сели на скамьи вдоль бортов; по палубе прошел боцман и свистком подал гребцам команду, означавшую: «Одежду долой!», что и было исполнено тотчас же. При виде столь великого множества обнаженных до пояса людей Санчо оцепенел, в особенности же когда на его глазах так быстро был натянут тент, что казалось, будто все черти, сколько их ни есть на свете, помогали морякам; и, однако, это были еще только цветочки в сравнении с тем, о чем будет речь впереди. Санчо сидел у правого-борта, рядом с первым гребцом, как вдруг этот самый гребец, заранее подученный, что он должен делать, схватил его и поднял на руки, между тем вся команда была уже наготове и начеку, и вот бедный Санчо стал перелетать с рук на руки вдоль правого борта с такой быстротой, что у него потемнело в глазах, и он, разумеется, подумал, что его куда-то уволакивают бесы, гребцы же не успокоились до тех пор, пока не совершили переброску Санчо вдоль обоих бортов, и только тогда опустили его на корму. Бедняга был изрядно помят; он задыхался, обливался потом и

---

<sup>5</sup> ...дождется свинья Мартинова дня. – В испанских деревнях был обычай колоть свиней в Мартинов день (11 ноября).

никак не мог взять в толк, что, собственно, с ним произошло. Дон Кихот, понаблюдав за бескрылым полетом Санчо, спросил у начальника, не принято ли у них устраивать подобные церемонии со всеми, кто в первый раз попадает на галеры; если-де это так, то он обычаю сему следовать не намерен и проделывать подобные упражнения не желает, а буде кто осмелится его схватить, с тем чтобы начать подбрасывать, то он клянется, что душа у этого человека расстанется с телом, и, сказавши это, Дон Кихот встал и взялся за меч.

В эту самую минуту убрали тент и с ужасающим грохотом спустили рею. Санчо почудилось, будто небесный свод обрушился и падает прямо ему на голову, и от страха он спрятал ее между колен. Впрочем, и Дон Кихоту стало слегка страшновато; он тоже вздрогнул, пригнул голову и сделался бледен с лица. Затем команда подняла рею с такой же точно быстротой и с таким же шумом, с каким она ее спускала, и все это моряки проделывали молча, словно у них не было ни голоса, ни дыхания. Боцман подал знак выбрать якорь, а затем не то с бичом, не то с хлыстом выскочил на середину палубы и принялся стегать гребцов по плечам, и тут галера стала медленно выходить в море. Как скоро Санчо увидел столько движущихся красных ног, за каковые он принимал весла, то заговорил сам с собой:

– Вот это уж и впрямь настоящее волшебство, не чета тому, о котором толкует мой господин. Чем эти несчастные так уж провинились, что их стегают безо всякой пощады? И как это один человек, который тут ходит да посвистывает, отваживается хлестать столько народу? Вот он где, сущий-то ад, или уж, по малой мере, чистилище.

Дон Кихот, заметив; с каким вниманием следит Санчо за тем, что происходит вокруг, обратился к нему с такою речью:

– Ах, дружище Санчо! Как легко и с каким проворством мог бы ты, когда бы только захотел, обнажиться до пояса, присоединиться к этим сеньорам и расколдование Дульсинеи довести до конца! Кругом столько мук и страданий, что тебе не так тяжело было бы переносить свои. Тем более что, может статься, мудрый Мерлин зачтет тебе каждый удар хлыста, нанесенный столь мощной рукой, за десять из общего числа тех, которые ты еще должен себе нанести.

Начальник хотел было спросить, что это за удары и что это за расколдование Дульсинеи, но в это время вахтенный крикнул:

– С Монжуика<sup>1</sup> подают сигнал, что у берега на весте показалось весельное судно.

Услышав это, начальник выбежал на палубу и крикнул:

– Эй, ребята, не упустите это судно! Верно, нам подадут с маяка сигнал о какой-нибудь бригаantine алжирских корсаров.

Вслед за тем к командорской галере приблизились остальные три, чтобы узнать, каков будет приказ. Начальник приказал двум галерам выйти в море, а третьей следовать за ним в виду берега, – таким образом, судно от них-де не ускользнет. Гребцы налегли на весла, и галеры понеслись, как на крыльях. Те, что вышли в море, обнаружили примерно в двух милях судно, как можно было определить на глаз – не то двадцативосьми-, не то тридцативесельное, и так потом и оказалось на самом деле; как же скоро судно обнаружило галеры, то, понадеявшись на свою легкость, начало, лавируя, быстро уходить, но уйти ему не удалось, оттого что командорская галера представляла собою одно из самых легких судов, когда-либо выходивших в море, и она с такой быстротой устремилась в погоню, что на бригаantine ясно поняли, что спасение невозможно, и тогда арраис, дабы наш командор не разгневался еще пуще, отдал приказ сложить весла и сдаться, однако ж судьба решила иначе: едва лишь командорская галера подошла к бригаantine на столь близкое расстояние, что там, наверное, были слышны голоса наших моряков, кричавших корсарам: «Сдавайтесь!», как два пьяных *тораки*, иными словами – два пьяных турка, находившиеся на бригаantine вместе с другими своими соотечественниками, выстрелили из мушкетов и убили наповал двух наших моряков, стоявших на баке. После этого командор, поклявшись, что не оставит в живых ни одного человека из тех, кого удастся ему захватить на бригаantine, со всею

---

<sup>1</sup> Монжуик – крепость, господствующая над Барселоной.

стремительностью атаковал ее, однако ж бригантина ускользнула, пройдя под веслами атакующей ее галеры. Галера прошла вперед на довольно значительное расстояние; в то время как она делала поворот, команда бригантины с решимостью отчаяния подняла паруса и снова, на парусах и на веслах, попыталась уйти, однако такое проворство не послужило ей ни к чему, дерзость же погубила ее, ибо, пройдя немногим более полумили, командорская галера снова настигла бригантину и, бросив на нее весла, всех захватила живыми. В это время приблизились две другие наши галеры, а затем все четыре галеры возвратились со своею добычею в гавань, где их ожидала несметная толпа народа, коей любопытно было знать, с чем они возвратятся. Командор стал на якорь близко от берега, и тут он увидел, что на набережной находится сам вице-король города. Командор распорядился послать за ним шлюпку, а также поднять рею и вздернуть на ней арраиса и прочих турок, а было их тридцать шесть человек, и все молодец к молодцу, в большинстве своем мушкетеры. Командор спросил, кто из них арраис; на это один из пленников, оказавшийся испанцем-вероотступником, ответил ему по-кастильски:

– Сеньор! Вот этот молодой человек, что стоит перед тобой, и есть наш арраис.

И с этими словами он указал на одного из самых прекрасных и статных юношей, каких только воображение человеческое способно создать. На вид ему было не более двадцати лет. Начальник обратился к нему:

– Отвечай, неразумный пес, зачем тебе понадобилось убивать моих людей в ту самую минуту, когда ты уже видел, что спастись вам не удастся? Так ли должно обходиться с флагманскими судами? Или ты не знаешь, что безрассудство не есть отвага? Когда человек находится на краю гибели, ему надлежит выказывать беззаветную храбрость, но не безрассудство.

Арраис хотел было ему ответить, однако ж командор в ту минуту не мог его выслушать: он поспешил навстречу вице-королю, который в сопровождении нескольких своих слуг и нескольких горожан уже всходил на галеру.

– Удачная была у вас охота, господин командор! – заметил вице-король.

– В высшей степени удачная, – подтвердил командор, – ваше превосходительство сей же час в том удостоверится, увидев дичь, которую мы развесим на этой реке.

– За что же это вы так? – спросил вице-король.

– За то, – отвечал командор, – что вопреки всем законам и всем правилам и обычаям военных они убили у меня двух лучших моряков, а я поклялся повесить всех, кого захвачу в плен, и в первую очередь этого молодца, арраиса бригантины.

И он указал вице-королю на молодого человека, который со связанными руками и с веревкой на шее ожидал своей смерти. Вице-король взглянул на юношу, и тот показался ему на удивление красивым, стройным и на удивление кротким, так что в эту минуту красота юноши послужила ему наилучшим рекомендательным письмом, а потому у вице-короля явилось желание спасти его от смерти, и он обратился к нему с вопросом:

– Скажи, арраис: ты родом турок, или мавр, или, может статься, ты вероотступник?

Арраис ему, также на кастильском языке, ответил:

– Я не турок, не мавр и не вероотступник.

– Так кто же ты? – спросил вице-король.

– Женщина-христианка, – отвечал юноша.

– Женщина, да еще христианка, в подобной одежде и при таких обстоятельствах? Все это скорее вызывает изумление, нежели внушает доверие.

– Отдалите, сеньоры, миг отмщения, – молвил юноша, – вы не много потеряете, отложив мою казнь до того времени, когда я окончу повесть о моей жизни.

Чье жестокое сердце не смягчилось бы при этих словах хотя бы настолько, чтобы пожелать выслушать печального и горестного юношу? Командор изъявил согласие послушать его рассказ с тем, однако ж, условием, чтобы он не надеялся получить прощение за свою столь явную вину. Испросив дозволение, юноша начал так:

– Я происхожу из того племени, которое скорее заслуживает название несчастного,

нежели благоразумного, из племени, ныне ввергнутого в пучину зол: я хочу сказать, что родители мои – мориски. Когда настало тяжелое для моих соплеменников время, мои дядя и тетя увезли меня в Берберию, несмотря на то, что я говорила им, что я христианка, а я и точно христианка: не ложная и не притворная, но истинная и правоверная. Напрасно я поведала эту истину людям, которые руководили злополучным нашим изгнанием, даже мои родные – и те не хотели мне верить: они думали, что я нарочно лгу и выдумываю для того, чтобы остаться на родине, и увезли они меня насильно, а не по моей доброй воле. Мать моя – христианка, отец мой, человек благоразумный, – также христианин. Я с молоком матери всосала истинную веру, воспитана была в строгих правилах, и ни в языке, ни в манере держаться у меня, как мне кажется, ничего мавританского не было. По мере того как я укреплялась в своих добродетелях (я признаю эти мои свойства за добродетели), я становилась все милевиднее, – впрочем, я так и не знаю, подлинно ли я мила собою, – и хотя уединение мое и затворничество было весьма строгим, однако ж, по-видимому, не до такой степени, чтобы не дождался случая меня увидеть некий юный кавальеро, дон Гаспар Грегорьо, старший сын и прямой наследник нашего соседа. О том, как он со мною увиделся, о чем мы с ним говорили, как он потерял из-за меня свое сердце, да и я не сумела уберечь свое, – обо всем этом не стоит рассказывать, в особенности теперь, когда я в страхе ожидаю, что жестокая петля, грозящая мне, обовьется вокруг моего горла, и я прямо перехожу к тому, что дон Грегорьо пожелал разделить со мною мое изгнание. Он отлично знал арабский язык, и это помогло ему смешаться с морисками, ехавшими из других мест, в дороге же он подружился с моими дядей и тетей, с которыми мне пришлось ехать потому, что отец мой, человек благоразумный и предусмотрительный, едва до него дошел слух о первом указе, обрекавшем нас на изгнание, уехал из деревни и отправился искать для нас убежище в других государствах. Он спрятал и закопал в таком месте, которое известно только мне одной, много жемчуга и драгоценных камней, а также некоторое количество денег в крусадах и золотых дублонах. Отец ни под каким видом не велел мне прикасаться к этому сокровищу, даже если нас будут высылать, прежде чем он успеет возвратиться. Я исполнила его повеление и, как я уже сказала, вместе с моими дядей и тетей, а также с другими моими родными и близкими уехала в Берберию, и там мы избрали местом жительства Алжир, иными словами – сущий ад. Алжирский король прослышал о моей красоте, да и молва о моем богатстве также достигла его слуха, и отчасти это вышло к лучшему для меня. Король призвал меня к себе и спросил, из каких мест Испании я родом, а также сколько денег и какие драгоценности я с собой привезла. Я назвала ему родное мое селение и сказала, что деньги и драгоценности там и зарыты, но что их ничего не стоит оттуда извлечь, если только я сама за ними отправлюсь. Все это я сказала ему в надежде, что жадность ослепит его еще сильнее, чем моя красота. Тут ему доложили, что одновременно со мною пришел юноша, стройнее и прекраснее которого невозможно себе представить. Я тотчас догадалась, что речь идет о доне Гаспаре Грегорьо, ибо по красоте он не имеет себе равных. При мысли об опасности, грозившей дону Грегорьо, я невольно смутилась: ведь у этих варваров-турок красивый мальчик или же юноша ценится дороже любой женщины, хотя бы то была писаная красавица. Король тотчас же изъявил желание посмотреть на него и велел его привести, а меня спросил, правда ли то, что говорят про этого юношу. Тогда я, как бы по наитию свыше, сказала, что все это так и есть, но что я почитаю за должное уведомить короля, что спутник мой не мужчина, а такая же женщина, как и я, и обратилась к королю с просьбой позволить мне надеть на нее женское платье, дабы красота ее означилась во всем своем совершенстве и дабы она сама без особого смущения могла перед ним предстать. Король сказал, что в другой раз он поговорит со мною о том, как мне съездить в Испанию и добыть зарытые сокровища, а пока отпустил меня с миром. Я переговорила с доном Гаспаром и, предупредив его об опасности, которой он подвергается как мужчина, вырядила его мавританкою и в тот же вечер повела к королю, – король при виде его пришел в восторг и порешил оставить девушку у себя, с тем чтобы потом подарить ее султану, а чтобы избавить ее от опасности, которая могла бы ей грозить, останься она в его собственном серале, и которая исходила бы не от

кого-нибудь, а от него самого, он приказал поселить ее в доме неких знатных мавританок, с тем чтобы они ее опекали и за нею ухаживали, и приказание его было исполнено незамедлительно. Что мы оба тогда испытывали (а я не стану скрывать, что я люблю дону Грегорию), об этом я предоставляю судить тем, кто знает по себе, что такое разлука с любимым. Король тут же распорядился, чтобы меня отвезли в Испанию на этой бригантине и чтобы меня сопровождали два чистокровных турка: это были те самые турки, которые убили ваших моряков. Еще вместе со мной отправился вот этот испанец-вероотступник (тут девушка указала на человека, с которым командор заговорил прежде других), – о нем мне доподлинно известно, что он тайный христианин и что он намерен остаться в Испании, в Берберию же возвращаться не хочет. Остальная команда состоит из мавров и турок: это все простые гребцы. Двое турок, алчные и наглые, в нарушение приказа – в любой части Испании высадить меня и вероотступника, переодетых в христианское платье, коим мы запаслись, задумали прежде обследовать побережье и попытаться захватить добычу; они боялись сразу же высадить нас на берег – боялись, как бы в случае чего мы не сообщили властям, что недалеко от берега находится бригантина, если же, мол, вдоль берега несут сторожевую службу галеры, то они ее захватят. Вчера вечером мы заприметили вашу гавань, но в конце концов были обнаружены сами, ибо не подозревали присутствия в море четырех галер, а дальше все происходило на ваших глазах. Итак, дон Грегорио в женском платье живет среди женщин, рискуя каждую секунду погибнуть, а я стою здесь со связанными руками, ожидая или, вернее, страшась того мгновенья, когда мне придется расстаться с жизнью, хотя она мне и в тягость. Таков, сеньоры, конец печальной моей истории, столь же правдивой, сколь и горестной. Об одном я прошу вас: дайте мне умереть по-христиански, – я уже вам говорила, что не несу вины за то, в чем повинен народ мой.

Тут она умолкла, и глаза ее увлажнились горячими слезами, вызвавшими, в свою очередь, обильные слезы у присутствовавших. Вице-король, растроганный и исполненный сострадания, молча приблизился к ней и собственноручно развязал веревку, связывавшую прелестные руки мавританки.

Между тем, пока мавританка-христианка рассказывала необычайную свою историю, с нее не сводил глаз некий старый паломник, взошедший на галеру вместе с вице-королем; и, едва мавританка окончила свою повесть, он бросился к ее ногам и, обхватив их, воскликнул прерывающимся от вздохов и рыданий голосом:

– О Ана Фелис<sup>1</sup>, несчастная дочь моя! Я твой отец Рикоте, я возвратился за тобою, ибо не могу без тебя жить: в тебе вся душа моя.

При этих словах Санчо широко раскрыл глаза, вскинул голову (меж тем как до того он держал ее опущенною, раздумывая о неудачной своей прогулке) и, взглянув на паломника, узнал в нем того самого Рикоте, которого он повстречал в день своего ухода с поста губернатора, а затем уверился, что мавританка подлинно его дочь, дочка же, свободная от пут, обнимала в эту минуту отца, и слезы ее сливались с его слезами; наконец Рикоте, обратясь к командору и вице-королю, заговорил:

– Это, сеньоры, моя дочь, которой имя находится в противоречии с горькой ее долей. Зовут ее Ана Фелис, фамилию носит она Рикоте, и красотой своею она славится столько же, сколько моим богатством. Я покинул родину, дабы найти приют и кров для всей моей семьи в государствах иностранных, и сыскав таковой в Германии, вместе с несколькими немцами под видом паломника поехал обратно за дочерью и за великими сокровищами, которые я здесь спрятал. Дочери я не нашел, а нашел сокровища, которые я и взял с собой, ныне же благодаря необыкновенному стечению обстоятельств, коему вы явились свидетелями, я нашел и самое бесценное мое сокровище, а именно возлюбленную дочь мою. И если ничтожность нашей вины, а равно и слезы мои и моей дочери способны пробиться сквозь непреклонное ваше правосудие к милосердию вашему, то распространите его на нас, ибо мы никогда против вас не злоумышляли и не были причастны к замыслам наших соплеменников, справедливо осужденных на изгнание. Тут вмешался Санчо:

---

<sup>1</sup> Ана Фелис – «Фелис» буквально означает «счастливая».

– Рикоте я хорошо знаю и могу подтвердить, что Ана Фелис подлинно его дочь, а зачем он уехал и опять приехал и что у него было на уме – всю эту канитель я распутывать не стану.

Необычайное это происшествие привело присутствовавших в изумление, командор же рассудил так:

– Слезы ваши, разумеется, не дадут мне сдержать мою клятву: живите, прекрасная Ана Фелис, столько, сколько вам судило небо, те же дерзкие и наглые преступники понесут должную кару.

И он велел немедленно вздернуть на рею двух турок, которые убили его моряков, однако ж вице-король решительно за них вступился на том основании, что это было-де с их стороны не столько проявлением удали, сколько актом безумия. Командор уступил просьбе вице-короля тем охотнее, что мстить бывает приятно только сгоряча. Затем стали думать, как избавить дону Гаспара Грегорью от той опасности, которой он подвергался; Рикоте сказал, что ради его спасения он готов пожертвовать более чем на две тысячи дукатов жемчуга и других драгоценностей. Предлагали немало различных способов, однако ж наиболее удачным в конце концов был признан способ, предложенный вышеупомянутым испанцем-вероотступником: он знал, где, как и когда можно и должно высадиться, знал также дом, в коем пребывал дон Каспар, и вызвался пойти в Алжир на небольшом, хотя бы даже двенадцативесельном, судне с гребцами, набранными из одних христиан. Командор и вице-король усомнились, можно ли положиться на вероотступника и доверить ему христиан, которые будут у него гребцами, однако ж Ана Фелис за него поручилась, а Рикоте обещал выкупить христиан в случае, если они попадут в плен.

После того как замысел этот получил всеобщее одобрение, вице-король покинул галеру; дон Антоньо Морено пригласил к себе мавританку и ее отца, а вице-король, прежде чем покинуть галеру, обратился к дону Антоньо с просьбой принять их с честью и обласкать, он же, мол, для того, чтобы как можно лучше угостить их, готов предложить все, что только есть у него в доме, – так он был очарован и растроган красотой Аны Фелис.

## Глава LXIV,

*повествующая о приключении, которое принесло Дон Кихоту больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были*

Жена дона Антоньо Морено, рассказывается в истории, чрезвычайно обрадовалась Ане Фелис. Она встретила ее крайне приветливо, ибо Ана Фелис мгновенно пленила ее как своею красотой, так и тонкостью ума (должно заметить, что мавританку природа ни тем, ни другим не обделила), а потом, точно на звон колокола, к дому дона Антоньо начали стекаться все жители города, чтобы полюбоваться на мавританку.

Дон Кихот объявил дону Антоньо, что план освобождения дона Грегорью, по его разумению, неудачен: он-де не только не удобен, но, напротив того, опасен, и что было бы лучше, если б они послали в Берберию его, Дон Кихота, в полном вооружении и верхом на коне: он бы, уж верно, вызволил дону Грегорью вопреки всей мавританщине, подобно как дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру.

– Примите в соображение, ваша милость, – заметил на это Санчо, – что сеньор дон Гайферос освободил свою супругу на суше и сушей же переправил ее во Францию, а вот мы, даже если нам и удастся освободить дону Грегорью, не сумеем переправить его в Испанию, оттого что нам помешает море.

– Кроме смерти, все на свете поправимо, – возразил Дон Кихот, – к берегу пристанет корабль, и если бы даже весь мир захотел чинить нам препятствия, все же мы на тот корабль сядем.

– Ваша милость все это здорово расписывает, и все это у вас идет как по маслу, – заметил Санчо, – но только скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, – нет, я

надеюсь на отступника: мне думается, он малый честный и прямодушный.

Дон Антоньо объявил, что в случае если у вероотступника ничего не выйдет, то они непременно попросят Дон Кихота отправиться в Берберию.

Два дня спустя вероотступник отбыл на легком двенадцативесельном судне с мужественною командою, а галеры еще через два дня направились к берегам Леванта<sup>1</sup>; перед отплытием командор обратился к вице-королю с просьбой уведомить его о том, как произойдет освобождение донна Грегорью, а равно и о том, что станется с Аной Фелис, и вице-король ему обещал.

Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои доспехи, ибо он любил повторять, что его наряд – это его доспехи, а в лютой битве его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгновение, выехал прогуляться по набережной и вдруг увидел, что навстречу ему едет рыцарь, вооруженный, как и он, с головы до ног, при этом на щите у него была нарисована сияющая луна; приблизившись на такое расстояние, откуда его должно было быть слышно, рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такою речью:

– Преславный и неоцененный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я тот самый Рыцарь Белой Луны, коего беспримерные деяния, уж верно, тебе памяты. Я намерен сразиться с тобою и испытать мощь твоих дланей, дабы ты признал и подтвердил, что моя госпожа, кто бы она ни была, бесконечно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской, и если ты открыто в этом признаешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же – от труда умерщвлять тебя. Если же ты пожелаешь со мной биться и я тебя одолею, то в виде удовлетворения я потребую лишь, чтобы ты сложил оружие и, отказавшись от дальнейших поисков приключений, удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и, не притрагиваясь к мечу, стал проводить свои дни в мирной тишине и благодетельном спокойствии, ибо того требуют приумножение достояния твоего и спасение твоей души. Буде же ты меня одолеешь, то в сем случае ты волен отсечь мне голову, доспехи мои и конь достанутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе. Итак, выбирай любое и с ответом не медли, потому что я намерен нынче же с этим делом покончить.

Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном Рыцаря Белой Луны, так и причиною вызова, и он строго, впрочем сохраняя наружное спокойствие, ему ответил:

– Рыцарь Белой Луны! О подвигах ваших я доселе не был наслышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятельнейшую Дульсинею Тобосскую; я уверен, что если б вы ее видели, то воздержались бы от подобного вызова, ибо, улицезрев ее, вы тот же час удостоверились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, которая сравнялась бы с Дульсинеей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы заблуждаетесь, вызов же, который вы мне сделали, я на указанных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не откладывая до другого дня. Единственно, на что я не могу согласиться, это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне, ибо мне неизвестно, каковы они и что они собой представляют, – с меня довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе любое место на поле битвы, я выберу себе, а там что господь даст.

В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и уведомили вице-короля как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король, полагая, что это какое-нибудь новое приключение, подстроенное доном Антоньо Морено или же еще кем-либо из барселонских дворян, вместе с доном Антоньо и множеством других кавальеро поспешил на набережную и прибыл туда как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, что за причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил, что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире, и, вкратце повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король приблизился к дону Антоньо и тихо спросил, знает ли он, кто таков Рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихотом. Дон Антоньо ему ответил, что рыцаря он не знает и не знает также, в шутку или

---

<sup>1</sup> *Левант* – название восточной части Пиренейского полуострова.

по-настоящему вызывает он Дон Кихота на поединок. Ответ дона Антоньо привел вице-короля в замешательство, и он заколебался: позволить или воспретить единоборство; и все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок, а потому отъехал в сторону и сказал:

– Сеньоры кавальеро! Коль скоро у каждого из вас нет иного выхода, кроме как признать правоту своего противника или же умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем, а ваша милость, Рыцарь Белой Луны, на своем, то начинайте с богом.

Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться, и с такою же речью обратился к вице-королю Дон Кихот; затем, всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и под покровительство Дульсиinei (как это он имел обыкновение делать перед началом всякого боя), Дон Кихот снова взял небольшой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разгон, после чего без трубного звука и без какого-либо другого сигнала к бою рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстречу друг другу, но конь Рыцаря Белой Луны оказался проворнее и успел пробежать две трети разделявшего их расстояния, и тут Рыцарь Белой Луны, не пуская в ход копьа (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), с такой бешеной силой налетел на Дон Кихота, что тот вместе с Росинантом рискованное совершил падение. Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к его забралу копьа, молвил:

– Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете соблюсти условия нашего поединка.

Дон Кихот, ушибленный и оглушенный падением, не поднимая забрала, голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из подземелья, произнес:

– Дульсиinea Тобосская – самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копьа свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял.

– Ни в коем случае, – объявил Рыцарь Белой Луны, – пусть во всей своей целокупности идет по миру слава о красоте сеньоры Дульсиinei Тобосской. Я удовольствуюсь тем, что досточтимый Дон Кихот удалится в свое имение на год, словом, впредь до особого моего распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом схватки.

Все это слышали вице-король, дон Антоньо и многие другие, при сем присутствовавшие, и слышали они также ответ Дон Кихота, который объявил, что коль скоро ничего оскорбительного для Дульсиinei с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовестным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это признание, Рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись вице-королю, поскакал коротким галопом в город.

Вице-король попросил дона Антоньо поехать за ним и во что бы то ни стало допытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и покрытое потом лицо. Росинант же пребывал в столь жалком состоянии, что все еще не мог сдвинуться с места. Санчо, опечаленный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить; у него было такое чувство, будто все это происходит во сне и словно все это сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя побежденным и обязался в течение целого года не братья за оружие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах Дон Кихота меркнет и что его собственные надежды, оживившиеся благодаря недавним обещаниям Дон Кихота, исчезают, как дым на ветру. Он боялся, не повреждены ли кости у Росинанта, и еще он боялся, что у его господина прошло повреждение ума (а между тем какое это было бы счастье!). В конце концов Дон Кихота понесли в город на носилках, которые были сюда доставлены по приказу вице-короля, а за ним последовал и вице-король, ибо ему любопытно было знать, кто таков Рыцарь Белой Луны, который столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.



## Глава LXV,

*в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны, и повествуется об освобождении донна Григорью, равно как и о других событиях*

Дон Антонио Морено поехал следом за Рыцарем Белой Луны, и еще следовали за рыцарем гурьбою и, можно сказать, преследовали его мальчишки до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, дон Антонио туда вошел; рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу, а за ним дон Антонио, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальеро от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами:

– Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков, а как мне скрываться не для чего, то, пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки. Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Карраско, односельчанин Дон Кихота Ламанчского, коего помешательство и слабоумие вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления – покой и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться, и вот назад тому месяца три, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись Рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге; у меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть, при этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдастся на милость победителя, а потребовать я с него хотел (ведь я уже заранее считал его побежденным), чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправится; однако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он – он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был приведен в исполнение; он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло дурно для меня кончиться, возвратился восвояси, и все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не преминет подчиниться моему требованию. Вот, сеньор, и все, больше мне вам сказать нечего, но только я вас прошу: не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту, кто я таков, иначе не осуществится доброе мое намерение вернуть рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда дело не касается всей этой рыцарской гили.

– Ах, сеньор! – воскликнул дон Антонио. – Да простит вас бог за то, что вы столь великий наносите урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете! Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от Дон-Кихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродства? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека, столь безнадежно больного. Конечно, нехорошо так говорить, но мне бы хотелось, чтобы Дон Кихот так и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь – и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Пансы, а ведь любая из них способна развеселить самую меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, – посмотрю, оправдаются ли мои предположения, что из всех ваших стараний, сеньор Карраско, ровно ничего не выйдет.

Карраско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антонио объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и Самсон Карраско, велел навьючить свои доспехи на мула и не задерживаясь долее ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края, причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон Антонио передал вице-королю все, что ему рассказал Карраско, от чего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел

возможность получать сведения о его безумствах.

Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо, сколько мог, его утешал и, между прочим, сказал ему следующее:

– Выше голову, государь мой! Постарайтесь рассеяться и возблагодарите господа бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют, дом с виду – полная чаша, а зайдешь – хоть шаром покати, так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, и поедemте домой, а поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, доставалось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-нибудь губернаторствовать, но зато меня не покинуло желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому как ваша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бывать королем: вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться.

– Оставь, Санчо! Ведь тебе же известно, что заточение мое и затворничество продлится не более года, а затем я снова возвращусь к почетному моему занятию и не премину добыть себе королевство, а тебе графство.

– В добрый час сказать, в худой помолчать, – заметил Санчо. – Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное.

Во время этого разговора вошел дон Антонио и с весьма радостным видом воскликнул:

– Добрые вести, сеньор Дон Кихот! Дон Грегорио и тот вероотступник, который за ним ездил, прибыли в гавань! Да что там в гавань, они уже у вице-короля и с минуты на минуту должны быть в моем доме.

Дон Кихот немного повеселел.

– Откровенно говоря, – сказал он, – я бы ничего не имел против, если бы все вышло не так, потому что тогда мне пришлось бы отправиться в Берберию, и там я силою моей длани освободил бы не только дону Грегорио, но и всех пленных христиан, сколько их ни есть в Берберии. Но что я, несчастный, говорю? Разве я не побежден? Разве я не повержен? Не у меня ли отнято право в течение года прикасаться к оружию? Так чего же стоят мои обещания? Чем я могу похвалиться, коли прялка мне теперь более к лицу, нежели меч?

– Полно вам, сеньор! – сказал Санчо. – Живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, сегодня ты меня, а завтра я тебя, из-за всех этих сшибок да перепалок расстраиваться не след, потому кто нынче лежит, тот завтра может встать, если только ему не захочется поваляться в постели, – я хочу сказать: если он не приуныл и для новой драки у него не хватает духу. А вам, ваша милость, придется теперь встать, чтобы повидаться с доном Грегорио: в доме как будто бы поднялась суматоха, значит, он, верно уж, приехал.

И точно, горя желанием как можно скорее свидеться с Аною Фелис, дон Грегорио, после того как он и вероотступник доложили вице-королю о своем путешествии туда и обратно, вместе с тем же вероотступником поспешил к дому Антонио; из Алжира дон Грегорио выехал в женском платье, однако ж дорогою он поменялся платьем с одним бывшим пленником, возвращавшимся вместе с ним, – впрочем, он во всяком наряде невольно вызывал восхищение, приязнь и уважение, ибо красив он был чрезвычайно, лет же ему можно было дать семнадцать-восемнадцать. Рикоте с дочерью вышли ему навстречу, отец – со слезами на глазах, дочь – приличия ради сохраняя наружное спокойствие. Дон Грегорио и Ана Фелис не бросились друг другу в объятия, оттого что истинное чувство избегает слишком бурных проявлений. Сочетание красоты дон Грегорио с красотой Аны Фелис произвело на всех присутствовавших впечатление неотразимое. Молчание обоих влюбленных было красноречивее всяких слов, и не уста, но взоры выражали их радостные и безгрешные мысли. Вероотступник рассказал о том, какой хитроумный способ применил он, чтобы освободить дону Грегорио; дон Грегорио, в свою очередь, рассказал о том, какой

опасности и какому риску он подвергался, живя среди женщин, – рассказал кратко, не вдаваясь в подробности, и в этом проявился его ум, развитый не по летам. Затем Рикоте расплатился с вероотступником и гребцами и щедро их вознаградил. Вероотступник воссоединился с церковью, вновь вступил в ее лоно и, пройдя через покаяние и епитимью, из гнилого ее члена вновь стал здоровым и чистым.

Дня через два вице-король стал держать с доном Антоньо совет, что должно предпринять для того, чтобы Ана Фелис с отцом остались в Испании; и вице-король и дон Антоньо полагали, что если такая ревностная христианка и ее, видимо, столь благонамеренный отец останутся здесь, то никакого вреда от сего произойти не может. Дон Антоньо вызвался похлопотать за них в столице, куда ему все равно нужно было ехать по своим делам, и при этом намекнул, что в столице с помощью влиятельных лиц и подношений можно сделать многое.

– Нет, в сем случае влиятельные лица, а равно и подарки, не имеют никакого значения, – заметил Рикоте, при этом разговоре присутствовавший. – На высокочтимого дона Бернардино де Веласко<sup>1</sup>, графа Саласарского, которого его величество уполномочил изгнать нас, не действуют ни мольбы, ни обещания, ни подарки, ни человеческое горе. Обыкновенно он сочетает в себе милосердие с правосудием, однако ж, видя, что все тело нашего народа заражено и гниет, он применяет к нему не смягчающую мазь, но каленое железо. Так, выказывая благоразумие, предусмотрительность и усердие и вместе с тем внушая страх, выполняет он сложную и трудную задачу, возложенную на могучие его плечи, и все наши старания, уловки, хитрости и плутни не могли отвести ему глаза, истинные глаза Аргуса<sup>2</sup>, которые он не смыкает ни на мгновение, дабы никто из нас здесь не остался, не притаился и, подобно корню, укрытому под землю, не дал ростков и вновь не распространил ядовитых своих плодов в Испании, ныне уже очищенной, ныне уже свободной от страха, в коем держало ее наше племя. Великое дело задумал достославный Филипп Третий, и необычайную мудрость выказал он, доверив его такому человеку, каков дон Бернардино де Веласко!

– Я приму, однако ж, все зависящие от меня меры, а там уж как бог даст, – объявил дон Антоньо. – Дон Грегорьо поедет со мной и успокоит своих родителей, которым его исчезновение, уж верно, причинило горе, Ана Фелис побудет это время или с моей женой, или в монастыре, а что касается доброго Рикоте, то я уверен, что сеньор вице-король с радостью приютит его у себя, пока я чего-нибудь добыюсь.

– Вице-король согласился со всем, что предлагал дон Антоньо, однако ж дон Грегорьо, узнав об их решении, сначала объявил, что никак не может и не желает оставить донью Ану Фелис, но в конце концов, положив свидетеля с родителями, а затем, нимало не медля, возвратиться к донье Ане, сдался на уговоры. Ана Фелис осталась с женою дона Антоньо, а Рикоте перебрался к вице-королю.

Наступил день отъезда дона Антоньо, Дон Кихот же и Санчо тронулись в путь только через два дня, оттого что Дон Кихот все никак не мог оправиться после своего падения. Немало было пролито слез, когда дон Грегорьо простался с Аною Фелис, немало было сильных движений чувства, рыданий и вздохов. Рикоте предложил дону Грегорьо на всякий случай тысячу эскудо, но тот отказался и занял у дона Антоньо всего только пять, обещав возвратить долг в столице. Наконец уехали эти двое, а затем уже, как было сказано, Дон Кихот и Санчо: Дон Кихот – без оружия, в дорожном одеянии, а Санчо – пешком, оттого что на серого навьючены были доспехи.

## Глава LXVI,

---

<sup>1</sup> *Бернардино де Веласко* – главный комиссар кастильской пехоты, отличавшийся большой жестокостью. Ему было поручено наблюдать за выселением морисков.

<sup>2</sup> *Глаза Аргуса (миф.)*. – Аргус – стоглазый великан, которому Юнона велела стеречь возлюбленную Юпитера – Ио, превращенную ею в корову.

*в коей излагается то, о чем читатель прочтет, а слушатель услышит*

Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на то место, где он свалился с коня, воскликнул:

– Здесь была Троя! Здесь моя недоля, а не моя трусость, похитила добытую мною славу, здесь Фортуна показала мне, сколь она изменчива, здесь помрачился блеск моих подвигов, одним словом, здесь закатилась моя счастливая звезда и никогда уже более не воссияет!

Послушав такие речи, Санчо сказал:

– Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает быть терпеливыми в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеваний, и это я сужу по себе: когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю, потому я слышал, что так называемая Фортуна – это пьяная и вздорная бабенка и вдобавок еще слепая: она не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает.

– Ты изрядный философ, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты весьма здраво рассуждаешь, не знаю только, от кого ты этому научился. Полагаю, однако ж, не лишним заметить, что никакой Фортуны на свете нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно, но по особому предопределению неба, и вот откуда известное изречение: «Каждый человек – кузнец своего счастья». Я также был кузнецом своего счастья, но я не выказал должного благоразумия, меня подвела моя самонадеянность: ведь я же должен был понять, что тощий мой Росинант не устоит против могучего и громадного коня Рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул, собрал все свое мужество, меня сбросили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог утратить, добродетели, заключающейся в верности своему слову. Когда я был странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственною своею рукою, своими подвигами доказывал, каков я на деле, ныне же, когда я стал обыкновенным идальго, я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову. Итак, вперед, друг Санчо: мы проведем этот год искуса у себя дома, накопим сил за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное.

– Сеньор! – молвил Санчо. – Плестись пешком вовсе не так приятно, я отнюдь не обуреваем страстью к большим переходам. Давайте-ка повесим доспехи на дерево, заместо разбойника, когда же я устроюсь на спине у серого и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать любые переходы, какие только ваша милость потребует и назначит, а чтобы я пешком отмахивал большие расстояния – это вещь невозможная.

– Ты дело говоришь, Санчо, – заметил Дон Кихот, – пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была начертана на трофее Роландовом, состоявшем из его доспехов:

Лишь тот достоин ими обладать,  
Кто и Роланду бой решится дать.

– Чудо как хорошо, – заметил Санчо, – и если б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить.

– Нет, – сказал Дон Кихот, – нельзя подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить: «Так-то он платит за верную службу?»

– Совершенная правда, ваша милость, – согласился Санчо. – Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено.

В подобных беседах и разговорах прошел у них весь этот день, равно как и следующие

четыре, во все продолжение коих ничто не задерживало их в пути, на пятый же день, достигнув некоего селения, они увидели, что возле постоялого двора собралась толпа: то веселился народ по случаю праздника. Когда Дон Кихот приблизился к толпе, один из крестьян, возвысив голос, молвил:

– Эти два сеньора только сейчас приехали, никого здесь не знают, давайте попросим кого-нибудь из них рассудить наш спор.

– Я готов, – сказал Дон Кихот, – постараюсь рассудить по справедливости, если только постигну суть вашего спора.

– Дело, господин хороший, состоит вот в чем, – начал крестьянин, – один наш односельчанин, – он у нас толстяк и весит одиннадцать арроб, – вызвал на состязание в беге своего соседа, а тот весит всего только пять. По условию они должны с одинаковым грузом пробежать расстояние в сто шагов. Когда же вызвавшего на состязание спросили, как уравнивать грузы, он сказал: пусть, мол, вызванный на состязание, который весит пять арроб, нагрузит на себя шесть арроб железа. Таким, дескать, образом вес толстого и вес худого уравниваются: выйдет, что и у того и у другого по одиннадцати арроб.

– Нет, так нельзя, – прежде чем Дон Кихот успел что-нибудь ответить, вмешался Санчо. – Всем известно, что я еще на днях был губернатором и судьей, стало быть, мне и надлежит рассудить вас и вынести решение.

– Вот и отлично, друг Санчо, слово за тобой, – сказал Дон Кихот, – я же сейчас ровно ни на что не годен: в голове у меня все спуталось и смешалось.

Получив дозволение, Санчо обратился к крестьянам с речью, а те сгрудились вокруг него в ожидании приговора и разинули рты.

– Братцы! Требование толстого лишено здравого смысла и даже тени справедливости, потому это уж так заведено и все это знают, что вызванный на поединок имеет право выбирать род оружия, а стало быть, нельзя допустить, чтобы толстый выбирал такое оружие, которое заведомо помешает и не даст худому одолеть. Так вот вам мое мнение: пусть-ка толстый, вызвавший худого, подрежет себя, подчистит, подскоблит, подукоротит и подточит в любой части своего тела, где ему только вздумается и заблагорассудится, и убавит мяса на шесть арроб, после этого в нем останется всего только пять арроб весу, и он сравняется со своим противником и точка в точку к нему подойдет: ведь противник весит как раз столько, – вот тогда пускай себе и бегут на равных условиях.

– Ах ты, чтоб тебе пусто было! – выслушав приговор Санчо, воскликнул один из крестьян. – Этот сеньор рассуждает, как святой, и разрешает споры не хуже любого каноника! Но только вот беда: я могу ручаться, что толстый унцию мяса с себя не срежет, а не то что шесть арроб.

– Пусть лучше совсем не бегают, – заметил другой, – худому не к чему надрываться, а толстому себя кромсать, – половину заклада давайте потратим на вино, пригласим этих сеньоров в хорошую таверну, и крышка делу.

– Благодарю вас, сеньоры, – молвил Дон Кихот, – но я не могу задерживаться ни на секунду: грустные мысли и печальные события принуждают меня быть неучтивым и торопят меня.

С этими словами, дав Росинанту шпоры, он поехал дальше, крестьяне же не могли не подивиться как необычной его наружности, невольно бросавшейся в глаза, так и рассудительности его слуги; надобно заметить, что Санчо они принимали именно за слугу. И один из них молвил:

– Если так умен слуга, каков же должен быть господин! Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то потом попадут прямо в столичные алькальды. Учиться и учиться – вот что нужно, остальное все ерунда; ну, конечно, надобно еще, чтобы тебе порадели и чтобы тебе повезло: глядишь, в один прекрасный день у тебя в руке жезл, а то и митра на голове.

Эту ночь господин и слуга провели в поле, на вольном воздухе и под открытым небом, а на другой день, едучи своею дорогою, заметили, что навстречу идет человек с сумой за

плечами и то ли с копьцом, то ли с дротиком в руке – неотъемлемою принадлежностью пешего почтальона; подойдя к Дон Кихоту на более близкое расстояние, прохожий внезапно ускорил шаг и, почти бегом устремившись к нему, поцеловал его в правую ляжку, ибо выше он достать не мог, а затем, чрезвычайно, по-видимому, обрадовавшись, воскликнул:

– Ах, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Как же будет доволен герцог, мой господин, когда узнает, что ваша милость возвращается к нему в летний дворец! Ведь он с сеньорой герцогиней все еще там.

– Я вас не знаю, друг мой, – объявил Дон Кихот, – и так и не буду знать, пока вы мне сами не скажете.

– Сеньор Дон Кихот! – отвечал гонец. – Я Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот самый, который не захотел с вашей милостью биться из-за женитьбы на дочке доньи Родригес.

– Господи боже мой! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели вы и есть тот самый человек, которого волшебники, мои недоброжелатели, обратили, как вы сказали, в лакея, дабы лишить меня чести победителя?

– Полно, досточтимый сеньор! – сказал посланец. – Не было тут никакого волшебства, и нимало я не изменился лицом: выехал я на арену лакеем Тосилосом и таким же точно лакеем Тосилосом с нее удалился. Я порешил жениться без всякого сражения просто потому, что девушка мне приглянулась, однако ж расчеты мои не оправдались: не успела ваша милость выехать за ворота, как герцог, мой господин, велел отсчитать мне сотню розог за то, что я не выполнил распоряжений, которые мне были даны перед боем, и кончилось дело тем, что девица ушла в монахини, донья Родригес переехала в Кастилию, а меня мой господин послал в Барселону с письмами к вице-королю. Коли вашей милости угодно доброго вина, хотя и тепловатого, то у меня с собой тыквенная фляга с крепким вином и несколько ломтиков трончонского сыру, способного вызвать и пробудить жажду в случае, если она заснула.

– Предложение принято, – объявил Санчо. – Всякие церемонии – побоку. А ну, давай выпьем, добрый Тосилос, назло и наперекор всем заморским волшебникам!

– В таком случае, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ты величайший чревоугодник в мире и величайший из остолопов, какие только есть на земле, ибо ты не в состоянии постигнуть, что гонец сей заколдован и что это поддельный Тосилос. Оставайся с ним и напихивай свою утробу, а я медленным шагом поеду вперед, чтобы ты мог меня догнать.

Тосилос засмеялся, вынул флягу, извлек сыр, достал хлебец, а затем он и Санчо в мире и согласии уселись на зеленой травке и единым духом справились и покончили со всем содержимым сумы и даже облизали пакет с письмами только потому, что он пропах сыром. Подзакусив, Тосилос сказал Санчо:

– Такой человек, как твой господин, друг Санчо, непременно должен быть сумасшедшим.

– Как так должен? – вскричал Санчо. – Никому он ничего не должен, он за все расплачивается, тем более что монета его – чистое безумие. Я это хорошо вижу и сколько раз ему говорил, да что проку? А уж теперь и подавно: ведь он совсем повредился в уме после того, как его одолел Рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил рассказать, как это произошло, однако ж Санчо ответил, что неудобно заставлять своего господина ждать, – в другой раз, дескать, когда они еще как-нибудь встретятся. Затем, стряхнув крошки с одежды и с бороды, он встал, простился с Тосилосом и, погнав серого вперед, вскоре увидел своего господина, который его дожидался под сенью древа.

## Глава LXVII

*О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных*

Если множество мыслей докучало Дон Кихоту до того, как он потерпел поражение, то еще больше стали они ему докучать после того, как он был повержен. Он дожидался Санчо, как уже было сказано, под деревом, а мысли, словно мухи, слетающиеся на мед, осаждали его и жалили: одни из них вились вокруг расколдования Дульсинеи, другие – вокруг той жизни, какую ему придется вести в вынужденном его уединении. Наконец приблизился Санчо и начал расхваливать щедрость лакея Тосилоса.

– Неужели ты все еще думаешь, Санчо, что это настоящий лакей? – воскликнул Дон Кихот. – Верно, у тебя вылетело из головы, что ты сам же видел Дульсинею, превращенную и преображенную в сельчанку, а Рыцаря Зеркал – в бакалавра Карраско, а ведь и то и другое – дело рук волшебников, меня преследующих. Лучше скажи мне, не спрашивал ли ты человека, которого ты именуешь Тосилосом, что случилось с Альтисидорою: оплакивала она разлуку со мною или же предала забвению любовные мысли, не дававшие ей покою в моем присутствии?

– Нет, сеньор, я был занят своими мыслями, мне недосуг было спрашивать о пустяках, – возразил Санчо. – Черт побери, ваша милость! Неужто вам сейчас до чужих мыслей, тем паче до любовных?

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – одно дело – любовь, а другое – благодарность. Рыцарь вполне может быть равнодушен, однако ж, строго говоря, он не может быть неблагодарным. Альтисидора, по-видимому, в меня влюбилась, подарила мне, как ты знаешь, три косынки, плакала, когда я уезжал, и, забывши всякий стыд, проклинала меня, бранила, сетовала при посторонних, – все это явные знаки того, что она меня обожала, ибо гнев влюбленных обыкновенно выражается в проклятиях. Я не мог подать ей никаких надежд и не мог одарить ее никакими сокровищами, ибо все надежды мои сопряжены с Дульсинеей, сокровища же странствующих рыцарей, подобно сокровищам нечистой силы, суть призрачны и обманчивы, – единственно, чем я могу отблагодарить Альтисидору, это если я буду хранить о ней память, без ущерба, однако ж, для Дульсинеи, с которой ты, Санчо, кстати сказать, поступаешь дурно, ибо откладываешь самобичевание и умерщвление плоти своей (пусть бы ее пожрали волки), по всей вероятности предпочитая, чтобы она досталась червям на корм, нежели оказала помощь несчастной этой сеньоре.

– Коли уж на то пошло, сеньор, – заговорил Санчо, – я не могу взять в толк, какое отношение имеет порка моей задницы к расколдованию заколдованных? Ведь это все равно что сказать: «Заболела у тебя голова – натри мазью коленки». Я, по крайней мере, могу поклясться, что ни в одной из историй о странствующих рыцарях, какие ваша милость читала, вы не встретили человека, расколдованного благодаря порке. Но все-таки я себя высеку, когда мне придет охота и когда представится для этого удобный случай.

– Дай бог, – молвил Дон Кихот, – и да снизойдет на тебя благодать господня, дабы ты сознал свой долг помочь моей госпоже, а ведь она и твоя госпожа, коль скоро ты мой слуга.

Разговаривая таким образом, ехали они своей дорогой и наконец достигли того места, где их опрокинули быки. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо:

– Вон тот лужок, где мы встретились с раздетыми пастушками и разряженными пастухами, задумавшими воссоздать и воскресить здесь пастушескую Аркадию, каковая мысль представляется Мне столь же своеобразной, сколь и благоразумной, и если ты ничего не имеешь против, Санчо, давай в подражание им также превратимся в пастухов хотя бы на то время, которое мне положено провести в уединении. Я куплю овец и все, что нужно пастухам, назовусь пастухом *Кихотисом*, ты назовешься пастухом *Пансино*, и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам, утоляя жажду текучим хрусталем ключей, светлых ручейков или полноводных рек. Дубы щедро оделят нас сладчайшими своими плодами, крепчайшие стволы дубов пробковых предложат нам сиденья, ивы – свою тень, розы одарят нас своим благоуханием, необозримые луга – многоцветными коврами, прозрачный и чистый воздух напоит нас своим дыханием, луна и звезды подарят нам свой свет, торжествующий над ночной темнотою, песни доставят нам

удовольствие, слезы – отраду, Аполлон вдохновит нас на стихи, а любовь подскажет нам такие замыслы, которые обессмертят нас и прославят не только в век нынешний, но и в веках грядущих.

– Ей-богу, мне такая жизнь как раз по нутру, – признался Санчо, – да не только мне – дайте на нас поглядеть бакалавру Самсону Карраско и цирюльнику маэсе Николасу, и они тот же час к нам присоединятся и заделаются пастухами, а там, глядишь, и сам священник припожалует к нашему шалашу: ведь он у нас весельчак и любит разные потехи.

– Мысль верная, – заметил Дон Кихот, – бакалавр Самсон Карраско, если только он вступит в пастушескую нашу общину, – а он, разумеется, вступит, – может назваться пастухом *Самсоново* или пастухом *Каррасконом*, а цирюльник Николае может назваться *Никулосо*, подобно как наш старый Боскан назвался *Неморосо*<sup>1</sup>. Вот только не знаю, какое бы нам имя придумать священнику, впрочем, как производное от его сана, ему можно дать прозвище пастуха *Пресвитериамбро*. Между тем подобрать имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, это проще простого, а как имя моей госпожи одинаково подходит и для пастушки и для принцессы, то и не к чему мне утруждать себя поисками более удачного имени, ты же, Санчо, подбери для своей пастушки какое угодно.

– Я буду звать ее только *Тересоной*, – объявил Санчо, – это как раз подойдет и к ее толщине, и к ее настоящему имени: ведь ее зовут Тересой. Мало того: я еще буду воспевать ее в стихах и тем докажу, что я человек добродетельный и по чужим домам от добра добра не ищу. Священнику во избежание соблазна также не к лицу заводить пастушку, а вот насчет бакалавра – это уж вольному воля.

– Господи ты боже мой, какую жизнь мы будем с тобой вести, друг Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Каких только кларнетов, саморских волынок, тамбуринов, бубнов и равелей мы с тобой не слушаемся! А что, если к разнообразным этим инструментам приметаются еще звуки альбогов? Словом, у нас будет почти полный набор пастушеских музыкальных инструментов.

– А что такое альбоги? – полюбопытствовал Санчо. – Я сроду про них не слышал и никогда в жизни не видел.

– Альбоги, – пояснил Дон Кихот, – это металлические предметы, похожие на медные подсвечники; если их ударить один о другой, то, благодаря тому что они полые и внутри пустые, они издают определенный звук, правда, не весьма нежный и мелодичный, но, в общем, скорее приятный для слуха и подходящий к бесхитростным деревенским инструментам, каковы суть волынка и тамбурин. Самое же слово *альбоги* – мавританское, как и все слова в испанском языке, начинающиеся на *al*, например: *almohaza*, *almorzar*, *alhombra*, *alguacil*, *alhucema*, *almacen*, *alcancia* и некоторые другие, и только три мавританских слова в испанском языке оканчиваются на *г*, то есть: *borcegui*, *zaquizami* и *maravedi*. Слова *alheli* и *alfaqui*<sup>2</sup> – слова заведомо арабские, раз что начинаются они на *al*, а кончаются на *и*. Все это я тебе говорю между прочим, – мне это пришло на память в связи со словом *альбоги*. А чтобы мы могли показать себя на новом поприще с наивыгодной стороны, то нам тут окажет существенную помощь вот какое обстоятельство: ведь я, как ты знаешь, отчасти стихотворец, бакалавр же Самсон Карраско – поэт изрядный. О священнике я ничего не могу сказать, однако ж готов биться об заклад, что он балуется стихами. Не сомневаюсь, что грешит этим и маэсе Николас, оттого что все или почти все цирюльники – гитаристы и стихоплеты. Я стану сетовать на разлуку, ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон будет роптать на то, что он отвергнут, священник Пресвитериамбро изберет то, что ему всего более придется по душе, – словом, все выйдет

---

<sup>1</sup> *Босхан назвался Неморосо* – Неморосо – по-русски «житель леса». Намек на первую и вторую эклоги Гарсиласо де ла Вега, в которых выступают пастухи Салисьо и Неморосо. Во времена Сервантеса считалось, что под именем Неморосо выступает поэт Хуан Боскан (ум. 1542). Согласно изысканиям современных исследователей под именем Неморосо выступает сам Гарсиласо де ла Вега.

<sup>2</sup> Испанские слова: *almohazs* – скребница, *almorzar* – завтракать, *alhombra* – ковер, *alguacil* – альгуасил (полицейский), *alhucema* – лаванда, *almacen* – магазин, *alcancia* – копилка, *borcegui* – полусапожки, *zaquizami* – лачуга, *maravedi* – мараведи (испанская мелкая монета), *alheli* – левкой, *alfaqui* – духовная особа у мусульман.



как нельзя лучше.

Санчо же ему на это сказал:

– Я, сеньор, человек незадачливый и, боюсь, не доживу до такой жизни. А каких бы деревянных ложек я наделал, когда бы стал пастухом! Какие бы у нас были гренки, какие сливки, какие венки – словом, всякая была бы у нас всячина, какая только водится у пастухов, так что за умника я, пожалуй что, и не сошел бы, а за искусника – это уж наверняка. Моя дочь Санчика носила бы нам в поле обед. Нет, шалишь, она девчонка смазливая, а среди пастухов больше хитрецов, нежели простаков, и, чего доброго, она за чем-нибудь одним пойдет, а совсем с другим придет, а то ведь волокитства и нечистых помыслов – этого и в полях, и в городах, и в пастушеских хижинах, и в королевских палатах сколько угодно, стало быть, отойди от зла – сотворишь благо, с глаз долой – из сердца вон, один раз не остережешься – после беды не оберешься.

– Довольно пословиц, Санчо, – сказал Дон Кихот, – любая из них достаточно изъясняет твою мысль. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты был не так щедр на пословицы и чтобы ты знал меру! Впрочем, тебе говори не говори, – как об стену горох: мать с кнутом, а я себе все с волчком!

– А мне сдается, – молвил Санчо, – что про таких, как вы, ваша милость, говорят: «Сказала котлу сковорода: пошел вон, черномазый!» Меня вы ругаете за пословицы, а сами так двоешками и сыплете.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – я привожу пословицы к месту, они у меня приходятся как раз по мерке, ты же не приводишь их, а тащишь и притягиваешь за волосы. Помнится, я тебе уже говорил, что пословицы – это краткие изречения, добытые из опыта, и это плоды размышлений древних мудрецов, пословица же, приведенная не к месту, это не изречение, а благоглупость. Однако довольно об этом, уже стемнело, давай-ка свернем с большой дороги и заночуем где-нибудь поблизости, – утро вечера мудренее.

Они свернули в сторону, и ужин вышел у них поздний и скудный, что весьма огорчило Санчо, коего мысленному взору снова представились все лишения, сопряженные с поприщем странствующего рыцарства и с блужданиями в лесах и горах и лишь по временам сменяющиеся довольством в замках и домах, как, например, у дона Дьего де Миранда, на свадьбе у богача Камачо и в гостях у дона Антоньо Морено, однако ж, приняв в соображение, что как дню, так и ночи бывает конец, Санчо рассудил за благо лечь спать, господин же его порешил бодрствовать.

## Глава LXVIII

*Об одном свинском приключении, выпавшем на долю Дон Кихота*

Ночь была довольно темная; луна, правда, взошла, однако ж находилась не на таком месте, откуда ее можно было видеть: надобно знать, что иной раз госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам, горы же оставляет во мраке и доли во тьме. Дон Кихот отдал дань природе, и первый сон одолел его, зато уж второй ничего не мог с ним поделаться, у Санчо же все обстояло по-иному: у него никакого второго сна и быть не могло, оттого что сон его длился непрерывно, с ночи до утра, что свидетельствовало о добром его здоровье и о его беззаботности. Между тем от Дон Кихота заботы отогнали сон, и, разбудив Санчо, он сказал:

– Меня приводит в изумление, Санчо, беспечный твой нрав: можно подумать, что ты сделан из мрамора или же из прочной меди, ибо и тот и другая недвижны и бесчувственны. Я бодрствую, в то время как ты спишь, я плачу, в то время как ты поешь, я изнуряю себя постом, а ты наедаешься до того, что тебе трудно бывает двигаться и дышать. Доброму слуге подобает делить с господином его невзгоды и, хотя бы для виду, горевать вместе с ним. Обрати внимание, какая тихая стоит ночь, как вокруг нас пустынно, – все это призывает нас перемежать сон бдением. Так будь же добр, встань, отойди в сторонку и, преисполнившись

человеколюбия, благодарности и отваги, отсчитай себе ударов триста – четыреста из того общего числа, от которого зависит расколдование Дульсинеи. На сей раз я ограничиваюсь просьбою и мольбою, вторично же схватываться с тобою врукопашную я не намерен, ибо испытал на себе тяжесть твоей руки. А когда ты покончишь с самобичеванием, мы проведем остаток ночи в пении: я буду петь о разлуке, ты – о своей верности, и так мы положим начало тому пастушескому образу жизни, который будем вести у себя в селе.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Я не монах, чтобы вставать среди ночи и начинать умерщвлять свою плоть, тем паче нельзя, думается мне, после розог, когда тебе еще чертовски больно, прямо переходить к пению. Дайте мне поспать, ваша милость, и не приставайте ко мне с поркой, иначе я дам клятву, что никогда не прикоснусь к ворсу на своей одежде, а не только что к своему телу.

– О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Я ли тебя не кормил, я ли не осыпал тебя милостями и не намеревался осыпать ими и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором, благодаря мне у тебя есть все основания надеяться на получение графского титула или же чего-либо равноценного, и надежды эти сбудутся не позднее, чем через год, ибо *post tenebras spero lucem*<sup>1</sup>.

– Это мне непонятно, – сказал Санчо, – я знаю одно: когда я сплю, я ничего не боюсь, ни на что не надеюсь, не печалюсь и не радуюсь. Дай бог здоровья тому, кто придумал сон: ведь это плащ, который прикрывает все человеческие помыслы, пища, насыщающая голод, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод, умеряющий жар, – словом сказать, это единая для всех монета, на которую можно купить все, это весы и гири, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником. Одним только, говорят люди, сон нехорош: есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика.

– Никогда еще, Санчо, ты столь изысканно не выражался, – заметил Дон Кихот, – теперь я начинаю понимать, сколь справедлива та пословица, которую ты приводил неоднократно: с кем поведешься, от того и наберешься.

– Вот так так, драгоценный мой господин! – воскликнул Санчо. – Теперь уж не я сыплю пословицами, – теперь они у вас так и срываются с языка, почище, чем у меня, – разница, как видно, только в том, что пословицы вашей милости уместны, а мои – невпопад, ну, а если разобраться, то ведь и те и другие – пословицы.

Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч, Санчо же забрался под своего серого, а с боков заградился доспехами и вьючным седлом, и был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух уstraшенных, – впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако ж, состояло вот в чем: несколько человек направлялось в этот час на ярмарку и гнало на продажу более шестисот свиней, и вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушал Дон Кихота и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило Санчовы заграждения, сшибло с ног не только Дон Кихота, но в довершение всего и Росинанта и прошлось по рыцарю и по оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их, привели в смятение и повергли наземь седло, доспехи, серого, Росинанта, Санчо и Дон Кихота. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошлись именно свиньи, это было для него теперь очевидно. Дон Кихот, однако ж, ему сказал:

– Оставь их, мой друг: это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи.

---

<sup>1</sup> После мрака на свет уповаю (из книги Иова) (лат.)

– Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей, – подхватил Санчо, – то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучает голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям родными сыновьями или же близкими родственниками, – тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена, но в каком таком родстве состоят Кихоты и Панса? Ну, ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет.

– Спи, Санчо, – молвил Дон Кихот, – ты рожден для того, чтобы спать, я же, рожденный бодрствовать, в эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале, который я без твоего ведома прошедшей ночью сочинил в уме.

– Мне сдается, что для песенки особенно много дум не требуется, – заметил Санчо. – Пойте себе, ваша милость, сколько хотите, а я поплю, сколько мне удастся.

Вслед за тем, заняв столько места, сколько ему заблагорассудилось, Санчо свернулся клубочком и заснул сном праведника, не нарушаемым ни заботами о долгах и поручительствах, ни душевными горестями. Дон Кихот же, прислонившись к стволу то ли бука, то ли пробкового дуба (Сид Ахмет Бен-инхали не указывает, какое именно это было дерево), под аккомпанемент собственных вздохов запел:

Когда мне мысль придет  
О том, как сильно от любви я стражду,  
Я смерти сердцем жажду,  
Ее благословляя наперед.

Но на краю могилы,  
Сей гавани желанной в море мук,  
Становится мне вдруг  
Смерть так сладка, что умереть нет силы.

И воскрешен опять  
Я смертью к жизни, для меня смертельной,  
И длится бой бесцельный,  
Где верх ни жизнь, ни смерть не могут взять!

Каждый стих он сопровождал множеством вздохов и довольно обильными слезами, свидетельствовавшими о том, что сердце у него исполнено горечи и разрывается на части при мысли о поражении и о разлуке с Дульсинеей.

Тем временем наступил день, солнце било Санчо прямо в глаза и в конце концов разбудило его, – он потянулся, встряхнулся и расправил свои разнежившиеся члены; засим, определив урон, нанесенный свиньями его запасам, он прежде обругал стадо, а потом и кое-кого повыше. Наконец Дон Кихот и Санчо поехали дальше; когда же день начал клониться к вечеру, то они увидели, что навстречу им движутся человек десять верховых и человек пять пеших. У Дон Кихота сердце запрыгало, а у Санчо екнуло, оттого что люди эти были снабжены копьями и щитами и вид у них был весьма воинственный. Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

– Когда б я мог, Санчо, применить оружие и руки не были б у меня связаны обещанием, то переведаться с этим движущимся на нас полчищем было бы для меня праздником. Впрочем, опасения наши, может статься, излишни.

Всадники между тем приблизились, подняли копыя, молча окружили Дон Кихота и, угрожая ему смертью, приставили острия копий к груди его и спине. Один из пеших, приложив палец к губам в знак того, что пленники не смеют пикнуть, взял Росинанта под уздцы и повел его в сторону от дороги, прочие, совершенное храня молчание, следом за человеком, ведшим Росинанта, погнались серого, на котором сидел Санчо, Дон Кихот же

несколько раз пытался задать вопрос, куда его влекут и чего хотят от него, но стоило ему раскрыть уста, как острия копий накладывали на них печать. Той же участи подвергался и Санчо: едва он изъявлял желание заговорить, как один из пешеходов тыкал в него острым концом палки, и не только в него, но и в серого, словно и тот намеревался заговорить. Настала ночь, конные и пешие начали обнаруживать нетерпение, пленники же пришли в еще больший ужас, тем паче что стражники то и знай на них покрикивали:

– Вам не удрать, троглодиты!  
– Молчать, эфиопы!  
– Не смей роптать, антропофаги!  
– Не смей стонать, скифы, не смей тарашить глаза, лютые полифемы, кровожадные львы!

К этим они присовокупили еще и другие им подобные наименования, ранившие слух несчастного Дон Кихота и его слуги.

Санчо дорогою рассуждал сам с собой:

«Разве мы *проглотиты*? Разве мы *недотепы и бродяги*? Разве мы уж такие *анафемы*? Нет, мне эти названия что-то не нравятся. Нанесло вас, голубчиков, на нашу погибель, этого еще не хватало: пришла беда – отворяй ворота, лишь бы только это приключившееся с нами злоключение не пошло дальше колотушек».

Дон Кихот был ошеломлен; сколько он ни напрягал мысль, а все не мог постигнуть, что это за люди, у которых не сходят с языка бранные слова, – было ясно, что от таких людей должно ждать отнюдь не добра, но великого худа. Наконец, уже около часа ночи, подъехали они к замку, и Дон Кихот сейчас его узнал, ибо то был замок герцога, где он и Санчо еще так недавно гостили.

«Господи помилуй, что же это такое? – подумал Дон Кихот, как скоро уразумел, где он находится. – До сих пор все в этом доме были со мной чрезвычайно любезны и приветливы; впрочем, для побежденных все хорошее превращается в дурное, а дурное – в наихудшее».

Тут Дон Кихот и Санчо въехали в парадный двор замка и увидели, что он богато убран и украшен, отчего их изумление возросло, а страх еще усилился, как это покажет следующая глава.

## Глава LXIX

*О наиболее редком и наиболее изумительном из всех происшествий, какие на протяжении великой этой истории с Дон Кихотом случались*

Верховые спрыгнули с коней и, вместе с пешими внезапно подхватив на руки Санчо и Дон Кихота, вошли во двор; кругом всего двора пылало около ста факелов, державшихся на подставках, в галереях же горело более пятисот плашек, так что, хотя ночь была довольно темная, казалось, будто дело происходит днем. Посреди двора возвышался катафалк высотой примерно в два локтя, под широчайшим черным бархатным балдахином, ступеньки вокруг всего катафалка были уставлены белыми восковыми свечами в серебряных канделябрах, числом более ста, а на самом катафалке виднелось тело девушки, столь прекрасной, что даже смерть бессильна была исказить прекрасные ее черты. Голова ее в венке из самых разнообразных душистых цветов покоилась на парчовой подушке, а в руках, скрещенных на груди, она держала желтую пальмовую победную ветвь. Поодаль был воздвигнут помост, на котором стояли два кресла, на креслах же восседали две особы; на головах у них красовались короны, а в руках они держали скипетры, из чего можно было заключить, что это цари, не то настоящие, не то поддельные. По одну и по другую сторону помоста, на который вели несколько ступенек, стояли еще два кресла, и вот люди, взявшие в плен Дон Кихота и Санчо, на эти кресла их и усадили, причем они сами все время молчали и подали знак молчать обоим пленникам; впрочем, Дон Кихот и Санчо хранили бы молчание и без всякого знака, ибо изумление при виде того, что открылось их взору, наложило на их

уста печать. Между тем на помост взошли со многочисленной свитой две важные особы, в которых Дон Кихот тотчас узнал своих хозяев, герцога и герцогиню, и сели в роскошные кресла рядом с особами, которые изображали из себя царей. Кто бы всему этому не подивился, особенно если мы прибавим, что в покойнице, лежавшей на катафалке, Дон Кихот узнал прекрасную Альтисидору? Только лишь герцог и герцогиня взошли на помост, Дон Кихот и Санчо встали и низко им поклонились, те же едва им ответили.

В это время появился слуга и, приблизившись к Санчо, накинул на него черной бумазеи мантию с нашитыми на нее полосами в виде языков пламени, затем снял с него шапку и, надев колпак наподобие тех, какие носят осужденные священной инквизицией, шепнул ему, чтоб он помалкивал, иначе ему всунут в рот кляп, а то и вовсе прикончат. Санчо посмотрел на себя и увидел, что он весь обьят пламенем, однако боли от ожога он не ощущал, и это его успокоило. Он снял с головы колпак и, обнаружив, что на нем нарисованы черти, снова надел его и пробормотал:

– Если пламя меня не жжет, стало быть, и черти меня не утащат.

Дон Кихот взглянул на Санчо, и хотя над всеми его чувствами господствовал страх, все же вид Санчо его насмешил. В это время, должно думать из-под катафалка, послышались тихие, ласкающие слух звуки флейт, и благодаря тому, что человеческие голоса к ним не примешивались, ибо здесь безмолвствовало само безмолвие, они были особенно нежны и приятны. Внезапно у изголовья той, что казалась мертвой, вырос прелестный юноша, одетый, как римлянин, и голосом чистым и благозвучным, сам себе аккомпанируя на арфе, пропел эти две строфы:

Пока не пробудится жизнь опять  
В Альтисидоре, жертве Дон Кихота,  
И не решатся дамы траур снять,  
И герцогине не придет охота  
Своих дуэний снова увидеть  
В нарядах из шелков, парчи, камлота,  
Я буду петь страдальицы удел  
Звучней, чем в старину фракиец пел<sup>1</sup>.  
И этот долг мой, скорбный, но священный,  
Не только на земле исполню я,  
Слагать хвалу красе твоей нетленной  
Я буду, восхищенья не тая,  
И в мрачном царстве мертвецов, где пеной  
Вскипает вечно Стиксова струя,  
И, внемля мне, замедлит на мгновенье  
Свой неустанный бег река забвенья.

– Довольно! – воскликнул тут один из тех, кто изображал из себя царя. – Довольно, дивный певец! Так можно до бесконечности петь о смерти и о прелести несравненной Альтисидоры, не мертвой, как полагают невежды, но живой, – живой, ибо слава о ней гремит, живой, ибо присутствующий здесь Санчо Панса претерпит пытки ради ее воскресения. Итак, о Радамант, вместе со мною творящий суд в мрачных пещерах Дита, ты, коему известно все, что неисповедимую волею судеб предуказано нам свершить для того, чтобы девицу сию возвратить к жизни, поведай нам это и объяви сей же час, дабы мы елико возможно скорее исполнились радости, которую сулит нам ее оживление.

Только успел судья Минос, Радамантов товарищ, вымолвить это, как Радамант встал и возговорил:

– Гей вы, слуги дома сего, старшие и младшие, великовозрастные и юные! Бегите все сюда и двадцать четыре раза щелкните Санчо в нос, двенадцать раз его ущипните и шесть

---

<sup>1</sup> ...в старину фракиец пел... (миф.) – Орфей.

раз уколите булавками в плечи и в поясницу, ибо от этого обряда зависит спасение Альтисидоры.

Послушав такие речи, Санчо не выдержал и заговорил:

– Черт возьми! Да я скорее превращусь в турка, чем позволю щелкать себя по носу и хватать за лицо! Нелегкая меня побери! Уж будто эта девица так прямо и воскреснет, если меня станут хватать за лицо! До того разлакомились – сил никаких нет: Дульсинею заколдовали – давай меня пороть, чтобы она расколдовалась, умерла Альтисидора, оттого что господь бог послал ей болезнь, – так, чтобы она ожила, необходимо, видите ли, двадцать четыре раза щелкнуть меня по носу, исколоть мне тело булавками и до синяков исщипать мне плечи! Нет уж, держите карман шире, я старый воробей: меня вам на мякине не провести!

– Ты умрешь! – вскричал Радамант. – Смягчись, тигр, смирись, надменный Немврод<sup>1</sup>, терпи и молчи: ведь от тебя не требуют невозможного. И перестань толковать о трудностях этого предприятия: все равно быть тебе отщелкану, быть тебе исколоту булавками и стонать тебе от щипков. Гей, слуги! Исполняйте, говорят вам, мое приказание, а не то, даю честное слово, вы у меня своих не узнаете!

В это время во дворе появились шесть дуэний; шли они вереницею, при этом четыре из них были в очках, а руки у всех были подняты, рукава же на четыре пальца укорочены, дабы руки, как того требует мода, казались длиннее. При одном виде дуэний Санчо заревел, как бык.

– Я согласен, чтоб меня весь род людской хватал за лицо, – воскликнул он, – но чтоб ко мне прикасались дуэньи – это уж извините! Пусть мне царапают лицо коты, как царапали они вот в этом самом замке моего господина, пронзайте мое тело острыми кинжалами, рвите мне плечи калеными клещами, – я все стерплю, чтобы угодить господам, но дуэньям дотрагиваться до меня я не позволю, хотя бы меня черт уволок.

Тут не выдержал Дон Кихот и, обратись к Санчо, молвил:

– Терпи, сын мой, послужи сеньорам и взоблагодари всевышнего, который даровал тебе такую благодатную силу, что, претерпевая мучения, ты расколдовываешь заколдованных и воскрешаешь мертвых.

Между тем дуэньи уже приблизились к Санчо, и Санчо, смягчившись и проникшись доводами своего господина, уселся поудобнее в кресле и подставил лицо той из них, которая шла впереди, дуэнья же вlepила ему здоровенный щелчок, сопроводив его глубоким реверансом.

– Не нужна мне ваша учтивость, сеньора дуэнья, и не нужны мне ваши притирания, – объявил Санчо, – ей-богу, от ваших рук пахнет душистою мазью.

Дуэньи, одна за другой, надавали ему щелчков, прочая же многочисленная челядь его исщипала, но чего Санчо никак не мог снести, это булавочных уколов: он вскочил с кресла и, доведенный, по-видимому, до иступления, схватил первый попавшийся пылающий факел и ринулся на дуэний и на всех своих палачей с криком:

– Прочь, адовы слуги! Я не каменный, таких чудовищных мук мне не вынести!

В это мгновение Альтисидора, по всей вероятности уставшая так долго лежать на спине, повернулась на бок, при виде чего все присутствовавшие почти в один голос воскликнули:

– Альтисидора оживает! Альтисидора жива. Радамант велел Санчо утихомириться, ибо то, ради чего он пошел на пытки, уже, мол, свершилось.

Дон Кихот, увидев, что Альтисидора подает признаки жизни, тотчас бросился перед Санчо на колени и обратился к нему с такими словами:

– О ты, ныне уже не оруженосец, но возлюбленный сын мой! Урочный час настал, отсчитай же себе несколько ударов из общего числа тех, которые ты обязался себе нанести для расколдования Дульсинеи. Повторяю: ныне целебная сила, коей ты обладаешь, достигла своего предела, и тебе несомненно удастся совершить то благодеяние, которого от тебя

---

<sup>1</sup> Радамант и Минос (миф.) – судьи подземного царства.

ожидают.

Санчо же ему на это сказал:

– Не то, так другое, час от часу не легче! Мало щелчков, щипков да уколов, еще не угодно ли розог! Уж лучше возьмите здоровенный камень, привяжите мне его на шею и бросьте меня в колодец: это будет не на много прискорбнее, нежели отдуваться за чужие горести. Оставьте меня в покое, иначе, ей-богу, я тут все вверх дном переверну!

В это время Альтисидора села на своем катафалке, и вслед за тем послышались звуки гобоев, а к ним присоединились звуки флейт и радостные клики всех присутствовавших:

– Альтисидора жива! Жива Альтисидора!

Герцог с герцогинею встали, за ними поднялись цари Минос и Радамант<sup>1</sup>, и все вместе, в том числе Дон Кихот и Санчо, направились к Альтисидоре, дабы приветствовать ее и помочь сойти с катафалка. Альтисидора же, делая вид, что она еле держится на ногах, поклонилась их светлостям и их величествам, а затем, мельком взглянув на Дон Кихота, заговорила:

– Да простит тебе бог, бесчувственный рыцарь, что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне показалось, более тысячи лет. А тебя, самый отзывчивый из всех оруженосцев, в подлунном мире живущих, я благодарю за то, что ты вернул мне жизнь. С этого дня, друг Санчо, в твое распоряжение поступают полдюжины моих сорочек, дабы ты переделал их для себя; правда, не все они целые, зато все до одной чистые.

Санчо, коленапоклоненный и с обнаженною головою, облобызал Альтисидоре руки. Герцог распорядился взять у него колпак и вернуть шапку, надеть на него куртку, а огненную мантию снять. Санчо стал умолять герцога не брать у него мантию и митру: ему хотелось взять их себе на память о столь необычайном происшествии. Герцогиня ему позволила: он-де знает, что она ему верный друг. Герцог велел всем покинуть двор и разойтись по своим комнатам, Дон Кихота же и Санчо поместили в том самом покое, который они занимали прежде.

## Глава LXX,

*следующая за шестьдесят девятой и повествующая о вещах, не лишних для правильного понимания этой истории*

Санчо Пансе пришлось провести эту ночь на низкой кровати в одной комнате с Дон Кихотом, какового обстоятельства он с радостью бы избегнул, если б только мог, ибо знал заранее, что его господин пристанет к нему с разговорами и не даст заснуть, он же был не расположен вести долгую беседу, потому что боль от перенесенных пыток все еще давала себя чувствовать и связывала ему язык, и он предпочел бы проспать эту ночь в шалаше, но только в одиночестве, нежели в роскошном этом помещении, но вдвоем. Страх его оказался не напрасным, и опасения его оправдались, ибо не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему с вопросом:

– Что ты скажешь, Санчо, о нынешних событиях? Велика и властительна сила пренебрежения, выказываемого к тому, кто тебя любит: ты же сам видел, что Альтисидора умерла не от стрел, не от меча или же какого-либо другого оружия, не от смертельного яда, но от суровости и пренебрежения, которые она неизменно встречала во мне.

– Да пусть бы она умирала себе на здоровье когда и как ей заблагорассудится, а меня оставила бы в покое, – возразил Санчо, – ведь я любви ее не домогался и сроду не выказывал к ней пренебрежения. Я уж вам говорил, что не знаю и никак понять не могу, что общего между исцелением Альтисидоры, девки вздорной, хотя и смекалистой, и истязанием Санчо Пансы. Вот теперь-то я уж совершенно и окончательно удостоверился, что есть на свете

---

<sup>1</sup> *Надменный Немврод* – Согласно библейскому преданию, Немврод, основатель вавилонского царства, соорудил высокую башню с целью добраться до неба, но в наказание за его дерзновенное намерение бог сокрушил башню и смешал языки всех людей, строивших ее.

волшебники и волшебные чары, и да избавит меня от них господь бог, а то своими силами мне от них нипочем не избавиться. Одним словом, умоляю вас, ваша милость: дайте мне поспать и больше ни о чем меня не спрашивайте, иначе я выброшусь в окно.

– Спи, друг Санчо, – молвил Дон Кихот, – если только булавочные уколы, щипки и щелчки не помешают тебе уснуть.

– Нет мучения более унижительного, нежели щелчки в нос, – заметил Санчо, – особенно когда тебя щелкают дуэньи, пропади они пропадом. И я еще раз прошу вашу милость: не мешайте мне спать, ибо сон есть облегчение мук, испытанных наяву.

– Да будет так, – молвил Дон Кихот. – Господь с тобою.

В конце концов оба заснули, Сид же Ахмет, автор великой этой истории, рассудил за благо именно теперь сообщить и рассказать читателям, что побудило их светлостей предпринять вышеописанную хитроумную затею. Итак, Сид Ахмет уведомляет, что бакалавр Самсон Карраско не забыл, как он во образе Рыцаря Зеркал был побежден и сбит с коня Дон Кихотом, каковое поражение и падение разрушило и расстроило все его планы, и в надежде на лучший исход решил он еще раз попытать счастье; того ради, разузнав у слуги, который привозил жене Санчо, Тересе Панса, письмо и подарки, где обретается Дон Кихот, бакалавр раздобыл новые доспехи и коня, нарисовал на щите белую луну, навьючил доспехи на мула и взял себе в провозатые не прежнего своего оруженосца Тома Сесьяля, а другого крестьянина, которого ни Санчо, ни Дон Кихот не знали. Прибыв же в этот замок, бакалавр узнал от герцога, какой путь и какое направление избрал Дон Кихот, собираясь на турнир в Сарагосу. Кроме того, герцог ему рассказал, какие шутки сыграли они с Дон Кихотом, придумав, что расколдование Дульсинеи должно совершиться за счет Санчовых ягодиц. В заключение герцог сообщил бакалавру еще и о том, как подшутил над своим господином Санчо, уверив его, что Дульсинея заколдована и превращена в сельчанку, и о том, как супруга его, герцогиня, уверила Санчо, что он-де попал впросак, потому что Дульсинея, точно, заколдована, бакалавр же всему этому немало смеялся и дивился, представив себе как хитрость и простоту Санчо, так и крайнюю степень безумия, выказанную Дон Кихотом. Герцог попросил бакалавра в случае, если он встретится с Дон Кихотом, все равно – одолеет он его или нет, возвратиться в замок и сообщить, чем все это кончилось. Бакалавр так и сделал; он отправился на поиски Дон Кихота, но, не найдя его в Сарагосе, поехал дальше, а затем произошли уже известные нам события. Бакалавр заехал к герцогу, обо всем ему доложил, рассказал, каковы были условия поединка, и прибавил, что Дон Кихот, как истый странствующий рыцарь, во исполнение данного слова тотчас же направил путь к себе домой, с тем чтобы провести там безвыездно целый год, за каковой срок, по мнению бакалавра, Дон Кихот может прийти в разум, и только ради этого он, бакалавр, и затеял все эти превращения, ибо жаль было Самсону Карраско, что помешался человек такого большого ума, как Дон Кихот. На сем бакалавр с герцогом распрощался и, возвратившись к себе домой, стал поджидать Дон Кихота, ехавшего следом за ним. Рассказ бакалавра и послужил герцогу поводом для новой забавы, – столь великий охотник был он до всего, что касалось Санчо и Дон Кихота: он всюду и везде, на всех ближних и дальних дорогах, которыми только, по его соображениям, мог ехать обратно Дон Кихот, расставил множество своих слуг, и пеших и конных, дабы они волею или же неволею, в случае если им удастся поймать Дон Кихота, доставили его в замок; и слуги в самом деле его поймали и дали знать о том герцогу, герцог же заранее все обдумал и как скоро получил известие о прибытии Дон Кихота, то велел зажечь во дворе факелы и плошки, а Альтисидору положить на катафалк, сооруженный со всеми вышеуказанными приспособлениями и при этом столь натурально и искусно, что он мало чем отличался от настоящего. И еще Сид Ахмет говорит вот что: он-де стоит на том, что шутники были так же безумны, как и те, над кем они шутки шутили, ибо страсть, с какою герцог и герцогиня предавались вышучиванию двух сумасбродов, показывала, что у них у самих не все дома. Между тем один из наших простаков спал крепким сном, а другой бодрствовал, и в голове у него роились смутные мысли; так их и застал день, при наступлении коего оба живо вскочили с постелей, – должно заметить, что



нега пуховиков никогда не прельщала Дон Кихота, все равно, был ли он побежденным или же победителем.

В это время, исполняя прихоть своих господ, в покой Дон Кихота вошла Альтисидора (в представлении Дон Кихота возвращенная от смерти к жизни) с тем же венком на голове, в каком она лежала на катафалке, в тунике из белой тафты, усыпанной золотыми цветами, с распущенными по плечам волосами, опираясь на дорогой, эбенового дерева, посох. Приход Альтисидоры привел Дон Кихота в недоумение и замешательство: он съезжился и забрался под одеяла и простыни, язык же ему не повиновался, так что он никак не мог заставить себя приветствовать Альтисидору. Альтисидора села на стул у его изголовья и, глубоко вздохнув, тихим и нежным голосом заговорила:

– Когда знатные женщины или же скромные девицы поступаются своею честью и позволяют своим устам переходить всякие границы приличия и разглашать заветные тайны своего сердца, то это означает, что они доведены до крайности. Я, сеньор Дон Кихот Ламанчский, принадлежу к числу именно таких девушек: я влюблена, покорена – и отвергнута, однако ж со всем тем я терпелива и добродетельна, и вот из-за того, что я молча сносила все, сердце мое не выдержало, разорвалось, и я лишилась жизни. Назад тому два дня по причине суровости, с какою ты со мной обходился,

Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор<sup>1</sup>,

ты, твердокаменный рыцарь, я умерла, – по крайней мере, все, кто меня видел, приняли меня за мертвую, – и когда бы Амур надо мною не сжалился и не помог мне обрести спасение через страдания доброго этого оруженосца, так бы я на том свете и осталась.

– Лучше бы Амур определил пострадать моему ослу, я бы ему спасибо за это сказал, – вмешался Санчо. – Скажите, однако ж, сеньора, пошли вам бог более податливого возлюбленного, нежели мой господин, что вы на том свете видели? Что творится в аду? Я потому вас об этом спрашиваю, что если кто умирает от отчаяния, то после смерти ада ему не миновать.

– Откровенно говоря, – отвечала Альтисидора, – я, верно, не совсем умерла, потому что в аду мне быть не пришлось: ведь если б я только попала туда, то уж потом не выбралась бы никакими силами. На самом деле я видела лишь, как черти, числом около двенадцати, перед самыми воротами ада играли в мяч, все в штанах и в камзолах с воротниками, отделанными фламандским кружевом, и с кружевными рукавчиками, заменявшими им манжеты и укороченными на целых четыре пальца, чтобы руки казались длиннее. В руках они держали огненные ракетки, но всего более поразило меня то, что вместо мячей они перебрасывались книгами, которые, казалось, были наполнены не то ветром, не то пухом, – право, это что-то изумительное и неслыханное. Однако еще более меня поразило то, что вопреки обыкновению игроков – радоваться при выигрыше или же огорчаться в случае проигрыша – здесь все время шла воркотня, грызня и перебранка.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – черти, играют они или не играют, выигрывают или проигрывают, никогда не бывают довольны.

– Верно, так оно и есть, – согласилась Альтисидора, – но меня поражает еще одна вещь (вернее сказать, поразила тогда): после первого же удара мяч больше не мог подняться на воздух, – он уже никуда больше не годился, так что книги, и старые и новые, то и дело сменяли одна другую, прямо на удивление. Одну совсем-совсем новенькую книжку в богатом переплете они так поддали, что из нее вывалились все внутренности и разлетелись листы. Один черт сказал другому: «Погляди, что это за книжка». Тот ответил: «*Вторая часть истории Дон Кихота Ламанчского*, но только это сочинение не первого ее автора, Сида Ахмета, а какого-то арагонца, который называет себя уроженцем Тордесильяса». – «Выкиньте ее отсюда, – сказал первый черт, – бросьте ее в самую преисподнюю, чтобы она не попадалась мне больше на глаза». – «Уж будто это такая плохая книга?» – спросил

---

<sup>1</sup> Ты, кто бесчувствен к пеням, словно мрамор... – строфа из эклоги Гарсиласо де ла Вега.

второй. «До того плохая, – отвечал первый, – что если б я нарочно постарался написать хуже, то у меня ничего бы не вышло». Они возобновили игру и стали перебрасываться другими книгами, я же, услышав имя Дон Кихота, которого я так люблю и обожаю, постаралась сохранить в памяти это видение.

– Разумеется, это было видение, – молвил Дон Кихот, – второго меня на свете не существует, несмотря на то, что история эта ходит по рукам, ни в чьих руках, впрочем, не задерживаясь, потому что все ей дают пинка. Я не испытываю тревоги, когда мне говорят, что я, будто призрак, брожу во мраке преисподней или по осиянной земле, ибо я не тот, о ком говорится в этой истории. Если б она была хороша, достоверна и правдива, она прожила бы века, если же она плоха, то путь ее от рождения до гроба недалог<sup>1</sup>.

Альтисидора хотела было снова начать корить Дон Кихота, но он прервал ее:

– Уже много раз говорил я вам, сеньора, как я жалею, что вы устремили помыслы ваши на меня, ибо от моих помыслов вы можете ожидать лишь благодарности, но не взаимности. Я рожден для Дульсинеи Тобосской, рок (если только он есть) предназначил меня ей, и полагать, что какая-либо другая красавица может занять ее место в моей душе, – это вещь невозможная. Пусть же эти мои слова послужат вам достаточным разуверением, дабы вы возвратились в пределы скромности, ибо невозможного ни от кого нельзя требовать.

Тут Альтисидора с напускною досадою и возмущением воскликнула:

– Ах вы, рыба этакая, дерево бесчувственное, финиковая косточка, несговорчивый и упрямый хуже всякого мужика, который как станет на своем, так уж его, проси не проси, с места не сдвинешь! Клянусь богом, если я на вас накинусь, то непременно выцарапаю вам глаза! Вы что же это, разбитый да еще и прибитый, вообразили, будто я умираю от любви к вам? Да ведь все, что вы видели ночью, было устроено нарочно: какое там умирать – я и не охну из-за такого верблюда, как вы.

– Вполне допускаю, – вмешался Санчо, – потому смерть от любви – это же курам на смех: сказать-то влюбленные все могут, но чтобы взаправду – ни один дурак им не поверит.

Во время этого разговора вошел тот самый музыкант, певец и стихотворец, который спел две вышеприведенные строфы, и, низко поклонившись Дон Кихоту, молвил:

– Я прощу вашу милость, сеньор Дон Кихот, считать и числить меня одним из самых преданных ваших слуг, – я давно уже восхищаюсь тем, какая идет о вас слава и какие подвиги вы совершаете.

Дон Кихот же его спросил:

– Скажите, пожалуйста, ваша милость, кто вы таков, дабы мое с вами обхождение соответствовало вашим достоинствам.

Юноша ответил, что он тот самый, который ночью пел похвальные стихи.

– Голос у вас поистине превосходный, – заметил Дон Кихот, – но то, что вы пели, показалось мне не совсем уместным. В самом деле, что общего между стихами Гарсиласо и смертью этой сеньоры?

– Вас это не должно удивлять, ваша милость, – возразил певец, таков обычай нынешних стихоплетов-недоучек: пишут они о чем угодно и где угодно крадут, не считаясь с тем, сообразуется ли это с их намерением, и о какой бы чепухе они ни пели или ни писали, у них на все припасена отговорка: это, мол, поэтическая вольность.

Дон Кихот хотел что-то сказать, но в это время вошли герцог и герцогиня, и тут между ними произошел долгий и приятный разговор, во время которого Санчо наговорил столько забавного и лукавого, что их светлости вновь подивились как его простоте, так и его остроумию. Дон Кихот попросил позволения уехать в тот же день, оттого что рыцарям побежденным скорее подобает, мол, жить в свиной закуте, нежели в королевских чертогах. Их светлости охотно ему это позволили, герцогиня же спросила, не сердится ли он на Альтисидору. Дон Кихот ей на это ответил так:

– Государыня моя! Да будет вашей милости известно, что весь недуг этой девицы

---

<sup>1</sup> ...путь ее от рождения до гроба недалог. – Подложный «Дон Кихот» совершенно не пользовался успехом у современников, он не переиздавался на всем протяжении XVII и первой половины XVIII в.

проистекает от безделья, и лучшее от него средство – это честный и постоянный труд. Она только что мне рассказала, что в аду ходят в кружевах; верно, она умеет вязать их, так вот пусть этим и займется, и пока у нее в руках будут мелькать коклюшки, в памяти ее перестанет мелькать образ или же образы тех, в кого она влюблена, и это есть истинная правда, и таково мое мнение, и таков мой совет.

– И мой, – ввернул Санчо, – потому я отродясь не видал кружевницы, которая умерла бы от любви: девушки-труженицы больше думают о том, как бы скорей окончить работу, нежели о сердечных своих делах. Я сужу по себе: когда я копаю землю, я не думаю о моей благоверной, то бишь о Тересе Панса, но это не мешает мне любить ее больше всего на свете.

– Ты справедливо рассудил, Санчо, – заметила герцогиня, – с этого дня я засажу Альтисидору за какую-нибудь белошвейную работу: она у меня на этот счет мастерица.

– В подобном средстве, сеньора, нет никакой необходимости, – возразила Альтисидора, – одной жестокости, с какою со мной обошелся бездомный этот злодей, будет довольно, чтобы я, не прибегая ни к каким искусственным средствам, вычеркнула его из памяти. А теперь, ваше величие, позвольте мне удалиться: я видеть не могу его печальный образ, да какой там печальный образ – просто мерзкое и отвратительное обличье.

– Это мне напоминает известную поговорку, – заметил герцог: –

Кто в словах излил обиду,  
Тот уже почти простил.

Альтисидора притворилась, будто вытирает слезы платком, а затем, сделав своим господам реверанс, вышла из комнаты.

– Горькая твоя доля, бедная ты моя девушка, – молвил Санчо, – уж такая горькая – просто страх, потому напоролась ты на каменную душу и на дубовое сердце. Вот если б ты за мной приударила, то, скажу по чести, в накладе бы не осталась.

Беседа окончилась, Дон Кихот оделся, отобедал с их светлостями и в тот же день отбыл.

## Глава LXXI

*О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село*

Побежденный и теснимый судьбою, Дон Кихот был весьма печален, а в то же время и весьма радостен. Грусть его вызывалась поражением, радость же – мыслью о целебной силе Санчо, которую тот выказал при воскрешении Альтисидоры, хотя, впрочем, Дон Кихоту потребовалось некоторое усилие для того, чтобы убедить себя, что влюбленная девушка была, точно, мертва. Санчо между тем отнюдь не находился в радостном расположении духа: ему грустно было думать, что Альтисидора не сдержала своего слова и не подарила ему сорочек; он беспрестанно к этой мысли возвращался и наконец сказал своему господину:

– Право, сеньор, я, как видно, самый несчастный изо всех врачей, какие только водились на свете: ведь есть же такие лекари, которые уморят больного, а потом все-таки получают за труды, хотя весь-то их труд только в том и состоит, что они пропишут какие-нибудь снадобья, изготовляют же эти снадобья вовсе не они, а аптекари, – одним словом, денежки в кармане, а там уже лекарю на все наплевать. Ну, а я за чужое здоровье расплатился собственной кровью, щелчками, щипками, уколами, розгами и все-таки получил фигу. Да будь они все неладны, попадись мне теперь в руки больной, я сперва потребую: пусть меня хорошенько смажут, – поп, дескать, тем и живет, что молитвы поет, будьте спокойны, господь бог не для того наделил меня целебной силой, чтобы я делился ею с другими задаром.

– Твоя правда, друг Санчо, – согласился Дон Кихот. – Альтисидора весьма дурно с тобою обошлась, не подарив обещанных сорочек, и хотя целебная сила тебе *gratis data*<sup>1</sup>, ибо никакой науки ты не изучал, однако ж ты подвергся мучениям, а это и послужило тебе наукой. Если же ты захочешь платы за порку для расколдования Дульсинеи, то я тебе уплачу сполна, хотя я и не уверен, долженствует ли подобного рода лечение быть оплачено, я даже боюсь, как бы награда не повлияла дурно на действие лекарства. Со всем тем, по моему разумению, попытка не пытка: подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и, нимало не медля, приступай к порке, а после сам же себе уплати наличными, потому что деньги мои у тебя.

Это предложение заставило Санчо выпучить глаза и развесить уши, и, мысленно порешив выпороть себя на совесть, он сказал своему господину:

– Так и быть, сеньор, я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие, с пользою, однако ж, и для себя: из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько ж вы мне положите за каждый удар?

– Когда б я намеревался вознаградить тебя, Санчо, – отвечал Дон Кихот, – сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену.

– Всего должно быть три тысячи триста с лишним ударов, – сказал Санчо, – из них я уже нанес себе пять, остальные за мною, эти пять пусть покроют лишек, значит, давайте считать всего три тысячи триста, так вот, если положить по одному куартильо за каждый удар (а уж меньше я не возьму ни за что на свете), то всего выйдет три тысячи триста куартильо, три тысячи куартильо – это полторы тысячи полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов, триста же куартильо составляют полтора ста полуреалов, то есть семьдесят пять реалов, и вот если к семистам пятидесяти реалам прибавить эти семьдесят пять, то получится всего восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и возвращусь домой богатым и довольным, хотя и как следует выпоротым, ну да ведь рыбки захочешь – штаны замочишь.

– О благословенный Санчо! О дражайший Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – После этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней! Если только Дульсинея обретет утраченный облик (а я и не мыслю себе, чтоб могло быть иначе), ее несчастье преобразится в счастье, а мое поражение наиславнейшим торжеством обернется. Итак, Санчо, я жду от тебя ответа, когда ты приступишь к самобичеванию, – для ускорения дела я готов прибавить еще сто реалов.

– Когда? – переспросил Санчо. – Нынче же ночью, можете быть уверены. Постарайтесь, ваша милость, чтобы мы провели эту ночь в поле, под открытым небом, а уж я себя исполосую – только держись!

Вот наконец и настала ночь, которой Дон Кихот дождался с нетерпением чрезвычайным, ибо ему казалось, будто колеса Аполлоновой колесницы<sup>2</sup> сломались и что день тянется долее обыкновенного: в сем случае он ничем не отличался от всех влюбленных, которые не умеют держать себя в руках. Наконец они въехали в приютную рощу, неподалеку от дороги, и, расседлав Росинанта и серого, растянулись на зеленой травке и поужинали тем, что было припасено у Санчо; засим помянутый Санчо сделал из узды Росинанта и недоуздка серого хлесткий и гибкий бич и отошел шагов на двадцать от своего господина, под сеньбуков. Заметив, с каким решительным бесстрашным видом он шагает, Дон Кихот сказал ему:

– Смотри, друг мой: не избивай себя до бесчувствия, устраивай перерывы, не выказывай излишней горячности, иначе ты выдохнешься на полдороге, – я хочу сказать, чтобы ты себя пожалел, иначе ты отправишься на тот свет прежде, нежели достигнешь желанной цели. А дабы ты ни пересоллил, ни недосолил, я стану тут же, рядом, и начну отсчитывать на четках наносимые тобою удары. Засим да поможет тебе господь бог

---

1 Досталось даром (лат.)

2 Колеса Аполлоновой колесницы (миф.). – На колеснице Аполлон, бог Солнца, объезжал небосклон, освещая и согревая землю.

претворить в жизнь благое твое намерение.

– Исправному плательщику залог не страшен, – объявил Санчо, – я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом-то весь смысл чуда и состоит.

Тут он обнажился до пояса и, схватив ременную плеть, начал себя хлестать, а Дон Кихот занялся подсчетом ударов. Санчо уже дошел примерно до восьми ударов, а затем, смекнув, что это дело нешуточное и что цену он взял пустяковую, приостановил самосечение и сказал своему господину, что он продешевил и что каждый такой удар должен стоить не кuartильо, а полуреал.



– Продолжай, друг Санчо, – молвил Дон Кихот, – не волнуйся: я заплачу тебе вдвое.

– Коли так, – подхватил Санчо, – господи благослови! Ох, я же себе сейчас и всыплю!

Однако хитрец перестал хлестать себя по спине и начал хлестать по деревьям, что, впрочем, не мешало ему по временам так громко стонать, что казалось, будто вместе с каждым таким стоном из его тела вылетает душа. Между тем у Дон Кихота душа была добрая, и он опасался, как бы тот не уходил себя насмерть, из-за собственного небагоразумия так и не достигнув своей цели, – вот почему он сказал Санчо:

– Сделай одолжение, друг мой, прерви на сем месте свое занятие: средство это мне представляется чересчур сильным, для него требуется передышка, недаром говорится: Самору долго осаждали, а с налету никогда бы не взяли. Если только я не обчелся, ты уже нанес себе более тысячи ударов, – пока что довольно. Грубо выражаясь, осла нагружай-нагружай – он и не охнет, а перегрузил – издохнет.

– Нет, нет, сеньор, – возразил Санчо, – не желаю я, чтоб про меня говорили: «Денежки получил – и ручки сложил». Отойдите, ваша милость, чуть подальше, дайте я нанесу себе хотя бы еще одну тысячу: мы меньше чем в два приема с этим делом справимся, а кончил дело – гуляй смело.

– Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, бог тебе в помощь, – молвил Дон Кихот, – стегай себя, а я отойду в сторону.

Санчо с таким рвением вновь принялся выполнять свой урок, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной, – до того жестоко он себя бичевал; наконец, изо всех сил хлестнув плетью по стволу бука, он громко воскликнул:

– Здесь погиб Самсон и все филистимляне!

Услышав страшный звук удара и сей жалобный голос, Дон Кихот устремился к Санчо и, выхватив у него перевитой ремень узды, служивший оруженосцу бичом, сказал:

– Судьба не допустит, друг Санчо, чтобы, стараясь мне угодить, ты засек себя до смерти: ты нужен жене и детям, а Дульсинея потерпит до другого раза, я же, уповая на близкий конец этого предприятия, подожду, пока ты соберешься с силами и к общему благополучию его завершишь.

– Коли уж вам, государь мой, так хочется, то пусть будет по-вашему, – согласился Санчо, – только набросьте мне на плечи вашу накидку, а то я вспотел и боюсь простудиться: кто в первый раз себя бичует, тому это очень даже просто.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись в одном камзоле, отдал накидку Санчо, Санчо же проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, и тогда они снова тронулись в путь и прервали его, лишь достигнув селения, расположенного в трех милях от рощи. Остановились они на постоялом дворе, который Дон Кихот именно таким и признал, но отнюдь не замком с глубокими рвами, башнями, решетками и подъемным мостом; надобно заметить, что со времени своего поражения он стал судить о вещах более здраво, что будет видно из дальнейшего. Его поместили внизу, в комнате, стены которой вместо тисненных золотом кож были по деревенскому обычаю увешаны старыми разрисованными полотнами. На одном из них было грубейшим образом намалевано похищение Елены: дерзкий гость увозит супругу Менелая, а на другом история Дидоны и Энея: Дидона стоит на высокой башне и машет чуть не целой простыней своему гостю-беглецу, который мчится по морю то ли на фрегате, то ли на бригантине. Дон Кихот приметил, что Елена уезжала не без удовольствия, потому что она тайком хитро улыбалась, а прекрасная Дидона лила слезы величиной с грецкий орех. Разглядывая эти полотна, Дон Кихот сказал:

– Жребий у этих двух сеньор на редкость горестный, ибо им не суждено было жить в наше время, я же несчастнее всех, оттого что не жил в их век: ведь только встретиться я с их возлюбленными – и Троя не была бы сожжена, а Карфаген разрушен, – мне довольно было бы убить одного Париса, чтобы предотвратить столько бедствий.

– Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, – что вскорости не останется ни одной харчевни, гостиницы, постоялого двора или же цирюльни, где не будет картин с изображением наших подвигов. Только я бы хотел, чтобы их нарисовал художник получше этого.

– Твоя правда, Санчо, – согласился Дон Кихот, – этот художник вроде Орбанехи, живописца из Убеды, который, когда его спрашивали, что он пишет, отвечал: «Что выйдет». Если, например, он рисовал петуха, то непременно подписывал: «Это петух», чтобы не подумали, что это лисица. Полагаю, Санчо, что такого же точно пошиба должен быть тот живописец или писатель, – в конце концов это все равно, – который выпустил в свет историю новоявленного Дон Кихота: он живописал или писал, что выйдет. А еще он напоминает Маулеона, мадридского стихотворца недавних времен, который, о чем бы у него ни спросили, на все отвечал, не моргнув глазом, и вот однажды его спросили, что значит: *Deum de Deo*, а он ответил: *De donde diere*<sup>1</sup>. Но довольно об этом, скажи мне лучше, Санчо, намерен ли ты в ближайшую ночь отсчитать себе еще одну порцию плетей и желаешь ли ты, чтоб это было под кровом или же под открытым небом.

– Ей-ей, сеньор, – молвил Санчо, – этим заниматься можно где угодно: хочешь – дома, хочешь – в поле. Впрочем, я бы все-таки предпочел под деревьями: у меня такое чувство, будто они со мной заодно и здорово мне помогают.

– Нет, друг Санчо, я передумал, – объявил Дон Кихот, – тебе надобно набраться побольше сил, почему мы и отложим это до возвращения к себе домой, а ведь мы приедем,

---

<sup>1</sup> *Deum de Deo* (лат.) – бога от бога (из католического символа веры); *de donde diere* – испанское выражение: была не была.

самое позднее, послезавтра.

Санчо сказал, что дело, мол, хозяйское, но что он бы хотел покончить с этим, пока железо еще горячо и пока чешутся руки, ибо промедление часто бывает опаснее всего, и у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и одно «Возьми!» лучше двух посулов, и лучше синица в руках, чем журавль в небе.

– Довольно пословиц, Санчо, ради самого Христа! – взмолился Дон Кихот. – Ты, кажется, снова принимаешься за прежнее: говори просто, ясно, без обиняков, как я уже неоднократно тебя учил – лучше меньше, да лучше.

– Уже и не знаю, что это за незадача, – сказал Санчо, – я без поговорки слова не могу сказать, и всякая поговорка кажется мне словом разумным, однако ж я все старания приложу, чтобы исправиться.

И на этом их разговор временно прекратился.

## Глава LXXII

*О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свое село*

Весь этот день Дон Кихот и Санчо провели в селении, на постоялом дворе, и ожидали наступления ночи, один – дабы в чистом поле завершить самобичевание, другой – дабы присутствовать при его конце, в коем заключался венец его желаний. Между тем на постоянный двор въехал новый путешественник с тремя или четырьмя слугами, и один из слуг обратился к тому, кого можно было принять за их господина:

– Здесь, сеньор дон Альваро Тарфе, вы можете переждать полуденный зной; в гостинице как будто бы и чисто и прохладно.

Услышав это, Дон Кихот сказал Санчо:

– Знаешь, Санчо, когда я перелистывал вторую часть моей истории, то, по-моему, мне там встретилось имя дона Альваро Тарфе.

– Очень может быть, – заметил Санчо. – Дайте ему спешиться, и тогда мы у него спросим.

Всадник спешил, и хозяйка постоялого двора отвела ему внизу комнату, прямо против комнаты Дон Кихота, также увешанную разрисованными полотнами. Вновь прибывший кавальеро переделался в летнее платье, вышел в галерею, обширную и прохладную, и, увидев Дон Кихота, который также прогуливался по галерее, обратился к нему с вопросом:

– Куда, милостивый государь, изволите путь держать?

На что Дон Кихот ему ответил:

– В одно из ближайших сел, откуда я родом. А ваша милость куда направляется?

– Я, сеньор, – отвечал кавальеро, – еду в Гранаду: это моя родина.

– Истинно прекрасная родина! – воскликнул Дон Кихот. – А скажите, будьте любезны, ваша милость, как вас зовут? Я не сумею должным образом изъяснить, как важно мне это знать.

– Меня зовут доном Альваро Тарфе, – отвечал постоялец.

На это Дон Кихот ему сказал:

– Я нимало не сомневаюсь, что ваша милость и есть тот самый дон Альваро Тарфе, который выведен во второй части *Истории Дон Кихота Ламанчского*, недавно преданной тиснению и выданной в свет одним новейшим сочинителем.

– Я самый, – отвечал кавальеро, – Дон Кихот же, главное действующее лицо помянутой истории, был моим ближайшим другом, и это я вытащил его из родного края, во всяком случае я подвинул его отправиться на турнир в Сарагосу, куда я собирался сам. Признаться, я оказал ему немало дружеских услуг, и только благодаря мне палач не разукрасил ему спину за чрезмерную дерзость.

– А скажите на милость, сеньор дон Альваро, похож ли я хоть немного на того Дон

Кихота?

– Разумеется, что нет, – отвечал постоялец, – положительно ничем.

– А у того Дон Кихота, – продолжал допытываться наш Дон Кихот, – состоял на службе оруженосец Санчо Панса?

– Как же, состоял, – отвечал дон Альваро, – но, хотя он слыл великим шутником, я лично ни одной остроумной шутки от него не слышал.

– Охотно этому верю, – заговорил тут Санчо, – потому шутить не каждый умеет, и этот ваш Санчо, досточтимый сеньор, верно уж, преизрядный плут, тупица, да к тому же еще и негодяй; ведь настоящий-то Санчо Панса – это я, и у меня шутки сыплются чаще дождевых капель; коли угодно вашей милости убедиться на деле, то поживите со мной так примерно годик, и вы сами увидите, что они у меня срываются с языка поминутно и притом в таком количестве и такого рода, что совершенно неожиданно для меня самого все мои слушатели покатываются со смеху. Подлинный же Дон Кихот Ламанчский, славный, отважный, благоразумный влюбленный, искоренитель неправды, оплот малолетних и сирых, прибежище вдовиц, покоритель девичьих сердец, знающий только одну владычицу, Дульсинею Тобосскую, – вот он, перед вами, и это мой господин, всякий же другой Дон Кихот, а равно и всякий другой Санчо Панса – это все пустые враки.

– Клянусь богом, друг мой, я тебе верю, – воскликнул дон Альваро, – в тех немногих словах, которые ты успел сказать, заключено больше остроумия, нежели во всем, что я слышал от другого Санчо Пансы, а ведь говорит он без умолку! Он больше обжора, чем красной, и не столько шутник, сколько просто глупец, и вообще для меня несомненно, что волшебники преследующие Дон Кихота хорошего, вознамерились преследовать и меня через посредство Дон Кихота плохого. Впрочем, я ничего не понимаю: я могу ручаться, что поместил его на излечение в толедский дом для умалишенных, но теперь я вижу другого Дон Кихота, ничего общего не имеющего с моим.

– Я не знаю, точно ли я хороший, – молвил Дон Кихот, – одно могу сказать, что я и не плохой, в доказательство чего позвольте довести до сведения вашей милости, государь мой дон Альваро Тарфе, что я ни разу в жизни не был в Сарагосе, более того: как скоро я узнал, что вымышленный Дон Кихот участвует в сарагосском турнире, то порешил туда не ездить, чтобы вывести сочинителя за ушко да на солнышко, а проследовал прямо в Барселону – обиталище радушия, приют для чужестранцев, пристанище для бедняков, отчизну храбрецов, город-мстителю за утесненных, гостеприимный кров для истинной дружбы, город, единственный по красоте местоположения. И хотя события, которые там со мною произошли, не весьма радостны, напротив того: весьма печальны, меня, однако ж, примиряет с ними то обстоятельство, что я видел самый город. Итак, сеньор дон Альваро Тарфе, это я и есть Дон Кихот Ламанчский, о котором идет слава, а не тот пакостник, который вознамерился присвоить себе мое имя и, приписав себе мои мысли, тем возвысить себя во мнении света. Я взываю к вашей милости, как к истинному кавальеро: не откажите в любезности, объявите местному алькальду, что до сего дня ваша милость никогда меня не видала, что я не тот Дон Кихот, который изображен во второй части, и что оруженосец мой Санчо не тот, которого ваша милость изволила знать.

– Я весьма охотно это сделаю, – сказал дон Альваро, – согласитесь, однако ж, что это вещь неслыханная – быть знакомым с двумя Дон Кихотами и двумя Санчо зараз, чьи имена столь сходны и чьи деяния столь различны. Впрочем, я готов подтвердить, что я не видел того, что видел, и что со мной не происходило того, что произошло.

– Ваша милость, уж верно, заколдована, точь-в-точь как сеньора Дульсинея Тобосская, – рассудил Санчо. – Хорошо, если б я мог расколдовать вашу милость, отсчитав себе три тысячи с лишком плетей, как это я делаю ради нее, – уж для вас-то я бы бесплатно постарался.

– Насчет плетей – это мне что-то невдомек, – признался дон Альваро.

Санчо заметил, что об этом долго рассказывать, но что он, однако, все ему расскажет, если только им по пути. Между тем пришло время обедать; Дон Кихот и дон Альваро



отобедали вместе. Тут на постоянный двор случилось зайти местному алькальду и писарю, и к этому самому алькальду Дон Кихот обратился с формальной просьбой: он желает-де, чтобы, в ограждение его, Дон Кихота, прав, здесь присутствующий кавальеро дон Альваро Тарфе перед лицом его милости алькальда засвидетельствовал, что он никогда прежде не знал Дон Кихота Ламанчского, также здесь присутствующего, и что это совсем не тот Дон Кихот, который изображен в вышедшей из печати книге под заглавием *Вторая часть Дон Кихота Ламанчского*, сочинение некоего Авельянеды, уроженца Тордесильяса. Алькальд все это обставил юридически: свидетельское показание было дано с соблюдением всех приличествующих случаю формальностей, чему Дон Кихот и Санчо весьма обрадовались, словно им в самом деле было чрезвычайно важно иметь подобное показание и как будто бы различие между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо и без того не было достаточно резко означено в их поступках и в их речах. Дон Альваро и Дон Кихот долго еще обменивались учтивостями и изъявлениями преданности, и тут великий ламанчец выказал всю свою рассудительность, дон Альваро же Тарфе вынужден был признать, что он в нем ошибался: он даже близок был к мысли, что он сам заколдован, коль скоро видел своими глазами двух столь различных Дон Кихотов.

Наступил вечер, и оба постояльца одновременно выехали из села, однако ж примерно в полумиле от него дорога расходилась: одна вела в село к Дон Кихоту, другая – туда, куда нужно было дону Альваро. За этот краткий промежуток времени Дон Кихот рассказал дону Альваро о злополучном своем поражении, о заколдованности Дульсинеи и о средстве расколдовать ее и всем этим привел дону Альваро в изумление, а затем дон Альваро, обняв Дон Кихота и Санчо, поехал в одну сторону, Дон Кихот же устремился в другую и провел эту ночь среди дерев, чтобы предоставить возможность Санчо покончить с его епитимьей, каковую Санчо и на сей раз исполнял тем же самым способом, что и прошедшей ночью, то есть в неизмеримо большей степени за счет буковой коры, нежели за счет собственной спины, с которою он до того бережно обходился, что даже муху не могли бы с нее согнать наносимые им удары. Обманутый Дон Кихот ни разу не ошибся в счете и нашел, что вместе со вчерашними общее число плетей достигает трех тысяч двадцати девяти. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше только для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение, и с первыми его лучами Дон Кихот и Санчо поехали дальше, беседуя между собою о том, в каком заблуждении находился дон Альваро и как благоразумно они поступили, взяв у него по всей форме, перед лицом представителя правосудия, свидетельское показание.

Весь этот день, равно как и следующую ночь, они провели в пути, и за это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы описания, за исключением разве того, что ночью Санчо выполнил свой урок, чему Дон Кихот возрадовался несказанно, – он с нетерпением стал ожидать рассвета, оттого что днем, казалось ему, он непременно должен встретить уже расколдованную владычицу свою Дульсинею; и, продолжая свой путь, он не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть: уж не Дульсинея ли это Тобосская, а что Мерлин мог не исполнить своего обещания – это представлялось ему невероятным. Занятый этими мыслями и мечтами, он вместе с Санчо въехал на холм, с вершины коего открывался вид на их родное село, и тут Санчо, опустившись на колени, воскликнул:

– Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего Санчо Пансу: он возвращается к тебе не сильно разбогатевший, но зато лихо исполосованный плетьюми. Раскрой объятия и прими также сына своего Дон Кихота: его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы невозможно себе пожелать. Я возвращаюсь при деньгах, потому хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился.

– Полно дурачиться, – сказал Дон Кихот, – дай бог нам счастливо въехать в наше селение, а уж там, на досуге, наша выдумка придет нам на помощь, и мы составим план пастушеской жизни, которую мы намереваемся вести.

Тут они спустились с холма и двинулись по направлению к своему селу.

## Глава LXXIII

*О знаменьях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории*

Когда же они въезжали в село, то, по словам Сиды Ахмета, Дон Кихот увидел, что возле гумна ссорятся двое мальчишек, из коих один крикнул другому:

– Зря силы тратишь, Перикильо, – больше ты ее никогда в жизни не увидишь!

Тут Дон Кихот сказал Санчо:

– Ты обратил внимание, друг мой, что сказал мальчишка: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь»?

– Ну и что ж такого? – возразил Санчо. – Мало ли что скажет мальчишка!

– Как что ж такого? – воскликнул Дон Кихот. – Разве ты не понимаешь, что если применить эти слова ко мне, то выйдет, что мне не видать больше Дульсинеи?

Санчо только хотел было ему ответить, как вдруг увидел, что по полю бежит заяц, гонимый множеством охотников и борзых собак, и вот этот самый заяц от испуга юркнул и забился под брюхо к серому. Санчо поймал его голыми руками и преподнес Дон Кихоту, но Дон Кихот сказал:

– *Malum signum! Malum signum!*<sup>1</sup> Заяц бежит, за ним гонятся борзые, – не увижу я Дульсинею!

– Станный вы человек, ваша милость, – заметил Санчо. – Предположим, что этот заяц – Дульсинея Тобосская, а борзые, которые его травят, – это лиходеи-волшебники, превратившие ее в сельчанку; она бежит, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, а вы держите ее в объятиях и ласкаете – какая же это дурная примета и в чем же здесь можно видеть дурное предзнаменование?

Двое только что повздоривших мальчишек подошли поглядеть на зайца, и одного из них Санчо спросил, из-за чего у них вышла ссора. На это мальчишка, который сказал: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь», ответил Санчо, что он отнял у своего товарища клетку со сверчками и больше никогда ему не отдаст. Санчо вынул из кармана четыре куарто и вручил их мальчугану, а у него взял клетку и, передав ее Дон Кихоту, молвил:

– Готово дело, сеньор: все эти предзнаменования разрушены и развеяны в прах, хотя, впрочем, к нам с вами они имеют такое же точно касательство, как прошлогодние тучи; это даже и я соображаю, хотя я и не дальнего ума человек. И если память мне не изменяет, я слышал от нашего священника, что истинным христианам, и к тому же еще людям просвещенным, не подобает придавать значение таким пустякам, да и сами же вы, ваша милость, на днях мне объясняли, что христиане, верящие в приметы, дураки. Стало быть, и нечего нам тут из-за этого мешкать, поедемте дальше, прямо к себе домой.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот им его отдал; Дон Кихот и Санчо поехали своей дорогой и при въезде в село увидели, что на лужайке читают молитвы священник и бакалавр Карраско. Надобно знать, что Санчо Панса вместо попоны накрыл серого и перевязанные веревкой доспехи тою самую бумазейною мантией с языками пламени, которую на него надевали в герцогском замке в ночь оживления Альтисидоры. Вдобавок он еще напялил ослу на голову колпак, – словом, такого превращения и такого наряда ни одно животное ослиной породы не знало от сотворения мира.

Священник и бакалавр тотчас узнали обоих путешественников и бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот спешил и крепко их обнял; деревенские же мальчишки своими рысьими, неумолимыми глазами еще издали разглядели колпак на осле, и теперь они, сбжавшись гурьбой, скликались друг друга:

– Эй, ребята, поглядите на *осла Санчо*: он наряднее самого Минго<sup>2</sup>, и на *эту клячу Дон*

<sup>1</sup> Дурная примета! (лат.)

<sup>2</sup> ...наряднее самого Минго... – намек на наряд Минго Ревульго, описанный в «Куплетах Минго Ревульго»

*Кихота*: у нее уже теперь все ребра видны!

Наконец, окруженные мальчишками и сопровождаемые священником и бакалавром, Дон Кихот и Санчо въехали в село и направились к дому Дон Кихота, на пороге коего стояли ключница и племянница, уже осведомленные об их приезде. Услышала об этом и супруга Санчо, Тереса Панса; растрепанная, полуодетая, схватив за руку дочку свою Санчику, она побежала встречать мужа; когда же она разглядела, что он не так наряжен, как, в ее представлении, приличествовало губернатору, то сказала ему:

– Что это с тобой, муженек? Возвращаешься домой вроде как пешком и притом еще елековыляешь; право, вид у тебя не как у губернатора, а словно ты уже отгубернаторствовал.

– Молчи, Тереса, – сказал Санчо, – по уму встречают – по платью провожают, дай только до дому дойти – уж наслушаешься ты чудес. Я привез денег, это самое главное, и нажил я их собственной смекалкой, а чтобы кого обидеть – боже упаси.

– Давай сюда денежки, любезный муженек, – рассудила Тереса, – а нажиты они могут быть всяко. Как бы ты их ни нажил – этим ты никого не удивишь.

Санчика обняла отца и спросила, что он ей привез: видно было, что ждала она его, как майского дождинка; затем она ухватила за его пояс, а осла взяла под уздцы, жена с другой стороны взяла Санчо за руку, и все они отправились к себе домой; Дон Кихот между тем остался у себя – на попечении ключницы и племянницы, а также в обществе священника и бакалавра.

Не дав никому опомниться, Дон Кихот тотчас заперся с бакалавром и священником и в кратких словах рассказал им о своем поражении и о том, что он принял на себя обязательство в течение года не выезжать из села, каковое обязательство он-де намерен выполнять буквально, не отступая от него ни на йоту, как подобает странствующему рыцарю, свято соблюдающему свой устав, и что он собирается на этот год стать пастухом и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю своим любовным думам, подвизаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни; и он-де просит священника и бакалавра, если только они не очень заняты и им не помешают более важные дела, к нему присоединиться: он-де намерен приобрести стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы им всем иметь право называться пастухами, а еще, мол, он доводит до их сведения, что главное уже сделано, ибо имена для них он подобрал, и притом весьма подходящие. Священник полюбопытствовал, какие именно. Дон Кихот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом*, бакалавр – пастухом *Каррасконом*, священник – пастухом *Пресвитериамбро*, а Санчо Панса – пастухом *Пансино*. Этот новый предмет Дон-Кихотова помешательства поразил священника и бакалавра, однако ж, дабы он снова, рыцарских ради подвигов, не пустился в странствия и в надежде на то, что за этот год он, может статься, поправится, они эту новую его затею одобрили и, безумную его мысль признав вполне здоровою, согласились вместе с ним начать подвизаться на новом поприще.

– И вот еще что, – прибавил Самсон Карраско. – Всем известно, что я знаменитый поэт, так вот я все время буду сочинять стихи в пастушеском, в светском, в каком хотите роде, чтобы нам не скучно было скитаться в дебрях, но важнее всего, государи мои, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он намерен воспевать, и пусть не останется ни одного дерева с самой крепкой корой, на коем мы эти имена не начертали бы и не вырезали, как это принято и как это водится у влюбленных пастухов.

– Все это совершенно верно, – заметил Дон Кихот, – но только мне лично незачем придумывать имя для воображаемой пастушки, когда у меня есть несравненная Дульсинея Тобосская, слава окрестных берегов, украшение наших полей, святилище красоты, верх изящества, – словом, та, которой можно воздать любую хвалу, не опасаясь впасть в преувеличение.

– Ваша правда, – согласился священник, – ну, а уж мы поищем себе пастушек поговорчивей, не тех – так других.

А Самсон Карраско подхватил:

---

(см. примеч. к прологу второй части «Дон Кихота»).

– Если же не найдем, то возьмем имена у тех, которые выведены и изображены в книгах, всеми читанных и перечитанных, – такие имена, как, например, Филица, Амарилис, Диана, Флэрида, Галатея и Белисарда; коль скоро они продаются на всех рынках, то почему бы нам не купить их и не приобрести в собственность? Если мою даму или, вернее сказать, пастушку зовут, положим, Аной, то я буду воспевать ее под именем *Анарды*, если Франсиской, то я назову ее *Франсеней*, если Лусией, то *Лусиндой* и так далее. Если же и Санчо Панса вступит в наше братство, то он может воспевать свою жену Тересу Панса под именем *Тересайны*.

Посмеялся Дон Кихот этому последнему новообразованию, священник же снова выразил полное одобрение почтенному и благородному начинанию Дон Кихота и обещал проводить с ним все то время, какое будет у него оставаться после исполнения непременных его обязанностей. На этом священник и бакалавр с Дон Кихотом распрощались, а перед уходом обратились к нему с просьбой беречь свое здоровье и посоветовали обратить особое внимание на пищу.

Племянница и ключница волею судеб слышали этот разговор, и как скоро священник с бакалавром удалились, они вошли вдвоем к Дон Кихоту, и тут племянница повела с ним такую речь:

– Что это значит, дядюшка? Мы были уверены, что вы возвратились домой навсегда и собираетесь вести мирный и достойный образ жизни, а вас, оказывается, тянет в новые дебри, как поется в песне –

Пастушок, остановись-ка!<sup>1</sup>  
Ты откуда и куда?

Честное слово, годы ваши не те!

Тут вмешалась ключница:

– Да разве полуденный зной – летом, ночная сырость и вой волков – зимою, разве это для вас, ваша милость? Конечно, нет; это поприще и занятие для людей крепких, закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Уж коли из двух зол выбирать, так лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Право, сеньор, послушайте вы моего совета, – ведь я вам его даю не с пьяных глаз, а в здравом уме, и я недаром прожила на свете полвека, – оставайтесь дома, займитесь хозяйством, почаще исповедуйтесь, помогайте бедным, и если это не пойдет вам на пользу, то грех будет на моей душе.

– Полно, дочки, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, как мне надлежит поступить. Уложите меня в постель, – я чувствую некоторое недомогание, – и помните, что кем бы я ни был: странствующим ли рыцарем, пастухом ли, я вечно буду о вас заботиться, в чем вы и убедитесь на деле.

И тут обе милые дочки (а ведь ключница и племянница и правда были ему как дочки) уложили его в постель и постарались как можно лучше накормить его и угостить.

## Глава LXXIV

*О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине*

Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая, а как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовала совершенно для него неожиданно; может статься, он сильно затосковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели, и все это время его навещали друзья: священник, бакалавр и цирюльник, добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от его изголовья. Друзья,

---

<sup>1</sup> *Пастушок, остановись-ка!..* – строки из народной песни.

полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихота, а бакалавр все твердил, чтобы он переломил себя, встал с постели и начал вести пастушескую жизнь, на какой предмет у него, бакалавра, уже, мол, заготовлена эклога почище Саннадзаровых<sup>1</sup>, и что он, бакалавр, уже купил у кинтанарского скотовода на собственные деньги двух славных псов, чтобы сторожить стадо, из коих одного кличут Муругим, а другого Птицеловом. Все это, однако ж, не могло развеять печаль Дон Кихота.

Друзья послали за лекарем; тот пощупал пульс, остался им недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравью грозит, мол, опасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец – они горькими слезами заплакали, точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул:

– Благословен всемогущий бог, столь великую явивший мне милость! Милосердие его воистину бесконечно, и прегрешения человеческие не властны ни ограничить его, ни истощить.

Племянница слушала дядю своего со вниманием, и речи его показались ей разумнее обыкновенного, во всяком случае – разумнее того, что он говорил во время болезни, а потому она обратилась к нему с такими словами:

– О чем это вы толкуете, дядюшка? Кажется, это что-то новое? О каком таком милосердии и о каких человеческих прегрешениях вы говорите?

– О том самом милосердии, племянница, которое в этот миг, невзирая на мои прегрешения, проявил ко мне господь, – отвечал Дон Кихот. – Разум мой прояснился, теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в который его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. Теперь я вижу всю их вздорность и лживость, и единственно, что меня огорчает, это что отрезвление настало слишком поздно и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница: я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди удостоверились, что жил я не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвание сумасшедшего, – пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника маэсе Николаса: я хочу исповедаться и составить завещание.

Племяннице, однако ж, не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь:

– Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный *Добрым*. Ныне я враг Амадиса Галльского и тьмы-тьмущей его потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я по милости божией научен горьким опытом и предаю их проклятию.

Трое посетителей, послушав такие речи, решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему:

– Как, сеньор Дон Кихот? Именно теперь, когда у нас есть сведения, что сеньора Дульсинея расколдована, ваша милость – на попятный? Теперь, когда мы уже совсем собрались стать пастухами и начать жить по-княжески, с песней на устах, ваша милость записалась в отшельники? Перестаньте ради бога, опомнитесь и бросьте эти бредни.

---

<sup>1</sup> ...эклога почище Саннадзаровых... – Джакомо Саннадзаро – итальянский поэт (1456–1530), автор пасторального романа «Аркадия» (1504), оказавшего большое влияние на развитие пасторального жанра в Европе. Прозаический текст этого романа перемежается стихотворными эклогами.

– Я называю бреднями то, что было до сих пор, – возразил Дон Кихот, – бреднями воистину для меня губительными, однако с божьей помощью я перед смертью обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру, а потому шутки в сторону, сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться, а затем – писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своею душою, вот я и прошу вас: пока священник будет меня исповедовать, пошлите за писарем.

Присутствовавшие переглянулись – до того поразил их Дон Кихот, и хотя и не без колебаний, однако же все были склонны придать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка, ибо к вышеприведенным речам он присовокупил еще и другие, столь связные, столь проникнутые христианским духом и столь разумные, что все их сомнения в конце концов рассеялись и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся.

Священник попросил всех удалиться и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой; Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал:

– Алонсо Кихано Добрый, точно, умирает и, точно, находится в здравом уме. Пойдемте все к нему, сейчас он будет составлять завещание.

Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы: из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи, ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь, и после того как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, помолившись богу и соблюдая все, что по христианскому обряду в сем случае полагается, приступил к составлению завещания и начал так:

– *Item*<sup>1</sup>, я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял в оруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали ввиду того, что у нас с ним свои счета; буде же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе: деньги небольшие, а ему они пригодятся, и уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здравом уме, я пожаловал бы ему, если б мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают.

Тут он обратился к Санчо и сказал:

---

<sup>1</sup> А также, кроме того (*лат.*)



– Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне.

– Ах! – со слезами воскликнул Санчо. – Не умирайте, государь мой, послушайтесь моего совета: живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека – взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться, вставайте-ка, одевайтесь пастухом – и пошли в поле, как у нас было решено: глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше! Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите все на меня: дескать, вы упали с Росинанта, оттого что я плохо подтянул подпругу, да и потом вашей милости известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого наземь: сегодня его одолели, а завтра – он.

– Разумеется, – сказал бакалавр, – добрый Санчо Панса в рассуждении сего совершенно прав.

– Полно, сеньоры, – молвил Дон Кихот, – новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я – Алонсо Кихано Добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас пользовался, вы же, господин писарь, пишите дальше. *Item*, завещаю все мое достояние здесь присутствующей племяннице моей Антонии Кихано с тем, однако ж, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначенная мною для иных целей; и прежде всего я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалованье за все то время, что она у меня прослужила, а сверх того прошу выдать ей двадцать дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Карраско, здесь присутствующих. *Item*, желаю, чтобы племянница моя Антония Кихано, буде она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не

имеет понятия; если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в сем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела. *Item*, прошу вышепоименованных господ душеприказчиков, если им когда-нибудь доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием *Второй части подвигов Дон Кихота Ламанчского*, передать ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызения совести, что послужил для этого побудительною причиною.

На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь; и в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытие. Весь дом был в тревоге; впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику, да и Санчо Панса себя не забывал: надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того как над Дон Кихотом были совершены все таинства и после того как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот; все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря – умер.

Тогда священник попросил писаря выдать свидетельство, что Алонсо Кихано Добрый, обыкновенно называемый Дон Кихотом Ламанчским, действительно преставился и опочил вечным сном; свидетельство же это понадобилось ему для того, чтобы какой-нибудь другой сочинитель, кроме Сида Ахмета Бен-инхали, не вздумал обманным образом воскресить Дон Кихота и не принялся сочинять длинейшие истории его подвигов. Таков был конец хитроумного ламанчского идальго; однако ж местожительство его Сид Ахмет точно не указал, дабы все города и селения Ламанчи оспаривали друг у друга право усыновить Дон Кихота и почитать его за своего уроженца, подобно как семь греческих городов спорили из-за Гомера<sup>1</sup>.

Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить новые эпитафии, ему посвященные, за исключением лишь следующей, сочиненной Самсоном Карраско:

Под плитою сей замшелой  
Спит идальго, до того  
Телом мощный, духом смелый,  
Что бессмертья не сумела  
Даже смерть лишить его.  
Он по всей стране скитался,  
Всем посмешищем служил,  
С мненьем света не считался,  
Но, хотя безумцем жил,  
С жизнью, как мудрец, расстался.

А премудрый Сид Ахмет говорит, обращаясь к своему перу:

«Здесь, на этом крючке и медной проволоке, ты и будешь висеть, перо мое, не знаю, хорошо или же дурно очиненное, и ты будешь жить здесь века и века, если только какие-нибудь дерзновенные и злочестивые сочинители не снимут тебя, дабы осквернить.

---

<sup>1</sup> ...*семь греческих городов спорили из-за Гомера*. – Существует античное двустихие о «семи городах», приписывавших себе честь быть родиной Гомера, о которой доподлинно ничего не известно.



Однако, прежде нежели они к тебе прикоснутся, предостереги их и произнеси как можно внушительнее:

Прочь, баловники, ступайте  
И меня не беспокойте!  
Суждено, король, лишь мне  
Совершить подобный подвиг.

Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне – описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару – назло и на зависть тому лживому тордесильясскому писаке<sup>1</sup>, который отважился (а может статься, отважится и в дальнейшем) грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря, ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело; и если тебе доведется с ним встретиться, то скажи ему, чтобы он не ворошил в гробу усталые и уже истлевшие кости Дон Кихота и не смел, нарушая все права смерти, перетаскивать их в Старую Кастилию<sup>2</sup>, не смел разрывать его могилу, в которой Дон Кихот воистину и вправду лежит, вытянувшись во весь рост, ибо уже не способен совершить третий выезд и новый поход; а дабы осмеять бесконечные походы бесчисленных странствующих рыцарей, довольно, мол, первых двух его выездов, которые доставили удовольствие и понравились всем, до кого только дошли о них сведения, будь то соотечественники наши или же чужестранцы. Подав сей благой совет недоброжелателю твоему, ты исполнишь христианский свой долг, я же буду счастлив и горд тем, что первый наслаждался в полной мере, как того желал, плодами трудов своих, ибо у меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах; и вот, благодаря тому что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно». *Vale*.

---

<sup>1</sup> *Лживый тордесильясский писака* – то есть автор подложного «Дон Кихота».

<sup>2</sup> *...перетаскивать их в Старую Кастилию...* – В финале подложной части «Дон Кихота» дается обещание рассказать о приключениях Дон Кихота в Старой Кастилии.